

КОНСТАНТИН КЕВОРКЯН

ФРОНДА



**БЛЕСК И НИЧТОЖЕСТВО
СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ**

Annotation

Интеллигенция – понятие чисто русское, мало прижившееся в других языках, подразумевающее некую касту образованных людей, в той или иной степени радеющих об общественном благе.

Когда-то под знамёнами либерализма и социализма они приняли самое непосредственное участие в разрушении Российской империи. Но и в новой, советской жизни «инженеры человеческих душ» чувствовали себя обделенными властью и объявили тайную войну подкармливавшему их общественному строю. Жизнь со славословиями на официальных трибунах и критикой на домашних кухнях привела советскую интеллигенцию к абсолютному двоемыслию.

Полагая, что они обладает тайным знанием рецепта универсального счастья, интеллигенты осатанело разрушали СССР, но так и не смогли предложить обществу хоть что-нибудь жизнеспособное. И снова остались у разбитого корыта своих благих надежд и неугомонных желаний.

Это книга написана интеллигентом об интеллигенции. О стране, которую она создала и последовательно уничтожала. Почему отечественная интеллигенция обречена повторять одни и те же ошибки на протяжении всего своего существования? Да и вообще – существовала ли она, уникальная советская интеллигенция?

Исчерпывающие ответы на эти вопросы в книге известного публициста Константина Кеворкяна.

-
- [Константин Эрвантович Кеворкян](#)
 -
 - [Юрий Поляков](#)

- Вступление

- - I
 - II
 - III
 - IV

- Глава 1

- - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII

- Глава 2

- - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII
 - VIII
 - IX
 - X
 - XI

- Глава 3

- - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII
 - VIII
 - IX

- [X](#)
- [XI](#)
- [XII](#)
- [XIII](#)
- [Глава 4](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
 - [XIII](#)
- [Глава 5](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
- [Глава 6](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)

- [V](#)
- [VI](#)
- [Глава 7](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
 - [XIII](#)
- [Глава 8](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
- [Глава 9](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
- [Глава 10](#)
 - [I](#)

- [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
- [Глава 11](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
- [Глава 12](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
- [Глава 13](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
- [Примечания](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)

- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)

- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)

- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)

- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)

- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)

- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)

- [222](#)
 - [223](#)
 - [224](#)
 - [225](#)
 - [226](#)
 - [227](#)
 - [228](#)
 - [229](#)
 - [230](#)
 - [231](#)
 - [232](#)
 - [233](#)
-

**Константин Эрвантович
Кеворкян
Фронта. Блеск и ничтожество
советской интеллигенции**

© К.Э. Кеворкян, 2019

© Ю.М. Поляков, предисловие 2019

Юрий Поляков Интеллигентам об интеллигенции

Книга Константина Кеворкяна «Фронда. Блеск и ничтожество советской интеллигенции» чрезвычайно необычна. Увидеть в разноголосом шуме отечественной литературы XX века объединяющие её начала, подсознательные рефлексy целого слоя населения, увязать воедино экономику, внешнюю и внутреннюю политику, помножить их на огромное количество конкретных человеческих судеб – по силам далеко не каждому литератору.

Это вторая книга Кеворкяна, изданная в России после сборника публицистики «Братья и небратья» – весьма сильной, на мой взгляд, работе, посвящённой взаимоотношениям Украины и России. Но если там речь шла пусть об очень близком, но все-таки ином государстве, то здесь разговор непосредственно о нас. Об образованном слое людей, к которому причисляет себя большинство читающей публики; о бесконечно пытавшейся управлять Россией интеллигенции, которая не раз приводила свой народ и государство к катастрофе.

Хотя книга читается довольно легко, но чтение это умное, заставляющее пересмотреть многие наши взгляды на день вчерашний и день сегодняшний. Огромный поток новой или малоизвестной информации, свежий взгляд на давно известные события, сотни задействованных первоисточников – все это даёт основания говорить о прорыве в изучении истории отечественной интеллигенции, когда её страсти и

пороки из тайного знания для избранных становится поводом для настоящего научного осмысления.

Юрий Поляков,

писатель, публицист, драматург,
председатель Гильдии драматургов России,
Председатель редакционного совета
«Литературной газеты»

Вступление

Детям – для понимания

Эта книга субъективна, ибо в ней содержатся сотни мнений литераторов, людей искусства, политиков и рядовых граждан, которые вспоминают свои прожитые годы. И каждый из них видит истину по-своему.

Эта книга объективна, поскольку эти отдельные голоса складываются в общественное мнение, определявшее смыслы эпохи. Дух времени часто ускользает от историков, больше оперирующих сухими цифрами дат и статистических отчетов. Но цифры без человеческих судеб – это уже не сама жизнь.

Это компиляция – автор сознательно минимизировал свое участие, стремясь к тому, чтобы говорили люди и документы (подробный список использованной литературы в разделе «Библиография»). Но это и творческая работа, поскольку собранные мнения композиционно служат раскрытию единого замысла, а комментарии к ним сохраняют авторскую интонацию.

Так, во всяком случае, кажется мне, хотя моё мнение и субъективно – см. сначала.



Я работал над «Опасной книгой» – так называлось исследование, посвященное истории нацистской пропаганды. Естественно, по ходу дела мне приходилось просматривать множество фотографий, плакатов и кинохроники той эпохи. Затертые фото, черно-белая невысокого качества хроника... Десятилетия отделяли меня от драматических и кровавых событий того времени. Зная о моих поисках, друзья из США передали мне уникальные кадры оккупированного Харькова, цветную кинохронику 1942 года. Слово пелена упало с глаз, я увидел события такими, какими их помнили мой отец и мать, пережившие оккупацию. Цвет придал жизненность давним событиям: по знакомым с детства улицам Харькова ехала фашистская боевая техника, маршировал отряд немецких медсестер, на Благовещенском базаре одетые в лохмотья старухи просили подаяние. Будто включил телевизор и посмотрел выпуск вечерних новостей. Одно дело понимать историю разумом, другое – прочувствовать сердцем, прожить эмоциями. Реалистичность увиденного произвела на меня сильное впечатление и помогла остро ощутить то, что люди, жившие до нас, видели мир не менее ярко, чем мы, испытывали грандиозные страсти, горе, ужас, любовь...

Вроде бы очевидные истины... Так на каком же основании мы отказываем целой эпохе в ярких жизненных красках и почему так мало знаем о ней!? Многие вопросы сегодняшнего дня имеют свои ответы именно в советском прошлом – хочется кому-то этого или нет. Его нельзя перемотать как надоевший фильм –

десятки миллионов людей страдали и любили, создавали наш мир и самих нас.

Человеку всегда хочется понять ход жизни: то ли придумать машину времени и познать прошлое, то ли предсказать будущее. Вот, к примеру, гениальный русский поэт Велимир Хлебников доказывал окружающим, что крупные события происходят каждые триста семнадцать лет, потом вывел новую константу, равную 84 годам. В отличие от гения, мы, простые смертные, измеряем отмеренные нам времена рождающимися поколениями, детьми, внуками. И наши внутренние ощущения подтверждает фундаментальная «Теория поколений» социологов Нейла Хоува и Уильяма Штрауса. Она научно обосновывает, что 12-14 лет – это средний возраст, когда каждое новое поколение вступает в жизнь и обретает собственные цели.

История бурь, сотрясавших наше Отечество в прошлом и нынешнем веке, является наглядным тому подтверждением. Начиная с революции 1905 года, ставшей поворотным этапом в развитии Российской империи, последовательно шли 1917 год, 1929 – год «Великого перелома», трагический 1941, смерть Сталина в 1953 году, ознаменовавшая новую веху в развитии СССР, начало брежневской эпохи – 1964-1965 годы. Дата следующего переломного цикла оказалась пропущена, пришлось на эпоху глухого застоя. Не нашедшие своего естественного выхода силы нового поколения скопились до взрывоопасной смеси, разметавшей страну в 1989-1991 годах.

Каждому поколению приходится доказывать собственную значимость в истории, завоевывать свое место под солнцем, оттесняя старших, нередко революционным путем. Такова удивительная особенность нашей страны: история меряется революциями, сломами, скачками. Между тем, обычная жизнь человеческая, текущая каждодневно, подобно

реке, привлекает куда меньшее внимание историков и социологов. Общественные науки ссылаются на классиков, умопостроения строятся на авторитетных ссылках, а не на живых документах эпохи. Но «социология жизни» в ее ежедневном разнообразии не поддается универсальным формулам счастья, она рождается из жизни каждого человека в ее бесконечном переплетении с другими существами, во взаимодействии со средой обитания, социальными институтами. Эта жизнь уникальна и неповторима по сути своей – от таинства зачатия, броуновского движения жизни и ее утраты навсегда. Нас пытаются втиснуть в трафареты очередной идеологии, и, постфактум, идеология диктует волю истории – жизнь подменяется формулами.

«История наступает, когда умирает последний живой свидетель времени», – говорил выдающийся историк и социолог Лев Гумилев. Каждый день современность уносит от нас эпоху с ее уникальными носителями былого знания и дает волю домыслам. Тем ценнее свидетельства ее непосредственных участников. Мы можем осмыслить историю только если поймем мотивировку событий и поступков, состояние души разных людей в разное время – «способ мышления», как определял этот феномен философ Карл Манхейм.

«История – это, прежде всего, психология времени, психология общества, то есть психология отдельных людей, живших или живущих в нем», – удачно, на мой взгляд, сформулировал эту идею публицист Генрих Боровик в предисловии к книге воспоминаний знаменитого карикатуриста Бориса Ефимова, которую мы еще не раз будем цитировать в дальнейшем^[1] (1).

Бесперспективно подходить к пониманию конкретного времени, пользуясь аршином

сегодняшнего дня. Пытаясь понять прошлое, мы примеряем на конкретных людей **наши** представления о жизни, сформированные современной школой, СМИ, государственными институтами, и, конечно, же, получаем результат очень далекий от действительности. «Сейчас у молодого поколения, читающего о тяготах, ужасах и кровавых расправах 1930-х годов, создается впечатление, будто жизнь в Советском Союзе была тогда беспросветной, мрачной, полной страха, горя и слез. Это и так, и не так. Те, кого не коснулась беспощадная рука террора, жили, как и везде, своими заботами и радостями. Видя, что положение улучшается, люди надеялись на дальнейший прогресс и полагали, что худшее осталось позади. Молодежь в большинстве своем снова заразилась энтузиазмом, работала, училась, дурачилась, влюблялась, словом, жила полной жизнью» (2).

В какой-то степени эта книга попытка понять поколение наших отцов и дедов, опираясь на их живые свидетельства и логику развития страны.

В записных книжках писателя Венедикта Ерофеева прописан короткий диалог:

– Кем ты работаешь?

– Фальсификатором истории... (3)

О, эта профессия всегда была востребована на просторах нашей родины! Пожалуй, ни в одной стране мира не было такого многолетнего, целенаправленного политического воспитания, работы над созданием определенного общественного мнения, самого строя мысли. И, тем не менее, могучая вроде бы система внезапно рухнула, погребая под своими обломками и само государство, и жизни сотен тысяч людей. Расхожие штампы сегодняшнего дня – «победа демократии», «цивилизованный путь развития», «независимость» и прочее не могут дать логического объяснения, почему культурная часть общества искренне приветствует самоубийственный развал государства, нищету сограждан, превращение собственной среды обитания в некий вариант банановой республики?

Видимо, причины глубже – в некоем могучем стереотипе поведения, лежащем в самой основе культуры нации. Сутью же культуры являются язык, религия, ценности, традиции и обычаи общества. Если интеллигенция считает, что нынешнее время, несмотря на его очевидную абсурдность и деградацию, несоизмеримо лучше прошлого, значит, тому есть весомые причины, лежащие в основе ее мировоззрения. Что же это за уникальное мировоззрение, которое вполне искренне позволяет гибко приспособливаться под реалии дикого капитализма, находить силы превозносить его как эталон свободы, да и вообще – что

такое «свобода» в отечественном понимании, чем она отличается от понимания свободы на Западе? «Если русские пьют кока-колу, это не означает, что они мыслят подобно американцам» (С. Хантингтон).

Начнем с терминов. Имеется два определения интеллигенции: европейское, объясняющее феномен именно «русской» интеллигенции – «слой общества, воспитанный в расчете на участие в управлении обществом, но за отсутствием вакансий оставшийся со своим образованием не у дел»^[2], и советское – «прослойка общества, обслуживающая господствующий класс». Первое определение перекликается с привычным нам ощущением, будто интеллигенция, прежде всего, оппозиционна: когда тебе не дают места, на которое ты рассчитывал, ты, естественно, начинаешь злиться. Второе, которое без лирики, подразумевает, что власть для управления нуждается не только в полицейском, но и в духовном насилии над массами (религия, образование, СМИ), и пользуется для того интеллектуальными средствами из арсенала интеллигенции (4).

В этой раздвоенности – желании получить место, а потом в сотрудничестве с властью употребить его для управления народом (кто-то же должен реализовывать прекраснодушные планы), состоит особая прелесть интеллигентского дискурса. Она хочет управлять, эксплуатировать и очень обижается, если ее мнение не берут в расчет истинные власть имущие – вот вам и «лишние люди», и «потерянные поколения».

Но далеко не всегда интеллигенция способна управлять – даже если очень того желает. Здесь и фактор индивидуализма, свойственный большинству интеллектуалов, и нежелание подчиняться государственной дисциплине, и элементарная переоценка своих физических и умственных сил. Зато

мы можем спорить до хрипоты о пути развития общества и соответствии его нашему представлению о прекрасном. Особого внимания заслуживает «либеральная интеллигенция», то есть слой интеллектуалов, исповедующих «либеральные ценности» – превалирование прав личности над правом государства, демократию, свободу слова, ратующие за саморегулирующуюся (рыночную) экономику и т. д. Они слынут, да и, по сути, являются «западниками» – людьми, полагающими, что модель Западной Европы и США наиболее отвечает чаяниям людей, а потому усиленно содействующими её пропаганде в политике и экономике своих стран. А еще из подвидов имелись «белая» и «красная» интеллигенция, сегодня в моде «демократическая» и «патриотическая» интеллигенция, существуют «техническая», «научная» и «творческая» интеллигенции... В общем, несть им числа.

Исходное понятие было весьма деликатным и обозначало появление среди образованного населения Российской империи прослойки людей, ориентированной на преодоление глубокого внутреннего разлада, возникшего между народом, имперским государством и ними. «В этом смысле интеллигенции не существовало нигде, ни в одной другой стране, никогда... Никто не был до такой степени, как русский интеллигент, отчужден от своей страны, своего государства, никто, как он, не чувствовал себя настолько чужим – не другому человеку, не обществу, не Богу, но своей земле, своему народу, своей государственной власти» (5).

Обе революции 1917 года, навсегда перевернувшие бытие одной шестой части суши, готовили и пестовали как раз интеллигентные люди. И в то же время 1917 год стал идейным крахом «революционно-гуманистической» классической интеллигенции: ей пришлось от одиночного террора, от подпольных кружков и

необузданной общественной критики правительства перейти к реальным государственным действиям. Реальные действия подразумевают конкретику, исполнительность, дисциплину. То есть те качества, которые у местной интеллигенции и не имелись, и не появились до сегодняшнего дня.

А. Солженицын: «Интеллигенция оказалась неспособна к... действиям, сробела, запуталась, ее партийные вожди легко отрекались от власти и руководства, которые издали казались им такими желанными, – и власть, как обжигающий шар, отталкиваемая от рук к рукам, докатилась до тех, что ловили её и были кожей приготовлены к её накалу (впрочем, тоже интеллигентские руки, но особенные)» (6).

Вспомним, что вождь Октябрьской революции В. Ленин был выходцем из образованной семьи, закончил университет (даже служил помощником присяжного поверенного) и сам был интеллектуалом, хотя и клял интеллигенцию на чем свет стоит. «Ульянов – фигура сложная, но его отношение к интеллигенции я не разделяю ни в какой степени хотя бы потому, что сам он интеллигент, и правильно Егор Яковлев^[3] говорил, что эта ненависть к прослойке имела у него, безусловно, характер самоненависти», – указывает популярный российский писатель и либеральный оппозиционер Д. Быков (7).

Откуда же взялся феномен Ленина? Н. Бердяев в своей основополагающей работе «Истоки и смысл русского коммунизма» подробнейшим образом анализирует роль интеллигенции в свершившейся революции: «Вся история русской интеллигенции подготавливала коммунизм. В коммунизм вошли знакомые черты: жажда социальной справедливости и равенства, признание классов трудящихся высшим человеческим

типом, отвращение к капитализму и буржуазии, стремление к целостному мирозерцанию и целостному отношению к жизни, сектантская нетерпимость, подозрительное и враждебное отношение к культурной элите, исключительная посюсторонность, отрицание духа и духовных ценностей, придание материализму почти теологического характера. Все эти черты всегда были свойственны русской революционной и даже просто радикальной интеллигенции... Старая революционная интеллигенция просто не думала о том, какой она будет, когда получит власть, она привыкла воспринимать себя безвластной и угнетенной, и властность, и угнетательство показались ей порождением совершенно другого, чужого ей типа, в то время как то было и их порождением» (8).

Д. Быков в эфире радио «Эхо Москвы» поделился следующим своим рассуждением: «Интеллигенция – это не то, чтобы самые умные, не то, чтобы занятые интеллектуальными какими-то вещами. Это люди, дающие моральную санкцию на то или иное поведение народу или власти. Ну, вот, есть такая прослойка, которой народ по умолчанию доверил выдачу моральной санкции. Вообще, понятие моральной санкции в России – оно очень значимо. Вот, скажем, у Столыпина во время реформ этого понятия не было, и он остался вешателем. А у Ленина почему-то было. Потому что Ленин был воплощением многолетних чаяний той же самой интеллигенции, и плоть от плоти ее. Как он ее ни ругал, он был интеллигент – ничего с этим не сделаешь» (9).

Неспроста я беру сейчас и буду по ходу всей книги опираться на мнение не только историков или философов, но и писателей. Одной из наиболее характерных особенностей интеллигентского мировоззрения является его выраженная ориентация на

художественную литературу. Ориентация эта двоякая, она в равной мере касается как самого художественного текста, так и всей сферы бытия, в которой книга создавалась. Образованному человеку в то книжное время свойственно было «лепить жизнь» с того или иного литературного персонажа (сейчас эту функцию во многом взяли «звезды» шоу-бизнеса), равно как и трактовать любую жизненную ситуацию сквозь призму литературы (так сегодня некоторые популярные телесериалы влияют на эмоциональное поведение целых групп людей). То есть жизнь по отношению к литературе оказывалась вторична. И до сих пор, когда заходит речь о типичных интеллигентах, то в качестве примеров таковых фигурируют не столько реальные люди, сколько литературные персонажи, которые выступают в качестве «эталонных» интеллигентов.

Орудием деятельности русской интеллигенции стала, прежде всего, литература. Русскую классическую литературу восторженные почитатели даже характеризовали как «наследницу и заместительницу средневековой учительной литературы» (Б. Успенский), то есть провозглашали едва ли не единственным источником достоверных знаний о внешнем мире. Литература поучала, клеймила, негодовала. А с наступлением эры всеобщей грамотности целые поколения советских школьников послушно впитывали в себя интеллигентские стереотипы – от «лишних людей» (Онегин и компания) до образа народа в лице Платона Каратаева. Литературные персонажи воспринимались как символы, часто – как примеры для подражания. А их изобретатели числились своеобразными гуру, нутряным образом слышавшими голос небес. «Поэт в России – больше, чем поэт!» Прозаик выше, чем прозаик... И вот уже писатель-бунтарь Эдуард Лимонов восклицает: «Я уверенно заявляю: человек в значительной мере есть то, что он

читает. Ибо книги представляют определенные наборы идей, живых, или уже дохлых» (10).

Русская литература, особенно для интеллигенции – это набор неких идей. А идеи – штуки сложные, взрывные, особенно, ежели они находят отклик в читающих массах. «Литература – производство опасное, равное по вредности лишь изготовлению свинцовых белил» (М. Зощенко). Не стоит забывать, что практически все великие политики первой половины XX века работали со словом и делали это профессионально. Ленин, Троцкий, Гитлер, Муссолини, Черчилль, Рузвельт – все имели отношение к печатному слову, будучи сами писателями, журналистами, публицистами. Каменев, Зиновьев, Сталин, Молотов и прочие вожди революционной эпохи писали свои доклады собственноручно. Симптоматичны ночные кошмары, мучавшие уже глубокого старика В. Молотова: «Мне иногда снится, что завтра мне делать доклад, а я не готов... Тогда все сами писали» (11). Еще раз подчеркиваю: значение литературного слова тогдашние, весьма образованные по нынешним меркам правители осознавали и эффективно использовали. Имелось четкое понимание не просто того очевидного факта, что информация между людьми передается обыкновенно словами, но уверенность, что в психологической борьбе от мастерства владения словом, образом, метафорой, от расчетливо подобранных лозунгов или определений может зависеть судьба целой страны. Для нашей косноязычной элиты, возможно, сей факт даже покажется преувеличением.

Итак, интеллигент – это, в первую очередь, литературный тип (вроде пресловутого «лишнего человека» – не случайно эти понятия перекликаются). Литературна его сущность и литературно его происхождение: даже само слово «интеллигент»

впервые проскальзывает у писателя П. Боборыкина^[4]. То, что читает интеллигент, в той или иной степени оказывает на него влияние, особенно, если он разделяет мысли автора. Понимание «я не одинок в своих мыслях» сплачивает людей в связанный единым психологическим настроением круг единомышленников (на чем сегодня зиждется и феномен социальных сетей в интернете). А если эти книги становятся культовыми, если они сами превратились в символ, если цитаты из них являются паролем для узнавания себе подобных?

Советская литература, хотя и является прямой наследницей русской классической литературы, разительно отличается от нее в плане описания существующего общества. И связано это не только с изменением условий жизни, вытекающих из естественного развития человеческой цивилизации, но и со сменой самой общественной формации – рождением социализма советского образца и присущих ему уникальных реалий. Многие вещи мы до сих пор не можем объяснить нашим иностранным друзьям.

Инстинктивно чувствуя уникальность советского опыта, общество восславило именно те книги, которые подчеркивали отличие бытия советского человека, делали его неповторимым в масштабах земного шара. «Советская литература 1920-х годов примерно как нынешняя молодежь: на 90 процентов ужасна, но на оставшиеся 10 – гениальна, и если бы мы сегодня оказались современниками Платонова, Пастернака, Ильфа и Петрова, просто должны были благодарить судьбу...», – отмечает все тот же Д. Быков (12). В нашей работе, поскольку она не является литературоведческой, мы сконцентрируем описание литературного процесса, ограничим его анализом трех книг, которые стали культовыми для разных эпох существования Советской власти; истинных шедевров,

хотя и дошедших до читателя в разное время, но которые оказали определяющее влияние на мировосприятие миллионов наших соотечественников.

Если мы посмотрим мемуары общественных деятелей и представителей советской культуры, нельзя не обратить внимание, как часто используется в них стилистика, а то и прямые цитаты из бессмертной дилогии об Остапе Бендере. Обаятельный персонаж, рожденный фантазией Ильи Ильфа и Евгения Петрова, стал культовым персонажем. Значительно меньше мы обращаем внимание, что авторы дотошно демонстрируют нам тщательно прописанное полотно всей советской жизни периода 1920-х и начала 1930-х годов. Между тем, вне окружающего контекста невозможно понять и в полной мере осмыслить успех дилогии, особенно во время хрущевской оттепели, когда они стали настольными книгами для подрастающего поколения. Реалистичность фона, на котором разворачиваются события, позволяют нам назвать дилогию подлинной энциклопедией жизни в СССР.

Как впрочем, и другое культовое произведение эпохи – «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

Созданные современниками и друзьями – Ильфом/Петровым и Булгаковым – художественные произведения дошли до читателей порознь: «Мастер и Маргарита» опубликован только в середине 1960-х годов. Поэтическая история любви в тоталитарном государстве (впрочем, обычные интеллигенты его так еще не называли), религиозное наполнение (сенсация в атеистической стране) и сатирическая составляющая, зло обличающая то, что в тридцатые виделось отдельными недостатками, а в шестидесятые оказалось родовыми пятнами всего общественного строя, обусловили грандиозный успех книги. Знание «Мастера

и Маргариты» до сих пор является признаком хоть какой-нибудь образованности.

И, наконец, получившая в «эпоху застоя» огромную популярность «поэма» (как ее именовал сам автор) Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки». Удивительный пример того, как самиздат смог породить и распространить многотысячными тиражами неказистую, казалось бы, историю едущего в электричке пьющего мужичонки – человека, ставшего символом поколения и отношения этого поколения к окружающему миру. Как и положено великому произведению, сиюминутное бытописание и стёб со временем отшелушились, и уступили место заложенным в книге философским обобщениям.

Можно сказать, что эти три книги стали символами трех временных срезов, трех поведенческих доминант в послевоенной советской культуре: а) «12 стульев» и «Золотой теленок» – библия шестидесятников, хрущевская «оттепель», оптимизм режима (живо перекликающийся с энтузиазмом 1920-х годов, когда они и были впервые опубликованы); б) «Мастер и Маргарита» – «золотая осень» советского строя; гламур и светлая безнадежная печаль; в) «Москва-Петушки» – распад, разложение страны, ощущение, что «так жить нельзя».

Донесенные авторами и (или) угаданные читателями ноты были услышаны миллионами душ, заставили их испытывать синхронные ощущения и делать похожие выводы. Разговаривая с поколением на его языке, манипулируя устоявшимися понятиями, как сегодня, так и вчера, можно подорвать привычный порядок жизни. Крылатая фраза «Мне скучно строить социализм» от частого повторения становится лозунгом, «Рукописи не горят» – заклинанием. Литература превращается в жизнь.

«Сама художественная логика разотчуждения несет в себе уже не просто манифест свободы от мира отчуждения, но – это более важно – саму логику освобождения от него» (13).

Эти книги порождены реалиями Советской власти и, в свою очередь, формировали особое сознание советской интеллигенции, давали ей духовную подпитку, важнейшую систему опознания «свой – чужой». Таких книг в принципе было мало, может десятка полтора, но только три-четыре прорвались на массовый уровень сознания и вошли в самую плоть общества. О том и поговорим.

Классик пропаганды Й. Геббельс отмечал, что часто повторяемая ложь становится рано или поздно истиной. А если это не ложь, а намеки, образы, видения? Они тоже приобретают силу правды, поэтической, но истины. Повторяемые в различных ситуациях – в компаниях, в кино (в СССР дилогия Ильфа и Петрова была экранизирована), обыгранные в произведениях подражателей идеи приобретали могучую силу. Еще раз:

«У меня с советской властью возникли за последний год серьезнейшие разногласия. Она хочет строить социализм, а я не хочу. Мне скучно строить социализм», – говорит Бендер. Не это ли инстинктивная программа демонтажа системы, услышанная миллионами людей? И пусть разными путями пришли культовые книги в обиход советского интеллигента (дилогия была возвращена читателям в пятидесятые после кратковременного запрета), покойный Булгаков парадоксально «проснулся знаменитым» в середине шестидесятых, а «Москва – Петушки» постепенно просачивались к читателям все семидесятые годы), смысл их восприятия состоял в одном – в духовной оппозиции режиму.

Выдающийся публицист и диссидент А. Зиновьев как-то заметил: «Сталинская эпоха ушла в прошлое, осужденная, осмеянная, оплеванная и окарикатуренная, но не понятая. А между тем все то, что вырвалось наружу в хрущевское время, было накоплено, выстрадано и обдумано в сталинское время. Все то, что стало буднями советской жизни в брежневское время, вызрело в сталинское время. Сталинская эпоха была юностью советского общества, периодом превращения

его в зрелый социальный организм. И хотя бы уже потому она заслуживает нечто большего, чем осуждение: она заслуживает понимания» (14). Добавлю от себя, что только такое понимание поможет нам в полной мере почувствовать атмосферу, в которой творили авторы произведений, оказавших столь большое влияние на последующие поколения.

А влияние действительно было. Вот мнение только нескольких самих по себе культовых персонажей советской эпохи.

Знаменитый музыкант Алексей Козлов: «Чрезвычайной популярностью у советских людей всегда пользовался образ остроумного и положительного жулика – Остапа Бендера. В послевоенные времена книги Ильфа и Петрова “Двенадцать стульев” и “Золотой теленок” официально были изъяты из школьной программы по истории советской литературы и не переиздавались до хрущевских времен. Но все читатели, от мала до велика, зачитывались их довоенными изданиями. Было очень популярным “хохмить” летучими фразами Остапа Бендера в самых разных жизненных ситуациях. Многие ходячие выражения такие, как “Может вам дать ключ от квартиры, где деньги лежат?”, стали жить своей жизнью, без всякой связи с источником» (15).

Кинорежиссер Эльдар Рязанов: «Популярное литературное, театральное или кинематографическое произведение, изобилующее меткими остротами, точными афоризмами, крылатыми словечками, всегда оказывает влияние на язык, входит, обогащает... Огромное количество оборотов, а главное – манеры, стиль выражения Ильфа и Петрова стали привычными в речи не одного поколения советских интеллигентов» (16).

Политобозреватель Генрих Боровик: «Под пером Ильфа и Петрова возникла удивительная по своей

выразительности и яркости, огромная панорама житья-бытья людей при советском режиме» (17).

В 1920-е годы соавторам было дозволено многое – в разгар внутрипартийной полемики вышучивать пропагандистские клише; пародировать авторитетных советских литераторов и режиссеров (А. Белого, В. Маяковского, В. Мейерхольда и других), достижения левого искусства; издеваться над бесконечными докладами о «международном положении» и «империалистической угрозе», над шпиономанией и т. д. И читатель в пятидесятые годы с ужасом убеждался, что бичуемые языком сатиры изъяны советской жизни не только не исчезли, но, наоборот, укрепились и пустили могучие корни.

Но, разумеется, не только политической сатирой славна диалогия, иначе бы ее фельетонная популярность среди читателей иссякла бы с окончанием эпохи партийных дискуссий. Во время работы шли в ход тонкие психологические наблюдения авторов, замечательные художественные описания природы и даже творческие зачатки друзей – так дивное объявление «Приехал жрец» Ильф и Петров подсмотрели в «Чукоккале» Корнея Чуковского.

Ильф и Петров были гениями юмора, о многих ли можно сказать такое? Сам мастер острого слова Леонид Утесов писал: «Я вообще считаю, долгий опыт научил, что по способности человека понимать юмор можно определить, насколько он... человек. Ведь чувство юмора присуще только человеку... И чем больше оно у него развито, тем он для меня человечнее» (18). Книги Ильфа и Петрова **человечны**.

Но сталинская власть оказалась не слишком человечной и не особенно смешливой. Уже при выходе второй части диалогии – «Золотого теленка» – авторы столкнулись с некоторыми проблемами. Так, в 1932 году А. Фадеев писал, что Остап Бендер – сукин сын, что

НЭПа давно нет, что книга устарела и публиковать ее не стоит. В результате текст вышел отдельным изданием в США раньше, чем в СССР. «Роман, – предупреждали американские издатели, – слишком смешон, чтобы выйти на родине». Далее на американской обложке стояло: «Несмотря на предисловие советского наркома (А. Луначарского – К.К.), товарищ Сталин опасается, что “Золотой теленок” недостаточно серьезно относится к пятилетнему плану, в результате чего Америка первой знакомится с публикацией этого поразительно смешного романа» (19).

Ильф и Петров вынуждено оправдывались в «Литературной газете»: «Роман, от первой и до последней строки, напечатан в журнале и готовится к выходу отдельной книгой». И книга, действительно, вышла, но лишь благодаря вмешательству М. Горького. А Л. Фейхтвангер, к которому большевики весьма прислушивались, сказал о «Золотом теленке»: «Этот роман ценится европейским читателем не только как занимательное чтение, но и как одно из лучших произведений мировой сатирической литературы» (21). Ни больше, ни меньше.

Несмотря на то, что в еще 1938–1939 годах издательство «Советский писатель» выпустило четырехтомное собрание сочинений И. Ильфа и Е. Петрова (мало кто из тогдашних советских классиков удостоился такой чести), после войны в 1947 году диалогия об Остапе Бендере была запрещена, как и сборник очерков «Одноэтажная Америка». В официальной печати прошло несколько оскорбительных статей. В них фигурировали как бы три писателя: «Ильф и Петров, и в особенности Ильф» (Б. Горбатов); указывалось, что эти писатели принадлежали к той «южнорусской школе», которая культивировала «одесский жаргон» и тем нанесла «большой ущерб развитию художественного языка советской

литературы» (А. Тарасенков); устанавливалось их неуважение к классической, в частности, гоголевской традиции (В. Ермилов) (21). И только во второй половине 1950-х годов диалогия, наконец, официально признана «классикой советской сатиры». А с другой стороны, как уже говорилось, в конце 1950-х годов романы Ильфа и Петрова стали своего рода «цитатником» инакомыслящих, которые видели в них почти откровенную издевку над пропагандистскими установками, газетными лозунгами, суждениями «основоположников марксизма-ленинизма».

Парадоксальным образом «классика советской литературы» воспринималась как литература антисоветская. И даже в самом названии «Клуба 12 стульев» (рубрики в популярной среди интеллигенции «Литературной газете», где публиковались сатирические произведения) властям и читателям чудилось что-то запрещенное! Сегодня, как флегматично замечает Э. Рязанов, «произведения Ильфа и Петрова, которые мы с детства знали наизусть, куда меньше увеселяют нынешнюю молодежь» (23). Но и в наше время «энциклопедию» жизни советского общества И. Ильфа и Е. Петрова можно поставить рядом с «энциклопедией» русского общества пушкинской поры – «Евгением Онегиным».

Содействовали росту популярности среди рядовых граждан СССР и экранизации отдельных частей диалогии знаменитыми режиссерами Л. Гайдаем и М. Швейцером. Так, «12 стульев» Гайдая посмотрели 60,7 миллионов зрителей, и она заняла третье место во всесоюзном кинопрокате^[5]. Она же стала любимейшей комедией и самого Л. Гайдая.

В числе первых на премьеру экранизации почти антисоветской книги откликнулась главная газета страны – «Правда». Г. Кожухова в номере от 24

сентября 1971 года писала: «Оставшись самим собой, Гайдай в новой работе, на мой взгляд, во многом довел свою интонацию, свой стиль до блеска и изящества. Не эти ли же свойства объясняют то, почему мы десятилетиями поминаем добрым словом «Веселых ребят», «Волгу-Волгу», «Карнавальную ночь» – за радость присутствия на празднике мастерства?..» Но то будет позже, о Л. Гайдае и его экранизациях мы еще поговорим, а пока вернемся к рассказу о круге общения авторов дилогии. Тем более, что это имеет непосредственное отношение к предмету нашего повествования.

26 ноября 1934 года жена М. Булгакова Елена записывает в своем дневнике: «Вечером – Ильф и Петров. Пришли к М.А. (Михаилу Афанасьевичу – К.К.) советоваться насчет пьесы, которую они задумали» (24). Здесь следует сказать, что авторы литературных культовых произведений советской интеллигенции были добрыми знакомыми еще со времен работы в газете «Гудок» и составляли, по сути, приятельский кружок, о чем в дневнике супруги Булгакова есть немало пометок: «26.11.36.: Вечером у нас Ильф с женой, Петров с женой, Сережа Ермолинский с Марикой... Мне очень нравится Петров. Он очень остроумен, это первое. А кроме того, необыкновенно серьезно и горячо говорит, когда его заинтересует вопрос. К М.А. они оба (а главным образом, по-моему, Петров) относятся очень хорошо. И потом – они настоящие литераторы. А это редкость...» (25).

И дружили они до самой смерти – сначала Ильфа, потом – Булгакова: «1937, 14 апреля: «Тяжелое известие: умер Ильф. У него был сильный туберкулез»; 15 апреля: «Позвонили из Дома советского писателя – в караул к гробу... затем пошли в Камерный...» (26). И, к слову сказать, там же, в дневнике жены, писателя мы впервые встречаем название произведения, ставшего

настольным для нескольких поколений советских интеллигентов: «1 марта 1938 г. У М.А. установилось название для романа – «Мастер и Маргарита». Надежды на напечатание его нет. И все же М.А. правит его, гонит вперед, в марте хочет кончить. Работает по ночам» (28). Возможно, тесное общение писателей и приводит к некой иллюзии схожести их литературных приемов. Э. Лимонов отмечает: «Мастер и Маргарита» и «12 стульев» **разительно родственны** (выделено мной – К.К.): разъездная бригада Воланда напоминает бригаду Остапа Бендера» (28). Плюс сатирическая составляющая обоих произведений. Однако Булгаков тоже писал не голую сатиру, но психологически достоверную книгу о своем трудном и страшном времени и его людях. Она историческая еще и потому, что насыщена точнейшими деталями быта и неповторимыми характерами людей.

После первой публикации романа в журнале «Москва» (1966-1967 гг.) И. Эренбург заметил: «Недавно опубликовали фантастический роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», написанный тридцать пять лет назад. Ершалаим – живой город, и главы, посвященные Понтию Пилату, я читал как замечательное повествование о нашем современнике, а главы, сатирически изображающие московский быт двадцатых годов, на мой взгляд, устарели» (29). Но в том-то и сила романа, секрет его притягательности для читателя 1960-х годов, что быт Москвы оставался абсолютно узнаваем, с его коммуналками, хамством, человеческой подлостью, и это узнавание вызывало оторопь. Эмигрантский литературный критик В. Завалишин писал о Булгакове: «Я не знаю другого сатирика, который создал бы столь смелые, правдивые и выразительные карикатуры на советского человека и на ту атмосферу тридцатых годов, которая сплющивала

и уродовала и жизнь, и духовный и нравственный облик человека» (30).

Сам Булгаков четко понимал, что он изображает и какие наиболее эффектные, разительные приемы использует. 6-7 августа 1938 года в письме к Е. Булгаковой он пишет: «Я тут случайно попал на статью о фантастике Гофмана (ст. И. В. Миримского «Социальная фантастика Гофмана» // «Литературная учеба», № 5, 1938 г. – К.К.). Я берегу ее для тебя, зная, что она поразит тебя так же, как и меня. Я прав в «Мастере и Маргарите»! Ты понимаешь, чего стоит это сознание – я прав!» В статье Булгаковым отмечены, в частности, следующие места: «Стиль Гофмана можно определить как реально-фантастический. Сочетание реального с фантастическим, вымышленного с действительным...»; «...Если гений заключает мир с действительностью, то это приводит его в болото филистерства, «честного» чиновничьего образа мыслей; если же он не сдается действительности до конца, то кончает преждевременной смертью или безумием»; «Смех Гофмана отличается необыкновенной подвижностью своих форм, он колеблется от добродушного юмора сострадания до озлобленной разрушительной сатиры, от безобидного шаржа до цинически уродливого гротеска» (31). Вот что отличает реализм Ильфа-Петрова от гофманианы Булгакова. В. Каверин: «Нет, не был с помощью социалистического реализма создан новый Фауст. Напротив, вопреки этому «флогистону»^[6] мы получили поразивший весь мир своей выстраданной силой роман Булгакова «Мастер и Маргарита» (32).

Елена Сергеевна поклялась Булгакову, что роман будет опубликован при ее жизни. И действительно, в середине шестидесятых, хоть и с купюрами, но он все же был напечатан в журнале «Москва». Умирая,

Булгаков завещал гонорар за публикацию первому человеку, который после выхода «Мастера и Маргариты» положит цветы на его могилу. И воля писателя его вдовой была выполнена.

Не сразу на свободу вырвалась, как выразился Каверин, «ошеломляющая новизна “Мастера и Маргариты”» (33). Хотя несколько раз «Мастер и Маргарита» готовился к публикации – и сразу после войны, и после смерти Сталина. Но безрезультатно. «19 октября [1956 г.] Днем позвонил и приехал Твардовский, привез «Мастера», сказал, что он потрясен, узнав, поняв, наконец, масштаб Булгакова: «Его современники не могут идти ни в какой счет с ним». Еще говорил много о своем впечатлении от романа, но кончил так: «Но я должен откровенно сказать Вам, Е.С., что сейчас нельзя поднимать вопроса о его напечатании. Я надеюсь, что мы вернемся к этому, когда будет реальная возможность» (34). Хрущевская оттепель «Мастера и Маргариты» не коснулась, и хорошо – возможно, он был бы унесен тогдашним литературным половодьем. Роман пришел к широкому читателю уже после «оттепели», и потому его печальное настроение как нельзя лучше ложилось в общее настроение угасших иллюзий интеллигенции, что определило его феноменальный успех. Смена социальных приоритетов оказалась связана со всплеском интереса ко всему потустороннему – от христианства до сенсационных опытов В. Мессинга, что также содействовало массовому успеху книги. Даже зловещая фигура «иностранного артиста» – «мессира» Воланда – невольно ассоциировалась с именем «Мессинг» – иностранец и артист с необычной внешностью. Теперь уже бесспорно, что роман М. Булгакова стал народным чтением. И среди миллионов его читателей числятся личности самого крупного масштаба, которые сами стали явлением культуры.

Скажем, вдова популярнейшего композитора М. Таривердиева Вера особо вспоминала в интервью о «... его любимой книге “Мастер и Маргарита”, зачитанной до дыр» (35). Множить примеры даже и не вижу смысла.

Ну и, разумеется, популяризация творческого наследия Булгакова с помощью самого распространенного вида искусства в СССР – кино. Творчество Булгакова во всей его широте, а я сказал бы и идейном неприятии советской власти, можно было прочувствовать в экранизациях «Дней Турбинных» и «Бега». Кстати, за постановку «Бега» брался все тот же неугомонный Л. Гайдай, но из рамок комедии его не выпустило Госкино. Однако в начале 1970-х годов Леонид Иович вновь вернулся к Булгакову, на сей раз выбрав комедийную пьесу «Иван Васильевич». В результате – оглушительный успех фильма «Иван Васильевич меняет профессию» – одной из самых лучших советских комедий. Её посмотрело свыше 60 миллионов зрителей, которые косвенно, но все же приобщились к творчеству Михаила Афанасьевича Булгакова... Писатель Евгений Попов: «...Певец водки Венедикт – так дружно сочли недавние читатели “Мастера и Маргариты”, когда к ним в начале 1970-х со страшной силой стали прибывать самиздатовские листки с общим заголовком “Москва – Петушки”. Читатель всегда прав, читатель всегда ошибается» (36). Это сейчас мы, как и популярный писатель Е. Попов, ставим в один ряд эти разные, хотя и знаковые произведения. Но жил на свете человек, который терпеть не мог бессмертный роман Булгакова и страшно раздражался в разговоре с журналистами, если «Москва – Петушки» сравнивали с «Мастером и Маргаритой». Это сам Венедикт Ерофеев:

– Как вы относитесь к Булгакову? – спрашивает корреспондент Венедикта Васильевича.

- Прохладно. Мне не нравится. Я до сих пор не прочел «Мастера и Маргариту». Дохожу до 38 страницы и не могу, мне невыносимо скучно (37).

«(Ерофеев) Булгакова на дух не принимал. “Мастера и Маргариту” ненавидел так, что его даже трясло. Говорил: “Да, я не читал “Мастера”, я дальше 15 страницы не мог почесть!» (38).

И не прочел до конца своей жизни, “Театральный роман” ему больше нравился» (39).

Разумеется, Булгаков ничего не знал о появлении на свет нового критика его творчества – едва родился таковой, прославленный писатель почил в бозе. А вот станции Петушки Михаил Афанасьевич чужд не был, у него есть даже фельетон «Спектакль в Петушках»: «Вой стоял над Петушками! Стон и скрежет зубовой!!!» Да и некоторые персонажи «Москва – Петушки» были добрыми знакомыми Михаила Афанасьевича, например, знаменитая арфистка Вера Дулова, о чем упоминает его жена:

«29 января. (1938) Сегодня звонила днем Вера Дулова, приглашала нас первого на обед. Просила, чтобы М.А. привез и прочитал «Ивана Васильевича». Он отказался. Говорила, что на обеде будут Шостакович и Яковлевы» (40). А вот к авторам дилогии об Остапе Бендере В. Ерофеев относился с интересом и на досуге, тщательно штудировав записные книжки Ильфа, упорно постигал методологию его творчества.

Так или иначе, на свет появилась прозаическая поэма «Москва – Петушки». И она сразу прославила автора. Литературовед и друг Ерофеева В. Муравьев отмечает: «Машинопись пошла гулять в диссидентских кругах и имела бешенный “самиздатский” успех» (41). Книгу заметили и маститые писатели, например, Давид Самойлов: (Из подённых записей, 1972, 27.06): «Читаю “Москва – Петушки” В. Ерофеева. И позже (1982 г.): «Перечитывал “Москва – Петушки” Ерофеева.

Превосходное произведение. В нем есть чувство идеального...» (42). Вскоре книга вышла на Западе, но все же главным ее популяризатором оставался самиздат.

Здесь нужно немного для непосвященного молодого читателя пояснить, что такое «самиздат» – явление, которое особенно стало заметным с середины 1960-х годов. Тотальный контроль над литературным творчеством в СССР был продиктован осознанием государством важности печатного слова. Писатели, которые по разным причинам не могли прийти к компромиссу с властью (либо в принципе этот компромисс не искали), занялись самостоятельным распространением своих литературных произведений. Их тиражировали под копирку на пишущих машинках, реже на копировальных машинах, с произведениями знакомились по принципу «прочти и передай товарищу».

К процессу подключились тысячи энтузиастов, бесплатно распространявших подпольную литературу. И не только литературу – в самиздате ходили и политические воззвания, исторические труды, поэтические сборники... Процесс принял такой размах, что появился популярный анекдот: бабушка сидит и перепечатывает на машинке «Войну и мир»; на недоуменный вопрос «зачем она это делает?», отвечает: «Хочу, чтобы внучка познакомилась с творчеством Льва Толстого, ведь молодежь читает только то, что ходит в самиздате». Кстати, сам процесс перепечатки самиздата способствует запоминанию текста, а его запрещенность заставляет читателя обращать особое внимание на написанное автором.

Небольшая по объему, что весьма важно для самиздата с его трудоемкостью производства, остроумная, густо замешанная на ненормативной лексике книжка с самого начала имела большие шансы

на успех. Но, прежде всего, своей популярностью она обязана яркому таланту автора, представившего целую галерею типов современного ему общества, превратив обычную электричку в символ несущегося в никуда общества. Рецензент «Аргументов и фактов» Д. Вересов:

«Мы, начитанная ленинградская молодежь, наряду с обязательной (и максимально приближенной к первоисточнику) поездкой по бессмертному маршруту “Москва – Петушки”, уже в конце 1970-х включали в программу рейд по точкам общепита а-ля Кармадон и компания»^[7] (43). Уже в наше время анонимный рецензент в Интернете – будем считать, что это голос народа – ёмко сформулировал суть произведения Ерофеева: «“Москва – Петушки” – это книга вне времени, вне режима и вне власти. Эта книга о человеке русской национальности, таком, каким он является в самой своей глубине, под наносной модой, социальным положением и пр. И одно то, что Ерофеев смог признать эту “характерность” и показать ее в своей книге (да как! стиль великолепен до такой степени, что и сегодня, спустя почти сорок лет после написания, роман разбирается на цитаты), уже ставит автора на голову выше всех его современников» (44).

Но не только анонимы, но и звезды нынешнего литературного небосклона отдают должное Венедикту Ерофееву. Т. Толстая пишет в «Книжном обозрении», что поэма «Москва – Петушки» является «гениальным русским романом второй половины 20-го века... В. Ерофеев сказал о России точнее, глубже, с большей любовью, поэзией, жалостью, чем кто бы то ни было из пишущих в наши дни. Бессмертное произведение!» (45). А культовые поэты современности – Пригов, Иртеньев и компания подарили Венедикту Ерофееву в знак признания его заслуг свой стихотворный сборник с

многозначительной надписью: «Мы все вышли из
«Петушков». Преемственность, однако.

IV

Итак, три литературных героя (Бендер, Мастер и Веничка), три кластера отечественной истории: 1920-е – 1930-е, 1950-е – 1960-е годы, и, наконец, эпоха 1970 – 1980-х. То, что советские граждане шутливо классифицировали на манер искусствоведческого деления как «ранний репрессанс», «поздний реабилитанс», «современный одобрямс». Смешно, но в целом верно.

Вся самокритичность советской культуры порождена противоречием между задуманным светлым идеалом и окружающими реалиями советского социализма. По сути, в приведенном выше квазиинтеллектуальном делении истории СССР отражены основные этапы развития советского общества и его культуры. Сначала бурное революционное прошлое со всеми его социальными экспериментами и человеческими жертвами, яростными спорами и свержением всех авторитетов (1920-1930-е годы) вступило в конфликт с упорядоченным сталинским государством, и этот конфликт интересов закончился трагедией для сотен тысяч интеллигентов.

Последующая эпоха характеризуется тем, что из инструмента революционного преобразования культура постепенно превратилась в застывший канон. Ориентируясь на этот эталон, идеология стремилась внести совершенные формы жизни не только в личную, но и в общественную жизнь. Такое отношение было характерно для советского общества вплоть до 1960-х – начала 1970-х годов.

«Поколение А. Ахматовой и Б. Пастернака, А. Толстого и В. Гроссмана формировалось не в эпоху целенаправленной лояльности. А потому и не имело

наследников», – считает политолог А. Уткин (46). А без наследников со второй половины 1970-х культура начала утрачивать силу своего влияния как высокий ориентир в реальной жизни людей – социализм и порожденная им культура оказались в тупике.

Дальнейший бунт литературных одиночек только подтверждал правило – восстание инакомыслящих возможно, творческое и философское осмысление мировых процессов – нет. Его отсутствие заставляет отечественную интеллигенцию вновь склониться перед опытом Запада, отречься от собственной традиции и заняться экстренной модернизацией общества, т. н. «перестройкой».

Важно отметить, что после XX съезда КПСС в стране вызревает когорта тех, кто позже был назван «шестидесятниками» – слой прозападно мыслящей интеллигенции, своеобразное восстановление (на новой основе) лагеря традиционных русских западников. Трудно переоценить значимость этого явления. Именно «шестидесятники» в 1980-1990-е годы составят пул советников и экспертов, которые развернут корабль советской государственности в сторону сближения с Западом. Именно при их идеологическом воздействии началась эпоха новых мифов, которые интеллигенция настойчиво внедряет в народное сознание: стереотипы о Сталине, о XX съезде, «шестидесятниках», «перестройке» и т. д.

Повышенная внушаемость современной интеллигенции связана не только с неустойчивостью ее социального статуса, метанием между интеллигентностью в классическом понимании этого слова и интеллектуализмом в буржуазном значении термина, но и с «катастрофичностью» мышления. На протяжении столетия бесконечные революции, войны, репрессии и перестройки выработали у нас привычку к гиперболизации явлений действительности,

размежеванию и радикализации мнений. Социолог С. Кара-Мурза: «Говорят: СССР рухнул под грузом противоречий. Противоречия, мол, – всему причина, а перестройка лишь *освободила* их из-под гнета режима, и это хорошо! По этой логике, дом сгорает потому, что деревянный, а не потому, что какой-то негодяй плеснул керосина и подпалил. Поджигатель, мол, лишь освободил свойство дерева гореть» (47).

Кризис культуры, а именно его мы наблюдаем сегодня на пространстве бывшего СССР, всегда связан с кризисом философских, метафизических оснований. Речь идет об устойчивых стереотипах поведения, воспитанных самой культурой образованной части общества. Тридцать лет перестройки, независимости и реформ в нашей экспериментальной стране обнаружили небывалый отрыв интеллигенции от народа во взглядах и установках по множеству важных вопросов.

Истинная история часто не такая, какой ее описывают писатели или историки. Например, вандалы были утонченным народом, ценившим музыку и литературу, но, благодаря латинским авторам, остались в истории безжалостными разрушителями Рима, а само их имя стало нарицательным. Попробуем сравнить эмоциональную, живую часть истории с объективными цифрами и фактами, и осмыслим, насколько велика власть эмоций в нашем современном восприятии прошлого. Попробуем разобраться, где интеллигенция, сознательно или неосознанно, говорит неправду, в первую очередь, **себе и о себе**.

Глава 1

Пьянящий воздух свободы

По городам когда-то необъятной родины бродят толпы интеллигентных с виду людей, украшенных оранжевыми или белыми ленточками, протестующих против всего – от загрязнения природы до узурпации власти; защищающих вся – от животных до свободы слова. Когда они произносят пышные слова о создании гражданского общества, я невольно вспоминаю В. Ерофеева: «Русская интеллигенция есть группа, движение, традиция, объединяемые идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей» (1). Перед нами, если вдуматься, совершенно нелепая претензия индивидов, которые убеждены, что если бы бытие великой страны осуществлялось с их субъективными «идеями», наша жизнь стала принципиально более «позитивной», нежели в действительности. То есть, если бы люди пошли за носителями неких идеалов, то всё бы быстро нормализовалось и зажили бы мы припеваючи.

«Всё сложно, а просто в голове у дурака», – говорил Лев Гумилев. Нелепо предполагать, что получив вожаемую «свободу слова», мы построим справедливое общество. И «демократия» не является панацеей. Но человек, уже поверивший в некий миф, начинает видеть реальность под определенным углом зрения. Такой взгляд обуславливает выборочное восприятие фактов и явлений действительности. Иными словами, он видит только то, что хочет или готов увидеть. Если индивидуум готов поверить в существование полной «свободы слова» и в то, что она основополагающе влияет на социальную «справедливость», значит – он ставит во главу угла свои собственные ценности, возможно, он журналист,

писатель или представитель искусства. Ради свободы галдежа в телевизоре он готов даже терпеть некоторые неудобства. Между тем, крестьянину «свобода слова» до лампочки, для него «справедливость» – возможность трудиться и получать хорошую оплату за урожай. В том же смысле можно высказаться о рабочем и о других людях физического труда. И они тоже по-своему будут правы. Человеческие мнения, формирующиеся на основе очень ограниченной информированности, изменяются только после жестких аргументов очевидности, требующих совершить аналитическую переоценку. Это касается и интеллигенции, и народа.

К интеллигенции нередко причисляют всех людей умственного труда, но в действительности к ней принадлежат только те, кто, так или иначе, проявляют свою политическую и идеологическую активность.

В целом, интеллигенция – необходимая посредница между именно тем народом и именно тем государством, которые, по необходимости, существуют в России, Украине, Белоруссии – во многом похожих стран постсоветского пространства, выросших в единой культурной парадигме на основе общих социальных мифов. Нынешние мифологемы интеллигенции базируются (пока еще базируются) на наработках т. н. «шестидесятников», общественно-политического движения, порожденного эпохой «оттепели», сначала исповедовавших идеи «очищения» социализма от перегибов советского диктатора Сталина, либерализации внутренней жизни в СССР, пропагандировавших большую открытость общества по отношению к Западу. Часто «шестидесятники» также воспринимаются и вне политического контекста, просто как представители одного поколения, вошедшего во взрослую жизнь после смерти Сталина. Мы говорим о первых.

Беседуют культовые персонажи эпохи перестройки – журналистка и правозащитница Алла Гербер берет интервью у барда Юлия Кима:

– Но скажи, разве сегодня мы не такие же? Разве, прости за высокопарный стиль, наши души не в рубцах, наша совесть не износилась с тех пор от варварского с ней обращения? А в **застрельщиках перестройки все те же неистребимые шестидесятники...** (Выделено мной – К.К.)

– Хороший был заряд, его хватило на двадцать лет! Поем до сих пор, никак не можем остановиться... (2)

Алла Гербер считает, что с ее совестью обходились «варварски», покрывали «рубцами»... Так ли это на самом деле? Понятно, что факты, специфически отобранные сознанием человека и воспринятые им в русле мифа, лишь подтверждают его верования, идеологические установки и точку зрения на мир. Нас же сейчас интересует иное: что это за особый заряд такой, что его хватило на два десятилетия?

Однажды у известного русского писателя Ю. Нагибина спросили, почему «шестидесятники» так упрямо требовали возвращения к «ленинским нормам» жизни? «Мы верили, что там была правда», – последовал ответ (3). Юрий Нагибин, которого я дальше буду часто цитировать, писатель не рядовой – и талантливый, и очень популярный среди современной ему интеллигенции, оставивший после себя поразительные по откровенности дневники. Говоря о преемственности культуры «шестидесятников», поэт Андрей Вознесенский в интервью Дмитрию Быкову говорил: «...Вообще люди 1920-х годов относились ко мне лучше, чем многие современники, в них жила благодарная память об авангарде, о Маяковском, и я многим обязан их доброму отношению. Тот же Катаев, основатель “Юности”, открывавший шестидесятников... Чуковский, которого я еще застал в Переделкине...» (4)

Вспоминая другого знакового поэта – Евгения Евтушенко – его умный и язвительный коллега Давид Самойлов отмечал: «Главная черта сходства Хрущева и Евтушенко состоит в том, что оба они романтики. Они оба формулируют ретроспективный идеал (Хрущев – “возврат”, Евтушенко – романтику Гражданской войны и первых лет революции)» (5). Как видим, связь с 1920-ми годами декларировалась, ею гордились, почитали за базис культуры нового поколения.

Это мнение о неразрывной духовной связи 1960-х и 1920-х годов подтверждают наблюдения вдовы поэта Осипа Мандельштама; в шестидесятые годы Надежда Мандельштам отмечала в своих мемуарах: «Сейчас многие хотели бы соединить двадцатые годы с сегодняшним днем и восстановить добровольное единство, которое создавалось в те дни. Люди, уцелевшие от двадцатых годов, ходят сейчас среди новых поколений и всеми силами стараются им внушить, что тогда был пережит неслыханный расцвет – наука, литература, театр! – и если бы все шло намеченным тогда путем, мы бы уже взобрались на самые вершины жизни... Все, чье тридцатилетие выпало на двадцатые годы, еще и сейчас призывают вернуться в ту эпоху и снова, уже “не допуская никаких искажений”, пойти открывавшейся им оттуда дорогой» (6).

Иначе говоря, участники революции и культурная элита первых лет Советской власти не признали себя ответственными за то, что произошло после, при Сталине, и звали назад в благословенные 1920-е. Однако мемуаристка беспощадно разоблачает революционных романтиков: «...именно люди двадцатых годов разрушили ценности и нашли формулы, без которых не обойтись и сейчас: “молодое государство”, “невиданный опыт”, “лес рубят – щепки летят”... Каждая казнь оправдывалась тем, что строят

мир, где больше не будет насилия, и все жертвы хороши ради неслыханного “нового”. Никто не заметил, как цель стала оправдывать средства, а потом, как и полагается в таких случаях, постепенно растаяла». И далее самое важное: «На самом деле двадцатые годы – это период, когда были сделаны все заготовки для нашего будущего: казуистическая диалектика, развенчивание ценностей, воля к единомыслию и подчинению. Самые сильные из развенчивателей сложили головы, но до этого они успели взрыхлить почву для будущего. В двадцатые годы наши карающие органы еще набирались сил, но они уже действовали. Тридцатилетние настойчиво проповедовали свою веру. Уговаривая, а потом, страдая, они повели за собой целые толпы в следующую эпоху, где отдельных голосов уже не было слышно» (7).

Они называли себя «Детьми XX съезда», подразумевая, что разоблачения Сталина взрастили их вольнолюбивый дух. Однако шестидесятники и по настроению, и по возрасту дети двадцатых годов, а не XX съезда. И это не случайно: двадцатые годы – время рождения именно советской, «красной» интеллигенции^[8].

Молодое государство настойчиво создавало свою, преданную именно ему, когорту специалистов, заменяя, порою насильственно, специалистов старой формации. И здесь начинаются разночтения, кто и каким образом является наследником великой русской культуры, а значит – имеет моральное право судить о пути страны в её исторической перспективе. В. Ерофеев: «Советская интеллигенция истребила русскую интеллигенцию, и еще претендует на какое-то наследство...» (9).

Существует ли преемственность от русской к советской интеллигенции – вопрос не просто нравственный, но имеющий конкретное политическое

содержание; был ли пройденный путь ошибкой, а если ошибкой, то кто должен нести за нее ответственность? Это не частный интерес прослойки интеллектуалов. Интеллигенция всегда мыслила себя глаголящей частью народа. Наше интеллигентное сообщество, как правило, выдвигало не столько собственные интересы своих сочленов, сколько интересы Народа (пусть по-разному понимаемые различными интеллигентскими течениями). Отвергать ли для пользы народа существующие наработки, как недейственные, либо выдвинуть принципиально новую модель развития?

А. Вознесенский жаловался от имени русской интеллигенции всех времен и народов: «Что это в последнее время обвиняют интеллигенцию – она, мол, социализм придумала, а теперь и вовсе страну разрушила? Это не мы, это полуграмотные террористы, а никакая не интеллигенция». Ага! Герцен, Чернышевский, Плеханов да Бухарин, значит – «полуграмотные террористы». Однако так ли уж злонамеренны были эти высокообразованные люди? Неужели они хотели народу только зла, а нынешние интеллектуалы – исключительно добра?

«По отношению к советскому строю и ко всему советскому проекту наш нынешний культурный слой совершил, на мой взгляд, огромную историческую нечуткость и несправедливость, – пишет известный социолог С. Кара-Мурза в своей фундаментальной работе «Советская цивилизация». – Из этой несправедливости вытекает огромная ошибка, которая может нас погубить. Ныне живущая интеллигенция не проявила интереса и воли, чтобы понять суть советского строя через слово культуры, она увлеклась вторичными, а часто всего лишь политическими вопросами» (10).

Трудно с ним не согласиться: интеллигенция, самым своим статусом призванная изучать и определять культурный код общества, сегодня больше интересуется политическими шоу, нежели познанием глубинных процессов. Поверхностное осмысление приводит к простоте, такой знакомой простоте решений: отсюда примитивность политических лозунгов и целей. Легкодоступность и легкоусвояемость пропагандистского продукта приводит к своего рода

привыканию. Необходимая доля перца, уксуса, усилителей вкуса в потребляемой информации присутствует (за рецептом следят опытные повара – политики, журналисты и редакторы), свои мозги как бы имеются – «чего же боле»? Мало кто задумывается, что современные методы управления позволяют рассчитать и вызвать практически любую необходимую реакцию даже хорошо образованного человека, причем в необходимой последовательности и интенсивности. И рычаги управления находятся в руках отнюдь не бескорыстных граждан, а людей, заинтересованных в продолжении процесса эксплуатации человеческих ресурсов, недр, глобального управления экономикой. Можно сколько угодно переживать у телевизора – мир оттого не изменится. Как не изменится порядок вещей в мировой экономике от уличных акций протеста, которые, к слову сказать, часто провоцируются именно сильными мира сего для свержения, скажем, неугодного правительства.

Явление не новое. Борьба с несправедливостью всегда почиталась важной функцией передовой части общества. Во времена становления марксизма образованные люди с ужасом наблюдали за беспощадными реалиями капитализма (а в некоторых странах, вроде Российской империи, помноженными вдобавок на остатки феодализма). Для многих выходом представлялась социальная доктрина, подразумевавшая передачу средств производства из частных рук в руки общества – государства, крестьянской общины, рабочего самоуправления – не важно. Важен сам принцип не стихийного, а спланированного управления процессом создания национальных богатств и их такого же разумного распределения.

В конце XIX – начале XX веков мода на социалистические идеи быстро охватила всю Европу.

«Неудачники, непонятые, адвокаты без практики, писатели без читателей, аптекари и доктора без пациентов, плохо оплачиваемые преподаватели, обладатели разных дипломов, не нашедшие занятий, служащие, признанные хозяевами негодными, и т. д. – суть естественные последователи социализма», – классик социологии и очевидец описываемых событий француз Лебон ехидно описывает современных ему социалистов. – «В действительности они мало интересуются собственно доктринами. Все, о чем они мечтают, это создать путем насилия общество, в котором они были бы хозяевами. Их крики о равенстве и равноправии нисколько не мешают им с презрением относиться к черни, не получившей, как они, книжного образования» (11).

Остроумие классика, описывающего реалии Французской Республики, не совсем оправдано. Чудовищная эксплуатация людей, расслоение общества, захватническая политика великих держав вызывали протест не только у неудачников, но и у любого здравомыслящего человека, думающего о будущем общества. Нельзя расслаблено отдыхать на готовой взорваться бомбе. Другое дело, что любая набирающая популярность идея часто превращается в моду, увлекает и неуравновешенных фанатиков, и откровенных глупцов, и маргиналов, рассчитывающих в случае удачи чем-нибудь поживиться.

Конечно, и в России были увлеченные социалистическими идеями люди, причем, в немалом количестве. Показательно, что само слово «шестидесятники» оттуда, из XIX века, так называли разночинцев-демократов. Так что преемственность имеется уже на уровне терминологии. Вот как описывал массовое появление тогдашних «шестидесятников» на сцене истории советский этнограф и историк Л. Гумилев: «В XVIII веке Екатерина II освободила дворян

от обязательной воинской службы, но в 1812 они еще дрались, и очень здорово дрались, потому что сохранилось поколение воинов-пассионариев. А дальше началось: “что делать?”, “куда идти?”, – и тут оставшимся без дела пассионариям подсунули масонские лозунги типа “Свобода, равенство, братство”. На них клюнули все эти клоповоняющие базаровы, волоховы. В общем, образовался у нас в XIX веке западнический субэтнос, который все время расшатывал устои государства»^[9] (12).

Л. Гумилев видел в этом целую систему координат, в которой догнивал дореволюционный уклад русской интеллигенции, и в своих оценках он не одинок. Писатель А. Толстой определял это умонастроение как «интеллигентщина, расхлябанность, чеховщина, которые характерны для 80-х годов прошлого (XIX – К.К.) столетия» (14). И вот у этой публики появилась великая цель – освобождение народа. Не находящая себе место в монархическом и клерикальном государстве свободомыслящая интеллигенция возбудилась – в ее существовании появился Высший Смысл. Н. Бердяев: «Невозможность политической деятельности привела к тому, что политика была перенесена в мысль и литературу. Литературные критики были властителями дум социальных и политических. Интеллигенция приняла раскольничий характер... она жила в расколе с окружающей действительностью, которую считала злой, и в ней выработалась фанатическая раскольничья мораль» (15). Смысл жертвенности, страдания, самоотвержения, и – непременно – трагической развязки.

Счастливая концовка не в традициях нашей великой литературы и замечательного кино. Блистательно и парадоксально описана эта связь у В. Ерофеева, который, к слову сказать, учение Л. Гумилева в свое

время внимательно штудировал. Тем, кто не читал «Москва – Петушки», подскажу, что диалог происходит в разгар пьянки, когда наши люди по обыкновению переходят к обсуждению высоких материй (больше подсказывать не буду):

– Я очень люблю читать! В мире столько прекрасных книг! – продолжал человек в жакетке. – Я, например, пью месяц, пью другой, а потом возьму и прочитаю какую-нибудь книжку, и так хороша покажется мне эта книжка, и так дурен я кажусь сам себе, что я совсем расстраиваюсь и не могу читать, бросаю книжку и начинаю пить, пью месяц, пью другой, а потом...

– погоди, – тут уж я его прервал, – погоди. Так что же социал-демократы?

– А вот и притом! С этого и началось все главное – сивуха началась вместо клико! Разночинство началось, дебош и хованщина!.. Все эти Успенские, все эти Помяловские – они без стакана не могли написать ни строки! Я читал, я знаю! Отчаянно пили! Все честные люди России! И отчего они пили? – с отчаяния пили!.. Социал-демократ – пишет и пьет, и пьет, как пишет. А мужик – не читает и пьет, пьет, не читая... А теперь – вся мыслящая Россия, тоскуя о мужике, пьет не просыпаясь! Бей во все колокола, по всему Лондону – никто в России головы не поднимет, все в блевотине и всем тяжело!.. И так – до наших времен!

Я начинаю активно цитировать выбранных нами авторов Ильфа, Петрова, Булгакова, Ерофеева. Смысл цитат в том, чтобы проиллюстрировать ключевые аспекты сознания среднего советского интеллигента на базе его культовых книг, которые часто весьма адекватно отражали действительность – в этом-то и секрет их многолетней популярности. Ну а для серьезности и наукообразности, чтобы вы не заподозрили меня в легковесности, еще одна развернутая цитата, на этот раз не из подгулявшего

Венечки, а из вполне серьезной работы «Интеллигенция и свобода» классика советской культурологии М. Лотмана: «В самой природе русской интеллигенции изначально заложена некая двойственность: с одной стороны, она является результатом попытки создания образованной прослойки общества по европейскому образцу... С другой стороны... помещение ее в принципиально иной культурный контекст приводит к ее перекодировке в терминах, специфических именно для русской культуры, трансформации, в результате которой многие из исходных компонентов были утрачены, а некоторые добавлены, и, что еще важнее, большинство акцентов было смещено, например, “передвинуту” из интеллектуальной сферы в **сферу нравственную**» (16).

Итак, мы имеем некоторую раздвоенность: интеллигенция, по сути, подражательна Западу (а значит, и новомодным западным идеям), но в результате попадания на отечественную почву западные идеи начинают отсвечивать новыми красками. Наш социализм – это не западная интеллектуальная конструкция, но моральный императив.

Кто-то считает такой ход вещей достижением, вознесшим Советский Союз на вершины мирового господства, кто-то усматривает в отходе от западной концепции трагедию, обернувшуюся миллионами жертв. Но мало кто говорит о том, что взрастившая социалистическую революцию во благо народа интеллигенция, собственно к народу никакого отношения почти не имела. И, в первую очередь, не имела отношения к основной массе населения – крестьянству. Насколько далеки от настоящего возделывания земли были хождения за плугом Л. Толстого, так и маниловские проекты социального государства, которым бредили передовые граждане, оказались далеки от реальной жизни и истинных

чаяний народа, ради которого они все сочинялись. Но те, кто не принимал новомодных словес о «всеобщем счастье» в случае выполнения тех или иных условий, те, кто предполагал большую сложность социальных процессов, автоматически попадал в число ретроградов, консерваторов, шовинистов, короче – врагов «прогрессивного».

Удивительную моду мы наблюдаем в начале XX века среди образованных слоев Российской империи: интеллигенты, отрицающие интеллигентов, интеллект, презирующий интеллект и полученное буржуазное образование. Радикалы порывали с прошлым, считая себя людьми новой формации, лучше других знающими, что необходимо окружающим. Но, как и во всякой секте, мнение вне своего круга ими не учитывалось. Оплакивая утраченную в результате кровавой революции страну, П. Струве справедливо указывает: «Россию погубила безнациональность интеллигенции, единственный в мировой истории случай – забвение национальной идеи мозгом нации» (17). Согласно мнению «передовых» слоев общества, масса косна и консервативна, просветить ее и привести к прогрессивным идеям – есть долг мыслящего патриота. То, что у массы есть свой накопленный многими поколениями опыт, предпочтения и коллективный разум, реформаторам как-то в голову не приходило. И не приходит.

Революции 1917 года первоначально являлась эманацией либеральной гуманитарной интеллигенции. Красивые слова, лозунги... Однако уже в самое ближайшее время стало очевидно, что поэтическая составляющая любой революции не отменяет вопросы функционирования экономики, государственной бюрократии, воинской дисциплины. Того, что всегда противно настоящему революционному романтизму. Писатель М. Пришвин в своих дневниках заметил: «Разум русского политического сектанта (интеллигента)... это особое болезненное состояние, в котором... личность разрушается или в пассивном анализе (меньшевики), или в скором действии по схеме, созданной этим «разумом» (большевики)» (18). Что лучше: активное действие или анализ, революция или эволюция? Различное политическое толкование актуальных вопросов различными частями общества и силовое решение вопроса путем Гражданской войны и последующих репрессий надолго загнали проблему внутрь, позже трансформировав ее в проблему взаимоотношений государственной бюрократии и творческой интеллигенции. Но государство – это паровая машина для реалистов, а не парусник для романтиков.

Государство нуждалось в практиках, в управленцах. По мере воссоздания государственной машины (применительно к периоду 1920-х гг.), вопрос отношений власти и интеллигенции стал вопросом взаимоотношения двух технических подвидов – интеллигенции, находящейся у власти и якобы выражавшей интересы «трудового народа», и прочих, оставшихся вне процесса. Причем, первые,

«победители», отличались крайней степенью нетерпимости и самоуверенности, продиктованной их прогрессистским воспитанием. Бессмертная фраза: «Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентов, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. А на деле это не мозг, а говно». Автор – потомственный русский дворянин, интеллигент до мозга костей В. Ульянов-Ленин. Проще всего обидеться, дескать, «сам дурак». Но, положив руку на сердце, так уж ли неправ оказался вождь пролетариата насчет «лакеев капитала»? [\[10\]](#)

Что могло объединить эти две интеллигенции – «передовую», захватившую власть, и всю прочую? На заре Советской власти, в 1919 году отец евразийства В. Вернадский писал: «Сейчас главнейшей силой, спаивающей новое русское государство, будет являться великая мировая ценность – русская культура во всех ее проявлениях» (19). Культура! Распространение ее в огромной, почти неграмотной стране! Казалось, эта высокая цель, будет признана общей всеми, ибо просвещение народа испокон века считалось важнейшим вопросом преобразования государства на новых, прогрессивных основах. Проверка истинных чувств наступила быстро: выяснялось, что не так сей народ хорош, как снилось дореволюционным барышням. И офицеров на штыки поднимал, и усадьбы жег, и желчных, полных ненависти к соотечественникам слов И. Бунина в «Окаянных днях» ох как заслужил.

Не был народ ангелом или богоносцем. И многие, особенно в лагере проигравших Гражданскую войну, остро в нём разочаровались. Остались либо самые верные, не боявшиеся черной работы, либо те, кто просто не мог этой работы избежать. Отмечая пафос социального творчества 1920-х годов, надо понимать,

что массы создавали новые общественные отношения противоречиво и зачастую примитивно, в меру собственных представлений и сил. Однако большевики, в отличие от либеральной интеллигенции, не отшатнулись, не испугались противоречия между низким уровнем культуры народа и необходимостью включения его в процессы модернизации страны.

Большевики (по сути, радикальные левые интеллигенты) почти насильно втягивали в культурную революцию огромные массы простого люда – народа, который с давних времен видел в образованности только барскую забаву, а порой и просто враждебную силу. Вспомним, как в классическом советском кинофильме «Чапаев» главный герой, глядя на идущих парадным строем в «психическую атаку» белых офицеров, произносил только одно слово – «интеллигенция». Культурная революция потому и стала процессом противоречивым, разнонаправленным, поскольку на фоне всеобщего бескультурья и малограмотности знания, которыми обладали образованные люди, выглядели, как элитная собственность, которую невозможно конфисковать.

Новое государство постоянно балансировало на грани необходимости и ненависти. Необходимости в квалифицированных специалистах и ненависти к их прошлому. Большевики в своем фанатичном неприятии свергнутого строя отправляли на свалку истории тех, кто составлял костяк дореволюционного государства – чиновников, преподавателей, офицеров. Среди нищих 1920-х годов не редок был интеллигент «из бывших», который на французском, немецком и английском языках просил на хлеб, протягивая руку за подающим^[11].

Поначалу бывшая интеллигенция принципиально не принималась в расчет новыми строителями мира. Ей

предоставили возможность прозябать на периферии общественного сознания, как монархисту Хворобьеву из «Золотого теленка»: *«Он, когда-то попечитель учебного округа, принужден был служить заведующим методологическо-педагогическим сектором местного Пролеткульта. Это вызывало в нем отвращение. До самого конца своей службы он не знал, как расшифровать слово “Пролеткульт”, и от этого презирал его еще больше. Дрожь омерзения вызывали в нем одним своим видом члены месткома, сослуживцы и посетители методологическо-педагогического сектора».*

Слово «интеллигент» стало синонимом никчемного, далекого от жизни человека, чуждого трудящимся массам. «Бывшие», может, и рады были бы служить социалистическому отечеству, но послереволюционное поколение интеллектуалов их всячески отталкивало, видя в них политическую опасность большую, нежели потенциальную пользу.

Отсюда впадение в другую, антисоветскую крайность: дескать, кого отринула Советская власть – сплошь хорошие и дивные люди. Вот здесь и кроется одно из зерен грядущих разночтений. Сегодня уже принято с сочувствием относиться к духовным исканиям одного из самых знаменитых персонажей Ильфа и Петрова – незабвенного Васисуалия Лоханкина. Хотя именно подобные «искатели справедливости» внесли в дореволюционное время немалую лепту в радикализацию русского общества и дискредитацию духовных ценностей, «так что обличители соавторов могли бы не столь поспешно и безоговорочно принимать Лоханкина в свои ряды и брать под защиту» (21). Лоханкин – это не просто собирательный образ. «Роман “12 стульев”, надеюсь, все из вас читали, – сейчас я цитирую Валентина Катаева, брата одного из соавторов романа Е. Петрова. – Замечу лишь, **что все**

без исключения его персонажи написаны с натуры, со знакомых, друзей (выделено мной – К.К.)» (22). Выписан и Лоханкин, типаж которого был массово представлен в 1920-е годы.

Бессмертна сцена насильственного кормления Васисуалия:

- Это глупо, Васисуалий. Это бунт индивидуальности.

- И этим я горжусь, - ответил Лоханкин подозрительным по ямбу тоном. - Ты недооцениваешь значения индивидуальности и вообще интеллигенции...

- Ешь, негодяй! - в отчаянии крикнула Варвара, тыча бутербродом. - Интеллигент!

Интеллигенция принялась с интересом изучать свое отражение, изучать сочувственно, сопереживая, ведь «сопереживание» тоже показательная способность настоящего интеллигента. Лоханкин в глазах инакомыслящих становится едва ли не положительным героем, человеком, несправедливо пострадавшим от бесчеловечного режима. Сочувствующих пытался одернуть еще Аркадий Биленков - одна из звезд советского литературоведения 1950-1960 годов: «Ильф и Петров... осмеяли “Васисуалия Лоханкина и его значение”, “Лоханкина и трагедию русского либерализма”, “Лоханкина и его роль в русской революции” Авторы осуждали Лоханкина со всей решительностью эпохи, в которую создавались их книги. **И они, безусловно, были правы** (выделено мной – К.К.). Такого интеллигента и такое значение его, несомненно, следовало осмеять. Писатели видели вокруг себя... большое количество прототипов. А что не увидели, восполнили самоанализом» (23).

Двадцатые годы требовательно заставляли идти за собой, в то время, когда многим, потрясенным революцией, Гражданской войной и сменой общественного строя, хотелось просто жить. Но они

сразу выпадали из бурно вертевшейся карусели общественной жизни и теряли все. В. Шкловский в газетной рецензии на «Золотого Теленка» указывал: «Золотой теленок» совсем грустная книга... Люди на автомобиле (Бендер и компания – К.К.) совсем живые, очень несчастливые... А в литерном поезде у журналистов весело. Весело и у вузовцев... Дело не в деньгах, не в них несчастье, дело в невключенности в жизнь» (24).

Снова в отечественную литературу возвращается хорошо знакомый ей тип «лишнего человека». И этот «лишний» прекрасно сопрягается с самоощущением множества людей. Возьмем, к примеру, встречу Остапа со студентами: *«В студентах чувствовалось превосходство зрителя перед конференсье. Зритель слушает гражданина во фраке, иногда смеется, лениво аплодирует ему, но, в конце концов, уходит домой, и нет ему больше никакого дела до конференсье. А конференсье после спектакля приходит в артистический клуб, грустно сидит над котлетой и жалуется собрату по Рабису^[12] – опереточному комику, что публика его не понимает, а правительство не ценит. Комик пьет водку и тоже жалуется, что его не понимают. А чего там не понимать? Остроты старые, и приемы старые, а переучиваться поздно».*

Реванша пришлось ждать слишком долго, а потому в современных оценках дилогии нынешние бунтари не стесняются: «Двенадцать стульев» – обывательский ночной горшок, слизь и блевотина», – ярится Э. Лимонов (25). Более научнообразно рассуждает И. Шафаревич: «Книги Ильфа и Петрова, приобретшие такую громадную популярность, были далеко не безобидным юмором. Говоря коммунистическим языком, они “выполняли социальный заказ”, а по более современной терминологии “дегуманизировали” представителей

чуждых, “старых” слоев общества дворян, бывших офицеров, священников. То есть представляли их в таком виде, что их “ликвидация” не будила никаких человеческих чувств» (26). И в последнем утверждении доля истины имеется.

Интеллектуалы советского призыва имели за спиной опыт Гражданской войны и ЧК. Например, Е. Петров откровенно признавался: «Я вел следствия, так как следователей судебных не было, дела сразу шли в трибунал. Кодексов не было, и судили просто: “Именем революции”...» (27). А ведь такие слова, если вы забыли, произносились при расстреле. У многих выдвиненцев большевиков руки были по локоть в крови своих сограждан, виновных лишь в том, что они не приняли власть большевиков, а чаще всего расстрелянных просто как заложники.

Да и старший брат Е. Петрова – знаменитый писатель В. Катаев – тоже всякого насмотрелся: до революции ученичествовал у И. Бунина, служил офицером, награжден за храбрость и едва не был расстрелян красными. «В нем есть настоящий бандитский шик», – говорил о Катаеве тонко чувствовавший людей О. Мандельштам^[13]. Биографии авантюристов – братьев Катаевых – лишь песчинки из многих тысяч таких же, поднятых волной революции. Удивительное сборище пассионариев начинало возводить советский культурный проект в противостоянии со старой интеллигенцией, разномастными лоханкиными, преображенскими, барменталями...

«Я ловлю себя на мысли, что рай будущего, коммунистический рай будет состоять из одесситов, похожих на Багрицкого»^[14], – как-то заметил один из самых заметных писателей «одесской школы» И. Бабель. К школе относились сам И. Бабель, Э.

Багрицкий, В. Катаев, И. Ильф, Е. Петров и многие другие из первого поколения истинных советских писателей. «Коммунистический рай» предназначался для них.

Молодые советские писатели, и прочая «красная интеллигенция» чувствовали себя при новом положении дел неплохо.

Они, как могли, свой строй пропагандировали и защищали, в том числе и словом. Эта, выдвинутая Советской властью публика, категорически не принимала остатки русских дореволюционных классов. В них она видела и конкурентов в стране, где грамотность была на вес золота, и идеологических противников, которые не смирились с воцарением новых хозяев жизни. У власти закрепились лишь те «из бывших», кто собственно входил в организацию большевиков, состоял в родственных связях с коммунистической элитой или очень громко декларировал ей свое одобрение, вроде поэтов В. Маяковского или В. Брюсова. Шестидесятники середины XX века являлись идеологическими наследниками этих победителей, «комиссаров в пыльных шлемах».

IV

Отброшенная ходом событий дореволюционная интеллигенция в массе своей погибла под колесами победоносной колесницы новых правителей – либо в битвах Гражданской, либо в нищете послевоенных лет. Сотни тысяч эмигрировали, как Ф. Шаляпин или А. Вертинский^[15]. Но оставались и другие ровесники века, люди образованные, интеллигентные, свободомыслящие – не эмигрировавшие, не погибшие, находившиеся в расцвете творческих сил. На них в 1920-е и начале 1930-х годов шла непрерывная охота. В пьесе А. Афиногенова «Чудак» один из героев говорит: «Ты забыл, верно, кто мы такие? Мы – канцелярские крысы, беспартийные интеллигенты... Нам нужно молча идти своей дорогой»^[16] (28). Один из них – бывший белогвардейский военврач М. Булгаков.

В мае 1931 года Булгаков писал своему другу и коллеге В. Вересаеву: «Занятость бывает разная. Так вот, моя занятность неестественная. Она складывается из темнейшего беспокойства, размена на пустяки, которыми я вовсе не должен был бы заниматься, полной безнадежности, нейрастенических страхов, бессильных попыток. У меня перебито крыло» (29). Отчаяние писателя продиктовано своей очевидной не востребоваанностью, враждебным отношением новой интеллигенции ко всему, что было дорого Михаилу Афанасьевичу. Но притом страна прекрасно без Булгакова обходилась – жила, строила, любила.

Творческая интеллигенция старой формации была покорена сравнительно быстро: к началу 1930-х недовольные либо убрались из страны, либо прикусили языки, либо втоптаны в грязь. Сложнее власти приходилось с технической интеллигенцией, которая

обладала прочными и, самое главное, остро необходимыми в тот момент знаниями (особенно во время «великого рывка» первых пятилеток). И на протяжении долгих лет техническая элита страны составляла некую автономию – власть с ней считалась, хотя и неуклонно размывала, заменяя старых специалистов молодыми, преданными ей кадрами.

Свою версию трансформации технической интеллигенции в 1920-е и 1930-е годы дает А. Солженицын: «...как раз техническая, стоявшая на прочной деловой почве, реально связанная с национальной промышленностью и на совести не имевшая греха соучастия в революционных жестокостях, значит, и без нужды сплестать горячее оправдание Новому Строю и к нему льнуть, – техническая интеллигенция в 20-е годы оказала гораздо большую духовную стойкость, чем гуманитарная, не спешила принять Идеологию как единственно возможное мировоззрение, а по независимости своей работы и физически устояла притом. Процессы Шахтинский, Промпартии и несколько мелких в обстановке уже общей напуганности в стране успешно достигли своей цели. С начала 30-х годов техническая интеллигенция была приведена также к полной покорности» (31).

У Солженицына речь идет о на шумевших процессах, предшествующих политическим судилищам конца тридцатых, которые почему-то считаются едва ли не главными событиями в советской истории. В конце 1930 – начале 1931 года было официально объявлено о разоблачении сразу двух «вражеских» центров – «Промпартии» во главе с выдающимся инженером Л. Рамзиным и «контрреволюционного заговора», возглавляемого известным историком, академиком С. Платоновым. 6 апреля 1931 года мнимый «защитник интеллигенции» (лживая версия сегодняшнего дня) Н.

Бухарин громогласно заявил, что «квалифицированная российская интеллигенция... заняла свое место по ту сторону Великой Октябрьской революции... Речь идет о целом слое нашей технической и научно-исследовательской интеллигенции, который оказался в лагере наших самых отъявленных, самых кровавых врагов... С врагом пришлось поступить как с врагом. На войне, как на войне: враг должен быть окружен, разбит, уничтожен» (32).

Не более чем через пять лет, все сумевшие выжить из этих «самых отъявленных врагов» были возвращены к работе. А Бухарин, расстрелянный в 1938 году, так и не узнал, что инженер Л. Рамзин в 1943-м был увенчан самой престижной наградой – Сталинской премией. В таких удивительных метаморфозах, а их было множество в то время, со всей яркостью выразился государственный поворот, который Л. Троцкий и многие другие объявили «контрреволюцией».

Что же произошло в СССР за несколько лет, если пламенный революционер был казнен, как и множество его единомышленников, а бывшие осужденные «монархисты» и прочие «контрреволюционеры» оказались обласканы властью? В чем суть «советского термидора», ежели использовать для описания этого процесса определение Троцкого? Напомню, что термидор – это месяц в календаре Французской революции, когда (27 июля 1794 года) в революционной Франции произошел государственный переворот. Пришедших к власти политиков, укротивших, наконец, кровавую вакханалию якобинцев, называли термидорианцами. По сути, они расчистили дорогу к власти Наполеону.

Трагичность сталинской эпохи состояла в том, что в тех исторических условиях сталинизм явился закономерным продуктом обеих революций 1917 года и самым простым способом для социалистического

общества отстаять свое право на существование. Большевики похоронили надежды на рай, попытавшись построить этот рай на самом деле.

Вернемся к рассуждениям Солженицына о трансформации советской интеллигенции при Сталине: «В 30-е же годы совершилось и новое, уже необъятное, расширение “интеллигенции”: по государственному расчёту и покорным общественным сознанием в неё были включены миллионы государственных служащих, а верней сказать: вся интеллигенция была зачислена в служащих, иначе и не говорилось и не писалось тогда, так заполнялись анкеты, так выдавались хлебные карточки. Всем строгим регламентом интеллигенция была вогнана в служебно-чиновный класс... С тех пор и пребывала интеллигенция в этом резко увеличенном объеме, искажённом смысле и умаленном сознании» (33).

А. Солженицына раздражает факт количественного роста прослойки, который, по его мнению, существенно отразился на качестве интеллектуального слоя общества. Смешались понятие «советский служащий» и «интеллигенция». Но количественный рост образованного класса **закономерен** в стране, совершившей культурную революцию, создавшей мощную промышленную базу, нуждающейся в ее техническом обслуживании, создающей передовые вооружения и т. д. А вот удельное количество «пророков» на каждую сотню интеллигентов действительно снизилось. Одновременно само слово, наконец, перестало считаться ругательным. Быть образованным человеком стало престижным. Помните, Иван Бездомный у Булгакова еще не до конца уверен в интеллектуальных способностях профессора Стравинского (*«Он умен, – подумал Иван, – надо признаться, что среди интеллигентов тоже попадаются на редкость умные. Этого отрицать нельзя!»*). А в конце

романа Бездомный уже сам профессор и образованный человек.

Следуя логике А. Солженицына – сельский учитель, бухгалтер, скромный чиновник не может быть интеллигентом. Мы видим четкое стремление писателя отделить себя от рядовой интеллигенции, ибо «настоящий» интеллигент – это существо сверхдуховное, тонкозвучное и воздушное. Правда, в квартире у такого духовного существа, как я видел не раз, запекаясь пыль и подозрительно пахнет кошками. Духовной особе не до таких мелочей – ей стихи и нравственную борьбу с режимом подавай.

Впрочем, к концу сороковых репрессии и тяжелейшая война выбили из интеллигенции всякое желание воевать с режимом в открытую. Максимум, надеялись на определенную его либерализацию.

«И в конце войны, и сразу после нее, – вспоминал К. Симонов, – довольно широким кругам интеллигенции казалось, что должно произойти нечто,двигающее нас в сторону либерализации... послабления, большей простоты и легкости общения с интеллигенцией хотя бы тех стран, вместе с которыми мы воевали против общего противника...» (34). Однако реалии оказались прямо противоположны ожиданиям.

Эйфория после победоносной войны, несомненные успехи в деле восстановления хозяйства, мощь пропагандистской и репрессивной машины – всё вроде бы работало на создание монолитного общества. Но микротрещины уже обнаружились на полированном граните сталинской империи. Идеологическому ostracism подвергалось все больше и больше произведений, которые раньше одобрялись и признавались. «Мое поколение вынуждено было зачастую из-под полы читать книги И. Ильфа и Е. Петрова, многие стихи С. Есенина... сатирические рассказы М. Зощенко... Всего не перечесать!» (35).

Советский строй вступил в конфронтацию не с темной и презираемой крестьянской массой, как то происходило во время коллективизации, а со своей главной опорой – городом. Точнее, его наиболее динамичной составляющей – новой советской интеллигенцией.

Нарастал разрыв между новым социальным типом (молодого образованного горожанина среднего достатка) и строем жизни, приспособленным для удовлетворения простых нужд простых людей, что стало объективной причиной нарастающего недовольства. С. Кара- Мурза: «В старших классах и потом, в студенческие годы, было сильное ощущение, что ты – хозяин страны.

Не у меня одного, многие потом это отмечали... В отличие от школы, в университете было уже довольно много ребят, которые думали иначе и ощущали себя не хозяевами, а жертвами и противниками советского строя» (36). Советский строй медленно отвечал на принципиально иные потребности растущего городского населения, особенно молодежи. Назревали важные перемены.

«Воздух свободы», который сыграл со всем нашим обществом злую шутку, один из типичных штампов эпохи «оттепели». Дескать, именно он виноват в том, что целое поколение оказалось инфицировано вирусом вольнолюбия и непокорства. Но следы вируса мы наблюдаем еще раньше – в революционных, все сметающих двадцатых годах. Поколение «оттепели» рождено (в самом прямом, физиологическом смысле) в конце 1920-х – начале 1930-х – это дети тех самых комсомольцев-энтузиастов, либо затюканных ими интеллигентских отпрысков, либо коллективизированных крестьян. В их генетической памяти, в семейных рассказах, безусловно, жил дух послереволюционной эпохи. Они любили своих родителей, подражали им, восхищались романтикой их юности – это естественно. Рожденный в 1930 году человек, который, допустим, заканчивал вуз в год смерти Сталина, в 1953-м, входил в новую эпоху полным сил и желаний.

Политическое же рождение движения «шестидесятников» историки, как правило, связывают с XX съездом КПСС (1956 г.), развенчавшим культ личности Сталина. Так и с мифологемой XX съезда, который определенной частью общества выбран точкой нового летоисчисления. Ведь, если быть объективным, работа по либерализации общества, получившая позже название «хрущевской оттепели» началась много раньше, сразу же после смерти Сталина. Еще после Указа 27 марта 1953 года об амнистии, принятого по инициативе Л. Берии, к осени того же года вышли на свободу около 100 тысяч (из 580 тыс.) политических заключенных, имевших небольшие сроки. Также на

пленуме ЦК, 2 апреля 1953 года, когда не прошло и месяца после смерти Сталина – тот же Берия обнародовал факты, что Сталин и Игнатьев злоупотребили властью, сфабриковав «дело врачей».

Не вдаваясь в оценку мотивов инициатив Берии в апреле-июне 1953 года, нельзя не признать, что в его предложениях по ликвидации ГУЛАГа, освобождении политзаключенных, нормализации отношений с Югославией содержались все основные меры «ликвидации последствий культа личности», реализованные Хрущевым в годы «оттепели». Летом последовала короткая и яростная борьба за власть между Берией и Хрущевым, и если бы победил первый, безусловно, именно его бы «шестидесятники» прославляли бы как великого реформатора.

«Почему?», – спросите вы. Отвечаю.

В своих воспоминаниях Хрущев, который еще недавно был из немногих членов Политбюро, кто лично участвовал в допросах заключенных, а ныне прославленный в веках «освободитель», пишет: «К 50-м годам у меня сложилось впечатление, что, когда умрет Сталин, нужно сделать все возможное, чтобы не допустить Берию занять ведущее положение в партии, потому что тогда конец партии. Я даже считал, что это могло привести к потере завоеваний революции, что он повернет развитие в стране не по социалистическому пути, а по капиталистическому» (37). Слышите, «по капиталистическому»!

Вслед за арестом и расстрелом Л. Берии по стране интенсивно распространялась информация, что он намеревался **распустить колхозы** и создать индивидуальные **фермерские хозяйства**. Берии и его подручным инкриминировали то, что они выступали за создание в СССР **рыночного хозяйства** и организацию совместно с капиталистическими фирмами **смешанных предприятий**. Исходя из озвученных тезисов, можно

сказать, Берия – отец перестройки, последовавшей спустя тридцать лет после его смерти. Далее, уже после падения Берии, к 1 января 1955 года были освобождены еще 170,9 тысяч человек. То есть около половины политических заключенных получили свободу еще до того момента, когда Хрущев обрел единоличную власть (он стал полновластным правителем лишь 8 февраля 1955 года, отстранив Маленкова с поста предсовмина). А к 1956 году, к XX съезду партии, открывшемуся 14 февраля, уже обрели свободу более 80 процентов политзаключенных. Между тем, до сего времени широко распространено мнение, что будто бы только после хрущевского доклада на XX съезде действительно началось освобождение политзаключенных. Как видим, это не соответствует действительности.

Что же до самого хрущевского доклада, то его история такова. Академику П. Пospelову было поручено подготовить к XX съезду КПСС доклад «О культе личности и его последствиях». Однако на второй день съезда, 15 февраля 1956 года, Хрущев срочно перепоручил эту работу Д. Шепилову. «Он дал мне полный карт-бланш, – вспоминал Дмитрий Трофимович. – ...При этом никаких особых материалов у меня под рукой не было, только текст Пospelова...» Шепилов писал два с половиной дня. «Рукопись отдал Хрущеву, а сам поехал на съезд. Когда он потом читал доклад, я находил в нем свои целые абзацы. Но текст кто-то перелопатил». Помимо внесения возможных диктовок лично Хрущева (он «сам никогда не писал») Шепилов допускал вмешательство хрущевских помощников Лебедева и Шуйского (38). Но самое примечательное состоит в том, что при этом были совершенно обойдены законные, уставные коллегиальные органы и нормы выпуска такого рода документов.

Как модно говорить, доклад произвел эффект разорвавшейся бомбы. Людям становилось плохо прямо во время заседания. Но значительно важнее оказались его отдаленные последствия, которые тогда предвидеть не мог никто. Писатель, автор самого термина «оттепель» (по названию его популярной в то время повести) И. Эренбург рассуждал в своих мемуарах: «Конечно, сразу после съезда, как и потом, я встречал людей, осуждавших разоблачение культа; они говорили о “роковом ударе”, якобы нанесенном идее коммунизма. Видимо, они не понимали, что пока существует социальное уродство капитализма, ничто не сможет остановить наступление новой экономики, нового сознания» (39). Сегодня мы наблюдаем абсолютный крах умопостроений знаменитого писателя, которого смело можно отнести к прозападному крылу российской словесности. Ведь Эренбург прекрасно знал Запад, подолгу там жил и о язвах капитализма знал не понаслышке, в отличие от его либеральных последователей. Он понимал, что не надо путать экскурсию с эмиграцией.

Некоторые говорили и о том, что у Н. Хрущева были личные причины мстить Сталину. Тот вроде бы приказал расстрелять его сына Леонида за воинское преступление. Тема важная и ее стоит коснуться поподробней. Так звучит популярная версия: «Хрущев не мог простить Сталину гибели своего сына Леонида, расстрелянного по приговору военного трибунала... Когда Сталин сказал: “В сложившемся положении я ничем вам помочь не могу, ваш сын будет судим в соответствии с советскими законами”, Хрущев упал на колени, умоляя, он стал ползти к ногам Сталина, который не ожидал такого поворота дела и сам растерялся... Сталин был вынужден вызвать Поскребышева и охрану. Когда те влетели в кабинет, то

увидели стоявшего у стола Сталина и валявшегося в судорогах на ковре Хрущева...» (40).

Живописный рассказ, однако, более правдоподобной представляется версия гибели Леонида Никитовича в бою. Известно, что после того, как сын Хрущева не вернулся с боевого вылета, на его поиски были брошены огромные силы. «Командующий 1-й воздушной армией генерал-лейтенант авиации Худяков в течение месяца ждал результатов поисков Леонида... Все тщетно. Леонид как сквозь землю провалился. И Худяков направил бумагу Никите Сергеевичу: “В течение месяца мы не теряли надежды на возвращение Вашего сына, но обстоятельства, при которых он не возвратился, и прошедший с того времени срок заставляют нас сделать скорбный вывод: что Ваш сын – гвардии старший лейтенант Хрущев Леонид Никитич пал смертью храбрых в воздушном бою против немецких захватчиков”» (41). Я тоже думаю, справедливо предположить, что сын Никиты Сергеевича сложил голову в боях за Отечество, а некие личные причины, заставляющие приписывать события XX съезда лишь бытовой мести Хрущева Сталину, есть чистой воды черный пиар.

Симптоматично само появление такой легенды – люди искали разумного объяснения внезапного свержения кумира его недавним соратником. Многие мифы создавались веками и веками гасли, рассеивались, забывались. А ранней весной 1956 года миф о Сталине был разбит сразу, в один час. Видимо, партийное руководство рассчитывало, что толпа охотно растопчет ногами повергнутого деспота. Казалось, страха нет – топчите! Просчет состоял в том, что партийная верхушка всё же не рискнула тогда выплеснуть всю правду в народ – доклад Хрущева оказался полужасекретен. Сознательное сообщение неясных, противоречивых или двусмысленных данных

оставляет впечатление неудовлетворенности (что от нас скрывают?) даже после того, как становится доступной более подробная информация.

Трудность перепрограммирования состоит не во вбросе новых впечатлений или свежих идей, а в изменении уже утвердившегося мнения. Многие просто не поверили, инстинктивно (и во многом справедливо) угадывая за сенсационным разоблачением Сталина политическую возню кремлевских группировок. Сегодня о тех сомневающихся мало говорят, поскольку они не вписываются в концепцию радостного освобождения от сталинского ига, принесенного хрущевской демократизацией. А значит – ставится под сомнение вся идеология «шестидесятников». Да и тогда, разумеется, информация о массовом недовольстве «освобожденных» была засекречена.

А информация имелась, и неутешительная. Так, сразу после съезда, 5 марта 1956 года, на родине Сталина, в городе Гори начались массовые беспорядки. В годовщину смерти вождя к домику, где родился «отец народов», пришло около 50 тысяч человек, главным образом молодежь. Начался стихийный митинг. Выступавшие на площади уверяли толпу, что она не одинока, что подобные митинги проводятся и в других городах СССР. Заодно ругали Хрущева и все московское начальство за клевету на Сталина. Волнения быстро перекинулись в Тбилиси, где толпа собралась у Дома правительства и под продолжительные гудки машин выкрикивала: «Слава великому Сталину!». Несколько человек прочитали стихи о Сталине. Хор исполнил песни в его честь. Как видим, настроенный сегодня крайне демократично грузинский народ тогда мыслил иными категориями.

К концу того дня число манифестантов достигло целых 70 тысяч человек. Митингующие выдвинули властям ультиматум: «9 марта объявить нерабочим

траурным днем. Во всех местных газетах поместить статьи, посвященные жизни и деятельности И. В. Сталина. В кинотеатрах демонстрировать кинофильмы “Падение Берлина” и “Незабываемый 1919 год”. Исполнение гимна Грузинской республики в полном тексте» (то есть, со славословиями в честь покойного вождя – К.К.).

Вмешались силы правопорядка. В адрес пограничников, разгонявших толпу у Дома правительства, раздавались выкрики: «Зачем вы пришли сюда?», «Здесь армия не нужна!», «Русские, вон из города!», «Уничтожить русских!»... А когда по городу разнеслись слухи об убитых, зазвучал лозунг «Кровь за кровь»... Только во время столкновений у Дома связи и у монумента Сталину было, по данным МВД Грузии, убито 15 (из них 2 женщины) и ранено 54 человека (7 человек впоследствии умерли) (42).

События в Грузии стали первой ласточкой грандиозных волнений, характерных для всей хрущевской эпохи. Они напугали верхи, свернувшие вскоре либерализацию и дезавуировавших Хрущева, но дали надежду некоторым радикально настроенным гражданам на возможное свержение всего советского строя. Хрущев не учел, что карательную политику нельзя отделить от государственной структуры, что критика сталинизма неминуемо должна перерасти в критику всего строя в целом. С. Кара-Мурза: «После XX съезда все размышляли о репрессиях... Хороших объяснений не было, у Хрущева тоже концы с концами не вязались, и каждый какую-то модель себе вырабатывал. Думаю, в этот момент неявно разошлись пути моего поколения. У многих стала зреть идея полного отрицания, в голове складывался образ какого-то иного мира» (43). Родился феномен «шестидесятничества».

Мы неспроста все время говорим о молодых людях эпохи. Важной демографической особенностью хрущевского периода являлось то, что в результате потерь во время войны зрелых мужчин (от 30 до 44 лет) было на 40 % меньше, чем молодых людей (от 15 до 29 лет). И это огромное преобладание молодёжи не могло не сказаться на характере своего времени. Аналогичная демографическая ситуация, характеризовавшая обилием молодежи, отличала и предреволюционную Россию с ее высочайшей рождаемостью, и СССР накануне «Большого скачка», поскольку более старшее поколение было выкошено Первой мировой и Гражданской войнами.

Нетерпеливость и неопытность юности, ее жажду перемен опытные политики всегда пытались использовать в своих целях. Другое дело, что когда революционные процессы выходили из-под контроля организаторов, они серьезно рисковали попасть под секиру (топор, саблю, пулеметную очередь) той же молодежи, переустраивавшей жизнь на свой вкус. Правда, в пятидесятые годы риска почти не было – революцию (десталинизацию) продиктовали сверху, ибо правящая элита устала жить в постоянном страхе и напряжении сталинизма.

VI

Недавно с интересом я посмотрел мюзикл «Стиляги» – поколение моих родителей показано в любовно-романтическом отсвете первой любви, противостоянии системе, романтики приключений. Молодость, яркие наряды, сумасшедшие рок-н-роллы, особый стиль жизни, который противостоит казенной серости «совка» и комсомола. Особо привлек мое внимание любопытный эпизод. Советский функционер (которого играет неподражаемый О. Янковский) вразумляя сына-стилягу, говорит, что и мы, мол, не лыком шиты, запрещенный фокстрот танцевали, но в нужный момент перестроились и пошли делать партийную карьеру. Даже изображает несколько фривольных танцевальных па. И сына таки убеждает прическу стильную состричь и к реальной жизни приспособиться. Сколько таких приспособленцев, обычных беспринципных карьеристов оказалось у руля государства в критический для него момент не знает никто. Впрочем, истинной звезде стиляжьем эпохи – Л. Гурченко – фильм не понравился; вроде бы сказала: «Серость преувеличена» (44). Действительно, ведь в комедии «Карнавальная ночь» (фильма, с которого в 50-х годах началась звёздная карьера Людмилы Марковны) играл якобы запрещенный (если верить сценаристам «Стиляг») джаз. Причем, он официально репетировал в Доме культуры. Кому верить? Современная доктрина диктует верить в худший вариант – «совок» это беспросветная серость и тотальные запреты.

Культовый писатель А. Кабаков в предисловии к мемуарам культового джазмена А. Козлова пишет: «Не рухнул бы чудовищный коммунистический рейх, если бы в пятидесятых не появились в СССР стиляги – молодые

люди в американских пиджаках, сфарцованных у дверей “Националя”, в кустарных ботинках-“тракторах”, помешанные на джазе... Правильно делала власть, воюя с ними, клеймя в “Крокодиле”, выгоняя из институтов, ссылая за сотый километр – коммунистические начальники чуяли опасность, исходящую от этой пятой колонны свободного мира, ощущали их враждебный дух. К счастью, одолеть этих мирных людей оказалось труднее, чем любую интервенцию: они разложили целое поколение советских людей» (45). Резко, но по сути. «Рейх», «пятая колонна», «свободный мир», «разложили»... В приведенной цитате столько идеологических клише, которые отражают идеологию т. н. «шестидесятников», во всяком случае, в их радикальной части, что и нам не обойтись без краткого анализа движения «стиляг».

Само слово «стиляга» вошло в обиход с легкой руки некоего Беляева, автора фельетона в «Крокодиле», в 1948 году. Это производное от слова «стиль». Подразумевался некий особый стиль жизни, одежды и поведения, который выделял исповедующих его среди остальной массы советской молодежи. Стиль подразумевался свободный, т. е. западный, вплоть до подражания наиболее сомнительным аспектам американской жизни. Так, в 1954 году в Ленинграде были изловлены доморощенные «гангстеры», при одном из которых обнаружили текст присяги: «Я, член банды гангстеров “Чистокровные американцы”, перед лицом нашей банды клянусь, что я буду выполнять все приказы банды, хранить все наши дела в тайне, выполнять наш девиз – убивать тех, кто посягнет на честь нашей банды. Если я изменю, то вы меня прикончите как последнюю собаку или устроите суд “Линча”» (46). Дальше шли фамилии и подписи шести человек. Большинство из них оказались, как говорится,

детьми порядочных родителей – полковника Советской армии, начальника отдела крупного завода, механика института, директора магазина. Все «чистокровные американцы» были членами ВЛКСМ, имели неплохую репутацию в школе и хорошо учились.

Но это были только цветочки. «Отравленные идеологией мертвечины, с трудом освобождающиеся от гипноза сталинщины, натерпевшиеся от чиновников, мы жаждали свести счеты с давящей человека системой», – свидетельствует о настроениях своих современников Эльдар Рязанов (47). От уголовной, гангстерской романтики, весьма объяснимой в стране, где многие прошли отсидку в лагерях, молодежь быстро переходила к политическим обобщениям. Противовесом закованной в форменную одежду советской публике демонстративно провозгласила себя значительная часть молодежи, одевавшаяся с вызовом, подчеркивавшая свою естественную связь с заграничной культурой, сплывавшаяся в неформальные молодежные группы.

С интересом за пестрым бунтом наблюдали старшие товарищи, которые, впрочем, отмечали поверхностность протеста, его подражательность превратно понятым западным стандартам: «Хочется культуры, знаний; хочется, чтобы жизнь стала европейской наконец-то и для России... Хочется перенимать все иноземное, – платье, теории, искусство, философские направления, прически, все, – безжалостно откидывая свои собственные достижения, свою российскую традицию», – даже дочь Сталина, Светлана Аллилуева сочувствует юным нигилистам, хотя и мягко критикует очевидное попугайство (48).

После легкой оторопи, власть (а дело происходило уже после смерти Сталина и расстрельный вариант решения проблемы стал неактуален) задействовала против стиляг целый арсенал средств воздействия: от

сравнительно мягкого насилия (комсомольские рейды с разрезанием брюк и принудительной стрижкой модников) до исключения из вузов и осмеяния в прессе и на эстраде.

Популярная тогда певица Нина Дорда под аккомпанемент оркестра Эдди Рознера, недавно вернувшегося из магаданских лагерей, пела песню о стиляге:

«Ты его, подружка, не ругай, / Может, он залетный попугай, / Может, когда маленьким он был, / Кто-то его на пол уронил, / Может, болен он, бедняга? / Нет – он просто-напросто СТИЛЯГА!». Последняя фраза выкрикивалась всеми оркестрантами, одновременно показывавшими пальцем на трубача маленького роста, вынужденного изображать этого морального урода. А в предисловии к собранию сочинений Ильфа и Петрова, тому самому культовому оранжевому пятитомнику 1961 года, отмечалось:

«У Элочки-людоедки вообще никаких убеждений нет... Она просто двуногое млекопитающее... Она живет и доныне. Мы встречаем ее иногда среди молодежи нашего времени, среди девушек и юношей. Они называются теперь стилягами» (49).

Так-таки и «двуногие млекопитающие»? На самом деле из этой среды вышли многие нестандартно мыслящие люди, вскоре ставшие гордостью отечественной культуры. Именно те, для которых свобода творческого мышления является основой профессии. «Мы с Тарковским учились в одном классе. Он был единственным стилягой, ярким вызовом в серой гамме нашей школы. Зеленые брюки венчал оранжевый пиджак, сфарцованный у редкого тогда иностранца», – вспоминает о юности классика мирового кинематографа А. Вознесенский (50). Значит, все-таки не законченные тупицы пошли на конфликт с советским строем?

Власть проморгала момент, когда объективно и субъективно она отстала от уходящей вперед молодежи. Началась космическая эра, дававшая иное представление о развитии всего человечества, о границах дозволенного, диктовавшая новую моду в музыке и одежде. Даже новая музыка, все эти Пресли и Литтл Ричарды (а позже и «Битлз»), рождала иные химические реакции в мозге молодого человека, заставляла биться его сердце в иных ритмах. «На наше счастье, эпоха явилась к нам не только в образе волкодава^[17], но и в образе волчицы, выкормившей нас. Шестидесятники – это маугли социалистических джунглей» (Е. Евтушенко) (51). Маугли – пример поэтический, но, по сути, любопытный: этикие подкидыши, выросшие в джунглях социализма. А джунгли страшно далеки от цивилизации. Настоящая цивилизация, казалось, находится там, на вожденном Западе.

После смерти Сталина приподнялся железный занавес, и поток новой информации обрушился на изголодавшихся по ней советских людей. Л. Гурченко: «По Москве висели афиши, извещавшие о зарубежных гастролях джазового оркестра со знаменитым Бенни Гудманом, на других – имена певиц из Швеции и Германии, балетных трупп из Индии, Америки, Франции. Можно было понять, чего стоишь сам... Как вовремя раздвинулся занавес. Только в сопоставлении, только в мирной конкуренции можно познать свои силы, почувствовать, каков твой потенциал» (52).

Л. Гурченко, как мы помним, взлетела к вершинам славы после премьеры легендарного фильма Э. Рязанова «Карнавальная ночь», ставшего своего рода гимном эпохи. Его с упоением восприняла вся – именно вся, без исключения молодежь страны. Режиссер вспоминал: «Мы искренне и азартно высмеивали

надоевшее старое и косное... Эта схватка отражала несовместимость двух начал – казенного, так называемого “социалистического”, и творческого, общечеловеческого...» (53). Обратите внимание, на противопоставление – «социалистическое» и «общечеловеческое». Об это слово мы еще не раз споткнемся во времена перестройки, и позже, уже после краха страны.

Ну и, конечно же, стихи! Кадры хроники, точнее, фрагменты фильма, где молодые поэты – Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина читают свои стихи в переполненных аудиториях! А случалось – и на стадионах! Е. Евтушенко: «Поэты моего поколения, сами того не осознавая, стали родителями нашего воскрешенного общественного мнения. Стихи опять, как и в пушкинские и некрасовские времена, становились политическими событиями» (54). Вот они – «Дети XX съезда» в чистом виде. Уместно говорить не о кучке поэтов, но о миллионах тогдашних молодых людей, зрителей и слушателей, которые не выступали в печати и не снимали кинофильмы, но были, в общем, заодно с тогдашними молодыми «идеологами». У немногих хватило проницательности увидеть за буффонадой стихотворных вечеров в московском Политехе внутреннюю пустоту движения. Среди них будущий диссидент Илья Габай, в начале 1960-х саркастично отзывавшийся об увиденном:

*Броско! А вчитаться – плохо, тускло
То, что нам они пролепетали.
Мы с тобой считали: Заратустры.
Оказалось: просто либералы...*

К этому же времени относится и новое прочтение эпохи 1920-х годов (с включением большинства

вычеркнутых в сталинское время репрессированных партийцев, вроде Постышева, Косиора, Якира, отныне официально возвращенных в пантеон большевистской славы). А значит, и новое осмысление полузапрещенной дилогии об Остапе Бендере. Возможно, некоторые реалии прошлого, вроде фразы «Все учтено могучим ураганом» (пародии на романс Юрия Морфесси «Все сметено могучим ураганом») или бубличной артели «Там бубна звон» (слова из припева того же романса: «Там бубна звон...») и утратили для молодежи свою актуальность, зато явственно проявилось другое. Немеркнущая реальность советского бытия – то, что осталось с нами навсегда.

«Они (Ильф и Петров – *К.К.*) создали поразительную картину окружающего общества, которая нисколько не потеряла своей силы и яркости десятилетия спустя», – писал советский историк и литературовед Я. Лурье в книге о знаменитом литературном тандеме «В краю непуганых идиотов». Русский писатель-эмигрант В. Набоков – большой сноб, для которого было мало авторитетов даже среди литературных классиков – высоко оценил творение Ильфа и Петрова именно за умело найденный образ главного героя, позволявший им мимикрировать в условиях тотального соцреализма. «Два замечательно одаренных писателя решили, что если сделать героем проходимца, то никакие его приключения не смогут подвергнуться политической критике, – отмечал он. – Поскольку жулик, уголовник, сумасшедший и вообще любой персонаж, стоящий вне советского общества, не может быть обвинен в том, что он недостаточно хороший коммунист или просто плохой коммунист» (55).

Оранжевые тома собрания сочинений Ильфа и Петрова как бы осветили своим отблеском всю хрущевскую оттепель. Еще недавно запрещенные авторы с трагической (хотя и вне репрессий) судьбой

обрели второе рождение. Безопасные по факту своей смерти для власти и для либералов, с некой язвительной ноткой по отношению к социалистической действительности, традиционным для классической русской литературы и вновь актуальным в Стране Советов образом «лишнего человека»^[18].

«Эх, Киса, – сказал Остап, – мы чужие на этом празднике жизни». Кто из нас в горести не повторял этих слов? Если раньше *«настоящая жизнь пролетала мимо, радостно трубя и сверкая лаковыми крыльями»*, то постепенно быть «лишним» в СССР становилось модно.

Десятки тысяч людей сознательно выпадали из системы, минимизировали свое общение с ней, уходили во внутреннюю эмиграцию. Количество «лишних людей» постепенно увеличивалось и делало лишней саму систему. Джазмен А. Козлов: «Вот ВНИИТЭ, где я некоторое время работал, было для многих людей, в том числе и для меня, не просто местом получения мизерной, но гарантированной зарплаты. Здесь можно было отсидеться хоть всю жизнь, не вылезая и даже иногда делая какие-то интересные вещи, при этом не притворяясь верноподданным. Главное было не обнаруживать своих истинных воззрений, общаясь откровенно только со своими. Такое состояние души у интеллигентных людей иногда называли внутренней эмиграцией». И далее: «Постепенно в среде сотрудников ВНИИТЭ сами собой сблизилась те сотрудники, которые одинаково относились к Системе. Именно в этом узком кругу я приобщился к теоретически обоснованному и спокойному неприятию большевизма, основанному на глубоком знании всех его пороков и противоречий, его беспощадности и лживости» (56).

Люди уходили из системы сознательно, а порою даже демонстративно. Тот же Венедикт Ерофеев 17 лет (с 1958 по 1975 г.) жил без прописки, то есть просто не существовал как гражданин государства.

«Вот и я, как сосна... Она такая длинная-длинная и одинокая-одинокая-одинокая, вот и я тоже... Она, как я, – смотрит только в небо, а что у нее под ногами – не видит и видеть не хочет... Она такая зеленая и вечно будет зеленая, пока не рухнет. Вот и я – пока не рухну, вечно буду зеленым...», – философствует он в своих «Записных книжках». Прямо недостающее звено между «Клен ты мой опавший» С. Есенина и «Дерева вы мои, деревья» Е. Бачурина. Ах, эти песни под гитару, наслушался я их в своем детстве повсюду: «... собирались молодые поэты, барды-песенники. Было время романтизма, песен у костра, походов в горы. У городской интеллигенции того времени это был чуть ли не единственный способ самовыражения. Новый человек XX века со своим энтузиазмом открытия и творческого преобразования мира, придя на смену лишнему человеку XIX века, сам оказался ненужным, а потом и опасным для господства бюрократии» (57).

Эта ненужность, казалось бы «родному» и «своему» государству, эта объективная ситуация личного бессилия породили в советской культуре феномен «эмиграунда»^[19]. «Вирус эмиграунда можно было подхватить где угодно, поскольку «самодеятельность» не поощрялась в любой сфере жизни, а особенно – в сфере идеологии (куда входили также литература и искусство). Именно отсюда проистекло парадоксальное западничество советской интеллигенции, к началу 80-х почти поголовно ушедшей в эмиграунд» (58). Наша интеллигенция смиренно пришла к заключению, что «они», то есть заграница, все знают и умеют, мы же ни

черта не знаем и не умеем, и такова наша доля – плестись в хвосте.

Богемная расслабленность гуманитарной интеллигенции в некоторой степени компенсировалась востребованностью массы технарей, служителей производства. Энергичная прослойка технической интеллигенции, без которой государству нельзя обойтись, даже образовала нечто вроде общественного мнения. «Одряхление режима проявляется, в частности, в том, что все труднее ему подчинить себе первую в истории Советского Союза сплоченную кастовыми интересами группу, требующую для себя определенных свобод, которыми никто в этой стране не обладает. Я имею в виду ученых» (59).

Появление некоего сплоченного общественного мнения не осталось незамеченным. Константин Паустовский отмечал в начале шестидесятых:

– Я оптимист! Я верю: все будет превосходно. «Они» выпустили духа из бутылки и не могут вогнать его обратно. Этот дух: общественное мнение (60).

Примерно в том же русле мыслила А. Ахматова, когда в разговоре с Л. Чуковской, дочерью Корнея Ивановича, отрицая возможность повторения массовых репрессий, сказала:

– Не может, и знаете почему? Нет фона, на котором Сталин весь этот ужас взбивал. Вот вам косвенный признак: теперешнее молодое поколение нас с вами понимает, не правда ли? Они для нас **ручные, свои** (*выделено мной – К.К.*), а тогда, в 29-м, в 30-м году, было такое поколение, которое меня и знать не желало... (61)

Совершеннейшая правда. Не взросло еще послевоенное поколение советской интеллигенции – достаточно молодого, чтобы не помнить кровавый сталинский термидор, достаточно образованного, чтобы его ценило государство, нуждающееся в технических

специалистах. «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне...», – меланхолично замечает Б. Слуцкий. Но, в конце концов, и распоясавшихся физиков тоже начали прижимать. Так, например, 31 июля 1970 года газета «Советская Россия» опубликовала статью, исключительно остро критиковавшую научных работников, ученых – жителей знаменитого Академгородка возле Новосибирска. Автор статьи – первый секретарь городского комитета партии. Главный упрек – переоценка учеными своей роли в обществе, игнорирование указаний партии.

Объясняет это партийный секретарь несколькими причинами – молодостью ученых (средний возраст жителей Академгородка 32 года), оторванностью от жизни (они слишком много занимаются наукой, их не бывает на заводах и колхозах, не посещают занятия по политграмоте). Очень отрицательно влияет на ученых, по мнению автора статьи, обилие иностранцев, посещающих научный центр под Новосибирском. В одном только прошлом году (то есть в 1969) их побывало там около 3 тысяч (62).

Итак, интеллигенция наконец-то стала законодателем мод, в том числе моды в самом прямом смысле слова. Сумасшедшая популярность депрессивных писаний Ремарка и Хемингуэя, и присущая советскому образованному человеку некая томная усталость, загадочная опустошенность, печоринское разочарование. С другой стороны, все эти процессы совпали с массовым ростом числа интеллигенции: «Партийное и государственное руководство, правящий класс, в довоенные годы не давали себя смешивать ни со “служащими” (они “рабочими” оставались)... Но после войны, а особенно в 1950-е, ещё более в 1960-е годы, когда увяла и “пролетарская” терминология, всё более изменяясь на “советскую”, а с другой стороны, и ведущие деятели

интеллигенции всё более допускались на руководящие посты, – правящий класс тоже допустил называть себя “интеллигенцией”» (А. Солженицын) (63).

Мысль Александра Исаевича верна в том аспекте, что постепенно слово «интеллигенция» не только перестало быть ругательным, наоборот, на фоне колоссальных достижений советской науки и культуры того времени даже партийцу числиться интеллигентом стало престижным. Интеллигентность – настоящая или мнимая, подтвержденная лишь дипломом специалиста – превратилась в религию десятков миллионов, а это подразумевает определенный кодекс интеллигентского поведения, включая политический либерализм и свободомыслие.

Разгул интеллигентского либерализма не мог не вызвать тревогу у тоталитарного государства – началось завинчивание гаек. Хотя с политикой власти оказались согласны не все даже в самой власти (начинающей числить себя «из служащих»). 1950-е оказались адекватны революционным 1920-м, а 1960-е – 1970-е годы аналогичны консервативным 1930-м. Маятник движения общества вновь качнулся от революции к стабильности, к государственничеству, если хотите – к застою.

VII

Вспоминая молодость, знаменитый драматург М. Розовский говорит в интервью перестроечному журналу «Огонек»: «Шестидесятники возникли во времени и пространстве, потому что история поставила наше поколение перед выбором... одни продолжали культивировать свою личную несвободу, оставаясь в рабстве, другие хотели построить мост свободы, мост внутреннего раскрепощения» (64). «Мост», значит, «раскрепощения»? Ладно, не будем придирааться к стилистике. Нас сейчас интересует политическая составляющая.

В. Кожин: «У комсомольцев конца 1940 – начала 1950 годов... хрущевская левизна могла найти горячую поддержку у активной части молодежи... Многие из нас были намного “левее” Сталина...» (65). Многие «шестидесятники» были, без сомнения, «левее», «коммунистичней» и самого Н. Хрущева, который не только многократно одергивал их «идеологов», но даже отправлял в заключение наиболее ретивых из них. Комсомольцам 1950-х было свойственно особое ощущение, которое роднило их с 1920-ми годами, революционной молодостью их отцов. То же ощущение победы после иностранного нашествия, что казалось сродни иностранной интервенции Антанты; победа над внутренними врагами (Великая Отечественная война являлась своего рода и Гражданской войной, если мы вспомним о сотнях тысяч коллаборационистов); такое же ожидание грядущих свершений – тогда индустриализации, теперь порожденных началом космической эры. Однако их энергия и напор наталкивалась на статику системы, уставшей от сталинских потрясений. Партия была уже слишком

пожилой, консервативной и потрепанной, далекой от своих собственных идей мировой революции и революционного горения. «Ишь ты, какие! Думаете, что Сталин умер, – вопил Н. Хрущев, обращаясь к юному поэту А. Вознесенскому. – Никакой оттепели: или лето, или мороз... Партия не дает вам право на молодежь и всегда будет бороться, чтобы она, партия, представляла старое и молодое поколение» (66).

Но партийная бюрократия не могла импонировать новому поколению – ни «западникам», вроде стилияг, ни новым комсомольцам, поклонникам «возвращения к ленинизму». Энергичному человеку жить при развитом советском социализме стало скучно, если не сказать – противно. И никакого выхода из этой скуки отечественный проект не предлагал. Более того, он прямо утверждал, что дальше будет еще скучнее. Тоска значительной части населения, особенно молодежи, – обратная сторона высокой социальной защищенности, важнейшего достоинства советского строя. Широко известен социальный феномен, состоящий в том, что самый высокий уровень самоубийств сегодня отмечается в странах благополучных, вроде Дании и Швеции, а во время испытаний, скажем, войны, уровень самоубийств в любой стране резко падает. Когда перед человеком стоят задачи элементарного выживания, времени на рефлекссию уже не остается. Очевидное благополучие не всегда друг человека.

В СССР все хуже удовлетворялась одна из основных потребностей не только человека, но и животных – потребность в «приключении». Как биологический вид, человек возник и развился в поиске и охоте. Стремление к «приключению» заложено в нас биологически, как инстинкт, и является важным фактором эволюции человека. Поэтому любой социальный порядок, не позволяющий ответить на зов этого инстинкта, будет рано или поздно отвергнут. У

старших поколений этих проблем не существовало – смертельного риска и приключений судьба им предоставила сверх меры. А что оставалось, начиная с 1960-х годов, делать всей массе молодежи, которая на своей шкуре не испытала ни войны, ни разрухи? БАМ, водка и преступность? Этого мало. Риск и борьба возникали в столкновениях именно с бюрократией, с государством, что и создавало необходимый молодому смелому человеку «образ врага».

При этом, что очень важно, для молодежи реалии капиталистического общества давно остались в прошлом, что такое настоящая конкуренция советские люди могли только догадываться. Отсюда очередной вывод: дескать, существующая в СССР экономическая система в корне неверна и, только дай нам «рынок», мы заживем как в развитых странах мира. Экономист А. Паршев: «Я чувствую, что причины “демократических” настроений у нас больше психологические. Большинство населения у нас по складу характера не производители, а потребители, за всю сознательную жизнь им ни разу не пришлось задуматься, как продать продукт своего труда, если таковой был. А покупали-то все!» (67).

В результате такое фундаментальное понятие для советской идеологии «человек как строитель нового мира» с определенного периода начало утрачивать свою общественную актуальность. Строительство коммунистического общества потеряло свою актуальность, во всяком случае, для думающих людей. Но пустые слова продолжали литься с официальных трибун, вызывая отвращение своим лицемерием и очевидной лживостью. Альтернативы не имелось. Во всё более широких кругах населения СССР, прежде всего в кругах интеллигенции, нарастало отчуждение от государства и ощущение, что жизнь устроена неправильно.

«Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загородиться человек, чтобы человек был грустен и растерян», – написанные в то время «Москва – Петушки» можно воспринимать как отражение краха системы ценностей пятидесятых, уничтожения романтики «воздуха свободы». Юность самого Ерофеева пришлась на конец 1950-х и 1960-е годы, он сам типичный продукт эпохи и знал, о чем писал.

О развале системы советских ценностей «детей ХХ съезда» подробно рассказывал в своем интервью один из культовых писателей-«шестидесятников» Б. Стругацкий: «В 1963 году, как вы помните, произошла историческая встреча Никиты Сергеевича с художниками в Манеже. И это событие потрясло нас. Шок. Достаточно было почитать газеты, чтобы понять – а мы были лояльными ребятами, – что во главе нашего государства стоят люди, называющие себя коммунистами, и на виду всего мира топчут искусство, культуру, интеллигенцию и лгут беззастенчивым образом... Начиная с “Трудно быть богом”, мы всеми силами, где только можем, боремся против лжи пропаганды. И защищаем интеллигенцию. Мы объявили ее для себя **привилегированным классом, единственным спасителем нации, единственным гарантом будущего** (выделено мной – К.К.)... “Трудно быть богом” возникла как повесть, воспевающая интеллигенцию» (68).

Прекрасное произведение, одно из самых моих любимых у братьев Стругацких. Однако обращаю ваше просвещенное внимание, повесть не только воспевает интеллигенцию, но и совершенно определенно гласит, что интеллигенции и народу часто не по пути. Не могу отказать себе в удовольствии процитировать главного героя: «Это безнадежно... Никаких сил не хватит, чтобы вырвать их из привычного круга забот и представлений.

Можно дать им все. Можно поселить их в самых современных спектрогласовых домах и научить их ионным процедурам, и все равно по вечерам они будут собираться на кухне, резаться в карты и ржать над соседом, которого лупит жена. И не будет для них лучшего времяпровождения».

Интересно сравнить этот текст с фрагментом из дневника Чуковского, его восприятия окружающего народа: «...все они в огромном большинстве страшно похожи друг на дружку, щекастые, с толстыми шеями, с бестактными голосами без всяких интонаций, крикливые, здоровые, способные смотреть одну и ту же кинокартину по пять раз, играть в козла по 8 часов в сутки и т. д.» (69). Ю. Нагибин, тоже великий гуманист: «Как страшно всё бытие непишущего человека. Каждый его поступок, жест, ощущение, поездка на дачу, измена жене, каждое большое или маленькое действие в самом себе исчерпывает свою куцую жизнь, без всякой надежды продлиться в вечности. Жуткая призрачность жизни непишущего человека...» (70). Бунтарь Э. Лимонов: «Пользуясь случаем, я кричу этому сраному народу: кто вы, ё... вашу мать всех! Кто? Не важны вы все, как мальки в той воде, стекли вы в канализацию жизни. Важен только странный мальчик в плавках, смотрящий на вас. (Это он о себе – К.К.) И чтобы он вас заметил, подняв свой взгляд от мальков, тритонов и головастика. А не заметил, ну и нет вас» (71). И на ту же тему снова Ю. Нагибин: «Ну, а как же с людьми нетворческими? Так эти люди и не жили. Действительность обретает смысл и существование лишь в соприкосновении с художником» (72). Тексты написаны приблизительно в одно и то же время, хотя и людьми разных поколений. Они отражают общий настрой класса интеллектуалов – интеллигенция превыше всего!

Аналогичные примеры можно множить далее, однако суть ясна: значительная часть интеллигенции выступила антагонистом по отношению к собственному народу. По сути, бросила ему вызов. Пока в завуалированной форме, что-то вроде дули в кармане; искусство ради искусства, свобода – достояние избранных и другие сентенции из жизни общества неравных возможностей. Но это становилось предпосылкой для появления и развития таких противоречий, разрешение которых лежало за пределами уже самой культуры, а в системе общественных отношений.

Вынужденный конформизм и расщепленное сознание интеллигенции не могли стать основой для истинного сотрудничества. Приспособленчество – да; но и измена при первой возможности. Тот же Е. Евтушенко точно выразил новое кредо современной ему либеральной интеллигенции, вложив его в уста некоего старого абхазского крестьянина Пилии – за народной мудростью всегда легко маскировать собственные суждения: «За справедливость не всегда надо бороться со слишком открытой грудью – потому что тогда сделают хуже и тебе, и справедливости. За справедливость надо бороться с умом, но не слишком хитро, потому что тогда твоя борьба за справедливость может превратиться только в борьбу за твое собственное существование» (73).

Приспособленчество отнюдь не мешало продолжать держать в заначке заветную дулю. Более того, двуличие предполагало некую занятную игру – и оппозиционность соблюдать, и социальные блага от строя получать. Своя квартира, возможность роста по службе, диссертация – вот необходимый минимум, без которого советский интеллигент 1970-х годов уже не мыслил своего существования. Он считал эти требования как нельзя более естественными. И чем

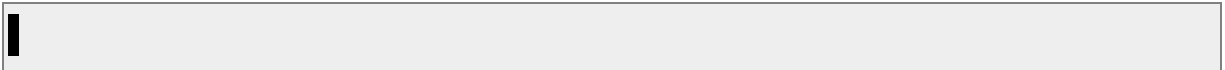
больше они приближены к высоким западным стандартам, тем лучше. «Если взглянуть на интеллигенцию сегодняшнюю, то, прежде всего, бросается в глаза одно отличие ее от былого: буржуазность. Буржуазность в манерах, в одежде, в обстановке квартир, в суждениях. Аскетизм, который и раньше был рудиментом, исчез теперь почти бесследно, – рассуждает в своей классической работе «Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура», написанной в конце 1960-х годов, советский философ В. Кормер. – Интеллигенция сегодня стремится к обеспеченности, к благополучию и не видит уже ничего плохого в сытой жизни. Наоборот, она страдает, когда ее спокойствие и размеренный порядок бытия вдруг нарушаются» (74).

Золотая осень режима. Прослушивание западных радиоголосов, бытовое пьянство и романтическое чтение «Мастера и Маргариты». Ядовитый Э. Лимонов о культовой книге эпохи: «Мастер и Маргарита»: «... хрустальная мечта обывателя: возвысить свое подсолнечное масло, примус, ночной горшок, ЖЭК до уровня Иисуса Христа и прокуратора Иудеи, сбылась в этом обывательском московском бестселлере» (75)^[20]. Хотя знаменитый харьковчанин, как мне представляется, и перегнул палку, но все же довольно верно подметил страсть отечественной интеллигенции к смакованию типических негативных явлений 1930-х годов, ярко описанных М. Булгаковым, их обобщения до уровня высокой философии, оправдывавшей антисоветский выбор: мол, «совесть литературы», Михаил Афанасьевич, и тот с нами заодно! Царило всеобщее убеждение, что «совок» – это плохо, убери его и все наладится. Сейчас этот примитив как-то и вспоминать неловко. Но тогда это звучало аксиомой.

«Шестидесятники» сначала относили себя к революционным романтикам, продолжателям дела революционеров 1920-х годов, требовали «очистить дело Ленина» от налета сталинщины, демократизации внутрипартийной жизни, хотели большой открытости страны миру. Когда власть, напуганная эпидемией массовых беспорядков в стране, начала закручивать гайки, интеллигенция ушла в глухую оппозицию. Она посчитала наведение порядка («порядка» в понимании партийных бонз) рецидивом сталинизма. В борьбе с существующим режимом она научилась пользоваться новыми ресурсами – самиздатом, апеллировать к мировому общественному мнению, работать с иностранными корреспондентами. Поскольку «холодная война» подразумевала, в частности, борьбу за создание благоприятного имиджа СССР за рубежом, власть довольно болезненно относилась к попыткам дискредитировать советский строй в глазах мировой общественности, что придавало инакомыслящим уверенности в своих действиях. Одновременно упрощенное понимание процессов, проистекавших как в мире, так и в стране, приводил наиболее воинственную часть интеллигенции к отрицанию любого компромисса, видению всего происходящего только в двух цветах – черном и белом. С другой стороны, более конформистская часть общества, оставаясь при этом внутренне оппозиционной к режиму, ушла в глухой «эмиграунд» либо в разнузданный гедонизм. То, что общество многослойно, что проблемы взаимосвязаны и взаимообусловлены, что видимость, как в русской матрешке, не всегда отвечает содержанию, нам еще только предстояло понять.

Глава 2

Была такая партия



Итак, к середине 1960-х годов в СССР сформировалась целая прослойка либеральной интеллигенции, которая охотно примеряла на себя бендеровскую (не путать с бандеровской) формулу «Мне скучно строить социализм». Давайте попытаемся разобраться, что такое социализм и откуда он на нашу голову взялся? «Справедливость кретинов. Один раз я, другой раз ты. Равноправие идиотов», – ядовито писал И. Ильф, высмеивая упрощенное понимание этой доктрины многими своими согражданами (1). На самом деле социализм явление значительно более сложное и притягательное, нежели вчера полагали неграмотные крестьяне, а сегодня говорят правые политики, пещерные националисты и несведущая молодежь.

Г. Лебон, рассуждая о феномене социализма, отмечал, что современные теории общественного строя при очевидном их различии могут быть приведены к двум взаимно противоположным основным принципам: индивидуализму и коллективизму. При индивидуализме каждый человек предоставлен самому себе, его личная деятельность достигает максимума, деятельность же государства в отношении каждого человека минимальна. При коллективизме, наоборот, самыми мелкими действиями человека распоряжается государство, т. е. общественная организация. Как мы помним в недавнем прошлом, так оно, по сути, и было.

Надо понимать, что главным пропагандистом социализма и его радикальной формы – коммунизма – в начале XX века являлся сам капитализм с его действительной, а не выдуманной жестокой эксплуатацией, с его кризисами, безработицей, продажным политиканством, войнами. Популярность

социалистических идей накануне Первой Мировой войны была такова, что упомянутый Лебон, который явно не относился к его поклонникам, обреченно просил только об одном: «Кажется, этого ужасного режима не миновать. Нужно, чтобы хотя бы одна страна испытала его на себе в назидание всему миру. Это будет одна из таких экспериментальных школ, которые в настоящее время одни только могут отрезвить народы, зараженные болезненным бредом о счастье по милости лживых внушений жрецов новой веры. Пожелаем, чтобы это испытание, прежде всего, выпало на долю наших врагов!» (2).

Однако революционный тайфун прошелся, в первую очередь, по основному союзнику Франции – царской России. Да и еще в разгар тяжелейшей для Франции войны с Германией. Почему же именно Россия, далеко не самая развитая в экономическом отношении держава? Вопрос, который смущал и самих российских марксистов: ведь, согласно доктрине, катализатором изменений должен стать многочисленный и сознательный пролетариат. А его в Российской империи еще не было, его предварительно нужно взрастить. Чем настойчиво и занималась революционная интеллигенция, мечтавшая о социальных переменах. Ребенок появился раньше, но его родители известны. Папаша сегодня отрещивается, но «сам большевизм – это, несомненно, эманация интеллигенции», – делает категорический вывод в своем эссе «Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура» В. Кормер.

Н. Бердяев в классической работе «Истоки русского коммунизма» справедливо указывал на особенности этой дрожжевой прослойки: «Интеллигенция была у нас **идеологической**, а не профессиональной и экономической группировкой..., объединенная исключительно идеями и притом идеями социального характера». И далее: «По условиям русского

политического строя интеллигенция оказалась оторванной от реального социального дела, и это очень способствовало развитию в ней социальной мечтательности...» (3). Что на Западе было научной теорией, подлежащей критике, гипотезой или, во всяком случае, истиной относительной, частичной, не претендующей на всеобщность, у русских интеллигентов превращалось в догматику, во что-то вроде религиозного откровения.

Будем справедливы, для неприятия существующей действительности у прогрессистов имелись серьезные основания. Это сейчас, глядя на глянцевые фильмы о дореволюционной России, можно представлять ее прянично-медовой волшебной Империей, полной богомольцев, бубликов и поэтов. На самом деле страна страдала от вопиющих противоречий, нищеты, коррупции, заложенной в саму систему управления. Государственные служащие брали взятки почти официально по причине весьма скудного содержания, получаемого от правительства. Например, секретарь земского суда на 200 рублей ассигнациями в год – его официальную зарплату – семью прокормить просто не мог. Разъедающая страну коррупция не оставалась незамеченной и для иностранных наблюдателей: «Существуют страны, например, Испания и Россия, где продажность судей и администрации, недостаток в честности дошли до такой степени, что подобные пороки не стараются даже чем-либо прикрывать» (4). Ненависть к мздоимству у честного человека трансформировалась в ненависть к самому государственному устройству.

А здесь еще и ошибки в промышленной политике. Скажем, введение в обращение золотого рубля, то есть конвертируемость валюты («реформа Витте»), спровоцировала неконтролируемый вывоз капитала из страны и подрыв позиций отечественного

производителя. Как результат: экономический кризис 1900–1903 годов, массовое разорение промышленников и нищета рабочих. Начиная с 1904 года – новый кризис плюс русско-японская война. Безработица и голодные бунты, Кровавое воскресенье и революция 1905 года... В 1908 году и без того немаленький рабочий день был удлинен, а расценки снижены на 15 %. Из-за иностранной конкуренции даже водочный король Смирнов в 1910 году закрыл свое производство в России (что бы там ни писали на этикетках). Новый экономический кризис грянул уже в 1914 году и наложился на небывалую войну...

Бурлящий котел взорвался по многим причинам – хронические проблемы в экономике, неудачный ход войны с Германией, непопулярность правящей династии, настойчивое стремление либеральной интеллигенции использовать ослабление режима для радикальной перестройки государства. И – определяющий момент – вопиющая неспособность последнего царя, на которого так молятся сегодня, решать проблемы государства. Не надо недооценивать роль личности в истории. «Можно не сомневаться, что, находишься во главе правительства Витте или Столыпин, то они сделали бы все возможное и невозможное, чтобы страна не была втянута в гибельную для нее мировую войну, положившую конец существованию монархии. Не вызывает сомнения, что они никогда бы не допустили развала и деградации МВД, что чрезвычайно облегчило либеральной оппозиции захват власти. А пользовавшийся огромным авторитетом в войсках генерал от инфантерии Редигер никогда не допустил бы солдатского бунта в столице в 1917 году и предательского капитулянтства высшего военного командования. Именно нерачительное использование людей, подозрение к воле, уму и независимости стали

одной из главных причин краха государства и начала революционной смуты»^[21] (5).

Результатом стала буржуазно-демократическая Февральская революция. Французский посол при царском правительстве Морис Палеолог, симпатизировавший последнему императору, с отвращением отмечает в своих дневниках, что первыми дезертировали те, кто по праву рождения должны были престол охранять, те, кто мнил себя элитой страны: «... За несколькими исключениями, тем более заслуживающими уважения, произошло всеобщее бегство придворных, всех этих высших офицеров и сановников, которые в ослепительной пышности церемоний и шествий выступали в качестве прирожденных стражей трона и присяжных защитников императорского величества» (7). И далее Палеолог приводит откровения либеральных вождей Февральской революции: «Маклаков, видевший ближе, чем кто-либо, революцию, рассказывает нам ее зарождение:

– Никто из нас, – говорит он, – не предвидел огромности движения; никто из нас не ждал подобной катастрофы. Конечно, мы знали, что императорский режим подгнил, но мы не подозревали, чтобы это было до такой степени. Вот почему ничего не было готово. Я говорил вчера об этом с Максимом Горьким и Чхеидзе: они до сих не пришли в себя от неожиданности» (8).

Подумать только – десятки лет осатанело раскачивали лодку и не подумали, что она может перевернуться – вот уровень мышления либеральной интеллигенции начала XX века. А ведь сценарий событий не являлся секретом для наиболее проницательных, почему «реакционный» писатель Достоевский мог предвидеть, а «прогрессивный» политик Маклаков нет? По тем же причинам

либерального всеобщего ослепления, когда желаемое выдается за действительное, своя воля за всенародную, демагогия за истину. О последовавших событиях начала марта 1917 года Максим Горький напишет: «...главнейшим возбудителем драмы я считаю не “ленинцев”, не немцев, не провокаторов, а более злого врага – тяжкую российскую глупость» (9).

События развивались стремительно. Метания между псевдодемократической риторикой, приведшей к окончательному развалу армии, растущее разочарование народа в земельной политике правительства, вредоносность тайных пружин управления^[22]. Палеолог с ужасом продолжает наблюдать, как власть уплывает из рук Временного правительства: «Милюков отвечает самыми успокоительными уверениями. Его речь достаточно пространна, чтобы дать мне время рассмотреть этих импровизированных хозяев России, на которых тяготеет такая страшная ответственность. Одно и то же впечатление патриотизма, ума, честности остается от всех. Но какой у них обессиленный вид от утомления и забот! Задача, которую они взяли на себя, явно превосходит их силы» (10). Там же: «Понедельник, 14 мая 1917 г. Военный министр Гучков подал в отставку, объявив себя бессильным изменить условия, в которых осуществляется власть, – “условия, угрожающие роковыми последствиями для свободы, безопасности, самого существования России”. Генерал Гурко и генерал Брусилов просят освободить их от командования. Отставка Гучкова знаменует ни больше, ни меньше, как банкротство Временного правительства и русского либерализма. В скором времени Керенский будет неограниченным властелином России... в ожидании Ленина» (11). Последнее замечание оказалось пророческим. Обратите внимание – на дворе

еще май 1917 года. Значит, не столь уж неожиданным был приход к власти Ленина и его большевиков.

Ждали того, кто наведет порядок. «Есть такая партия», – помните ли вы такое полотно? 10 (23) июня 1917 года Ленин на заседании Первого съезда Советов (большевики составляли там незначительное меньшинство – немногим более 10 процентов) объявил, что его партия готова взять власть в России. В 1930-х годах и позднее реакция эсеров-меньшевистского Съезда на это заявление изображалась в виде приступа бессильной злобы, что и отражено художником Е. Кибриком, наряду с фигурой якобы сидевшего рядом с Лениным молодого Сталина. Между тем очевидец, известный литератор В. Полонский, вспоминал в 1927 году, как «в июне 1917 года Первый съезд Советов хохотал над заявлением Ленина... несколько минут, которые показались мне очень долгими, съезд не мог успокоиться от хлынувшего на него веселья» (12). Но очень скоро стало не до смеха.

Следующая знаменитая картина. Ленин, со знакомой бородкой и усиками, выкинув руку вперед в так называемом «ленинском жесте», начинает свою речь уже перед Вторым Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов историческими словами: «Товарищи, рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась». За Лениным на сцене в застывшем порыве его соратники, состав которых менялся от картины к картине в зависимости от их судьбы к моменту ее изготовления. В действительности, 7 ноября 1917 года сцены в зале не было, исторические слова были произнесены не на съезде, а в Петроградском Совете, в 14 часов 35 минут, когда революция еще не совершилась, сам Ленин был бритым, а В. Молотов вспоминал вдобавок, что когда незабвенный Ильич, провозглашая Советскую власть,

приподнимал ногу, была видна протертая подошва его ботинка... Что же произошло между этими двумя сценками, от «есть такая партия» до «революция совершилась»? Да так, мелочь – крах либеральных иллюзий русской интеллигенции, ее ужас, когда она воочию увидела «освобожденный» ею народ – грабящий магазины, убивающий армейских офицеров, занимающийся самосудом на улицах Петербурга.

В январе 1918 года будущий видный большевик и заместитель наркома иностранных дел, а тогда еще меньшевик В. Майский жаловался: «Теперь растоптана душа социалистической интеллигенции, ибо её вере в народ самым же народом нанесён бесконечно тяжкий и мучительный удар... Случилось то, что часто бывает в истории: реальная жизнь обманула ожидания идеологов, она оказалась совсем не такой, какой её воображают себе люди мысли, слова и поэтические вдохновения... Оказалось, что народ слишком упрощено понял социалистическую интеллигенцию». Хотя, признает дальше Майский, народ искренне пытается «грубо, дико и неуклюже... претворить в действительность золотую мечту социализма, заброшенную в их сознание той же интеллигенцией!» (13).

Тезис проверен временем – некого винить, кроме себя. Вопрос, пожалуй, только в степени влияния интеллигенции на революционные процессы и как постепенно она утрачивала влияние на них.

Без проблем скovyрнув Временное правительство в октябре 1917 года, Владимир Ильич плотно засел в Смольном институте, в кабинете, с которого даже не успели снять табличку «Классная дама» (да и на других дверях грозного штаба революции комично красовались фарфоровые овальные таблички с надписями вроде «девичья» или «гранд-дама»). Но поначалу власть Ленина дальше Смольного института не распространялась. Приход большевиков был воспринят обществом с явным неодобрением. Наблюдались даже некоторые попытки протестовать, скажем, саботаж государственных служащих. Но большевиков поддерживали пролетариат и военные гарнизоны обеих столиц, которые и определили, на чьей стороне победа.

Власть валялась на дороге, но не оказалось сил, кроме большевиков, которые рискнули бы её поднять. Тому имелись объективные причины – страна ждала выборов и созыва Учредительного собрания. Большевики рассматривались общественным мнением, как некая переходная форма правления, которая неминуемо сложит свои полномочия перед легитимным, всенародно избранным парламентом. Иначе они, дескать, станут вне закона и народ их попросту сметет.

Дата выборов Учредительного собрания ранее была определена в августе 1917 года и назначена на 12 (25) ноября. В октябре стали публиковаться списки кандидатов. Большевики, которые нередко весьма критически отзывались о самой идее этого Собрания, тем не менее, выставили своих кандидатов вместе с остальными тогдашними партиями. Захватив власть 25 октября (7 ноября) 1917 года, они не отменили выборы,

которые и начались в назначенный срок – через семнадцать дней после большевистского переворота.

Итоги выборов, вроде бы, означали безусловную победу эсеров: они получили 40,4 процента голосов (17,9 млн. избирателей из общего количества 44,4 млн.), а большевики – только 24 процента (10,6 млн. избирателей). Остальные партии можно было после выборов вообще не принимать во внимание: кадеты – 4,7 процента (2,0 млн. голосов), меньшевики – 2,6 процента и т. п. При этом победа эсеров (почти в 1,7 раза больше голосов, чем за большевиков) всецело определялась голосами крестьян. Однако в 68 крупных – губернских – городах России дело обстояло абсолютно иначе: большевики получили там 36,5 процента голосов, а эсеры всего только 10,5 процента, то есть в 3,5 раза (!) меньше (14).

Власть в централизованном государстве находится не в сельской глубинке, где эсеры действительно пользовались тогда огромным влиянием, но в столицах. А выборы в Учредительное собрание с беспощадной ясностью показали, что эсеры фактически не имели в столицах **никакой** опоры. Так, в Петрограде за них проголосовали всего 0,5 процента избирателей, между тем как за большевиков – 45,3 процента, да плюс за союзных им левых эсеров 16,2 процента (в целом – 61,5). Нельзя не сказать и о том, что петроградский военный гарнизон отдал большевикам 79,2 (!) процента голосов, левым эсерам – 11,2 процента, а эсерам всего лишь 0,3 процента... В Москве эсеры получили больше голосов – 8,5 процента, но это, вероятнее всего, объяснялось тем, что здесь (в отличие от Петрограда) левые эсеры еще не «отделились», а кроме того, большевики получили в Москве 50,1 процент голосов, то есть больше половины, и 70,5 процента в московском гарнизоне (15).

Крестьяне отдавали свои голоса эсерам, вне всякого сомнения, потому, что эта партия с самого начала своего существования (1901 год) выдвинула программу превращения земли во «всенародное достояние» – программу, которую разделяло абсолютное большинство крестьян. Между тем большевики выдвигали проект передачи земли в распоряжение местных властей. Взяв власть, сторонники Ленина попросту подменили свою аграрную программу эсеровской («Земля – крестьянам»), но было уже поздно, до выборов оставалось всего 17 дней, и при тогдашних средствах коммуникации эта «замена» едва ли стала известной основной массе крестьян.

Итак, секрет успешного захвата власти коммунистами – это не просто дворцовый переворот, а благоприятный момент их полного доминирования в столицах с перспективой присоединения к победителям проинформированных об их намерениях крестьян^[23]. И действительно, в решающий момент Гражданской войны крестьяне поддержали большевиков. Да и не только крестьяне. Многие интеллигенты пошли именно за «партией пролетариата», поскольку увидели в ней зачатки государственного порядка, который все же лучше бесконечных бунтов. К августу 1919 года, то есть в разгар Гражданской войны, когда большевизм проявил себя уже в полной мере, только в центральных наркоматах работали 29122 «буржуазных специалиста». А прибавьте десятки тысяч специалистов на местах. И радикальная интеллигенция (даже разочаровавшиеся в большевиках эсеры), от идеи самой революции не отрекалась.

Б. Бабина, член партии эсеров с конца 1900-х, в своих мемуарах цитирует одно из эсеровских воззваний эпохи Гражданской войны: «...Страна горит в огне Великой Революции, которую мы же сами ждали,

готовили, призывали, в необходимость и неизбежность которой так горячо верили!» (16) «Великая революция...», «Мы сами готовили...»

В целом потери образованного класса, в результате так долго пестуемой им революции, были огромны. Гражданская война почти истребила воспитываемый веками прозападный слой России. Из примерно пяти миллионов европейски образованных русских, составлявших элиту страны в предреволюционный период, в России после голода, Гражданской войны и исхода интеллигенции на Запад осталось едва ли несколько сотен тысяч, быстро оттесненных от рычагов власти новыми правителями. Созданы предпосылки для изоляционизма. Это был второй (после переноса столицы) фактор в пользу автохтона Сталина, вступившего в послеленинский период борьбы за власть с более космополитически воспитанными претендентами на российское лидерство^[24] (17).

Война закончилась, оставив правящей партии огромное количество проблем: голод, разруха, колоссальная безработица. На этом фоне большевики пытаются даже насадить безденежные коммунистические отношения, видимо предполагая, что все зло в полном расстройстве финансового обращения страны и видя выход в стремительном броске к утопии. Один за другим в декабре 1920 года публикуются декреты, знаменующие переход к «военному коммунизму»: 4.12 «О бесплатном отпуске продовольствия»; 17.12 «О бесплатном отпуске товаров широкого потребления»; 23.12 «Об отмене платы за топливо»; 27.12 «Об отмене платы за пользование почтой, телеграфом, телефоном» и т. д.; 27.01.1921 «Об отмене квартплаты». Был подготовлен декрет об окончательной отмене денег и замены денежной единицы – трудовой («Тредом»). Казалось, обещанный

коммунизм не за горами, и вдруг – Новая экономическая политика. Для множества преданных борцов с капитализмом НЭП оказалось шоком – значит, напрасны оказались их жертвы, растоптаны идеалы? Смириться казалось немыслимым. Утопия столкнулась лицом к лицу с действительностью. А действительность для фанатиков идеи оказалась такова: разрушенная и парализованная промышленность после войны не могла предоставить нужное количество рабочих мест, людям в городах нечего было есть, а бесчинства продотрядов, отбиравших в деревне продовольствие, довели крестьян до отчаяния^[25]. Нарастание экономических трудностей и безработицы в значительной степени усиливалось массовой демобилизацией: из рядов Красной армии в 1921–1923 годы были уволены более 3,5 миллионов человек.

Страна отвечала большевикам бунтами, самыми известными из которых стали жестоко подавленные Тамбовское восстание и Кронштадтский мятеж. Для примера: среди требований восставших кронштадцев были немедленное обеспечение свободы торговли, разрешение кустарного производства, разрешение крестьянам свободно пользоваться своей землёй и распоряжаться продуктами своего хозяйства, то есть ликвидация продовольственной диктатуры. По сути, это лозунги кустаря и крестьянина, то есть подавляющего большинства населения страны. Власть большевиков висела на волоске, и спасти ее могло только чудо, явленное народу в виде НЭПа.

Итак, в марте 1921 года большевики вынуждено провозгласили Новую экономическую политику, что подразумевало появление частного сектора в мелком производстве, сельском хозяйстве и сфере услуг. На некоторое время радикальные социалисты отступили, но недовольство затаили.

По сути, знаменитый эффект почти мгновенного наполнения прилавков после введения НЭПа, сродни нынешней «шоковой терапии», когда товары на полках появляются быстро, но просто по недоступным для большинства потребителей ценам. Так было в начале 1990-х годов прошлого века, в результате реформ Е. Гайдара. Так случилось и в 1920-е годы.

Существование в одном государстве двух параллельных миров – капиталистического и социалистического – при общей нехватке товаров, давало огромный простор для злоупотреблений. Нэпманы подстерегали товары, имеющиеся в недостаточном количестве. Когда такой товар завозится в кооператив, они узнавали об этом от служащего, состоящего с ними в сговоре, и скупали всю партию по оптовой цене, чтобы затем перепродать ее значительно дороже. Вспомним историю обогащения Корейко: *«Он чувствовал, что именно сейчас, когда старая хозяйственная система сгинула, а новая только начинает жить, можно составить великое богатство. Но уже знал он, что открытая борьба за обогащение в Советской стране немыслима»*. Понимали это и нэпманы, и послевоенные спекулянты, и цеховики эпохи застоя. Советская страна действительно мешала открытому обогащению, за что, в конце концов, и поплатилась.

Нелепо предполагать, что СССР мог подавить накопительские частнособственнические инстинкты, или даже имел такую возможность. Взяточничество и воровство всегда процветало в системе социалистического распределения благ:

«Остап покрутил носом и сказал:

– Это что, на машинном масле?

– Ей-богу, на чистом сливочном! – сказал Альхен, краснея до слез. – Мы на ферме покупаем.

Ему было очень стыдно...»

И доныне самый крупный куш достается тем, кто имеет доступ к распределению государственного бюджета. Другое дело, что до нынешней степени беззастенчивости советские торгаши не доходили. Расстрел за хищение в особо крупных размерах никто не отменял, и нэпманов казнили пачками. Мы же обратим внимание на прозвучавшее в приведенной цитате слово «ферма». По сути «фермер» в реалиях тогдашней действительности – это завуалированный «кулак». Очень скоро с ними начнется война не на жизнь, а на смерть.

Но в середине 1920-х экономическое оживление сыграло свою положительную роль в восстановлении страны. Если верить авторам «12 стульев», в некоторых городах появилось так много парикмахерских и похоронных бюро, что локальный спрос был полностью удовлетворен и даже наблюдался кризис перепроизводства.

Вообще, следует заметить, что представленные в «12 стульях» и «Золотом теленке» типовые ситуации и фирменные черты советской действительности являются точным слепком эпохи, вплоть до мельчайших деталей. В первом романе показаны аукцион «Главнауки» (антикварная горячка 1920-х годов); турнир в Васюках (шахматная истерия в СССР); пропаганда займов; авангардные постановки Гоголя; разговоры о близкой войне, о шпионах и белоэмигрантах; ялтинское землетрясение 1927 года.

Во втором романе: противохимические учения, автопробег, Турксиб и пятилетка; чистка, соевая кампания, арктические полеты и многое другое. Нарисованные в диалоги картинки жизни перестают быть разрозненными элементами фона и сливаются во всеобъемлющий образ обновленной России 1920-х годов, когда на десятилетия вперед закладывался фундамент советского общества. Скажем, отмеченные

авторами тогда еще свежие канцеляризмы пугали еще многие поколения советских граждан: «Обеденный перерыв от 2 до 3 ч. д.», «Закрыто на обеденный перерыв», просто «Закрыто», «Магазин закрыт» и, наконец, черная фундаментальная доска с золотыми буквами: «Закрыто для переучета товаров». Сама мастерская по производству этих табличек, как мы понимаем, тоже примета НЭПа. И еще беспризорники. Именно беспризорник встречается Остапа Бендера, когда он впервые предстает перед читателем на страницах «12 стульев». Сотни тысяч сирот стали особой проблемой первых лет Советской власти. Их вылавливали, увозили в колонии, но они снова возникали на улицах и рынках, ходили стаями, играли в карты в глухих закоулках, спали в подъездах и в пустых асфальтовых котлах, воровали, выпрашивали папиросы и пели по трамваям блатные песни^[26]. Писатель К. Паустовский вспоминает в «Книге о жизни», как они с другом однажды подобрали тяжело больного беспризорника, пригласили старого доктора-армянина, который диагностировал у мальчика двустороннее воспаление легких. И далее между старым доктором и молодым писателем состоялся такой диалог: «Доктор снял его (*пенсне* – К. К.), поднес почти вплотную к старческим выпуклым глазам и спросил:

- Как это случилось?
- Что? С мальчиком?
- Нет! Как это случилось, что тысячи детей выкинуты, как котята, на улицу?
- Не знаю.
- Нет! – сказал он твердо. – Вы знаете. И я знаю. Но мы не хотим думать об этом...»

Ужасно, что ситуация с детьми сегодня, спустя почти сто лет, схожа. Мы тоже знаем, но молчим.

«Шурка Балашов умер через четыре дня, – вспоминает дальше Паустовский. – Долго после его смерти я не мог избавиться от чувства вины перед ним. Зузенко говорил, что никакой вины нет, что я – гнилой интеллигент и неврастеник, но под кожей на скулах у капитана ходили твердые желваки, и он без конца курил. Мальчика похоронили в мелкой могиле на краю кладбища. Все время шли дожди, сбивали гнилые листья и засыпали ими низкий могильный горб. Сейчас я, конечно, его уже не найду, но приблизительно знаю, где похоронено маленькое, беспомощное существо, совершенно одинокое в своем страдании» (20).

Насколько отличаются эти горькие, человеческие строки от писаний «лучшего журналиста эпохи» М. Кольцова, ярко демонстрирующего подход новой элиты к не своим детям. Запись 1927 года: «Жуткие кучи грязных человеческих личинок... еще копошатся в городах и на железных дорогах... еще ползают, хворают, царапаются, вырождаются, гибнут, заражая собой окружающих детей, множа снизу кадры лишних людей, вливая молодую смену преступников» (21). Сколько презрения и ненависти^[27]. Очень скоро она бумерангом обрушится на голову и самого автора, и всей коммунистической элиты.

Да, разумеется, для беспризорников было типичным объединение в группы с жесткой дисциплиной и властью вожака («вождя», «старосты»), между которыми шла жестокая уличная борьба, – настоящий кладезь для преступного мира (и фольклора). Но также эти сироты (кого удалось перевоспитать в специальных трудовых колониях) стали неисчерпаемым источником кадров для ГПУ-НКВД, ведь именно ГПУ целенаправленно вело работу по ликвидации беспризорности. На содержание колоний для сирот каждый чекист должен был отчислять десять

процентов своей заработной платы. Органы заботливо патронировали колонии и вполне естественно в скором времени получили огромный резерв абсолютно преданных последователей и вымуштрованных исполнителей приказов. Когда сегодняшние либеральные интеллигенты возмущаются, откуда взялось у режима столько палачей для уничтожения элиты тридцатых годов, пусть вспомнят умершего малыша – сироту Шурку Балашова – и что привело его к смерти, какие прекрасные слова предшествовали Гражданской войне и смерти миллионов сограждан...

Но вернемся в двадцатые годы, оставившие в истории удивительно пеструю картинку, столь милую сердцу тех, чья молодость пришлась на то бурное время: «Крещатик был тогда не таким широким и холодно импозантным, как ныне. Он имел свою прелесть, особенно на отрезке от Думской площади (*майдан Независимости*) до Фундуклеевской (*улица Б. Хмельницкого*). На этом небольшом пространстве находилось пять кинотеатров, включая «Шанцер», с просторными фойе, украшенными мраморными колоннами, зеркалами в позолоченных рамах и бра в стиле «ар нуво». Помимо иностранных там шли и ленты юной советской кинопромышленности, например «Отец Сергей», «Аэлита» или «Кирпичики», по сценарию, навеянному популярной в те годы песенкой о любви работницы, замешивавшей глину, и грузчика Сеньки, ставшего, после назначения на пост красного директора, «товарищем Семеном». На Крещатике почти в каждом здании в полуподвалах работали заведения под вычурной вывеской «Бильярд-Пиво». Здесь после работы мужчины коротали время, гоня шары и потягивая пенистый напиток. Прямо на тротуаре в специальных машинках изготавливали ароматные вафли с кремом. Тут же мальчишки продавали надувных, резко пищавших «чертиков» и упакованные в деревянные

коробочки ириски. Кафе-кондитерских было не счесть...» (23). Таким запомнил город своей юности будущий личный переводчик Сталина В. Бережков, к воспоминаниям которого мы еще не раз вернемся. Таковой представляется и нам картина едва ли не праздничной юности советского режима. Но был ли праздник на самом деле? Вот основной вопрос понимания отечественной истории.

Пестрота НЭПа иссякла довольно быстро и тому имелись веские причины. Еще 26 марта – 9 апреля 1926 года прошел Пленум ЦК ВКП(б) о хозяйственном положении, а 20 апреля 1926 года в «Правде» опубликован доклад Ф. Дзержинского «Борьба за режим экономии и печать». Там отмечалось, что себестоимость наших изделий почти в два раза больше довоенной, что создано много ненужных организаций, что лишняя рабочая сила превращает фабрику в собес, что государственный аппарат построен бюрократически. Докладчик подчеркнул, что «кампания по режиму экономии потребует длительного периода времени, может быть даже столько же времени, сколько мы должны ждать социализма» (24). «Режим экономии» и свободная продажа ресурсов несовместимы. Хотя большевики до времени и опровергали ширящиеся слухи о сворачивании Новой экономической политики: «Разговоры о том, что мы будто бы отменяем НЭП, вводим продразверстку, раскулачивание и т. д., являются контрреволюционной болтовней, против которой необходима решительная борьба» (Сталин в феврале 1928 года) (25). Это была ложь. Режим экономии, то есть резкое сокращение уровня потребления, был продиктован подготовкой государства к Большому Скачку – форсированной индустриализации страны. Все производственные мощности задействовались для строительства и развития промышленности. Всё остальное практически не производится и становится дефицитом.

Пророчество «железного Феликса» блистательно оправдалось – экономия и нехватка сопровождали нас всю эпоху развитого социализма. И вот уже

ильфопетровский Галкин жалуется, что невозможно достать обычную кружку Эсмарха (грелку/клизму) для своего диковинного инструмента. *«Не то, что кружки Эсмарха, термометра купить нельзя!»* – поддерживает его стенания Палкин. И напрасно вопрошает мечтающий возвести частный домик Бендер: *«Где же я возьму камни, шпингалеты? Наконец, плитусы?»*. Даже всеведущий Коровьев в «Мастере и Маргарите» вынужден оправдываться перед прибывшей на бал королевой: *«Вас удивляет, что нет света? Экономия, как вы, конечно, подумали? Ни-ни-ни»*. И света, как мы помним, на бале у сатаны хватало.

В двадцатые годы прошлого века большевики оказались перед неразрешимой проблемой. Чтобы становиться передовой промышленной державой, надо восстанавливать и строить промышленность, а ресурсов нет и где их взять непонятно. Ну, ладно, если не хватает клизм или шпингалетов, хотя тоже вещи в хозяйстве нужные. Но металл, уголь, зерно! Острейшим образом стал вопрос о нехватке рабочих рук для рождающейся промышленности, и где эти руки могут вытянуть ноги после трудового дня, попросту говоря, жилищная проблема. Один кризис накладывался на другой – товарный на промышленный, промышленный на жилищный. Ведь, скажем, чтобы много строить, нужен металл, а его нет и закупить его не за что. Замкнутый круг.

Городское население нужно было где-то расселять, иначе растущую экономику работниками не обеспечить. Одна из крылатых фраз эпохи о том, что *«москвичи хорошие люди, но квартирный вопрос их испортил»*. Если присмотреться, то описание квартирных мучений занимают огромную часть советской литературы, причем написанную, как правило, талантливо, зло, искренне... Чувствуется, что художники слова на личном опыте испытали правду коммунальной жизни.

Скажем, прототипом хрестоматийной комнатенки, где живут незадачливые молодожены из «12 стульев» Коля и Лиза, послужило общежитие газеты «Гудок» в Чернышевском переулке в Москве, где получил комнату И. Ильф в начале своего журналистского пути. В известном романе И. Эренбурга «Рвач» описан житейский ад, типичный для московского жилья той эпохи: «Квартира № 32, это рядовая московская квартира. На входной ее двери красовался длиннейший список фамилий с пометками: “звонить три раза” или “стучать раз, но сильно”, “два долгих звонка, один короткий”. Все двадцать семь обитателей квартиры должны были, прислушавшись, считать звонки или удары, отличая долгие от коротких. Многие ютились в проходных комнатах... Жили, вопреки поговорке, и в тесноте, и в обиде, оживляя будни сплетнями, ссорами, скандалами».

В подобных условиях люди шли на чудеса изобретательности, дабы улучшить свои жилищные условия: *«Так, например, один горожанин, как мне рассказывали, получив трехкомнатную квартиру на Земляном валу, без всякого пятого измерения и прочих вещей, от которых ум заходит за разум, мгновенно превратил ее в четырехкомнатную, разделив одну из комнат пополам перегородкой, – излагает Коровьев. – Засим эту он обменял на две отдельных квартиры в разных районах Москвы – одну в три и другую в две комнаты. Согласитесь, что их стало пять. Трехкомнатную он обменял на две отдельных по две комнаты и стал обладателем, как вы сами видите, шести комнат, правда, рассеянных в полном беспорядке по всей Москве. Он уже собирался произвести последний и самый блистательный вольт, поместив в газете объявление, что меняет шесть комнат в разных районах Москвы на одну пятикомнатную квартиру на Земляном валу, как его деятельность, по не зависящим*

от него причинам, прекратилась». Извините за длинную цитату, но Коровьева оборвать на полуслове невозможно. Разумеется, на этом фоне весьма значительными, выпуклыми фигурами становились фигуры домоуправа, председателей домкома, жилтоварищества, начальника ЖАКТа (жилищно-коммунального товарищества). Целую плеяду таких образов обессмертил Булгаков – от Швондера и Бунши до Никанора Босого.

Вторым наиглавнейшим вопросом для работников, кроме крыши над головой, стало полноценное питание. Статистика утверждает, что здесь по мере укрепления НЭПа наблюдались изменения в лучшую сторону. К 1922 году 70 % зарплаты рабочего уходило на еду, а в 1924 на еду расходовалась лишь половина заработка. По сравнению с 1908 годом граждане употребляли больше молочных продуктов, сладостей, в полтора раза больше мяса (26). И вот о мясе особо.

Традиционное представление нашего человека о том, что без мясного полноценного питания не существует, вызывало особое раздражение официальной пропаганды. Газета «Московский пролетарий» (30.07.28) обличала неразумных: «Основным недостатком в питании отдыхающих является изобилие мяса... Рабочий никак не может примириться с мыслью, что употребление большого количества мяса бесполезно и не безвредно... Надо изжить вкоренившийся ложный взгляд на значение и роль мясных продуктов». Плакаты *«ОДНО ЯЙЦО СОДЕРЖИТ СТОЛЬКО ЖЕ ЖИРОВ, СКОЛЬКО 1/2 ФУНТА МЯСА»* и *«МЯСО – ВРЕДНО»* – отнюдь не выдумка Ильфа и Петрова.

Идеи вегетарианства, которые проповедовал Коля своей юной жене, считались вовсе не блажью, но модным и поощряемым поветрием. Впрочем, как мы помним, истинная причина Колиного вегетарианства

была все-таки вынужденной: *«Куда идут деньги?» – задумывался он, вытягивая рейсфедером на небесного цвета кальке длинную и тонкую линию. При таких условиях перейти на мясоедение значило гибель...»* Когда продукт является дефицитным, отказ от него воспринимается как поза или подозрительное сотрудничество с властями. С этой точки зрения вегетарианство в СССР будущего не имело.

В рамках все того же вегетарианского просвещения масс государство старательно рекламировало сою, представляя ее чем-то вроде социалистической скатерти-самобранки. «С выставок на кухню. Институт сои изготовил 100 рецептов различных блюд из сои», – извещает «Правда» в августе 1930 года. На показательных обедах в Москве и Харькове осенью того же года фигурировало до 130 соевых угощений, в том числе суп, борщ, котлеты, голубцы, хлеб, пудинг, кофе. Сыры, салаты, паштет, шоколад, конфеты, торты, пирожные, пряники, печенье – все из сои. СМИ превозносят её питательные свойства (1 кг соевой муки = 3,5 кг мяса = 6 десятков яиц = 14 кружек молока); «Сейте жареное мясо и цельное молоко! Сейте бисквиты и яичницы!», – призывают газеты (27).

Соевое поветрие симптоматично для первой пятилетки, когда продовольственные трудности стимулировали изыскание альтернативных источников питания. К. Симонов описывает один из запомнившихся эпизодов своей юности, что пришлось на конец двадцатых – начало тридцатых годов: «Когда не было многого другого, хорошо уродилась на Нижней Волге соя, которую там вдруг стали культивировать, и мы ели каждый день эту сою – и в виде супов, и в виде котлет, и в виде киселей» (28). Л. Копелев: «Соевый кофе и соевые пирожные на сахарине продавали без карточек. Эти сласти и нарядные светлые столики на фоне темных прокопченных цехов казались нам живыми

приметами социализма» (29). У Булгакова мальчик Альоша в «Театральном романе» измазан не чем-нибудь, а соевым шоколадом и т. д.

Продовольственные лишения заставляли граждан пускаться в поиск универсальных средств пропитания. Приведем в пример статью «Что можно получить от кролика» В. Одинцова («Огонек» 20.04.1930 г.): «Кроме мяса, кролик дает мех, пух, кожу, шевро, замшу, лайку, фетр, клей, струны, удобрение и корм для скота (внутренности и кровь) – одним словом, почти весь кролик может быть утилизирован. Но главным направлением для нас должно быть мясошкурковое». Заметим, что эта заметка опубликована уже после того, как весь Советский Союз узнал из знаменитого романа о кроличьей эпопее отца Федора. В общем, «кролики – это не только ценный мех...»

Неудивительно, что на фоне великой битвы за продовольствие, в своем повествовании о географических передвижениях Остапа Бендера соавторы особо отмечают продовольственную привлекательность местности по ту сторону Кавказского хребта: *«Путники шли над Арагвой, пускались в долину, населенную людьми и изобилующую домашним скотом и пищей. Здесь можно было выпросить кое-что, что-то заработать или просто украсть. Это было Закавказье»*. От себя добавим – совсем недавно присоединенное к СССР Закавказье, не знавшее ужасов всеохватывающей Гражданской войны и голода начала 1920-х годов; предприимчивое Закавказье, где, как мы помним из романа, царило изобилие контрабандной пудры «Коти», шелковых чулков и сухумского табака...

Еще одна важная примета двадцатых годов – «лишенец», человек, лишенный избирательных, да и всяких других прав. Статус, сравнимый с современными «негражданами» в Латвии. *«Пусти, тебе говорят,*

лишенец!», – командует Остап Бендер, пробиваясь к изловленному толпой мнимому слепому Паниковскому. Советское государство стремилось свести влияние своих политических противников до минимума и лишало их всяческих избирательных прав. «Лица, лишённые избирательных прав, могут голосить, но не голосовать» – гласил плакат, изображающий кулака и священника в виде свиньи и курицы.

Инструкция ВЦИК «О выборах в городские и сельские Советы» за 1926 год перечисляла лиц, лишённых права участвовать в выборах. К ним относились служащие и агенты царской полиции и охранного отделения, члены царского дома, а также лица прямо или косвенно руководившие действиями полиции, жандармерии и карательных органов при царском строе и при белых контрреволюционных правительствах. Относились к ним служители религиозных культов всех вероисповеданий и толкований, бывшие офицеры и чиновники белой армии, а также члены семей лиц, лишённых избирательных прав. Оговорка была сделана лишь для тех, кто служил у белых, но потом переметнулся к красным и защищал революцию.

Лишенцы не могли быть членами профсоюзов, состоять на советской службе, работать на фабриках и заводах; их дети не могли учиться в университетах и служить в Красной Армии. Им было отказано в продовольственных карточках и государственном медицинском обслуживании. Но не только против представителей бывших привилегированных классов большевики вводили данные жесткие ограничения. В «Программе коммунистического Интернационала», принятой 1 сентября 1928 года особо отмечалось: «Советское государство... лишает своих классовых врагов политических прав, и оно может, при особых исторически сложившихся условиях, давать ряд

временных преимуществ пролетариату в целях упрочения его руководящей роли, по сравнению с распыленным мелкобуржуазным крестьянством». По сути, новая советская элита сознательно отсекала крестьянство, то есть основную часть населения страны, от процесса управления государством.

Кроме того, власть периодически проводила тотальные чистки в государственных учреждениях, что достаточно подробно описано в «Золотом теленке»: «... Их мучительно хотелось чистить, выпытывать, что они делали до 1917 года, не бюрократы ли они, не головотяпы ли и благополучны ли по родственникам». Заседания комиссий по чистке проходили публично, сотрудников учреждения приглашали участвовать в допросе «подследственных» и в решении их судьбы. Некоторые заседания даже проходили на улицах, в скверах или на площадях. Для начала проверяемому предлагали рассказать о себе, а затем начинались вопросы, которые могли касаться любых моментов его биографии.

Первая категория увольнения по чистке означала фактически «волчий билет». Официальное разъяснение гласило: «Лица, вычищенные по первой категории, т. е. лишенные права работать в советских, хозяйственных, кооперативных и прочих предприятиях социалистического сектора, исключаются из профсоюзов» (30). Это подразумевало автоматическую потерю и права на продовольственные карточки. То, что «лишенцы» не получали карточки, означало для них необходимость покупать все по коммерческим, довольно высоким ценам. Иногда им просто ничего не оставалось делать, как просить подаяние. Зарубежные наблюдатели отмечали рост нищенства на улицах больших городов; эти новые нищие тянулись за сочувствием к иностранцам, просили милостыню по-французски и по-немецки, доедали объедки в

ресторанах. В попытках избавиться от подобных компрометирующих зрелищ широко практиковалось выселение «лишенцев» из домов и административная высылка в отдаленные районы, где их ожидала еще более суровая жизнь. Их положение во многом напоминало положение евреев в гитлеровской Германии. Сравнение не случайное. Эмигрантская газета «Руль» в 1931 году отмечала: «Лишенцы составляли около 5 % населения, из них евреев процентов 40-50. Раскулачивание было распространено и на еврейские местечки». Это опровергает распространенное мнение, будто евреи автоматически переходили в правящий класс, сформированный большевиками.

Когда мы понимаем все это сегодня, старания бухгалтера Берлаги спрятаться в сумасшедший дом от советской чистки, чтобы спастись от «волчьего билета», вызывают не запланированный соавторами смех, а сочувствие. Кроме того, во время чисток, в первую очередь, сокращали вспомогательный персонал, как правило, женщин. Барышня в «Собачем сердце» так боится потерять место, что готова отдаться бывшему псу, а ныне мелкому начальнику Шарикову.

«Кто отдавал себе отчет в том, что добровольный отказ от гуманизма – ради какой бы то ни было цели – к добру не приведет? Кто знал, что мы встаем на гибельный путь, провозгласив, что нам всё дозволено?»», – горько сетовала Н. Мандельштам в своих знаменитых «Воспоминаниях». «Об этом помнила только кучка интеллигентов, но их никто не слушал. Теперь их попрекают “абстрактным гуманизмом”, а в двадцатые годы над ними потешался каждый, кому не лень. “Хилым” и “мягкотелым” не нашлось места среди тридцатилетних сторонников нового. Первоочередная задача состояла в том, чтобы подвергнуть их осмеянию в литературе, – продолжает Н. Мандельштам. – За эту

задачу взялись Ильф с Петровым и поселили “мягкотелых” в “Вороньей слободке”. Время стерло специфику этих литературных персонажей, и никому сейчас не придет в голову, что унылый идиот, который пристаёт к бросившей его жене, должен был типизировать основные черты интеллигента. Читатель шестидесятых годов, читая бессмертное произведение двух молодых дикарей^[28], совершенно не сознает, куда направлена их сатира и над кем они издеваются» (31).

Послереволюционные годы жестокого бичевания интеллигенции очень скоро обернутся серьёзными проблемами для самого существования социалистического государства в том виде, в каком его наспех слепила правящая коммунистическая элита двадцатых годов. Ключевыми вопросами борьбы за власть между советскими якобинцами и советскими термидорианцами стали: с кем пойдёт народившаяся красная интеллигенция и кому будет сочувствовать старая?

IV

Нужно понимать, что 1920-е годы стали временем рождения советской государственной элиты – чудной помеси интеллигентных партийцев с дореволюционным стажем, военачальников и чекистов родом из Гражданской войны, отчасти выдвиженцев-рабочих, классовое происхождение которых символизировало народовластие, огромного количества прихлебателей, которые сопровождают становление любой власти, да провинциальных инородцев, о которых мы еще поговорим особо.

Народ к новой власти относился двойственно. Высшая власть зачастую мифологизировалась и традиционно наделялась идеальными качествами, тогда как бюрократия на местах воспринималась как ответственная за все проблемы в жизни простых людей. Происходило сие не из-за особой любви к советским вождям (из них только «всесоюзный староста» М. Калинин виделся как безоговорочно «свой»), а, скорее, ввиду восприятия партийной верхушки как последней инстанции, выше которой жаловаться на несправедливость и притеснения уже некому.

Устойчивость феномена неодинакового восприятия центральной и местной власти воплотилась в идиоме – «Высшая Власть». Именно так, с заглавной буквы, к ее представителям часто обращались в письмах рядовые граждане (32). Доверие к Высшей Власти, идущее со времени поклонения царю-батюшке, ни в коей мере не могло перекрыть то, что каждый день видели рабочие и крестьяне на низовом уровне. Рядовых жителей советской провинции возмущала открытая паразитарность новой бюрократии. И паразитарность эта была далеко не безобидной.

Как правило, она переплеталась с вопиющей профессиональной некомпетентностью и, что еще хуже, шла рука об руку с беззаконием и произволом в отношении местного населения. Что же это мне напоминает?

Уже в начале НЭПа местная партийная номенклатура получила судебные привилегии: партийные органы могли взять своего соратника под защиту, доводя до губернского прокурора собственное мнение о невиновности подсудимого. Например, в середине 1920-х годов видный деятель ВКП(б), жестокий гонитель Православной церкви, впоследствии репрессированный Е. Ярославский (М. Губельман) публично возмущался: «Не понимаю, чем суд занимается! Жестоко карает коммунистов-растратчиков. Ну что такое, если коммунист и растратил три тысячи рублей? Ведь если принять во внимание, что он был на красных фронтах, жертвовал своей жизнью, то ведь это ерунда!» (33). Не отсюда ли знаменитая тирада пытающегося оправдаться Шарикова из «Собачьего сердца»: «Я на колчаковских фронтах раненый!». Практика двойных стандартов укоренялась в жизни государства и применялась вполне официально. Что лишь поощряло мздоимство и помогало избранным выжить в те нелегкие времена.

А время действительно было для основной массы городского народа, напомню, голодноватое – безработица, беспризорники, преступность. Творческая (в частности, литературная) интеллигенция жалась к власти; по сути, других источников доходов, если не считать кучки частных журналов и издательств, которые хирели день ото дня, не имелось. Благоволение государства и его соглядатаев стало для многих вопросом профессионального выживания. Возьмем, для примера, Осипа Брика, такого чекиста-

литературоведа, мужа легендарной Лили Брик, многолетней возлюбленной В. Маяковского.

Осип с первых месяцев новой власти сообразил, что избранным литературным течением будет выдан государственный патент на революционную истину, а под издание – бюджет. В партийных кругах у него были мощные покровители, особенно среди эстетствующих чекистов. В доме у Брика собирались литераторы и сотрудники Брика по службе, вплоть до Я. Агранова^[29]. В кружке Бриков зондировали общественное мнение и заполняли первые досье. О. Мандельштам и А. Ахматова уже в 1922 году получили у них презрительное и получившее широкое распространение прозвище «внутренние эмигранты», что сыграло большую роль в их дальнейшей судьбе. Кроме того, чету Бриков объединяли удивительные отношения с миром нэпманского капитала. Например, когда в 1923 году некий А. Краснощеков организовал в Москве «Промбанк» и сам возглавил его, его любовницей стала... Лиля Юрьевна Брик. Когда Краснощекова арестовали, она (в 1924 году) вместе с О. Бриком и В. Маяковским даже переехала в Сокольники, чтобы быть поближе к тюрьме «Матросская тишина», где находился возлюбленный (241).

О. Брик едва ли не первый начал употреблять нелитературные средства в литературной борьбе, но его, в свою очередь, одолел появившийся позже Л. Авербах, организовавший знаменитый РАПП – «Российскую ассоциацию пролетарских писателей». Л. Авербах был одним из основателей комсомола, секретарем его московской организации, родственником Свердлова и Ягоды. Литературные течения не нужны, говорил Л. Авербах, их следует заменить «единой творческой школой», и тогда появятся – не могут не появиться – новые Шекспиры.

Единая школа подразумевала руководящую роль РАППа, возглавляемого самим Авербахом. Его «пролетарские писатели» исповедовали жесткий классовый подход к творчеству, пропаганду коммунизма средствами литературы, безжалостный отсев, вплоть до репрессий, всех несогласных с культурной политикой партии большевиков. Но если отбросить словесную шелуху, речь шла о максимальном приближении культуры к народу, к революционным массам трудящихся, то есть расширении базы культурной революции. И здесь тоже имелось здоровое зерно.

Культурная революция 1920-х годов порождала у народа потребность в новых знаниях и приобщения к культуре, и в эту нишу устремились огромное количество образованных людей, спешащих найти себя в новом мире. Эти важные тенденции не прошли мимо внимания коммунистических вождей, нуждавшихся в народе, способном перейти от крестьянского типа мышления к городскому, индустриальному, без чего невозможна модернизация страны.

Классикой жанра стала мысль Сталина, что, наряду с инженерами, работающими в сфере производства, строительства и других технических областей, не менее важную роль играют писатели, своими произведениями воспитывающие и просвещающие людей. И таких писателей можно с полным правом тоже назвать инженерами, инженерами человеческих душ, рассуждал Иосиф Виссарионович:

– Их роль весьма важна и ответственна, ибо если у писателя нет твердой и правильной политической позиции, если в нем присутствует какая-то раздвоенность, путаница в мыслях, то от такого «инженера» один только вред и от таких «инженеров» надо «избавляться», – элегантно закруглял свою мысль вождь народов.

И избавлялись: того же Л. Авербаха расстреляли. Он просто стал не нужен, хотя тень его долго еще витала над бурлящим морем советской словесности. Спустя много лет и сам постаревший вождь помянул в беседе его незлым тихим словом: «Вот тут этот был – как его? – Авербах, да. Сначала он был необходим, а потом стал проклятием литературы» (35). То есть, авербахи на каком-то этапе развития большевикам всё же были необходимы. Почему же их пустили в расход? Неужели паранойя вождя тому причина – как толкуют его поступки некоторые мемуаристы? Отнюдь.

С самого появления российской социал-демократии (как и в целом русской интеллигенции) в ней шла негласная борьба между почвенниками и западниками – даже когда фракции борющихся партий не осознавали себя таковыми. В 1925 году окончательно разрешается спор автохтона Сталина и интернационалиста Троцкого. Ныне видно, что исход их борьбы не мог быть иным. 170 миллионов граждан СССР просто не могли быть принесены на алтарь восстания европейских пролетариев. Русскую революцию нужно было тормозить, поскольку она существовала за счет разграбления предыдущего достояния страны. Необходимо было учиться жить за собственный счет. Поставив задачу обустройства собственного государства, построения социализма в одной стране, Сталин выиграл бой. Если отбросить шелуху, то фактически он поставил ту же задачу, что и Петр, – догнать Запад. Но в отличие от императора Петра он был вынужден делать это изолированно от Запада, на основе мобилизации собственных ресурсов.

Неприспособленность НЭПа для нужд индустриализации страны выявилась довольно скоро. К концу нэповского периода безработица составляла 15 % всего числа рабочих и служащих. Важно, что динамика безработицы развивалась в сторону неуклонного ее

увеличения на всем протяжении 1920-х годов. Застойная безработица, в свою очередь, порождала такие социальные пороки, как алкоголизм, воровство, проституция и т. д. А освобожденное от арендных платежей и выкупа земли село, тем не менее, снизило товарность и возможности экспорта хлеба – главного тогда у России источника средств для развития. В 1926 году при таком же, как в 1913, урожае, экспорт зерна был в 4,5 раз меньше (и это был самый высокий за годы НЭП показатель) (36).

Индустриализация, которая в силу очевидной необходимости была начата с создания базовых отраслей тяжелой промышленности, не могла еще обеспечить рынок нужными для села товарами. Возник заколдованный круг: для восстановления баланса нужно было ускорить индустриализацию, а для этого требовалось увеличить приток из села продовольствия, продуктов экспорта и рабочей силы, а для этого нужно увеличить производство хлеба, повысить его товарность, создать на селе потребность в продукции тяжелой промышленности (машинах).

Город как средоточие власти и государственной бюрократии, а также политически близкого большевикам пролетариата по-прежнему является культурно и социально чуждым деревне и наоборот. К рабочим относилось всего 10,4 % населения, к крестьянам и кустарям – 76,7 %, к служащим – 4,4 %, к буржуазии, торговцам и кулакам – 8,5 %. Соотношение городского и сельского населения состояло в этот период в пропорции 18:82 (37). Причем значительная часть городского населения, включая пролетариат, являлась недавними выходцами из деревни и была с ней неразрывно связана.

Экономическая отсталость государства, особенно на фоне развитых западных стран, была очевидна не только большевикам, но и всем образованным

гражданам страны. Любопытствующим рекомендую посмотреть документальный фильм Дзиги Вертова «Шестая часть суши», снятый накануне индустриализации. Убедительнейшим образом показана повседневная жизнь Страны Советов вне больших городов – отсутствие элементарных путей сообщения, повсеместный тяжелый ручной труд, грязь и нищета. По сути, время застыло в XIX веке. И сравните с уровнем развития промышленности в Западной Европе – аэропланы, фордовские автомобили, металлургические заводы Круппа и т. д.

Подробнее о гонке с Западом мы расскажем в главе «Догнать и перегнать», здесь же заметим, что необходимость коренных преобразований в обществе сомнений не вызывала. К. Чуковский: «1925. 31 декабря. Читаю газеты взасос. Съезд (Имеется в виду XIV съезд ВКП(б), взявший курс на индустриализацию страны – *К.К.*) не представляет для меня неожиданности. Я еще со времен своего Слепцова и Н. Успен[ского] вижу, что на мелкобуржуазную, мужицкую руку не так-то легко надеть социалистическую перчатку. Я всё ждал, где же перчатка прорвется. Она рвется на многих местах – но все же ее натянут гениальные упрямы, замыслившие какой угодно ценой осчастливить во что бы то ни стало весь мир. Человеческий, психологический интерес этой схватки огромен. Ведь какая получается трагическая ситуация: страна только и живет что собственниками, каждый, чуть ли не каждый из 150 000 миллионов думает о своей курочке, своей козе, своей подруге, своей корове или: своей карьере, своей командировке, своих удобствах, и из этого должно быть склеено хозяйство “последовательно социалистического” типа. Оно будет склеено, но сопротивление собственнической стихии огромно. И это сопротивление сказывается на каждом шагу» (38).

Борьба, как осознает Чуковский, предстоит нешуточная, а во время битвы важнее всего дисциплина – будь то элита или обслуживающие ее инженеры душ человеческих. Сказанное относится к одной из центральных тем идеологии советской эпохи, имеющей основополагающее значение, – вопросу о коммунистическом строительстве. Этой «святой целью», в конечном счете, оправдывались реальные устои существовавшего режима: партийная монополия на власть внутри страны, жесткое поведение СССР на международной арене. Компартия предлагала себя обществу в качестве особой политической силы, сумевшей выработать «научный» план восхождения к светлому будущему. И требовала на пути к этой общественно значимой цели всеобщей самоотдачи, сплоченности и жертвенности.

Следует помнить, что в то время молодое государство находилось в абсолютном одиночестве. Советский Союз рассматривался либо как белое пятно на карте мира, либо возможный объект завоевания для эксплуатации природных ресурсов. Идея крестового похода на коммунистический Восток была весьма привлекательна для Запада. Об этом в открытую рассуждали и набиравшие силу немецкие национал-социалисты, и римский папа, и английское правительство, и многочисленная русская эмиграция. И. Эренбург: «Фашизм вмешался в нашу жизнь задолго до 1941 года. На Западе шла лихорадочная подготовка к походу на Советский Союз; и первыми окопами были котлованы новостроек» (39). Индустриализация напрямую связана с усилением обороноспособности только что проигравшей Первую мировую войну аграрной страны, а значит, и удержанием у власти новой элиты. Причем, мобилизационные усилия касались не просто строительства, но и изменения самого уклада жизни. Например, призвали учиться

управлять трактором 100 тысяч девушек, чтобы в случае войны такое же количество трактористов-мужчин можно было высвободить для управления танками.

А. Микоян: «1928-1930 гг. были временем развернутой индустриализации страны. И тогда мы вывозили много продуктов питания, в которых сами нуждались: сибирское масло, яйца, бекон, и много других видов продуктов, а также такое сельскохозяйственное сырье, как лен, конопля и др... Главным же было, что у нас не производились необходимые машины для промышленности» (40). Список тогдашних дефицитных промтоваров бесконечен: почтовые конверты, ножницы, мыло, иголки и нитки, чулки, бумага, пуговицы, пелёнки, пишущие машинки, консервные ключи, галоши, простыни и т. д. Появляется коронное советское слово «дефицит». Бендер не может продать астролябию, потому что *«делегации домашних хозяек больше интересовались **дефицитными** товарами и толпились у мануфактурных палаток»*. Тогда же складывается система добычи необходимого по знакомству – «по блату». Ильф и Петров, разоблачая систему таких договоренностей между имеющими «блат» людьми, грозили со страниц «Правды» в январе 1933 года: «Столь любимый ими блат приведет их в те же самые камеры, откуда вышло это воровское, циничное, антисоветское выражение». Но проклятия мало что меняли.

Ликвидировать дефицит за счет импорта не представлялось возможным – товаров на экспорт разоренный Советский Союз имел очень мало: пушнина, икра, какое-то количество хлеба... Выход – закольцевать производственный цикл внутри страны^[30], но опять-таки для начала нужно создать

отечественное машиностроение, а для того, хотя бы на начальном этапе, требовалось закупать импортное оборудование.

К слову сказать, Сталин не первый, кто сделал попытку отмежеваться от глобального рынка со времен золотого рубля С. Витте, мешавшего накапливать национальное богатство. Еще до прихода к власти большевиков, министр-председатель Временного правительства А. Керенский обнародовал собственную программу отключения от мировой экономики. Среди предлагаемых мер – прекращение конвертации рубля, запрет на вывоз валюты за границу^[31], отмена коммерческой и банковской тайны. Как видим, весьма схоже на то, что со временем сделали коммунисты. Но большевики опирались на то, что так и не смогло подчинить своей воле Временное правительство – беспрецедентный народный подъем.

Слово «энтузиазм» сегодня обесценилось, но именно энтузиазм вдохновлял людей на ежедневные подвиги. А. Солженицын изумляется этим тектоническим сдвигам в сознании, заставлявшим людей создавать невыполнимое: «Парадоксально, что большинство шло вполне искренно, загипнотизировано, охотно дав себя загипнотизировать. Процесс облегчался, увернялся захваченностью подрастающей интеллигентской молодежи» (41). Однако Давид Самойлов, один из той самой поросли, говорит не о «гипнозе», но о сознательном выборе поколения: «Гражданственность, по нашему убеждению, состояла в служении политическим задачам, в целесообразность которых мы верили... Мы были уверены в справедливости революции, ее исторической неизбежности в России. Мы были убеждены, что беспощадность есть главный метод революционного действия... Мы стремились жить не ради настоящего, а

ради светлого будущего, ради будущего счастья. А оно, учили нас, может осуществиться только путем жертв, страданий, самоотречения нынешних поколений. Никто из нас не был аскетом или фанатиком, но культ страдания и самоотречения глубоко сидел в наших умах» (42).

Комсомольцы, охваченные энтузиазмом, отправлялись на Магнитку или в Кузнецк; они верили, если построить заводы-гиганты, то на земле будет рай. Темпы индустриализации были небывало высокими: с 1928 по 1941 год было возведено около 9 тысяч крупных промышленных предприятий. Даже в мелочах, на уровне словесного ряда проявлялось особое отношение людей к грандиозному преобразению страны. И. Эренбург: «Многие рабочие относились к заводам любовно; они звали домну “Домной Ивановной”, мартеновскую печь – “дядей Мартыном”» (43). Леонид Утесов: «Надо помнить, что это был конец двадцатых годов, начало первой пятилетки, начало коллективизации. Понятие “коллектив” было знаменем времени. А коллектив и энтузиазм – нерасторжимы» (44).

Конечно, среди строителей попадались разные люди. Приезжали циники, авантюристы, «летуны» (вспомним инженера Талмудовского, кочующего по страницам «Золотого тельца»), которые носились по стране в поисках «длинного рубля». Если одних подгоняли высокие чувства, то другие напрягались в надежде получить килограмм сахара или отрез на брюки. Вчерашние крестьяне с трудом привыкали к машинам: если какой-нибудь рычаг отказывал, они сердились, как на упрямую лошадь, и своим неумением часто портили машины. Страна пришла в движение, влекомая политической волей большевиков. И многих они тащили насильно.

«Снова я увидел узловые станции, забитые людьми с пожитками; шло великое переселение. Орловские или пензенские крестьяне бросали деревни и пробивались на восток: им говорили, что там дают хлеб, воблу, даже сахар, – вспоминает Илья Эренбург. – Я увидел эшелоны спецпереселенцев – это были раскулаченные, их везли в Сибирь; они походили на погорельцев. Плакали грудные дети, у матерей не было молока. Везли также подмосковных огородников, мелких спекулянтов с Сухаревки, сектантов, растратчиков» (45). Вслед за индустриализацией шла сплошная коллективизация крестьянских хозяйств.

Запас прочности, данный стране предыдущим временем, подходил к концу. М. Кольцов в одном из своих фельетонов 1929 года описывает картину тотальной бесхозяйственности на периферии: «... Ораторы не спорили. Они лишь дополняли. Вносили отдельные детали.

Деталь: исполком продал частникам дома, заселенные рабочими, и зимой выгнал рабочих на улицу.

Деталь: исполком получил семь тысяч бревен для дорожных мостов. Оставил их лежать без присмотра, и бревна сгорели.

Деталь: у одного исполкомовского милиционера участок тянется 250 километров по линии железной дороги. Когда милиционеру надо прогуляться по участку, он садится зайцем в поезд, из поезда его гонят в шею, и он не знает, что делать, денег на билет не отпускают.

Деталь: школьная сеть работает отвратительно, нет ни учителей, ни пособий.

Деталь: райисполком совершенно не интересуется работой сельсоветов. Председатели пьянствуют и хулиганят, граждане боятся входить в советы, чтобы их там не побили.

Деталь: исполком ничего не сделал, чтобы получить семенную ссуду для района.

Деталь: все комиссии и секции никакой работы не ведут, существуют только на бумаге.

Деталь: на селе идет ожесточеннейшая классовая борьба, дикая эксплуатация батраков, ни к чему этому исполком никакого касательства не имеет» (47).

Ежедневно такие бракованные «детальки» уродовали жизнь обычных людей. Собрать из них полноценный эффективный государственный механизм не представлялось возможным не только большевикам, но и многим поколениям отечественных реформаторов, от Петра Великого до Петра Столыпина, которые волей-неволей начинали винить свой ленивый и глупый народ. А держалось эта абсолютно чуждая развитому обществу система на десятках миллионов крестьян, равно не приемлющих и капиталистический идол частной собственности, и тотальное коммунистическое обобществление. Переброшенные волею судеб в город на грандиозные стройки коммунизма, они своих привычек не забывали, да еще и чужие плохие приобретали. Очевидец рассказывает, как на строительстве новых корпусов харьковского завода ХЭМЗ, дабы предотвратить массовое воровство ложек из столовой, на каждую из них нанесли гравировку «Похищено на фабрике-кухне ХЭМЗ» (48). Значит, имелась воспитательная необходимость предупреждать!

Вопрос, насколько справедливо поступили с ними большевики, есть вопрос признания справедливости социалистической системы. Этот вопрос задают все исследователи. Возьмем, к примеру, С. Кара-Мурзу: «Был ли иной, более мягкий, эволюционный путь? В 1989 г. было проведено экономическое моделирование варианта продолжения НЭПа в 30-е годы. Оно показало, что в этом случае не только не было возможности поднять обороноспособность СССР, но и что годовой прирост валового продукта опустился бы ниже прироста населения, ибо демографическая ситуация в то время еще отличалась высокой рождаемостью. Началось бы обеднение населения и страна неуклонно шла бы к социальному взрыву» (49). То есть, систему, считает он, ломать пришлось бы по-любому. Но почему-

то данных, кто и когда моделировал ситуацию, С. Кара-Мурза не приводит.

Продолжавшаяся индустриализация сказывалась во всем: в резком обесценивании и инфляции рубля, огромном пассивном сальдо во внешней торговле (около 300 млн. золотых рублей), в острой нехватке всего необходимого. Ломка привычного крестьянского уклада жизни привела к падению сельскохозяйственного производства. Кулаки, да и многие середняки убивали скот, что вызвало трудности в обеспечении населения продуктами питания. В конце 1928 года была вновь введена карточная система на продукты питания и товары широкого потребления. К 1930 году дефицит продуктов питания стал хроническим: плохое пиво, искусственный кофе и одно мясное блюдо на все меню – даже в ресторанах при лучших отелях. В 1931 году все частные предприятия были ликвидированы.

Вы думаете, это охладило преобразовательный пыл слегка отогревшейся интеллигенции? Ничуть не бывало. К. Чуковский: «5/VI. (1930) Вечером был у Тынянова. Говорил ему свои мысли о колхозах. Он говорит: я думаю то же. Я историк. И восхищаюсь Сталиным как историк. В историческом аспекте Сталин как автор колхозов, величайший из гениев, перестраивавших мир. Если бы он, кроме колхозов, ничего не сделал, он и тогда был бы достоин назваться гениальнейшим человеком эпохи...» (50).

Для дальнейшего движения по пути индустриализации изобретались все новые и новые способы пополнения казны и повышения производительности труда. Постановлением Совнаркома осенью 1929 года воскресенье переставало быть общим для всех нерабочим днем: неделя заменялась пятидневкой, каждый пятый день отводился для отдыха, причем график рабочих и

выходных дней был индивидуален для каждого работника. Смысл – в организации непрерывного рабочего процесса (ну, а заодно, и удар по воскресному обязательному посещению церкви). Соответственно, каждый пятый день стал нерабочим – 5, 10, 15, 20, 25 и 30-е числа считались выходными. На предприятиях установили скользящий график с целью непрерывного производства. В итоге многие члены семей имели свободный день в разное время и, по сути, почти не общались друг с другом. Позже появилась шестидневка, которую все мы знаем по классической кинокомедии «Волга-Волга», где действие фильма разбито на главы «первый день шестидневки», «второй день шестидневки» и т. д. А потом выяснилось, что на предприятиях невозможно найти нужного в данный момент работника. Возникла всеобщая чехарда и «беспрерывку» пришлось отменить. Правительство также дало согласие на продажу полотен великих старых мастеров из Эрмитажа Г. Гульбенкяну, совладельцу крупнейшей тогда на Ближнем Востоке нефтяной компании – ради увеличения экспорта бакинской и грозненской нефти, и Э. Меллону, миллионеру и министру финансов США – чтобы получить от него разрешение на продажу в Соединенные Штаты советских спичек и марганца. Летом 1931 года было одобрено судьбоносное предложение ОГПУ о широком использовании труда заключенных на стройках, лесоразработках, на шахтах и рудниках, преимущественно в отдаленных, неосвоенных районах страны, куда иным способом привлечь рабочую силу оказалось невозможным. Народился ГУЛАГ.

Было проведено массовое, второе по счету изъятие церковных ценностей и частных накоплений. В 1931–1932 годах прошла пресловутая «золотая кампания». Ювелиров, часовщиков, зубных врачей, священников,

нэпманов и всех, кто считался богатым, кто ездил когда-то за границу, вызывали в «экономотдел» ГПУ и предлагали добровольно сдать имеющееся у них золото, валюту и другие ценности. Взамен обещали «боны Торгсина» – магазинов «Торговля с иностранцами». В них продавали всякую редкостную снедь и продукты, которые были несравненно лучше получаемых по карточкам. Тех, кто отказывался, или давал меньше, чем предположительно должен был сдать, арестовывали.

Сцена садистского «уговаривания» держателей золота и валюты в «Мастере и Маргарите» написана М. Булгаковым со слов его друга Н. Лямина, сидевшего в Бутырской тюрьме и выслушивавшего уговоры лекторов-чекистов, дополняемых соленой пищей и отсутствием воды: *«Ему приснилось, что зал погрузился в полную тьму и что на стенах выскочили красные горящие слова: “Сдавайте валюту!”... “Восемнадцать тысяч долларов и колье в сорок тысяч золотом, – торжественно объявил артист, – хранил Сергей Герардович в городе Харькове в квартире своей любовницы Иды Геркулановны Ворс... которая любезно помогла обнаружить эти бесценные, но бесцельные в руках частного лица сокровища».*

В битком набитых камерах нельзя было даже лечь. Горели жарко ослепляющие пятисотваттные лампы, и камеры были натоплены во все времена года. Но каждого, кто соглашался отдать «утаенное» золото, немедленно отпускали и утешали: в анкетах на вопрос «был ли под судом и следствием», он может отвечать «нет», так как все, что с ним происходило – не арест, а лишь «временное административное задержание». «Нашего соседа, немолодого бухгалтера, который до революции работал в банке, „задерживали“ трижды или четырежды, – свидетельствует Лев Копелев. – Каждый раз его выкупали жена и родственники, приносящие

золотые монеты. И каждый раз он встречал в камере знакомых, которых тоже вновь и вновь забирали, чтобы „выкачивать золотишко“» (51).

Выколоченные таким варварским образом валюта и драгоценности шли на закупку оборудования для заводов, финансирование мирового революционного движения (что считалось приоритетом внешней политики и гарантией безопасности СССР), кое-что прилипало к рукам партийных бонз, курировавших внешнюю торговлю и Коминтерн.

Пафосный финал превращения сокровищ в Дом Культуры в «12 стульях» вряд ли соответствует действительности: *«Брильянты превратились в сплошные фасадные стекла и железобетонные перекрытия, прохладные гимнастические залы были сделаны из жемчуга. Алмазная диадема превратилась в театральный зал с вертящейся сценой, рубиновые подвески разрослись в целые люстры, золотые змеиные браслеты с изумрудами обернулись прекрасной библиотекой...»* и так далее. Нет в вышеперечисленном ничего, что нуждалось бы в закупке за рубежом, куда широким потоком шли драгоценности. Но конечный вывод соавторов абсолютно верен: *«Сокровище... перешло на службу другим людям»*. Эти люди – коммунистическая элита. И внутри этой элиты шла непрерывная борьба.

VI

Странной мне представляется идея, будто среди тогдашних правителей СССР таились не только «враги народа», но и его «друзья». Современные историки рассуждают, дескать, победили бы И. Сталина Л. Троцкий (или Н. Бухарин) и пошла бы история по другим рельсам, вспоминают пресловутое «Завещание Ленина», рассуждают – был или нет «заговор маршалов», а если бы, да кабы... Но движение истории обусловлено, в первую очередь, экономическими реалиями, экономическая целесообразность чаще иной диктует принятие решений, либо наказывает за наплевательское к ней отношение.

Скажем, один из кумиров западной революционной интеллигенции Лев Давидович Троцкий уж точно меньше всего рассуждал экономическими теориями. Л. Троцкий уже после высылки из СССР считал главным грехом Сталина даже не террор, а перевод всего хозяйства СССР на денежный расчет. Ведь его, Троцкого, «трудовые армии» подразумевали просто рабский труд на благо мировой революции безо всякой оплаты. Недаром сама возможность прихода к власти этого «демона революции» вызывала ужас у всех нормальных людей, кроме крайне левых большевиков, которые продолжали сопротивление сталинистам и после высылки Троцкого (происходили демонстрации оппозиции, распространялась подпольная литература). Нелегальные брошюры и листовки, подписанные «большевики-ленинцы (оппозиция)», доказывали, что именно Троцкий, Пятаков, Смилга, Преображенский зовут партию на правильный путь. А Сталин и Рыков, соответственно, потакают кулакам, нэпманам и бюрократам. И среди горячей, революционно

настроенной молодежи 1920-х годов оппозиционеры имели значительную поддержку. А какие шkodные песни пели на сходках:

*«Добрый вечер, дядя Сталин,
Ай, ая-ай,
Очень груб ты, не лоялен,
Ай, ая-ай,
Ленинское завещанье,
Ай, ая-ай,
Держишь в боковом кармане,
Ай, ая-ай».*

«По существу, тот же азарт, с которым немного раньше мы придумывали пионерские военные игры, играли в „казаков и разбойников“», – признает Лев Копелев^[32]. Не здесь ли истоки революционной романтики, с которой выжившие после полосы репрессий и их наследники набросились на советский строй после смерти Сталина?

О Н. Бухарине, ныне возвеличенном, мы поговорим в следующих главах. Сейчас только отметим, что почитать его как большого друга крестьянства просто глупо. Крестьянству расплачиваться за передовые устремления социал-демократической интеллигенции, в том числе и Бухарина, пришлось по полной программе. Голодом и сотнями тысяч жизней, загубленных «гениальными упрямыми». Есть голод духовный, вечно томящий нашу интеллигенцию, а есть голод физический – более естественный и страшный. Вообще, мне кажется, что историю Советского Союза можно классифицировать по недоеданию: допустим, эпоха революционной романтики – от голода 1921 до голода 1933; сталинизм – от голода 1933 до голода 1947; апогей и падение сталинизма – от голода 1947 до

перебоев с продуктами 1962-1963; застой – до принятия в 1980 году «Продовольственной программы». Ну, и коллапс системы – продовольственные карточки конца 1980-х годов.

В годы перестройки широко распространялось мнение, будто голод начала тридцатых вызван резким увеличением экспорта зерна для покупки западного промышленного оборудования. Это неверно. Недород в 1931/32 году (68,4 млн. т против 83,5 в 1930 г.), еще раньше продиктовал Советам необходимость снижения промышленных закупок за рубежом. Продовольственные трудности для правительства секретом не являлись – тот же недород 1931/32 годов и коллективизация привели к резкому спаду поголовья: коров и лошадей вдвое, овец втрое.

В 1932 году экспорт зерна был резко сокращен – он составил всего 1,8 млн. т против 4,8 в 1930-м и 5,2 млн. т в 1931-м, а в конце 1934 года, уже после катастрофы, экспорт зерна вообще прекращен. Не стали чрезмерными и государственные заготовки – они составляли менее трети урожая (52).

Стараясь выправить ситуацию с продовольствием, в качестве пряника в середине 1932 года правительство пообещало колхозникам, что после обязательного выполнения плана сдачи зерна, они смогут реализовывать оставшееся на рынке. Пошли слухи о возвращении НЭПа, крестьяне оживленно запасали зерно на будущее для свободной реализации. Государственные заготовки оказались сорваны, а тут еще и внешнеполитическая необходимость поставками фуражного зерна срочно расплатиться с Германией по краткосрочным долгам. Разразился продовольственный кризис, с которым неокрепшая колхозная система справиться не могла, а герои Гражданской войны знали только один способ взять зерно у крестьян – насилие.

Этот кризис завершился страшным голодом зимы 1932–1933 годов и гибелью большого числа людей (в основном, на Украине). Судя по статистике рождений и смертей, на Украине от голода умерло около 640 тысяч человек. Считается, однако, что был большой недоучет смертей, вплоть до 3–4 миллионов человек. Сегодня эта трагедия получила название «Голодомор» и активно используется во внутривнутриполитической борьбе на Украине. Показательно, что эксплуатируют тему голода, прежде всего, националистические силы родом из западноукраинских областей, где голода вообще не было.

Загадкой современной истории можно считать и тот факт, что люди, пережившие «голодомор», этого слова не знали и не употребляли до конца 1980-х годов. Да и откуда им было знать, если слово «голодомор» придумал не русский, не украинец, а американец индейского происхождения Дж. Мейс. Есть версия, что это слово родилось в среде журналистов, работавших в годы Великой Отечественной в издаваемых оккупантами газетах и журналах. Они якобы первыми стали называть голод 1933 года голодомором, и от них слово, вместе с бывшими нацистскими солдатами и офицерами украинского происхождения, эмигрировало в Канаду и США. От них это слово якобы и услышал женатый на украинке американец Дж. Мейс. То есть голод в 1933 году, безусловно, был, а вот «голодомора» не было. До создания в 1980-е годы комиссии Конгресса США то, что сегодня называется «голодомором», называли просто голодом (53).

Бедствия, вызванные хаотической и непоследовательной «борьбой за хлеб», разрастались и ширились тоже хаотически и неравномерно. В иных местах рядом с голодающими районами находились такие, в которых люди все же как-то перебивались, и местные власти даже рапортовали об успехах. В

десяти-двадцати километрах от вымиравших, пустевших сел оставались деревни и колхозы, где лишь немногие семьи оказались без хлеба, а опухших от недоедания лечили.

Эхо голода ворвалось в тогдашнюю столицу Украины – Харьков, заполонило улицы города голодными, умирающими людьми. Тогдашний харьковчанин Л. Копелев: «Товарищи, приходившие меня навестить, рассказывали: вокзалы забиты толпами крестьян. Целые семьи со стариками и малышами пытаются уехать куда-нибудь, бегут от голода. Многие бродят по улицам, просят подаяния... Каждую ночь грузовики, крытые брезентом, собирали трупы на вокзалах, под мостами, в подворотнях... Все лечебницы в городе были переполнены. Морги тоже. Детей, оставшихся без родных, отправляли в приемники. Но всех, кто покрепче, просто увозили подальше от города и там оставляли» (54).

Вести о голоде пробивались дальше – в Москву, вызывая смутный ужас, отрезанных от информации советских граждан. К. Симонов: «В Москву тянулись спасавшиеся от голода люди, приезжали, скапливались на вокзалах – это было одной из причин эпидемии брюшняка... В первые дни один из потом умерших рассказывал об этом голоде в полубреду, рассказывал горячечно, но понятно. Он был из подобранных на вокзале...» (55). К. Чуковский: «Вчера парикмахер, брея меня, рассказал, что он бежал из Украины, оставил там дочь и жену. И вдруг истерично: “У нас там истребление человечества! Истреб-ле-ние человечества. Я знаю, я думаю, что вы служите в ГПУ (!), но мне это все равно: там идет истреб-ле-ние человечества. Ничего, и здесь то же самое будет. И я буду рад, так вам и надо!”» (56). Запомним эту фразу: «Здесь то же самое будет. И я буду рад, так вам и надо!».

Преобразования, вызывавшие восторг или, как минимум, живой интерес городской интеллигенции, для народа обернулись колоссальными страданиями и класс, примыкавший к власти («вы служите в ГПУ» не так уж далеко от истины), воспевавший в стихах и прозе, статьях и картинах то, что приносило мучение своему народу, не мог рассчитывать на его снисхождение.

Несмотря на все усилия, к зиме 1933 года стало понятно, что предполагавший нечеловеческие усилия первый пятилетний план развития страны выполнить не удастся. Сам план явочным порядком резко сокращен и к январю 1933 года был сведен к «65 ударным стройкам», уже прошедшим нулевой цикл. Власть изворачивалась и врала. 19 февраля 1933 года Сталин произнес длинную речь на Всесоюзном съезде колхозников-ударников. Явно намекая на катастрофическую ситуацию на Украине и во многих других регионах СССР, он говорил о голоде 1918-1919 годов, «когда рабочим Ленинграда и Москвы в лучшие дни удавалось выдавать по восьмушке фунта черного хлеба и то наполовину со жмыхами. И это продолжалось не месяц, и не полгода, а целых два года. Но рабочие терпели и не унывали, ибо они знали, что придут лучшие времена. Сравните-ка ваши трудности и лишения с трудностями и лишениями, пережитыми рабочими, и вы увидите, что о них не стоит даже серьезно разговаривать» (57). А в эти дни уже умирали сотни тысяч крестьян. Как же такой страшный лгун удержался у власти?

Рационалистическая программа социальных преобразований требовала слепой веры и подчинения авторитету. Так было восстановлено само понятие авторитета и возникла идея диктатуры. Диктатор силен только тогда, когда располагает кадрами слепо верующих исполнителей. Н. Бердяев: «Психический тип

коммуниста определяется, прежде всего, тем, что для него мир резко разделяется на два противоположных лагеря – Ормузда и Аримана, царство света и царство тьмы без всяких оттенков... Представителям светлого царства все дозволено для истребления темного царства» (58). Таковы не только коммунисты той эпохи, но и фанатичные националисты, и последователи всяческих культов и сект, то есть люди, полностью убежденные в своей правоте. Говоря о положении простых граждан при социализме, Г. Лебон предрекал: «За пропитание, обещаемое теоретиками социализма рабочим, они будут выполнять свою работу под надзором государственных чиновников, как, бывало, ссыльные в каторге под зорким глазом и угрозой». По сути, той же теме посвящены антиутопии Замятина, Хаксли, Оруэлла.

Но апокалипсические предсказания не оправдались. К счастью, не было при социализме ни совершенного равенства, ни возможности проследить за всеми, и не вся человеческая инициатива оказалась задущена. И мечтали люди как обычно о лучшей жизни для себя и детей, и сделали для того немало. А мы должны помнить, какие неисчислимые жертвы были принесены в процессе сумасшедшего рывка и принесены не ради разворывания страны.

Что же стало результатом крупнейших мобилизационных усилий и жертв советского общества, тяжелого пота и пролитой крови? Вторая в мире по объему (после США) экономика. В ходе устойчивого экономического развития с 1934 года основные показатели промышленного производства увеличились к 1940 году более чем в **два раза**, что являло собой, в сущности, беспрецедентный экономический рост. Даже ненавидящий советский период истории популярный российский публицист И. Бунич не может скрыть своего изумления:

«Заводы, выплавляющие больше всех в мире на душу населения чугуна и стали, бесчисленные конструкторские бюро, лаборатории, научно-исследовательские институты, разрабатывающие новые виды оружия, вплотную подошедшие к ядерному огню и реактивному движению. Откуда все это началось? Откуда появились сотни тысяч, миллионы инженеров, исследователей, конструкторов, летчиков, штурманов, механиков, водителей танков, командиров кораблей, флотских штурманов, электриков, минеров, артиллеристов, инженеров-механиков надводного и подводного флота, специалистов по металлургии сверхпрочных сплавов, сверхпроводимости, плазме, радиотехнике и радиолокации? Они же не выросли на деревьях. И на 1913 год ни одного из подобной категории военных и гражданских специалистов не было и в помине. Почти никого, не считая единиц, не было и в 1930 году. И вот, всего за 10 лет, они появились и в таком количестве, что составили инфраструктуру мощной военно-индустриальной империи. А всего 10 лет назад многие из них даже не знали грамоты. Речь идет не о том, какой ценой все это создавалось, а о том, как это возможно было создать за столь короткий срок!..» (60) И это действительно результат, который стоял за скучным словом «индустриализация».

После лишений и потрясений коллективизации стало оправляться и село. Уже при простой кооперации, без машин, крестьяне на одну и ту же работу стали затрачивать на 30 % меньше труда, чем раньше. До коллективизации крестьяне часто, если была земля, просто не успевали ее обработать. И сроки коротки, и при низкой урожайности нужно было слишком много площадей вспахать. А в ходе индустриализации и коллективизации важнейшим результатом стало резкое повышение товарности колхозов – до 50 %, по

сравнению с менее чем 20 % у единоличных хозяйств. Создание МТС с тракторами и грузовиками, взявших на себя самые трудоемкие работы по вспашке, уборке и перевозке урожая, привело к высвобождению больших трудовых ресурсов. В целом посевная площадь колхозов (по сравнению с входившими в них дворами до коллективизации) выросла на 40 % (61).

Были и другие приметы нормализации. На XVII съезде было доложено, что баланс внешней торговли оказался, наконец, положительным и принес стране доход в 150 млн. золотых рублей. К концу того же года СССР сумел выплатить две трети зарубежных долгов, взятых для осуществления первого пятилетнего плана – около 1 млрд. золотых рублей. Еще один важный геополитический сдвиг: в 1934 году в Киев из Харькова переехало правительство Украины. В. Бережков: «Это рассматривалось не только как дань славе исторического центра древней славянской державы, но и как свидетельство укрепления безопасности советского государства, более не опасавшегося близкого соседства буржуазной Польши. У многих из нас создавалось впечатление, что страшные жертвы начала 30-х годов были не напрасны и что, в конечном счете, Сталин был прав, круто поменяв уклад страны и направив ее по пути индустриализации и обобществления сельского хозяйства» (62).

Начиналась малоизвестная сегодня краткая «оттепель» тридцатых годов. Незаметно, без лишней шумихи страна рассталась с карточной системой. С 1 октября 1935 года была восстановлена свободная продажа мяса и мясопродуктов, жиров, рыбы и рыбопродуктов, сахара и картофеля, с 1 января 1936 года – промтоваров. С 1 февраля ликвидировался легендарный Торгсин – магазины системы «Торговля с иностранцами»^[33]. А ведь еще недавно в измученной

дефицитом стране «Торгсины» считались единственными оазисами благоденствия, что нашло отражение даже в частушках того времени:

*«Как в Торгсине на витрине
Есть и сыр, и колбаса,
А в советском магазине —
Солнце, воздух и вода».*

Теперь, в 1935–1936 годах, торгсиновский ассортимент выплеснулся в обычные магазины. Даю развернутую цитату из В. Бережкова, человека видевшего чудо наполнения прилавков своими глазами, а потом еще расспросившего о чуде его организатора. Итак, рассказ начинается встречей Нового, 1935 года: «Спать так и не ложились, тем более, что 1 января тогда считался рабочим днем, и нам с Кларой надо было возвращаться в Киев. Когда, незадолго до шести утра, приехали на вокзал, у хлебного магазина стояла очередь. Я засомневался: не злая ли это шутка насчет торговли без карточек? В Киеве магазины уже открыли, но и возле них толпились люди. Проезжая на трамвае по улицам города, я заметил, что многие стоявшие в голодные годы заколоченными магазины, а в последние месяцы закрытые ремонтными лесами осветили свои витрины и там выставлена всякая снедь. Но что интересно: очереди наблюдались примерно лишь одну неделю. Покупатели могли приобрести любое количество продуктов. Сперва брали по несколько килограммов колбас, сыра, ветчины, хлеба. Но запасы магазинов не истощались. Со складов постоянно подвозили все новые продукты. И когда люди убедились, что снабжение остается устойчивым, толпы отхлынули. Надо было дома справиться с тем, что панически закупили» (63). «Сейчас некоторые наши

исследователи утверждают, что тогда снабжали только Москву и еще два-три крупных города. Это неверно. Летом 1935 года мне пришлось с группами интуристов побывать во многих городах. Я специально заходил в магазины, смотрел, чем торгуют. Везде был хороший ассортимент продуктов и товаров. А главное – отсутствовали очереди и никто не приезжал в крупные города за продуктами. Если перечислить продукты, напитки и товары, которые в 1935 и 1947 годах появились в магазинах, то мой советский современник, пожалуй, не поверит. В деревянных кадках стояла черная и красная икра по вполне доступной цене. На прилавках лежали огромные туши лососины и семги, мясо самых различных сортов, окорока, поросята, колбасы, названия которых теперь никто не знает, сыры, фрукты, ягоды – все это можно было купить без всякой очереди и в любом количестве. Даже на станциях метро стояли ларьки с колбасами, ветчиной, сырами, готовыми бутербродами и различной кулинарией. На больших противнях были разложены отбивные и антрекоты...» (64). «В одной из бесед с Микояном, – рассказывает В. Бережков, – я спросил, каким образом такой результат удалось достичь в 1935 и 1947 годах? Он ведал тогда не только внешней, но и внутренней торговлей и хорошо знал, как это делалось.

– Прежде всего, – объяснил он, – путем строжайшей экономии и одновременного наращивания производства удалось накопить большие запасы продуктов и товаров народного потребления. Сталин лично следил за этим и строго наказывал нерадивых производителей. Провели огромную работу по доставке всего этого к местам назначения, оборудовали склады и холодильники, обеспечили транспорт для развоза по магазинам, особенно в пиковый первоначальный период, когда люди еще не поверили в стабильность рынка. Заранее отремонтировали и красиво оформили

магазины, мобилизовали продавцов на специальные курсы. И строго предупредили работников торговли, что за малейшее злоупотребление, сокрытие товара и спекуляцию те ответят головой. Пришлось нескольких нарушителей расстрелять. Но главное – не растягивать снабжение, не выдавать его по чайной ложке, а выбросить в один день во все промышленные центры. Только это могло дать нужный эффект» (65).

После этого, вплоть до 1940 года, ситуация, по крайней мере, в больших городах, пришла в норму. Так же было и в послевоенные годы, после того, как в 1947 году объявили денежную реформу и отменили карточную систему. Только первую пару недель наблюдались очереди. После этого, благодаря постоянному притоку продуктов, ажиотаж исчез, и торговля пришла в норму.

Любопытна официальная терминология тех лет: если годы первой пятилетки характеризовались не иначе как «битва», «сражение», «суровые испытания», то после «Съезда победителей» в 1934 году риторика смягчилась. Окончательно время перестало быть «суровым» после публично знаменитого сталинского афоризма «Жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи» (12 ноября 1935 года). В новогоднюю ночь с 1935 на 1936 год впервые за все годы Советской власти прошли праздничные балы в московском Доме союзов, ленинградском Александровском дворце, во многих клубах, домах культуры страны. Была также возрождена традиция проведения детских новогодних елок.

Разумеется, не обходилось без недостатков. Тот же Корней Иванович Чуковский описывает разницу между газетными заголовками и реалиями жизни: «Детский Парк культуры и отдыха», о котором столько шумели газеты. Мне было интересно взглянуть на единственный в СССР детский социалистический парк... Вечером – это

Арто с открытой эстрадой и выпивкой, а днем – это «Единственный в СССР Детский Сад Культуры и Отдыха»... Бассейн оказался величайшей мерзостью. Маленький водоем ведер в 70 непроточной воды, переполненный голыми взрослыми людьми, и среди них двое-трое ребят. Я спросил, почему же в этом детском бассейне взрослые, они ответили, что теперь они поставили бассейн на коммерческую ногу и предоставляют его всем желающим освежиться, а деньги берут себе в покрытие невыплаченной им зарплаты!!!!» (66) Как не вспомнить богатое слово «очковтирательство», весьма популярное в те годы.

«Ни черта не делают, да и делать ничего не могут, потому что ничего не смыслят в том, что им поручено. Начальству втирают очки!». И там же, в «Мастере»: *«Очки втирал начальству! – орала девица...».* Так что радужными картинками тоже не будем обольщаться – жизнь есть жизнь.

После завершения коллективизации прекратился стихийный приток рабочей силы в город, что помогало притупить остроту жилищной проблемы. С другой стороны, предприятия стали испытывать острый недостаток в кадрах. Так, в 1937 году промышленность, строительство и транспорт недополучили свыше 1,2 млн. рабочих, в 1938 – 1,3 млн. и в 1939 – более 1,5 млн. рабочих. Безработица исчезла.

Промышленность остро нуждалась в квалифицированных специалистах. К 1938 году в Москве было открыто 92 вуза и 143 техникума. Реально улучшилось здравоохранение: была ликвидирована оспа и в 13 раз сокращена заболеваемость сифилисом. Только в Москве работало 400 амбулаторий, поликлиник и диспансеров, 132 больницы. Одна из новых больниц почти с восторгом описана профессиональным врачом М. Булгаковым – никелированные инструменты, кнопки вызова персонала, ванны и сияющие краны...

- Ишь ты! Как в «Метрополе»!
- О нет, - с гордостью ответила женщина, - гораздо лучше.

Сама же столица новой империи при Сталине испытала невиданные перемены. Когда правительство в 1918 году отправилось в Москву, переезд именовался «временным». Но чем крепче становилась власть большевиков, тем меньше им хотелось покидать «временное» пристанище. Во-первых, с географической точки зрения Москва удобней для управления огромной страной, во-вторых, легче обеспечивалась безопасность красной столицы от внешней агрессии, в-третьих, имел значение статус Москвы как столицы самого духа русского народа (в отличие от «чиновничьего» Петербурга) и т. п.

Конечно же, в эпоху гигантских преобразований не приспособленный для выполнения столичных функций город нуждался в переустройстве^[34]. «С 1931 по 1935 год население Москвы выросло на почти 1 миллион человек... Положение становилось крайне острым. Дошло до того, что на третьи и четвертые этажи домов вода не поступала... рабочие роптали» (67). Вопрос коренной реконструкции столицы назрел и перезрел. За четыре года было построено около 2500 жилых домов, в которое вселились более полумиллиона трудящихся, более 10 тысяч домов отремонтировано; построено 100 км трамвайных линий, подача воды в Москву увеличилась в два раза, построено 140 новых больших школ, открыто 1200 новых магазинов и т. д. (68)

С помощью пропаганды преображенная Москва стала символом успеха сталинской модернизации России: «Москва была далека, загадочна, желанна, вызывала трепет и восторг» (71).

Грандиозный размах строительства подразумевал то, что старые здания должны потесниться – сталинская

Москва рождалась на руинах не только дореволюционных трущоб, но и замечательных памятников архитектуры. В «12 стульях» имеется намек на снос Красных ворот в Москве, памятника архитектуры середины XVIII века. Поминается некий заведующий подотделом Козлов, *«тщанием которого был снесен единственный в городе памятник старины – Триумфальная арка елисаветинских времен, мешавшая, по его словам, уличному движению»*. И фамилия подобрана авторами характерная, и повод для того времени типичный.

Внимание архитекторов к проблеме переустройства мегаполисов связано, в первую очередь, со скачкообразным ростом населения многих из них – индустриализация и коллективизация выталкивала с насиженных мест миллионы человек, рождались новые города, стремительно набирали популярность современные средства транспорта и связи – метро, трамваи, автобусы, троллейбусы, автомобили, телефон, пневматическая почта. Новшества искали применения. В этой связи, весьма важной стройкой первых пятилеток стало сооружение московского метро – необходимого для растущего города средства передвижения и символа эпохи, которая осваивает новые пространства. Его гордо показывали экскурсантам, им гордились перед иностранцами, оно являлось эмблемой новой социалистической Москвы. Помните песню Л. Утесова «Последний извозчик»: «Но метро сверкнул перилами дубовыми – сразу всех он седоков околдовал». К слову сказать, последний профессиональный извозчик в Москве ещё в 1935 году возил туристов вокруг «Метрополя».

После изнурительного режима полной экономии страна внешне преображалась: «Уже стемнело, площадь освещали яркие фонари, горела пестрая реклама на крыше Политехнического музея: “Всем

попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы”, “А я ем повидло и джем”, “Нужен вам гостинец в дом? Покупай донской залом”. Это всё идея Микояна, курировавшего также и внутреннюю торговлю. Он приглашал знаменитых поэтов придумывать броскую рекламу, наподобие Маяковского: “Нигде кроме, как в Моссельпроме”. Не подумайте, что то была показуха. Не только в Москве, но и в других крупных городах в витринах высились пирамиды крабных консервов, за прилавками стояли деревянные бочки с черной и красной икрой, на толстых деревянных досках – целые рыбины залома, лососины, семги ^[35].

Разнообразные сыры, окорока, колбасы. Богатейшие винные отделы. Помимо обычных наборов новинки: джин с улыбающимся голландским моряком на этикетке и советское виски. И никаких очередей!» (72). Перемены были абсолютно очевидны всем, даже заграничным недоброжелателям. Так, в 1936 году популярная эстонская газета «Пяэвалехт» признавала, что Москву охватила строительная лихорадка, а одежда людей значительно улучшилась (73).

Разумеется, появившееся на прилавках разнообразие стимулировало работников торговли на различные махинации, дабы оставаться при своих интересах. В 1935 году, дабы усилить контроль за работниками торговли, в магазинах завели «жалобные книги». Но вряд ли комариный писк покупателя мог одолеть всю торгашескую систему, которой физически был выгоден дефицит. Где нехватка – там воровство.

Недобросовестные люди воровали даже во время войны, несмотря на законы военного времени. Отнюдь не симпатизировавшая Советской власти Л. Чуковская свидетельствовала: «Государство, надо признать, щедро снабжало детские дома хлебом, молоком, мясом, одеялами, одеждой, даже яблоками и виноградом, но

щедрость имела и свою дурную сторону: вору устраивались в детские дома кто завхозом, кто поваром, а кто и директором...» – и это в разгар сталинской диктатуры, во время кровавой войны: «Воровство во время войны приняло в Ташкенте (и, конечно не только там) чудовищные, гомерические размеры. Помню случай, когда полутонна, груженная пальтишками, вся, целиком, не заезжая в ворота детского дома, проследовала на рынок. Помню, как строительный материал, посланный для ремонта зимних спален, весь, целиком, пошел на постройку нового дома: во дворе вырос персональный дом директора» (74). Вспоминается мысль великого полководца Александра Васильевича Суворова, что любого интенданта после трех лет службы можно расстреливать без суда.

И еще одно свидетельство тайной жизни советского общепита, не боявшейся ни Сталина, ни Хрущева, ни тюрем, ни черта лысого: «Согласно неписанным нормам, работникам общепита разрешалось присваивать безнаказанно (т. е. недокладывать, недоливать, недовешивать и т. д.) до восьми процентов исходных продуктов – масла, сахара, мяса, овощей и всего другого. Если при проверке обнаруживалось превышение этой нормы, то составлялся акт о хищении. Так выглядела узаконенная приплата рабочему классу в этой сфере, хотя львиная доля доставалась администрации» (75).

Куда девались накопленные (вернее, украденные средства)? Основные деньги ведь не на сметане зарабатывались, а на алмазах, антиквариате, контрабандной икре. Не все можно было промотать, прокутить, обвешать коврами или золотом. Богатства накапливались десятилетиями и настойчиво требовали легализации. Они искали выход из душной системы, в

которой нельзя было даже построить дом больше установленных нормативов.

Логично перебросить мостик между теми дельцами, которые наживались на войне, на людском горе или просто на тухлой осетрине в театральном буфете, со многими собственниками приватизированных в начале 90-х годов заводов и фабрик. Непонятно только, как в этой мутной, вороватой среде подпольных дельцов либеральная интеллигенция эпохи перестройки умудрилась узреть типаж «настоящего хозяина». Проверка воровских навыков реальной жизнью закончилась разграблением бюджета, кражей муниципальной собственности, проданными на металлолом заводами. Она и не могла закончиться иначе, и я не вижу убедительных доводов, почему построенное с такими чудовищными жертвами при Сталине, должно было достаться всяким прохвостам.

VII

Мы рассматриваем как раз тот нечастый случай, когда экономические изменения были продиктованы политической волей. То есть в их основе все же были экономические причины, но великий скачок из полуфеодализма в социализм оказался навязан народу сверху. И теперь самое время вспомнить «вождя всех времен и народов». «Стороны той государь, Генеральный секретарь», – как иронизировал в своих записных книжках В. Ерофеев. Наверное, для начала нужно напомнить, что Сталин и его окружение были в то время вовсе не старые люди. Так, в судьбоносном 1941 Сталину исполнилось 62 года, Молотову – 51, Кагановичу – 48, Берии – 40, Хрущеву – 47, Микояну – 46 лет. А в рассматриваемый период середины тридцатых им и того меньше.

Политические изменения середины тридцатых, инициированные Сталиным, меньше бросались в глаза, нежели очевидные всем экономические промахи или достижения, однако, если присмотреться, мы можем увидеть и важные приметы политической либерализации режима, позволяющие назвать то время «первой оттепелью». Парадокс, но накануне «великого террора» режим в стране реально становился более либеральным и терпимым. Кого же коснулись послабления? Вот здесь начинается самое интересное.

29 декабря 1935 года были отменены ограничения для поступающих в вузы по социальному признаку – как мы помним, множество людей из бывших привилегированных слоев населения этого права в двадцатые годы были лишены.

21 апреля 1936 года отменены ограничения для казаков служить в Красной армии. Восстанавливались

казачьи части с их старой традиционной формой – цветными (красные для донцов, синие для кубанцев) околышками фуражек и лампасами, с папахами, кубанками и бешметами. Надо понимать, что для революционной мифологии того времени слово «казаки» было по сути синонимом слова «белогвардейцы» или «враги».

За две недели до того – 4 апреля 1936 года – конец дела «Промпартии». Л. Рамзина, В. Ларичева, В. Огнева и других довольно известных инженеров, осужденных на 10 лет по этому делу, не просто помиловали, но и восстановили «во всех политических и гражданских правах». Соответственно, последовала ответная положительная реакция старой технической интеллигенции.

23 июля 1936 года решение Политбюро: «Предложить ЦИК СССР и ВЦСПС лиц, высланных из Ленинграда, но не виновных в конкретных преступлениях, на время высылки не лишать избирательных прав и права на пенсию». Имелись в виду люди, высланные из Ленинграда после убийства С. Кирова.

Характерной приметой времени стало возрождение почетных титулов, званий и церемоний. Например, правительство санкционировало введение высшего почетного звания – «Герой Советского Союза», заменившего существовавшее перед тем более скромное «Герой Труда», установленное в июле 1927 года. Постановление открывало эпоху героизации, возвеличивания подвигов – на смену движению безымянных масс приходила конкретика и индивидуальность. Первыми Героями Советского Союза стали полярные летчики: М. Водопьянов, И. Доронин, Н. Каманин, С. Леваневский, А. Ляпидевский, В. Молоков, М. Слепнев, спасшие во льдах Чукотского моря

участников арктической экспедиции и экипаж парохода «Челюскин».

Официальные герои окружались пышным великолепием общественных встреч, например, триумфальным проездом по улицам столицы. Некоторые из церемоний заимствовались из царского прошлого. Например, руководитель НКВД Г. Ягода распорядился, чтобы смена энкаведистских караулов происходила на виду у публики, с помпой, под музыку, как это было принято в царской лейб-гвардии.

Раздраженный старый партиец и чекист А. Орлов приоткрывает завесу над принятием таких неординарных для коммунистов решений: «Он (Ягода – *К.К.*) интересовался уставами царских гвардейских полков и, подражая им, издал ряд совершенно дурацких приказов, относящихся к правилам поведения сотрудников и взаимоотношениям между подчинёнными и вышестоящими. Люди, ещё вчера находившиеся в товарищеских отношениях, теперь должны были вытягиваться друг перед другом, как механические солдатики. Щёлканье каблуками, лихое отдавание чести, лаконичные и почтительные ответы на вопросы вышестоящих – вот что отныне почиталось за обязательные признаки образцового чекиста и коммуниста» (76). Конечно, какая тут «диктатура пролетариата»; «за что боролись, товарищи!?» – спрашивает себя любой твердокаменный большевик.

В 1936 году вождь даже обмолвился о демократических выборах. 1 марта И. Сталин в интервью одному из американских газетных магнатов Рою Говарду заявил: «Избирательные списки на выборах будет выставять не только коммунистическая партия, но и всевозможные общественные беспартийные организации...

я предвижу весьма оживленную избирательную борьбу... Всеобщие, равные, прямые и тайные выборы в

СССР будут хлыстом в руках населения против плохо работающих органов власти» (77).

Вскоре был опубликован сенсационный проект советской конституции. В проекте вводилось понятия «всеобщее», «равное», «тайное», «прямое» голосование. Кандидаты при выборах выставлялись не по производственному принципу – от фабрик, заводов, шахт и т. п. – как ранее, а от избирательных территориальных округов. Право же выставление кандидатов закреплялось «за общественными организациями и обществами трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами, организациями молодежи, культурными обществами» (78). Так формулировалось то, о чем Сталин тремя месяцами ранее говорил Рою Говарду. Для своего времени Конституция СССР 1936 года стала действительно самой демократической конституцией в мире. Насколько ее положения были реализованы в политической практике – другой вопрос.

Всё это (то есть целый комплекс реализуемых правительством мер) дало возможность недругам Сталина, как в партии и государственном аппарате, так и за границей говорить о некой реставрации дореволюционных порядков. Л. Троцкий происходящее прямо называл «термидором». С нашей, современной точки зрения – что тут плохого? Конституция, послабления, выборы... Да и сам «термидор» был, разумеется, весьма относительным. Просто правительство понимало – России после катаклизмов конца 1910-х – начала 1920-х и конца 1920-х – начала 1930-х годов физически необходима передышка. «Первая оттепель» стала результатом именно «естественного» движения истории, которое можно упрощенно истолковать по аналогии с движением маятника: революция – НЭП; коллективизация –

«реставрационные» процессы второй половины 1930-х годов.

Но последовательный оппонент И. Сталина правоверный революционер Л. Троцкий остается неумолим: «Советское правительство... восстанавливает казачество, единственное милиционное формирование царской армии... Восстановление казачьих лампасов и чубов есть, несомненно, одно из самых ярких выражений Термидора! Еще более оглушительный удар нанесен принципам Октябрьской революции декретом, восстанавливающим офицерский корпус во всем его буржуазном великолепии...». С негодованием писал Троцкий и о стремлении возродить в СССР значение института семьи: «Революция сделала героическую попытку разрушить так называемый “семейный очаг”, т. е. архаическое, затхлое и косное учреждение... Место семьи... должна была, по замыслу, занять законченная система общественного ухода и обслуживания», – то есть “действительное освобождение от тысячелетних оков. Доколе эта задача не решена, 40 миллионов советских семей остаются гнездами средневековья... Именно поэтому последовательные изменения постановки вопроса о семье в СССР наилучше характеризуют действительную природу советского общества... Назад к семейному очагу!.. Торжественная реабилитация семьи, происходящая одновременно – какое провиденциальное совпадение! – с реабилитацией рубля (имеется в виду денежная реформа 1935–1936 гг. – *К.К.*)... Трудно измерить глазом размах отступления!.. Азбука коммунизма объявлена “левацким загибом”. Тупые и черствые предрассудки малокультурного мещанства возрождены под именем новой морали» (79).

Традиции, экономика, семья – все вызывает сильнейшее раздражение у апостола радикального

большевизма. Но не только казачество или институт семьи возрождала сталинская гвардия. Кардинально изменилось тогда само отношение к дореволюционной истории России. Еще совсем недавно, в 1930–1932 годах издавалась десятитомная «Малая советская энциклопедия», в статьях которой, несмотря на их предельную лаконичность, все же нашлось место для всяческого поношения величайших исторических деятелей России:

«Александр Невский... оказал ценные услуги новгородскому торговому капиталу... подавлял волнения русского населения, протестовавшего против тяжелой дани татарам. “Мирная” политика Александра была оценена ладившей с ханом русской церковью: после смерти Александра она объявила его святым...» (т. 1, с. 216). «...Минин-Сухорук... нижегородский купец, один из вождей городской торговой буржуазии... Буржуазная историография идеализировала М.-С. как бесклассового борца за единую “матушку Россию” и пыталась сделать из него национального героя...» (т. 5, с. 229) «Пожарский... князь... ставший во главе ополчения, организованного мясником Мининым-Сухоруким на деньги богатого купечества. Это ополчение покончило с крестьянской революцией...» (т. 6, с. 651) «Петр I... был ярким представителем российского первоначального накопления... соединял огромную волю с крайней психической неуравновешенностью, жестокостью, запойным пьянством и безудержным развратом» (там же, с. 447) и т. д. и т. п.

Начиная середины тридцатых об этих русских деятелях заговорили совершенно по-иному, и вскоре вся страна восхищенно воспринимала киноэпопеи «Петр Первый» (1937 г.), «Александр Невский» (1938 г.), «Минин и Пожарский» (1939 г.), «Суворов» (1940 г.) и др. Они становились героями не только русского, но и

всего советского народа. Руководство настойчиво стремилось ускорить создание стандартных школьных учебников, единых для всего СССР, чтобы раз и навсегда покончить с почти 20 летней практикой воспитания детей и юношества как будущих граждан не единого Советского Союза, а той или иной национальной союзной республики. И чуть позже совершенно логичными виделись в глазах общественности такое символическое действо как возвращение исторических имперских названий питерским проспектам: проспект 25 октября – Невский, пр. Володарского – Литейный, Карла Либкнехта – Большой проспект Петроградской стороны.

Сталинская методика убеждения народа строилась не только на насилии, как это порой ошибочно воспринимают. Много времени он прилагал для убеждения даже одиночных собеседников, когда возникала такая необходимость (в тех же интервью для иностранных корреспондентов). Он понимал важность **осознанного** движения масс, в том числе и готовность идти на жертвы, и стремился максимально быть понятым народом. Учеба в семинарии породила своеобразную риторику Сталина: построение статей и речей в катехизисной форме вопросов-ответов, привычной для имеющего преимущественно религиозное начальное образование народа. Во время многочисленных выступлений он сознательно использовал многократное повторение объяснений сложных проблем в чуть ли не примитивной форме, единственно доступной политически неграмотному населению. И его логика убеждала и отдельных людей, и массы в целом.

Ниспровергатель вождя Никита Хрущев в мемуарах писал: «Я отдаю здесь должное Сталину. До самой своей смерти, когда он диктовал или что-нибудь формулировал, то делал это очень четко и ясно.

Сталинские формулировки понятны, кратки, доходчивы. Это был у него большой дар, в этом заключалась его огромная сила, которую нельзя у него ни отнять, ни принизить» (80).

И. Эренбург, у которого были все основания при жизни Сталина его опасаться, а после смерти попинать, все же признавал: «При Сталине наш народ превратил отсталую Россию в мощное современное государство, построил Магнитку и Кузнецк, рыл каналы, прокладывал дороги, разбил армии Гитлера, победившие всю Европу, учился, читал, духовно рос, совершил столько подвигов, что стал по праву героем XX века. Все это памятно любому советскому человеку, который жил и работал в то время» (81).

VIII

Меры, предпринимаемые правительством для возрождения величия России-СССР и прекращению левацких перегибов 1920-х годов, доброжелательно встречались интеллигенцией старой закалки. Даже либеральная до мозга костей литературовед М. Чудакова в своем обширном жизнеописании Булгакова вынуждена признать (правда, сделав это в «примечаниях»), что «Сталин был для него в этот момент (в 1936 году) воплощением российской государственности». Пишет она и о том, что именно слово, употребленное Сталиным в известном телефонном разговоре с Пастернаком о Мандельштаме («мастер»)^[36], оказало влияние «на выбор именования главного героя романа и последующий выбор заглавия» («Мастер и Маргарита»). Наконец, здесь же сказано (правда, уклончиво, не впрямую), что «прототипом» образа Воланда (в частности, в его отношениях с Мастером) был не кто иной, как Сталин (82).

И. Сталин не раз видел пьесу М. Булгакова «Дни Турбиных» в постановке МХАТа, и Булгаков пару раз наблюдал Сталина издали^[37]. Кроме того, Михаил Афанасьевич писал письма Сталину, разговаривал с ним по телефону. Но обстоятельного личного знакомства у них не было. Так что попасть под многократно описанное в литературе личное обаяние вождя М. Булгаков не имел возможности – его выбор симпатий был осознанным. Фигура Сталина вызывает самое доброжелательное отношение писателя. Кроме написанной о молодости вождя пьесы «Батум», М. Булгаков планировал создать еще одну пьесу о современном Сталине и его окружении (типа

«разоблаченного» к тому времени Г. Ягоды) – «Ласточкино гнездо».

Современники видели в Сталине личность, противостоящую троцкизму и оголтелому левому экстремизму. Естественно, заклые революционеры относились к нему с плохо скрываемым отвращением. Бывший чекист В. Кривицкий в книге мемуаров «Я был агентом Сталина» признавался: «Большинство в армии, включая лучших представителей комсостава, большинство комиссаров, 90 % директоров заводов, 90 % партийного аппарата, находились в большей или меньшей степени в оппозиции диктатуре Сталина»^[38]. Для рядовых же сограждан его логика и относительная умеренность представлялась единственной защитой от повторения кровавых эксцессов Гражданской войны, и это тоже являлось составной частью публичного успеха Сталина, рождения культа его личности.

Сила Сталина состояла не в нем самом, а в выстроенной им схеме убеждения, о чем мы уже сказали, и государственного управления. Сталин создал целую систему подбора руководящих кадров, хотя было бы наивно представлять себе работу по формированию номенклатуры кадров в образе усатого дядьки с парой помощников, роющихся в картотеке. Некоторые общие соображения об этой системе Сталин впервые изложил еще на XII съезде партии в 1923 году, представляя делегатам организационный отчет ЦК: «Необходимо подобрать работников так, чтобы на постах стояли люди, умеющие осуществлять директивы, могущие понять директивы, могущие принять эти директивы как свои родные, и умеющие их проводить в жизнь. В противном случае политика теряет смысл, превращается в маханье руками», – говорил Сталин (84).

Основная идея состояла, таким образом, в том, чтобы на ответственные политические посты в стране посадить дисциплинированных исполнителей директив. Возьмем, для примера, судьбу многолетнего соратника Сталина – В. Молотова. Ленин называл усидчивого бюрократа Молотова «каменной жопой», его терпеть не мог темпераментный дружок Сталина С. Орджоникидзе, а он пережил Ленина и импульсивного Серго, пересидел репрессии и оставался рядом со Сталиным почти до самой его смерти. Потому что был нужен. В стране, где революционное правосознание постепенно заменяется бюрократическим документооборотом, необходимы четкие исполнители приказов руководства. А попробуй найти дисциплинированных людей в раскачанной революцией крестьянской стране! Нормально функционирующее государство – это отчетность и подотчетность, чего упорно не желали понять вчерашние революционеры.

Необходимо особо обратить внимание на то, что в нашем обществе (в целом и в отдельных коллективах, в первую очередь, иерархических) главной ценностью до сих пор является «личная преданность». Грубо говоря, насколько подчиненные заглядывают в рот начальству, настолько и начальственный рот вступает с ними в диалог. В личной преданности реализуется активность индивидов и именно от силы авторитета зависит готовность индивидов подчиняться. Авторитет «отключает» критический контроль у подчиненного индивида. А для успеха этой методики, пояснял сам Сталин, «необходимо каждого работника изучить по косточкам», необходимо «знать работников, уметь схватывать их достоинства и недостатки» (85). Умное манипулирование человеком может пробудить поразительную работоспособность и исполнительность. К. Чуковский: «Таковыми фанатиками работы и пользуется Советская власть. Их гнут, им мешают, им на каждом

шагу ставят палки, но они вопреки всему отдают свою шкуру работе» (86). Вспомним тщательно прописанный Ильфом и Петровым образ энтузиаста старгородского трамвая инженера Треухова.

Отличившихся Сталин щедро награждал – должностями, званиями, улучшением жилищных условий. Последнее, пожалуй, являлось самой главной наградой от государства, поскольку в 1920-е – 1930-е годы страну, как сказано выше, терзал страшнейший жилищный кризис. Помните: *«Маргарита Николаевна со своим мужем вдвоем занимали весь верх прекрасного особняка в саду в одном из переулков близ Арбата... Маргарита Николаевна не знала ужасов житья в совместной квартире.... Все пять комнат в верхнем этаже особняка, вся эта квартира, которой в Москве позавидовали бы десятки тысяч людей, в полном ее распоряжении...»*

Нельзя, конечно же, воспринимать художественное произведение, как дословное описание реальных событий, но наблюдения за жизнью советской элиты автора романа безусловно верны^[39]. А уж совсем приближенным к власти выделялись и государственные дачи, откуда пошло особое значение загородного дома в советской табели о рангах. Ожесточенное обсуждение дачной проблемы литераторами мы находим в 5 главе «Мастера и Маргариты». Дача точно соответствовала должности ее временного владельца: чем выше начальник, тем лучше месторасположение дачи, сам дом и участок. Хотя уюта гнездышка не предполагалось – имущество ведь государственное. Казенное убранство государственных дач 1920-х – 1930-х годов являло разностильную мебель, завезенную из особняков еще царского времени. Буфеты в столовых поражали пышностью стиля барокко или ампира, в кабинетах – письменные столы на лапах, чернильные приборы

невиданной красоты. На всей мебели, на покрывалах и скатертях, на люстрах – латунные, серовато поблескивающие бирки с номерами – знаки казенного добра. Они ежедневно напоминали жильцам дачи и о временности их проживания там. И, кстати, вплоть до семидесятых годов существовало неписаное правило – тот, кому полагалась государственная дача, не должен был обзаводиться собственной. Первым правило нарушил только Л. Брежнев, семья которого обзавелась загородным домом.

Борьба за государственную власть и доступ к предоставляемым ею материальным благам в условиях Советского Союза приобретали чудовищную остроту, поскольку исключительно государство распределяло ресурсы и только посвященные могли воспользоваться ими в полной мере. «Социалистическая собственность – это собственность класса номенклатуры», – утверждал исследователь данного вопроса М. Восленский (87). Вопрос не в личной принадлежности благ высшему чиновничеству. Здесь мы наблюдаем любопытный эффект **совладения** государственными благами и не путайте его с частной собственностью. В таком совладении нет ничего удивительного. Если форма коллективного владения восторжествовала даже в насквозь индивидуалистическом буржуазном обществе (скажем, в виде различных акционерных обществ), то номенклатура с ее проповедью коллективизма, естественно, должна была прийти именно к такой форме. Родился, своего рода, огромный кооператив или артель по монопольному распределению народных богатств.

Однако, надо помнить, борьба за власть определялась не только и не сколько меркантильными интересами. Речь в диспутах противоборствующих группировок коммунистов шла о стратегии развития государства на десятилетия вперед, и ставки в этой

борьбе часто измерялись жизнями игроков. А блага... они – так, прилагались к победе, как орден Ленина к звезде Героя СССР.

Постепенно идея Троцкого о мировой революции, то есть, по сути, всемирной интеграции, в жесткой внутривнутрипартийной борьбе уступила сталинской концепции построение социализма в отдельно взятой стране. Троцкий был выслан – сначала из столицы, а потом и из страны. Накануне высылки с ним встречался карикатурист Б. Ефимов, родной брат М. Кольцова: «Я подумал, что вряд ли тут время и место высказывать побежденному и высылаемому Троцкому, что Кольцов “примкнул к термидорианцам” не из страха и угодничества, а потому что, как и большинство членов партии, считал, что так называемая генеральная линия Сталина разумнее и нужнее для страны, чем его, Троцкого, “перманентная революция”» (88). Опять «термидорианцы», а значит – и «якобинцы». И кто из них для истории более ценен?

Борьба между троцкизмом и сталинизмом, которой характеризовались все двадцатые годы, завершилась грандиозными репрессиями тридцатых годов, в которых погибла значительная часть политической элиты страны. В 1934 году в СССР насчитывалось 2809786 членов и кандидатов в члены ВКП(б) (последние к 1939 году должны были стать членами). В 1939 году – всего 1588852 члена партии, то есть на 1220934 меньше, чем можно было ожидать (89).

Когда мы говорим об истории партии, – рассуждает далее В. Кожинов, – необходимо осознавать, что вообще-то смена «правлящего слоя» в периоды существенных исторических сдвигов – дело совершенно естественное и типичное. Уместно сопоставить с этой точки зрения 1934–1938 годы с другим пятилетием больших перемен – хрущевскими 1956–1960 годами. В ЦК ВКП(б), избранном на XVIII съезде (в марте 1939),

только около 20 процентов составляли те члены и кандидаты в члены, которые были в прежнем, – избранном за пять лет до того, в 1934 году, – ЦК, и этот факт часто расценивается как выражение беспримерной «чистки»; однако ведь и в ЦК, избранном на XXII съезде, в 1961 году, также лишь немногим более 20 процентов составляли те, кто были членами (и кандидатами) ЦК до 1956 года!

Разумеется, мне, – продолжает В. Кожин, – напомним, что в 1930-х годах «чистка» завершалась чаще всего отправлением на казнь, а в 1950-х (кроме Бери) – всего-навсего на пенсию...

Однако объясняется это – конечно, чудовищное – «различие» вовсе не тем, что Хрущев-де был менее «кроважаден», чем Сталин. Есть всецело достоверные сведения о предельной беспощадности Хрущева и в 1937 году, когда он был «первым секретарем» в Москве, и в 1938-м, когда он занимал тот же пост на Украине. Вопрос в физическом устранении той самой революционной элиты, которая пришла в 1917-1921 годах к власти, и осуществляла эту власть непреклонно и вполне кроважано^[40].

Итак, с середины 30-х годов партия – это воплощение революционного духа – подвергается настоящему разгрому, и верховная власть перетекает в государство, постепенно приобретающее «традиционные» качества. Собственно, этот процесс мы и называем «термидором». 10 марта 1939 года Сталин уже публично мог заявить, что в «пролетарском государстве могут сохраниться некоторые функции старого государства». То есть государство не только не «отмирает», но и сохраняет определенную преемственность. Раньше о том и помыслить было невозможно.

В такой уникальной обстановке росло второе и третье поколение советской политической элиты. Зигзаги внутрипартийной борьбы, страх брать на себя ответственность, опасность быть раздавленным планомерно воспитывали поколение за поколением советских бюрократов. Модное слово «номенклатура» всего лишь характеризует высокопоставленную бюрократию, сначала все силы бросившую на то, что бы элементарно выжить в той кровавой бане, которую устроил для них Сталин. Взросла целая поросль совслужащих, привычно пригибающих голову, спасаясь от громов и молний, обрушивающихся с политического Олимпа, минимизирующих инициативу, которая, как известно, наказуема, защищающихся сверху и снизу валами бумажных инструкций и справок, будь-то даже справка о пребывании на великом балу у сатаны в качестве перевозочного средства. *«Нет документа, нет и человека»*, – как говаривал Коровьев. К. Чуковский отмечал: «Интересно, что у большинства служащих, выполняющих все предписания партии и голосующих “за”, есть ясное понимание, что они служат неправде, – но – привыкли притворяться, мошенничать с совестью. Двuruшники – привычные» (90).

Грозные вожди со временем ушли в небытие, и главную роль в государстве стали играть эти – бессловесные.

IX

После разгрома революционной партии, большевистского «термидора» и общегосударственной мобилизации на борьбу с гитлеровской Германией Сталин окончательно переносит управление страной в государственные структуры. Он переименовывает народные комиссариаты в министерства, как это было до Октябрьской революции.

Обосновывая новшество, вождь говорил на мартовском (1946 г.) Пленуме ЦК ВКП(б): «Народный комиссар или вообще комиссар – отражает период неустоявшегося строя, период гражданской войны, период революционной ломки и пр. Этот период прошел. Война показала, что наш общественный строй очень крепко сидит... Уместно перейти от названия – народный комиссар к названию министр. Это народ поймет хорошо, потому что комиссаров чертова гибель. Пугается народ. Бог его знает, кто выше, кругом комиссары, а тут министр, народ поймет. В этом отношении это целесообразно» (90).

Что касательно самой партии, то в 1946 году разработана и утверждена четкая номенклатура должностей ЦК ВКП(б), то есть список должностей, которые назначали и курировали партийные органы. Если верить официальной «Истории КПСС», таким образом «в работу с руководящими кадрами вносились плановость, систематическое изучение и проверка их деловых качеств, обеспечивалось создание резерва для выдвижения и строгий порядок в назначении и освобождении номенклатурных работников. Расширялась номенклатура должностей ЦК компартий союзных республик, крайкомов, обкомов, горкомов и райкомов» (91). По сути, речь шла о полном слиянии

партии и государства под контролем сталинского аппарата и ликвидации остатков партийного самоуправления, особенно на местах. Любое номенклатурное назначение становилось делом государственной важности.

Впоследствии Хрущев с возмущением говорил о «второстепенной роли партии» в послевоенной властной иерархии, когда практически вся работа партийных комитетов сводилась к поддержке и проведению в жизнь распоряжений Совмина и министерств. Фактически Никита Сергеевич выступал за единоуправство партии, возврат к революционным 1920-м годам, но тогда его время еще не пришло.

Одним из проявлений последовательного огосударствления стала широко внедрявшая форменная одежда. Э. Рязанов: «Это был период, когда вся страна одевалась по желанию безумного генералиссимуса в форменную одежду. Вслед за армией, работниками КГБ и МВД мундиры начали носить железнодорожники, дипломаты, юристы, горняки, ученые» (92). В послевоенные годы мундиры начали носить чиновники более 20 ведомств и министерств. В их числе министерства финансов и заготовок, геологии и нефтяной промышленности, черной и цветной металлургии, электростанций и связи, главные управления геодезии и картографии, гражданского воздушного флота, горного надзора, таможенной службы и многие другие. Государственная структура, созданная при Сталине, как бы окончательно утверждалась, оттесняя партию на второй план. Можно также предположить, что введение форменной одежды было также призвано скрыть нищету победоносного, но наполовину разрушенного государства.

Однако именно «бездушная» машина государства вызывала глухое, но нараставшее недовольство активной части населения – особенно тех людей,

которые либо помнили сами, либо восприняли из книг, кинофильмов, рассказов старших представление о революционной атмосфере и бурлящей жизни партии в 1920-х и начале 1930-х годов. Отмена части обязательных мундиров в послесталинские годы представлял собой многозначительную акцию – фраза «сбросить ненавистный мундир» издавна является символом приобретения долгожданной личной свободы.

Кроме видимых глазу изменений в государственном устройстве, Сталин начал кропотливую работу по выстраиванию баланса сил между набравшей силу за время войны «ленинградской группировкой» и дуэтом Маленкова – Берии^[41]. Сейчас мы подробно остановимся на этой внутрипартийной интриге, поскольку именно она породила на свет один из самых впечатляющих документов во взаимоотношениях сталинского государства и интеллигенции – постановление ЦК «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» и доклад члена Политбюро Жданова на эту тему. Показательный пример сложной партийной борьбы в последние годы жизни Сталина и ее влияния на пропагандистские кампании, многие из которых прямо или косвенно задевали интересы интеллигенции, а также положили начало полному разладу между ней и советским государством^[42].

Делегировав Л. Берии огромные полномочия по созданию советской атомной бомбы, Сталин снял его с поста министра НКВД – всевластие других вождь допустить не мог. Кроме того, он наносит подготовленный удар по ближайшему компаньону Лаврентия Павловича – Маленкову. Для его отставки с должности секретаря ЦК было использовано т. н. «дело авиаторов», касающееся выпуска предприятиями наркомата авиационной промышленности СССР самолетов со значительными дефектами^[43]. Но скорее

тут следует говорить не о полной опале двух сталинских соратников, а об ограничении сферы влияния дуэта Берии – Маленкова.

Разумеется, Берия и Маленков всполошились. Их тревогу вызывало не только собственное пошатнувшееся положение, но и шаги Сталина по формированию нового центра власти, предпринятые в начале 1946 года. Речь идет о группе в составе Политбюро – выходцев из Ленинграда, сплоченно вошедшей в руководство страны. В ленинградской когорте числились А. Жданов (ставший, по сути, вторым секретарем ЦК), председатель Госплана СССР Н. Вознесенский, А. Кузнецов (ставший в 1946 г. секретарем ЦК и получивший в ЦК после временного падения Маленкова контроль над кадрами и органами безопасности), А. Косыгин (заместитель председателя Совета Министров СССР, избранный в 1946 г. кандидатом в члены Политбюро).

Их неформальный глава А. Жданов стал практически первым заместителем Сталина в высшем руководстве, да и вдобавок родственником – дочь вождя Светлана, которую мы здесь часто цитируем, вышла замуж за сына Жданова, Юрия. Наряду со Сталиным Андрей Александрович стал подписывать совместные постановления ЦК и Совета Министров. С ним согласовывались практически все решения, принимавшиеся Политбюро, Секретариатом и Оргбюро ЦК. В таком объеме полномочия имел лишь сам великий диктатор.

Маленков и Берия исподволь начали готовить контрнаступление. Вождю на глаза попадались материалы, из которых следовало, что «ленинградцы» лоббируют создание особой коммунистической партии РСФСР и даже провозглашение Ленинграда столицей России. Жданов постоянно был вынужден оправдываться и быть святее папы римского, в смысле

«коммунистичней» самого вождя. Верноподданность, в частности, проявлялась и в топтании «своей» ленинградской интеллигенции, тех же А. Ахматовой и М. Зощенко, на которых в полной мере обрушились удары после постановления «О журналах “Звезда” и “Ленинград”».

Не являлась грязная партийная цидулька признаком борьбы тоталитаризма и писателей – плевать к тому времени деспотия на них хотела, но роль «красной тряпки», которой можно было раздраконить вождя, они сыграли. Важны были не личности, а то, что они из Ленинграда, вотчины главного конкурента.

После внезапной смерти А. Жданова нарушился хрупкий баланс власти. По спешно инспирированному «Ленинградскому делу» почти все люди покойного фаворита и, соответственно, соперники Г. Маленкова и Л. Берии, были осуждены и расстреляны. Косвенно это задело и А. Микояна: один из его сыновей женился на дочери А. Кузнецова, что опять-таки Маленкова и Берию полностью устраивало. Еще ранее сталинского доверия был лишен и В. Молотов, который допустил, по мнению вождя, несколько серьезных политических ошибок.

Но нечистая пара перестаралась – Сталин лишил своего доверия всю «четверку» ближайших к нему партийных вождей – Молотова, Маленкова, Берию и Микояна. Над высшим руководством страны нависла прямая угроза физической расправы. К. Симонов, присутствовавший на XIX съезде партии, последнем съезде при жизни И. Сталина, на котором он разнес в прах Молотова и Микояна, детально описал свои впечатления: «Лица Молотова и Микояна были белыми и мертвыми. Такими же белыми и мертвыми эти лица остались тогда, когда Сталин кончил, вернулся, сел за стол, а они спустились один за одним на трибуну и пытались объяснить Сталину свои действия и поступки... Странное чувство, запомнившееся мне

тогда: они выступали, а мне казалось, что это не люди..., а белые маски... какие-то совершенно непохожие, уже неживые» (93). Ужас, который наводил диктатор на своих соратников, немало способствовал консолидации их действий в борьбе с Берией после смерти Сталина. Никто больше не хотел повторения массовых репрессий, да и выборочных тоже.

Версия о том, что уход Сталина в мир иной мог быть ускорен его ближайшими соратниками, напуганными возможными репрессиями против них, всегда была популярна – и в народе, и среди элиты. Хотя хорошо информированный генерал госбезопасности П. Судоплатов утверждал, что все сплетни о том, что Сталина убили люди Берии, голословны: «Без ведома Игнатьева и Маленкова получить выход на Сталина никто из сталинского окружения не мог. Это был старый, больной человек с прогрессирующей паранойей, но до своего последнего дня он оставался всесильным правителем» (94). Но со смертью Сталина система сама собой пошатнулась сверху донизу так, словно она удерживалась им одним и теперь неминуемо должна распасться. Ф. Кормер: «Интеллигенция ликовала. Начиналась оттепель. Снова, в который раз, забыв, кто она и где она, интеллигенция верила, что за оттепелью недалеко уже весна и лето. Она снова не захотела трезво оценить ситуацию, приготовить себя к долгой и трудной борьбе, снова рассчитывая, что все произойдет само собой. Скорее всего, правда, она и не могла бы бороться. За тридцать с лишним лет она отвыкла работать, поглупела, была больше стадом, чем единством... Неудивительно, что в удел ей достались опять сначала надежды, а потом палки» (95).

«Оттепель» является ключевым понятием в советской мифологии, она прямая предшественница перестройки, сотворенной руками шестидесятников. П. Судоплатов: «На следующий день после похорон (Сталина – К.К.) я понял, что началась другая эпоха. Секретарь Берия позвонил мне в шесть вечера и сообщил, что новый Хозяин покинул кабинет и приказал не ждать его возвращения. С этого момента я мог уходить с работы ежедневно в шесть вечера в отличие от тех лет, когда приходилось работать до двух или трех утра, пока Сталин сидел за рабочим столом в Кремле или у себя на даче» (96). События развивались стремительно – прекращение «дела врачей», миролюбивые заявления нового руководства на международной арене и, наконец, массовая амнистия 1953 года, которая сыграла роль пускового механизма неудержимого распада ГУЛАГа, а заодно открыла канал массированного переноса специфически уголовных и заведомо конфликтных практик в «большой социум».

По той амнистии из лагерей и колоний было освобождено 1201738 человек, что составило 53,8 процента общей численности заключенных на 1 апреля 1953 года. Как следствие, ликвидировано 104 лагеря и 1567 колоний и лагерных подразделений. К тому времени можно было совершенно определенно констатировать исчерпание сталинского «потенциала покорности».

По мнению некоторых исследователей, восстания заключенных в Горном лагере в Норильске, в Речном лагере в Воркуте, в Степлаге, Унжлаге, Вятлаге, Карлаге и на других «островах Архипелага ГУЛАГ» привели большинство Президиума ЦК к пониманию

того, что «прежними методами оно вряд ли сможет удержать страну в повиновении и сохранить режим в условиях тяжелого материального положения населения, низкого уровня жизни, острых продовольственного и жилищного кризисов» (97). Власть столкнулась с предельным выражением общего кризиса сталинской системы и, не видя альтернативных решений, склонилась к паллиативу – «оттепели».

Проблемы возникали не только в ГУЛАГе. Вопреки сложившемуся мнению отнюдь не он являлся движущей силой сталинской экономики – только несколько процентов ВВП приходилось на подневольный труд. В целом вся система испытывала весьма серьезные трудности, особенно наглядные в сравнении с достижениями главного геополитического соперника, США. Так в 1953 году на душу населения в СССР приходилось зерна почти в 2 раза, а мяса даже в 3 раза меньше, чем в США. По обеспечению посевных площадей тракторами США в 1953 году в 6 раз превосходили Советский Союз (и это при том, что в 1953 году количество работников в сельском хозяйстве СССР было почти в два раза меньше, чем в 1928 году). На огромных площадях невозможно было увеличить производительность труда без кардинального роста технической оснащенности. Однако отставание в индустрии от США было еще более резким: по выплавке стали – в 4, по добычи нефти – в 8 раз.

Война сбила тот настрой, который определял вертикальный взлет экономики СССР в довоенные годы. При этом огромные средства и усилия уходили на то, что бы создать военный паритет с США, поскольку те не оставляли надежд получить окончательное превосходство над Советским Союзом. Да плюс огромные людские потери – не будем забывать, что со дня окончания самой разрушительной в истории

человечества Второй мировой войны прошло всего семь лет.

Низкий уровень жизни увеличивал разочарование людей в социалистическом строе, а хронический дефицит рождал панические настроения. К. Чуковский дает живое описание ажиотажа на фоне слухов о грядущей денежной реформе в 1953 году: «Хотел получить пенсию и не мог: на Телеграфе тысяч пять народу в очередях к сберкассам. Закупают все – ковры, хомуты, горшки. В магазине роялей: “Что за черт, не дают трех роялей в одни руки!” Все серебро исчезло (твердая валюта!). Ни в метро, ни в трамваях, ни в магазинах не дают сдачи. Вообще столица охвачена безумием – как перед концом света. В “Националь” нельзя пробиться: толпы народу захватили столики – чтоб на свои обреченные к гибели деньги в последний раз напиться и наесться... Все магазины уже опустели совсем. Видели человека, закупившего штук восемь ночных горшков. Люди покупают велосипеды, даже не свинченные: колесо отдельно, руль отдельно. Ни о чем другом не говорят... Хорошо же верит народ своему правительству, если так сильно боится подвоха!» (98)

Государственный аппарат, интересы которого после смерти Сталина как бы воплощал Г. Маленков, заговорил о повышении уровня жизни населения с помощью развития производства товаров группы «Б», продукции легкой промышленности. Г. Маленков, 8 августа 1953 на заседании Верховного совета СССР: «Теперь на базе достигнутых успехов в развитии тяжелой промышленности у нас есть все условия для того, чтобы организовать крутой подъем производства предметов народного потребления». Дискуссии шли весь период «междоцарствия». В конце концов, ратующий за повышение роли партии Первый секретарь ЦК КПСС Н. Хрущев 25 января 1955 на пленуме ЦК публично причислил Г. Маленкова к «горе-теоретикам»,

которые «пытаются доказать, что на каком-то этапе социалистического строительства развитие тяжелой промышленности якобы перестает быть главной задачей и что легкая промышленность может и должна опережать все другие отрасли... Это отрывок правого уклона» (99). И в его словах тоже имелась своя логика: развитие тяжелой промышленности напрямую связано с оборонными нуждами страны, а также механизацией сельского хозяйства, в которой нуждалась страна. Более необходимым был признан хрущевский путь развития промышленности и через две недели Маленкова сняли и заменили Булганиным.

Поначалу Хрущеву достались ягодки из сталинских засевов. Технологический фундамент страны был заложен еще до 1953 года – в ходе индустриализации и по факту послевоенного восстановления народного хозяйства. И то, что воздвигнуто на этом прочном фундаменте, воистину грандиозно: 27 июня 1954 года – пуск первой в истории мира АЭС; 4 октября 1957 – запуск первого в мире спутника и спуск на воду первого в мире атомного ледокола, 1 октября 1959 года первое прилунение межпланетной станции, 12 апреля 1961 года – первый человек в космосе. С 1954 по 1964 производство электроэнергии увеличилось почти в 5 раз, добыча нефти – 3,5 раз, выплавка стали – в 2 раза, производства цемента – в 3,2 раза и т. п. (100)

Но, как ни парадоксально, эти великолепные достижения мало отражались на уровне жизни рядового гражданина. Более того, при Хрущеве производство зерна на основных (не целинных землях) упало (в среднем) с 80,9 до 73,1 млн. тонн, а это, извините, вопрос хлеба насущного! И это несмотря на весьма значительное увеличение поставок селу техники и удобрений. Здесь мы видим первопричины хрущевского краха – и никакая «оттепель» ему не помогла. К. Чуковский: «1 июля. (1962) Отовсюду

мрачнейшие сведения об экономическом положении страны: 40 лет кричать, что страна идет к счастью – даже к блаженству – и привести ее к голоду; утверждать, что вступаешь в соревнование с капиталистич. странами, и провалиться на первом же туре – да так, что приходится прекратить всякое соревнование...» (101)

Пожалуй, наиболее важным и ощутимым достижением хрущевского десятилетия для рядовых граждан можно считать грандиозную строительную программу, которая помогла миллионам семей обрести отдельное жилье. Но прочее – новые гонения на церковь, ликвидация подсобных хозяйств и, наконец, серьезные перебои с поставками продуктов питания после кукурузной кампании – рождало народное озлобление. Другое дело, интеллигенция: «оттепель», относительно либеральная культурная политика конца 1950-х – начала 1960-х годов, впервые приподнявшийся железный занавес, разоблачение культа личности Сталина. Все вышеперечисленное до сих пор в образованных слоях населения считается основным достижением эпохи: «В душе моей остался светлый, даже святочный образ Никиты Сергеевича, он остался для меня царем-освободителем» (А. Вознесенский) (102). За десталинизацию Хрущеву прощается все. Но был ли мальчик?

Как известно, первым этапом десталинизации общества многие считают падение Л. Берии. Дескать, он собирался захватить власть и установить репрессивный режим, подобный сталинскому. Потому для дела освобождения от сталинизма именно бывший шеф НКВД-МВД представлял наиболее серьезную опасность. Теперь установлено, что Берия не вступал ни в какие заговоры с целью захвата власти и свержения коллективного руководства. Для этого у него не было решающей поддержки в партийно-государственном

аппарате. Предпринятые им инициативы показывали, что он хотел лишь усилить свое влияние в решении вопросов как внутренней, так и внешней политики.

После краха Бериин, от которого хотели избавиться все, в новой расстановке сил на первый план выдвинулся организатор его смещения – Хрущев, опиравшийся на мощную поддержку партийного аппарата, к которому вспять перетекала власть из государственных структур, то есть, от Маленкова. Так, в мае 1953-го в верхний эшелон власти входил всего лишь один собственно партийный деятель, то есть Хрущев, остальные девять членов президиума числились высокопоставленными государственными чиновниками. А уже перед свержением Хрущева из одиннадцати верховных правителей семеро являлись чистейшими партаппаратчиками – в частности, Л. Брежнев, Ф. Козлов, Н. Подгорный, М. Суслов и сам Хрущев. Партия вновь взяла на себя функции распорядителя и судьи общества. А кроме реанимированной партии, за Хрущевым стояла и его личная гвардия – консолидированная сила второй по значению республики Советского Союза – Украины, которой он руководил многие годы и откуда постоянно пополнял свой кадровый ресурс. После Сталина и вплоть до Андропова, с 1953 по 1982 годы, в течение 28 лет кадровая политика характеризовалась засильем в центре украинских представителей. Это к вопросу, насколько Украина якобы являлась колонией России.

Вчерашних сталинистов безжалостно чихвостили. Ю. Нагибин с содроганием описывает монолог одного из писателей-партийцев: «Вступайте, старик, в партию! Вы будете крепче чувствовать себя на ногах, чувствовать локоть товарищей. У нас умная и горячая организация. Вот мы исключили Толю Сурова. Я ему говорю: подлец ты, мать твою так, что же ты наделал? Выйди, покайся перед товарищами от всего сердца, а не читай по

бумажке, подонок ты несчастный! Так хорошо, по-человечески ему сказал, а он вышел и стал по бумажке шпарить. Ну, мы его единогласно вышвырнули. Вступайте, старик, не пожалееете! А как хорошо было с Леней Коробовым, он на коленях ползал, просил не исключать. Я сказал: ты преступник, Леня, но пусть кто другой, не я, первым кинет в тебя камень. Он рыдал. Оставили, ограничились строгачом с последним предупреждением... Вступайте, обязательно вступайте, старик!... Вот скоро Мишу Бубеннова будем отдавать под суд. Знаете Мишу? Сибирячок, талант, но преступник. Скоро мы его исключим и под суд, настоящий, уголовный, туда ему и дорога. Вступайте, старик, в партию...» (103)

Для справки: Анатолий Суров – дважды лауреат Сталинской премии, активист борьбы с «космополитами», Леонид Коробов, бывший военный корреспондент «Правды», автор книги о Сидоре Ковпаке; Михаил Бубеннов, лауреат Сталинской премии за роман «Белая береза», где автор в духе культа личности изобразил Сталина. После 1956 года эта книга критиковалась как пример так называемой «теории бесконфликтности». «Мы, кто видел все это и в результате страдал от этого, – описывает наступившее время генерал П. Судоплатов, – позже пришли к выводу, что сталинская партийная верхушка использовала “борьбу с космополитизмом”, а хрущевская – с “последствиями культа личности” – только для того, чтобы убрать с дороги своих противников и оппонентов» (104).

Основным смыслом разоблачения культа личности являлась идея, что сам-то строй безупречен, но отдельные товарищи извратили его суть. Непонимание закономерности происходивших явлений, желание приписать весь негатив злой воле нескольких человек (вроде Сталина, Ягоды, Ежова, Бериин) на время помогло

поддержать позитивный настрой в обществе, но не устраняло первопричины надвигавшегося кризиса советского строя. «Я считаю партию ответственной за все то, что приписывают сейчас одному лишь Сталину», – подразумевая пороки всей системы, позже писала дочь Сталина Светлана Аллилуева (105).

Идейно-психологический кризис, который пережило общество в результате половинчатых разоблачений Сталина, насторожил коммунистических правителей. Они поняли, что полное развенчание мифа будет означать и полную потерю легитимности режима, обесценение всех его реальных и мнимых достижений. «Переоценка» роли и значения Сталина началась слишком быстро. Массовое сознание не выдержало, и даже привыкшие «колебаться вместе с генеральной линией» партийные функционеры растерялись. События в Тбилиси стали сигналом для власти. Если идеологические устои режима смогли выдержать разоблачение сталинских преступлений, то легитимность нового лидера страны – Хрущева – явно оказалась под вопросом. «Хрущев начал борьбу с мертвым и вышел из нее побежденным», – заметил У. Черчилль.

Потеря сакрального смысла построения нового общества, утрата общих ориентиров, пусть и спущенных приказом сверху, создала возможность разночтения как событий сегодняшнего, так и вчерашнего дня. «Для преданных почитателей Вождя оскорбительным и невыносимым было не низвержение кумира, в этом еще можно было бы найти некое потустороннее величие, а простота и обыденность, с которыми оно совершилось. Сталин оказался простым смертным, но это означало, что теряла смысл вся мессианская проповедь мирового коммунизма. Жертвы становились бессмысленными, жестокость – неоправданной, жизнь – потраченной напрасно» (106).

«Народный сталинизм» стал стихийным ответом людей на разрушение мифа, формой самопроизвольного поддержания в народных массах веры в строгого, но справедливого и победоносного царя. Это серьезно различалось с оценкой Сталина из уст интеллигенции, видевшей в нем, прежде всего, кровавого тирана.

Идеологическая машина переставала работать. Попытки Хрущева мобилизовать народ на «новые исторические свершения» – «строительство коммунизма за 20 лет» (а «программа строительства коммунизма» была принята одновременно с новой атакой Хрущева на Сталина в 1961 г.) были обычным обманом, который народ, «живущий повседневностью», многозначительно проигнорировал.

XI

Коммунизм и его партия стали терять свои идеологические позиции с изменением в 1950-х годах шкалы общественных ценностей. Энтузиазм решения всемирно-исторических задач сменился обыденными проблемами маленького человека. Шесть соток приусадебного участка, личная библиотека, автомобиль, отдых у моря, поездка за границу – вот что стало мечтой тех, чьи отцы на горизонте видели мировую революцию и социальное равенство. И, в отличие от достижения Всемирного Счастья, при определенных усилиях все цели «маленького человека» были реальными. Железобетонная система покрывалась трещинами и поддавалась. С. Аверинцев: «Моя немецкая знакомая с 60-х гг., русистка и теолог, резюмировала свой опыт одной из первых поездок в Советский Союз в изумленной фразе: “У вас везде стена – но в стене всегда есть дыра!”» (107).

В те же годы начался стремительный рост числа членов КПСС. Если раньше даже для того, чтобы стать пионером или комсомольцем приходилось преодолевать кандидатский стаж, требовались определенные заслуги, то почти автоматическая массовая запись в партийные и предпартийные структуры нивелировали саму идею партии как авангарда общества. Железный кулак обратился в расслабленную пятерню.

Номенклатура, опомнившись от страха первых послесталинских лет, стала лихорадочно разворачивать страну, забыв в азарте всякое приличие и даже осторожность. «Валютная выручка от нефтяного экспорта за два года пропала бесследно. Но нефть – это капля в море... Новые показания арестованных привели

к самоубийству первых секретарей Рязанского, Кемеровского и Ростовского обкомов партии. Работники прокуратуры вытряхивают из личных сейфов, замурованных в стены особняков, пачки долларов, золотые слитки, россыпи алмазов, чековые книжки крупнейших банков мира, иностранные паспорта» (108). Начиналась ждущая своего беспристрастного исследователя эпоха накопления капитала при социализме. А вместе с тем и сложная политическая борьба за легализацию этих капиталов.

Цепь грандиозных побед СССР в космосе, научных прорывов, залеченные, наконец, фронтовые раны внушили власть имущим убежденность, что всё, в общем и целом, идет совершенно правильно. После снятия Хрущева нет оснований проектировать и осуществлять сколько-нибудь широкие и глубокие преобразования бытия и сознания страны. В дружеской беседе приемник неугомонного Никиты Л. Брежнев говорил своему премьеру А. Косыгину: «При Сталине люди боялись репрессий, при Хрущеве – реорганизаций и перестановок... народ не был уверен в завтрашнем дне... Советский народ должен получить в дальнейшем спокойную жизнь для дальнейшей работы» (109). Но пробудившейся интеллигенции спокойствия мало. Она требовала либеральных свобод. И, что важно, у нее появились сочувствующие во власти – вчерашние одноклассники, сделавшие партийную карьеру, интеллектуалы-аналитики, и – самое главное – та коррумпированная часть номенклатуры, особенно в национальных республиках, которая для себя считала советский строй уже неактуальным.

Те, кто еще вчера благодарил за избавление от репрессий, даже стали покушаться на основную функцию социалистического строя, обязательный труд. Он стал восприниматься не иначе, как каторга, избавление от обязательного труда – как свобода. При

социализме такая свобода концептуально невозможна, а в буржуазном обществе – да. Восхитительное чувство свободы от обязанностей по отношению к социуму описывает Ерофеев как воплощение земного рая: *«Мы им туда раз в месяц посылали соцобязательства, а они нам жалованье два раза в месяц. Мы, например, пишем: по случаю предстоящего столетия обязуемся покончить с производственным травматизмом. Или так: по случаю славного столетия добьемся того, чтобы каждый шестой обучался заочно в высшем учебном заведении. А уж, какой там травматизм и заведения, если мы за сикой белого света не видим, и нас всего пятеро! О, свобода и равенство!»*. Автор знал, о чем писал. Его друг В. Аксенов вспоминал о В. Ерофееве: «Веничка, он ведь никогда никого в жизни материально не обеспечивал, не поддерживал, жил только для себя» (110). Но чему здесь умиляться?

Напряженный труд стал для элиты (в том числе и интеллектуальной) и ее отпрысков своего рода символом былых лишений, сталинского прошлого, а «ничегонеделание» – признаком свободы, эмиграунда или просто умением хорошо устраиваться. Очень скоро всеобщая безнаказанность породила вопиющую бесхозяйственность. Государственное – значит, ничье. Э. Рязанов: «Лидер (Брежнев) говорил острые, резонные, справедливые слова, сочиненные ему референтами, журналистами и писателями. Их цитировали потом в выступлениях, статьях другие журналисты и писатели, ими клялись, их приводили телекомментаторы, повторяли лидеры рангом поменьше, но ничего при этом не делалось...» (111) Движение вперед все больше сопровождалось пустопорожним сотрясанием воздуха и перекладыванием бумаг. Один из крупнейших советских ученых и организаторов науки В. Трапезников, обследовав работу обычного

министерства, установил, что объем ненужной информации, распространяемый этим министерством, составляет 90 %.

Страной давно уже правил разросшийся до непомерности аппарат, так называемое «среднее руководящее звено». По сути, партия выродилась в кучку принимающих решения аппаратчиков и подчиненное им аморфное большинство. То, что в партийном новоязе назвалась «коллегиальным руководством», означало правление во многом уже потомственного клана профессиональных партийных бюрократов. И то, что противоречило интересам секретарей обкомов и райкомов, министров и их замов, председателей исполкомов и генералов, руководителей профсоюзов и комсомола (того самого номенклатурного списка, утвержденного в 1946 году) никогда не претворялось в жизнь, а бесследно таяло, сходило на нет, исчезало.

Главное в номенклатуре – власть. Не собственность, а власть. Буржуазия – класс имущий, а потому господствующий. Номенклатура – класс господствующий, а потому имущий. Капиталистические магнаты ни с кем не делятся своими богатствами, но повседневное осуществление власти они охотно уступают профессиональным политикам. «Номенклатурные чины – сами профессиональные политики... Заведующий сектором ЦК спокойно относится к тому, что академик или видный писатель имеет больше денег и имущества, чем он сам, но никогда не позволит, чтобы тот ослушался его приказа» (112).

Сидящий за начальственным столом коллективный Прохор Петрович – добрейшей души человек, но нервный. Помните такого персонажа? *«Нервный человек, работает как вол... “Вы чего, говорит, без доклада влезаете?..” А тот, подумайте только, отвечает:*

“Ничем вы не заняты...” А? Ну, тут уж, конечно, терпение Прохора Петровича лопнуло, и он вскричал: “Да что ж это такое? Вывести его вон, черти б меня взяли!”». И брали таких петровичей (и петровн) компетентные органы при Сталине брали за милую душу. Ибо профессиональная номенклатура, эти наследственные руководители понимают только язык страха. Как только страх попускает хищника, он пускается в грабеж. Страх недолго сдерживает даже такую мелкую рыбешку, как Никанор Босой:

- Строго преследуется, - тихо-претихо прошептал председатель и оглянулся.

- А где же свидетели? - шепнул в другое ухо Коровьев, - я вас спрашиваю, где они?

И соблазн для домоуправа, мы знаем, оказался слишком велик. Так здесь описываются суровые сталинские времена. И вот наступила долгожданная «свобода» от свирепого сталинизма. Воровство государственных средств начало успешно сходить с рук множеству людей, окончательно разлагая партийную верхушку и отравляя жизнь страны. Расхищение даже ставилось на промышленный поток: например, в 1970 году выявилось, что в транзисторах рижского завода ВЭФ не хватало по одному диоду: каждый стоит 32 копейки, притом, что в год завод выпускал 132 тысячи радиоприемников. По одному камешку не добавляли в часы «Чайка» и «Полет» мастера Московского первого часового завода. Камешек стоит всего 42 копейки, а часов выпускалось в год 750 тысяч штук (113). Наступала эпоха могущественной теневой экономики, тесно связанной с властью предержащими. А там и до прямых личных контактов с уголовным миром рукой подать.

Учитывая мощную «ротацию» заключенных в лагерях и колониях (600–700 тысяч человек в год), а также высокую степень организации уголовных

заклученных, можно предположить, что «хулиганская война» во второй половине 1950-х – начале 1960-х годов стала некой формой планомерного давления на пошатнувшуюся центральную власть. Можно также предположить, что одним из факторов стабилизации стала негласно данная национальным элитам и серьезным уголовным элементам возможность обогащаться с помощью развития теневой экономической деятельности. Естественно, этот процесс не мог происходить без ведома, а то и прямого соучастия власти в центре. Процесс шел по нарастающей и в конце 1970-х принял прямо-таки фантазмагорический характер – особенно в республиках Кавказа и Средней Азии, где партийные и государственные должности свободно покупались и продавались за наличные деньги. В частности, в Азербайджане должность районного прокурора стоила 30 тысяч рублей, должность начальника районного отделения милиции – 50 тысяч рублей и далее по восходящей. Очень высокой по цене, равной стоимости поста секретаря райкома, была должность ректора любого вуза в республике – 200 тысяч рублей. Однако эти деньги очень быстро окупались, поскольку за зачисление, скажем, в Институт иностранных языков взималась плата в 10 000 рублей, в Бакинский университет – 20 тысяч, в Мединститут – 30 тысяч, в Институт народного хозяйства – 35 тысяч рублей (по ценам 1970 года) (114). В роли продавцов должностей выступали секретари местного ЦК и члены бюро ЦК, беря плату, в основном, драгоценностями и валютой, также отчисляя процент в Москву.

Но хватит о развращенных партийных бонзах, примем версию о преступных одиночках (хотя их десятки тысяч), но ведь распадались моральные ценности всего народа. Дефицит товаров в разных уголках Советского Союза вовлекал миллионы

добропорядочных людей в круговорот перекупки, волей или неволей делая их в глазах государства спекулянтами, то есть преступниками. Перекупкой вынуждено занимались все – от инженеров до музыкантов. «Дубленки были страшным дефицитом, а тут заходим в магазин (во Владивостоке) – висят монгольские дубленки... Накупили дубленок. А до этого мы были почти месяц на Сахалине и затоварились рыбой и японскими товарами. (Из Петропавловска-Камчатского) мы отправили к себе на родину, в Минск, около ста пятидесяти штук (дубленок)» (115). Разумеется, музыканты всесоюзно известного ансамбля «Песняры», воспоминания солиста которых Л. Борткевича я цитирую, везли дубленки не для того, чтобы наполнить ими минские прилавки.

Попытку пришедшего на смену Брежневу Ю. Андропова навести порядок в сфере торговли, комментирует в своих дневниках писатель Ю. Нагибин: «1 декабря 1983 г. Расстрелян директор крупнейшего Елисеевского магазина. Директор Смоленского гастронома застрелился сам. Еще трое выдающихся московских гастрономических директоров арестованы... Вообще, за торговлю взялись крепко. Но если подымать ее таким образом, то надо расстрелять всех, без исключения, директоров, завмагов, даже овощников из пустых смрадных палаток, потому что все воруют. Не забыть и пивников, почти официально разбавляющих пиво. И, разумеется, всех работников общественного питания. Если же распространить этот метод лечения общества на другие сферы, то надо казнить врачей, в первую голову хирургов, получающих в лапу за любую операцию, ректоров университетов и директоров институтов, а также членов приемочных комиссий – без взятки к высшему образованию не пробьешься, прикончить надо работников ГАИ, авторемонтников, таксистов, театральных, вокзальных и аэропортовых

кассирш, многих издательских работников, закройщиков ателье, жэковских слесарей и водопроводчиков, всю сферу обслуживания. Если же кончать не только тех, кто берет взятки, но и тех, кто их дает, то надо ликвидировать все население страны» (116).

Неправда, когда рассуждают о прежних честных временах. Страна была психологически готова к постперестроечному воровству, просто не ожидали только, что ограбят каждого. «Что-то непривлекателен этот новый виток нашего бытия, – продолжает Нагибин свои наблюдения. – Все ждут только зажима, роста цен, обнищания, репрессий. Никто не верит, что поезд, идущий под откос, можно вернуть на рельсы. Странно, но я ждал чего-то разумного, конструктивного, верил в серьезность попытки восстановить утраченное достоинство страны и народа. Слабые следы такой попытки проглядывают в угрюмо-робкой деятельности нового главы. Но он не того масштаба человек. Ему бы **опереться на те созидательные силы, которые еще сохранились в народе, на интеллигенцию, на гласность** (выделено мной – К.К.), но он исповедует древнее благочестие: опираться надо лишь на силу подавления» (117).

Обратите внимание, уже прозвучало слово «гласность», призывы опереться на интеллигенцию. Как в воду глядел Юрий Маркович. Буквально через пяток лет под восторженные клики интеллигенции, на которую вдруг «обопрутся», «гласность» восторжествует и страна развалится. Но предупреждавшие о том «противники перестройки» до сих пор считаются людьми ничемными и реакционными. В перестроечном «Огоньке», популярнейший в то время публицист А. Нуйкин вполне исчерпывающе перечислил тех, кого либеральная интеллигенция восьмидесятых причисляла к своим

оппонентам, можно даже сказать, врагам. Я имею в виду его нашумевшее «Открытое письмо ко всем бюрократам, взяточникам, военно-промышленным ястребам, дельцам теневой экономики, мафиози и прочим захребетникам Советского Союза». Автор со всей силой своего публицистического таланта обвиняет вышеперечисленных персонажей во всех бедах СССР. Не осталось Советского Союза, а у власти все те же. Почему? Не это ли наглядный урок краха наших лучших надежд.

Нашу восторженность и доверчивость попросту использовали. Помнится, популярная во время перестройки экономист Л. Пияшева доказывала, что демонтаж социализма и либерализация цен приведет к их повышению лишь в два-три раза, не больше: «Если все цены на все мясо сделать свободными, то оно будет стоить, я полагаю, 4-5 руб. за кг, но появится на всех прилавках и во всех районах. Масло будет стоить также рублей 5, яйца – не выше полутора. Молоко будет парным, без химии, во всех молочных, в течение дня и по полтиннику» – и так далее по всему спектру товаров. Причем, когда она это писала, специалистам был уже известен расчет Государственного комитета по ценам СССР, сбывшийся с точностью до рубля – он предсказывал первый же скачок цен на продукты в среднем в 45 раз (119). Но мы слушали симпатичную нам Л. Пияшеву.

Социолог Конрад Беккер, развивая тему «Культурная интеллигенция и социальный контроль», проливает свет на то, как эйфорию преобразований, веры в прекрасное будущее можно преобразовать во вполне реальные властные механизмы: «С помощью восторженности создается ложное ощущение интимности, эксплуатируется потребность принадлежать кому-то, в то время как через давление окружающих и близких снижаются возможности

сопротивления. С утверждением определенного образа жизни, отрицающим любые другие ценности и убеждения, сочетается поощрение слепого согласия...» (118).

Это отключение от рациональных критериев стало в среде интеллигенции общим явлением. Так интеллигенция поддержала удушение колхозов как якобы неэффективной формы производства. «И ей не показалось странным: в 1992 г. правительство Гайдара купило у российского села 21 млн. тонн зерна по 12 тыс. руб. (около 10 долл.) за тонну, а у западных фермеров 24,3 млн. тонн по 100 долл. за тонну. Почему же “неэффективен” хозяин, поставляющий тебе товар в десять раз дешевле “эффективного”? То же с молоком. Себестоимость его в колхозах была 330 руб.

за тонну, а у фермеров США 331 долл. – при фантастических дотациях на фуражное зерно, 8,8 млрд. долл. в год (136 долл. на каждую тонну молока)» (120). Но мы продолжаем ругать коммунистов и созданные ими колхозы.

Мы больше верим пропаганде, чем собственному здравому смыслу. «Атрофия чувств, достигаемая через злоупотребления языком, пропаганда, нарко-информация, а также уничтожение индивидуальных мнений посредством повторения однообразных заклинаний и фраз, установление зависимостей – от видов спорта, игр и телешоу, управляемых неясными правилами, – все это входит в состав широких методик социальной стилизации...» (121). Заклинания, вернее, обезболивающие мантры, давно известны: рынок, реформы и, что самое нелепое, «демократия», власть народа.

Повторение бессмысленных, хотя и красиво звучащих заклинаний, вера в скорое «светлое будущее», наступающее, если воспользоваться еще одним чудодейственным рецептом, готовность врать и

подличать, если этого требуют собственные интересы, а потом со святым выражением лица выдавать весь этот винегрет за заботу о народе... Откуда все это у нашей интеллигенции – и в поражающих воображение масштабах?

Все очень просто – интеллигенция **искренне** радуется за народ, она понимает интересы народа **лучше**, чем народ, и она сделает ему хорошо, даже, если ради «**прогресса**» народом придется пожертвовать. А за подходящей для такого случая партией дело не станет.

Только нам, прекраснотдушным, не надо потом удивлять удивляться, что очередная «группа товарищей» использовала нас для достижения своих финансовых целей.

Глава 3

Охота на Каратаева



В «Золотом теленке» есть момент, когда Бендер, начиная психологическую обработку подпольного миллионера, присылает ему странные телеграммы. Одна из них гласит: «*Графиня изменившимся лицом бежит пруду*». Это реальная фраза из телеграфной корреспонденции корреспондента Н. Эфроса в газету «Речь» в ноябре 1910 года. Речь идет о драматических событиях последних дней жизни Л. Толстого и попытки его супруги покончить с собой. Далее телеграмма гласила: «Графиня, добежав до мостка, бросилась в воду...» Внимание ко Льву Толстому и всему, что его окружало при жизни и после смерти, в России традиционно огромно. Автор самого популярного романа всех времен и народов – «Война и мир» – всегда воспринимался как духовный авторитет, а его литературные персонажи стали нарицательными понятиями.

Когда у знаменитого советского скульптора С. Меркурова, который еще до революции прославился тем, что снимал посмертную маску с Льва Толстого, спросили о его ощущениях в ту историческую минуту, он на покойника неожиданно пожаловался: «Сильно прилипла борода» (1). Сложно, значит, маску было делать. Сильно налипла борода Толстого на нашу интеллигенцию: округлый Платон Каратаев, культовый герой дореволюционных интеллигентов и главный мучитель советских школьников на десятилетия поселился в душах отечественных народолюбцев. Плюс десятки дорисованных литературных персонажей, спешно сочиненных советскими писателями, главной сутью которых являлась доброта и мудрость народа. Интеллигенция примеры обычной житейской мудрости,

которая бывает во всех слоях населения, в случае проявления ее простым человеком, возводила оную в культ – все эти бесконечные «как гласит народная мудрость». Я уже не вспоминаю о современных политиках с их лицемерными сентенциями: «наш народ мудр», «давайте послушаем, что скажут люди», «народ разберется». Но, подразумевается, что народ разберется только при помощи старшего товарища, поводыря, коим мнила и мнит себя интеллигенция, поскольку в целом «мудрый народ» пока все же был (остается) неграмотен и дремуч.

В начале XX века французский социолог Г. Лебон заметил: «Социальные перевороты никогда не начинаются снизу, а всегда – сверху. Разве нашу великую (Французскую – К.К.) революцию произвел народ? Конечно, нет. Он никогда бы о ней и не думал. Она была спущена с цепи дворянством и правящими классами» (2). И лишь потом разливается стихия народного бунта, бессмысленного и беспощадного. Русская интеллигенция настойчиво подталкивала массы простолюдинов к революции, к переустройству снизу не устраивавшего её, интеллигенцию, общества. Вспомним все эти «хождения в народ» толп разночинцев, профессуру во главе студенческих бунтов, террор неплохо образованных народовольцев и эсеров, а также юристов и присяжных, всячески покрывавших изловленных террористов, и парламентское обличительство кадетов. Только цели и представления о счастье у интеллигенции и народа оказались принципиально разные.

Основным вопросом революции в крестьянской стране, которой былаторгдашняя Российская империя, являлся вопрос о земле. В конце XIX века в центральных районах в результате демографического взрыва и малоземелья сформировалось колоссальное аграрное перенаселение, и половина трудоспособного населения

деревни относилась к числу «лишних людей». Им не хватало земли для пропитания. Здесь накапливался огромный революционный потенциал. Тогдашний премьер-министр П. Столыпин подчеркивал: «Отсутствие у крестьян своей земли и подрывает их уважение ко всякой чужой собственности» (3).

Крестьянское малоземелье порождало нищету и постоянное недоедание. В истории Империи из шестнадцати последних лет XIX века шесть были голодными годами, а голод 1891 года унес 700 тысяч жизней. И это при том, что в странах Западной Европы, по мере подъема народного хозяйства и развития сети путей сообщений, проблема голода уже была решена. Супруги Сидней и Беатриса Уэбб, известные английские социалисты, изучив положение крестьян в России, сделали печальный вывод: «Большинство крестьян в 1900 г. жили как крестьяне Франции и Бельгии в XIV веке» (4). Речь шла о фактах голодания **миллионов людей**. Именно чувство голода, а не разум, стали направлять поведение и действия этих масс. Начались крестьянские волнения, которые активно поддержал и рабочий класс, тесно связанный с крестьянством, и, разумеется, вожделевская свобода интеллигенция. Истинный размах Первой русской революции придали не московское вооруженное восстание или одиночные выступления в войсках, а грандиозные крестьянские бунты, охватившие наиболее заселенную часть Империи в 1904–1906 годах^[44]. Кстати, 1906 год был ознаменован очередным голодом.

Ныне много говорят о столыпинской аграрной реформе, размывавшей традиционный уклад жизни в селе, и, вроде бы, повышавшей эффективность ведения сельского хозяйства. Её суть в разрушении коллективистской крестьянской общины, регулировавшей отношения в деревне, основы

традиционного быта на земле. Именно община контролировала использование находящихся в совместном ведении пахотных земель, пастбищ, лесов, диктовала регулярные переделы земли, отвечала за уплату налогов, активно вмешивалась в личную жизнь. При суровом климате России и рискованных условиях земледелия взаимопомощь в рамках общины часто являлась единственной возможностью подстраховки в случае неурядиц или голода и помогала успешно вести хозяйство там, где для достижения результатов необходимо приложить значительно больше усилий, нежели в теплой Европе. С другой стороны, община сдерживала инициативу ее отдельных членов, их стремление внести в деревню более эффективные капиталистические начала, поскольку девиз общины – «по справедливости». Справедливость в условиях малоземелья – распределение ресурсов по едокам, и, увы, неуклонное уменьшение наделов по мере роста количества этих самых едоков.

Многие крестьяне, стремясь к лучшей жизни, уходили в город, но и здесь условия жизни были крайне тяжелыми: рабочий день достигал 15–16 часов, жилищные условия исключительно плохие, техники безопасности практически не существовало^[45], зарплата оставалась низкой, основной её формой была натуральная – продуктами и вещами из лавок по «заборным книжкам», продукты – самого низкого качества. Недовольство из города перетекало назад, в деревню, и обратно, не находя себе выхода.

Аграрные беспорядки начала XX века окончательно убедили П. Столыпина, что крестьянская община является главным тормозом развития государства и объективно способствует революционизированию крестьянства. В рамках названной его именем аграрной реформы он стремился максимально уменьшить

демографическое давление на земли центральной России, активно переселяя крестьян на восток, в перспективные регионы Сибири, Казахстана, Алтая. Однако против попыток ликвидации общины категорически выступали не только левые (считавшие ее базисом будущего социалистического коллективистского строя), но и многие правые, которые мнили консервативную крестьянскую общину основой государственного устройства и опорой престола. Смерть Петра Аркадьевича резко затормозила темп проведения всего комплекса аграрных реформ, что разрушало надежды крестьян на возможность иной, более сытой жизни, консервировало их недовольство и стало одной из основных причин обвала 1917 года.

О значении реформы до сих пор ведутся ожесточенные споры, поскольку она имела как достижения, так и очевидные минусы, которые не были исправлены царским правительством. Действительно, Россия увеличила экспорт продовольствия при П. Столыпине, но экспортировали хлеб помещики и кулаки, эксплуатируя отобранную у общины землю, а дети крестьян продолжали умирать с голоду. Это – к популярному тезису, что Россия до революции «кормила всю Европу». И хотя по статистике темпы развития сельского хозяйства в 1900–1913 годах ускорились, однако рядовой земледелец вряд ли заметил перемены в своем скудном рационе, в том числе и из-за увеличения экспорта зерна перед войной. Скорее всего, крестьянин в 1914 году имел не больше еды, чем в 1860 году. Вот, например, как описывает положение крестьян профессор Эмиль Джозеф Дилон, живший в России в 1877–1914 годах: «Русский крестьянин ложится спать в шесть и даже в пять часов зимой, т. к. у него нет денег купить керосин для керосинки. У него нет мяса, нет яиц, нет масла, нет молока, часто нет капусты, и живет он в основном за счет черного хлеба и

картошки. Живет? – Голодает от недостаточного количества всего этого» (5).

Новый голод в 1911 году не заставил себя долго ждать. Помощь пришлось оказывать сразу в 60 губерниях, особенно в Самарской, Оренбургской, Пермской, и в Донской области. Число нуждающихся, по самым приблизительным подсчетам, составило тогда 8,2 миллионов человек. Плюс примерно десятая часть столыпинских переселенцев вернулась назад, разочарованные и озлобленные. Плюс оставшееся надолго в народной памяти жесточайшее усмирение крестьянских бунтов^[46]. Но при том крестьяне почувствовали, прослышали (как в рамках правительственной пропаганды аграрной реформы, так и из социалистической агитации революционной интеллигенции), что возможен и другой быт, а не пожизненное общинное полурабство. В массовое народное сознание оказался внесен новый тренд. Известный историк русского зарубежья С. Пушкарев: «Столыпинская эпоха действительно внесла в бедную и серую массу крестьян-общинников основы и возможности «нового социально-экономического крестьянского строя» (6). То, что не удалось добиться многолетним «хождением в народ» социалистов, прогрессивные деятели царского режима слили вниз огромным водопадом. Отдаленные последствия этого представить себе, разумеется, было невозможно, но ждать пришлось недолго. «Популяризаторы идей Столыпина как-то упускают, что вызревшая в крестьянской среде ненависть к кулакам и правительству обеспечила большевикам сочувствие села не только в Гражданскую войну, но и в коллективизацию... За согласие крестьянства на коллективизацию сталинское правительство заплатило... разрешением на раскулачивание» (7).

В 1917 году французский посол Морис Палеолог четко предсказал дальнейшее поведение крестьян в революции: «В глазах мужиков великая реформа 1861 г., освобождение крестьян от крепостной зависимости, всегда была лишь прелюдией к общей экспроприации, которой они упорно ждут уже столетия; в самом деле, они считают, что раздел всей земли, *черный передел*, как его называют, должен быть произведен в силу естественного, неписанного, элементарного права. Заявление, что скоро пробьет, наконец, час высшей справедливости, было хорошим козырем в игре апостолов Ленина» (8). Одновременно проницательный француз наблюдает реакцию высших классов на свершившуюся Февральскую революцию (вернее, только ее первый акт – без решения «вопроса о земле» революцию завершённой считать было нельзя): «Один только Б. говорит без умолку и, как всегда, выражает свой пессимизм сарказмами:

– Какую радость, – восклицает он, – какую гордость испытываю я, гуляя теперь по городу! Я беспрерывно повторяю себе: отныне все эти *дворники*, все эти *извозчики*, все эти *рабочие* – мои братья... Сегодня утром я встретил банду пьяных солдат; мне хотелось прижать их к своему сердцу...

Повернувшись к князю Ж., он продолжает:

– Михаил Константинович, поторопитесь отказаться от вашего богатства. Погрузитесь вполне лояльно в нищету. Отдавайте скорее ваши земли народу, пока он их не отнял у вас. Полагайте ваше счастье лишь в том, чтобы быть бедным и свободным» (9).

Остричь и презирать оставалось недолго. Отдать землю народу не пожелали, и даже в братья записаться не получилось. Изданный 19 февраля (4 марта) 1918 года декрет «О социализации земли» (подписан Лениным и левым эсером наркомом земледелия Колетаевым) постановлял: «Всякая собственность на

землю, недра, воды, леса и живые силы природы... отменяется навсегда». Вчерашние рабы, безгласные крестьяне обрели правящую элиту, которая сказала им «будьте сами хозяевами на своей земле». «Лозунг для масс очень заманчивый. До сих пор вы были в угнетении, теперь будьте господами. И они хотят быть господами. Толкуй тут, что свободный строй требует, чтобы не было господ и подчиненных. Это сложнее, а этот лозунг простой и кажется справедливым: повеличались одни. Теперь будет. Пусть повеличатся другие...» (писатель В. Короленко – жене Е. Короленко, 11 марта 1919 года) (10).

Но если бы только земельный вопрос двигал науськиваемых интеллектуалами всех мастей крестьян и рабочих, тоже вчерашних крестьян! А. Блок писал в статье «Интеллигенция и революция» в 1918 году: «Почему дырявят древний собор? Потому, что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой. Почему гадят в любезных сердцу милых усадьбах? Потому что там насиловали и пороли девок, не у того барина, так у соседа. Почему валят столетние парки? Потому, что сто лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали свою власть: тыкали в нос нищему – мощной, а дураку – образованностью. Все так. Я знаю, что говорю» (11). Знаменитый монархист В. Шульгин: «Мы были панами. Но мы хотели быть в положении властителей и не властвовать. Так нельзя. Власть есть такая же профессия, как и всякая другая. Если кучер запьет и не исполняет своих обязанностей, его прогоняют. Так было и с нами: классом властителей. Мы слишком много пили и пели. Нас прогнали. Прогнали и взяли себе других властителей, на этот раз “из жидов”. Их, конечно, скоро ликвидируют. Но не раньше, чем под жидами образуется дружина, прошедшая суровую школу. Эта должна уметь властвовать, иначе ее тоже “избацают”» (12). Это провидение В. Шульгина

скоро найдет себе подтверждение, а пока пьянящий ветер народного варварства разлился по империи – резали все и всех. Освобожденная ярость не щадила никого.

От народного повального вандализма несостоявшиеся просветители пришли в шок. П. Струве, хорошо знавший революционное движение изнутри, будучи автором «Манифеста Российской социал-демократической рабочей партии»^[47], позже писал:

«Интеллигентская доктрина служения народу не предполагала никаких обязанностей у народа и не ставила ему никаких воспитательных задач... Народническая, не говоря уже о марксистской, проповедь в исторической действительности превращалась в разнузданность и деморализацию» (13).

Века накопленной ненависти хлынули безудержным половодьем и вопрос, кто положит половодью предел, кто поставит плотину и заслон, стал вопросом выживания государства.

И когда у В. Шульгина в конце его жизни спросили, как он по прошествии стольких лет оценивает приход большевиков к власти, он, по свидетельству очевидца, немного помолчал, а потом медленно, но многозначительно сказал, что, конечно, «не такого пути желал бы он России, но другого у нее, по-видимому, не было» (14). То, что оправдывал очевидец – гениальный Блок – в наше время подвергается осмеянию и вызывает презрение у той же элиты. Э. Рязанов высокомерно заявлял: «7 ноября (годовщину Октябрьской революции – К.К.) я считаю трагической датой в жизни нашего Отечества... К сожалению, народ оказался очень восприимчив к демагогическому лозунгу “Грабь награбленное”».

Многим миллионам пришлось по душе психология погромщика, полюбилась мораль мародера, прикипели

к душе повадки убийцы... Седьмого ноября началось семидесятилетнее царство жлобов» (15).

«Мародеры», «убийцы», «жлобы»... Как же далеко от этого пасторальное описание Платона Каратаева. Почему получилось так, что интеллигенция из союзника угнетенного народа превратилась в его злобного эксплуататора и ненавистника, пойдет речь в этом разделе книги.

Социалистическое государство появилось на свет в результате победы социальной революции, когда народ (преимущественно крестьянство, движимое перенаселением и голодом) единодушно поднялся на борьбу за хлеб и землю против тех, кто не хотел эту землю отдавать. Либеральная интеллигенция, к топору неустанно призывавшая Русь, явно не ожидала, что во время революции неблагодарный люд начнет истреблять ее с не меньшим остервенением, чем другие правящие классы. Ведь «благородная» кровь хлынула даже не после Октябрьского переворота, а сразу после Февральской буржуазной революции.

Разложение царской армии, которому всячески потакали А. Керенский и компания, армии, которая, будучи организованной, вооруженной силой могла бы сдерживать страсти – этой армии пришлось первой пережить ярость разогитированного эсерами, большевиками и «трудовиками» народа. Писатель М. Пришвин в своих дневниках описывает разговор с бывшим солдатом царской армии, который вспоминал события 1917 года; автор передает прямую речь собеседника:

«Сначала объявили, что Николай отказался от царства. Потом объявили, что царем будет Михаил. А когда в третий раз выстроили, то подполковник вынул шпагу и сломал. Тут же было объявлено, чтобы честь не отдавать, что солдаты и офицеры на равном положении, и все товарищи. Стали, конечно, догадываться и веселеть, разговоры пошли всякие. А что это значит, полковник шпагу сломал – этого понять не могли. Но вскоре приехали делегаты и все

объяснили. Тогда солдаты согласились и «перемундировали» полк. Я спросил:

– Что это значит: «перемундировали»?

Так спокойно ответил Агафон Тимофеевич.

– Известно что: перестреляли...

– Всех?

– Всех.

– А того подполковника?

– Прикололи.

Что-то было в этом последнем слове до того противоестественное, будто о курице разговор был или о баране.

– Агафон Тимофеевич, – сказал я, – за что же все-то, как это понять?

– Это отмщение, – ответил Агафон, – мучили нас они, вот и отмщение» (16).

Отмщение не носило характер мести конкретному человеку – мстили всем господам, жгли усадьбы и «добрым» дворянам. Старое общество воспринималось народом как несвободное, вернее, построенное на «неволе». Это было связано, в первую очередь, с отчетливо понимавшейся социальной несправедливостью дореволюционного строя. Н. Бердяев: «Новые люди, пришедшие снизу, были чужды традициям русской культуры, их отцы и деды были безграмотны, лишены всякой культуры и жили исключительно верой. Этим людям свойственно было *ressentiment*^[48] по отношению к людям старой культуры, которое в момент торжества перешло в чувство мести. Народ в прошлом чувствовал неправду социального строя, основанного на угнетении и эксплуатации трудящихся, но он кротко и смиренно нес свою страдальческую долю. Но наступил час, когда он не пожелал больше терпеть, и весь строй души

народной перевернулся... Кротость и смиренность может перейти в свирепость и разъяренность» (17).

Прорыв из старого общества воспринимался как прорыв к истинной свободе. Но «свобода» в крестьянском понимании означала «волю». Возможно, мы имеем дело с одной из наиболее грандиозных и, вместе с тем, трагических иллюзий народного сознания. Логика социального творчества потребовала от народа некий прообраз, тот идеал, в соответствии с которым он собирался преобразовывать существующую реальность. В арсенале народной культуры этот идеал справедливости чаще существовал как религиозная надежда на «Царство Божье», как некая гуманистическая абстракция. В качестве его нравственного императива выступал принцип **социальной справедливости**. Как и в социализме.

В русском менталитете понятия «свобода» и «социальная справедливость» неразрывны, они представляют две стороны одного целого. Слово-понятие «воля» в народном понимании означает выражение свободы от принуждения и **любых** ограничений. «Воля», предполагала освобождение от гнета чиновничества, от налогов, от государственных повинностей, включая обязательную армейскую службу, от правовых ограничений... Соответственно, революция большевиков, воспринимаемая как акт освобождения, виделась как решающий шаг в переходе к «воле». Но когда большевики принесли новую неволю, их начали резать, как и всех прочих.

Вот что пишет тюменский писатель К. Лагунов о Сибирском (конкретнее— Тобольском) народном восстании начала 1921 года: «Дикая ярость, невиданные зверства и жестокость – вот что отличало крестьянское восстание 1921 года... Коммунистов не расстреливают, а распиливают пилами или обливают холодной водой и замораживают. А еще разбивали

дубинами черепа; заживо сжигали; вспарывали животы, набивая в брюшную полость зерно и мякину; волочили за скачущей лошадей; протыкали кольями, вилами, раскаленными пиками; разбивали молотками половые органы; топили в прорубях и колодцах. Трудно представить и описать все те нечеловеческие муки и пытки, через которые по пути к смерти прошли коммунисты и все те, кто хоть как-то проявлял благожелательное отношение к Советской власти...» (18).

Зафиксируем основные черты русского общества, точнее, его крестьянской подноготной – отсутствие чувства меры и границы дозволенного (западная законопослушность во многом была продиктована вынужденной скученностью, необходимостью уживаться на ограниченных земельных и городских пространствах); перепады активности от лени до энтузиазма (крестьянская привычка к кратковременному напряжению всех сил во время уборки урожая, хорошо знакомая нам «кампанейщина»); коллективный принцип: «Будь как все» (основа коллективизма крестьянской общины).

Не надо видеть в этих чертах особенной доблести, ума или народной мудрости. Но не нужно и думать, что многовековые черты народного характера улетучились, поскольку несколько десятилетий на территории Российской империи правили большевики. Удаль на грани и за гранью идиотизма мы можем наблюдать каждый день – в исступленном заплывании за буйки, и в распитии загадочных спиртосодержащих напитков, и «какой же русский не любит быстрой езды». Пожалуй, эти качества хороши на войне, но не в мирной жизни. Нельзя вооружать непредсказуемый народ, а тут по стране бесконтрольно разошлись миллионы вооруженных, озлобленных крестьян. Правительство с ними и безоружными во время первой русской

революции едва справилось^[49]. Либералы не смогли, а вот Сталин не постеснялся – не только взнуздать революцию, но и заставить работать врожденные качества народа на идею модернизации страны, что дало свои неоспоримые плоды.

В. Шульгин вспоминал об одной его лекции о Февральской революции, на которой присутствовал упомянутый выше бывший революционер, профессор П. Струве. После лекции начались прения, и Струве заявил: у него была единственная причина для критики Николая II – что тот был излишне мягок с революционерами, которых нужно было «безжалостно уничтожать». Шульгин в шутку спросил, уж не считает ли Струве, что и он сам должен был быть уничтожен. Струве, чрезвычайно разволновавшись, воскликнул:

– Да!

И, встав со своего места, зашагал по зале, трясая седой бородой.

– Да, и меня первого! Именно так! Как только какой-нибудь революционер поднимал голову свою – бац! – прикладом по черепу! (19)

Собственно, позже Сталин так и поступил, однако это не решило накопившихся проблем социума. «Царство Божие» (символ Высшей Истины) в понимании освобожденного народа – это жизнь без государственных тягот («воля») и заслуженное рабство бывших господ («справедливость»). В массовом сознании народа «свободный строй» представлял собой перевернутую социальную пирамиду, в которой менялись местами господ и подчиненные. Вспомните процитированное выше письмо В. Короленко («Повеличались одни. Теперь пусть повеличатся другие...») А теперь иное послание: «Нам, большевикам, пришло время жить и наслаждаться жизнью. Пускай теперь поработают те, на которых мы работали сотни и

сотни лет! Пускай эти заживевшие люди поработают до пота лица и поймут и сознают, что вели неправильную жизнь, – писал в ноябре 1930 года «всесоюзному старосте» М. Калинину член коммуны «Красный Октябрь» Ленинградской области В. Скурдинский (20). Можно не сомневаться, что работяга Скурдинский не читал личной переписки писателя В. Короленко, и вообще не факт, что знал о его существовании. Но мысли изложены те же!

Там, где имеется Царство (пусть даже и Справедливости), там есть Царь, мудрый поводырь и народный заступник. Такова многовековая традиция крестьянского мировосприятия. Помощник присяжного поверенного, интеллигент и дворянин В. Ульянов-Ленин, ставший во главе власти, признанной большинством народа, быстро превратился в сознании масс в такого царя. «Сидит Ленин на престоле, два нагана по бокам. Дал он нам, крестьянам, землю – разделить по едокам», – в этой народной частушке в образе Ленина отражена и высшая справедливость («земля по едокам»), и легитимность новой власти («на престоле»), и ее могучая сила (пистолеты, целых два!). Долгие годы мифический «Ильич» являлся неиссякаемым источником добра, силы, света и жизни для миллионов безвестных каратаевых русского народа.

Общий настрой определялся тем, что Ильич казался покаявшимся за перегибы «военного коммунизма» и пострадавшим, искупившим тяжелой болезнью свои прежние грехи, почти мучеником. Вот что говорил один старый крестьянин, пришедший в Горки проститься с Лениным 22 января 1924 г.: «Ведь он, наш-то Ильич, за крестьянство страдал, ну вот и кончина его праведная, легкая... без муки... сел... дайте, говорит, испить... тут в одночасье и кончился». Еще в 1926 году селькор с Северного Кавказа пересказывал местную легенду о том, что «Ленин жив, но он тайно ходит по земле и

следит за работой Советской власти», а похоронен вместо него кто-то другой^[50](21). Эта вера в высшую справедливость надолго стала для Советской власти чем-то вроде охранной грамоты. Но реальность радикально отличалась от крестьянских сказок о добром царе, пришедшем защитить простой народ и его землю.

Ленин крестьянство не любил и не понимал. Все его представление о сельском хозяйстве ограничивалось кратким хозяйствованием на небольшом хуторе, который в 1889 году Ульяновы купили вблизи Самары. Работа сразу невзлюбилась. «Я начал было, – рассказывал Ленин Крупской, – да вижу – нельзя, отношения с крестьянами ненормальные становятся» (22). Да и второй опыт крестьянского хозяйствования состоял лишь в том, что под конец жизни Владимир Ильич украсил свой дом в Горках горшочками с овсом, просом, ячменем, гречихой и прочей озимой пшеницей. На этом отношения типично городского жителя со средой обитания подавляющего числа населения его страны и заканчивались. Однако Ленина подобная нестыковка абсолютно не тревожила, поскольку любовь к отеческим гробам не волновала в принципе. Сам Ленин говаривал: «Пролетариат не может любить того, чего у него нет. У пролетариата нет отечества». Его не было и у окружавших Ильича интернационалистов, оно просто не подразумевалось доктриной. Марксизм – это городская, космополитическая религия. И кого щадить – народ, дремучий погромный нрав которого революционеры, особенно еврейского происхождения, оценили в полной мере?^[51] Презренных интеллигентов, которые так и не смогли удержать полученную ими в Феврале власть? Монархистов, которые первыми бросили своего императора? Любовь к некоему географическому пространству или березовым

лесонасаждениям глубоко противна материалистическому уму. Более того, нелюбовь к России у русских революционеров продиктована самим марксизмом. Ведь никто никогда не говорил об их родине с такой проникновенной ненавистью, как К. Маркс (разве что его русские ученики, считавшие эту ненависть одной из самых святых и правых). «Оплот мировой реакции», «угроза свободному человечеству», «единственная причина существования милитаризма в Европе», «последний резерв и становой хребет объединенного деспотизма в Европе» – вот излюбленные его выражения. Известный политолог и философ А. Дугин обращает наше внимание, что все «атлантисты» (т. е. участники западноевропейской, основанной на «рынке» цивилизации – *К.К.*), включая коммунистов, в их «мессианском» измерении, всегда вели себя по отношению к евразийскому населению... как колонизаторы, как пришельцы» (23).

Нет, конечно, во время Гражданской войны, когда припекло, большевики использовали весь арсенал дорогих патриоту слов, включая «Отечество», даже невзирая на то, что у пролетариата его вроде бы не имеется. Воззвания, вроде «Социалистическое отечество в опасности» авторства Л. Троцкого, были четко рассчитаны на крестьянские массы, военспецов из офицеров да примкнувшую к большевикам интеллигенцию. Позже Лев Давидович вспоминал: «Написанный мною проект – “Социалистическое отечество в опасности” – обсуждался вместе с левыми эсерами. Эти последние, в качестве новобранцев интернационализма, смутились заголовком воззвания. Ленин, наоборот, очень одобрил: “Сразу показывает перемену нашего отношения к защите отечества на 180 градусов. Так именно и надо”» (24). То есть «новобранцы» испытали девичий стыд за слова из буржуазного лексикона, но более опытные товарищи

свои принципы легко меняли по мере необходимости – на том стояла и стоять будет мировая политика.

Самых же радикальных большевиков вопросы жизни отдельного «отечества» не слишком тревожили – их интересовал надежный плацдарм для Мировой Революции и все, что могло разжечь пожар, поддерживалось и одобрялось. Собственно, здравицей Мировой Революции воззвание про «защиту социалистического отечества» и заканчивалось. Так рождалось противоречие между отравленной доктринерством коммунистической революционной элитой и мечтой простого народа о спокойной жизни на своей земле.

Изначально леворадикальному государству было наплевать на чаяния своих граждан, щепок для костра мировой революции, но когда революционный медведь, изнуренный войной, разрухой и голодом вынужденно уgomонился в своей берлоге, перед правителями стала задача обустройства занятой ими территории. Причем, обустройства, которое не могло не принимать во внимание интересы подавляющего числа граждан – крестьян. Провал политики военного коммунизма заставил большевиков искать обходные пути к общечеловеческому счастью с помощью долговременной социальной инженерии, и в этих стратегических планах усиление позиций новой крестьянской «буржуазии» (кулаков) представляло серьезную политическую опасность для коммунистической диктатуры. Но окончательное решение вопроса, к сильному раздражению правоверных революционеров, откладывалось. В 1922 году был издан новый закон «О трудовом землепользовании», который предоставлял крестьянству самому избирать способ землепользования: а) общинный (с уравнительным

переделом земли); б) участковый (с неизменным правом двора на землю); в) товарищеский (артели и коммуны).

Итак, вековая мечта русских интеллигентов, казалось, свершилась – Платон Каратаев свободен. Он, правда, оказался другим: более решительным, злым, что ли? Часть радетелей пустил в расход, другие в ужасе разбежалась. Но при власти был, какой-никакой, интеллигент Ленин, окруженный вполне образованными соратниками, с большевиками сотрудничали многие лидеры дореволюционной культурной жизни. Присмотревшись, начали возвращаться из эмиграции некоторые беглецы. Один из наиболее знаменитых – граф и писатель Алексей Толстой. В 1924 году в одной из своих первых после возвращения на родину статей – «Задачи литературы» – он выделил одну из самых главных задач писателя нового времени: «Лев Толстой написал Платона Каратаева; они, Платоны, миллионами в то время бродили по Русской земле. Теперь Платон – да не тот»^[52] (25). Изучение Платонов (а не только «быстрых разумом Невтонов») становится во главу угла советского искусства.

Изменение генотипа народа, перестройка основ народной жизни – вот главная задача, которая определила линию большевиков после неудачи спонтанной мировой революции. Для долговременного и успешного строительства коммунистического государства необходимо было совершить еще одну революцию – культурную. Даже в середине 1930-х годов значительно более половины взрослого населения СССР составляли люди, родившиеся до 1900 года, то есть ставшие взрослыми еще в Российской империи, со всеми своими предрассудками, традициями, суевериями и представлениями о мире. А что же тогда говорить о годах двадцатых?

Масштаб задач, стоявших на пути развития мышления нового человека, был огромен – от преодоления неграмотности до культивирования особого социалистического искусства. И здесь нашлось широкое поле деятельности для интеллигенции, действительно ставшей нужной своему народу. «Самое же главное было в том, – писал об этом времени С. Эйзенштейн, – что здесь каждый укреплялся в осознании того, что делу революции нужен всякий. И прежде всего, именно в своем неповторимом, угловатом, индивидуальном виде» (26). Допустим, он писал неискренне, для публики, но можно вспомнить частную переписку А. Толстого, критиковавшего свою жену Н. Крандиевскую за снобизм: «На тебя болезненно действует убожество окружающей жизни, хари и морды, хамовато лезущие туда, куда должны бы входить с уважением. Дегенерат, хам с чубом и волосатыми ноздрями повергает тебя в содрогание, иногда он заслоняет от тебя происходящее. Я стараюсь

этого не замечать, иначе я не увижу того, что тот заслоняет» (27). Выговаривал ей не только в письменном виде, но и в форме домашних скандалов:

– Интеллигентщина! Непонимание новых людей! – кричал в раздражении на супругу великий писатель. – Крандиевщина! Чистоплюйство! (28)

И ведь таки развелся, и не только молодая любовь тому причиной. А. Толстого особо раздражала манера за частностями, мерзкими деталями, не видеть тектонических изменений, первой за всю историю России полномасштабной попытки образовать и духовно раскрепостить народ. Пёс с ними, с домашними скандалами, но и здесь мы наблюдаем четкую разделительную полосу: существует ли долг интеллигенции перед народом (просвещать его), либо жить своей отдельной интеллектуальной жизнью. В 1920-е и 1930-е году в ходу была первая точка зрения, просвещение рассматривалась как **гражданский долг** образованных людей перед гражданами своей страны. Это обстоятельство и определяло гуманистический характер социального творчества. Вот почему, несмотря на свою подчиненность решению прикладных проблем жизнедеятельности нового строя, оно имеет, в первую очередь, огромное культурное значение.

«Гуманистическое начало и Ренессанса, и советской художественной культуры несет в себе ориентацию на идею всестороннего развития личности... И Ренессанс, и советская художественная культура являли собой результат синтезирования вдохновенно переживаемой духовности с материально понимаемой жизнью» (29). Новый строй отрицал врожденную алчность, корысть, продажность людей, презирал ненависть по расовым, религиозным или национальным признакам. Социалистическая власть хотела вообще стереть как можно больше противоречий, оставленных «проклятым

прошлым». Должна была оставаться одна большая разница: между трудящимися и нетрудящимися.

Понятное дело, что просветительская и пропагандистская работа должна была кропотливо организовываться, в первую очередь, коммунистическим государством. А государство не могло не принимать в расчет крестьян, тех самых миллионов каратаевых и присущую им манеру поведения, сформированную многовековой традицией русской крестьянской общины. А она, в свою очередь, имела весьма мало общего с западноевропейскими устоями марксизма.

Когда средневековая Европа превращалась в современный Запад, произошло освобождение человека от связывающих его солидарных, общинных человеческих связей. Капитализму нужен человек, свободно передвигающийся по стране и вступающий в отношения купли-продажи на рынке рабочей силы. Поэтому община всегда была главным врагом буржуазного общества и его культуры. В соответствии с представлениями о человеке и с теми связями, которые соединяют людей в общество, строится политический порядок, определяющий тип государства. Традиционное общество, имея как образец идеал семьи, порождает т. н. патерналистское государство (от лат. *pater* – отец). Здесь отношения власти и подданных иерархичны и строятся по образу отношений отца и детей. Значит и представления о свободе, взаимных правах и обязанностях здесь принципиально иные, нежели в государстве западного общества, роль которого сведена к функции регулятора («государство – ночной сторож»).

Когда после Второй мировой войны на Западе возникла необходимость изучения новой сверхдержавы, феномен советской государственности стал объектом пристального внимания исследователей. В то время на

Западе проживали сотни тысяч бывших советских людей, по тем или иным причинам не возвратившихся после войны в СССР. Детальный опрос среди них, изучение их мнений и менталитета облегчало европейской элите понимание страны, психологии ее граждан, мотивов их поведения. Этот т. н. «Гарвардский проект», осуществленный в 1950-1951 годах на основе опроса очень большого числа перемещенных лиц, был обобщен американцами А. Инкелесом и Р. Бауэром в монографии «Советский гражданин».

В результате большой и кропотливой работы авторы исследования сумели очертить политический идеал русских: «Патерналистское государство с чрезвычайно широкими полномочиями, которое решительно их осуществляет, направляя и контролируя судьбу страны, но которое в то же время благожелательно служит интересам гражданина, уважает его личное достоинство и оставляет ему значительную свободу желаний и чувство защищенности от произвольного вмешательства и наказания» (30). Это вызвавшее сенсацию исследование в целом адекватно отразило многовековой стереотип, особенность восточноевропейского менталитета.

Государство, помогающее своим гражданам, плотно опекающее их, но не вмешивающееся в их личную жизнь – это, по сути, один из признаков авторитарного режима. Он существенно отличается от тоталитарного, который контролирует все стороны жизни гражданина. Тоталитаризм сталинского толка перегнул палку, люди были бы вполне удовлетворены общественным (общинным) контролем, но без репрессивных крайностей.

В числе прочего, во взаимосвязи с крестьянским сознанием советский строй породил необычный тип промышленного предприятия, где производство было

неразрывно переплетено с поддержанием важнейших условий жизни работников, членов их семей – т. н. «социальная сфера», которую создавали советские промышленные предприятия для своих работников. Это переплетение, идущее от тысячелетней традиции общинной жизни, настолько прочно вошло в коллективную память и массовое сознание, что казалось естественным.

Такое коллективное сознание диктовало подтягивание всех членов общины до единого знаменателя, в том числе и в отношении культуры производства и поведения, включая заботу об отстающих (даже на уровне учебного класса). Но размеренная жизнь общины несовместима с динамичным строем, который задумали построить в СССР реформаторы, надеясь создать модель экономики, не уступающей по эффективности западному капитализму.

Объяснимы попытки революционной власти преодолеть экономическую пропасть между Востоком и Западом в максимально короткий срок, опираясь на народный подъем, как говорили раньше, «энтузиазм масс». Кратковременное напряжение всех сил свойственно крестьянскому сознанию, привыкшему полностью мобилизовать рабочую энергию в период, скажем, сева и уборки урожая. Разумеется, построение Царства Божьего на земле требует больших, более долговременных усилий, что энтузиасты охотно понимали и принимали. Н. Бердяев анализирует феномен массового энтузиазма: «Каждый молодой человек чувствует себя строителем нового мира. Мир стал пластичен, и из него можно лепить новые формы. Именно это больше всего соблазняет молодежь. Каждый чувствует себя участником нового дела, имеющего мировое значение. Жизнь поглощена не

борьбой за собственное существование, а борьбой за переустройство мира» (31).

Подспорьем (а порою и помехой) им служили сами черты народного характера. Анализ высказываний иностранцев и высказываний в средствах массовой информации позволяет фиксировать следующие особенности поведения русских (россиян): неточность во времени^[53]; не следование технологической дисциплине, технологическому регламенту; но при этом выполнение порученной задачи, несмотря на отсутствие всех необходимых средств; эмоциональность, энтузиазм, увлеченность в период стремления к цели.

Эту особенность народа – к восприятию и стремлению к возвышенной цели – не раз отмечали писатели. Например, И. Эренбург вспоминает, как во время собрания на строительстве магистрали Москва – Донбасс «один землекоп, в бараньей шапке, с обветренным лицом, говорил: «Да мы во сто раз счастливее проклятых капиталистов! Они жрут, жрут идохнут – сами не знают, для чего живут. Такой прогадает, смотришь – повесился на крюке. А мы знаем, для чего мы живем: мы строим коммунизм. На нас весь мир смотрит...» (32) А какое разнообразие типов этих народных строителей коммунизма описывают Ильф и Петров: *«Был здесь сормовский рабочий, посланный в поездку общим собранием, и строитель со Сталинградского тракторного завода, десять лет назад лежавший в окопах против Врангеля на том самом поле, где теперь стоит тракторный гигант, и ткач из Серпухова, заинтересованный Восточной Магистралью, потому что она должна ускорить доставку хлопка в текстильные районы. Сидели тут и металлисты из Ленинграда, и шахтеры из Донбасса, и машинист с Украины, и руководитель делегации в белой русской*

рубашке с большой бухарской звездой, полученной за борьбу с эмиром».

Медленный эволюционный путь не мог удовлетворить вечно прищипоривающих ход истории революционеров. Вообще, стремительная переделка человека – отличительная черта всех утопистов. Тем более, таких радикальных, как большевики образца 1920-х годов. Ради ускорения предлагалось даже переделывать народ искусственно. Л. Троцкий (1923 г.): «Человеческий род, застывший хомо сапиенс, снова поступит в радикальную переработку и станет под собственными пальцами объектом сложнейших методов искусственного отбора и психофизической тренировки». Здесь уже недалеко и до прозрений светочей перестройки вроде академика Н. Амосова, писавшего в 1992 г.: «Исправление генов зародышевых клеток в соединении с искусственным оплодотворением даст новое направление старой науке – евгенике – улучшению человеческого рода. Изменится настороженное отношение общественности к радикальным воздействиям на природу человека, включая и принудительное (по суду) лечение электродами злостных преступников... Но здесь мы уже попадаем в сферу утопий: какой человек и какое общество имеют право жить на земле» (33).

Были не только слова, но и всяческие эксперименты над человеческой природой – профессор Преображенский из «Собачьего сердца» был не одинок в своих изысканиях. Например, в 1926 году доктор Манойлов с помощью изобретенного им реактива определял половую принадлежности крови. Ну, ладно половую, но речь шла и национальной принадлежности. По мнению Манойлова, кровь разных народов окисляется по-разному. И в 187 случаях из 222, если верить прессе тех лет, он определил национальность правильно. А это уже прямая перекличка с

последующими нацистскими изысками в области чистоты крови и расы. Только цель переделки человека была диаметрально другой – не возвращение к национальным истокам, а создание человека будущего.

Целью всех мук и страданий, жесточайшей коллективизации и героической индустриализации должно было стать осуществление мечты: создание на востоке Европы народа, не менее энергичного и целеустремленного, чем его западные соседи. Знаменитый испанский философ Х. Ортега-и-Гассет пишет в 1930 году: «Москва прикрывается тонкой пленкой европейских идей – марксизмом, созданным в Европе применительно к европейским делам и проблемам. Под этой пленкой – народ, который отличается от Европы не только этнически, но, что еще важнее, по возрасту; народ еще не перебродивший, молодой. Если бы марксизм победил в России, где нет никакой индустрии, это было бы величайшим парадоксом, который только может случиться с марксизмом. Но этого парадокса нет, так как нет победы. Россия настолько же марксистская, насколько германцы Священной **Римской** империи были римлянами» (34).

Индустриализация, коллективизация, создание новой армии – все это были части большой программы модернизации СССР. Главным в ней было превращение человека с **крестьянским** типом мышления, восприятием времени, стилем труда и поведения в человека, оперирующего точными отрезками пространства и времени, способного быть включенным в координированные, высокоорганизованные усилия огромных масс людей. То есть, в человека современного индустриального общества, способного быть оператором сложной производственной и военной техники. 26 декабря 1934 года на приеме передовых сотрудников металлургической промышленности в

Кремле Сталин пролил свет на ход рассуждений тогдашнего советского руководства: «У нас было слишком мало технически грамотных людей. Перед нами стала дилемма: либо начать с обучения людей в школах технической грамотности и отложить на 10 лет производство и массовую эксплуатацию машин, пока в школах не выработаются технически грамотные кадры, либо приступить немедленно к созданию машин и развить массовую их эксплуатацию в народном хозяйстве, чтобы в самом процессе производства и эксплуатации машин обучать людей технике, выработать кадры. Мы выбрали второй путь. Мы пошли открыто и сознательно на неизбежные при этом издержки и перерасходы, связанные с недостатком технически подготовленных людей, умеющих обращаться с машинами... За 3-4 года мы создали кадры технически грамотных людей как в области производства машин всякого рода (тракторы, автомобили, танки, самолёты и так далее), так и в области их массовой эксплуатации. То, что было проделано в Европе в продолжение десятков лет, мы сумели проделать вчерне и в основном в течение 3-4 лет. Издержки и перерасходы, поломка машин и другие убытки окупились с лихвой. В этом основа быстрой индустриализации нашей страны».

Результаты титанических усилий стали очевидны уже в ближайшее время, во время грянувшей войны с нацистской Германией. Ворвавшиеся на нашу землю захватчики с изумлением отмечали изменившийся облик страны: «Строительство и технические успехи русских никак не вписывались в наши представления о России. А там двадцати лет оказывалось достаточно, на что другие страны тратили столетия. Выполнялись пятилетние планы, проектировались новые заводы и фабрики. Всем этим русские занимались с фанатизмом и с чрезмерной затратой энергии и материалов... Люди

формировались по воле времени, стали техниками, инженерами, квалифицированными рабочими, организаторами и в конечном итоге опытными командирами и рядовыми Красной Армии. Эти люди верили своей власти и подчинялись ей»^[54].

Народы СССР вольно и невольно заплатили за индустриализацию колоссальную цену. И во многом она стала водоразделом, определившим дальнейшую судьбу страны. С одной стороны, мы видим грандиозный порыв, вдохновленный народной мифологией и многовековым желанием жить лучше в своей стране. С другой, приспособленчество, неуклонно пробуждающееся желание элиты безраздельно властвовать и владеть самому. На смену огромному социальному оптимизму, хотя и сопряженному с разгулом кровавой стихии и разнузданностью страстей, приходит горькое ощущение несбывшихся надежд, новой несвободы, тяжелого ярма государственного принуждения.

Разрыв между задуманным и построенным вызывал растущее раздражение людей. Человек, вышедший из лачуги, ощутил новые потребности. «Создав идеальное (воплощение) коммунизма – советскую культуру, наше общество оказалось впереди «реального социализма», в то время как его материальные отношения остались позади капитализма» (35). Инициированная сверху советская культурная революция взрастила массовую образованность и неизбежное повышение требований к социальным стандартам, что, в конце концов, стало катализатором взрыва.

IV

Великой трагедией для народа было то, что большевизм экстренно навязывал жесточайшую дисциплину вместо стимуляции внутреннего позыва к дисциплине. Но естественная скорость распространения идей не устраивала большевиков категорически. Дефицит времени они ощущали острее всего. Вместо планомерной осады шел всеобщий штурм. Русский крестьянин, выковырянный из привычного быта, толпами устремлялся в город, давая строю необходимые трудовые ресурсы для потрясающих свершений. Но упорно оставался самим собой в своих слабых и сильных сторонах. Удивительный народный типаж встречаем в дневниках Ю. Нагибина, недоумевающего и – одновременно – восхищенного величием маленького человека: «Где-то между Раховым и Хустом (Закарпатье) увидел на перекрестье горных дорог плохонького мужичка в ватнике и стоптанных сапогах, пожилого, с пористым носом и ржаными выцветшими усами. Типичный такой рязано-владимирский обитатель. Был он, как полагается в предвечерний час русскому мастеровому человеку, под хмельком, шел по какому-то своему неважному делу и задержался, чтобы перекинуться словом со смуглым, цыганского вида парнем. Рядом румынская граница, кругом Карпатские горы, где обитают легконогие, сифилитические гуцулы, бандеровцы бродят, скрываются в каких-то щелях посланцы Ватикана – мировая кутерьма! А он стоит себе так простенько, будто на околице рязанской деревеньки, нисколько не удивленный ни странностью окружающего, ни тем, что его занесло в такую даль... Я впервые так остро и отчетливо ощутил этот жуткий и неотвратимый

центробежный напор, эту распирающую энергию великого народа, которому надо и надо расширяться, хотя и своего простора хватает с избытком» (36).

Ну как тут не вспомнить Льва Толстого и его Платона Каратаева, русского крестьянина – одетого то в военную форму, то в рабочую спецовку – полного причудливых представлений о мире. Для большевиков заменить размытые, почти поэтические представления крестьянства научным материалистическим мировоззрением подразумевало возможность превратить новое государство в четко работающий современный механизм. Но не так-то легко донести вчерашнему пастуху значение микрона и заставить его с этим микроном дисциплинированно работать.

На протяжении рассматриваемой эпохи все учреждения государства – фабрики, мастерские, тюрьмы, школы, больницы, приюты или казармы, – какими бы ни были их декларируемые функции, выступали также и генераторами нового порядка; в этом заключалась их скрытая, но очень важная социальная функция.

Среди таких всепроникающих институтов два обладали решающим значением, что достигалось благодаря их огромной сфере охвата. То были промышленные фабрики, стремительно множась в период индустриализации, и основанная на всеобщей воинской повинности Красная армия.

«Опролетаривание» основной массы населения государством горячо поддерживалось, поскольку давало рабочие руки для индустриализации, а во-вторых, режим, не доверяя зыбкости убеждений крестьянства и опираясь на марксистскую доктрину, стремился расширить пролетарскую социальную базу. М. Кольцов: «Пока мы живем в мелкокрестьянской стране, для капитализма в России есть более прочная база, чем для коммунизма. Это надо запомнить» (37). То

есть самой системой подразумевались мероприятия в рамках социальной инженерии: переселение граждан в город, и их последующее приручение и идеологическая обработка. Да и жить простому человеку в городе было все-таки полегче, чем в деревне. В 1928 году агроном-стажер В. Медведев в письме М. Калинин из Тульской губернии: «Крестьяне очень завидуют жизни рабочих, их восьмичасовому рабочему дню. И впечатление в результате работы среди них получается такое, что дай им всем работу на фабрике, заводе, не задумываясь, бросят землю и уйдут» (38). Напомню, что это написано задолго до голода 1933 года и массового бегства из деревни в 1950-х и 1960-х годах. Д. Самойлов: «Можно сколько угодно говорить о труде-удовольствии, но тогда почему вся Россия от этого труда разбежалась? Говорят – разбежалась от колхозов, от великого перелома. Нет! Великий перелом, индустриализация открыли путь в город. А колхозы дали возможность отлынивать от тяжелого труда, от всей трудовой крестьянской поэзии» (39). Да и сегодня – много ли среди нас желающих жить при ненормируемом рабочем дне, без электричества, отопления и канализации? «Поедем в город, там хорошо, коммунальные услуги», – вместо бессмысленной «звезды с неба» И. Ильф в своих записных книжках дает приземленный вариант любовной мечты. В общем, крестьянство двинулось в города еще до голодных испытаний начала тридцатых годов. Они лишь ускорили процесс, который срочно пришлось тормозить введением института прописки и паспортизацией населения^[55].

Ясно также, что новичкам усвоить городскую культурную среду обитания за короткое время было невозможно. Люди привозили свою привычки, свой образ жизни, и даже свою живность. Дело доходило до анекдотов. Так соседи М. Булгакова привезли из

деревни петуха, который страшно раздражал писателя тем, что пел ночью без времени – жизнь в городе сбила петуха с толку. Миллионы человек, вырванных из прежней среды, не могли в городской суете удовлетворить насущные, пусть и неосознаваемые, потребности – хотя бы побыть в одиночестве у себя дома. Помните жильца в общежитии им. монаха Бертольда Шварца, который умолял окружающих: *«Да дайте же человеку поспать!»* Это постоянная и всеобщая неудовлетворенность окружающим миром – основание для острого недовольства, человеческой истерии и психоза, особый тип социального кризиса.

Хлынувший в город поток новых горожан вполне естественно раздражал и людей городской культуры. Неумение пользоваться коммунальным хозяйством, соблюдать правила общежития, попытка самоутвердиться, навязывая собственные представления о жизни – все это вызывало язвительность образованных горожан. Быстро выяснилось, что кроме кучки подвижников, фанатиков «культурной революции», поводьры свой народ не любят. Разумеется, речь идет не о публичных выступлениях, а об их дневниках, интимной переписке, беседах с друзьями. Возьмем добрейшего вроде бы, неоднократно нами цитировавшегося Корнея Ивановича Чуковского: «27 июня. В Сестрорецке. В пустой даче Емельяновой за рекой. (...) В курорте лечатся 500 рабочих – для них оборудованы ванны, прекрасная столовая (6 раз в день – лучшая еда), порядок идеальный, всюду в саду ящики для окурков, больные в полосатых казенных костюмах – сердце радуется: наконец-то и рабочие могут лечиться (у них около 200 слуг). Спустя некоторое время радость остывает: лица у большинства – тупые, злые. Они все же недовольны режимом. Им не нравится, что “пищи мало” (им дают вдвое больше калорий, чем сколько нужно нормальному

человеку, но объем невелик); окурки они бросают не в ящики, а наземь и норовят удрать в пивную, куда им запрещено» (40). Он же: «Войтоловскому я очень обрадовался, т. к. он – 1) пошляк, 2) тупица. Мне нужен был именно такой читатель, представитель большинства современных читателей. Если он одобрит, все будет хорошо» (41).

Напомню, дело происходит во время «культурной революции», читают практически все. Итак, современные Чуковскому читатели – тупицы и пошляки. А писатели? Вот их описание от К. Чуковского: «Основная масса состояла из очень простодушных людей, вроде тех, что прежде заполняли галерку. Дремучие глаза, мясистые деревенские щеки. “Интеллигентных” лиц почти нет. Ни за что не скажешь, что писатели» (42). И даже щеки ему «деревенские»!

Другой гуманист – М. Пришвин: «Какой страшный край эта Великороссия! ведь только странные ученые-спортсмены могут интересоваться частушками: я не знаю, что может быть глупее этой девицы-куклы, выплевывающей подсолнухи и время от времени изрыгающей частушку» (43). О прочих глупых девицах М. Булгаков: «У нас новая домработница, девица лет 20-ти, похожая на глобус. С первых же дней обнаружилось, что она порочно по-крестьянски скупа и расчетлива, обладает дефектом речи и богатыми способностями по творческой части, считает излишним существование на свете домашних животных – собак и кошек (“кормить их еще, чертей”)... сперва жена моя, затем я с опозданием догадались – девица оказалась трагически глупа» (44). То, что крестьянская расчетливость и скупость вовсе не от хорошей жизни как-то в голову писателю не приходит. Ладно, дальше – жена его, Елена Сергеевна: «12 июля. (37) Остановились на Арбатской площади, смотрели на проходивших физкультурников. Издали очень красивое зрелище – коричневые тела, яркие

трусы. Вблизи – красивых лиц почти нет, и фигур тоже» (45).

Существует как бы две планеты – одна заселена интеллектуалами, другая – обслуживающими их «пролами».

Примеров ледяного презрения множество и в послевоенной литературе. В. Ерофеев отмечает в своих записных книжках: «Мне ненавистен «просто человек», т. е. ненавистен постоянно и глубоко, противен и в занятости и в досуге, в радости и в слезах, в привязанности и в злости, и все его вкусы, и манеры, и вся его “простота” наконец...» (46). То, что это не эмоциональный всплеск, а гложащая мысль свидетельствует и особо отмеченная им в записных книжках мысль французского философа: «Де Местр: простолюдин глуп, груб, безнравственен и подл» (47). Ерофеев явно находит в этом созвучие со своими внутренними чувствами. Ю. Нагибин о народе: «...их неспособность слушать, темная убежденность в кромешных истинах, душевная стиснутость и непроветриваемость носят патологический характер» (48). Чувствуется прямо-таки физическая ненависть к простонародью, как и у Ерофеева. «Сукины сыны, – как говаривал незабвенный слесарь-интеллигент Виктор Михайлович Поле-сов. – *Возомнили о себе! Хамы!*»

Ничего удивительного нет – со времени мужиковствования графа Толстого прошло достаточно времени – народ успел показать себя и в революции, и в гонениях на интеллигенцию, и в нежелании постигать высокие истины самозванных учителей. Вот эту черту презрения к народу подмечал в своих дневниках кинорежиссер А. Довженко, человек, который народ тонко чувствовал, как и ощущал разницу между народом и его правителями: «Начинается разложение... Появляются шакалы, трусы, шкурники и мизерные флюгеры, партийные и беспартийные, которым никогда

не было дела до народа, **для которых народ существовал всегда как прислуга, как класс, как мужики** (выделено мной – К.К.). Труссы забудут обо всем на свете и предъявят еще обвинения, почему так плохо велась война» (49). Так впоследствии и получилось.

Мы говорим о страданиях интеллигенции при Советской власти (при «сталинщине» или «застое») напроць забывая время, в котором жили наши герои. И были ли они по-настоящему с народом? Современный публицист, стоящий явно на прокоммунистических позициях, вопрошает: «Чем занимались наши Мандельштам, Ахматова, Цветаева, Булгаков – эти иконы “интеллектуальных” антисоветчиков?.. Они ни словом не поддержали усилий партии, правительства и государства по актуальнейшим, жизненно важным для народа и страны направлениям: резкому повышению образования, созданию широкой квалифицированной и технически вооруженной медицинской помощи, по заботе о детях, по созданию мощной самостоятельной промышленности, в том числе и в первую очередь военной, воспитанию советского или хотя бы русского патриотизма и т. п. Чем они помогли стране? На их, что ли, произведениях воспитывались молодогвардейцы и защитники Сталинграда?» (50) Вопросы резкие, полемические, но они имеют право быть.

Истинное непонимание эпохи скользит в последних словах М. Булгакова на смертном одре: «За что меня жали? Я хотел служить народу... Я никому не делал зла» (51). Но нуждались ли в Булгакове вчерашние «кухаркины дети» и те ли задачи перед ними стояли? В своих записках друг Булгакова, Евгений Петров бегло обрисовывает довоенную уличную сценку – пацаны на улице играют в волейбол: «Мальчики образовали кружок и кидали мяч... Перед соседним домом дожидались похоронные дроги. Вынесли гроб, выкрашенный масляной краской, под дуб. Дроги

тронулись в свой обычный страшный путь. Сзади шла поникая женщина. Ее поддерживали под руки... Дроги подъехали совсем близко, но мальчики продолжали играть. И только когда печальная черная лошадка коснулась мордой чьей-то спины, круг распался, по-прежнему не расставаясь с мячом. Никто даже не посмотрел на похороны... Такое комсомольское презрение к смерти не проходит даром. То были первые советские мальчики, которые сплошь полегли на войне» (52). С фронта не вернулся, как мы помним, и сам Е. Петров.

Поколение «первых советских мальчиков» не нуждалось в Булгакове и Ахматовой, их массовое почитание пришлось на другое поколение, другие вкусы, другие опасности. Даже враги вынуждено признавали качество воспитанного большевиками стального поколения. Эсэсовский ветеран Э. Керн в своих мемуарах мало хорошего пишет об СССР, но и он отдает должное неожиданному противнику: «Наши храбрые и опытные войска вполне могли разгромить военную машину России и уничтожить ее промышленный потенциал, но никто не удосужился предупредить о глубине политического и психологического зомбирования русских людей. Мы столкнулись с новой, незнакомой разновидностью человеческой породы – человеком советским. Доскональные знания произведений Достоевского и поэм Пушкина не могли нам помочь. Нам не попадались ни Анна Каренина Толстого, ни гоголевские типы из “Мертвых душ”. Этот мир покоился вместе с русскими офицерами, священниками и кулаками в массовых захоронениях ЧК, он умер в ходе кровавых экспериментов Ленина, которые продолжил “грузинский апостол” большевизма...» (53). К нашему счастью, именно это поколение «зомбированных» и «советских» спасло страну от начитанных эсэсовцев.

«ХУДОЖНИК ОПАСЕН, КОГДА ЖИВ», – вот так вот, заглавными литерами, говоря о В. Ерофееве, пафосно восклицает современный популярный писатель Е. Попов. Но вопрос не опасности, а нужности. Подруга Ерофеева Ольга Седакова отмечала в мировоззрении Венедикта важнейшую деталь: «Во всем совершенном и стремящемся к совершенству он подозревал бесчеловечность... – и, обращаю ваше внимание. – Еще непонятней для меня была другая сторона этого гуманизма: ненависть и к героям, и к подвигам. Чемпионом этой ненависти стала у него несчастная Зоя Космодемьянская... Он часто говорил не только о простительности, но и о нормальности и даже похвальности малодушия, о том, что человек не должен быть испытан крайними испытаниями» (53).

Поколение тридцатых было готово убивать и идти на смерть, и такое воспитание помогло отбиться от грандиозного нашествия. Булгаковский Мастер не был героем, он хотел, чтобы его просто не трогали, но страна как раз требовала иного – полной отдачи всех сил, нечеловеческого усилия. И они – как могли – его осуществили. Вина ли этих простых людей, крестьян и рабочих, что они не соответствовали как культу античных героев, которого требовала от них Советская власть, так и не дотягивали до уровня духовного идеала «а-ля Каратаев», чего сначала от них по привычке ждала интеллигенция? Они были такими, как они есть.

Мало кто из образованных снобов пытался осмыслить глубинную суть явлений, как это в одном из своих писем (9-10.07.1940 г.) делал И. Дунаевский, понять, почему красиво придуманный механизм дает сбой: «Беда в том, что мы воспитываем или пытаемся это воспитание внушить только с одной маленькой и внешней стороны, а нужно воспитывать всей системой культуры и бытия. Нельзя же не делать абортов, если

отец зарабатывает 300 рублей в месяц и живет в комнате 10 метров с семьей в пять человек. А нам говорят – плодите детей. Нельзя проповедовать чистоту отношений, когда не очищена сама жизнь, когда быт загрязнен мучительными и тягостными мелочами, когда люди живут не по-человечески, одеваются не по-людски, работают из последних сил на хлеб насущный. В этой страшной серяentine достигаются ничтожные, маленькие желания, маленькие мечтания маленьких, но невинных людей. За пару заграничных чулок, за красивую жизнь, измеряемую одним ужином с паюсной икрой и бутылкой прокисшего рислинга в номере гостиницы “Москва” с командировочным пошляком, люди, женщины, иной раз честные, хорошие, расплачиваются своей честью, чтобы только на секунду забыть плесень на углах своего жилья» (55). Вот здесь чувствуется боль и глубина сопереживания, жаль – это всего лишь частное письмо.

Примеров отчуждения интеллигенции и народа, народа и власти – десятки; и, конечно, авторы процитированных строк имели на то право. Но не могу не вспомнить еще один раз К. Чуковского, уже «хрущевского периода»: «Мед. “сестра” это типичная низовая интеллигенция, сплошной массовый продукт – все они знают историю партии, но не знают истории своей страны, знают Суркова, но не знают Тютчева – словом, не просто дикари, а **недочеловеки** (выделено мной – К.К.). Сколько ни говори о будущем поколении, но это поколение будет оголтелым, обездушенным, тёмным» (56). Какая ненависть за незнание Тютчева! Слово «недочеловек» уже прозвучало в истории – за спиной Великая Отечественная война, это слово – синоним истребления. Символ ненависти к собственным согражданам, и даже не каким-нибудь «классовым врагам», а к рядовой интеллигенции, которая ближе других стоит к простому народу. Одновременно в

дневнике детского писателя множество ласковых слов о Солженицыне и других диссидентах. Таков ход мысли либеральной интеллигенции 1960-х.

В Советском Союзе словно обосновались **две цивилизации, не любящие и не понимающие друг друга**, и суть не в экономических отношениях между ними. С.Кара-Мурза: «Дело в сокровенных переживаниях и угрызениях совести, которые редко и, как правило, странным образом вырываются наружу, вроде слез депутата-“кухарки”, которая выкрикивала что-то нечленораздельное в адрес А.Д. Сахарова, оскорбившего, по ее мнению, Армию; эти слезы и искреннее изумление Сахарова представляли собой драму столкновения двух цивилизаций, в политических интересах опошленную прессой» (57). Речь идет об одной из ярких картинок во время работы Съезда народных депутатов СССР, растиражированных СМИ, как пример дремучести и консерватизма большей части «прокоммунистических» депутатов.

Окончательный разлад мы можем видеть в публицистике эпохи перестройки. Сентябрь 1989 года. Академик ВАСХНИЛ, народный депутат СССР В. Тихонов рассуждает о необходимости реформ: «Я убежден, перемены объективно назрели и неизбежны. Но пока эта неизбежность превратится в реальность, нас ждет очень длительный, очень болезненный период... в том числе и голод... Но правительство должно быть более решительным и последовательным в реформах» (58). То есть академик и народный депутат настаивает на массовых страданиях – ради реализации идей, выношенных пресловутыми «шестидесятниками», включая голод. Снова голод?! Так чем же хуже сталинское правительство реформаторов в 1930-х годах? Разве что «решительнее».

Вопрос отчуждения народа от интеллигенции тоже весьма не прост, поскольку образованные люди в глазах основной массы почти неграмотного народа всегда имели непосредственное отношение к власти. До революции власть имущие воспринимали себя как некий круг общения избранных. Дореволюционные «Правила светской жизни и этикета» гласили: «Под словом «свет» подразумевается интеллигентное, привилегированное и благовоспитанное общество в какой-либо более или менее цивилизованной стране» (59). Обратите внимание, в одном ряду стоят определения «интеллигентное» и «привилегированное». Так было при царизме, так, к величайшему негодованию вроде бы сбросивших барское иго крестьян, продолжилось при коммунистах и «образованные» к самозваной элите тесно примыкали. К середине 1920-х в крестьянской массе отчетливо сформировался образ коммуниста – представителя высшей, привилегированной касты. И, как сказали бы сейчас, рейтинг коммунистов в селе, где проживала большая часть населения, начал стремительно падать.

Положение усугублялось еще и тем, что ВКП(б) была и физически мало представлена в деревне: даже в 1925 году партийные ячейки имелись в среднем лишь в одном из 30 сел. Третью коммунистов на селе вообще были присланные из города люди, не знавшие местных условий. Повторные выборы весной 1925 года, как было официально заявлено, показали «резкое падение процента коммунистов и бедноты в Советах и высокую активность избирателей». То есть, голосовали активно и заинтересованно, но не за коммунистов. То, что критические настроения в деревне нарастали

интенсивней, нежели в городе, косвенно подтверждает в своих мемуарах и Н. Мандельштам: «Я утверждаю, что... город в большей степени, чем деревня, находились в состоянии, близком к гипнотическому сну. Нам действительно внушили, что мы вошли в новую эру и нам остается только подчиниться исторической необходимости, которая, кстати, совпадает с мечтами лучших людей и борцов за человеческое счастье» (60). Село, с его повседневными нуждами, мечтательности городских идеалистов не разделяло.

Более того, наличие во власти революционных фанатиков и недобитых интеллигентов отнюдь не отменяло присутствие карьеристов и откровенных прохвостов^[56].

Нарастало ощущение разрыва между коммунистическими верхами и низами. «Большая часть партийной массы осталась вне руководства государственным строительством. Рабочие и крестьяне открыто говорят, что небольшая часть бюрократов овладела хозяйственным и торговым аппаратом страны», – эта высказанная неким Синько в письме М. Калинину мысль, по-видимому, мучила многих и многих искренних сторонников новой власти и рядовых активистов (61).

«В номенклатуре объединены не представители других классов, а выскочки из них. Номенклатура – класс деклассированных...» – отмечает исследователь феномена правящего слоя СССР М. Восленский. Это деклассированные, которых жажда господства и умение ее удовлетворить объединяют в слой, ставший правящим классом общества. Реальная Власть уже сегодня приносит вполне материальные дивиденды для конкретных заинтересованных лиц, в отличие от построения Царства Справедливости для всех. Так рассуждают политиканы сейчас, так рассуждали и

вчера. «Соответственно и социальная психология номенклатуры не пролетарская, а по преимуществу крестьянско-мещанская, точнее – кулацкая, – продолжает М. Восленский. – Неудивительно: ведь именно тот человеческий тип, который в прежних условиях в русской деревне, охватывавшей тогда 80 % населения страны, выбивался в кулаки и лабазники, выходит сейчас в номенклатуру.

Речь идет не об идеализированном типе кулака как спорого на работу крестьянина, а о прижимистом кулаке-миroeде с мертвой хваткой, со стремлением взнуздать батраков и самому любой ценой выбиться в люди. Выбившись же, он не знает удержу» (62). Имеющая привилегии и доступ к тогдашним материальным благам партийная номенклатура все больше отдалялась народа, с его верой светлое завтра. И ментально все больше приближалась к бывшим правящим слоям – своими повадками, увлечениями, интересами. Харьковский коммунист Козьмин, копии письма которого были разосланы Молотову, Зиновьеву, Ярославскому и Калинин, отмечает: «У ответственных провинции с рядовыми членами партии нет ничего общего, ответственный даже и руки не подает рядовому члену партии. У нас получилась строго замкнутая каста ответственных с преступными наклонностями, окружающая себя бездельниками, лакействующим элементом, из боязни конкуренции слепо подчиняющимся всем глупо преступным действиям...» (63). Ну, я думаю, вы поняли, что речь идет об «ответственных работниках», тех, кому партия особо доверяла и выдвигала на значимые посты.

Пьянство и растраты стали среди новоиспеченных правителей обыденным делом: *«Арбатовцы прожигали свои жизни почему-то на деньги, принадлежавшие государству, обществу и кооперации. И Козлевич против своей воли снова погрузился в пучину*

Уголовного кодекса, в мир главы третьей, назидательно говорящей о должностных преступлениях...

- Сам катайся. Душегуб!

- Почему же душегуб? - чуть не плача, спрашивал Козлевич.

- Душегуб и есть, - отвечали служащие, - под выездную сессию подведешь.

- А вы бы на свои катались! - запальчиво кричал шофер. - На собственные деньги.

При этих словах должностные лица юмористически переглядывались и запирали окна. Катанье в машине на свои деньги казалось им просто глупым».

Коррупция разъедала молодую республику. «Оказывается, люди так страшно любят вино, женщин и вообще развлечения, что вот из-за этого скучного вздора - идут на самые жестокие судебные пытки. Ничего другого, кроме женщин, вина, ресторанов и прочей тоски, эти бедные растратчики не добыли. Но ведь женщин можно достать и бесплатно, - особенно таким молодым и смазливym, - а вино? - Да неужели пойти в Эрмитаж это не большее счастье?», - недоумевает в своих дневниках 1926 года К. Чуковский (64). Нет, не большее. Сам-то Корней Иванович не пил, не курил и придерживался строгого распорядка дня, а потому недооценивал прелесть времяпрепровождения вне музея.

Ситуация мало изменилась с началом политики «большого скачка». Скорее наоборот, на фоне проблем снабжения, действия карточно-распределительной системы и голода во многих регионах стиль жизни местной советской элиты порождал еще более негативные эмоции. И сама она, нахватавшись комчванства, кичилась перед народом своим особым статусом: «Все партийцы на госдолжостях кушают в особой столовой при закрытых дверях с милиционером. На них рабочие возмущены до крайней степени...» -

жаловался в 1931 году В. Молотову анонимный автор из Украины (66). При этом непрерывно происходила диффузия старой интеллигенции и новой бюрократии, тем более что многие высокопоставленные партийцы сами были родом из дореволюционных образованных классов.

Враждебное отношение простых людей к новой правящей касте в полной мере относилось к интеллигенции. По большому счету крестьяне и рабочие (в большинстве своем вчерашние селяне) не видели разницы между белоручками-господами, что в царское время, что в советское. Ставропольские крестьяне описывают в письме на имя М. Калинина быт сельских активистов: «Портфель подмышку и **барин**... (здесь и далее выделено мной – *К.К.*) он жалование получает, наряжается пребюрократично, а уж за жен говорить не приходится, как они их одевают. Настоящая **интеллигенция**, вина наши винники не навозятся. Кто же пьет? Уже не хлеборобы мужики, ясно, что **интеллигенция**. Тут кое-когда и подумаешь, уж не туда ли идет наш продналог? Да им кажется и без продналага хватает, потому что они получают 60-100 рублей, а куда ж им девать» (67).

В первые годы после революции в сознании народа быстро укрепилась мысль, что в Стране Советов все должны быть равны. Ощущение равенства с вышестоящим давало слугам новых господ подсознательное и сознательное чувство презрения, превосходства, снисходительности – в зависимости от сочетания уровней внутренней культуры тех и других. Они видели в интеллигенции вчерашний господствующий класс, который, согласно их представлением о «справедливости», необходимо опустить на низшую ступень, поскольку наступило время Власти Трудящихся. Каков же может быть настрой малограмотных, не имевших никакой

профессии жителей деревни, кто ушел на заработки в город, где и столкнулся с новыми трудностями – с карточной системой, с острейшим жилищным кризисом? И при этом они увидели сами, либо слышали от других о том, как живут власть предержащие, остро ощутили контрасты жизни между простолюдинами и образованной элитой? Ненависть и гнев!

Но ведь современное государство не может жить без класса высокообразованных людей, тем более государство, осуществляющее техническую и культурную революцию. Не доверяя «приспособленцам поневоле», большевики, в числе прочих, поставили перед собой задачу взрастить и собственную образованную элиту, всецело преданную коммунистическим идеалам и режиму. Граждан упорно просвещали. В музеях работают бывшие дворяне, офицеры – учителями, врачи – драматургами. Все оставшееся образованное население привлекалось к делу народного образования. В. Кормер: «Потенциальные купцы и дворяне за неимением возможностей, за отсутствием адекватного поля для приложения своих талантов, поневоле переходят в разряд интеллигентов. Люди с темпераментом коммивояжеров занимаются научной работой, несбывшиеся содержатели притонов выбиваются в академики, несостоявшиеся проповедники пишут статьи в академические журналы. Вообще всякий человек с высшим образованием автоматически зачисляется в интеллигенцию» (68). Надо учиться, надо учить, в том числе и общей культуре, что, волей-неволей, подразумевает Традицию и Преемственность. С другой стороны, леворадикальная интеллигенция продолжает фанатично ненавидеть и презирать своих менее яростных собратьев. Однако вынуждена иметь с ними дело.

Пытаясь взрастить принципиально новое поколение интеллигенции, Советская власть, с одной стороны, придерживалась процесс получения образования наследникам старой интеллигенции, с другой – широко поощряло стремление к обучению (особенно к техническому образованию) у выходцев из нижних классов. Одновременно всячески приветствовалась партийность молодых специалистов. Беспартийность в сочетании с непролетарским происхождением означала политическую неблагонадежность. Того же Льва Николаевича Гумилева в 1930 году не приняли в Герценовский институт из-за его дворянского происхождения, и таких, как он, были многие тысячи.

Представители дореволюционной интеллигенции, те, кто остались в стране, все больше оттеснялись на задний план, исходя из идеологических убеждений новых хозяев жизни (за которыми, вполне допускаю, могла таиться и обычная конкурентная борьба за хорошее место). Часто идеологическим кликушам достаточно было указать на происхождение нежелательного кандидата, чтобы советский чиновник принял решение не в пользу соискателя. Наблюдается резкое снижение самооценки старой интеллигенции. Ее прежнее самомнение уступает место самоуничижению, не замедлившему проявиться в литературных персонажах – например, Кавалеров из «Зависти» Ю. Олеши. Из той же оперы комплексы по поводу происхождения Максудова из «Театрального романа» М. Булгакова. И, конечно же, незабвенный Лоханкин: *«А может быть, так надо, – подумал он, дергаясь от ударов и разглядывая темные, панцирные ногти на ноге Никиты... Васисуалий Андреевич сосредоточенно думал о значении русской интеллигенции и о том, что Галилей тоже потерпел за правду».*

В эпоху написания «Золотого тельца» беспартийный рабочий или служащий имел более

низкую плату и меньше шансов на продвижение, первым увольнялся при сокращениях, последним получал комнату или путевку в санаторий. Социальный лифт для него – образование и вступление в партию. В рамках поставленной партией задачи по созданию красной интеллигенции объявлен призыв молодых партийцев на учебу. Только во время первой пятилетки в вузы поступили 110 тысяч совершеннолетних рабочих-коммунистов и всего около 40 тысяч беспартийных. Стало возможно говорить о появлении некой **советской** интеллигенции, органичной составной части правящей элиты, которая сформировывалась к 1930-м годам – времени становления режима сталинизма.

Если в 1920-х годах партией руководили в основном выходцы из среднего класса, имевшие юридическое или гуманитарное образование, то в 1930-х годах их сменили выходцы из рабочего класса, имевшие по преимуществу техническое образование. Эти партийные выдвиженцы играли ведущую роль в Советском Союзе вплоть до начала 1980-х годов. Еще в 1980 году половина Политбюро состояла из них – Брежнев, Косыгин, Кириленко, Устинов, Громыко, Кунаев, Пельше.

Литература, как и прежде, играла решающую роль в идеологическом воспитании общества. Более того, у нее появилась преданная многомиллионная читательская аудитория новорожденной красной интеллигенции. И власти хорошо понимали идеологическую роль литературы в воспитании необходимых для нее кадров^[57]. Массовыми тиражами выходили книги и журналы, была создана сеть общедоступных библиотек и домов культуры; кроме радости чтения, для рядовых граждан открывались сокровища музеев и театры.

Завсегдатаев засилье плебса шокировало: «В партере – много домработниц... М.А. (Михаил Афанасьевич Булгаков – К.К.) уверял меня, что под креслом у одной женщины был бидон...» (70). Кстати, и сам Булгаков описывал культурное пробуждение масс, вспомним его фельетон «Спектакль в Петушках»: «Вой стоял над Петушками! Стон и скрежет зубовой!», – так это, согласно булгаковскому тексту, железнодорожники не на пьянку, а на спектакль продирались. Да, да, речь о тех самых Петушках, куда четыре десятилетия спустя рвался герой В. Ерофеева, все так же интеллигентно-изумленно изучавшего собственный народ: *«На меня, как и в прошлый раз, глядела десятками глаз, больших, на все готовых, выползающих из орбит – глядела мне в глаза моя Родина, выползшая из орбит, на все готовая, большая...»*

«Культурная революция» доходила до абсурда, например, московским продавцам читали лекции на темы: «Ленин и Сталин в борьбе за партийность в марксистской философии», «Влияние коммунистического манифеста на развитие марксистского движения в России», «Ленин и Сталин о коммунистическом воспитании», «Борьба за единую демократическую Германию» и даже «Низкопоклонство перед Западом в советском литературоведении». Можно смеяться, однако пусть в бюрократической и примитивной форме, но люди узнавали о новых для них понятиях и то, что эти понятия имеют определенную, хотя бы идеологическую ценность. Другое дело, что навязывая казённую обществу, правящий класс мало понимал нараставшую степень отвращения к его риторике, которая, со всеми своими штампами и политическим примитивом, очень быстро становится объектом высмеивания. Венечка Ерофеев просвещает своих коллег-собутельников: *«...когда они узнали, отчего умер Пушкин, я дал им почитать «Соловьинный сад»,*

поэму Александра Блока. Там в центре поэмы, если, конечно, отбросить в сторону все эти благоуханные плечи и незаренные туманы и розовые башни в дымных ризах, там, в центре поэмы лирический персонаж, уволенный с работы за пьянку, блядки и прогулы. Я сказал им: «Очень своевременная книга, – сказал, – вы прочтете ее с большой пользой для себя»^[58]. Примерно на таком доходчивом уровне строилось воспитание на протяжении всех лет Советской власти. Однако оно реально существовало!

Правящий образованный слой полностью разочаровался в народе, когда консервативные народные массы перестали откликаться на их бесконечные призывы то к революции, то к реформации. Особо раздраженными оказались радикальные шестидесятники, еще недавно исполненные самых светлых надежд.

Диссидентка Лариса Богораз так описывает свои ощущения от вида рядовых сограждан: «Москвичи, согнанные из учреждений, толпятся на пути следования почетного гостя, жуют бутерброды, лижут мороженное, покупают на лотках лимонад, зажимая в свободной руке выданный к случаю соответствующий флажок. Помахать флажком в нос проезжающей машине – и скорей разбегаться... Меня буквально трясло от вида этой жующей толпы, этого **народа** (выделено самой Л. Богораз – К.К.). Только что они проголосовали: «поддерживаем и одобряем», и вот машут флажками ЧССР – и никому флажок не жжет руку. Кретины они, что ли? Скоты бесчувственные?» (71) Вся вина сограждан состоит только в том, что они не разделяют возмущение Богораз вводом советских войск в Чехословакию. Тонкий и духовный А. Вознесенский жалуется: «Я не знал народа, его криминогенной сути» (72). Любопытен пассаж Е. Евтушенко, который

цитирует председателя Гостелерадио в брежневскую эпоху С. Лапина: «Да что вы так упоенно повторяете слово «свобода»?.. Сами себе погибель кликаете? Да если дать черни свободу, она рано или поздно начнет топтать тех, кто ей эту свободу дал! И вас в том числе, голубчик. Ваше сладкое слово свобода пахнет кровью»... Неглупый был человек, хотя и реакционер» (73). Важно в данном контексте упоминание слов «чернь» из уст высокопоставленного аппаратчика, и косвенное согласие мемуариста-демократа с озвученным тезисом.

Народ и правящий слой по-разному восприняли как суть «культурной революции», так и ожидаемые от нее результаты. Ошибка образованного сословия, которое просвещало народ, менторствовало и ожидало завышенного результата, привела к обоюдному разочарованию. Виной тому и затертость лозунгов при их очевидной безрезультатности, и кастовое разделение общества вроде бы равных людей, и изменение самой структуры населения – замены крестьянского населения страны на городское (во многом деклассированное, подверженного всем городским порокам при нежелании или неумении перенять городскую культуру). Поэт Д. Самойлов: «... резко поменялся состав народа. Мы еще мало думали о том, какую роль сыграла война в ускорении процесса, который мы именуем урбанизацией.

Уход с исторической сцены народа-мужика стал высоким финалом крестьянской трагедии. Действующее лицо этой трагедии – народ-мужик – в последний раз показал мощную специфику этого духа» (74).

И все же, несмотря на кастовое разделение и доминирование бюрократических тенденций, народ упорно пытался осуществить свою высокую историческую миссию – создания светлого Царства Справедливости. И не его вина, что он постоянно

сталкивался с презрением власть имущих и маниакальным желанием свой народ насильственно переделать.

VI

«Как же мы дошли до жизни такой? Кого винить? Кто довел великий народ и страну до хаоса, сумятицы, неразберихи? Как всегда, виноватых у нас не находят. А виноваты-то мы сами. Сами, все вместе. Весь народ, который темен, необразован, послушен, доверчив», – восклицает кумир миллионов режиссер Э. Рязанов (75). Виноват, дескать, весь «темный народ», а не пушистая и белая интеллигенция – властители дум миллионов, люди, которые определяли идеологию страны: железобетонную официальную и таящуюся под её крылом идеологию оппозиционную.

«Непросвещенными» людьми были Плеханов, Ленин, Троцкий, ну, не знаю, Бухарин, скажем?.. «Дремучим» ли человеком был ли председатель ОГПУ в период написания «Двенадцати стульев» В. Менжинской, сын более сорока лет преподававшего историю в Императорском Пажеском корпусе Рудольфа Менжинского?

«Необразованными» признать Г. Чичерина, А. Луначарского, Л. Красина и других членов советского правительства в 1920-е годы? Безграмотными считать подавлявших отчаянный мятеж кронштадтских моряков в 1921 году писателей А. Фадеева и М. Кольцова? Скорее, дело все-таки в общем настрое этих граждан, единстве их целей, взаимной подзарядке. Что же за люди такие правили нашим государством в 1920-е годы, составляли его элиту, стали биологическими и духовными отцами шестидесятников?

Родной брат знаменосца советской журналистики М. Кольцова, знаменитый карикатурист Б. Ефимов, мельком писал о своих родственниках: «...Сестра моей жены Соня как-то на катке познакомилась с высоким,

дующим молодым человеком, который стал проявлять к ней большое внимание. Вскоре после первого знакомства он заявил Соне о своих серьезных намерениях и, как говорится, предложил ей руку и сердце. Он отрекомендовался сотрудником НКВД, звали его Леонид Черток... За довольно короткое время наша милая скромная Соня преобразилась в самоуверенную светскую даму, она теперь вращалась в обществе высоких чинов НКВД. Молодые супруги получили большую комфортабельную квартиру в огромном жилом доме НКВД на Кузнецком мосту. Мы с женой там бывали, заглаживал туда и старший брат Сони – Борис Волин, в ту пору начальник Главлита» (76).^[59]

Икона 1960-х, поэтесса Белла Ахмадулина вспоминала: «Мое детство не было особо изувечено, хотя тетя Бориса^[60] Рахиль Михайловна, мама Майи Плисецкой, была репрессирована как жена «врага народа»... бабушкин брат Александр Митрофанович числился дружкой Ленина, с которым была знакома и сама бабушка (барышней она разносила прокламации)». И. Эренбург был одноклассником Н. Бухарина. Нарком вооружения и видный хозяйственник Б. Ванников и Л. Берия вместе учились в Бакинском техническом училище и были друзьями в юношестве. Единый круг общения, учебы и родства. К примеру, Л. Каменев был женат на сестре Л. Троцкого, Ольге Давыдовне, и такое родство, разумеется, обязывало; дочь И. Сталина Светлана вышла замуж за сына А. Жданова, а дочка Е. Фурцевой, тоже Светлана, за сына члена Политбюро Ф. Козлова; писатель В. Каверин женат был на сестре Ю. Тынянова – Лидочке, а сам Тынянов на сестре Каверина – Елене Александровне. Работали друг у друга, например, писатель-сказочник Е. Шварц работал секретарем у К. Чуковского, как и позже популярный ныне политобозреватель В. Познер секретарствовал у С.

Маршака, близкого друга Корнея Ивановича. Внук – Д. Чуковский – был женат на А. Дмитриевой, знаменитой теннисистке, телеведущей спортивных программ. Она же сестра популярного в эпоху перестройки телеведущего В. Молчанова. Они, в свою очередь, дети известного советского композитора К. Молчанова. Старший сын Е. Катаева (то есть Евгения Петрова – соавтора Ильфа) стал известным кинооператором («Семнадцать мгновений весны», «Три тополя на Плющихе», «Мы, нижеподписавшиеся»). Младший – композитор («Стою на полустаночке» пела В. Толкунова). Таковы типичные представители московской элиты – образованной и свободомыслящей. Единый круг общения, общие источники информации, взаимные интриги в водовороте столичной жизни и совместные тревоги бурной эпохи... Еще в 1935 году Н. Бассехес, журналист популярной эстонской газеты «Пяэвалехт», специализирующийся на репортажах из СССР, отметил в одной из корреспонденций, что советская аристократия превратилась в «наследственное сословие» (77).

И даже приближенные к светилам в качестве услуги тоже имели шансы попасть в тесный круг избранных. Так, Алексей Аджубей, прославившийся в эпоху Хрущева в роли почти наследного принца, был сыном известной портнихи Нины Матвеевны Гупало, обшивавшей московский бомонд. Сказывался первоначальный демократизм советского строя. И т. д., и т. п. Дело доходило и до людей нетрадиционных талантов, вроде провидца Николая Николаевича Бадмаева, родственника знаменитого в начале XX века мистика Петра Бадмаева. Чернокнижник Николай Бадмаев пользовался большим весом при Ежове, так что свою собственную «распутинщину» красные королевичи тоже имели.

Есть в воспоминаниях поэта Владислава Ходасевича строки, где Ольга Давидовна Каменева рассказывает ему о младшем Каменеве, подростке-сыне по прозвищу Лютик: «Знаете, он у нас иногда присутствует на самых важных совещаниях, и приходится только удивляться, до какой степени он знает людей! Иногда сидит, слушает молча, а потом, когда все уйдут, вдруг возьмет да и скажет: “Папочка, мамочка, вы не верьте товарищу такому-то. Это он все только притворяется и вам льстит, а я знаю, что в душе он буржуй и предатель рабочего класса”. Сперва мы, разумеется, не обращали внимания на его слова, но когда раза два выяснилось, что он прав был относительно старых, как будто самых испытанных коммунистов, – признаться, мы стали к нему прислушиваться. И теперь обо всех, с кем приходится иметь дело, мы спрашиваем мнение Лютика. “Вот те на! – думаю я. – Значит, работает человек в партии много лет, сидит в тюрьмах, может быть, отбывает каторгу, может быть, рискует жизнью, а потом, когда партия приходит наконец к власти, проницательный мальчишка, чуть ли не озаренный свыше, этаким домашний оракул, объявляет его „предателем рабочего класса“ – и мальчишке этому верят» (78). Прочувствовав внутреннее устройство нового государства, Ходасевич поспешил эмигрировать.

Следует напомнить (сейчас эта история подзабыта), что любимец семьи Каменевых в свое время получил от героя Гражданской войны, позже стойкого противника Сталина (за что он превознесен сегодня «демократической» прессой) Федора Раскольниковца милый подарок – матросскую курточку, матросскую шапочку, полосатую тельняшку и даже башмаки одного мальчика. Это были вещи с царской яхты «Межень», ходившей по Волге и Каме. «Именно на этой яхте летом 1918 года, может быть, даже в день убийства царевича Алексея, командир Красной большевистской флотилии

Федор Раскольников вместе со своей возлюбленной и помощницей, поэтессой Ларисой Рейснер, нарядили Лютика, четырнадцатилетнего сына большевика Каменева, в матросский костюм, найденный в гардеробах яхты» (79).

Вещи убитого мальчика пришлось сыну наркома впору, но вот дальнейшие радости жизни золотой молодежи сыграли с Лютиком, он же Александр Львович Каменев, злую шутку. Попойки, пользование положением, молодые актрисы... Размах гулянок был такой, что при попустительстве Сталина на театральной сцене появилась пьеса «Сын Наркома», в которой выведен Лютик Каменев.

Жена Лютика, знаменитая актриса того времени Галина Кравченко, вспоминала о буднях жизни молодой элитной семьи: «Вышла я замуж в июне двадцать девятого года... Сначала – сказочная жизнь. Сказочная, – еще раз повторяет восхитительное слово Г. Кравченко, и продолжает. – Квартира Каменевых была на Манежной площади напротив Кремля. Раньше они в самом Кремле жили, но там стало тесно. Тут, на Манежной, шесть комнат. Квартира на одну сторону. Над нами Анна Ильинична, сестра Ленина. Противная. У нас собиралась молодежь, шумела. Анна Ильинична всегда присылала прислугу, требуя, чтобы мы потише себя вели. Народ приходил разный, в основном артистический... У нас в доме родилась идея фильма “Веселые ребята”. Однажды, на Новый год, было сто четырнадцать человек. Приходил Эйзенштейн, Лев Борисович обожал его. Устраивались просмотры новых советских и зарубежных картин. Устраивали тир прямо в доме. Из духовой домашней винтовки в потолок стреляли...» (81) Напоминаю – это время величайших лишений, напряжения сил народа, а порою и страшного голода, а здесь гусарская стрельба в потолок, по квартире сестры Ленина, противной такой, а та

присылает прислугу... О развлечениях «золотой молодежи» знала не только прислуга, знал весь круг общения, в конечном итоге, множество людей.

Да и «взрослые» вожди не были примером скромности. И. Сталин, А. Микоян и другие большевики с удовольствием расположились на дачах нефтепромышленника Зубалова, на заводах которого они в начале XX века они устраивали стачки и вели подпольные революционные кружки: «На даче у А.И. Микояна до сего дня сохранилось все в том виде, в каком бросили дом эмигрировавшие хозяева. На веранде мраморная собака – любимица хозяина; в доме – мраморные статуи, вывезенные в свое время из Италии; на стенах – старинные французские гобелены; в окнах нижних комнат – разноцветные витражи» (81). Л. Троцкий поселился во дворце князя Юсупова – Архангельском, а позже не побрезговал вывезти из Архангельского двадцать подвод, груженных картинами старых мастеров, знаменитым юсуповским фарфором, мебелью и гобеленами XVII века. Зиновьев, возглавляя Петроград, также жил в роскоши. Тухачевский и близкие к нему офицеры позволяли себе вызывать на дачи военные оркестры для частных концертов.

Не отставали от столичных звезд и республиканские царьки. После перевода столицы Украины из Харькова в Киев С. Косиор, П. Любченко, В. Чубарь, Г. Петровский сразу въехали в приготовленные для них роскошные особняки. «Ремонт же в резиденции Постышева закончить не успели. Эта вилла, расположенная в Липках, напротив Мариинского парка, совсем рядом с нашим домом, до революции принадлежала крупному сахарозаводчику Зайцеву. Построенная в стиле барокко, изящная, воздушной легкости, она представлялась мне, пожалуй, уж слишком роскошной для пролетарского вождя. Впрочем, и другие особняки республиканского

руководства ей не уступали», – вспоминает очевидец (82). Другой пример, Иона Якир: «Он тоже имел прекрасный особняк в Липках, и я часто видел, как он проезжал мимо наших окон в открытом голубом “бьюике” в сопровождении интересной рыжеволосой дамы» (83). Вот тебе и особняк на Липках, и «бьюик». А интересная дама – это, случайно, не супруга ли Ионы Якира – Сара Лазаревна, по прозвищу «Якирша»? Сара Лазаревна была дочерью богатого торговца-оптовика, который владел магазинами готового платья в Одессе и Киеве. Во время Гражданской войны она многим запомнилась тем, что рядом с ней всегда находились двое сопровождающих, которые собирали ценности из домов зажиточных горожан, крупных землевладельцев и кулаков. Все это добро чемоданами отвозилось в Одессу, в отчий дом. А сам Якир отличился в репрессиях против донских казаков, где даже придумал установить процент уничтожения мужского населения. На наследнице сей славной семейки – Ирине Якир – был женат любимец советской интеллигенции, бард Юлий Ким. Отсюда мостик к интервью правозащитницы Аллы Гербер с Юлием Кимом на тему «Кто такие шестидесятники», процитированному в первых главах этой книги, и к диссиденту Петру Якиру, и собутыльнику Венедикту Ерофееву.

Кроме Якира-старшего, еще один любитель прокатиться с ветерком был начальник личной охраны Сталина Паукер. Когда он катил по Москве в своём открытом автомобиле, непрерывно сигналив особым клаксоном, милиционеры перекрывали движение и застыли навтыжку. «Виновник переполоха, преисполненный сознанием важности своей персоны, пытался придать своей незначительной физиономии суровое выражение и грозно таращил глаза» (84). А вот среди творческой интеллигенции столицы он был известен как меценат и театрал, а значит – всегда

желанный гость. Короче, образ жизни высшей номенклатуры во многом повторял худшие примеры дореволюционного порядка, а интеллигенция во многом ему подыгрывала, будучи соучастницей процесса, склоняясь перед новой властью, роднясь с нею.

Однако нельзя понимать функции высшей номенклатуры, как исключительно обворовывание народа. И таковыми злодеями они себя не ощущали. Просто они стали новым правящим классом. Привилегии, бесплатная кормежка, почести полагались им **по рангу**, месту, которое они занимали. В условиях острой нехватки образованных кадров и огромной сложности географического, национального и хозяйственного строения страны, однопартийная система подчиняла весь госаппарат **единым** критериям дисциплины и действовала почти автоматически. Молотов в разговоре с писателем Феликсом Чуевым вспоминает о своем материальном обеспечении:

– Вам оклад платили или вы были на государственном обеспечении?

– Оклад.

– А сколько?

– Я не знаю. Никогда не интересовался. Практически неограниченно. По потребности... После войны, кроме того, это уже инициатива Сталина, ввели так называемые пакеты. В закрытом пакете присылались деньги, очень большие деньги – военным и партийным руководителям... Размеры были не только чрезмерны, а неправильны. Это я не только не отрицаю – не имею права и возразить (85).

Светлана Аллилуева, дочь Сталина, походя описывает семейную сценку: «Когда я уходила, отец отозвал меня в сторону, и дал мне деньги. Он стал делать так в последние годы, после реформы 1947 года, отменившей бесплатное содержание семей Политбюро. До тех пор я существовала вообще без

денег, если не считать университетскую стипендию» (86). Иначе говоря, не только вожди, но и члены их семей находились до 1947 года на содержании государства, задуманного, мы помним, как воплощение «царства справедливости». Но ведь и раньше простые люди многое знали и видели, и стиль новых небожителей вызывал у них недоуменные вопросы. М. Пришвин описывает свой разговор с рядовым егерем в охотничьем хозяйстве: «Мы шли в темноте, в сапоге у меня был гвоздь... Сели покурить.

– Вот, – сказал Алексей, – мы с вами разговариваем и незаметно, а когда я один так в темноте иду, то часто думаю про себя разное такое. Вот, когда шел я с рыбы, думал про автомобиль. Был Мерелиз, англичанин, пусть он, скажем, нагребил деньги, пусть будет по-ихнему, да ведь они его собственные, пусть незаконные, да его, и он может ехать на автомобиле. А почему же Троцкий государственную вещь, автомобиль, а употребляет для охоты на уток. Для автомобиля нужен бензин – деньги народные, нужен шофер – деньги народные, почему считается, что Мерелиз едет на деньги награбленные, а на какие деньги едет Троцкий?» (87). Там же: «Слышал от А., что Семашко живет всюю, как все, и даже валоводится с актрисами: вот и конец революционного гнева и подвига! Все достигнуто, живи, пожинай и блаженствуй. Скоро, наверно, эти фигуры ожиревших большевиков вытравят из жизни все хорошее, даже воспоминания о святых революционерах (интеллигентах), а, с другой стороны, поднимут старые головы ненавистники социализма» (88). По сути дела, так и произошло. Нужно было только подождать, когда уйдет из жизни поколение, делавшее революцию, что и произошло естественным способом в 1970-е годы (конечно, ранее – массовые потери в результате репрессий и войны), и даже иллюзия «социальной справедливости» развеялась.

Но то случится позже. А пока «железные наркомы» революционной закваски еще рабы идеи – и по собственному выбору, и по принуждению одновременно. Те, кто исправно выполнял предназначения свыше, заслуживали похвалы и поощрения. Тех, кто не хотел или не мог безоговорочно служить режиму, следовало смести с пути. И они о своей функции имели такое же бескомпромиссное представление. А значит – на взгляд сталинского государства – **заслуженно** пользовались теми привилегиями и благами, которые для них предусматривали сталинский кодекс и «табель о рангах». Но пользовались лишь до тех пор, пока имели расположение «хозяина», который мог в любой момент лишить их всего. В том числе и жизни.

Государство чествовало новую имперскую элиту. Для партноменклатуры строились особые дома, например, правительственный «Дом на набережной» в Москве, воздвигнутый на Берсеневской набережной возле Большого Каменного моста в 1928–1931 годах по проекту архитектора Б. Иофана^[61]. Кстати, если мы внимательно присмотримся к тексту М. Булгакова, а именно – обратим внимание на место проживания председателя акустической комиссии Семплиярова – то обнаружим, что обиталище ретивого администратора находится *«в доме у Каменного моста»*. Так что, скорее всего, речь идет о «Доме на набережной», который в те годы стал одним из самых знаменитых сооружений Москвы, и Семплияров (ездивший на «персональной» машине) вполне мог быть его обитателем. При этом в 27 главе автор особо отмечает, что Семплияров человек *«интеллигентный и культурный»*.

Любопытно оценить качество отдыха партийной элиты, которое не уступало европейским стандартам. Летом 1928 года народные комиссары Микоян и

Молотов на отдыхе. Анастас Иванович описывает в мемуарах: «Мы с Молотовым ездим верхом, играем в теннис, в кегельбан, катаемся на лодке, стреляем, словом, отдыхаем прекрасно» (89). Большевики, буржуазно играющие в теннис и сбивающие кегли – это эстетично и очень отличается от их публичного образа аскетичных борцов за всеобщее равенство в косоворотках и френчах.

Не забывали о личных удобствах даже во время кровавой Великой Отечественной войны. Референт В. Молотова описывает комнату отдыха наркома, обращая внимание на различные детали: «Убранство комнаты отдыха состояло из тахты, на которой можно было вздремнуть, и круглого столика. На нем постоянно стояли ваза с цветами, южные фрукты и тарелочка с очищенными грецкими орехами – любимым лакомством Молотова. Свежие фрукты несколько раз в неделю доставляли специальными самолетами с Кавказа и из Средней Азии, причем не только в мирное время, но и в дни войны» (90). Стоит отметить, что во время голодной ленинградской блокады партийный руководитель «города на Неве» товарищ Жданов тоже вкушал доставленные с Большой Земли свежие продукты. Хотя случалась и польза от кулинарных пристрастий вождей. Так, Сталин очень любил бананы. После войны он предложил импортировать бананы для некоторых больших городов Советского Союза. Поделился, наконец. Тоже, своего рода, забота о простом народе.

Светлана Сталина описывает, как во время войны во время одной из редких встреч с отцом он спросил ее о житье в городе Куйбышеве, куда было временно эвакуировано правительство:

– Ну, как, ты там подружилась с кем-нибудь из куйбышевцев?

– Нет, там организовали специальную школу из эвакуированных детей...

Сталин быстро взглянул на нее:

– Как? Специальную школу? Ах, вы, каста проклятая! Ишь, правительство, москвичи приехали, школу им отдельную подавай.

И Светлана далее продолжает: «Он был прав – приехала каста, приехала столичная верхушка в город, наполовину выселенный, чтобы разместить все эти семьи, привыкшие к комфортабельной жизни и “теснившиеся” здесь, в скромных провинциальных квартирках...» (91).

Но поздно вопить о касте, она уже успела возникнуть, ее появление ранее благословлено самим вождем, и теперь, конечно, она жила по своим кастовым законам. Как гласит «теория элит»: «После того, как элитой устанавливаются эффективные механизмы действия системы, эрзац-элита начинает активно этим пользоваться, всегда и во всем ставя во главу угла личные интересы» (92).

М. Восленский в середине 1970-х так оценивал численный состав правящего в Стране Советов слоя: «Политическое господство класса номенклатуры осуществляет в СССР группа примерно в 250 000 человек – одна тысячная доля населения страны... Свыше 30 000 человек составляют руководители предприятий промышленности, строительства, транспорта, связи, сельского хозяйства, свыше 150 000 – руководители научных учреждений и учебных заведений. Это доводит число номенклатурных работников до цифры порядка 750 000... Возьмем за основу прочно вошедшее в обиход понятие статистической семьи из 4 человек: муж, жена и двое детей... Помножим 750 000 на 4, получаем три миллиона. Класс этот, включая чад и домочадцев, составляет менее полутора процента населения страны» (93). По сути, эти люди и составляли хребет системы. И важным дефектом такой системы была

закономерное стремление номенклатуры к превращению в сословную бюрократическую касту, к образованию кланов, приобретающих все большую силу. В рамках Советского государства это противоречие не было разрешено, и номенклатура-элита, в конце концов, совершила «революцию сверху», упразднив Советское государство и приняв активное участие в разделе номинально общенародной собственности.

Но вернемся в пятидесятые. Практика всяческих льгот продолжилась и после смерти Сталина. Писательница Л. Васильева: «Моя семья оказалась в сфере спецжизни. Вспоминается: было два главных спецузла – ЦК КПСС и Совет Министров. Привилегии: конверты с деньгами – прибавкой к зарплате; спецпитание – кремлевский распределитель продуктов; поликлиника на улице Сивцев Вражек и больница на улице Грановского. Позднее открылись корпуса больницы в Кунцеве, расположенной в живописном лесу на окраине Москвы. Правительственные и околоправительственные дачи позволили кремлевским семьям по будням и праздникам дышать чистым воздухом. Спецателье Кремля было в Малом Черкасском переулке. В разных частях страны, в Подмосковье и на известных курортах, строились и вводились в строй дачи, санатории и дома отдыха специального кремлевского назначения. Контингент спецлюдей увеличивался... Спецпитание появлялось в нашей семье каждый месяц в виде маленького блокнотика, состоявшего из талонов на все дни этого месяца. Один талон соответствовал одному кремлевскому обеду – на него имел право мой отец. Мне запомнилась цифра – 8000 рублей, такова была месячная стоимость блокнотика. За обедом следовало ехать к знаменитому Дому на набережной – распределитель располагался во дворе этого дома. Ехать, разумеется, предполагалось на служебной машине владельца блокнотика – и это

поощрялось, потому что не бросались в глаза картонные коробки с продуктами или судки...» (94)

Разоблачение льгот, как нарушение важнейшего нравственного принципа справедливости, сыграло значительную роль в делегитимизации советского строя. Некоторые мемуаристы, относящиеся к бывшей прослойке номенклатуры, по-моему, так и не поняли, в чем разрушительная для страны суть их образа жизни и обижаются: разве то льготы были, так – мелочь. По сравнению с нашими временами партийные чиновники почти аскеты. «Об этом (о льготах номенклатуры – К.К.) пишут, по-видимому, по заказу или люди, у которых слишком примитивные взгляды на жизнь, поэтому обычные служебные дачи кажутся им дворцами, а установленные нормы обслуживания – нарушением нравственности и законов... Мне приходилось по роду службы бывать на многих из этих дач, и, скажу откровенно, они не производили на меня особого впечатления. Наоборот, некоторые из них были небольшими и неудобными по своей планировке и интерьеру...», – сетует бывший начальник кремлевской охраны М. Докучаев. И тут же: «Служебные дачи расположены в подмосковных лесных массивах, вдалеке от промышленных предприятий, что создает хорошие условия для укрепления здоровья и отдыха» (95). По сравнению с нынешними богатеями куцые привилегии советской элиты кажутся смешными, но процитированные сентенции обнаруживают полное непонимание социалистического (точнее, крестьянского) принципа социальной справедливости.

Это неравенство чувствовали все, и не просто чувствовали, но видели и делали свои выводы. Н. Мандельштам: «В нашу эпоху ненависть к привилегированным особенно обострилась, потому что даже кусок хлеба всегда бывал привилегией. По крайней мере десять лет из первых сорока мы

пользовались карточками, и даже на хлеб не было никакой уравниловки – одни не получали ничего, другие мало, а третьи с излишком... Всех разделили по категориям, и каждый голодает или ест по своему рангу. Ему выдается ровно столько, сколько он заслуживает...» А один молодой физик – это было после войны – поразил свою тещу: он ел бифштекс, полученный в распределителе теста, и похваливал: «Вкусно и особенно приятно, потому что у других этого нет»... Люди гордились литерами своих пайков, прав и привилегий и скрывали получки от низших категорий» (96).

Популярная актриса Л. Смирнова: «В ту пору я еще наивно верила в справедливость, хотя понимала, что мы создали отнюдь не справедливое общество, о котором трубят все газеты, радио и телевидение, что у нас давно образовался привилегированный класс, отгородившийся от всех высокими заборами. Правящая элита пользовалась всеми благами жизни, включая и медицинские учреждения. В спецбольницах каждого обслуживала сестра, а то и две, а не одна на пятьдесят, как в «Склифосовском» (97). И не будем забывать, что самоубийственная практика разделения равных граждан на неравные возможности продолжалась до самых последних лет Советской власти – тем же самым «великим демократом» Горбачевым, который, невзирая на грандиозный кризис, не смог себе отказать в строительстве новых резиденций. Реставрация его резиденции в Ново-Огареве обошлась государству более чем в 5 млн. рублей, дача в Форосе стоила 5,5 млн. рублей, в Абхазии – 13 млн. рублей. И это в разгар экономического кризиса, вызванного непродуманной перестройкой.

Таков был возвращенный десятилетиями селективной работы тип ясновельможного партийца. «Щербакова я не случайно назвала **вельможей** (выделено мной –

К.К.). Самый физический тип деятеля у нас менялся, – описывает становление советской аристократии Н. Мандельштам. – До середины двадцатых годов мы всюду сталкивались с бывшими подпольщиками, окруженными соответствующей молодежью. Резкие, уверенные в своей непререкаемой правоте, они охотно пускались в споры, агитировали, часто бывали грубы. От них припахивало семинаристом и Писаревым. Постепенно их сменили круглоголовые блондины в вышитых украинских рубашках, эдакие рубахи-парни с развязно-веселой и вполне искусственной манерой, шуточками и нарочитой грубоватостью. На их место пришли молчаливые дипломаты – каждое слово на вес золота, ничего лишнего не сказать, никаких обещаний не дать, но произвести впечатление человека с весом и влиянием. Одним из первых сановников этого типа был Щербаков» (98).

Слово «вельможа» все чаще встречается в определении и стиля жизни высокопоставленных партийцев. К. Чуковский: «Работники ЦК и другие **вельможи** построили для самих себя рай, на народ – наплевать. Народ на больничных койках, на голодном пайке, в грязи, без нужных лекарств, во власти грубых нянь, затурканных сестер, а для чинуш и их жен сверх-питание, сверх-лечение, сверх-учтивость, величайший комфорт» (99). Ну, и замашки у них вырабатывались соответствующие, «вельможные»: хочу казнь, хочу милую. Развернутая цитата из воспоминаний советского разведчика А. Орлова: «В 1933 году, будучи с семьёй в Австрии, я узнал, что туда прибыл Енукидзе **в сопровождении свиты** (здесь и далее выделено мной – К.К.) личных врачей и секретарей. Пробыв некоторое время в медицинской клинике профессора фон Нордена, он отправился отдыхать в Земмеринг, где занял **ряд номеров в лучшей гостинице**. Как-то приехав в Вену, мы с женой встретили его возле

советского полпредства. Он пригласил нас провести выходной день вместе. По дороге в Земмеринг мы проезжали небольшой городок, где как раз шумела сельская ярмарка со своей традиционной каруселью и прочими нехитрыми развлечениями. Мы остановили машину и стали свидетелями живописной сцены. Невдалеке от дороги плясала группа терских казаков в национальной кавказской одежде. Завидев наш лимузин, казаки подошли поближе и, явно надеясь на щедрое вознаграждение, исполнили кавказский танец, ловко жонглируя при этом острыми кинжалами. Казаки не подозревали, что они развлекают члена советского правительства, вдобавок настоящего кавказца. Когда танец кончился, один из них приблизился к нашей машине и, с трудом переводя дыхание, протянул свою кавказскую папаху. Енукидзе вынул бумажник и положил в неё стошиллинговую купюру. Потом он жестом пригласил всех танцоров подойти поближе и каждого оделил такой же суммой, составлявшей по тем временам пятнадцать долларов – **очень немалые деньги...** Я подсчитал в уме, что деньги, розданные Енукидзе в течение одной минуты, семье советского колхозника пришлось бы **зарабатывать целый год**» (100).

Разумеется, дамы советской элиты тоже вносили свою лепту в культуру новоявленной аристократии, не забывая попутно сплетничать и покусывать друг друга. Например, жена А. Микояна утверждала, что супруга В. Молотова – Полина Жемчужина – вела себя по-барски, не проявляла скромности, роскошно одевалась и дочь, дескать, воспитывала тоже по-барски. Или вот Светлана Сталина (Аллилуева) вспоминает об атмосфере в доме А. Жданова, где она жила, выйдя замуж за Юрия Жданова: «Я столкнулась с сочетанием показной, формальной, ханжеской “партийности” с самым махровым “бабским” мещанством – сундуки, полные

“добра”, безвкусная обстановка сплошь из вазочек, салфеточек, копеечных натюрмортов на стенах. Царствовала в доме вдова, Зинаида Александровна Жданова, воплощавшая в себе как раз это соединение “партийного” ханжества с мещанским невежеством» (101). «По мере старения элиты, жены высоких советских руководителей ко времени вступления своих мужей в должности в Кремле или на Старой площади, были уже довольно пожилого возраста и такие черты характера, как забывчивость, раздражительность и капризность, а у некоторых придирчивость и стяжательство, не являлись редкостью. По этой причине порой они забывали, куда клали свои вещи, драгоценности, и обвиняли в воровстве сестер-хозяек. Позднее они их находили, но извиняться и не помышляли», – свидетельствует очевидец нравов партийного зазеркалья (102).

Кремлевские дети высшего ранга уже в пятидесятых разъезжали на государственных автомобилях, прикрепленных к их матерям. Любимым занятием «мажоров» стало катание по Рублево-Успенскому шоссе, как правило, с шофером, который молча наблюдал жизнь высших слоев своего народного общества и, наверняка, имел на сей счет нелicenseприятное мнение.

Они заезжали на дачи друг к другу, обсуждали, чей дом лучше, чей парк более живописный, у кого больше земли, у кого лучше покрытие на бильярдном столе.

Сначала самой модной специальностью среди кремлевской молодежи была романтическая профессия летчика. «Добрых три десятилетия удерживается летная традиция в кремлевских семьях. Василий Сталин, Леонид Хрущев, Степан, Владимир, Алексей и Вано Микояны, Юрий, первый сын Леонида Хрущева, Сергей, сын Буденного, Юрий, сын Кагановича, – связали жизни с авиацией... Характеры их, несмотря на

разницу в возрастах, весьма похожи: лихие, неоглядные, не ведающие преград во вседозволенности, и некоторые – пьяницы. В шестидесятых традиция гаснет. Не могу назвать, кроме Савицкой, ни одного космонавта из кремлевской семьи», – пишет Лариса Васильева, сама выросшая в этой среде (103).

Зато появляется новая традиция – веяние времени, радость полуоткрытого «железного занавеса» – кремлевские дети устремляются в область международных связей: Московский институт международных отношений, Институт внешней торговли. Сын и дочь Брежнева, сын Андропова и прочие «мажоры» становятся сотрудниками Министерства иностранных дел, Внешторга, ООН, ЮНЕСКО – лишь бы попасть за границу. Именно эта элитная молодежь стала катализатором многих изменений хрущевского и постхрущевского периода.

К слову сказать, сам Никита Сергеевич, в отличие от многих кремлевских небожителей, славился своим демократизмом («не-вельможностью») и имел поначалу значительную популярность среди простых людей. На отдыхе любил плавать с надувным кругом – далеко в море не заплывал, а барражировал вдоль берега.

Иногда приплывал на городской пляж Ялты и запросто беседовал с отдыхающими.

Однако его простоватость очень скоро стала предметом насмешек молодых и продвинутых шестидесятников. Плебейство лидера противопоставлялось уточенной публике, а в широком смысле – культуре интеллигенции. В. Аксенов описывает знаменитое посещение Хрущевым выставки в Манеже: «Плебей, поперек себя шире, с багровой круглой физиономией, с походкой откормленного гуся, был в безобразном настроении. Прошло меньше двух месяцев с того дня, когда плебей просрал

противостояние президенту, заокеанскому денди, известному в его стране под именем Камелот. У ентого буржуя нервишки-то оказались покрепче, чем у большевичка. Да и разведка у него оказалась похитрее: убедительно показала, что у нас еще кишка тонка шельмовать мирового жандарма...» (104) Ну, и так далее, в пошлом частушечном стиле... Так ли так прост был «плебей» Н. Хрущев, как его описывает эталонный шестидесятник В. Аксенов, – еще вопрос. Хотя можно предположить, что нарочитая простоватость Хрущева помогла выжить ему среди схваток кремлевской элиты, где его всерьез никто не воспринимал, и выработать особый взгляд на мир, позволивший запустить в стране стремительный процесс десталинизации.

VII

Десталинизация. Как много в этом звуке... Писатель, диссидент А. Зиновьев вспоминал: «Один из пунктов моего мальчишеского антисталинизма заключался в следующем риторическом вопросе: кто дал Сталину право распоряжаться мною?! На него следовательно на Лубянке дал мне такой риторический ответ: народ! Я рассмеялся: мол, я такой демагогией сыт по горло. “Ты, сопляк, – спокойно сказал следователь, – не знаешь еще, что такое народ и что такое власть. И запомни: выражение “враг народа” – не пустышка для пропаганды и не абстрактное обобщение, а точное и содержательное понятие, отражающее сущность эпохи. Тот, кто восстает против Сталина, восстает против народа. Он есть враг народа. Мы, органы, лишь выражаем волю народа. Врагов народа мы караем. Ты еще молод и глуп. Таких мы воспитываем. И защищаем от гнева народа”. Потом, скрываясь от органов и скитаясь по стране, я присматривался к власти и к народу. Мне достаточно было всего несколько месяцев, чтобы понять, как прав был тот мой первый следователь» (105).

В какой-то мере в народном сознании Сталин и стал тем воплощением доброго, справедливого царя, которого оно жаждало. Жизнь красных бояр, массы партработников, бюрократов, кружащейся вокруг них старой и новой интеллигенции народ видел и оценивал во всей ее неприглядности. Но высший идеал Справедливости, ради которой и творилась Революция, Гражданская война, существовал как бы объективно, персонифицируясь в образе Сталина-Царя, наследника Ленина-Христа.

Массовое сознание наделяло его высшими добродетелями, представляло носителем строгой справедливости, неустанным радетелем за народное благо. Десятки свидетельств описывают восторженное отношение народа к вождю, имевшее мощное подтверждение в реальных достижениях молодой Советской республики. К. Симонов вспоминал о своей юности: «К этому кругу “хорошего”, связанного в нашей жизни с тогдашними представлениями о Сталине, относилась еще и Арктика – спасение экипажа “Челюскина”, высадка на Северном полюсе Папанина с товарищами, перелеты Чкалова и Громова. За организацией всего этого, за всеми этими смелыми предприятиями в нашем ощущении стоял Сталин, к нему приезжали, ему докладывали об этом» (106). Эффективными пиар-акциями оставались демонстрации трудящихся и парады на Красной площади, когда вожди выходили к своему народу общаться воочию. Рапорты подтверждали мудрость правящей верхушки и преданность народа, исполняющего предначертания. Парады – силу строя и мощь страны, которой можно гордиться. Осознание принадлежности к великой и могучей стране, с одной стороны, рождало чувство гордости за нее и за себя, с другой, – скрашивало многие трудности бытия.

Главное отличие человека традиционного, крестьянского общества, – способность придавать священный смысл многим обыденным, с точки зрения либерального общества, вещам. Вследствие этого огромное значение здесь приобретает авторитет, не подвергаемый проверке рациональными аргументами. Но в западном «гражданском обществе» проверка и разрушение авторитетов являются не только нормой, но и важнейшим принципом бытия, вытекающим из самого **понятия свободы и демократии**. Культ личности Сталина является полнейшей антитезой принципов

«гражданского общества». Хотя, по сути, именно Сталин насаждал антиреволюционные порядки правильного государственного устройства.

Царь должен быть строгим (крестьянину это было понятно, поскольку и свое хозяйство крепкий мужик держал в кулаке), но справедливым. «Справедливым», то есть наказующим «несправедливость» – подлое предательство «боярами» всенародного дела борьбы за «волю». И, конечно, царь щедрый к праведным. Рабочих и колхозников, ставивших рекорды, «красный царь», как и должно, осыпал медалями, орденами, звездами Героев, депутатскими мандатами. Талантливых конструкторов и академиков одарял именьями. Писателям и поэтам, прославлявшим «великую сталинскую эпоху», разрешал поездки за границу. Композиторам и артистам, сочинявшим и исполнявшим любимые мелодии вождя, он даровал автомобили, совершенно недоступные рядовым гражданам...

Широко известна переписка Сталина со многими гражданами Страны Советов, из чего агитпроп не делал секрета, наоборот, многие письма получали широкую огласку. Простота, доступность – вот, что отличало новоявленного народного царя в глазах народа, и делало его царем идеальным^[62]. К. Симонов: «В своих выступлениях Сталин был безапелляционен, но прост. С людьми – мы это иногда видели в кинохронике – держался просто. Одевался просто, одинаково. В нем не чувствовалось ничего показного, никаких внешних претензий на величие или избранность. И это соответствовало нашим представлениям о том, каким должен быть человек, стоящий во главе партии» (107). Даже скептически настроенные сограждане не могли не отдать должное его популярности. Е. Булгакова рассказывает о появлении Сталина в театре: «Это всё усиливалось и, наконец, превратилось в грандиозные

овации, причем Правительство аплодировало сцене, сцена – по адресу Правительства, а публика – и туда, и сюда.

Сегодня я была днем в дирекции Большого, а потом в одной из мастерских и мне рассказывали, что было что-то необыкновенное в смысле подъема, что какая-то старушка, увидев Сталина, стала креститься и приговаривать: вот увидела все-таки! что люди вставали ногами на кресла!» (108).

Огромный запас популярности помог ему сохранить авторитет и власть даже после таких ударов, когда другие режимы рассыпались в прах. Люди просто верили его слову. Видный дипломат И. Майский вспоминал: «Однажды, сам не знаю, откуда взялась у меня смелость, когда зашел разговор о начале войны, я решился спросить: “Товарищ Сталин, в своем знаменитом выступлении на Красной площади седьмого ноября сорок первого года вы сказали, что враг не так силен, как это кажется некоторым перепуганным интеллигентам и что пройдет несколько месяцев, полгода, может быть, годик и Германия лопнет под тяжестью своих преступлений. Какие были тогда для этого основания?” У Сталина было, видимо, в этот момент благодушное настроение и он, как-то иронически на меня посмотрев, не спеша, ответил: “А никаких оснований, товарищ Майский, у меня не было. Просто надо было как-то подбодрить людей”» (109).

Реальный портрет Сталина, безусловно, не лик святого или аскета – про экспроприированные зубаловские дачи мы уже рассказывали. И мелкое тщеславие ему было не чуждо^[63]. Развлечения в узком кругу тоже нехитрые. Так, 20 декабря 1936 года, в годовщину основания ВЧК-ОГПУ-НКВД Сталин устроил для руководителей этого ведомства небольшой банкет, пригласив на него Ежова, Фриновского, Паукера и

нескольких других чекистов. Когда присутствующие основательно выпили, Паукер показал Сталину импровизированное представление. Поддерживаемый под руки двумя коллегами, игравшими роль тюремных охранников, Паукер изображал Зиновьева, которого ведут в подвал расстреливать. “Зиновьев” беспомощно висел на плечах “охранников” и, волоча ноги, жалобно скулил, испуганно поводя глазами. Посередине комнаты “Зиновьев” упал на колени и, обхватив руками сапог одного из “охранников”, в ужасе завопил: “Пожалуйста... ради Бога, товарищ... вызовите Иосифа Виссарионовича!” Сталин следил за ходом представления, заливаясь смехом» (110). Ну, чем ни Иван Грозный в кругу веселящихся опричников. Именно такую картину подспудно хочет пробудить в нашем воображении автор этих воспоминаний, беглый чекист А. Орлов. Будем считать, что пробудил. Карла Паукера, к слову сказать, тоже скоро расстреляли – еще одна невинная жертва сталинских репрессий?

Но то веселье за кадром, и, кстати, далеко не факт, что данный эпизод вообще имел место, а в реальных отношениях с народом (для которых Он и прочие Они, олицетворяли «высшую Справедливость») вожди неукоснительно соблюдали правила игры. Руководители того времени позволяли себе грубость лишь по отношению к руководящему составу, а с простыми людьми члены Политбюро, как правило, вели себя подчеркнуто вежливо. Тоже строгие, но справедливые. Легендарный разведчик П. Судоплатов: «Берия, грубый и жестокий в общении с подчиненными, мог быть внимательным, учтивым и оказывать каждодневную поддержку людям, занятым важной работой... и у него была уникальная способность внушать людям как чувство страха, так и воодушевлять на работу...

Мне кажется, что он взял эти качества у Сталина – жесткий контроль, исключительно высокая

требовательность и вместе с тем умение создать атмосферу уверенности у руководителя, что в случае успешного выполнения поставленной задачи поддержка ему обеспечена» (111).

Переводчик Сталина и Молотова В. Бережков: «Со своими непосредственными подчиненными Молотов был ровен, холодно вежлив, почти никогда не повышал голоса и не употреблял нецензурных слов, что было тогда обычным в кругу “вождей”. Но он порой мог так отчитать какого-нибудь молодого дипломата, неспособного толково доложить о положении в стране своего пребывания, что тот терял сознание. И тогда Молотов, обрызгав беднягу холодной водой из графина, вызывал охрану, чтобы вынести его в секретариат, где мы общими усилиями приводили его в чувство. Впрочем, обычно этим все и ограничивалось, и виновник, проведя несколько тревожных дней в Москве, возвращался на свой пост, а в дальнейшем нередко получал и повышение по службе» (112). В случае чего, страх мог навести и сам добрый усатый вождь, чему примеров немало. Но к вождям можно было подойти на улице (даже к Сталину до покушения на Кирова), записаться на личный прием, пожаловаться на начальство.

Власть постоянно подчеркивала свою близость к простым людям, потому что уже один раз разнузданный с помощью и при настоянии образованных классов народ преизрядно напугал элиту своим свирепым нравом и видом. Его поспешили загнать обратно в стойло, и, по большому счету, это было в интересах страны. Н. Бердяев: «Русские историки объясняют деспотический характер русского государства этой необходимостью оформления огромной, необъятной русской равнины... В известном смысле это продолжает быть верным и для советского коммунистического государства, где интересы народа приносятся в жертву мощи и организованности советского государства»

(113). В. Кожин: «Если ставить вопрос о своеобразии России, то кратко можно ответить так: «чрезмерная» властность ее государства всецело соответствовала «чрезмерной» вольности ее народа» (114).

Наученная горьким опытом элита, соблюдая необходимые формы приличия (якобы народовластия), все же сочла за лучшее воли народу больше не давать. Ему оставили право на публичный восторг и упование на мудрость вождей, которые в ответ постоянно оказывали простонародью ритуальные знаки внимания. Ему же – народу – оставили традиционную для черного люда ненависть к боярам. Ненависть, которую периодически нужно удовлетворять.

VIII

Мы описали чаяния народа после Октябрьской революции и как они разнились с реальной жизнью новой элиты, как постепенно вырастала стена народного несогласия между народом и «народной» властью на местах. Одним из самых главных моментов, разделивших народ и его правителей, стала насильственная коллективизация крестьянства – основного населения тогдашнего СССР. Вопросы переустройства деревни, без решения которых была невозможна индустриализация страны, начали занимать первое место в планах власти.

Интеллигенция в целом была на стороне государства^[64]. Только образованный класс в полной мере мог оценить те перспективные преимущества, которые давала индустриализация для развития страны, но их не могли понять обычные крестьяне, на которых стихийным бедствием обрушилась новая затея большевиков.

Главным идеологом проекта социалистического переустройства деревни в индустриальном обществе был ученый из Германии видный сионист А. Руппин, руководивший всей программой создания коммун-киббуцев в Палестине. Он подробно описал эту программу в книге, вышедшей в Лондоне в 1926 году, и имевшей широкий резонанс. Однако его проект был разработан для колонистов-горожан и вполне соответствовал их культурным стереотипам. Ведь обобществление в киббуцах доводилось до высшей степени – никакой частной собственности в них не допускалось, и даже обедать дома членам кооператива было запрещено. Но горожане-колонисты не собирались ни создавать крестьянское подворье, ни заводить

скота. Как могла эта модель заработать в крестьянской России?

Поначалу, видимо, руководство Наркомзема и Аграрного института было под большим впечатлением от экономических показателей этого типа кооперативов и без особых сомнений использовало готовую модель киббуцев. Вопрос о ее соответствии культурным особенностям русской деревни вообще не вставал. Насколько известно из воспоминаний В. Молотова, И. Сталин, посетив вместе с ним несколько возникших еще ранее колхозов, весьма воодушевился увиденным. Но в тех «старых» колхозах не обобществлялся домашний скот, а каждой семье был оставлен большой приусадебный участок.

Еще раз следует отметить, что вырвавшаяся было из-под власти государства народная стихия не вызвала симпатии у городской интеллигенции; народ, как объект социальной инженерии, являлся естественным «полем» для экспериментов новой элиты. Идеализации условный Каратаев более не подлежал. Его новому закабалению придавался в глазах интеллигенции смысл как экономический (а где еще взять ресурсы для грандиозных свершений), так и воспитательный (иначе с этой «недисциплинированной толпой» нельзя).

СМИ, публицистика, литература в эру первых пятилеток были склонны иронически отзываться о селе с его консервативным бытом. Традиционная культура видится горожанам как странно-архаичная, неуместная на фоне тракторов, самолетов, телефонов и других символов современности. Когда К. Чуковский вспоминает о дружеских посиделках с коллегами-писателями, меня поражает ход их рассуждений: «Федин начал с очень живописного описания, как он семилетним мальчиком ехал с отцом в какой-то Саратовской глуши, и все встречные крестьяне кланялись ему в пояс. А Леонов стал говорить, что

шестидесятники преувеличили страдания народные, и что народу вовсе не так плохо жилось при крепостном праве»^[65] (115). Знаменитые советские писатели вспоминают симпатичные им картинки угнетения народа. Символична в этом отрывке перекличка шестидесятников XIX и XX веков.

Коллективизация обернулась грандиозными катаклизмами. Тот тип колхоза, в который пытались втиснуть крестьян, был несовместим с их представлениями о хорошей или даже нормальной жизни. Не имея возможности и желания сопротивляться активно, основная масса крестьян ответила пассивным протестом: уходом из села, сокращением пахоты, убоем скота. Но в ряде мест случились и вооруженные восстания (с января до середины марта 1930 года на территории СССР без Украины было зарегистрировано 1678 бунтов), росло число убийств в конфликтах между сторонниками и противниками колхозов. Будущий личный переводчик Сталина В. Бережков вспоминает, как у них дома в Киеве обитал жилец, человек посланный партией проводить коллективизацию в украинских селах:

«...Проснувшись ночью, я нередко слышал его глубокие вздохи, а порой и страшные стоны. Как-то мама спросила его об этом. Он помялся, помолчал, но все же ответил:

– У меня очень трудная работа. Организовывать колхозы не так-то просто. Но как дисциплинированный партиец я должен выполнить данное мне поручение. Вам трудно себе представить, что такое раскулачивание и выселение людей из родных мест. Это страшная человеческая трагедия. Ведь не только мужчины-кулаки, но их жены, старики-родители и дети – все должны быть депортированы. Видели бы вы, как прощаются они со своим домом, со своей скотиной, с

землей, за которую воевали в Гражданской войне на нашей стороне! От такой картины не то, что закричишь в ночи – готов убежать, куда глаза глядят» (117).

Эта драматическая картина и вспоминается нам, когда мы почти хором говорим, что на земле во время коллективизации извели «настоящего хозяина»: отсюда, мол, все наши беды! Однако, внимание, в 1930–1931 годах на спецпоселения («кулацкая ссылка») было выслано 381 026 семей общей численностью 1 803 392 человека. Это – всего 1,5 % крестьянских дворов, а официально к кулакам причислялось около 3 % дворов. Считать, что «справные работники» составляли чуть больше одной сотой нашего крестьянства – нелепость. Далее. Современная пропаганда уверяет нас, что кулаки в основном были высланы на север и работали на лесоповале. В действительности первая по численности местность спецпоселений – Казахстан, вторая – Новосибирская область. На работах было занято 354 тысяч человек, из них на лесоразработках всего около 12 тысяч (118). Основная масса трудилась все же в сельском хозяйстве. Но вот сколько напуганных крестьян разбежалось по стране и спасались в городах?! Это учету не подлежит.

Просвещенная элита с гадливым равнодушием взирала на народные страдания. В качестве исключения пытаются привести позицию тех партийцев во главе с Н. Бухариным, которая вошла в историю партии под названием «правый уклон». Благодаря конфликту со Сталиным, Бухарин незаслуженно приобрел, пользуясь модным сегодня словечком, «имидж» защитника крестьянства, чуть ли ни почвенника-патриота.

В действительности же интеллигентный покровитель Мандельштама Н. Бухарин, выступая против «сплошной коллективизации», стремился защищать вовсе не крестьянство, а исключительно большевистскую власть, для которой крестьянское

сопротивление представляло смертельную опасность. В своем вызвавшем резкие нападки Сталина докладе «Политическое завещание Ленина» (21 января 1929 года), он заявил, что «если возникнут серьезные классовые разногласия между рабочим классом и крестьянством, “гибель Советской республики неизбежна”... По мере развертывания коллективизации Бухарин убедился в том, что ни о какой гибели Советской республики не может идти речи, и уже 19 февраля 1930 года в опубликованной в “Правде” статье громогласно заявил, что с кулаками “нужно разговаривать языком свинца”» (119).

Нанося фатальный удар по крестьянству, государство обрекало себя на недоедание. В те времена в СССР промышленным хлебопечением обеспечивалось только 40 % городского населения. А крестьянство, составлявшее тогда большинство населения нашей страны, обеспечивало себя хлебом самостоятельно, за счет домашней выпечки. И лишь после страшного голода 1932–1933 годов, укрепления власти колхозов на селе и создания мощной пищевой промышленности в середине 1930-х страна постепенно начала выпутываться из последствий амбициозного и плохо продуманного эксперимента по приживлению практики киббуцев.

Наши крестьяне, в конце концов, нашли сочувствие, но не от собственной интеллигенции, которая молчала за редким исключением, но среди интеллектуалов Запада. И каких интеллектуалов! «...Миллионы скорбящих и страждущих крестьян, у которых отобрали их землю, опустошаемую и разоряемую безумным экспериментом по парализующему коллективизму; голод, от которого ежегодно гибнут миллионы людей... Это рассказ о безымянных страданиях и невообразимых лишениях, которые терпит народ с населением в сто шестьдесят миллионов человек... Грубое и

безжалостное управление горсткой террористов, состоящей по большей части из евреев...» (120).

Кто же так трогательно сопереживает нашему народу!? Это главный гитлеровский пропагандист, доктор Йозеф Геббельс на ежегодном партийном съезде НСДАП 13 сентября 1935 года распинается, а вы могли подумать, что душевные слова произносит кто-либо из современных либеральных политиков. Разве что еврейская тематика выдает одного из руководителей нацистов, которые вполне искренне считали коммунизм и Октябрьскую революцию порождением еврейского духа. И подпевал из местных до сих пор у них хватает. Но тут можно и нужно не соглашаться. Евреи им революцию делали!? А кто виноват в импотенции Центральной Рады, пьяном разложении тыла Деникина, анархическом восстании украинца Махно. Сами себе Рабиновичи.

IX

Значение революции в русской и еврейской истории невозможно уяснить без понимания того, что в Российской империи к 1917 году проживало около половины евреев всего мира – более 7 миллионов человек. Судьба этого громадного людского массива не могла не интересоваться как ту часть их соплеменников, что жили в за пределами Российского государства, так и политиком внутри страны, тем более, что евреи играли важную роль в торговле, науке, культурной жизни Империи. Более того, в дореволюционной России эта нация впервые за две тысячи лет обрела некое территориальное единство – черту оседлости. Её часто изображают завуалированной формой большого концлагеря, но вот советский поэт еврейского происхождения Д. Самойлов пишет, что «черта был не хуже других границ, не хуже, например, нынешних твердых границ. Но, – дальше горько замечает Самойлов, – евреи, триста лет имея границу, ничего существенного не создали: ни литературы, ни музыки, ни живописи, ни философии. Ничего» (121). Категоричное утверждение; скорее всего, автор хотел подчеркнуть, что созданное еврейским народом имело значение для мировой культуры, преломляясь сквозь культуру русскую (польскую, немецкую, французскую и т. д.).

Связь русской интеллигенции с еврейством рассматривается обычно в контексте ее юдофилии и значительной доли интеллигентов еврейского происхождения. Последнее обстоятельство особенно охотно обсуждается представителями националистического лагеря, приводящими соответствующие статистические выкладки.

Либеральные авторы обычно отвечают в том смысле, что для порядочного (интеллигентного) человека национальность никакой роли не играет вовсе, для него нет ни эллина, ни иудея.

Для понимания судеб российских евреев в революционную эпоху в высшей степени целесообразно ознакомиться с одним поистине уникальным человеческим документом – изобилующей выразительнейшими деталями «Автобиографией» видного филолога Моисея Альтмана (1896–1986 гг.), написанной им в конце 1970-х годов. Каковы же были основы провинциальной еврейской жизни? «...Русские у евреев не считались “людьми”. Русских мальчиков и девушек прозывали “шейгец” и “шиксе”, т. е. “нечистью”. Напомню, что и Белая Церковь у евреев называлась “мерзкая тьма”. Для русских была даже особая номенклатура: он не ел, а жрал, не пил, а впивался, не спал, а дрыхал, даже не умирал, а издыхал» (122). Д. Самойлов: «Еврейские интеллигенты шли в Россию с понятием об обязанностях перед культурой. Функционеры шли с ощущением прав, с требованием прав, реванша. Им меньше всего было жаль культуры, к которой они не принадлежали» (123).

Следует со всей определенностью сказать, что среди евреев-большевиков было очень мало таких, которые к 1917 году глубоко приобщились русской культуре и быту. Многие евреи, которые становились фанатичными большевиками, начинали свою жизнь в собственно еврейской среде, где все русское воспринималось как чуждое или даже прямо враждебное.

При этом социализм «русским» не был, и молодые еврейские интеллектуалы им отчаянно увлекались. Круг ближайших соратников-большевиков Ленина во многом состоял из евреев – Свердлов, Троцкий, Зиновьев, Каменев. Но и основатель меньшевизма Лев Мартов

носил при рождении фамилию Цедербаум. И анархист Дмитрий Богров, застреливший премьера Столыпина, и сотни других революционеров происходили из еврейской среды. Современный классик стихотворной миниатюры Игорь Губерман с удовольствием описывает историю своей семьи: «Петр Рутенберг, один из основателей государства Израиль, а до этого эсер-боевик, был моим двоюродным дедушкой. Именно он организовал исторический разговор с попом Гапоном, которого потом повесили рабочие и о котором написано в каждом учебнике по истории». Повесили Гапона не рабочие, а эсеры-боевики во главе – правда! – с инженером Петром Рутенбергом. Наверное, если поскрести, почти в каждой еврейской семье дедушка-революционер да найдется.

Революционная еврейская молодежь немало содействовала созданию атмосферы террора, царившей в Российской империи в последние годы правления династии Романовых: бесконечные убийства и взрывы. «Харьковские губернские ведомости», 14 декабря 1906 года, статья «Взрыв бомбы на вокзале»: «Вчера в 9 часов 22 минуты вечера на харьковском вокзале раздался оглушительный и ужасный по своей разрушительной силе взрыв бомбы. К счастью, в это время не было ни приходящих, ни отходящих поездов, и публики было сравнительно немного. Тем не менее, пострадавших зарегистрировано 11 человек. Из них 2 убитых, 2 тяжело ранены, 7 легко ранены... Небольшой коридорчик, ведущий к входной двери, весь загроможден обломками, под которыми найдена оторванная выше колена левая человеческая нога, обутая в простой высокий поношенный сапог. Круглый вестибюль вокзала уложен мельчайшими осколками стекол, обрывками человеческого мяса и внутренностей. На висящей посреди его люстре повис большой лоскут окровавленной сорочки... Перед

взрывом в зале 1 класса сидел некто г. Григоросуло. Когда раздался взрыв, он упал на колени, а в это время сидевший с ним за одним столом молодой человек, еврей, вскочил со стула и, махая шапкой, несколько раз прокричал “ура”, убегая из зала. Но г. Григоросуло погнался за ним и схватил за горло. Еврей вынул из кармана какую-то коробку, завернутую в газетную бумагу, что было в бумаге, может быть бомба, но бросить ее не удалось, т. к. г. Григоросуло смял его под себя и продолжал сжимать ему горло, пока не подбежали два солдата и дежурный офицер» (125). Обратите внимание на будничны́й тон корреспонденции. Кровавая вакханалия стала, по сути, обыденностью.

События, нараставшие в стране, вызвали у еврейской молодежи энтузиазм не только видения светлого будущего, но и эмансипации всей еврейской нации, испытывавшей в царской России целый ряд ограничений. Член партии эсеров с конца 1900-х Берта Бабина десятилетия спустя рассуждает о причинах, заставивших эсеров, в конце концов, поддержать Советскую власть: «...был какой-то гипноз слова “социализм”... Была ликвидирована частная собственность на средства производства, было бесплатное образование, медицинское обслуживание. И, конечно, национальный вопрос – до революции с нами, евреями, дело обстояло очень плохо. Мы во всем этом видели поступательное движение к социализму» (126). Национальный вопрос, как видим, тесно увязывается с социализмом.

В любом сборнике стихотворений Маргариты Алигер можно найти строки:

*«Мы много плачем, слишком много стонем,
Но наш народ, огонь прошедший, чист.
Недаром слово “жид” всегда синоним*

С святым, великим словом коммунист».

Не осталось участие еврейства в русской революции без внимания и другого поэта эпохи. Сергей Есенин в своей поэме «Страна негодяев» описывает диалог между комиссаром из охраны железнодорожных линий Чекистовым и неким Замарашкиным. Чекистов говорит:

*А народ ваш сидит, бездельник,
И не хочет себе ж помочь.
Нет бездарней и лицемерней,
Чем ваш русский равнинный мужик!
Коль живет он в Рязанской губернии,
Так о Тульской не хочет тужить.
То ли дело Европа?..
Я ругаюсь и буду упорно
Проклинать вас хоть тысячи лет,
Потому что...
Потому что хочу в уборную,
А уборных в России нет.
Станный и смешной вы народ!
Жили весь век свой нищими
И строили храмы Божие...
Да я б их давным-давно
Перестроил в места отхожие.*

Замарашкин отвечает ему:

*Слушай, Чекистов!..
С каких это пор
Ты стал иностранец?
Я знаю, что ты
Настоящий жид.
Фамилия твоя Лейбман,*

*И черт с тобой, что ты жил
За границей...
Всё равно в Могилеве твой дом...*

Добавлю, что в первые годы Советской власти еврей-чекисты часто брали себе русские имена, чтобы не вызывать излишнего раздражения как среди информаторов, так и своих коллег.

Любопытны наблюдения Н. Мандельштам за средой подобных Чекистовых. В своих «Воспоминаниях» она описывает систему мышления новой элиты и в качестве примера приводит одну из звезд эпохи – Ларису Рейснер, ту самую, которая вместе с Раскольниковым одарила Лютика Каменева одеждой расстрелянного цесаревича Алексея: «Во время нашей встречи Лариса (Рейснер) обрушила на О.М. кучу рассказов, и в них сквозила та же легкость, с какой Блюмкин хватался за револьвер, и его же пристрастие к внешним эффектам... С теми, кто вздыхал в подушку, сетуя на свою беспомощность, ей было не по пути – **в ее среде процветал культ силы** (выделено мной – К. К.). Спокон века право использовать силу мотивируется пользой народа – надо успокоить народ, надо накормить народ, надо оградить его от всех бед... Подобной аргументацией Лариса пренебрегала и даже слово “народ” из своего словаря исключила. В этом ей тоже чудились старые **интеллигентские предрассудки**. Все острие ее гнева и разоблачительного пафоса было направлено против интеллигенции. Бердяев напрасно думает, что интеллигенцию уничтожил народ, ради которого она когда-то пошла по жертвенному пути. **Интеллигенция сама уничтожила себя**, выжигая в себе, как Лариса, все, что не совмещалось с культом силы» (127). Золотые слова. Но ту же Ларису Рейснер восторженно воспевают один из ведущих журналистов

страны, будущая жертва сталинских репрессий М. Кольцов: «Пружина, заложенная в жизнь этой счастливо одаренной женщины, разворачивалась просторно и красиво... Красочен, смел стремительный путь Рейснер-человека»^[66]. А как же насчет мальчишеского костюмчика расстрелянного цесаревича?..

Л. Троцкий писал во время «Дела Бейлиса» о балтийских немцах, игравших в государственном аппарате Российской империи примерно ту же роль, что позже сыграли еврейские кадры в первые годы Советской власти: «Воспитанные в раболепстве пред царизмом и в презрении к населению, играют, как известно, большую роль в русской дипломатии, прокуратуре и жандармерии, давая наиболее чистую культуру бюрократического нигилизма, – без национальности, без хотя бы связей с коренным населением, без совести и без чести» (128). По иронии судьбы слова Лейбы Бронштейна можно напрямую отнести и к роли евреев сразу после Октябрьской революции.

Евреи были востребованы как специалисты, люди, в основном, из грамотных слоев общества, люди, многие из которых еще с дооктябрьских времен были связаны с революционерами. И дело здесь даже не в особой большевистской юдофилии – новая власть нуждалась в квалифицированных кадрах. Сразу призвать на службу дореволюционную интеллигенцию власть не могла и по причинам идеологическим, и в виду колоссальных физических утрат, которые понесли образованные классы во время Гражданской войны; а для формирования образованного лояльного общества необходимо время.

В качестве иллюстрации сложившего положения дел можно привести фрагмент добытого ОГПУ доклада полковника немецкого генштаба Хальма о состоянии

РККА в 1927 году, где особо отмечалось: «Старые офицеры царской армии были малозаметны. Евреи находятся большей частью в высших штабах на таких должностях, которые требуют наибольшей интеллигентности» (129). На одной только Украине 26 % всех студентов были евреи, а в медицинских вузах их насчитывалось более 44 %. Уже в 1970-е годы еврейский публицист, диссидент Борис Хазанов так суммировал ситуацию: «Заменив вакуум, образовавшийся после исчезновения русской интеллигенции, евреи сами стали этой интеллигенцией» (130). Само собой разумеется, что сталинские репрессии, направленные против якобинской элиты, напрямую коснулись и этого слоя.

Обычному полуграмотному крестьянину для изучения книжной премудрости нужно было отрывать время от своей работы или от отдыха – он учился в состоянии постоянной физической усталости. Кроме того, переезд в город означал отрыв от семьи, привычной общины, образа жизни. Проблем, характерных для большинства жителей страны с крепкими крестьянскими корнями, у жителей еврейских местечек западной части СССР почти не было, и – одновременно – новая власть в них объективно нуждалась.

Начался великий исход еврейской молодежи за черту оседлости. «Через разломанную черту оседлости хлынули многочисленные жители украинско-белорусского местечка, пошедшие только начальную степень ассимиляции, с чуть усвоенными идеями, с путаницей в мозгах, с национальной привычкой к догматизму... Тут были и еврейские интеллигенты, или тот материал, из которого вырабатывались интеллигенты, и многотысячные отряды красных комиссаров, партийных функционеров, ожесточенных, поднятых волной, одуренных властью» (Д. Самойлов)

(131). И кстати, далеко не все евреи, давно обитавшие в городах, были от такого исхода в восторге. Лев Копелев вспоминает, как его мама в Киеве без конца объясняла знакомым, «что есть, мол, евреи, и есть жида; еврейский народ имеет великую культуру и много страдал; Христос, Карл Маркс, поэт Надсон, доктор Лазарев (лучший детский врач Киева), певица Иза Кремер и наша семья – это евреи, а вот те, кто суетятся на базаре, на черной бирже или комиссарствуют в Чека, – это жида...» (132)

До революции в мелких городах и местечках западной России жило 2 200 тысяч евреев, а в 1926 году их там осталось только 800 тысяч. Спрашивается, на чьи же места переселились в города почти 1,5 миллиона евреев? Прежде всего, буквально – в какие дома, квартиры они вселились? Ведь жилищного строительства тогда практически не велось, и получить квартиру можно было только «удалив» или «уплотнив» ее хозяина. В Москве евреи составляли в 1920 году – 2,2 % населения, в 1923 – 5,6 % и в 1926 – 6,5 % (133). Понятно, что подобные изменения национального состава городского населения не остались незамеченными их предыдущими обитателями, выселенными в коммунальные «Вороньи слободки»:

– *Да вы поймите, – кипятилась Варвара, поднося к носу камергера газетный лист. – Вот статья. Видите? “Среди торосов и айсбергов”.*

– *Айсберги! – говорил Митрич насмешливо. – Это мы понять можем. Десять лет как жизни нет. Все Айсберги, Вайсберги, Айзенберги, всякие там Рабиновичи.*

«Десять лет» – более чем прозрачный намек на резко выросшую после 1917 года роль евреев в жизни общества. Из обстоятельного справочника «Население Москвы», составленного демографом Морицем Яковлевичем Выдро, можно узнать, что если в 1912 году в Москве проживали 6,4 тысячи евреев, то всего через

два десятилетия, в 1933 году, – 241,7 тысячи, то есть почти в сорок раз больше! Причем население Москвы в целом выросло за эти двадцать лет всего только в два с небольшим раза (с 1 миллиона 618 тысяч до 3 миллионов 663 тысяч). Имеет смысл сослаться и на сочинение знаменитого еврейского идеолога – В. Жаботинского. На рубеже 1920-1930-х годов он привел в своей статье «Антисемитизм в Советской России» следующие сведения: «В Москве до 200 000 евреев, все пришлый элемент. А возьмите... телефонную книжку и посмотрите, сколько в ней Певзнеров, Левиных, Рабиновичей... Телефон – это свидетельство: или достатка, или хорошего служебного положения». Вроде смешно, но, по наблюдению одного из историков, в телефонной книге за 1929 год все Ивановы имели 209 личных телефонов, а Рабиновичи 89 (134). Тоже социология – чем не телефонный опрос? Можно говорить о том, что все люди равны, но куда девать расовые, национальные, религиозные отличия, душевную совместимость, желание помочь, любовь и уважение. Ничего этого не наблюдалось в отношениях между коренными москвичами и приехавшими в Москву евреями. Газеты нередко сообщали о фактах насилия в отношении евреев. Писали, например, в 1928 году о том, как некий Белов ворвался в квартиру некоего Бретана и с криком: «Нужно жидов убивать!» – избил ее хозяина, а гражданин Корнеичев налетел на врача Мясницкой больницы Гдалина с криком: «Бей жидов!» – сбил его с ног и нанес удары. Сообщали о том, как братья Филатовы избивали евреев, живших в доме № 37 по Нижнекрасносельской улице (135).

Двусмысленные выходки, к радости публики, позволяли себе и знаменитости. На одном из диспутов Маяковский упорно называл известного литературного критика Ю. Айхенвальда каким-то Коганом. Тот настойчиво поправлял поэта:

– Уважаемый Владимир Владимирович, я не Коган, я Айхенвальд.

Так повторялось несколько раз. Но Маяковский, как водится, и глазом не повел. Через минуту он снова ткнул пальцем в несчастного критика:

– Этот Коган...

Свидетельствует А. Мариенгоф: «Ю. Айхенвальд нервно встал, сказал так громко, как думается, еще никогда в жизни не говорил:

– С вашего позволения, Владимир Владимирович, я Айхенвальд, а не Коган.

В кафе стало тихо. А Владимир Владимирович, слегка скосив на него холодный тяжелый взгляд, раздавливающий человека, ответил с презрением:

– Все вы... Коганы!» (136)

Общественное мнение приписывало евреям участие во всем происходившем в Стране Советов, что порою вызывало и сатирическую реакцию. Так, в журнале «Чудак» встречаем подборку фотопортретов знаменитостей, о которых ходят слухи, что они якобы евреи: Станиславский (Станиславкер), Демьян Бедный (Ефим Придворов – Хаим Бейгоф), Горький (Горькави, Пешкис) и др. Полно шпилек по поводу бытового антисемитизма в книгах Зощенко, Ильфа, Петрова.

В 1933 году в связи с коллективизацией была введена паспортная система для строгого контроля проживания в городах и учета движения населения. Одновременно евреи выделялись в отдельную национальную группу, хотя у них не было своего государственного образования. Позже велением Сталина таковое оперативно создано – Еврейский автономный округ. Современная версия, как мы помним, гласит, что создание ЕАО где-то у черта на куличках – это еще один штрих к портрету злобного антисемита Сталина. Но так ли обстояли дела в реальности? «Отец отмечал, что образование Еврейской автономной

области с центром Биробиджан было предпринято Сталиным для усиления пограничного режима на Дальнем Востоке путем создания там своего рода заслона, а совсем не как шаг к созданию еврейского государства. Граница в этих местах нередко нарушалась китайскими и белогвардейскими террористическими группами. Идея Сталина заключалась в том, чтобы поставить преграду на их пути в виде поселений, жители которых настроены враждебно к белоэмигрантам, и особенно к казачеству», – уточняет истинную цель создания сего дивного квазигосударственного образования сын Павла Судоплатова, Андрей (137).

Еврейское влияние во времена Сталина в Политбюро было весьма значительным. Из 11 членов Политбюро были: Л. Каганович – еврей; Л. Берия – еврей на 1/2 (его мать была еврейкой); В. Молотов, А. Андреев, К. Ворошилов имели жен евреек; у Г. Маленкова – муж дочери был еврей, у Н. Хрущева – жена сына была еврейкой, да и первый раз родная дочь Сталина – Светлана – была замужем за евреем. Все это закономерный результат диффузии власти с образованными слоями общества, в которых, как уже отмечалось, евреи после революции играли огромную роль.

Кроме того, родственные и дружеские связи тоже способствовали формированию особой партии, в которой этнический фактор имел значительную роль. М. Пришвин в своем дневнике отмечает факт взаимовыручки приезжих евреев: «2 января. Здоровый мороз. Ко мне приезжали Н.И. Замошкин, А.Б. Руднев и Михаил Георгиевич Розанов (Огнев). Между прочим, конечно, поговорили и о еврейском засилии, что это не крупный еврей-делец, к которому мы давно привыкли, мешает нам, а местечковый, что сила их в организации еврейской самопомощи (то, чего нет у русских)» (138).

Действительно, взаимопомощь наблюдалась – по национальному, по родственному признаку, по принципу землячества. Показательна в этом отношении история всей семьи Свердловых.

В своё время (еще в середине XIX века) сестра деда Якова Свердлова, Сруля Свердлова вышла замуж за Фишеля Иегуду, и ее внук Ханох-Енох стал в 1934 году главой НКВД Генрихом Ягодой; он являлся, следовательно, троюродным братом Янкеля (Якова) Свердлова. Как бы подкрепляя семейную связь, Ягода вступил в брак с племянницей Я. Свердлова, Идой – дочерью старшей сестры последнего Сары (Софьи) Свердловой и богатого купца Лейбы (Леонида) Авербаха. А брат Иды, Леопольд Авербах (то есть также племянник Свердлова и двоюродный племянник и, одновременно, шурин – брат жены – Ягоды), стал главой «пролетарских писателей». Высокие посты занимал и младший брат Свердлова, Вениамин.

В 1937–1938 годах все перечисленные родственники Свердлова были репрессированы. Однако «уцелел» его родившийся в 1911 году сын Андрей, который с начала 1930-х годов служил в ОГПУ-НКВД, достиг там звания полковника, и был активным проводником сталинской репрессивной политики. Жена Бухарина Анна Ларина (Лурье; родилась в 1914 году), арестованная в качестве «члена семьи изменника родины», рассказывает, как ее ввели для допроса в кабинет на Лубянке:

– Познакомьтесь, Анна Михайловна, это ваш следователь.

– Как следователь! Это же Андрей Свердлов! – в полном недоумении воскликнула я...» (139). Но близкое знакомство со следователем снисхождения жене врага народа не принесло^[67].

В какой-то момент тотальное кумовство начало вызывать раздражение и просто мешать нормальной

работе государства. В. Молотов вспоминал: «В 1939 году, когда сняли Литвинова, и я пришел на иностранные дела, Сталин сказал мне: “Убери из наркомата евреев”. Слава богу, что сказал! Дело в том, что евреи составляли там абсолютное большинство в руководстве и среди послов. Это, конечно неправильно. Латыши и евреи... И каждый за собой целый хвост тащил» (140). В 1942 году пропорции закончивших физический факультет МГУ (то есть, поступившие еще до войны) 98 % евреи и 2 % русские. Значит ли это, что русские органически не способны к физике?

Сфера искусства не являлась исключением. Право элиты на кумовство касалось и общественных вкусов: Мариенгоф о Зинаиде Райх: «Тогда, по наивности, я еще воображал: для того, чтобы стать знаменитой актрисой, надо иметь талант, страсть к сцене, где-то чему-то учиться... Мейерхольд вздернул свой сиранодебержераковский нос:

– Талант? Ха! Ерунда!

И ткнул себя пальцем в грудь, что означало: “Надо иметь мужем Всеволода Мейерхольда! Вот что надо иметь”». (141). Недаром нравы мейерхольдовского театра запечатлели в своей энциклопедии советской жизни Ильф и Петров. *«...Мы должны будем репетировать, сидя на койках, а на четырех стульях будет сидеть Николай Константинович со своей женой Густой, которая никакого отношения к нашему коллективу не имеет. Может, мы тоже хотим иметь в поездке своих жен!»*, – жалуются сотрудники театра «Колумб», срисованного во многом с театра Мейерхольда. И как раз В. Мейерхольд этническим евреем не был – вопрос в пропитавшем всё бытие элиты кумовстве.

И в целом, вряд ли можно было говорить о массовом антисемитизме до войны, а за само слово «жид» даже подразумевалась жесткая уголовная ответственность

(нет исследований – сколько обмолвившихся на этот счет сгинули в ГУЛАГе и жалеют ли о них либералы?). Мощный импульс серьёзному всплеску антисемитизма дала начавшаяся Великая Отечественная война. Скрытый антисемитизм крестьян, который четко связывал евреев с ужасами Гражданской войны и коллективизации, вырвался на волю, подстрекаемый нацистской пропагандой. Дочь Чуковского, Лидия, отправлялась в эвакуацию с Анной Ахматовой, отметила характерный случай: «5 ноября 41. Я сказала ей, что сегодня, когда шла к ней через воинский вагон, услышала с верхней полки:

– Я бы тех жидов Гитлеру оставил, нехай он их всех в землю закопает живыми!

– Таких надо убивать, – быстро сказала Анна Андреевна» (142). Что взять с того безымянного украинца (если судить по акценту), но показательная реакция всемирно известной поэтессы – **«убивать»!** С этим качеством «гуманной» якобы интеллигенции мы еще не раз столкнемся.

Тысячи евреев во время войны бежали из Киева, Минска, Риги, Ленинграда и Москвы, спасаясь от наступающих немецких войск. Нацисты приходили под лозунгами «освобождения» украинцев и прибалтов от «еврейского господства». Что находило благодатную почву среди националистов и некоторых простых граждан, захватывавших дома, квартиры и прочую собственность евреев.

Евреи подвергались тотальному уничтожению, а потому пытались уйти из опасной зоны всеми правдами и неправдами, что тоже вызвало массовое раздражение оставляемых на милость захватчиков людей. «2.7.1942. Люди бьются на фронтах, убиты, вымерли с голода, уже забирают по городам и селам прямо с улиц и вывозят в Германию молодых женщин и девчат в бардаки, в рабство, на дорожные работы, на рытье рвов,

траншей, – записывал в своем дневнике А. Довженко. – А из Сибири и Казахстана вернутся на Украину хозяевами беглецы, те, которые в начале войны убежали с чемоданами в грузовиках и поездах, спасая свою шкуру...» (143) Здесь слово «евреи» не сказано, но можно почувствовать, что речь идет и о них тоже.

Когда в 1945 году оставшиеся в живых евреи стали возвращаться домой, они увидели, что их имущество находится в чужих руках. Они, естественно, претендовали на него и это вызывало раздражение как-то обустроившихся в оккупации людей.

«Мой отец (генерал П. Судоплатов – *К.К.*) становился невольным свидетелем антиеврейских настроений в советском руководстве.

“Помню, как Хрущев, тогда секретарь Коммунистической партии Украины, – вспоминал отец, – звонил Усману Юсупову, секретарю Коммунистической партии Узбекистана, и жаловался ему, что эвакуированные во время войны в Ташкент и Самарканд евреи “слетаются на Украину как вороны”. В этом разговоре, состоявшемся в 1947 году, он заявил, что у него просто нет места, чтобы принять всех, так как город разрушен, и необходимо остановить этот поток, иначе в Киеве начнутся погромы» (144).

Сегодня много говорится об антисемитской кампании, которая характеризовала последние годы жизни Сталина, хотя и здесь ситуация сложнее, нежели принято изображать. Начатая весной 1947 года борьба с «антипатриотизмом» до последних месяцев 1948 года, то есть почти два года, не имела протиеврейского характера. Только с начала 1949 года в кампании почувствовался острый антисемитский запах. Это легко связать с фактом появлением государства Израиль в мае 1948 года. Израиль создавался при непосредственной поддержке, в том числе и военной, Советского Союза, но очень быстро стал союзником

США. Сталин воспринял такую позицию государственных деятелей Израиля как черную неблагодарность – как к нему лично, так и к стране, которая спасла европейских евреев от полного уничтожения.

Во всяком случае, образ Сталина как оголтелого антисемита явно противоречит общеизвестным фактам. В 1949–1952 годах – то есть вроде бы во время разгула антисемитизма – лауреатами Сталинской премии по литературе стали евреи А. Барто, Б. Брайнина, М. Вольпин, Б. Горбатов, Е. Долматовский, Э. Казакевич, Л. Кассиль, С. Кирсанов (Корчик), П. Маляревский, С. Маршак, Л. Никулин, В. Орлов (Шапиро), М. Поляновский, А. Рыбаков (Аронов), П. Рыжей, Л. Тубельский, А. Халифман, А. Чаковский, Л. Шейнин, А. Штейн, Я. Эльсберг – притом они составляли около трети общего числа удостоенных в эти годы авторов, пишущих на русском языке. Не слишком ли много высоко превознесенных для диктатора-«антисемита»?!

Более того, в 1949–1952 годах лауреатами Сталинской премии в кинематографе стали: Р. Кармен, Л. Луков, Ю. Райзман, А. Роом, Г. Рошаль, А. Столпер, А. Файнциммер, Ф. Эрмлер. В 1949–1952 годах лауреатами также стали артисты Марк Бернес, Ефим Березин (Штепсель), Владимир Зельдин, Марк Прудкин, Фаина Раневская, Марк Рейзен, Лев Свердлин и др. Но кто-то впадал и в немилость, как И. Эренбург: «Что касается меня, то с начала февраля 1949 года меня перестали печатать. Начали вычеркивать мое имя из статей критиков. Эти приметы были хорошо знакомы, и каждую ночь я ждал звонка. Телефон замолк, только близкие друзья справлялись о моем здоровье. Да еще “проверяли”: знакомые поосторожнее звонили из автомата – хотели узнать, не забрали ли меня, а когда я отвечал “слушаю”, клали трубку» (145). Но кто от такого страха был застрахован в годы сталинщины?

– Алоизий? – спросила Маргарита, подходя ближе к окну, – его арестовали вчера. А кто его спрашивает? Как ваша фамилия?

В то же мгновение колени и зад пропали, и слышно было, как стукнула калитка, после чего все пришло в норму.

Однако вряд ли опала И. Эренбурга напрямую связана с его еврейским происхождением. Травили не только «космополитов», но и «литературных критиков», «советских композиторов», «ленинградские журналы» и прочую интеллигентскую братию. Обвинения всей интеллигенции в «беспочвенности», «оторванности от корней» становятся общим местом, лишь подчеркивая в контексте обвинений ее и так очевидную связь с евреями.

Важно также, что после войны и физического истребления своего питательного культурного слоя в западных областях СССР, советские евреи, по выражению Д. Самойлова, «перестали быть нацией» (146). Их культура окончательно стала культурой больших городов, и здоровый «космополитизм» (не в ругательном, а просвещенном смысле слова) это вполне предполагает. Например, раньше мы всегда с гордостью говорили, что Харьков – «город-космополит».

Но стоит ли сегодня во всех пострадавших во время поздне-сталинских кампаний, в том числе и евреях, видеть невинных овечек? Вот, например, сценка исключения из партии недавнего секретаря правления СП «космополита» Л. Субоцкого: «Я заявляю! – обвел он всех зачеркивающим жестом маленькой волевой руки. – И прошу внести это в протокол! Трибуналы революции... трибуналы войны... Я отправил на расстрел больше нечисти, чем сидит сейчас вас в этом зале! Понятно?!» (147) Гордый человек, честь и хвала, только о трибуналах хотелось бы поподробней... И едва ли есть основания провозглашать всех причисленных к

«космополитам» литературных критиков служителями истинного искусства, тот же А. Гурвич изничтожал Андрея Платонова. Другие «космополиты» – Б. Алперс, С. Дрейден, В. Кирпотин, И. Нусинов – в свое время жестоко травили М. Булгакова. С другой стороны, Валентин Катаев утверждал в свое время, будто найдено письмо знаменитого русского писателя Леонида Леонова к Сталину, где Леонов, хлопоча о своей пьесе «Нашествие», заявляет, что он чистокровный русский, между тем как у нас в литературе слишком уж много «космополитов, евреев, южан» (148). Все хороши.

Однако несомненным остается факт, что представители русско-еврейской интеллигенции представляли все эти годы влиятельнейшую прослойку, во многом поддерживавшую либеральную традицию и оказывавшую огромное влияние на культуру всей огромной страны. Достаточно вспомнить такие имена выдающихся писателей и поэтов, как Ю. Тынянов, В. Каверин, М. Светлов, И. Уткин, Э. Багрицкий, Б. Слуцкий, Л. Брик, С. Кирсанов, И. Сельвинский, В. Аксенов, Э. Брагинский, А. Галич, Ю. Левитанский, Н. Коржавин, М. Розовский, А. Рыбаков; режиссеры – Д. Вертов, Г. Козинцев, А. Алов, Э. Рязанов, Г. Волчек, Р. Кармен, В. Мотыль, В. Плучек; актеры – Р. Быков, Л. Броневой, А. Миронов. Здесь что ни имя – то легенда. Как можно измерять влияние на людей, скажем, балерины М. Плисецкой или музыканта А. Макаревича? Но они тоже оставались и остаются обычными людьми, подверженными влиянию семьи, полученного воспитания, устоявшихся стереотипов. И они далеко не всегда объективны.

Государственные кампании против интеллигенции были настолько невежественны, грубы и примитивны, что любой думающий человек не мог согласиться с предлагаемыми государством выводами, а несогласие

предполагало, пусть даже и скрытую, но оппозицию, с которой, казалось бы, навсегда покончил «большой террор». То, что со стороны представлялось в казенных образах «антипатриотизма» или «космополитизма», самими интеллигентами уверенно кодифицировалось в терминах «истины» и «справедливости». Несогласие с государством начало выглядывать из всех щелей – и по факту культурного шока от Европы, впервые увиденной глазами миллионов советских солдат-освободителей; и остаточного действия яда нацистской пропаганды, во многом использовавшей в своей работе действительно болевые точки социалистической действительности; и вступления в большую жизнь поколения детей победителей – молодых людей, жаждавших большей свободы, видевших свой идеал в как минимум революционной романтике 1920-х годов, а то, бывало, заглядывавшихся и на совсем чуждые социализму идеалы и ценности. И, кстати, далеко не все из них видели выход в европейском и либеральном интернационализме.

Советское государство искало возможность выйти из ловушки «национального», которое неминуемо приводило к вопросу о природе «национального» и его носителе – нации. Нации «угнетенные», «революционные», «империалистические» водили хоровод вокруг СССР, но кем же была заселена сама Республика Советов, принципиально отмечающая национальную рознь как фактор бытия? Еще Н. Бухарин в 1935 году на страницах «Известий» сформулировал понятие «героический советский народ». И вот, на радость всем нам, в отечественной культуре появляется особый типаж «советского человека» – прочный сплав характера, культуры, мужества. Однако национальные различия и разный уровень населявших СССР народов были еще слишком велики, чтобы говорить о едиnorodной массе. Подготовленный в 1932 году официальный список «культурно-отсталых» народов содержал 97 национальностей (их представителям, в частности, предоставлялись льготы при поступлении в высшие учебные заведения). В принципе, только меньшинства европейского происхождения (поляки, немцы и др.), а также русские, украинцы, белорусы, евреи, грузины и армяне не категоризировались как «культурно-отсталые». В числе же последних числились и народы Севера, и население, исповедовавшее ислам. Чему, впрочем, имелись объективные основания: например, на всю Киргизию приходилось всего 960 грамотных киргизов.

После кратковременного и вынужденного воззвания к чувству Отечества (в период тяжелой войны с нацистами), к национальным и даже националистическим чувствам русского народа,

государство возвращается к бухаринским идеям о едином «советском народе». На сей раз тезис был уже реально освящен совместными подвигами народов Советского Союза в кровавой борьбе против единого врага. Основой интернационализма советской культуры стала общая для различных народов система классовых, исторических ценностей, с отблеском национального колорита в необходимых случаях. Главным оружием партии и государства в борьбе с пережитками прошлого объявлялся «советский патриотизм», возведенный в ранг государственной политики.

Основным принципом доктрины «советского патриотизма» стало сочетание таких двух компонентов, как любовь к общей Великой Родине и совместное строительство коммунизма. Развернутая аргументация этого тезиса сопровождалась любопытными высказываниями официальных пропагандистов: «Впервые в истории пролетариат обрел настоящее Отечество... возник советский социалистический патриотизм как новое явление, принципиально более высокое, чем патриотизм, проявляющийся на предшествующих ступенях развития общества^[68]... В нашем патриотизме любовь к своему народу и к своей стране сливается безраздельно и полностью с любовью к своему государству, с пламенной преданностью советскому общественно-политическому строю, его основателям и вождям Ленину и Сталину» (149).

Жесткое функционирование официальной концепции советского патриотизма с его бескомпромиссной борьбой против западничества и «иностранщины» приводило к уродливым явлениям в повседневной жизни людей, например, запрещение браков с иностранцами. Под что подводилась соответствующая идеологическая база. 15 и 18 июня 1948 года «Правда» опубликовала письма неких Н.

Макушиной и Н. Головановой, которые, выйдя замуж за граждан Великобритании, решили вернуться на Родину, не вынеся «тягот и лишений заграничной жизни». В частности, Н. Макушина так объясняла свой поступок: «Я не могла дальше выносить все это и решила забрать сына и уехать из Англии. И для меня, и для мужа это расставание было очень тяжелым, но я была счастлива, что возвращаюсь на Родину, а мужу оставалось радоваться только тому, что сын его будет жить в стране, которая дает ему возможность получить образование и жить без хорошо знакомой его отцу тревоги за завтрашний день» (150). Редакция газеты «Правда» получили более 500 откликов на эти откровения, преисполненные в основном верноподданническими мотивами и требованиями оградить людей от попадания в «буржуазное рабство». На основе подобных «просьб общественности» Президиум Верховного Совета СССР принял решение запретить браки советских граждан с иностранцами. В рамках борьбы с иностранщиной охаживалось всё заграничное, вплоть до переименования знаменитой еще в старой России «французской булки» в «городскую булку», популярного ленинградского кафе «Норд» в «Север» и фирменного харьковского лакомства «Делис» в «торт шоколадно-вафельный» (сразу три иностранных слова). Во всем обозначался «наш приоритет».

«Иностранщине» противопоставлялся союз равных народов, обуянных идеей советского патриотизма. В этом одухотворенном коммунизмом союзе все звери были равны, но некоторые все-таки, согласно классику, равнее. А именно – Старший Брат, русский народ, и примыкавший к нему исторически и ментально народ украинский. Белорусский брат как-то терялся на фоне таких многомиллионных гигантов. Главнейшие должности в национальных республиках занимали русские или украинцы. При Л. Брежнев – число славян

в составе ЦК составило 86 %. Что, однако, не мешало России оставаться самой бесправной из республик в системе Советского Союза, не имевшей ни своей республиканской компартии, ни серьезного административного управления (структуры РСФСР союзным Центром всерьез не воспринимались).

Любопытный, хотя и частный, пример политики Центра по отношению к собственно русской составляющей культуры приводится в мемуарах музыканта Алексея Козлова: «... российские коллективы не могли приобрести себе аппаратуру за конвертируемую валюту, а узбекские, казахские, украинские или белорусские – приобретали. Их министерства имели валюту, а для коллективов РСФСР отпускалась лишь валюта соцстран – чешские кроны, венгерские форинты, польские злотые» (151). Разумеется, мелочь, но симптоматичная: развитие национальных окраин, поддержание нацкультуры рассматривалась партией как задача более важная, нежели развитие культуры великорусской. Та, дескать, и сама выживет, а провинциальных Геродотов обижать нельзя. Культурная автономия местной интеллигенции должна была обеспечивать лояльность национальных окраин по отношению к центру – главному распределителю материальных благ. Казалось бы, сытая национальная интеллигенция не заинтересована разжигать недовольство – хотя бы из чувства самосохранения. По сути, ей предназначалось место в удобных резервациях, а государство давало на то деньги, отнимая кусок у своих. Однако расчет не оправдался.

Казенная доктрина вызвала явный и скрытый саботаж со стороны части национальной интеллигенции, которая никак не хотела превращаться в некую советскую массу людей с высшим образованием. По сути, терялся сам смысл

существования хранителей народной памяти, коей мнила себя национальная гуманитарная интеллигенция. Галлюцинации, общие для всех советских интеллигентов, на национальных окраинах усиливались чувством второсортности, ущербности, провинциальной неконкурентоспособностью в жестких условиях многолюдной и многонациональной Империи. Власть и громадные деньги распределялись в Центре, а те средства, которые отпускались на содержание национальных культур, местными нонконформистами воспринимались как подачки для поддержания нужного идеологического настроения на окраинах. В таких условиях «дружба народов» всячески пропагандировавшаяся властью, ощущалась как нивелирование национальных различий, а часто таковой и была. Между тем, именно «дружба народов» являлась цементом советского патриотизма. Националистический раздрай не мог не разрушить великую страну.

Уже в эпоху перестройки, когда публицисты, национальные писатели и всяческие «народные фронты» начали отрицать дружбу народов, мудрый Л. Гумилев категорически заявлял: «Дружба народов – лучшее, что придумано в этом вопросе за тысячелетие» (152). Во всяком случае, расчеты Гитлера взорвать СССР изнутри, используя национальные противоречия, не сбылись. «В армии, – вспоминал Ю. Никулин фронтовые годы, – были у меня друзья – украинцы, татары, евреи, грузины. Жили одной семьей, как братья. Кто какой национальности, знали одни штабные писари» (153). Показательно в этом контексте упоминание писарей – презираемых фронтовым братством писак, мелких штабистов. «Я был батальонный разведчик, а он – писаришка штабной, я был за Россию ответчик, а он спал с моею женой...», – как пелось в полублатной послевоенной песне. Толпы трусоватых писаришек густо размножились в провинциальном гумусе.

Установившийся сегодня строй дикого капитализма жизненно заинтересован в максимальном разделении людей – по национальному, религиозному признаку, принадлежности к разным футбольным клубам или еще чему-нибудь. «Разделяй и властвуй». Подлость этой политики многие из нас остро ощущают, но – под натиском осатанелых фанатиков, фанов и прочих фантиков – противопоставить ничего ей не могут.

Показательной в этом отношении является трансформация второй имперской нации – украинцев – от активных строителей империи к ее разрушителям, и роль в этом процессе национальной интеллигенции. От бухгалтера Петлюры до бухгалтера Ющенко – что же это за счетоводы такие на Украине?! Давно ли М. Булгаков прорицал в очерке «Киев-город»: «А память о Петлюре да сгинет!», – а молодой карикатурист Сашко Довженко рисовал пресловутого «головного отамана» удирающего огромными заячьими прыжками от гнева украинского народа. Оба самых выдающихся представителя культуры Украины XX века ошиблись. Стараниями национальной интеллигенции С. Петлюра и петлюровцы вернулись. Причем, вернулись в ореоле героев и мучеников, хотя еще В. Винниченко, непосредственный участник правительства УНР, рассуждая об Украине эпохи Директории и Центральной Рады, честно признал: «Власть фактически принадлежала националистическому и шовинистическому мещанству» (154). Есть ли смысл здесь цитировать мемуары белых офицеров о петлюровском терроре в Киеве, «Белую гвардию» Булгакова или «Рассказ Остапа Бендера о вечном жиде» Ильфа и Петрова? Нацмещанство во время революции занималось не безобидным коллекционированием слоников в серванте, а грабило, насиловало, убивало. Сегодня против очевидцев событий – и рядовых людей и светочей украинской культуры, вроде Довженко или

того же Винниченко – выступила целая армада «писаришек», подло за их спиной переписавших историю.

А правда состоит в том, что, не имея широкой поддержки среди украинского крестьянства, национальные движения эпохи революции и Гражданской войны были вынуждены опираться на иностранную военную силу (немцев, австрийцев, поляков и прочих) и тем оттолкнули от себя основную массу народа. «В момент выбора огромное значение имеют “аргументы от противного”, осознание того, *чего мы не хотим* ... Когда Центральная Рада Украины для защиты от “великодержавных большевиков” опиралась на военную силу немцев, германская оккупация была важным доводом за то, чтобы отойти от Рады. Когда после этого Петлюра поехал за помощью к Пилсудскому и на Украину нахлынули поляки, для украинского крестьянства это было простым и убедительным доводом за то, чтобы поддержать Красную Армию и воссоединиться с Россией в виде СССР» (322). Не было сил у Петлюры, Махно или Антонова-Овсеенко сделать выбор за народ. Правилен оказался выбор народа или нет – это уже другой вопрос. Но и здесь во главе угла стоит вопрос о земле, о чем мы подробно рассуждали ранее.

Большевики, на ранних этапах существования СССР поощряли национальную интеллигенцию в ее наполеоновских планах «национального возрождения», которая органично входила в общую концепцию «культурной революции». На Украине поддержка проявлялась в проведении насильственной украинизации государственного аппарата и образования; той же цели содействовала переброска огромных масс украиноязычных крестьян в города во время индустриализации, что создавало в городах необходимый запрос на культуру – национальную по

форме, социалистическую по содержанию. Партия всячески расхваливала этот процесс, афишировала его. Уже на X съезде КП(б) У Генеральный секретарь КП(б)У Л. Каганович отчет ЦК демонстративно прочитал на украинском языке, что имело важное политическое значение.

Но терпения радикально настроенной национальной интеллигенции как всегда не хватало. Особые темпы перестройки общества подразумевали, на их взгляд, **немедленное** перерождение людей. Тот же Л. Каганович в своих «Памятных записках» пытается объяснить: «Мы преодолевали сопротивление проведению украинизации великодержавных националистических элементов. С другой стороны, приходилось бороться против украинских националистических элементов, требовавших форсирования украинизации с применением административно-насильственных мер, том числе и в отношении украинизации состава пролетариата...» (156). Сталин в письме в Политбюро ЦК КП(б)У успокаивал особенно рьяных: «Нельзя украинизировать сверху... это процесс длительный, стихийный, естественный». Увещевания не помогли, и хозяин взялся за кнут. Радикальная национал-интеллигенция Украины жестоко пострадала от неумного желания продемонстрировать режиму своё вольнодумство и обособленность. Их обманутые надежды обернулись негодованием и яростью.

Когда пришли нацисты, различные регионы Украины и воспринимали их по-разному – от едва советизированного Львова до пролетарского Донбасса, но националистическая интеллигенция (что уцелела в тридцатые годы) везде встречала их как освободителей от коммунизма. Достаточно почитать оккупационные газеты того времени, чтобы заметить насколько охотно сотрудничала эта часть украинской интеллигенции с

оккупантами. Судоплатов-младший: «Отец всегда подчеркивал, что этот авантюризм, граничащий с фарсом, всегда являлся отличительной особенностью сторонников “самостийной Украины” выходцев из ее центральных и восточных областей, в отличие, от “западняков”, авантюризм которых всегда был густо замешан на патологической жестокости и фанатизме» (157). И доныне национал-патриоты находят оправдания единомышленникам – как своим предшественникам-коллаборантам, так и нынешним крайностям построения мононационального государства.

После окончания жестокого сталинского правления практика партийного заигрывания с националами продолжилась: «Как-то Хрущев принимал участие в пленуме ЦК компартии Украины...

На пленуме, не помню кто, начал свою речь по-русски. Никита Сергеевич перебил его:

– Разве вы не знаете украинского языка? Работаете-то на Украине!

Нетрудно понять, какой отклик нашла эта реплика в сердцах националистически настроенных участников пленума и особенно у тех, кто исподволь вел пропаганду за “незалежную Украину”» (158).

При том, что огромное количество советских руководителей – это выходцы именно из Украины, национальная интеллигенция ощущала себя в загоне. Виноватыми, как всегда, оказались москали и евреи. Это даже не злобная буржуазная пропаганда, скорее – стереотипы крестьянского мышления, мифология села, откуда они недавно приехали, и которое воспринимает космополитическую городскую культуру враждебно, как чуждый человеческой природе индустриальный ад.

Сочетание застарелых предрассудков и противоречивой национальной доктрины коммунистической партии давали любопытнейшие

результаты. Шокированный И. Эренбург, едва облегченно вздохнувший после антикосмополитической кампании, описывает проделки киевских интеллектуалов в 1960-х годах: «Украинская Академия наук выпустила книгу “Иудаизм без прикрас”. Книга относилась к антирелигиозным и на украинском языке рассказывала читателям о противоречиях и корыстности иудаизма... Я долго разглядывал рисунки. Они напоминали журнал гитлеровца Штрейхера, положившего свою жизнь на изобличение евреев... Поведение носатых евреев показано в книге своеобразно: они поклонялись сапогу гитлеровцев, и носатый Бен-Гурион договаривался в Освенциме с эсэсовцами в то время, как там страдал человек с явно не еврейским носом...» Можно только представить возмущение писателя, который продолжает свой рассказ: «Другое, еще более расистское произведение – “Дорогами жизни” – было напечатано в журнале “Дніпро”. Там описываются козни рода Ляндеров против украинского народа. Родоначальник Исаак Ляндер нашел “гешефт” – получил у поляков в аренду несколько православных церквей, этот “нехристь”

обирали украинцев. Внук Исаака Хаим Ляндер учел перемену обстановки: “Зачем раздражать гоев, если можно потихоньку спаивать их и обирать до последней нитки?” Гайдамаки сожгли корчму. “С той поры в семье Ляндеров украинцев не называли иначе, как “эти проклятые хохлы”. Наш современник Соломон Ляндер становится сначала бундовцем, а потом большевиком и работником ГПУ...» (159).

Ну, в общем-то, сейчас подобных произведений хоть пруд пруди, и местных интеллектуалов они не коробят. Взять хотя бы роман «Черный ворон», щедро увенчанный лаврами и получивший Шевченковскую премию. Ну, и что, что он человеконенавистнический? Зато «национальный».

Продолжим наш обзор из жизни каратаевых, каратаенко, каратанзонов и прочих. Нельзя сказать, что только Украина со своими национальными проблемами являлась исключением из общих правил. Концепция «советского патриотизма» постоянно входила в конфликт как с бытовой ксенофобией простых граждан, так и национальным сознанием интеллигенции. Московский историк Георгий Андриевский отмечает: «В послевоенные годы плохое к себе отношение москвичей почувствовали не только евреи и армяне, но и грузины, хотя грузином был сам Сталин. Народ говорил, что грузины не работают, налоги не платят, а только спекулируют на базаре фруктами. Во всей этой неприязни к инородцам дала о себе знать усталость народа от войн, революций, голода и репрессий» (160). То есть даже в столице многонациональной советской империи, где, казалось, должен расцветать интернационализм, ситуация была далека от идеальной. Что же говорить об окраинах, где борьба за национальные ценности и идентичность принимала порою форму массовых манифестаций. Это сейчас грузины проклинали советское прошлое, а тогда грузинский народ не просто восславлял Иосифа Виссарионовича, но и активно защищал, видя в нем не только вождя СССР, но и выдающегося соплеменника. Борьба за национальную индивидуальность, защиту родного языка парадоксальным образом после XX съезда не раз выливалась в просталинские демонстрации.

Во время событий в Тбилиси весной 1956 года, о которых мы уже рассказывали, манифестанты не только скандировали «Слава великому Сталину!» и пели песни

в его честь. Чествуют – и ладно, но в толпе находились люди, которые, пользуясь случаем, разогревали сепаратистские настроения. В адрес пограничников, разгонявших толпу у Дома правительства, из толпы раздавались выкрики: «Русские, вон из города!», «Уничтожить русских!». А когда по городу разнеслись слухи об убитых, зазвучал лозунг «Кровь за кровь»... Только во время столкновений у Дома связи и у монумента Сталину было, по данным МВД Грузии, убито 15 (из них 2 женщины) и ранено 54 человека (7 человек впоследствии умерли) (161).

Эти события оказали огромное влияние на развитие грузинского национального движения, имевшее широкую поддержку грузинской интеллигенции – достаточно вспомнить Звиада Гамсахурдия, сына классика грузинской литературы (подробнее о нем в главе «Свобода на баррикадах»), который стал одним из самых известных советских диссидентов грузинского происхождения. Жертвы тбилисских событий 1956 года требовали отмщения, и слепой гнев в результате привел к еще большим жертвам. Апогеем стали события 9 апреля 1989 года, которые как бы благословили провозглашение независимости Грузии. Грузинская пресса до сих пор утверждает, что во время массового митинга тбилисцев против выхода Абхазии из состава Грузии, силы правопорядка саперными лопатками зарубили десятки мирных жителей. Однако по данным прокуратуры, эксперты-медики выявили всего 7 человек, пострадавших от лопаток^[69]. При этом ранения получили 30 десантников – это означает, что они вынуждены были защищаться. Во время разгона митинга и последовавшей паники 16 участников манифестации погибли на месте происшествия, а трое вскоре скончались в больнице. Как установила судебно-медицинская комиссия, причиной смерти всех, кроме

одного, погибших являлась асфиксия в результате сдавливания грудной клетки в толпе. Но образ окровавленной саперной лопатки создан и существует в массовом сознании.

А касательно абхазского вопроса, который и стал причиной злополучного апрельского митинга в Тбилиси, то следует отметить, что союзный Центр начал сдерживать грузинский сепаратизм, разыгрывая абхазскую карту, задолго до событий 1989 года. Например, в мае 1978 года тбилисская газета «Заря Востока» напечатала так и неопубликованный в центральной печати текст выступления секретаря ЦК КПСС И. Капитонова, который специально приехал в Грузию, чтобы заявить: Москва не может удовлетворить «многочисленных просьб» абхазцев выйти из состава Грузинской республики и войти в состав РСФСР. Намек более чем прозрачный – ведь может и «удовлетворить». Как мы знаем, эта карта играет до сих пор.

В соседней Армении проблемы национального движения оказались тесно связаны с репатриацией армян, вернувшихся на родину, но не воспринявших советских реалий. После Второй мировой войны двести тысяч армян добровольно переехали в Советскую Армению. Многие прижились, но были и не поддающиеся пересадке. И. Эренбург: «Вероятно... они недостаточно знали о социальном строе и о быте нашей страны. Один мастер-ювелир мне жаловался: в Каире он изготавливал художественные безделки и жил припеваючи. А что ему делать в Ереване? Дантист привез из Бейрута оборудование зубоучебного кабинета, а тут ему сказали, что он не имеет права заниматься частной практикой. Со многими мне пришлось разговаривать по-французски: не знали русского языка. На толкучке женщины продавали привезенное из Франции барахло. Подросток, приехавший с отцом из Франции, называл себя

сюрреалистом, писал стихи на французском языке и мечтал вернуться к матери, которая осталась в Париже» (162).

Кроме того, объединяющей для армянского народа стала память о геноциде 1915 года, что раз за разом становилось поводом для национальных волнений. В 1965 году председатель КГБ при Совете Министров СССР В. Семичастный сообщил секретарю ЦК КПСС П. Демичеву: «24 апреля в Ереване с утра до позднего вечера на площади им. Ленина, в парке имени Комитаса и других местах возникали стихийные митинги, в которых принимали участие от 3 до 8 тысяч человек. Выступившие на них лица требовали возвращения земель Армении и справедливого решения “армянского вопроса”, освобождения семерых патриотов^[70], а также ускорения переселения армян из-за границы и поселения их в Нахичевани (официальной территории Азербайджанской ССР – К.К.), поскольку плотность населения в Советской Армении достигла критического уровня. Эти требования были включены в составленное на площади обращение, адресованное ЦК КПСС, Совету Министров и Президиуму Верховного Совета СССР... День памяти жертв геноцида (использован) для поднятия территориального вопроса (чтобы) тем самым привлечь на свою сторону внимание определенной части интеллигенции и молодежи» (163). И внимание национальной интеллигенции, хранительницы народного духа, разумеется, привлекалось, и засеивались всходы, давшие позже кровопролитный карабахский конфликт.

Много в эпоху перестройки писалось о депортациях целых народов в послевоенное время, что оказало колоссальное влияние на появление у интеллигенции метрополии чувства вины перед ними, признание депортаций одним из самых значительных сталинских

преступлений, важной частью процесса делегитимизации советского строя. Ну, для начала можно вспомнить, что депортации народностей начались задолго до сталинских послевоенных переселений. В 1920-е годы большой проблемой крупных городов стала многочисленная китайская община, ранее верная помощница большевиков в социальных преобразованиях. У того же И. Якира во время Гражданской войны имелась личная гвардия из пятисот китайских бойцов. Постепенно китайская община выродилась в этническую мафию, представители которой встречаются даже среди литературных персонажей того времени, например, в булгаковской пьесе «Зойкина квартира». В основном они содержали прачечные, которые попутно торговали морфием, кокаином и рисовым спиртом. Поэтому в конце 1920-х было принято решение всех китайцев выселить на родину.

Много недовольных среди народов СССР породила и «культурная революция», проводимая большевиками, которая отметала религиозные и национальные отличия, ликвидировала обособленность, особенно мусульманских народов. К. Чуковский, находясь в Крыму, отмечает характерные эпизоды необъявленной войны цивилизаций: «Когда в 1924 году похерили арабский алфавит и стали вводить латинские буквы, старики татары так разъярились, что этому учителю пришлось бежать из деревни», – и далее – «Татары, находясь среди такой великолепной природы, оказывается, прячут свое тело от солнца; женщины обматывают бедра платками и летом и зимой носят юбки до пояса, и учителям приходится проповедовать трусики, как знамя культуры. Уходя с детьми в экскурсию, подальше от родителей, татарский педагог заставляет детей по возможности тайком обнажиться...» (164) Понятное дело, что такая

эмансипация, да полюс коллективизация, которую следует помножить на деисламизацию, раздражали национальное сознание татар (как и других исламских народов) невероятно. С ними не церемонились. Напомним, что речь шла (согласно советской шкале культурных ценностей) о народах «отсталых», а потому их дотягивали до общесоциалистического уровня насильно.

В полной мере накопившееся раздражение выплеснулось во время войны, когда недовольство стало относительно ненаказуемо, и поначалу проявлялась в каких-то бытовых мелочах^[71]. Но когда враг вступал в пределы ареала обитания обиженных народов, они, при всецелой поддержке местной духовной элиты, присоединялись к борьбе за то, что они считали освобождением от ига ненавистных большевиков и возрождением духовной жизни своей нации. Например, в Чечне в начале войны 63 % призванных в армию мужчин ушли с оружием в горы и образовали мятежные отряды во главе с партийными руководителями и работниками НКВД. В результате мобилизация на территории Чечни была прекращена. При приближении немецких войск мятежные отряды установили с ними связь и вели в тылу Красной армии крупные боевые действия с применением артиллерии.

После отступления противника, 23 февраля 1944 года было начато выселение (в основном на спецпоселения в Казахстан) около 362 тысяч чеченцев и 134 тысяч ингушей. Жестоко? Безусловно. Но война шла за выживание всей человеческой цивилизации и духовное достоинство обманувшихся муэдзинов и гордых джигитов мало интересовало победителей. С предавшими в СССР поступали по законам военного времени. А если воевавшую страну предавал весь

народ, за неверный выбор элиты нес ответственность весь народ, как всегда, впрочем.

В прессе также много говорилось о массовой гибели крымских татар при транспортировке, хотя на деле именно для них она прошла сравнительно благополучно: из 151720 человек, депортированных в мае 1944 года, органами НКВД Узбекистана по актам было принято 151529 человек (умер в пути 191 человек). Но речь не об эксцессах, а о сути.

С. Кара-Мурза: «Этот тип наказания, тяжелый *для всех*, был спасением от гибели для *большой части* мужчин, а значит для этноса. Если бы чеченцев судили индивидуально по законам военного времени, это обернулось бы *этноцидом* – утрата такой значительной части молодых мужчин подорвала бы демографический потенциал народа. Благодаря архаическому наказанию численность чеченцев и ингушей с 1944 по 1959 г. выросла на 14,2 % (примерно настолько же, как и у народов Кавказа, не подвергнувшихся депортации)» (166). Но зубы дракона взошли, и по сей день мы расхлебываем проблемы, порожденные архаичной прямолинейностью большевистского правосудия.

Сразу же после возвращения из депортации, которая состоялась после смерти Сталина, между чеченцами и новыми переселенцами, которых правительство заселило на их земли, начались этнические конфликты. В апреле 1957 года колхозники колхоза им. Ленина Малгобекского района Чечено-Ингушской АССР писали Н. Хрущеву и Н. Булганину: «Всюду слышишь факты бесчинства, оскорбление, драки, воровство, запугивание, выливающиеся в полном эгоизме – ненависти и национальной вражде между чеченами и ингушами, с одной стороны, и русскими, осетинами и кумыками, с другой стороны». Далее следовали примеры. Колхозники жаловались на то, что трактористом-чеченцем было вспахано русско-

осетинское православное кладбище. Люди стали вывозить покойников для похорон за пределы Чечено-Ингушской республики. «Все это приводит к тому, чтобы мы выезжали», – подводили итог авторы письма и просили переселить их в более спокойную Северо-Осетинскую АССР (167). В 1958 году многочисленные конфликты привели к волнениям русского населения в тогда еще русскоязычном городе Грозном. В результате беспорядков пострадало 32 человека, в том числе 4 работника МВД и милиции республики. Два человека (из числа гражданских) умерло, 10 были госпитализированы.

Ситуация в городе и в республике стала предметом обсуждения на Пленуме ЦК КПСС в сентябре 1958 года: «Это единственный известный нам случай подобного обсуждения массовых волнений на партийном Пленуме... Московские партийные руководители не сумели дать серьезной политической оценки событиям, которые явно вышли за рамки случайного эпизода. В центре относительно небольшого города достаточно долго буйствовала толпа численностью до 10 тыс. человек! Дело же ограничилось чисто полицейскими мерами и обычной идеологической болтовней» (169).

Эти многочисленные примеры я привожу к тому, чтобы можно было понять – кроме модели поведения, именуемой «советским патриотизмом», имелось множество этнических течений, проявлений исторических обид, которые взяла на вооружение национальная интеллигенция окраин. В решающий момент она выступила союзником либеральной интеллигенции в Центре, и, во многом разделяя ее взгляды и заблуждения всего поколения, сыграла важнейшую роль в развале СССР. Она вооружила местных царьков, жаждавших экономической безнаказанности, важнейшим идеологическим оружием, придала им легитимность в глазах народа.

XII

В противодействие национальным элитам всех республик СССР, и до, и после смерти Сталина, власть настойчиво реализовывала концепцию единого «советского народа», прилагая колоссальные усилия, чтобы спаять воедино разные нации, разные верования, разный исторический опыт. В ход шла официальная пропаганда, партийные циркуляры, активно использовался и популяризировался важный опыт победоносной войны. Против – незабытые обиды коллективизации, сильнейшая антисоветская и антисемитская пропагандистская деятельность нацистов на оккупированных территориях, трагедии пережитых депортаций и репрессий.

В СССР раскол элиты и народа приобретал форму отрицания не только господствовавшей идеологии, но и даже привычной для советского человека модели поведения. С. Кара-Мурза: «У нас сменилась классная руководительница, вести класс стала преподавательница литературы, женщина молодая и красивая... Она приходила на наши вечеринки с вином, их собирали ребята из «генеральского» дома, они жили в больших квартирах. Там витал дух корректного презрения к «плебейам» (кстати, тогда это слово вошло в жаргон). Мне на этих вечеринках было жалко смотреть на наших девочек из «бедных» семей, которые этого не чувствовали и искренне радовались компании... Со стилистами наша литераторша имела общий язык – без слов, взглядами. Но иногда казалось, что они общаются где-то вне школы, там, где проходит их главная жизнь – так они понимали друг друга» (170). Очень интересны эти наблюдения Сергея Георгиевича, особенно важны

детали: образованная учительница, «генеральский дом», «плебеи»...

Речь идет об элите, молодой элите страны, живущей своей жизнью избранных. Молодые люди послесталинской эпохи узнавали, как их обманывали учителя, пропагандисты и литераторы. И верили, что восстановленная правда двадцатых годов поможет им жить разумнее, честнее и смелее, чем прожили их незадачливые родители. Эта «правда» казалась им сродни возвращенной поэзии Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама, Пастернака, Волошина, прозе Булгакова, Зощенко, Бабея, Платонова, искусству Петрова-Водкина, Мейерхольда... Сокровища культуры, еще недавно запретные и вовсе неведомые большинству молодых, высвобождались из тайных укрытий в то же самое время, когда реабилитировали, – чаще всего посмертно, – тысячи старых большевиков, тех, кто в двадцатые годы работал, активничал, запевал, верховодил...

Будущие шестидесятники уже ощущали свою кастовую исключительность, но идеология и родители обязывали их учиться и работать, будто они такая же обычная часть народа, как и прочие их сверстники. В ответ часть подростков сплотилась, бросив прямой вызов советской идеологии. Их жизненный выбор приобрел сознательный характер отрицания существующего строя. Кто же были эта элита из элиты, выделявшаяся даже среди стилистов? А. Козлов: «Я повстречал молодых парней совсем иного уровня, заметно отличавшихся от бродвейских “стилистов” не только одеждой, но и образом мыслей. Это и был круг настоящих “штатников”, людей, мысленно живших в Штатах, считавших себя как бы американцами, случайно родившимися здесь» (171). Люди, случайно родившиеся в своей стране, чуждые ей, ее истории и народу.

В. Катанян о А. Галиче: «Саша был эстет, сноб и гурман, все это мне импонировало. И в то же время он знал все, чем жил народ, знал нравы и жаргон людей, казалось бы, далеких от него по социальному положению. Однажды зашел разговор, сколько стоит буханка черного хлеба. Никто не знал, знал только Саша» (172). Вот тебе и народная советская интеллигенция: в компании **только один** человек знает, сколько стоит обычный хлеб, и об этом не стесняются писать в мемуарах! Честь и хвала «снобу и гурману» Галичу, только с остальными что делать, короля играет свита. Что за компания? «Рая, жена композитора Фрадкина. Она всегда что-то покупала, что-то продавала и объясняла: “Марк (Марк Фрадкин, популярный советский композитор – К.К.) мне мало денег дает, мне не хватает на личные расходы”, а сама была сказочно богата... Марина (Фигнер) дружила с Галичем, с Борисом Ласкиным (популярный литератор и сценарист). У нее тоже периодически собирался бомонд: приемы были на редкость оригинальны, даже изысканы, к тому же почти подпольны. Галич пел запрещенные песни, читал стихи...» (173). Это цитата из воспоминаний Лидии Смирновой – тоже популярнейшей советской актрисы. Целый пласт жизни уходит «почти в подполье».

Изыски неофициальной культуры существовали как бы только для «посвященных»: председатель Гостелерадио Лапин – знаток дореволюционной поэзии и собирает эмигрантские издания; цензоры из ЦК охотно слушают полузапрещенных Вертинского и Высоцкого; дочка министра культуры Е. Фурцевой на глазах у изумленной мамы читает «Архипелаг Гулаг»; секретарь ЦК ВЛКСМ Лен Карпинский признаваясь, что сам любит послушать песни Окуджавы, тем не менее, считает, что они опасны для «неподготовленной молодежи» (Е. Евтушенко).

Элита загадочна и высокомерна. Она не допускает в свой круг посторонних. Интеллектуальная элита, подражая элите партийной, старается выстраивать табель о рангах – и в подполье, и в номенклатуре. Она вешает ярлыки – кто «прогрессивен», а кто не достоин сего высокого звания. Э. Рязанов рассказывает о Доме творчества в Прибалтике: «В доме было 9 этажей. По неписанным местным законам комнаты в доме распределялись в зависимости от положения и должности писателя... 9-й и 8-й этажи предназначались для Героев Социалистического Труда, лауреатов Ленинской премии, секретарей Союза и главных редакторов толстых журналов. На 7-й и 6-й могли претендовать лауреаты государственных премий, члены правления Союза писателей или Литфонда. На 5-м и 4-м селились средние писательские массы... И откуда все это появилось в государстве рабочих и крестьян?..» (174). Смешон вопрос Эльдара Александровича – да все оттуда, из высокомерия элиты.

Примеры можно множить до бесконечности, возьмем что-нибудь из водоворота жизни. Пьяный Василий Аксенов на Южном берегу Крыма в 1968 году, сразу после ввода советских войск в Чехословакию, общается с курортниками: «Пошатывающийся от водки и отчаяния Аксенов обратился к очереди:

– А вы знаете, что произошло этой ночью?

Очередь молчала. Это были в основном “дикие отдыхающие”, ночующие в палатках на берегу или приткнувшиеся в какой-нибудь сдаваемый угол. Наконец, один из них... не приветливо пробурчал:

– Ничего особенного. Наши ребята в Праге. Чтобы реваншисты из ФРГ туда не вперлись. А чехи тоже хороши. Мы их кормили, а они... Так что все – нормалек...

Тогда Аксенов вскочил на голубой пластмассовый столик... И обратился к очереди с речью, достойной

Перикла:

– А вы знаете, кто такие? Вы жалкие рабы. Вы рабы не только советской власти, которой вы вполне достойны... А в это время ваши танки давят свободу в Праге, потому что вы хотите, чтобы такое же рабство, как у нас, было везде...

Я понял, что Аксенова намереваются бить, и, возможно, ногами» (Е. Евтушенко) (175). Показательно отношение самозваного «Перикла» к окружающим, как к «рабам». Аналогично рассуждала, если верить ее собственным воспоминаниям, правозащитница Л. Богораз, и многие другие превознесенные сегодня диссиденты, хотя можно воспринимать это и как эмоциональную защитную реакцию интеллектуалов на назойливо пропагандируемую «народную мудрость» и «несокрушимое единение» партии и народа – заезженные коммунистические штампы. В поэме «Москва – Петушки» лирический герой издевательски декларирует свое восхищение каратаевской мудростью народа: *«Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в меня чувство законной гордости... Полное отсутствие всякого смысла – но зато какая мощь! (какая духовная мощь!) эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы не случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий – эти глаза не моргнут. Им все божья роса...»*. А в записных книжках автор проще и откровенней: «Русская нация... бестолковая, невезучая, противная, нервическая» (176). Фуфло, одним словом...

Люди от производства остро ощущали высокомерие новоявленных эстетов, некоторые даже протестовали против того, чтобы официально числиться в интеллигентах. Известен характерный эпизод в конце 1960-х годов (он освещался в свое время в советской прессе), когда целый выпуск одного из технических

вузов решил не относить себя к интеллигенции, и даже выступил чуть ли не с ходатайством о праве считаться не «служащими», но «рабочими». Пикантность ситуации усугублялась тем, что как раз для обозначения таких людей существовал специальный термин «техническая интеллигенция» – в отличие от более подозрительной для властей «гуманитарной интеллигенции», не говоря уж об интеллигенции «творческой» (самой продажной и самой опасной одновременно). Но в целом «производственники» всё же потянулись за нарождавшейся модой на диссидентство, которую формировала творческая элита. Вольнодумство подразумевало высшую степень образованности, умение читать между строк выдавало изощренный ум, прослушивание западных радиоголосов показывало степень осведомленности.

Жалкими казались запоздалые попытки партийной пропаганды навести мосты между народом и его интеллигенцией, да и не очень-то они к единению стремились. Энтузиазм «культурной революции» иссяк. Еще в 1920-е годы, когда казённые пропагандисты устраивали выезды театров в колхозы, симфонических оркестров на заводы, стремясь сделать культуру ближе народу, К. Чуковский высмеивал подобную показуху: «Эти приезды врачей и педагогов в подшефный колхоз вообще похожи на комедию... Педагоги на глазах у татар воруют виноград, татары говорят “Ай да шефы!” и проч. и проч.» (177). Если это было смешно в двадцатые годы, то в 1960-е и позже стало вызывать только взаимное отвращение.

Нельзя сказать, что все это задумано плохо, всё-таки люди лучше узнавали культуру – с одной стороны, и жизнь простого народа – с другой, но происходившее в глазах людей шестидесятых годов выглядело такой, мягко выражаясь, формальностью! Л. Смирнова: «Меня пригласили на ЗИЛ и дали мне звание «Почетный член

бригады коммунистического труда»... и все они, десять человек, должны были выполнять еще одну норму, одиннадцатую – за меня... Это, вероятно, тоже входило в пропагандистскую задачу, мы как бы оказывали друг на друга влияние: я на них, чтобы они лучше трудились, они на меня – чтобы я больше познавала жизнь» (178).

Если говорить откровенно, знание народной жизни никому не мешало. Видите, даже А. Галич мог блеснуть в компании снобов знанием цены на хлеб. В конце концов, с заботы о народе начинались все галлюцинации либеральной интеллигенции. Однако, начиная с шестидесятых годов, духовное развитие «образованщины» окончательно обогнало народное образование. И начало жить своей, неведомой никому жизнью.

XIII

А народ все так же хотел просто кушать, и дрожжи просвещенного шестидесятничества в нем еще не забродили. Страна встала на ноги после чудовищной войны и едва вышла из времени послевоенных лишений. Напомню, что на территориях, подвергшихся оккупации, проживало около 40 процентов населения страны. Низкий уровень жизни не оставлял обычному человеку времени для чтения стихов Ахматовой, изысков стильной одежды или других развлечений городской элиты. Хрущевские либеральные реформы произвели на тех же селян весьма малое впечатление – они просто были из другой оперы. Для них значительно больше значила практическая возможность иметь в личном пользовании крупный рогатый скот, свиней, птицу и другую живность.

Когда тяжелые голодные военные и послевоенные годы миновали, крестьяне, благодаря подсобным хозяйствам, имели, чем накормить семью, и даже кое-что привозили на продажу в город. Это поддерживало удовлетворительный уровень снабжения в крупных населенных пунктах вплоть до конца 1950 – начала 1960-х годов, когда необузданная фантазия Н. Хрущева выдвинула лозунг о немедленной ликвидации разрыва между городом и деревней. Последовательный коммунист Хрущев с троцкистской прямотой категорически отрицал частнособственнический инстинкт крестьянина^[72]. Фатальной ошибкой являлась линия на ликвидацию небольших колхозов. Это в скором времени привело к разорению тысяч небольших деревень.

Погром приусадебных хозяйств и торжество концепции «неперспективных сел» привели к тому, что

крестьяне вновь кинулись из своих деревень в город. Начиная с 1960-х годов, СССР пережил вторую форсированную урбанизацию. Если в 1950 году в СССР в городах жили 71 миллион человек (39 % населения), то в 1990-190 миллионов (66 %). Прежде всего, из села уезжала молодежь. В 1959 году в составе сельского населения страны имелось 16,7 миллионов людей в возрасте от 10 до 19 лет, а спустя 11 лет, по переписи 1970 года, жителей села в возрасте от 21 до 30 лет было всего 10 миллионов, то есть на 41 % меньше (179). Это отражалось на демографической ситуации, и государство уже не успевало создавать рабочие места для новых горожан.

По неполным данным, только в Московской области уже при Хрущеве насчитывалось около 20 тысяч человек в возрасте до 25 лет, не занятых учебой или работой, в том числе свыше 8 тысяч выпускников средних школ. Во многих крупных городах и промышленных центрах страны руководители предприятий отказывали молодежи в приеме на работу. На этой почве все больше становилось «неисправимых» и «отпетых» хулиганов, которые стали важной приметой хрущевской эпохи с ее массовыми волнениями^[73].

При этом следствием ускоренной урбанизации в послевоенном СССР стало появление очень большого числа абсолютно новых городов. В 1990 году 40,3 % всех городов СССР составляли города, созданные после 1945 года (и 69,3 % – созданные после 1917 года). Населенные пункты как материальные образования были построены, но становления **городской** культуры, **городского** образа жизни произойти в них еще не могло. Города продолжали населять вчерашние крестьяне по своей психологии и привычкам, которые так и не стали или не хотели стать полноценными

горожанами. Внутри них – деревенская ностальгия, крестьянская любовь к земле, к «своей картошечке». А на периферии (и в самом ближайшем будущем) – огромный резервуар для пробуждения обиженного национального самосознания. Поскребите биографию национально-свидомых идеологов в любой бывшей точке СССР, большинство из них горожане в первом поколении, максимум, во втором.

На рубеже 1950-1960-х годов численность городского населения впервые превысила число жителей села. Все увеличивавшийся недостаток свободных рук в сельском хозяйстве способствовал углублению продовольственных трудностей в СССР. Начались закупки зерна за границей. Хотя закупки зерна поначалу имели в виду кормовое зерно, «высвобождая» тем самым собственное зерно для питания людей, возник опасный для идеологии страны стереотип – «мы не можем себя сами прокормить». Постепенно интеллектуальное недовольство советской элиты накладывалось на неудовольствие простого народа, лишенного многих необходимых, хотя и элементарных вещей. Взрывоопасность ситуации стала очевидной даже для власти. Н. Хрущева сняли.

Первой задачей брежневского руководства стало укрощение вспененного хрущевскими реформами людского моря, приведение его в спокойное состояние. С одной стороны – сдерживающие меры по отношению к либеральной интеллигенции, уже заговорившей о демонтаже сложившейся советской системы социализма и заменой ее буржуазно-демократической чешской моделью в стиле «Пражской весны», с другой, – успокоение народа, раздраженного продовольственными и прочими трудностями.

Вначале, в 1966 года власти начали довольно успешную атаку на «дрожжи» практически любых бунтов и волнений – массовое хулиганство, которое

стало хронической болезнью при Хрущеве. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 года «Об усилении ответственности за хулиганство» установил сокращенные сроки рассмотрения материалов о мелком хулиганстве, применение ареста к хулиганам, расширил права милиции по наложению штрафов и т. д. Власти приняли административные меры по удалению из больших городов потенциально взрывоопасного «контингента» – люмпенов и маргиналов. Кроме того, в обход Конституции, определенные категории населения – нищие, бездомные, безработные, проститутки, фарцовщики («тунеядцы») и т. п. – в соответствии со специальным постановлением Совета Министров СССР об укреплении паспортного режима в Москве, Ленинграде и Московской области от 16 августа 1966 г. могли быть лишены временной прописки без предварительного наложения административного взыскания (182).

Одновременно с шестидневной рабочей недели страна перешла на пятидневку. 9 мая и 8 марта стали выходными днями, ветераны и семьи погибших получили многочисленные льготы. Колхозникам установили пенсии и гарантированные зарплаты, отменили трудовни. Пенсионный возраст колхозникам был уменьшен до 55/60 лет. При рождении второго ребенка государство платило матери 100 рублей ежемесячно. Началась золотая осень «развитого социализма», которая не оставляла либеральной интеллигенции шанса на бунт, **поддержанный народом.**

Но интеллигенция упорно продолжала мечтать о «свободе». Не о «воле», а о «свободе» в капиталистическом смысле этого слова, отрицая саму систему социалистического (общинного) перераспределения, разглагольствуя о системе оплаты индивидуальных достижений каждого представителя

социума. Разумеется, себя они мнили достойными лучшей оплаты и уровня жизни. Когда об этом можно стало говорить вслух, один из гуру просвещенной элиты академик Н. Амосов в статье «Мое мировоззрение» в «Вопросах философии» довел эту мысль до предельной ясности: «Человек есть стадное животное с развитым разумом, способным к творчеству... За коллектив и равенство стоит слабое большинство людской популяции. За личность и свободу – ее сильное меньшинство. Но прогресс общества определяют сильные, эксплуатирующие слабых» (183). Другой гуру, литературовед Лев Лосев с отвращением рассуждает о «доброте» – «кротость, каратаевщина, причем, всегда с гнильцой, стремление к энтропии – это наше...» (184) Как видим, Каратаев из источника мудрости превратился в посмешище. Один из ярких деятелей советского диссидентства, харьковский писатель Гелий Снегирев, отмечая возможные укоры шестидесятникам и обращаясь к предкам-коммунистам, писал в своей автобиографической повести «Мама, моя мама»: «Вы по своему образу и подобию запрограммировали меня двуличным трусом, я рос и формировался, впитывая в себя ваш жалкий опыт, из-за вас я – моральный калека!.. Обучив нас науке предательства и подлости, вы не смеее требовать от нас героизма и самопожертвования!» (185) Да кто уж требует? Просят только, чтобы свои комплексы и галлюцинации другим не навязывали под видом ведомой единственно вам «истины».

То, что происходит сегодня – результат столетней эволюции интеллигенции от сопереживания народу до совместной с правящей элитой его эксплуатации. Прежние модернизаторы чувствовали себя миссионерами, прививающими новую веру отсталому, но все же родному народу. Современные чувствуют себя скорее помещенными в чуждую «туземную» среду,

которую нужно либо быстро и радикально преобразовать по примеру «благополучных стран», либо столь же быстро оставить в случае неудачи очередного проекта. Под традиционные завывания о «народном благе» родилась система, в которой интеллектуалы служат исключительно эксплуатирующему режиму – советскому или олигархическому – даже не отдавая себе отчет, что такое хищничество неизбежно приведет народ (а потом и их) к вырождению и полной дегенерации.

Глава 4

Жизнь как бонус

Основным вопросом советской истории и, как правило, отношения к ней либеральной интеллигенции, является вопрос сталинских репрессий конца тридцатых годов. Политические процессы того периода возмущают интеллигенцию больше, нежели кровавая Гражданская война с ее миллионами жертв или грандиозная коллективизация с сопутствующими голодоморами. Так и после войны осуждение А. Ахматовой и М. Зощенко вызывает куда более пристальное внимание, нежели знаковое «Ленинградское дело» с его десятками расстрелянных. Почему такое внимание именно к 1937 году? Да потому, что именно в это время был нанесен непосредственный удар по сложившейся партийной элите и густо налипшей на нее интеллигенции, удар, навсегда оставшийся в памяти потомков. Но тот же Ю. Нагибин отмечал: «Подозрительность, доносы, шпиономания, страх перед иностранцами, насилия всех видов – для этого Сталин необязателен. То исконные черты русского народа, русской государственности, русской истории. Сталин с размахом крупной личности дал самое полное и завершенное выражение национальному гению» (1). Здесь мы видим описание репрессивной политики как «исконно русскую черту», типичное явление. Так где же правда? Стоит ли 1937 год особняком в новейшей русской истории? И кого все-таки осмелился ударить Сталин?

Вернемся в конец XIX – начало XX веков. Душная атмосфера самодержавной монархии, понимание, что серьезные перемены наступают только по факту смерти правящего монарха, а император Николай молод и здоров... Молодежь борется, организовывая

социалистические кружки, просвещая рабочих, получает за это тюремные сроки и сибирскую ссылку, как, например, Владимир Ульянов, сосланный в село Шушенское. При этом сосланный проклятым царским режимом Ленин получал пособие для ссыльного от царя – 8 рублей (фунт хлеба стоил 1 копейку), поселился в просторной избе на 120 квадратных метров, нанял прислужкой девочку Парашу, с большой земли ему присылали книги, он писал статьи и получал за них гонорары. Либеральничанье власти было в моде, оно отвечало гуманистическим тенденциям уходящего XIX века. Человеколюбивые присяжные революционеров оправдывали^[74], литераторы с сочувствием воспевали их в книгах, свободомыслящее студенчество поставляло им преданные кадры, а некоторые промышленники (вроде Саввы Морозова) оказывали финансовую поддержку. Тонко чувствовавший эпоху Г. Лебон сетовал: «Театр, книги, картины все более и более пропитываются чувствительным, слезливым и смутным социализмом, вполне напоминающим гуманитаризм правящих классов времен революции (Французской революции 1789 года – К.К.)». И далее сурово напоминал запытававшим, чем закончился Век Просвещения: «Гильотина не замедлила им показать, что в борьбе за жизнь нельзя отказываться от самозащиты, не отказываясь вместе с тем и от самой жизни» (2).

Чувствуя относительную безнаказанность, будучи свято уверенны в правоте своего дела, ощущая поддержку основной массы молодежи (а молодежи в дореволюционной России было в пять раз больше, чем людей среднего и старшего возраста, настроенных более консервативно) революционеры нагнали не по дням, а по часам. Манифест анархистов 1909 год гласил: «Берите кирки и молоты! Подрывайте основы

древних городов! Все наше, вне нас – только смерть... Все на улицу! Вперед! Разрушайте! Убивайте!». Или, скажем, резолюция конференции эсеров-максималистов: «Где не помогает устранение одного лица, там нужно устранение их десятками; где не помогают десятки – там нужны сотни». Всего с 1901 по 1911 год было совершено 263 крупных террористических акта, вплоть до 1916 года жертвами революционного террора стали около 17 тысяч человек (из них 9 тысяч приходятся на период революции 1905–1907 годов). В 1907 году каждый день в среднем погибало до 18 человек. Только в Варшаве (не слишком выделявшейся размахом террора на общем фоне) за 1906 год было убито террористами 83 полицейских и военных и 96 получили ранения (141).

Само страшное понятие «красного террора» в широкий обиход ввела эсерка Зинаида Коноплянникова еще в 1906 году (задолго до Октябрьской революции и Гражданской войны), заявив на суде: «Партия решила на белый, но кровавый террор правительства, ответить красным террором...» Наиболее известные жертвы левых террористов (кроме премьер-министра П.А.Столыпина): министр внутренних дел Д.С. Сипягин (2.04.1902), уфимский губернатор Н.М. Богданович (6.05.1903), министр внутренних дел В.К. Плеве (15.07.1904), генерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович (4.02.1905), московский градоначальник граф П.П. Шувалов (28.06.1905), бывший военный министр генерал-адъютант В.В. Сахаров (22.11.1905), тамбовский вице-губернатор Н.Е. Богданович (17.12.1905), начальник Пензенского гарнизона генерал-лейтенант В.Я. Лисовский (2.01.1906), начальник штаба Кавказского военного округа генерал-майор Ф.Ф. Грязнов (16.01.1906), тверской губернатор П.А. Слепцов (25.03.1906), командующий Черноморским флотом вице-адмирал Г.П.

Чухнин (29.06.1906), самарский губернатор И.Л. Блок (21.07.1906), пензенский губернатор С.А. Хвостов (12.08.1906), командир л. - гв. Семёновского полка генерал-майор Г.А. Мин (13.08.1906), симбирский генерал-губернатор генерал-майор К.С. Старынкевич (23.09.1906), бывший киевский генерал-губернатор член Государственного Совета граф А.П. Игнатьев (9.12.1906), акмолинский губернатор генерал-майор Н.М. Литвинов (15.12.1906), петербургский градоначальник В.Ф. фон дер Лауниц (21.12.1906), главный военный прокурор В.П. Павлов (27.12.1906), пензенский губернатор С.В. Александровский (25.01.1907), одесский генерал-губернатор генерал-майор К.А. Карангозов (23.02.1907), начальник Главного тюремного управления А.М. Максимовский (15.10.1907).

Когда современные историки говорят об абсурдности сталинских обвинений в терроризме, выдвинутых диктатором бывшим соратникам по партии, они явно не учитывают, что память о реальном разгуле терроризма начала века в те годы была вполне свежа – большая часть населения страны его помнила как факт собственной жизни. То есть, жестокое подавление поднимавшейся волны террора (а после убийства С. Кирова мало кто в том сомневался) представлялось вполне разумным шагом.

Разгул терроризма в начале XX века накладывался на социальные проблемы, порожденные развитием российского капитализма, ветхость государственного устройства, а позже и неудачным течением мировой войны. Разразившаяся Гражданская война шла не между монархистами и демократами, а между теми, кто пришел к власти в результате Февральского переворота и свергнувшими их в октябре большевиками, которых в конечном итоге поддержали крестьянство и рабочий класс. Прежний правящий класс либо погиб в борьбе и лишениях, либо в панике бежал в эмиграцию:

- А твоего барина что, шлепнули? - неожиданно спросил Остап.

- Никто не шлепал. Сам уехал. Что ему тут было с солдатней сидеть...

Воробьяниновский дворник ошибся, говоря конкретно об Ипполите Матвеевиче, но ведь сотни тысяч действительно бежали.

Гюстав Лебон, вскрывая психологию революционных главарей, предсказывал дальнейший путь любой победившей революции. Его предсказания тем паче интересны, что ни о Февральской, ни Октябрьской революциях речи еще быть не могло, книга написана задолго до них: «Истый апостол не довольствуется полумерами. Он признает необходимым вслед за разрушением храмов лжебогов уничтожить и их поклонников. Какое значение имеют кровавые жертвы, когда речь идет о возрождении рода человеческого, о водворении истины и уничтожении заблуждения? Не очевидно ли, что лучшее средство избавиться от неверных - это умертвить гуртом всех, кто встает поперек пути, оставив в живых только проповедников и их учеников. В этом и состоит программа искренно убежденных, презирающих лицемерные и пошлые сделки с ересью» (4). Сравните с мнением другого француза, Мориса Палеолога о Ленине: «Утопист и фанатик, пророк и метафизик, чуждый представлению о невозможном и абсурдном, недоступный никакому чувству справедливости и жалости, жестокий и коварный, безумно гордый, Ленин отдает на службу своим мессианистическим мечтам смелую и холодную волю, неумолимую логику, необыкновенную силу убеждения и умение повелевать... Субъект тем более опасен, что говорят, будто он целомудрен, умерен, аскет» (5). Эти люди не знают пощады, идя к мечте своей жизни.

Революция выметает инакомыслие. Известный чекист М. Лацис так определял свой принцип тотального истребления «врагов народа» во время революции: «Мы не ведём войны против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против Советской власти. Первый вопрос, который мы должны ему предложить, – к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого» (6). Какого жребия хотели организаторы террора, когда, спустя 20 лет, очередь дошла и до них? И почему, собственно, мы должны их жалеть?

Официально «Красный террор» был объявлен 2 сентября 1918 года Яковом Свердловым в обращении ВЦИК и подтверждён постановлением Совнаркома от 5 сентября 1918 года как ответ на покушение на Ленина 30 августа, а также на убийство в тот же день председателя Петроградской ЧК М. Урицкого. Официальное издание Петросовета, «Красная газета», комментируя убийство главного столичного чекиста, писала: «Убит Урицкий.

На единичный террор наших врагов мы должны ответить массовым террором... За смерть одного нашего борца должны поплатиться жизнью тысячи врагов». И далее: «Кровь за кровь. Без пощады, без сострадания мы будем избивать врагов десятками, сотнями. Пусть их наберутся тысячи. Пусть они захлебнутся в собственной крови! Не стихийную, массовую резню мы им устроим. Мы будем вытаскивать истинных буржуев-толстосумов и их подручных. За кровь товарища Урицкого, за ранение тов. Ленина, за покушение на тов. Зиновьева, за неотмщенную кровь товарищей Володарского, Нахимсона, латышей, матросов – пусть прольётся кровь буржуазии и её

слуг, – больше крови!» (7). Сам Зиновьев после убийства Урицкого хотел разрешить всем рабочим расправляться с неугодными прямо на улице – за себя, и за того Нахимсона. А ведь самосуд хуже любого суда. Он сплачивает на основе преступления. И это – сплочение зверей.

Самой крупной акцией красного террора стал расстрел в Петрограде 512 представителей элиты (бывших сановников, министров, профессоров). Данный факт подтверждает сообщение газеты «Известия» от 3 сентября 1918 года о расстреле ЧК города Петрограда свыше 500 заложников. По официальным данным ЧК, всего в Петрограде в ходе красного террора было расстреляно около 800 человек.

«Еженедельник ВЧК» добросовестно сообщал о взятии заложников, отправке в концентрационные лагеря и расстрелах. Согласно сведениям газеты, ЧК Нижнего Новгорода под руководством Н. Булганина (того самого фиктивного маршала и президента СССР при Н. Хрущеве), «ликвидировала» с 31 августа 141 заложника; 700 заложников были подвергнуты аресту в течение нескольких дней. В городе Вятка Уральская ЧК произвела в течение одной недели казнь 23 «бывших жандармов», 154 «контрреволюционеров», 8 «монархистов», 28 «членов партии кадетов», 186 «офицеров» и 10 «меньшевиков и правых эсеров». ЧК Иваново-Вознесенска сообщает о 181 заложниках, уничтожении 25 «контрреволюционеров» и основании «концентрационного лагеря на 1000 мест». ЧК города Себежа «ликвидировала» «16 кулаков и попа, отслужившего молебен в память кровавого тирана Николая II»; ЧК Твери – 130 заложников, 39 казнённых; Пермская ЧК – 50 ликвидаций (8).

И так далее, и тому подобное: приведённый перечень – лишь небольшая часть информации. Страшные цифры и факты, где активно мелькают

фамилии будущих жертв режима, вроде Зиновьева, или уцелевших правителей, типа Булганина (на излете лет – благостного старичка с бородкой). В борьбе с казаками особо отличились многие будущие жертвы сталинских чисток, тот же Иона Якир, который придумал установить в тамошних местах процент уничтожения мужского населения. Но именем Якира называют улицы, поскольку он считается незаконно репрессированным. Или еще характерная черта: другой репрессированный военачальник – Виталий Примаков. В архиве его жены Лили Брик (она успела побывать замужем и за ним) сохранился акт обыска при аресте Примакова, где среди изъятых вещей значится: «Портсигар желтого металла с надписью «Самому дорогому существу. Николаша». Подарок убитого большевиками Николая Второго его возлюбленной, балерине Матильде Кшесинской, который у нее был реквизирован большевиками... Советская власть щедро одаривала награбленным своих героев и подобное мародерство «награжденных» не смущало. Но мародерство рано или поздно ведет к разложению всего войска.

Грабили отдельных людей, грабили и бюджет. В ноябре 1921 года, то есть тогда, когда голодом были охвачены 18 губерний России, когда ежедневно погибали тысячи граждан, Ленин подписывает постановление Совета Труда и Оборона (СТО) о выделении ВЧК дополнительно к ранее отпущенным средствам еще 792 000 рублей золотом. Гигантская сумма. Для какой цели отпускались ВЧК столь большие деньги в постановлении не расшифровывается, но, обратите внимание, астрономические средства идут в распоряжение красной охраны на фоне лютого голода. Сколько людей можно было накормить за счет канувших в никуда денег!

Стоит задуматься над тем, что жертвы партийных репрессий 1930-х годов несопоставимы в

количественном отношении с результатами устроенной их стараниями Октябрьской революции и Гражданской войны. В 1934–1938 годах погибло примерно в 30 раз (!) меньше людей, чем в 1918–1922 годах. Даже в 1922 году В. Ленин еще заявляет о **невозможности** прекращения террора и необходимости его законодательного урегулирования, что следует из его письма наркому юстиции Курскому от 17 мая 1922 года: «Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас. Формулировать надо как можно шире, ибо только революционное правосознание и революционная совесть поставят условия применения на деле, более или менее широкого. С коммунистическим приветом, Ленин» (9). И репрессии продолжались – каждый день в стране расстреливали десятки человек, и это на фоне таких симпатичных историкам 20-х годов.

Государство именовалось «диктатурой пролетариата», и оно было диктаторским. В стране царила официальная «диктатура». Удивляться, что Сталин стал диктатором в стране диктатуры просто глупо – не он или Троцкий, так кто-нибудь другой. И значит, репрессии против инакомыслящих были неизбежны.

Может, все-таки, дело в статусе жертв репрессий тридцатых? Во время Гражданской войны гибли представители предыдущих правящих классов, которых революция сознательно выметала из страны, плюс миллионы безымянных крестьян и рабочих. Во втором случае, в результате т. н. «сталинских репрессий», пострадали представители партийной элиты и тесно связанной с ней интеллигенции, потомки которых оставались у власти вплоть до самого распада СССР. Память о репрессиях носила у них буквально генетический характер – кого ни копнешь, либо родственник репрессированного, либо знаком был с репрессированными, либо просто был в курсе происходящего. Между тем, миллионы рядовых граждан Страны Советов ни о чем злодейском не ведали вплоть до XX съезда. А вот память о коллективизации, о голоде, о распаде привычного быта сидела в народе крепко. Рискну даже предположить, что публичная расправа над партийцами в тридцатых была народу по нутру, как, своего рода, возмездие справедливого Бога/Царя неразумным боярам/хазарам.

Деление на «своих» и «чужих» (тогда это называлось «чуждый элемент») шло еще от Гражданской войны с ее неизбежным правилом «кто кого?». Внезапно оказалось, что право состоять в категории «своих» не бывает ни наследственным, ни даже пожизненным. За это право велась и ведется непрерывная борьба, и вчерашний «свой» в один миг может скатиться в категорию «чужих». Накопленный потенциал мести в СССР прорвался, как только Гражданская война (в скрытой форме) переместилась внутрь самой правящей партии.

Это было неизбежно, и раскол носил принципиальный характер. Большевизм изначально содержал в себе как бы два проекта: один глобалистский, в наиболее чистом виде представленный Л. Троцким («мировая революция»), и державный, представленный И. Сталиным («строительство социализма в одной стране»). В. Ленин, балансируя, соединял обе силы, пока они были союзниками в Гражданской войне. После окончания войны и смерти Ленина шаткий союз оказался расторгнут. Монархист В. Шульгин в книге «1921» верно подметил: «Большевики воображают, что они насаждают социализм в России, а вместо этого выковыывают страшную, крепкую, сильно спрессованную и национально, до шовинизма, настроенную Россию... но делается это стихийно, по каким-то неведомым никому законам... будет преемственность между Россией большевистской и Россией будущего, как была преемственность между революцией и Бонапартом. Не будет морального удовлетворения, что предатели получают возмездие от России. Они поедят друг друга сами, и сам большевизм излечит большевизм» (10). В общем, так и получилось: вожди и их сторонники сцепились в схватке, власть получил «красный император», большевизм – как радикальное течение, проповедующее мировую революцию – уступил место имперскому сознанию сверхдержавы.

Но вернемся в 1920-е годы, когда накапливался потенциал мести, с такой силой обрушившийся на непокорных в тридцатых годах. К власти, как мы уже говорили, пришел новый правящий слой – революционные интеллигенты, местечковые евреи, примкнувшие к ним задиры-матросы, просвещенные пролетарии, авантюристы-иностранцы. Собственно, это еще не слой, а, скорее, правящая клика, вызывавшая суеверный ужас или антисемитские насмешки:

*Абрамович, Цедербаум,
Шрейдер, Блехман, Карахан,
Кто они? Зачем так много
Семитических имен?
Может быть, то синагога?
Может быть синедрион?
Нет, то русского народа
Вседержители судьбы.
Правят им уж больше года
В грозный час его борьбы.
У украинцев есть гетман,
У поляков тоже – круль,
А у русского народа
Не то Мойша, не то Сруль (11).*

Секрет относительной крепости власти этой клики состоял в прочном обладании столицами государства и нараставшей поддержке крестьянства, составлявшего подавляющую часть населения страны. Утрата поддержки крестьянства в результате коллективизации и потребовала, в конечном итоге, переформатирования элиты. К началу партийных репрессий прошло всего полтора десятка лет после революции и окончания Гражданской войны. Все герои и их «геройства» были на слуху, плюс только закончилась коллективизация с ее миллионами жертв. Фанатическая реализация заданий первых пятилеток довела градус общественного кипения до высшей точки, пассионарного взрыва. Котел либо разорвался бы, либо из него нужно срочно выпустить пар. В. Каверин: «Общественная атмосфера, вполне сложившаяся к середине тридцатых годов, не упала с неба. Она была подготовлена, и хотя в конце двадцатых годов представляла как бы собой неорганическое соединение разнородных настроений, положений и мнений,

невысказанная формула рабства уже стремилась к своему воплощению» (12). Н. Мандельштам, «Воспоминания»: «Логически развиваясь, принцип деления на своих и чужих приводит к тому, что каждый скатывающийся становится «чужим» именно потому, что он катится вниз. Тридцать седьмой год и все, что за ним последовало, возможны только в обществе, где идея деления дошла до своей последней фазы» (13). Опять – двадцать пять, то есть тридцать семь. До пресловутого «тридцать седьмого», значит, людьми не считаются?!!

В 1924 году в одном только Ленинграде, руководимым будущей жертвой Сталина Г. Зиновьевым, было расстреляно 177 человек, годом раньше – 63 человека, годом позже – 113. Причем, к расстрелу тогда приговаривали прежде всего виновных в преступлениях «против государства» и «против рабочего класса», а не реальных убийц и совершивших прочие преступления против личности. То есть расстреливали не уголовников – тех, как правило, отправляли перевоспитываться – а политических противников режима. Хотя и самого товарища Зиновьева нужно было воспитывать-перевоспитывать. К. Чуковский с отвращением отмечает в своем дневнике: «До чего омерзителен З[иновьев]. Я видел его у Горького. Писателям не подает руки. Были я и Федин. Он сидел на диване и даже не поднялся, чтобы приветствовать нас» (14). Обычное красновельможное хамство.

Возвращаясь к расстрелянным в Ленинграде. Была ли такая необходимость в драконовских мерах товарища Зиновьева в отдельно взятом городе? Да нет же, репрессивная политика Советской власти в те годы еще не набрала последующих оборотов: по официальным данным, общее число лиц во всех местах заключения в СССР составило на 1 января 1925 года 144 тысяч человек, на 1 января 1926 года – 149 тысяч и на 1

января 1927 года – 185 тысяч человек^[75] (15). До окончания срока в середине 1920-х годов условно освобождались около 70 % заключенных. По опубликованному за рубежом данным, предоставленным антисоветской эмиграцией, в 1924 году в СССР насчитывалось около 1500 политических правонарушителей, из которых только 500 находились в заключении, а остальные были лишены права проживать в Москве и Ленинграде. Цифры, как видим, относительно умеренные. Что это за кровавую битву за «цитадель революции» устроил товарищ Зиновьев? У расстрелянных тоже были родственники, дети – как вы думаете, радовались ли они последовавшей через десяток лет ликвидации товарища Зиновьева и всех его подручных? Даже не сомневайтесь!

Другой важной составляющей накапливавшегося народного недовольства становился НЭП. Антинэповские настроения ярко отражали кризис послереволюционной массовой психологии, проявившейся в «синдроме обманутых надежд». «Сейчас те же капиталисты-буржуи живут, опять наживаются и все при власти рабочих. Как смотрит рабочий, изнуренный, истрепанный, больной, никак не могущий оправиться за 10 лет революции? Да он готов броситься разорвать его на кусочки, уничтожить, злоба кипит, рабочий недоволен...», – писал в 1927 году Сталину киевский рабочий Темкин (16). Бывший красноармеец Н. Шапкин рассуждал: «Верно, сейчас разрешили свободный труд и в деревне, но, товарищи, подумайте как же так, если я кулака, например, в 1918 году ставил к стенке, а теперь приду и скажу: “Иван Иванович, возьми меня подработать”, – вытерпит ли мое революционное сердце, чтобы склонить перед ним голову? Это уж будет не голова, а чурбан...» (17).

Среди недовольных кажущимся воскрешением капиталистических отношений были как радикальные троцкисты, так и радетели твердой государственной власти, ориентировавшиеся на Сталина. Будучи мотивированными либо стремлением «идти нога в ногу с прогрессом», либо более прагматичным желанием быстрого продвижения по социальной лестнице, молодые полуобразованные рабочие являлись ударной силой формировавшегося сталинского режима. Вскоре к ним присоединились возмужавшие в трудовых колониях ГПУ десятки тысяч перевоспитанных беспризорников, ставших янычарами режима. Методы перевоспитания от безграмотного поэта Ивана Бездомного (*«Взять бы этого Канта, да за такие доказательства года на три в Соловки!»*) имели множество искренних сторонников^[76]. Да плюс обиженные зажиточными мужиками крестьяне, да плюс не нашедшие себя после окончания войны красноармейцы, да мало ли было этих «приплюсовавшихся»!

Атмосфера в государстве постепенно накалялась – НЭП провоцировал недовольство промышленных рабочих, подтачивал социальную базу большевиков; снизу, понукаемое новыми красными помещиками, волновалось крестьянство; сбоку кряхтели остатки образованных дореволюционных классов, сверху пылала яростная партийная борьба. Свой вклад в нагнетании всеобщей озлобленности вносила – как и сегодня – пресса, осатанело воевавшая за «нового человека». О своем соавторе вспоминает Евгений Петров: «Ильф делал смешные и совершенно неожиданные заголовки. Запомнился мне такой: «И осел ушами шевелит». Заметка заканчивалась довольно мрачно: «Под суд!» (18) Тогда очень многие материалы заканчивались этим призывом, лишний раз нагнетая всеобщую истерию.

Чувство безопасности и защищенности отсутствовало как таковое. Обреченность руководит идущим сознаваться в ГПУ о Союзе «Меча и орала» Кислярским или перепуганным Берлагой, который готов сдаться едва ли не первому встречному, и только покорно спрашивает у пришедшего за ним незнакомца:

– *Домой позвонить можно?*

– *Чего там звонить,* – отвечает ему заведующий копытами Шура Балаганов^[77].

О какой «свободе двадцатых годов» рассуждали наивные шестидесятники? Вспоминается исторический анекдот, когда в конце жизни, уже в середине двадцатых годов знаменитый юрист А. Кони (тот самый, который служил одним из примеров благородства для Васисуалия Лоханкина) жаловался знакомому на старость. «Что вы, Анатолий Федорович, – ответил тот. – Грех вам жаловаться. Вон Бриан (президент Франции – К.К.) старше вас, а все еще охотится на тигров». – «Да, – ответил А.Ф., – ему хорошо: Бриан охотился на тигров, а здесь тигры охотятся на нас» (19). Ну что тут остается добавить: *«Бриан – это голова»*.

Показательно, что в 1920-х годах ГПУ и органы госбезопасности, несмотря на свой солидный кровавый опыт, еще не окружены тем облаком потустороннего ужаса, как десятилетием позже. В целом, симпатизирующие Советской власти граждане смотрят на ГПУ как на необходимый и здоровый фактор в жизни страны, оно «близко к народу», о нем запросто говорят и пишут сочувствующие строю писатели. Бендер пугает им недобитого дворянина Ипполита Матвеевича: *«Вам некуда торопиться. ГПУ к вам само придет»*. Грозное оружие было направлено в сторону «остатков старого режима», а не против «строителей коммунизма».

Дружить с геппеушниками стало почетно среди советской интеллигенции. С жандармами водить

дружбу стеснялись, а тут как с цепи сорвались. Для начала вспомним хотя бы о том, что среди деятелей литературы того времени было немало людей, самих имевших опыт работы в ВЧК-ОГПУ-НКВД, скажем, И. Бабель, А. Веселый, Б. Волин, И. Жига, Г. Лелевич, Н. Свирин, А. Тарасов-Родионов, О. Брик. Друг последнего – В. Маяковский – в порыве восторга даже написал знаменитое стихотворение «Солдаты Дзержинского», посвященное чекисту В. Горожанину.

*Солдаты Дзержинского
Союз берегут
Враги вокруг Республики рыскают.*

*Не к месту слабость и разнеженность весенняя.
Будут битвы громше, чем крымское
землетрясение.*

«Механики, чекисты, рыбоводы, Я ваш товарищ, мы одной породы...», – с чувством восклицал другой поэт – Э. Багрицкий. Поэт «одной породы» с чекистом, вот как...

Своего рода «единство» с ОГПУ продемонстрировала и большая группа литераторов, побывавшая в августе 1933 года в концлагере Беломорканала, чтобы воспеть затем работу чекистов в широко известной книге, где выступили тридцать пять писателей во главе с А. Горьким. Вдохновленные увиденным И. Ильф и Е. Петров писали о планах нового романа про Остапа Бендера: «Уже возникла необходимость писать третий роман, чтобы привести героя к оседлому образу жизни. Мы еще не знали, как это сделать. Останется ли он полубандитом или превратится в полезного члена общества, а если превратится, то поверит ли читатель в такую быструю

перестройку? И пока мы обдумывали этот вопрос, оказалось, что роман уже написан, отделан и опубликован. Это произошло на Беломорском канале. Мы увидели своего героя и множество людей, куда более опасных в прошлом, чем он...» (20) Анонсированный роман, который получил рабочее название «Подлец», к счастью, так и остался ненаписанным.

Писатели обзаводились полезными знакомствами, как новоселы мебелью. Личные связи были статусными, важными инструментами влияния в обществе распределения, где деньги переставали работать. Надежда Мандельштам: «В 30 году в крошечном сухумском доме отдыха для вельмож... со мной разговорила жена Ежова: “К нам ходит Пильняк, – сказала она. – А к кому ходите вы?” Я с негодованием передала этот разговор О.М., но он успокоил меня: “Все ходят. Видно, иначе нельзя. И мы ходим. К Николаю Ивановичу” (Бухарину – К.К.). Мы “ходили” к Николаю Ивановичу с 22 года, когда О. М. хлопотал за своего арестованного брата Евгения Эмильевича...» (21) Разумеется, дружба с чекистами – распорядителями человеческих жизней – находилась на самом верху интеллигентской табели о знакомствах. Анна Ахматова констатировала: «Литература была отменена, оставлен был один салон Бриков, где писатели встречались с чекистами...» (22) Вот их вместе и взяли.

Хочется в этой связи остановиться на судьбе одного из самых известных и влиятельных писателей 1920-х годов Исаака Бабеля, знатной жертвы сталинских репрессий. Вот ему сейчас в Одессе и памятник открыли^[78]. Бабель гордо рассказывал окружающим, что встречается **только** с милиционерами и **только** с ними пьет. Исаак Эммануилович не просто восхищался коллективизацией, но и сам лично ее осуществлял! С

февраля по апрель 1930 года он, по его собственному определению, «принимал участие в кампании по коллективизации Бориспольского района Киевской области». Вернувшись в Москву в апреле 1930-го, Бабель сказал своему другу Багрицкому: «Поверите ли, Эдуард Георгиевич, я теперь научился спокойно смотреть на то, как расстреливают людей». В начале 1931 года Бабель вновь отправился в те места... (23) И. Бабель много лет настойчиво работал над сочинением о чекистах, и ему мешало только следующее: «...не знаю, справлюсь ли, – признавался писатель, – очень уж я однообразно думаю о ЧК. И это оттого, что чекисты, которых знаю... просто святые люди. И опасаясь, не получилось бы приторно. А другой стороны не знаю. Да и не знаю вовсе настроений тех, которые населяли камеры, – это меня как-то даже и не интересует». А в придачу к вышеизложенному рассуждения вскоре расстрелянного М. Кольцова: «...работа в ГПУ продолжает требовать отдачи всех сил, всех нервов, всего человека, без отдыха, без остатка... Не знаю, самая ли важная для нас из всех работ работа в ГПУ. Но знаю, что она самая трудная...» и т. д. (24). Уместно привести также позднейшие (конца 1950 – начала 1960-х годов) рассуждения писателя В. Гроссмана о И. Бабеле и других: «Зачем он встречал Новый год в семье Ежова?.. Почему таких необыкновенных людей – его, Маяковского, Багрицкого – так влекло к себе ГПУ? Что это – обаяние силы власти?» (25)

Нет, не только «обаяние силы власти», но естественное состояние дружбы с теми, с кем избранная советская интеллигенция, как ей казалось, разделяла Власть и Ответственность за страну. И не только избранные, но и широкие круги интеллектуалов вовлекалось в дружественное общение с чинами ГПУ-НКВД. Сын известного разведчика Павла Судоплатова вспоминает: «На Мархлевке и на даче мы жили своей

семьей, бывали лишь родственники родителей, их дети, из сотрудников – семейство Рыбкиных, Соболев (Гуро), Зубовы, Ярославские, **мамины друзья из культурной интеллигенции Москвы** (выделено мной – К.К.); гостила у нас Елена Станиславовна из Одессы – ее настоящим именем названа героиня “Двенадцати стульев”» (26). Мама тогда еще юного Судоплатова-младшего официально надзирала за московской интеллигенцией – и ничего, «дружба» это называлось. Да и о родственных связях мы еще поговорим.

Чекисты тоже в долгу не оставались, и укрепляли своим жизненным опытом советскую литературу. Бывший народным комиссаром внутренних дел Латвии (а затем и Председателем тамошнего Совета Министров), Вилис Лацис прославился как писатель. Кровавый сообщник Бери В. Меркулов увлекался литературным творчеством, писал пьесы и публиковал их под псевдонимом Всеволод Росс, одна из них – «Инженер Сергеев» – даже ставилась на сцене Малого театра. Про судьбу «литератора» Андрея Свердлова мы уже вспоминали. А подручный сталинского прокурора А. Вышинского и автор сверхпопулярных детективов следователь Лев Шейнин!

Разумеется, дружба с «органами», любой значимой пролетарской властью, подразумевала получение обласканными литераторами определенных преференций, о чем свидетельствуют скупые страницы агентурных донесений:

«Агентурная записка Ист[очник] – “Минарет” Принял – Федоров

Случайно встретившись на улице (Невский) с Б.А. Лавреневым мне удалось услышать от него следующее:

– Сейчас работаю над сценарием “Первой Конной”, работа и интересная, и волокитная. Главная беда в том, что материалы необходимые не достанешь. Достать-то я их все равно достану, но время идет. Дело в том, что в

уважаемом Наркомате обороны страшная камарилья, склоки и т. п. закулисные истории. Буденный, узнав о том, что сценарий буду писать по инициативе Ворошилова, встал в амбицию: “Пусть Клим и материалы дает”. Обиделся, значит.

Вопрос к Лавреневу (мой): “А если бы инициатива была со стороны Буденного?”

Лавренев: “То Ворошилов бы начал палки в колеса вставлять. Там у них такое делается, я те дам. Во всесоюзном масштабе, что называется”.

По словам Лавренева, он поставил условие Ворошилову, напишет сценарий и чтобы получил 3-х месячный отпуск в Париж. Ворошилов якобы согласился.

О своих взаимоотношениях с Наркоматом обороны (о взаимоотношениях, конечно, на короткую ногу) Лавренев любит распространяться везде и всюду: и в клубе, и при встрече со знакомыми на улице, и даже в магазине, покупая папиросы. Рассчитывает главным образом на эффект, который производят на невольных слушателей его высказывания, причем слушатели, конечно, бывают приятно удивлены, узнавая, что говорит известный писатель Лавренев» (27).

И смех, и грех. Но так ли наивна была власть в своих играх с интеллигенцией? Следует еще раз подчеркнуть, что на уровне государственного строительства режим все-таки относил интеллигенцию к чуждой, враждебной и криминально-болезненной категории. Личная дружба вождей с «высоколобыми» ни в коем случае не останавливали разработку сотрудниками органов различных представителей интеллигенции. «Оперативки», аналогичные доносу про Лавренева, сохранились практически по всем известным деятелям той эпохи – от Ахматовой и Булгакова до Эйзенштейна. Координировал данную работу четвертый, секретно-политический отдел (СПО). СПО курировал следующие

контингенты оппозиции и интеллигенции (последовательность перечисления сохраняется строго по документу): «Троцкисты, правые, меньшевики, эсеры, бундовцы и другие антисоветские партии и группировки; духовенство, сектанты, интеллигенция – артисты, писатели, художники, врачи; система НКпроса (народного комиссариата просвещения – *К.К.*); Комитет искусства, научные учреждения» (28).

Дружба многочисленных бабелей, лавреневых, бриков и других совинтеллигентов с органами абсолютно не мешала чекистам системно добивать остатки старых образованных классов. Так, еще в 1930 году (25 сентября) в «Правде» было сообщение о расстреле сразу 48 руководящих работников пищевой промышленности («организаторов пищевого голода») во главе с профессором А. Рязанцевым. Само собой, широко известные «Шахтинское» дело или процесс «Промпартии», менее знаменитое дело «Эрмитажников», когда по сообщениям майских газет 1931 года, комиссия по проверки Эрмитажа выяснила, что «в числе сотрудников музея до самого последнего момента работали чуждые элементы».

При первой публикации «Мастера и Маргариты» в журнале «Москва» почти полностью была вырезана цензурой глава «Сон Никанора Босого» (одиннадцать страниц текста). Современному читателю не совсем понятна такая строгость к описанию нелепого сна. Между тем, люди старшего поколения прекрасно понимали, что речь идет о грандиозной кампании по отъему ценностей у населения в начале 30-х годов. Вспомним также арест Мастера – его трехмесячное отсутствие «с половины октября» и его возвращение в пальто с «оборванными пуговицами» (в советских тюрьмах у арестантов отрезались пуговицы на одежде, изымались пояса, ремни, шнурки). Да и в «Золотом теленке» сквозит настроение шаткости и

управленческой чехарды конца 1920-х – начала 1930-х годов: *«Не успевал номер пятый как следует войти в курс дела, как его уже снимали и бросали на иную работу. Хорошо еще, если без выговора. А то бывало и с выговором, бывало с опубликованием в печати, бывало и хуже, о чем даже упоминать неприятно».* «Неприятно» в данном контексте следует понимать, как уголовную ответственность.

Но в целом, «товарищи», в отличие от «царских недобитков», долго чувствовали свою безнаказанность, а то и прямую защиту государства, которое предоставляло им различные преференции и льготы. Например, когда разразился великий голод начала тридцатых, в райкомы пострадавших от голода районов пришла совершенно секретная инструкция ЦК, которая гласила: «Самое страшное, если вы вдруг почувствуете жалость и потеряете твердость... Иначе некому будет вернуть урожай стране» (29).

О многом вспоминать неприятно, но необходимо – когда наследники палачей рядят их в тогу жертв, становится не просто противно. Опасно делать выводы, опираясь на неверные предпосылки – история тогда начинает развиваться по разрушительному сценарию, что и получилось с нашей общей страной.

Репрессии против остатков старой интеллигенции и прочих образованных классов шли все 1920-е и в начале 1930-х годов, причем применялись те же методы, что в 1937 году – психологическое давление, пытки и, как венец правосудия, – расстрел. И наследники совинтеллигентов не очень-то тех репрессий пугаются. Им, попросту говоря, наплевать на то, что происходило до удара 1937 года непосредственно по их привилегированному классу.

Бывший переводчик Сталина В. Бережков вспоминал, как в Киеве из тюрьмы, после какого-то интеллигентского псевдо-процесса, выпустили его отца,

инженера-специалиста с дореволюционным стажем: «Отца сопровождал маленький человечек в военной форме и портупее, в петлицах по две шпалы, что означало довольно высокий ранг. Волосы у него были рыжие, вьющиеся и, похоже, давно не чесанные.

– Следователь Фукс, Абрам Иосифович, – представился он... Отец довольно холодно попрощался с Фуксом. Меня это даже покорило. Все это время Фукс с таким участием нам улыбался. Он, казалось мне, тоже радуется, что наше тяжелейшее испытание окончилось. В конце концов, следователь ГПУ тоже человек. Я готов был простить его, даже если он порой плохо обращался с отцом. Только потом мы узнали, что, добиваясь “признаний”, отца жестоко избивали, заставляли сутками стоять в узком карцере, лишали сна, сажали в одну камеру с уголовниками, подвергали и более изощренным пыткам. Но он обладал несокрушимой волей и атлетическим телосложением. Это помогло ему вынести все издевательства. Он много раз терял сознание, но не подписал ни одной бумажки, которые ему подсовывал следователь» (30).

Как сложилась судьба рыжего Фукса? Подозреваю, трагически, как и у большинства советских чекистов той эпохи. Например, был расстрелян Е. Евдокимов, фальсифицировавший «Шахтинское дело» (а до того отличившийся зверствами в Крыму, захваченном Красными войсками после отступления белых)^[79]. В числе прочих, расстрелян В. Балицкий, который сфабриковал в 1931 году дело «Союза вызволения Украины». Писатель Г. Снегирев, сын одной из подсудимых на процессе СВУ (который подробно описан в его повести «Мама, моя мама») наслаждается возмездием палачам: «Казнены советской властью следователи Бруки, Броневые, Грозные, покатились в

яму Балицкий, Михайлик и прочие, уничтожены прокуроры Ахматов, Быструков, Якимишин...»

А ведь Балицкий, если верить совинтеллигентам, милейший человек был. Стадион «Динамо» в Киеве носил тогда имя наркома внутренних дел Украины В. Балицкого, инициатора строительства этого спортивного сооружения. Таких хороших людей – и в расход! Ну, не свинство ли? А Снегирев продолжает злорадствовать: «Пора сказать и о блистательном общественном обвинителе Панасе Любченко. В ночь на 30 августа 1937 года Панас Петрович вырвался в одной белой рубашке с заседания ЦК компартии Украины. Был он в то время не более и не менее как главой правительства УССР, председателем Совнаркома Украины, знай наших!.. Так вот, вырвался в одной рубашке, вскочил в свою машину и помчался к себе домой якобы за важными какими-то бумажками. Вбежал в дом, особняк на улице Ленина возле велотрека – и ночную тишину пререзали три пистолетных выстрела: жену, сына, себя...» (31).

Трагическая судьба, но именно благодаря сотням тысяч евдокимовых, балицких, любченков, их неустанной работе в двадцатые и тридцатые годы, в стране установилась атмосфера, в которой стал возможен Большой террор. Согласно оперативному сообщению, в ноябре 1934 года умница И. Бабель обронил в узком кругу: «Люди привыкают к арестам, как к погоде. Ужасает покорность партийцев и интеллигенции к мысли оказаться за решеткой. Все это – характерная черта государственного режима» (32). Режим, установленного и воспетого с помощью таких, как Бабель.

Если присмотреться, и за занимательной фабулой «Мастера и Маргариты» таится атмосфера страха, тотальной слежки и бесконечных исчезновений: *«И в эту минуту в столовую вошли двое граждан, а с ними*

почему-то очень бледная Пелагея Антоновна. При взгляде на граждан побелел и Никанор Иванович...» Или: «... еще через час неизвестный гражданин явился в квартиру номер одиннадцать... пальцем выманил из кухни Тимофея Кондратьевича в переднюю, что-то ему сказал и вместе с ним пропал». И, если вчитаться, таких пропаж в романе множество. Возможный арест и исчезновение – повседневность описываемого общества.

Итак, советское образованное сословие воспринимало работников «органов» как печальную, но объективную реальность, а наиболее преданные режиму старались максимально с ними сблизиться, подружиться, породниться. Они никак не ожидали, что начнется разгром органов, вообще всей едва сложившейся советской элиты, который непосредственно заденет и их.

Первый звоночек прозвенел ещё в 1929 году – расстрел весьма известного, в том числе и литературных кругах, Якова Блюмкина.

Знаменитый чекист Блюмкин прославился как убийца немецкого посла Мирбаха в 1918 году. После вел полную авантюристическую жизнь, стал одним из руководителей ГПУ. В 1929 году он создал нелегальную резидентуру в Турции, используя финансовые средства, полученные от продажи хасидских древнееврейских рукописей, переданных ему из особых фондов Государственной библиотеки. Эти деньги предназначались для создания боевой диверсионной организации против англичан в Турции и на Ближнем Востоке. Однако Я. Блюмкин передал часть средств Л. Троцкому, который после высылки из СССР некоторое время жил в Турции. Более того, он привез в Москву письмо Троцкого, адресованное только что вернувшемуся из ссылки (отправлен туда после поражения Троцкого в партийной борьбе) видному большевику Карлу Радеку.

Радек дружил с Блюмкиным еще со времён Гражданской войны. Однако Радек быстро сообразил, что у него появилась возможность восстановить своё

былое положение в партии. Он сразу помчался в Кремль и передал Сталину всё, что узнал от друга.

Я. Блюмкин был доставлен в тюрьму. На допросах он держался храбро, и смело пошёл на расстрел. В последний момент перед тем, как его жизнь оборвалась, он успел крикнуть: «Да здравствует Троцкий!». Вскоре «органам» стало известно, что о предательстве К. Радека и обстоятельствах ареста Я. Блюмкина каким-то образом дознались лидеры оппозиции, в том числе и Троцкий в своём турецком изгнании. Вина Радека по своей тяжести была равносильна тому, если бы он сделался агентом-provокатором советских карательных органов. Специальное расследование, проведённое по приказу руководителя ведомства Г. Ягоды, позволило установить, что оппозиционеры получили эти сведения от сотрудника Секретного политического управления Рабиновича, втайне разделявшего их взгляды. Рабинович был расстрелян без суда.

Тайный расстрел Блюмкина, относящийся к 1929 году, произвёл тяжёлое впечатление на всех, кто узнал об этом деле. Старые большевики – даже те из них, кто никогда не имел ничего общего с оппозицией, – начали бойкотировать Радека и перестали с ним здороваться. В истории СССР это был первый случай расстрела члена большевистской партии за сочувствие оппозиции. Сам Ленин, ссылаясь на печальный пример Французской революции, предупреждал своих последователей против вынесения смертных приговоров членам правящей партии большевиков. На протяжении десятилетия Советская власть не нарушала этого ленинского завета и неписаный закон запрещал вынесение смертного приговора членам партии за политические проступки. «Дело Блюмкина» показало сталинской команде, насколько сильны оппозиционные течения в партии, а значит, приближалось время решительных

действий. Они лишь временно откладывались до окончания коллективизации – невозможно одновременно укрощать народ и воевать с соратниками.

Симптоматично, что внутри революционной партии наконец появилось то, от чего уже давно страдало все общество – понятие доноса. Когда в 1931 году вышла книга «Неизданный Щедрин», Сталин ее многократно перечитывал; он особо отмечает карандашом понравившиеся ему фразы и жирно подчеркивает «пишите, мерзавцы, доносы» (33). Л. Смирнова: «Страх постепенно вползал в наши души. Помню, когда мы собирались у кого-нибудь в гостях, даже форточки закрывали: вдруг кто-то ненароком услышит наш разговор и побежит докладывать куда следует. Однажды так и было... Мы достаточно свободно говорили на многие темы. Не боясь огласки – друзья ведь. И напрасно. Через два дня одного из моих друзей арестовали. Был донос» (34). С конца двадцатых одним из основных мотивов поведения людей становится страх.

Процветали доносы не только политические, доносительство оставалось одной из весьма распространенных форм апелляции во властные структуры, в том числе и в формах, отвечавших стереотипным представлениям о «борьбе за социальную справедливость»: у кого чего больше, где государству надо обратить внимание на недостатки. В. Кожинов отмечает: «В данном случае существенна не этическая, а практическая сторона дела: во-первых, нет оснований сомневаться, что в 1937 году и позже было исключительно широко распространено именно совершенно “добровольное” доносительство, диктуемое искренней убежденностью, а во-вторых, те разного рода “приспособленцы”, которые доносили “по службе”, или, скажем, “из страха”, в конечном счете, опирались

на царившую в стране атмосферу “разоблачения врагов”... И с практической (а не этической) точки зрения добровольное доносительство, воспринимаемое и самим доносителем, и его окружением как “правильное”, нормальное – и даже истинно нравственное! – поведение, без сомнения, гораздо “опаснее”, чревато во много раз более тяжкими последствиями, чем доносы по службе или из страха...» (35)

Донос и сегодня во многом является основой правопорядка во всех государствах, в том числе, европейских странах и США. Широкие массы населения СССР тоже активно проявляли инициативу и доносили на подозрительных личностей. Для них доносительство стало формой участия в Великой Революции и охраной ее завоеваний. Нервничает гражданин Корейко, забирая чемодан с миллионами, украденными у народа: *«Сегодня пятница. Значит, опять нужно идти на вокзал», – произнес эти слова, человек в сандалиях быстро обернулся. Ему показалось, что за его спиной стоит гражданин с цинковой мордой соглядателя».*

Богатый спектр доносов и их последствий дает нам Булгаков:

– Это вы, прочитав статью Латунского о романе этого человека, написали на него жалобу с сообщением о том, что он хранит у себя нелегальную литературу? – спросил Азazelло.

Новоявившийся гражданин посинел и залился слезами раскаяния.

– Вы хотели переехать в его комнаты? – как можно задушевнее прогнусил Азazelло...

Голос душевный, как у «доброго» следователя. А может прислужник сатаны доносить и чужим голосом: *«Алло! Считаю долгом сообщить, что наш председатель жилтоварищества дома номер триста два-бис по Садовой, Никанор Иванович Босой, спекулирует*

валютой. В данный момент в его квартире номер тридцать пять в вентиляции, в уборной, в газетной бумаге четыреста долларов...»

Целая галерея портретов доносителей прорисована в «Мастере и Маргарите» – Алоизий Могарыч, Азazelло в роли Тимофея Квасцова, барон Майгель. Последний вообще срисован с натуры. Прототип Майгеля – Б. Штайгер, уполномоченный Коллегии Народного комиссариата просвещения РСФСР по внешним сношениям. Булгаков прекрасно знал бывшего барона Бориса Сергеевича Штайгера (кстати, тоже киевлянина), охотно и беспрепятственно посещавшего дома вождей партии и государства, посольства, писательские и актерские собрания, работавшего в Наркомпросе под началом Авеля Енукидзе. Елена Сергеевна Булгакова как-то записала: «У Уайли было человек тридцать. Среди них – веселый турецкий посол, какой-то французский писатель, только что прилетевший в Союз, и, конечно, барон Штейгер – непременная принадлежность таких вечеров, “наше домашнее ГПУ”, как зовет его, говорят, жена Бубнова» (36).

– Да, кстати, барон, – вдруг интимно понизив голос, проговорил Воланд, – разнеслись слухи о чрезвычайной вашей любознательности... Более того, злые языки уже уронили слово – наушник и шпион.

В 1937 году Б. Штайгер был расстрелян вместе со своим шефом А. Енукидзе.

Числились среди негласных сотрудников НКВД и другие, ныне возведенные в ранг святых, деятели искусства. Например, к наиболее важным из осведомителей генерал НКВД П. Судоплатов относил знаменитых еврейских актера С. Михоэлса и поэта И. Фефера, после войны уничтоженных в рамках ликвидации Еврейского антифашистского комитета.

Сегодня они считаются мучениками и жертвами антисемитского режима.

Расцвету шпиономании и доноительства содействовала, кроме внутренних причин, и внешнеполитическая ситуация. Советская Республика реально оставалась государством, пребывающим в гордом одиночестве на карте мира. Целью разведывательной активности иностранных разведок, например, польской, мишенью для белоэмигрантских организаций и задекларированной будущей жертвой пришедших к власти в Германии нацистов.

Во время войны эпидемия доноительства, воспринимаемого как патриотический долг, достигла апогея. Корней Чуковский описывает потрясший его случай: «Когда я написал “Одолеем Бармалея”, а художник Васильев донес на меня, будто я сказал, что напрасно он рисует рядом с Лениным – Сталина, меня вызвали в Кремль, и Щербаков, топая ногами, ругал меня матерно. Это потрясло меня» (37). Чуковского потряс даже не факт доноса одного интеллигента на другого, а отношение власти к нему лично. К доносам все уже привыкли.

Эта отравленная атмосфера сохранилась и после войны. Показательна в этом отношении история с популярным певцом Вадимом Козиным. Всю войну Козин выступал, гастролировал, но после войны его арестовали. Музыкант его ансамбля некий Л. Штейнберг написал донос на Вадима Алексеевича. Его обвинили в том, что он клеветал на советскую действительность, руководителей ВКП(б), отрицал возможность построения социализма в СССР, осуждал политику ВКП(б) в области сельского хозяйства. В результате, Козин получил 8 лет лишения свободы и навсегда стал жителем Магадана.

Природу доноса и доноительства, наряду с арестами и психологией власти, подробно анализирует

в своем романе Булгаков:

- Дело было так, - охотно начал рассказывать арестант, - позавчера вечером я познакомился возле храма с одним молодым человеком, который назвал себя Иудой из города Кириафа. Он пригласил меня к себе в дом в Нижнем Городе и угостил...

- Добрый человек? - спросил Пилат, и дьявольский огонь сверкнул в его глазах.

- Очень добрый и любознательный человек, - подтвердил арестант, - он высказал величайший интерес к моим мыслям, принял меня весьма радушно...

- Светильники зажег... - сквозь зубы в тон арестанту проговорил Пилат, и глаза его при этом мерцали.

- Да, - немного удивившись осведомленности прокуратора, продолжал Иешуа, - попросил меня высказать свой взгляд на государственную власть. Его этот вопрос чрезвычайно интересовал...

Современница Булгакова Н. Мандельштам: «Жизнь ставила нас в условия чуть ли не карбонариев. Встречаясь, мы говорили шепотом и косились на стены - не подслушивают ли соседи, не поставили ли магнитофон. Когда я приехала после войны в Москву, оказалось, что у всех телефоны закрыты подушками: пронесся слух, что в них установлены звукозаписывающие аппараты, и все обыватели дрожали от страха перед черным металлическим свидетелем, подслушивающим их потаенные мысли. Никто друг другу не доверял, в каждом знакомом мы подозревали стукача» (38). Даже мое поколение хорошо помнит бесконечные вычисления стукачей и страх прослушивания. Хотя никакого массового подслушивания и прослушивания в СССР не осуществлялось, не настолько богатое было государство. Во многих областных центрах даже служб соответствующих не имелось, обходились информацией от оперативных сотрудников.

После смерти Сталина специальным решением партийных и государственных органов, оформленных приказами по КГБ СССР, запрещалось использование такого рода средств в отношении партийных и советских руководителей всех уровней, выборных комсомольских и профсоюзных работников, начиная с районного звена, членов коллегий министерств и ведомств, сотрудников партийной и комсомольской печати, народных депутатов всех уровней. Никто не имел права нарушить эти приказы. Таким образом, номенклатура старалась обезопасить себя от повторения сталинского произвола. А заодно вышла из-под контроля советской контрразведки, в конце коммунистической эпохи активно налаживая связь с иностранными спецслужбами. Вопрос деятельности западных «агентов влияния» остается одним из самых больных вопросов современности, поскольку многие из них живы и продолжают играть активную роль в политике и экономике постсоветских стран.

IV

Мы говорили о накоплении взрывоопасного материала, который обрушился на советскую элиту массовыми репрессиями тридцатых годов. Это ярость обманутых крестьян, разложение самой элиты, непрекращающаяся вакханалия репрессий против остатков старых классов; здесь и порождающая страх эпидемия доносительства, и острая партийная борьба, и внешнеполитическое положение СССР... Пожалуй, можно было предугадать неизбежность взрыва и большевистского решения накопившихся проблем простым способом разрубания Гордиева узла. Другого быстрого варианта выпутаться из хитросплетений строительства социализма власть просто не имела и поступить иначе не умела.

Сейчас много пишут о том, что после т. н. «Съезда победителей» начало массовых репрессий застало общество врасплох. Это не так – погром застал врасплох только два десятка лет безнаказанно правившую коммунистическую верхушку. Другие слои общества всё время подвергались непрекращающемуся давлению. Важно то, что партийные и советские органы вели репрессивную политику не в противодействии с влиятельными слоями художественной общественности, а в союзе и контакте с ними. Причем некоторые титаны духа контактировали так рьяно, что порою даже ЦК партии и генсек вынуждено защищали одних интеллигентов от других.

Для публичного официального озвучивания директивных указаний, как правило, использовался главный печатный орган страны – газета «Правда». *«Эти акробаты пера, эти виртуозы фарса, эти шакалы ротационных машин...»* – сколько невинных людей

пострадало от лап этих тоже вроде бы интеллигентов. Быть раскритикованным или хотя бы неодобрительно упомянутым в «Правде» означало крупнейшую неприятность для человека любого положения и ранга. «Правдистами», в числе прочих, были Илья Ильф и Евгений Петров. Их приятель Борис Ефимов вспоминал: «Ни для кого не была секретом близость редактора “Правды” Мехлиса к Хозяину и предполагалось, что все, напечатанное в “Правде”, согласовано с “Вождем и Учителем”. “Напечатано в “Правде”, “В “Правде” сказано”, “Правда” по этому вопросу считает...” – это стало высшим и окончательным критерием в суждении или споре по каждому вопросу культуры, науки, искусства» (39).

Наглядный пример влияния газетной бумаги на жизнь гения находим в дневниках Елены Сергеевны Булгаковой: «9 марта. (1936 г.) В “Правде” статья “Внешний блеск и фальшивое содержание”, без подписи. Когда прочитали, М. А. сказал: «Конец “Мольеру”, конец “Ивану Васильевичу”». Днем пошли во МХАТ – “Мольера” сняли, завтра не пойдет» (40). Известен агентурный отчет о самочувствии Булгакова после инициированного П. Керженцевым^[80] снятия «Мольера» и редакционной статьи в «Правде»: «Сам Булгаков сейчас находится в очень подавленном состоянии (у него вновь усилилась его боязнь ходить по улицам одному, хотя внешне он старается ее скрыть)» (41). Страх бесследного исчезновения, как пропадали его персонажи в «Мастере и Маргарите», преследовал потом писателя до конца дней. Такова была сила воздействия официального слова партии.

Между тем, сама газета, выносившая суровые приговоры деятелям искусства, профессионализмом не блистала. Е. Петров признавал, что «Правда» делалась крайне слабо: «90 % сотрудников не имеют ни

малейшего понятия о газете. Рассказы, как нарочно, печатаются самые скверные. Стихи еще хуже. Рецензии анекдотически плохи. Хроника пишется отвратительным казенным языком. Нет более или менее приличных корреспондентов. Самые интересные события подаются так, что не хочется читать» (42). Петров был опытным «правдистом» и знал, о чем пишет. «Правдистом» считался и другой корифей советской литературы – Демьян Бедный. Его лаконичные топорные эпиграммы на страницах «Правды» напоминали безапелляционные судебные вердикты. Для иллюстрации, его «рецензия» на постановку «Горя от ума» в театре Мейерхольда:

*Белинским сказано давно,
Что «Горе от ума» есть мраморная глыба.
А Мейерхольд сумел, чего другие не смогли
бы, —
Он мрамор превратил в г. вно.*

Острое словцо – оно тоже подчеркивает народность. Там же, в «Правде», о театре В. Мейерхольда рассуждал А. Жданов: «Известно недавнее постановление о ликвидации театра Мейерхольда – чуждого советскому искусству. Непонятно, однако, почему Комитет по делам искусств и его руководитель товарищ Керженцов в течение такого долгого времени допускали существование у себя под боком, в Москве, театра, который своим кривлянием, трюкачеством пытался опошлить пьесы классического репертуара...» («Правда», 18.01.1938 г.). Так и не стало тов. Керженцева, стерли жернова репрессий пресловутого основателя Лиги Времени, давнего гонителя Булгакова, который довел Михаила Афанасьевича до тяжелой душевной болезни.

За полгода до смерти, Булгаков, анализируя прожитые годы, все время возвращался к одной и той же теме – к своей загубленной жизни. «М. А. обвиняет во всем самого себя, – пишет Елена Сергеевна. – А мне тяжело слушать это. Ведь я знаю точно, что его погубили. Погубили писатели, критики, журналисты» (43). Еще раз – погубили **писатели, критики, журналисты**. Разумеется, и система, но система состоит из живых людей.

Твардовский рассказывал, как, сидя на каком-то собрании между Кожевниковым (который в ту пору заведовал литературным отделом «Правды») и Ермиловым, он услышал следующий разговор:

«Кожевников (перегибаясь через Твардовского): – Володька! Останься после собрания.

Ермилов: – Зачем?

Кожевников: – Мокрое дело есть.

Это означало, конечно, что кого-то надо было проработать в «Правде» до потери сознания» (44).

Во время тридцатых власть, используя государственную пропаганду и средства массовой информации, старательно способствовала нагнетанию психоза, давая понять обществу, что неприкосновенных отныне нет. Того же Демьяна Бедного, только что топтавшего Мейерхольда, в августе 1938 года выгоняют из партии (в которой он состоял с 1912 года), а потом исключают из Союза писателей. Но он еще легко отделался – завязатого революционера запросто могли расстрелять или отправить в лагерь...

Вот еще, кстати, излюбленный штамп либеральной интеллигенции – «лагеря». «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына породил огромное количество интерпретаций, толкований и даже анекдотов. Аббревиатура «ГУЛАГ», по сути, стала синонимом тоталитарного режима. Попытаемся разобраться, что

же справедливо в наших интеллигентских рассуждениях, а что нет.

Созданная в 1930 году система ГУЛАГа (Главного управления лагерей) включала в себя спецпоселения (ссылка), колонии (для осужденных на срок менее 3 лет) и лагеря. Затем в систему ГУЛАГ были включены «Бюро исправительных работ» (БИРы), которые ведали лицами, осужденными к принудительным работам без лишения свободы (и с вычетом до 25 % заработка). Так, к началу Великой Отечественной войны на учете БИРов ГУЛАГа состояло 1264 тыс. осужденных. **97 % их работали по месту своей основной работы.** Это надо учитывать, когда приходится читать фразы типа «он был отправлен в ГУЛАГ» или «за опоздание на работу приговаривали к ГУЛАГу» (45).

Что касательно удаленных лагерей и строек, то, по сути, это была плановая мобилизация рабочей, точнее, рабской силы. В рамках первых пятилеток остро стал вопрос развития отдаленных северных и восточносибирских регионов, куда вольнонаемные ехать добровольно не хотели и, таким образом, советский режим посылал на тяжелые работы многотысячные массы людей. Какого размаха была эта операция, видно из сравнения итогов всесоюзных переписей населения 1926 и 1939 годов. За 13 лет число жителей советского Дальнего Востока выросло на 329 %, Восточной Сибири – на 384 %, а Севера европейской части страны – на 558 % (46). Давайте называть вещи своими именами – речь идет об использовании принудительного труда, хотя этот процесс имел и свои особенности – ту же идеологическую составляющую. Так строительство Беломоро-Балтийского канала обставлялось как некая грандиозная акция по перевоспитанию антисоветски настроенных элементов, что авторитетно подтвердила

экспедиция на стройку отечественных писателей во главе с М. Горьким.

Как ни парадоксально, но о некоторых воспитательных стимулах для заключенных можно говорить, как о факте. Например, большое значение имело объявление о том, что хорошо работающие будут досрочно освобождаться, а также введение сдельной оплаты труда. Заработанные деньги строители канала имели право отправлять семье. На строительстве канала «Москва-Волга» заключенные внесли за год около 4 тысяч с лишним рационализаторских предложений, из которых принято и реализовано 1200. Смутные отголоски «воспитательного эффекта» и привкус тюремной баланды мы встречаем у М. Булгакова, в главе «Сон Никанора Босого»:

«Веселые повара шныряли между театрами, разливали суп в миски и раздавали хлеб.

*– Обедайте, ребята, – кричали повара, – и сдавайте валюту! Чего вам зря здесь сидеть? Охота была эту **баланду** хлебать. Поехал домой, выпил, как следует закусил, хорошо!»*

Пребывание в лагере было страшным испытанием, но как социальный институт ГУЛАГ «лагерем смерти» все-таки не был, его целью являлось экономическое производство. Смертность в нем не слишком превышала смертность тех же возрастных категорий на воле – стабильно она составляла около 3 %. Лишь в 1937-1938 годах она подскочила до 5,5 и 5,7 %, когда назначенный наркомом внутренних дел Н. Ежов приказал уменьшить рацион питания. В ту зиму, читая в газете, как поносят Г. Ягоду, который, мол, вместо лагерей устраивал настоящие санатории (Ежов уже начал наводить свои порядки) Мандельштам ядовито заметил: «Я и не знал, что мы были в лапах у гуманистов». Он имел ввиду свою первую ссылку, однако жизнь свою поэт все же

закончил в лагерях, немногим пережив расстрелянного Генриха Ягоду.

Мифы гласят о миллионах людей, замученных коммунистами в ГУЛАГе, и предполагается, что этим астрономическим цифрам нужно верить на слово. Между тем доподлинно известно, что с 1 января 1934 года по 31 декабря 1947 года в исправительно-трудовых лагерях ГУЛАГа умерло 963 766 заключенных, из коих большинство были не «врагами народа», а уголовниками. И основное число смертей приходилось на годы войны. Также, вопреки распространенному мнению, основная масса осужденных за контрреволюционные преступления находилась в лагерях ГУЛАГа не в 1937-38 годах, а во время и после войны. Например, таких осужденных было в лагерях в 1937 году 104 826 человек и в 1938 году 185 324 человека (12,8 и 18,6 % всех заключенных лагерей, соответственно), а в 1947 году 427 653 человека (54,3 %). В частности, после войны на спецпоселения поступило 148 тысяч «власовцев». По случаю победы их освободили от уголовной ответственности за измену Родине, ограничившись ссылкой. В 1951-52 годах из их числа было освобождено 93,5 тысяч человек. Большинство литовцев, латышей и эстонцев, служивших в немецкой армии рядовыми и младшими командирами, были отпущены по домам до конца 1945 года (47).

С. Кара-Мурза, приводя эти данные, явно хочет подчеркнуть, что довоенные и послевоенные репрессии носили локальный, а не тотальный характер. Однако для нашего повествования важно то, что новые образованные классы уже советского общества в результате целевой репрессивной политики И. Сталина испытали такой шок, который можно сравнить только с последствиями Гражданской войны для образованных классов царской России, и здесь рассуждать

категориями абсолютных чисел не совсем уместно. Ужас парализовал волю целого поколения. Известный реставратор Савва Ямщиков спрашивал у бывшего зека Льва Гумилева: «Лев Николаевич, вы прошли такую страшную школу. При вашем блестящем литературном слоге могла бы выйти необыкновенно интересной книга. Вы напишете ее?» Тот грустно покачал головой: «Савелий Васильевич, я боюсь пережить это еще один раз. Писать спокойно, схоластически не смогу. Начну переживать заново, а уже моей жизни на это не хватит» (48). Даже спустя тридцать лет советский интеллигент Венечка умоляет профили партийных богов Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина о пощаде: *«Все четверо смотрели на меня в упор: «Как этот подонок труслив и элементарен!» О, пусть, пусть себе думают, только бы отпустили!.. Где, в каких газетах, я видел эти рожи?..»*

Удар был направлен в определенную сторону и своей цели достиг. «Почему?!», – спрашивают миллионы пострадавших и их потомков, сотни ученых и политиков. Ответы даются, как правило, в категориях «сталинская паранойя» или «преступный тоталитарный режим». И мало кто говорит «возмездие».

Теперь о технологии процесса. Тектонические сдвиги эпохи революции, Гражданской войны, индустриализации и коллективизации вызвали последствия, которые не могли быть предсказаны поклонниками социальной инженерии. Когда завышенные ожидания общества не оправдываются, начинается поиск причин и виноватых. С. Кара-Мурза: «Известно, что репрессии 30-х годов произошли, когда общество в целом находилось в состоянии сильнейшего эмоционального стресса, вызванного перегрузками XX века. Прибегая к религиозным понятиям, можно сказать, что во второй половине 30-х годов большая часть тех, кто был прямо вовлечен в индустриализацию, находилась в **страстном** состоянии... Строительство и работа стали **подвижничеством**. Частые неудачи, поломки и аварии, вызванные неумелостью, воспринимались как результат действия тайных враждебных сил. Это толкало к поиску врага (“ведьм”))» (49).

Л. Фейхтвангер: «Население охватил настоящий психоз вредительства. Привыкли объяснять вредительством все, что не клеилось, в то время как значительная часть неудач должна была быть, наверное, просто отнесена за счет неумения» (50). В охоте на ведьм были заинтересованы все – «верхи», стремящиеся канализировать народное недовольство, «низы», желающие понять, почему социальная революция не привела к желанному освобождению. Писатели, отражавшие действительность, четко фиксировали присутствие «ведьм» в окружающем мире.

Ильф и Петров: *«Дуванов, так звали мужчину, выдававшего себя за женщину, был, как видно, мелкий*

вредитель, который не без основания опасался ареста».

Булгаков:

– Так, так, так, – сказал доктор и, повернувшись к Ивану, добавил: – Здравствуйте!

– Здорово, **вредитель**! – злобно и громко ответил Иван...

Фантомы сознания стали жить своей реальной жизнью. Как и в Средние века, власть использовала «молот ведьм» для решения своих вполне земных задач – создания и укрепления социалистического государства. «Процесс структурирования новой общественной пирамиды, в которой советское чиновничество выполняло бы системообразующие функции, был в сталинской концепции насущной необходимостью и предпосылкой модернизации аморфного, архаического социума, в котором преобладало патриархальное крестьянство и недавние выходцы из деревни – рабочие... Подобно самому обществу, в котором она действовала, местная власть была достаточно патриархальна и традиционна, а по способам управления – неэффективна и хаотична» (51). То есть, имеющийся в распоряжении власти человеческий материал был не готов к роли «эффективного работника» в условиях индустриального общества, которое спешно строили большевики.

В. Бережков с сочувствием описывает киевского «красного директора», преданного партийца и хорошего человека, в условиях жестких требований власти в эпоху индустриализации: «Красный директор “Большевика” по-прежнему тяготился своими прямыми обязанностями. На работе он обычно бывал лишь в первую половину дня. Затем, передав бразды правления главному инженеру, спешил к дяде Ивану, к лошадям, слабость к которым питал со времен удалых кавалерийских рейдов дивизии Котовского... Выхватив

из ножен шашку и размахивая ею, словно рубя головы невидимым врагам, он мчался, поднимая клубы пыли, по бескрайнему пространству до самого Святошино, некогда аристократического пригорода Киева. Спустя пару часов Владимиров возвращался на взмыленной кобылице, счастливый и полный энергии... Этого человека, преданного солдата революции, не минула участь, постигшая многих его соратников...

Национальность его жены оказалась достаточной уликой, чтобы объявить Владимирова японским шпионом» (52).

Можно возмущаться несправедливостью навета, но нельзя не признать и того факта, что из лихого рубаки Владимирова получился никудышный специалист в области тяжелого машиностроения. Количество таких заслуженных партийцев во всех сферах бытия в стране исчислялось десятками тысяч, и они занимали чьи-то места. Они успели густо перемешаться с красной (и не очень красной) интеллигенцией и стать новой элитой страны. Места нужно было освободить для новых, возвращенных под себя Советской властью специалистов – фанатично преданных режиму и, что очень важно, абсолютно дисциплинированных. Раз так – бояр на вилы, тем более что народ давно жаждет их крови. Это лучший способ предотвратить более страшный взрыв.

К началу репрессий тридцатых годов в ВКП(б) оказалось как бы две партии: сталинская и ленинская. Сталинская состояла из назначенцев, отобранных по признаку «безусловной лояльности», а ленинская – из захвативших свои посты «именем революции» членов организации профессиональных революционеров. Сместить ленинцев (не отдельных лиц, а весь слой) обычным путем было невозможно. Вот почему, несмотря на все назначения и перемещения, в 1930 году среди секретарей обкомов, крайкомов и ЦК нацкомпартий 69 % (больше 2/3) ещё были с дореволюционным

партстажем. Из делегатов XVII съезда партии (1934 год) 80 % вступили в партию до 1920 года, то есть до окончательной победы в Гражданской войне. А всего через 5 лет, в 1939 году, среди лиц, занимавших эти посты, 80,5 % вступили в партию позднее 1924 года, то есть после смерти Ленина (53).

Сталин уничтожил больше революционеров, чем все русские цари, вместе взятые. И хотя во время перестройки сильно заостряли внимание на том, что некоторые из бывших кадетов или меньшевиков были репрессированы именно при Сталине, но, согласно документам, давешние оппоненты большевиков истреблялись им со значительно меньшим рвением, нежели «ленинская гвардия». Осмысление истории сталинских репрессий – это вопрос сочувствия революционерам эпохи Октябрьской революции, Гражданской войны и жертвенного строительства двадцатых годов.

И озлобленный народ во многом эту карательную политику поддерживал. Писатель Иван Акулов (из крестьян) говаривал: «Я бы Сталину все-таки поставил золотой памятник хотя бы за то, что он все эту “ленинскую гвардию” – к е... матери, к е... матери!» (54) Причем говорил это в присутствии В. Молотова, уже пенсионера, но все же выходца из пресловутой «ленинской гвардии». А тот – знай только и усмехался в усы.

Общеизвестно, что процесс отправки «ленинской гвардии» по указанному крестьянским писателем адресу начался после XVII съезда партии, «Съезда победителей» в 1934 году, аккурат после голода 33 года, когда режим коснулся дна и теперь начал выплывать на поверхность. Из 139 членов и кандидатов в члены ЦК ВКП(б), избранных на XVII съезде партии, было арестовано и расстреляно за эти годы 98 человек. Из 1966 делегатов съезда с решающим и

совещательным голосом было арестовано по обвинению в контрреволюционных преступлениях 1108 человек, из них расстреляно 848 (55). К. Симонов: «То, что происходило на XVII съезде партии, как будто свидетельствовало о правильности моих юношеских радужных взглядов: бывшие оппозиционеры каялись, признавали свои ошибки. Им предоставляли возможность для этого, публиковали их заявления, прощали, принимали обратно в партию – в общем, верили людям, и это создавало атмосферу и единства, и общей целеустремленности, и веры в будущее страны и свершение всех намеченных планов...» (56)

Отрезвление наступило после убийства С. Кирова. Наверное, сегодня даже трудно представить себе, какой страшной силы и неожиданности ударом для общества стало убийство полузабытого сегодня партийного вождя. «Во всей атмосфере жизни что-то рухнуло, сломалось, произошло нечто зловещее. И это ощущение возникло сразу, хотя люди, подобные мне (то есть К.Симонову – К.К.), даже не допускали в мыслях всего, что могло последовать и что последовало потом» (56). А. Микоян писал в своих мемуарах: «После смерти Ленина, и того горя, которое все тогда пережили, это было вторым по своей глубине горем для партии и страны» (57).

Еще раз обращаю внимание: трагедия коллективизации, голод, людоедство в обреченных селах в коротком перечне микояновских горестей отсутствует. Для настоящего партийца судьба миллионов людей менее важна, чем убийство одного из партийных функционеров. Причем, речь идет не о политических последствиях того убийства, а именно об искренних человеческих эмоциях **сразу** после свершившегося («все тогда пережили»).

Уже 2 декабря 1934 года опубликован текст свежееиспеченного декрета Президиума ВЦИК,

подписанного М. Калинин и А. Енукидзе, о внесении изменений в уголовно-процессуальные кодексы страны по террористическим делам: следствие заканчивать за десять дней, слушать дело без участия сторон, не принимать кассаций, ходатайств о помиловании и приговоры к высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно по вынесении приговора. Б. Ефимов, знаменитый советский карикатурист, брат М. Кольцова (и, к слову, один из иллюстраторов полного собрания сочинений Ильфа и Петрова 1961 года), вспоминал о реакции Н. Бухарина на весть о гибели С.Кирова: «...В недобрый день 1 декабря 1934 года несколько сотрудников “Известий” сидели в кабинете у редактора, обсуждая план следующего номера газеты. Был среди них и я. На столе у Бухарина зазвенел телефон. Николай Иванович снял трубку, послушал, и лицо его болезненно сморщилось. Сказав: “Да, да. Я понял”, он положил трубку, помолчал, провел рукой по лбу и произнес:

– В Ленинграде убит Киров.

Потом посмотрел на нас невидящими глазами и добавил каким-то странным безразличным тоном:

– Теперь Коба нас всех перестреляет» (58).

Н. Бухарин знал, о чем говорит: репрессивная практика эпохи, предвосхитившей «Большой террор», приучала людей к фатализму и покорности. «Мы, большевики, относимся к этому просто: каждый из нас знает, что и с ним это может случиться. Зарекаться не приходится», – разглагольствует Бухарин с беседе с Мандельштамом (59). А для иллюстрации партийный вождь рассказал поэту поучительную историю про группу сочинских комсомольцев, которых только что «пустили в расход» за разложение. По свидетельству жены, Осип Эмильевич припомнил эти слова во время процесса Бухарина.

Многие утверждают, что убийство С. Кирова спланировал именно И. Сталин, стараясь изыскать повод для расправы над «ленинской гвардией». Этой версии, подтверждения которой, кстати, так и не найдено, решительно оппонирует Светлана Аллилуева: «Киров жил у нас в доме, он был свой, друг, старый товарищ. Отец любил его, он был к нему привязан. И лето 1934 года прошло так же – Киров был с нами в Сочи. А в декабре последовал выстрел Николаева... Не лучше ли, и не логичнее ли связать этот выстрел с именем Берии, а не с именем моего отца, как это теперь делают? В причастность отца к этой гибели я не поверю никогда. Киров был ближе к отцу, чем все Сванидзе, чем все родичи, Реденс или многие товарищи по работе, – Киров был ему близок, он был ему нужен» (60). Правда, причем здесь Берия, сидевший тогда глубоко в Грузии? Логичней предположить, что полученный трагический повод Сталин использовал для решения тех политических проблем, которые он считал необходимым решить: успокоения народа после проведенной коллективизации, смягчения негативных последствий коряво реализованных, чудовищно непопулярных мер.

Принесение скальпов партийных вождей, которых к тому времени простой народ, мягко выражаясь, не любил, снимало на некоторое время остроту проблемы. Для модернизации страны партийцы нужды не представляли, наоборот – занимали места, на которые претендовали молодые, амбициозные лидеры сталинского призыва. Политические и интеллектуальные круги, примыкавшие к старым партийцам, отличались демагогическим критиканством, с одной стороны, и радикализмом своих левых взглядов, с другой. Все это не отвечало запланированной новой модели солидного, стабильного государства. Государства упорядоченного, имперского. Радикально

настроенный Л. Троцкий в очерке «Иосиф Сталин. Опыт характеристики» (журнал «Лайф», сентябрь 1939 года) писал: «Бюрократия насквозь проникнута духом посредственности. Сталин есть самая выдающаяся посредственность бюрократии. Сила его в том, что инстинкт самосохранения правящей касты он выражает тверже, решительнее и беспощаднее всех других. Но в этом его слабость. Он проницателен на небольших расстояниях. Исторически он близорук. Выдающийся тактик, но не стратег...»

Можно согласиться в том, что репрессии помогли сплотить в короткий срок народ и государственную бюрократию вокруг вождя, но в стратегической перспективе нанесли смертельный удар по репутации советского социализма. Однако Сталин, несмотря на все славословия при его жизни, не прорицательница Ванга, чтобы предвидеть сквозь десятилетия последствия своей репрессивной политики. Реальная политика человека, сидящего на штыках, мыслит вызовами сегодняшнего, максимум, завтрашнего дня. А завтра ожидалась война и это было главной заботой советского вождя. Даже спустя много лет, ближайший соратник «кремлевского горца» Вячеслав Молотов настаивал: «Сталин, по-моему, вел очень правильную линию: пускай лишняя голова слетит, но не будет колебаний во время войны и после войны» (61). Такова железная логика дредноута.

И еще одна маленькая деталь, упущенная жившим в эмиграции Троцким, который и до изгнания с жизнью простого народа фактически знаком не был. СССР никак не являлся бюрократическим государством, как он утверждает. Четкое, безукоризненное выполнение законов и есть бюрократия в ее европейском варианте. Эмоциональный, личностный фактор, свойственный русской нации, сам по себе первооснова выборочного, дифференцированного подхода к человеку, а значит, и

неискоренимой коррупции. Сталин хотел изменить ментальность народа, дисциплинировать и модернизировать его, но время развеяло его потуги. С. Кара-Мурза: «Бюрократия по своей сути – именно бездушная машина, которая не смотрит на лица и действует согласно закону, инструкции. У нас же каждый начальник и тем более начальница – сгусток чувств» (62). Потому и для советских писателей так интересны типажи мелких советских чиновников – вроде застенчивого воришки Алыча, темпераментных бабников Пыхаева и Семплирова, заботящего об отоплении дома Никанора Босого – живых людей из плоти и крови, а не бездушных исполнителей.

Во-вторых, коррупция, как ни парадоксально, это реальная возможность жить, смягчая законы жестокого государства, приспособлявая его к обычным людям и их реальным ситуациями. Это единственный возможный ответ людей бесчеловечной, надличностной структуре – приспособляться, смягчать личными связями суровость или нелепость закона, дефицит хлеба и зрелищ, недостаток предоставляемых услуг и т. д. Коррупция – не только враг уравнилельной социальной справедливости, но и её суррогат в обществе, которое испытывает нехватку чего-либо. Здесь истоки грядущего заката Империи.

И, в-третьих. Поскольку человек в советском обществе постоянно испытывал нехватку чего-то, необходимого для жизни, он научился маневрировать и держался в определенных извне рамках. Рядовой гражданин в капиталистической системе, предлагающей все разнообразие мира, испытывает только один дефицит – нехватку самих денег. И еще неизвестно, на что он пойдет, чтобы этот мучительный дефицит преодолеть. Сегодняшняя гонка за обогащением любой ценой и, как следствие, утрата нравственных ориентиров тому свидетельство.

VI

От дела об убийстве С. Кирова следователи НКВД быстро протянули ниточки к Г. Зиновьеву, бывшему партийному руководителю Ленинграда, где и произошло убийство, а также его другу и многолетнему соратнику Л. Каменеву. Подбираясь к обреченным на закание бывшим вождям, органы «взяли» одного из оппозиционеров – И. Рейнгольда. Тот упорно отрицал предъявленные ему обвинения. Время шло, не принося пользы следователям, в числе которых был и родственник Б. Ефимова и М. Кольцова, легендарный энкаведешный садист Л. Черток. «Наконец Ежов вмешался лично. Он выразил удивление, почему это НКВД пытается “ломиться в открытую дверь”. Ежов вызвал Рейнгольда из тюрьмы и от имени ЦК заявил ему, что свою невиновность и преданность партии Рейнгольд может доказать, только помогая НКВД в изобличении Зиновьева и Каменева. После этого разговора поведение Рейнгольда полностью изменилось. Из непримиримого противника следователя Чертока он превратился в его ревностного помощника. Он подписывал всё, что требовалось следствию, и даже помогал следователям редактировать собственные показания» (63). Здесь и далее я буду цитировать высокопоставленного чекиста А. Орлова (при рождении – Лейба Фельдбин), который в разгар репрессий успел укрыться на Западе и в 1950-х годах издал там сенсационную книгу «Тайные преступления Сталина». Орлов был резидентом НКВД в Испании и человеком весьма информированным^[81].

Через некоторое время дело против Зиновьева и Каменева кое-как сшили, дело оставалось «за малым» – убедить самих старых ленинцев в необходимости их

участия в публичном спектакле, который задумал Сталин. «С самого начала Ежов заявил Зиновьеву, что советская контрразведка перехватила какие-то документы германского генштаба, которые показывают, что Германия и Япония ближайшей весной готовят военное нападение на Советский Союз. В этой обстановке партия не может больше допускать ведения антисоветской пропаганды, которой занимается за границей Троцкий...» В конце концов, Ежов сказал Зиновьеву, в чём суть этого требования, исходящего от Политбюро: он, Зиновьев, должен подтвердить на открытом судебном процессе показания других бывших оппозиционеров, что по уговору с Троцким он готовил убийство Сталина и других членов Политбюро.

Г. Зиновьев с негодованием отверг такое требование. Тогда Ежов передал ему слова Сталина: «Если Зиновьев добровольно согласится предстать перед открытым судом и во всём сознается, ему будет сохранена жизнь. Если же он откажется, его будет судить военный трибунал – за закрытыми дверьми. В этом случае он и все участники оппозиции будут ликвидированы».

– Я вижу, – сказал Зиновьев, – настало время, когда Сталину понадобилась моя голова. Ладно, берите её!»

Иначе вел себя Л. Каменев: «Каменев был, как громом поражён. Он поднялся со стула и крикнул в лицо Ежову, что тот – карьерист, пролезший в партию, могильщик революции... Задыхаясь от волнения, обессиленный, он рухнул на стул... “Вот, – сказал он, отдышавшись, – вы наблюдаете сейчас термидор в чистом виде. Французская революция преподала нам хороший урок, но мы не сумели воспользоваться им. Мы не знали, как уберечь нашу революцию от термидора. Именно в этом – наша главная ошибка, за которую история нас осудит”» (64).

И снова слово «термидор». Именно так, на французский манер вожди оппозиции, начиная с Троцкого, называли процесс создания советской империи. Последовавший за термидором абсолютизм Наполеона живо напоминал им диктатуру Сталина^[82]. Но вернемся к событиям, предшествовавшим открытым процессам по делу так называемого «троцкистско-зиновьевского блока». Важность дела считалась таковой, что с главными участниками грядущего процесса посчитал нужным встретиться сам Сталин: «Сталин поднялся со стула и, заложив руки за спину, начал прохаживаться по кабинету.

– Было время, – заговорил он, – когда Каменев и Зиновьев отличались ясностью мышления и способностью подходить к вопросам диалектически. Сейчас они рассуждают, как обыватели. Да, товарищи, как самые отсталые обыватели. Они себе внушили, что мы организуем судебный процесс специально для того, чтобы их расстрелять. Это просто неумно! Как будто мы не можем расстрелять их без всякого суда, если сочтём нужным. Они забывают три вещи:

первое – судебный процесс направлен не против них, а против Троцкого, заклятого врага нашей партии; второе – если мы их не расстреляли, когда они активно боролись против ЦК, то почему мы должны расстрелять их после того, как они помогут ЦК в его борьбе против Троцкого? третье – товарищи также забывают (Сталин назвал Зиновьева и Каменева товарищами!), что мы, большевики, являемся учениками и последователями Ленина и что мы не хотим проливать кровь старых партийцев, какие бы тяжкие грехи по отношению к партии за ними ни числились.

Последние слова, добавил информатор Орлова, были произнесены Сталиным с глубоким чувством и прозвучали искренне и убедительно. Зиновьев и

Каменев, – продолжал Миронов свой рассказ, – обменялись многозначительными взглядами. Затем Каменев встал и от имени их обоих заявил, что они согласны предстать перед судом, если им обещают, что никого из старых большевиков не ждёт расстрел, что их семьи не будут подвергаться преследованиям и что впредь за прошлое участие в оппозиции не будут выноситься смертные приговоры.

– Это само собой понятно, – отозвался Сталин...» (65)

Физические страдания Г. Зиновьева и Л. Каменева закончились. Их немедленно перевели в большие и прохладные камеры, дали возможность пользоваться душем, выдали чистое бельё, разрешили книги (но не газеты). Врач, выделенный специально для Г. Зиновьева, всерьёз принялся за его лечение. Г. Ягода распорядился перевести обоих на полноценную диету и вообще сделать всё возможное, чтобы они на суде выглядели не слишком изнурёнными. Тюремные охранники получили указание обращаться с обоими вежливо и предупредительно.

Л. Копелев: «Сообщение о том, что убийцу Кирова направляли зиновьевцы, поразило и испугало. Но я поверил. Еще и потому, что помнил одну из листовок оппозиции в феврале 29 года, перед высылкой Троцкого. Квадратик бумаги со слепым шрифтом: “Если товарища Троцкого попытаются убить, за него отомстят... Возлагаем личную ответственность за его безопасность на всех членов Политбюро – Сталина, Ворошилова, Молотова, Кагановича, Калинина, Кирова, Куйбышева, Рудзутака...”» (66). Поверили и миллионы других, кто помнил яростную беспощадную внутривластную борьбу, террористические методы борьбы до и после революции. Предпочли «поверить» и те, кто просто считал, что эти «старые большевики» получили давно ими заслуженное: сколь веревочке не виться...

Слова Н. Бухарина о том, что к «этому» должен быть готов каждый большевик, стали пророческими. Однако понимание подноготной процесса не помешало ему в сентябре 1936 года публично заявить по поводу казни самого Зиновьева с Каменевым: «Что расстреляли собак – страшно рад» (67). Кто за язык тянул? М. Кольцов воспевал в «Правде» нового «Железного наркома» Ежова как «чудесного нестигаемого большевика... который дни и ночи... стремительно распутывает и режет нити фашистского заговора...» (68). Что, в людях не разбирался один из самых информированных журналистов СССР? С Ежовым и рухнул. Вскоре репрессированный И. Бабель спокойно поселился в дачном особняке, из которого ранее отправился на расстрел Л. Каменев, а А. Вышинский прибрал к рукам дачу на Николиной горе расстрелянного по его приказу Л. Серебрякова.

Один из важных фактов сплочения банды – сопричастность к общим преступлениям. То же самое можно сказать и о целых группах населения. «Самыми страшными врагами образующихся наций оказываются перебежчики, сомневающиеся, равнодушные и безразличные; чем грязнее будут руки большинства, тем более широкой и острой станет потребность их вымыть...», – отмечает в своей работе «Индивидуализированное общество» социолог З. Бауман: «Насилие необходимо, прежде всего, для того, чтобы заставить всех, кто назначен быть патриотами, принять участие в насильственных действиях, даже если они этого не слишком хотят» (69). Необходимость расширять круг поделщиков придает жестокостям режима легитимный характер, акт, освященный общественным мнением и советские интеллектуалы освятили жестокость государства своим авторитетом. М. Горький в письме М. Зощенко (25.3.1936) подчеркивал: «...Никогда и никто еще не решался

осмеять страдание, которое для множества людей было и остается любимой их профессией. Никогда еще и ни у кого страдание не вызывало чувство брезгливости... Страдание – позор мира, и надобно его ненавидеть для того, чтобы истребить». «Милость к падшим» вышла из моды.

Будущий разоблачитель сталинских репрессий, имевший наглость утверждать, что он не знал их истинных масштабов, Никита Сергеевич Хрущев в январе 1936 года взывал: «арестовано только 308 человек... 308 человек для нашей Московской организации (ВКП(б)) это мало!». Он же в августе 1937: «Нужно уничтожать этих негодяев... нужно, чтобы не дрогнула рука, нужно переступить через трупы врага на благо народа» (из 38 секретарей МК и МГК избежали репрессий только трое). 1938 год, Хрущев Сталину из Киева: «Украина ежемесячно посылает 17018 репрессированных, а Москва утверждает не более 2–3 тысяч. Прошу Вас принять срочные меры» (70). То есть, Хрущев ультимативно требует еще больше жертв, чем утверждает Сталин.

К маю 1936 года из партии численностью чуть более 2 миллионов кандидатов и членов партии было вычищено более 300 тысяч человек. Не помогали ни прежние заслуги, ни родственные связи. Так, в 1936 году был расстрелян брат Серго Орджоникидзе – Пачулия Орджоникидзе – и Серго, числившийся ближайшим другом Сталина, ничем не мог ему помочь.

Одновременно с гонениями на старую ленинскую элиту, где-то начиная с 1936 года, правительство берет курс на ослабление репрессий против простых граждан. Например, к марту 1936 года с 768 989 человек, репрессированных в основном по закону от 7 августа 1932 года, широко известному как «закон о трех колосках», не только сняли судимость, но и сопровождавшее ее временное поражение в правах. Мы

уже писали о реабилитации казачества, об отмене ограничений для поступающих в вузы по социальному признаку и многое другое. В коммунистическую партию массово вливались новые кадры, из простолюдинов, вроде описанного Ерофеевым Алексея Блиндяева – *«член КПСС с 1936 года, потрепанный старый хрен»*. Ленинская гвардия оказалась в полной изоляции, по сути – загнанной в угол.

Нет смысла повторять многократно описанные ночные бдения, в ожидании обыска и ареста, все это отражено в мемуарах и художественной литературе, и настоящему человеку не нужно было ждать оттепели или перестройки, чтобы запечатлеть время тотального страха, пусть вскользь, пусть намеком:

«Маргарита побледнела и отшатнулась.

– С этого прямо и нужно было начинать... Вы меня хотите арестовать?

– Ничего подобного, – воскликнул рыжий, – что это такое: раз уж заговорил, так уж непременно арестовать!..» А ведь Михаил Афанасьевич читал роман многим людям, которые прекрасно понимали, о чем в нем говорится.

Однако отсутствие борьбы идей и конкурентной политической среды предвещало неумолимое вырождение партии, отныне состоящей из двух неравных частей. Основная часть: масса, крестьянская по происхождению и потому сохраняющая мелкобуржуазную идеологию, к тому же в большинстве (90 %!) едва грамотная – и «вождей»: секретарей всех уровней, от городского и районного до ЦК нацкомпартий, а также штатных работников тех же комитетов, уже практически переродившихся в чисто бюрократический социальный слой.

VII

На февраль 1937 года к номенклатуре ЦК или руководителям высшего звена относилось 5860 первых и вторых секретарей горкомов, райкомов, обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпартий, плюс нижнее звено – 94145 секретарей парткомов первичных организаций. Вот, собственно, партийная элита страны до ее утряски, пропалывания и истребления в знаковом 1937 году. После ликвидации ортодоксальных левых троцкистского толка, логика Сталина вела его к необходимости нанести удар и по этим, вроде бы проверенным предыдущей внутрипартийной борьбой товарищам (иначе бы они не оказались на столь высоких постах). И тут начинается для современного историка некая загадочная ирреальность логики вождя – если люди проверены и преданны, то зачем их истреблять? Но как раз идея и состояла в том, что они все оптом не были нужны новому государству. «Сталинизм... стал апофеозом ухода в своего рода евразийство. В 1936–1939 годах Сталин с небывалой жестокостью наносит удар по прежней большевистской гвардии с ее предпочтением общемировых социальных идеалов перед идеей национального возвышения России», – пишет в своей на шумевшей работе «Вызов Запада и ответ России» современный историк Анатолий Уткин (71). Смена вектора движения требовала смены всей команды – старую сбросили за борт.

Жестокость эпохи задавала тон не только в сталинской России. Вспомним, что одновременно шла кровавая Гражданская война в Испании, массовые репрессии в Германии, во всех авторитарных странах Центральной и Восточной Европы политические конфликты оборачивались кровавыми междоусобицами,

подавлениями восстаний, расправой с идеологическими оппонентами. Даже гонимые Гитлером евреи не стеснялись в свою очередь рассуждать и решать – кто вправе жить из их соплеменников, а кто должен умереть. В том же 1937 году будущий первый президент Израиля Хаим Вейсман (Вейцман) сказал: «Я задаю вопрос: “Способны ли вы переселить шесть миллионов евреев в Палестину?” Я отвечаю: “Нет”. Из трагической пропасти я хочу спасти два миллиона молодых... А старые должны исчезнуть... Они – пыль, экономическая и духовная пыль в жестоком мире... Лишь молодая ветвь будет жить» (72). Таким образом, предполагалось, что четыре миллиона европейских евреев должны погибнуть ради некой мечты, идеала^[83]. А теперь спросим – стесняются ли евреи Вейсмана?

Сталин тоже хотел избавиться от того, что он считал «экономической и духовной пылью», от тех, кто мешает движению вперед. Недаром, его ближайший соратник Молотов до конца жизни считал репрессии не произволом, а продолжением революции в сложной мировой обстановке. Но о том, что Сталин приносил народ в жертву идеалам, знают все, а том, что нечто подобное творили убежденные сионисты говорить не принято. Это были сходные в своем фанатизме социальные религии, две дороги к земле обетованной. Недаром последняя кампания Сталина направлена в 1948–1953 годах против неких «безродных космополитов», конкурентов, противостоящих советской государственности, новому евразийскому сплаву народов – задуманной и почти осуществленной альтернативы атлантическому, западному миру.

Фигура Троцкого, наиболее последовательного противника Сталина, сродни собирательному образу «безродного космополита», политика, исповедующего идею, что у пролетариата «нет и не может быть

отчества», сторонника именно **всемирной** революции. И вопрос не столько в идеологической фразеологии коммунистических вождей или их национальном происхождении, а в их «почвенническом» либо «глобалистском» мировоззрении, и какое из них находило поддержку и понимание у простого народа. И, пожалуй, сам Троцкий с его расстрелами во время Гражданской войны, презрением к российскому крестьянству, нескрываемым самомнением сделал невозможным развитие своего проекта в России. Даже такой либерал и открытый для мира писатель, как К. Чуковский, отмечал родовые черты «всемирных» революционеров: «Троцкисты для меня были всегда ненавистны не как политические деятели, а раньше всего как *характеры*. Я ненавижу их фразерство, их позерство, их жестикуляцию, их патетику. Самый их вождь был для меня всегда эстетически невыносим: шевелюра, узкая бородка, дешевый провинциальный демонизм. Смесь Мефистофеля и помощника присяжного поверенного» (73).

Если присмотреться, то фразерство и патетика современной либеральной интеллигенции во многом копируют внешнюю эффектность и революционную фразу троцкизма. Собственно, и главный ниспровергатель Сталина Н. Хрущев был в 1923–1924 годах троцкистом^[84]. И человеком Лев Давидович при близком общении, говорят, был обаятельным и продвинутым – например, в те далекие годы свои мемуары уже на магнитофон наговаривал. А магнитофоны-то едва появились. Мелочь вроде, а неординарного человека характеризует. И сторонники преданные у него имелись, многие из них были крепкие духом революционеры с дореволюционным стажем. В статье «Троцкисты на Колыме» М. Байтальский, будучи очевидцем, рассказывает, как во время этапирования в

советскую ссылку арестованные революционеры-троцкисты поддерживали свой боевой дух: «С большим воодушевлением весь этап пел «Интернационал», «Вы жертвою пали», «Варшавянку», «Смело товарищи в ногу»... (74) Сохранились также свидетельства их сопротивления в лагерях – голодовки, забастовки и пр. «Были ли объективные предпосылки или хотя бы теоретическая возможность существования заговора против Сталина и его группы?» – задается вопросом известный исследователь сталинизма Ю. Жуков. «Ответ на этот вопрос может быть только положительным... Часть наиболее сознательных, убежденных и вместе с тем самых активных коммунистов сохранили собственное мнение по возникшим проблемам, не желая ни принимать новый курс Сталина, ни становиться откровенными конформистами. Они продолжали ориентироваться только на мировую революцию, сохранение незыблемости классовых основ Республики Советов, диктатуры пролетариата» (75).

«Загадка» 1937 года во многом обусловлена тем, что открыто говорить о неприятии совершавшегося с 1934 года поворота было, в сущности, невозможно: ведь пришлось бы заявить, что сама власть в СССР осуществляет контрреволюцию! Но именно об этом, о «термидоре» заявлял находившийся за рубежом Троцкий. Стоявший на диаметрально противоположных Льву Троцкому позициях писатель Лион Фейхтвангер, в свою очередь, обращал внимание своих читателей не на идеологию, а на карьерные устремления «старых большевиков»: «Естественно, что каждый, у кого были заслуги в борьбе за создание Советского Союза, претендовал и в дальнейшем на высокий пост, и так же естественно, что к строительству были, в первую очередь, привлечены заслуженные борцы, хотя бы уже потому, что они были надежны. Однако ныне гражданская война давно стала историей; хороших

борцов, оказавшихся негодными работниками, сняли с занимаемых ими постов, и понятно, что многие из них теперь стали противниками режима» (76). Личное недовольство происходящим, помноженное на серьезные идеологические разногласия, плюс наличие харизматичного вождя (пусть даже и в эмиграции, как и Ленин когда-то) это крепкий питательный бульон для консолидации оппозиции.

С. Кара-Мурза вспоминает об интересном факте из своей юности: «В конце 50-х абсурдность «теории заговора» была утверждена как официальная догма. И вот на одной вечеринке один довольно молодой еще человек с бородкой стал горячо доказывать, что заговор был. Этот человек в детстве воспитывался в семье Рыкова, председателя Совнаркома. В дом к ним приходили люди, в том числе и военные, и из того, что слышал мальчик, выходило, что обсуждали они планы смещения Сталина и перестановок в правительстве. Человек этот очень кипятился, потому что все слушали недоверчиво и не очень-то охотно. А он кричал, что никогда в жизни этого никому не говорил, а теперь хоть здесь должен сказать. Я ему тоже тогда не очень-то поверил» (77). Из многих свидетельств можно сделать вывод: неприятие и в какой-то мере прямое сопротивление «термидору» было присуще преобладающему большинству революционных деятелей.

Один из руководящих деятелей ОГПУ-НКВД, уже упомянутый А. Орлов, ставший в 1938 году «невозвращенцем», рассказывал позднее, что начиная с 1934 года «старые большевики» – притом, как он отметил, **«подавляющее большинство»** из их среды, – приходили к убеждению: «Сталин изменил делу революции. С горечью следили эти люди за торжествующей реакцией, уничтожавшей одно завоевание революции за другим». На праздновании

годовщины ОГПУ, которое состоялось в декабре 1935 года в Большом театре, всех поразило присутствие... группы казачьих старшин в вызывающей форме царского образца... Взгляды присутствующих чаще устремлялись в сторону воскрешенных атаманов, чем на сцену. Бывший зампред ОГПУ М. Трилиссер (вскоре репрессированный), прошептал, обращаясь к сидевшим рядом коллегам: «Когда я на них смотрю, во мне вся кровь закипает! Ведь это их работа!» – и наклонил голову, чтобы те могли видеть шрам, оставшийся от удара казацкой шашкой» (78). И сопротивление «термидору» далеко не всегда находило выход в неуставных разговорчиках, хотя сегодня нас упорно пытаются убедить в обратном. Инциденты случались регулярно. Так, в середине тридцатых в Грузии была предпринята попытка покушения на первого секретаря ЦК КП Грузии Берия. Когда он с женой и сыном, а также вторым секретарем ЦК КП Белоруссии Хацкевичем ехал в машине по Военно-Грузинской дороге, из темноты по автомобилю неизвестные открыли огонь, в результате чего Хацкевич был смертельно ранен. После этого Сталин обязал всех первых секретарей республик передвигаться в бронированных автомобилях. Красные заговорщики, белогвардейские диверсанты, провокация ОГПУ?..

Однако, вне зависимости от консолидированности и опасности существовавшей оппозиции, ответный удар оказался страшен; сегодня, наверное, сказали бы, что это «непропорциональное применение силы» – потому мощь репрессий так и шокировала элиту. Но, как мы рассказывали, репрессии были направлены не на борьбу с оппозицией как таковой, а на радикальное обновление правящего слоя. Террору подвергались все слои населения, но, прежде всего, Сталин держал в страхе партийную номенклатуру, включая членов Политбюро. И эта жестокость подносилась с помощью СМИ, как

последовательная защита кровных интересов трудящихся масс. Причем многие в это поверили, поскольку под нож шли те, кто сам вчера вершил «революционное правосудие», организовывал и воспевал кровопролитие Гражданской войны, разорял беззащитные села.

Мистическое возмездие, Божий суд, поправление революционной идеи «свободной воли» человека волей Высшей. Высшая логика предопределенности угадывается в споре Воланда и Бездомного о том, кто управляет судьбой человека: *«Да сам человек и управляет!»* – настаивает Бездомный. *«Что же, – говоря о непредсказуемости человеческой судьбы и внезапности смерти, насмешливо парирует Воланд. – Это он сам с собой так управился?»* Кто-то управляет судьбой. И это даже выше, чем сила государства, это логика самой жизни: *«Не думаешь ли ты, прокуратор, что это ты подвесил волосок?»* – вопрошает арестант Га-Ноцри. Логика жизни – есть Высшая справедливость.

«Сознание справедливости происходящего владело подавляющим большинством участников событий – вот чего не могут понять нынешние разоблачители ужасов сталинского периода, – указывает философ А. Зиновьев. – Без этого ни за что не поймешь, почему было возможно в таких масштабах манипулировать людьми и почему люди позволяли это делать с собою. Конечно, случаи нарушения справедливости были. Например, расстреляли высокого начальника из органов, который сам перед этим тысячи людей подвел под расстрел. Расстреляли военачальника – героя Гражданской войны, который командовал войсками, жестоко подавившими крестьянский бунт. Но, в общем и целом, эта эпоха прошла с поразительным самосознанием справедливости всех ее ужасов» (79).

Более того, даже осознававшие всю несправедливость конкретных наветов старые

большевики старались принести свою жертву с максимальной пользой «для дела»: «Петя, сын одного талантливого инженера, с юных лет примкнувшего к революционному движению, учился со мной в школе. Я часто видел его отца и мать, красивую брюнетку, на наших школьных представлениях в Деловом клубе. Он носил бородку, а на его груди красовался редкий тогда орден Красного Знамени, полученный за какую-то смелую операцию в годы Гражданской войны. Как он мог оказаться вредителем?

– Он не вредитель, – рассказывал, едва сдерживая рыдания, Петя после свидания с отцом незадолго до его отправки в ссылку в Сибирь. – Он считает, что, признаваясь в проведении несуществующих диверсий, оказывает последнюю в своей жизни услугу партии, делу социализма. Страна во вражеском окружении, есть и внутренние враги. Народ должен сохранять бдительность и верить в светлое будущее. Делая признание, он считает, что укрепляет систему, созданную революцией, поддерживает веру народа в Сталина, имя которого ассоциируется с социализмом...» (80)

В дневниках Елены Сергеевны Булгаковой 1937 года отражена кровавая вакханалия, закружившая московскую элиту, и сочувствия к жертвам, прямо скажем, мы находим не много:

21 апреля. Слухи о том, что с Киршоном и Афиногеновым что-то неладно. Говорят, что арестован Авербах. Неужели **пришла судьба** и для них? (Здесь и далее выделено мной – К.К.)

23 апреля. Да, **пришло возмездие**. В газетах очень дурно о Киршоне и об Афиногенове.

27 апреля. Шли по Газетному. Догоняет Олеша. Уговаривает М.А. пойти на собрание московских драматургов... Уговаривал выступить и сказать, что **Киршон был главным организатором травли М.А.**

Это-то правда. Но М. А. и не подумает выступить с таким заявлением и вообще не пойдет.

26 мая. Оля сегодня мне звонила днем: «...сейчас на активе МХАТ Рафалович в своем выступлении говорил о том, что «вот такая вредная организация была РАПП, какие типы в ней орудовали... **затравили, задушили** Булгакова...».

5 июня. В «Советском искусстве» сообщение, что Литовский уволен с поста председателя Главреперткома. **Гнусная гадина.** Сколько зла он натворил на этом месте...» (81)

Возможно, вы не в курсе, что именно «гнусная гадина» Литовский выведен Булгаковым в образе незабвенного критика Латунского. «Врагами народа» объявлены Киршон, Авербах, Федор Раскольников (тоже давний гонитель Булгакова), Ричард Пикель (личный секретарь Г. Зиновьева, бурно радовавшийся снятию булгаковских пьес в 1929 году): *«Эх, какое осложнение! И нужно ж было, чтоб их всех сразу...»*

Горести постигли и долго измывавшийся над писателем МХАТ. Племянник Станиславского умер в тюремной больнице, а его жену и свояченицу в 1937 году расстреляли, но и это не смягчило писателя. Елена Булгакова рассказывала, что даже когда Михаил Афанасьевич был уже смертельно болен, он будил ее по ночам и заводил с ней разговор о ненавистном театре, и в этом разговоре он забывал свои боли, высмеивая Немировича-Данченко.

Между тем, Сталина Михаил Афанасьевич уважительно вспоминал как человека, однажды помогшего ему. И не только ему. Свежи были еще в памяти хлопоты А. Ахматовой об арестованных муже и сыне, в которых Булгаковы принимали непосредственное участие. Обращения Ахматовой и также помогавшего ей Пастернака подействовали, о чем свидетельствует резолюция на письме А.

Ахматовой, начертанная рукой Сталина: «т. Ягода. Освободить из-под ареста и Пунина, и Гумилева и сообщить об исполнении. И. Сталин». Уже в ноябре 1935 года Н. Пунин и Л. Гумилев были освобождены.

Еще раз – Булгаков не радовался репрессиям, обрушившимся на советскую, доселе процветавшую и самоуверенную элиту, но наказание тех, кто долго измывался над ним, считал заслуженным, как и многие другие интеллигенты старой формации. М. Бахтин вспоминал о судьбе следователей ГПУ, которые в 1928–1929 годах стряпали его «дело», а также «дело» его близкого знакомого – историка Е. Тарле; в 1938 году этих следователей расстреляли: «Тарле мне написал с торжеством: “А знаете, наших-то ликвидировали”» (83). «С торжеством», заметьте.

«Когда арестовали Шумяцкого (*руководитель кинематографии*), было в Москве большое торжество. Очень его не любили, многие не любили. В “Метрополе” Барнет пьяный напился. Все ходили веселые», – это уже Михаил Ромм (84). И в то же время кадровый чекист П. Судоплатов вспоминал о том периоде с ужасом: «Впервые мы боялись за свою жизнь, оказавшись под угрозой уничтожения нас нашей же собственной (! – *К.К.*) системой» (85). Впервые за 15 лет репрессивная система повернулась своей звериной мордой к ее создателям, вот и шок.

VIII

«Что такое официальное лицо или неофициальное?.. Сегодня я неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное! А бывает и наоборот, Никанор Иванович. И еще как бывает!» – Азazelло увещевает домоуправа, тонко намекая на стремительные взлеты и падения человека в эпоху «большого террора». Роман «Мастер и Маргарита» густо насыщен аллюзиями эпохи, но имя главного коллективного героя эпохи не разу так и не звучит:

*– Сейчас же, Иван Савельевич, лично отвези. Пусть **там** разбирают.*

Где это – «там»? Где светятся окна в большом доме неназванной организации? То ли дело аббревиатура «ГПУ» у Ильфа и Петрова – чуть ли не в каждой главе. Однако анонимная машина убийства выглядит куда более грозной. Ужас нельзя назвать по имени – мысль изреченная есть ложь. Тем не менее, иррациональность происходящего имела свою четкую логику, которую позже предельно откровенно сформулировал В. Молотов: «Конечно, требования исходили от Сталина, конечно, переборщили, но я считаю, что все это допустимо ради основного: только бы удержать власть!» (86) Логика удержания власти, раскачанной ураганом форсированного строительства социализма, обрекала часть общества на роль жертвенных агнцев. Хотя и были они далеко не Агнцы Божьи. Так или иначе, но огромная доля истребленных среди «коллективизаторов», и совсем малая их доля среди уцелевших – это едва ли случайное совпадение.

К середине 1930-х годов жизнь страны в целом начала постепенно нормализоваться («сталинская оттепель») и деятели, которые, не щадя никого и

ничего, расправлялись с составлявшим огромное большинство населения страны крестьянством, стали, в сущности, ненужными и даже «вредными». Убийство Кирова использовано для их окончательного и безусловного устранения. Они, в частности, явно не годились для назревавшей Великой войны, получившей имя Отечественной, – войны народной, а не «классовой». Д. Самойлов, «Перебирая наши даты»: «Мы воевали не за уровень жизни, а за образ жизни. Несмотря на жестокость 20-х и ужасы 30-х, народ интуитивно чувствовал свою национально-социальную перспективу» (87). И это стало залогом победы.

«Один из историков отмечает мимоходом, – полемизирует с либералами А. Зиновьев, – что прочие руководители действовали (включая Троцкого) так же, как и Сталин, т. е. “с излишней суровостью”. С излишней! Кто установил меру? Это сейчас легко проявлять “либерализм”. А ты перенесись в те времена и в те условия и попробуй не быть “излишне жестоким”!» (88) С Зиновьевым можно соглашаться или нет, но ясно, что подходить к событиям 1937 с позиций абстрактного гуманизма начала XXI века попросту глупо. Исторически контрреволюционный **термидор** в СССР был победой над истинно коммунистическими течениями в партии (и льнувшей к ним левой интеллигенцией). Восстановление имперского сознания стало важной ступенью к превращению СССР в империю и будущую сверхдержаву. Развитие этого процесса, как мы показали, отмечено многими современниками, от монархиста Шульгина до антисталиниста Троцкого.

Да, борьба шла звериная, и методы были звериные, продиктованные логикой продолжения революционной борьбы, революции, которую «прогрессивная» интеллигенция пестовала, а потом с ней и сроднилась. Она никак не ожидала, что под бурные аплодисменты презираемого ею народа она отправится в мясорубку.

Причем, отправится согласно продуманному плану истребления, можно сказать, даже геноцида, обращенного против советской элиты того времени. «Хрущевско-солженицынские представления о терроре очень сильно отличаются от того, что мы узнали благодаря архивам. Выяснилось, что массовые репрессии были сугубо централизованными акциями, которые проводились на основании приказов из Москвы. Аресты и расстрелы планировались, как выпуск стали» (89).

Для примера можно привести «лимиты», запрошенные руководителями региональных парторганизаций и утвержденные Политбюро. В данной таблице взяты произвольно по две республики, автономии, области и края.

Регион	Расстрел	Высылка
Белорусская ССР	3 000	9 800
Крымская АССР	143	1 383
Московская обл. (Хрущев)	8 500	32 805
Дальневосточный край	3 017	3 681
Сталинградская обл.	800	2 200
Казахская ССР	2 346	4 403
Марийская АССР	674	1 439
Азово-Черноморский край	6 644	6 962

Молотов: «Списки давали нам. Обсуждали вместе, по анкетам, во всех деталях. Сидят все члены Политбюро... В основном подписывал Сталин – по партийной линии, я – по советской, такие документы,

после которых многим, конечно, несладко приходилось» (90). Окончательные цифры корректировались, округлялись: местные руководили, выслуживаясь, требовали добавки. Так, на Октябрьском пленуме 1937 года тов. Конторин (первый секретарь Архангельского обкома) настаивал: «Мы просим и будем просить Центральный комитет увеличить нам лимит по первой категории в порядке подготовки к выборам» (91). Н. Хрущева мы уже вспоминали. Требовали все...

Всего же приказом Н. Ежова по НКВД от 30 июля 1937 года «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов» было обречено на репрессии более четверти миллиона человек. Завершить акцию надлежало через 4 месяца, к 5-15 декабря, к запланированным выборам в Верховный Совет. Массовые репрессии должны были сопровождать, создавая угрожающий фон, всю избирательную кампанию. «Так начиналась самая страшная 15-месячная полоса в жизни СССР», – резюмирует приводящий эти данные в своей книге «Иной Сталин» Юрий Жуков (92). Не устаю удивляться: а коллективизация, а голод!? Воистину – самомнению образованного класса нет предела.

Между тем, для простого народа разгром правящей верхушки оказался делом сторонним, затерянным среди бурных событий международной жизни, свершений очередной сталинской пятилетки, шумихи о новой конституции и проведении выборов в Верховный Совет. «Когда начались аресты украинских руководителей, вместо тех, кого забирали, приходили другие, потом забирали и этих, и в результате люди уже не могли запомнить имен своих новых руководителей, что, по крайней мере, в моем сознании, не омрачало нашей повседневной жизни», – свидетельствует В. Бережков (93).

Те, кто был постарше и лучше понимал суть происходящих процессов, просто замыкались в себе, стараясь оставаться сторонним наблюдателем. Тот же Булгаков, согласно доносу соглядатая НКВД, обронил в разговоре: «Для меня нет никаких событий, которые меня сейчас бы интересовали и волновали. Ну, был процесс – троцкисты, ну, еще будет – ведь я же не полноправный гражданин, чтобы иметь свое суждение. Я поднадзорный, у которого нет только конвойных» (94). Но, демонстративно замыкаясь в себе, Булгаков продолжал работать над романом, вобравшем в себя дух эпохи. Череду событий, окружавших Мастера в 1937 году, отражена в дневниках Е. Булгаковой:

5 ноября «Пильняк арестован»; 11 ноября: «Оказывается, Добраницкий арестован...»; 12 ноября: «Вечером М.А. работал над романом о Мастере и Маргарите» (95).

– А вот интересно, если вас придут арестовывать? – спросила Маргарита.

– Непременно придут, очаровательная королева, непременно! – отвечал Коровьев...

И приходили, вваливались к сотням семей, в том числе и людей литературы. Например, в августе 1937 года был арестован зять К. Чуковского, муж его дочери – физик-теоретик М. Бронштейн, вскоре расстрелянный, и Корней Иванович присутствовал на квартире дочери в момент обыска, конфискации имущества, опечатывания дверей. Дочь его, Лидия Корнеевна, навсегда стала убежденным врагом советского строя, и, откровенно говоря, ее можно понять.

Среди прочих арестовали поэта Ярослава Смелякова (помните в «Приключениях Шурика» главный герой цитирует его стихотворение «Хорошая девочка Лида...»). Посадили композитора Бориса Фомина, автора знаменитого романса «Дорогой длиною да ночью лунною» (потом, правда, выпустили). В числе

репрессированных оказались и родители многократно цитированного здесь публициста Владимира Кормера, который родился в Красноярском крае, где оказался на поселении его репрессированный отец. Сюрреалистическую картину происходящего дает попавший под каток репрессий великий поэт Николай Заболоцкий в «Истории моего заключения»: «Допросы начинались ночью, когда весь многоэтажный застенок на Литейном проспекте озарялся сотнями огней, и сотни сержантов, лейтенантов и капитанов госбезопасности вместе со своими подручными приступали к очередной работе... (Помните свет в «Большом доме» у Булгакова? – *К.К.*) Огромный каменный двор здания, куда выходили открытые окна кабинетов, наполнялся стоном и душераздирающими воплями избиваемых людей... В моей голове созревала странная уверенность, что мы находимся в руках фашистов, которые под носом у нашей власти нашли способ уничтожать советских людей, действуя в самом сердце советской карательной системы» (96). В частном письме жене 21 марта 1939 года даже лояльнейший А. Толстой не может скрыть своего ужаса: «События одно трагичнее и страшнее другого совершаются каждый день. Каждый день мы – свидетели того, как десятки тысяч людей гибнут от ужасающей несправедливости, в ужасающих мучениях. Сама фантазия бессильно опускает руки перед тем, что совершается»^[85] (97).

Процессы следовали один за одним: после Зиновьева и Каменева пришла очередь других старых большевиков, включая Тухачевского и кампанию, а там, глядишь, и Бухарина, с которым «работали» под непосредственным руководством Ежова сразу две группы следователей, изматывая его непрерывными допросами, длившимися день и ночь. Вдобавок, обработку Бухарина лично проводил представитель

Политбюро Ворошилов. Главным козырем в этой беспроегрышной для Сталина игре были жена и ребёнок подследственного.

Д. Самойлов: «В покаяниях Бухарина, Рыкова и других была какая-то высшая, скрытая от нас цель, какой-то сговор судей с обвиняемыми, исходя из высшей дисциплины партии. Мы ни на минуту не верили, что подсудимые шпионы, агенты разведок, диверсанты и террористы. Но причины принятой ими на себя роли оставались для нас непонятными» (98).

А. Орлов: «Он полностью заплатил выкуп за жену и маленького сына и, перестраховываясь, не уставал воздавать хвалу своему палачу:

– В действительности вся страна следует за Сталиным, он – надежда мира, он – творец нового. Каждый убедился в мудром сталинском руководстве страной...» (99)

Наблюдавший за процессами Л. Фейхтвангер отмечал: «В первую очередь, конечно, было выдвинуто наиболее примитивное предположение, что обвиняемые под пытками и под угрозой новых, еще худших пыток были вынуждены к признанию. Однако эта выдумка была опровергнута несомненно свежим видом обвиняемых и их общим физическим и умственным состоянием... Людей, стоявших перед судом, никоим образом нельзя было назвать замученными, отчаявшимися существами, представшими перед своим палачом» (100).

Б. Ефимов рассказывает о реакции на сенсационные «откровения» Бухарина в зале суда: «Надо сказать, что Бухарин был школьным товарищем Эренбурга по одной из московских гимназий. Естественно, что Илья Григорьевич охотно поддерживал дружбу со своим одноклассником и тогда, когда тот стал “любимцем партии” и одним из “вождей рабочего класса”. А теперь Эренбург был в ужасе, слушая, как деловито,

обстоятельно и довольно красноречиво его друг Бухарин отвечал на вопросы главного обвинителя Вышинского, признаваясь в своей контрреволюционной, изменнической, антисоветской деятельности.

– Что он говорит? Что он говорит? Он с ума сошел... – шептал Эренбург, судорожно хватая меня за локоть. Я только пожимал плечами» (101).

Почему же всё-таки они признавались, почему считали себя виноватыми, и никто не отрицал своей вины? Или, наоборот, никто не настаивал на том, что он считал себя вправе поступать именно так? Оценивая их поведение, можно подумать, что каждым из них владело единственное непреодолимое желание: поскорее умереть. Но это не так. Они отчаянно боролись за жизнь, но, не доказывая свою невиновность, как поступают обвиняемые перед настоящим, беспристрастным, справедливым судом, а лишь стремясь возможно более точно соблюсти уговор со Сталиным: оклеветать себя, восславить его. Иногда рвение подсудимых просто переходило все рамки. В. Молотов даже усматривал в этом элемент саботажа: «Я думаю, что это был метод продолжения борьбы против партии на открытом процессе, настолько много на себя наговорить, чтобы сделать невероятными и другие обвинения» (102). Ну, что ж, в таком случае расчет жертв не сработал.

Публичные процессы вызывали у публики чувство некоторой оторопи – от той готовности всё рассказать и всё признать, которая переходила из показания в показание. Но в целом это выстраивалось в казавшуюся по тем временам довольно стройную и последовательную теорию заговора. Принятая в 1920-х годах схема «революционные народники – предшественники большевиков» (когда террористы-народовольцы признавались прогрессивной силой) официально была заменена другой: «народники – эсеры

– троцкистско-бухаринская банда» (народники-реакционеры тормозили развитие пролетарского движения и взрастили террористов-убийц).

Л. Фейхтвангер: «Очень жаль, что в Советском Союзе воспрещается производить в залах суда фотографирование и записи на граммофонные пластинки. Если бы мировому общественному мнению представить не только то, что говорили обвиняемые, но и как они это говорили, их интонации, их лица, то, я думаю, неверящих стало бы гораздо меньше» (103). Американский посол Джозеф Э. Девис сообщал о московских процессах в секретной телеграмме от 17.02.1937 госсекретарю Карделлу Хэллу: «Я беседовал чуть ли не со всеми членами здешнего дипломатического корпуса, и все они, за одним только исключением, держатся мнения, что на процессе было с очевидностью установлено существование политического сообщества и заговора, поставившего себе целью свержение правительства». Он же об А. Вышинском: «Вышинский... спокойный, бесстрастный, рассудительный, искусный и мудрый. Как юрист, я был глубоко удовлетворен и восхищен тем, как он вел это дело» (104).

После разгрома более-менее боеспособных и решительных троцкистов верхушка партии пошла на бойню, как стадо баранов, – вот поразительное качество самозваной советской элиты, храброй лишь по отношению к беззащитным подданным. Между тем, чтобы спастись, часто наоборот нужна лишь смелость защитить хотя бы себя, оказать символическое сопротивление. Например, когда в Москве собрался очередной пленум ЦК партии, на нем нарком иностранных дел М. Литвинов выступил со своей оценкой международного положения. Выступление Литвинова Хозяину явно не понравилось, и он резко его раскритиковал.

– Товарищ Сталин! – неожиданно и дерзко сказал Литвинов. – Что же я, по-вашему – враг народа?

Такого смелого вопроса Сталин явно не ожидал. И, помолчав, медленно ответил:

– Нет, Папаша^[86], врагом народа не считаем. Считаем честным революционером (105).

Другой пример. Рассказывает Хрущев, что на партийном собрании какая-то женщина выступает и говорит, указывая пальцем на партийца по фамилии Медведь^[87]: «Я этого человека не знаю, но по глазам его вижу, что он враг народа». Но Медведь не растерялся и сейчас же парировал: «Я эту женщину, которая сейчас выступила против меня, в первый раз вижу и не знаю ее, но по глазам вижу, что она б. дь» (106). Эта фраза стала известна на всю Украину. Возможно, если бы Медведь стал заунывно доказывать, что он не «враг народа», а честный человек, то навлек бы на себя подозрение.

Разное поведение – разные результаты. Да и тех, кому не удалось спастись, грешно грести под одну гребенку. Были, совершенно очевидно, невиновные, пострадавшие по принципу «лес рубят – щепки летят». А были и те, кто заслужил свое право на топор палача, благословляя и расхваливая его на все лады, пока дело не дошло до них. Присущее массе нынешних сочинений уравнивание совершенно различных людей, погибших в 1930-х годах, означает не только явное упрощение, но и грубое искажение реальности. Те же И. Бабель и М. Кольцов, если уж на то пошло, были гораздо ближе к уничтоженному в 1940-м Н. Ежову, в доме которого они запросто бывали в качестве дорогих гостей, чем к философу П. Флоренскому или поэту О. Мандельштаму.

О Бабеле мы уже говорили, вспомним за Кольцова – влиятельнейшего публициста 1920-х – 1930-х годов. Из номера в номер он выступал на страницах самой

влиятельной в стране газеты «Правда» со злободневными фельетонами, очерками и корреспонденциями. Для своих фельетонов он преображался то в таксиста, то в работника ЗАГСа, то в преподавателя русского языка в школе. Одновременно он основал и возглавил крупнейшее Журнально-газетное объединение («ЖУРГАЗ»), в котором задумал и осуществил издание журналов «Огонек», «За рубежом», «Советское фото», «За рулем», «Изобретатель», «Женский журнал» и других, а также сатирического журнала «Чудак». Выходили в «ЖУРГАЗе» и прекрасные книжные серии, как, например, «Жизнь замечательных людей». В какой-то степени образ эрудированного и неглупого редактора Берлиоза Булгаков списал с М. Кольцова, которого, к слову сказать, Михаил Афанасьевич терпеть не мог. Своему приятелю Радлову, на его предложение похлопотать за Булгакова перед Кольцовым, он жестко ответил: «Я тебя умоляю никогда не упоминать моего имени при Кольцове» (107).

Когда началась партийная чистка, Кольцов также оказался в первых рядах, согласившись на публичное обсуждение своей кандидатуры. Его биография обговаривалась всенародно, как пример идеальной советской жизни. Интересно, упоминалось ли при обсуждении, что М. Кольцов начинал карьеру вовсе не в советской прессе и другом «власти рабочих и крестьян» поначалу не числился – наоборот, во время Гражданской войны подвизался в газетах антисоветских? Что, впрочем, ему не помешало позже записать бывших работодателей в смертные враги. М. Кольцов: «У нас, в России, вопрос о “виновниках войны” был решен могуче, величественно и просто. Весь рабочий класс встал против всего другого класса, истинного виновника войны, затеявшего ее, питавшегося ею, – и сломил его вместе с войной. Одной рукой, почти в одно и то же время, были сломлены и

повергнуты в прах и сама война, и весь виновный в ней класс. Вопросы об отдельных людях – “виновниках” – у нас не возникало» (108). У пролетариата нет вопроса о вине конкретного человека, виноваты все скопом. Так чего же хотел Михаил Ефимович, когда решался жребий его класса «красных бояр»?

Когда его взяли, он вел себя не лучше и не хуже других партийцев, но покорно дал требуемые от него показания. Из дела Мейерхольда, показания Кольцова: «Вопрос: Назовите все вам известные шпионские связи Вожея^[88] в СССР. Ответ: Московскими друзьями и осведомителями Вожея являются Михайлов – редактор “Журналь-де-Москау” и Мейерхольд...». Показания Мейерхольда: «Не отрицаю, что по указаниям И. Эренбурга мною лично в том же 1937 году были вовлечены в троцкистскую организацию Борис Пастернак и Юрий Олеша...» (109) Бред, скажете вы. Безусловно, но – бессмыслицею логика полна.

Нельзя не отметить многозначительного совпадения: вдохновенных певцов нового строя Кольцова и Мейерхольда расстреляли в один день (2 февраля 1940 года), между тем оклеветанные ими аполитичный Пастернак, космополитичный Эренбург и выпивающий Олеша, прославившийся отнюдь не просоветской повестью «Зависть», счастливо миновали период «большого террора». Скорей всего, решения по всем им принимал лично Сталин, а выводы сделал разные.

О том, что вождь лично следил за делом М. Кольцова, свидетельствует К. Симонов. Его друга и литературного шефа А. Фадеева Сталин решил ознакомить с делом Кольцова: «Фадеев сел за стол, перед ним положили две папки показаний Кольцова. Показания, по словам Фадеева, были ужасные, с признаниями в связи с троцкистами, с поумовцами^[89].

– И вообще, чего там только не было написано, – горько махнул рукой Фадеев... – Меня еще раз вызвали к Сталину, и он спросил меня:

– Ну как, теперь приходится верить?

– Приходится, – сказал Фадеев.

(«Ах, Берлиоз, Берлиоз! – вскипало в голове у Степы. – Ведь это в голову не лезет!»)

– Если будут спрашивать люди, которым нужно дать ответ, можете сказать о том, что знаете сами, – заключил Сталин и с этим отпустил Фадеева» (110).

Вообще, тягаться со Сталиным было трудно, свою партию усач разыгрывал отменно. А. Микоян: «Он выслушивал наши возражения, а потом предъявлял показания арестованных, в которых они признавались во вредительстве» (111). Соратники сконфужено молчат, а проницательный вождь отправляет «провинившихся» на плаху.

Итак, с делом Кольцова Сталин знаком лично, он принимает решение о его ликвидации и при этом щадит Олешу и Пастернака, о которых в деле прямо сказано, что они члены тайной троцкистской организации. Как-то знаменитую исследовательницу творчества Булгакова М. Чудакову спросили, а почему, собственно, вождь не тронул писателя? Известная своими либеральными воззрениями Чудакова ответила легко, как и положено демократу: «Это была прихоть тирана, и не следует здесь искать какие-нибудь другие объяснения» (112). Так-таки и не следует!? Окруженный шпионами Булгаков – прихоть? А сомнительный Эренбург? А «красное сиятельство» Толстой? А многократно раскритикованный Шостакович? А скомпрометированная арестами близких Ахматова? А сотни других интеллигентов старой формации? Многих резанула слепая коса, но по знаковым фигурам решения принимал лично вождь. Например, когда НКВДисты подали документы на арест супруги репрессированного

комкора Примакова Лили Брик, Сталин лично написал на списке «жен врагов народа» – «Считаю, что будет неправильным арестовать жену (!) поэта Маяковского».

Совершенно очевиден политический расчет, который касался не только Лили, но и множества других конкретных людей – они были ему нужны. Как вдруг нужны оказались в новой империи офицерские звания, искусство танца в учебных заведениях Красной армии и казачьи лампасы.

IX

Писатель Андрей Битов скорбит о судьбе репрессированных: «Погибали, что называется, лучшие представители народа. Те, которые даже ради выживания на какие-то вещи категорически не могли пойти. Шел отбор по нравственным качествам, по степени духовности. Лучшее уничтожалось» (113). Значит, Пастернак, Булгаков и др. – это не лучшее, а лучшее, не идя на компромиссы с сатрапом, погибало. Логично. Будем считать, что Андрей Георгиевич в полемическом задоре просто не обратил внимания, что среди «лучших» представителей народа, по его определению, оптом оказались и тысячи следователей НКВД, вместе с Ягодой и Ежовым, пущенных в расход во время тех же самых репрессий. Это сразу смягчает категоричность его суждений. Или другой светоч перестройки – Е. Евтушенко: «Трагедия коммунистов-идеалистов состояла в том, что когда их идея материализовалась в сталинском варианте, то она оказалась кровавой карикатурой мечты...» (114) Про «идеалистов» в этой книге уже сказано предостаточно – про их заслуги, досуг, родственные связи и похождения, начиная с Гражданской войны. Почти два десятка лет они чувствовали себя правящим классом, элитой. Пусть немного отличающейся от устоявшихся элит Запада, но все же полномочной властвовать над своими дремучими согражданами и решать их судьбу. И вдруг выясняется, что пыль они лагерная. Мордой – и в дерьмо:

«На вопрос о том, откуда спрашивают Аркадия Аполлоновича, голос в телефоне очень коротко ответил откуда.

– Сию секунду... сейчас... сию минуту... – пролепетала обычно очень надменная супруга

председателя акустической комиссии...»

Очень надменные супруги пережитого унижения не прощают: таятся, но помнят, боятся, но ненавидят. И так до сих пор. Так давайте же еще немного про «идеализм», и что «лучшее уничтожалось». Ради запоминания материала.

Для иллюстрации – показательная история одной престижной женитьбы, родственных связей и бесчисленных инсинуаций. Во время перестройки весьма прославился публицист Лев Разгон, который опубликовал в 1988 году свои мемуары – «Непридуманное». Автор рассказывал о репрессиях 1930-х годов и гневно проклинал НКВД (правда, ухитрился забыть даже о том, что сам он в 1937 году работал штатным сотрудником этого самого НКВД!). «В первое издание книги “Непридуманного” (1991) Льва Разгона вошел небольшой раздел “Военные”, в центре которого – судьба двоюродного брата автора, Израиля Разгона – высокопоставленного армейского политработника, расстрелянного в конце 1937 года. В рассказе создается прямо-таки героический образ, речь идет о выдающихся “уме, честности и бесстрашии Израиля”, о его благородной дружбе с легендарным героем гражданской войны Иваном Кожановым и т. п. Однако, переиздавая свое сочинение через три года, в 1994-м, Л. Разгон явно вынужден был выбросить этот краткий раздел из своей книги, поскольку по документам было установлено, что именно его кузен Израиль Разгон “посадил” своего друга Ивана Кожанова, о чем как раз в 1991 году было сообщено в печати» (115).

Сам же пострадавший при Сталине Лев Разгон до ареста принадлежал к наиболее привилегированным кругам советской элиты 20-х годов. Его супругой была дочь одного из главных деятелей ВЧК-ОГПУ-НКВД Г. Бокия, к тому же ко времени женитьбы Разгона она

была падчерицей находившегося тогда на вершине своей карьеры партаппаратчика И. Москвина. Москвин до 1926 года являлся одним из сподвижников хозяина Ленинграда – Г. Зиновьева. Потом переметнулся к Сталину, стал членом Оргбюро ЦК и кандидатом в члены Секретариата ЦК, войдя тем самым в высший эшелон власти, состоявший всего только из *трех десятков* человек (члены Политбюро, Оргбюро и Секретариата ЦК). К этому можно добавить, что именно тесть Л. Разгона Бокий был автором идеи создания красного концентрационного лагеря и первым его куратором. Г. Бокий после убийства Урицкого стал председателем Петроградской ЧК и в течение нескольких месяцев руководил «красным террором», а с 1919 года был начальником Особого отдела Восточного фронта. «...Невозможно подсчитать, – вдруг припечатывает бывшего тестя Лев Разгон, – количество невинных жертв на его совести...» (116) Так на кого жалуется Разгон, который сам служил в НКВД в эпоху его кровавого апогея, тесть которого создавал кровавую систему, брат которого заложил лучшего друга?!

Вопрос не в оправдании репрессий, но в понимании их механизма, самой анатомии террора. «Коммунисты-идеалисты» часто были обычными палачами, которых по недоразумению определили в жертвы. Или недоразумения не было? Тогда продолжим. В. Кожин дает развернутую картину еще одной поучительной во всех смыслах истории. В 1995 году были изданы мемуары руководящего сотрудника ВЧК-ОГПУ-НКВД М. Шрейдера «НКВД изнутри. Записки чекиста». В редакционном предисловии к ним утверждается, что их автор 1937–1938 годах боролся за «честный профессионализм» и «не признавал «липовых» дел и людей, которые на его глазах фабриковали такие дела». Книга М. Шрейдера по своему весьма интересна,

в ней немало выразительных зарисовок отмеченной абсурдом ситуации того времени. Так он описывает сцену своего допроса в начале 1939 года:

– Ах ты, фашистская гадина! – заорал мой бывший подчиненный. – Тебе не видать должности полицмейстера, которую обещал тебе Гитлер!

От такой чуши я остолбенел.

– Неужели ты не знаешь, – попытался разъяснить ему я, – что Гитлер истребляет евреев и изгнал их всех из Германии? Как же он может меня, еврея, назначить полицмейстером?

– Какой ты еврей? – к моему удивлению изрек этот болван. – Нам известно, что ты – немец, и что по заданию немецкой разведки несколько лет назад тебе сделали обрезание.

«Несмотря на всю горечь моего положения, я рассмеялся...». Действительно, бесподобный образчик «черного юмора»...

Но одновременно с книгой М. Шрейдера, хотя и совершенно независимо от нее, в том же 1995 году, было опубликовано изложение сохранившейся в архиве г. Иваново стенограммы пленума тамошнего обкома партии, состоявшегося в августе 1937 года, – своего рода чрезвычайного пленума, которым командовали прибывшие из Москвы секретарь ЦК Л. Каганович и секретарь партколлегии Комиссии партийного контроля при ЦК М. Шкирятов. И уже пожелтевшая стенограмма показала, что (цитирую) «Шрейдер обрушился на секретаря горкома партии Васильева. Он выразил возмущение по поводу того, что Васильев, имевший связь с врагом народа, занимает место в президиуме...

– У меня нет никаких данных о том, что Васильев враг, – сказал он, – но я позволю себе выразить ему недоверие.

Затем Шрейдер обвинил начальника управления НКВД Стырне в том, что тот противодействовал

репрессиям и якобы имел связь с бывшим сотрудником НКВД Корниловым, который в 1936 году обвинялся в сотрудничестве с троцкистами. Стырне, старый чекист, активный участник Гражданской войны, тут же был снят с работы, а впоследствии арестован и расстрелян... Шрейдер выразил недоверие еще нескольким ответственным работникам, ничем это не мотивируя» (118).

Еще один случай, мягко говоря, выборочности человеческой памяти приводит Л. Копелев в связи гибелью репрессированного П. Постышева: «Когда в 1938 году я услышал о его аресте, то сначала не верил, а потом думал, что он оказался жертвой провокаций, которые удалось осуществить хитроумным вражеским агентам, пролезшим в НКВД и повлиявшим на фанатика Ежова... После 1953 года я думал, что Постышев погиб именно потому, что был одним из последних ленинцев, был противоположен Сталину, Молотову, Кагановичу, Бери и всем им подобным, беспринципным властолюбцам, своекорыстным и жестоким... а ведь я помнил, как Постышев „прорабатывал“ Скрыпника за национализм и тот застрелился. Помнил, как жестоко поносил он Кулиша, Вишню, Курбаса, Эпика и других украинских писателей, художников, ученых, уверял, что они заговорщики, агенты фашизма... Хотя знал, что на Украине „37-й год начался в 33-м“, именно при Постышеве; знал, что прежде, чем самому погибнуть в застенке, он успел обречь на расправу тысячи людей и на Украине, и в Куйбышеве, куда его назначили секретарем обкома в конце 1937 года. За несколько дней до своего ареста, он громил „врагов народа“...» (119) То есть – все хорошо помнить, но отделять настоящее от грязного прошлого. Вот эта расщепленность и выборочность сознания дорого нам всем обошлась.

Или еще один дивный пример, тем более важный для нашего повествования, что о нем в мемуарах сочувственно отзывается сам архитектор десталинизации Н. Хрущев: «Реденс был тогда начальником управления ОГПУ Московской области. Это тоже интересная фигура. Реденс, бедняга, тоже кончил жизнь трагически. Он был арестован и расстрелян; несмотря на то, что был женат на сестре Надежды Сергеевны Аллилуевой, то есть являлся свояком Сталина... Вот с этим-то Реденсом ходили мы и проверяли тюрьмы...» Далее автор рассказывает, как встречается в тюрьме с бывшими партийцами: «Она была полуголая, как и другие, потому что стояла жарища. Говорит: "Товарищ Хрущев, ну какой же я враг народа? Я честный человек, я преданный партии человек". Вышли мы оттуда, зашли в мужское отделение. Тут я встретил Трейваса. Трейвас тоже говорит мне: "Товарищ Хрущев, разве я такой сякой?". Я тут же обратился к Реденсу, а он отвечает: "Товарищ Хрущев, они все так. Они все отрицают. Они просто врут"» (120). Это какой же степенью цинизма нужно Хрущеву обладать, чтобы после описания деяний обер-палача «беднягой» его называть?

А вот еще сочувственное слово дамы, воспоминания которой известны всему миру – Светланы Сталиной (Аллилуевой).

Она тоже полна восхищения своим дядей Реденсом: «Мужа своего Станислава Францевича, польского большевика, давнего сподвижника Дзержинского, "Аничка" (его жена – К.К.) обожала и считала – и продолжает считать и сейчас – самым лучшим, самым справедливым и самым порядочным человеком на земле. Я помню только, что он был очень красив, с живым лицом, с ослепительной улыбкой, всегда добрый и веселый с нами, с детьми. У них было два сына, красивые полуюжане, полуполяки; они выросли

добрыми и мягкими – в мать, и изящными – в отца». В общем, изящный, улыбчивый, веселый, красивый... «Он был после гражданской войны крупным чекистом Украины, – они жили тогда, всей семьей, в Харькове» (121).

Чем же занимался С. Реденс в Харькове, спросите меня, дорогие земляки? А вот чем: в декабре 1932 года, в самый в разгар голода, по делам хлебозаготовок его ведомством было арестовано 27 тысяч человек и по приговору судебной тройки в персональном составе Косиор – Реденс – Киселев было приговорено к расстрелу 108 человек. Вам очень жалко Реденса и Косиора (судьбу упомянутого Киселева не знаю)?

В 1937 году, для ускорения проведения массовых казней, аналогичная судебная тройка во главе с Реденсом была создана по Московской области. По воспоминаниям современников, иногда сотрудники НКВД приезжали со списками осужденных на смерть москвичей на квартиру к своему начальнику в Дом Правительства по улице Серафимовича, 2. И Станислав Францевич за чашкой чая утверждал очередность расстрелов. А весь мир знает его из воспоминаний Аллилуевой, как доброго дяденьку. Хотя даже советская неразборчивая Фемида так настрадалась от «добряка» Реденса, что никак не хотела его обелять. На первое обращение родственников о реабилитации «бедняги» (1956 г.) прокуратура ответила отказом. Потребовалось личное вмешательство его спутника по тюремным экскурсиям, ставшего руководителем государства Н. Хрущева, чтобы в 1961 году С. Реденс был, наконец, реабилитирован.

Имея таких начальников, что уж говорить о мелких сошках, вроде рядовых следователей. Как давал пояснения один из них, допрашивавший обреченного В. Чубаря: «Мне сказали – бить его, пока не сознается, что он "враг народа", вот я его и бил, он сознался» (122).

- Ты от нас? От НАС хотел убежать? - прошипел один и схватил меня за волосы и, сколько в нем было силы, хватил головой о кремлевскую стену. Мне показалось, что я раскололся от боли, кровь стекала по лицу и за шиворот... Я почти упал, но удержался... Началось избиение.

- Ты ему в брюхо, в брюхо сапогом! Пусть корчится!

Венечка знал, о чем пишет – его отец тоже был из репрессированных. Да и вообще его родной Кольский полуостров был переполнен лагерями: «Мы больше видели колючей проволоки, чем чего-нибудь другого», – вспоминал он в одном из интервью (123).

В заплечных дел мастера подавались и дамы, благо женщины в СССР стали эмансипированные. Хорошо в Ленинграде знали Софью Оскаровну Гертнер, в 1930–1938 годах работавшую следователем Ленинградского управления НКВД и имевшую среди коллег и заключенных забавную кличку «Сонька Золотая Ножка». Первым наставником Софьи был Яков Меклер, ленинградский чекист, за особо зверские методы допроса получивший кличку «Мясник». Гертнер изобрела свой метод пытки: привязывала допрашиваемого за руки и за ноги к столу и со всего размаха била несколько раз тупелькой по «мужскому достоинству». Берия, придя к руководству НКВД, приказал заключить Соньку Золотую Ножку под стражу: «Уж слишком известна». Но, увы, умерла С. Гертнер в Ленинграде лишь в 1982 году в почтенном возрасте 78 лет.

Эту организацию напившихся с 1917 года (и даже раньше) человеческой крови «коммунистов-идеалистов» и их подпевал нельзя было реформировать, но только истребить физически, что Сталин и сделал. 80 % процентов высшего состава НКВД погибли в годы «ежовщины». Так, на балу у сатаны в «Мастере и Маргарите» появляются уже расстрелянные Г. Ягода и

его послушный секретарь П. Буланов, уничтоженные по делу «правотроцкистского центра» в марте 1938 года:

«По лестнице подымались двое последних гостей.

– Да это кто-то новенький, – говорил Коровьев, щурясь сквозь стеклышко, – ах да, да. Как-то раз Азazelло навел его и за коньяком нашептал ему совет, как избавиться от одного человека, разоблачений которого он чрезвычайно опасался. И вот он велел своему знакомому, находящемуся от него в зависимости, обрызгать стены кабинета ядом^[90].

– Как его зовут? – спросила Маргарита.

– А, право, я сам еще не знаю, – ответил Коровьев, – надо спросить у Азazelло.

– А кто это с ним?

– А вот этот самый исполнительный его подчиненный. Я восхищен! – прокричал Коровьев последним двум». В черновом варианте романа Булгаков приводил довольно прозрачный портрет последнего гостя: «очень мрачный человек с маленькими, коротко постриженными под носом усиками и тяжелыми глазами» (124). Это портрет Г. Ягоды.

В неумной прыти безумные и бездумные исполнители, конечно же, перестарались. Потери кадрового состава НКВД, включая заграничные резидентуры, оказались столь велики, что в 1938 году в течение 127 дней подряд из внешней разведки руководству страны вообще не поступало никакой информации. Например, в токийской резидентуре накануне войны был момент, когда ни один из сотрудников «легальной» резидентуры не знал ни японского, и **ни какого другого** иностранного языка. Ничего не скажешь – подготовились к войне... И сейчас уместно вернуться к теме назревавшей мировой бойни, тем более, что обвиняемым на процессах, как правило, инкриминировали именно шпионаж в пользу иностранных разведок, нацеленных на уничтожение Советского Союза.

Елена Булгакова отмечает в своем дневнике: «*11 июня [38].* Утром сообщение в «Правде» прокуратуры Союза о предании суду Тухачевского, Уборевича, Корка, Эйдемана, Фельдмана, Примакова, Путны и Якира по делу об измене Родине... Митинг после репетиции. В резолюции – требовали высшей меры наказания для изменников» (125). Интересно, а Булгаков голосовал? Ведь у него с Тухачевским имелись свои счеты. Дело в том, что Михаил Афанасьевич был дружен с А. Свечиным, выдающимся военачальником Первой мировой войны, начальником штаба Северного фронта. После революции Свечин перешел на службу большевикам, преподавал в военной академии и, наряду с другими старыми военспецами – А. Снесаревым (генерал-лейтенант, бывший командующий корпусом), В. Егорьевым (генерал-майор, бывший

командующий корпусом) и др. – разработал концепцию современной войны и основы необходимой в ней стратегии. Тухачевский же в 1920-х – начале 1930-х был их непримиримым противником, обличал их как «антисоветских» и «антиреволюционных» стратегов. В результате все они еще в 1930 году были арестованы – была проведена, так называемая, «операция “Весна”»: в одну ночь в центральном военном аппарате и в округах было арестовано около 5 тысяч старых специалистов. После чего развернулась кампания осуждения, и одной из ее главных тем стали военно-теоретические взгляды А. Свечина, против которых выступал М. Тухачевский. И есть основания утверждать, что именно репрессии 1930 года (а не 1937) нанесли наиболее тяжкий ущерб нашей армии.

После серьезнейших неприятностей А. Свечин вернулся к преподаванию в Академии, хотя, конечно, уже не в том статусе. М. Булгаков бывал у него – сохранившееся свидетельство о том устанавливает факт знакомства четы Булгаковых с военной средой: «В МХАТе – банкет, чествуют стариков, – записывает Елена Сергеевна 25 ноября 1933 года. – М.А. не пошел, мы были званы к Свечиным» (126). Собственно, и предыдущий муж Елены Сергеевны – Е. Шиловский тоже относился к категории видных военспецов (был начальником штаба Московского военного округа) и, надо полагать, истинная физиономия М. Тухачевского для него секретом не являлась.

Тухачевский, успешно командовавший подавлением антибольшевистских мятежей в Симбирске (1918 год) и Кронштадте, потерпел сокрушительное поражение в единственной выпавшей на его долю войне с иностранной – польской – армией летом 1920 года. Зато против восставших, почти безоружных крестьян на Тамбовщине красный полководец решил показать себя во всей красе.

12 июня 1921 года типографским тиражом печатается знаменитый приказ командования войсками Тамбовской губернии о применении удушливых газов против повстанцев № 0116:

«Остатки разбитых банд и отдельные бандиты, сбежавшие из деревень, где восстановлена Советская власть, собираются в лесах и оттуда производят набеги на мирных жителей.

Для немедленной очистки лесов приказываю:

1. Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми удушливыми газами, точно рассчитывать, чтобы облако удушливых газов распространялось полностью по всему лесу, уничтожая все, что в нем пряталось.

2. Инспектору артиллерии немедленно подать на места потребное количество баллонов с ядовитыми газами и нужных специалистов.

3. Начальникам боевых участков настойчиво и энергично выполнять настоящий приказ.

4. О принятых мерах донести.

Командующий войсками Тухачевский

Начальник штаба войск генштаба Какурин».

Кстати, означенный Какурин ранее служил в петлюровской армии УНР.

Во время перестройки много говорилось о том, что процессы были «сфабрикованы». Но тогда никто и не воспринимал буквально ритуальные вещи так, как они официально трактовались. Тухачевского обвиняли в «организации заговора и шпионаже», а простые люди про себя думали: его наказывают за то, что он расстреливал заложников в Тамбовской губернии в 1921 году и предлагал применить против крестьян химическое оружие. И позже, когда казнили Л. Берию как «английского шпиона», никто не возмущался нелепым обвинением – все понимали, что таким образом его покарали как кровавого палача.

Едва ли основательно предположение, что Тухачевский (вместе с подобными ему военачальниками) мог сыграть первостепенную роль в Отечественной войне. Репрессированные Я. Гамарник, В. Примаков, М. Тухачевский, И. Федько, И. Якир родились в те же самые годы (1894–1897), что и Г. Жуков, И. Конев, Р. Малиновский, К. Рокоссовский, Ф. Толбухин. Но первые, исключая одного только Тухачевского, провоевавшего четыре месяца в качестве подпоручика, не участвовали в Первой мировой войне, а вторые (кроме окончившего школу прапорщиков Толбухина) начали свой боевой путь простыми солдатами. Далее: первые оказались вскоре после революции на наиболее высоких руководящих постах (хотя им было всего от 21 до 25 лет), без сомнения, по «идеологическим», а не по собственно «военным» соображениям, а вторые, медленно поднимаясь по должностной лестнице, обретали реальное умение управлять войсками. Не говоря уже о качестве «человеческого материала». Заместитель начальника германского генерального штаба Бломберга полковник Миттельбергер в мае 1928 года сообщал своему начальству о Тухачевском следующее: «Общеизвестно, что он является коммунистом лишь по оппортунистическим причинам. Здесь отдают должное и его личному мужеству, и способности рискнуть и отойти от коммунизма, если в ходе дальнейшего развития событий ему это показалось бы целесообразным» (126). Миттельбергер также отмечал, что в Советском Союзе наблюдался отход армейских офицеров от коммунистической идеологии, что вполне «в будущем могло стать основой для заговора».

Следует обмолвиться, что руководство РККА было тесно связано деловыми и личными связями с руководством германских вооруженных сил, поскольку в 1920-е годы Советская Россия и Германия активно

сотрудничали в военной сфере. Например, в 1930 году в Академии штаба РККА (ныне академия им. Фрунзе) в качестве преподавателя военной истории работал майор Ф. Паулюс, а занятия по тактической подготовке в академии вели подполковник В. Кейтель и майор В. Модель, все – будущие гитлеровские фельдмаршалы. А в 1932 году на крупные осенние маневры в Германию прибыла представительная делегация во главе с самим Тухачевским, которого по завершении маневров принимал президент Гинденбург. Кроме официальных связей, наладились и человеческие контакты. Так, упомянутого Бломберга и командарма Уборевича связывала крепкая дружба.

По мнению Судоплатова, в падении красного маршала, кроме всего прочего, сыграло роль то, что когда Сталин обсуждал с Тухачевским различные вопросы назначений и смещений, тот не держал язык за зубами и по столице ходили всяческие слухи. Качество, прямо скажем, неприемлемое для любого командира. Не держали язык за зубами бывшие командиры и во время следствия, и отчаянно топили друг друга во время процессов. «Оказывается, я прославлял в своем реквиеме двух красных военачальников – Блюхера и Якира, не зная того, что подпись Блюхера стояла под приговором Якиру..., – сокрушается Е. Евтушенко. – Поток запоздалой информации, к моему ужасу, развенчивал многих из тех, кого я почитал как жертв Сталина. Оказалось, что, прежде чем стать жертвами, эти несчастные люди успели побыть палачами, делая несчастными других» (127). Факты превращения вчерашних «палачей» в «жертвы» общеизвестны: крупнейшие военачальники Я. Алкснис, И. Белов, В. Блюхер, П. Дыбенко и другие 11 июня 1937 года осудили на расстрел своих сослуживцев В. Примакова, М. Тухачевского, И. Уборевича, И. Якира и других, но в следующем 1938 году, и сами были расстреляны.

В результате, И. Сталин своей цели добился – не только «органы», но и армия даже подумать не могли, чтобы стать орудием свержения диктатора. Вождь навел такой ужас на военных, что дело доходило до анекдотов: «К Сталину пригласили одного боевого генерала в связи с назначением на должность командира корпуса. Не успел его поздравить Сталин с назначением, как генерал поспешно ответил: “Доверие оправдаю”, пулей вылетел из кабинета Сталина и прямо в туалет» (128). Можно сравнить эту байку со случаем на излете Советской власти. Когда, принимая свежестроенную для Горбачева дачу в Форосе, дочка Михаила Сергеевича стала открывать занавес в спальном комнате, гардина сорвалась со стены – видимо, была слабо прибита – и слегка ударила ее по голове. Это послужило причиной снятия с должностей и увольнения со службы десятка-двух генералов и офицеров службы безопасности. Ну, во-первых, действительно халтурщики; во-вторых, почему obsługi в погонах так много? И, в-третьих, можете ли представить подобную историю с участием сталинского генерала, о котором мы рассказали только что? Засилье халтуры при обилии obsługi (в широком смысле) – преодоление этого парадокса и было целью сталинских репрессий.

И еще нужно коснуться одного фарса из серии больших процессов тридцатых годов. А именно процесса Пятакова, Радека, Серебрякова и др. Милейшие люди, скажем, Пятаков – один из организаторов истребления остатков Белой гвардии в Крыму^[91]. Важной особенностью нового процесса стало участие в нем Карла Радека, одного из самых ярких партийных публицистов, человека с международной известностью, с доноса которого на Блюмкина и начались расстрелы старой гвардии. Задиристый Радек

и здесь остался верен себе. А. Орлов: «В феврале 1937 года начальник Иностранного управления НКВД рассказал мне о на редкость пикантной сцене, разыгравшейся между Радеком и начальником Секретного политического управления Молчановым. Однажды ночью, допрашивая Радека, Молчанов довел его до крайнего озлобления. Не в силах более сдерживаться, Радек ударил по столу кулаком и решительно объявил:

– Ладно! Я согласен сейчас же подписать всё что угодно. И признать, что я хотел убить всех членов Политбюро и посадить на кремлёвский престол Гитлера. Но к своим признаниям я хочу добавить одну небольшую деталь, что, кроме тех сообщников, которых вы мне навязали, я имел ещё одного, по фамилии... Молчанов... Да, да, Молчанов! – истерически закричал Радек. – Если вы считаете, что необходимо кем-то пожертвовать для блага партии, то пусть мы пожертвуем собой вместе!

Молчанов побледнел как полотно.

– И знаете, что я думаю? – продолжал Радек, наслаждаясь его замешательством. – Я думаю, что, если я всерьёз предложу это условие Ежову, он его охотно примет. Что для Ежова судьба какого-то там Молчанова, когда дело идёт об интересах партии! Чтобы заполучить на суд одного такого, как Радек, он без разговора подкинет дюжину таких Молчановых!»

Безусловно, Радек блефовал, но он знал, куда бить – торговля за жизнь в обмен на гарантии Сталина и Ежова. «Через несколько дней Сталин появился в здании НКВД и в присутствии Ежова у него состоялся долгий разговор с Радеком. После этого Радека привели в кабинет Кедрова, где его ждал уже заранее подготовленный протокол допроса. Он внимательно прочел показания, написанные за него и неожиданно, взяв карандаш, принялся делать поправки, не обращая

внимания на протесты Кедрова. Наконец ему, видимо, надоело это занятие и он объявил: “Это не то, что нужно. Дайте мне бумагу и ручку, и я напишу сам!”

Радек набросал протокол допроса, который привёл следователей в восторг. В нём он сам задавал себе вопросы, сам же и отвечал на них. Руководители НКВД не рискнули сделать в писаниях Радека никаких поправок» (129).

Показания были озвучены публично, что стало уже доброй традицией, в присутствии многочисленных наблюдателей, в том числе и из-за рубежа: «Когда я присутствовал в Москве на втором процессе, когда я увидел и услышал Пятакова, Радека и их друзей, я почувствовал, что мои сомнения растворились, как соль в воде, под влиянием непосредственных впечатлений от того, что говорили подсудимые и как они это говорили. Если все это было вымышлено или подстроено, то я не знаю, что тогда значит правда», – восхищается Л. Фейхтвангер (130). Уговор состоялся, К. Радека не расстреляли, он погиб уже в лагерях.

С января 1938 года маховик репрессий власти начали тормозить: был принят ряд директив, в частности, постановление Пленума ЦК ВКП(б) «Об ошибках парторганизации при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из ВКП(б) и о мерах по устранению этих недостатков». В нем приводились конкретные примеры «перегибов» на местах, несколько раз упоминался и харьковский регион: «Во многих районах Харьковской области под видом “бдительности” имеют место многочисленные факты незаконного увольнения с работы и отказа в предоставлении работы исключенным из партии и беспартийным работникам. В Змиевском районе в октябре и ноябре 1937 года беспричинно сняты с работы 36 учителей и намечено к увольнению еще 42. В

результате в школах сел Тарановка, Замостяжное, Скрыпаевка и других не преподают историю, Конституцию СССР, русский, украинский и иностранные языки... В г. Змиеве в средней школе преподавала биологию учительница Журко, 1904 года рождения, дочь колхозника, имеющая 8-летний педагогический стаж, заочница 4 курса пединститута. В местной газете появилась заметка о ее брате, работающем педагогом в г. Изюме, как о националисте. Этого оказалось достаточным для увольнения Журко с работы. В связи с ее увольнением т. Журко было выражено политическое недоверие ее мужу и поднят вопрос также и о его увольнении. При проверке же выяснилось, что заметка о брате Журко оказалась клеветнической и он с работы не снимался... В г. Харькове по делу одной арестованной троцкистки Горской органами НКВД была допрошена в качестве свидетельницы работница завкома фабрики им. Тинякова Эйнгорн. О своем вызове в НКВД она поделилась с начальником спецчасти Семеновым, который немедленно после этого поставил на парткоме завода вопрос о связях Эйнгорн с троцкисткой Горской. В результате Эйнгорн была снята с работы в завкоме и уволена. Муж сестры Эйнгорн, работавший в редакции местной газеты, уволен за то, что "не сообщил о связях сестры его жены с троцкистами"» (131).

Откликаясь на постановление, нарком юстиции потребовал от судов строго соблюдать процессуальные нормы, и суды стали возвращать НКВД дела на доследование (было возвращено 50 % дел по политическим обвинениям), резко увеличилось число оправдательных приговоров. В рамках борьбы за восстановление «социалистической законности» сняты, судимы и расстреляны ведущие работники НКВД во главе с наркомом, прекращена работа «троек» на местах. Согласно официальным данным в 1937 году

вынесено 353 074 смертных приговора по политическим обвинениям, 1938 – 328 618, в 1939 резкое снижение – 2 552, в 1940–1949 (к тому же значительная часть из них были люди Ежова во главе с ним самим).

Арестованного Н. Ежова сменил Л. Берия. В 1939 году была проведена массовая реабилитация: освобождено 837 тысяч человек, в том числе 13 тысяч офицеров, которых восстановили в армии (более четверти военных, арестованных при Ежове). «В нашем сознании Сталин исправлял ошибки, совершенные до этого Ежовым, – вспоминал Б. Ефимов. – Когда... в тридцать девятом году были арестованы и исчезли Мейерхольд и Бабель, то скажу честно, несмотря на масштаб этих имен в литературе и в театре и на то потрясение, которое произвели эти... аресты внезапные и, в общем, уже в этой среде единичные... было острое недоумение: может быть, в самом деле вот эти люди, посаженные уже в тридцать девятом году, в чем-то виноваты? Эти, которых при Ежове никто не трогал, а когда стали поправлять происшедшее, их вдруг арестовали, может, к этому были действительные причины?» (132).

Начали возвращаться те, кто ранее был арестован. Одна из записей 1939 года Елены Сергеевны Булгаковой: «10 мая. Днем звонок – Вольф! Я закричала – какой Вольф?! Вениамин Евгеньевич?! Пришел через час, похудел, поседел, стал заикаться. Оказывается, просидел полгода, был врагом народа объявлен, потом через шесть месяцев был выпущен без всякого обвинения, восстановлен в партии и опять назначен на свой прежний пост – директора Ленинградского Красного театра»^[92] (133). В общем, почти как у Булгакова в последней главе: «Кот был развязан и возвращен владелице, хлебнув, правда, горя, узнав на практике, что такое ошибка и клевета». Ситуация,

ставшая почти штампом в художественной и мемуарной литературе о той эпохе – арестованный, уходя из дома, уверяет окружающих, что это «какая-то ошибка». Ох, четко понимали современники Булгакова, о чем он пишет: «*15 мая. (1939)* Вчера у нас было чтение – окончание романа... Последние главы слушали почему-то заочечнев. Всё их испугало. Паша в коридоре меня испуганно уверял, что ни в коем случае подавать нельзя – ужасные последствия могут быть» (134). Последствий не было – после смерти Булгакова у его вдовы никогда не делали обыска.

XI

Вопрос понимания сути репрессий состоит не в том, что одни мерзавцы судили других да под топор попали невинные люди. Суть состоит в предопределенности, неумолимой логике событий. Революция была порождена гнилью царского строя и разложением правящих слоев. Революцию поддержали образованные классы России и даже правили некоторое время, но либеральная часть общества не смогла удержать страну по причине как собственных противоречий, так и внешних факторов. К власти пришли левые радикальные интеллигенты во главе с Лениным. Большевики дали крестьянству то, чего оно желало столетиями, получили поддержку народа и победили. Но без взнуздания этого самого крестьянства большевики не могли бы решить поставленных перед собою задач создания передового индустриального общества.

Собранное в кулак государство не новость для российской истории, взять хотя бы Петра Великого; не в новинку и сопровождающие скачок жертвы, в том числе среди элиты. Особенностью рассматриваемого этапа стало наличие в жерновах интеллигенции, без которой современное общество просто не может функционировать. И сохранение интеллигенцией генетической памяти, ожогового шока, который заставил ее выкинуть на свалку истории весь предыдущий опыт страны, погубить государство, да и еще упрямо настаивать на своей правоте. Путь губительный, дорога в никуда.

Надо четко понимать, что удар сталинизма направлялся, прежде всего, против коммунистической элиты ленинского призыва, с которой интеллигенция

успела примириться и сродниться. Но именно эта элита после Гражданской войны и особенно коллективизации являлась врагами народа в самом прямом смысле. Сталин сбросил своих коммунистических бояр на вилы народа и тот их с удовольствием прикончил.

Сталинизм способствовал созданию новой системы власти, взрастал на ее основе, но вместе с тем он противостоял ей, боролся против нее, стремился сдержать ее рост и рост ее силы. «Миллионы шакалов устремились в эту сеть власти. И не будь сталинской сверхвласти, они сожрали бы все общество с потрохами, разворовали бы все, развалили бы...» (А. Зиновьев) (135). Когда система власти приобрела более или менее упорядоченный вид, сталинизм как форма управления изжил себя и был отброшен.

Однако все это – лишь попытки реконструировать возможные рациональные объяснения в целом страшного и жестокого дела, которое даже если и решило срочные и чрезвычайные проблемы, заложило под советскую государственность мину замедленного действия. Проблема, если вдуматься, достаточно сложна. Ведь в 1937-м погибли или оказались в заключении многие и многие люди, которых ни в коей мере нельзя отнести к категории «палачей» и уже одно это ставит под сомнение закономерность, каковую вроде бы можно увидеть в казнях вчерашних революционеров, – не говоря уже о том, что далеко не все из них получили возмездие. Если бы справедливость вершилась в законченном виде, может и не просочилась бы «оттепель», не случилось бы последующих протестов. Касательно кровавого прошлого в обществе наступил бы молчаливый консенсус, как это случилось в современных Франции или Китае. Но либеральная, прозападная интеллигенция подняла на щит всех (почти всех) жертв Сталина и оказалась в дурацком

положении, как уже цитированные Битов и Евтушенко, с его «коммунистами-идеалистами».

Явное передергивание, смешивание жертв и палачей в единую массу и последующая неадекватность выводов представляет для общества опасность. Увлечение социализмом превратилось в свою противоположность – борьбу за дикий капитализм. Но, в любом случае, не за народное благополучие – при капитализме каждый за себя.

Важно то, что именно люди, против которых были, прежде всего и главным образом, направлены репрессии 1937-го, предварительно создали в стране сам «политический климат», закономерно порождавший беспощадный террор. Более того: деятели именно этого типа всячески раздували пламя террора непосредственно в 1937 году! Это секретари обкомов и руководители республиканских компартий, что осатанело требовали прибавки к квотам на расстрел, и сами сгорали в расстрельном угаре; это рядовые партийцы, послушно поднимавшие руки, требуя расстрелять «взбесившихся собак»; это деятели культуры и науки, которые напропалую строчили доносы на коллег и соседей, как булгаковский Алоизий Могарыч.

Говорить, что это «они», а не «мы», то «давно», а мы «сейчас» – значит не понимать, что при современных информационных технологиях общество превращается в кровожадную толпу в течение нескольких недель. А что ее возбуждает – коммунизм или национализм – для будущих жертв толпы не так уж и важно. Н. Мандельштам, рассуждая о феномене массового насилия в якобы цивилизованном обществе, писала: «В детстве, читая про Французскую революцию, я часто задавалась вопросом, можно ли уцелеть при терроре. Теперь я твердо знаю, что нельзя. Кто дышал этим воздухом, тот погиб, даже если случайно сохранил

жизнь. Мертвые есть мертвые, но все остальные – палачи, идеологи, пособники, восхвалители, закрывавшие глаза и умывавшие руки, и даже те, кто по ночам скрежетал зубами, – все они тоже жертвы террора» (136). Примерно в то же время на эту же тему высказалась и Анна Ахматова: «Если пострадавших миллионы, то и тех, кто повинен в их гибели, тоже не меньше. Теперь они дрожат за свои имена, должности, квартиры, дачи. Весь расчет был: оттуда возврата нет» (137). Да не очень они дрожали и нормально смотрели, порою даже с наглостью – политический строй ведь не изменился.

Вспомнив об Ахматовой, логично перейти к теме послевоенных репрессивных кампаний. Особенно часто в послевоенной истории сталинских репрессий интеллигенция вспоминает постановление «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» 1947 года, в котором главный сталинский идеолог Жданов обрушился с резкой критикой, можно сказать, площадной руганью на Зощенко и Ахматову. Обычные оценки состоят в том, что режим нанес очередной удар по интеллигенции, но оценки эти, впрочем, грешат интеллигентским эгоцентризмом. Мало заботило режим самочувствие отдельного писателя или поэтессы, а вот как раз борьба за власть вокруг Сталина в послевоенные годы резко обострилась и именно ей мы обязаны пресловутым постановлением.

Позвольте напомнить, что борьба была определена растущим влиянием так называемой «ленинградской» группировки, которая пришла в Кремль вместе находившимся тогда в фаворе у Сталина Ждановым. Им противостоял тандем Маленкова и Бериин, которые начали накапливать против ленинградцев различный компромат. Так, например, г. Ленинград оказался в фокусе внимания Центрального комитета при разборе нарушений в ходе проведения денежной реформы.

Назначенная проверка установила, что ряд руководящих лиц, используя служебное положение и нарушив закон, внесли вклады в сберкассы деньгами старого образца после прекращения операций... Далее последовало постановление ЦК ВЛКСМ «О недостатках в работе Ленинградской организации ВЛКСМ по идейно-политическому воспитанию студенческой молодежи». Здесь осуждалась слабость идеологической работы в высших учебных заведениях, перечислялись типичные для того времени недостатки в воспитании студенческой молодежи. Жданов отчаянно отбивался, демонстрируя свою личную бдительность, в том числе, пронося в жертву идеологически сомнительных литераторов-ленинградцев. Есть предположение, что только внезапная смерть спасла Жданова от опалы, но чаша сия не миновала его соратников.

Претензии, адресованные одному из наиболее ярких фигур среди «ленинградцев» Н. Вознесенскому, касались пропажи документов в вверенном ему Госплане СССР. Как установила проверка, за 1944–1948 годы исчезло более 200 секретных документов, в том числе 9 из личного секретариата председателя. В числе их: записка о мерах по развитию нефтяной и угольной промышленности в 1947 году, материалы о восстановлении черной металлургии Юга, записка об основных показателях плана производства цветных металлов в СССР, мероприятия об организации производства радиолокационных станций и т. д., а это все сверхсекретные материалы. Аналогичные грехи нашли и за другими «ленинградцам». Кроме всего прочего, некоторым из них было предъявлено обвинение «в моральном падении и стремлении к личному обогащению». На суде демонстрировались пригоршни золотых монет, бриллиантов, ювелирных изделий и старинных орденов.

Кроме Н. Вознесенского, были расстреляны крупные партийные функционеры Я. Капустин, А. Кузнецов, П. Попков, М. Родионов и другие, а всего репрессировано около 2000 человек. Позже один из «ленинградцев», премьер СССР Н. Косыгин вспоминал об эпохе «Ленинградского дела» с ужасом: «Для меня это было самое тревожное и страшное время. Я был отстранен от работы и ежедневно ждал ареста. Почему я остался жив, мне трудно объяснить, но, думаю, что меня спас Сталин» (138). Однако следует подчеркнуть, что в то время оно не было предано огласке, в средствах массовой информации о нем практически не сообщалось. Публичным осталось только постановление по Ахматовой и Зощенко, и эту **видимую** часть борьбы интеллигенция восприняла как самую главную цель режима. Слепые ощупывают слона, и каждый представляет его по своему – один, хватаясь за слоновью ногу, как столб, другой, дергая за хвост, воображает, что слон похож на веревку.

Для истории истинное значение «ленинградского дела» состоит в том, что оно открыло дорогу на вершину власти руководителю Компартии Украины Н. Хрущеву. После празднования 70-летнего юбилея Сталина Хрущев утверждается секретарем ЦК ВКП(б) и одновременно секретарем московской парторганизации. Решение Сталина о его переводе в столицу не в последнюю очередь обусловлено стараниями Маленкова, укреплявшего после чистки центральные органы своими людьми.

Вторым знаковым событием той эпохи стало дело Еврейского антифашистского комитета. Среди интеллигенции широко распространено мнение, что именно оно положило начало антисемитской кампании в СССР. «Если рассматривать “дело ЕАК” как яркое проявление “сталинского антисемитизма”, то “Ленинградское дело” надо было бы считать столь же

ярким проявлением сталинской русофобии... В действительности число репрессированных по «Ленинградскому делу» было, видимо, значительно больше, чем по «делу ЕАК»», – замечает по этому поводу И. Шафаревич (139).

Комитету было инкриминирована попытка незаконного создания Еврейской области на территории Крыма. Как позже стало известно, действительно ЕАК сделал первый шаг в этом направлении. Еще в конце войны, в 1944 году, он направил письмо в Правительство, предлагая создать в Крыму «Еврейскую Советскую Социалистическую республику». Именно этот термин употреблялся, так что явно подразумевалась республика, равноправная Украине или Казахстану, по советской конституции имевшая право на отделение (не говоря уж о своей компартии, правительстве и т. д.). Это был неслыханный поступок в тогдашней жизни. В среде руководителей ЕАК уже делили портфели: в президенты новой республики прочили актера С. Михоэлса и т. д.

«Дело Еврейского Антифашистского Комитета» разрасталось по мере дрейфа новообразованного государства Израиль в сторону США. Попутно в 1951 году в МГБ был учинен большой разгром по поводу раскрытия «сионистского заговора», в котором пострадало большое количество сотрудников-евреев. Были арестованы видные чекисты Эйтингон, Райхман и Свердлов, а также руководитель секретной химической лаборатории Майрановский, обвиненные в том, что они являются участниками «сионистского заговора», цель которого – захват власти и уничтожение высших руководителей государства, включая Сталина.

Отсюда же перебрасывается мостик к последней репрессивной кампании сталинской эпохи – «делу врачей». Его справедливо полагали одним из звеньев в готовящейся Хозяином акции по смещению Л. Берии.

Дело начиналось с письма медицинского работника Л. Тимашук, которая утверждала, что А. Жданов умер вследствие неправильного лечения. Вскоре было получено письмо от легендарного маршала И. Конева, который утверждал, что его хотят отравить таким же способом, как и Жданова. Служба безопасности начала следственные действия. Верность диагноза Тимашук подтвердило патологоанатомическое вскрытие.

Несмотря на то, что некоторые историки пытаются «дело врачей» представить составной частью антисемитской кампании, но среди врачей, диагноз которых оспаривала Тимашук, вообще не было евреев! Однако итогом «дела врачей», по мнению либеральной публики, должна была стать массовая депортация евреев. Версия стала весьма популярной, хотя ничем не подтверждена, кроме слухов и сплетен. Да и в архивах никаких документов, подтверждающих планы режима, пока не найдено.

Историки склоняются к мнению, что параллельно шли две основных интриги – Сталина против Берии и Берии против Сталина. В 1948 году, за четыре года до грузинской «чистки», Сталин назначил министром госбезопасности Грузии генерала Н. Рухадзе. Его антибериевские настроения были общеизвестны. Началась «чистка» грузинского руководства, близкого к Лаврентию Павловичу. Кампания против взяточничества в Грузии переросла в обвинения в заговоре с целью отделения народности мегрелов, к которой принадлежал Берия, от Советского Союза. А там, глядишь, обнаружилась бы связь с Еврейским Антифашистским Комитетом и «сионистским заговором» в МГБ. Кроме того, по линии его жены Нины, у Берии был родственник – Гегечкори, министр иностранных дел в меньшевистском правительстве Грузии – что позже, уже при Хрущеве, так инкриминировалось ему как связь с иностранной

разведкой. Да и племянник Лаврентия Павловича сотрудничал с немцами, будучи во время войны в плену. Но упрямые мегрелы ни в чем не признались.

Берия в свою очередь, искал слабые места в охране Сталина. Судоплатов-младший: «Отец... был очень обеспокоен кадровыми перестановками в МГБ... Одним из первых был подвергнут унижению генерал-лейтенант Власик, начальник кремлевской охраны. Сначала он был отправлен в Сибирь на должность начальника лагеря, но там его тайно арестовали... После ареста Власика немилосердно избивали и мучили. Его отчаянные письма к Сталину о невинности остались без ответа... Власик оставался в заключении до амнистии, которая последовала в 1955 году» (140).

Сталину не хватило физических и интеллектуальных сил, чтобы завершить игру. Не будем забывать: это был уже старый и весьма больной человек. В октябре 1949 года Сталина настиг второй инсульт, сопровождавшийся потерей речи. Последующие годы он вынужден брать длительные отпуска и отправляться на юг (август-декабрь 1950, 9 августа 1951 – 12 февраля 1952). Его здоровье, несмотря на щадящий режим работы, не улучшалось. Он страдал от гипертонии, головокружения и одышки, часто простужался. Последний раз в Кремле Сталин был 17 февраля 1953 года. Из дневника приёмов было видно, сколько длился тогда его рабочий день: 30 минут на встречу индийской делегации, 15 минут на беседу с Берией, Булганиным и Маленковым. 45 минут. Всё.

Сталин ушел (или его «ушли») из жизни накануне решающей схватки с номенклатурой.

XII

Смерть Сталина развязала множество узлов, которые к тому времени оплели кремлевское руководство. Скорее всего, он готовил масштабную чистку среди соратников. Молотов о Сталине: «Все-таки у него была в конце жизни мания преследования. Да и не могла не быть. Это удел всех тех, кто там сидит подолгу» (141). Любопытна одна из черт психологического портрета диктатора – Сталин страшно не любил ворон, «считал слишком умными птицами, сравнивал их с людьми, одетыми в черное. Их истошные крики, как правило, выводили его из нормального состояния...» (142) Если диктатор на дух не переносил даже умных птиц, можно только догадываться о его накопившемся презрении к никчемным людям.

По высказываниям сотрудников охраны и его obsługi, Сталин не жаловался на недомогания, но сон у него был тяжелым, иногда он вскакивал с постели, дико кричал, но, успокоившись, вновь засыпал. Уж не являлись ли «мальчики ли кровавые» во сне кремлевскому горцу? Поводов для ночных кошмаров у Иосифа Виссарионовича действительно хватало, хотя масштаб репрессий после эпохи «великого террора» неуклонно уменьшался. В 1939–1943 годах – 39069 смертных приговоров «за контрреволюционные и другие особо опасные государственные преступления»; в 1944–1948-м – 11282 (в 3,5 раза меньше, чем в предыдущем пятилетии); в 1949–1953-м – 3894 приговора (в 3 раза меньше предыдущего пятилетия и в 10 раз (!) меньше, чем в 1939–1943-м). Разумеется, даже и последняя цифра страшна: в среднем около 780

приговоренных к смерти за год, 65 человек в месяц! (143)

После смерти Сталина Л. Берия спешно прекращал инициированные вождем дела – и локальные, направленные лично против него («мегрельское дело»), и имевшие широкий общественный резонанс («дело врачей»). Он явно стремился, как и в 1939 году, представить себя поборником справедливости и даже неким либералом. А. Судоплатов: «Берия приказал отцу и другим генералам проверить сфабрикованные обвинения по “сионистскому заговору”. Больше всего проверяющих, как рассказывал отец, поразило то, что Жемчужина, жена Молотова, якобы установила тайные контакты через Михоэлса и еврейских активистов со своим братом в Соединенных Штатах. Ее письмо к брату, датированное октябрём 1944 года, вообще к политике не имело никакого отношения. “Как офицер разведки, – вспоминал этот случай отец, – я тут же понял, что руководство разрешило ей написать это письмо, чтобы установить формальный тайный канал связи с американскими сионистскими организациями. Я не мог представить себе, что Жемчужина была способна написать подобное письмо без соответствующей санкции”» (144).

Дело по «сионистскому заговору» в органах безопасности было закрыто в середине мая 1953 года, когда освободили А. Свердлова, Я. Матусова и других ответственных работников МГБ^[93].

Внезапное прекращение дел некоторые из узников даже восприняли как провокацию госбезопасности, ведь в тюрьме они не знали о свершившихся в стране переменах. «Начальник контрразведки Федотов, который “пересматривал” дело (бывшего замнаркома иностранных дел) Майского, посоветовал отцу пока с ним не встречаться.

“Павел Анатольевич, – сказал он ему доверительно, – с первой же моей встречи с ним, когда я официально ему объявил: “Вы находитесь в ведении начальника контрразведки генерала Федотова, которому поручено рассмотреть абсурдные обвинения, выдвинутые против вас, и обстоятельства вашего незаконного ареста”, он начал признаваться, что был японским шпионом, потом английским, а потом американским». Можно понять действия Майского, который был готов говорить что угодно, признавать свою вину во всех смертных грехах, лишь бы избежать избиений и пыток. Он отказывался верить, что Сталин умер и похоронен в Мавзолее; он говорил, что это очередная провокация... По приказу Берии его перевели из камеры в комнату отдыха. Там Майский смог увидеться с женой, там ему показали документальные кадры похорон Сталина»^[94] (145).

Волна шпиономании, поднятая властями, была настолько сильна, что продолжилась и после смерти Сталина. В этом смысле не случайно, что арестованный в июне 1953 года Берия был объявлен не кем-нибудь, а иностранным шпионом, агентом западных спецслужб.

– Не притворяйтесь! – грозно сказал Иван и почувствовал холод под ложечкой... – Вы не немец и не профессор! Вы – убийца и шпион!

Стоит обратить внимание на малоизвестный факт: среди генералов, арестовывавших Берию, был и заместитель начальника Главного политуправления Советской Армии и ВМФ Л. Брежнев, что говорит о его незаурядном личном мужестве. Смертный приговор Берии привели в исполнение в бункере штаба МВО, где и проходил скорый суд. С Берии сняли гимнастерку и привязали его к крюку. Главный обвинитель зачитал приговор. Не дав сказать Берии ни единого слова, генерал Батицкий расстрелял его из немецкого

парабеллума в присутствии маршала Конева и других арестовывавших Лаврентия Павловича военных.

Дорога к власти Хрущеву была практически расчищена. В 1955 году единственный уцелевший в верховной власти троцкист стал новым вождем, и назревшие политические перемены не заставили себя долго ждать.

XIII

До сих пор самым главным вкладом Хрущева в историю СССР интеллигенция считает развенчание культа личности Сталина на XX съезде КПСС. Бытует мнение, что Никита Сергеевич являлся едва ли не демократом, и уж, во всяком случае, человеком, мечтавшим о демократических переменах.

Однако беспристрастный анализ показывает, что перемены осуществлялись не ради безмолвствовавшего народа, а в интересах самого правящего слоя. Внимательно прочитайте текст доклада Хрущева на закрытом заседании съезда – вы убедитесь, что речь там шла только о репрессиях Сталина в отношении номенклатуры. Судьба миллионов рядовых советских людей, пострадавших во время правления Сталина, явно не интересовала делегатов. Это не массовые репрессии, не жестокие репрессии, а **необоснованные** репрессии. Позже разоблачение сталинских преступлений на XXII съезде также касалось только невинно осужденных членов партии.

Чтобы усилить впечатление на делегатов XX съезда, Н. Хрущев не погнушался и прямым подлогом. В феврале 1954 года Никите Сергеевичу была дана официальная справка за подписью Генерального прокурора СССР Р. Руденко, министра внутренних дел С. Круглова и министра юстиции СССР К. Горшенина, согласно которой с 1921 г. по 1 февраля 1954 г. за контрреволюционные преступления было осуждено 3 777 380 человек, в том числе к высшей мере наказания – 642 980. На 1 января 1953 г. в лагерях содержалось 1 727 970 заключенных, из них политические заключенные – 21 %, о чем Хрущеву также было сообщено докладной запиской^[95].

Однако Н. Хрущев безапелляционно заявляет в докладе: «Когда Сталин умер, в лагерях находилось до 10 миллионов человек» (146). Таким образом, и в докладе XX съезду КПСС, и во множестве выступлений руководитель партии искажил истину сознательно. Но будем считать эту неправду «ложью во спасение», поскольку явной целью завышения цифр в 4-5 раз был шок для больной сталинизмом партии.

После XX съезда уже проводившуюся работу по реабилитации жертв политических репрессий резко ускоряют. В 1956 году в лагеря были направлены тройки, теперь уже для освобождения. Они обнаруживали в числе заключенных и таких, кто сидел за то, что покушался на жизнь Берию, расстрелянного двумя годами ранее. Сотни тысяч людей были освобождены немедленно. Даже возникла необходимость в дополнительных пассажирских поездах. Государство делало некие попытки загладить свою вину, например, предоставляя бывшим репрессированным жилье. Тот же Л. Гумилев жил в доме «эпохи реабилитанса», который был построен специально для реабилитированных. Однако разночтение цифр между официальной статистикой (засекреченной, впрочем) и обнародованных Н. Хрущевым, породили бесчисленное количество спекуляций на тему истинного количества пострадавших.

Цифры эти использовались в **психологической борьбе** за души и ума интеллигенции. Так, известный американский историк-советолог С. Коэн со ссылкой на не менее известного Р. Конквеста (его книга «Большой террор» была несколько раз издана и в СССР, и в СНГ) пишет: «К концу 1939 г. число заключенных в тюрьмах и отдельных концентрационных лагерях выросло до 9 млн. человек». В действительности на январь 1940 г. во всех местах заключения в СССР находилось 1850258

заключенных. То есть, Конквест и Коэн преувеличивают реальные размеры в 5 раз. Зачем?

А затем, что со времени хрущевской эпохи тема репрессий стала главной в психологической войне (концепция которой была развита как часть «холодной войны»). Стремительный процесс десталинизации не только привел к беспорядкам внутри страны, но и положил начало идеологической изоляции советского режима. Одновременно и страны, сохранявшие сталинистскую государственную модель управления (Китай, Албания), отшатнулись от «советских ревизионистов».

Дезинформация – как известно – одно из лучших орудий в психологической войне. Святая уверенность в том, что уважаемые люди не могут врать, что написанное имеет научную доказательную базу, что зарубежные доброхоты желают только добра заблудшим душам, что информация передается с благой целью, затмила мозги отечественным интеллектуалам настолько, что они были готовы верить абсолютно всему, что порочило строй и находилось в противоречии с официальной доктриной. А когда данных не хватало – просто сами **выдумывали** нужные цифры. Диссидент Рой Медведев писал: «В 1937–1938 гг., **по моим подсчетам**, было репрессировано от 5 до 7 миллионов человек... Большинство арестованных в 1937–1938 гг. оказалось в исправительно- трудовых лагерях, густая сеть которых покрыла всю страну». На деле же численность заключенных в лагерях, «покрывших страну густой сетью» (всего было 52 лагеря), за 1937 г. увеличилась на 175 486 человек, в том числе осужденных по 58 статье на 80 598 человек. В 1938 г. число заключенных в лагеря подскочило на 319 тысяч – из них осужденных за контрреволюционный преступления – на 169108 (147). И таких искажений

десятки, но именно они создавали картину мира для образованного человека в СССР.

Впервые обнародовать подноготную советского строя выпало на долю писателя А. Солженицына, который стал пророком движения инакомыслящих. А. Ахматова говорила о первой книге писателя из жизни зеков «Один день Ивана Денисовича»: «Эту повесть обязан прочитать и выучить наизусть каждый гражданин из всех двухсот миллионов граждан Советского Союза» (148). Именно Солженицын как бы восстановил (в основном, по устным свидетельствам очевидцев) историю сообщества заключенных сталинских лагерей. «В определенном смысле его труд можно сравнить с первыми мореходными картами: при всей неточности и легендарности тех или иных конкретных сведений исследование Солженицына превратило историю ГУЛАГа в реальное, интеллектуально постигаемое пространство, в факт мировой истории» (149).

Карта воистину легендарная, получившая статус едва ли не Библии. Но когда мы, например, узнаем, что за весь период репрессий, с двадцатых по пятидесятые годы, в СССР было вынесено несколько менее семисот тысяч смертных приговоров по политическим мотивам, то возникает закономерное недоумение: для чего Солженицыну и его апологетам нужно завышать эту и без того чудовищную цифру?

За Солженицыным изобличать сталинизм кинулись и другие. К. Чуковский, 1962 год: «Откуда-то появилась у меня на столе ужасная книга: Иванов-Разумник “Тюрьмы и ссылки” – страшный обвинительный акт против Сталина, Ежова и их подручных: поход против интеллигенции. Вся эта мразь хотела искоренить интеллигенцию, ненавидела всех самостоятельно думающих, не понимая, что интеллигенция сильнее их всех, ибо, если из миллиона ими замученных из их лап

ускользнет один, этот один проклянет их навеки веков, и его приговор будет признан всем человечеством» (150).

Итак, в центре внимания снова мы, любимые: «Мы 3 часа – или больше – нежились вместе с А.А. Солдатовым на солнце и вели ленивый разговор. Говоря о сталинских временах... Тут Солд. говорит:

– Особенно пострадали партийцы.

И, конечно, это не верно: особенно пострадали интеллигенты. Из писателей: Бенедикт Лившиц, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Гумилев, Мирский, Копелев, Солженицын, Добычин, Зощенко, Ахматова, Эйхлер, Заболоцкий, Бабель, Мих. Кольцов, Ал. Введенский, Хармс, Васильева, Бруно Ясенский, Пильняк, Ел. Тагер» (151). Запальчивость Чуковского легко объяснима, достаточно вспомнить трагическую судьбу его зятя. Да и множество убиенных литераторов он знал лично. Чуковский хочет разграничить, мол, интеллигенция это одно, а правители совсем другое, и вместе они не будут. Это не так.

В ходе политических репрессий второй половины 1930-х годов самые большие жертвы понес **«правлящий слой»**, то есть работники управления, партийного и государственного аппарата, и примкнувшая к ним интеллектуальная элита. За 1934–1941 годы численность заключенных с высшим образованием подскочила в лагерях ГУЛАГа в восемь раз, но это не только классическая интеллигенция, а весь управленческий аппарат. Необходимо понимать: **правлящий слой – это единое целое**. Объединенное общей целью эксплуатации народа.

Травматический шок, прожитый интеллигенцией в 1930-х годах, безусловно, навсегда запечатлелся в ее памяти. *«Они вонзили свое шило в самое горло»*, – как описал эту боль В. Ерофеев. Советы жестоко обидели миллионы людей – десятки миллионов смяли их.

Глава 5

Укroщение строптивых

В наших кругах принято много говорить о свободе духа, слова, собраний и т. п. Свободой дорожат, ее воспевают. Свобода воспринимается как однозначное благо. Русская дореволюционная мысль «свободу» тесно увязывала с социалистической идеей. Великий А. Герцен в своих великолепных воспоминаниях «Былое и думы» настаивает: «Одна вещь узнана нами и не искоренится из сознания грядущих поколений – это то, что разумное и свободное развитие русского народного быта совпадает с стремлениями западного социализма».

Распределительное начало социализма умозрительно приветствовалось, но на практике интеллигенция слабо представляла, как уравнильное распределение народных богатств может быть применимо к ней – людям индивидуального воспитания, индивидуального труда. Философ С. Булгаков в статье «Душа интеллигенции» отмечал это несоответствие: «Наша интеллигенция, поголовно почти стремящаяся к коллективизму, к возможной соборности человеческого существования, по своему укладу представляет собою нечто антисоборное, анти-коллективистическое, ибо несет в себе разъединяющее начало героического самоутверждения... При всем своем стремлении к демократизму интеллигенция есть лишь особая разновидность сословного аристократизма, надменно противопоставляющая себя «обывателям». Кто жил в интеллигентских кругах, хорошо знает это высокомерие и самомнение, сознание своей непогрешимости, и пренебрежение к инакомыслящим, и этот отвлеченный догматизм, в который отливается здесь всякое

учение...». Главное – свергнуть режим, а там идеалы справедливости сами собой наведут порядок.

Интеллигенция забыла ту простую мысль, что государство существует не ради того, чтобы создать на земле рай, а чтобы не наступил ад. После революции известный белоэмигрантский публицист И. Солоневич, описывая эту преступную близорукость, писал «Было очень трудно доказать читателям Чернышевского, Добролюбова... и Милюкова тот совершенно очевидный факт, что ежели монархия отступит, то их, этих читателей, съедят...» (1) Каким же образом полностью отрицающему «свободу» в либеральном понимании этого слова большевистскому режиму удалось склонить интеллигенцию к плодотворному сотрудничеству с тоталитарным строем? Только ли кнут репрессий тому причиной, или имелся еще и пряник, а если был, то в чьих зубах оказался и почему?

Поэтика грядущей революции прекрасно сочеталась с прекраснодушием дореволюционной интеллигенции. Дело в том, что русская литература – общий культурный код русской интеллигенции – насквозь идеологична. Так получилось, что до революции, ввиду отставания отечественной философской мысли и исторической науки от западноевропейских, а также по причине всяческих цензурных ограничений, литература во многом взяла на себя функции гуманитарной науки и философского учения. Русский читатель представлял историю Отечественной войны 1812 года по «Войне и миру», а психологию по «Преступлению и наказанию». Вымышленные миры подменяли научную реальность. Идеалистическое, поэтическое восприятие мира читателями начала XX века сродни подражанию молодого человека поведению киногероев или поп-звезд сегодня. Памятуя эту особенность отечественного читателя, Советская власть с первых лет тщательно контролировала литературу, видя в ней мощное

идеологическое оружие воздействия на всю культурную среду.

О сотрудничестве власти и интеллигенции в своей обычной вычурной манере рассуждал А. Солженицын в когда-то нашумевшем опусе «Образованщина»: «Советский режим... перед интеллигенцией припахнул соблазны: соблазн понять Великую Закономерность, осознать пришедшую железную Необходимость как долгожданную Свободу – осознать самим сегодня... и шаткими своими ногами догонять уходящий в светлое будущее Передовой Класс. А для догнавших – второй соблазн: своим интеллектом вложиться в Небывалое Созидание, какого не видела мировая история. Ещё бы не увлечься!..» (2) И многие увлекались, и уж страну свою любили никак не меньше Солженицына, бравирующего псевдонародным стилем а-ля «расталдыкнулось солнышко».

Вот этот момент, когда некая «передовая» интеллигенция высмеивает и охаивает тех, кто хочет сотрудничать с властью, является принципиальным для судеб государства. Н. Мандельштам рассуждает о стремлении Осипа Эмильевича Мандельштама быть полезным новому обществу не иначе, как о душевной болезни: «Единственное, что мне казалось остатком болезни, это возникновение у О.М. время от времени желания примириться с действительностью и найти ей оправдание. Это происходило вспышками и сопровождалось нервным состоянием, словно в такие минуты он находился под гипнозом. Тогда он говорил, что хочет быть со всеми и боится остаться вне революции, пропустить по близорукости то грандиозное, что совершается на наших глазах... Надо сказать, что это чувство пережили многие из моих современников, и среди них весьма достойные люди, вроде Пастернака. Мой брат Евгений Яковлевич говорил, что решающую роль в обуздании

интеллигенции сыграл не страх и не подкуп, хотя и того, и другого было достаточно, а слово “революция”, от которого ни за что не хотели отказаться... – и дальше шедевр мысли автора. – К счастью, припадки того, что сейчас у нас называют патриотизмом, происходили с О.М. не часто. Очнувшись, он сам называл их безумием» (3). Итак, сочувствие революции (а ее победа обусловлена волей народа-крестьянства) – «нервное состояние», а «патриотизм» – это безумие, припадки, болезнь.

С какого-то момента тандем власти и интеллигенции начал распадаться: ту часть интеллигенции, которая сразу после революции пошла во власть, смело валом репрессий, многие идеалисты сложили свои головы на войне. Выжившие – напуганы, озлоблены, молодые – настроены скептически. Мемуары Н. Мандельштам, описывающие как приступы «безумия» попытки Осипа Эмильевича, пытавшегося найти взаимопонимание с новой властью, были написаны уже после XX съезда, когда критические настроения охватили значительную часть интеллигенции. Прошел четкий водораздел: кто не с нами в нашем фрондерстве – тот против нас. Это настрой сохранился до наших дней. Вот знаменитый сатирик В. Шендерович вспоминает, как редактор пытался его унять во время войны в Чечне: «Добродеев позвонил сразу после программы: “...мы не имеем права так говорить о своей армии. Идет война...” Я был неприятно удивлен... я сказал, что армия это – не моя, и война не моя» (4). Автор «неприятно удивлен» тем, что армия, в которой, кстати, служат его сограждане, во время войны нуждается в поддержке, а не издевательствах. Это **не его** армия, не его война, попросту говоря, и не его страна. Собственно, в том же признаются многие русскоязычные телеведущие – от В. Познера до С. Шустера. Радикальное неприятие всего отечественного

стало бравадой, символом опознания по системе «свой-чужой» задолго до распада Советского Союза и сохранилось доныне в виде радикального западничества, исповедуемого либеральной интеллигенцией.

Иная часть отечественной интеллигенции всё же старалась понять революцию и осмыслить, почему глубинные народные чаяния вознесли на вершины власти именно большевиков. Заклятый враг коммунистов – знаменитый эсер и террорист Б. Савинков – незадолго до смерти признал: «Мы все побеждены Советской властью. Побеждены и белые, и зеленые, и беспартийные, и эсеры, и кадеты, и меньшевики. Побеждены и в Москве, и в Белоруссии, и на Украине, и в Сибири, и на Кавказе. Побеждены в боях, в подпольной работе, в тайных заговорах и в открытых восстаниях... Не испугаемся правды... Рабочие и крестьяне поддерживают свою, рабочую и крестьянскую, Советскую власть. Воля народа – закон. Это завещали Радищев и Пестель, Перовская и Егор Сазонов. Прав или не прав мой народ, я – только покорный его слуга. Ему служу и ему подчиняюсь. И каждый, кто любит Россию, не может иначе рассуждать».

Пойти на сотрудничество с большевиками стремилась и та часть интеллигенции, которая приняла близко идеи евразийства и «сменовеховства»^[96]. Сменовеховцы ставили перед собой задачу в свете новых политических реалий, сложившихся в ходе Гражданской войны, пересмотреть позицию интеллектуалов по отношению к послереволюционной России. Суть пересмотра состояла в отказе от вооруженной борьбы с новой властью, признании необходимости сотрудничества с большевиками во имя

благополучия Отечества, примирения и гражданского согласия.

Под влиянием «сменовеховства» тысячи представителей интеллигенции возвращались на родину, а те, кто с родины и не уезжал, занимали по отношению к Советской власти примирительную позицию. Ведущим стал тезис о «великой и единой России» – как в экономическом, так и социокультурном плане. Взгляды сменовеховцев освещались в советской печати, им разрешали читать лекции, устраивать диспуты и собрания интеллигенции. Их газета «Накануне» (с ней сотрудничал, среди прочих, и М. Булгаков) беспрепятственно распространялась в СССР.

Примиренчество повлекло за собой отказ от такой базисной ценности либерализма, как приоритет идеалов гражданского общества, примат личности по отношению к обществу, обосновывало сильную государственность и значение национальной идеи. Вера в очищение интеллигенции в огне революции стала основной для пересмотра многих либеральных мифов эпохи: *«А может быть, так надо, – рассуждает конформистски настроенный Лоханкин, – может быть, это искупление, и я выйду из него очищенным? Не такова ли судьба всех стоящих выше толпы людей с тонкой конституцией?» «...Великая скорбь давала ему возможность лишний раз поразмыслить о значении русской интеллигенции, а равно о трагедии русского либерализма».*

Напомню, что появление «Смены вех» состоялось в 1921 году, когда в Советской России лютовали голод и разруха. Реалии жизни для рядовой интеллигенции были невеселыми. Красная власть, сама рожденная видениями радикальной интеллигенции, интеллектуалов не жаловала, как выкрест хасида. В угаре революционных преобразований большевики поспешно отрекались от старого мира и его символов,

одним из которых являлась культура эксплуататорских классов. Так, в 1921–1922 годах Ленин настаивал на закрытии даже Большого театра: «Очень дорого содержать, помещичья эстетика». К середине 1920-х в Москве насчитывалось 8000 только безработных артистов. В начале 1920-х на аукционе в ресторане «Прага» картины известных художников шли за гроши, по 3–4 рубля за штуку. Картина Васнецова стоила 12 рублей. Рамы стоили дороже.

Вообще, среди работников умственного труда процент безработных был одним из самых высоких: 46,6 % в 1923 году, 25,1 % в 1927, 18,2 % в 1929 году. Причем, среди технической интеллигенции это число составляло 28,6 % (5). Учащиеся рабфака получали стипендию больше, чем пособие по безработице для писателей (23 рубля и 22 рубля 50 копеек соответственно).

Голод стимулирует поиск взаимопонимания. Те, кто находил общий язык с советским режимом, который пока еще не создал свою собственную интеллигенцию, а потому остро нуждался в сотрудничестве со старыми, но профессиональными кадрами, быстро шли в гору. Здесь мы видим и военспецов эпохи Гражданской войны, и «сменовеховцев», и литераторов, вроде М. Кольцова и В. Брюсова.

Однако коммунистическая элита приоткрывала дверь в свою прихожую не всем и не сразу. Даже признанному стороннику Советов В. Маяковскому режим не спешил распахнуть объятия. В. Бонч-Бруевич (соратник Ленина, из дворян) рассказывал о посещении Владимиром Ильичем в 1919 году литературно-музыкального вечера, устроенного красноармейцами. В числе прочего читали «Наш марш» В. Маяковского. Ленин проявил крайнее неудовольствие: «Незнаком я с этим поэтом, и если он всё так пишет... нам не по пути. И читать такие вещи на красноармейских вечерах – это просто преступление...» (6) Отрицательное отношение Ленина к Маяковскому осталось на всю жизнь. О том же свидетельствовали и А. Луначарский, и М. Горький. Владимир Владимирович старался как мог, пытался подстроиться под новые реалии, но мало что ему помогало. Иногда дело перерастало в обычную травлю, как например, получилось с его пьесой «Баня»: «Дело дошло до того, что на одном из обсуждений кто-то позволил себе обвинить Маяковского в великодержавном шовинизме и издевательствах над украинским народом и его языком. Никогда еще не видел я Маяковского таким растерянным, подавленным...

По дороге обыкновенно советовался:

– А может, стоит читать Оптимистенко без украинского акцента? Как вы думаете?

– Не поможет.

– Все-таки попробую. Чтобы не быть великодержавным шовинистом» (7).

Он, как всякий великий человек, не вмещался в шаблоны, которые старательно начала культивировать

воцарившаяся ком-серость. Но и сторонником «старого доброго времени» поэт не был. Владимир Владимирович демонстративно ушел со спектакля «Дней Турбиных». На вопрос о своих впечатлениях Маяковский отвечал: «Не знаю. Не видел хвоста. Поэтому не могу и определить, что за зверь ваш Булгаков: крокодил или ящерица» (8). Понятное дело, что белогвардейцы у семейного очага не то, что могло вызвать восторг завязанного певца революции. Старая интеллигенция также не любила Маяковского за его чрезмерную и громогласную «советскость», а левые пролетарские писатели видели в нем всего лишь приспособленца и карьериста. Популярный в 1920-е годы писатель С. Малашкин ядовито вспоминал о Маяковском: «Он был трус и холуй. Пришел в редакцию и стал требовать, чтобы ему платили не по рублю за строчку, а по рублю с полтинником, как Демьяну Бедному. Сел в кресло перед редактором и положил ему ногу на стол. А тот не растерялся: “Вон отсюда!” Вы б видели, как драпанул Маяковский!» (9)

Чудовищно одиночество человека, одного из тех, кто своим истинным талантом пытался восславить новый строй и везде наткнулся на стену непонимания. Даже близкие друзья поэта не погнушались откровенного предательства: и в 1927 году выходит фильм «Третья Мещанская» («Любовь втроём»). Сценарист В. Шкловский, давний приятель Маяковского, вывел в этом фильме Владимира Владимировича и Бриков и описал их «любовь втроём». Насмешки справа и слева, запутанная личная жизнь, дружба с ГПУ, а значит – информированность о реальных функциях ведомства, творческий кризис, да и простая человеческая усталость привели поэта к самоубийству. Закономерный итог для человека искреннего, но не нашедшего места в складывающейся системе. Система нуждалась в исполнителях и приспособленцах.

Волей-неволей, но его смерть стала знаковой для общества. Многотысячное похоронное шествие сопровождало увитый черно-красными полотнищами грузовик, за руль сел – куда же без него! – М. Кольцов. Б. Ефимов: «На прощании с поэтом Павел Герман (автор знаменитых тогда «Авиамарша» и «Кирпичиков» – К.К.), возложив на себя обязанности организатора, любезно спрашивал: “Вам ноги или голову?”, имея в виду место в почетном карауле у гроба. Помню, мне достались «ноги»... Никогда не забуду зрелища, которое представляла собой территория Донского крематория. То была подлинная Ходынка. Сквозь бурлящую толпу невозможно было даже перенести гроб с грузовика в здание крематория... Я не поверил бы, если бы не слышал собственными ушами, как милиционеры начали стрелять в воздух, чтобы проложить путь гробу с телом поэта в здание крематория» (10). И. Ильф в набросках к «Золотому теленку» описал Остапа Бендера, попавшего на похороны Маяковского:

«Начальник милиции, извиняясь за беспорядок:

– Не имел опыта в похоронах поэтов. Когда другой такой умрет, тогда буду знать, как хоронить.

И одного только не знал начальник милиции – что такой поэт бывает раз в столетье».

Благодаря Ильфу (точнее, его страсти фотографировать) на похоронах Маяковского, 17 апреля 1930 года, мы видим Михаила Афанасьевича Булгакова... «Булгаков в шляпе. Опустил голову. И очень грустный... Завтра ему позвонит Сталин» (11).

Власть снова (после смерти Есенина) убедилась, что поэт в России больше, чем поэт, что идеологическое влияние его велико, что о литераторах надо заботиться – хотя бы ради собственной популярности. Таким образом, гибель Маяковского самым непосредственным образом отразилась на судьбе Михаила Афанасьевича – Сталин не мог допустить еще одной смерти

знаменитого литератора, а автор нашумевших «Дней Турбиных» был, безусловно, в те годы знаменит. Повлияла смерть Маяковского и на жизнь других писателей: тот же Булгаков уверенно связывал разрешение властей, внезапно выданное на отъезд за границу долго ходатайствовавшему о том Замятину, с самоубийством Маяковского – «а вдруг, мол, этот тоже возьмет да и стрельнет в себя...». Власть начала переводить отношения с потенциальными идеологическими партнерами в деловое русло.

Парадокс, но мертвый Маяковский оказался Советской власти нужнее, нежели живой. Скоро родился миф о поэте, который, по выражению тов. Сталина в записке тов. Ежову «был и остается лучшим и талантливейшим поэтом нашей советской эпохи». Молодая советская интеллигенция получила своего Пушкина. Подленький сценарий обернулся для В. Шкловского оперативным написанием хвалебной книги «О Маяковском»: «Маяковский получил признание в январе 1930 года, когда читал поэму “Ленин” в Большом театре. Это было признание партии», и так далее, и тому подобное. Но можно ли строго судить автора, человека когда-то незаурядного личного мужества^[97], наряду с миллионами других дозревшего до компромисса с системой?

О тайных мотивах конформизма В. Шкловского нам рассказывает В. Каверин: «Унизительный, оскорбительный, никогда не отпускающий страх волей-неволей присоединяется к каждой минуте его существования. Он попытался объяснить причину: у него были два брата и сестра – все погибли. Белые закололи штыками старшего брата Евгения – он был врачом и защищал раненых красноармейцев от белых... Владимир, которого я знал, погиб в лагере в тридцатых годах. Не помню при каких обстоятельствах погибла его

сестра...» (12) Да и сам Шкловский – бывший эсер, эмигрант... И, кстати, соперник Булгакова на любовном фронте.

М. Булгаков, конечно, обратил самое пристальное внимание на опубликованное в газетах предсмертное письмо В. Маяковского, направленное не только «Всем», но, в частности, и тому же адресату, к которому недавно обратился сам Булгаков («Товарищ правительство»)^[98]. Обращаться к первому лицу страны в те годы не было в диковинку среди писателей и прочих деятелей культуры. Сталину писали Горький, А. Толстой, Демьян Бедный, Афиногенов, Ахматова, Безыменский, Билль-Белоцерковский, Замятин, Зощенко, Корнейчук, Пастернак, Пильняк, Фадеев, Шагинян, Шолохов, Эренбург, Станиславский, Довженко, Ромм, Эйзенштейн, Чуковский, Хренников и др.^[99] Но обращение Булгакова особого плана – к тому времени травля писателя, при самом непосредственном участии его украинских земляков, достигла апогея; пьесы запрещались, литературные произведения не издавались, он видел единственный выход в выезде за границу.

И вдруг – спасительная поддержка вождя: последовал личный звонок Сталина, доброжелательная беседа, оголодавшему Булгакову предоставляют постоянную работу.

После наплевательского отношения к своему союзнику Маяковскому власть вдруг нисходит до общения едва ли не с врагом Булгаковым. Это ли не начало новых времен, не свидетельство изменившегося подхода к творческому человеку!? Факт личной беседы опального писателя со Сталиным произвел сильнейшее впечатление на всю старую интеллигенцию, выразителем чьих дум и чаяний являлся Михаил Афанасьевич. Агентурно-осведомительная сводка от 24

мая 1930 года (после письма Булгакова Сталину и его реакции): «Такое впечатление, словно прорвалась плотина и все вдруг увидели подлинное лицо тов. Сталина. Ведь не было, кажется, имени, вокруг которого не сплелось больше всего злобы, ненависти, мнений как об озверелом тупом фанатике, который ведет к гибели страну, которого считают виновником всех наших несчастий, недостатков, разрухи и т. п... Он ведет правильную линию, но вокруг него сволочь. Эта сволочь и затравила Булгакова, одного из самых талантливых советских писателей. На травле Булгакова делали карьеру всякие литературные негодяи, и теперь им Сталин дал щелчок по носу. Нужно сказать, что популярность Сталина приняла просто необычайную форму. О нем говорят тепло и любовно, пересказывая на разные лады легендарную историю с письмом Булгакова» (14).

История с М. Булгаковым не единичная, похожие случаи происходили и с другими представителями старой, традиционной интеллигенции. Так, когда в «Известиях» и в «Правде» появились рецензии, ругающие «Наполеона» историка Евгения Тарле^[100], автор написал Сталину письмо, просил разрешения ответить своим рецензентам в газете. Иосиф Виссарионович ответил ему лаконичным письмом: «Академику Тарле (Тарле был тогда исключен из Академии – К.К.). Не нужно отвечать в газете. Вы ответите им во 2-м издании Вашего прекрасного труда» (15). Другой пример: в начале 1937 года пресловутый П. Керженцев ухитрился издать совершенно дикий приказ о ликвидации Музея изобразительных искусств (ныне Музей им. Пушкина). Сотрудники написали письмо Сталину, и тот устроил Керженцеву нахлобучку. Музей остался цел. Б. Пастернак говорил о Сталине: «Я не раз обращался к нему, и он всегда выполнял мои просьбы»

(16). Так постепенно преодолевался раскол между старой интеллигенцией и правящим режимом.

В числе прочих, одной из важных примет «сталинской оттепели» стала ликвидация в 1936 году Коммунистической академии, полуидеологического заведения, трактовавшего различные отрасли науки исключительно с классовых позиций. Коммунистическая академия на всем протяжении своего существования (с 1918 года) в лице своих институтов – философии, истории советского строительства, мировой политики; секций – аграрной, права и государства, экономики, литературы и искусства; обществ – историков-марксистов, биологов-материалистов и других структур, навязывало населению страны свои взгляды при помощи разработанных ими школьных и вузовских учебников, выходивших при их официальном контроле энциклопедий – Малой и Большой Советских, Литературной. И вот эта одиозная Коммунистическая «академия» принудительно сливалась с Академией наук, ее члены в том же звании переводили в АН СССР. Однако там они уже играть прежнюю роль богов от идеологии не могли.

Культура и наука, принимавшие во внимание только партийность творца и его былые заслуги перед пролетариатом, становились анахронизмом эпохи «культурной революции» 1920-х годов, наряду с РАППом и прочими. Ультралевая мода двадцатых годов выбрасывалась на свалку истории.

В отличие от крикливости и публичного шума культурной революции 1920-х интеллектуальная жизнь старой интеллигенции теплилась тогда в основном на камерных вечеринках, немногочисленных встречах единомышленников, например, так называемых «Никитинских субботниках», собрании интеллектуалов у историка литературы и издателя Е. Никитиной – по субботам она подкармливала изысканными обедами писателей, которых издавала. Именно там, в марте 1925 года, Булгаков читал свое «Собачье сердце» (по поводу чего в органы сразу поступил соответствующий донос). Михаил Афанасьевич тоже в долгу не оставался и в дневниках припечатал «Никитинские субботники» – **«затхлая, советская, рабская рвань, с густой примесью евреев»** (подчеркнуто самим Булгаковым – К.К.) (18). Но Михаил Афанасьевич понимал, что скоро и такой скромной отдушины для общения не останется: укрощение строптивых было только вопросом времени. И – общался.

Все издательства, театры, синематографы уже находились под жестким контролем государства и воскрешенной цензуры. Пожалуй, первым литературным произведением, запрещенным советской цензурой еще в начале двадцатых стал роман Е. Замятина «Мы», а дальше цензурное давление только усиливалось. Отчаянные записи в дневнике К. Чуковского – это список ежедневных мытарств литератора в чиновных кабинетах: «Сволочи, казенные людишки, которые задницей сели на литературу и душат ее, душат нас на каждом шагу, изматывая все наши нервы, делая нас в 40 лет стариками» (19). Там же: «1928, 21 января. Мы в тисках такой цензуры,

которой на Руси никогда не бывало, это верно. В каждой редакции, в каждом издательстве сидит свой цензор, и их идеал казенное славословие, доведенное до ритуала» (20). Корней Иванович на собственной шкуре ощутил все прелести неусыпной заботы партии о писателях. 1 февраля 1928 года в «Правде» была напечатана статья вдовы Ленина Н. Крупской «О “Крокодиле” К. Чуковского», в которой эта сказка была объявлена буржуазной мутью. Крупская резко осудила и работы К. Чуковского о Н. Некрасове, заявив, что «Чуковский ненавидит Некрасова». Вдову вождя урезонивал лично М. Горький («Письмо в редакцию», 14 марта 1928 года). В своем письме он возражал Крупской по поводу «Крокодила» и писал, что сам помнит отзыв Ленина о некрасоведческих исследованиях Чуковского. По словам Горького, Ленин назвал работу Чуковского «хорошей и толковой». Письмо приостановило начавшуюся было травлю Корнея Ивановича.

Крепкую узду государства почувствовали и вполне коммунистические авторы. Так, популярный писатель Б. Пильняк опубликовал в «Новом мире» (№ 4, 1926) «Повесть непогашенной луны» с подзаголовком «Смерть командарма». Автор в полудокументальной манере излагал свою версию гибели председателя Реввоенсовета СССР М. Фрунзе в результате медицинской операции, причастность к этому делу Сталина и, таким образом, объективно подыгрывал Троцкому в его противоборстве с набиравшим силу Иосифом Виссарионовичем. Тот в стороне не остался. Номер журнала с повестью срочно изъяли из продажи и библиотек. В 1938 году Б. Пильняка расстреляли. Повесть до перестройки больше не переиздавалась. Да что там говорить, если даже издание невинного романа «12 стульев» начальник Главлита (той же цензуры) Б. Волин просто-напросто запретил, и преодолеть его сопротивление оказалось весьма непросто.

Те из интеллигентов, кто в рамках нового строя пробились наверх пораньше, также вносили свою лепту в государственную политику затыкания ртов, стараясь порою превзойти сами органы цензуры. Например, литературный критик В. Блюм настаивал: «Сатира есть удар по государственности или общественности чужого класса», более того, заявлял в «Литгазете»: «Советская сатира – поповская проповедь. За ней очень удобно спрятаться классовому врагу. Сатира нам не нужна, она вредна рабоче-крестьянской государственности». Это с ним спорят в авторском предисловии к «Золотому теленку» И. Ильф и Е. Петров. Другой критик – И. Нусинов (будущий безвинно пострадавший «космополит») – все же допускал сатиру, но ни в коем случае не юмор, в котором он видел средство сглаживания противоречий, «разрешения их в несерьезность, в нечто такое, к чему можно отнестись несерьезно» (21). Литераторы сами науськивали на своих коллег цензуру, если та чего-то недоглядела.

Булгаков в письме Попову 19 марта 1932 года описывал снятие пьесы «Мольер»: «Приятным долгом считаю заявить, что на сей раз никаких претензий к государственным органам иметь не могу. Виза – вот она. Государство в лице своих контрольных органов не снимало пьесы. И оно не отвечает за то, что театр снимает пьесу» (22). Цензурировала «общественность». Выработывался и рефлекс самоцензуры. Когда М. Булгаков читал «Мастера и Маргариту» (или часть его) И. Ильфу и Е. Петрову, едва ли не первой репликой соавторов после чтения стала: «Уберите “древние” главы – и мы беремся напечатать». Реакцию Булгакова его супруга Елена Сергеевна передавала своим излюбленным выражением: «Он побледнел» (23). Писатель был поражен именно неадекватностью реакции на услышанный текст тех людей, которых он числил среди слушателей квалифицированных и

сочувствующих. Их добрая воля была вне сомнения, но это-то и усугубляло, надо думать, состояние автора – *«И ты, Брут, проданся ответственным работникам!»* Цензура, науськиваемая, с одной стороны, властями, с другой – их интеллигентскими прихлебателями, стала одним из столпов советского режима. И даже вышедшее в свет произведение не могло считаться полностью разрешенным, так как в случае переиздания в зависимости от политической ситуации из него могли изымать целые фрагменты. Например, в довоенных изданиях «Золотого тельца» Паниковскому «досталась бесплодная и мстительная Республика немцев Поволжья». Ранее, после слов *«...видавшие виды Москва, Ленинград и Харьков»*, шло:

«Все единогласно отказывались от Республики немцев Поволжья.

– А что, разве эта такая плохая республика? – невинно спрашивал Балаганов.

– Знаем, знаем, – кричали разволновавшиеся дети. – У немцев не возьмешь!

Видимо, не один из собравшихся сидел у недоверчивых немцев-колонистов в тюремном плену» (24). Но по факту ликвидации упомянутой республики всякое упоминание о ней стало нежелательным.

Трагедия поднадзорной культуры в «Золотом тельце» красочно проиллюстрирована трогательной драмой ребусника: *«В области ребусов, шарад, шарадоидов, логогрифов и загадочных картинок пошли новые веяния. Работа по старинке вышла из моды. Секретари газетных и журнальных отделов “В часы досуга” или “Шевели мозговую извилину” решительно перестали брать товар без идеологии... Старый ребусник долго еще содрогался на диване и жаловался на засилие советской идеологии...»*

Цензура – это не только государственное учреждение, это комплекс мер, которые выполняют

конкретные люди. Многочисленные Латунские не прибывают с Марса – либо они находят необходимым и выгодным служить системе, либо искренне принимают её идеологию за свою. Первые всегда готовы свои взгляды пересмотреть, вторые при смене курса отправляются на свалку истории.

В том же «Золотом теленке» описана сцена, когда экипаж «Антилопы-Гну» проезжает маршрутом автопробега через села, и поселяне приветствуют их плакатами, среди которых один звучит особенно загадочно: *«Привет Лиге Времени и ее основателю дорогому товарищу Керженцеву»*. Упоминали мы уже его. Сей видный большевик, подвизался не только в практике экономии рабочего времени (ради чего и была создана «Лига Времени»), но и на ниве культуры. В 1927 году в статье «Человек новой революционной эпохи» (журнал «Революция и культура») он предрекал: «Через десять-пятнадцать лет, когда идеи коммунизма, марксизма, ленинизма через школу, печать, искусство проникнут во все поры, они станут как бы инстинктом каждого общественного работника... Слабость воли, вялость в работе, мещанская забота о личных интересах в ущерб общему делу станут жалкими пережитками прошлого... Личные отношения между людьми будут проникнуты чувством товарищества, простоты, ясности и бодрости. Новый человек будет вообще чужд пессимизма...» (25) Светлые ожидания правоверных коммунистов не оправдались. Как известно, через десять лет наступит 1937 год, который утянет в свой водоворот и кристального большевика Керженцева. Успевшего, впрочем, отправить на тот свет немало знакомых ему лично деятелей культуры.

В приведенной выше цитате выделим слово «мещанский», модное словечко эпохи, ключ к пониманию того, с каким врагом яростно сражались идеологи радикального большевизма.

*«Подернулась тиной советская мешанина.
И вылезло
из-за спины РСФСР
мурло
мещанина*

*...
Опутали революцию обывательщины нити.
Страшнее Врангеля обывательский быт.
Скорее
головы канарейкам сверните —
чтоб коммунизм
канарейками не был побит!»*

(В. Маяковский).

Что же за зверь такой страшный – «мещанство»? Громогласие революции презирало бытие обычного человека, человека, уставшего от революций и перестроек, желающего иметь свою обычную жизнь, уйти в свою скорлупу. Литература камерная, не грохочущая сапогами, построенная на интимных переживаниях, революционными критиками и партийными идеологами объявлялась «мещанской». А. Луначарский на страницах «Известий», рецензируя «Дни Турбиных», заявил, что «недостатки булгаковской пьесы вытекают из глубокого мещанства их автора. Он сам является политическим недотепой...» (26) Но именно камерной человеческой интонацией автора пьеса обязана своим грандиозным успехом на сцене МХАТа. Она явилась зримым свидетельством разделения приоритетов среди разных слоев интеллигенции – от полного неприятия среди левых до восторженных откликов интеллигенции традиционной, узнавшей в персонажах «Дней Турбиных» себя и своих близких.

«Мещанская» пьеса стала своего рода индикатором различных настроений в обществе, и даже подхода к национальным отношениям. Например, из пьесы, в угоду А. Луначарскому, была исключена сцена издевательства петлюровцев над евреем. Дальше – больше. «Правда», 9 февраля 1929 г., статья «К приезду украинских писателей» вышеупомянутого П. Керженцева: «Наш крупнейший театр (МХАТ 1) продолжает ставить пьесу, извращающую украинское революционное движение и оскорбляющую украинцев («Дни Турбиных»). И руководство театра и Наркомпрос РСФСР не чувствуют, какой вред наносится этим взаимоотношениям с Украиной» (27). Интересно, что «взаимоотношения с Украиной» рассматриваются едва ли не как вопрос дипломатических демаршей с иностранным государством – такова была психологическая дистанция между советскими республиками.

12 февраля 1929 года состоялась встреча И. Сталина с украинскими писателями. Значительная часть её оказалась посвящена вопросу о «Днях Турбиных». Обстановка была накаленной. «Украинцы требуют от центральных властей объяснений, почему этот спектакль идет в театре... В “Турбиных” они усматривают и антиукраинскую направленность, и великодержавный русский национализм. Кто-то с места кричит генсеку: почему Булгаков рисует русское офицерство интеллигентами, а когда дело доходит до украинских командиров, то они изображены бандитами?.. Ясно одно: его пьеса вызывает у украинских литераторов огромное раздражение» (28). Напомню, это время расцвета «украинизации», когда многие украинские националисты – «командиры», вроде атамана Ю. Тютюнника, или идеологи, такие, как М. Грушевский, уже вернулись в Советскую Украину и во многом определяли стиль украинизации. И вопрос не

просто в «раздражении», а в желании запретить всё, как они до сих пор любят выражаться, «антиукраинское», в данном случае, гениальную пьесу Булгакова. Есть все основания утверждать, что официальное запрещение «Дней Турбиных» в марте 1929 связано с протестами украинских литераторов в предшествующем месяце. Пьесу-то через некоторое время опять разрешили, но в киевских театрах ее упорно продолжали играть, в режиме, щадящем чувства украинских националистов^[101].

Злобные крики, хулившие пьесу ранее понравившегося ему автора, могли только прибавить личной симпатии Сталина к Булгакову. Сталин «мещанскую» пьесу защищает. А «мещанство» является, как мы помним, главным врагом революционеров...

От ярости правоверных украинских большевиков Сталин защищает не только М. Булгакова. Достоверно известно, что из кинофильмов 1920-х годов кремлевский цензор приветил кинокартину «Арсенал» А. Довженко. Довженко очень отрицательно изобразил ультранационалистов, что импонировало центральным властям и лично Сталину. После показа картины на пленуме ЦК ВКП(б) в ноябре 1928 года Сталин заметил: «Настоящая революционная романтика». Этим отзывом генсек явно огорчил украинское киноруководство и украинских писателей, которые опять-таки добивались в Москве, чтобы картину сняли с экрана. Разгар украинизации и все «бывшие» при деле, а тут им напоминают об их недавних проделках – кровавом подавлении восстания рабочих «Арсенал» войсками Центральной Рады. Кому такое понравится? А в 1932 году, когда на экраны вышел фильм Довженко «Иван», уже сам народный комиссар просвещения Украины Н. Скрипник обвинил Довженко в «фашизме». Довженко

поспешно уехал из Украины в Москву, где начал работать над сценарием «Аэрограда». Позже режиссер был принят лично Сталиным, который сценарий фильма одобрил и оказал помощь в организации съемок.

Региональное возрождение и одновременное возрождение имперского сознания не могло быть совместимым^[102]. Присматриваясь к процессам, происходящим на Украине, не испытывал восторгов не только Сталин, но и интеллигенция метрополии. Почти все писатели южнорусской, весьма тогда влиятельная литературной школы (Ильф, Петров, Катаев, Олеша, Бабель, Багрицкий и мн. др.) своими глазами имели возможность наблюдать, как проистекала «украинизация» при Скоропадском и Петлюре, и видеть ее логическое продолжение на Советской Украине. Столичные мэтры не давали спуску провинциалам, пусть и «национально возрожденным».

От нахальных гениев, которые, опирались то на «национальное возрождение», то на «классовую теорию», настоящей культуре приходилось отбиваться ежедневно. Местечковые таланты в своем хуторянском самомнении с наслаждением топтали Булгакова и Довженко, которых, к пользе всего человечества, защищал от них лично Сталин. Одновременно вождь получил личную возможность столкнуться со средневековой нетерпимостью украинских большевиков и культуртрегеров, которым скоро предстоит превратиться в многократно оплаканное сегодня «расстрелянное возрождение». В столице, может быть, их было кому покритиковать хотя бы с профессиональной точки зрения, а вот в национальной провинции они чувствовали себя истинными родоначальниками новой литературы (письменности, орфографии, пунктуации, культуры, нации и т. д.). Однако нарождавшейся империи оказались нужны

таланты не местечкового уровня, пусть и прикрывавшиеся ура-революционной фразой.

Растоптать Булгакова и прочих «попутчиков», запретить сатиру, сбросить, в конце концов, Пушкина, с «корабля современности» – являлись каждодневными требованиями того времени. «В Москве я украинский националист, а в Киеве – москаль», – с горечью признавался А. Довженко (30). Требования на грани ультиматумов выдвигались и искренними сторонниками радикальных перемен, и конъюнктурщиками, которых стремительно вырождавшийся слой советской элиты порождал в изобилии. Сталин периодически одергивал наиболее ретивых гонителей, преследуя собственные цели, то есть создание мощного централизованного государства. И вполне искренне поддерживали его сочувствующие новой государственной политике сторонники как из дореволюционной, имперской интеллигенции, так и те из советской поросли, которых Солженицын впоследствии презрительно обзовет «образованщиной».

IV

В то время, когда страна возвращалась, хоть пока и неявно, к имперским ценностям, пока еще шли ожесточенные идеологические сражения между ультра-революционерами и остатками образованных классов дореволюционной России, выросли молодые люди, воспитанные уже в советское время, которых партия готовила для технического обслуживания здания социалистического государства. В июне 1936 года влиятельная эстонская газета «Пяэвалехт» отмечает, что соседнем государстве появился «небывалый и невиданный род людей – многомиллионная армия молодежи» (32). Об особенностях возвращенной в короткий срок истинно советской молодежи говорят многие авторы. Это поколение оказалось жестоко выкошено вскоре последовавшей войной, но если бы оно вступило в свою зрелость в полной силе и численном превосходстве, пожалуй, неизвестно, кто бы доминировал на политической арене и как сложилась бы судьба государства в пятидесятые годы. Это поколение тридцатых – во многом утраченное.

В отличие от балованной элиты воспитывались будущие служители сталинского государства в суровости реальных будней страны. Очевидец свидетельствует: «Хотя всем внушали, что в советское время наказание поркой и другим физическим воздействием немыслимо и строго карается законом, не выучивших урок или провинившихся... не только ставили на коленях, на колени в угол на все время урока, но и драли за уши, а уж подзатыльники вообще считались обычным делом. Тот, кто жаловался, мог ожидать еще худшего обращения» (33). Особо следили за идеологическим воспитанием – идеалы коммунизма,

пролетарский интернационализм, партийная и комсомольская дисциплина впитывались учащимися с самого раннего возраста.

Разумеется, жило подрастающее поколение не в безвоздушном пространстве, молодежь следила за литературными диспутами, за процессами неких вредителей, естественно, считала себя передовой частью общества, рвалась в будущее и готовилась к боям за это будущее. Боям не только классовым (это само собой), но и карьерным, индивидуальным сражениям; они испытывали честолюбивое желание в условиях быстро меняющейся действительности показать свой потенциал, раскрытию которого «мешают» забронзовевшие партийные лидеры и косные ретрограды. Революционный пафос не учит терпению, наоборот, он подстрекает к насилию. Они не имели отношения к высшему правящему слою, видели все его моральные недостатки, профессиональную некомпетентность. Преодолеть сопротивление новых бояр, пробить образовавшийся лед, можно только взорвав его – именно этого хотело новое поколение комсомольцев, которое считало себя лучше подготовленным к управлению, нежели седоусые большевики, не говоря уже о проклятых и лишенных прав остатках царского строя.

Нетерпеливая революционная молодежь видела символ перемен в фигуре Сталина, борьба которого со старой партийной элитой широко освещалась в печати. Произошла подмена понятий – ультра-революционер Троцкий в глазах общественности стал контрреволюционером, а государственник, консерватор Сталин символом прогресса.

Они не были родовой элитой, когда слово «честь» является обязательством целого рода. Классовая целесообразность вполне подменяла для них этические нормы. Для желающих составить элиту в условиях

единообразной экономики, идеологии и политики достижение цели возможно только во взаимодействии с государством. Власть строила Государство и они стали государственниками.

К середине тридцатых годов заработал четкий механизм. Государство выступало для интеллигенции единственным заказчиком и требовало, чтобы интересы заказчика были соблюдены. Это касалось и промышленности, где заработал государственный план, и села, и идеологии. Талант и симпатичность исполнителя имели малое значение. Большая Советская Энциклопедия подчеркивала: «Советская литература – самая свободная литература в мире, ибо она не зависит от классовых интересов, ни от расовой исключительности, но свободно, естественно служит советскому народу, Советскому государству» (36). **Служение государству** – вот основная мысль сталинской эпохи.

Нахальное присвоение права рассуждать от имени государства или рабочего класса, что ему, государству, сейчас необходимо (то, чем грешил РАПП) стало опасным. И государство не предлагало щадящей альтернативы – либо втянуться в построение нового общества, либо выпасть из жизни, а то и потерять ее. Людмила Булавка, «Феномен советской культуры»: «Идеологическое канонизирование позитивного опыта общественных преобразований приводило к тому, что сущее (практика) становилось должным (идеологическим императивом). А принцип императивности уже сам по себе упраздняет критическое отношение к утверждаемым им постулатам, создавая предпосылки для смены убеждения верой» (37). Попросту говоря, страна, строящая лучшее в мире общество всегда права, и этот факт безусловен. Тем страшнее оказался факт разоблачения сталинских репрессий для целого

поколения. Десакрализация веры порождает червя сомнений – оказывается, даже самая искренняя вера может быть неправой?

Но и слепая вера в собственную правоту – это страшная сила. Человек, убежденный в своей безусловной правоте, становится тираном даже на самом маленьком посту. Маленькую, но характерную деталь подмечает Е. Булгаков в своем дневнике, чей дальний родственник по мужу, коммунист, сказал про Михаила Афанасьевича:

– Послать бы его на три месяца на Днепрострой, да не кормить, тогда бы он *переродился*.

Булгаков среагировал мгновенно:

– Есть еще способ – кормить селедками и не давать пить (38). Самое страшное, что для «убеждения» сомневающихся все вышеперечисленные способы власть использовала! Согнуть несогласных в бараний рог, добиться своего любой ценой – вот самая распространенная ошибка бойцов за человеческое счастье: коммунистов, националистов, фашистов... Несть им числа, благими намерениями вымостившим дорогу в ад.

Сталин получил выбор – на кого опереться в строительстве нового государства. На революционеров 1917 года, палачей собственного народа, на деле проявивших свои качества во время Гражданской войны и коллективизации, а теперь превратившихся в некомпетентных партийных бонз (и переродившейся с ними кликой интеллектуальных приживалок). Второй вариант – полная перезагрузка, появившаяся возможность опереться на молодежь, уже возвращенную с его именем на устах, привлекая по ходу строительства могучего государства уцелевших носителей имперского сознания, символизирующих легитимность и преемственность новой империи. И даже уютное, человеческое «мещанство» вполне

допустимо (в разумных пределах) в государстве, декларирующем заботу о простом человеке. Однако любая империя, как воинская организация, держится не на дискуссиях, а на полной покорности исполнителей.

Здесь мы видим причины трагического для советской литературы противоречия между жесткими задачами государственной политики и индивидуализмом, присущим отдельному интеллигенту; задачами, которые ставил перед собой Сталин-политик, и человеческими проблемами, который видел перед собой каждый практикующий «инженер человеческих душ»^[103]. Приходилось изворачиваться – хотелось писать о личном, а заказчик требовал о масштабном. Эту приобретенную черту новой коммунистической литературы, глядя из эмиграции, резко припечатал монархист В. Шульгин: «...какую нужно иметь бездарную душу, чтобы вдохновиться на беллетристические темы при советском режиме? Ведь можно только лаять во славу коммунизма. А если только начинаешь писать то, о чем просит душа (а творчество без этого невозможно), так сейчас же тебя сапогом в зубы» (39). «Как теперь нам писать? – как-то в отчаянии воскликнул Ильф. – В газетных фельетонах можно показывать самодуров-бюрократов, воров, подлецов. Если есть фамилии и адрес – это “уродливое явление”. А напишешь рассказ, сразу загалдят: “Обобщаете, нетипическое явление, клевета...”» (40).

Напрасно в очередном письме вождю 30 мая 1931 года М. Булгаков пытался, цитируя Гоголя, оправдать хотя бы некоторое свободомыслие писателя: «Настоящее слишком живо, слишком шевелит, слишком раздражает; перо писателя нечувствительно переходит в сатиру» (41). Задачи, которые новый строй ставил перед писателем, были конкретно- идеологическими и за решение поставленной государством задачи они

отвечали, как инженеры за качество строительства. Отвечали не перед какими-то литературными критиками, а непосредственно перед неусыпно следившим за литературным процессом Главным Читателем^[104].

К. Симонов: «Сталин действительно любил литературу, считал ее самым важным среди других искусств... Он любил читать и любил говорить о прочитанном с полным знанием предмета... Не буду строить домыслов насчет того, насколько он любил Маяковского или Пастернака, или насколько серьезным художником считал Булгакова. Есть известные основания считать: и в том, и в другом, и в третьем случае вкус не изменял ему... Наверное, у него внутри происходила невидимая для постороннего глаза борьба между личными, внутренними оценками книг и оценками их политического сиюминутного значения, оценками, которых он нисколько не стеснялся и не таил их» (42). Приемный сын вождя А. Сергеев также упоминает о пристрастии Сталина к чтению, как он читал им с В. Сталиным вслух М. Зощенко, того самого Зощенко, которого по милости вождя после войны едва не стерли в порошок! «Однажды смеялись чуть не до слез, а потом (Сталин) сказал: “А здесь товарищ Зощенко вспомнил о ГПУ и изменил концовку”» (43). Ценил товарищ Сталин товарища Зощенко лишь до определенных пределов, и рамки эти были определены жесткими задачами строительства социализма.

Чтобы структурировать литературный процесс в нужном государству русле, в 1934 году был создан Союз писателей СССР. Задумка его проста – в обмен на сносные условия существования при советском строе писатели, они же потенциальные пропагандисты и идеологи нового государства, объединялись в некую самоконтролируемую организацию. Партийное руководство творческим союзом должно осуществляться не чужаками, а самими писателями – главный коммунист страны знал, как ненавидят большинство из них официальных цензоров^[105]. В свою очередь, грамотно прирученный интеллигент легче изменяет свою точку зрения и менее связан односторонней установкой, поскольку способен сопоставлять несколько противоречивых подходов к одному и тому же предмету. Иногда эта склонность может даже противоречить классовым интересам данной личности.

«Посмотрите на его постную физиономию и сличите с теми звучными стихами, который он сочинил к первому числу! Хе-хе-хе... “Взвейтесь!” да “развейтесь!”... А вы загляните к нему внутрь – что он там думает... вы ахнете!» – в «Мастере и Маргарите» И. Бездомный изобличает поэта Рюхина «кулачка, маскирующегося под пролетария». Под пролетарских литераторов мимикрировали и кулацкие отпрыски (А. Твардовский), и бывшие дворяне (А. Толстой), и царские офицеры (В. Катаев), и дореволюционные интеллигенты (В. Шкловский).

Разумеется, ничто так не чуждо подобной творческой публике как единомыслие и согласие. Философ и социолог К. Манхейм в работе «Проблема

интеллигенции» подчеркивает: «Правительственный чиновник, политический агитатор или нелояльный писатель радикального толка, священнослужитель и инженер имеют мало общих существенно важных, реальных интересов. Существует бóльшая близость между “пролетарским” писателем и пролетариатом, чем между таким писателем и всеми прочими разновидностями интеллигенции, упомянутыми выше» (45).

Присмотрев необходимых новому государству «настоящих» писателей, Сталин сплотил их в единое целое. Узда на триаду лебедя, рака и щуки нашлась, и узда крепчайшая – сама основа литературного существования, выход книг. Хочешь издаваться – дружи с окружающим миром. Большая Советская энциклопедия прямо указывала: «В то время как для буржуазных издателей издательства представляют собой коммерческие предприятия, обеспечивающие им прибыль... советские издательства являются одним из могучих орудий Советского государства в деле коммунистического воспитания широких народных масс, в борьбе за построение коммунистического общества» (46). «Могучее орудие государства» – чего яснее.

Прежде всего, нужно было найти общую идеологическую платформу, ту изюминку, которая объединяла бы всех писателей, кроме стремления сытно покушать. Собственно, здесь нет ничего нового. Чуть ли не любая художественная группировка 1920-х годов заявляла свой творческий метод, провозглашая его самым правильным. Идея всеобъясняющего и всепобеждающего метода прочно владела умами тех же рапповцев. В уставе Союза писателей, предложенном его учредительному съезду, провозглашался универсальный творческий метод – социалистический реализм. Подробно его обосновал Н.

Бухарин в докладе «Поэзия, поэтика и задачи поэтического творчества в СССР».

Много было на объединительном писательском съезде любопытного и интересного. Доклад о советской сатире сделал М. Кольцов, причем, высмеивая попытки воспрепятствовать изданию сатирических романов Ильфа и Петрова, приводил под общий смех почти анекдотические высказывания некоего бдительного редактора:

«Пролетариату рано смеяться, пускай смеются наши классовые враги». Старый ашуг С. Стальский вместо речи решил продеklamировать, вернее, спеть стихи о съезде:

*Приветный знак ашугу дан,
И вот я, Стальский Сулейман,
На славный съезд певцов пришел...*

Первый съезд, полный революционного пафоса и веселья, на тридцать лет вывел Ф. Достоевского из круга русской литературы, поскольку великий русский писатель был заклеен как заядлый реакционер. Отличился все тот же В. Шкловский: «...если бы сюда пришел Федор Михайлович, то мы могли бы судить его как наследники человечества, как люди, которые судят изменника, как люди, которые сегодня отвечают за судьбы мира»^[106] (47). Свежеиспеченный глава советской литературы М. Горькой периодически заливался умиленными слезами. В честь него учрежден цельный Литературный институт. Это о Литинституте разглагольствует циничный Азazelло:

– Обрати внимание, мой друг, на этот дом! Приятно думать о том, что под этой крышей скрывается и вызревает целая бездна талантов.

– Как ананасы в оранжереях, – сказал Бегемот.

Съезд не был, да и не мог быть деловым мероприятием: он превратился в крупную политическую демонстрацию. Приход к власти Гитлера особо поднимал значение Сталина в глазах сочувствующей интеллигенции как защитника гуманистической культуры. Эренбург: «Вдруг все встали и начали неистово аплодировать: из боковой двери, которой я не видел, вышел Сталин, за ним шли члены Политбюро – их я встречал на даче Горького. Зал аплодировал, кричал. Это продолжалось долго, может быть десять или пятнадцать минут. Сталин тоже хлопал в ладоши. Когда аплодисменты начали притихать, кто-то крикнул: “Великому Сталину ура!” – и все началось сначала. Наконец все сели, и тогда раздался отчаянный женский выкрик: “Сталину слава!”

Мы вскочили и снова зааплодировали. Когда все кончилось, я почувствовал, что у меня болят руки» (48).

Но не только на съезде писателей верноподданнические настроения охватывали лучших представителей русской интеллигенции. Интеллигенции, заметим, не слишком просоветской. К. Чуковский (на съезде комсомола): «Косарев – обаятелен. Он прелестно картавит, и прическа у него юношеская. Нельзя не верить в искренность и правдивость каждого его слова. Каждый его жест, каждая его улыбка идет у него из души. Ничего фальшивого, казенного, банального он не выносит. Какое счастье, что детская л-ра наконец-то попала в его руки. И вообще в руки Комсомола. Сразу почувствовалось дуновение свежего ветра, словно дверь распахнули. Прежде она была в каком-то зловонном подвале, и ВЛКСМ вытащил ее оттуда на сквозняк. Многие фальшивые репутации лопнут, но для всего творческого подлинного здесь впервые будет прочный фундамент» (49). От себя добавим, что во время «Великого террора» А. Косарев проявил себя

людоедом не хуже других, и под конец угодил в ту же мясорубку. Но пока все в эйфории.

Союз писателей на деле превращал писателей в государственную элиту. В рамках этой организации писатели были окружены заботой, и, заодно, бдительным контролем. Но главное, регулировался доступ к самому важному для писателя благу – возможности публиковать свои произведения. Ради доступа к типографии автор способен на многое, поскольку профессиональный литератор подсознательно считает человека, лишенного возможности общаться с вечностью, существом неполноценным. Ю. Нагибин называл это «трагедией непишущего человека», вдумайтесь в определение. Только запечатленный на скрижалях остается в истории, обретает вечную жизнь. И вообще, многостраничный разговор с неглупыми собеседниками, жившими и живущими, – особое удовольствие... Писатели мыслят категориями бессмертия и разговорами поколений. Им предложили и то, и другое, и бутерброд с маслом вдобавок.

Еще до начала писательского съезда, 16 августа, Б. Пастернак писал жене: «Думаю, больше всего времени займет тут питание, на которое получил уже талон и которым нельзя будет пренебречь, потому что оно бесплатное и хорошее, но где-то на Тверской». О том же вспоминал и Е. Шварц: «Обедами, завтраками и ужинами во все время съезда кормили нас бесплатно в ресторане на Тверской... В ресторане играл оркестр, все выглядело по-ресторанному пышно, только спиртные напитки не подавались. Да и то днем. Вечером, помнится, пили за свой счет» (50). Если средняя стоимость обеда рабочего составляла 84 коп., служащего в учреждении – 1 руб. 75 коп., а обед в коммерческом ресторане стоил 5 руб. 84 коп., то стоимость питания делегатов составляла 40 руб. в день.

Прощальный банкет писателей был поистине царским, поскольку меню составляли из расчета 150 рублей на человека (51).

Организаторы съезда также понимали, что одной из «угроз» съезду стал бы уход писателей за покупками по магазинам столицы. Поэтому решили сделать снабжение делегатов централизованным – все они могли делать покупки в специализированном магазине № 118. В связи со съездом магазин переоборудовали и переоформили, был изготовлен специальный пропуск и установлен особый порядок приобретения товаров делегатами. Сюда поступили на продажу готовое платье, обувь, трикотаж на сумму 7500 рублей, также товары других групп: хлопчатобумажные и шелковые ткани, резиновые изделия, 300 московских патефонов, 100 гатчинских патефонов, 8000 грампластинок, 50 велосипедов, 200 карманных часов. Одним из счастливых покупателей оказался все тот же Е. Шварц, купивший в распределителе патефон с пластинками.

Большая сделка между властью и авангардом интеллигенции состоялась, хотя к праздничному столу пригласили и не всех. Например, ни О. Мандельштам, ни М. Булгаков делегатами съезда избраны не были. В те эпохальные дни Булгакова случайно повстречал известный драматург Афиногенов:

– Михаил Афанасьевич, почему вы на съезде не бываете?

– Я толпы боюсь ^[107] (52).

Несмотря на все шероховатости, I съезд Советских писателей успешно состоялся. Власть показала свою заботу о преданных ей мастерах слова, щедрость и готовность оплатить их «услуги». В свою очередь, писатели продемонстрировали внешнее единство и закрепили навыки двоемыслия.

Раздвоенное сознание, характерное для советской интеллигенции, доминирующее в ее психологическом состоянии вплоть до наших дней, вызывает оторопь у психиатров. Искусствовед А. Чегодаев пафосно заявляет: «Очень сильно заблуждаются те историки, что считают сталинские времена сплошным беспросветным мраком. Очень дурному и мрачному времени всегда противостояла глубокая и решительная оппозиция настоящих художников, писателей, артистов, режиссеров, музыкантов...» (53) Какая «решительная оппозиция», особенно после 1937 года!? Где они зарплату получали? В лучшем случае, легкое фрондерство.

VI

Итак, в начале 1930-х годов массовые общественные и культурные движения переводятся в режим функционирования формальных институтов. Писатель не зависит от таланта или уровня популярности, в ходу совершенно другие правила игры – партийная и политическая целесообразность, место в бюрократической иерархии, личные связи. Согласие с внешне легкими правилами образа жизни обеспечивают симбиоз с властью через перспективы карьерного роста. Кроме того, появление писательского сверхобъединения, которому, по сути, противопоставить нечего, содействовало развитию патерналистских, иждивенческих настроений в творческой среде.

Ко времени воцарения Л. Брежнева Союз писателей давно уже является естественным элементом идеологической службы. Причем службы окостеневшей. Ради интереса можно сравнить некоторые данные по двум знаковым писательским съездам – первым (1934 г.) и пятым (1971 г.). Средний возраст делегатов I съезда советских писателей – 35,5 лет, V съезда – 56 лет.

На I съезде среди делегатов было 52,8 % члена партии, а на V съезде – 80 %. При этом свою основную задачу – контроль и обеспечение сносных условий существования для творческих работников – Союз исправно выполнял. Он вел успешную хозяйственную деятельность, не получал от государства дотаций, более того, сам отчислял в госбюджет до 800 миллионов рублей в год^[108]. То есть писатели, находящиеся «в обойме», чувствовали себя весьма неплохо.

С другой точки зрения, нежелание и неумение некоторых из них втягиваться в ритуальные бюрократические игры, обязательная цензура, идеологическая удавка социалистического реализма заранее заставляли многих литераторов отказываться от борьбы за выход к своему читателю. Нередко страхи – настоящие и мнимые – обращались в живописную позу «гениев», еще ничего не сделавших, но заранее «обиженных» властью. Наверняка, фраза Булгакова о том, что *«сами придут и все дадут»*, многим из них испортила жизнь – они предпочли ничего не делать и ждать: «Ну, давайте, сильные мира сего, приходите, я уже жду...»

Успешный опыт создания Союза писателей подтолкнул власть к организации подобных объединений среди прочих представителей творческой интеллигенции. Возьмем, для примера, художников. В «Золотом теленке» Бендер собирался рисовать картину «Большевики, пишущие письмо Керзону». Отметим, что, согласно тексту соавторов, задумка картины пришла ему в голову, когда он обозревал выставку АХРР. Организация с таким загадочным названием действительно существовала – Ассоциация художников революционной России, с 1928 – АХР (Ассоциация художников революции). Тематику работ легко определить по каталогу выставки объединения за 1929/30 гг.: преобладают темы типа «Силосная башня», «Запашка», «Ротационные машины в типографии «Известий», «Подписка на заем в деревне», «Тревога на маневрах».

Известный большевик Е. Ярославский в обзоре очередной выставки АХР отмечает «яркие, жизнерадостные» картины, изображающие производственное совещание, посвященное урожаю, и подписку на государственный заем в деревне. Отголоски сей оживленной художественной

деятельности мы находим во все той же «энциклопедии советской жизни» – дилогии об Остапе Бендере: «... четыре художника, издавна здесь обитавшие, основали группу “Диалектический станковист”. Они писали портреты ответственных работников и сбывали их в местный музей живописи. С течением времени число незарисованных ответработников сильно уменьшилось, что заметно снизило заработки диалектических станковистов». По ходу дела поясню, что музеи также находились под компетентным руководством старых большевиков. Например, директором Государственного музея изобразительных им. Пушкина^[109] в 1928 году был назначен некий Ильин (сплетничали, что он был отцом Ф. Раскольникова, знаменитого революционного матроса, советского постпреда в Болгарии). Так вот, когда этот Ильин впервые увидел гипсовые слепки с античных скульптур, кои хранились в музее, он истошно завопил: «Весь верхний этаж битком набит битыми статуями, без голов, без рук, без ног!» Заметил, так сказать, «непорядок» (55).

Многие деятели АХРР-АХР – Б. Иогансон, А. Герасимов, М. Греков – сыграли огромную роль в становлении социалистического реализма в советском изобразительном искусстве. Любопытно, что один из основоположников пролетарской живописи – Е. Кацман – до революции, несмотря на свое еврейско-харьковское происхождение, был крайним антисемитом и активистом черносотенного «Союза русского народа». Такие чудеса. И хотя всесоюзный Союз художников был создан лишь в 1957 году, аналогичные ему организации в республиках появились еще в начале 1930-х годов.

Среди музыкальных течений отметим деятельность РАПМ (Российской ассоциации пролетарских музыкантов), которая в 1932 году постановлением ЦК ВКП(б), как родственное объединение РАПП, была

ликвидирована, но тоже показала властям, что музыкантов можно и должно свести под единую крышу – что и было сделано в 1948 году. Казалось, с музыкантами и композиторами дело обстояло сложнее: музыка – искусство в принципе абстрактное и не поддается однозначному толкованию, тем более, толкованию классовому. Но этот ее недостаток оказался преодолен довольно быстро – едва ли не раньше, чем в других видах искусства, поскольку в музыке, как и в телевидении, разбираются все. Особенно, если музыка популярная. Еще в 1924 году особый циркуляр потребовал не допускать к исполнению «ни фокстрот, ни шимми, ни другие эксцентрические вариации», потому как «они по существу представляют из себя салонную имитацию полового акта и всякого рода физиологических извращений» (56). ГПУ завели даже уголовное «Дело фокстротистов», в котором аморальное поведение неких юнцов напрямую увязывалось с прослушиванием определенной музыки. Популярные фокстроты того времени: «Эрика», «Две кошечки», «Завивайтесь, кудри», «Мисс Эвелин», «Аллилуйя». Особо выделим последний, поскольку он несколько раз упомянут в «Мастере и Маргарите»: *«И ровно в полночь в первом из них что-то грохнуло, зазвенело, посыпалось, запрыгало. И тотчас тоненький мужской голос отчаянно закричал под музыку: «Аллилуйя!!» это ударил знаменитый Грибоедовский джаз»*. Сам фокстрот «Аллилуйя» написан американцем В. Юмансом как пародия на богослужение и пользовался огромным успехом. Кроме ресторана, он звучит на бале Воланда, его же лихо отплясывает воробей на столе у профессора Кузьмина. Видимо, есть в этом фокстроте что-то антисоветское, тем более что в тридцатые годы – время написания романа – с фокстротом продолжали бороться, впрочем, так же безуспешно.

Начиная с «Дела фокстротистов», виновных в том, что они не участвовали в «культурной революции», а собирались и танцевали чуждый фокстрот, и вплоть до разгромных статей в «Правде», клеймивших, к примеру, творчество Д. Шостаковича, партия все более настойчиво вмешивалась в процесс музыкального творчества. Однако «классовое толкование» придумать легко, а воплотить сложно. Повлиять на музыкальные вкусы оказалось гораздо трудней, нежели на литературные. Здесь приходится дело иметь напрямую с народом. Приходилось и большевикам принимать неизбежное – от «Лимончиков» Л. Утесова до «Ландышей» О. Фельцмана.

Удивительной иллюстрацией противоречий эпохи может стать судьба Д. Шостаковича, одного из величайших русских композиторов XX века. Он пять раз становился лауреатом Сталинской премии, но при этом редкая погромная кампания обходилась без разноса Дмитрия Дмитриевича. Правда, и сам великий композитор частенько ставил свою подпись под всякими довольно грязными обращениями – от коллективных писем с требованием казнить презренных «врагов народа» до осуждения отщепенцев-диссидентов. «Какая сила заставляет великого композитора XX века стать жалкой марионеткой третьестепенных чиновников из министерства культуры и по их воле подписывать любую презренную бумажку, защищая кого прикажут за границей, травя кого прикажут у нас?», – возмущался А. Солженицын, и вместе с ним вся либеральная интеллигенция (57). Не принимала его и власть. Молотов о Шостаковиче говорил: «А что у него хорошего? По-моему, только песня “Нас утро встречает прохладой...” Хорошая. Слава богу, слова тоже хорошие, мотив хороший, бодрый...» (58) Компетентное восприятие творчества композитора...

А вот свидетельство отношения коллег. Вернее, «сами композиторы помалкивали, несло от их жен», – пишет в своих дневниках добрейший Е. Шварц, автор глубоко психологичных пьес «Обыкновенное чудо», «Тень» и «Дракон». Цитируем его наблюдения: «Одна из них, неглупая и добрая, глупела и свирепела, едва речь заходила о Дмитрие Дмитриевиче: “Это выродок, выродок! Я вчера целый час сидела и смотрела, как он играет на бильярде! Просто оторваться не могла, все смотрела, смотрела... ну, выродок, да и только!”... Я ужаснулся этой ненависти, которой даже прицепиться не к чему, и пожаловался еще более умной и доброй жене другого музыканта. Но и эта жена прижала уши, оскалила зубы и ответила: “Ненавидеть его, конечно, не следует, но что он выродок – это факт”. И пошла, и пошла. Я умолк... Мужья чувствовали страх, а их жены еще и ненависть. Вот почему, как загипнотизированная, глядела одна из них и не могла наглядеться, чувствуя, что перед ней существо другого мира» (59). Одиноким же человеком был Дмитрий Шостакович – истинный гений XX века!

Однако неспроста В. Молотов вспомнил одну из песен Д. Шостаковича. Феномен массовой песни, которую можно использовать в пропагандистских целях в едва обученной грамоте стране, большевики оценили довольно быстро. С помощью легкой песни можно стало быстро донести до миллионов людей символы и образы новой эпохи, прочно забить их в подсознание. Да так, что мы до сих пор, то ли дискутируя, то ли восхищаясь, можем цитировать «Широка страна моя родная», «Легко на сердце от песни веселой», «Вставай, страна огромная», легко вспоминая песни-символы сталинской эпохи.

«Для тридцатых годов массовая песня была открытием, откровением... Она была нужна, чтобы утвердить наш общий порыв, нашу монолитность», –

отмечал мегапопулярный тогда Л. Утесов. И он же утверждает, что перемены к лучшему в эстрадной музыке произошли во все том же знаменательном 1936 году: «После статьи в “Правде” под выразительным заглавием “Запутались”, опубликованной в декабре 1936 года, стало легче дышать и работать. А писалось в этой статье и о том, что “долго и крепко травили” Д. Хайта, автора авиационного марша “Все выше и выше”, “пока в это дело не вмешался нарком обороны К.Е. Ворошилов и не положил предел наскокам ретивых блюстителей “музыкальной нравственности”, писалось о том, что автора “ряда лучших военных песен-маршей Д. Покрасса” большое число “музыкальных деятелей” считает музыкантом “плохого тона”, что “автора марша “Веселых ребят” И. Дунаевского также травили, прибегая к необоснованным и просто грязным обвинениям”. И, наконец, писали о том, что “исполнителя ряда новых массовых мелодий Л. Утесова долгие месяцы травили, распространяя о нем всякого рода обывательские слухи”. “Да, – писала в заключение “Правда”, – у нас много недостатков в обслуживании населения джазовой музыкой, в частности, все еще невысока ее культура, и наряду с хорошими коллективами имеется немало халтурщиков и проходимцев. Но отсюда вовсе не следует, что надо снимать джаз с эстрады... Наоборот, следует поднимать качество, культуру этого вида музыкального творчества, столь популярного у народов СССР» (60).

Еще раз напомним, что 1936 год стал годом послаблений для широких масс (отмена многих социальных ограничений, реабилитация казачества и т. д.). Отдых от ультрареволюционной критики получила и любимая народом музыка. На это время приходится взлет популярности харьковчанина И. Дунаевского, с которым, кстати, водил дружбу и М. Булгаков. Песни И. Дунаевского на стихи В. Лебедева-

Кумача завоевали огромную популярность не только в СССР. В 1937 году Конгресс мира и дружбы с СССР в Лондоне закрылся под «Марш веселых ребят». Известен факт, когда на совещании передовых производителей в Кремле, после партийного гимна «Интернационал», все стихийно, не сговариваясь, запели «Легко на сердце». Даже одна из последних, хотя и печальных, шуток И. Ильфа была связана с этим массовым песенным психозом:

– Так мы и умрем, – сказал уже смертельно больной Ильф незадолго до кончины, – под песни Дунаевского на слова Лебедева-Кумача.

И еще раньше Ильф, обращаясь к своему соавтору Петрову, сказал, указывая на дефилирующих мимо знаменитостей:

– Посмотрите, Женя, вон идут Александров (режиссер) и Дунаевский (композитор). Не идут, а **направляются**. Вы заметили: есть много людей, которые не ходят, а направляются (61).

Для киношников, вроде Г. Александрова, тридцатые годы действительно стали золотой эрой и поводов для зазнайства у них было хоть отбавляй. Работа в сфере кино считалась не просто престижной, но и хорошо оплачиваемой. Язвительность соавторов, описывающих бестолковость и затратность кинопроизводства на киностудии города Черноморска, имела вполне реальные основания. За киносценарий полнометражного фильма можно было получить от 30 до 80 тысяч рублей, за съемку фильма режиссеру полагалось от 20 до 75 тысяч, ежемесячно кинорежиссеры, даже если не снимали, получали зарплату от 2 до 54 тысяч.

Актеры высшей категории получали в период съемок до 4 тысяч рублей в месяц. Гигантские по тем временам суммы.

А некоторые блага вообще в деньгах не исчислялись: так в марте 1935 года Главное управление кинофотопромышленности (ГУКФ) премировало персональными автомобилями С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Ф. Эрмлера, А. Довженко, братьев С. и Г. Васильевых, Г. Козинцева, Л. Трауберга и др. М. Ромм (к/ф «Мечта», «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году») на одном из совещаний работников кинематографистов обронил: «Денег я имел очень много, признаться, не знал им счету. Я получал авторские, которые позволяли совершенно не думать об экономических трудностях» (62). И режиссер сыт, и зрители целы.

Обильные, как сказали бы сегодня, «государственные инвестиции» в кино с завистью отмечали иностранные наблюдатели: «Кино получает средств еще больше, и кинорежиссер также имеет возможность экспериментировать, не считаясь с расходами. Насколько затраченный труд и издержки целесообразны, свидетельствуют виденные мною фильмы, только что изготовленные или еще не вполне законченные, – Райзмана, Рошаля и, прежде всего, великолепный, подлинно поэтический фильм Эйзенштейна “Бежин луг” – шедевр, насыщенный настоящим внутренним советским патриотизмом» (63). Правда, автор этих строк Л. Фейхтвангер в своей книге не упомянул о дальнейшей судьбе фильма «Бежин луг», уничтоженного советской цензурой; а может, действительно ничего не знал.

Доставалось от цензуры и другим кинолентам, вроде комедии «Веселые ребята», которую обвиняли в аполитичности. Был запрещен выпуск патефонных пластинок с музыкой кинофильма, издание нот «Марша веселых ребят», печатание весьма популярных в то время открыток-«гармошек» с кадрами из фильма. И лишь огромный успех на фестивале в Венеции и в

Америке^[110] заставил цензоров притупить ножницы. Сам Чарли Чаплин написал, что «до “Веселых ребят” американцы знали Россию Достоевского. Теперь они увидели большие перемены в психологии людей. Люди бодро и весело смеются. Это – большая победа. Это агитирует больше, чем доказательство стрельбой и речами» (64). И фильм до сих пор пользуется успехом!

То есть, невзирая на тотальный контроль, политика кнута и пряника, вкупе с целевыми государственными вливаниями, давала свой результат. СССР мог похвастаться даже цветными кинолентами – последним хитом тогдашней киномоды, а в начале 1941 года состоялся показ и нашего первого стереофильма – «Земля молодости». Стереофильмы – прямые предшественники нынешних технологий 3D.

Раз уж мы заговорили о кино, интересно вспомнить историю укрощения еще одного строптивца – гениального режиссера С. Эйзенштейна, человека, прямо скажем, на язык острого. Один раз он очень зло разыграл руководителя советской кинематографии старого большевика Б. Шумяцкого, которого он не без основания считал крайне некомпетентным деятелем. С. Эйзенштейн походя сказал ему, что собирается ставить «запрещенное при царском режиме» весьма революционное произведения некоего Баркова «Лука». Шумяцкий живо заинтересовался и сразу дал добро на постановку. Ну, и попутно послал гонца в Ленинскую библиотеку, чтобы ознакомиться с «революционным» первоисточником. Разразился грандиозный скандал, когда выяснилось, что «запрещенный царизмом» «Лука» – это скабрёзная поэма «Лука Мудищев». Что самым печальным образом отразилось на судьбе вскоре уничтоженного цензурой фильма С. Эйзенштейна «Бежин луг». И что же – Сталин острослова пощадил, а

мстительного Шумяцкого перемололи жернова репрессий.

Остроумие режиссера разило и прочих маститых подпевал. Например, орденоносного режиссера С. Герасимова он публично обозвал «красносотенцем». Тем не менее, Эйзенштейн работал, преподавал, получал Сталинские премии. Когда отходил от линии государственного заказа – получал нагоняи и запреты, как и другие. То есть режим максимально использовал его талант, а что касательно свободы творчества... Известная актриса Л. Смирнова приводит характерное высказывание «товарища» из ЦК (правда, оно касалось другого известного режиссера Ф. Эрмлера), которое характеризует всю культурную политику сталинской эпохи: «Ну подумай, где это видано, чтобы художник делал то, что хочет? Вы, работники искусства – режиссеры, актеры, – помощники партии. Вы выполняете задачи, которые перед вами ставит коммунистическая партия. Вы пропагандируете наши идеи. Значит, нам нужно, чтобы Эрмлер делал те картины, и решал те темы, которые полезны нам, а не ему самому!» (65). Служба единого госзаказа касалась и Эрмлера, и Эйзенштейна, и режиссеров, и писателей, и русских, и украинцев, и евреев [\[111\]](#).

Сталин в своей беседе с Л. Фейхтвангером совершенно четко сформулировал свое видение места творческой интеллигенции в советском государстве: «Есть такая группа интеллигенции, которая не связана с производством, как литераторы, работники культуры. Они мнят себя “солью земли”, командующей силой, стоящей над общественными классами. Но из этого ничего серьезного получиться не может. Когда интеллигенция ставит себе самостоятельные цели, не считаясь с интересами общества, пытаясь выполнить какую-то самостоятельную роль, – она терпит крах. Она

вырождается в утопистов... **Роль интеллигенции - служебная** (выделено мной – К.К.), довольно почетная, но служебная. Чем лучше интеллигенция распознает интересы господствующих классов и чем лучше она их обслуживает, тем большую роль она играет. В этих рамках и на этой базе ее роль серьезная» (66). Кто не соглашался – вышвыривался на обочину. Но тех, кто был согласен, пестовали и подкармливали.

VII

К началу тридцатых годов власти уже научились «повышать уровень жизни» тех, кто оказался полезным, и не допускать в этом деле никакой «уравниловки». Формирование советской элиты подразумевало идеологическую составляющую, и те, кто неустанно легитимизировал строй, в накладе не остались. К. Чуковский в дневниках 1931 года неоднократно отмечает этот факт: «Похоже, что в Москве всех писателей повысили в чине. Все завели себе стильные квартиры, обзавелись шубами, любовницами, полюбили сытую жирную жизнь». Там же: «Роскошь, в к-рой живет Кольцов... ошеломила меня. На столе десятки закусок. Четыре больших комнаты. Есть даже высшее достижение комфорта, почти недостижимое в Москве: приятная пустота в кабинете». Там же: «Шатуновские поразили меня великолепием своей жизни, по сравнению с нашей алупкинской. Мебель изящнейшая, горячая вода день и ночь, комфортабельные диваны, лифт, высокие комнаты. Сказано: Дом Правительства. У них я почувствовал себя даже слишком уютно» (68).

Расслоение в обществе, испытывающем лишения первой пятилетки, стало вопиющим. Каждому пробравшемуся наверх хотелось сохранить свое, с таким трудом добытое благополучие. Эфемерность этого благополучия они осознали значительно позже – в период массового террора, когда выяснилось, что все можно отнять в один миг и без всякого повода... А тогда за комфорт жизни держались особенно цепко – и потому что помнили жестокую нищету начала революции, да и в начале тридцатых годов за бортом правящего слоя царил голод. Образовались привилегированные, очень тонкие слои со спецпайками,

дачами и машинами, куда допустили избранных творцов.

Для понимания государственной логики в работе с писателями весьма показательный случай приводит К. Симонов, описывая совещание, в котором участвовал один из сподвижников Сталина – Л. Мехлис: «Когда финансисты выдвинули проект, начиная с такого-то уровня годового заработка, выше него – взимать с писателей пятьдесят один процент подоходного налога, – Мехлис буквально вскипел: – Надо все-таки думать, прежде чем предлагать такие вещи. Вы что хотите обложить литературу как частную торговлю? Или рассматривать отдельно взятого писателя как кустара без мотора? Ни к литературе, ни к писателям, насколько я успел заметить, Мехлис пристрастия не питал, но он был политик и считал литературу частью идеологии, а писателей – советскими служащими, а не кустарями-одиночками» (69). Именно служащими!

Хотя, бывало, финансисты одолевали, как случилось в случае отмены авторских отчислений в кинематографии, зависящими от проката, и замены их «постановочными», то есть разовыми выплатами. Говорят, А. Толстой сострил: «Со времен отмены крепостного права наша семья еще такого удара не переносила» (70).

Шло огосударствление искусства, а государство исповедовало социальный оптимизм. Л. Фейхтвангер: «Я уже отмечал, что советские писатели и театральные работники имеют идеальную публику, к тому же они пользуются весьма щедрой поддержкой государства, и их работа, казалось, должна была бы удовлетворять и радовать их, но, к сожалению, стандартизованный оптимизм, о котором я говорил выше, мешает больше всего именно им» (71). Интеллигенция вынуждено разделила официальный оптимизм, а натянутая улыбка чаще всего напоминает гримасу.

И вообще «интеллигентный человек» – это вовсе не синоним «честного человека». Утверждать, что интеллигент в принципе не может терпеть лжи, говорить, что он всегда оппозиционен злу, было бы явным преувеличением. Интеллигенция прекрасно умеет приспосабливаться к текущему моменту, хотя иногда испытывает определенный дискомфорт. В. Кормер насчет этой интеллигентской рефлексии в тоталитарном обществе высказался вполне определенно: «...на всем бытии интеллигенции лежит отпечаток всепроникающей раздвоенности. Интеллигенция не принимает Власти, отталкивается от нее, порою ненавидит, и, с другой стороны, меж ними симбиоз, она питает ее, холит и пестует; интеллигенция ждет крушения Власти, надеется, что это крушение все-таки рано или поздно случится, и, с другой стороны, сотрудничает тем временем с ней; интеллигенция страдает, оттого что вынуждена жить при Власти, и вместе с тем, с другой стороны, стремится к благополучию. Происходит совмещение несовместимого... Бытие интеллигенции болезненно для нее самой, иррационально, шизоидно» (72).

Сама шизоидная атмосфера наступившего большого террора, с внезапными исчезновениями, развенчанием вчерашних героев, публичными признаниями вождей в злоумышлениях против государства, заставляла мыслящую часть общества добровольно отключить мозговую деятельность, жить одним днем, предаться фатализму: «Люди, живущие при диктатуре, быстро проникаются сознанием собственной беспомощности и находят в ней утешение и оправдание своей пассивности: «разве мой голос остановит расстрелы? не от меня это зависит... кто меня послушает...»... **Мы все пошли на мировую:** молчали, надеясь, что убьют не нас, а соседа. Мы даже не знаем, кто среди нас убивал, а кто просто спасался молчанием» (73).

Люблю я это «мы все», подразумевающее коллективную безответственность и беспамятство. Но ведь многие искренне аплодировали, сливаясь в экстазе со всем народом, подчиняясь вполне явно выраженной народной воле. А народ видел в Сталине символ начавшихся перемен к лучшему; обиженные властью ранее – строгого, но справедливого судью; интеллигенция – защиту от ультралевых. Атмосферу восторга и преклонения перед вождем, культа его личности доносит до нас такой опытный и вдумчивый наблюдатель, как К. Чуковский: «Вдруг появляются Каганович, Ворошилов, Андреев, Жданов и Сталин. Что сделалось с залом! А ОН стоял, немного утомленный, задумчивый и величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти, сила и в то же время что-то женственное, мягкое. Я оглянулся: у всех были влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть его – просто видеть – для всех нас было счастьем. К нему все время обращалась с какими-то разговорами Демченко. И мы все ревновали, завидовали, – счастливая! Каждый его жест воспринимали с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства» (74). Еще раз – Чуковский не мальчик, изнанку советской системы знает на собственной шкуре, и вот на тебе – ревнует, завидует...

А что же за кадром? Вне оглушительных оваций? Тихая, кабинетная работа вождя, который как на шахматной доске выстраивал фигурки творцов, убирал отыгранных и продвигал еще нужных, работал со своими интеллектуалами вдумчиво, артистично. С ними и для них. К. Симонов присутствует на одном из совещаний у Иосифа Виссарионовича: «Сталину на обсуждении кандидатов на Сталинские премии докладывают, что один из писателей-претендентов “плохо вел себя в плену”. Услышав сказанное, Сталин

остановился – он в это время ходил – и долго молчал... вдруг задал негромкий, но в полной тишине позвучавший достаточно громко вопрос, адресованный не нам, а самому себе.

– Простить... – прошел дальше, развернулся и, опять приостановившись, dokonчил —...или не простить?

И опять пошел...

– Простить или не простить? – снова повторил Сталин...

Опять пошел, опять вернулся. Опять с той же интонацией повторил:

– Простить или не простить?

Два или три раза прошелся вперед, и, отвечая сам себе, сказал:

– Простить.

Так на наших глазах, при нас впервые Сталиным единолично решалась судьба человека, которого мы знали, книгу которого мы читали. Во всем этом было нечто угнетающе-страшное, тягостное....» (75) Зато правила игры абсолютно ясны.

VIII

Вернемся из высоких кабинетов в уже хорошо знакомую нам красную столицу эпохи жилищного кризиса. Мощнейшим методом приручения интеллигенции стала практика предоставления жилья. Просто и необычайно эффективно: жилплощадь все равно принадлежала государству, но право иметь крышу над головой надо было очень даже заслужить. Жилищный вопрос внимательнейшим образом анализируется и в «12 стульях», и в «Золотом теленке», и в «Мастере и Маргарите», тот самый вопрос, который испортил не только москвичей, но и жителей большинства крупных городов СССР. А если это жилье еще и комфортабельное, со всеми удобствами... «Я не то, что МХАТу, я дьяволу готов продаться за квартиру!..» – шутливо говаривал Булгаков (76).

Квартира – это и предмет гордости, и социального статуса: «В новой квартире у Катаева все было новое – новая жена, новый ребенок, новые деньги и новая мебель. “Я люблю модерн”, – зажмурившись, говорил Катаев, а этажом ниже Федин любил красное дерево целыми гарнитурами. Писатели обезумели от денег, потому что они были не только новые, но и внове... Катаев угощал нас новым для Москвы испанским вином и новыми апельсинами – они появились в продаже впервые после революции. Все, “как прежде”, даже апельсины!» (77)

Вот оно, торжествующее «мещанство» победно сливающееся с имперскими фанфарами. Е. Булгакова с мужем в гостях у Е. Петрова: «...сегодня днем Миша спросил его по телефону – может быть, в связи с награждением Вам надо идти куда-нибудь – он сказал, что нет и что они ждут нас. Заводил радиолу –

американскую, у него есть очень хорошие пластинки. Слушали Шестую симфонию Чайковского, Дебюсси и очень оригинальную вещь – голубая симфония, кажется, так называется»^[112] (78). В этой, в общем-то, заурядной записи в дневнике упоминаются правительственные награды (Петров был награжден орденом Ленина), редкий еще домашний телефон, престижная американская аппаратура и даже новинки западной музыки за «железным занавесом». Так по косточкам, как динозавра, мы и воссоздаем скромный писательский быт.

Для писателей даже возводились особые дома, в одном из которых, хотя и недолго, соседствовали Булгаковы и Мандельштамы. Здания строились специальные, с усиленной звукоизоляцией, хотя и это не помогало обуздать пирующую богему. Запись из дневника Е. Булгаковой, обратите внимание – 29 ноября 1938 года – вроде, разгар репрессий: «Над нами – очередной бал, люстра качается, лампочки тухнут, работать невозможно, М.А. впадает в ярость.

– Если мы отсюда не уберемся, я ничего не буду больше делать! Это издевательство – писательский дом называется! Войлок! Перекрытия! А правда, когда строился дом, строители говорили, что над кабинетами писателей будут особые перекрытия, войлок, – так что обещали полную тишину. А на самом деле...» (79) О войлоке для писателей кровавый сталинский режим позаботился! И позже: «Миша пошел вверх к Михалковым, с которыми у нас на почве шума из их квартиры началось знакомство. Они оказались очень приятными людьми. Он – остроумен, наблюдателен, по-видимому, талантлив, прекрасный рассказчик, чему, как это ни странно, помогает то, что он заикается. Она – очень живой горячий человек, хороший человек» (80). Это он, это он, остроумный и наблюдательный классик

советской литературы С. Михалков обронил после смерти Сталина: «Двадцать лет работы – собаке под хвост!». Знал, о чем говорит. Недаром ко всей этой публике расположившийся в стороне от мейнстрима Осип Мандельштам относился на редкость нетерпимо: «Все они продажные»...

А дачи!? Необходимое всякому писателю место творческого сосредоточения и отдыха! Бессмертная сцена в «Мастере и Маргарите» практически списана с натуры:

- Не надо, товарищи, завидовать. Дач всего двадцать две, и строится еще только семь, а нас в МАССОЛИТе три тысячи.

- Три тысячи сто одиннадцать человек, – вставил кто-то из угла.

- Ну, вот видите, – проговорила Штурман, – что же делать? Естественно, что дачи получили наиболее талантливые из нас...

- Генералы! – напрямик врезался в склоку Глухарев-сценарист. Бескудников, искусственно зевнув, вышел из комнаты.

- Одни в пяти комнатах в Перелыгине, – вслед ему сказал Глухарев.

- Лаврович один в шести, – вскричал Денискин, – и столовая дубом обшита!

Но высшим достижением советской цивилизации в тридцатые годы стало обладание жильем не только постоянным, но и передвижным, право на кое имели считанные единицы – члены правительства, высшие военачальники и – некоторые писатели: «Когда Зубилу (псевдоним Ю. Олеши в повести «Алмазный мой венец» – К.К.) необходимо было выехать по командировке на какую-нибудь железнодорожную станцию, ему давали отдельный вагон! Он часто приглашал меня с собой на свои триумфальные выступления, приглашая в «собственный вагон», что

было для меня, с одной стороны, комфортабельно, но с другой – грызло мое честолюбие» (В. Катаев) (81).

Тот же В. Катаев, считавший себя учеником великого И. Бунина, рассуждает о судьбе своего удалившегося в эмиграцию учителя: «...мне хотелось плакать от отчаяния, думая о той страшной трагедии, которую пережил Бунин, о той непоправимой ошибке, которую он совершил, навсегда покинув Родину. И у меня не выходила из ума фраза, которую мне сказал Нилус:

– Какие же у Ивана тиражи? Пятьсот, восемьсот экземпляров.

– У нас бы его издавали сотнями тысяч, – почти простонал я. – Поймите, как это страшно: великий писатель, который не имеет читателей. Зачем он уехал за границу? Ради чего?

– Ради свободы, независимости, – строго ответил Нилус.

Я понял: Бунин променял две самые драгоценные вещи – Родину и Революцию – на чечевичную похлебку так называемой свободы и так называемой независимости, которых он всю жизнь добивался...» (82)

Очень показательный фрагмент – что важнее для писателя: «независимость и чечевичная похлебка» или тиражи плюс очередная революция? Катаев-то свой выбор сделал. Как и большинство других. Это был осознанный выбор взрослых людей, в котором они вполне отдавали себе отчет, в том числе и В. Катаев – боевой офицер царской армии. Или «красный граф» А. Толстой. Вспоминает художник Ю. Анненков: «...Так как не было водки, мы пили коньяк. Толстой становился все более весел, у него никогда не было “грустного вина”.

– Я циник, – смеялся он, мне на все наплевать! Я простой смертный, который хочет хорошо жить, хорошо жить, и все тут... Эта гимнастика меня даже забавляет! Приходится, действительно, быть акробатом. Мишка

Шолохов, Сашка Фадеев, Илья Эренбург – все они акробаты» (83).

Этот непростой выбор все время возникал и перед М. Булгаковым: «15 мая.(1937 г.) Днем был Дмитриев.

– Пишите агитационную пьесу!

М.А. говорит:

– Скажите, кто вас подослал?

Дмитриев захохотал. Потом стал говорить серьезно:

– Довольно! Вы ведь государство в государстве! Сколько это может продолжаться? Надо сдаваться, все сдались. Один Вы остались. Это глупо!» (84). Оставалось только изыскать вдохновение. Противостояние с режимом закончилось написанием просталинской пьесы «Батум».

В 1939 году писатели были впервые награждены орденами, что считалось очень важным событием в биографии: орден равнялся, как и Сталинская премия, официальному признанию. Появился новый термин – «писатель-орденоносец». Еще один предмет для зависти, интриг и переживаний. «Награжденные – и среди них Юрий Тынянов (родственник автора – В. Каверина) – поехали в Москву, мне ничего не оставалось, как проводить их, – весело, спокойно, но в таком душевном упадке, какого, кажется, я никогда до тех пор не испытывал. Бессонница мучила меня, я сильно похудел и не расхворался, кажется, только потому, что мне удалось вернуться к работе» (85). Это ж надо так завистью изойти!

Известный художник Н. Альтман, развлекаясь, часто ловил тараканов в своей комнате и красил их в разные цвета. А одного выкрасил золотом и издевательски провозгласил: «Это таракан лауреат». Однако и сей остроумец через некоторое время задумчиво заметил: «Я до сих пор не придавал значения званиям и орденам – но с тех пор, как это стало вопросом меню...» (86)

В 1937 году эстонский журналист Н. Бассехес писал в своей очередной корреспонденции из Советского Союза, что зажиточную жизнь могут позволить здесь себе вести **отдельные писатели** (выделено мной – К.К.), для которых «золотой дождь» льется до тех пор, пока они считаются «политически благонадежными» (87). Разительно отличавшийся уровень жизни между отмеченными властью и рядовыми гражданами мог заставить задуматься самого скромного творца, как ему все-таки выслужиться, чтобы жить стало ему хоть немного легче. И здесь, как всегда впрочем, на помощь приходят не только талант и сноровка, но и меценаты. Таковые тоже завелись среди «красных патрициев». И один из главных – не удивляйтесь – нарком обороны Клим Ворошилов. «Командовать парадом буду я», – как любил говаривать Остап Бендер. В шаблонном, реальном приказе наркома фраза о подготовке к проведению традиционного парада на Красной площади звучала: «Командовать парадом буду я. Ворошилов». Но благодаря широкому успеху книги, наркомовскую формулировку таки пришлось изменить на «Командовать парадом поручено мне».

Климент Ефремович, скажем прямо, не «хватал звезд с неба» в смысле высокой культуры и образованности. Но, заслуженно или незаслуженно, пользовался репутацией наименее жестокого из всей сталинской команды. «Ворошилов читал много. Как раз военное дело мало читал, а художественную литературу читал не меньше меня», – отмечал впоследствии Молотов, и продолжал: «Мы все, конечно, такие слабости имели – барствовать. Приучили – нельзя это отрицать. Вот он начинал барствовать. В чем это выражалось? Любил иметь дело с художниками, любил театр... Ворошилов любил немного мецената изображать, покровителя художников и прочее. А те уж, конечно, старались вовсю» (88).

Много неизвестного о Ворошилове-человеке можно узнать из дневника его жены – Голды Давидовны Горбман. Запись от 20.09.1955 г.: «Сосновка напомнила мне времена, когда приходилось запросто бывать на даче под Москвой у тов. Сталина. Вспомнилось гостеприимство И.В., песни, танцы. Да, да – танцы. Плясали все, кто как мог: С.М. Киров и В.М. Молотов плясали русскую с платочком со своими дамами. А.И. Микоян долго шаркал ногами перед Надеждой Сергеевной (Аллилуевой), вызывая ее танцевать лезгинку. Танцевал он в исключительном темпе и азарте, при этом вытягивался и как будто становился выше и еще тоньше... Климент Ефремович отплясывал гопака или же, пригласив партнершу для своего коронного номера – польки – танцевал ее с чувством, толком и расстановкой» (89).

Хорошим танцором, значит, был, и должность наркома не мешала ему разбирать дразги среди творческой интеллигенции, в том числе и танцующей – какие могут быть секреты между коллегами? Вот, например, дело Викторины Кригер, балерины Большого театра. Персона достаточно известная в свое время – заслуженная артистка Республики (1927), лауреат Сталинской премии (1946), заслуженный деятель искусств РСФСР (1951). Говорят, что по ее имени М. Кольцовым даже было изобретено название конкурса «Викторина», популярное до сих пор. Итак, В. Кригер обратилась с письмом, адресованным И. Сталину. Балерина жаловалась на нового директора Большого театра Е. Малиновскую, которая «по личному нелицеприятию» фактически отстранила вчерашнюю «приму» от работы в труппе. И что же Сталин – отправляет письмо по ведомству культуры? Ничуть не бывало – он пишет резолюцию: «Т. Ворошилов! Почему бы не помочь Кригер вернуться в Б. театр?» (90) И в 1930-е годы для немногих посвященных такой ход

мысли генсека не казался странным. Поскольку к тому времени Климент Ефремович уже обрел, как сегодня бы сказали, стойкий имидж покровителя искусств. И проблему действительно решил.

Еще одним театральным меценатом числился К. Паукер – бывший парикмахер будапештской оперетты, ставший начальником охраны вождя. Когда удавалось выкроить свободный часок, он появлялся в своей персональной ложе в оперном театре, а в антракте проходил за кулисы, встречаемый аплодисментами актеров. Его благосклонности домогались все московские театральные знаменитости.

И преемник К. Паукера на посту главного охранника страны генерал Н. Власик в меценатстве не уступал прочим. «Он возглавлял всю охрану отца, считал себя чуть ли не ближайшим человеком к нему, и, будучи сам невероятно малограмотным, грубым, глупым, но вельможным, дошел в последние годы до того, что диктовал некоторым деятелям искусства “вкусы товарища Сталина”, – так как полагал, что он их хорошо знает и понимает. А деятели слушали и следовали этим советам... он благосклонно передавал деятелям искусства – “понравилось” ли “самому” – будь то фильм, или опера, или даже силуэты строившихся тогда высотных зданий...» (91).

Руководители страны не брезговали лично появляться на премьерах спектаклей и фильмов, навещали даже в оперу. Сталин, например, очень любил оперу «Иван Сусанин», был на ней раз восемь или девять. Искусством увлекались и их просвещенные отпрыски. С. Аллилуева: «Меня тянуло к литературе, и это же советовала мне Анна Алексеевна, наша школьная учительница. “В литераторы хочешь! – недовольно проговорил отец, – так и тянет тебя в эту богему! Они же необразованные все, и ты хочешь быть такой... Нет, ты получи хорошее образование, – ну хотя

бы на историческом. Надо знать историю общества, – литератору тоже это необходимо. Изучи историю, а потом занимайся, чем хочешь...”» (92) Показательно – Сталин считал богему необразованной, Мандельштам – продажной... Что-то в этом есть.

Не были полностью чужды друг другу творческая интеллигенция и советская партийная элита, как это хочется представить кому-то. Однако во время войны достигнутая с таким трудом и жертвами видимая монолитность строя покрылась трещинами. Очевидные неудачи первого этапа войны, раскрытие немцами на оккупированных территориях (хоть и в пропагандистских целях) зверств НКВД, общие лишения и переоценка жизненных ценностей вновь заставили встрепенуться интеллигентское самосознание. Теперь открыты материалы так называемых спецсообщений НКВД, по которым видно, что почти вытравленный к концу 1930-х червь сомнения вновь поселился в писательских душах. Вот некоторые из «оперативных данных» (подслушанных разговоров, доносов и прочего):

«И. Уткин – поэт, бывший троцкист: “Нашему государству я предпочитаю Швейцарию. Там хотя бы нет смертной казни, там людям не отрубают голову. Там не вывозят арестантов по сорок эшелонов в отдаленные места, на верную гибель... У нас такой же страшный режим, как и в Германии... Все и вся задавлено... Мы должны победить немецкий фашизм, а потом победить самих себя...”;

А. Новиков-Прибой – писатель, бывший эсер: “Крестьянину нужно дать послабление в экономике, в развороте его инициативы по части личного хозяйства. Все равно это произойдет в результате войны... Не может одна Россия бесконечно долго стоять в стороне от капиталистических стран, и она придет рано или поздно на этот путь...”;

К. Чуковский – писатель: “Скоро нужно ждать еще каких-нибудь решений в угоду нашим хозяевам (союзникам), наша судьба в их руках. Я рад, что начинается новая, разумная эпоха. Она нас научит культуре...”;

В. Шкловский – писатель, бывший эсер: “...В конце концов мне все надоело, я чувствую, что мне лично никто не верит, у меня нет охоты работать, я устал, и пусть себе все идет так, как идет. Все равно у нас никто не в силах ничего изменить, если нет указки свыше”;

К. Федин – писатель: “Все русское для меня давно погибло с приходом большевиков; теперь должна наступить новая эпоха, когда народ больше не будет голодать, не будет все с себя снимать, чтобы благоденствовала какая-то кучка людей (большевиков)... Я очень боюсь, что после войны все наша литература, которая была до сих пор, будет просто зачеркнута. Нас отучили мыслить. Если посмотреть, что написано за эти два года, то это сплошные восклицательные знаки”;

Н. Погодин – драматург: “...Страшные жизненные уроки, полученные страной и чуть не завершившиеся буквально случайной сдачей Москвы, которую немцы не взяли 15-16 октября 1941 года, просто не поверив в полное отсутствие у нас какой-либо организованности, должны говорить, прежде всего, об одном: так дальше не может быть, так больше нельзя жить, так мы не выживем...”;

Ф. Гладков – писатель: “Подумайте, 25 лет советская власть, а даже до войны люди ходили в лохмотьях, голодали... В таких городах, как Пенза, Ярославль, в 1940 году люди пухли от голода, нельзя было пообедать и достать себе хоть хлеба. Это наводит на очень серьезные мысли: для чего было делать революцию...”» (93)

И это говорили не юнцы, а писатели, признанные властью, фактически классики. Власть, видимо, оказалась в растерянности. По разработкам выходило, что сажать надо всех. Любой, даже преданный писатель-партиец мог с отвращением говорить о власти, и даже о самом товарище Сталине. Поэтому удар по интеллигенции после войны был закономерен – кнут, как фактор укрепления дисциплины, для партии стал уже орудием привычным. И. Эренбург: «Помню вечер вскоре после конца войны у О.Ф. Берггольц. Мы долго рассуждали, что означают некоторые перемены в составе правительства. Шварц, молчал. Потом, мягко улыбаясь, сказал: “А вы, друзья, как ни садитесь, только нас не сажайте”. Это было неожиданно, и, конечно же, мы рассмеялись, но смех был невеселым» (94).

С другой стороны – традиционный пряник. В нашем случае – хлебушек. Известно, что после войны именно Сталин настаивал на снижении цен на белых хлеб, говоря, что это нужно сделать «в интересах интеллигенции». И не только хлеб, но и всякие вкусности подбрасывали через распределители: «Редакцию прикрепили к какой-то элитарной продуктовой базе, и заказы, которые полагались каждому члену редколлегии, были разнообразны и высококачественны. В этом отношении в журнале мне было значительно лучше, чем в секретариате Молотова», – свидетельствует бывший переводчик Сталина В. Бережков, разжалованный тогда из толмача в журналисты (95). Журналисты питаются лучше, чем государственные чиновники в наркомате!

За заботу партия требует восстановления безусловной лояльности. Вторая мировая война закончилась, и недавние союзники оказались по разные стороны баррикады. Мобилизация общественного мнения внутри страны оказалась тесно связанной как со стратегией мировой политики, так и с частными

интригами доморощенных вождей. Но отметим, что глава ленинградского клана А. Жданов не был лично враждебен А. Ахматовой и М. Зощенко. Наоборот, во время войны, уже после замыкания кольца блокады, эвакуация именно этих литераторов была осуществлена по прямому указанию Ленинградского горкома партии. Потом А. Жданов даже звонил в Ташкент, прося позаботиться об А. Ахматовой, в результате чего она получила жизненно важный «лауреатский паек».

Другое дело, что внутривластная борьба, панический страх А. Жданова быть обвиненным в «буржуазном либерализме», его упреждающий удар по своим же ленинградцам в стремлении показать себя еще большим сталинистом, нежели сам Сталин, трагически отразился на судьбах конкретных людей. Кроме запрета на публикации, а значит и куска хлеба насущного, у А. Ахматовой и М. Зощенко в 1946 году отбирают даже продовольственные карточки. А это в то послевоенное время пострашнее, чем выговоры.

Литературная общественность быстро пришла в нужное власти чувство паралича и ужаса. Еще раз сошлемся на дневники Корнея Ивановича Чуковского, уникальную летопись жизни. Обратите внимание, речь в записи идет в сущности о рутинном литературном процессе, но какие добавились в него краски после выхода известного постановления: «....я получил за подписью Головенченко (директора Гослитиздата) приглашение на заседание Редсовета – причем на повестке дня было сказано:

1. Решение ЦК ВКП(б) о журналах “Звезда” и “Ленинград” и задачи Гослитиздата.

2. Обсуждение состава сборников избр. произведений Н.Н. Асеева и И.Л. Сельвинского и третьей книги романа В.И. Костылева “Иван Грозный”.

3. Обсуждение плана полного собр. сочинений Некрасова. Таким образом, моя работа над Некрасовым

должна будет обсуждаться в качестве одной из иллюстраций к речи тов. Жданова о Зощенко, Ахматовой и проч. Я пришел в ужас... Бессонница моя дошла до предела. Не только спать, но и лежать я не мог, я бегал по комнате и **выл** часами... К счастью, все обошлось превосходно. И все это было наваждением страха» (98).

Но, конечно, далеко не все заканчивалось таким хэппи-эндом. Так, уже готовившийся к публикации в 1946 году роман «Мастер и Маргарита» после постановления «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» из планов был срочно изъят и пришел к читателю, как мы помним, лишь спустя двадцать лет.

Власть, перейдя в наступление на идеологическом фронте, на достигнутом не остановилась и инициировала целую череду различных идеологических постановлений ЦК ВКП(б): «О репертуаре драматических театров и мерах по их улучшению», «О кинофильме “Большая жизнь”», «Об опере Мурадели “Вечная дружба”» и др. Они дали сигнал к публичной проработке многих выдающихся деятелей культуры, в том числе Э. Казакевича, Ю. Германа, С. Прокофьева, А. Хачатуряна, Д. Шостаковича, С. Эйзенштейна и др. Но что касательно именно М. Зощенко и А. Ахматовой, то уже 13 мая 1947 года публиковать произведения Зощенко снова официально разрешили. Ахматова же 14 февраля 1951 года получила официальный документ о своем восстановлении в Союзе писателей СССР. А ведь незадолго до того состоялись казни обвиняемых по «Ленинградскому делу»... Контраст впечатляющий и он обнаруживает, против кого в действительности была направлена атака в 1946 году. Л. Берия и его сподвижники могли праздновать полную победу над ждановцами, а победителю полагается быть великодушным^[113]. А знаменитое постановление,

жертвами которого стали Ахматова и Зощенко, лишний раз напомнило «разбаловавшимся» во время войны интеллигентам их место при государственной кормушке: «ЦК ВКП(б) в постановлении от 14/VIII 1946 о литературно-политических журналах “Звезда” и “Ленинград” со всей резкостью подчеркнул, что советские журналы как научные, так и художественные, не могут быть аполитичными. Они должны руководствоваться тем, что составляет жизненную основу советского строя, – его политикой», – назидательно писала Большая Советская энциклопедия (99).

IX

Вскоре после смерти Сталина, как бы предвкушая грядущую «оттепель», был созван Второй съезд советских писателей (декабрь 1954 г.). Живописнейшее описание его оставил Ю. Нагибин, хочется привести его максимально дословно: «Как в бреду, как в полпьяна – две недели жизни. Выбрали – не выбрали, назвали – не назвали, упомянули – не упомянули, назначили – не назначили. Я, кажется, никогда не доходил до такой самозабвенной ничтожности... И само действие съезда, от которого хочется отмыться. Ужасающая ложь почти тысячи человек, которые вовсе не сговаривались между собой. Благородная седина, устало-бурый лик, грудной голос и низкая (за такое секут публично) ложь Федина. А серебряно-седой, чуть гипертонизированный, ровно румяный Фадеев – и ложь, утратившая у него даже способность самообновления; страшный петрушка Шолохов, гангстер Симонов и бледно-потный уголовник Грибачев. Вот уж вспомнишь гоголевское: ни одного лица, кругом какие-то страшные свиные рыла» (100). «Съезд писателей»! и на тебе – «рыла».

Белый и пушистый Нагибин продолжает: «Не забыть, как мы вскакивали с рюмками в руках, покорные голосу невидимого существа, голосу, казалось, принадлежавшему одному из тех суровых святых, что взирали на наше убогое пиршество со стен Грановитой палаты. Покорные этому голосу, мы пили и с холуйством, которое даже не могло быть оценено, растягивали рты в улыбке (Основной банкет шел в Георгиевском зале, и нам он транслировался по радио.)» (101). Как видим, после смерти Сталина писатели, пусть даже и в дневниках, снова осмелели. Да что там писатели! На заседании редколлегии

идеологического журнала «Вопросы истории» сам редактор партийного издания сказал: «Вот письмо **мерзавца** Сталина к **товарищу** Троцкому» (102). А разные выпуски т. н. советских «народных» пословиц: в 1948 году «Сталинский указ, что отцовский наказ», «За Сталиным идти – в счастья жить и цвести»... В издании 1961 года те же «народные мудрости» звучат уже иначе: «Ленинский указ, что отцовский наказ», «За Лениным идти – в счастья жить и цвести». Смех, да и только.

XX съезд породил множество вопросов: какова степень дозволенной свободы в новых условиях, будут ли наказаны виновные в массовых репрессиях, какие задачи работодатель (государство) ставит перед писателями ныне? Выход нового издания Большой Советской энциклопедии, официального кладезя мудрости, срочно приостановили. Она как раз дошла до буквы «С» и следующий том предполагалось полностью посвятить Сталину, Сталинским премиям, Сталинской конституции и т. д. А здесь начинались разночтения. И далеко не всегда ответ был очевиден. А. Мариенгоф, друг С. Есенина, доживший до тех дней миновав жернова репрессий, возмущается:

«Киевский стихоплетишка Микола Бажан, дослужившийся на Украине до какого-то министерского портфеля, выступая в Москве, в Союзе писателей, сказал: “Среди нашей интеллигенции нашлись, к сожалению, неустойчивые люди, которые думали в панике, что необходима переоценка всех ценностей, полная смена вех. Неправильно ставился вопрос и о личности И.В. Сталина. Многие ретивые редакторы дошли до того, что имя Сталина стали вычеркивать из наших произведений... Зачеркивать все, что было сделано Сталиным доброго, зачеркивать весь тот путь, который мы прошли, веря в Сталина как в воплощение наших мечтаний и идеалов, видя в Сталине воплощение

партийной воли и партийного руководства, было бы недостойно честных советских людей и честных советских писателей”» (103). Как видим, далеко не все сразу стали на путь разоблачения «культа личности», которое на манер «освобождения крестьян» императором Александром Вторым, было спущено сверху.

Антисталинский посыл новой власти во многом был необъективен и посвящен решению сиюминутных политических задач. Доклад Н. Хрущева изобилует не только дутыми цифрами, но и откровенными передергиваниями фактов, направленных на то, чтобы унижить и десакрализировать фигуру предшественника. Так, Никита Сергеевич утверждал на XX съезде, что Сталин скрыл от партии завещание Ленина. Писатель Ф. Чуев вспоминает в этой связи: «У отца на полке хранилось несколько политических книг, и среди них одна, изданная в 1936 году, где приводятся наиболее острые отрывки из ленинского завещания, причем с комментариями Сталина (сборник произведений к изучению истории ВКП(б). Политиздат, тираж 305 тыс. экземпляров» (104). Между тем, известный английский историк, который считается специалистом по истории СССР Дж. Хоскинг, опираясь на мнение Н. Хрущева, делает абсурдный вывод о том, что «для Сталина невыносимо было само существование людей, которые были просто товарищами Ленина, тех, кто мог знать о его завещании» (105).

Начинались разночтения, попытки вести самостоятельную линию, некоторые художники вновь вспомнили, что они имеют право на свое мнение. Л. Смирнова: «Я была членом парткома, когда вступал в партию Александров. Вдруг Пырьев приходит и тоже подает заявление. Видит заявление Александрова (а у них страшное соперничество):

– Что?! И этот сюда же?

Берет свое заявление и рвет его на мелкие кусочки.

– Не буду с ним в одной партии!

Потом его вызвали в райком:

– Партия – это не Александров! Партия – это партия! – И там его песочили долго. Он еще не вступил, а его уже песочили» (106). Анекдот, конечно, но можно ли представить себе при Сталине порванное в клочки заявление о приеме в партию?

Важно то, что в СССР началась определенная эмансипация – правящий слой, скрученный Сталиным «в бараний рог», возродился к политической жизни. При этом элита правящего класса оставалась одновременно творцом официальной идеологии и государства. По идее, она не могла быть заинтересована в подрыве своей идеологии и государства. Зачем рубить сук, на котором сидишь? Но советская номенклатура не была правящим классом, она была именно эгоистичным и жадным сословием, которое с этого времени начало массово перерождаться и которое под конец просто тяготилось своим государством.

Кроме усталости элиты от репрессий, важную роль в ее перерождении сыграл и новый политический фактор – открытость СССР миру. Мировая империя, которую Сталин оставил своим наследникам, нуждалась в огромной армии специалистов по иностранным делам, держала за границей могучие воинские контингенты, в рамках экономического сотрудничества отправляла своих специалистов в союзные страны и была вынуждена приглашать к себе массы иностранцев и т. д. С тех пор, как даже разрушенная войной Европа произвела сильнейшее впечатление на миллионы советских солдат, прошло 10–15 лет, и это стал уже другой, возрожденный и еще более манящий к себе континент (я имею в виду «Запад» в широком значении слова). Джаз и рок-н-ролл, абстракционизм и неореализм, Сартр и Камю, джинсы и виски... Да мало

ли чем советская элита могла считать себя обделённой без общения с динамичной культурой западных соседей?! Разница в уровне жизни вызывала вопросы, особенно, у молодежи – почему самый передовой строй оказался столь архаичным? Поиски ответа на вопрос заставлял внимательно вглядываться на Запад и смотреть на него всё время – до одури.

Идеологические и военные лидеры западного мира довольно чутко уловили нужный момент. Они понимали, что для закрытого, социалистического и небогатого общества сравнение с яркой витриной капитализма окажется шокирующим. Американское правительство вышло на Н. Хрущева с неожиданными идеями: «...их предложения были направлены на открытие границ, чтобы расширить обмен людьми, открытие организаций или обществ, в которых продавалась бы американская литература у нас и наша – в США, все на основе взаимности. В принципе, любые их предложения, кроме контроля, нам можно было бы принять, но мы внутренне не были готовы к этому, еще не отделались от наследия сталинских времен, когда в каждом иностранце видели неразоблаченного врага, приезжающего к нам только с целью вербовки советских людей или шпионажа» (107). Здесь мы на секундочку отвлечемся от воспоминаний Никиты Сергеевича.

Итак, американцы предлагают свободное сравнение, обмен информацией. По сути, это то, на что позже согласился СССР в Хельсинки, и – проиграл. Социалистический строй просто не мог быть конкурентоспособным в состязании с открытой экономикой свободного перемещения капиталов и идей, он построен на централизованном перераспределении средств. Это состязание с заранее известным результатом. Но вернемся к Хрущеву: «Сталин считал, что это классовая борьба другими средствами, без войны, и она – самая острая. Сталин страдал

недоверием к своему народу, недооценивал внутреннюю сопротивляемость советского человека, полагал, что при первой же встрече с иностранцем наш человек капитулирует и будет подкуплен материальными либо другими средствами воздействия. Это удивительно, но, к сожалению, так было. Это психологическая болезнь Сталина. Недаром он говорил нам, что мы не сможем противостоять противнику: “Вот умру, и погибнете, враги передышат вас, как куропаток”» (108).

Забегая вперед, можно сказать, что Сталин оказался абсолютно прав: советский человек таки оказался «подкуплен материальными либо другими средствами воздействия», свою страну профукал, а вместе с ней и все свои социальные достижения, которые, безусловно, имелись. Но это касается обычного народа, нашего, так сказать, наивного «плебея». Мы же ведем речь о «духовной» и жадной до достижений «мировой культуры» интеллигенции – светоча сознания масс, или кем там она себя воображает....

«Куропатки» с высшим образованием есть и будут основной мишенью манипуляторов сознанием, поскольку уверовавший в свой интеллектуализм и высшую правоту интеллигент далее действует автоматически и автономно, заражает своей истерией других и поведение слона в посудной лавке легко становится его естественным состоянием. Запустив механизм саморазрушения, манипулятору можно просто стоять в стороне – инфицированный все сделает сам, с чувством собственной правоты и самоубийственного жертвенного восторга.

В этой связи весьма поучительными историями являются судьбы двух наиболее известных на Западе советских литераторов, лауреатов Нобелевской премии Б. Пастернака и А. Солженицына. У нас принято рассматривать данную премию только с точки зрения литературы, но не политики, что для человека, знающего историю острого соперничества двух сверхдержав во время «холодной войны», представляется просто наивным. Не является секретом, что Нобелевская премия (1958 год) была присуждена Борису Пастернаку не без участия влиятельных политических кругов Запада. И расчет организаторов интриги оказался удивительно точен: растратившая военный и послевоенный опыт психологической войны и элементарную осторожность, малограмотная хрущевская идеологическая машина мгновенно поддалась на провокацию. Е. Евтушенко: «Антикоммунизм в этой игре оказался умней коммунизма, потому что выглядел гуманней в роли защитника преследуемого поэта, а коммунизм, запрещая этот роман, был похож на средневековую

инквизицию» (109). А. Микоян: «Со страниц газет не сходила площадная ругань в адрес поэта, которая уронила во всем мире престиж нашей партии и государства. Находясь в США в январе 1959 г., я мог убедиться, как ловко антисоветская пропаганда использовала эту историю. И было бы глупо ее не использовать» (110). Даже симпатии СССР были возмущены идиотизмом Хрущева. Сам великий Э. Хемингуэй предложил Б. Пастернаку подарить дом на Западе: «Я сделаю все, что в моих скромных силах, чтобы сохранить миру этот творческий гений», – заявил он, а Д. Неру приглашал опального Леонида Борисовича перебраться в Индию (111).

Хэму и Неру противостояла прикормленная советская интеллигенция. «Пулю загнать в лоб предателю, – возмущалась писательница Галина Николаева. – Я женщина, видевшая много горя, но за такое предательство не дрогнула бы...»; В. Шкловский: «Отрыв от писательского коллектива, от советского народа привел Пастернака в лагерь оголтелой империалистической реакции, на подачки которой он польстился» (112). Исключение Пастернака из Союза писателей СССР поддержали такие якобы демократические литераторы как В. Дудинцев, В. Инбер, В. Катаев, И. Сельвинский, Б. Слуцкий, А. Твардовский.

Да и позже, невзирая на посмертное признание Пастернака, многие оставались при своем мнении: «Нет, это, конечно, книга плохая, враждебная... Интеллигент боится революции, он против революции – все на этом построено. Жалеет, как гибнет на фронте против Красной Армии молодежь, студенты, гимназисты буржуазные, жалеет автор. Автор все надеется, что какая-то свечка горит, огонек еще есть... “Свеча горела на столе, Свеча горела...” Свеча контрреволюции». Так

оценивает В. Молотов творчество опального поэта даже спустя много лет (113).

По другую сторону баррикад «дело» ошельмованного поэта стало для либеральной интеллигенции системой опознавания «свой-чужой», символом непокоренного творчества, сопротивления, пусть и пассивного – режиму и т. д., о чем мы еще поговорим предметно. Наконец, вполне осознав, как его использовали в политической борьбе и те и другие, Борис Пастернак, умирая, сказал: «как я рад, что ухожу из этого пошлого мира. Пошлятина не только здесь, но и там (за рубежом – К.К.)» (114).

Хрущев ошельмовал вполне лояльного Пастернака, но вознес антисталиниста Солженицына, хотя Никита Сергеевич неустанно утверждал, что «линия Сталина в искусстве и литературе была правильной». По свидетельству очевидца, на одной из встреч с интеллигенцией Хрущев сказал: «Я хочу поприветствовать нашего современного Толстого – Александра Солженицына!» и весь зал аплодировал стоя. Е. Евтушенко: «Честно говоря, я ожидал, что Солженицын, оказавшийся в центре внимания, заступится за молодых художников и молодых писателей, по адресу которых Хрущев сыпал оскорбление за оскорблением. Но “современный Толстой” молчал» (115).

Довольно долго Советская власть Солженицына терпела и поощряла, старясь укротить очередного строптивца. Благо, опыт имелся колоссальный. Сначала пошли проторенным путем. В ответ на просьбу К. Паустовского, Д. Шостаковича, К. Чуковского, П. Капицы и С. Смирнова предоставить А. Солженицыну жилище, ему в двухнедельный срок дали квартиру в близлежащей Рязани. Разумеется, то, что квартиру просто дали быстро, хотя и не в Москве, никакой благодарности у просителей и Александра Исаевича не

вызвало. Требовались особые знаки внимания: «Советская власть опять повела себя как дура, не дав Ленинскую премию Солженицыну, который, разоблачая Сталина, еще не задел Ленина ни одним словом. Советская власть сама ускорила развитие Солженицына как разоблачителя Ленина и как непримиримого врага самой себе...» (116).

Можно подумать, что Ленинская премия удержала бы идола тогдашней либеральной интеллигенции от дальнейших действий, всемерно содействовавших распаду системы. Уровень интеллекта кумира миллионов, продемонстрированный в брошюре «Как нам обустроить Россию», вызывает ужас своей немочью: «...необозримое имущество КПСС... Награбили народного добра за 70 лет, попользовались... но отдайте хоть что осталось: здания, и санатории, и специальные фермы... И всю номенклатурную бюрократию, многомиллионный тунеядный управительный аппарат, костенящий всю народную жизнь, – с их высокими зарплатами, поблажками да специальными магазинами, – кончаем кормить!.. Вот отовсюду от этого – и деньги» (117). Равно и «Конституция союза республик Европы и Азии» другого Нобелевского лауреата А. Сахарова – все эти прекрасные мечты, обернувшиеся вполне реальными десятками тысяч трупов в межнациональных конфликтах на пепелище СССР. За которые, конечно, либеральная общественность ответственности нести не желает.

И что касательно магии Нобелевского лауреатства, то осмелюсь напомнить, что таковой мессия в стране победившего социализма мог появиться значительно раньше, нежели Пастернак, Солженицын и Сахаров. В ноябре 1917 года норвежские социал-демократы внесли в Комитет по Нобелевским премиям предложение о присуждении Владимиру Ильичу Ленину

Международной премии Мира за 1917 год. В обращении подчеркивалось: «До настоящего времени для торжества мира больше всего сделал Ленин, который не только всеми силами пропагандировал мир, но и принимает конкретные меры к его достижению» (118). В мае 1918 года с аналогичным ходатайством обратились в Комитет по Нобелевским премиям профессора и студенты философского факультета Стамбульского университета. Но лауреатами премии мира, как мы знаем, стали Сахаров и Горбачев. И, подозреваю, не случайно.

Но вернемся в пресловутую «оттепель». Уже к началу 1960-х годов Н. Хрущев смог настроить против себя почти всю интеллигенцию. Это позже она «прощала» его, поднимала на щит его «подвиги» и ретушировала в памяти потомков вопиющие просчеты – «десталинизация» всё списала. На самом же деле – это была эталонная эпоха, символизирующая грубое вмешательство партии в искусство, в свободное изложение художником своего видения мира. На тему пострадавших от Н. Хрущева художников высказывались все мемуаристы – здесь и легендарная выставка в Манеже, и знаменитые «пидарасы» (как определил сущность абстракционистов разъяренный генсек), и последующие мытарства художников-модернистов... [\[114\]](#)

А что же по поводу авангардного искусства думала очень противная для художников сторона, то есть сам Хрущев? Почему-то об этом обычно умалчивается, между тем, его доводы не лишены смысла и интереса: «В разделе скульптуры то, что я увидел, меня просто потрясло. Скульптура женщины... Я не обладаю должной красочностью языка, чтобы обрисовать, что там было выставлено: какая-то женщина-урод, без всех верных пропорций, просто невозможное зрелище.

Американские журналисты меня расспрашивали (речь о выставке достижений США в СССР – *К.К.*) и поэтому как бы подзадоривали. Ну, я и отвечал: “Как посмотрела бы мать на сына-скульптора, который изобразил женщину в таком виде? Этот человек, наверное, извращенец. Думаю, что он, видимо, ненормальный, потому что человек, нормально видящий природу, никак не может изобразить женщину в таком виде”» (119). Да, это видение отличается от мнения поклонника модернизма и постмодернизма, но лично мне оно представляется вполне разумным, если хотите, мнением человека из народа.

И здесь возникает вопрос вопросов – **для кого творят художники?** Так вот, Хрущев на встрече с интеллигенцией практически дословно говорил следующее: мы вас тут, конечно, послушали, поговорили, но решать-то будет кто? Решать в нашей стране должен народ. А народ, это кто? Это партия. А партия кто? Это мы. Мы – партия. Значит, и мы будем решать, я вот буду решать. Понятно?! Л. Смирнова: «Мы могли зависеть от мнения одного говнюка, потому что он был инструктор ЦК» (120). Значит, заказчик не прав, а исполнитель самочинно решает, что деньги он, пожалуй, заберет, а делать станет только то, что сам захочет. Видано ли это сегодня?

Неудивительно, что в нынешнее капиталистическое время вчерашним свободолобцам пришлось нелегко, хотя до сих пор огромное количество их ошивается в бюджетных учреждениях, паразитируя на деньгах налогоплательщиков, шантажируя общество своей якобы духовностью, народностью, культурой. Прекрасный актер и никуда негодный политик О. Басилашвили хотя бы честно признается в своей неприязни к советскому народу: «... возник новый тип советского человека, и мне кажется, именно с ним идет сейчас неравная борьба за то, чтобы люди стали

людьми, а не теми бездумными винтиками, исполнителями приказов, которых из них формировали “инженеры человеческих душ” – советские так называемые писатели» (121). Здесь такое количество штампов либерального интеллигента, даже не знаешь, что краше – «неравная борьба», «бездумные винтики» или «так называемые писатели».

Вопрос один: за чей счет этот банкет, кто заказчик. Рынок? Государство? Мнение заказчика всегда было важно для того, кто работает на заказ. Даже для Микеланджело. Странно читать постперестроечные интервью эталонного «шестидесятника» В. Аксенова, в которых он честит Советскую власть. Между тем, принципиальность В. Аксенова не всегда простиралась так далеко, ранее товарищескую критику партии он охотно принимал: «Наше слово – оружие в нашей борьбе, каждое слово – как патрон. Легкомыслие для писателя просто-напросто аморально... На пленуме прозвучала суровая критика неправильного поведения и легкомыслия, проявленного Е. Евтушенко, А. Вознесенским и мной. Я считаю, что критика эта была правильной... Но еще легкомысленней было бы думать, что сейчас можно ограничиться одним признанием своих ошибок. Это было бы не по-коммунистически и не по-писательски. Я никогда не забуду обращенных ко мне во время кремлевской встречи суровых, но вместе с тем добрых слов Никиты Сергеевича и его совета: “Работайте! Покажите своим трудом, чего вы стоите!”» (97) Ах, дети, милые дети, почему вы не читаете газет? Их нужно читать. Они довольно часто сеют разумное, доброе, вечное. Учат слышать эпоху и тех, кто потом от имени этой эпохи выступает ее глашатаем и совестью.

И мемуары стоит читать и анализировать. Вот Л. Куксо, друг Ю. Никулина, рассказывает об отзыве Юрия Владимировича о тогдашнем министре культуры Е. Фурцевой: «Будучи в Париже, Юра (Никулин)

встречался с Луи Арагоном и Эльзой Триоле. Они рассказали, как в период пребывания Фурцевой в Париже были ее добровольными гидами, показывали ей Лувр, “Гранд Опера”, “Комеди Франсез” и были потрясены ее невежеством. “Ваш министр культуры, – говорили они, – ни черта не смыслит в культуре! Да кто она по профессии?” Юра развел руками и после паузы произнес: “Ткачиха!”». «Больше вопросов к нему не было», – саркастично заключает Куксо (122). А ведь «ткачиха» очень много помогала деятелям культуры, со многими имела дружеские отношения, и не факт, что нынешние министры делают больше. Именно в годы «правления» Екатерины Алексеевны стали проводиться Международный конкурс имени Чайковского и Международный конкурс артистов балета, проходили выставки картин из Дрезденской галереи, Нью-Йоркского музея «Метрополитен», французских импрессионистов, состоялись гастроли оркестров Бенни Гудмена и Дюка Эллингтона. И уж точно не факт, что Эльза Триоле, родная сестра проживавшей в СССР Лили Брик, была столь невежественна в отношении советских реалий.

Нас настойчиво хотят убедить в определенном алгоритме, якобы существовавшем на территории СССР. Хорошие 1920-е, плохие 1930-е; хорошая «оттепель», плохой «застой»; разоблачение «культа личности» – хорошо, последовавший при Брежневе откат на исходные позиции в его оценке – плохо. Однако свертывание критики Сталина было связано не только с попытками идеологического укрепления режима и его демонстративным «антихрущевизмом», но и представляло собой уступку массовому «народному сталинизму», главным в котором являлась не политическая верность «заветам генералиссимуса», а поиск идеологической оболочки для выражения своего недовольства.

Частичная реабилитация Сталина, разочаровавшая интеллигенцию и ставшая одной из причин расцвета диссидентского движения в конце 1960-х – начале 1970-х годов, в то же время позволила «вывести из игры» гораздо более многочисленную группу недовольного режимом «простого народа». Призывая к «объективной и взвешенной» оценке Сталина, партийные верхи как бы выбрали из двух зол меньшее. С недовольством интеллигенции они небезосновательно надеялись справиться.

XI

Феномен диссидентства, этого идеологически заостренного шестидесятничества, состоит в том, что впервые значительные массы интеллигенции, опираясь на хрущевскую формулировку «Сталин – плохой, а Ленин – хороший», смогли заявить о себе как организованное движение, которое просто стремится к улучшению существующего строя и действует как положено настоящим патриотам страны. Едва ли не в курсе решений партии. Поначалу принципиальных отрицателей и противников строя насчитывалось очень немного. Но руководство партии было неплохо информировано об истории советской державы и понимало, насколько связаны исторически идеи Сталина и Ленина. Вопрос о репрессиях и жертвах репрессий неминуемо актуализирует вопрос о предыстории репрессий, об их персоналиях, подлинной истории «большого скачка», который стал одним из краеугольных камней идеологии страны, наряду с Гражданской войной и ее «героями». Демонстрировать степень вины партии перед народом – это вопрос потери власти любой партией.

Между тем, интеллигенция, пробужденная XX съездом, упорно такого разговора требовала, видя в этом гарантию неповторения кровавых событий 1930-х годов, то есть своей элементарной безопасности, а также признание государством вины перед наследниками пострадавших и либерализации внутривластного курса. Начиналась эпоха идеологического кризиса советского коммунизма, где реальную угрозу строю представляли не оппозиционные группы, по-прежнему малочисленные, а широкая аура интеллигентской оппозиционности.

Появилась влиятельная и неуничтожимая среда; скрытую, но массовую оппозицию стало крайне трудно полностью изолировать от ее социальной базы или окружить стеной молчания. К. Манхейм: «Взаимные контакты интеллигенции часто носят неформальный характер, причем наиболее распространенной формой организации является небольшая группа близких по духу людей. Они играют роль важного катализатора в формировании общих установок и образа мыслей» (123). Новые «антисоветчики» не только не прятали своего лица, но существовали в интеллектуальном и моральном пространстве интеллигентской фронды.

Борьба партии и свободомыслящей интеллигенции вошла в новую фазу. Одним из ее важнейших этапов стал суд над писателями и Ю. Даниэлем и А. Синявским, виновными в том, что под литературными псевдонимами печатались на Западе. И вновь закрутилась международная интрига. Е. Евтушенко свидетельствует: «Во время поездки по США в ноябре 1966 года я был приглашен сенатором Робертом Кеннеди в его нью-йоркскую штаб-квартиру. Я провел с ним несколько часов. Роберт Кеннеди... конфиденциально сообщил, что согласно его сведениям псевдонимы Синявского и Даниэля были раскрыты советскому КГБ американской разведкой... Это был весьма выгодный пропагандистский ход. Тема бомбардировок во Вьетнаме отодвигалась на второй план, на первый план выходило преследование интеллигенции в Советском Союзе» (124). И получилось действительно так – стыд от кондового советского судилища над двумя писателями был неопиcуемый: «Как будто все сговорились оттолкнуть интеллигенцию от партии», – жалуется А. Микоян (125). Но все же виноват не преступный сговор спецслужб, о чем пишет вездесущий Евтушенко, а сама неумолимая логика «народного сталинизма».

Либерализм интеллигенции, требовавшей для себя все больше прав в ущерб системе, заставлял систему принимать защитные меры. Индивидуализм, свойственный определенной прослойке, противоречит общественному укладу, построенному на коллективной собственности. Интеллигенция требовала для себя более высокий уровень жизни, сравнимый с тем, что получали за аналогичную деятельность их коллеги за рубежом. Не получая искомого, интеллигенция озлоблялась, не понимая сути распределительной системы – бесплатные квартиры, почти бесплатные коммунальные услуги и дешевая колбаса не могут сочетаться с капиталистическими зарплатами. Выбирать приходится что-то одно [\[115\]](#).

«Народный сталинизм» 1960-х годов – это попытка низов возродить эффективность распределительной полувоенной системы в условиях усложнения устройства общества, вызванного научно-технической революцией и растущим благосостоянием элиты. Власть оказалась перед мучительным выбором – либо отказаться от самой основы социализма (перераспределения), а значит – пойти навстречу индивидуальным свободам граждан, в том числе и в праве самостоятельно обеспечивать свой уровень жизни. Либо сохранять классическую модель, максимально придерживая либеральные устремления интеллигенции в обмен на медленный рост общего благосостояния.

Поначалу сочетание кнута (одним из примеров которого стало дело Синявского и Даниэля) и пряника в руках брежневского руководства давало свои результаты. «Рост благосостояния советского народа» – штамп эпохи застоя, но в целом он правильно отражал политику партии на данном этапе. Борьба за индивидуальное благосостояние займет умы и

свободное время основной массы граждан. Э. Рязанов: «Вскоре, в начале семидесятых, наступит общественная апатия – расправятся с “подписанцами”, вышлют за границу инакомыслящих, кое-кого попрячут по “психушкам”, а кого-то засунут в лагеря. И общество успокоится, погрузится в спячку. Послушная часть “элиты” станет интересоваться только материальными благами: машинами, дачами, квартирами, мебелью, мехами и драгоценностями, поездками за рубеж...» (126) Ю. Нагибин: «Третьего дня присутствовал на читке своей пьесы в театре “Ромэн”. Мои бывшие дружки-забулдыги остепенились. Чавалэ – все члены партии: Серега Золотарев – член партбюро, а Сличенко – так и вовсе секретарь партийной организации. Среди этих солидных, прочно стоящих на земле людей я выглядел каким-то кочевником. Сходное чувство я испытываю в Доме литераторов, Доме кино, Союзе писателей. Все в чинах, все при должностях, наградах и аксельбантах, у всех взрослые, уклончивые, хмурые и хитрые морды» (127). Если при Сталине блага распространялись только на верхушку, то теперь они широким потоком устремились вниз – к радости среднего и младшего комсостава.

Казалось, социальная база режима расширялась. Сама правящая партия неудержимо наращивала свои ряды и достигла, в конце концов, чудовищной цифры в 18 миллионов партийцев. И по идее, партийцы должны были свою власть защищать. Высшая иерархия любого политически структурированного общества – это люди, обладающие монополией на легитимное символическое насилие. Эта элита обеспечивает себя символическим капиталом, гарантированным юридически – например, дворянскими, учеными, профессиональными званиями или, в нашем случае, партийной принадлежностью.

«Построение групп, способных защитить интересы их членов на основе идентичности символического

капитала, которым они обладают, является естественным результатом их деятельности» (З. Бауман, «Индивидуализированное общество») (128).

Интеллигенция начала широко пользоваться предоставленными возможностями, и советский аппарат – давно уже образованный и подкованный – тесно с ней сотрудничал, сопереживал, собутыльничал. Рядовой день из жизни Ю. Нагибина, описанный в его дневнике: «Выступления, аплодисменты, цветы, и вот уже нас везут на трех машинах в какой-то хитрый домик на другом конце Истринского водохранилища, километрах в шестидесяти от Зеленограда. С нами мэр, два его зама, второй секретарь горкома. А там – уже накрытый роскошный стол, прекрасные пахнущие смолой спальни – домик деревянный, скандинавского образца – и неработающие уборные – отечественная поправка к иноземному великолепию... Под конец тяжелого застолья, неожиданный, хороший, серьезный разговор с мэром-похабником. Оказывается, самая главная проблема города-спутника, создающего что-то сверхсовременное и сверхсекретное, не в отсутствии каких-либо тонких материалов или оборудования, а в... невозможности искоренить проституцию...» (129) Трогательно.

По сути, их и различить уже невозможно – возвращенная при Хрущеве интеллигенция вступила в возраст власти. «Опасность обуржуазивания очень сильна в советской России, – предупреждал еще Н. Бердяев. – На энтузиазм коммунистической молодежи к социалистическому строительству пошла религиозная энергия русского народа. Если эта религиозная энергия иссякнет, то иссякнет и энтузиазм, и появится шкурничество вполне возможное и при коммунизме» (130).

Разумеется, в циничном поведении полагалось обвинять кого угодно, но только не себя. Откройте

мемуары Е. Евтушенко: «Их, циников, напугал мой остаточный нецинизм, их, тайных нигилистов, не думающих ни про какую революцию, испугала именно моя вера, как прямая опасность разоблачить их неверие. Они возненавидели меня за то, что во мне еще держался остаток не отобранной жизнью чистоты, которая давно уже и не пробрезжила в них» (131). Экий стиль! И сравните с реалиями, запечатленными очевидцем: «Вчера был Евтушенко. Читал стихи о Сирано, в которых он проклиная Баскакова, запретившего ему выступать в этой роли.

– Покуда я не буду читать эти стихи – чтобы не повредить своей книжке, но чуть книжка выйдет, я прочту их с эстрады. До выхода книги “я должен воздерживаться от всяких скандалов”» (132). Абсолютный конформизм и фи́га в кармане.

Здесь мы видим зародыш и ныне действующей системы оценок либералов, опирающуюся на схему «что положено Юпитеру, не положено быку». «Юпитеры», естественно, сами свободомыслящие интеллектуалы, а «быки» – они и есть быки. Позиция, вроде «они сволочи», но это «наши сволочи», всегда близка либеральной интеллигенции, которая готова простить своих любимцев даже за откровенно преступные деяния, вроде антиконституционных переворотов или казнокрадства, ежели то творится на благо некой «демократии». Но кто «против нас», тот не прав в принципе и навсегда. Несогласных с либеральной идеей подвергают ostracism и травле. Себе, любимым, позволяется все – от провокаций до уличных беспорядков. Малейшее же применение власти со стороны оппонентов преподносится не иначе, как посягательство на ту же «демократию» или «свободу слова». И самое удивительное, что энтузиазм в первом случае, и возмущение во втором вполне **искренние**! В. Кормер: «Двойное сознание – это такое состояние

разума, для которого принципом стал двойственный
взаимопротиворечивый, сочетающий
взаимоисключающие начала этос, принципом стала
опровергающая самое себя система оценок текущих
событий, истории, социума... (В сегодняшних реалиях
добавьте сюда огромный ежедневный поток
информации, который помогает легко забыть день
вчера и оставить свою совесть «чистой» – К.К.)
Между тем, интеллигентская раздвоенность, хотя и
доставляет неисчислимые страдания и ощутимо
разрушает личность, все же, как правило, оставляет
субъекта в пределах нормы, не считается клинической,
что объясняется, безусловно, прежде всего, тем, что
двойное сознание характеризует целый социальный
слой» (133).

Скеплично ли, цинично ли, но тогдашняя
интеллигенция приспособилась к социалистическому
укладу жизни, хотя и проклинала его, считала себя
пострадавшей и обиженной. Впрочем, считает и сейчас.
У В. Ерофеева как-то спросили:

– А каково в России жить с умом и талантом?

– Можно. Можно тут жить. Если приложить к этому
усилия. То есть поменьше ума высказывать, поменьше
таланта, и тогда ты прекрасно выживешь. Я это за
собой наблюдал, и не только за собой (134). Увы, это
так.

Бюрократическая практика – «не высовываться» –
подиктована самой логикой развития СССР. Упрощенная
форма управления государством (а диктатура Сталина
по сути архаична и примитивна, хотя и направлена на
модернизацию страны), была продиктована
недостаточной подготовкой правящих слоев – низовой
дореволюционной интеллигенции и активистов
пролетарской партии. Первоначально такая форма
управления может быть эффективной, однако по мере
усложнения устройства общества либо надо

существенно повышать уровень подготовки руководящих кадров и давать больше самостоятельности интеллектуалам; но кто хотел напрягаться и «повышать свой уровень» после стольких-то исторических испытаний, репрессий и войны, когда элита только и смогла вздохнуть спокойно? Либо бесконечно усиливать бюрократический аппарат, осуществляющий контроль. Аппарат сей надо кормить, не обделять материальными благами, давать возможность карьерного роста.

Значит – примитивная бюрократизация во всех сферах жизни как гарантия личной безопасности носителей власти.

«Преторианцы (о руководстве СП и их любимцах рассуждает Ю. Нагибин – *К.К.*) обнаглели и охамели до последней степени. Они забрали себе всю бумагу, весь шрифт, всю типографскую краску и весь ледерин, забрали все зарубежные поездки, все санаторные путевки, все автомобили, все похвалы, все ордена, все премии и все должности... Мотаются с блядами по Европе, к перу прикасаются только для того, чтобы подписать чужие рукописи, на работу (руководящую) не являются, переложив все свои обязанности на крепкие плечи наглых помощников и консультантов, устраивают какие-то сокрушительные пикники, называя их выездными пленумами Секретариата СП, где вино льется рекой и режут на шашлыки последних баранов... Обьедаются и опиваются, а после отлеживаются в привилегированных госпиталях и отрезвителях. И снова пиры, юбилеи, тосты, всё новые и новые наспех придуманные должности, награды... Брешь между нами и ними будет расширяться с каждым днем. Отчетливо формируется новый класс...» (135)

Себя успешный и известный писатель в класс не включает – видит «брешь между нами и ними», тем не менее за границу ездит постоянно, ведет вполне

свободный образ жизни, включая приемы, охоту и званые обеды... Вот оно – «двойное сознание» в действии. Приводя в чувство вдруг взбрыкнувшего К. Симонова, когда тот внезапно перестал выкупать продукты из спецраспределителя, куратор культуры в ЦК Д. Поликарпов четко сформулировал позицию власти:

– Что ты хочешь этим сказать, Костя, что ты лучше других? Раз партия решила, что тебе положено, значит, положено... (136)

То, что по ранжиру было положено Ю. Нагибину, он тоже получал; капризничал, фрондерствовал – но получал. Полагалось и другим официально признанным знаменитостям из мира науки, культуры, спорта. Академик-астроном И. Шкловский в шутовском тосте перечисляет, что положено академикам: «Быть членом советской академии очень выгодно, товарищи! Помимо денег, академики получают немалые блага в других формах.

Прежде всего – хорошие условия в больнице АН, куда – увы – время от времени приходится попадать уже далеко немолодым деятелям науки. Дают там нашему брату отдельные палаты – сам лежал 3 раза, а это в наших условиях далеко не пустяк! Важнейшей привилегией академиков и членкоров является то, что их никогда не выгонят на пенсию... Кажется, такая мелочь – академическая столовая в Москве, а как это удобно и, что греха таить, вкусно! Это уже специфика нашей хронически голодающей, одолеваемой разного рода дефицитами, страны». Вспоминая об олимпийской чемпионке, гимнастке О. Корбут, ее супруг, знаменитый солист «Песняров» Л. Борткевич отмечает: «Путешествия по родной земле были для нее экзотикой: она лучше знала Нью-Йорк, Атланту, Сингапур, Лондон, а не Владивосток, Иркутск, Мурманск, Одессу» (137). Ему, кстати, тоже перепало. Он описывает

любопытный случай, когда после исполнения песни «Александрина» на концерте, где присутствовал руководитель Белоруссии П. Машеров, «Песняров» от имени первого секретаря компартии Белоруссии попросили спеть эту действительно изумительную песню на «бис»: «...На следующий день, когда мы пришли в филармонию, прибежал начальник отдела кадров: скорее все бумаги на награждение! Как мы узнали потом, Машеров в конце концерта прослезился и сказал: “Всех, кто был на сцене на “Александрине” наградить званием”» (138).

Щедрости государства доставались далеко не всем, только инкорпорированным в систему. А вот маргинальному В. Ерофееву государство выплачивало лишь пенсию в размере 50 рублей, а потом, с изменением группы инвалидности со второй на третью, – 26 рублей. И только потому, что официально В. Ерофеев писателем не числился (как и В. Высоцкий, которого сей факт очень огорчал), а значит – никак в число избранных не входил. Голодуха же, ясное дело, любви со стороны писателя не прибавляла, и получался замкнутый круг. Партия не желала осмыслить проблему массового ухода в эмиграунд, признать факт того, что вирусом инакомыслия инфицирована не маргинальная часть интеллектуалов, вроде Ерофеева, а вся интеллигенция. Подачки могли лишь **оттянуть время** серьезного разговора, но не избавить от него. И, что самое смешное, это будет беседа с самим собой – как жить дальше в усложняющемся мире, сможет ли элита государства справиться с возникающими проблемами, каковой должна быть цена творческой свободы и популярности.

Впрочем, уже тогда доступ к популярности, а это во многом цель творческого человека, определяли не только партийные органы, но и структуры параллельного мира. Мира подпольного и незаконного.

Накопленные внутри системы финансовые средства стучали в грудь десятков тысяч подпольных миллионеров, как пепел Клааса. Деньги давали влияние, и постепенно выстраивалась система параллельной власти, не менее могучей, чем официальная, но – при этом – более эффективной. Как в удовлетворении граждан цеховым ширпотребом, так и в решении вопросов правосудия «по справедливости».

Как-то машину популярнейшего актера и клоуна Ю. Никулина обокрали – сняли фары, бамперы, колпаки, запаску. Сообщили в ГАИ. На завтра стояла машина на том же месте полностью укомплектованная, к ветровому стеклу была прижата записка: «Простите, товарищ Никулин, мы не знали, что это ваша машина. Желаем творческих успехов. Автомастера» (139). Симптоматично, что информация о владельце стала известна преступникам через ГАИ. Очень скоро скромные «автомастера» всех мастей выйдут из тени и скажут свое веское слово при вынесении смертного приговора стесняющей их жизнь общественной системе.

XII

Умнейший А. Косыгин, премьер-министр Советского Союза, говаривал: «С интеллигенции – как стричь поросенка: визгу много, а шерсти мало». Стараясь снизить децибелы визга, власть, в обмен на декларируемую лояльность, начала делиться благами со значительно большим (по сравнению с двадцатыми-тридцатыми годами) количеством людей. Многих такой порядок вещей устраивал. Они вполне успешно сочетали кухонное фрондерство с публичными славословиями, и практиковали такой образ жизни вовсе не бездарности. Скажем, великая грузинская актриса С. Чиаурели в декабре 1976 года призывала: «... Влить наши чувства в тот огромный океан благоговения, благодарности и любви, которые питают все честные люди нашей планеты к вам, дорогой Леонид Ильич! Мы благодарны вам за нашу мирную жизнь, за вашу отцовскую заботу, благодарны за улыбки наших детей!» (140) Пафос официального выступления вовсе не помешал актрисе сыграть роль в культовом фильме «Покаяние», в массовом общественном сознании подписавшем приговор советской системе.

Репрессии, если таковые и случались, носили абсолютно точечный, профилактический характер. В. Каверин: «В сравнении с тридцатыми годами мы, подслушиваемые и отслеживаемые, потрясенные холодным цинизмом чиновников, сдавленные тупой цензурой, лицемерием, бесстыдством, развратом, мы – сейчас, в семидесятых годах, – в царстве свободы» (141). В июне 1972 года узник сталинских лагерей, писатель В. Шаламов в «Литературной газете» даже опубликовал письмо, в котором отказывался от своего

произведения «Колымские рассказы», утверждая, что все то, о чем он писал, давно перестало быть актуальным. Он тут же оказался затюкан либералами, хотя говорил истинную правду – сталинские и брежневские лагеря сравнивать нельзя. Те, кто похрабрее, не стеснялись власть даже подкалывать. Супруга Льва Николаевича Гумилева: «В той комнате постоянно, в наше отсутствие, проводили “шмоны”, искали что-то в бумагах. Лев, зная их повадки и уже разозлившись, однажды написал записку: “Начальник, когда шмонаешь, книги клади на место, а рукописи не кради. А то буду на тебя капать!” – и положил в ящик письменного стола» (142). Представляете такую переписку в тридцатых годах, когда Л. Гумилев только приобретал свой тюремный опыт? В общем, худо-бедно уживались.

Но по мере нарастания негативных тенденций в экономике, продолжающейся гонки вооружений, растущего разрывами между доходами граждан и возможностью их реализовать, возмущение интеллигенции вновь усилилось. Однако теперь к интеллектуалам уже присоединилась большая часть народа, который тоже, наконец, не смог полноценно удовлетворять «растущие потребности советских граждан»: трудности с продовольственным снабжением – сие не проблемы с цензурой. И это стало решающим фактором, приговором для советского строя. Интеллигенция и основная масса народа впервые с 1917 года оказались по одну сторону баррикад. Примерно с такими же плачевными для государства результатами, ибо идеология либеральной интеллигенции сама по себе противоречит идее сильной государственности.

В обычных условиях в обществе необходимы и государственники, и либералы, и даже анархисты... Вопрос в их разумном соотношении и конструктивном сотрудничестве на благо страны. У Судоплатова

проницательно подмечена разница между государственным И. Курчатовым и независимым П. Капицей. Это как бы две ипостаси советской интеллигенции: «...независимость ученого, вовлеченного в работы громадной государственной важности, всегда остается иллюзией. А для Курчатова в научной работе главными всегда были интересы государства. Он был менее упрям и более зависим от властей, чем Капица и Иоффе. Берия, Первухин и Сталин сразу уловили, что он представляет новое поколение советской научной интеллигенции, менее связанное со старыми традициями русских ученых. Они правильно поняли, что он амбициозен и полон решимости подчинить всю научную работу интересам государства» (143). Вот оно, сталинское поколение интеллигенции в действии!

Но мог ли Курчатов сделать всю работу без школы физиков, воспитанных (а во многом и спасенных) стараниями Капицы или Иоффе? Факт ли, что свободомыслящий Капица мог организовать производственный процесс с той степенью жесткости и эффективности, как Курчатов? И результат сотрудничества этих разных людей плюс собранные воедино возможности государства поразили мир – атомная бомба, гарантировавшая безопасность нашей страны, создана в кратчайшие сроки. Приведу еще одну характеристику настоящего «технаря» на службе у государства: «Когда приехал Патон, Сталин задал ему несколько вопросов и познакомился с ним. Он произвел и на Сталина тоже очень хорошее впечатление, да иначе и быть не могло: Патон был внутренне собранным человеком, организованным, ясно и кратко формулировавшим свои мысли, с волевым лицом и колючими, пронизывающими глазами. Он заставлял считаться с собой и умел влиять на людей, с которыми встречался. Сталину это понравилось» (144).

О противоречии между государственнической и либеральной интеллигенцией и их отношении к народу я еще буду писать, а пока сравните, как отзываются друг о друге сами свободомыслящие интеллигенты. Снова откроем дневник Ю. Нагибина. Только несколько выдержек (в том числе, и об отечественном оружии – для поддержания темы): «Прочел пакостнейшую поэму Евтушенко “Мама и нейтронная бомба”. Советские читатели встретили ее с чувством глубокого удовлетворения. Мама-киоскерша не любит нейтронную бомбу, она любит обычную водородную, родную, свою. Такого бесстыдства не позволял себе прежде даже этот пакостник. И никого не тошнит. Вкус и обоняние отшиблены начисто» (145). «Б. Ахмадулина недобра, коварна, мстительна и совсем не сентиментальна, хотя великолепно умеет играть беззащитную растроганность. Актриса она блестящая, куда выше Женьки (Евтушенко – К.К.), хотя и он лицедей не из последних... Я долго думал, что в Жене есть какая-то доброта при всей его самовлюбленности, позерстве, ломании, тщеславии. Какой там! Он весь пропитан злобой. С какой низкой яростью говорил он о ничтожном, но добродушном Роберте Рождественском. Он и Вознесенского ненавидит, хотя до сих пор носит с ним, как с любимым дитятей; и мне ничего не простил...» (146) Фантастическая ненависть, при том, что это единый круг общения, что противники у этого круга общие, а Б. Ахмадулина даже была женой и цитируемого писателя, и упомянутого поэта.

В растерянности многократно оплеванный Е. Евтушенко ищет логическое, как ему кажется, объяснение тотальной ненависти в его круге общения: «Искусство ссорить интеллигенцию было одним из тончайших искусств КГБ. Увы, люди нашей писательской профессии оказались патологически предрасположенными к готовности думать плохо о

своих коллегам, ибо это создавало ложное ощущение собственного морального и литературного превосходства» (147). Готовность видеть даже в ничемности своих взаимоотношений и дружб происки КГБ тоже один из характерных моментов для психологического портрета либерального интеллигента советской эпохи. Задумаемся, а может быть не во всех бедах интеллигенции виноватая «кровавая гебня»?

Издревле интеллигенция весьма ревностно следит за чистотой своих рядов, то и дело отказывая кому-то в праве называться «интеллигентом». Г. Лебон не без ехидства пишет: «Все люди, придерживающиеся в религии, морали, искусствах, и политике мнений, отличных от наших, тотчас являются в наших глазах людьми недобросовестными или, по меньшей мере, опасными глупцами. Поэтому если мы располагаем какой-нибудь властью, мы считаем своим неременным долгом, энергично преследовать столь зловредных чудовищ» (148). Когда А. Солженицын мановением пера лишил большую часть людей интеллектуального труда в СССР самого права называться интеллигенцией, за исключением тех, кто по политическим причинам был ему угоден (прочие – «образованщина»), он лишь довел до логического предела уже существовавшую до него традицию.

В подтверждение данного тезиса, не могу отказать себе в удовольствии снова привести дневники симпатичнейшего и добрейшего К. Чуковского, в которых он клеймит провинциальную женщину, средней руки чиновницу: «...она не подозревала, что “Мастер и Маргарита” и “Театральный роман” – наша национальная гордость. “Матренин двор”, “В круге первом” – так и не дошли до ее сознания. Она свободно обходится без них. Так как я давно подозревал, что такие люди существуют, я стал внимательно приглядываться к ней и понял, что это результат

специальной обработки при помощи газет, радио, журналов “Неделя” и “Огонек”, которые не только навязывают своим потребителям дурное искусство, но скрывают от них хорошее. Выдвинув на первое место таких оголтело-бездарных и ничтожных людей, как Серафимович, Гладков, Ник. Островский, правительство упорно скрывает от населения стихи Ахматовой, Мандельштама, Гумилева, романы Солженицына» (149). При этом, пишет Чуковский, женщина сама по себе умная и интересная, с громадным жизненным опытом. Что там от нее правительство могло скрыть?!

«Человеку дела» литературные распри малоинтересны – пока плод не становится запретным, а значит – дефицитным и престижным. Диктат моды! Практически все популярные молодые литераторы 1960-х годов мнили себя наследниками вышеперечисленных литераторов «Серебряного века» (плюс Пастернак, минус Солженицын), но секрет ошеломляющего успеха литературы шестидесятников не в культурной преемственности, а в политической моде.

Многие популярные тогда произведения сегодня без содрогания читать невозможно, как и производственную прозу тридцатых годов. Ядовитый Нагибин определяет секрет популярности «новой волны» у публики 1960-х – 1970-х годов следующим образом: «До чего же таинственен секрет успеха! Ясно лишь одно – необходим привкус дешевки. Ведь Ахмадулина покорила аудиторию не стихами, действительно, прекрасными, а ломаньем, лестью, игрой в беззащитность и незаземленность. И Женька, и Андрей, и покойный Саша, и Высоцкий. Любопытно, что несравненно превосходящий и Сашу, и Высоцкого Булат не достиг уровня их популярности, а нежная, странная Новелла Матвеева прошла и вовсе стороной» (150). «Привкус дешевки», значит. Возможно. Сегодня это

называется коммерческим расчетом. Но почему манерничанье (а они читали свои стихотворения, ужасно подвывая) поэтов «Серебряного века» не дешевка? Почему Ахматова искренняя, а Николай Островский или, скажем, Маяковский не искренен? Почему же Чуковский и Нагибин отказывают им в этом праве?!

Это выбор не просто симпатий, но и определение стиля жизни, вроде, что сегодня одеть: революционно-красное или таинственно-темное. Но зачем навязывать свою моду, свой стиль всем окружающим. Особенностью описываемой публики является нетерпимость к другому мнению и утверждения своего как единственного верного, едва ли не проверенного всем опытом человечества, которое маячит у них за спиной. Они по-своему любят и уважают сограждан (почти каждый подтвердит, если его об этом спросить публично). Они просто считают народ – дитём, которое, если дать волю, обязательно сломает возвышенный Храм Добра и Процветания, мудро выстраиваемый Элитой. Кто с тем не согласен, достоин презрения, а от презрения до согласия на ликвидацию назойливой помехи – дистанция коротка. И интеллигенция ее успешно проходила в конце двадцатых годов, когда, при ее молчаливом согласии, презренный народ швырнули в жернова насильственной модернизации.

Здесь бы я хотел процитировать отрывки из рукописи харьковского журналиста, литературного редактора^[116] и талантливой публициста Г. Сысоева, увы, очень рано ушедшего от нас. Его, не успевшая при жизни автора увидеть свет, книга «Фашизофрения» посвящена как раз теме воинствующего либерализма: «Фашизм – это либерализм, загнанный в угол. Каждый либерал верит в свои святыне принципы: свободу частной инициативы и частной собственности,

благотворность конкуренции, и в то, что “побеждает сильнейший”. Разумеется, при этом либерал также верит и в нерушимость законов, и в то, что побеждать сильнейший должен исключительно в их рамках, этично, а по возможности еще и эстетично. Побеждать красиво. Ну, а если красиво не получается – идеалам приходится слегка потесниться... И на этой почве либерал всегда сходится с мещанином. Именно поэтому такие рафинированные, во многом не от мира сего либералы, как Андрей Сахаров, Гавриил Попов и Анатолий Собчак стали общепризнанными вождями мещанской, кухонной революции 1991 года, которая разрушила СССР» (151).

Но вот запреты рухнули. Свобода нас встретила радостно у входа. Все «советское» – плохое; даешь демократию! «Прорабы перестройки», практически все поголовно упомянутые в этой книге либеральные интеллигенты, – выходцы из 1960-х годов. Они требовали отмены цензуры – и цензура отменена, хотели свободу слова – и получили ее. И испытали шок. Л. Смирнова: «Я всматриваюсь в лица, которые показывают с экрана, – лица людей, сидящих в тюрьмах. Какая деградация! Какие-то бессмысленные, тупые глаза. Он убил столько-то человек, а мы теперь его снимаем. Зачем? Почему мы их так много снимаем? Потому что, как мне объяснили, дурные вести лучше раскупаются? Какой цинизм! Когда-то бы репетком, он принес много зла, но теперь, когда все дозволено, тоже страшно. Какой-то контроль – моральный, нравственный – должен быть. Иначе нация в целом деградирует» (152).

Почему получилось именно так? Какие хорошие люди шли во власть, но где же обещанные розы? Развал критериев моральной оценки начался с почти узаконенного двоемыслия советских интеллигентов и позже обернулся кампанией под названием

«гласность», ставшей эталоном манипуляционных технологий. С. Кара-Мурза: «Вспомним, какой удар по сознанию нанес случай, ставший вехой антисоветской программы: в детской больнице в Элисте двадцать малышей были заражены СПИДом. Как был подан этот бьющий по чувствам случай? Вот вам советская медицина, не стерилизуют шприцы... Потом выясняется, что никто никого не заразил, а в эту больницу направляли из разных мест детей – носителей СПИДа. Но этого пресса уже не печатала, да это было и не важно. Все поверили в миф о дикости советского здравоохранения» (154).

В результате подмены понятий «демократическая интеллигенция» воспринимает как истину не реальность, в которой живет большинство их сограждан, а **свое** видение счастливого общества. Критерием «качества жизни» у нее стало уже даже и не потребление, а **вид товаров** на полках магазинов. В советское время какая-нибудь А. Пугачева вздыхала: «На Западе звезды моего уровня получают...» И интеллигенты сочувственно вздыхали, не осознавая, что передел средств в пользу А. Пугачевой ударит, в первую очередь, по ним. При социализме и системе перераспределения гонорары Аллы Борисовны шли, кроме всего прочего, и в пользу рядовой интеллигенции (учителя, врачи и т. д.). Теперь А.Б. получает как западные звезды, но рядовому отечественному интеллигенту от этого только холодно.

Ах да, еще «свобода слова»! Спустя два дня после разгона Российского парламента в 1993 году знаковые фигуры «демократической» интеллигенции стали подписантами обращения к президенту Ельцину, требуя самых крутых мер для расправы с «мятежниками». Это так называемое «письмо сорока двух»: «Хватит говорить... Пора научиться действовать. Эти тупые негодяи уважают только силу. Так не пора ли ее

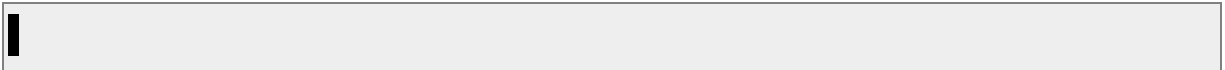
продемонстрировать нашей юной, но уже, как мы вновь с радостным удивлением убедились, достаточно окрепшей демократии?» и т. д. (155). Из упомянутых в этой книге письмо подписали писатели Виктор Астафьев, Григорий Бакланов, Василь Быков, Даниил Гранин, Юрий Нагибин, поэты Белла Ахмадулина, Андрей Дементьев, Александр Иванов, Юрий Левитанский, Булат Окуджава, Роберт Рождественский, академик Дмитрий Лихачёв, публицисты Андрей Нуйкин и Лев Разгон, булгаковед Мариэтта Чудакова.

Философ и диссидент А. Зиновьев отмечал, что это обращение интеллигентов-демократов «не имело прецедентов подлости, жестокости и цинизму», но на самом деле всего лишь закономерное слияние либерализма и фашизма, то есть защита капитализма крайними, репрессивными методами, о чем писал мой коллега Г. Сысоев. И критерии морали и уровня общего поведения задаются, исходя не из интересов основной массы населения, а именно состоятельной буржуазной элиты и в интересах управления этой элиты, ради получения от нее «средним классом» очередных материальных благ. От кого же идеологически защищают капитализм либеральные интеллигенты? Да от собственного разочарованного народа! Круг замкнулся.

Итог абсолютно закономерен – интеллигенция, как обычно, льнет к кормушке, забывая своё призвание и честь. Лев Николаевич Гумилев, предвидя жалкую и подлую роль интеллигенции в новое смутное время, много раз в последних интервью повторял малопонятные тогда слова: «Я не интеллигент!» (156). Но у многих ли хватит мужества отмежеваться от современной выродившейся интеллигенции? Да и остались ли она вообще?

Глава 6

Лица, лики и личины



Великий Наполеон Бонапарт рекомендовал как можно чаще оперировать понятиями, ничего не выражающими и все объясняющими, например, «судьба». Очень часто слова, имеющие самый неопределенный смысл, оказывают наибольшее влияние на толпу. Таковы термины «демократия», «равенство», «свобода» и т. д., в которых заключается мощная пропагандистская сила. Они образуют синтез всех бессознательных разнообразных стремлений и надежд на их реализацию.

Многие революционеры (а те, кто пришли к власти в результате Февральской, а затем и Октябрьской революций именно революционеры) смерть приняли из рук революции (или контрреволюции – как считали многие из них). Но оставили своим наследникам революционное сознание, с трудом уместившееся в правовое и бюрократическое поле упорядоченного государства. Революция, то есть коренной и безжалостный слом сложившейся системы, была опоэтизирована и воспринималась поколениями советских граждан не как трагедия, а как вершина **человеческого духа**. Целое поколение людей считало, что братоубийственная резня, спровоцированная радикалами, и есть праздник освобождения.

Мрачный Н. Бердяев пытается объяснить устойчивость режима большевиков консерватизмом общества: «В стране самодержавной монархии, не привыкшей к правам и свободам гражданина, легче осуществить диктатуру пролетариата, чем в западных демократиях. Это бесспорно верно. Вековыми инстинктами покорности нужно воспользоваться для пролетарского государства» (1). Но всяческие

диктатуры на пространстве Европы осуществились и без большевиков – немецкая, итальянская и прочие.

Любая народная революция начинается с пропаганды и умения донести свои идеи до масс. Кстати говоря, отсутствие единой идеологии и понятных народу лозунгов называют одной из существеннейших причин поражения Белого движения в Гражданской войне. Значит, кроме покорности, которую Бердяев по ходу книги упорно приписывает русскому народу (а ведь народов в СССР насчитывалось множество), эффективность правления большевиков продиктована несомненным умением украсить свою диктатуру лозунгами, отвечающими сокровенным желаниям **простых** людей.

Большевики были поддержаны народом во время Гражданской войны, поскольку смогли донести до основной и наиболее консервативной массы народа – крестьянства – свои лозунги, в первую очередь, касавшиеся раздачи земли. Но и среди радикальной интеллигенции, страшно далекой от народа, поддержка большевиков оказалась весьма значительной. Внутренняя природа этих двух опор режима различна. Левые интеллектуалы ждали от режима полной революционизации культурной жизни. От В. Маяковского до А. Дункан деятели культуры воспринимали великий экономический эксперимент как перестройку всей человеческой цивилизации.

С самого начала авантюрное искусство революцией оказалось востребовано и «креатива» строителям нового общества было не занимать. Трудно поверить, но до наступления эры развитого сталинизма, «советское» обозначало в мире самое передовое, ультрамодное, радикальное искусство. Недаром к нему обращались в своих исканиях шестидесятники. Радикализм художественных исканий поддерживало и молодое ищущее свое место на культурной карте мира

государство. Пропагандистские изыски, вроде раскрашивания Красной площади в красный цвет или награждения лучших конников-красноармейцев красными кожаными галифе, просто были бы невозможны без благосклонного к этим экспериментам отношения начальства.

Классикой жанра стало проведение в 1920 году в еще голодном Петрограде фантастического действа – «Мистерии освобожденного труда», в котором принимали участие 2 тысячи солдат Красной армии, студенты театральных училищ, а 30 тысяч присутствовавших зрителей хором пели «Интернационал». И в будущем молодая власть не отказывала себе в удовольствии шокировать «цивилизованный» мир новыми формами массовых мероприятий – комсомольскими карнавалами, живыми газетами и всем тем, что вовлекало улицу в общее творчество, вплоть до спортивных состязаний. 20 июля 1924 года в том же Петрограде сильнейшие шахматисты города П. Романовский и И. Рабинович разыграли партию в «живые» шахматы. Белые – команда «Красный Флот», черные – «Красная Армия». Моряки в белой форме, красноармейцы в защитной одежде. «Коней» играли настоящие всадники; ладьи – целые пушечные расчеты, по три человека при маленьких пушечках; король – знаменосец со стягом. А в 1927 году в цирковом представлении «Взятие Перекопа» участвовало триста красноармейцев, изображавших красных, белых, французов, участвовала и артиллерия, стрелявшая холостыми.

1 мая и 7 ноября стали днями массовых карнавальных действ: по городским улицам Москвы, Ленинграда, Харькова, других городов в общем течении демонстрантов двигались конструктивистски оформленные грузовики с веселящимся народом, механизированные макеты и модели достижений

(фабрика, изба-читальня, сберкасса), корабли, маяки (символ значения СССР для других народов) и т. д. В сценариях карнавалов учитывались разнообразные мелочи, которые оговаривались в прописанных инструкциях: «Реализуя участие в демонстрации, нужно иметь в виду не только оформление карнавальной машины, работников театра, а также подбор словесного и музыкального текстов для карнавала. Надо добиться, чтобы все колонны театров вносили максимум оживления, красочности, бодрости в ряды демонстрантов, являя образцы затейничества, коллективной декламации и массовых песен» (2). Революционные песни, легко переходили в нехитрые частушки, написанные на злобу дня: «Чемберлены поспешили/ Ультиматум нам прислать/ «Ульти» к делу мы пришили, /Матом будем отвечать». Живописное описание подобного комсомольского карнавала дают Ильф и Петров: *«Понесли чучело английского министра Чемберлена, которого рабочий с анатомической мускулатурой бил картонным молотом по цилиндру. Проехали на автомобиле три комсомольца во фраках и белых перчатках. Они сконфуженно поглядывали на толпу.*

- Васька! - кричали с тротуара. - Буржуй! Отдай подтяжки»^[117].

Ну и, разумеется, неперенные атрибуты карнавалов – гробы для мирового капитала, самых разных фасонов и цветов. В эпизоде, где Балаганов пугается черного гроба с надписью «Смерть бюрократизму», известный исследователь творчества соавторов Ю. Щеглов усматривает даже мотивы готического жанра и рыцарского романа, которые остроумно скрещены с похоронной образностью агитпропа: *«Остап открыл дверь и увидел черный гроб. Гроб покоился посреди комнаты»* и так далее... После

таинственного полумрака и испуга следует обыденное объяснение: *«Это был прекрасный агитационный гроб, который по большим праздникам геркулесовцы вытаскивали на улицу и с песнями носили по всему городу. Обычно гроб поддерживали плечами Скумбриевич, Бомзе, Берлага и сам Полыхаев, который был человеком демократической складки и не стыдился показываться рядом с подчиненными на различных шествиях и политкарнавалах».*

Уличная карнавальность и политическая заостренность врывалась в молодое советское искусство. Постановки Мейерхольда, кинематограф Эйзенштейна, диспуты Маяковского – явления, ставшие символами бурных 1920-х годов^[118]. Примечательны в этом отношении театральные постановки Н. Фореггера, чьи актеры были профессиональными акробатами, танцорами, эксцентриками и физкультурниками. Театральный режиссер А. Алексеев свидетельствует: «В его спектаклях гимнастика и танцы на весьма рискованные сюжеты были перемешаны с умными и часто остроумными памфлетами. Так что весь спектакль превращался в какой-то конгломерат цирка и варьете с привкусом эротики и политики... В «Женитьбе» по Фореггеру на фоне яркого плакатного футуризма Подколесин и Степан в клоунских костюмах вылетали навстречу друг другу, висая на трапециях вниз головами, и в таких позах, летая по сцене, читали свой монолог. Вот первые его строки:

Подколесин: Висишь, висишь, вдруг станет скверно... Манит к себе прекрасный пол... Все в этом мире эфемерно... Степан! Куда ты?

Степан: В комсомол!

...Кончалось действие «производственными» танцами: ни с того, ни с сего выходили почти обнаженные парни и девушки и имитировали машины,

что было у Фореггера неперменным элементом всех его спектаклей и что артисты делали действительно виртуозно» (4).

Сравним вышеописанное с каноническим текстом «12 стульев»:

«Подколесин трагически спросил:

- *Что же ты молчишь, как Лига наций?*

- *Очевидно, я Чемберлена испужался,* - ответил Степан, почесывая шкуру...

Чувствовалось, что Степан оттеснит Подколесина и станет главным персонажем современной пьесы. Кочкарев с Феклой спели куплеты про Чемберлена и про алименты, которые британский министр взымает с Германии».

Вспомнили Фореггера, упомянем также И. Терентьева, режиссера из Ленинграда, активно работавшего в 1920-е годы. Особенно прославился его «Ревизор». К тексту Ильфа и Петрова он еще ближе. Постановка осуществлена в декорациях-конструкциях и вызвала восторг публики и разноречивые отклики прессы. Очевидцы рассказывали, что на сцене был устроен нужник и все герои, появляясь, первым делом бежали в уборную.

«Нет, это я сказал э-э-э!» - кричал оттуда Бобчинский. Кстати, Бобчинский и Добчинский были женские роли. А во время обеда Хлестакова рвало, и он недоумевал: «Что это?» - «Лабордан-с», - отвечали ему (5). Так что Ильфу и Петрову рисовать свой театр «Колумб» приходилось не только с постановок Мейерхольда, как обычно судит читатель. Таков был общий новаторский настрой советского искусства.

Сумасбродство творцов провоцировало и рядовых сограждан внести свою лепту в создание эстетики нового общества. Многие цепляли на лацканы синий значок, на котором красовались две выпуклые буквы «ДР», что означало «долой рукопожатие». Покупали и

носили такие значки люди, которые считали, что здороваться и прощаться надо словесно, а жать друг другу руку – это негигиенично, это пережиток темного прошлого. В. Маяковский как обычно в теме:

*Долой рукопожатия!
Без рукопожатий
встречайте друг друга
и провожайте.*

Другие публично обнажались под лозунгом «Долой стыд». Прочие ставили бессмысленные рекорды. Например, в 1925 году пешком из Ялты в Москву пришел некий журналист Донской. Он потратил на свое путешествие 70 дней и три пары ботинок. В «Золотом теленке» его опыт увековечен безымянным пешеходом из Владивостока, который, по воле соавторов, был задавлен автомобилем при входе в столицу. Удивительные времена и люди. «Гвозди бы делать из этих людей», – писал о них поэт Н. Тихонов (а не Маяковский, как обычно считают).

Советская пропаганда рождалась в бурное и революционное время и была передовой для своей эпохи. Но уже тогда начали проявлять ее родовые черты, которые в конечном итоге привели к ее упадку и проигрышу в глобальном противостоянии с капиталистическим миром: излишняя персонификация (вождизм) и злоупотребление идеологическими штампами.

Переименование улиц, промышленных предприятий, ресторанов, кинотеатров и целых городов в послереволюционные годы было для новой власти одним из доступных способов символического преобразования действительности и тотального овладения нею. Помните первое появление Бендера в

Старгороде: «Он прошел Советскую улицу, вышел на Красноармейскую (бывшая Большая Пушкинская), пересек Кооперативную и снова очутился на Советской. Но это была уже не та Советская, которую он прошел: в городе было две Советских улицы. Немало подивившись этому обстоятельству, молодой человек очутился на улице Ленских событий (бывшей Денисовской)». Всем памятен пример переименования Петрограда в Ленинград, но ведь имеется и масса других случаев, когда вожди, ничтоже сумняшеся, в свою честь переименовывали населенные пункты. В 1924 году Елисаветград переименовывается в Зиновьевск (Кировоград, ныне снова переименованный в Кропивницкий), на карте страны появились Троцк (Гатчина), Сталино (Донецк) плюс Сталинград (Волгоград), Молотов (Пермь), Ворошиловград (Луганск) и множество прочего.

Ну, и прилагательное «красный». «Красный путиловец», «Красная нить», «Красная стрела»... Несть им числа. Сергей Миронович Киров, согласно историческому анекдоту, был родом из деревни Пердягино (официально – г. Уржум Вятской губернии). На дружеских застольях Сталин смеялся: «Давайте переименуем село в Красное Пердягино!» (6).

К началу 1930-х, кроме простых переименований появилось и что-то материальное – в период нехватки всего самого необходимого власти наладили массовое производство портретов руководителей партии и правительства. Портретами украшали не только кабинеты или жилища, но и витрины магазинов. Отдельные умельцы создавали и штучный, особо ценный товар ручной работы. Так, в журнале «Тридцать дней» сообщалось о семнадцатилетнем крестьянском самоучке, который изготавливал портреты М. Калинина и других вождей: «На фанеру наклеиваются столярным клеем различные семена, подобранные по цвету. Затем

все это заливается лаком». Описанные в «Золотом теленке» картины из волос, как и из семян, были реальностью. Некий парикмахер Г. Борухов вышил волосом портрет Ленина, а вышитая человеческим волосом голова лошади даже была приобретена одним из харьковских музеев (7). Так что эскапады Остапа Бендера по поводу овсовых и седеющих картин имели под собой серьезные реальные основания.

Но за исключением некоторых, совсем уж неожиданных находок, продиктованных модой на новизну и оригинальность, советская пропаганда в период культурной революции имела строго прикладное значение.

Жизнь советских людей обильно уснащалась лозунгами, плакатами, транспарантами, диаграммами; их можно было видеть в цехах, учреждениях, служебных кабинетах, клубах, яслях, загсах, поликлиниках, магазинах, столовых. Лозунгами украшали стены домов, трамвайные вагоны, аэропланы, новостройки. Редкая фотография тех лет обходится без трех-четырех транспарантов, виднеющихся где-то на ближнем или дальнем плане. Например: «Бытие определяет сознание», «Рукопожатия отменяются», «Будь в каждой мелочи подобен Ленину», «Воздушный Красный флот – наш незыблемый оплот», «Долой капиталистическое рабство», «Старшие дошколята – все в октябрю», «Церковь – агентура империализма» и даже «Шушуканье по углам – преступление, которое надо выжигать каленым железом» или «Кто в наши дни складывает на груди руки – предатель рабочего дела. Кто слишком много машет ими – подозрителен».

Это не блажь, а одно из наиболее эффективных орудий культурной революции. Основной расчет был на то, что короткие фразы усваиваются людьми легче статей, которые малограмотные жители страны и прочитать-то не могли. Пропаганда становилась языком обращения власти к народу. Сначала вынужденным, а потом – привычным. Н. Крупская (книга «Ликвидация неграмотности и малограмотности. Школы взрослых. Самообразование») писала: «Малограмотная группа – одна из самых трудных. Обычно малограмотные группы распадаются всего быстрее... Кто следил за тем, как слушает малоподготовленный крестьянин или рабочий речи или лекции, замечал, вероятно, такой факт: в речи оратора слушатель улавливает одну-две мысли,

особенно понравившиеся или не понравившиеся ему, – по ним он судит обо всей речи, не вникая в логическое развитие мыслей» (8). Собственно, на этом и построено упрощение современных рекламных слоганов или предвыборных призывов. Малограмотный человек 1920-х практически ничем не отличается от его не шибко образованного потомка эпохи «постмиллениума». Уловить два-три «особо понравившихся» предложения (лозунга, слогана) и по ним судить о смысле высказывания (программы, политической позиции) – зачастую именно на таком уровне судачат и судят у нас о политике и политиках.

Культурная революция привела к тому, что революционные лозунги стали активно перемежаться с воспитательными указаниями, пропаганда стала перемещаться на бытовой уровень: «Убей муху!», «Береги золотое детство!», «Уважай в женщине работницу!», «Сей махорку – это выгодно», «Сифилитик, не употребляй алкоголя», «Курильщик – вор кислорода и друг туберкулеза», «Сыпь хлеб в советские амбары – покупай нужные товары», «Ешь медленно, тщательно пережевывая» и т. д. и т. п. Борьба за повышение культуры быта воспринималась как одна из граней революции и модернизации страны. Ну, и собственно реклама – куда же без нее. Хрестоматийными стали слоганы «Нигде кроме, как в Моссельпроме» (В. Маяковский) или «Кто куда, а я в сберкассу» (В. Лебедев-Кумач).

Количество настенных текстов ошеломяло зарубежных гостей молодой Советской республики. Писатель Т. Драйзер: «Картины и инструкции, висящие повсюду касаются всех мыслимых тем, как-то: приготовление еды, стирка, физические упражнения, уборка дома, уход за лошадью, подготовка дома к зиме...» и т. д. Французский путешественник Ле Февр: «Улица говорит с вами, она думает и решает за вас, она

относится к прохожему как к школьнику, уча его истинам о новой России» (9). Зачем? Чтобы «приобщить его (малообразованного человека – К.К.) к многогранной кипучей общественности, дать ему возможность быть активным членом общества, понимающим других и умеющим быть понятым другими». Это опять из Надежды Константиновны.

Главными видами пропаганды до сих пор остаются «командная», направленная на конкретную реакцию («Покупай... Делай... Голосуй...») и «условная» (т. е. создание условий) пропаганда, направленная на формирование общественного мнения, взглядов и представлений в долгосрочной перспективе на прочной и широкой основе. На этих принципах работала и машина советского агитпропа. Советская Власть вкупе со своей интеллектуальной элитой решала и текущие задачи воспитания, просвещения народа на элементарном бытовом уровне, и стратегические – возвращение человека новой породы.

Одновременно с лозунговостью окружающего мира создавался и особый советский «новояз», то есть предпринимались сознательные усилия, чтобы отделить молодежь от предыдущей культуры созданием особого стиля общения и жаргона, свойственного только людям нового поколения. Особо популярными становятся сокращения слов: пролеткульт, ширмассы, культуровень, пролетсуд, совдурок, ответработник, селькор, дортоварищ (дорогой товарищ), оргнеувязка, колдоговор, жалобкнига, примкамера, ликбез и т. д. Появились слова «ширпотреб» – товары широкого потребления, «руковод» (синоним руководителя), «деловод», «стекловица» – передовая статья в газете «Известия» (редактор Стеклов), «фабзайцы» – учащиеся школ фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), «комса» – комсомольский актив.

Понятия официальной идеологии таким образом проникали в живой язык. Согласно исследованиям, в 1920-е годы специфические советские идиомы, например, «зажимание критики», «злоупотребление властными полномочиями», «нарушение советской демократии», «нарушение социалистической законности» и т. п. почти не встречаются в официальных обращениях рядовых граждан к власти. Но уже в 1930-е годы «новояз» густо пропитывает речевой поток жителей СССР, в том числе и колхозников (10). По восторженному замечанию М. Кольцова, в Советском Союзе каждый «ребенок знает, что такое режим экономии, Чемберлен, ячейка, октябрины, пинг-понг, учком, Шанхай, викторина, Автодор, кульшефство, баскетбол» (11). Рождался молодежный сленг, который отвратительно скрипел для любого человека, воспитанного в традициях старой русской литературы, но четко выделял носителей нового сознания, проводил невидимую черту между ними и архаичными миром классических понятий. Прибавьте к этому спортивный облик молодого человека: майки, шорты (спортивные трусы), короткие юбки и короткая стрижка у девушек – и вы получите портрет идеального комсомольца в весенне-летний период.

Тем же, кто думал по старинке и русский язык изучал в гимназиях, кто дышал литературной классикой, приходилось несладко. Желчность и нервный смех оставались их уделом. Высмеивая моду, М. Булгаков ехидно предлагал окружающим свои варианты сокращений, скажем, «Пампуш на Твербуле» по-булгаковски означало памятник Пушкину на Тверском бульваре. Известный лингвист Г. Винокур писал в 1929 году: «Невыносимы тысячекратно повторяемые “лицом к деревне”, “даешь Культкомиссию”, “крепи красный флот”, “режим экономии”. Все почти материалы нашей фразеологии –

это изношенные клише, стертые пятаки... За этим словесным обнищанием, за этим катастрофическим падением нашей лингвистической валюты кроется громадная социальная опасность» (12). К. Паустовский: «Со времени работы в РОСТА я начал упорно обороняться от всего, что могло засорить тот внутренний мир, который я носил в себе и пытался передать другим. Больше всего я боялся заразиться стертым и беспомощным языком. Он безжалостно и быстро распространялся в те годы... Ко многим словам, таким, как “поприветствовать”, “боевитый” (их можно привести много), я чувствовал такую же ненависть, как к хулиганам. И не только потому, что они идут вразрез с характером русского языка, но еще и потому, что в них выражалось невежество и отсутствие национальных качеств» (13). К. Чуковский: «Нынче именно потому-то в упадке литература, что нет никакого спроса на самобытность, изобретательность, словесную прелесть, яркость. Ценят только штампы, требуют только штампов, для каждого явления жизни даны готовые формулы» (14). Многие из штампов пережили десятилетия. Именно тогда Крым начали называть «Всесоюзной здравницей», а Север – «Всесоюзной лесопилкой».

В том же ряду стихийного сопротивления «новоязу» стоят романы Ильфа и Петрова, ставшие основой нонконформистской речи последующих десятилетий. Продолжателями традиции И. Ильфа и Е. Петрова стали В. Аксенов, В. Войнович, Ф. Искандер, С. Довлатов. В диалоги о Бендере универсально отражены господство пропагандистских штампов, характерных для всей советской идеологии: *«Журналист Ухудшанский ушел в купе, развернул последний номер своего профоргана и отдался чтению собственной статьи под названием “Улучшить работу лавочных комиссий” с подзаголовком “Комиссии перестраиваются недостаточно».*

Непреходящий успех гениального пособия для журналиста Ухудшанского является примером того, что высмеянные газетные штампы 1920-х жили в советской публицистике до самого ее бесславного конца.

Любой читатель Ильфа и Петрова мог сравнить идеологические штампы брежневской эпохи с текстом «Золотого теленка» и убедиться, что убожество ярлыков никуда не делось, особенно в сфере все тех же неизменных прилагательных «злобный», «империалистический», «капиталистический», «исторический», «последний», «индустриальный», «стальной», «железный»... Ну, в общем, всех желающих, отсылаю к первоисточнику.

Ради точного использования шаблона для профессионалов даже выпускались специальные словари, заботливо разъясняющие, что такое «черное золото» (уголь или нефть), «белое золото» (хлопок), «мягкое золото» (меха) и т. д. Почетное место на полочке занимает такой словарь и у меня.

Но словари дело темное, а работу редактор требует уже сейчас, и халтурщики от идеологии – как и все прочие халтурщики – не слишком напрягались: «Всех буржуев бьем примерно/ До победного конца/ Все под знамя Коминтерна./ Ланца-дрица-гоп-ца-ца!» (15) Фантастический текст! И ведь кто-то за него получал деньги! Потому неудивительно, что в поисках легкого заработка в сферу пропаганды массово устремились проходимцы... К. Паустовский в дневнике 1928 года пишет: «...23/IV. Из жизни РОСТА (Российское телеграфное агентство – К.К.) можно написать страшный рассказ, от которого похолодеет сердце. Он будет вызывать омерзенье, тошноту. Под внешностью культурных и хороших людей – бездна грязи, собачья погоня за женщинами, лицемерие, подхалимство, интриги, спесь и чванство захватчиков, измышительство

и потрясающая глупость, возведенная в идеал, в систему. Трясина...» (16).

Высмеивают всё растущую ложь пропаганды Ильф и Петров: *«...Несмотря на эту разницу в характерах, возрасте, привычках и воспитании, впечатления у обоих журналистов отливались в одни и те же затертые, подержанные, вывалянные в пыли фразы. Карандаши их зачиркали, и в книжках появилась новая запись: “В день праздника улицы Старгорода стали как будто шире...”...По окончании его речи оба корреспондента, прислушиваясь к жиденьким хлопкам, быстро записали: “Шумные аплодисменты, переходящие в овацию...” Потом подумали над тем, что “переходящие в овацию..” будет, пожалуй, слишком сильно. Москвич решился и овацию вычеркнул. Маховик вздохнул и оставил».* Советская пропаганда все более выхолащивалась карьеристами и бездарями, что, впрочем, свойственно любому теплему местечку во всех странах мира.

Сочно описанный соавторами поэт Ляпис-Трубецкой, этакий многостаночник от поэзии, публикующий в журналах стишата про Гаврилу^[119], имел вполне реальных прототипов. От В. Маяковского до О. Колычева (Сиркиса), который тоже обильно создавал пламенные стихи о революции и социалистическом строительстве. Можно вспомнить и булгаковского поэта Рюхина: *«Взвейтесь да развейтесь»* (намек на популярного тогда поэта Жарова?).

Или стихотворные опусы Д. Бедного, например, сочиненная им надпись, красовавшаяся в те годы на памятнике Александру Третьему: *«Мой сын и мой отец при жизни казнены./ А я пожал удел посмертного бесславья:/ Торчу здесь пугалом чугунным для страны,/ Навеки сбросившей ярмо самодержавья».* Или рифмованные «народные» поговорки: *«От ленинской науки крепнут разум и руки», «За коммунистами*

пойдешь – дорогу в жизни найдешь». Прямоком из этих агиток рождена комсомольская поэзия 1930-х годов:

*Пойдет вода Кубань-реки
Куда велят большевики^[120].*

Буквально за 20 лет советский человек оказался так вымуштрован смесью цензуры и пропаганды, что даже когда его пришли «освободить» нацистские оккупанты, он не смог избавиться от усвоенного «новояза». На митинге в оккупированном Трубческе Брянской области на привычном месте висел почти привычный транспарант: «Пусть здравствует на долгие годы Адольф Гитлер и лучший сын русского народа генерал-лейтенант Власов!» (17). Как говорится, «нужное вписать».

По мере укрепления Советской власти пропаганда стала не призванием отдельных сумасшедших одиночек, а делом государственным. Новые формы пропаганды, такие, как радио, были просто невозможны без государственного финансирования. В Москве в двадцатые годы работали две радиостанции: им. Коминтерна и им. Попова. Их передачи москвичи слушали по детекторным приемникам. Программа – оперы, концерты, лекции о международном и внутреннем положении, «Радиопионер», уроки английского языка и телеграфной азбуки. Надо, наверное, напомнить поколению интернета, что радио тогда производило очень сильное впечатление на только осваивавшее высокотехнологичное средство информации общество. Замечательно описывает это ощущение чуда М. Пришвин: «В комсомольский сад я иду не «за комсомолом» (намек на строчку «задрав штаны, бежать за комсомолом» – *К.К.*), а выпить там бутылку пива и расспросить о (вольтных) громкоговорителях. Не знаю, что меня толкнуло уже в пальто и шляпе подойти к окошку и тронуть пальцем выключатель антенный...

– Алло, алло! Через десять минут даю зал, идет опера “Кармен”.

– Ба-тюш-ки! – воскликнул я и, как подкошенный, уронив шляпу, опустился на стул» (18).

А техническое чудо – всегда находка для пропаганды. Начиная с 1925 года, громкоговорители устанавливаются во всех публичных местах, они становятся одним из признаков большого и цивилизованного города. Слушающая уличный громкоговоритель толпа – одна из типичных советских

сценок 1920-х годов: «Установлено радио на перекрестках многих бульваров. Мешают трамваи и автомобили, но толпы людей все же стоят перед черной трубой. Одним интересны лекции, другим музыка... До 11 с лишним часов, да самого конца передачи, толпа не редееет» (А. Киров, «Огонек», «Бульвары столицы», 12.08.1928 г.). В Харькове: «Извозчики объезжают громкоговорительные улицы – лошади шарахаются. Иногда извозчики отказываются даже ездить на наиболее радиийные улицы. Либо просят набавить “за беспокойство”» (С. Гехт, «Огонек», 21.11.1926). Радиопропаганда вездесуща, со слушателями никто особенно не церемонится. Ильф и Петров: *«Из пивных, ресторанчиков и кино “Великий немой” неслась струнная музыка, у трамвайной остановки горячился громкоговоритель»*; Булгаков: *«Все окна были открыты, и всюду слышалась в окнах радиомузыка»*.

Техническую новинку подхватил популярный «Свободный театр» (главная звезда которого – Л. Утесов). В сотрудничестве с «обществом друзей радио» он устраивал у себя радиоконцерты.

Актеры, начиная представление на сцене, уходили за кулисы, в импровизированную студию – и уже там продолжали выступать. А публика слушала стоявший на сцене радиоприемник, доносивший актерские голоса. Качество звука пока оставляло желало лучшего, мимо чего не прошли и наши авторы. Вспомним, как «иерихонская труба» терроризирует собесовских старушек:

– *Евокрррахххх видусо... ценное изобретение. Дорожный мастер Мурманской железной дороги товарищ Сокуцкий, – Самара, Орел, Клеопатра, Устинья, Царицын, Клементий, Ифигения, Йорк, – Со-куц-кий...*

Труба с хрипом втянула в себя воздух и насморчным голосом возобновила передачу:

- ...изобрел световую сигнализацию на снегоочистителях. Изобретение одобрено Доризулом, - Дарья, Онега, Раймонд...

Старушки серыми утицами поплыли в свои комнаты. Труба, подпрыгивая от собственной мощи, продолжала бушевать в пустой комнате:

- ...А теперь прослушайте новгородские частушки...

Далеко-далеко, в самом центре земли, кто-то тронул балалаечные струны, и черноземный Баттистини запел:

*- На стене клопы сидели и на солнце
щурились,
Фининспектора узрели - сразу
окочурились...»*

Ситуация с качеством звука не изменилась в лучшую сторону и в тридцатые годы. Воланд назидательно говорит Маргарите: «Я, откровенно говоря, не люблю последних новостей по радио. Сообщают о них всегда какие-то девушки, невнятно произносящие названия мест. Кроме того, каждая третья из них немного косноязычна, как будто нарочно таких подбирают».

Как уже сказано, с начала 1920-х годов пропаганда стала делом государственным, а значит - не могла остаться без внимания восходящей звезды советского политикума - И. Сталина. Похороны В. Ленина явились одним из важнейших актов сакрализации образа Владимира Ильича, уже и до того глубоко запечатлевшегося в народном сознании в качестве символа революции и связанных с ней побед. Влияние

растасканного на цитаты Ленина – хоть живого, хоть мертвого – ощущалось в языковой стилистике послереволюционного времени: афористичной и лозунговой. Если присмотреться, даже в речи великого комбинатора немало характерных ленинских оборотов. Фразы, общие у Бендера и Ленина: «Лед тронулся», «Блюдечко с голубой каемочкой», «Сидеть между двух стульев», «Промедление смерти подобно». Если дело дошло до того, что ленинские афоризмы (пусть и опосредованно) влились в живой разговорный язык народа, то каково же должно быть влияние живого человека, который стал его **прямым наследником**?!

Сталинская концепция мифоположения заключалась в стремлении насаждать культ Ленина и одновременно создавать свой собственный образ как наиболее верного ученика Ильича, защитника ленинизма от искажений и нападок. Соответственно, задача пропаганды формулировалась как создание образа «Сталина – верного продолжателя дела Ленина». В значительной степени секрет успеха Сталина состоит в том, что эта концепция – всеми правдами и неправдами – в общественное сознание таки была внедрена. Все остальные ближайшие соратники Ильича оказались скомпрометированы и ликвидированы, либо ушли из жизни своей смертью до установления режима безграничной власти Иосифа Виссарионовича. Исключение составляли, пожалуй, лишь М. Калинин и В. Молотов – при жизни В. Ленина вожди второго порядка.

Восхождение Сталина и принятие партией его идеологических установок косвенно отразилось и в «бендериане». Так, если в первом издании «12 стульев», в главе «Слесарь, попугай и гадалка» авторы, описывая сцену гадания по руке, характеризовали ладонь вдовы Грицацуевой: *«Линия жизни простиралась так далеко, что конец ее заехал в пульс, и*

если линия говорила правду, вдова должна была бы дожить до мировой революции». В каноническом тексте заменено: «**До страшного суда**». В первом варианте соавторы пародировали идеи Троцкого, однако политическая актуальность сатиры, по мере падения влияния Троцкого, оказалась не востребованной.

Резкому усилению пропагандистского давления на массы способствовал переход к политике индустриализации. Это немедленно сказалось на массовой культуре и СМИ. Широкий спектр очерков из современной жизни, зарубежных корреспонденций, научно-популярных статей, исторических и литературных курьезов, путевых заметок и пр. быстро сменяется единообразием производственной тематики. Дело доходило до откровенной пошлости, когда в витринах кондитерской можно было увидеть портреты вождей из мармелада, а галантерейного магазина – портрет Ф. Энгельса в окружении дамских комбинаций. Да и позже прославились наборы мыла «30 лет Октября», «Триумф Октября» или зубной порошок «Юбилей Октября».

По мере упорядочения и официализации пропаганды, она приобретала все более казенный оттенок. А значит – и более лживый, сделанной «для галочки». Интересную ситуацию описывает В. Бережков, который учился в коммунистической немецкой школе города Киева. В столичном Харькове созывается общеукраинский пионерский слет, участвовать в котором пригласили и его школу. «Геноссе Пауль, наш пионервожатый, решил выдать свою группу за германских пионеров. Впрочем, возможно, он действовал по подсказке киевского комитета комсомола... Пауль строго наказал нам во время поездки делать вид, будто мы не понимаем по-русски, и объясняться только на немецком. О том, что в Харьков, тогдашнюю столицу Украины, направляется

делегация германских пионеров, заранее оповестили по всему маршруту. Мы ехали поездом, занимая отдельный вагон. На станциях по пути следования нас встречали местные пионеры и комсомольцы с оркестрами, знаменами, цветами... Сперва я чувствовал себя неловко, разыгрывая эту комедию. Но постепенно вошел во вкус и даже на многолюдном митинге в Харькове произнес пламенную антинацистскую речь, сорвав бурные аплодисменты» (19). Далее автор с грустью замечает, что чуть позже очковтирателя Пауля незаслуженно репрессировали.

Прошло несколько лет и овации полностью заполонили отечественную прессу – и провинциальную, и столичную. Казалось, еще недавно народ угадывал в вождях живых людей^[121]. Они делали революцию, об их разногласиях и дискуссиях писали газеты, к ним можно было подойти на улице. Дружелюбно-фамильярное отношение к вождям было к середине тридцатых годов полностью вытравлено. Шаблоны, штампы, стандарты стали в повседневном общении столь очевидны, что мимо них не мог пройти даже такой признанный друг СССР, как Л. Фейхтвангер: «Собрания, политические речи, дискуссии, вечера в клубах – все это похоже, как две капли воды, друг на друга, а политическая терминология во всем обширном государстве сшита на одну мерку, – отмечает писатель. – Этот стандартизованный оптимизм наносит серьезный ущерб литературе и театру, то есть факторам, которые больше всего могли бы способствовать формированию индивидуальностей» (21). Но, собственно, именно индивидуализм является основным противником коллективизма – основы социалистического строя. Так что тут все закономерно – что хотели, то и получили.

Другое дело, что каждого человека нужно было наполнить общим чувством в субъективном восприятии

вождя. Он должен самостоятельно верить в общую идею. В этом, пожалуй, главный феномен того, что принято сегодня называть культом личности Сталина. Культа, который не мог родиться и расцвести без поддержки и профессиональных знаний творческой интеллигенции. Один из ярых гонителей М. Булгакова знаменитый драматург В. Вишневский витийствовал: «Культу сверхчеловека, который развивается в Германии, культу “сына неба”, который развивается в Японии, мы противопоставим образ подлинного пролетарского вождя – простого, спокойного вождя-человека» (22).

Вождь действительно демонстрировал олимпийское спокойствие, и когда при личной беседе Фейхтвангер спросил его о «преувеличенных и безвкусных» проявлениях любви к нему, он дословно ответил: «Я с вами целиком согласен. Неприятно, когда преувеличивают до гиперболических размеров. В экстаз приходят люди из-за пустяков. Из сотен приветствий я отвечаю только на 1-2, не разрешаю большинство их печатать, совсем не разрешаю печатать слишком восторженные приветствия, как только узнаю о них. В девяти десятых этих приветствий – действительно полная безвкусица... Все это приписывают мне, – это, конечно, неверно, что может сделать один человек? Во мне они видят собирательное понятие и разводят вокруг меня костер восторгов телячьих» (23). Понятное дело, что публично продемонстрированная скромность лидера вызывает еще большее восхищение.

«Скромность» Иосифа Виссарионовича продиктована во многом и политической необходимостью. Так, в декабре 1934 года пятидесятипятилетие Сталина не праздновалось по причине недавней смерти Кирова, шестидесятилетие пришлось на время неудачной советско-финской

войны^[122], шестидесятипятилетие на годы Великой Отечественной войны. Логично, что грандиозные празднества смогли быть организованы только в 1949 году, во время 70-летия Сталина.

Но для общения с народом власти хватало и других юбилеев, например, такой странный, как празднование столетия смерти А. Пушкина. К нему начали готовиться загодя и на самом высоком уровне. Давно ли революционеры сбрасывали Пушкина с корабля современности, давно ли все дворяне числились врагами пролетариата? И вот состав Всесоюзного пушкинского комитета возглавил М. Горький, а членами комитета стали руководители партии и государства, крупнейшие писатели и пушкинисты-литературоведы, имя Пушкина присвоено одному из главных художественных музеев страны. Поэт А. Сурков взывал в «Новом мире»: «Пушкин, Пушкин, будь же славен/ с каждым днем ты интересней./ Да здравствует Сталин! / Да здравствуют песни!».

Сигнал был понят всеми вдумчивыми наблюдателями – от Булгакова до Троцкого. Не услышать было невозможно: торжества носили всесоюзный размах. Страна решительно порывала с нигилистическим отношением к своему прошлому. Помещик Пушкин вошел в подсознание каждого советского гражданина, являясь даже в кошмарах Никанору Босому и жестоко ломая жизнь пассажирки электрички Москва – Петушки, так любившей повторять «Пушкин-Евтюшкин». Проведение Пушкинских торжеств открывало долгую череду восстановления с помощью с таких же юбилеев сознательно замалчивавшихся послереволюционной пропагандой имен писателей, поэтов, художников, композиторов, ученых дворянской России. Пушкинский юбилей как бы легализовал целый пласт имперской истории.

В эти же годы начал определяться сталинский стиль в архитектуре и изобразительном искусстве – пафосный, излучающий торжество новой жизни. Это из того ряда легендарная статуя «Девушка с веслом». Жаль, позабыты оказались ее младшие родственники – «Девушка-пловец», «Пионер с луком», «Пионер с ружьем», «Мальчик с обручем» родом из московского парка культуры и отдыха им. Горького^[123].

А в помощь искусству спешили накопившиеся за период первых пятилеток цифры, которые вообще стали главным аргументом власти на идеологическом фронте. Освоенный прием – «сколько построено, выплавлено, произведено» – служил еще нескольким поколениям отечественных пропагандистов, правда, со все уменьшающейся действенностью. Но тогда это было внове, а достижения имелись вполне реальные: в довоенный период СССР стал второй экономикой мира после США. Из более осязаемого: после сталинской модернизации только в Москве в 1938 году насчитывалось: больниц – 132, детсадов – 1000, детских санаториев – 11, около 3 тысяч библиотек, 58 музеев, 250 клубов. По городу в 1940 году ездило 679 троллейбусов, 1257 автобусов, более 4000 легковых такси (24). Это то, что можно было увидеть воочию, поскольку лагеря с заключенными находились далеко. Имелись ли основания у старой интеллигенции, которой вернули историю, у крестьянства, палачей которого швырнули в топку репрессий, у рабочих, оснащенных новейшей техникой, если не любить, то, во всяком случае, ценить своего вождя? Безусловно – да.

IV

Наступили годы репрессий, когда перед агитпропом каждый день вставали новые, казалось бы, неразрешимые задачи – вымарывать из истории «ленинскую гвардию», убедительно объяснить козни врагов или обосновывать внезапный пакт с нацистской Германией.

Особых проблем с этим не возникало, вопросы возникали чисто производственные: как увязать стремительно меняющиеся реалии с пропагандистскими установками, которые все же подразумевают устойчивость стереотипов. Показательна история одной фотографии: зимой 1936 года на кремлевском приеме бурятская девочка Геля неожиданно подбежала к кремлевскому вождю и обняла его. Он взял девочку на руки, что тут же запечатлели фотографы и хроникеры. Соответствующая фотография обошла все газеты. Однако отца девочки, наркома земледелия Бурятии в 1937 году вместе с женой объявили японскими шпионами и троцкистами и расстреляли. Но как быть с фотографией? Пропагандистки она очень важна. Тогда решили девочку на ней именовать Мамлакат. Так звали юную таджикскую сборщицу хлопка, награжденную орденом Ленина, которая, в результате, и осталась в сознании масс.

Потребовалась грандиозная репрессивная кампания, яростная война и бесчисленные жертвы, чтобы режим остыл, понял, наконец, ограниченность человеческих ресурсов страны и умерил «критику» с уровня расстрельного приговора в вербальную плоскость. И тогда выяснилось, что доводы маузера, переведенные в обычную разговорную форму, быстро

принимают форму идиотизма. То, что раньше можно было просто приказать, и оно слепо выполнялось, ежели его растолковывать человеческим языком, часто выглядит невразумительно и глупо.

Очень скоро дело доходит до абсурда, который очевиден всем. Послевоенные кампании против интеллигенции – яркий пример, когда режим пытается облечь в словесную форму свое недовольство, но косноязычный партийный суржик, касаясь высоких материй, показывает свое очевидную беспомощность. Ну, что это за уровень аргументации: «"Золушка" – псевдоисторический фильм. Кто в ней действующие лица? Неизвестно! Никто не поймет этой сказки. Народного в ней ничего нет!» (12 сентября 1946 года, «Ленинградская правда»). Кого может убедить заскорузлый язык партийных идеологов, критикующих Ахматову, Зощенко, Шостаковича, Эйзенштейна? А вот вызвать раздражение у образованной аудитории как раз может.

Нужно быть очень циничным человеком, чтобы воспринимать сей примитивный бред как воплощение собственно коммунистической идеологии. Но внемлющие и глаголющие находились в изобилии – как же иначе. Собственно, у образованных классов имелось лишь два варианта поведения, либо повышать уровень, оттачивать качество официальной идеологии, либо пригибаться к установленной планке. Разумеется, большинство не напрягалось. Вот в 1949 году внук ярославского предводителя дворянства и помещика С. Михалков сочинил песню – никогда не поверите – об испытании советской атомной бомбы:

*«Мы недавно проводили
Испытанье нашей силе.
Мы довольны от души,
Достиженья хороши.*

*Все на славу удалось,
Там, где нужно, взорвалось.
Мы довольны результатом,
Недурён советский атом».*

А что – шедевр. Попробуйте сочинить что-нибудь подобное, находясь в трезвом уме, тем более, песню.

Со времен Маяковского интеллигенция тянулась по подобную поденную работу: во-первых, кусок хлеба, во-вторых, близость к власти. «Я хочу писать для умных секретарей обкомов», – отчеканил поэт Б. Слуцкий (25). Не обладая ни духовным превосходством, ни правом рождения, ни правом частой собственности, ни историческими заслугами – единственным средством к самосохранению – новая духовная элита признает только саму власть. Власть представляется ей порой обожествленной, абсолютизированной категорией, попадание во власть – венцом карьеры. Писатели-депутаты, писатели-орденоносцы и даже писатели-министры, например, А. Корнейчук, которого в конце войны назначили заместителем наркома иностранных дел по проблемам славянских стран [\[124\]](#).

Близость к власти, конечно, диктует и совместные с ней колебания. О какой планомерной работе (тем более, работе такой тонкой, как пропагандистская, рассчитанной на долговременное проникновение в структуру народного сознания) мы можем говорить, если стратегические установки меняются в зависимости от настроения начальника. Характерный случай рассказывает И. Эренбург. Власти решаются выпустить журнал «Иностранная литература», позволявший использовать интерес советских читателей к зарубежному миру в удобном для себя ракурсе плюс подкормить избранных друзей Советского Союза: «Редактором назначили А.Б. Чаковского... Александр

Борисович говорил, что он собирается в одном из первых номеров напечатать новую книгу Хемингуэя, получившую осенью 1954 года Нобелевскую премию. Я ходил на собрания редколлегии, и вот вскоре редактор, мрачный и таинственный, сказал нам, что номер придется перестроить – Хемингуэй не пойдет. Когда совещание кончилось, он объяснил мне, почему мы не сможем напечатать “Старика и море”:

“Молотов сказал, что это – глупая книга...” Вскоре после этого я встретил одного мидовца, который рассказал мне, что произошло на самом деле. Будучи в Женеве, Молотов за утранным завтраком сказал членам советской делегации, что хорошо будет, если кто-нибудь на досуге прочитает новый роман Хемингуэя – о нем много говорят иностранцы. На следующий день один молодой мидовец, расторопный, но, видимо, не очень-то разбирающийся в литературе, сказал Молотову, что успел прочитать “Старик и море”. “Там рыбак поймал хорошую рыбу, а акулы ее съели”. – “А дальше что?” – “Дальше ничего, конец”. Вячеслав Михайлович сказал: “Но ведь это глупо!...” Вот резоны, которые чуть было не заставили редактора отказаться от опубликования повести Хемингуэя» (26).

Соображения, далекие от пользы дела, часто имели решающее значение для принятия тех или иных решений, что заставляло лояльных власти интеллигентов принимать акробатические позы и вызывало гомерических смех у свободомыслящих. Вторые, естественно, выглядели и более солидно, и принципиально, завоевывали популярность, а первые утрачивали моральный авторитет и, невзирая на талант, становились объектами насмешек. Скажем, замечательный поэт Р. Рождественский^[125], поскольку с властью не воевал, а искал компромисс, застыл в

сознании своего поколения под обидным прозвищем «Робот Тождественский».

Власть не жалела лояльных к ней интеллигентов и разбазарила их духовный капитал. В. Аксенов в своем последнем автобиографическом произведении «Таинственная страсть. Роман о шестидесятниках», в значительной степени посвященного Рождественскому, так описывает чувства Роберта Станиславовича, только что раскритикованного Н. Хрущевым: «Роберт повел плечами. Протест поднялся в нем и будто бы прокричал “Как ты смеешь, гад, так хамить, так издеваться? Смотри, аукнется тебе хулиганский нахрап!” – Увы, протест увял. Он опустил голову и пошел на свое место – молчать в тряпочку» (27).

«Молчащие в тряпочку» лоялисты презирались, а «третируемые властью» влияли на интеллектуальную жизнь страны наращивали и смогли применить его в решающий момент. В рецензии обычного, рядового читателя из Интернета на «Таинственную страсть», которую мы только что процитировали, проникновенно говорится: «Этой книгой Аксенов открыл завесу тайн шестидесятников, погрузил читателя в их мир, в их ум, в их красоту. Ты словно к экспонатам музейным приблизился, к титанам советской поэзии, к тем, кто **не боялся крушить и ломать советский мир** (выделено мной – К.К.)» (28).

Неуемное «желание крушить» новых революционеров вызывало тревогу у многих, но бездари от официальной идеологии так нелепо формулировали свои страхи, что даже те, кто не сочувствовал самозванным «пророкам», не мог открыто стать на сторону их хулителей. А сами «гонимые» с наслаждением повторяют дикие пункты официальных обвинений. Е. Евтушенко: «Как высказывался о нашем поколении первый секретарь ЦК ВЛКСМ С. Павлов: “Во всяком половодье есть пена. Она присутствует и в

молодой литературе. Особенно в творчестве Евтушенко, Вознесенского, Окуджавы... Как метко сказал Л. Соболев, “на переднем крае такие устанавливают вместо пулеметного гнезда ресторанный столик для кокетливой беседы за стаканом коктейля”» (29). Лучшей рекламы придумать нельзя – и авторы талантливые, и вместо осточертевшего «пулеметного гнезда» модный и вкусный коктейль. Каким же сиволапым нужно быть, чтобы позариться на пулеметный дот?

Недомыслие власти сделало шестидесятников народными кумирами, привело их на вершины популярности, а потому нет ничего удивительного в том, что один из них, вроде бы многократно изруганный Н. Хрущевым поэт А. Вознесенский, признается: «В душе моей остался светлый, даже святочный образ Никиты Сергеевича...» (30) Без неуклюжей критики Хрущева и халтурной работы его идеологического аппарата популярность пророков-шестидесятников оставалась бы под большим вопросом.

«Обратите внимание на пропаганду сталинских времен, – пишет Александр Зиновьев. – Сейчас она кажется верхом идиотизма. Теперь все удивляются, как могла такая пропаганда кого-то в чем-то убедить. При этом забывают о том (а может быть, не знают об этом), что состояние убежденности и дело убеждения суть отношения между людьми. Хорошо убеждать того, кто хочет быть убежденным в том, в чем его убеждают» (31). В 1920-е годы социалистическая идеология для большинства ее адептов была подлинным убеждением. Позже, уже в сталинский период, она постепенно превращалась в некий род слепой веры. Наконец, в брежневский период идеология окончательно сводится к некоему ритуалу и обряду.

Разговоры о позднесоветской идеологии в категориях «верят – не верят» бессмысленны. Главный идеолог СССР М. Суслов не требовал, чтобы советский народ верил, он требовал, чтобы он практиковал обряд: *«Пусть светел твой сегодняшний день. Пусть твое завтра будет еще светлее... Мое завтра светло. Да. Наше завтра светлее, чем наше вчера и наше сегодня. Но кто поручится, что наше послезавтра не будет хуже нашего позавчера? “Вот-вот! Ты хорошо это, Веничка, сказал. Наше завтра и так далее”».*

В. Ерофеев построил свою поэму на разнообразном обыгрывании изжитых к тому времени советских штампов, которые упрямо продолжали эксплуатироваться государственной машиной, превращаясь в бесконечное самопародирование. Штампы, издеваясь над властью, использовали даже диссиденты, высмеивая метафизику советской пропаганды. Сатирик В. Войнович в своем письме в

газету «Известия» издевательски писал: «Позвольте через вашу газету выразить мое глубокое отвращение ко всем учреждениям и трудовым коллективам, а также отдельным товарищам, включая передовиков производства, художников слова, мастеров сцены, героев социалистического труда, академиков, лауреатов и депутатов, которые уже приняли или еще примут участие в травле лучшего человека нашей страны – Андрея Дмитриевича Сахарова» (32).

Западный обозреватель М. Геллер: «Читая советскую печать, удивляешься странному психологическому феномену: грубости и бездарности пропаганды, рассчитанной на людей, которые органически не способны мыслить. По своему примитивизму пропаганда остается на уровне тридцатых годов, в то время как мир – в том числе и советские граждане – живет в конце 60-х годов» (33). Провал идеологической работы среди интеллигенции стал вполне очевиден, где-то начиная с событий в Чехословакии (1968 г.), а невероятно помпезно и бездарно проведенный юбилей Ленина (1970 г.) показал ржавость и допотопность пропагандистской машины уже всем поголовно: «Величальные штампы, механически перенесенные со Сталина на Ленина, неумолчный радиокрик вызвали оскормину даже у верных ленинцев. Появились анекдоты про Ленина. Они налетели, как мошара. Их рассказывали и в вузах, и на заводах. Такого не было никогда. Авторитет основателя советского государства заколебался» (34).

Отход креативных молодых интеллектуалов от служения системе, взявшей курс на компромисс с «народным сталинизмом», не мог не сказаться на дальнейшем падении качественного уровня пропагандистской работы. Не считать же за таковую благоглупости какого-нибудь Дмитра Павлычко: «У Тараса Бульбы было два сына. Мы, молодые и старшие

украинские литераторы, принадлежим к народу Тараса Бульбы по линии Остапа, а не Андрея... Мы заявляем, что стояли и будем стоять на том, что справедливость, ради которой идеи идеологическая война, это поезд, который не опаздывает, ибо ведут его коммунисты» (35). О таких персонажах даже писать не интересно. Страна уверенно вступила в эпоху застоя, с его двоемыслием, двойными стандартами и двойной бухгалтерией.

Как мы уже описывали, где-то с конца 1960-х годов основная масса интеллигенции закономерно ушла в дебри накопительства и борьбы за материальные блага. Советское мещанство, то есть неодолимое желание укрыться в своем сконструированном мирке потребления, в конечном итоге, приводит к общепризнанному приоритету частных интересов над общественными. В условиях СССР – это еще и отрицательная реакция на оглушительную пропаганду коллективизма (тоже своего рода «эмиграунд»), и мода на все иностранное, «не совковое». И плодородная почва для рассуждений о том, что благосостояние одного – залог благополучия общества в целом и т. п. и т. д.

К тому времени чистые идеалисты (вроде исповедующих незапятнанный образ Ленина «младокомсомольцев») остались в абсолютном меньшинстве, а правое крыло движения – диссиденты – были нейтрализованы и рассеяны. Духовное сопротивление растворялась в кухонных беседах либо ушло в область культуры – спектакли, фильмы, книги могли иметь двойной, тройной подтекст, антисоветские намеки творцов с восторгом отгадывались современниками (даже если их там и не было) [\[126\]](#).

Экономические неурядицы конца 1970-х обострили недовольство этой публики до предела – и в самом

деле, цензоры рот затыкают, в магазинах очереди за колбасой, отсутствие смены руководящего состава («брежневцы» при власти уже 15 лет, а «сталинцы», вроде М. Суслова, и того дольше) не дает перспектив карьерного роста... Любой бы взвыл! Но вой глушился: «западные голоса» – радиопомехами, недовольство творческих людей – внутренней и внешней цензурой.

В письме А. Солженицына IV съезду советских писателей (16 мая 1967 года) писатель особо выделил проблему цензуры: «Не предусмотренная конституцией и потому незаконная, нигде публично не называемая, цензура под затуманенным именем “Главлита” тяготеет над нашей художественной литературой и осуществляет произвол литературно неграмотных людей над писателями» (36). Но почему же только над писателями, а над журналистами, редакторами, мемуаристами, в конце концов? Классикой стала история, как маршал Советского Союза Г. Жуков для того, чтобы вышел в свет том его мемуаров «Воспоминание и размышления», ради компромисса был вынужден вставить выдуманный эпизод, как он якобы ездил советоваться по вопросам тактики и стратегии к генералу Л. Брежневу. «Кто умный, тот поймет», – вроде бы сказал Георгий Константинович по поводу сей очевидной несуразности. А. Микоян: «Когда в середине 1960-х годов я начал писать воспоминания, публикуя их в журналах, я с цензурой агитпропа столкнулся сам... То упрекают, что подменяешь историю партии, то обвиняют, что пишешь только о том, что видел сам, и опускаешь важные события в истории партии; о таком человеке нужно писать так, а о другом – вот этак, а об этом вообще нельзя писать... Я говорю: “Это же ненормально. Кто вас к этому приучил?” А он отвечает: “Вы, Анастас Иванович”. “Как это – я?” – с недоумением спрашиваю я. “Вы, Центральный Комитет требует от нас, чтобы мы работали именно так”». Микоян сначала

обижается, а потом: «...потом подумал, что с легкой руки сначала Сталина и Жданова, потом Хрущева и Суслова, а затем Брежнева и Суслова получается, что он прав. Это же не отдельный эпизод, это целая политика аппарата ЦК на протяжении более 40 лет. И просвета не видно» (37).

Крокодиловы слезы мемуариста, который столько лет подписывал правительственные решения! Ну, это как нацисты «не знали» о концлагерях. Другое дело, что тогда это был вопрос карьеры Анастаса Ивановича, а карьера – это святое: *«...помилуйте меня, философ! Неужели вы, при вашем уме, допускаете мысль, что из-за человека, совершившего преступление против кесаря, погубит свою карьеру прокуратор Иудеи?»* Пилат Микоян тоже «прозрел», узнал, что в стране существует цензура, завел дружбу с таганским вольнодумцем режиссером Ю. Любимовым: «Он рассказал мне о гонениях практически на каждую его постановку. Я посмотрел несколько спектаклей и так и не понял, чего партийные чиновники от него хотят: хорошие актеры, прекрасный режиссер, работают с энтузиазмом, поднимают важные социальные темы... Мне было обидно, что эти люди имеют основание видеть в партийных идеологах своих врагов. Но они были правы – под влиянием Суслова чиновники из ЦК и МК партии стали просто держимордами» (38). *«Да, да, – стонал и всхлипывал во сне Пилат. Разумеется, погубит. Утром бы еще не погубил, а теперь, ночью, взвесив все, согласен погубить. Он пойдет на все, чтобы спасти от казни решительно ни в чем не виноватого безумного мечтателя и врача!»* Ложь это всё, знал Анастас Иванович подноготную власти досконально, много десятков лет в ней провел! Знал, что без тотальной цензуры Советская власть не существует, и никогда не существовала: вопрос перераспределения ресурсов –

самый главный вопрос социализма – нуждается не в дискуссиях, а в приказах.

С А. Солженицыным и его прямолинейным видением мира – дескать, отмените цензуру и освобожденное от «неграмотных людей» творчество расцветет буйным цветом – соглашались даже далеко не все единомышленники. «Я горячо ему сочувствовал – замечателен его героизм, талантливость его видна в каждом слове, но – ведь государство не всегда имеет шансы просуществовать, если его писатели станут говорить народу правду», – видите, даже К. Чуковский стыдливо признает, что у государства могут быть свои интересы: «Если бы Николаю I вдруг предъявили требование, чтобы он разрешил к печати “Письмо Белинского к Гоголю”, Николай I в интересах целостности государства не сделал бы этого». Логично. И далее очень важная мысль: «Нельзя забывать и о том, что *свобода слова* нужна очень ограниченному кругу людей, а большинство, – даже из интеллигентов – врачи, геологи, офицеры, летчики, архитекторы, плотники, каменщики, шоферы делают свое дело и без нее. Вот до какой ерунды я дописался, а все потому, что болезнь моя повредила мои бедные мозги», – стыдливо дописывает Корней Иванович, пугаясь собственной смелости (40). Или: «Цензура, которую столько проклинали, является на самом деле признаком относительной свободы печати – она запрещает печатать антигосударственные вещи... Сталинский редакторский аппарат действовал гораздо более целесообразно: он выбрасывал все, что не отвечало прямому государственному заказу», – это Н. Мандельштам говорит о смысле цензуры (41).

Всесильная цензура остригала не то что отставных Жукова или Микояна, люди-ножницы осмеливались касаться священной персоны Генерального секретаря. 16 января 1979 года журнал «Тайм», опубликовал

интервью Брежнева. Из его семи ответов в СССР опубликовали всего пять. Не пропущенные цензурой: «Если хоть одна ядерная бомба взорвется в какой-нибудь части мира, не поздоровится ни журналистам, ни мне, никому на земле». События в Камбодже и отношения с Китаем? Брежнев: «Право, я устал говорить о Китае»^[127] (42).

Цензура действовала в интересах государства – в понимании тогдашних чиновников. И сегодня, согласитесь, некоторые вещи со страниц и телевизионных экранов лучше бы все же убрать: поток насилия, порнографии, пропаганды нацизма... А значит, разумный контроль не всегда плох?

Но в описываемый период тотальное засилье цензуры диктовало только удручающую единообразие и казенность отечественных СМИ. В те годы все средства массовой информации любое явление оценивали совершенно с одинаковых позиций: либо восхваляли, либо так же дружно поносили. Генерал КГБ Ф. Бобков: «Такое положение, несомненно, лило воду на мельницу идеологического противника, ибо все прекрасно понимали, что тогда у нас была видимость правды, а наше шумно пропагандируемое единодушие – кажущееся. Вот почему многие с сомнением относились к официальной информации, а то и просто не верили ей» (43). Как реакция общества на навязываемое единомыслие родился феномен самиздата, который тоже сыграл свою роль в падении режима.

Прообразом самиздата стали те самые стенгазеты, которые советский режим на заре своей юности внедрял, как способ инициативы на местах в идеологической борьбе. Из стенгазеты, сделанной кустарным способом, самодеятельная пресса трансформировалась в журналы и бюллетени, литературные альманахи и сборники. Возможности

неподцензурного распространения информации быстро оказалось востребованы диссидентами. В. Новодворская: «В это время мы выпустили сборник политических анекдотов, подобранный по главам (анекдоты о строе, о партии, о вождях, о продовольственном вопросе, о национальных отношениях). Он был куда лучше современных сборников, имел прекрасное предисловие и оценивался не в рублях, а в годах... Ах, какого отличного Галича мы выпускали! В твердом переплете! Какие сборнички “Реквиема” Ахматовой вместе с другими ее стихами из той же оперы и постановлением о журналах “Звезда” и “Ленинград”! Да с предисловием, где были “оргвыводы”! А сборнички на 7–8 антисоветских песен Высоцкого! А Набоков, особенно “Истребление тиранов”!» (44) В. Каверин: «Как быть с литературой машинописной, ходящей по рукам и увеличивающейся с каждым годом, несмотря на запретные темы... Она увеличивается и будет увеличиваться, потому что страна вступила в новый период – в период вглядывания в себя, в то, что случилось с ней в прежние годы. Отражение этого народного «вглядывания в себя» – вот что породило так называемый “самиздат”, подвергающийся преследованиям и запретам» (45).

Эти игры в размножение литературных произведений по-всякому заканчивались – и сроки давали, и человеческие трагедии случались. Например, когда КГБ конфисковало машинопись «Архипелага ГУЛАГа», отчаявшаяся машинистка повесилась. А. Солженицын утверждал, что только после этого он решил передать рукопись на Запад. А В. Ерофеев вспоминал случай, когда его знакомый журналист из комсомольской газеты остался вечером в редакции и тайком перепечатывал стихи Н. Гумилева. Случайно зашел редактор и застал его, но ничего не сказал и молча вышел. Однако бедняга журналист так

испугался, что пришел домой и повесился над кухонным столом. Осталась жена с двумя детьми.

Но не даром утверждает русская пословица, «что написано пером, того не вырубишь топором»^[128]. Помощь стучащим на пишущей машинке пришла извне: о том, чтобы отечественные литераторы могли печататься в обход советской системы цензуры позаботились на Западе. Более того, в 1970-х появились писатели, остающиеся на родине, но свободно пишущие и отправляющие свои рукописи за границу. Достаточно здесь назвать В. Войновича, Г. Владимова, А. Зиновьева. Пример этих писателей, успех их книг на Западе разлагающе действовал на тех литераторов в Советском Союзе, которые осознавали свой талант и были искренне убеждены, что их писания, изданные без цензурных ограничений, могли бы иметь успех.

Возьмем, к примеру, «Метрополь» (ударение на среднем слоге), самый скандальный альманах конца 1970-х годов. Та еще история! Для молодых напомню. Группа авторов желает напечатать сборник своих произведений, им запрещают, причем, запрещает не КГБ: «Многие до сих пор убеждены, что 5-е управление КГБ запрещало выход каких-то произведений литературы и искусства. Это ни на чем не обоснованная ложь. За весь период моей работы был лишь один случай, когда мы воспротивились выходу на экраны фильма “Агония”, ибо видели его антиреволюционную направленность» (Ф. Бобков) (47). То есть, вроде даже КГБ был за выход «Метрополя», но то ли московский горком партии, то ли московская ячейка СП запрещают выход альманаха. И начинается грандиозный скандал.

Праздник должен был состояться в кафе «Ритм» возле Миусской площади. Организаторы пригласили человек триста художественной и нехудожественной интеллигенции. Дальше началась детективная история:

квартал оцепили, кафе закрыли и опечатали по причине обнаружения тараканов, на дверь повесили табличку «Санитарный день». Отцу одного из авторов альманаха, писателя Виктора Ерофеева, предлагают, чтобы сын написал отречение от составительства «Метрополя», либо конец карьере папы-дипломата: «Секретарь ЦК Зимянин не пожелал говорить с моим отцом наедине, так как воспринимал его уже как противника. Присутствовал Альберт Беляев, в ту пору “центральной” гонитель культуры, и заведующий отделом культуры ЦК Шауро, с которым отец был знаком со студенческих лет. Когда Зимянин показал на отца и спросил: “Вы знакомы?” – Шауро протянул руку и представился: “Шауро”. Так проходил водораздел» (48). На выходе глупейшей истории, спровоцированной органами цензуры, мы получаем десяток первоклассных писателей-диссидентов. Среди них А. Вознесенский, А. Битов, Б. Ахмадулина, В. Высоцкий и другие знаковые фигуры тогдашнего литературного бомонда, которые оказываются в публичной оппозиции.

Ржавая система перестает справляться со строптивцами. Она еще пытается сопротивляться, предпринимать санкции, например, исключать из Союза писателей. И что же – последовали ответные санкции! «Нас исключили в наше отсутствие... Наши товарищи собрались и написали письмо протеста. Его подписали Аксенов, Битов, Искандер, Лиснянская, Липкин. В письме говорилось: если нас не восстановят, все они выйдут из Союза. Такое же письмо послала и Ахмадулина. Об этом не замедлил сообщить “Голос Америки”. Страсти накалились. 12 августа 1979 года “Нью-Йорк таймс” опубликовала телеграмму американских писателей в Союз писателей СССР. К. Воннегут, У. Стайрон, Дж. Апдайк (по приглашению Аксенова участвовавший в альманахе), А. Миллер, Э. Олби выступили в нашу защиту. Они требовали

восстановить нас в Союзе писателей, в противном случае отказывались печататься в СССР. В СП, кажется, сильно трусили» (49).

Вениамин Каверин, «Эпилог»: «Я дописываю последние страницы этой книги, читая “Метрополь”, самовольный бесцензурный альманах, вышедший в Советском Союзе в 10 экземплярах и мгновенно подхваченный зарубежными издательствами... Это – книга, каждая страница которой дышит сопротивлением, свободой...». Значит, правы цензоры. И далее: «Значение “Метрополя” не в том, что в нем напечатаны произведения, украсившие нашу литературу, а том, что в годы общественного молчания он показал, что общественное мнение не только существует, но обладает своим вкусом и тактом» (50). Прошу вас, ради интереса, перечитайте пресловутый альманах сегодня – много ли литературных достоинств вы в нем обнаружите? Но ведь раньше находили, восхищались! Почему?

Особой параллельной сферой альтернативного бытия советского гражданина, еще более демократической, нежели трудоемкий и опасный самиздат, стало распространение магнитофонных записей. Песни Высоцкого, Окуджавы, Галича, исполнителей блатной музыки, записи концертов Жванецкого ходили по рукам в миллионах экземпляров. Среди молодежи распространялись концерты подпольных рок-групп, вроде «Машины Времени», «Аквариума», «Зоопарка», «Кино» и т. д. В те времена слухи о любом событии в контркультуре распространялись моментально, причем по всей территории Советского Союза. Через «магиздат», как его называли, к альтернативным источникам информации приручались практически все взрослые граждане СССР, что тоже воспитывало культуру потребления запрещенной информации.

Уже к середине 1970-х поток неподцензурной информации принял такие масштабы, что процесс абсолютно вышел из-под контроля властей. Более того, порою власть сама пользовалась альтернативными источниками. А. Микоян не без гордости отмечал: «Я всю жизнь продолжаю читать антисоветскую литературу, и не без пользы, если там есть аргументы и факты» (51). Но что позволено советским Юпитерам категорически запрещалось советским быкам. Так мнилось «небожителям». Показателен анекдотический случай, когда заведующий отделом культуры ЦК Д. Поликарпов прорабатывал редактора тбилисского журнала «Мнатоби» поэта С. Чиковани, который напечатал автобиографию Б. Пастернака на грузинском языке. Позднее тот вспоминал: «Поликарпов открыл свой сейф, достал из него бутылку водки, бутерброды с колбасой... Когда бутылка опустела, Поликарпов, еле заметно покачиваясь, снова пошел к сейфу... он в своем угрюмом идеологическом сейфе вместе с водкой держал (записи) бывшего эмигранта А. Вертинского:

– Знаешь, генацвале (рассказывает собеседнику свои впечатления Чиковани – *К.К.*), когда он завел Вертинского после того, как прорабатывал меня за недостаточную партийную бдительность, мне стало не по себе. Это было так же, как если бы председатель общества вегетарианцев тайком, как Васисуалий Лоханкин, жрал по ночам мясо, да еще из чужих кастрюль...» (52)

Наследник Д. Поликарпова на том же посту В. Шауро «однажды проводил со мной “отеческую” беседу в течении 9 часов... Что же я услышал в штабе нашей идеологии после того, как при Поликарпове здесь звучали песни “упадочного” Вертинского? Еще более “упадочные” песни Высоцкого, которые ни разу при его жизни не были выпущены официальной большой пластинкой...» (Е. Евтушенко) (53). Мы сейчас говорим

не о совместном распитии спиртных напитков правителями с «прорабатываемыми» литераторами, хотя и это не лишено психологического интереса, но о двоемыслии правителей. Они уже сочувствовали запрещаемому. Предлагался некий компромисс. Само право на иную культуру, казалось им, было уделом избранных, и представлялось статусным элементом «символического капитала». Так хотела власть, не желая понимать, что времена безнадежно изменились.

Разумеется, наиболее дальновидные сотрудники правительственного и партийного аппарата видели происходящее, осмысливали его, стараясь и с интеллигенцией не ссориться окончательно, и строй сохранить. Еще 17 февраля 1964 года в записях К. Чуковского мелькает запись: «Здесь новые лица. Зам. министра МИД: Сергей Георгиевич Лапин, человек студенческого обличья, проводящий на коньках и на лыжах по 3–4 часа в день, отец полуторагодовалого ребенка (Сергея) – весь блондин, с ног до головы, веселый, озорной человек, пишущий стихи, читающий всевозможные книги, питомец Высшей партийной школы» (54). Речь идет о знаковой фигуре брежневского времени, человеке, который буквально воплощал в себе ценности и привычки боярина позднесоветской эпохи: начитан, активно пользуется альтернативной информацией, либералов осаживает. Э. Рязанов: «Он знал поэзию двадцатого века блестяще, всё и всех читал, много стихотворений помнил наизусть...» И далее приводит пример своего общения с кремлевским интеллектуалом. Тот спрашивает режиссера:

– А письма Цветаевой к Тесковой вы читали? В каком издании? В Пражском?

Я кивнул.

– Надо читать обязательно в Парижском...

Дальше мы начали щеголять друг перед другом сведениями и цитатами, которые можно было почерпнуть только из книг, изданных на Западе, запрещенных к ввозу в Россию и вообще у нас в стране недозволенных, подпольных, нелегальных... Я поразился тогда С.Г. Лапину – такого образованного начальника я встречал впервые. Но еще больше я поразился тому, как в одном человеке, наряду с любовью к поэзии, с тонким вкусом, эрудицией, уживаются запретительские наклонности. Помимо запрещения передач, выдирок из фильмов и спектаклей, жесткого цензурного гнета, он еще не разрешал, к примеру, на экране телевизора появляться людям с бородами, а штатные сотрудницы, осмеливавшиеся приходить на работу в брюках, нещадно преследовались и наказывались за подобное вольнодумство»^[129] (55). Е. Евтушенко: «В брежневские времена С.Г. Лапин, председатель Гостелерадио, коллекционировавший дома именно ту литературу, которую беспощадно вытравливал, однажды почти завизжал после моей телевизионной лекции о поэзии декабристов: “Да что вы так упоенно повторяете слово “свобода”, как глухарь на току, когда к нему подкрадывается охотник? Сами себе гибель кликаете? Да если дать черни свободу, она рано или поздно начнет топтать тех, кто ей эту свободу дал!.. Ваше сладкое слово свобода пахнет кровью...” Неглупый был человек, хотя и реакционер» (56).

Вот такие «реакционеры»-одиночки и пытались сдержать неудержимый натиск надвигавшейся катастрофы, сотканной в том числе из усилий семьи Чуковских, иллюзий Евтушенко, обаяния Рязанова. Да и пытались ли?

Накануне перестройки «не могу молчать» интеллигенции дошло до крайних пределов, до

истерии, до вопля. Ю. Нагибин: «27 апреля 1983 г. В условиях нашей тотальной несвободы все мелкие ограничительные меры особенно невыносимы. Мы привязаны за каждый волосок, как Гулливер у лилипутов, к удручающему слову НЕЛЬЗЯ. Каждый, кто причастен хоть к малюсенькой власти, думает лишь о том, что бы еще можно было запретить, какие еще путы наложить на изможденных запретами граждан. После короткого, точно рассчитанного безумия Хрущева, ликвидировавшего лагерь, освободившего всех политических заключенных, открывшего двери в мир, были только запреты и ограничения данного им» (57).

И до осатанелого солдафонского крика дошло вельможное самоуправство, пытающееся сдержать натиск снизу. Возьмем киноленту «Гараж» – культовый фильм эпохи позднего «совка» – и попытки его запрета к показу на отдельных территориях СССР. Даже здесь правая рука не знала, что делает левая: «Из Харькова пишут: “Мы ездили в Белгород за 60 километров, чтобы посмотреть “Гараж”. Там Россия и там “Гараж” идет, а у нас на Украине не идет. Сделайте что-нибудь, чтобы “Гараж” пошел и у нас» (58). Подтверждаю: глупость выжившей из ума верхушки доходила до того, что фильм «Гараж» не показывали в нашем Харькове и мы, чтобы посмотреть едкую трагикомедию Рязанова, выезжали в РСФСР, в Белгород.

Система не могла уже справиться даже с задачей запретительства: либо признать, что показ одного гаражного коллектива характеризует нелепости жизни всей страны, либо сделать вид, что нас это не касается и отдельные недостатки бичуются сатирой вполне с ведома властей. Это касалось всего – литературы, музыки, идеологии. Привычные меры не работали – цензура легко обходилась по другим каналам распространения информации, подкуп не действовал, поскольку в небогатой стране толком нечего оказалось

и предложить, возвышенные идеалы прошлого растворились в потребительской лихорадке настоящего. Дряхлость и неработоспособность системы не только очевидна всем, уже возникает вопрос – а не погребет ли она нас всех под своими обломками? Вступал в действие механизм обычного человеческого самосохранения.

VI

В поздней истории СССР постоянно шло негласное состязание официальной и неофициальной информации, почерпнутой из альтернативных источников таких, как самиздат или западные радиостанции. И здесь поражение отечественной идеологической машины становилось все более очевидным, что особенно обидно, поскольку враг лупил основоположников радиопропаганды на их же территории. Если «Московское радио» – первая ласточка советского иновещания – начала трансляции на немецком и английском в еще 1929 году, то «Би-Би-Си», к примеру, стала регулярно выпускать передачи по-русски только в 1946-м. Наши противники в «холодной войне» подошли к делу основательно и профессионально. Номенклатура выпусков западных радиостанций все время расширялась – подключались новые радиостанции, звучали и новые языки вещания. А 1 марта 1953 года вышла в эфир первая программа на русском языке радио «Освобождение», вскоре получившее название радио «Свобода».

«Задачей зарубежных радиостанций по сути дела было – ох, как мне не хочется это произносить! – развал Союза, – говорит американский медиа-аналитик Д. Дженсен. – Их целью тогда было информирование советского населения о том, что происходит не только в мире, но и в их собственной стране. Расчет делался на то, что информированное общество само сделает выводы, совпадающие с западным взглядом на мир» (59).

Продуманная пропаганда всегда нацелена на привычки, обычаи, стандарты и нормы жизни целевой аудитории. Феномен всесоюзного прослушивания

программ Севы Новгородцева с его массовой молодежной аудиторией общеизвестен, но мы вспомним еще более ранний и более изощренный пример, который приводил своим друзьям К. Федин после вроде бы «всемирного» разоблачения преступлений Сталина и Берии: «Он рассказал, что в Гаграх, где он был на улице, огромная картина “Утро родины” (Сталин среди полей) освещается прожекторами – и рядом памятник Сталину; из Турции на груз. языке передается по радио нечто вроде “Би-Би-Си для бедных”, эта передача начинается пением груз. нац. гимна, а кончается гимном в честь Берии. Из всех раскрытых окон раздается голос радио: “Слава Берии, Берии, Берии!”» (60). Наглядный пример работы с целевой аудиторией – населением Грузии, в массе своей не принявшем хрущевскую политику развенчания Сталина и Берии.

Руководство СССР настолько тревожили последствия координированной радиопропаганды западных стран, что оно было готово пойти на определенные уступки, лишь бы прекратить бесконечное размывание основ социализма. Так, в феврале 1972 года любопытное предложение выдвинул в разговоре с американским конгрессменом Дж. Шейером, посетившим в январе Москву, кандидат в члены ЦК, главный редактор «Литературной газеты» А. Чаковский. «Если американцы прекратят передачи для Советского Союза, передаваемые “Голосом Америки” и радиостанцией “Свобода”, тогда мы, сказал Чаковский, изменим наше отношение к нашим “диссидентам” и к выезду евреев из Советского Союза» (61). Однако неофициальный зондаж остался без ответа, ставки в борьбе были значительно выше, чем судьбы каких-то диссидентов и евреев, которые как раз должны были **оставаться** в Советском Союзе, создавая все новые и

новые информационные поводы, изобличающие действующую власть.

«По большому счету зарубежное вещание сыграло в истории СССР такую же роль, какую “Аль-Джазира” сыграла в последние годы в арабском мире – показало людям, насколько у них в стране все паршиво», – говорит Дж. Эйял, автор десятков статей о политике Запада в Восточной Европе, директор лондонского Центра исследований международной безопасности (62). И очевидный успех иностранной пропаганды связан все с той же удручающей скукой и твердолобостью советских СМИ, особенно очевидных для образованного человека: «...слушаю радио и вижу, что “радио – опиум для народа”. В стране с отчаянно плохой экономикой, с системой абсолютного рабства так вкусно подаются отдельные крошечные светлые явления, причем раритеты выдаются за *общие* факты – рабскими именуются все другие режимы за исключением нашего» (К. Чуковский) (63). Нужно умудриться, имея в руках такие козыри, как монопольное владение телевидением и радио в СССР, проиграть информационную войну.

Неумение работать в современных условиях и нежелание осваивать новые действенные методы пропаганды вкупе с экономическими трудностями, перерождением элиты и разочарованием народа привели к краху советского проекта. Власть, неожиданно для себя обнаружила, что воспитанная ею в ходе систематической идеологической обработки внушаемость «населения», его открытость психологическому манипулированию (поиск «врагов» и т. п.) оборачиваются против нее самой. Трухлявые штампы легко разваливались при соприкосновении с действительностью. Е. Евтушенко жалуется: «Небольшой сборничек цитат из Ленина, составленный Венедиктом Ерофеевым под названием “Моя маленькая

Лениниана”, поверг меня в глубокую депрессию, сильно поколебал в моих прежних, самых искренних убеждениях» (64). Тонкий сборничек цитат заставляет менять убеждения уже взрослого, состоявшегося человека? Что ж это за убеждения такие? Могут ли люди, имея такие шаткие основы психики, руководить страной или хотя бы ее культурой?

Моральные ценности преданности идеалу неуклонно «окастеневали», превращаясь только в форму ритуала. Ритуала насквозь фальшивого, а потому особенно противного. Ю. Нагибин: «Снова на первых страницах центральных газет напряженно и пусто улыбаются заурядные, тусклые лица каких-то мифических “передовиков”... Десятилетиями улыбались герои труда, и всё пустели магазины, всё падала производительность, всё ниже становилось качество продукции и всё длиннее хвосты очередей, и докатились мы до уровня слаборазвитых стран, торгующих не изделиями, а содержимым недр. Воистину: ничего не забыли и ничему не научились» (65).

К катастрофе привело отсутствие интереса у властей предрежащих к наличному интеллекту в стране и к рачительному его использованию. Как в XIX веке, когда избыток незадействованных мозгов и нервов привел к образованию в Империи слоя так называемой «прогрессивной» интеллигенции, так и в XX веке страну погубил взрывоопасный переизбыток интеллектуальных сил – кадров, чей интеллект остался неиспользованным. В условиях абсолютной беспомощности идеологической системы СССР он стал легкой добычей новых способов убеждения масс. Отшлифованные в бесчисленных рекламных, предвыборных и прочих боях западные информационные технологии при получении оперативного пространства на территории Советского

Союза без труда сокрушили ржавую пропагандистскую машину.

Вспомним, с чего для нас началась перестройка? С передачи «Взгляд» с мегапопулярными В. Листьевым, Д. Захаровым, А. Любимовым. С «До и после полуночи» В. Молчанова. С «Огонька» В. Коротича. С советско-американских телемостов В. Познера. М. Горбачев легкомысленно выпустил на волю мастеров пера и устной речи. А у этих мастеров не было повода слишком сильно любить страну, в которой они жили – она весьма неохотно признавала их мастерство, их профессиональные качества. Можно смеяться над этим, но рост профессионального мастерства, общественная состоятельность и признание остаются важнейшими условиями благополучия человека, его нормального социального самочувствия. Предоставленная возможность продемонстрировать свое интеллектуальное превосходство, силу накопленных идей в условия монопольного информационного пространства да плюс профессиональные консультации более опытных зарубежных доброхотов. Это не могло не сработать.

Вера в собственное интеллектуальное превосходство приводит к тому, что примеряя на себя тогу «совести нации», интеллигенция бессовестно лжет народу ради неких грядущих идеалов. При этом сама интеллигенция особенно податлива к манипуляции сознанием, будучи свято убеждена, что уж ее-то провести невозможно. Вспомним, как в советское время в научных институтах велись разговоры о том, что если «сократить балласт», то нужным и правильным сотрудникам можно будет поднять зарплату в разы. Надо только избавиться от «совка». Кто ж тогда думал, что балластом окажутся почти все?

Свято место пусто не бывает и вот уже пьедестал, заготовленный для интеллигентских идеалов, занят

идеями либерализма и свободной экономики. Глашатаи поколения интеллектуалов 1960-х годов братья Стругацкие, люди образованные и остроумные, рассуждают в перестроечном интервью о новых целях советского общества: «На протяжении многих десятилетий мы представляем собой гигантскую аномалию. Все человеческие цели и ценности перевернуты у нас с ног на голову... Это общество, находящееся в аномальном состоянии. Россия, или, вернее, СССР, свернула с торной дороги цивилизации... Но я вас уверяю, что мы непременно выйдем на ту самую торную дорогу, потому что она ОДНА. Это единственная дорога. Эта дорога, на которой осуществляется принцип: человек, который работает на общество хорошо, получает от этого общества большой кусок» (66). «Торная», она же «столбовая», она же «сермяжная», она же «домотканая» – абсолютный наив, который кончился обыкновенной эмиграцией глаголющего сии староявленные истины Б. Стругацкого.

Либеральная интеллигенция ничего не смогла породить, когда ей предоставили свободу рук. Лики ее святых оказались обычными рожицами довольно наивных, если не сказать, глуповатых простаков. Либо харями циников.

Глава 7

«Окруженцы»

Во многом внутренняя политика Советского Союза определялась внешними факторами. Задуманная сначала как некий «бикфордов шнур» мировой революции, революция в России с самого начала пристально и заинтересованно всматривалась в окружающий мир, ища поддержки. Потом, оставшись в одиночестве, начала смотреть на за границу, как вполне реальный источник опасности для молодого государства; потом, как лидер целого международного движения, а затем, и лагеря приобретенных союзников. Который тоже был окружен «силами реакции», угрожавших этому кружку единомышленников.

Жизнь гражданина СССР проходила в уникальной атмосфере «всемирной отзывчивости», переложенной на современный политический момент. Государство четко реагировало на то, что ему необходимо, и давало импульс во внутренней политике – где идеологические друзья страны, а где ее геополитические противники, которые, кстати, были вполне реальные. В любом случае, в обществе царила психология осажденной крепости, а значит – и присутствовал риск при вылазках в стан врага, и внутренние изменники, мечтающие открыть врагу ворота.

Сам-то основатель Советского государства миру был открыт и жизнь за рубежом знал не понаслышке. До революции В. Ленин объездил почти всю Европу: Берлин, Лейпциг, Мюнхен, Нюрнберг, Штутгарт (Германия); Брюссель (Бельгия); Вена, Зальцбург (Австрия); Краков, Поронин, Закопане (Польша); Женева, Берн, Базель, Зоренберг, Изельтвальд, Кларан, Люцерн, Лозанна, Лакде Бре, Фрутиген, Цюрих (Швейцария); Копенгаген (Дания); Лондон (Англия);

остров Капри, Неаполь (Италия); Прага, Брно (Чехия); Париж, Бомбон, Лонжюмо, Марсель, Фонтенбло, Порник, Ницца (Франция); Стокгольм, Мальме, Троллеборг, Хапаранда (Швеция)... Советский человек о таком списке мог бы только мечтать.

Владимир Ильич был вполне западником по своему воспитанию, жизненному опыту и философии. В его понимании Россия являлась лишь подручным средством для достижения мировой революции, предрекаемой самой передовой теоретической мыслью германской социал-демократии. Следует лишь продержаться до социального переворота в Германии. Для Ленина грядущая германская революция по своему значению была «неизмеримо важнее нашей». Вина Ленина, в конечном счете, и состояла в том, что он пожертвовал национальными интересами ради чего-то «неизмеримо более важного». И это не эмоции, а юридически закрепленная большевиками норма. В «Декларации об образовании СССР» провозглашалось: «Новое Советское государство открыто всем социалистическим советским республикам, как существующим, так и имеющим возникнуть в будущем», оно является «решительным шагом на пути объединения трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую Республику» (2).

Но реалии оказались диаметрально противоположными ожиданиям. Молодая республика неожиданно для себя оказалась в авангарде всемирного рабочего движения. Оглядываться на седобородых западных учителей было бессмысленно: революционная Россия пошла вне их предсказаний. Оказалось, что стройные теории западного социализма «эпизодические и местные, в большинстве случаев даже обусловленные минутными духовными интересами обитателей больших городов западноевропейского типа, а отнюдь не общеисторические вечные ценности» (О. Шпенглер).

Российская действительность опровергла построения иностранных кабинетных мудрецов.

Принципиально важным стало то, что большевики (пусть и вынуждено) отошли от стереотипов дореволюционного образованного общества, раболепствовавшего перед «просвещенной» Европой, и заняли (по всем внешним признакам) наступательную в отношении Запада позицию. Теперь СССР провозглашался знаменосцем прогрессивных идей. «Социализм в одной стране» стал декларацией интеллектуальной независимости от Запада.

Более того, передовой, по отношению к старой Европе, характер российской революции признавали многие деятели и на самом Западе. Поначалу большевизм в его ранней (западнической) фазе находил там даже определенную поддержку, хотя и меньшую, нежели буржуазно-демократическая Февральская революция, которую благосклонно приняли политики Франции и Англии. Любопытен в этом отношении анализ событий и их значения для Запада, сделанный по свежим следам великим английским писателем Г. Уэллсом. Из его книги «Россия во мгле» следует, что крестьянство в России своей численностью, влиянием и религией угрожает «просвещенному европейскому Западу». На основании своего мнения, этот влиятельный представитель «прогрессивной и просвещенной Европы» выдвинул тезис, который объективно оправдывал все репрессии советского режима в глазах Запада, а именно, что большевизм является для «западной городской цивилизации спасителем от распространения «варварства» диких крестьянских орд с Востока.

Смешно, конечно, когда вчера и сегодня о цивилизации рассуждают европейцы, которые до середины 1930-х годов XX века показывали себе подобных людей иных рас в зоопарках. Ведь только в

1935–1936 годах в Европе были ликвидированы последние клетки с неграми в зоопарках – в Базеле и Турине. А до этого «белые», как бы «цивилизованные» люди, охотно ходили смотреть на «черных» в неволе (а также на индейцев и эскимосов). Сей курьёзный факт показывает, насколько советское общество во многих социальных вопросах реально шло впереди западного капитализма. И можете представить, насколько революционен для Запада оказался советский фильм «Цирк», в котором громогласно провозглашалась равенство человеческих рас.

Что же касательно отношения к нам, скажем так: консервативные и ультраконсервативные силы Запада видели в появлении Советской республики непосредственную угрозу для себя, а левые круги следили за начинавшимся экспериментом с любопытством. Живейший интерес мира к советскому обществу 1920-х и 1930-х годов был связан с тем, что тогдашняя Европа еще не знала государства без эксплуатирующих классов и аристократической элиты. Собственно, смысл последовавшей вскоре «холодной войны» был в ликвидации этой реальной альтернативы.

В начале своего пути русская революция давала новое представление о социальном устройстве, обрисовывала новые перспективы в искусстве для послевоенной Европы. Революционный подход к жизни активно декларировался в юном советском искусстве: это обходилось государству дешевле, нежели реальные экономические достижения, и имело мощный пропагандистский заряд. Например, когда летом 1925 года в Париже открылась Международная выставка декоративного искусства, фурор на ней произвела именно советская экспозиция. И. Эренбург: «Гвоздем выставки был наш павильон; его построил молодой архитектор-конструктивист К.С. Мельников. Как многое из того, что делали наши конструктивисты и лефовцы, павильон никак нельзя было назвать утверждением утилитаризма: по лестнице было трудно подниматься, косой дождь прорывался в помещение. Здание было выражением романтики первых революционных лет. Экспонаты в большинстве принадлежали "левым" художникам: макеты постановок Мейерхольда, Таирова, конструкции Родченко, ткани Л. Поповой, плакаты Лисицкого...» (3) Продвинутые парижане, сами законодатели мод, в то время считали советское искусство наиболее передовым в мире.

Кроме выставки, утверждали их в этом мнении «Броненосец "Потемкин"» С. Эйзенштейна, «Федра» А. Таирова, «Принцесса Турандот» Е. Вахтангова. В какой-то степени можно было говорить о воскрешении знаменитых «Русских сезонов» в Париже – только в новом исполнении.

Жадный интерес публики плюс недостаток информации о реальной жизни в СССР часто приводил к

анекдотическим ситуациям. Скажем, повесть «Роковые яйца» М. Булгакова некоторыми западными СМИ была воспринята как описание реальных событий. С журналистами сыграла злую шутку манера автора в своей псевдодокументальной повести указывать точные даты, адреса, фамилии. Михаил Афанасьевич приводит настолько убедительные аргументы, оперирует такой массой деталей и живыми приметами времени, что этой истории поверили американские газеты и напечатали репортаж о странных событиях в далекой России, как о реально произошедших. Во время пребывания в США это очень позабавило В. Маяковского. В беседе с корреспондентом газеты «Заря Востока» поэт прокомментировал ситуацию: «Американская пресса лжет, не считаясь с фактами, просто в погоне за сенсациями и рекламой. Так, например, в один прекрасный день в одной из газет появилось сообщения под сенсационным заголовком «Змеиные яйца в Москве», которое оказалось изложением одного из рассказов Булгакова» (4). Тема «Змеиные яйца в Москве» значилась во многих афишах вечеров Маяковского, посвященных его поездке в Америку.

Европейские правые политики и общественные деятели, как уже сказано, видели в СССР врага, разносчика всемирной анархии (что в первые послереволюционные годы, пожалуй, соответствовало действительности). Большевизации приходилось опасаться всерьез, а потому на Западе принимались энергичные меры по созданию санитарного кордона из стран-лимитрофов вокруг Советского Союза и его экономической блокаде. По сути, Запад создал тогда в СССР автаркию автоматически – просто отрезав Советский Союз от внешнего мира.

После революции у нас почти не было товаров для экспорта. За жизненно необходимый импорт платить

приходилось золотом^[130], роль которого в международной финансовой системе была гораздо выше, чем сейчас. А золота мало. У советского режима просто не оставалось выхода, как начать автономное, самостоятельное плавание в неизвестность. Так рождалась индустриализация.

Правящие классы Запада, сидящие на пороховой бочке мирового рабочего движения, усиленно подпитываемого из Москвы, внимательно наблюдали за внутренними метаморфозами политической и экономической жизни в СССР, пытаясь предугадать дальнейшие действия красного гиганта. Предчувствуя важные события, в страну зачастили иностранные туристы, гости и аналитики – будущие «советологи» и «кремлеведы». Ильф и Петров дают точный портрет одного из таких аналитиков:

– Я восхищен, – сказал профессор, – все строительство, которое я видел в СССР, грандиозно. Я не сомневаюсь в том, что пятилетка будет выполнена. Я об этом буду писать.

Об этом через полгода он действительно выпустил книгу, в которой на двухстах страницах доказывал, что пятилетка будет выполнена в намеченные сроки и что СССР станет одной из самых мощных индустриальных стран. А на двухсот первой странице профессор заявил, что именно по этой причине Страну Советов нужно как можно скорее уничтожить, иначе она принесет естественную гибель капиталистическому обществу.

От СССР исходила опасность, прежде всего, идеологическая. Большевики призывали к смене существующих на Западе государственных институтов, уничтожению колониальных империй, к всемирному братству трудящихся. Правящие элиты Запада – в рамках непрекращающейся идеологической войны – плели антисоветские заговоры и устраивали

провокации. Убийства советских представителей разного ранга за рубежом являлись повседневностью. И эти реалии необъявленной войны также находили отражение в нашей литературе. Например, после трагической гибели советского дипломатического курьера Теодора Нетте при защите диппочты в феврале 1926 года появилось знаменитое стихотворение В. Маяковского «Товарищу Нетте – пароходу и человеку». Тот же мотив мы улавливаем даже в стихах о Гавриле в «12 стульях»: *«В конце стихотворения письмоносец Гаврила, сраженный пулей фашиста, все же доставляет письмо по адресу.*

- Где же происходило дело? – спросили Ляписа. Вопрос был законный. В СССР нет фашистов, за границей нет Гаврил, членов союза работников связи.

- В чем дело? – сказал Ляпис. – Дело происходит, конечно, у нас, а фашист переодетый».

Гаврила комичен, но ведь дипкурьера Теодора Нетте действительно убили! И фашисты – не выдумка. Фашисты, будучи крайней формой антикоммунизма и национализма, появились в Европе как реакция на коммунистическую угрозу. Их приход к власти, сначала в Италии, а потом их последышей – немецких нацистов – в Германии, определил политическую карту континента на два десятилетия вперед. Значение этого противостояния остро ощущалось еще в начале 1920-х годов, тот же М. Булгаков записывал в сентябре 1923 года: «В Болгарии идет междоусобица. Идут бои с коммунистами! Врангелевцы участвуют, защищая правительство. Для меня нет никаких сомнений в том, что эти второстепенные славянские государства, столь же дикие, как и Россия, представляют великолепную почву для коммунизма. Наши газеты всячески раздувают события, хотя, кто знает, может быть, действительно, мир раскалывается на две части – коммунизм и фашизм». И там же: «Центр фашизма в

руках Кара, играющего роль диктатора, и Гитлера, составляющего какой-то «Союз» (5). Вначале речь идет о правом немецком политике Густаве фон Каре, но любопытно, что здесь мы уже натываемся на упоминание об А. Гитлере – советская пресса о нём заинтересованно пишет.

Внимание к Германии, стране так и не состоявшейся социалистической революции, и неугасающая надежда на ее свершение диктовали ревнивый интерес к судьбе ведущей индустриальной державы Европы. Причём надежда сменилась острым разочарованием, поскольку немцы не только не спешили пойти ленинским проторенным путем, но даже двинулись в противоположном направлении: «Я пошел на собрание нацистов; происходило оно в пивной. Глаза ел дым дешевых сигар. Какой-то нацист, размахивая большими руками, долго кричал, что немцам надоело голодать, что хорошо живут только евреи, что союзники ограбили Германию, нужно расколотить французов и поляков. В России тоже хозяйничают евреи, – значит, придется всыпать и русским. Гитлер покажет миру, что такое немецкий социализм... – на закате жизни вспоминал ситуацию в Веймарской республике И. Эренбург. – Много рабочих, и от этого нестерпимо больно. Конечно, я знал и прежде, что среди нацистов немало рабочих, но одно дело прочесть об этом в газете, другое – увидеть. Разве скажешь, что этот пожилой рабочий – фашист? Хорошее печальное лицо, видно, что ему не сладко» (6). Ну что ж, нацизм и национализм удел не только законченных мерзавцев, хотя – рано или поздно – логика развития идеи собственного превосходства к этому приведёт.

Растущая военная напряженность четко прослеживается в литературных произведениях 1920-х и 1930-х годов, в том числе, и рассматриваемых нами. Это и сцены учений, в разгар которых Бендер упускает

одевшего противогаз Корейко, и рефлекторная реакция безымянного жильца на хулиганство ведьмы-Маргариты, когда он в панике натягивает на себя такой же противогаз. Кинохроника эпохи фиксирует даже лошадей в противогазах. Впрочем, с лошадьми мы точно отвлеклись...

Противостояние советского (тогда абсолютно одинокого государства) и всего буржуазного мира ощущалось не только в области радикальных политических течений, но и проявлялось в активных действиях антисоветской русской эмиграции, что также отражено в мотивах появления Ипполита Матвеевича, воспринятого окружающими как визит нелегала. Тайное просачивание эмигрантов было одной из животрепещущих тем в советских СМИ. Так, в мае 1927 сообщалось о суде над неким Голубевым-Северским, присланным в Киев из Парижа для создания «монархической шпионской организации». В том же году газеты пишут о разгроме группы кутеповцев, переброшенных через финскую границу. Ненависть к эмигрантам, недобрым осколком старой жизни, четко декларируется в фельетоне И. Ильфа и Е. Петрова «Россия-Го», где бывших соотечественников обзывают «мрачным скопищем неудачников, злобных психопатов и откровенных мерзавцев». Население призывалось сотрудничать с властями в розыске эмигрантов-шпионов, заставляя подозревать белогвардейского агента во всяком необычном человеке. Недаром в «Мастере и Маргарите» Воланда и его свиту принимают за шпионов: «*Вы убийца и шпион*», – обвиняет иностранного мага Бездомный.

И, справедливости ради, заметим: основания быть настороже имелись – агентов иностранные разведки забрасывали десятками. Кое-кому из них даже удавалось достичь успеха. Можно вспомнить крупного польского шпиона по фамилии Полещук, которого

польская разведка снабдила в 1920 году партбилетом погибшего в бою красноармейца и забросила в СССР. За двенадцать лет «Конару» (фамилия погибшего) удалось добраться до самого верха советской бюрократической иерархии и стать заместителем наркома сельского хозяйства. «Конар» и Ежов стали близкими друзьями, и не было тайной, что именно Ежов помог ему занять столь высокий пост. Разоблачили Полещука совершенно случайно: коммунист, знавший настоящего Конара, сообщил в ОГПУ, что заместитель наркома, выдающий себя за Конара, на самом деле другой человек.

Вообще с поляками, получившими государственность после распада Российской, Германской и Австро-Венгерской империй, сложились совершенно особые отношения: «Откуда и что это за географические новости?» – вспоминая о Польше, вопрошал Маяковский в «Стихах о советском паспорте». Бывшая часть Российской империи, которая сохранила буржуазный строй и активно претендовала на роль региональной сверхдержавы^[131], Польша воспринималась как ближнее зарубежье – зажиточное, но провинциальное. На ней можно и должно было показывать «продвинутость» бывшей метрополии по сравнению с буржуазным миром.

Так, прямо на советско-польской границе (разумеется, по советскую сторону) красовалась арка с вызывающей надписью «Коммунизм сметет все границы». Воздвигнут сей шедевр в Шепетовке, которая, до присоединения Западной Украины, являлась последней железнодорожной станцией на советской территории. В то время Шепетовка считалась важным и процветающим городом, дверью из СССР в Европу, своеобразным Рубиконом, отделявшим жизнь советского человека от всего мира. Недаром разочарованный Остап Бендер говорил, что «последний

город – это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана». И далее, устами Бендера соавторы озвучивают, можно сказать, основной принцип отечественного изоляционизма: «Заграница – это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается». То есть, все «иностранное» враждебно живому, передовому, социалистическому; все, что связано с «иностраным», так или иначе, представляет опасность для живого, хотя и манит слабых сладким голосом, словно сирены Одиссея.

Кроме Польши, важной частью Российской империи, получившей вожделенную независимость, а значит и свободу от социалистических экспериментов, стала Прибалтика. Когда Остап Бендер еще не разочаровался в своих мечтах, его планы касались и Балтии: *«Проекты были грандиозны: не то заграждение Голубого Нила плотиной, не то открытие игорного особняка в Риге с филиалами во всех лимитрофах».*

Как и недавнее Царство Польское, бывшие балтийские провинции Российской империи тоже находились в зоне особого внимания, становясь предметом сравнения двух путей развития частей единой некогда страны. Человека, попадавшего из голодной Советской России в Прибалтику, удивляло две вещи: «В нашем представлении жизнь там уж никак не лучше, чем в Москве – столице рабоче-крестьянского советского государства. Но то, что мы увидели на рынке, рядом с вокзалом, а также в многочисленных магазинах, казалось просто фантастическим. Причем все это было доступно даже для нашего тощего кошелька. Разнообразнейшая обувь, меховые пальто и куртки, костюмы и пуловеры, грампластинки, патефоны, радиолы и радиоприемники, горы фруктов и овощей, целые туши на крюках в мясных лавках – просто глаза разбегались» (В. Бережков) (7). И второе, неистребимый провинциализм сытых республик: «После лихорадки

строек, споров, поисков – всей той суеты обновления жизни, которая уже стала привычным, нормальным ритмом нашего бытия, Прибалтика показалась мне замершей, тихой, почти спящей. Было ощущение, что я приехал не в Прибалтику, “не в за границу”, а в прошлое, еще не очень далекое, но уже основательно забытое» (Л. Утесов) (8). Основной тезис: да, буржуазное общество дает сытость, но сытость эта животная, тупая, на самом деле – будущее за нами, увлеченными, горящими идеей новыми людьми!

Можно смеяться над наивностью советской молодежи, но именно таков был общий настрой, помогавший возводить страну, о чем мы вспоминали, рассказывая об энтузиазме первых пятилеток.



Иное отношение, нежели к бывшим согражданам, испытывали жители СССР к извечным геополитическим соперникам и законодателям мод – западноевропейским странам. Комплекс неполноценности оборачивался драчливой задиристостью – вот мы вам покажем! Но показать, по большому счету, юная страна тогда ничего не могла, кроме живописных зрелищ и карикатур; по сути – голой, извините, задницы. Желание безнаказанно высмеять, укусить «сильных мира сего» воспринималось, с одной точки зрения, как воплощение народной демократии, с другой – публичный вызов старому миропорядку. На демонстрациях можно было наблюдать примерно одинаковый набор персонажей – кроме отечественных нэпманов, попов и белогвардейцев – известных западных политиков: «Труженики “Красного треугольника”»: на своем автомобиле они соорудили гигантскую калошу – для буржуев-капиталистов, попов, спекулянтов, и прочей мерзости. Название красноречиво: “Антанта в калоше”... Ленинградский зоосад: клетки, в одной кабан с надписью Керзон, волк Юз и лисица Макдональд» (9).

В 1923 году в СССР развернулась массовая кампания «Лордам по мордам» – против «ультиматума Керзона»^[132]: *«Человеку с неотягченной совестью приятно в такое утро выйти из дому, помедлить минуту у ворот, вынуть из кармана коробочку спичек, на которой изображен самолет с кукишем вместо пропеллера и подписью “Ответ Керзону”»*. Николай Островский в повести «Как закалялась сталь» кукиш ретуширует:

– Товарищ большевик, дай прикурить, брось коробку спичек, – поляк-пограничник просит у советского солдата спички.

«...И красноармеец, не оборачиваясь, бросает спичечную коробку:

– Оставь у себя, у меня есть.

Но из-за границы доносится:

– Нет, спасибо, мне за эту пачку в тюрьме два года отсидеть пришлось бы.

Красноармеец смотрит на коробку. На ней аэроплан. Вместо пропеллера мощный кулак и написано “Ультиматум”. “Да, действительно, для них неподходяще”».

Однако за бесконечными политинформациями и балаганными шаржами политкарнавалов все равно угадывался ревнивый интерес советских жителей к Западу, восхищение тамошним уровнем жизни и технологии, готовность учиться у Европы и Америки и желание двигаться с ними в единой культурной струе. Новая техника, мода, политические новости живо волновали юное советское общество.

Одновременно СССР вел активную внешнюю политику на Востоке. Советские лидеры с самого начала апеллировали к жителям колониальных империй, приглашали их на политическую учебу, помогали материально, окружали необходимым вниманием средств массовой информации^[133]. Труд большевиков не был напрасным – под влиянием идей Октября выросли сотни пламенных революционеров, которые содействовали развитию коммунистического движения в Китае, Монголии, Корее, Индостане.

Встреча Бендера с восточным философом довольно верно отражает живой интерес поработанных колонизаторами народов Востока – тех же китайцев и индусов – к советскому опыту построения государства,

независимого от диктата Запада. А потому философские вопросы великого комбинатора остаются без ответа, махатмы сами стремятся в Страну Советов в поисках истины:

– Учитель говорит, – заявил переводчик, – что он сам приехал в вашу великую страну, чтобы узнать, в чем смысл жизни. Только там, где народное образование поставлено на такую высоту, как у вас, жизнь становится осмысленной.

В чертах заезжего мудреца современники легко узнавали Рабиндраната Тагора – индусского поэта и философа, который в те годы много путешествовал по Европе. Впрочем, его восхищал не только советский опыт. В 1927 году, побывав в Италии, Тагор выступил с восхвалением Бенито Муссолини и его режима.

Когда Бендер вопрошает переводчика заезжих американцев, что те делают в чистом поле, *«вдалеке от Москвы, от балета «Красный мак»*, он имеет ввиду ту самую антиколониальную пропаганду на государственном уровне. А именно, знаменитый спектакль на тему «пробуждения народов Востока» – балет «Красный мак», который был поставлен в Большом театре в 1927 году и продержался в репертуаре более 30 лет. Суть такова: советский корабль приходит в китайский порт. Его прибытие вызывает горячие симпатии к СССР со стороны трудящихся и озлобление в среде европейцев и китайской буржуазии, боящейся «разлагающего влияния большевиков». Против советских моряков организовывается заговор, расстраиваемый китайской артисткой Тая-Хоа («Красный мак»). Озлобленные неудачей заговорщики убивают Тая-Хоа; умирая, она завещает окружающим ее трудящимся бороться за революцию.

Танцевали сознательную китайку почти все звезды Большого – например, О. Лепешинская. А потому балет

«Красный мак» действительно был одной из изюминок для посещавших советскую Москву иностранных туристов, которых становилось все больше. И, как ни странно, с фрагментом легендарной постановки знаком почти каждый из вас, с детства знающих матросский танец «Яблочко». Это танец советских матросов из «Красного мака» на мотив одноименной песни, получившей широкую известность во время Гражданской войны^[134]. Таковы неожиданные отголоски антиколониальной борьбы 1920-х годов в нашей культуре.

IV

В 1934 году, впервые после Октябрьской революции, Советский Союз широко открыл свои границы для обычных иностранных туристов. У СССР появились реальные достижения, которые необходимо популяризировать, да и нужду в иностранной валюте массовый туризм помогал утолить. «Жизнь, особенно на Украине, все еще оставалась очень тяжелой. Тем с большей тщательностью готовились власти к приему иностранцев. Надо признать: была действительно проделана огромная работа. Обучение гидов являлось лишь ее небольшой, хотя и важной частью...» (12) В ожидании туристического бума проводился капитальный ремонт лучших гостиниц и ресторанов. Скажем, в Киеве новосозданная организация «Интурист» («Иностранный турист») оборудовала роскошный отель «Континенталь» у самого Крещатика (во время войны гостиница сгорела, и на ее месте возведено здание консерватории).

Закупалось высококачественное столовое и постельное белье, посуда, переоборудовались кухни, завозились холодильные установки. Заполнялись импортными товарами красиво оформленные гостиничные киоски, в США и Италии закупили легковые автомобили и открытые автобусы с брезентовым верхом на случай дождя. «На работу в систему «Интуриста» приглашались квалифицированные старорежимные повара, официанты, швейцары, которым сшили специальную форму с золотистыми галунами и лампасами. В костюмы спортивного покроя одели и шоферов сверкающих “линкольнов” и “фиатов”. На Днепре интуристов ждала

белоснежная моторная яхта с баром, заполненным всевозможными напитками» (11).

Глубже в провинции и обслуживание было попроще, и нравы грубее, но раболепие перед иностранцами тоже практиковалось. И. Эренбург описывает случай, характерный для описываемой эпохи – действие происходит во все том же 1934 году: «...я был в Иванове. Зашел в ресторан. Зал загромождали пыльные пальмы. На столиках лежали грязные скатерти с засохшими следами вчерашних соусов и позавчерашних борщей. Я сел за столик, который выглядел чище. Официантка закричала: “Вы что, не видите?.. Это для иностранцев...” Оказалось, в местном текстильном институте учатся два молодых турка. К ним относились с почтением и обед им подавали на чистой скатерти» (12).

Не изменилось заискивающее отношение к иностранцам в нашей стране ни в тридцатые годы, хотя и едко высмеивалось теми же Ильфом и Петровым в своих фельетонах (например, «Театральная история»), ни много позже. Л. Смирнова вспоминает в мемуарах: «В Тбилиси нас очень хорошо принимали. И вдруг нас выселяют из гостиницы, потому что приехали иностранцы... Как всегда, у нас перед иностранцами расшаркивались, а на своих плевали» (13). Носители драгоценной иностранной валюты всегда были в чести нуждающихся в ней государств – будь то могучий СССР вчера или Северная Корея сегодня.

Это ситуация порождала у советского человека системный комплекс неполноценности – и перед иностранцем, и перед родиной того иностранца, и, одновременно, презрение к своей заискивающей стране.

Поездка в тридцатые годы в Советский Союз обходилась очень дешево. За 100 долларов на протяжении недели можно было побывать в Киеве,

Москве, Ленинграде, имея полный пансион и обслуживание. Правда, и доллар был тогда «тяжелее». Но все же многие туристы уезжали в полной уверенности, что СССР – самая дешевая страна в мире. В. Бережков описывает свои ощущения от первой встречи советского гида-комсомольца с потянувшимися в СССР иностранцами: «Роскошь итальянского судна, экстравагантные туалеты пассажиров, экзотика итальянской кухни... Тогда я, пожалуй, впервые остро ощутил, насколько жизнь в нашей стране далека от Запада. Но это не воспринималось как преимущество капиталистической системы над социалистической. Мы считали, что в таком круизе могут участвовать лишь очень богатые, тогда как трудовой народ в западных странах прозябает в нищете. В то время в какой-то мере так и было. Мы в Советском Союзе верили, что создаем строй, в котором все будут равны и счастливы. Нам вовсе не казалось необходимым иметь такую роскошь, какой себя тешат капиталисты...» (14)

И, разумеется, в отместку за буржуазную роскошь советским пропагандистам необходимо было показать экономические достижения социалистического строя, что имело важный смысл – да, у вас роскошь и разложение, но за нами разумное планирование и обустройство общества. Таков, к слову, смысл поездки иностранных корреспондентов на Турксиб, описанной Ильфом и Петровым в «Золотом теленке»: *«Из купе вышли совжурналисты, из соседнего вагона явилось несколько ударников, пришли еще два иностранца – итальянский корреспондент с фашистским жетоном, изображающим ликторский пучок и топорик, и немецкий профессор-востоковед, ехавший на торжество по приглашению Вокса. Фронт спора был очень широк – от строительства социализма в СССР до входящих на*

Западе в моду мужских беретов. И по всем пунктам, каковы бы они ни были, возникали разногласия»^[135].

Кроме журналистов приглашали ученых, писателей, артистов, то есть тех, чье мнение могло быть услышано в их родных странах. Сегодня на языке политтехнологов таковых причислили бы к «лидерам общественного мнения». С ними работали особенно тщательно.

4 октября 1935 года Политбюро дает следующее поручение органам внутренних дел: «Поручить НКВД проверить специально деятельность “Интуриста”, связанную с показом наших заводов и фабрик» (15). То есть приезжающему в страну Л. Фейхтвангеру или, скажем, профессору Воланду, СССР представал не только в виде набора исторических достопримечательностей и вазочек с икрой, но и грамотно срежиссированной подборки впечатлений от новых заводов и фабрик: *«Иностранный артист выражает свое восхищение Москвой, выросшей в техническом отношении, а также и москвичами!»*, – скептически воспринимаемый сегодня конференс Жоржа Бенгальского имел свою логику. И далеко не все туристы отличались воландовской проницательностью.

Все тот же В. Бережков, который работал гидом «Интуриста», описывает случай, когда (в едва оправившейся от голода 1933–1934 годов Украине) американскому фермеру демонстрируют якобы типичный процветающий колхоз. И уловка сработала: «На Билла увиденное тоже произвело впечатление. Прощаясь с заведующим животноводческой фермы, он взволнованно произнес:

– Никак не рассчитывал увидеть у вас такое! То, что мы читаем в наших газетах, вранье. Теперь я верю, что коллективный труд не хуже, а может быть, и лучше

индивидуального. Нам у вас будет чему поучиться. Желаю вам успехов!

Потом, немного помолчав, спросил:

– Но скажите, ваша ферма – это не исключение? В других колхозах тоже так разумно ведутся дела? – Видимо, у Билла закралось подозрение, не дурачат ли его.

– Конечно, конечно, – заверил американца заведующий...» (16) Если так работали с рядовым фермером, то сколько же усилий прикладывалось, чтобы обольстить признанных западных писателей, которые, имея перед глазами ужас «великой депрессии», поразившей капиталистический мир, искренне хотели увидеть ростки нового общества. Им показывали достижения, им давали интервью вожди, им льстили. Вот фрагмент интервью И. Сталина 13 декабря 1931 года германскому писателю Э. Людвигу: «... если уж говорить о наших симпатиях к какой-либо нации, или, вернее, к большинству какой-либо нации, то, конечно, надо говорить о наших симпатиях к немцам. С этими симпатиями не сравнить наших чувств к американцам» (17). Немецкие писатели в долгу не оставались: «Я пустился в путь в качестве “симпатизирующего”. Да, я симпатизировал с самого начала эксперименту, поставившему себе целью построить гигантское государство только на базисе разума, и ехал в Москву с желанием, чтобы этот эксперимент был удачным» (Л. Фейхтвангер, «Москва 1937») (18).

Кстати, этому визиту предшествовал весьма красноречивый документ, сохранившийся в наших архивах: «В[есьма] срочно Не п/о [не подлежит оглашению] 27.10.1936 г. В Культ. Просвет. Отд. ЦК ВКП(б)

Тов. Ангарову.

Сегодня, 27 октября, получена телеграмма от Михаила Кольцова о том, что к Октябрьским праздникам в Москву приезжают немецкие писатели – Лион Фейхтвангер и Людвиг Маркузе с женой.

Лион Фейхтвангер едет по приглашению, разрешенному ЦК ВКП(б).

Людвиг Маркузе (с женой) в списке писателей, приглашение которых разрешено в нынешнем году, не имеется.

Имеет большое значение, чтобы Фейхтвангер, который отрицательно относится к процессу, и Людвиг Маркузе, у которого возникли в связи с процессом сомнения в подлинности советской демократии, чтобы они оба именно к октябрьским дням были у нас.

Тов. Кольцов, придавая особо важное значение визиту этих двух немецких писателей, телеграфирует, чтобы им оказано было исключительное внимание, примерно, как и Андре Жиду^[136].

Принимая все это во внимание, Иностранная Комиссия Союза советских писателей СССР просит Вас довести об этом до сведения товарища А.А. Андреева и принять меры, чтобы было дано указание соответствующим органам, чтобы Лион Фейхтвангер, Людвиг Маркузе и жена Людвиг Маркузе получили без задержки визы.

Мих. Аплетин, Зам. Председателя Инокомиссии ССП СССР» (19).

Естественно, иностранные писатели по факту приезда сразу попадали под пристальное внимание отечественных спецслужб. Чаще всего соглядатаями выступали те же сотрудники «Интуриста» и приставленные к персоне иностранца переводчики, столь замечательно описанные в «Мастере и Маргарите» майгели или коровьевы: *«Вот они где у меня сидят, эти интуристы! – интимно пожаловался*

Коровьев, тыча пальцем в свою жилистую шею, – верите ли, всю душу вымотали! Приедет... или на шпионит, как последний сукин сын, или же капризами все нервы вымотает: и то ему не так, и это не так!..»

В эпоху Сталина система психологической обработки работала почти без сбоев – разве что конфуз случился с французским писателем Андре Жидом, которого принимали с распростертыми объятиями, а в благодарность получили острую антисоветскую книгу, написанную им сразу по возвращении из СССР. Позже, в послевоенное время, можно вспомнить хорошо известную историю пребывания в Советском Союзе американского писателя Джона Стейнбека – человека въедливого, наблюдательного. Которому, невзирая на все старания власти, многое удалось подметить.

Желание Стейнбека узнать побольше о стране постоянно натыкалось на закрытость системы: «У нас сложилось мнение, что русские – худшие в мире пропагандисты своего образа жизни, что у них самая скверная реклама. Взять, к примеру, иностранных корреспондентов. Обычно журналист едет в Москву с доброй волей и желанием понять то, что увидит. Но он сразу же подвергается всяким ограничениям и просто не в состоянии выполнять свою работу. Постепенно у него меняется настроение, и он начинает ненавидеть систему не как саму систему, но как препятствие для своей работы. И нет способа быстрее настроить человека против чего бы то ни было». Своего соглядатая – молодую переводчицу – Стейнбек описывал следующим образом: «Это была решительная девушка, и ее взгляды были такими же решительными, как и она сама. Она ненавидела современное искусство во всех его проявлениях. Абстракционисты были для нее американскими декадентами; экспериментаторы в живописи – также представители упадочного направления; от Пикассо ее тошнило; идиотскую

картину в нашей спальне она назвала образцом декадентского американского искусства» (20).

Фантастически интересно и поучительно сравнить тексты американского писателя с воспоминаниями той самой Светланы Литвиновой, переводчицы Стейнбека: «Я, конечно, ему много врал в ответах, как и положено. Потому что, откровенно говоря, врал я, потому что я была **антисоветчица** (выделено мной – К.К.) внутри, я была **диссидентка** уже тогда. Мне мама в 41-м году все рассказала, сказала, чтобы я молчала, не лезла, не была никакой активной. И я многие вещи понимала, что такое сказать нельзя Стейнбеку, что надо говорить так, как положено говорить. Поэтому он меня счел очень коммунистической, социалистической» (21). Обратите внимание – уже «антисоветчица», «диссидентка»... Много таких, говорящих вслух «правильные» слова, но думающих абсолютно иначе, накапливалось внутри системы. Более того, они пока исправно служили ей. И по долгу службы, в том далеком 1947 году, Светлана Георгиевна («антисоветчица» и «диссидентка») писала секретные отчеты о настроениях, высказываниях и намерениях Стейнбека: не задумал ли американец, вернувшись домой, сочинить что-либо антисоветское? На основании этих отчетов была подготовлена победная реляция в ЦК. «В результате пребывания в СССР Стейнбек, убедившись на многочисленных фактах в лживости антисоветской пропаганды в США, сделал следующие заявления:

1. Колхозная система очень эффективна.
2. Советское государство оказывает колхозам большую помощь.
3. Вопреки антисоветской пропаганде, колхозники не являются духовно опустошенными и унифицированными, а, напротив, отличаются яркими индивидуальными характерами.

4. Жизненный уровень колхозников является вполне удовлетворительным, а урожай в тех местах, где он побывал, – выше среднего.

5. Восстановление разрушенных войной районов идет в СССР гораздо быстрее, чем в Западной Европе, и, в частности, в Англии. Во многом успех быстрого восстановления сельского хозяйства обязан колхозной системе.

6. Во всех местах, где он побывал, советские люди выражали дружественное отношение американскому народу и высказывались против войны.

7. Вопреки антисоветской пропаганде в СССР существует полная свобода религии и функционируют церкви» (22).

Можно, конечно, приписать вышеперечисленное к результатам пропагандистской обработки писателя, и было не без того. Но, если посмотреть объективно, за исключением четвертого пункта докладной, все более или менее соответствует действительности. А если мы вспомним историю облапошенного фермера Билла, о чём мы рассказывали выше, то понятно, что обмануть даже острый взгляд стороннего наблюдателя не представляло большого труда. Чем система активно пользовалась в пропагандистских целях.

Кроме тщательно организованных экскурсий для потенциальных агентов влияния, советские пропагандисты учитывали такой немаловажный факт, как материальная заинтересованность иностранных «мастеров слова» в дружбе с СССР. Например, 13 декабря 1935 года заведующий Отделом печати и издательств ЦК Таль информировал вождя и секретарей ЦК о том, что за весь 1935 год в Советском Союзе было издано «сто книг иностранных названий». На 1936-й год предполагалось увеличить эту цифру до 138. Авторы по странам делились следующим образом. Франция – Арагон, Барбюс, Блок, Жид, Мальро, Роллан; Германия – Бехер, Вольф, Генрих и Томас Манны, Фейхтвангер, Франк (все они беженцы от гитлеровского режима); США – Дос Пассос, Драйзер, Синклер Льюис; Англия – Гексли [Хаксли], Форстер, Шоу. Все эти литераторы так или иначе фигурировали в согласованных номенклатурных списках «друзей».

Гослитиздат выплачивал все гонорары в советских деньгах после приезда авторов в СССР. В валюте допускалась оплата в пределах 5-10 % от суммы гонорара. Например, за шесть томов собрания сочинений Андре Жиду выплатили 1500 валютных рублей. Столько же – Генриху Манну, Лиону Фейхтвангеру – 1800 рублей (23).

Но не надо упрощать – вряд ли восхищенное восклицание А. Барбюса «Сталин – это Ленин сегодня» было продиктовано острой материальной необходимостью. Левая интеллигенция западных стран реально увлеклась строительством социализма «в отдельно взятой стране» и видела в советском режиме серьезный противовес набиравшей силу гитлеровской

Германии. Современники остро чувствовали разницу между советскими **интернационалистами** и немецкими **националистами**. Это я к тому, что сегодня либералами упорно делаются попытки поставить на одну доску режим Сталина и Гитлера. Национал-социалистов поддерживали серьезные финансовые круги буржуазии, и опасения Запада относительно политики «правительства национальной концентрации» А. Гитлера были куда меньшими, нежели неприкрытый страх перед возможностью большевизации всего мира. Подробнее об этом – в моей «Опасной книге».

Показательной мне представляется реакция двух режимов на нашумевший в то время роман Э. Ремарка «На Западном фронте без перемен». Гуманистический пафос книги вызывал настороженность по обе стороны идеологической баррикады. Нацисты организовали травлю писателя, сорвали показ одноименного фильма и после прихода Гитлера к власти произведения Ремарка были запрещены. Параллельно в 1931 году в СССР известный писатель А. Виноградов (автор популярной книги «Осуждение Паганини» и др.) в «Литературной газете» тоже выступил против включения в список для внеклассного чтения «На Западном фронте без перемен»: «Как можно воспитывать трудовой энтузиазм школьника, энтузиазм, связанный с добровольным перенесением трудностей, если мы книгой Ремарка будем напоминать ему на каждой странице, что война плоха только потому, что люди на ней умирают или должны переносить боль от ранений контузий и болезней» (24). Но эпоха левацких, столь милых революционерам заскоков, уходила в прошлое и сталинские власти гуманистическую книгу в список все-таки включили! Подобные факты идеологического противостояния СССР и Германии весьма симптоматичны. Более того, они становились известными на Западе. Гуманизм социалистического

строая всячески пропагандировался агитпропом ради обеспечения симпатий мировой общественности в грядущей неминуемой схватке старого и нового миров.

При этом, по мнению хорошо информированного П. Судоплатова, кремлевское руководство было готово к компромиссам с любыми режимами (например, с фашистской Италией Муссолини), если это гарантировало стабильность СССР. Вот вам и итальянский туризм в СССР, и фашистские журналисты, путешествующие на Турксиб... Советские военные корабли даже заходили в итальянские гавани с вполне официальными визитами, о которых рассказывают в своих путевых заметках все те же И. Ильф и Е. Петров: «Молодые советские моряки и молодые неаполитанцы с любопытством разглядывали друг друга.

– Вы большевики? – спрашивали итальянцы.

– Да, мы большевики. А вы кто?

– Мы фашисты, – отвечали они дружелюбно.

И это звучало для наших ушей непривычно и даже дико – ведь слово “фашист” мы привыкли воспринимать, как нечто бранное. Это было равносильно тому, как если бы эти милые юноши отрекомендовались: “Мы – убийцы” или “Мы – злодеи”» (25). Но, как явствует из рассказа, «убийцы» и «злодеи» приплывших большевиков не съели.

Однако после прихода Гитлера к власти обстановка в Европе начала неуклонно накаляться. Отношения с той же Италией полностью испортились после того, как она приняла вместе с Германией участие в интервенции против республиканской Испании. Волшебный глобус Воланда, демонстрировавший Маргарите живые картинки, показывал как раз войну в Испании: *«Вот, например, видите этот кусок земли, бок которого моет океан? Смотрите, вот он наливается огнем. Там началась война».*

Хотя эту войну принято считать первой пробой сил между коричневыми и красными политическими режимами, СССР в нее оказался втянут едва ли не насильно. Дело в том, что проводя внутреннюю политику постепенного возврата к стабильности, реставрации отдельных элементов дореволюционного строя и быта^[137], Сталин меньше всего желал, чтобы его имя ассоциировалось с недавними троцкистскими лозунгами мировой революции и вмешательством в дела Запада.

С начала тридцатых СССР постепенно втягивался в привычный для имперской России многовековой «европейский концерт», заключал договора с буржуазными державами, налаживал торговое сотрудничество, осуществлял культурный обмен. Процесс «троцкистско- зиновьевского антисоветского центра» явился еще одним четким сигналом об отказе от курса на всеобщую революцию, который для всех на Западе олицетворяли два всемирно известных имени – Л. Троцкого и Г. Зиновьева, бывшего председателя исполкома Коминтерна.

Но во внутренней политике, полностью отстранившись от республиканского правительства Испании, сталинское руководство лишь подтвердило бы правоту своих оппонентов – тех, кто решительно выступал против создания внеклассовых «народных фронтов» в странах Западной Европы, настойчиво утверждал, что только пролетарская революция может остановить наступление фашизма, а не заключения союзных договоров с буржуазными Францией и Чехословакией...

«Сталину, Молотову, Литвинову очень скоро пришлось бы признать, что ошибались они, а их идеологически противники – Троцкий, Зиновьев, Каменев – были правы. Предавая Испанскую

республику, группа Сталина совершила бы политическое самоубийство. А открытое вмешательство – открытое возвращение на позиции пролетарского интернационализма, революционной солидарности, (значит) признать перед всем миром и внутренней оппозицией, что прежняя политика была обманом» (26).

Сталин помогал Испании отнюдь не бескорыстно. Оружие поставлялось за золото, которое покрывало расходы на советскую помощь республиканцам плюс размещение золотого запаса Испанской республики в СССР. Испанское золото оценивалось в 518 миллионов долларов^[138]. Плюс поставки других товаров, в частности, фруктов: «Когда началась война в Испании, всюду продавали апельсины, которые мое поколение увидело впервые», – вспоминает В. Катанян (27).

Игра для Советов была архисложной – одновременно поддерживать дипломатические усилия, направленные на создание оборонного союза против Гитлера, не скрывавшего своих агрессивных намерений по отношению к СССР; поддержка республиканцев в Испании, которую западные наблюдатели пристрасно рассматривали как некую часть «мировой революции»; борьба с мощными анархистскими и троцкистскими структурами внутри самой Испанской республики.

В свою очередь, антагонист И. Сталина – Л. Троцкий – прилагал немалые усилия, чтобы возглавить мировое коммунистическое движение, всемерно ослабляя позиции СССР в Западной Европе. Троцкисты в Испании распространяли листовки: «Испанские рабочие! Не доверяйте помощи СССР. Задумайтесь хорошенько над подлинными целями этих новоявленных «друзей»; «Долой вмешательство в испанские дела со стороны Германии, Италии и СССР! Все они торгуют нашим народом!». Троцкисты также активно действовали во время мятежа в Барселоне в 1937 году. Явно

прослеживалось намерение сделать из Испании вотчину новой революционной волны троцкизма. В этой ситуации Сталин предпочел Испанию сдать, видя своего главного противника на тот момент не в Гитлере, который еще не имел общей границы с СССР, а именно в Троцком, своем заклятом враге в борьбе за власть как внутри страны, так и в мировом коммунистическом движении.

В результате сложной игры, вождь умудрился создать внутри СССР всеобщее ощущение своей правоты и верности курса: «Мы жили с ощущением, что Сталин сделал все, что мог для спасения Испанской республики, для эвакуации испанских детей и сирот – в общем, с его именем было связано представление о неукоснительном выполнении нашего интернационального долга» (К. Симонов) (28).

Итак, Ф. Франко волею судеб остался править Испанией на долгие десятилетия, поскольку Сталина больше тревожил Троцкий, нежели судьба Пиренейского полуострова. Но на том удивительные пересечения в судьбе испанского диктатора с коммунизмом не закончились. После его кончины один из самых ярых революционеров XX века Ф. Кастро назначил три дня национального траура на Кубе. Так смыкается революция и реакция. Чудны дела твои, Господи!

А может, это почтение перед той самой пресловутой «твердой рукой», которую столь ценят и яростные революционеры, и отъявленные либералы, когда у них иссякают аргументы. Все-таки любит эта публика «твердые» конечности! Скажем, на демократическом митинге в Останкино 29 июня 1992 года, популярнейший поэт-юморист А. Иванов потребовал установить в стране жесткий авторитарный режим по примеру чилийского диктатора А. Пиночета – почти того же Франко. Мол, исторический опыт показал, что к

демократии можно перейти, только «переболев диктатурой». В ответ на этот людоедский призыв толпа искренних демократов начала скандировать: «Даешь стадион! Даешь стадион!» (29). Для молодых интеллигентов, вошедших в сознательную жизнь после 1973 года, поясню: речь идет о Национальном стадионе в столице Чили Сантьяго, на который, после военного переворота генерала Аугусто Пиночета, свезли 40000 арестованных. Именно там пытали и расстреляли певца Виктора Хару, без суда и следствия убили несколько сот человек. Вот какие увлекательные мечты приятно щекочат воображение современных поэтов. А вы удивляетесь эксцессам Октябрьской революции!

Как известно, призыв А. Иванова был вождями демократии услышан – кровавый расстрел российского парламента не заставил себя долго ждать.

VI

Одновременно с задачей создания положительного имиджа страны в глазах Запада, советская пропаганда обязана была поддерживать консенсус внутри страны. Подразумевалось, что Запад – система исторически отжившая (с одной стороны), социалистический строй – обречен на победу (что прогрессивные деятели Запада якобы давно уже поняли и признали свершившимся фактом), но у границы нужно еще многому успеть научиться, невзирая на его общее разложение.

Естественно, что такая сверхзадача по расщеплению сознания могла быть решена лишь при отсутствии у советских людей реальной информации о положении дел. Здесь хороши были и само отсутствие информации как таковое, и максимальное ограничение выезда сограждан за рубеж, где они могли собственными глазами убедиться в разнице уровня жизни в СССР и в прочей Европе. Недаром такое мощное впечатление на миллионы советских солдат в 1944–1945 годах произвело то, что воюющие государства гитлеровской коалиции поддерживали относительно высокий уровень жизни своих граждан плюс сама культура быта за границей. Ведь имеющая о том объективное представление верхушка дореволюционного общества была либо уничтожена, либо развеяна по миру в результате революции, либо насильственно удерживалась внутри страны^[139]. А простые крестьяне и рабочие, составлявшие основную массу военнослужащих, из рассказов довоенной советской пропаганды такой чудовищной разницы и представить себе не могли.

При Сталине советская юриспруденция без обиняков рассматривала желание покинуть Советский

Союз как тягчайшее государственное преступление. В пресловутой статье 58 Уголовного кодекса РСФСР бегство за границу или отказ вернуться из заграничной поездки были объявлены «изменой Родине» и карались смертной казнью или многолетним заключением. Невозможность сменить страну проживания порождало у многих советских граждан ощущение пребывания в тюрьме и неодолимое желание «свалить». Бегство становилось самоцелью. Бежали дипломаты, разведчики, артисты. Однажды, на радость заграничной прессе, с корабля, на котором в США с официальным визитом приплыл Н. Хрущев, сбежал матрос [\[140\]](#).

Те, кто ехал легально, читали и подписывали многостраничный текст правил поведения советских граждан за границей: не иметь личных дел с местным населением, опасаться провокации и по всем вопросам обращаться к советской администрации. Имелись и неожиданные пункты: в поездке не оставаться ночью в купе с иностранцем другого пола и просить проводника перевести вас в иное купе; а также, без особого на то указания, не иметь дел с коммунистами в стране пребывания и не посещать их собраний.

Недоверие и подозрительность властей к любому, кто ехал за границу, было вопиющим и вызвало обозленность у тех, кто и не думал оставаться за рубежом. А. Довженко в своем дневнике с яростью пишет об установившемся порядке: «В наших всяких анкетах есть несколько, страшных, по сути, говоря, вопросов: был ли за границей? Имеешь ли там родственников? Пребывание за границей не только не засчитывалось гражданину, как что-то хорошее, полезное, наоборот. Это вселяло к нему подозрение, делало его сомнительным... Люди боятся ехать за границу, как китайцы за свою стену...» (31).

М. Булгаков, многократно пытавшийся выехать из СССР в зарубежную поездку, остался в истории отечественной литературы горьким примером, с какими унижениями сталкивался советский человек, желавший увидеть мир. Можно предположить, что зная Булгакова как автора, прямо скажем, не слишком просоветской пьесы «Дни Турбиных», будучи информирована о его разговорах и круге общения, зная о проживавших за границей родных братьях писателя, власть опасалась, что Михаил Афанасьевич задумал побег. Между тем, в частной переписке Булгаков категорически это отрицал, возможно, рассчитывая на перлюстрацию его писем. 22.06.1931 года М. Булгаков писал В. Вересаеву по поводу отправленного им прошения И. Сталину о выезде за границу: «В отношении к генсекретарю возможно только одно – правда, и серьезная. Но попробуйте все уложить в письмо. Сорок страниц надо писать. Правда эта могла бы быть выражена телеграфно: “Погибаю в нервном переутомлении. Смените мои впечатления на три месяца. Вернусь!” И все. Ответ мог быть телеграфный же: “Отправить завтра”» (32).

Идея поездки за рубеж стала «идеей фикс» для Булгакова и, разумеется, его едкого внимания удостаивались те счастливцы, которым такие вояжи удавались: «Видел одного литератора, как-то побывавшего за границей. На голове был берет с коротеньким хвостиком. Ничего, кроме хвостика не вывез! Впечатление такое, как будто он проспал месяца два, затем купил берет и приехал. Ни строки, ни фразы, ни мысли!» (письмо Попову, 28.04.34) (33) В «Театральном романе» под псевдонимом Измаила Александровича Бондаревского с размахом выведен Алексей Николаевич Толстой, славившийся как путешествиями, так и весельем: «Все взоры после

третьей рюмки обратились к Измаилу Александровичу. Послышались просьбы: “Про Париж! Про Париж!”

– Ну, были, например, на автомобильной выставке, – рассказывал Измаил Александрович, – открытие, все честь по чести, министр, журналисты, речи... между журналистов стоит этот жулик, Кондюков Сашка. Ну, француз, конечно, речь говорит... на скорую руку спичешко. Шампанское, натурально. Только смотрю – Кондюков надувает щеки, и не успели мы мигнуть, как его вырвало! Дамы тут, министр! А он, сукин сын!.. и т. д.»

Между тем, в рассказах для широкой публики, всамделишных интервью для советской прессы Париж у графа Толстого выглядел куда менее фееричным и веселым. Вот что, например, излагал Алексей Николаевич в беседе с корреспондентом «Литературного Ленинграда» (1935 г.): «Внешне Париж – это сумасшедший поток людей и автомобилей, роскошных магазинных витрин и пышность грандиозных кафе. Пусть вас не обманывает эта внешность, это – не более чем сутолока растерянных людей... Во Франции миллионы людей остались без работы. Целые отрасли промышленности замерли...» (34). В общем, ужас, а не город. Нечего, граждане, вам там делать – целее будете. И как здесь не вспомнить искреннее изумление лирического героя «Театрального романа», читавшего парижские воспоминания Бондаревского, но уже изданные для широкой публики: «Измаил Александрович писал с необыкновенным блеском, надо отдать ему справедливость, и поселил у меня чувство какого-то ужаса в отношении Парижа».

Черт бы подрал тот Париж, сколько поколений советских людей мечтали об этом месте! Мы знали его улицы и достопримечательности порой лучше, нежели родные города. Мечта о нем почему-то носила какой-то антисоветский характер, как о городе-храме искусства,

эротики, изысканной кулинарии, в общем, всего того, что было полностью противоположно нашим спальным районам, скудным прилавкам и коммунистической пропаганде. Но ведь были счастливцы, которые видели его воочию. Скажем, Ильфу и Петрову Париж очень понравился. По свидетельству Б. Ефимова, они называли его с неподражаемой южной интонацией: «Тот город!» (35) Призрачная столица Франции часто возникает в их произведениях, с различной степенью отчетливости – то как игривые видения Воробьянинова, то как рекомендации Бендера гробовщику: «Поезжай в Париж.

Там подмолотишь! Правда, будут некоторые затруднения с визой, но ты, папаша, не грусти»^[141].

Ах, эти проклятые визы, сколько переживаний из-за них в среде интеллигенции! Дневники Е. Булгаковой просто кишат драматическими заметками: «Были вечером у Калужских. Они рассказывали, что из списка актеров, едущих в Париж, вычеркнули нескольких, в частности, Кторову, Подгорного, Кореневу, Шуру Комиссарова, Настасью Зуеву». Или – еще из той же серии – актерские страдания:

– Вы переменили рисунок роли?

– Ничего я не меняла, а просто наплевали мне в душу, не взяли в Париж, вот я и буду теперь играть формально» (36). Та еще логика – возьму билет и назло кондуктору пойду пешком.

Обстановка «осажденной крепости» изначально присуща советскому строю, однако накануне войны (а после испанских событий точки над «і» были расставлены окончательно) история поиска иностранных изменников и шпионов достигла апогея. Внутренние причины кампании по уничтожению «врагов народа» тесно увязывались с внешнеполитическими факторами с разведками буржуазных государств,

неудачами Испанской Республики, подрывной деятельностью политэмигрантов, в первую очередь, Л. Троцкого. В марте 1939 года, озабоченный активностью Троцкого и надвигающимся кризисом в Европе (дело было уже после «Мюнхенского сговора» Германии, Италии, Франции и Англии), Сталин дал прямое указание П. Судоплатову организовать убийство опасного конкурента: «Троцкий должен быть устранен в течение года, прежде чем разразится неминуемая война. Без устранения Троцкого, как показывает испанский опыт, мы не можем быть уверены, в случае нападения империалистов на Советский Союз, в поддержке наших союзников по международному коммунистическому движению» (37). Опасения Сталина насчет популярности и влияния Троцкого были оправданы, особенно после роли троцкистов в организации мятежа в Барселоне, окончательно погубившего Испанскую Республику. Об огромной популярности Л. Троцкого свидетельствует и тот факт, что на его похороны даже в далекой Мексике собралось 250 тысяч человек.

В антишпионской кампании самыми подозрительными оказываются сами иностранцы или те, кто с иностранцами общается. Многие советские интеллигенты со времен революции имели за границей родственников-эмигрантов, неплохо владели иностранными языками; многие деятели партии активно участвовали в международном коммунистическом движении, что подразумевает великое множество формальных и неформальных связей с иностранцами; и, наконец, членами ВКП(б), в том числе и видными, тоже были иностранцы, такие как Карл Радек или Карл Паукер. Плюс эмигранты, устремившиеся в СССР на работу во время экономического кризиса на Западе, плюс огромное количество этнических меньшинств в самом Советском

Союзе – таких, как корейцы, японцы, немцы, поляки, да кто угодно! Понятно, что в подобных условиях и НКВД могло легко найти себе беззащитную добычу на любой вкус, и реальная деятельность иностранных разведок имела широкое поле деятельности^[142].

О том, как все было запутанно в зазеркалье советского режима, свидетельствует показательный случай из жизни М. Кольцова.

Итак, в гости к маститому советскому журналисту приезжает К. Чуковский: «В комнате, что ближе к парадному ходу, спит мальчик. Это немецкий мальчик, которого М. Кольцов привез из Германии. “Никаких сантиментов тут нет. Мы заставим этого мальчика писать дневник о Советской стране и через полгода издадим этот дневник, а мальчика отошлем в Германию. Заработаем!”» (38) Что же это за торговля мальчиками, на которой хорошо планирует заработать будущая невинная жертва репрессий? Оказывается, М. Кольцов привез из Германии некоего Губерта Лосте – десятилетнего немецкого пионера, сына коммуниста. Мария Остен (гражданская жена Михаила Кольцова), немецкая писательница-антифашистка оперативно создаёт повесть «Губерт в стране чудес», выпущенную в свет в 1935 году в Москве под редакцией своего мужа и со вступительной статьей болгарина Георгия Димитрова. Со свойственной ей энергией и немецким напором Мария организовывала и описывала в книге встречи Губерта с известными людьми – от режиссера Наталии Сац до маршала Семена Буденного, поездки немецкого пионера по стране, учебу его в московской школе. Живо и увлекательно написанная, богато иллюстрированная книга имела большой успех, надо полагать, и финансовый. Несгибаемый коммунист М. Кольцов вскоре был расстрелян, такая же трагическая судьба постигла его немецкую жену, казненную в

подвале Саратовской пересыльной тюрьмы. Никому не нужный Губерт умер 36-ти лет от роду в больнице в Симферополе. Такая вот короткая печальная история, в которой смешались грани эпохи – от состоятельной жизни элиты в начале сказки до трагической развязки в конце. Действительно, «страна чудес»... Неудивительно, по сталинским меркам, что большинство «врагов народа» оказывались именно «немецкими шпионами». Нацизм к тому времени определился как наиболее грозный противник строя. Разумеется, опасность составляли и японские, и польские «шпионы», но именно германские агенты, мнимые и натуральные, особо волновали воображение толпы. И свежих дрожжей особо добавлять не пришлось. Немецкие шпионы будоражили общество еще со времен недавней мировой войны и революции – здесь и царица, и Распутин, и слухи про Ленина в plombированном вагоне. Да и после Октябрьской революции Германия непрерывно находилась в фокусе внимания отечественной пропаганды как государство, стоящее накануне пролетарской революции, арена острых классовых схваток. В тридцатые годы война в Испании воочию показала всю мощь стремительно набравшего силу нацистского Рейха.

Советские люди никак не могли уяснить, каким образом страна, имевшая самую мощную в Западной Европе коммунистическую партию, организованный дисциплинированный пролетариат – то есть все то, что необходимо для социалистической революции, – мгновенно пала к ногам Гитлера, почему национализм победил интернационализм?

«Я смотрел на штурмовиков и эсэсовцев с тем же ощущением, с каким в годы гражданской войны разглядывал на улицах Киева петлюровских “гайдамаков” – со странной смесью любопытства, отвращения и “профессионального” интереса

карикатуриста» (40). А связь между персонажами для острого пера карикатуриста Б. Ефимова несомненно имелась, и самая прямая. Лидер украинских националистов Е. Коновалец честно писал митрополиту А. Шептицкому: «Перед нами путь решительной борьбы под водительством национал-социалистической Германии за собственную державность. Пусть мы сегодня пребываем в услужении у немецких государственных чиновников. Но завтра мы имеем надежду с их помощью и под их водительством добыть собственную державность...» (41) «Украинская державность», какой ее сегодня декларируют украинские националисты, вышла из шинели эсэсовцев. Кстати, гонцом к митрополиту Коновалец определил сына униатского священника Степана Бандеру^[143].

Глава ОУН Е. Коновалец когда-то служил полковником в австрийской армии, а потому пользовался в кругах немецких «наци» некоторым уважением как товарищ по оружию, и в этом отношении он был незаменим. Но после его убийства, организованного все тем же сталинским суперагентом П. Судоплатовым, между оставшимися лидерами ОУН С. Бандерой и А. Мельником началась ожесточенная междоусобная борьба. Уже без всякого участия НКВД бандеровцы ликвидировали членов провода ОУН «мельниковцев» Сциборского, Сушко, Барановского, Грибивского и др. Политический авторитет раздираемой противоречиями ОУН в глазах немцев оказался подорван, и шеф абвера В. Канарис рекомендовал использовать ее лишь как чисто полицейскую и карательную силу (детали см. в «Опасной книге»).

В остром политическом противостоянии 1930-х годов был и короткий период сближения непримиримых соперников, СССР и Германии, который сегодня на все

лады склоняется политиками и историками. Как правило, в негативном контексте. Мало вспоминается то, что мы согласились на пакт «Молотова-Риббентропа» уже после «Мюнхенского сговора», когда западные союзники отдали на растерзание Гитлеру (а заодно Польше и Венгрии) беззащитную Чехословакию; в тот момент, когда на востоке, на Халхин-Голе, грохотали советско-японские сражения, во многом превосходившие по масштабам грядущую германо-польскую войну 1939 года. Не было у нас выхода.

В. Бережков: «Пишут о “разделе Польши” между Гитлером и Сталиным, об “оккупации” Прибалтийских государств, об “аморальном сговоре” двух диктаторов. Но мне, как свидетелю событий, происходивших осенью 1939 года, не забыть атмосферы, царившей в те дни в Западной Белоруссии и Западной Украине. Нас встречали цветами, хлебом-солью, угощали фруктами, молоком. В небольших частных кафе советских офицеров кормили бесплатно. То были неподдельные чувства. В Красной Армии видели защиту от гитлеровского террора. Нечто похожее происходило и в Прибалтике» (42). И не был раздел Польши на сферы влияния «тайным сговором» двух одиноких преступников, что особенно яростно эксплуатировалось перестроечной пропагандой: «Директивы, основанные на подписанных соглашениях, были весьма четкими и определенными: о них знали не только руководители разведки, но и военное руководство и дипломаты. Фактически знаменитая карта раздела Польши, приложенная к протоколам 28 сентября 1939 года, появилась на страницах “Правды”, конечно, без подписей Сталина и Риббентропа, и ее мог видеть весь свет», – подчеркивал П. Судоплатов (43).

В конце войны стараниями И. Сталина Польша получила огромную компенсацию на Западе за счет территории Германии, и эта граница благословлена не

только дипломатами, но и Божьим наместником – Папой Римским. Во Вроцлаве даже памятник Папе Римскому Пию XII соорудили в знак благодарности за одобрение главой католической церкви западных границ Польши^[144]. То есть произошла взаимоприемлемая сделка, о которой сегодня почему-то мало вспоминают. Многие политики мечтают лишить нас исторической памяти, ибо это необходимое условие манипуляции сознанием. Самое позорное, что лоботомия опять осуществляется при помощи т. н. «интеллигенции».

VII

Полученные в результате пакта Молотова-Риббентропа два года передышки, как известно, активно использовались Советами для усиления обороноспособности страны, а некоторые пункты договоренностей, например, в области экономического сотрудничества, подразумевали получение новых образцов промышленной продукции из Германии. Кроме того, в результате интенсивного обмена гражданами между Рейхом и СССР, люди, находившиеся на оккупированных Советами или находящимися в сфере их влияния территориях, могли переселяться в Германию и страны её зоны интересов^[145]. Интересное свидетельство понимания Сталиным неотвратимости грядущей военной развязки дают нам мемуары Эренбурга: «Двадцать четвертого апреля я сидел и писал четырнадцатую главу третьей части, когда мне позвонили из секретариата Сталина, сказали, чтобы я набрал такой- то номер: “С вами будет разговаривать товарищ Сталин...” Сталин спросил меня, собираюсь ли я показать немецких фашистов. Я ответил, что в последней части романа, над которой работаю, – война, вторжение гитлеровцев во Францию, первые недели оккупации. Я добавил, что боюсь, не запретят ли третьей части, – ведь мне не позволяют даже по отношению к французам, даже в диалоге употреблять слово “фашисты”. Сталин пошутил: “А вы пишете, мы с вами постараемся протолкнуть и третью часть...”^[146] Люба, Ирина ждали в нетерпении: “Что он сказал?..” Лицо у меня было мрачное: “Скоро война...”» (44).

Разумеется, сегодня буржуазные историки, либеральные СМИ и малосведущие политики склонны третировать тот строй, который (при помощи Красной

Армии, одолевшей гитлеризм) И.Сталин установил в Восточной Европе, и который продержался там почти полвека. Винят собственно коммунизм, и Сталина, и советский (русский) народ. Однако нужно прямо спросить: а почему советские войска вообще оказались в этих странах?..

Ответ на вопрос, почему положение в Европе к концу войны сложилось именно таким образом, лежит в «Мюнхенском пакте» 1938 года, заключением которого западные державы предали Чехословакию и предоставили Гитлеру полную свободу действий в Восточной Европе с довольно очевидной надеждой на то, что он нападет на Советский Союз и оставит западные демократии в покое. Именно западные демократии **добровольно** пожертвовали Австрией, а потом и Чехословакией. Сталина ожесточенно критикуют за то, что он изменил принципам и нормам человеческой морали, подписав пакт с Гитлером, но при этом критики сознательно игнорируют «Мюнхенский пакт» 1938 года. А также то, что впоследствии Сталин подписывал тайные соглашения с демократическими политиками Рузвельтом и Черчиллем о разделе Европы (Ялтинская конференция), а позднее, и с президентом Трумэном (Потсдамская конференция).

Более того, именно сознательное промедление с открытием до середины 1944 года эффективного Второго фронта обусловило продвижение советских войск на Запад дальше, нежели это случилось бы при более раннем открытии широкомасштабных военных действий союзниками. На решающее значение последнего фактора указывал и один из первых теоретиков, а затем и критиков «холодной войны», видный американский дипломат и историк Дж. Кеннан. Отмечая ошибочность утверждений, будто положение, сложившееся в Восточной Европе после окончания войны, явилось результатом ялтинских соглашений,

Кеннан писал, что единственно возможным путем предотвратить такое положение было бы со стороны западных правительств «создание успешного Второго фронта в Европе в значительно более ранние сроки, обеспечив тем самым, чтобы советские и союзные армии встретились дальше на Востоке, чем произошло на самом деле» (45).

Но в перспективе оказалось значительно важнее, что когда миллионные советские армии дошли до Берлина, Вены, Праги, Будапешта, прошли через территории многих европейских государств, обычные советские граждане увидели, что даже после пяти лет разрушительной войны и гитлеровской оккупации жизнь там оказалась совсем не такой беспросветной, как рисовала наша пропаганда, что во многом население жило лучше, чем советский человек. Не только в Восточной Пруссии, но и в Чехии, Словакии, Венгрии в погребах крестьянских хозяйств висели окорока, колбасы, сыры; велосипеды или часы роскошью не считались, а люди одеты не в лохмотья. Они прочувствовали, какой уровень жизни существует за рубежом, и, возвратившись с фронта, стали другими людьми – с более широким кругозором, с другими требованиями к строю. Впервые за время Советской власти (да и вообще со времени наполеоновских войн) многомиллионные массы могли воочию увидеть плюсы европейской цивилизации. Стремление жить в соответствии с тамошним уровнем жизни многократно усилилось.

Желание ликвидировать разрыв немедленно и заполучить понравившееся приняло форму грандиозного мародерства, которым занимались все – от солдата до маршала. Специально было создано особое Главное управления советского имущества за границей (ГУСИМЗ), которое не только управляло огромным трофейным имуществом, попавшим к нам

после войны. Об автомобилях, скульптурах, картинах и говорить нечего. Их тащили целыми эшелонами.

«Совершенно секретно.

Комиссия партконтроля при ЦК ВКП(б).

Государственной важности.

Особая папка...

26 июня 1948 года в 01:30 на железнодорожную станцию Виттенберг (в советской зоне оккупации Германии) был подан советский воинский эшелон № В-640-07 с заданием погрузки и вывоза на территорию СССР технического оборудования в рамках соглашения по послевоенным репарациям. К эшелону был прицеплен спецвагон, охраняемый офицерами “Смерш”, которыми командовал подполковник Степанов Иван Герасимович, командированный из Москвы. Согласно секретной накладной, находящейся у подполковника Степанова, в спецвагон были погружены трофейные дела из местного архива нацистской партии и гестапо. Однако нам удалось получить неопровержимые доказательства того, что в вагон были погружены 45 (сорок пять) оцинкованных ящиков с изделиями из драгметаллов, золотого лома, монет, золота и платины в слитках без указания адреса получателя в СССР...

Эшелон должен был следовать по обычному маршруту через Варшаву и Брест, далее, на Москву. 29 июля в 2 часа ночи эшелон прибыл на пограничную станцию Брест, где при проверке эшелона военным комендантом станции майором погранвойск Сухоруковым выяснилось исчезновение спецвагона вместе с охраной. Проверка, проведенная по линии следования эшелона, показала, что указанного вагона не было уже на пограничной с Польшей станции Франкфурт-на-Одере. Все попытки выяснить подробности исчезновения спецвагона пока не дали результатов, т. к. органы не содействуют в проведении расследования...» Внизу подпись Шкирятова, а еще

ниже резолюция Сталина: “Что значит – не содействуют?! т. Абакумов! Арестовать пп. Степанова и доложить!”

На ваш исх. № 1884-48Б от 14 сентября 1948 г. Секретно.

В ЦКК при ЦК ВКП(б) т. Шкирятову М. Ф.

Подполковник Степанов Иван Герасимович в кадрах Министерства не числится...» (46)

Случай не единичный. Не отсюда берут начало некоторые «частные коллекции», появившиеся у иных «пролетарских» чиновников после войны?

Взаимному неприятию европейцев и пришедших к ним с востока освободителей от Гитлера добавились и военные эксцессы, вроде изнасилований, языковой барьер, разность в уровне бытовой культуры. «Наблюдательный Гроссман говорил мне:

– Понимаете, когда стальная армада наших танков, гремя, входила в город по пятам отступающих немцев, это производило на поляков сильное впечатление. Но когда наши солдаты и офицеры не знали, как открыть бутылку лимонада, который здесь закупоривают не пробкой, а особым стеклянным шариком, то это вызывало снисходительную и презрительную усмешку. Конечно, это мелочь, но она характеризует отношение» (Б. Ефимов) (47). Высокомерное презрение к простым людям, которые спасли их от коричневой чумы, еще сыграет свою роль в восприятии СССР «просвещенными» европейцами. Тем более, не только армады советских танков прикатили с Востока, но и экзотические верблюды с 8-й гвардейской армией в Берлин ворвались. Азия-с, понимаешь...

И еще важный момент, который часто упускают исследователи.

Наряду с увиденными собственными глазами отличиями между уровнем жизни, это шок нашего народа от того, что такие «передовые»,

«цивилизованные» народы могут быть столь жестоки. Немецкая смесь чистоты, аккуратности, качества прекрасно сочетались с массовыми убийствами. Немецкий (и не только немецкий) солдат мог угостить ребенка шоколадкой, потом пристрелить, если тот мешал ему спать. «Вторая мировая война сказалась на взаимоотношениях России с Западом неизгладимым образом. Две ее черты утвердились в русской памяти на многие десятилетия. Первое – это немыслимая жестокость агрессора, предложенная им борьба на тотальное уничтожение славян, евреев, всех «унтерменшей» восточноевропейского мира. Это было неожиданным, это сделало даже прежнюю сталинскую антикапиталистическую пропаганду бледной, это трагическим образом изменило представление русского народа о соседях на Западе в целом» (48). Восхищение качеством часов не отменяет скорбь о жертвах «точного, как часы» механизма убийства мирных граждан. Это разделение на десятилетия. Тем более, что жестокие бомбардировки слабых стран «передовыми демократиями» продолжаются и не дают оснований для спокойствия. Запад есть Запад, а Восток есть Восток – и вместе им не сойтись.

С. Кара-Мурза: «Нет сомнений и в том, что на геополитические представления советского руководства (и, думаю, самого И.В. Сталина) повлияли труды, созданные в эмиграции в русле культурно-научного направления, называемого *евразийством*.

Это было развитие концепции России-СССР в рамках *цивилизационного* подхода» (49). Речь идет о том, что само развитие СССР вне концепции «мировой революции» диктовало руководству страны необходимость опоры не на космополитические идеалы, а на необходимость освоения восточного и северного экономического пространства собственной страны, опоры на собственные неисчерпаемые ресурсы и, как

следствие, возрождения национальной идеологии, явные признаки чего мы наблюдаем с середины 1930-х годов. Однако послевоенные геополитические реалии требовали непосредственного участия СССР в экономической и политической жизни Европы, а значит – выходом из двух десятилетий изоляционизма.

В те годы ещё существовали иллюзии, будто вчерашних немецких сателлитов, вроде венгров, или исторических недругов, вроде поляков, можно перевоспитать, втянуть в социализм. Как следствие – народы, попавшие в сферу влияния СССР, необходимо неустанно контролировать, а значит – готовить их профессиональные кадры, обучать специалистов для новоявленных коммунистических царьков. В СССР появились студенты «из стран народной демократии». Страна все глубже втягивалась в роль мирового лидера, а значит – вынуждена всё больше изучать, проникаться опытом Запада и его духом, что противоречило изоляционистской концепции 1930-х годов. Развилось острое противоречие между условно «евразийским» и «западным» векторами внешней политики метрополии, что, в конечном итоге, разорвало мировой социалистический лагерь на лоскутки.

Запад манил и дразнил, но оставался недоступен. «Холодная война» началась по-настоящему в 1946–1947 годах, когда исчезли иллюзии насчет советского послевоенного сотрудничества с Западом. Союзнические отношения во время войны с Англией и Америкой обернулись всемирной конфронтацией. Советы интенсивно укрепляли свои политические позиции в странах Восточной Европы, возрастала также напряженность в Италии и Франции, где коммунисты вели ожесточенную политическую борьбу за власть, все более интенсивной становилась гражданская война в Китае. Одновременно с наступлением «холодной войны» надежды Москвы на получение европейских и

американских капиталов для восстановления разрушенной вражеским нашествием экономики развеялись, как дым.

Ранее Сталин рассчитывал получить от Запада до 10 миллиардов долларов на возрождение отечественной промышленности и в качестве предмета для торга предлагал создание еврейской автономии в Крыму на базе существовавших там до войны трех национальных еврейских районов. По его мысли, влиятельные еврейские круги Запада могли поддержать сей проект и финансово обеспечить не только непосредственно связанные с ним траты, но и взять на себя часть расходов по восстановлению экономики европейской части СССР. П. Судоплатов: «С этой целью Михоэлсу и Феферу, нашему проверенному агенту, было поручено прозондировать реакцию влиятельных зарубежных сионистских организаций на создание еврейской республики в Крыму. Эта задача специального разведывательного зондажа – установление под руководством нашей резидентуры в США контактов с американским сионистским движением в 1943–1944 годах – была успешно выполнена. По предложению Молотова руководство ЕАК подготовило письмо, адресованное Сталину, с предложением создать в Крыму еврейскую республику...» (50).

Все эти проекты еще аукнутся Молотову, когда гениальный вождь и учитель обмишурился с приручением Израиля и начнет искать крайних. Из речи Сталина на пленуме ЦК КПСС 16 октября 1952: «Чего стоит предложение Молотова передать Крым евреям? Это грубая политическая ошибка товарища Молотова... На каком основании товарищ Молотов высказал такое предположение? У нас есть еврейская автономия. Разве этого недостаточно? Пусть развивается эта республика. А товарищу Молотову не следует быть адвокатом незаконных еврейских претензий на наш Советский

Крым... Товарищ Молотов так сильно уважает свою супругу, что не успеет мы принять решение Политбюро по тому или иному важному политическому вопросу, как это быстро становится известно товарищу Жемчужиной... Ясно, что такое поведение члена Политбюро недопустимо» (51). Таким образом, тугой узел кремлевских интриг, где сплелись воедино борьба между вождями, необходимость изыскания финансов для скорейшего восстановления экономики, острое соперничество между сверхдержавами, обернулось вдобавок всплеском антисемитских настроений в обществе.

Это было особенно печально, ибо именно И. Сталин выступил в качестве «крестного отца» государства Израиль. Сталин небезосновательно считал, что именно Советский Союз спас миллионы евреев от неминуемой гибели в годы войны. Советский Союз 18 мая 1948 года первым признал еврейское государство де-юре. Тогда, по случаю приезда советских дипломатов, около двух тысяч человек собралось в здании одного из самых больших кинотеатров Тель-Авива «Эстер», на улице стояло еще около пяти тысяч человек, которые слушали трансляцию всех выступлений. Над столом президиума повесили большой портрет Сталина и лозунг «Да здравствует дружба между государством Израиль и СССР!». Хор рабочей молодежи исполнил еврейский гимн, затем гимн Советского Союза. «Интернационал» пел уже весь зал. Затем хор исполнил «Марш артиллеристов», «Песнь о Буденном», «Вставай, страна огромная». Довольно распространенная израильская фамилия Пелед означает в переводе с иврита «Сталин».

Во время войны с арабами по личному распоряжению Сталина в конце 1947 года в Палестину начали поступать первые партии стрелкового оружия. Оружие палестинские евреи получали главным образом через Чехословакию. Четверть века спустя, в 1973 году,

премьер-министр Израиля Голда Меир писала: «Как бы радикально ни изменилось советское отношение к нам за последующие двадцать пять лет, я не могу забыть картину, которая представлялась мне тогда. Кто знает, устояли бы мы, если бы не оружие и боеприпасы, которые мы смогли закупить в Чехословакии»? (52) В Румынии и Болгарии советские специалисты готовили офицерские кадры для Армии обороны Израиля. Основным языком «межнационального общения» в израильской армии был русский. Казалось, евреи должны быть благодарны Сталину и не ставить ему палки в колеса, не вести линию вразрез политике Москвы.

Однако израильское руководство быстро и радикально переориентировало политику своей страны на тесное сотрудничество с Соединенными Штатами. Почему? Руководство молодого государства во главе с Бен-Гурионом, имея пред глазами пример Восточной Европы, с момента провозглашения Израиля опасалось коммунистического переворота. Действительно, такие попытки предпринимались, и они жестоко пресекались израильскими властями. Это и расстрел на рейде Тель-Авива десантного судна «Алталена», названного позже «израильским крейсером «Аврора», и восстание моряков в Хайфе, которые считали себя последователями дела матросов броненосца «Потемкин», и некоторые другие инциденты, участники которых не скрывали своих целей – установление в Израиле Советской власти по сталинскому образцу. Буржуазное правительство Израиля отвернулось от СССР и сделало выбор в пользу богатой, насыщенной еврейскими капиталами Америки.

Сталин почувствовал себя обманутым. По сути, так оно и было. Бешенство диктатора нашло выход в переформатировании уже начавшейся кампании против «космополитов»^[147] в преимущественно антиеврейское

русло. Но главная проблема так и не была решена – денег на восстановление экономики СССР катастрофически не хватало.

VIII

В сентябре 1944 года «Чикаго геральд трибюн» писала: «Еще президент Тафт предсказал, что “дипломатия канонерок” уходит в прошлое, открывая дорогу “дипломатии доллара...” Сейчас, когда крушение Германии и Японии является уже вопросом ближайшего времени, когда огромная Россия лежит в крови и руинах, мы можем с уверенностью заявить: “Час доллара настал!”» (53).

Казалось, еще недавно Сталин весьма серьезно рассматривал вопрос принятия иностранной помощи от США, известный в истории под названием «план Маршалла» – план американского инвестирования в экономику разрушенных стран. Но советский политический курс резко изменился после того, как разведорганы получили важную информацию от агента Дональда Маклина: цель «плана Маршалла» заключается в установлении американского экономического господства в Европе. Международная организация по восстановлению европейской промышленности будет полностью находиться под контролем американского капитала. Источником информации был не кто иной, как министр иностранных дел Великобритании Э. Бевин.

Будучи вскоре реализованным, «план Маршалла» predetermined разницу в экономическом развитии стран Восточной и Западной Европы. США были заинтересованы в ослаблении СССР и в том, чтобы Москва **не согласилась** на воплощение в жизнь былых договоренностей, а потому нарочито выставляла заранее невыполнимые условия. Итак, по «плану Маршалла» реализация всех проектов зарубежной финансовой помощи должна была находиться под

международным, фактически американским контролем. Теоретически даже план этот мог быть приемлемым, если бы являлся **дополнением** к регулярному поступлению репараций из Германии и Финляндии. Однако в сообщении Маклина говорилось, что «план Маршалла» предусматривает **прекращение** выплаты Германией репараций. Это сразу же насторожило советское руководство, поскольку в то время репарации являлись, по существу, единственным реальным источником внешних средств для восстановления разрушенного войной народного хозяйства.

Стало ясно, что британское и американское правительства хотели с помощью «плана Маршалла» приостановить репарации Советскому Союзу и поставить международную помощь под свой собственный контроль. Подобная ситуация препятствовала бы советскому доминированию в Восточной Европе после победоносной войны, а коммунистические партии, уже утвердившиеся в Румынии, Болгарии, Польше, Чехословакии и Венгрии, были бы лишены экономических рычагов власти^[148].

Знаменательно, что через полгода после того, как «план Маршалла» в СССР отвергли, многопартийная система в Восточной Европе была ликвидирована при активном участии Москвы. «В политическом отношении русские во многом вели себя в Восточной Европе так же, как американцы и англичане на западе... Они отстраняли от власти антикоммунистов, но англичане и американцы предпринимали во Франции и Италии такие же меры против коммунистов», – справедливо указывает В. Кожин (54).

В СССР также располагали надежными данными, что президент США Г. Трумэн рассматривает возможность применения атомного оружия, чтобы не допустить победы коммунистов в Китае. Тогда Сталин

сознательно пошел на обострение обстановки в Германии и в 1948 году возник т. н. «Берлинский кризис». В западной печати появились сообщения, что президент Трумэн и премьер-министр Англии Эттли готовы даже применить атомное оружие, чтобы воспрепятствовать переходу Западного Берлина под советский контроль. Однако в Москве знали: у американцев не имелось в наличии нужного количества атомных бомб, чтобы противостоять Советскому Союзу одновременно в Германии и на Дальнем Востоке, где решалась судьба гражданской войны в Китае. Судоплатов: «Для Сталина победа коммунистов в Китае означала громадную поддержку его линии в противоборстве с США. Я хорошо помню, что стратегия Сталина сводилась к созданию опорной “оси” СССР – Китай в противостоянии западному миру» (56). И Китай удалось коммунизировать. Собственно, коммунистический Китай до сих пор во многом определяет мировую политику, постепенно становясь ее решающим фактором, что говорит о прозорливости Сталина, рассмотревшего этот потенциал.

Каждый новый план войны, рождавшийся в недрах Пентагона, предусматривал все более массированные атомные бомбардировки СССР. Так, план «Чариотир» 1948 года исходил из необходимости сбросить 133 атомные бомбы на 70 советских городов, в том числе и на Харьков, в первые 30 дней войны, и еще 200 атомных бомб в последующие два года.

Атомный шантаж сопровождался мощной пропагандистской кампанией. В 1948 году Совет национальной безопасности США рекомендовал предпринять «огромные пропагандистские усилия» против СССР. Планированием зарубежной пропаганды стал заниматься специальный орган – «Аппарат по связям с общественностью за рубежом». Из государственного бюджета ему было выделено в 1949

году 31,2 миллионов долларов, в 1950-м - 47,3 миллиона. Деньги по тем временам баснословные. Ожидания скорой и вполне реальной Третьей мировой войны поддерживали, кроме того, и яростный дух вооруженного сопротивления на западе СССР. К примеру, в партизанских частях «Литовского фронта активистов» вера в помощь Запада существенно возросла, когда новость об атомной бомбе достигла Литвы (57).

После того, как Черчилль в Фултоне в 1946 году произнес свою знаменитую речь и «холодная война» была публично провозглашена, последовало и стремительное похолодание во всех аспектах советской внутрисполитической жизни, начались так называемые «научные дискуссии» в биологии, литературной критике, лингвистике, философии, политэкономии. Обе кремлевские группировки использовали эти кампании, пытаясь найти идеологические огрехи у своих противников. Но, в глазах Сталина, определяющим фактором для назначения победителя в придворных интригах стала внешняя угроза стране.

Именно развитие военно-промышленного комплекса, как главного условия победы в «холодной войне», становится для планов «вождя всех времен и народов» всё более важной жизненной задачей. И его правой рукой в этом деле являлся Л. Берия. Именно он курировал комитеты № 1, № 2, № 3 (по созданию атомной бомбы, реактивных ракет, радиолокационных систем), на базе которых затем будут сформированы основные министерства отечественного ВПК. За Берией в эти годы стояли главные действующие организаторы, вроде И. Курчатова, и руководители «обороны». Это был не каприз вождя, а **необходимость**, вытекавшая из внешнеполитической ситуации.

Интеллигенция снова оказалась в окопах идеологических сражений, а значит, как и положено во

время войны, подчиненной своему генералиссимусу. Казалось бы, мало ли у вождя других хлопот, но язык политики и дипломатии очень важен в полутонах, особенно, когда речь идет о статье или, скажем, графическом послании в одной из главных газет страны. Карикатурист Б. Ефимов вспоминает о поразительном случае, когда соавтором его политической карикатуры стал сам Иосиф Грозный: «... После довольно продолжительной паузы и легкого покашливания в трубке послышался глуховатый голос, который я слышал не раз:

– С вами вчера говорил товарищ Жданов об одной сатире. Вы понимаете, о чем я говорю?

– Понимаю, товарищ Сталин...

Далее автор мемуаров пересказывает сюжет карикатуры и получает от вождя конкретные пожелания. После – результаты госприемки:

– Ну, вот, – сказал Жданов. – Рассмотрели и обсудили. Есть некоторые поправки. Все они сделаны рукой товарища Сталина...

Я снова склонил голову, преклоняясь перед мудростью Вождя» (58).

Казалось бы, Ефимов приводит пример **мелочности** вождя, а на самом деле, это характерное для Сталина внимание к важным **мелочам**. Именно в мелочах таится дьявол. Зрительный образ действует на эмоции сильнее, чем словесный. Карикатура – жанр, приносящий в прессу элемент народного театра, лубка, адресован массовому Ребенку своей и чужой аудитории – с диаметрально различными эффектами. Лубочное послание в главном печатном органе страны, рассчитанное на международный резонанс, дело нешуточное.

После успешного испытания атомной бомбы в СССР риторика холодной войны скорее исполняла функции дымовой завесы, за которой развернулось долгосрочное

экономическое состязание двух систем – состязание на истощение одной из сторон. Эренбург цитирует одного из американских политиков, который в доверительной беседе сказал ему: «Трумэн отнюдь не думает о войне. Он считает, что коммунизм угрожает некоторым странам Западной Европы и может восторжествовать, если Советский Союз экономически встанет на ноги, шагнет вперед.

Непримиримая политика Соединенных Штатов, испытания атомных бомб заставит Россию тратить все силы и все средства на модернизацию вооружения. Сторонники “твердого” курса говорят об угрозе советских танков, а в действительности они объявили войну советским кастрюлям» (59). Таким образом, кастрюли советских домохозяек оказались на линии фронта. И не только мирные кастрюли. В противостояние оказались вовлечены все, даже те, кто по идее, вообще ничего не должен смыслить в мировой политике.

В криминальной мифологии 1950-х годов, истолковывавшей действительность по принципу «враг моего врага – мой друг», с какого-то времени важное место заняла некая далекая и враждебная советскому начальству абстрактная «Америка», с ее замечательным президентом «Трумэном», который однажды начнет войну против СССР, а потом освободит всех уголовников из тюрем. Этот полуфольклорный персонаж – «Трумэн-освободитель», потом «Эйзенхауэр-освободитель» – пользовался в среде осужденных и блатных исключительной популярностью. Некий четырежды судимый Т. 20 октября 1957 г. выкинул из окна камеры две листовки: «Долой власть большевиков. Советам пора выбросить кусок ленинского тухлого мяса из мавзолея, чтоб не разлагался. Да здравствует и процветает Эйзенхауэр, Даллес и Соединенные Штаты капиталистических стран»; вторая листовка гласила:

«Долой власть Советов. Да здравствует Эйзенхауэр с Даллесом и Соединенные Штаты Америки. Долой социализм и коммунизм. Да здравствует капитализм» (60). Это широко распространенное за колючей проволокой представление освобождавшиеся зеки брали «на волю», вносили в свою подпольную субкультуру и экономику. Такие вот неожиданные союзники, не считая прозападной интеллигенции и национал-сепаратистов, имелись поначалу у Соединенных Штатов. Но «война с кастрюлями» только начиналась.

В планах антисоветской войны также большое значение придавалось поощрению раскола не только внутри СССР, но и среди социалистических стран. Директива СНБ-58, утвержденная президентом США Г. Трумэном 14 сентября 1949 года, точно указывала адресата: «Мы должны всемерно увеличивать всю возможную помощь и поддержку прозападным лидерам и группам в этих странах. Начало или усиление психологической, экономической и подпольной войны сильно увеличит шансы на быстрое и успешное завершение войны, ибо поможет преодолеть волю врага в борьбе, поддержит моральный дух дружественных групп на вражеской территории» (61).

«Дружеские группы на вражеской территории» – это, например, бандеровские повстанцы, которых, когда за дело взялись основательно, раздавили без особого труда. А вот «процесс отделения сателлитов» процесс значительно более опасный для мировой системы социализма, поскольку мог привести к развалу лагеря еще до его полного заполнения. Вот почему с такой яростью сталинское руководство обрушилось на пошедшую своим особым путем Югославию под руководством маршала Иосипа Броз Тито («Брозтитутка», как его называли в советских газетах).

Порох передовиц привычно воспламенил советскую интеллигенцию – коварную «бронзтитутку» клеймили на собраниях и в письмах ученые и не очень ученые, художники и писатели. Кое-кто из них даже пострадал материально. Так поэт Н. Тихонов, который должен был получить Сталинскую премию за книгу «Югославская тетрадь», по личному указанию вождя оказался без награды:

– Товарищ Тихонов тут ни при чем, – заботливо пояснял окружающим Иосиф Виссарионович, – у нас нет претензий к нему за его стихи, но мы не можем дать ему за них премию, потому что в последнее время Тито себя плохо ведет... Я бы сказал, враждебно себя ведет. Товарища Тихонова мы не обидим и не забудем, дадим ему премию в следующем году за его новое произведение (62).

Еще один пример внимания к мелочам.

Сталин отчетливо понимал, что значит разброд и шатание в лагере единомышленников перед лицом неприятеля – опыт приведения несогласных «к единому знаменателю» у него имелся преизрядный. Но не нужно думать, что и югославский маршал был великий демократ, раз его «особый путь» одобрили западные страны, своевременно поддерживавшие Югославию огромными денежными кредитами. Скорее, он ближе к ультрареволюционной фразе Л. Троцкого. Во всяком случае, последовавший разрыв Югославии с СССР осознавался тогда в Белграде как итог конфликта между настоящей «революционностью» югославских коммунистов и «реакционностью» Сталина и его окружения. Внутри Югославии борьба за социализм сталинского толка шла нешуточная, и «демократ» Тито подавлял сталинистов теми же проверенными методами – расстрелами и концлагерями. «Били, мучили многих заключенных. Джурича (начальник гвардии Момо Джурич – *К.К.*) истязали. Главного редактора

военной газеты затоптали ногами. Люди умирали с именем Сталина. В титовском концлагере на стене заключенные нарисовали трехметровый портрет Сталина. Сталин во весь рост в шинели спускался по ступенькам... Охранники старательно пытались уничтожить портрет, но им удалось стереть только сапоги» (63).

Как бы то ни было, титовская Югославия стала своеобразным мостиком между социалистической Восточной Европой и Западным миром. Причем данный пример социалистической модели государства оказался настолько удачен, что потребовалась спровоцированная жуткая гражданская война на Балканах в 1990-х годах, чтобы соблазн социалистического ренессанса и альтернативного пути социального развития навсегда исчез из сознания западных интеллектуалов.

Второй после Югославии пример развитого социалистического общества, более удачного, нежели в СССР – Восточная Германия, уровень жизни в которой считался, по нашим меркам, весьма высоким. Однако витрина «Западного мира» в виде ФРГ и Западного Берлина, непосредственно соприкасавшихся с зоной оккупации СССР, выглядела куда соблазнительней и красочней социалистических будней Восточной Германии. Состязание с миром частного бизнеса в области поддержания необходимого уровня жизни оказалось для СССР и его союзников непосильной задачей. И восточные немцы массово потянулись на Запад, голосуя ногами против социализма.

Оптимальным способом для защиты социалистического лагеря и явилось осуществленное в ночь с 12 на 13 августа 1961 года закрытие границы между Восточным и Западным Берлином – сначала путем установления проволочных заграждений, а затем возведения бетонной стены. Так была решена в практическом плане наиболее острая проблема –

необходимость остановить поток беженцев из ГДР. С течением времени берлинская стена стала восприниматься как нечто отвратительное, бесчеловечное, стала символом «холодной войны». Но с учетом конкретных исторических обстоятельств, ее возведение предотвратило возможность гораздо более опасного развития событий – вплоть до прямого столкновения с применением ядерного оружия. Знаменитый западногерманский политик Ф.-Й. Штраус, рассказывая о варианте применения ядерного оружия в случае блокады Западного Берлина, сказал: «К счастью, эта идея в воскресный день 13 августа 1961 года превратилась в макулатуру. Берлин разделила стена» (64). Это не очень приятное решение, – сказал своим приближенным Кеннеди, – но стена чертовски намного лучше, чем война» (65).

А что касательно Берлинской стены, немцы могли вообще не переживать, а спокойно дожидаться назначенного срока: еще летом 1978 года было опубликовано пророчество Нострадамуса на 1991 год. Согласно ему, в 1991 году «Германия падет и варварская дружина будет совсем изгнана», – что не преминул отметить в своих записных книжках В. Ерофеев (66). Вот коммунистическая ГДР к назначенной Нострадамусом дате и развалилась, а «варварская дружина», спешно распродав военное имущество Западной группы советских войск в Германии, вернулась восвояси – кормить таежный гнус.

IX

Свобода передвижения – вопрос весьма относительный. Нигде в чистом виде ее нет, и, как только подняли пресловутый «железный занавес», Европа высокомерно отгородилась от нас визами, справками и шенгенами. А США всегда были отделены не только океаном, но и психологическим барьером – ну очень они далеко. Да и литературные произведения наших классиков значительно подробней описывали старушку-Европу, нежели Новый свет, который остается далекой голливудской сказкой.

– *Значит, вы были в Штатах? Это очень и очень чрезвычайно!* – недоверчиво расспрашивают пассажиры электрички вслух фантазирующего Венечку.

– *Негров там нет и никогда не было, это я допускаю... Я вам верю, как родному... Но скажите: свободы там тоже не было и нет?.. Свобода так и остается призраком на этом континенте скорби?*

Замечательный вопрос, который интересует каждого советского интеллигента. Если нет свободы у нас, есть ли она еще где-нибудь, может ли она вообще существовать в природе?

– *Да – свобода так и остается призраком на этом континенте скорби, и они к этому так привыкли, что почти не замечают.*

Свободы нет нигде, во всяком случае, в русском понимании «воли», и уж меньше всего в США. Вспомним, что ко времени написания «Москва – Петушки», самая передовая демократия (как она считает) пережила дикий разгул маккартизма и едва отменила расовую сегрегацию. Относительно недавно даже попытка показать, что цвет кожи не имеет для нормального человека значения, считалась в США

политической манифестацией и вызовом традиционным американским ценностям: «Перед посадкой нам раздали листочки, которые нужно было заполнить. Помимо привычных вопросов, имелся вопрос о расе... Вместо ответа на вопрос о расе я поставил черточку. Мой антирасизм заставил нас лишний час проторчать в домике, где помещался паспортный контроль. Один из сотрудников посольства рассказывал, что полицейский звонил начальству: «Красные не хотят ответить, белые они или цветные...» (И. Эренбург) (67). Да и цензура за океаном имелась. П. Савицкий (евразиец) сообщал Гумилеву в апреле 1961 года: «Две новейших ваши статьи... сверхвнимательно изучает американская цензура, как они того и заслуживают» (68). Сегодняшние узники Гуантанамо, расстрелы полицейскими заподозренных граждан без суда и следствия, военные преступления в Афганистане, Ираке, Сирии... Учить демократии они нас будут...

А тогда еще учили мы. Широкое антиколониальное движение разваливало одну империю за другой, и происходило это при непосредственной поддержке, в том числе и экономической, Советского Союза: «...*пусть подлец-африканец строит свою асуанскую плотину, пусть строит, подлец, все равно ее ветром сдует*», – вдохновенно пророчит Венечка. Кто забыл, подскажу: громадная Асуанская плотина на Ниле с 1960 года строилась в Египте при финансовом и техническом содействии СССР. «Растет Асуанский богатырь» («Правда», 2.01.1967), «Символ советско-арабской дружбы» («Правда», 10.01.1968), «Асуанские будни» («Правда», 8.01.1968) – вот газетные заголовки тех лет. А Египет, в свою очередь, стал при президенте Гамале А. Насере одним из влиятельнейших государств так называемого «третьего мира», молодых стран, вышедших из-под колониального контроля старых европейских метрополий.

В этих государствах, занимавших едва ли не половину земного шара, развернулось острое соперничество между сверхдержавами. Причем, методы порой использовались самые нечистоплотные. Так, зодчий независимого Египта, будущий Герой Советского Союза президент Насер не побрезговал взять себе в подручные множество беглых нацистов. Дело в том, что тесные связи с исламистами и арабскими националистами дали сотням нацистов возможность в послевоенные годы перебраться на Ближний Восток. Заранее созданный «Арабо-германский центр эмиграции» после Второй мировой войны перебросил в арабские страны региона почти полторы тысячи гитлеровских офицеров (к концу 1950-х годов эта цифра выросла до 8000)^[149]. Характерная деталь. В 1953 году в западной печати появились сообщения о том, что А. Гитлер все еще жив. В этой связи египетский еженедельник «Аль Муссавар» обратился к ряду египетских политических деятелей, в том числе к Анвару Садату, будущему президенту Египта, а в то время члену Революционного трибунала, с вопросом: «Если бы вы захотели направить Гитлеру личное письмо, что бы вы написали ему?» И затем еженедельник опубликовал текст письма Садата, в котором он поздравлял Гитлера с «воскрешением», выражал уверенность, что Германия тоже возродится «и вновь станет такой же, какой она была прежде», и что Гитлер вернется туда или там появится новый Гитлер (69). Наивно думать, что советские спецслужбы не знали, с кем имеют дело. Знали, но работали.

В 1951 году, когда эсэсовское засилье в Египте достигло своего пика, в Каирский университет поступил племянник иерусалимского муфтия аль-Хусейни. Этого студента звали Рахман Абдул Рауф аль-Кудуа аль-Хусейни, но в деканате он записался как Ясир Арафат.

Мы сейчас не будем касаться деятельности Арафата, многие аспекты которой являются откровенно террористическими. Нас больше интересует его дядя-муфтий, получивший от самого Гитлера почетное звание «фюрера арабского народа». В январе 1944 года после личного благословения иерусалимского муфтия аль-Хусейни состоялось формирование Мусульманской дивизии СС «Нойе-Туркестан». И вот племянник «фюрера арабского народа» ходит в лучших «друзьях» народа советского, а пригревший сотни нацистов Насер получает от Хрущева звание «Героя Советского Союза». Как же дошли мы до жизни такой?

...Персонажа «Золотого тельца» заграничного сиониста Бурмана в СССР больше всего интересовал еврейский вопрос. И он страшно удивлен, узнав о его отсутствии:

- Как же может не быть еврейского вопроса? - удивился Хирам.

- Нету, не существует.

Однако, невзирая на оптимизм соавторов, вопрос был. Огромное еврейское влияние в революционные и послереволюционные годы отражалось на всех сферах жизни Советского Союза. А значит, и вопросы накопились. Возвращаемся в наши палестины.

В 1920-е и 1930-е годы в СССР действовало Еврейское телеграфное агентство (ЕТА), независимо от официального ТАСС распространявшее по всему миру свою информацию о Советском Союзе. Этому ЕТА в 1931 году И. Сталин даже дал интервью по неизменно животрепещущему вопросу об «антисемитизме». Он дословно сказал: «Национальный и расовый шовинизм есть пережиток человеконенавистнических нравов, свойственных периоду каннибализма. Антисемитизм, как крайняя форма расового шовинизма, является наиболее опасным пережитком каннибализма... В СССР строжайше преследуются законом антисемитизм как

явление глубоко враждебное советскому строю. Активные антисемиты караются по законам СССР смертной казнью» (70).

Но где-то к середине 1940-х годов положение стало меняться. Зверства НКВД, значительная часть кадровых сотрудников которого были евреями, сталинские репрессии, антисемитская пропаганда нацистов, проблемы эвакуации и возвращения из нее – все это заложило мощный фундамент под начавшуюся в конце сталинского правления кампанию, которая до сих пор считается ярким проявлением государственного антисемитизма. Возможно, народное создание так и восприняло «борьбу с космополитизмом», смешав ее с реальными целями Сталина, из которого сегодня старательно лепят образ заклятого антисемита «а-ля Гитлер».

На самом деле, основные усилия Сталина после войны были направлены на усмирение нарождавшейся фронды внутри государства и на распространение имперского влияния Советского Союза – сначала на страны Восточной Европы, находившиеся у наших границ, а затем везде, где Советскому Союзу составляли конкуренцию атлантические союзники. Важным пунктом в его стратегии стало создание просоветского еврейского государства в Палестине. Сталин говорил соратникам: «Давайте согласимся с образованием Израиля. Это будет как шило в заднице для арабских государств и заставит их повернуться спиной к Британии. В конечном счете, британское влияние будет полностью подорвано в Египте, Сирии, Турции и Ираке» (71).

Создание государства Израиль было продекларировано Советом Безопасности ООН, и СССР активно поддерживал это решение. На заседании Совета Безопасности советский представитель Громыко сказал: «Тяжелые жертвы, которые еврейский народ

понес в результате произвола гитлеровцев в Европе, еще более подчеркивает необходимость для евреев иметь свое собственное государство и справедливость требований о создании самостоятельного еврейского государства в Палестине» (72). Другое дело, что «неблагодарное» государство в короткий срок превратилось вместо союзника СССР в сателлита США, а это в планы «кремлевского горца» уж никак не входило.

Взаимное раздражение власти и еврейства косвенно усиливалось фактом грандиозных потерь во время войны еврейского народа в многовековых местах его расселения – здесь также ощущается горечь и обида уцелевших евреев на советское руководство за его фатальные просчеты в начале войны. Все еврейские местечки на западе СССР были уничтожены на корню, а интеллектуальная элита значительно прорежена репрессиями тридцатых годов. Возрождение «малой родины», которая так много значит для любой культуры, стало чисто физически и психологически невозможно. Произошел радикальный разрыв с прошлым, с тем, что подпитывает национальную культуру (в т. ч. и язык идиш) – прервалась связь поколений. Полностью исчезло понятие **«малой родины»**, которой, с определенной натяжкой, можно было назвать места многовекового проживания евреев в черте оседлости.

Внимание целого народа переключилось на свежее испеченное государство Израиль. Эти психологические нюансы имели значение и для рядовых евреев, и для кремлевских небожителей. О жене Ворошилова – Голде Горбман – ее родственница рассказывает: «Когда возникло государство Израиль, я услышала от Екатерины Давыдовны фразу: “Вот теперь у нас тоже есть родина”. Я вытаращила глаза: это говорит ортодоксальная коммунистка-интернационалистка!» (И значит, Советский Союз, как

тогда говорилось, «родина трудящихся всего мира» для нее родиной не был?!) (73). Сталин не учел, что для народа, лишенного своего ареала расселения, появление в святом для каждого еврея месте собственного национального государства станет фактором сакральной важности.

Взаимное притяжение между еврейской эмиграцией (включая дореволюционную) и советской элитой несомненно. Здесь и родственные связи, и общие социалистические убеждения (палестинский киббуц, как пример «социалистического хозяйства»), и возвращенное национальным воспитанием понимание ценности Иерусалима как мирового религиозного центра. Появилась реальная альтернатива сталинскому социализму. Взамен утраченных еврейских местечек – перспектива жизни возрожденного народа на исторической родине. И то, что этой перспективе мешает – проарабская внешняя политика СССР. Тоска по утраченной родине плюс концентрированная ненависть элиты за разгром 1937 года да плюс реальная сложность быта в СССР и общее разочарование в советском проекте – вот те факторы, которые сплотили еврейскую интеллигенцию, превратили ее из сообщницы советского строя в его коллективного противника.

Западной пропагандой по ходу «холодной войны» настойчиво подчёркивалось положение евреев в СССР, как гонимых, преследуемых коммунистической властью людей. Это, во-первых, мобилизовало евреев и Запад на защиту их попраных прав; а, во-вторых, ставило крест над деликатной проблемой роли евреев в Революции и в управлении страной в течение следующих за революцией 25 лет, включая коллективизацию и репрессии. С помощью пропаганды неоднозначное прошлое с лихвой перекрывалось в общественном сознании нелепой кампанией против «безродных

космополитов» и слухах о якобы готовящихся депортациях еврейского народа в восточные области СССР.

Израильская проблема на долгие десятилетия стала весьма важной во внешней политике СССР, что определялось как стратегическим положением Палестины, так и многочисленным еврейским населением самого Советского Союза. Проблемы Израиля со своими собутыльниками обсуждает даже В. Ерофеев: *«Я расширял им кругозор по мере сил, и им очень нравилось, когда я им его расширял: особенно, что касается Израиля и арабов. Тут они были в совершенном восторге: в восторге от Израиля, в восторге от арабов, и от Голанских высот в особенности. А Абба Эбан и Моше Даян с языка у них не сходили. Приходят они утром с блядок, например, и один у другого спрашивает: “Ну как? Нинка из 13-й комнаты даян эбан?”, а тот отвечает с самодовольною усмешкою: “Куда ж она, падла, денется? Конечно даян!”».*

Реальность, правда, не так весела – все-таки война есть война, а уж израильские вояки меньше всего проявляли склонность к гуманизму. Вот что говорил один из лидеров Израиля М. Бегин в 1958 году, обращаясь к офицерам своей армии: «Вы, израэлиты, не должны быть сердобольными, когда убиваете своего врага. Вы не должны сочувствовать ему до тех пор, пока мы не уничтожим так называемую арабскую культуру, на развалинах которой мы построим свою собственную цивилизацию» (74). Эти слова многое объясняют в природе того (и не только того) конфликта.

И еще одна характерная особенность еврейства в СССР. В закрытом для внешнего мира государстве евреи стали едва ли не единственным «способом передвижения», дабы выбраться из страны. Что-то на манер чартерного перелета беса из Диканьки в

Петербург. Причем эта странная традиция зародилась буквально с первых лет Советской власти. Там, где другим бунтарям грозила тюрьма или даже расстрел, провинившихся евреев Советы просто высылали в Палестину. Например, в марте 1924 году студент С. Гурвич, как член нелегальной сионистской группировки, был выслан на три года на Урал. Но за этим решением следовала важная оговорка: «В случае его ходатайства разрешить выезд в Палестину через один из южных портов» (75). В июне 1926 года тринадцать человек высланы из Москвы «как сионисты» в Палестину вместо Сибири и Казахстана. Подобные примеры можно множить. И, если внимательно посмотреть документальный фильм Дзиги Вертова (Кауфмана) «Человек с киноаппаратом», можно увидеть кадр расписания движения пароходов по регулярному маршруту Одесса – Яффа.

В конце концов, процесс выезда евреев из СССР, усилившийся после появления государства Израиль, превратился в омерзительный торг: едет сионистский лидер Бронфман в СССР – надо выпустить две-три еврейские семьи, едет академик Арбатов в США – надо выпустить еще кого-то^[150]. Торговля (или бартер) людьми симпатий к Советскому строю тоже не добавляли. Не говоря уже о прямой отсылке к библейскому «Отпусти народ мой». Со всеми дальнейшими неприятными последствиями для фараона.

Хотя новая имперская модель государства вызывала у большинства населения приятное чувство победителей, как и признание того факта, что их жертвенные труды не напрасны, но молодежь все же хотела внятного ответа – и по репрессиям, и «кто виноват», и «что делать»? Система предложила отговорку – виноват Сталин. Однако она рождала новые вопросы: почему Сталин единолично оказался у власти? Диктатура ли это? А может мы и сами империалисты?

Сотни тысяч советских военных находились за пределами СССР, объективно обеспечивая безопасность страны от вполне реальной угрозы Третьей мировой войны. И от народных восстаний в ГДР, Венгрии, Чехословакии. «Почему призывники 35 года погибли тысячами в Венгрии? За что в наших ребят-призывников бросают камни в освобожденных странах? Разве мы, молодежь, виновата?» – вопрошал В. Ерофеев в «Записках психопата». А потому и бросали, что страны были не только освобожденные, но и оккупированные. И мы силой подавляли попытки занятых нами стран освободиться от оккупации. Так было и в 1953 году в Восточной Германии, и в 1956 году на территории недавней союзницы Гитлера Венгрии, откуда пошла первая серьезная угроза развала соцлагеря.

Сегодня, рассуждая о «демократическом» венгерском восстании, почему-то забывают о сотнях жертв среди местных коммунистов. Скажем, после захвата Будапештского городского комитета партии свыше 20 коммунистов были повешены толпой. Демократия в стиле «арабской весны». Фотографии повешенных коммунистов со следами пыток, с лицами, обезображенными кислотой, обошли весь мир. Других

пойманных партийных руководителей огромными гвоздями прибавали к полам, вложив в их руки портреты Ленина, и даже кастрировали. Зафиксированы случаи убийств советских военнослужащих в увольнении и часовых в различных городах Венгрии.

Напомню также, что всего десятилетием ранее описываемых событий венгры числились верными союзниками Гитлера и оккупированы поделом. Как-то забылось, что тогдашний лидер Венгрии Имре Надь [\[151\]](#) денонсировал Варшавский договор, чем поставил под непосредственную угрозу безопасность нашей страны. И мне, откровенно говоря, наплевать, что после событий в Венгрии в советское посольство в Париже на официальный прием в честь 7 ноября, в знак протеста демонстративно не пришел никто из представителей тамошней левой интеллигенции. В то же время, когда сама Франция, пытаясь не допустить национализации Суэцкого канала, увязла вместе с Англией в египетской авантюре. Нам также нужно напоминать людям, что вытворяли «борцы за демократию» – вместе с их доблестными парашютистами и военными моряками.

Другое дело, что бездарная советская пропаганда, вместо того, чтобы говорить своим людям правду, несла откровенную ахинею на манер некого Съедина, главного редактора журнала «Новое время», который заявил на комсомольском собрании в МГУ: «На улицы Будапешта вышли поклонники Пикассо и прочая фашистская сволочь» (76). Убедили ли подобные нелепые объяснения продвинутой столичную молодежь, будущих «шестидесятников»? Нет, но навсегда посеяли ненависть к лживым словам доморощенных геббельсов, то бишь, съединых. Маленькая ложь рождает большое недоверие.

После упомянутых венгерских событий вопрос исправления международного имиджа СССР был возложен на фестиваль молодежи и студентов в Москве, который состоялся в 1957 году. Следует сказать, что с началом «холодной войны» советское руководство публично развязало открытую и непримиримую борьбу за мир. Ее вели как представители отечественной интеллигенции – такие как широко известный на Западе И. Эренбург, так и все сочувствующие делу мира «люди доброй воли».

Это к ним взывает лирический герой В. Ерофеева: *«Я обращаюсь ко всем родным и близким, ко всем людям доброй воли, я обращаюсь ко всем, чье сердце открыто для поэзии и сострадания...»*

Несколько странное словосочетание «люди доброй воли» прочно вошло в речевой обиход советских граждан с 19 марта 1950 года, когда в Стокгольме 3-я сессия Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира опубликовала свое знаменитое антивоенное воззвание, где, в частности говорилось, «Мы призываем всех людей доброй воли подписать это воззвание» («Правда», 1.04.1950). Словосочетание восходит к словам известной католической молитвы «Мир людям доброй воли» – *Pax hominibus bonae voluntatis*.

И там же, в «Москва – Петушки», отсылка к Фестивалю молодежи и студентов, с его «Гимном демократической молодежи»: «Эту песню запевае молодежь, эту песню не задушишь, не убьешь...» Вот и Венечка берет мажорную ноту: *«Это уже даже не аромат, а гимн. Гимн демократической молодежи. Именно так, потому что в выпившем этот коктейль вызревает вульгарность и темные силы. Я сколько раз наблюдал!..»*

Действо, когда улицы доселе закрытой Москвы заполнили тысячи иностранцев, которые в

подавляющем большинстве оказались довольно милыми и веселыми молодыми людьми, произвело сильнейшее впечатление на советское общество: «Мне кажется, именно фестиваль 1957 года стал началом краха советской системы. Процесс разложения коммунистического общества сделался после него необратимым, – пишет А. Козлов. – Фестиваль породил целое поколение диссидентов разной степени отчаяния и скрытности» (77). Оказалось, что иностранцы существуют на самом деле, с ними можно разговаривать, хотя они представляют другой, почти недоступный советскому молодому человеку мир. У известного диссидента А. Альмарика читаем: «Со студенческих времен я стремился иметь знакомых и друзей среди иностранцев... нам хотели внушать, что советский мир – это замкнутая сфера, это вселенная, мы же, проделывая в этой сфере дырки, могли дышать иным воздухом... Слову “иностранец” придавался и придается в России мистический смысл – и дело не только в сооружаемых властью барьерах, но и в вековой привычке к изоляции и комплексе неполноценности, которым советский режим придал форму идеологической исключительности» (78).

Во-вторых, на фоне раскованности заезжей молодежи, западного поколения рок-н-ролла, особенно заметной стала наша заскорузлость, провинциальность, незнание языков и неумение общаться с миром. А это тоже комплексы, и новые судорожные попытки прикрыть провинциальность казенными шаблонами. В любой живой порыв вносить комсомольский суконный лозунг – это наше, чего не отнять, вплоть до сегодняшних дней. Л. Гурченко вспоминает о работе над фильмом «Девушка с гитарой», который снимался накануне фестиваля молодежи и студентов – летом 1957 года: «...в самый разгар съемочного периода пришло пожелание-директива: в канву фильма вплести

мотив фестиваля... И на всем протяжении съемок в картине то и дело что-то исправляли, добавляли, переписывали. Финальный концерт самодеятельности был снят совместно с иностранными коллективами почти документально. Их привозили к нам на съемку буквально на несколько часов» (79). Но, несмотря на все потуги, фильм провалился. Так далек оказался комсомольский фальшивый апофеоз самодеятельной песни от реальной жизни – общения разнонациональной молодежи, с ее любовью и выпивкой. Однако главное было сделано: в потоке новостей, быстро увлекающем современного человека, наказанная Венгрия оказалась основательно забыта, заслонена другими событиями.

Но вернемся к «войне за мир» в аллюзиях Венедикта Васильевича Ерофеева^[152]. В «Москва – Петушки» автор не мог отказать себе в удовольствии напомнить еще один штамп эпохи «холодной войны» и описал алкогольный коктейль «Дух Женевы». Речь идет о встрече на высшем уровне глав правительств четырех великих держав: Н. Булганина, Д. Эйзенхауэра, А. Идена и Э. Форы – в июле 1955 года в Женеве. «Хороший», «мирный» «дух Женевы» иронически контрастирует в восприятии читателя поэмы с невыносимой вонью, которую должен распространять сочиненный Ерофеевым коктейль.

Истинный «Дух Женевы» может быть охарактеризован, во-первых, как дух новизны: 18 июля, 1955 года, в первый день Женевского совещания четырех великих держав, Эйзенхауэр предложил «вдохнуть новый дух в нашу дипломатию». Во-вторых, это дух взаимопонимания и сотрудничества. Так, в заявлении Н. Булганина от 23 июля говорилось о «духе сотрудничества, который был проявлен в Женеве». Н. Хрущев: «И хотя мы ни о чем не договорились, но поняли, что можем разговаривать за столом

переговоров. Впервые за послевоенное время встретились главы четырех великих держав. Тогда возник так называемый «дух Женевы» народы вздохнули свободнее, все почувствовали, что война, на пороге которой мы стояли, отодвинулась» (80). Однако настойчивые попытки США и их союзников пересмотреть послевоенное устройство в Европе, изменить советскую западную границу и социалистический строй в Восточной Европе исключали возможность добиться быстрого поворота к нормализации отношений между Востоком и Западом. Именно поэтому «дух Женевы» оказался столь эфемерным.

Однако после первой встречи стали возможны последующие рандеву, в частности поездка Хрущева по США, которая вылилось в грандиозную пиар-акцию. Его популярность в Америке оказалась намного выше, чем на родине, а рейтинг превысил рейтинг Кеннеди. Нечто подобное мы могли наблюдать во время зарубежных вояжей М. Горбачева. Простота, с которой вел себя советский лидер, ошеломила американцев. На фоне лощеных политических деятелей толстяк Хрущев в мешковатом костюме, с манерами провинциального фермера и грубоватым юмором выглядел «человеком из народа», что импонирует большинству людей. А его неожиданные поступки постоянно вызвали неподдельный интерес местной прессы. Например, в Нью-Йорке во время сессии Ассамблеи ООН в сентябре 1960 года он демонстративно заехал в гости к пребывавшему в США Фиделю Кастро, остановившемуся в скромной гостинице в негритянском районе.

Но, как обычно, в нашей памяти – не без помощи СМИ – остаются другие кадры: Хрущев на трибуне ООН грозит кузькиной матерью, стучит кулаками во время заседания... Из воспоминаний Н. Хрущева: «Обсуждались все вопросы очень бурно. Представители

тех или других государств поддерживали те предложения, которые им импонировали... Представители буржуазных стран шумели, стучали о свои пюпитры, подавали реплики, устраивали обструкцию ораторам в том месте их речей, которое считали неприемлемым. Мы стали платить им той же монетой. Я впервые в жизни побывал на таком заседании, но быстро перенял форму протеста и стал участвовать в этом, поднимая шум, стуча ногами и пр.» (81).

Но и эти скандальные выходки опять-таки способствовали славе Хрущева в СМИ, а значит – и среди простых американцев. Его популярности за океаном также послужило и то, что Нина Петровна Хрущева (жена) неплохо владела английским языком, а еще больше в этом преуспела Рада (дочь). Раду и ее мужа Алексея Аджубея в Риме принимает сам папа Павел IV и, что примечательно, в завершении состоявшейся беседы святейший отец произносит: «Да благословит Господь вас и всех, кто вам близок», чем, по мнению опытных комментаторов, благословил также атеиста, материалиста, коммуниста Никиту Хрущева.

А западные интеллектуалы в начале 1960-х благословляли даже не отдельного лидера компартии, а весь социалистический строй. Они признали демократию практически недостижимой в развивающихся странах и поскольку, по их мнению, СССР был развивающейся страной, он попадал под эту оценку. Превозносимый прежде «свободный рынок» (колыбель демократии и т. п.) стал считаться «прогрессивными» интеллектуалами лишь империалистическим инструментом гарантированного удержания незападных стран в состоянии отсталости. Соответственно, социализм (даже советского типа) получил право называться орудием прогресса, достигаемого в борьбе с западными ценностями.

Капитализм погрузился в пучину самокритики. Разумеется, Запад знал и Маркса, и Шпенглера, но никогда еще критическое умонастроение не становилось в обществе практически господствующим. Не рыночный механизм, а социализм стал считаться дорогой в будущее. Наконец сбылось то, о чем мечтали с 1920-х годов: Советская Россия первый и единственный раз стала для Запада почти безусловным примером развития.

Частично это можно объяснить конкретными достижениями Советского Союза: Советы первыми стали использовать энергию атома в мирных целях, первыми вышли в космос, создали суда на воздушной подушке, синхрофазотрон и т. п. Один из ведущих западных идеологов того периода – И. Уоллерстайн – расставил все точки над «і»: «Мы живем в переходный период, двигаясь в направлении социалистического способа производства» (82).

Все это были обнадеживающие сигналы о том, что сосуществование двух общественных систем возможно, но 1 мая 1960 года советская ПВО сбила американский самолет-разведчик, осуществлявший полет над территорией СССР, а его пилот Ф. Пауэрс был захвачен в плен. Н. Хрущев: «Нам было выгодно, чтобы президент отмежевался от происшедшего, что позволило бы в дальнейшем проводить политику укрепления и упрочения связей, возникших после моей поездки в США и встречи с Эйзенхауэром. К сожалению, американцы решили действовать иначе. В том же мае мы узнали о заявлении президента Эйзенхауэра, в котором сообщалось, что он знал о полетах и одобрял их... Говорил, что и в дальнейшем США будут так поступать, поскольку обладают правом обеспечивать безопасность страны, даже не считаясь с суверенитетом других государств. Явно неразумное

выступление, если не сказать больше. Глупое выступление» (83).

Конфронтационный курс, от которого никак не удавалось избавиться политическим элитам, волей-неволей обязывал СССР поддерживать старых союзников и заводить новых, невзирая на тяжесть такого положения вещей для государственной машины, и без того обремененной социальными обязательствами. Машина не справлялась с возрастающими нагрузками и народ роптал. Старый Митрич в «Москва – Петушки» сетует: *«Они там кушают, а мы почти уже и не кушаем... Весь рис увозим в Китай, весь сахар увозим на Кубу... А сами что будем кушать?..»* Однако и заморским оппонентам приходилось нелегко в глобальном состязании. Военно-полицейская машина Запада во второй половине XX столетия теряла убитыми десятки тысяч солдат и миллиарды долларов в Северной Африке, Индокитае, на Ближнем Востоке. Карибский кризис 1962 года оказал глубокое психологическое воздействие и на Старый Свет, показав с какой легкостью США идут на ядерный конфликт.

Ядерная война была действительно **возможна** и, что самое страшное, мы несколько раз балансировали на грани глобального самоубийства. Например, человечество могло погибнуть по злой воле одного психопата, агента ЦРУ О. Пеньковского, которого сегодня выставляют едва ли не идейным борцом с коммунизмом. О. Пеньковский, накануне провала, 23 октября 1962 года (то есть в самом начале Карибского кризиса), послал по условным каналам в ЦРУ сообщение «грядет война», означавший, что СССР изготавился к нанесению первого удара. К великому счастью, сотрудники американской разведки, к которым поступил этот сигнал, заподозрив неладное, доложили лишь об аресте Пеньковского.

Авантюристическая политика привела Америку к трагической вьетнамской войне, хотя ее влияние на внутреннюю жизнь США может и не стоит преувеличивать. Для наглядности можно привести такие цифры: за годы Второй мировой войны, корейской и вьетнамской войн США в общей сложности потеряли 500 тысяч человек, а за эти же годы на дорогах США в результате автокатастроф погибли 815 тысяч человек. Другими словами, похоронки с театров военных действий приходили в дома американцев гораздо реже, чем известия о гибели их близких в автокатастрофах. Но международный престиж «колыбели демократии» очень сильно пострадал. СССР строил своим союзникам Асуаны, а США поливали их земли напалмом. Почувствуйте разницу – и народы земли её чувствовали.

Неудачи во Вьетнаме, всемирно признанные успехи СССР в космической гонке, развал колониальных империй, брожение в Западной Европе, нараставшая борьба за гражданские права темнокожих внутри США... Ситуация для правящих кругов Америки была не самой лучшей. Но тут на помощь американцам приходят неожиданные союзники – отечественная интеллигенция, те самые «шестидесятники», шумно требующие либеральных свобод любой ценой и немедленно. Подрыв строя изнутри, если нельзя взять крепость штурмом – это ли не шанс? Задача – разъединить интеллект страны и государство.

Вопрос не в том, понимали ли наши культуртрегеры, что их используют, многие понимали. Джазмен А. Козлов: «Сотрудники посольства США, занимавшиеся вопросами культуры, зорко следили за всеми неформальными проявлениями во всех областях советского искусства... Уже тогда мы поняли, что “холодная война” ведется не только Советским Союзом, что на ней греют руки и западные журналисты, принося иногда колоссальный вред нашим попыткам обогатить отечественную культуру...» (84). Вопрос в том, что каждый интеллигент считал себя умнее государства и видел его интересы со своей колокольни – то, что выгодно и нужно «лично мне», нужно и государству. И никак иначе. Со своей стороны, государство – неповоротливое, мыслящее категориями достатка простых людей, созданное для удовлетворения их простейших нужд – никак не могло понять, чего от него хотят вдруг заколосившиеся индивидуальности. В эту брешь и ринулись опытные западные пропагандисты.

Сегодня реклама большинства PR-компаний (обыкновенно действующих на международном уровне) не оставляет сомнений относительно их целей и задач: «Роль коммуникации заключается в управлении восприятием, мотивирующем поведение, благоприятное с точки зрения бизнеса» (85). Соответствующие специалисты помогают своим заказчикам управлять ситуацией с помощью комбинированного воздействия на общественные взгляды, восприятия, поведение и политику. Такие профессионалы совершенно официально были наняты западными правительствами для работы с населением государств-конкурентов. Только в США изучением СССР были заняты 170 университетов и исследовательских центров.

Отточенные в бизнес-битвах технологии обработки массового сознания, плюс огромный опыт проведения разнообразных предвыборных кампаний да вкупе с накопленным за время мировых войн арсеналом психологической войны активно использовались в борьбе против СССР. Отечественная интеллигенция охотно присоединилась к тем, кому за работу по созданию позитивного имиджа капитализма в стране победившего социализма платили деньги. Причем присоединилась совершенно добровольно, полагая, что делает народу «благо» и исполняет свой «гражданский долг». Бесконечно взывая к Западу, думает об этом и сейчас, хотя уже и с меньшей уверенностью.

Жалобные стенания лекторов о том, что у нас низкие коммунальные платежи или бесплатное образование мало трогали черствые сердца жаждущих модного ширпотреба сограждан. Мы хотели следовать мировым тенденциям – в моде, в государственном устройстве, в музыке, во всем. Запад казался нам, рептильным^[153], более продвинутым в тот самый

момент, когда западные философы усматривали будущее человечества в социализме.

Нигилистически настроенная отечественная интеллигенция во всех посланиях власти видела: а) попытку советской пропаганды охаять Запад, что часто соответствовало истине; б) если Родина Запад ругает, значит «оно» у них однозначно лучше. Примитивизм приемов убеждения плюс сознательное нежелание их воспринимать, даже если они разумны, обращали потуги коммунистических профессиональных идеологов в прах.

Который, в конце концов, общество отряхнуло со своих ног.

По всеобщему мнению, переломным моментом в психологической войне идеалов стали события в Чехословакии 1968 года, которые либеральная интеллигенция восприняла как чудовищную акцию по уничтожению «социализма с человеческим лицом». Но все ли здесь правда? О социализме ли шла речь в Чехословакии? Начнем с того, что двигателями «Пражской весны» были общественные «неправительственные организации», столь модные сегодня и у нас. Спонтанно (вдруг!) возникли разнообразные клубы, партии, кружки, объединения, движения. Наиболее активные и многочисленные из них: «Клуб-231», «Клуб беспартийных активистов», «Кружок независимых писателей», «Клуб критически мыслящих личностей», «Организация в защиту прав человека», «Подготовительный ЦК социал-демократии» и т. д. «Клуб-231» самый, как теперь говорят, «крутой» из всех... Генеральный секретарь клуба – Я. Бродский, человек откровенный: «Самый лучший коммунист – это мертвый коммунист, а если он еще жив, то ему следует выдернуть ноги» (86). Где уж тут «социализм с человеческим лицом»? Более дипломатично выражались лидеры «Клуба критически мыслящих

личностей»: «Коммунизм как идея изжил себя. Его оплотом может быть только примитивный народ» (87). Правительство «примитивного народа», то есть СССР, серьезно обеспокоилось – выход Чехословакии из Варшавского договора разваливал всю систему обороны Советского Союза. Дневниковые записи Л. Брежнева, 1968: «Дубчек даже не бьется за КПЧ (Коммунистическую Партию Чехословакии – *К.К.*). Это можно проследить по его выступлениям. Дело идет к нехорошему. Сейчас говорят, что контрреволюции не было, другие говорят – она будет. Она уже есть» (88).

Напомню, что шел 1968 год – год «студенческой революции» во Франции, которая раскачала режим Де Голля, важного партнера СССР в Западной Европе. Сделанная по подобию нынешних «цветных революций», под бессмысленными, хотя и красивыми лозунгами, вроде «Власть молодым» или «Будьте реалистами – требуйте невозможного!», «студенческая революция» нанесла серьезный ущерб стратегическим планам СССР.

Де Голль, конечно, был не сахар, и свои представления о мире имел вне зависимости от Советов или Америки: скажем, будучи с визитом в СССР, он не постеснялся возложить венок на могилу Сталина и отдать честь мертвому генералиссимусу. Но для США Де Голль, с его решением вывести Францию из военной организации НАТО, был значительно неприятней. Советские спецслужбы небезосновательно видели за протестом французских студентов направляющую руку заокеанского гиганта, а «Пражская весна» с ее похожими настроениями просто не имела другого варианта прочтения. Сказки о «социализме с человеческим лицом» давайте оставим пропагандистам, тем более, что последовавшая в Чехословакии спустя 20 лет «бархатная революция» (во многом с теми же

участниками) всё расставила по своим местам – кто и какой строй хотел строить и в какие блоки вступать.

Существует байка, что главный идеолог СССР М. Суслов, дескать, сказал: «В Чехословакии отвинтили гайки и пришлось вводить войска, а кто будет вводить войска к нам?» Легенда легендой, но в ней затронут самый больной для советского руководства вопрос безопасности государства, которой, в случае утраты Чехословакии, был бы нанесен грандиозный ущерб. На это ни один советский лидер пойти бы не смог. В том числе и те, кто считался наиболее «прогрессивными». Например, одним из самых горячих сторонников вторжения в Чехословакию был первый секретарь ЦК КПУ П. Шелест, который сегодня числится одним из «самых-самых» почитаемых «украинофилов».

Стало ли введение войск Варшавского договора на территорию Чехословакии катастрофой международного масштаба? Не уверен. Ну, отменили неформальную встречу президента США Джонсона с Косыгиным, запланированную в Ленинграде, ну, вышли писатели Мориак и Сартр из Общества франко-советской дружбы, ну, пошумела западная пресса... А вот с местными либералами власть разошлась очень надолго. Самые рьяные из них принялись воевать со строем открыто – выходили на площадь, писали письма протеста, помогали материально заявившим о себе диссидентам. В. Новодворская (кстати, мемуары этой дамы я рекомендую прочесть всем, кто хочет понять психологию диссидентствующей публики) сочно описывала происходящее: «1968 год грянул как труба Страшного суда. Когда я увидела реакцию окружающих интеллигентов, только тогда я поняла, насколько растоптана моя страна. Они радовались чужой свободе, взлету Чехословакии как чему-то для них навсегда недостижимому (с оттенком чувства “пусть хоть кто-то поживет...”». В этой радости было столько усталой

покорности судьбе, что становилось жутко. С каким ужасом я читала все “последние предупреждения” Дубчеку! Вторжение было селекцией. Все вокруг разделились на два лагеря: одобряющих и негодующих. Первые становились навеки чужими, вторые были свои» (89).

«Свои» это, наверное, Е. Евтушенко, написавший протестную телеграмму, Л. Богораз, митинговавшая с друзьями на Красной площади против ввода войск, Б. Окуджава, на выступлении в Кишиневе резко высказавшийся против оккупации Чехословакии... А может, и приятель многих диссидентов В. Ерофеев, отправитель пылких посланий о революции в Петушинском уезде самому А. Дубчеку: *«Пусть, мол, порадуются ребята, может они нас, губошлепы, признают за это субъектами международного права...»* Впрочем, Дубчек к тому времени стал уже обычным егерем в Словакии.

Свои выводы сделала и власть: «Пражские события 1968-го расставили многое по своим местам, власть откровенно помрачнела. Комсомольский деятель пошел совсем иной – прагматичный, абсолютно циничный, вежливый и скользкий» (А. Козлов) (90). Этот комсомольский деятель образца конца 1960-х – начала 1970-х еще скажет свое решающее слово в судьбе Советского Союза и в ренессансе «Пражской весны». Давно уже высказано предположение, что отчасти причины поведения М. Горбачева – в его зависимости от мнения друзей студенческих лет, среди которых числился и один из идеологов чехословацких событий 1968 года З. Млынарж, с которым «Горби» жил в одной комнате студенческого общежития.

И уж совсем мало тех, кто видел в унижении Чехословакии высшую справедливость и высший суд. В эпоху перестройки, в очередную годовщину входа советских танков в Чехословакию, когда били себя в

грудь и посыпали голову пеплом представители, так называемой, «демократической» интеллигенции, Л. Гумилев резко заметил: «А что же чехи хотели за предательство в Гражданскую войну?»^[154] (91). И когда в Прагу вошли танки наследников «комиссаров в пыльных шлемах», победивших «беляков» не без помощи чехов, – кого надо проклинать? И в этом тоже есть своя логика. Логики нет в том, что шестидесятники, воспевавшие «комиссаров в пыльных шлемах» у себя на кухнях, противились переносу их буденовского опыта соседям.

XII

В конце шестидесятых годов, кроме событий в Чехословакии, важным поворотным пунктом эпохи стало начало массовой эмиграции в Израиль. Впервые за всю историю Советского государства власть согласилась на массовый добровольный исход своих подданных, причем в далеко не дружественное государство. Во всем этом просматривалось желание избавиться от докучливой группы людей, оказывавших огромное влияние на всю интеллигенцию СССР, и при этом настроенной весьма критически. Как тогда говорили: такое-то учреждение в Москве держит первое место по «отъезжанту» и второе – по «подписанту». Впрочем, эти понятия были взаимосвязаны – подписывали письма протеста те, кого система жизни в СССР не устраивала. Девиз эпохи – вновь ставшая актуальной фраза Бендера: *«Я хочу отсюда уехать. У меня с советской властью возникли за последний год серьезнейшие разногласия. Она хочет строить социализм, а я не хочу»*. То, что в тридцатые годы звучало иронично, стало смыслом жизни в шестидесятых (семидесятых, восьмидесятых) для миллионов людей. А для некоторых – реальной возможностью.

В Советском Союзе мы все жили хоть и под домашним, но все же арестом. А тут появились люди, которые пусть с потерями, скандалами, унижениями, но все же могут уехать в другой мир. Туда утекал поток избранных, а назад шли посылки и фото из-за рубежа, которые мы получали, изумленно рассматривали и мучительно завидовали. Это было особенно унижительно для принудительно остающихся, безо всякой надежды изменить существующий порядок дел.

«Граница на замке» рождала в обществе ненависть и к границе, и замкам, и хранителям ключей от этих замков. Что охотно признают даже бывшие «хранители». Ф. Бобков: «Наши работники, перестраховываясь, часто отказывали в визе дельным, ничем не запятнанным людям, хотя их поездки за рубеж могли принести большую пользу стране. Эта система, которую невозможно было сломать, даже обладая некоторой властью, этот чиновничий произвол, калечащий судьбы людей, порождали неприязнь в обществе ко всем без разбора работником госбезопасности» (92). В. Катанян в своих мемуарах приводит фрагмент частного письма балерины Майи Плисецкой: «Видимо, я не поеду в Лондон. Очень много обстоятельств против меня. Все мои враги сделали все, чтоб я не поехала. Восстановили против меня всех, от кого это зависит... Так жить тошно, что хоть бросай все», – и дальше Катанян продолжает от себя: «Что бы ни было потом, никакие триумфы и награды никогда не смогут заставить ее забыть нанесенные ей оскорбления, как не смогут заставить примириться с гибелью отца» (93). Чувствуете накал страстей: отказ в поездке автором косвенно приравнивается к трагической смерти близкого человека!^[155]

Другой пример, дневники одного из наиболее успешных и «выездных» советских писателей Ю. Нагибина: «Я, пропичканный всеми лекарствами, несчастный и всё же грубый, бедный душой от бесконечного пьянства, сижу и пишу эти строки. Так я отпраздновал свою “великую” беду – неотъезд в Японию. Я давно начал этот праздник, ибо со свойственной мне зверьевой, сверхчеловеческой чуткостью уже месяца полтора назад угадал, что не поеду. И тогда уже я перестал писать, утратив все слова, кроме самых злобных» (94). Все слова утрачены,

и злость ослепляет, но писательская наблюдательность берет свое: «20 марта 1974 г. А может, всё дело в некоем бюрократическом раскладе? Просто в КГБевской картотеке я принадлежу к категории, скажем, “Г”. Почему к этой, а не к другой – вопрос второстепенный. Скажем, по количеству написанных на меня доносов я и поставлен так низко. Эта группа является выездной, пока не происходит “ситуация Б”. Ухудшение отношений с границей, усиление вражеской радиоактивности, или некие чрезвычайные обстоятельства, как чей-то отъезд, враждебная кампания прессы и т. п. И сразу, без эмоций, без намека на недоброжелательство я попадаю в разряд невыездных. Потом ситуация меняется, и я вновь еду, куда хочу. По-моему, я нащупал что-то очень похожее на правду. Иначе надо предположить, что только мною и занимаются все стукачи и все органы» (95).

Нагибин угадал. Горячее желание советского интеллигента увидеть мир стало одним из самых эффективных рычагов для управления им. «Границы мне мешают. Мне неловко/ Не знать Буэнос-Айреса, Нью-Йорка», – восклицал молодой шестидесятник Е. Евтушенко. Неловкости ему систематически помогали избегать. «Идеологическое управление КГБ заинтересовалось опытом работы моей мамы Эммы Судоплатовой с творческой интеллигенцией в 30-е годы, – вспоминает сын известных советских разведчиков А. Судоплатов. – Бывшие слушатели школы НКВД, которых она обучала основам привлечения агентуры, и подполковник Рябов проконсультировались с ней, как использовать популярность, связи и знакомства Евгения Евтушенко в оперативных целях и во внешнеполитической пропаганде. Мама предложила установить с ним дружеские конфиденциальные контакты, ни в коем случае не вербовать его в качестве осведомителя, а направить в сопровождении Рябова на

Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Финляндию. После поездки Евтушенко стал активным сторонником “новых коммунистических идей”, которые проводил в жизнь Хрущев»^[156] (96). Р. Медведев: «Андропов помогал поэту Евтушенко в организации его многочисленных поездок за рубеж. Поэт получил от шефа КГБ прямой телефон и разрешение звонить в необходимых случаях. Еще в 1968 году Евтушенко сделал резкое заявление с протестом против ввода советских войск в Чехословакию... В 1974 году такая же ситуация повторилась, когда Евтушенко публично высказался против высылки из СССР А.И. Солженицына... Евтушенко признавался, что в обоих случаях он звонил сначала Андропову». То есть «дерзкие» протесты Е. Евтушенко в действительности представляли собой санкционированные КГБ акции, призванные внушить миру, что в СССР есть «свобода слова». Вот, мол: Евтушенко протестует, а никакие репрессии в отношении его не применяются, и он по-прежнему путешествует по всем странам! (97). И поэт не просто путешествовал, но и получал гонорары, делал публичные заявления, давал интервью, в том числе, в 1972 году, и пресловутому журналу «Плейбой».

Об этой видимой и невидимой жизни поэтов, «символов эпохи», ядовито написал в своей последней повести «Тайная страсть» В. Аксенов: «Вспомнилась обложка “Огонька” трехгодичной давности. На ней среди белоснежных сугробов стояли четыре лидера поэзии: Ян, Антон, Кукуш и Роберт... Внутри журнала была напечатана направляющая пылкая статья Тушинского (Евтушенко – К.К.). Ваксон (Василий Аксенов) прочел ее в университетской столовой, и его малость затошнило. Со своей фирменной велеречивостью автор гвоздил тех писателей и художников, кто бросил родину, кто прельщен был

“джинсами и долларами”. Они выбрали радио «Свобода» в то время, когда мы дрались на баррикадах за настоящую свободу для нашей родины. Каждый из нас сражался до конца, потому что слышал, как рядом стучит поэтический автомат его товарища. И мы одерживали победы. Одну за другой. Это верно, подумал тогда Ваксон, одну за другой: то государственную премию, то орден к советскому празднику»^[157].

А Вознесенского выпускали за границу даже не по звонку, а по пригласительным телеграммам: «Когда меня куда-то не пускали, Дж. Кеннеди слал телеграмму, и вопрос решался». В 1972 году А. Вознесенский оказался первым советским поэтом, которого избрала своим почетным членом Американская академия искусств и литературы.

«Моя по-настоящему первая книга “Треугольная груша” была спровоцирована Америкой, – говорил поэт. – И вся моя жизнь сложилась потом в зависимости от этого. И это было окно свободы». Каков вывод? Тот, который и необходим отправителям телеграмм: «Я считаю, что интеллектуальная столица мира – это все-таки Нью-Йорк», – заявляет А. Вознесенский (99).

Власть не только выпускала своих «критиков» за границу, но даже оберегала полноту эстетических ощущений западных читателей. Так, нашумевшая повесть Ф. Искандера «Сандро из Чегема» в США вышла с главой о Сталине, которую в советском издании цензура зарезала. Демократия для избранных.

Для сравнения: в те же годы на Олимпиаде в Мюнхене для советских спортсменов партийцы разработали специальные «Правила», согласно которым они не имели права давать интервью без присутствия тренера, кроме того, должен обязательно присутствовать «ответственный по интервью». Что

позволено Юпитеру-Евтушенко – не позволено быку в тренировочных штанах. С аналогичными правилами сталкивались и музыканты: «... нас предупредили, что за границей мы должны ходить только по двое, запрещалось играть в азартные игры, посещать казино и секс-шопы. Мы подписывали бумагу, что с правилами поведения за рубежом ознакомлены» (100). Речь идет о музыкантах сверхпопулярного в советское время ансамбля «Песняры». В Сопоте после опроса английской прессы именно «Песняры», к удивлению музыкального мира, по популярности среди эстрадных ансамблей заняли второе после «АББА» место. И когда на ансамбль посыпались, как из рога изобилия, зарубежные приглашения – Европа, США, Африка, Азия, Латинская Америка – все они застревали у чиновников... За каждую поездку нужно было платить... – рассказывает солист ансамбля Л. Борткевич. – Владимира Мулявина после Канн вызвали в Госконцерт и сообщили, что на «Песняров» есть заявки в несколько стран, но нужно заплатить. Володя обиделся:

– Это ведь нас пригласили, какие еще деньги? За свое искусство я еще и платить должен?

– Не хотите – не надо.

И поехали другие, те, кто платил (101).

Но это еще не все. Кроме денег и кучи документов, нужно было еще выдержать экзамен на политическую грамотность: «Комиссия состояла из пяти человек, преимущественно ветеранов войны. Нас вызывали по отдельности и задавали разные вопросы. К примеру: сколько раз вы были женаты; как вы живете в семье; какие работы Маркса и Ленина вы читали и знаете; кто такой Гэс Холл (напомню, это был генеральный секретарь Коммунистической партии США); кто является секретарем коммунистической партии Белоруссии, в других советских республиках?» (103).

Вопрос – проходили ли такую комиссию Евтушенко, Вознесенский, Нагибин?

Ну и, по устоявшейся традиции, вернувшиеся из зарубежных поездок одаривали начальство солидными подарками. Возникла круговая порука: начальство точно знало, кого следует посылать за рубеж, а кого нет.

Платили вышестоящим не только советские граждане. Свою лепту вносили и иностранцы, поскольку за это могли беспрепятственно составлять контракты, максимально выгодные для себя и крайне невыгодные для Советского Союза. Для удобства контрабанды вельможные партийцы даже снабжали «друзей СССР» специальными лицензиями «Об ослабленном пограничном досмотре», которые полагались только для грузов, отправляемых и получаемых ЦК КПСС (пограничники и таможенники не имели права даже прикасаться к этим контейнерам). Оказалось, что подобные лицензии возможно приобрести за валюту у работников аппарата ЦК: одна лицензия – 1000 долларов. Иногда, правда, партийную лавочку трясли. При обыске у одного из чиновников – некоего Павлова – был обнаружен миллион рублей и полмиллиона долларов, а также пачки драгоценных лицензий. У другого – Смелякова – «всего» 300 тысяч долларов. Обоих расстреляли для острастки остальных (104).

При такой – прямо скажем, омерзительной – системе ненависть к ней скоро оборачивалась любовью к врагу системы, в первую очередь, США. Манифест, провозглашенный стилягами, спустя полтора десятка лет стал достоянием каждого «свободомыслящего» – в сером «совке» жизни нет. Идеалом советского интеллигента 1970-х годов стала жизнь его американского или европейского коллеги: свободного, хорошо оплачиваемого специалиста, который вынужден, конечно, работать значительно

напряженной, чем работает интеллигент здесь, в СССР, но зато имеет собственный автомобиль, коттедж, семью из четырех детей, неработающую жену и может путешествовать по всему миру. «Мы» и «они», вот «у них», а «вот у нас» – постоянная тема бесед, и сравнения далеко не в «нашу» пользу.

А. Козлов: «Помню, как я впервые увидел из окна территорию Соединенных Штатов Америки, двор посольства за высокой стеной, фирменные машины невиданной красоты, детей, играющих в непонятные игры и говорящих на своем языке. Зрелище это вызвало у меня чувство какой-то щемящей тоски о несбыточной мечте, о другой планете...» И далее известный джазмен делает неожиданный вывод: «Жизнь за рубежом, особенно в Соединенных Штатах Америки, казалась мне просто раем. Позднее, уже в конце 80-х годов, жизнь внесла некоторую ясность в мое сознание по этому вопросу» (105). Увы, сознание наше прояснилось окончательно лишь тогда, когда мы столкнулись с прелестями дикого капитализма 1990-х, а большая тюрьма СССР сменилась еще более тесными тюрьмами национальных республик.

Видя нормальность лишь в чужих краях, игнорируя реалии, интеллигенция сумела сделать удивительное – потерять нить исторического развития собственной страны, утратить инстинкт государственности. Требуя немедленного скачка уровня жизни до западноевропейского, либералы местного разлива полностью игнорировали, какими нечеловеческими усилиями было куплено даже их тогдашнее относительное благополучие. Но сама советская пропаганда, настойчиво подчеркивая историческое состязание двух систем, обрекала людей на сравнение бытовых удобств, предоставляемых каждой из экономических моделей рядовому гражданину. И сравнение оказалось не в пользу социализма.

Итак, десятки миллионов советских людей продолжали обитать за «железным занавесом», безо всякой надежды на цивилизованное бегство. Следует вспомнить и захваты самолетов, митинги отказников, бегство мастеров культуры во время зарубежных гастролей. Отчаяние толкало людей на самые страшные поступки^[158].

Проблема свободы передвижения затрагивала вопрос легитимности самого строя, который удерживал своих сограждан в темнице. Даже Хрущев под конец жизни начал осознавать важность вопроса: «...теперь, спустя 50 лет (после революции – К.К.), мы тем более должны создать такие общественные отношения, чтобы не видеть в каждом человеке невозвращенца. Стоять на другой позиции – значит позорить наши идеи, наше учение, наш строй» (106). Но позорить продолжали. Не только унижением рядовых граждан, но и насильственной депортацией многих деятелей культуры за рубеж. Вспомним, как выталкивали А. Солженицына, М. Ростроповича, Г. Вишневскую, Ю. Любимова, А. Тарковского, В. Войновича. Или, скажем, скульптора Э. Неизвестного. Это не сопляк, вроде избалованных поэтов-шестидесятников. Эрнст Неизвестный – фронтовик. В конце ВОВ он был тяжело ранен в Австрии, признан погибшим и за проявленный героизм «посмертно» награжден орденом Красной Звезды. Накануне отъезда он пояснял Б. Ефимову причины, вынуждающие его покинуть Родину:

– ...ни одна моя работа не принимается. Что бы я ни сделал, отвергается. У меня отобрали мастерскую, все работы, бывшие там, вышвырнули во двор, в снег, а некоторые изуродовали. Вот, посмотрите на этот фотоснимок... Мое искусство стало неприемлемым и нежелательным. Что прикажете делать?

...Мы помолчали.

– Эрнст Иосифович, – сказал я, – вы человек популярный. Ваш отъезд из нашей страны будет, несомненно, замечен и у нас, и за рубежом. Там на вас набросятся репортеры. Как вы им объясните свою эмиграцию?

– Я скажу, что уехал из СССР не по политическим, а по творческим причинам... Можете не сомневаться, что ни единого враждебного слова против Советской страны я не произнесу» (107).

Но так поступали единицы. Большинство, оказавшись на Западе, вразнос критиковали свою Родину, становились ярыми помощниками оппонентов СССР в «холодной войне». Сначала изредка, а потом все чаще и чаще, волны противостояния сторонников народного сталинизма и либеральной интеллигенции стали выплескиваться на Запад и получать мировой резонанс. Во многом именно свидетельства бывших советских граждан о жизни в СССР способствовали разрушению модного европейского мифа о социализме как «будущем человечества». Пройдет некоторое время, прежде чем будет осознано значение, которое сыграл А. Солженицын и его «Архипелага ГУЛАГ» в изменении мирового общественного мнения по отношению к Советскому Союзу, но и сейчас можно утверждать, что это значение огромно. Процесс разрядки международной напряженности стал оцениваться сугубо критически, поведение СССР в третьем мире снова рассматривалось как реальная угроза Западу. Левый радикализм 1960-х – начала 1970-х годов ушел в историческую тень.

В качестве альтернативы социализму и **классовой** доктрине западные либералы подхватили учение об **общечеловеческих** ценностях. То есть ценностях, присущих всему человеческому роду, иначе говоря, записанных в биологических структурах. Из чего, разумеется, следуют логические выводы. Классик

американской политологии Дж. Бургес в «Основах политической науки», впервые изданной в 1917 году и с тех пор многократно переизданной, прямо говорил: «Греки и славяне продемонстрировали низкий уровень политической способности» и поэтому «совершенно необходимо, чтобы политическая организация... греческой и славянской наций была бы взята на себя иноземной политической силой» (108). То есть мы, и это признается нашей «передовой» интеллигенцией, не вполне «общечеловеки», нам нужно еще много учиться – под иностранным руководством.

Риторика об «универсальных» человеческих ценностях вполне могла трогать доброе сердце академика А. Сахарова, который, наряду с поддержкой доморощенных диссидентов, подписывал и обращение к президенту США Никсону с просьбой «сохранить жизнь Анджелы Дэвис и дать ей возможность продолжать научную работу». Но болтовня отечественных интеллектуалов абсолютно не смущала рядовых солдат «холодной войны», спокойно убивавших тех, кто разделял антизападные убеждения – будь-то миллионы вьетнамцев или «всего» девять сотен членов просоветской секты Джима Джонса, уничтоженных в 1978 году в Гвиане некими злоумышленниками^[159]. Но даже потоки крови не могли отрезвить отечественных интеллигентов, которые за трагедией реальных людей усматривали всего лишь происки советской пропаганды и упорно культивировать мысль, что те, кто в своей жизни, убеждениях, искусстве ориентируется на Запад – исключительно позитивные деятели.

«Железный занавес» стал для советской интеллигенции «красной тряпкой», одним из самых ненавистных символов режима, наглядным примером убожества, от которого хочется бежать, куда глядят глаза. «Жить бы мне в такой стране, / Чтобы ей

гордиться./ Только мне в большом говне / Довелось родиться...» – стихотворит Э. Рязанов (109). Весьма патриотично.

Мечта о свободе передвижения по миру, о путешествиях, о «Париже» становится идеей фикс. Мы насильно отделены, «они» – не мы, «они» – томительная загадка свободы. Герой Ерофеева рассуждает о свободе передвижения: *«...какие еще границы?! Граница нужна для того, чтобы не перепутать нации... Хочешь ты, например, остановиться в Эболи – пожалуйста, останавливайся в Эболи. Хочешь идти в Каноссу – никто тебе не мешает, иди в Каноссу. Хочешь перейти Рубикон – переходи»*. Несбыточная мечта писателя сыпется солью на раны читателя. Человек, побывавший «там», автоматически приобретал особый лоск и значение. «Когда мы вернулись в Москву, по телевизору как раз показывали Порто, и я увидела то место, где я стояла. И знала больше, чем мои знакомые. Чувство очень приятное...», – вспоминает актриса Л. Смирнова (110). А чувство значимости много определяет в поведении человека и ради его удовлетворения он многим готов пожертвовать.

Самовластье идиотов решало не только вопросы творческих командировок или туристических поездок, но даже вопросы жизни и смерти, например, срочных медицинских операций. Возможно, волюнтаризму мелких партийных сошек мы обязаны и безвременной смертью В. Ерофеева. Во всяком случае, лично он был именно такого мнения: «Меня пригласили из Парижского университета на филологический факультет, и одновременно с этим было приглашения от главного хирурга-онколога Сорбонны... И вот тут стали почему-то заниматься моей трудовой книжкой. Ну, зачем им моя трудовая книжка, когда нужно отпустить человека по делу? А тем более, когда зовет главный хирург Сорбонны – он ведь зовет вовсе не в

шутку, кажется, можно было понять. И они копались, копались – май, июнь, июль, август 1986 года – и наконец, объявили, что в 63 году у меня был четырехмесячный перерыв в работе, поэтому выпустить во Францию не имеют никакой возможности. Я обалдел. Шла бы речь о какой-нибудь туристической поездке – но сослаться на перерыв в работе двадцатитрехлетней давности, когда человек нуждается в онкологической помощи... Умру, но никогда не пойму этих скотов» (111). И умер. Это подонское отношение к гражданам собственной страны до сих пор не может простить режиму интеллигенция. И я, в числе прочих.

XIII

Открытость миру важна, необходимы поездки и путешествия, но важно и чувство Родины, ощущение ее уникальности. «Это чувство наиболее остро проявляется за границей, – писала Л. Гурченко в книге «Аплодисменты». – И если в тебе нет этого чувства, нет этой силы, которая дает тебе опору, то тогда ты – один, беззащитен, раним, проваливаешься и спотыкаешься, становишься похож на дом без фундамента...» (112)

Дом без фундамента обречен на разрушение, что произошло и в нашем случае. Ослепленная интеллигенция и сгнившая номенклатура, ради эгоистических представлений о счастье пожертвовали собственным народом и экономикой. События последних двух-трех десятилетий наглядно доказали, что наивная перестроечная надежда, дескать, во всем мире нас окружают друзья, а закрытость советского строя была вызвана только «сталинской паранойей», плановым хозяйством и общей безмозглостью, оказалась развеяна. Крах великой страны, её окружение чужими военными базами, стремительное вытеснение с традиционных рынков, в том числе и внутренних, постоянная враждебная кампания в мировой прессе – вот цена безудержного доверия и наивности. Оказалось, буржуазный мир построен на жесткой конкуренции, где всякие способы доминировать хороши.

Практика функционирования альтернативной экономической системы нуждалась в компрометации: от публичного показа зверств сталинизма до якобы факта развязывания Советским Союзом ужасной мировой войны, от отрицания очевидных успехов социализма до

утверждения, что СССР государство исключительно рабовладельческое.

Во всех тезисах, доведенных западной пропагандой до уровня идеологических клише, имелась доля правды, но не было истины. Хотя со всем этим пропагандистским спамом безусловно соглашалась интеллигенция внутри страны.

Однако сегодня, в условиях ограниченности мировых ресурсов, конкуренция – это вопрос даже не доминирования, а **выживания**, чего упорно не хотят понять некоторые наивные гуманитарии. Легкодоступные запасы нефти, угля, газа, металлов, минералов и редкоземельных элементов, даже воды и еды, исчезают со скоростью весеннего снега, заставляя правительства и корпорации вступать в сумасбродную гонку за тем, что осталось. Речь идет даже не о каких-нибудь палладиевых штуцерах высокого напора, а о хлебе насущном (да и питьевой воде). Ведь производство продуктов питания требует огромного количества энергии, удобрений, пестицидов и гербицидов, которые являются производными нефти и природного газа, а вода нужна для орошения полей. Ресурсы становятся все более и более редкими и дорогими, и можно ли разрешить эти проблемы в условиях высококонкурентного капиталистического общества – большой вопрос. И существовавшая ранее социалистическая альтернатива исчезла.

Финальная стадия соперничества двух систем началась после ввода советских войск в Афганистан и событий в далёкой африканской Анголе, чему, к слову сказать, сегодня вообще не придается значения, а напрасно. Стратегическое расположение Анголы, огромные богатства ее недр имели важнейшее значение для геополитического соперничества сверхдержав в Африке. Дело дошло до введения в Анголу дружественных нам кубинских войск – люди

старшего поколения это помнят. Причем, кубинская инициатива стала неожиданностью даже для патронировавшего «Остров Свободы» СССР.

Первый заместитель министра иностранных дел СССР Г. Корниенко: «Однажды мое внимание привлекла телеграмма советского посла в Гвинее, в которой среди прочего упоминалось, что, по словам его кубинского коллеги, там на следующий день начнут делать технические посадки самолеты с кубинскими войсками, направляющимися в Анголу.

Я тут же пошел с этой телеграммой к Громыко, для которого новость тоже явилась полной неожиданностью. Он при мне позвонил Гречко и Андропову – тем ничего не было известно. Все трое сошлись во мнении, что посылка кубинских войск в Анголу будет опрометчивым шагом как с точки зрения осложнения общей международной обстановки, так и с точки зрения нового обострения ситуации вокруг Кубы, поскольку такой шаг неизбежно вызовет резко отрицательную реакцию со стороны США. Срочно была подготовлена записка в ЦК КПСС с предложением обратиться к Фиделю Кастро с рекомендацией воздержаться от такой рискованной акции. Текст соответствующей телеграммы Кастро был одобрен Политбюро, но к тому моменту, когда она поступила в Гавану, самолеты с кубинскими войсками уже пересекали Атлантический океан» (113). Как и в случае с Испанией в тридцатые годы, Советский Союз снова стал заложником своей собственной «национально-освободительной» доктрины, которую революционеры-радикалы использовали, чтобы принудить консервативный советский режим всё же выступить на их стороне.

Разумеется, США не собирались сидеть, сложа руки. В качестве главного практического средства достижения военного превосходства США над СССР

администрация Рейгана решила, уповав на американские технологические преимущества, вырваться с оружием в космос. «Если нам удастся создать систему, которая сделает советские вооружения неэффективными, мы сможем вернуться к ситуации, когда США были единственной страной, обладающей ядерным оружием», – так с присущей ему прямолинейностью определил министр обороны США К. Уайнбергер цель американской космической программы, названной для камуфляжа «Стратегической оборонной инициативой», т. н. СОИ (114).

Одновременно использована ошибка советского руководства, позволившего втянуть себя в затяжной и бесперспективный конфликт в Афганистане. Позже З. Бжезинский в одном из интервью ставил себе в особую заслугу то, что с помощью интриг и дезинформации ему и его соратникам удалось вынудить Политбюро КПСС принять решение о вводе войск в Афганистан. После смерти Ю. Андропова директор ЦРУ У. Кейси в разговоре с президентом Пакистана Зия уль Хаком, по свидетельству очевидца, сказал: «Северный Афганистан – это трамплин для наступления на советскую Среднюю Азию. Мы должны переправлять туда литературу, дабы посеять раздоры. А потом мы должны послать туда оружие, чтобы подтолкнуть локальные восстания» (115).

Это целиком согласовывалось с общей стратегией, предложенной З. Бжезинским американскому госдепартаменту в начале 1980-х годов, которая называлась «План игры. Геостратегическая структура ведения борьбы между США и СССР».

«Децентрализовать империю (советскую) – значит вызвать ее распад, – писал З. Бжезинский. – Любая значительная децентрализация – даже исключительно в экономической сфере – усилит потенциальные сепаратистские настроения среди граждан Советского

Союза нерусской национальности. Экономическая децентрализация будет неизбежно означать политическую децентрализацию» (116).

Причем этот сепаратизм на местах умело и последовательно поддерживался внутри СССР – из Центральных Комитетов республиканских компартий. Причина была архипростой. Республиканская номенклатура более не желала платить дань Москве, мечтая о полной самостоятельности и безотчетности перед кем бы то ни было. Создание 15 государств вместо одного повышает шанс оказаться в высшем эшелоне власти в 15 раз. Местная элита объективно выступала союзником тех, кто мечтал о крушении советской империи. Подготовленные самым ходом перерождения из коммунистических функционеров в респектабельных буржуазных рантье, сотни тысяч влиятельных номенклатурщиков утрамбовывали почву для государственного переворота.

15 августа 1989 года влиятельная американская газета «Крисчен Сайенс Монитор» писала: «Великое долларовое наступление на Советский Союз успешно развивается. 30 тысяч ядерных боеголовок и оснащенная по последнему слову техники самая большая армия в мире оказалась не в состоянии прикрыть территорию своей страны от всепроникающего доллара, который уже наполовину уничтожил русскую промышленность, добил коммунистическую идеологию и разъял советское общество. СССР уже не в состоянии сопротивляться, и его крушение специалисты предсказывают в течении ближайших двух-трех лет... Нам же следует отдать должное тому великому плану, который вчерне разработал еще президент Тафт, отшлифовал президент Рузвельт и последовательно выполняли все американские президенты» (117). Можно ли после подобных откровений утверждать, будто развал СССР

был следствием лишь внутренних проблем нашей страны? У оппонентов внутри страны были надежные союзники за рубежом.

Советская интеллигенция выросла в атмосфере отчуждения от внешнего мира и представляла свою вынужденную изоляцию одним из самых больших зол действующего режима. Открытость общества понималась ею, в первую очередь, как свобода передвижения. Она теоретически появилась. Казалось, и в остальном идеалы либеральной интеллигенции победили: тоталитаризм повержен, установлена некая демократия, имеется видимость буржуазных свобод. Но ради этой видимости пришлось пожертвовать и государством, и народом.

Глава 8

Догнать и перегнать



Автор относит себя к категории тех, кто считает, что в корне почти каждой политической проблемы находятся экономические причины. Однако советская экономическая система явление рассудочное, где указания экономике часто давались, исходя из идеологических приоритетов. А потому только сейчас мы плотно переходим к вопросам практической экономики – настолько они часто были продиктованы далекими от экономики соображениями.

Одной из основных причин недовольства положением дел в стране до революции была ее как бы «отсталость» от передовых стран Запада, причем предполагалось, что отставание это хроническое, многовековое. Обе революции 1917 года совершались для того, чтобы ликвидировать эту «вопиющую отсталость». И лишения индустриализации, и хрущевские попытки «догнать Америку», и резкое сворачивание советского проекта – всё это формы состязания с Западом, которые инициировались теми, кто считал, что мы опаздываем и это опоздание фатально для страны. То есть попытка «догнать» («и перегнать», по возможности) являются некой формой настоящего патриотизма, желания сделать благо народу, чтобы стало «как у других». А может, и еще лучше.

Аб ovo: такой ли уж дремучей была дореволюционная Россия?

«По объему промышленного производства дореволюционная Россия уступала всего лишь *трем* странам мира – США, Великобритании и Германии, в которых действовала мощная энергия «протестантского духа капитализма». Еще одна тогдашняя «соперница»

России – *католическая* Франция – если и «обгоняла» ее по объему промышленного производства, то весьма незначительно. И нельзя не признать, что резкое недовольство и даже негодование многих русских людей такой «отсталостью» (их страна делит с Францией 4-е место в мире, а не, скажем, 1-е с США!), – являло собой именно экстремизм» (1). В. Кожин, из работы которого «Россия. Век двадцатый» взята данная цитата, лукавит. Можно сколько угодно выплавлять чугуна – вопрос, насколько это отражается на жизни конкретного рядового гражданина? Не была царская (или советская) Россия пряником и причины для недовольства огромных масс людей имелись.

Огромные пространства Российской империи в принципе слабо поддавались обустройству из-за расстояния и климата. Образованные жители крупных городов ежедневно ощущали, что уровень комфорта их окружал явно не европейский. В начале XX века в том же Харькове – крупном университетском, промышленном и финансовом центре Империи – в лучшей части города стояли дома без выгребных ям и нечистоты стекали прямо в соседние дворы. Те самые отхожие места, которые планировал обустраивать Чекистов из есенинской «Страны негодяев». Великолепно рассуждение, что «театр начинается с вешалки», но признак бытовой культуры все же не вешалка. Отхожих мест не было даже при театрах, вследствие чего на прилегающих улицах, мягко выражаясь, дурно пахло. Чистый хороший воздух весной и летом составлял роскошь, доступную только для тех, кто имел дачи. Антисанитария приводила к чудовищной смертности, в том числе и детской: в Харькове в середине XIX века умирало до половины рождавшихся детей.

Возьмем основной вид междугороднего транспорта в России. Газета «Южный край» 23 февраля 1906 года о

железнодорожных вагонах: «Вагоны грязны, забрызганы, заплеваны – и совсем не потому, что они давно сравнительно не были в ремонте, а просто потому, что нет за ними надзора. Уборные даже в первом классе таковы, что становится дурно, когдаходишь в них. Все испорчено, воды нет, и аммиак ест глаза и захватывает дыхание». Это уже человеческий фактор. В 1893-1902 годах в среднем по России происходило 3000 (!) крушений в год. Это тоже не природные катаклизмы, а низкий уровень производственной дисциплины.

Примеров можно приводить десятки и сотни. Они обычно парируются тем, что царская Россия жила сытно и кормила хлебом всю Европу. Нужно, однако, понимать, что хлеб этот не был лишним и в самой России. Голод не раз случался в различных регионах Империи. Голод был продиктован (кроме низкой производительности сельского хозяйства) и тем, что после освобождения крестьян народонаселение значительно увеличилось, а наделы на каждого едока уменьшились. Исключение составляли только помещичьи хозяйства и кулаки, которые и продавали произведенное-сэкономленное за рубеж.

Состоятельные россияне старались жить за пределами государства – в Европе, где обосновалось **несколько миллионов** подданных империи. Имелись среди них и политические эмигранты, но основная масса проживающих преследовала совершенно не политические цели – в Европе жить было значительно **комфортней**. Отсюда извечный комплекс неполноценности среднего интеллигента, когда он взирал на родину своими европейскими глазенками: «Вообще очень серо в этой Евразии: серо, если посмотреть глазами востока – это не восток, а Татарстан; и серо тоже, если взглянуть европейцу: это не англичане, а немцы и притом без немецкой чистоты

и трудоспособности, а только в схемах. Евразия – это мировая провинция» (М. Пришвин) (2).

Преодоление провинциализма, изменение заскорузлого сознания людей стало задачей посложнее, нежели просто «индустриализация». Здесь и комплекс неполноценности образованных классов, и косность народного мышления. К тому же в дореволюционной России было относительно мало квалифицированных рабочих, основная масса трудовых ресурсов страны находилась в сельском хозяйстве – консервативном и патриархальном. Преображение крестьянского мышления жителей подавляющей части страны в интеллект индустриальной эпохи секунд и микронов – вот вызов времени, с которым должны были справиться большевики.

Страна, и так запущенная при царизме, досталась им в полной разрухе после революции и Гражданской войны. Казалось бы, какие там аэропланы, сверкающие города или заводы-гиганты. Крупные города центральной России в те годы много месяцев в году были разделены океанами грязи. Увявшие машины вытаскивают волами и лошадьми. В городской луже Волоколамска утонул иностранец. *«Горбатая, покрытая вулканической грязью или засыпанная пылью, ядовитой, словно порошок от клопов, протянулась отечественная дорога мимо деревень, городков, фабрик и колхозов, протянулась тысячеверстной западней. По ее сторонам, в желтеющих, оскверненных травах, валяются скелеты телег и замученные, издыхающие автомобили...»* Это Ильф и Петров дают наглядную картинку транспортных сообщений в современной им России: *«Быть может, эмигранту, обезумевшему от продажи газет среди асфальтовых полей Парижа, вспоминается российский проселок очаровательной подробностью родного пейзажа: в лужице сидит месяц, громко молятся сверчки и позванивает пустое ведро,*

подвязанное к мужицкой телеге. Но месячному свету дано уже другое назначение. Месяц сможет отлично сиять на гудронных шоссе».

Слов нет, гудронных шоссе стало больше, но изменился ли народ? Полюбил ли он скорость, точность, исполнительность – то, что считается основой европейской деловой этики? Главным вопросом большевистской модернизации стал вопрос ее проникновения в самую гущу народной жизни. Коммунистическая революция раскрепостила огромный потенциал народа и призвала его к исторической активности. «Произошло соединение воли к социальной правде с волей к государственному могуществу и вторая воля оказалась сильнее» (Н. Бердяев) (3).

Локомотивом преобразований государства стал процесс модернизации промышленности. «С огромным разбегом и напором, собрав крепкие мускулы, сжав зубы, сосредоточив физические и моральные силы, наша страна, такая отсталая раньше, рванулась вперед и держит курс на первое место в мире, на первое место во всех отраслях – в производстве, потреблении, в благосостоянии и здоровье людей, в культуре, в науке, в искусстве, в спорте... Но, хотя исход соревнования предрешен, само оно, соревнование, не шуточное. Борьба трудна, усилий нужно много, снисхождения, поблажек нам не окажут никаких – да и к чертям поблажки. Пусть спор решат факты, как они решали до сих пор», – зовет соотечественников на трудовой подвиг М. Кольцов (4).

Потом (по мере роста городов и индустриализации) на каждого крестьянина стало приходиться значительно больше «окультуренных» горожан, что, правда, начало приводить к продовольственным проблемам, поскольку на каждого «кормильца» приходилось несколько «нахлебников». Однако, благодаря форсированной механизации сельского

хозяйства, эту проблему поначалу удавалось держать под контролем. Но это уже вопрос централизованного перераспределения ресурсов – со всеми его достоинствами и недостатками. Из города – доступные тракторы для крестьянских хозяйств, из деревни – недорогие продукты для горожан. Естественно, не только тракторы и, разумеется, не только продукты, но суть процесса понятна – перераспределение.

Выходя за этот примитивный круг, большевики оказались на минном поле. Современная цивилизация – это больше, чем просто механическое распределение. Здесь и культурное разнообразие, и экономическая конкуренция, и новые технологии, и их энергичное внедрение... Статус-кво сохранять бесконечно невозможно, начинается застой, а воли к модернизации системы в критические 1970-е проявлено не было. Вечно так продолжаться не могло, ибо образованный класс СССР уже имел перед глазами иные, более привлекательные образы современной цивилизации. Экономист А. Паршев: «Справедливо это или нет, но мы считаем национальную цивилизацию тем более современной, чем больше она похожа на среднезападную, которая, в свою очередь, должна быть похожей на американскую... Вспомните, что было выставлено на витрину Запада, когда мы с ним находились в конфронтации? Автомобили, автострады, самолеты, коттеджи и изобилие продуктов (благодаря развитию сельскому хозяйству). Именно этим американцы и победили русскую интеллигенцию, после чего посыпалось и все остальное» (5).

В двадцатые годы приручать народ к «европейскости» большевики начали с самого, как им казалось, простого – с массового заселения вчерашних и сегодняшних крестьян в цивилизованное жилище. «Бытие определяет сознание», – совершенно логично считали они, не предполагая, что дремучее крестьянское сознание быстро превратит жалкие островки дореволюционного европейского быта в привычную лачугу. Низкая культура людей, отношение граждан к захваченному жилью как к чужому, привычка жить в плохих условиях – все это уродовало и захламляло город. *«Тысячи парадных подъездов заколочены изнутри досками, и сотни тысяч граждан пробираются в свои квартиры черным ходом»* («12 стульев»). Забивали их не только для того, чтобы использовать как склад, но и еще, чтобы в дома не просочились люди с улицы, не обжились в них^[160].

В «Золотом теленке» то, что раньше вызывало снисходительную усмешку соавторов, уже нещадно бичуется как наследие «проклятого прошлого», но проблема остается все той же: *«Парадный ход “Вороньей слободки” был давно заколочен по той причине, что жильцы никак не могли решить, кто первый должен мыть лестницу. По этой же причине была наглухо заперта и ванная комната...»* В статье об И. Ильфе исследователь его творчества по ходу повествования обмолвился о загадках повсеместно заколоченных подъездов: «Мне понадобилось жениться и стать отцом, чтобы кое-что сообразить. Парадное нельзя отпереть, ибо на другой день там будет пахнуть мочой и водкой» (6). Эпопея с отхожими местами продолжалась.

Проблема приняла такой размах, что ей озаботился сам товарищ Сталин: «Он мне говорит: “Товарищ Хрущев, до меня дошли слухи, что у вас в Москве неблагополучно дело обстоит с туалетами. Даже “по-маленькому” люди бегают и не знают, где бы найти такое место, чтобы освободиться. Создается нехорошее, неловкое положение. Вы подумайте с Булганиным о том, чтобы создать в городе подходящие условия”. Казалось бы, такая мелочь. Но это меня еще больше подкупило: вот, даже о таких вопросах Сталин заботится и советует нам... Потом Сталин уточнил задачу: надо создать культурные платные туалеты. И это тоже было сделано. Были построены отдельные туалеты. И все это придумал тоже Сталин» (7). Сами, без указания вождя, партайгеноссы додуматься о том не могли? Воистину, разруха начинается в головах.

Разумеется, коммунальный быт становился излюбленным объектом описания для советских сатириков, тем более, что с ним они сталкивались непосредственно. Так, «общежитие им. монаха Бертольда Шварца» списано соавторами с общежития газеты «Гудок», в котором одно время жил Ильф. И описанные в «12 стульях» сомнительные прелести совместного проживания отнюдь не являлись веселым исключением. Вот условия проживания приехавших в Подмоскovie на уборку урожая сезонных рабочих: «Кругом дома набросаны всякого рода отбросы, распространяющие большое зловоние, и около стен, крыльца проходит оправка рабочих. Внутри помещения очень грязно. Около печи сушатся грязные портянки, полы грязные, шкафов нет, а поэтому пища храниться под подушками и на кроватях» (8). Будущая звезда советского кино Л. Смирнова рассказывает о комнате, в которой они проживали с мужем в 1920-е годы: «Это был особняк, в котором – мраморные огромные подоконники, облицовки, колонны, и потрясающий

рисунчатый паркетный пол... Большая комната перегорожена досками. Слышимость – невероятная... У нас в комнате было четыре окна. Два мы заделали, чтобы не было так холодно, а когда топили печку – задыхались» (9).

Так жили миллионы строителей нового общества и, конечно, мечтали изменить условия своего быта. В ход шло все – интриги, скандалы, расследования. Попадающий под психологический прессинг пронюхавших о свободной комнате жильцов домоуправ Никанор Босой отнюдь не выдумка автора. Вспомните классика: *«...с семи часов утра четверга к Босому начали звонить по телефону, а затем и лично являться с заявлениями, в которых содержались претензии на жилплощадь покойного. И в течение двух часов Никанор Иванович принял таких заявлений тридцать две штуки. В них заключались мольбы, угрозы, кляузы, доносы, обещания произвести ремонт на свой счет, указания на несносную тесноту и невозможность жить в одной квартире с бандитами... Никанора Ивановича вызывали в переднюю его квартиры, брали за рукав, что-то шептали, подмигивали и обещали не остаться в долгу»*. Это реальная жизнь. М. Булгаков очень долго после приезда в Москву маялся жилищным вопросом, как и прочие миллионы новых москвичей, а потому знал, о чем писал.

Хотя, на мой взгляд, знаменитое воландовское *«квартирный вопрос только испортил их...»* значительно глубже по своей интонации, нежели вопрос борьбы за жилплощадь. Речь идет вообще о том, появился ли на свет новый «советский человек», которого настойчиво воспитывала коммунистическая пропаганда – честный, деловой, пронизанный новой идеологией. Воланд такого человека не видит: *«...люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних...»* «Советский

человек» не состоялся – так считали многие интеллектуалы. Однако энтузиазм 1920-х, обратившийся огромными свершениями индустриализации, или массовый героизм военного времени ставит под вопрос сам скептицизм Воланда (не говорю – Булгакова). Роман дошел-то до читающей публики уже в то время, когда пассионарный порыв почти угас, и общество погружалось в цинизм брежневской эпохи, а потому Сатана-Воланд был ошибочно воспринят как пророк или даже мессия.

Однако вернемся к нашим жильцам и сопутствующей борьбе за культуру быта. Несмотря на предпринимаемые меры, ситуацию не удалось улучшить до самой войны. К 1940 году жилплощадь на одного горожанина составляла всего 4,5 кв. м. (в 1928 – 5,8 кв. м.) – последствия индустриализации и массового переселения в города. Потом война, которая продолжила разорение жилого фонда. Естественно, читатель шестидесятых годов, читая сочные описания коммуналок, понимая, что они запечатлены еще в тридцатые годы, то есть треть века назад (и за это время Советская власть мало что изменила), теряет веру в светлое будущее. Москва и Питер, законодатели мод советской интеллигенции, переполнены коммуналками, в них живут миллионы людей, которые с содроганием вчитываются в булгаковские строки: *«Свет надо тушить за собой в уборной, вот что я вам скажу, Пелагея Петровна, а то мы на выселение на вас подадим!»* И понимают: советский коммунальный ад был всегда и, пожалуй, всегда будет.

Или культовые «12 стульев»: *«Три тысячи человек должны за десять минут войти в цирк через единственные, открытые только в одной своей половине двери. Остальные десять дверей, специально приспособленных для пропуска больших толп народа, – закрыты. Кто знает, почему они закрыты?..»*

Интеллигенция знает – виноват «совок», система коллективной безответственности. И подспудно чувствует, что любимые писатели на ее стороне. Один из кумиров интеллигенции народный артист Советского Союза О. Басилашвили в интервью как-то заметил: «"Мастер и Маргарита" – не религиозный, а антисоветский роман, поэтому он очень мне нравится» (10). Бог ты мой, СССР уже нет давно, роль Воланда им блистательно сыграна, а заряд ненависти к «совку» остался. Это какой же мощности заряд был? И когда он заложен?

Мало что так возбуждало враждебность в народной (особенно в крестьянской среде) к политике Советской власти, как стиль «управления» и образ жизни местной бюрократической элиты. Мы уже говорили о ее оторванности от народа, нарочитом подчеркивании своего привилегированного положения и энергичном захвате богатств, оставшихся от прежних хозяев страны. Это Корейко таился со своими миллионами, но и советские вожди бессребрениками не были: селились во дворцах и счета немалые (как бы для нужд международного рабочего движения) контролировали.

Начиная с Гражданской войны, операции на теневом рынке осуществлялись и многими рядовыми совслужащими, распродававшими, например, больничное имущество и продукты. Начиная с круп и кончая самым ценным в юной Республике – марлей, которой только в 1919–1920 годах было перепродано спекулянтам 2000 аршин (11). В стране вечного дефицита старые слова быстро приобретали новый смысл. Товары, например, стали не продавать, а «отпускать», а пророку Самуилу, как мы помним, задавали одни и те же вопросы: *«Почему в продаже нет животного масла?»* Приобретение стало не покупкой, а «отовариванием». Объяснялось это дефицитом и карточками. Характерная деталь, Бендер, отпарывая обивку очередного стула, старается не повредить английский ситец в цветочек. *«Такого материала теперь нет, надо его сохранить»*, – приговаривает Остап, и добавляет: *«Товарный голод, ничего не поделаешь»*. Дефицит порождал панические ожидания, что исчезнет еще что-нибудь, и какой-нибудь слесарь-интеллигент Полесов в три дня вполне мог затолкать

Старгород в продовольственный и товарный кризис, когда напуганные граждане раскупали все подряд из местных лавок. В выигрыше всегда те, кто распределяет. Распределяла власть и ее клеветы.

Ситуация мало изменилась с началом политики Большого Скачка. Отголоски карточной системы проскакивают и на страницах «Золотого теленка». Мы впервые видим Васисуалия Лоханкина, когда его жена оставляет ему на столе хлебную карточку. *«Лоханкин живо вскочил с дивана, подбежал к столу и с криком: “Спасите!” – порвал карточку. Варвара испугалась. Ей представился муж, иссохший от голода, с затихшими пульсами и холодными конечностями»*. Между прочим, так могло и стать: утрата хлебной карточки являлась чудовищной потерей. Это хлеб насущный, тонкости распределения которого между народом и элитой власти не афишировали.

Окинем взглядом и внешний облик послереволюционного гражданина. Встречают-таки по одежке: люди продолжали существовать своими человеческими радостями, хотели любить, нравиться друг другу. Хорошая одежда всегда являлась признаком социального положения. Так в середине 1920-х годов среди жен высокопоставленных советских чиновников особым шиком считалось иметь в своем гардеробе туалет от модельера Надежды Ламановой. Эта художница и дизайнер модной одежды в 1925 году была удостоена «Гран-при» Всемирной выставки в Париже за модель дамского туалета, в котором сочетались новейшие тенденции с русской традицией. Но в целом стремление граждан выглядеть модно и привлекательно подвергалось огромным испытаниям в стране, где купить обыкновенные брюки стало проблемой. Казус «Штанов нет» описан не только в «12 стульях»^[161], но и в прочих печатных источниках –

юмористический журнал 1920-х «Смехач» острил, что раньше, мол, было «Облако в штанах»^[162], а теперь, «Штаны в облаках», в смысле их недоступности. Один из самых знаменитых поэтов эпохи О. Мандельштам: «Лишняя пара брюк никогда не заживалась у О. М. (Осипа Мандельштама – К.К.) Всегда находился кто-нибудь, у кого нет и одной. Шкловский тогда тоже принадлежал к однобрючным людям, а его сын Никита уже готовился к такой же судьбе. Однажды мать спросила его, чего бы он пожелал, если б крестная фея, как в сказке, взялась выполнить его желание. Никита ответил без малейшего раздумья: “Чтоб у всех моих товарищей были брюки...”» (13).

Большой доброжелатель Советского Союза Л. Фейхтвангер отмечает: «Если кто-либо, женщина или мужчина, хочет быть хорошо и со вкусом одет, он должен затратить на это много труда, и все же своей цели он никогда вполне не достигнет. Однажды у меня собралось несколько человек, среди них была одна очень хорошо одетая актриса. Хвалили ее платье. “Это я одолжила в театре”, – призналась она» (14). Случались и курьезы. Во время пребывания за границей некоторые актрисы одного известного театра по наивности купили длинные нарядные ночные рубашки и надели их, считая, что это – вечерние платья.

Нечто заграничное и модное в подобных условиях приобретало характер сакральный – как стеклянные бусы для дикаря, и подобное отношение сохранилось на бытовом уровне до самых последних лет режима, немало содействуя его коррозии. *«У меня там двоюродная сестра замужем. Недавно прислала мне шелковый платок в заказном письме...»*, – вдохновенно заливает Бендер о загранице своим легковерным слушателям. В конце романа одетым в импорт триумфатором он появляется в Москве: *«Под*

расстегнутым легким макинтошем виднелся костюм в мельчайшую калейдоскопическую клетку. Брюки спускались водопадом на лаковые туфли. Заграничный вид пассажира дополняла мягкая шляпа, чуть скошенная на лоб». **«Заграничный вид»** – предмет мечтаний модника на десятилетия вперед и способы преодоления «железного», то есть «шмоточного» занавеса, отделявшего советских людей от прочих европеоидов, придумывались самые фантастические. Так, муж советского министра культуры Е. Фурцевой, будучи послом в Югославии, заказал специальный гипсовый манекен, полностью повторяющий фигуру жены, и таким образом заказывал для нее платья (15).

Вещи, присылаемые из-за границы, – предмет гордости. Причем получение посылок обставлялось формальностями, иногда непосильными и заставлявшими отказываться от желанного подарка, а невыкупленные предметы распродавались, наряду с конфискованной контрабандой, на таможенных аукционах. Вот почему так неотразимо действует на женщин на воландовском представлении в Варьете уговоры Геллы, которая *«сладко запела, картавя, что-то малопонятное, но, судя по женским лицам в партере, очень соблазнительное:*

– Герлэн, шанель номер пять, мицуко, нарсис нуар, вечерние платья, платья коктейль...» Но эту слабость Советская власть вообще считала никчемной. Что ей до страданий глупышки Элочки Щукиной в ее титанической борьбе с Вандербильдихой.

И граждане (особенно гражданки) выкручивались, как могли. Не всю контрабанду делали в Одессе, на Малой Арнаутской. Вот и в Ленинграде «Вечерняя красная газета» от 23 декабря 1924 года сообщает: «Органами дознания обнаружена тайная лаборатория по выделке парфюмерии: заграничной пудры “Симон”, духов “Сиу” и проч. В д. 27, кв. 57 по улице Пестеля

найлены препараты, штампы, этикетки и проч. принадлежности фабрики» (16). Так что хрестоматийное средство для окраски волос «Титаник» имело вполне реальные исторические прототипы.

Даже непонятно, как продолжала теплиться некая светская жизнь – в основном на приемах в посольствах иностранных держав, куда, к слову сказать, была вхожа и чета Булгаковых. 22 марта 1938 года Елена Сергеевна записывает в своем дневнике: «Приглашение от американского посла на бал 26-го. Было бы интересно пойти. Но не в чем, у М.А. брюки лоснятся в черном костюме. У меня нет вечернего платья. Повеселили сами себя разговорами, и все» (17). Но все же бывали Булгаковы на великосветских раутах; может, не в тот раз, а раньше – неоднократно. Собственно, бал у Воланда написан по мотивам приема у американского посла.

На «великом балу» кот Бегемот рассуждает также о другой особенности повседневного быта советских граждан – о городских трамваях, о том, что нет ничего хуже, нежели служить кондуктором в трамвае. Еще одна проблема стремительно урбанизирующегося общества. Речь о транспортном коллапсе, наступившем как в столице, так и в прочих крупных городах.

Трамвай являлся основным общественным транспортом, постоянно переполненным и скандальным, почти самостоятельным персонажем многих художественных произведений – вспомним эпопею старгородского трамвая или причину смерти Берлиоза. И часто – смотровой площадкой для наблюдения за непростой жизнью соотечественников. К. Чуковский: «Вчера ездил в “Лит. Газ.” за деньгами трамваем “А”. И смотрел из окна на Москву. И на протяжении всех тех километров, к-рые сделал трамвай, я видел одно: 95 проц. всех проходящих женщин нагружены какою-ниб. тяжестью: жестянками

от керосина, корзинами, кошелками, мешками... В трамваях эти мешки и кульки – истинное народное бедствие. Мне всю спину моего пальто измазали вонючею рыбою, а вчера я видел, как в трамвае у женщины из размокшей бумаги посыпались на пол соленые огурцы и когда она стала спасать их, из другого кулька вылетели струею бисквиты, тотчас же затоптанные ногами остервенелых пассажиров. Это явление обычное, т. к. оберточная бумага слабей паутины» (18). Даже обычная бумага, как видим, для самого передового и читающего общества тоже является проблемой, словно брюки, жилье или транспорт.

– Почему не выходят «Наши достижения»? – имея ввиду популярный журнал, спросил как-то у Кольцова все тот же неугомонный Чуковский.

– Нет бумаги! – ответил тот.

– Вот тебе и достижения (19).

Естественно, в ситуации товарного дефицита, нехватки продовольствия и человеческой разболтанности говорить о рывке, о стремлении опередить индустриальный Запад мог только сумасшедший. Так, во всяком случае, казалось сторонним наблюдателям. И, тем не менее, гонка началась по всем направлениям – и в экономике, и в политике, и в науке, и в культуре. Большевики, в сущности, пообещали создать в России строй и государство не ниже, а выше западного уровня. «Нет сомнения, что внутри России Ленин победил во многом благодаря этому неслыханному подходу к будущему, – и лестному, и завораживающему» (20).

Но для успеха в экономической гонке одних трудовых ресурсов и энтузиазма было мало. Нужны деньги на закупку современного промышленного оборудования. Либо золото, либо валюта. И то и другое выбивалось самыми немыслимыми способами – от

элементарных пыток бывших состоятельных граждан и нэпманов до распродажи художественных ценностей. Русские культурные ценности широким потоком устремляются за границу. «В художественных музеях Москвы и Ленинграда свирепствовал “Антиквариат”, снизивший мировое значение Эрмитажа по меньшей мере вдвое и изъывший из Музея нового западного искусства несколько чудесных картин – “Ночное кафе” Ван Гога, “Зеленую певицу” Дега, “Портрет жены в теплице” Сезанна, “Служанку от Дюваля” Ренуара...», – свидетельствует искусствовед А. Чегодаев (21).

При крупных столичных отелях возникают комиссионные магазины. Что странно для иностранцев в Москве – духи, продающиеся в комиссионном магазине. Но это уже рассчитано не на них, а на местных нуворишей, вроде Бендера, когда он стал тайным миллионером: *«Костюм, туфли и шляпа – были куплены в комиссионном магазине и при всей своей превосходной доброте имели изъян – это были вещи не свои, не родные, с чужого плеча...»* Пополняли ассортимент антикварных лавок и комиссионок многие «бывшие» – дворяне, интеллигенция, купцы, которых Советская власть поставила на грань выживания, объявив «лишенцами»^[163], заставив за кусок хлеба нести семейные ценности и домашнюю обстановку на продажу. Е. Шварц: «Мебель ничего не стоила. Комиссионные магазины были забиты. Разных профессий деляги из Москвы и их жены, как воронье, слетались на эту ярмарку, покупали рояли по двести и екатерининские буфеты по полтора рубля», – речь идет о том, как доброжелатели пытались обставить во время отсутствия композитора Д. Шостаковича его новую квартиру хорошей мебелью: «Вернувшись, Шостакович увидел купленную для него мебель. И, узнав, сколько за нее заплачено, ушел немедленно из

дому. Он собрал деньги всюду, где мог, и заплатил владельцам настоящую цену. Надо добавить, что он далеко не расточителен» (22). Но то щепетильный Шостакович, а что касательно покупателей из числа партийной элиты, то об их порядочности сведений почему-то не сохранилось.

Собранные правдой и неправдой деньги шли на ускоренную модернизацию народного хозяйства. Вот «список отдельных видов оборудования, подлежащих поставке германскими фирмами» согласно документам Госплана: «Токарные станки для обточки колесных полускатов. Специальные машины для железных дорог. Тяжелые карусельные станки диаметром от 2500 мм. Токарные станки с высотой центров 455 мм и выше, строгальные станки шириной строгания в 2000 мм и выше, кромкострогальные станки, расточные станки с диаметром сверления свыше 100 мм, шлифовальные станки весом свыше 10 тыс. кг, расточные станки с диаметром шпинделя от 155 мм, токарно-лобовые станки с диаметром планшайбы от 1500 мм, протяжные станки весом от 5000 кг, долбежные станки с ходом от 300 мм, станки глубокого сверления с диаметром сверления свыше 100 мм, большие радиально-сверлильные станки с диаметром шпинделя свыше 80 мм. Прутковые автоматы с диаметром прутка свыше 60 мм. Полуавтоматы. Многорезцовые станки. Многошпиндельные автоматы с диаметром прутка свыше 60 мм. Зуборезные станки для шестерен диаметром свыше 1500 мм. Большие гидравлические прессы, фрикционные прессы, кривошипные прессы, разрывные машины, окантовочные прессы, ковочные молоты свыше 5 т.» (23). И т. д., и т. п. Звучит не слишком поэтично для уха эстета. Потому и не было бытовых товаров, что все ресурсы шли на модернизацию. И что более для истории ценно – модные штаны или экономическая независимость? Лучше,

разумеется, и то, и другое. А если выбор категоричен – или-или?

По всему СССР строились промышленные предприятия, возникали целые города либо реконструировались старые. И. Эренбург: «Заштатный Новониколаевск превратился в шумный Новосибирск. Дома напоминали выставочные павильоны. В ресторане при гостинице люди ночь напролет хлестали водку. Вокруг города пришельцы строили лачуги, рыли землянки; они торопились – впереди была суровая сибирская зима. Новые поселки называли “Нахаловками”. Жители острили: “В Америке небоскребы, а у нас землескребы” – это было задолго до высотных зданий» (24). Либо восславленный в стихотворении Маяковского «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка» («Здесь будет город-сад»):

*«....Здесь взрывы закудахтают
В разгон медвежьих банд,
И взроет недра шахтою стоугольный “Гигант”.
Здесь встанут стройки стенами.
Гудками, пар, сипи.
Мы в сотню солнц мартенами
Воспламеним Сибирь...»*

«В Кузнецк привезли изумительные машины, – вспоминает далее Илья Эренбург. – А строили завод-гигант чуть ли не руками. Были мощные экскаваторы, но я видел, как люди таскали землю на себе. Не хватало кранов, и один молодой рабочий сконструировал деревянный кран. Незадолго до моего приезда рухнули леса, люди упали в ветошку и задохлись. Их хоронили с воинскими почестями... Иностранные специалисты, работавшие в Кузнецке, говорили, что так строить

нельзя, нужно было, прежде всего, провести дороги, построить дома для строителей; да и состав текущий, люди не умеют обращаться с машинами; вся затея обречена на провал... Несмотря на трудности, казалось бы непреодолимые, цехи заводов быстро подымались. Среди котлованов пооткрывались кинотеатры; устроили школы, клубы» (25).

Презирать и проклинать воистину героический период нашей истории, сводить его к проблеме «Штанов нет» – близоруко и преступно. Да, последующие грандиозные события Великого Террора и Великой Войны поистерли в памяти деяния народа, но именно те великие свершения первых пятилеток во многом **до сих пор** составляют основу экономической жизни государств постсоветского пространства.

IV

Энтузиазм эпохи первых пятилеток реанимировали поблекшие было под влиянием НЭПа надежды ультра-революционеров на скорое построение утопического общества. Мероприятия 1929 года (сверхтемповая индустриализация, установка на сплошную коллективизацию и даже введение карточной системы) воспринималось ими не только как шаги к социализму, но и ликвидации основы буржуазного миропорядка – к отмене денег. «На отдельных участках хозяйственного строительства мы имеем уже, как это отмечается в контрольных цифрах Госкомплана на 1929-30 год, частичное отмирание денежных отношений», – писала 12 декабря 1929 года «Экономическая жизнь». Утверждалось, что деньги уже «превращаются в расчетные знаки», в «потребительские талоны государства» (26), что в настоящий момент уже происходит «в скрытой форме начало уничтожения самих денег» (27), а в конце 1929 года в газетах разбирали проекты, как именно следует отменить деньги (28).

То, что подобные мысли были распространены очень широко, свидетельствует, в частности, фельетон Ильфа и Петрова «Московские ассамблеи»: «...К концу вечера обычно затевается разговор на политические темы и, как всегда, настроение портит Вздох-Тушуйский:

– Слышали, господа, – говорит он, – через два месяца денег не будет.

– У кого не будет?

– Ни у кого. Вообще никаких денег не будет. Отменяют деньги.

– А как же жить?

Все с ужасом думают о тех близких переменах, когда отменят деньги и придется обедать на фабрике-кухне». Как видим, авторы с иронией относятся к людям, опасаясь отмены денег и обращающимся друг к другу «господа».

Но внезапно, вместо конца товарно-денежных отношений 1931-1932 годы принесли прямо противоположное – лозунг об «укреплении советского рубля» и серию постановлений о развертывании «советской торговли». Уже сам термин для людей воспитанных в 1920-х годах звучал дико, ибо они твердо заучили, что торговля – «родимое пятно капитализма» и главный признак НЭПа, а особенность социализма – как раз отсутствие торговли. Сталинский рывок в будущее оказался не вдохновенным и поэтическим полетом к утопии, а крестьянским, заскорузлым копанием в земле. Но только так можно было надеяться на реальные всходы. Которые, впрочем, не заставили себя долго ждать.

Повсюду возникают приметы нового времени, которые находят свое отображение в литературе 1920-х – 1930-х годов, будь-то ЗАГЭС, Земо-Авчальская гидроэлектростанция в «12 стульях» (*«Стекло, вода и электричество сверкали различными огнями...»*) или суперсовременная больница в «Мастере и Маргарите». Я уже не говорю о таких знаковых литературных произведениях эпохи, как «Время, вперед» В. Катаева или «Гидроцентральный» М. Шагинян. Страна была поставлена на дыбы: *«Великий комбинатор провел пятнадцать ночей в разных поездах, переезжая из города в город, потому что номеров нигде не было. В одном месте воздвигали домну, в другом – холодильник, в третьем – цинковый завод. Все было переполнено деловыми людьми»*. Обратите внимание – «деловыми людьми», почти «бизнесменами».

Но, что очень важно и что отличало социалистический плановый подход к индустриализации от дикого капитализма: среди котлованов одновременно возникали клубы и школы. И. Эренбург: «В 1932 году в Кузнецке еще нельзя было сделать шага, чтобы не попасть в яму, но уже пылали первые домны, и в литературном объединении юноши спорили, кто писал лучше – Маяковский или Есенин... Рая, о котором тогда мечтали молодые, они не увидели; но десять лет спустя домны Кузнецка позволили Красной Армии спасти Родину и мир от расистских изуверов» (29). Одной из важнейших задач страны стало создание и нового образованного человека для нужд строя.

Каждый строй или государство должно иметь свою преданную и тесно сплоченную элиту. Естественно, не доверяя старым кадрам и осуществляя культурную революцию, большевики планомерно воспитывали преданных своей идее молодых сторонников. Такие партийные деятели как Косиор и Хатаевич считали, что необходимо воспитать новое поколение свободным от обязательств перед «старой» моралью. И взрастили – на свою голову – для специфических потреб режимa; они же упомянутых партийных деятелей и расстреляли^[164]. Но Империи нужны не только палачи, но и инженеры, и архитекторы, и даже писатели.

Самым подходящим для быстрой модернизации общества оказалось то, что было самым труднодоступным для народа в прошлом, а именно образование и культура. Оказалось, гораздо легче дать людям хорошее образование и открыть им доступ к вершинам культуры, нежели предложить приличное жилье, одежду, пищу. Доступ к образованию и культуре стал элементарной компенсацией за бытовое убожество. Кроме того, поняв, как трудно вести

большую войну (которую ожидали все) при недисциплинированном населении, государство оценило важность порядка, которым отличалась дореволюционная классическая гимназия. Характерно, что при Сталине образование со старших классов (в восьмом, девятом и десятом) было платным – и отношение к такому образованию было более ответственное. Большинство же людей, закончив седьмой класс, шли работать, но путь к дальнейшему получению образования им оставался открыт – рабочую молодежь в вузы направляли учиться как предприятия, так и партийные и комсомольские организации.

По сути, культурная революция началась сразу после прихода большевиков к власти. Битва с неграмотностью, беспризорностью, борьба за изменение менталитета громадной крестьянской страны – сверхзадача, которая объединяла как представителей старой интеллигенции, так и радикальных большевиков. Пожалуй, именно здесь мы можем наблюдать общественный консенсус. Бердяев был неправ, когда писал, что «ненормальным, болезненным является то, что приобщение масс к цивилизации происходит при совершенном разгроме старой русской интеллигенции» (30). Да, интеллигенция была преизрядно потрепана в пробужденной ею революции и Гражданской войне, деморализована и во многом оттеснена от руководства процессами, но именно в вопросе культурной революции между властью и интеллигенцией существовало согласие, и интеллигенция вполне могла найти себя в новом государстве, делась своими знаниями с народом.

Однако, если интеллигенция видела в образовании народа необходимое условие принятия современной западной **цивилизации**, то большевики – лишь необходимое средство овладения западными **технологиями** и приучения людей к производственной

дисциплине. Например, активно пропагандировалась необходимость пунктуальности в быту и работе, в чем особенно преуспела легендарная «Лига Времени»^[165]. Её целью была научная организация труда и досуга, агитация за «коммунистический американизм». Члены Лиги («эльвисты») боролись против опозданий, затяжных перекуров, заседаний и др. форм растраты времени. Те же Ильф и Петров не мыслят социалистического пути своей страны в изоляции от научно-технического прогресса, от автомобилизма и небоскребов, от авиации, кино и спорта, от романтики изобретений и рекордов. «Эта ориентация на динамическую цивилизацию Запада... сопровождается насмешливым отмежеванием от избяной, сермяжной Руси и от “таинственной славянской души” с ее традиционными (по мнению этих писателей) атрибутами: самокопанием, богоискательством, ленью и т. д.» (31). По сути – патриархальной и ненужной.

«Коммунистический американизм», то есть овладение высотами индустриальной цивилизации, надолго стал символом неудержимого желания новой страны «догнать и перегнать» ведущую экономику Запада. Сталин в 1932 году прямо говорил: «Мы хотели бы, чтобы люди науки и техники в Америке были нашими учителями, а мы их учениками» (32). В свою очередь, экономическая гонка за лидером ставила новые задачи и перед искусством, поначалу даже поощряла модернизм. В искусстве отмежевание от дореволюционной эстетики старой России проявлялось порой в совершенно необычных, даже вызывающих формах – от оформления кухонной посуды до массовых мероприятий (например, траурный венок на похоронах Маяковского был сработан из молотов, маховиков и винтов). Достижения советского модернистского искусства известны во всем мире.

Активно внедрялись и новые формы быта, неслыханные тогда для нашей страны, вроде системы общественного питания. Первая фабрика-кухня, оснащенная новейшим заграничным оборудованием, открылась под эгидой Нарпита в 1925 году в Иваново-Вознесенске, вторая – в 1927 году в Нижнем Новгороде, третья – на Днепрострое. В печати пропагандировалась большая пропускная способность фабрик-кухонь, отмечались свет, чистота, обилие бытовой техники.

Несомненные достижения подпитывали реальный энтузиазм народа. Что, в свою очередь, давало власти возможность инициировать массовое «движение ударников». Ударники – это и осязаемый образ передового рабочего, и наглядное доказательство, что самые дерзкие мечты большевиков реализуемы, и новая элита рабочего движения выдвинута не прошлыми революционными заслугами, а самой жизнью. М. Кольцов: «В самой гуще партии и страны действуют эти люди, развернувшие сверхамериканские темпы социалистической стройки» (33). И снова сравнение с далекой Америкой. Мы настойчиво ввязывались в виртуальное состязание с самой экономически развитой державой мира, и от исхода титанического состязания во многом зависела, в глазах общественности, правота или – наоборот – напрасность принесенных народом жертв.

В условиях карточной системы (а порой и голода), при нехватке всего самого необходимого, в условиях диктатуры довольно хамской власти, советских людей поддерживало сознание высокой миссии, которую история им доверила во имя грядущих поколений. К. Чуковский: «...много гнусного, много прекрасного – и чувствуется, что прекрасное надолго, что у прекрасного прочное будущее, а гнусное – временно, на короткий срок. **То же чувство, которое во всем СССР** (выделено мной – К.К.). Прекрасны заводы Грознефти,

которых не было еще в 1929 году, рабочий городок, река, русло которой отведено влево (и выпрямлено не по Угрюм-Бурчеевски). А гнусны: пыль, дороговизна, азиатчина, презрение к человеческой личности» (34).

Ну и, конечно же, гнусна была нищета основной массы населения, особенно резко контрастировавшая на фоне комфортной жизни элиты. На XVII съезде Сталин заявил: «Незачем было свергать капитализм в ноябре 1917 года и строить социализм на протяжении ряда лет, если мы не добьемся того, чтобы люди жили у нас в довольстве. Социализм не означает нищету и лишения...» (37) Это было сказано буквально сразу после грандиозного голода 1933 года. То есть вопрос «хлеба насущного» являлся не отвлеченной метафорой, а аксиомой выживания миллионов людей – либо краха самой советской системы.

И большевики с присущей им решимостью и жестокостью принялись за дело – обтесывание чуждого им народа-мужика. Понятно, что шоковая перестройка многовековых устоев сельской жизни вызвала, не могла не вызвать, тектонические процессы – от массового бегства селян в город (и создание трудовых резервов для индустриализации) до чудовищного голода (сломившего сопротивление недовольных). Но, когда после страшных испытаний страна начала приходить в себя, колхозная система все же заработала. Один работающий землепашец производил в 1938 году на 70 % больше зерна, чем в 1928-м (36). Жить стало сытней.

Особенностью земледелия в наших широтах является чрезвычайная краткость периода, пригодного для сева и уборки урожая – от четырех до шести месяцев. «В Западной Европе, для сравнения, – рассуждает видный американский историк Р. Пайпс, – этот период длится восемь-девять месяцев. Иными словами, у западноевропейского крестьянина на 50-100 % больше времени на полевые работы...» Пайпс совершенно справедливо утверждает, что российская география не благоприятствует **единоличному** земледелию... климат располагает к **коллективному** ведению хозяйства (37). Это очень важное замечание, которое подчеркивает как жизнеспособность традиционной крестьянской общины в Российской империи, так и ее новую форму в виде колхозов.

Итак, колхозы заработали, и современники сразу отметили улучшение продовольственного снабжения, прежде всего, отмену карточной системы. Теперь, имея деньги, можно было купить разнообразные

кондитерские и молочные товары, хлеб, мясо, рыбу. «С фотографической точностью я помню цены тех далеких довоенных лет, – рассказывает академик И. Шкловский. – Кило чайной колбасы 8 р., сосиски 9,40, сардельки 7,20, ветчина 17, сливочное масло 17,50, икра красная 9, кета 9, икра черная 17, десяток яиц 5,50. Кило черного хлеба 85 коп., кило серого 1,70...

Добавлю к сказанному, что колбаса была из чистого мяса, и никаких очередей не было. Фантастика!» (71). Студенческая стипендия будущего академика была 150 рублей. Официальные цены на продукты в 1937 году: килограмм пшеничной муки – 4,60; гречки – 1,82. Кусок хозяйственного мыла – 2,28; банка сардин – 4,75; килограмм мятных пряников – 5,75; килограмм кофе 10,90. Пол-литра вина – рубля 4. Для ориентировки зарплаты самих работников торговли: рядовой лоточник получал 120–150 рублей, продавцы 500–600 рублей, зав. магазином 700–800 рублей (38).

Повысилось внимание к внешней стороне дела и качеству обслуживания. К 1935 году власти постепенно реконструировали крупные продовольственные магазины старого времени, привели в порядок их архитектурное оформление, оснастили холодильной техникой. Например, в Москве и Ленинграде были полностью восстановлены продовольственные магазины бывшей фирмы Елисеева, заново организованы специальные диетические магазины, которым присвоили название «Гастроном», сохранившееся до сих пор.

К 1936 году в СССР было построено и введено в эксплуатацию (только новых) 17 крупных мясных комбинатов, 8 беконных фабрик, 41 консервный завод, 10 сахарных заводов, 9 кондитерских фабрик, 33 молочных завода, 11 маргариновых заводов, 178 хлебозаводов, 22 чайных фабрики и ряд др. промышленных предприятий (39). Отцом этих

преобразований стал нарком пищевой промышленности А. Микоян, который много перенял в технологиях общественного питания из американского опыта. Из своей поездки в США он привез даже наше любимое мороженое: «У нас со стародавних времен повелось изготовление мороженого кустарным, ручным способом. Задача состояла в том, чтобы развить машинное производство и сделать мороженое дешевым и доступным... Мы привезли из США всю технологию промышленного производства мороженого. В 1938 году начался массовый выпуск» (40).

Но это, разумеется, не означает, что всего и сразу стало вдоволь. Дефицит чего-то всегда в нашей стране да ощущался. Когда-то и харьковская минеральная вода «Березовская» дефицитом считалась. 26 июня 1938 года Булгаков в письме к жене писал: «Томительно хочется пить. Нарзану нет. Пил Березовскую воду, пил Миргородскую, но их тоже трудно достать» (41). Не отсюда ли уже в первой главе «Мастера» томительное желание литераторов отведать если не пива, то хотя бы вожаделенного нарзану?

Хуже, если невозможно решить какие-то более важные для писателя вещи, например, приобрести для работы обычную пишущую машинку. «Ездили с Мишей утром в Наркомфин в валютный отдел. Миша говорил сначала с юрисконсультом – тот сообщил об отрицательном ответе... Миша сказал – я ведь не бриллианты из-за границы выписываю. Для меня машинка – необходимость, орудие производства. Начальник отдела обещал еще раз поговорить с замнаркома, думает, что ответ дадут положительный» (42). Обратите внимание, вопрос решается за валюту и на уровне заместителя наркома.

Раздражение Михаила Афанасьевича понятно, но для страны нужнее станки. Именно на них тратились баснословные средства, в ущерб насыщенности

внутреннего рынка бытовыми товарами. Тот же академик Шкловский, заканчивая восхищенную сагу о продуктах, объективно говорит: «...Зато с промтоварами положение было катастрофическое. Я ходил в обносках; зимой – в старых валенках, почему-то на одну левую ногу. Впервые в своей жизни плохонькие новые брюки я купил, когда мне исполнилось 20 лет. А первый в моей жизни костюм я заказал, будучи уже женихом. Для этого нам с моей будущей женой Шурой пришлось выстоять долгую зимнюю ночь в очереди в жалком ателье около Ржевского (ныне Рижского) вокзала».

В 1937 году СССР стал второй экономической державой мира. Темпы роста за две пятилетки не имели прецедента в мировой истории. Вопрос о самой возможности догнать и перегнать Запад перестал вызывать удивление. Было возвращено поколение людей, считавших такую задачу необходимой, абсолютно реальной и предпринимавшие для этого нечеловеческие усилия. Увы, пассионарный подъем первого сталинского поколения был погашен, залит кровью во время Второй мировой войны, израсходован на восстановление страны и в атомной гонке, придавлен тяжестью окостеневшего имперского режима.

Крайнее напряжение сил всего народа продуцировалось не только восторженным энтузиазмом значительной части населения, но и откровенным закабалением тех, кто этот энтузиазм почему-то не разделял. Изнемогавшая нация не могла позволить себе роскошь терять лишние рабочие руки и рабочее время. Минимизировано количество выходных дней. Все ресурсы были взяты на учет. Закон 1940 года подразумевал увольнение с завода только с разрешения начальства (он был отменен лишь 25 апреля 1956 года).

Кроме того, была создана огромная армия рабов, брошенных на самые жуткие работы.

Насилие может дать (и давало) немедленный результат в виде конкретной продукции, но оно лишало основы творческой раскрепощенности. Д. Стейнбек в своих заметках отмечал: «Советские молодые люди ведут себя несколько напряженно и страдают отсутствием чувства юмора, зато работают они хорошо» (43). Чувство юмора очень скоро появится, но работать они разучатся – шестидесятники уже на пороге.

И здесь мы снова сталкиваемся с вопросом, какова основа общества в наших условиях, где необходимость сплоченных коллективных усилий диктуется самими условиями проживания в холодной стране. Либо необходима борьба за экономическую свободу каждого индивидуума, и какова, в таком случае, степень этой свободы. Философ А. Дугин в интервью еженедельнику «Аргументы и факты» подчеркивает: идеологи «либеральной демократии» делают акцент на индивидууме, «подчеркивая его экономические и животные потребности, подчиняя всю структуру общества эгоистическим интересам «свободного потребления» (44). Но, если на секунду задуматься, на пользу ли безудержный эгоизм отдельно взятого человека окружающим его людям, не говоря уже о целых народах?

Запад безо всяких моральных проблем триста лет использовал рабство, считаясь при этом идеалом законности и демократии. Основатель теории гражданского общества английский философ Дж. Локк помогал составлять конституции рабовладельческих США и вложил все свои сбережения в работорговлю. Ну, ладно либералы, но и основатели коммунистической доктрины, просвещенные «интернационалисты» относились к народам «незападной» Европы с плохо скрываемым отвращением. Ф. Энгельс в «Новой

Рейнской газете» (1849 г.) писал: «Судьба западных славянских народов – дело же конченное. Их завоевание свершилось в интересах цивилизации. Разве же это было “преступление” со стороны немцев и венгров, что они объединили в великие империи эти бессильные, расслабленные, мелкие народишки и позволили им участвовать в историческом развитии, которое иначе осталось бы им чуждым». Речь о поляках, чехах, словаках и иже с ними. Или еще из Энгельса: «На сентиментальные фразы о братстве, обращаемые к нам от имени самых контрреволюционных наций Европы, мы отвечаем: ненависть к русским была и продолжает еще быть у немцев их первой революционной страстью» (45). И этот человек на протяжении десятилетий являлся одним из столпов нашей идеологии!? Чего же мы хотели, когда «цивилизаторы» пожаловали непосредственно к нам домой?

Во время войны миллионы советских граждан столкнулись с тем, что передовой народ Европы просто не считает нас за людей. Немецкие солдаты вполне могли отправлять естественные потребности на глазах у женщин – не из-за хулиганства, а просто не воспринимая их за мыслящие существа. «Одиннадцатилетняя девочка из-под Курска рассказала мне, как они жили при немцах. У них в избе стоял немецкий офицер. “Он не был злой, кормил нас консервами, а один раз ночью взял на руки сестренку – грудную – да и бросил в колодец. Он ее взял из люльки, покачал – умелый был, у него, наверное, дома свои маленькие, – она и плакать перестала, а он вышел во двор да и бросил в колодец”. “Зачем же?” – крикнула я. “А вы что – немцев не видели? – с презрением ответила девочка. – Мешала ему дрыхнуть, вот и кинул. У нас что ни двор – во всех колодцах грудняшки валялись”» (46). Для контраста – свидетельство И. Эренбурга, удивительная, короткая история о человечности.

Послевоенный Ленинград, город, который перенес жесточайший голод, город, обреченный западными завоевателями на уничтожение: «Я увидел афишу:

“Выставка служебных собак и собак, уцелевших при блокаде”... Собак, переживших блокаду, было, кажется, пятнадцать – маленькие, отощавшие дворняжки; их держали хозяйки – тоже маленькие, высохшие старушки, которые делились со своими любимцами голодным пайком...» (47).

Только война отрезвила европейцев, да и то – не всех и не сразу. Немецкий солдат, сложивший свою голову в боях против Красной Армии, Вилли Вольфзангер с удивлением пишет в своих дневниках: «Харьков. Война снова открывала нам глаза на все произошедшее в России. Мы видели солидные постройки, роскошные административные здания и казармы наряду с маленькими домиками, которые прятались в тени вокзала, разрушенные здания... Но о жизни этого народа мы почти ничего не знали, разве что по книгам русских писателей, и не могли понять его душу. Мы курили махорку и пили лимонад, питались местными продуктами, жили в русских квартирах. Но это не придавало нам знаний о народе... Например, о том, что война не позволила русским завершить то, что они планировали. Война только усиливала нашу неосведомленность» (73).

Непонимание рождает жестокость – и вчера, и сегодня. Я не хочу сказать, что мы добрее или лучше других людей земли, но технологичная, конвейерная жестокость все же не в характере нашего человека. Отчасти «виной» тому и та самая крестьянская сущность, которую никак не удастся вытравить, несмотря на коммунизацию, индустриализацию и приватизацию. Отсюда исходят представления о том, что необходимо человеку, что желательно, а что – лишнее, суета сует. В ходе революции и разрухи этот

проект стал суровым и аскетичным. Носители «ненужных» потребностей были перебиты, уехали за рубеж или перевоспитались самой реальностью. На какое-то время в обществе возникло «единство в потребностях».

Но по мере того, как жизнь входила в мирную колею и становилась все более и более «городской», узкий набор «признанных» властью потребностей стал стеснять, а потом и угнетать все более и более разнообразные части общества. Для них комфортный Запад стал идеальной, сказочной землей, где их ущемленные потребности уважаются и даже ценятся. А. Зиновьев, «Нашей юности полет»: «...мы мечтали как о сказочном богатстве о том, что потом стало будничным явлением убогой советской жизни. Поразительно, обретя некоторый минимум житейских благ, который нам казался верхом мечтаний, советские люди утратили надежды на райское будущее. Лишь много лет спустя я понял, что это есть общее правило общественной психологии: рост благополучия порождает рост недовольства своим положением и неверие в будущее общество изобилия. Именно улучшение жизни в послевоенное время убило идеологическую сказку коммунизма, а не чудовищная бедность тех лет» (48).

Ну и, конечно, одиночество интеллектуала в стране победивших простолюдинов, то есть органически чуждого ему народа. Профессор из Оксфорда Исая Берлин, специалист по Толстому, Тургеневу, Герцену, посетил в 1945 году Ленинград. Был и у Ахматовой, которая читала ему свои стихи, вплоть до «Реквиема». Анна Андреевна обозначила «рубеж» между собой и гостем, сказав: «Вы приехали оттуда, где живут люди...» (49) Показательная фраза. Там живут **«люди»**. Если там «люди», то кто здесь? Фраза сказана классиком отечественной словесности и задолго до публичной травли поэтессы. Либеральный,

западнический подход к решению проблем с крестьянской закваской страны ужиться не смогли.

Интеллектуалы, которые хотели действовать заодно с Западом, не были врагами своей родины, они хотели быть на стороне «прогрессивного», будучи искренне убежденными: то, что идет с Запада – будь-то капитализм, социализм, либерализм или гомосексуализм – на сегодняшний день наиболее передовое учение в мире. То, что противоречило импортной доктрине, осознавалось ими как архаика, отставание и трагедия Родины. Апокалипсические настроения легко переходили в истерику. Н. Мандельштам: «...мы вступили на колею бесповоротной гибели. Одному, может быть, отпущен еще час, другому – неделя или даже год, но конец один. Конец всему – близким, друзьям, Европе, матери... Я говорю именно о Европе, потому что в “новом”, куда я попала, не существовало всего того европейского комплекса мыслей, чувств и представлений, которыми я до сих пор жила. Другие понятия, другие меры, другие счета... есть только сроки до осуществления этого бесповоротного, которое подстерегает всех нас с нашей Европой, с нашей горсточкой последних мыслей и чувств. Когда же придет беспросветное? Перед лицом обреченности даже страха не бывает. Страх – это просвет, это воля к жизни, это самоутверждение. **Это глубоко европейское чувство** (выделено мной – К.К.). Оно воспитано самоуважением, сознанием собственной ценности, своих прав, нужд, потребностей и желаний. Человек держится за свое и боится его потерять» (50).

Итак, по мнению Н. Мандельштам, задекларированная коммунистами цель – форсированное построение нового общества – это синоним гибели всего, что ей дорого. Страх – вот признак «европейскости», пишет она. И это так! Реальный страх потерять работу, оказаться в нищете

заставляет выкладываться на все сто трудяг-европейцев, фильмы ужасов приносят миллионные доходы создателям, трагические новости определяют сенсационность материалов СМИ. Культ страха и смерти во многом формировал идеологию «Третьего рейха», а ирреальный страх перед «советской угрозой» десятилетиями помогал европейцам идентифицировать себя как носителей единой цивилизации, поклонников общих ценностей.

Со времен Энгельса и Гитлера мало что изменилось в восприятии нас рядовым западноевропейцем. И сегодня на взгляд западного обывателя – русские (в широком смысле слова) не вполне люди. Знаменитая песня Стинга о том, что «русские тоже любят своих детей», в свое время произвела фурор именно потому, что ранее предполагалось, будто у этих «коммунистических марионеток» и чувств-то человеческих быть не может. Фил Эспозито (легендарный капитан канадских хоккеистов-профессионалов) вспоминал, какое отвращение и презрение вызывали у него «комми» – советские хоккеисты, которых канадцы не считали за людей. Примеров можно привести десятки. Вопрос не в государственной организации 1/6 части суши, то есть бывшего СССР (с коммунистами Китая Запад прекрасно находит общий язык), а в цивилизационной принадлежности здешних народов. Любая цивилизация на наших просторах, отличная от представления Запада о цивилизации, будет восприниматься им в штыки – как соперник, как конкурент, как обладатель богатств, которые нужны на Западе. А значит – как потенциальный объект колонизации или противник. Противостоять же совокупной индустриальной мощи Запада крайне сложно.

Однако, вооруженный «передовым учением» марксизма-ленинизма, СССР вызов принял. Сначала на

уровне промышленной гонки, а в послевоенные годы уже как новая сверхдержава. Здесь сыграла роль не переоценка своих сил или эйфория после выигранной войны, но реальная внешнеполитическая обстановка и жесткая необходимость. А именно – совершенно неприкрытая угроза со стороны США, опираясь на атомную монополию развязать новую войну, которая привела бы наш народ к полному физическому уничтожению. Решимость Запада массово уничтожать мирное население была наглядно проиллюстрирована бомбардировками Дрездена, Хиросимы, Нагасаки. И нашему народу была еще памятна звериная жестокость пришедших с запада разноплеменных захватчиков во время только что закончившейся войны. Когда появился новый противник, вооруженный сверхмощным атомным оружием, необходимость дальнейшей мобилизации ресурсов для самообороны являлась для большинства людей вполне очевидной.

Панический страх повторить ошибку Сталина, проморгавшего начало войны с Гитлером, и, таким образом, едва не угробившего государство, преследовал советское руководство до последних дней Советского Союза. На оборону отвлекались колоссальные ресурсы – из 100 миллионов сограждан, занятых в производстве, в оборонном секторе трудилось 30–40 миллионов человек^[166]. По оценкам экспертов, нормальной экономикой, не подчиненной целям обороны, являлось лишь около 20 % народного хозяйства СССР. Запад же, при его уровне индустриализации, подчинял внеэкономическим критериям не более 20 % хозяйства. Если говорят, что «на прилавки» работала лишь 1/5 советской экономики – против 4/5 всей экономики Запада, то сравнивать надо именно эти две экономические системы.

Когда-то, еще до Великой Отечественной войны, писатель А. Платонов записал в своей рабочей тетради: «Чтобы истреблять целые страны, не нужно воевать, нужно лишь так бояться соседей, так строить военную промышленность, так третировать население, так работать на военные заказы, что население все погибнет от экономически безрезультатного труда» (51). По сути, в этой короткой фразе заложена суть того изнурительного соревнования, в которое оказался втянут Советский Союз, и сегодня мы можем рассматривать его как стратегическую ошибку руководства. Но нужно понимать и непростое время, диктовавшее принятие тех или иных решений.

VI

21 сентября 1945 года в Вашингтоне состоялось специальное правительственное заседание, посвященное атомной энергетике в послевоенный период. Присутствовавший на заседании в качестве министра торговли Генри Уоллес в своем публичном выступлении в 1950 году рассказывал: «Министр Стимсон заявил на заседании кабинета 21 сентября 1945 года, что другие страны почти наверняка будут иметь атомную бомбу к 1950 году. Я ему верил... Однако творцы нашей высокой политики, ничего не понимая в науке, думали, что мы обладаем секретом, который сможем использовать в мирное время как орудие в международных делах. Они не спрашивали, что будет с нашей внешней политикой, когда бомбой будут обладать две страны...» (52) Стимсон предлагал попытаться решить атомный вопрос «на основе сотрудничества и доверия» в отношениях с Советским Союзом, однако его рекомендации были отвергнуты, и сам он вскоре ушел в отставку. Именно поэтому **21 сентября 1945 года** вполне можно считать днем, когда США окончательно решили идти по пути «атомной дипломатии», иными словами, по пути «холодной войны».

Руководство СССР четко понимало опасность атомной монополии США. Первоочередной задачей стало восстановление промышленного потенциала страны, серьезно пострадавшего в результате гитлеровского нашествия, ведь только сверхмощная промышленная держава могла разрушить атомную монополию и, одновременно, содержать могучую армию. К 1950 году в СССР был превышен довоенный уровень в производстве чугуна, стали, угля, нефти,

электроэнергии и цемента, тракторов было выпущено в три раза больше, чем в 1940 году. Ресурсы страны были полностью направлены на скорейшее восстановление промышленности и укрепление обороны, что встречало понимание со стороны понесшего огромные потери народа, но никак не интеллигенции, привыкшей видеть в странах антигитлеровской коалиции не просто союзников, но и давних интеллектуальных партнеров.

Перед началом кампании против низкопоклонства перед Западом Сталин инструктировал своего любимца К. Симонова: «Если взять нашу среднюю интеллигенцию, научную интеллигенцию, профессоров, врачей – у них недостаточно воспитано чувство советского патриотизма. У них неоправданное преклонение перед заграничной культурой. Все чувствуют себя еще несовершеннолетними, не стопроцентными, привыкли считать себя на положении вечных учеников... Сначала немцы, потом французы, было преклонение перед иностранцами, – сказал Сталин и вдруг, лукаво прищурясь, чуть слышной скороговоркой прорифмовал: – засранцами, – чуть усмехнулся и снова стал серьезным...» (53).

Целый комплекс причин породил эту приснопамятную кампанию – мы говорили и о еврейском факторе, внешнеполитических причинах, желании нейтрализовать впечатление от европейского уровня жизни, потрясшего воображение миллионов простых советских граждан^[167]. «Борьба эта стала просто и коротко формулироваться как борьба с низкопоклонством перед границей и так же быстро приняла разнообразные уродливые формы... Однако, – продолжает Симонов, – в самой идее о необходимости борьбы с самоуничижением, с ощущением не стопроцентности, неоправданным преклонением перед чужим в сочетании с забвением собственного, здоровое

зерно тогда, весной сорок седьмого года, разумеется, было» (54).

Абсурдом можно считать массовое убеждение в том, что кампания была развернута только с целью уничтожения евреев. Так, Л. Максименков в работе «Очерки номенклатурной истории советской литературы» пишет дословно следующее: «В СССР в атмосфере нараставшей антисемитской вакханалии вводились цветные фотографии для анкет (этот технологический прорыв обеспечивало немецкое трофейное оборудование), а также такие биометрические параметры анкетных данных, как цвет глаз и цвет волос» (56). Рассматривать цветные фотографии как проявление антисемитизма, мягко выражаясь, натяжка. Я уже не говорю о биометрических данных в паспортах сегодняшнего Европейского Союза, который автор антисемитизмом почему-то не попрекает.

Если на то пошло, то винить в начале вышеупомянутой кампании стоит великого ученого – академика П. Капицу. Именно он 25 ноября 1945 года и 2 января 1946-го обратился к Сталину с письмами о вреднейшей недооценке отечественной науки и техники. Притом ученый не побоялся написать о причинах этой недооценки: «Это у нас старая история, **пережитки революции**». Знал, кому писал: «Пережитки революции» – лучше и не скажешь. Вместе с письмом от 2 января Капица прислал Сталину рукопись книги историка техники Л. Гумилевского «Русские инженеры»^[168]. «Из книги, – подводил итоги в письме Сталину Капица, – ясно: 1. Большое число крупнейших инженерных начинаний зарождалось у нас. 2. Мы сами почти не умели их развивать... 3. Часто причина неиспользования новаторства в том, что обычно мы недооценивали свое и переоценивали

иностранное... Творческий потенциал нашего народа не меньше, а даже больше других, и на него можно смело положиться».

Сталин поддержал Петра Леонидовича, обратившись к нему с ответным посланием, в котором было сказано: «В письмах много поучительного» (56). Вот с этой переписки и началась кампания по безудержному прославлению отечественного опыта. Однако тяжело искренне прославлять Отечество, будучи, образно говоря, с голым задом. А что народ-то голый, стало очевидно всем. После войны курс на развитие производства товаров народного потребления, на повышение материального благосостояния людей имел особую актуальность. Советские люди, устав от постоянного перенапряжения и тягот военного времени, заслужили право на лучшую жизнь.

Правительство лихорадочно искало новые подходы, чтобы не столкнуться с массовым народным недовольством, как то случилось во время коллективизации. Пугающее сходство с тем жутким временем придавал и голод зимы 1946-1947 года. Задачи восстановления гигантских разрушений, нанесенных войной народному хозяйству, предполагали и допускали использование иных рычагов воздействия на экономику, несколько выходящих за рамки сугубо административно-хозяйственных методов. Отчасти пришлось использовать опыт Новой экономической политики 1920-х годов, которая помогла преодолеть хозяйственную разруху после Гражданской войны. В ходе военных действий инфляционные процессы значительно усилились: цены по сравнению с довоенными выросли в 10-15 раз. Денежная реформа декабря 1947 года и была призвана ликвидировать последствия войны в области денежного обращения, восстановить полноценный рубль, облегчить переход к торговле по единым ценам без карточек.

В передовой статье «Правды» от 6 января 1947 года говорилось: «Чтобы экономическая жизнь страны могла забить ключом..., а промышленность и сельское хозяйство имели стимул к дальнейшему росту своей продукции, надо иметь развернутый товарооборот между городом и деревней, между районами и областями страны, между различными отраслями народного хозяйства. Чем шире будет развернут товарооборот, тем быстрее поднимется благосостояние советских людей, тем лучше будут удовлетворены их насущные нужды». Обращает на себя внимание и частое использование в статье термина «конкуренция». Еще более примечательно и само название редакционной статьи: «Советская торговля – наше родное большевистское дело». Так-таки и родное?!

В феврале 1952 года Сталин встретился с группой экономистов. Он, в частности, сказал: «Товары – это то, что свободно продается и покупается, как, например, хлеб, мясо и т. д. Наши средства производства нельзя, по существу, рассматривать как товары... К области товарооборота относятся у нас предметы потребления, а не средства производства» (57). Замечательно, но эти самые «предметы потребления» и составляли ахиллесову пяту режима. Именно их постоянный недостаток измучил общество психологически. А средства производства находятся в монопольном ведении государства, и их переориентация есть вопрос исключительно государственной политики. Актуальным становился вопрос о перераспределении части произведенной продукции для потребления всего общества, а не только на нужды тяжелой промышленности и обороны.

Как строить коммунизм в сложнейших условиях «холодной войны», с одной стороны, и с другой, удовлетворять растущие требования людей к повышению уровня жизни? Разъяснение этих сложных

вопросов Сталин взял на себя. В октябре 1952 года была опубликована работа И. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». В ней «великий вождь и учитель» доказывал возможность построения коммунизма в СССР даже в случае сохранения капиталистического окружения. Сталин сформулировал три основных предварительных условия выполнения масштабной задачи:

1) речь шла о необходимости обеспечить рациональную организацию производительных сил и непрерывный рост всего общественного производства с преимущественным развитием производства средств производства, т. е. того, что дает возможность осуществить расширенное воспроизводство; 2) необходимо путем постепенных переходов поднять колхозную собственность до уровня общенародной, а товарное обращение тоже постепенно заменить системой продуктообмена с целью охвата им всей продукции общественного производства; 3) необходимо добиться такого культурного роста общества, который бы обеспечил всем его членам всестороннее развитие их физических и умственных способностей. Формулировки общие и, главное, они не давали заждавшимся людям конкретного ответа, когда вождь желанный достаток наступит в измученной стране.

Кроме того, урбанизация, без которой невозможно поступательное развитие промышленности, обострила вопросы не просто приобретения модной одежды или, к примеру, культурного проведения досуга (допустим, сие от лукавого), но и ежедневного пропитания растущего количества горожан. В 1953 году в СССР скота имелось меньше, чем даже в 1916 году, а население, которое нужно было кормить, увеличилось с тех пор на 30-40 млн. человек, и при этом процент городского населения значительно вырос. На всю страну пряников уже не хватало. В. Молотов

свидетельствует: «После войны мы в Прибалтийских республиках старались поддерживать более высокий жизненный уровень, чем во всей стране. Это было политически нужно» (58). Откуда же брать средства для поддержания более высокого уровня жизни в недавно присоединенных и помнящих буржуазное изобилие областях? Политбюро ЦК КПСС и президиума Совмина СССР 1959, 1963, 1978 и 1983 годов предусматривали строгую очередность: импорт потребительских товаров направлять, прежде всего, в неславянские союзные республики и в Западную Украину, затем в Белоруссию, остальную Украину, автономные республики РСФСР, причем, в первую очередь, в северокавказские. Потом – в национально-автономные области и округа РСФСР. Именно в упомянутой последовательности. И лишь после всего этого, то есть по «остаточному принципу» – на остальную, официально русскую территорию РСФСР.

А вот свидетельство академиков-экономистов Т. Хачатурова и Н. Некрасова (выдержка из их совместного письма министру газовой промышленности СССР С. Оруджеву, 16 ноября 1977 года):

«РСФСР в последние 10 лет постоянно ущемляется в выделении разнообразных централизованных ресурсов: их все больший объем выделяется другим республикам, хотя контроль за использованием в тех республиках выделяемых ресурсов ослабевает и становится формальным. Более того: даже из того, что выделяется для РСФСР, затем весьма часто изымается из ее фондов. Проявляется также неблагоприятная тенденция замораживания не только капиталовложений, но и разнообразных природных ресурсов на территории РСФСР, в то время, как все больший объем того и другого, соответственно, направляется и осваивается в других республиках. Последние требуют для себя увеличения и капиталовложений, и поставок по

импортным линиям (лимитам), что, в отличие от большинства таких же заявок от РСФСР, удовлетворяется. Сохранение такой ситуации повлечет за собой... необратимые диспропорции в социально-экономическом развитии и ресурсном обеспечении регионов всего СССР...» (59) Руководство страны планомерно и вполне осознанно жертвовало интересами государствообразующей нации ради сбережения национальных окраин в составе СССР. Ясное дело, что такой порядок вещей не мог сохраняться вечно.

VII

Сама жизнь в большом городе лишает человека множества естественных средств удовлетворения его потребностей. И в то же время создает постоянный стресс из-за того, что городская организация пространства и времени противоречит его природным ритмам. Особенно это касается горожан в первом поколении. Реальностью жизни большинства граждан в СССР стал стресс, порожденный городской средой обитания. Невозможность компенсировать стресс становится трагедией. Если не можете накормить, дайте хоть поразвлечься; нет возможности политического самовыражения – разрешите хоть помодничать! Современному человеку важны не только физиологические функции, но и **образы**, составляющие его духовную жизнь.

Как же ответил на потребности нового, городского общества советский проект? Никак! Большая часть потребности в образах была объявлена ненужной, а то и порочной. Это четко проявилось уже в 1950-е годы, в кампании борьбы со «стилягами». Они возникли в самом зажиточном слое, что позволило объявить их просто исчадием номенклатурной касты. Но в действительности это был первый симптом грядущей фронды. Проигнорировав жизненные, хотя и неосознанные потребности целых поколений молодежи, родившейся и воспитанной в условиях крупного города, «советский строй буквально создал своего могильщика – массы обездоленных» (60). И теперь это была уже не только интеллигенция. Протест народа начал принимать экстремистские формы массового хулиганства, которые постепенно начали перерастать в манифестации политического характера, что давало

надежду диссидентам первой половины 1960-х годов надежду на изменение существующего строя с помощью народа.

Иначе говоря, недовольство народных масс существующими экономическими порядками принимало форму криминальную и, в любом случае, антигосударственную. Кратковременное очарование «оттепели» подействовало на интеллигенцию, но не на обнищавших рабочих. Их жизненные проблемы оказались на периферии сознания и занятой борьбой за власть партийной верхушки, и вкусившей пьянящий воздух свободы интеллигенции. Этот воздух еще сыграет с ней злую шутку.

В понимании встревоженных партийных идеологов, народу надо было срочно дать свежую вдохновляющую идею, которая смогла бы на новом витке истории вновь пробудить бескорыстный народный энтузиазм – это волшебное средство лечения всех болезней при социализме. Таковой стала «Программа построения коммунизма в СССР к 1980 году», принятая на XXII съезде КПСС. Вновь состязание, и с тем же конкурентом, однако нельзя войти в одну воду дважды.

Следует заметить, что сама идея стремительного «броска в коммунизм» появилась задолго до XXII съезда, то есть 1961 года. Уже в 1939 году, по факту окончания периода форсированной индустриализации, она безраздельно господствовала на XVIII партийном форуме. Характерен пример Л. Кагановича, который пророчествовал: «Доклад товарища Сталина станет великой программой великих дел нашей славной партии на новый исторический период перехода от социализма к высшей фазе коммунизма». Более того, с трибуны назывались даже конкретные сроки: «Двадцать лет работы нашей партии на стройке социализма уже дали результаты – мы построили социалистическое

общество. Еще двадцать лет работы дадут нам высшую фазу – коммунистическое общество».

Тогда наиболее рьяным поклонником идеи «броска в коммунизм» на XVIII съезде оказался ни кто иной, как 44-летний лидер Компартии Украины Н. Хрущев. Вот несколько выдержек из его речи: «Из года в год все выше и выше мы поднимаемся к конечной вершине нашей борьбы – к **коммунистическому** обществу, к **коммунистическому** строю» (здесь и далее выделено мной – К.К.); «Разрешите мне рассказать, каких успехов достиг украинский народ в борьбе за **коммунизм**»; «XVIII партийный съезд, историческое указание нашего великого Сталина вооружают трудящихся Советского Союза, как и трудящихся всего мира, могучим оружием в борьбе за **коммунизм**» (61).

В первые послевоенные годы тема строительства коммунизма окончательно вошла в повседневную идеологическую практику. О ней стали рассуждать как об обыденном деле. На XI съезде ВЛКСМ, состоявшемся весной 1949 года, первый секретарь ЦК Н. Михайлов адресовал молодежной аудитории заявление, преисполненное оптимизма: «Великое счастье выпало на нашу долю. Наше поколение будет жить при коммунизме» (62). Конкретные вопросы построения коммунизма, как мы писали выше, затрагивал и сам Сталин.

Но «официально» задача построения коммунизма была внесена в программу партии только в 1961 году на XXII съезде КПСС, который провозгласил ее решение к 1980 году. С тех пор историческая наука и общественное мнение прочно связывают имя первого секретаря ЦК КПСС, Председателя правительства Н. Хрущева с оформлением курса на форсированное коммунистическое строительство. Соответственно, почти мгновенный провал программы большого

состязания с США приписывается именно его некомпетентности и необузданной фантазии.

Между тем, программа «догнать и перегнать» была подготовлена не самолично Хрущевым, а целыми группами специалистов, опиравшимися на официальные статистические данные, которые оказались, попросту говоря, завышенными. Во-вторых, едва ли не сразу после провозглашения глобального состязания, рост ВВП СССР начал тормозиться, а в США, напротив, расти. Не все измеряется пресловутым ВВП, но, соревнуясь, ты неизбежно принимаешь стандарты соревнования того, кто диктует тебе эти стандарты (не говоря уже о том, что стандарты все время меняются). Мы взяли американскую методику расчета благосостояния, и уже через три года реализация программы стала неисполнимой. Александр Михайлович Алексеев, один из разработчиков программы, тогда член коллегии научно-технического совета СССР: «После творческого подъема началось отрезвление, и люди поняли всю иллюзорность громогласно объявленных обещаний. Тут и начались потери. Отсутствие веры. Отделение пропаганды от реальной жизни... Когда не выполняются обещания перед историей – потери не поддаются денежному исчислению, настолько они огромны» (63).

Руководство СССР своими собственными действиями признало наше катастрофическое отставание, проинформировало об этом собственный народ и создало опасность соединения народного недовольства с идеологией политического протеста. В короткое время, практически одновременно, были проведены денежная реформа 1961 года, повышение цен на основные продукты питания и пересмотр норм выработки в сторону их увеличения. Огромные ресурсы, брошенные на кукурузную кампанию в 1962 году, пропали впустую – ею было засеяно 37 млн. гектаров, а

вызреть она могла лишь на 7 млн.^[169] После пылевых бурь в 1960 и 1965 половина целинных земель была потеряна либо повреждена. Уже в 1963 году из-за засухи и разрушительного воздействия кукурузной кампании появились хлебные очереди, было принято решение о закупке зерна за границей.

На фоне дефицита, снижения расценок и повышения цен на продукты питания, кризис идеологии породил хаос в сознании «маленького человека», «человека из толпы». Он искал форму для выражения своего неудовлетворения существующим порядком дел: и в уличном хулиганстве, и в коммунистическом фундаментализме, и в национализме, и в антикоммунизме. Казалось, так дальше жить нельзя. Яркой вспышкой народного недовольства стали события в Новочеркасске, эхо которых докатилось аж до Москвы, и, наконец, задело сознание интеллигенции. Она сообразила, что отвлеченные мечтания о «свободе слова» и «демократии» теоретически могут быть подкреплены всей силой народного гнева.

Конфликт начался с того, что в городе Новочеркасске разразился продовольственный кризис. Мяса в магазинах не хватало, за картошкой на рынке люди занимали очередь в час ночи. Ели даже жареную картофельную шелуху. А 31 мая 1962 года, несмотря на ожидавшееся на следующий день повышение цен, в сталелитейном цехе Новочеркасского электровозостроительного завода было проведено очередное снижение расценок на производимую продукцию. Началась забастовка.

Ночью в городе появились листовки: «О липовых ленинцах. Сталина вы критиковали, сторонников частично в гроб загнали, остальных от руководства отстранили, но цены на все продукты и товары в апреле каждый раз снижать они не забывали. Хрущев из года в

год в магазинах цены поднимает, заработок рабочим при этом он снижает, невольно возникает вопрос у нас, кто – враг народа был или есть. Какие же вы лгуны и лицемеры и власти жаждущие псы, народа угнетатели...» (65)

Собравшаяся на заводе толпа двинулась в центр Новочеркасска под красным флагом и с портретом Ленина. В толпе были женщины и дети. Все это очень напоминало начало Кровавого воскресенья. Толпа скандировала: «Мясо, масло, повышение зарплаты». По толпе был открыт огонь. Всего во время беспорядков было убито 23 человека. Десятки жителей города, в основном молодежь, обратились за медицинской помощью в связи с ранениями. Некоторых раненых КГБ забирало впоследствии прямо из больничных палат (66).

Вести о событиях в Новочеркасске получили огласку и произвели очень сильное впечатление на общество. В крупных городах циркулировали неясные слухи о том, что граждане осмелились выйти на улицу с протестом и что их расстреляли. Эпизод из жизни А. Ахматовой: «Она порывисто схватила клочок бумаги, придвинула к себе пепельницу со спичками, быстро вывела карандашом несколько слов и потянула клок мне...

“Что вы слышали о Новочеркасске?” – написано округлым, забирающим вверх, почерком. Я ответила на той же бумаге: “Мало. Говорят, летом, когда повысили цены на мясо, там люди сожгли милицию, а потом были аресты”. Анна Андреевна зачеркнула слово “аресты” и написала “трупы”. Потом поднесла к бумаге спичку и долго, молча, медленно переворачивала ее в огне, стряхивая пепел в пепельницу» (67).

14-20 августа 1962 года в Новочеркасске судили тех, кого власти решили отнести к организаторам беспорядков. Семерых приговорили к расстрелу, остальных к длительным срокам лишения свободы (от 10 до 15 лет). Для того, чтобы вынести «расстрельные»

приговоры, пошли даже на грубое нарушение закона. Зачинщикам предъявили и сочли доказанным обвинение в бандитизме – ст. 77 УК РСФСР (редакция 1960 г.), предусматривающая смертную казнь. Ст. 79 УК РСФСР (массовые беспорядки) такой меры наказания не предусматривала.

Чтобы вполне понять жесточайшую реакцию властей на события в Новочеркасске, нужно ясно представлять себе то негативное информационное поле, в котором оказались высшие руководители после объявления о повышении цен. Сообщения об антиправительственных листовках и высказываниях, оскорблениях в адрес лично Хрущева, призывах к бунтам и забастовкам в начале июня 1962 года приходили не только из Новочеркасска. Стихийные бунты в Краснодаре, Муроме, Александрове, Бийске были связаны не только с повышением цен, но и в целом с накопившемся народным недовольством. Ситуация стремительно политизировалась. В 1960–1962 гг. на территории Советского Союза было распространено более 34600 антисоветских анонимных документов, в том числе 23213 листовок. Более того, в начале 1960-х годов заметно активизировалось создание подпольных антисоветских групп. В первом полугодии 1962 года органы госбезопасности «вскрыли» 60 таких кружков (68).

После жестокой и показательной расправы в Новочеркасске волна массовых волнений пошла на убыль. Если за полтора года (1961 – первая половина 1962 г.) произошло 5 крупных массовых выступлений (Краснодар, Муром, Александров, Бийск и Новочеркасск), то за два с половиной года (вторая половина 1962–1964 гг.) известно только два события, более или менее сопоставимых по своему размаху с краснодарским бунтом, и ничего похожего на Новочеркасск. Режим выбирался из кризиса,

демонстрируя значительные ресурсы жизнестойкости. На почве разочарования в романтических утопиях «немедленного коммунизма» (или «немедленной демократии») народ и власть вырабатывали новые «правила игры» и двойной морали, которые в будущем определили социально-политическую физиономию явления, получившего название «застой».

В конечном счете, партия осознала жизненную необходимость умиротворения народа «неуклонной заботой о материальном благосостоянии трудящихся», ставшей одной из идеологических доминант брежневского времени. Советский режим медленно деградировал, идеологически разлагался, мутировал, но никакой «революционной» альтернативы этой деградации, разложению и мутациям так и не появилось.

Не удивительно, что с конца 1960-х годов власти, в поисках «единения» с народом, встали на путь подкупа населения постоянными и часто экономически не обоснованными повышениями заработной платы, накачиванием денег в потребительский сектор, перераспределением средств в пользу национальных окраин. Например, при Брежневе закупочная плата за продукцию сельского хозяйства была существенно повышена, но, чтобы не повышать цены для остальных слоев населения и не спровоцировать новый Новочеркасск, государство выплачивало субсидию, покрывавшую разницу цен, – 19 000 млн. рублей или более 70 рублей на каждого жителя страны.

Предпринятые меры на какое-то время отвлекли народ от спонтанных протестов и «антисоветской» политической активности, но не давали принципиального решения. Статус сверхдержавы требовал колоссальных усилий не только в поддержании стабильности внутри страны, но и постоянной помощи внешнеполитическим союзникам,

что тоже крепости системе не придавало. Только на помощь Французской компартии ежегодно тратилось 2 миллиона долларов плюс расходы на издание ее печатного органа «Юманите»^[170]. Н. Хрущев признавался в своих мемуарах: «...мы живем хуже большинства тех стран, которым помогаем. Жизненный уровень определяется потреблением на душу населения. Возьмем, к примеру, потребление мяса. В 1964 г. в ГДР приходилось в год на человека до 75 кг, у чехов – до 65, у поляков под 50, следующими шли венгры, потом лишь Советский Союз, а ниже нас по мясу болгары и румыны – по 26 килограммов. Я как-то сказал Ульбрихту: “Вальтер, я не требую уравниловки, но поймите наше положение. Мы победители, мы разбили гитлеровскую Германию, и мы даем ГДР зерно и валютные товары, чтобы вы могли продать их за границей, купить себе мясо и обеспечить годовое его потребление в 75 кг на душу населения. А как вы заботитесь о нас?”»^[171] (69)

Похожими сентенциями советские лидеры изводили и другого знаменитого немца, только западного. «Как у вас дела с урожаем?» – таков был первый вопрос, который в 1970 году задал премьер А. Косыгин прибывшему с официальным визитом канцлеру ФРГ В. Брандту. Как сообщали немецкие журналисты, канцлер был немало удивлен неожиданным началом беседы (70). Между тем вопрос «хлеба насущного» для руководителей советского государства действительно являлся одним из главных. Решая его, полагали они, можно разрулить все проблемы, «будет хлеб – будет песня».

Строй решал проблемы общей жизни в интересах большинства граждан. В этот период сделаны большие капиталовложения в гарантированное жизнеобеспечение на долгую перспективу: созданы

единые энергетические и транспортные системы, построена сеть птицефабрик, решившая проблему белка в рационе питания, проведены крупномасштабное улучшение почв (ирригация и известкование) и обширные лесопосадки (1 млн. га в год).

КПСС, как могла, решала и жилищную проблему. Только в период между 1955 и 1964 годами жилой фонд вырос почти вдвое – с 640 до 1184 млн. кв. м. Кроме того, хозяйство и госаппарат были насыщены квалифицированными кадрами, стабильной стала демографическая обстановка с постоянным приростом населения около 1,5 % в год. СССР стал единственной в мире самодостаточной страной, надолго обеспеченной всеми основными ресурсами^[172]. Но **общественное восприятие** достижений радикально отличалось от официальной статистики. Впечатанный в сознание советскими классиками Ильфом, Петровым, Булгаковым образ коммуналок казался едва ли не символом социалистического строя. Между тем, в 1989 году в городских поселениях СССР уже 83,5 % граждан жили в отдельных квартирах, 5,8 % – в общих квартирах, 9,6 % – в общежитиях, 1,1 % – в бараках и других помещениях. «Чтобы проклинать за “коммуналки” советский строй, надо было просто не считать за людей ту треть населения даже богатого Запада, которая проживает именно «в иных помещениях» и считала бы за счастье иметь собственную комнату в общей квартире. О трущобах Рио-де-Жанейро, в которых без воды и канализации живет 3 млн. человек, и говорить нечего» (74).

Если бы мы знали реальную картину «западного образа жизни», то умонастроение общества было бы иным уже в 1980-х годах.

VIII

Итоги брежневских пятилеток внешне выглядели вполне пристойно. Но многое оставалось неизвестным широкой публике. Между тем, углубляющиеся экономические трудности диктовали настоятельную необходимость экономической реформы, которую набравшие силу идеологи либерализма позже сориентировали на коренную и губительную «перестройку» всего государства.

В конце 1972 года Пленум ЦК КПСС подводит итоги прошедшего года и утверждает план на следующий. Причем Председатель Госплана СССР Н. Байбаков заявил, что план 1972 года не выполнен очень крупно, и план следующего года не будет выполнен, и что вообще неизвестно, как находить выход из положения. С большим докладом выступил Л. Брежнев, основные положения которого оказались весьма пессимистичны: «СССР выплавляет металла больше, чем США, но из каждой тонны только 40 % выходит в продукцию, остальное – в шлак и в стружку»; «Мы по-прежнему получаем 90 копеек на 1 рубль вложений, а американцы наоборот»; распыление строительных мощностей – «на каждую из 270 000 строек приходится по 12 рабочих!».

– Товарищ Тарасов, – говорит Брежнев, обращаясь к министру легкой промышленности, – у Вас на складах... миллионы пар обуви. Их уже никто никогда не купит, потому что фасоны лапотные. А ведь на них ушло сырье, которого, как вы говорите, вообще мало. Так ведь можно скупить все заграничное сырье и пустить его под нож.

Конец 1973 года, новый Пленум ЦК с подведением итогов и принятием плана на следующий год, и опять критика в выступлении Брежнева:

- План не выполнен по энергетике, металлу, химии, легкой промышленности и т. д.;

- По тоннажу металлообрабатывающих станков мы производим столько же, сколько США, Япония и ФРГ вместе взятые, а по числу сделанных из этого металла станков и по их производительности далеко отстаем от каждой из них.

- Финляндия производит древесины в 10 раз меньше, чем мы, а выручает валюты от экспорта в 2 раза больше. Это потому, что от нас она уходит в необработанном виде.

- На складах скопилось на 2 млрд. рублей неходовых товаров. Это почти равно сумме капиталовложений во всю легкую промышленность на остаток пятилетки.

- Из одного кубометра древесины мы на три четверти производим продукции меньше, чем в капиталистических странах.

- Наши авиа- и автодвигатели обладают гораздо меньшим моторесурсом, чем их.

- Запланировали превышение группы В (товары для населения) над группой А (средства производства). Но с 1971 года по-прежнему происходит изменение соотношения в пользу А. Планы по производству товаров народного потребления систематически не выполняются^[173].

Тот же серьезный уровень проблем можно констатировать, когда мы говорим и о том, что определяло техническую оснащенность государства. Производство одежды: 30 % прядильного и 50 % ткацкого оборудования в начале 1970-х с дореволюционным стажем. Дороги: средняя техническая скорость автомобилей в РСФСР в 1969 году – 28 км/ч. Автор тогдашней статьи в «Экономической газете» отмечает, что «почти с такой скоростью ездили

двести лет назад наши прадеды на лошадях из Петербурга в Москву» (75).

Нарастал отложенный спрос. К середине 1970-х годов на сберкнижках советских граждан скопилось 120 млрд. рублей плюс около 40 млрд. рублей в кубышках. Фантастические размеры приобрело тезаврирование (накопление) ценностей. Товарной массой спрос товаров народного потребления покрывался только на 40 %, да и то значительная часть «товарной массы» не покупалась из-за низкого качества и оставалась на полках. Страна оказалась на грани дефолта.

Выход в нарастающих закупках недостающего за границей. Однако и здесь свои проблемы – традиционный недостаток валюты. На критику Брежнева председатель Госплана Байбаков отвечает:

«1. Нам нечем торговать за валюту. Только лес и целлюлоза. Этого недостаточно, к тому же продаем с большим убытком для нас. Ехать на продаже золота мы тоже не можем. Да и опасно, бесперспективно в нынешней валютной ситуации.

2. Американцев, японцев, да и других у нас интересует нефть, еще лучше – газ. Если мы откажемся, мы не сможем даже подступить к Вилюйским запасам в течение, по крайней мере, 30 лет. Технически мы в состоянии сами проложить газопровод. Но у нас нет металла ни для труб, ни для машин, ни для оборудования».

Многие детали системного кризиса, хотя и ощущались всеми, скрывались от посторонних глаз и проскакивают лишь в стенограммах Политбюро или редких мемуарах истинных очевидцев. Уникальным свидетельством метаний советской элиты перед лицом надвигающейся экономической катастрофы стали дневники Анатолия Черняева – работника аппарата Центрального комитета КПСС с 1950-х и до роспуска

партии после путча. В числе прочего, вышеперечисленного, он рассказывает, как на Секретариате ЦК обсуждался вопрос «О хищениях на транспорте». Тезисы докладов:

- 9-11 тысяч автомашин скапливается в Бресте, потому что их невозможно передать в таком «разобранном» виде иностранцам;
- 25 % тракторов и сельскохозяйственных машин приходят разукомплектованными;
- 30 % автомобилей «Жигули» вернули на ВАЗ, так как к потребителю они пришли наполовину разобранными.

Обсуждение секретарями ЦК идеи «мобилизовать массы для борьбы с этим безобразием». Руководитель Гостелерадио Лапин острит: «Ну, если массы мобилизуем, тогда все поезда будут приходить совсем пустыми!»

Валютные поступления, а вместе с ними и возможность скрывать от народа неэффективность руководства партийной номенклатуры, исчезают вместе с мировым падением цен на нефть. В 1986 году страна потеряла на этом валюты на 13 млрд. советских рублей и еще 9 млрд. рублей из-за водки, пресловутого «сухого закона». Ситуация окончательно вышла из-под контроля. Черняев цитирует заместителя министра финансов СССР: «Положение хуже, чем во время войны, так как тогда приходилось снабжать только города, а теперь – и деревню. Отовсюду идут требования и просьбы ввести карточки, но этого невозможно сделать не только по соображениям политическим, но и потому, что на это не хватит продуктов».

Разрушение основ народной жизни в эфемерной гонке с Западом не прошло даром: казалось бы, безграничный резервуар трудовой силы российской деревни оказался истощен. Урбанизация навсегда увлекла в город миллионы крестьян. Вымер «мужик»,

тот самый пресловутый «Каратаев». В стране уже не было достаточного прироста населения, чтобы экономика росла без роста производительности труда, да еще и при таких экономических потерях. Зав. отделом машиностроения ЦК Фролов докладывает: 800 000 станков стоят, так как нет станочников. Прирост рабочей силы в 1970-е годы насчитывал 9 миллионов человек, в 1980-х – миллион. При этом число занятых грубым ручным трудом только увеличивалось.

Видимые успехи режима, поддерживаемые все более архаизированной пропагандой (на фоне ежедневной нехватки необходимого для миллионов рядовых граждан) уже никого не вдохновляют. Номенклатура предложить эффективных рецептов выхода из кризиса не может и тяготеет к существующим положением вещей, а интеллигенция давно желает вырваться на оперативный простор и жить по западным стандартам. Необходимо только было узреть «высшую справедливость» в очередной революции и найти, таким образом, ей **нравственное** оправдание. Она – избавление от «страданий народа».

IX

Утрата российской деревни – трагический лейтмотив литературы т. н. «деревенщиков». Да и тех, кому не просто не чужда российская провинция. *«Я не дурак, я понимаю, есть еще на свете психиатрия, есть внегалактическая астрономия, все это так! Но ведь все это – не наше, все это нам навязали Петр Великий и Дмитрий Кибальчич, а ведь наше призвание совсем не здесь, наше призвание совсем в другой стороне!»* – взывает к нам Венечка Ерофеев.

Чувствовали ли среднестатистические достижения Советской власти горожане, которые сравнивали свой уровень жизни уже не с советскими прошлым, а с западным настоящим?^[174] Безусловно – нет. А вот разруха в деревне, в сакральной ценности которой их убедила прекрасная литература «деревенщиков», как раз в глаза бросалась.

К концу 1980-х картину разрушения основ с ужасом увидели и равнодушные к деревне, как бы прозревшие, западники-горожане: «Деревни разрушены, опустошены, сожжены, растащены, брошены... – сокрушается Э. Рязанов. – Есть села, где нет воды, нет колодцев... Почти в каждой деревне – руины прекрасных некогда церквей... Сколько нужно приложить стараний, чтобы так расправиться с собственной деревней, с собственным народом, с собственной архитектурой» (76). Ради пресловутого «догнать и перегнать», ради необходимого «щита Родины», ради погони за идеологической химерой мы угробили ту самую почву, которая веками взращивала неисчерпаемую, казалось, мощь государства. А принятая в 1980 году «Продовольственная программа» официально констатировала: отныне село как

неисчерпаемый резерв не существует, истощено. Нарастающие проблемы с продовольственным снабжением страны донесли эту истину до каждого гражданина страны. Ю. Нагибин: «На другой день познакомились с Костромой... В магазинах – серая ливерная колбаса, из-за которой убивают, сыр (!), овощные консервы, супы в стеклянных банках с броской надписью «БЕЗ МЯСА», какие-то консервы из загадочных рыб, которые никто не берет. Есть еще «растительное сало», помадка, пастила и сахар. Остальные продукты в бутылках: водка и бормотуха» (78).

На стремительную, наподобие 1930-х годов, модернизацию жизни не имелось сил – потенциал рабочей силы из села исчерпан, а на удовлетворение растущих требований всего городского населения не было средств, за исключением короткого периода 1970-х годов, когда в страну на некоторое время хлынул поток нефтедолларов^[175]. Качественное, то есть более современное или модное, было родом с Запада. Вопрос его распределения или добычи стал основой борьбы за цивилизованный образ жизни нового горожанина, его имидж в глазах окружающих, его социального статуса. Фактически официальная мода на «заграничное» проникла во все просвещенные слои общества, хотя, и довольно часто, это был не вопрос просто престижа, но элементарного качества. Ф. Чуев: «...Молотов стал хуже слышать и говорит, что попросил в “кремлевке” достать ему слуховой аппарат. Ему сказали, что наш не годится, лучше заграничный, а для этого надо дать взятку...» (79).

Хроническая болезнь, десятилетиями провоцируемая недостатками отечественного производства, вышла из-под контроля. Взятки, чтобы достать импортный дефицит, взятки, чтобы выехать за

рубеж... Взятки (то, что платят за желаемое) верный индикатор – «там» жить лучше. Не разбираясь, что «лучше», какой ценой «лучше» – вообще, «всё лучше». Витрина западного мира предлагала красивую картинку, и мы восприняли ее как истину в последней инстанции. Ибо другие «истины» уже прочувствовали на собственной шкуре.

Э. Лимонов: «Перейдя на терминологию капитализма, они незаметно для себя перешли и на практику капитализма». От экономических теоретических выкладок харьковского экономиста Евсея Либермана^[176] и реформ Алексея Косыгина, то есть попыток спасти все здание социализма, элита перешла к воплощению западных стандартов исключительно для себя. Автор предисловия к фундаментальной «Номенклатуре» О. Крыштановская описывает идеального мужчину в тогдашнем понимании либерально настроенной интеллигентной девицы: «Шел 1981 год. Он только что вернулся из загранкомандировки, по-заморски одетый, благоухающий ненашенскими духами, полный МИДовского снобизма и иронии к “совку”» (82). Очень скоро они, «полные иронии», придут к власти.

Интеллигенцию измучило страстное желание жить современной западной жизнью, так сказать, быть в курсе дела: от Хемингуэя и «Битлз» до джинсов и сувениров. Духовная свобода смешалась со свободой потребления. О каком чувстве собственного достоинства можно говорить, где «у советских собственная гордость»? Ю. Нагибин: «...вспомнилось, как наши журналисты грабили магазин какого-то еврея возле бульвара Пуассонье. Тюками выносили шубы из заменителей, нейлоновые рубашки и носки, дамские костюмы из поддельной замши и кожи, обувь из синтетики, а платили как за один галстук или майку. А

когда мы уезжали из Гренобля, они с корнем вырывали выключатели, штепсели и проводку в отведенных нам квартирах, совали в рюкзаки бутылки из-под шампанского, оборудованные под настольные лампы, отвинчивали дверные ручки, розетки, замки, пытались выламывать унитазы. До этого они обчистили столовую, не оставив там ни солонки, ни перечницы, ни уксусницы, ни соусницы, ни бумажной салфетки» (83). Мародерство – всегда симптом разложения.

Ладно, журналисты – неблагонадежная богема, но как быть с таким проверенным отрядом партии, как КГБ? И не просто рядовые «комитетчики», а лейб-гвардия самого генсека: «При подготовке визита Л.И. Брежнева во Францию нашу передовую группу разместили в гостинице «Бурбон». Хозяин ее решил удивить советских представителей и предложил на обед форель, которую для приготовления можно было выбрать в громадном аквариуме в зале ресторана. В нем находилось не менее сотни крупных рыб этой породы. Нашим ребятам предоставлялась возможность заказать к столу лучшие французские коньяки и вина. Каково же было удивление французов, когда русские за один присест в придачу к хорошим закускам съели всю форель и выпили все запасы коньяка, которые были в ресторане. На следующий день для каждого члена нашей передовой группы был резко сокращен рацион питания. Что же касается спиртного, то пришлось довольствоваться только пивом» (84). Чувствуется в этом рассказе некая гордость за свое гусарство, и даже кавалергардство, дескать, не дали спуску французишкам. Но я не вижу в этой истории ничего смешного – обычное мародерство, впитавшееся в кровь тотальное бескультурье, даже на уровне Кремля.

Туда же и творческая интеллигенция: «Мы летим в роскошном, комфортабельном самолете из Афганистана в Ливан. Я такой внутренней отделки никогда не

видела. Возвращается из туалета Лучко, слегка обалдевшая: “Слушай, там такое творится – с ума сойти можно! Все перламутровое, розовое, крахмальные салфетки разного цвета, кресло вертится... Там такие кремы, такие лосьоны! Беги туда, наши кремы выброси, а их положи”. «...Кинозвезда Советского Союза ворует в самолете лосьоны!» – с горестью восклицает Л. Смирнова (85). А не воровать никак нельзя было? Но желание привезти что-то «оттуда» сильнее даже чувства самосохранения: «Помню, во время первой поездки по Америке суточные у нас составляли всего девять долларов, и Толя (Анатолий Кашепаров, исполнитель легендарной песни «Вологда» – К.К.) почти ничего не ел... на одном из концертов он упал в голодный обморок» (86).

Наплевательское отношение власти к запросам нового городского населения привело к тому, что миру стала очевидна несостоятельность Советского Союза, как образца для цивилизованной жизни. Были существенные достижения, но не они определяли восприятие строя его собственным народом.

А. Козлов с усмешкой вспоминает титанические усилия компартии создать витрину социализма, сравнимую с Западом: «Перед началом Олимпиады прошел слух, что во время этого мероприятия в Москву будет завезено множество дефицитных товаров, одежда, обувь, продукты питания, чтобы, не дай бог, иностранцы не увидели наших пустых полок. Люди начали копить деньги, чтобы хоть немного “прибарахлиться”. Но ничего особенного не произошло. Иногда, действительно, где-то неожиданно “выбрасывали” какие-нибудь сапоги или кофточки. Тогда в это место моментально слеталось множество людей, образовывались очереди, которые тут же разгонялись, чтобы не позорить столицу, а продажа дефицита приостанавливалась» (87).

Последняя вспышка активности перед началом перестройки, получившая название андроповщины, – дикая и варварская попытка кнутом снова погнать уставшую страну вперед. Как ни странно, в ней все-таки была воплощена некая надежда части партийно-государственного аппарата навести порядок на собственной земле. Но этого уже никто не хотел – ни народ, ни интеллигенция, ни номенклатура. Нагибин пишет в своем дневнике после смерти Андропова: «Странное состояние: ни скорби, ни злорадства, ни сожаления, ни надежд. Конечно, Андропов хотел что-то сделать: навести хоть какой-то порядок, изменить безобразное отношение к труду, к своим обязанностям, хотел пробудить чувство ответственности и стремление к новому, лучшему. Он не преуспел в этом, да и не мог преуспеть. Нельзя перестроить жизнь гигантской запущенной, разложившейся страны с помощью одних постановлений да ужесточения режима» (88).

Безальтернативность западного пути развития, а значит и восприятие собственного опыта исключительно в негативном контексте, стало религией поздней советской интеллигенции. Ее апостол, писатель А. Солженицын говорил тогда В. Каверину:

«Я убежден, что Советский Союз неизбежно вступит на западнический путь. Другого пути ему нет!» (89) Это мнение стало верой, догматом, революционным фанатизмом: «Теперь до меня доходит, что конфликт между мной и эпохой заключался отнюдь не в том, что я была человеком Запада, а все остальное принадлежало советской действительности и тяготело к большевизму, а как раз в том, что я была законченной большевичкой, а так называемая застойная действительность – сытая, вялая, более частная, чем общественная, тяготела к Западу гораздо больше, чем я... Середины для меня быть не могло. Все или ничего! Раз капитализм для них

табу, значит, даешь капитализм!», – признается В. Новодворская (90).

Сытость закончилась вместе с окончанием потока нефтедолларов и проснувшиеся от голодного урчания в животе массы очередной раз запросили «волю» и «справедливость». Хотя был не голод, а нехватка, с которой – при разумном ведении хозяйства – страна несомненно бы справилась.

Но лимит терпения народа оказался исчерпан – дефицит образов оказалось сложнее восполнить, нежели дефицит продуктов. Легче всего оказалось пробудить старые, уже имевшие место в отечественной истории стереотипы и мифы, основным производителем и потребителем которых искони являлась отечественная интеллигенция. Бессильная ярость многих десятков лет молчания, отсутствие шансов на допуск к политической сцене, фактическое неучастие в определении судьбы народа – не могли не вызвать пароксизм отчаянной неприязни к партократии. Но это лишь отчаяние интеллигентов, которые много шумят, а реальные вопросы решают другие, которые к тому времени уже набрали серьезный вес и которые тоже хотели кардинальных перемен.

«Раз в стране бродят какие-то денежные знаки, то должны же быть люди, у которых их много», – говорил Бендер. В 60-х годах XX века в СССР практически не было «черного рынка» и теневой экономики, ее обороты в это время оцениваются всего в 5 млрд. рублей. К концу 1980-х годов эти обороты возросли в десятки раз, они составляли по разным оценкам, от 100 до 250 млрд. рублей – 15-25 % национального дохода (91). В принципиально распределительной системе этот процесс не мог идти без участия главного регулятора потоков – партийно-хозяйственной номенклатуры.

Симптомы разложения партийной верхушки мы наблюдаем всё время пребывания коммунистов у власти, даже, несмотря на лютые чистки. Еще в сталинские времена партийные органы и органы госбезопасности заваливали своего вождя компроматом друг на друга, и при желании он мог бы их всех стереть в порошок. Не сомневаюсь, что подобное желание его порою и охватывало. А какова еще может быть реакция после чтения, например, такого документа:

«Сов. Секретно.

Министерство Государственной Безопасности.

Государственной Важности.

Члену Политбюро ЦК ВКП(б), маршалу СССР т. Л.П. Берия.

15 мая 1949 года.

Международный отдел ЦК ВКП(б) через Управление Делами ЦК в феврале текущего года, используя нелегальную агентуру, открыл ряд крупных счетов в Швейцарских банках на вымышленные фамилии-псевдонимы. Для открытия депозитов использованы золото, драгоценные камни и платина, вывезенные из

СССР, Германии и Чехословакии с грузами, спецназначенными в качестве безвозмездной помощи коммунистическим партиям стран Восточной Европы... Установлены фамилии-псевдонимы владельцев счетов.

Климов Владлен Николаевич – 800 тысяч швейцарских франков. Николаев Иван Федорович – 500 тысяч швейцарских франков. (И далее еще семь фальшивых фамилий)... Как показала проверка, все перечисленные лица являются работниками ЦКК при ЦК ВКП(б)...

Климов Владлен Николаевич является псевдонимом тов. Шкирятова Матвея Федоровича...

Подпись: В. Деканозов. Пометка Берии: “Доложить на политбюро”» (92).

Что было дальше – неизвестно. Но если Сталину еще удавалось с помощью чисток и лагерей держать соратников на цепи, то с наступлением хрущевской оттепели и брежневской безнаказанности процесс принял лавинообразный характер^[177]. Лидер коммунистического Китая Мао Цзэдун в беседе в Пекине с иностранными журналистами осенью 1964-го прогнозировал: «К власти на местах в СССР после 1953-го пришли националисты и карьеристы-взяточники. Покрываемые из Кремля. Когда придет время, они сбросят маски, выбросят партбилеты и будут в открытую править своими уездами как феодалы и крепостники...» (93). Предсказание сбылось полностью.

Можно вспомнить нашумевшее в свое время и показательное для позднебрежневской эпохи «дело Медунова». Руководимый им Краснодарский край оказался транзитной зоной многомиллионной валютной операции по тайной продаже за границу черной икры в банках из-под тихоокеанской селедки. «Медуновское дело» раскрутило такую преступную сеть, что пришлось арестовать полным составом все Министерство

мясомолочной и плодоовощной промышленности. В Москве арестовывается министр рыбной промышленности Ишков и его заместитель Рыков. При обыске у каждого обнаружено более 6 миллионов рублей и более миллиона долларов. Был арестован начальник Управления торговли Москвы – Трегубов со 130-ю своими сотрудниками. Их взяли по показаниям ранее арестованного и позднее расстрелянного директора московского «Елисеевского» гастронома Соколова. В Москве арестован директор и 17 сотрудников овощной базы Дзержинского района. Хищения на 300 тысяч. Директор расстрелян. В Белокаменске схвачен директор «Межколхозстроя», похитивший 200 тысяч рублей и построивший себе двухэтажный каменный дом. Расстрелян. На московском заводе по переработке вторичного сырья драгметаллов обнаруживается хищение золотой и серебряной стружки на миллионы рублей. Директор, главный инженер и главный технолог расстреляны. На Кишиневском заводе по производству сахара обнаружено хищение на четыре миллиона рублей. Директор, его заместитель и главный технолог расстреляны (94).

По оценке советских правоохранительных органов, деятельность 10 миллионов граждан находилась в явном противоречии с уголовным законодательством; таким образом, они являлись профессиональными преступниками. Эти спаянные общей опасностью люди находились в остром конфликте с законом и были кровно заинтересованы в радикальном уничтожении преследующей их Советской власти именно как социального строя. Те, кто сформировал какой угодно капитал, всегда будут заинтересованы в его вывозе из страны и вложении в мировую, более эффективную экономику. Это была готовая и многотысячная армия будущей буржуазной революции.

Развращенная номенклатура, теневые дельцы и находящиеся в тесной связи с ними коррумпированные правоохранители. Вот истинные властители экономики СССР на последнем этапе его существования. Крохи с барского стола доставались и «инженерам человеческих душ». «Обед был великолепен: с лососиной, сигом и т. п. Вместо счета директриса вспенила шампанское в продолговатых бокалах и сердечно поблагодарила “мусоров”, что они не забывают ее скромного гостеприимства», – описывает Нагибин очередной званый ужин (95). Они воевали с идеологической цензурой, а не с блатом как таковым, ибо сами входили в систему распределения благ от государства – загранпоездки, высокие гонорары, доступ к начальственному телу.

Либеральная интеллигенция дала этой толпе новых буржуа лишь некую идеологию (точнее, видимость идеологии), в которую она сама вполне уверовала, ибо за ней стояли интеллектуальные авторитеты Запада, отечественные «совести нации», столетние традиции русской культуры. Она зазывала запутавшихся советских правителей в манящие капиталистические дали и снова, как в начале XX века, подстрекала грабить награбленное. В перестроечном журнале «Огонек» и доныне известный публицист В. Костиков открытым текстом разъяснял самым тупым прелести нового порядка вещей: «Уровень жизни номенклатуры теснейшим образом связан с уровнем жизни в стране: в убогой, дефицитной экономике ущербно и материальное существование номенклатуры. Оно кажется завидным лишь из окна хрущевской пятиэтажки. И в этом смысле умному, критически мыслящему новому поколению номенклатуры также по пути с перестройкой... Только вместе **с перестройкой экономической и политической системы номенклатура может обрести материальное и**

нравственное достоинство (выделено мной – *К.К.*)» (97). Яснее не выразишься. Номенклатура зазывалась на пир. В качестве основного блюда – социализм и его государственность.

В ход пошли апробированные рекламные технологии, уличный энтузиазм дезориентированной толпы, национальные противоречия и открытая фальсификация. Когда интеллигент видит «святую цель», он легко идет на нарушение моральных норм, ибо главное – «убить дракона». (98).

Каково же было удивление новых революционеров, когда очень скоро они столкнулись с реалиями настоящей, а не выдуманной ими капиталистической действительности. Смешная деталь: когда диссиденты встречались с президентом США Р. Рейганом в Москве, в течение полутора часов сотрудники американской секретной службы бесцеремонно досматривали приглашенных на это мероприятие. Унизительная процедура вызвала возмущение со стороны приглашенных и значительно задержала начало встречи с президентом США. На ней наши диссиденты выразили Рейгану свое негодование, заявив, что они пришли на встречу с ним как лучшие друзья, просить у него защиты, а к ним отнеслись с недоверием. Обиделись, значит... «А ему – не шибко тут, мол, выйди из дверей», – В. Высоцкий, если кто запомит.

Сначала был шок – как, мы же светочи! А потом ничего, смирились: «Вообще-то жизнь у американцев, на мой вкус, очень скучная. Там можно отдыхать, но жить... Там нет понятия – друг. Там все связано с деньгами. Единственная цель – накопление денег, все оправдывают слова “бизнес есть бизнес”», – это солист легендарных «Песняров» Л. Борткевич грустит об отсутствующей на Западе духовности (99). Ничего нового, все эти родовые пятна буржуазного общества были описаны задолго даже до Октябрьской

революции: «Каждый, следуя общему неудержимому течению, стремится к богатству и мечтает разбить встречаемые препятствия. На почве самого мрачного равнодушия к общим интересам и доктринам личный эгоизм превзошел всякий предел. Богатство сделалось целью, преследуемой всеми, и из-за нее забывается все остальное», – Гюстав Ле Бон пишет о современном ему капитализме начала XX века (100). А можно вспомнить вообще эпоху Великих географических открытий и занесенный в Европу сифилис, «который заставил европейцев от человеческого веселья перейти к освященному церковью фанатичному накоплению денежных знаков, и возвести деньги в культ, во благо Господне... И сегодня все мы «вынуждены крутиться как белки в колесе, производя, производя, производя... И печалюсь по поводу низкого валового продукта государства, и ликуя, если он вдруг повысился. А все из-за сифилиса» (Э. Лимонов) (101). Более подробно, если хотите, к Максу Веберу, его работе «Протестантская этика и дух капитализма».

Интеллигенция, к своему изумлению, снова оказалась на привычном месте прислуживающего у стола, за которым пировали все те же лица из социалистического прошлого – комсомольские работники, заслуженные воры и находящиеся с ними в договорных отношениях правоохранители. Только вопросов к строю это мало вызывает. «Приватизация» – как рецепт всеобщего счастья, «эффективный собственник» становится панацеей от всех бед.

В свое советское время Бендер страдал от отсутствия почтения к его капиталу: *«Начальник станции не брал под козырек, что в былые времена проделывал перед любым купчиной с капиталишком в пятьдесят тысяч, отцы города не приезжали в гостиницу представляться, пресса не торопилась брать интервью и вместо фотографий миллионеров печатала*

портреты каких-то ударников, зарабатывающих сто двадцать рублей в месяц». Теперь это в прошлом. Гонки с США закончены, а вместе с ними ушел в прошлое и культ героев труда, вернулся культ денег. Больших планов уже нет. Вдова милейшего академика Сахарова Е. Боннэр успокаивала: «Россия может превратиться в государство вроде Перу или Гватемалы». А что такое Гватемала? Страна с населением 3 млн. человек, где только за 1980-е годы убили без суда и следствия 100 тысяч крестьян. В пересчете на Россию это было бы пять миллионов убитых (102).

В. Кожин: «В наше время масса “экспертов” твердит, что СССР не являлся «нормальной» страной. Но, даже соглашаясь с такими “приговором”, недопустимо забывать, что, скажем, за последние два столетия именно Россия сокрушила две (а больше и не было) мощнейших военных машины, претендовавших на мировое господство и довольно легко покоривших «нормальные» страны; что Россия сотворила высшие, сопоставимые с чем угодно ценности в сфере литературы, музыки, театра, искусства танца; что она первой в мире вышла в космос, и создала первую АЭС, и т. д. и т. п. Словом, “ненормальность” не помешала России, а потом и СССР, быть одной из величайших стран мира...» (103).

Эту страну, при всех ее недостатках, и предала элита государства. Жертвы народа в 1920-1930-е годы оказались напрасными. Советский Союз умер, а вместе с ним умер и феномен советской интеллигенции. Она хотела свободы, и ее освободили – от ответственности, и от власти. Мудрый Шульгин в разговоре о сущности власти (еще в 1974 году) заметил: «Власть – она одна, и ее, матушку, делить с кем-либо негоже. Слишком драгоценный дар, нельзя было ее распределять по партиям... А многопартийность... да мало ли о чем болтают на перегонах между политическими

станциями? Пустые разговоры для простодушных»
(104). Ну, что тут добавишь?

Глава 9

С Христом за пазухой



Для понимания глубинных процессов, происходящих вокруг, необходимо иметь представление о менталитете народа, о его исконных смыслах, продиктованных самой организацией его жизни. А она определена сложившимися условиями выживания на той или иной территории. Экономическая жизнь народа – в суровых условиях нашей далеко не курортной территории – подразумевает **совместные** усилия для выживания, коллективизм, как фундамент крестьянской общины. Православие оказалось максимально приспособлено к тому, чтобы стать идеологической догмой, освящающей эти устои, а потому пустило глубокие корни в крестьянской среде. Индивидуализм, личное обогащение, с которым воевали большевики, противоречат не только патриархальным экономическим устоям русской деревни, но и православной церковной традиции.

Хотя христианская религия и социальная религия в начале XX века конкурировали в России на одном, как бы выразились сейчас, электоральном поле, они тесно взаимосвязаны. Архетип коллективистского социализма и мечта о грядущем «золотом веке» вышли из раннего христианства, и пропагандировала их определенная секта, называвшаяся «интеллигенцией». Н. Бердяев отмечает в своем труде «Истоки и смысл русского коммунизма» эту важнейшую связь: «Религиозная формация русской души выработала некоторые устойчивые свойства: догматизм, аскетизм, способность нести страдания и жертвы во имя своей веры... Русские ортодоксы и апокалиптики и тогда, когда они в XVII веке были раскольниками-старообрядцами, и тогда, когда в XIX веке они стали революционерами,

нигилистами, коммунистами. Структура души остается та же, русские интеллигенты революционеры унаследовали ее от раскольников XVII века» (1).

В борьбе за новый общественный уклад и нового человека столкновение большевизма и церкви оказалось неизбежно – тоталитарное государство подразумевает единую идеологию. Перед революционерами, самими исповедовавшими принципы коллективизма, стояла задача направить вековые инстинкты народа в нужное им русло. Иначе говоря, воспользоваться духовными ресурсами народа ради достижения конкретных материальных целей.

Политические убеждения человека – это во многом вопрос его веры в то, что тот или иной путь развития страны лучше для граждан и государства. Разумеется, я не говорю о тех политиках, которые меняют убеждения ежеминутно, в зависимости от конъюнктуры, но о настоящих целеустремленных лидерах. Гюстав Лебон: «Социализм, может быть, восторжествует на короткое время, главным образом, благодаря своим проповедникам... Они знают, что толпа ненавидит сомнения, что она принимает только крайние чувства: энергичное утверждение или такое же отрицание, горячую любовь или неистовую ненависть. Они знают, как возбудить и развить эти чувства» (2).

Во многом большевики были именно такими – фанатичными в убеждениях и искренними в вере, что построение коммунизма лишь вопрос ближайшего будущего. Их уверенность передалась народу и породила уникальный феномен энтузиазма строительства советского государства в первые годы его существования. Но реформация заканчивается успокоением, а революция – стагнацией и вырождением дорвавшихся до власти лидеров.

Разумеется, на первом этапе революции полностью разделить народные представления о счастье, «божьем

царстве» и перевести их в необходимую власти научную плоскость материализма никаким комиссарам было не под силу. И «народ» в данном случае не значит исключительно некое «дремучее» крестьянство. Рабочий класс (во многом, вчерашние крестьяне) также тысячами нитей был связан с традиционной религией. Например, в 1925 году только 25 % рабочих знаменитого Ижорского завода, близ Ленинграда, считали себя атеистами. А ведь это передовой пролетариат – опора и надежда коммунистов. В 1927 году, то есть спустя десять лет после революции и в разгар антирелигиозной кампании, в таком крупном городе, как Пермь, иконы имели 70 % населения, не менее 30 % совершали религиозные обряды, 22,4 % посещали церковь (3).

Для достижения своих целей Советская власть пошла тем же путем, каким в свое время действовало христианство в эпоху своего проникновения на Русь, смешиваясь с местными обычаями и верованиями, впитывая языческие ритуалы и приспособлявая их под свои нужды. В русле устоявшихся традиций и привычек появлялись новые праздники – «Комсомольское рождество», «Комсомольская пасха» и даже свадьба стала «красной». Вот текст билета на «комсомольскую пасху» 1924 года: «На Фонтанке, 44, в 7 часов в клубе “Старой и Молодой Гвардии” комсомольцы нанесут последний удар по религии. Ты должен быть с нами!». И там же частушка: «Эх ты, яблочко, катись, ведь дорога скользкая, подкузьмила всех святых пасха комсомольская» (4).

Вошли в моду «октябрины», заменившие прежние крестины. Вместо старого слова «нарекли» появилось новое – «озвездили». На «октябринах», случалось, ребенка зачисляли в члены профсоюза или кандидатом в комсомол, на манер былого зачисления малолетних дворян на царскую службу.

Фанатичные – по сути религиозные – убеждения первых поколений рядовых революционеров-сектантов принимали самые причудливые формы, что великолепно описано А. Платоновым в его «Чевенгуре» и «Котловане». А руководящие коммунисты, набравшиеся опыта во время революции и Гражданской войны, имели уже вполне профессиональное представление о пропагандистской работе. Утрамбовывая страну под необходимую им идеологию, большевики планомерно меняли знаковую и символическую среду общества, переименовывали города и людей. Тоже, между прочим, важный фактор установления новых культурных традиций. Альтернатива старым святцам, та же подсказка малограмотным родителям «правильного» сакрального имени – еще один признак вытеснения церковного влияния коммунистическим. Так, в 1926 году вышел календарь, в котором перечислены рекомендуемые имена для новорожденных младенцев: Троц, Бакун, Луначар, Черныш, Ульянов, Солидар, Володар, Лавуа (от Лавуазье), Сен (от Сунь Ятсена), Молот, Рабфак, Проф, Нэп. Для девочек: Протеста, Револа, Декрета, Энгельсина, Совдепа, Металлина, Пролеткульта, Цика. К. Чуковский описывает показательный для тех времен случай: «Подошел к нам М. Ильин. Рассказывает анекдоты. Недавно к его знакомому советскому доктору привезли девочку Марию-Антуанетту (?!!).

– Почему вы назвали ее Марией-Антуанеттой? – спросил он у ее матери.

– А я увидела в календаре строчку: “Казнь Марии-Антуанетты” и решила, что она революционерка была» (5). Так что обряд имянаречения новорожденных из «Собачьего сердца» ни в коей мере преувеличением не является. Более того, девочкам еще достались от Швондера нормальные имена – Роза (в честь Розы Люксембург) и Клара (в честь Клары Цеткин).

Изобретательные Швондеры всех мастей всегда хотели изменить нас на свой вкус. Но суть остается той же – используя устоявшиеся стереотипы и народные пристрастия трансформировать их в новые, необходимые управляющей элите.

Христианство в России переживало глубокий кризис еще до революции. Подчиненное положение церкви в отношении к монархическому государству, потеря соборного духа, низкий культурный уровень духовенства – всё это имело роковое значение. Не имелось в Российской империи организующей, духовной силы, могущей сплотить общество вокруг высших ценностей государства. Религия потеряла определяющую роль и в народной, и в интеллектуальной жизни страны. Закат церкви казался закономерным, и только фрондерство части несогласных с Советской властью интеллектуалов да устоявшиеся традиции некоторое время удерживали её в качестве участника послереволюционных процессов. Но «красная» интеллигенция не могла простить церкви её идеологической поддержки белому движению в прошлом, а сейчас религия мешала им монопольно владеть душой народа. Да и церковники испытывали мало симпатий к новому строю^[178]. А значит – неумолимый жребий был брошен.

В середине 1920-х, еще делая уступки народному сознанию масс, крупные церковные праздники числились нерабочими днями и отмечались в большевистской России почти официально. Например, в 1925 году на 18 праздничных дней все еще приходилось 10 религиозных. Однако Советская власть активно продвигала «красные числа» и постепенно переносила акцент на празднование модернизированной частью общества именно своих дат. В списке пролетарских дат, кроме идеологически нейтрального Нового года, тогда значились: День смерти Ленина (22 января), День падения самодержавия (12 марта), День Парижской

коммуны (18 марта), Дни Интернационала (1-2 мая), Дни Пролетарской революции (7-8 ноября). Все они, как правило, отмечались массовыми демонстрациями рабочих. Одним из важных направлений работы также стало отваживание народа от Воскресения, основного церковного дня недели. Пример лозунга, увиденного в Москве французским путешественником: «Все за непрерывную рабочую неделю! Упраздним воскресенье – день попов, пьяниц и лентяев!» (6).

Менялся строй, властная элита, общественные отношения... Церковь в ее старом понимании являлась мощнейшим тормозом задуманных преобразований, а ее влияние на массы опасным вариантом инакомыслия. Н. Бердяев справедливо указывает: «Коммунизм, не как социальная система, а как религия, фанатически враждебен всякой религии и более всего христианской. Он сам хочет быть религией, идущей на смену христианству, он претендует ответить на религиозные запросы человеческой души, дать смысл жизни!» (7) Столкновение с Православием, бывшим одним из столпов прежнего режима, стало неизбежным, значительная часть общества его хотела и к нему стремилась.

Не стоит забывать о революционном азарте огромного количества эмансипированных молодых людей, лишенных после Гражданской войны самого понятия о «преемственности поколений». Наоборот, они настойчиво стремились продемонстрировать свой классовый подход и свою особую историческую миссию, непохожесть и избранность, а потому легко становились исполнителями в антирелигиозных кампаниях. Комсомольцы 1920-1930-х годов испытывали к религии не более, чем презрение, они даже не считали ее верованием, так – суеверием. Но суеверием **вредным**, отвлекающим массы от главной

заботы – построения царства справедливости **на земле**, а не на небе.

Руководила во многом безобразными антирелигиозными кампаниями созданная в 1922 году при ЦК РКП(б) секретная комиссия. Ее бессменным председателем был Емельян Ярославский. Здесь продумывались планы закрытия храмов, провокаций против священников, издания и распространения глумливой литературы. Ярославского при Сталине репрессировали – прикажете и по нему скорбеть?

С началом индустриализации борьба со священством и церковной организацией постоянно набирала обороты и закончилась откровенными погромами. До революции в Москве насчитывалось более 800 храмов, в 1936 году осталось всего лишь 36. Если в 1920-е годы служило около 60 тысяч священников, то к 1941 году в церковной организации их осталось всего 5665 человек (8). Время идеологического двоевластия навсегда кануло в лету – так, во всяком случае, виделось большевикам. Вера в могущество человеческого разума, казалась, преодолагает божественное провидение. Но эта вера, в свою очередь, сама превращалась в религию. Поменялась социальная мода – верить в Бога стало не модно, модно было верить в Коммунизм и Социализм.

В действительности же вера народа оказалась весьма поверхностной – как в Христовы заповеди, так и в Марксовы. Скорее – это вера в сверхъестественное, в чудо, которое поможет выживать в сложных климатических условиях с минимальными физическими затратами. Вера интеллигенции в глубинные народные нравственные силы, во всемогущество пресловутого Каратаева, также оказалась очередной лубочной нелепостью. Народ хотел «воли» и вседозволенности.

Это находило отражение в общественной, в личной жизни, и даже интимной сфере. Вопросы

функционализма человеческого тела, открытости половой жизни, стали важным моментом в десакрализации таинства, понимания того, что человек (и его тело) принадлежит сам себе. Своей судьбой *«сам человек и управляет»*, – как говаривал Иван Бездомный. А человеческая физиология – тот самый наглядный и простой пример, который может убедить каждого через собственные ощущения.

Сексуальная революция 1920-х годов объективно расшатывала вековые устои, на которых стояла патриархальная община – целомудрие, зависимость от одного партнера, влияние общественного мнения на принятие индивидуальных решений. «Религия, пытаясь примирить со скверной реальностью, уничтожала боевые порывы, принижала, сдавливала ряд телесных и общественных стремлений, сплющивая тем самым большую их часть в сторону полового содержания», – так писал в своей нашумевшей работе «Двенадцать половых заповедей революционного пролетариата» известный теоретик Арон Залкинд (9). Книга Залкинда имела широкий общественный резонанс. Ильф и Петров ее наверняка знали, а потому в хрестоматийной связке фамилий «Палкин – Чалкин – Галкин и Залкинд» усматривается дополнительный юмористический оттенок, заложенный соавторами.

«У нас религиозным усердием отличались только сектанты, всякие хлысты, трясуны, прыгуны, скопцы, частично староверы, а нормальные православные смотрели (и смотрят) на церковь только как на развлечение, праздники же для них – прямой повод налить морды без упреков жен и угрызений совести» (10). Присмотритесь вокруг – многое ли изменилось с той давней дневниковой записи Ю. Нагибина? Это по поводу происходящего сегодня церковного ренессанса.

«Народ-богоносец», каким он представлялся в чад воскуриваемых интеллектуалами фимиамов, после того,

как развеялся дым пожарищ революции, оказался значительно проще и приземленней. Это разочаровало многих, кто раньше видел в нем неиссякаемый источник истины, но вдохновило тех, кто считает, что с народом считаться не стоит, а необходимо вести его за лидером (агентом влияния, мессией, духовным авторитетом – нужное подчеркнуть). Раз так: то за рога – и в стойло! Хотя нужно отдать должное нынешней демократии: в отличие от раннекоммунистической эпохи обработка нашего сознания ведется преимущественно мягкими технологиями внушения, а не расстрелами несогласных и взрывами церквей.

Впрочем, массовое разрушение храмов пришлось как раз на эпоху «демократа» Хрущева, а прагматичный Сталин предпочитал использовать церковную недвижимостью с пользой. Там размещались клубы, кинотеатры, школы, музеи (предпочтительно антирелигиозные), кооперативы, библиотеки, столовые, колонии для беспризорных, общества политкаторжан и склады (зерна, сена, инструментов, утильсырья и хлама). Почти первое, что видит Бендер в захолустном городке, – приспособленная под склад церковь: *«Из церковного подвала несло холодом, бил оттуда кислый винный запах. Там, как видно, хранился картофель».*

– *Храм Спаса на картошке*, – негромко сказал пешеход».

И это еще не худший вариант, поскольку оставлял надежду на сохранение архитектурного сооружения, а сколько было уничтожено «движимого» церковного имущества – сожжено, растащено, переплавлено. Мы очень многим обязаны тем людям, которые сквозь равнодушие окружающих, используя малейшие зацепки, сохраняли для грядущих поколений культурные ценности Православной церкви, хотя нередко встречали ироническое отношение именно среди т. н. «передовой» интеллигенции.

М. Пришвин в дневниках упоминает об одном из таких старателей: «Был у меня Алекс. Иван. Анисимов “завед. искусством” из тех, которые отмахиваются иконой от социализма, а самую икону из предмета культа превращают в музейную вещь» (11). Но в целом, разграбление происходило при довольно равнодушном отношении основной массы интеллигенции, которая хорошо помнила роль Святейшего Синода при царе, моральное разложение духовенства накануне революции, распутинщину и пр.

Планомерное наступление на религию подразумевало и распространение на священников и членов их семей всех ограничений, от которых страдали представители ранее привилегированных слоев. Как мы помним, детей из дореволюционных образованных классов ограничивали в образовании, исходя из классовых приоритетов (хотя тому были и объективные причины – чрезмерное количество студентов в молодой республике). Студентов сократили на треть, маскируя реальную необходимость сокращения их числа классовыми интересами. И первыми в черный список попали дети священников. В результате, знаменитый физиолог, Нобелевский лауреат Иван Петрович Павлов, преподававший в Военно-медицинской академии, подал в отставку: ему, «сыну попа», заявил он, преподавать в Академии не следует.

Учащиеся полностью охватывались атеистическим воспитанием. Лозунги эпохи: «Пионеры, бейте тревогу – ваши родители молятся богу», «Смерть куличу и пасхе», «Против церковников – агентов мировой буржуазии», «От поповской рясы отвлечем детские массы». Переиначивались и замалчивались «неудобные» факты из жизни вождей, например то, что В. Ленин и Н. Крупская венчались в церкви^[179].

Разумеется, в атеистической кампании активно принимали участие и деятели советской культуры. Особенно отличился Демьян Бедный (Придворов), сочинивший «Евангелие от Демьяна», довольно пошлую агитку. И общественного резонанса все же добился – в списках ходило стихотворение журналиста Н. Горбачева «Послание евангелисту Демьяну (Бедному)», редкий случай, когда композитка получила достойный отпор со стороны интеллигенции:

*«Ты сгустки крови у Креста
Копнул ноздрей как толстый боров,
Ты только хрюкнул на Христа,
Ефим Лакеевич Придворов...
А русский мужичок, читая “Бедноту”, —
Где образцовый труд печатался душетом,
Еще отчаянней потянется к Христу,
А коммунизму “мать” пошлет при этом».*

Список крамольного стихотворения изъят в двадцатых годах при обыске и у М. Булгакова. Можно с уверенностью сказать, что писатель, сам выходец из религиозной семьи, наверняка во многом был согласен с автором в неприятии разнузданной богохульственной пропаганды. Недаром в первых строках романа отмечается, что неотесанный Иван Бездомный пишет именно **антирелигиозную** поэму. Собственно, с атеистической лекции начинается повествование «Мастера и Маргариты».

Но отмеченный нами протест Н. Горбачева (как и академика И. Павлова) для интеллигенции, по сути, единичен. Во-первых, как уже сказано, до революции свободомыслящая интеллигенция сама недолюбливала религию, а потому не особенно стремилась ее защищать, видя в разгроме церкви необходимый

элемент эмансипации народа. Во-вторых, те, кто все же осмеливался заступаться за священников, сами могли ожидать репрессий со стороны большевистской власти. «Во время кампании в защиту Сакко и Ванцетти (американских анархистов, позже казненных по приговору суда – *К.К.*) О.М. (Осип Мандельштам) через одного церковника передал на церковные верхи свое предложение, чтобы церковь тоже организовала протест против этой казни. Ответ последовал незамедлительно: церковь согласна выступить в защиту казнимых при условии, что О.М. обязуется организовать защиту и протест, если что-нибудь подобное произойдет с кем-либо из русских священников. О.М. ахнул и тут же признал себя побежденным» (12).

Вся отечественная интеллигенция смирилась с резким ослаблением влияния Православия. Она во многом считала это «признаком прогресса». А ради «прогресса» образованные люди готовы простить многое.

«Коммунисты любят подчеркивать, что они противники христианской, евангельской морали, морали любви, жалости, сострадания. И это, может быть, и есть самое страшное в коммунизме», – отмечал, в числе прочего, Н. Бердяев (13). Еще задолго до революции Ф. Достоевский в «Дневнике писателя» предрекал: «Интернационал распорядился, чтобы европейская революция началась в России. И начнется... Ибо нет у нас для нее надежного отпора ни в управлении, ни в обществе. Бунт начнется с атеизма и грабежа всех богатств. Начнут низлагать религию, разрушать храмы и превращать их в казармы, в стойла, зальют мир кровью, а потом сами испугаются...» Полагаю, что великий писатель был не столько «пророком» в значении какой-нибудь болгарской прорицательницы, сколь человеком, хорошо понимающим логику истории. Перед его глазами был пример Великой Французской революции, ею же вдохновлялись либералы-западники, а позже – большевики. А Французская революция религию не жаловала – и храмы закрывала, и священников казнила. Но чтобы якобинцев, наконец, потащили на гильотину, общество должно было достаточно устать от их безумств и испугаться. Собственно, то же самое произошло и в СССР.

На ранних этапах большевизма, когда борьба с христианством только набирала обороты, кроме чисто силовых методов принуждения к атеизму комиссия Ярославского использовала ещё и полный арсенал т. н. «мягкой силы». В борьбе с религией власти задействовали кинематограф, театральные постановки, выставки и карикатуры. Естественно, в ходу

соответствующая литература – все эти «безбожники», «забавные евангелия» и «забавные библии». Даже деликатнейший Илья Ильф не отказал себе в удовольствии сочинить и опубликовать «Рецензию на Библию»: «Наряду с блестящими местами есть идеологические срывы: например, автор призывает читателя верить в Б-га». Как обычно Илья Арнольдович остроумен. И в его дальнейшей работе в соавторстве с Е. Петровым антирелигиозная тематика занимает важное место. Более того, отрицательный персонаж – жулик Остап Бендер – набирает в глазах читателя положительные баллы, когда идет на конфликт с представителями религиозного культа: *«Великий комбинатор не любил ксендзов. В равной степени он отрицательно относился к раввинам, далай-ламам, попам, муэдзинам, шаманам и прочим служителям культа.*

– Я сам склонен к обману и шантажу, – говорил он, – сейчас, например, я занимаюсь выманиванием крупной суммы у одного упрямого гражданина. Но я не сопровождаю своих сомнительных действий ни песнопениями, ни ревом органа, ни глупыми заклинаниями на латинском или церковнославянском языке. И вообще я предпочитаю работать без ладана и астральных колокольчиков».

Модным стало сравнивать религию с наркотиком и алкоголем, мимо чего также не прошли соавторы: *«Остап наклонился к замочной скважине, приставил ко рту ладонь трубой и внятно сказал:*

– Почем опиум для народа?

За дверью молчали».

Сама крылатая фраза про «опиум для народа» не бендеровская, как ошибочно принято считать: афоризм принадлежит перу самого Карла Маркса («Критика гегелевской философии права»). В 1920-е годы его взяли на вооружение воинствующие атеисты, и он

получил широкое распространение. Скажем, транспарант «Религия – опиум для народа» «украшал» Иверскую часовню на Красной площади. Великий Маяковский присоединял к религиозному дурману-опиуму еще и алкоголь:

*Мы
пафосом новым
упьемся дóпьяна,
вином
своих
не ослабим волю.
Долой
из жизни
два опиума —
бога
и алкоголь!*

(1929)

В документальном фильме его современника Дзиги Вертова «Симфония Донбасса» (1930 г.) с помощью приемов монтажа наглядно демонстрируется, что водка и религия суть одно и то же – они наследие проклятого прошлого, они взаимосвязаны, им не место в новом светлом обществе. Наряду с их активными потребителями, которые вызывают у кинозрителя почти физическое отвращение.

Фанатичная нетерпимость апологетов нового общества к тому, что «на Руси есть веселие», рождало своеобразную алкогольную фронду, опиравшуюся на народные и церковные традиции, ненависть к официозу и обычное презрение к общепринятым правилам поведения. Пить, губить себя, лишь бы не отдавать свое тело и душу в пользование чуждому государству –

погибаем, но не сдаемся; от безобразного пьянства Есенина до алкогольного самоубийства Ерофеева. Причем протест последнего облачен не столько в алкогольный дурман, но в форму религиозного просветления, что придает поэме «Москва – Петушки» глубокий духовный пафос: *«... я создам коктейль, который можно было бы без стыда пить в присутствии Бога и людей. В присутствии людей и во имя Бога. Я назову его «Иорданские струи» или «Звезда Вифлеема».* Алкоголизм как форма духовного просветления – это, пожалуй, удивительный феномен отечественной истории, нуждающейся в отдельном исследовании.

Беспрерывный прессинг давал свои результаты – религия зашаталась. Процесс медленнее шел на мусульманских окраинах, быстрее в центре, но он был неумолимо последователен и вообще грозил насильственным уничтожением религии как фактора общественной жизни. Отрыв огромной массы крестьянства от своих традиций, непрерывная идеологическая обработка, разгром с помощью репрессий конфессиональных организаций приводил к тому, что страна становилась все более атеистической.

– Небо! – сказал Остап. – Небо теперь в запустении. Не та эпоха. Не тот отрезок времени. Ангелам теперь хочется на землю. На земле хорошо, там коммунальные услуги, там есть планетарий, можно посмотреть звезды в сопровождении антирелигиозной лекции...

Кроме прямых репрессий и использования «мягкой силы», одним из орудий борьбы с религией стало искусное разжигание противоречий среди самих церковных иерархий. Напомним, что в начале 1920-х годов крестьяне, которые получили землю – свою вековую мечту – большевикам симпатизировали и Советскую власть вовсе не отрицали. Между тем, традиционная церковь занимала к ней враждебную позицию. Как веяние времени (и не без помощи ГПУ) в

противовес ортодоксам появилась и быстро набирала популярность так называемая «Живая церковь», расходившаяся с основной ветвью православия именно в вопросе идти или не идти за своей паствой по пути признания Советской власти.

Справедливости ради, надо отметить, что политизация церкви началась сразу после Февральской революции, когда народ воспринял мощный порыв к обновлению страны и через религиозное восприятие мира. В ряду общих реформ отделение церкви от государства, превращение ее из государственно-бюрократического института в духовный авторитет воспринималось позитивно и интеллигенцией, и народом. Дневник М. Палеолога: «Воскресенье, 29 апреля 1917 г. в понедельник Светлой недели, 16 апреля, я встретил недалеко от Александро-Невской лавры длинную вереницу странников, которые шли в Таврический дворец, распевая псалмы. Они несли красные знамена, на которых можно было прочесть: “Христос Воскресе! Да здравствует свободная церковь!” Или: “Свободному народу – свободная демократическая церковь”» (14). С другого бока, сами церковные иерархи активно включились в выборы нового Патриарха и связанные с этим интриги, обусловленные поддержкой тех или иных политических сил разных кандидатов на главный церковный пост.

Церковь оставалась значимым фактором общественной жизни и после захвата власти большевиками, которые вначале пытались использовать ее влияние на народ для утверждения своей легитимности. В декларациях «Живой церкви» утверждалось, что Советская власть осуществляет евангельские заветы: наиболее усердные «живоцерковцы» поспешили объявить РСФСР первым в истории примером «царства Божия на земле». Обновленцы (по-народному, «живцы») добивались

отмены Патриаршества и ратовали за меры по демократизации и большевизации церкви. Среди них такие новшества, как допущение женщин на должности священнослужителей и дьяконов (причем женщины-дьяконы, в знак коммунистической лояльности, облекались в красные ризы), перенос культовых действий от иконостаса к середине церкви, где воздвигался алтарь, похожий на трибуну, второбрачие для священников, на что и намекает жена отца Федора («алименты платят»):

- Господи, - сказала матушка, посягая на локоны отца Федора, - неужели, Феденька, ты к обновленцам перейти собрался?

Такому направлению разговора отец Федор обрадовался.

- А почему, мать, не перейти мне к обновленцам? А обновленцы что - не люди?

- Люди, конечно, люди, - согласилась матушка ядовито, - как же: по иллюзиям ходят, алименты платят...

Наиболее заметной фигурой среди обновленцев стал питерский протоирей Владимир Красницкий. Весьма колоритный персонаж эпохи. Рукоположен еще до революции, член «Союза русского народа» и автор докладов «Социализм от дьявола» и «Об употреблении евреями христианской крови». В 1917-1918 годах он ярый противник и критик большевиков; но с 1918 года - последовательно счетовод, боец Красной Армии, слушатель партшколы, лектор по земельной политике при нескольких политотделах - и затем снова священник. Все-таки, сколько в отечественной истории интересных судеб!

В ведении подобных «живцов» оказался ряд важнейших церквей, среди которых храм Христа Спасителя в Москве, Исаакиевский и Казанский соборы Ленинграда. По мнению внимательно изучавшего

феномен обновленчества Н. Бердяева, это было лишь приспособление части православного духовенства к существующей власти, не реформация, а конформизм: «Тут сказалась традиция старого рабства церковной иерархии у государственной власти. Живоцерковники уже потому не заслуживают никакого уважения, что они делали доносы на патриарха и иерархов патриаршей церкви, занимались церковным шпионажем и приспособлялись к власти имущим, они имели связь с ГПУ, которое давало директивы живой церкви» (15).

Под натиском обновленцев, стараясь сохранить свое влияние на паству, испытывая колоссальное давление со стороны репрессивных органов и пропагандистского аппарата, Русская Православная Церковь пошла на серьезные уступки. В августе 1927 года патриарх Сергей провозгласил, что для православных христиан, которые считают Советский Союз своей светской родиной, его радости и достижения, а равно и его горести являются их собственными. Это вынужденное признание патриархом легитимности Советской власти на некоторое время улучшило положение церкви внутри страны^[180], но спровоцировало дальнейший разброд и шатания в ее зарубежной части, неприемлющей диктатуру большевиков.

После революции за границей оказалось несколько миллионов русских людей, внимательно следивших за событиями в СССР, в том числе, и церковными гонениями. Например, многократно цитируемый здесь философ Н. Бердяев. По мере своих возможностей, они старались привлечь мировое общественное мнение к судьбе страдающих братьев и оказать им моральную поддержку. Иногда им это удавалось. В 1931 году папа Пий XI даже призвал к некоему «крестовому походу» против большевиков, обвиняя их в преступлениях против человечности и гонениях на церковь. Что, в свою

очередь, вызвало в СССР бурную кампанию против римского папы и «новых крестоносцев» (в частности, в антипасхальных живых картинах римского папу ударом сапога прогоняли с престола). Стало ли после демарша Ватикана верующему человеку легче жить в атеистической стране? Вряд ли. Наоборот, верующий как бы автоматически становился в новых условиях почти иностранным шпионом, недругом Советской власти, а сама его вера тайной, глубоко спрятанной, интимной, как сон.

Помните сны затюканного вездесущей Советской властью монархиста Хворобьева? Любопытно сравнить, как литературные сны персонажа Ильфа и Петрова перекликаются со снами реального монархиста Шульгина (октябрь 1957): «Под утро приснился мне Ленин. Он был молодой, рыжий и веселый. И поздоровались мы дружественно... Не первый раз вижу Ленина во сне. Но в первый раз я имел определенное ощущение, что я нахожусь там, по ту сторону земного бытия... знал и то, что сейчас над ним будут вершить Страшный суд. Впрочем, в этом суде я не ощущал ничего страшного, наоборот, я знал, что это будет суд правильный и справедливый. И я сказал Ленину:

– Хотите, я буду вашим защитником?

И он ответил согласием. Я думаю, он понял. Я из тех, кто много от Ленина пострадал. Поэтому мое слово в его пользу будет весить больше, чем тома его последователей, сделавших на ленинизме карьеру» (18).

Перепроверить интереснейшие сведения В. Шульгина о Страшном суде, будучи на этом свете, мы возможности не имеем, но большевики, похоже, предусмотрели для населения страны возможность не отвечать и перед Богом за содеянное. Обряд погребения человека модернизировался вне христианских традиций. Измученному Хворобьеву

снился, в числе прочих, и председатель общества друзей кремации. Тоже любопытная черта новой жизни. Большая цитата, которую мы приведем из Ильфа и Петрова, как раз иллюстрирует этот необычный, но важный аспект культурной революции: «... вошедший остановился перед стариком швейцаром в фуражке с золотым зигзагом на околыше и молодецким голосом спросил:

– Ну что, старик, в крематорий пора?

– Пора, батюшка, – ответил швейцар, радостно улыбаясь, – в наш советский колумбарий.

Он даже взмахнул руками. На его добром лице отразилась полная готовность хоть сейчас, предаться огненному погребению.

В Черноморске собирались строить крематорий с соответствующим помещением для гробовых урн, то есть колумбарием, и это новшество со стороны кладбищенского подотдела почему-то очень веселило граждан. Может быть, смешили их новые слова – крематорий и колумбарий, а может быть, особенно забавляла их самая мысль о том, что человека можно сжечь, как полено...»

Сожжение трупов чуждо христианской традиции, но считалось важным элементом социалистического быта, где нет места долгим отпеваниям и воскрешениям из мертвых. В советском контексте кремация переосмысливается, в ней видят удобный и гигиеничный вид массового обслуживания, стоящий в том же ряду, что ясли, фабрики-кухни и дома культуры. «Звездины», «октябрины», гражданский брак и гражданская панихида, кремация – все это альтернатива многовековым освященным традициям. Причем, альтернатива действенная и действующая.

Первым гражданином, кремированным официально, стал рабочий Мытищенской водопроводной станции Ф. Соловьев, скончавшийся от воспаления легких. Ну, а

потом – как обычно, мода. Все «передовое» подвергалось кремации – партийные вожди, народные герои, пролетарские поэты: «Пройти внутрь крематория мне все-таки удалось... Кольцов сунул мне в руку клочок бумаги – пропуск в подвальное помещение, где через «глазки» в бетонной стене можно было видеть зловещие печи. Перед одной из них уже стоял гроб, в котором с очень спокойным лицом лежал Маяковский. Чугунные двери раскрылись, гроб двинулся вперед, и я видел, как густая шевелюра поэта вспыхнула ярким пламенем. Этого не забыть», – пишет Б. Ефимов о похоронах В. Маяковского (20).

Вот в таких условиях полного переустройства духовной жизни сыном профессора Киевской духовной академии М. Булгаковым создавался роман «Мастер и Маргарита». Не случайно буквально с первых страниц романа автор дает нам представление об атеистических дискуссиях в среде московских литераторов. Рассуждений, так некстати прерванных заезжим профессором:

– Простите мою навязчивость, но я так понял, что вы, помимо всего прочего, еще и не верите в бога? – он сделал испуганные глаза и прибавил:

– Клянусь, я никому не скажу.

– Да, мы не верим в бога, – чуть улыбнувшись испугу интуриста, ответил Берлиоз. – Но об этом можно говорить совершенно свободно.

Иностранец откинулся на спинку скамейки и спросил, даже привизгнув от любопытства:

– Вы – атеисты?!

– Да, мы – атеисты, – улыбаясь, ответил Берлиоз... – большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о божестве...

Конечно, Михаил Афанасьевич писал для читателей с высоким уровнем христианской просвещенности – все-таки большинство его современников еще помнили

дореволюционное время, когда Слово Божье было одним из главных предметов в любой школе. А популярность пришла к роману уже в иные годы, его прочитали совсем другие люди. И во многом он был воспринят поверхностно – как некое антисоветское произведение. А вот духовные родственники Булгакова – белая церковная интеллигенция – еще смогла прочесть его роман как произведение христианское. Скажем, в ведущем культурно- богословском издании русского зарубежья – парижском журнале «Вестник Русского студенческого христианского движения» – за 25 лет после публикации булгаковского романа появилось пять статей о «Мастере и Маргарите» и все они были положительные.

Но даже ничего правильно не поняв в духовном подтексте романа, многие жители атеистической Страны Советов интуитивно потянулись к первоисточнику, и, открыв для себя Евангелие, заново обрели понимание христианства. Удивительная судьба книги, написанной во время атеистического опьянения отечественных интеллектуалов, строителей коммунизма, чтобы спустя двадцать лет даровать религиозное утешение этим же разочарованным горе-строителям.

IV

В тридцатые годы, короткая передышка, данная церкви после ее вынужденного признания Советской властью, закончилась и гонения возобновились с утроенной силой. Связанно это с усилением режима личной власти Сталина и окончательного разгрома всех группировок – будь-то партийных или религиозных – находящихся вне ведения вождя. Хотя личное отношение Иосифа Виссарионовича к религии было скорее равнодушным. Его жестокость проистекала из целей практических, продиктованных логикой укрепления строя.

Родная мать Иосифа Джугашвили когда-то мечтала о том, чтобы ее сын стал священником. Она осталась очень набожной до последних своих дней и, когда Сталин навестил маму, незадолго до ее смерти, сказала ему: «А жаль, что ты так и не стал священником...» «Он повторял эти ее слова с восхищением; ему нравилось ее пренебрежение к тому, чего он достиг – к земной славе, к суете», – вспоминала Светлана Аллилуева (21). Показателен и другой случай, который описывает маршал А. Василевский. У прославленного военачальника отец был сельский священник и осторожный Василевский отношений с ним не поддерживал. «Нехорошо забывать родителей, – как-то сказал ему Сталин. – А вы, между прочим, со мной долго не расплатитесь!» – подошел к сейфу и достал пачку квитанций почтовых переводов. Оказывается, Сталин регулярно посылал деньги отцу Василевского, а старик думал, что это от сына. «Я не знал, что и сказать», – конфузится маршал (22).

Фанатической ненависти у бывшего семинариста, как видим, не было, а вот необходимость ослабить

влияние религии на народ он четко осознавал и делал для этого все от него зависящее. Во время сталинского правления взорвано и уничтожено более 60 тысяч храмов, но, что симптоматично, построено примерно такое же количество домов культуры и стадионов. То есть, в некотором математическом аспекте, набор духовных центров притяжения для народа численно оставался тот же. Однако качество воспитания предусмотреть не удалось. Не все измеряется математикой.

Одной из самых ярких картинок эпохи стал взрыв Храма Христа Спасителя в Москве – сегодня восстановленного символа старой православной России. Незадолго до того Сталин велел проектировать грандиозный Дворец Советов – высотой выше 400 метров, с залом заседаний на 21 тысячу мест. Место для Дворца должно находиться возле Кремля, и другого места эксперты вроде бы не нашли. Академики архитектуры Жолтовский, Фомин, Щуко и другие единогласно посчитали, что особой архитектурной ценности Храм не представляет^[181]. Во всяком случае, при сносе Сухаревой башни мнения специалистов были куда более противоречивы^[182]. Даже если и принять версию, что в случае Храма Христа Спасителя возобладали действительно архитектурные соображения, то нельзя отрицать и пропагандистскую значимость сноса одной из важнейших церквей страны.

Кроме того, власть планомерно готовила и осуществляла и другие антицерковные акции. Вспоминает очевидец: «...жизнь киевлян потрясли события вокруг Киево-Печерской лавры. Газеты и радио сообщили, что какой-то инок, заманив в дальние пещеры девушку, изнасиловал, а затем разрубил ее на части топором. В печати появились страшные фотографии расчлененного женского тела, топора

преступника и самого инокa – длинноволосого, худого, с безумными глазами... Процесс над злоумышленником был открытым. На него, как на представление, водили делегации с предприятий, студентов, крестьян из соседних деревень. Были организованы “требования трудящихся” о немедленном закрытии “гнезда разврата и кровавых преступлений”, об отправке монахов в трудовые лагеря для перевоспитания. По крайней мере, часть населения удалось настроить против монастыря, и лавру преобразовали в этнографический музей» (24). В результате планомерных и жестоких репрессий 1930-х годов из 160 епископов, действовавших в 1930 году, в 1939 году на свободе осталось только 12.

Очевидная несправедливость репрессий против священства пробуждала сочувствие к жертвам гонений и вполне конкретные исторические аналогии. Агент НКВД докладывал в служебной записке своему начальству о речах недовольных: «Раньше гонение на Христа было от евреев, а теперь гонение на христиан идет от коммунистов. Раньше Христос переносил страдания, а теперь их переносит народ. Сейчас самое тяжелое время: восстает брат на брата, сын на отца». Приписка в отчете: “Своей проповедью священник у присутствующих в церкви вызывает плач”» (25). Волею-неволей у честных людей рождалось желание противостоять несправедливости. Л. Гумилев: «Я хотел стать священником (это в 1930-е то годы! – *К.К.*), но мой духовный отец сказал мне: “Церковных мучеников у нас хватает. Нам нужны светские апологеты”. И я стал светским апологетом» (27).

Находились и другие пути выхода чувств верующих: вместо канонической церкви они обращались в лоно баптизма или иных ветвей христианства, которые ранее преследовались царским режимом, а потому вначале не слишком раздражали Советскую власть. Ну, разве что их задевала традиционная антирелигиозная

пропаганда. Как мы помним Лавуазьян (его прототипом был поэт Эмиль Кроткий) в интересах газетной информации переоделся женщиной и проник на собрание баптисток, о чем, если верить Ильфу и Петрову, написал большую антирелигиозную корреспонденцию. Баптистские общины возникали, главным образом, в городах-новостройках: в Комсомольске-на-Амуре, Ангарске, Находке, Новомосковске, Братске, Новой Каховке и других. Баптистам официально разрешалась регистрация общин, открытие молитвенных домов, хотя Русской Православной Церкви строить храмы в городах-новостройках запрещалось. Но потом коммунисты пришли к выводу, что такие общины еще более опасны и менее контролируемы, нежели ортодоксальная церковь, и каток репрессий прошел и по ним.

Однако – и это стало большой неожиданностью – невзирая на все гонения, перепись 1937 года засвидетельствовала: почти две трети взрослого населения заявили о приверженности к религии. Я думаю, что речь идет не о Боге, как религиозном символе, но о силе традиций, привязанностей, о надежде. Бог оставался той абстрактной **Надеждой**, которая помогла выживать людям во времена коллективизации, голода, терпеть неслыханные лишения. Литературовед С. Аверинцев: «Покойная Наталия Ивановна Столярова, бесстрашная помощница Солженицына и добрая приятельница Надежды Яковлевны Мандельштам, рассказывала мне, что ее наставницами в науке мужества были встреченные ею в ГУЛАГе православные старушки, одна из которых, например, говорила избивавшему ее гепеушнику: “Это вы друг друга боитесь, начальства боитесь, а я тебя не боюсь”, – и неустрашимо отказывалась выдать скрывавшегося священника: “Да, знаю, где он, а тебе не скажу” (27).

Народ упорствовал, и большевикам пришлось принять эту данность. Тем более, что основные задачи по преобразованию страны, которые ставил перед собой Сталин, он уже совершил. Текст постановления Политбюро, подписанный Сталиным, от 11 ноября 1939 года, содержит лаконичный, но весьма выразительный пункт: «Указание товарища Ульянова (Ленина) от 21 мая 1919 года... “О борьбе с попами и религией”... отменить». Период физического истребления церкви миновал. Как уходил в историю и Большой Террор.

С высоты опыта истории нам просто рассуждать, что правильно или неправильно. Но трудно принимать решения в конкретной ситуации, ожидая конкретных результатов. Этим и отличаются люди государства от людей истинного творчества. И это нас привлекает в людях творчества – надземленность, в которой угадываются наши лучшие мечты и душевные качества. Казалось бы – разгул сталинщины, репрессии, погром церкви. Тем не менее, в романе Булгакова всемогущие темные силы не могут победить островки света. Протодиакон А. Кураев: «“Всесильный” и “всемогущий” мессир не имеет ни малейшей власти над добрыми и верующими людьми – над нянечкой Ксенией Никитичной, над профессором Стравинским и всеми его сотрудниками. Когда буфетчик Соков перекрестился, берет на его голове тут же превратился в кота и, расцарапав Андрею Фокичу голову, убежал. Когда кухарка, застонав, хотела поднять руку для крестного знамения, Азazelло грозно закричал: “Отрежу руку!”. Бесы боятся Креста» (29). Так вот просто – боятся и всё. Нам нравится мысль, что добро всегда побеждает зло.

Но ведь физическая жизнь Булгакова была реальна, она – не плод литературной фантазии. Реальны аресты, доносы, грандиозные стройки и физкультурные парады. Однако нам приятней воспринять сказку за настоящую жизнь, это дает нам надежду. Мы вглядываемся в прошлое и в глазах двоится: что сильнее – «правда историческая» или «правда художественная»? Раздвоенность рождает ощущение ирреальности происходившего в 1930-е годы – темп и противоречия, ошеломляющие даже по нынешним меркам.

Не только Булгаков, но и вполне лояльные режиму Ильф и Петров видели в калейдоскопе современной им жизни иррациональное, сюрреалистическое: *«Последний раз мелькнуло помело курьерши. “Бамм!” – ударили часы в четвертый раз... Служебный день завершился. С берега, из рыбацкого поселка, донеслось пенье петуха».*

Адская кухня, на которой варится невиданная жизнь, в любом случае отличается страшным шумом. И позже противопоставление шумному бесовству тихой радости уединения носит принципиальный характер. Термин «дауншифтинг» еще не изобретен. «Массы» и «индивидуальность» находятся в противоречии, громким свершениям рабочего класса противостоит духовная задумчивость Венечки:

- *А знаете что, ангелы? – спросил я, тоже тихо-тихо.*
- *Что? – ответили ангелы.*
- *Тяжело мне...*

Маленькому человеку нужна тишина, спокойствие – то самое обывательское счастье, которым попрекали сограждан «певцы перемен» в 1920-е и 1930-е годы. От тишины он не ставится худшим человеком или меньшим патриотом. Но не надо лишать его возможности беседовать с душой. «3.5.1944. Страшная мысль пронзила недавно мое сознание, – пишет в дневниках А. Довженко. – У нас лишь сильным дано право на бессмертие – вождям, великим художникам, полководцам или героям, небольшому меньшинству сильных. Огромное же количество малых людей, тех, которые добывали в поте лица своего хлеб, надеялись в религиозном опиуме на вечную жизнь на том свете за все добродетели свои, – вот это великое количество обыкновенного люда лишено сейчас перспективы и всякой надежды... У малого человека отобрано что-то великое и важное. Грустно и страшно, и безрадостно ему стало...» (29).

Такое печальное положение дел надо было срочно исправлять. Война лишний раз показала партийным вождям и идеологам место и значение религии в жизни народа, в формировании его патриотического самосознания. Кроме того, определенное значение имело и международное давление на Сталина, с которым ему приходилось считаться^[183]. Диалог между церковью и государством нарастал стремительно. Кульминацией признания роли и авторитета РПЦ стало проведение 31 января – 2 февраля 1945 года в Москве Поместного Собора для решения неотложных задач церковной жизни: принятия Положения о Русской Православной Церкви, избрания Патриарха всея Руси (предыдущий патриарх Сергей скончался в 1944 году).

Без преувеличения можно сказать, что это было одно из самых масштабных и значимых мероприятий церковной истории за все годы существования Советской власти. В его работе участвовали 45 архипастырей, 85 священнослужителей, 2 церковнослужителя и 38 мирян, а также делегации семи автокефальных церквей (не считая русской), которые впервые одновременно собрались в Москве, причем три церкви (Александрийская, Антиохийская, Грузинская) были представлены непосредственно своими главами. Не удивительно, что такой состав присутствующих дал возможность проводить параллели со Вселенским Собором, не созывавшимся несколько столетий. О ходе работы Поместного Собора сообщалось в главном пропагандистском рупоре коммунистической партии – газете «Правда».

Особым расположением властей в ходе работы Поместного Собора пользовались зарубежные делегации автокефальных церквей. Приехавшие гости одаривались дорогими подарками, взятыми из различных музеев: золотыми крестами с камнями,

полными архиерейскими облачениями из золотой парчи, митрами и панагиями с драгоценными камнями, старинными иконами. Судя по описи, выявленной в архиве, все эти дорогостоящие дары были приняты, за исключением митрополита Эдесского Александра, который отказался от панагии с драгоценными камнями и облачения. Остальные не побрезговали.

По завершении работы Собора его участники приглашены на духовный концерт, состоявшийся 6 февраля 1945 года в Большом зале Московской консерватории. Здесь, в присутствии духовенства (около 1,5 тысяч человек), исполнялись различные церковные песнопения. В числе прочих, пел великий тенор, солист Большого театра Иван Козловский. В начале третьего отделения концерта собравшимся зачитали только что полученный по радио приказ Верховного Главнокомандующего маршала И. Сталина, где сообщалось об очередных победах Красной армии. После этого сразу последовало исполнение увертюры П. Чайковского “1812 год”, которая начиналась мелодией известного церковного песнопения. Концерт произвел сильное впечатление на высоких зарубежных гостей Собора. Как заявил патриарх Александрийский Христофор, “сам факт организации в Большом концертном зале духовного концерта говорит за то, что церковь в Советском Союзе имеет полную свободу и сочувствие со стороны Правительства”» (30).

Сразу после помпезного проведения Поместного Собора РПЦ была быстро вмонтирована в конструкцию противостояния СССР и Запада. Внешнеполитические приоритеты деятельности РПЦ были согласованы и утверждены на встрече Сталина с патриархом Алексием, состоявшейся 10 апреля 1945 года. Антиподом русского Православия определялся католический Ватикан и поддерживающие его прозападные силы.

В течение 1945–1946 годов Московская патриархия направила свои делегации в 17 стран Европы, Ближнего Востока и представительные делегации 13 государств приняла у себя. Только за 1945 год под юрисдикцию русской церкви из числа архиереев, находящихся за границей и не признававших ранее Московскую патриархию, перешли 3 митрополита, 17 архиепископов и епископов. Государство снабжало РПЦ значительными суммами в валюте для передачи главам зарубежных автокефальных церквей. Все эти действия преследовали одну конкретную цель – созыв в Москве Вселенского собора, не собиравшегося несколько столетий, для решения вопроса о присвоении Московской патриархии титула Вселенской. Его планировалось провести в 1948 году в ходе торжеств, посвященных 500-летию автокефалии Русской Православной церкви (32). Однако этим планам не суждено было сбыться. Не многие главы церквей выразили желание участвовать в деле, вдохновляемом советскими властями.

Расширение деятельности церкви с особой актуальностью ставило вопрос о необходимом количестве священнослужителей. Ситуацию здесь для РПЦ можно охарактеризовать как кризисную. Многие священники были уничтожены или арестованы, производить же кадровые пополнения в этой сфере по понятным причинам долгие годы не представлялось возможным. Подвижки начались с 1946/47 учебного года. Все имеющиеся в ведении Московской Патриархии богословские курсы, училища, школы переименовывались в духовные семинарии, т. е. им возвращались прежние дореволюционные названия. Совет по делам РПЦ согласился с образованием духовных семинарий с четырехгодичным сроком обучения в Москве, Ленинграде, Киеве, Саратовской, Львовской, Одесской, Минской, Луцкой областях и

Ставропольском крае. Кроме этого, формировалась и система духовных академий (в Москве, Ленинграде, Киеве). Таким образом Сталиным была воссоздана система духовного образования, которая практически в неизменном виде просуществовала вплоть до конца 1980-х годов.

Но залатать раны, нанесенные христианству и другим религиям в период разнузданной атеистической кампании 1930-х годов, не удалось. Особенно это касается национальных окраин. Огромное количество озлобленных коммунистической властью людей, потерявших близких, имущество, вдохновлялись именно своими национальными церквями на борьбу против антихристианского режима. Борьба против тоталитарного строя за национальную самостоятельность, благословлённая Национальным Богом, есть великая сила.

Ранее, в начавшейся войне с Германией многие из обиженных увидели свой шанс скинуть иго большевиков и не преминули им воспользоваться. Возьмем, для примера, Западную Украину. Едва началось вторжение и Львов оккупировали немцы, украинский митрополит А. Шептицкий послал поздравления от униатской церкви Гитлеру. Он также благословил созданную в ноябре 1943 года и присягнувшую на верность Гитлеру дивизию СС «Галичина», которая использовалась для карательных акций против мирного населения в Украине, Словакии и Югославии. Капелланом дивизии А. Шептицкий назначил архиепископа И. Слипого, память которого ныне торжественно увековечена на мемориальной доске в Харькове.

Непримиримая позиция униатской церкви во многом объясняет особое упорство вооруженного сопротивления в лесах Западной Украины после прихода сюда Красной армии, а также поддержку

подполья со стороны части местных жителей. Благословляемые духовенством националисты нападали на отряды красноармейцев, запрещали молодежи идти на призывные пункты, вырезали семьи призывников и сжигали их дома. Они же убили архиепископа Гавриила Костельника^[184], имевшего неосторожность высказаться в пользу объединения с Русской Православной Церковью. Убийство Костельника на ступенях львовского собора, когда он выходил после службы, стало кульминацией кампании бандеровского террора.

Ответные удары по мятежным униатам наносил и сталинский НКВД. А. Судоплатов: «Сталин согласился с предложением Хрущева, что настало время уничтожить “террористическое гнездо” Ватикана в Ужгороде. Однако нападение на Ромжу^[185] было подготовлено плохо: в результате автомобильной аварии, организованной Савченко и его людьми, Ромжа был только ранен и доставлен в одну из больниц Ужгорода... Туда же через неделю в это время приехали Савченко и Майрановский, начальник токсикологической лаборатории, с приказом ликвидировать Ромжу. В Киеве на вокзале, в своем железнодорожном вагоне, их принял Хрущев, дал четкие указания и пожелал успеха... Майрановский передал ампулу с ядом кураре агенту местных органов безопасности – это была медсестра в больнице, где лежал Ромжа. Она-то и сделала смертельный укол» (34). Средневековые отдыхает.

Тот же Н. Хрущев замешан и в депортации архиепископа И. Слипого. Во всяком случае, о непосредственном участии Н. Хрущева в этом деле вспоминает П. Судоплатов: «Я лично принимал архиепископа Слипого, одного из иерархов украинской Униатской церкви; несмотря на то, что он тесно

сотрудничал с гитлеровцами, ему позволили вернуться во Львов, но уже после Ялтинской конференции его арестовали и отправили в ГУЛАГ по приказанию Хрущева» (35).

Личная борьба с представителями церкви на Украине наверняка сыграла свою роль в том нетерпимом отношении к религии, которое вновь начало насаждаться в СССР с воцарением Н. Хрущева. По выражению С. Кара-Мурзы, Никита Сергеевич «был лишен чувства России». В механистических воззрениях Н. Хрущева на государство отразился особый тип «мышления аппаратчика» (36). При нем за несколько лет было разрушено больше храмов, чем за все предыдущие сорок лет Советской власти. РПЦ был нанесен и серьезнейший финансовый удар – повышен налог (в 47 раз! – с 1,5 до 70 миллионов рублей в год) на свечное производство, дававшее большую часть (до 70 процентов) всех доходов церкви. Антицерковная волна конца 1950-х – начала 1960-х годов оказалась вполне в духе пресловутого хрущевского «волютаризма».

VI

Отец русской социал-демократии Г. Плеханов думал, что рост просвещения приведет к естественному отмиранию религиозных верований. Религия исчезнет сама собой, «самотеком», без страстной борьбы, связанной с насилием. Для Плеханова это было, прежде всего, изменение сознания, т. е. вопрос научный и философский. Ленинисты противопоставили эволюции революционную, классовую борьбу против религии, борьбу, неизбежно переходящую в гонение. Много раз их идеологи подчеркивали, что борьба с религией не научная, а классовая. Соответственно, при Хрущеве общество оказалось отброшено в ленинские 1920-е годы – кому-то такие романтические и милые, а на самом деле (мягко выражаясь) противоречивые. Разумеется, восприятие роли церкви как фактора враждебного, диктовало властям необходимость подвергать церковь оперативной разработке, засылать лазутчиков, вербовать информаторов. Неудивительно, что работой с ней часто занимались бывшие кадровые НКВДисты, вроде Г. Карпова, который в тридцатые годы участвовал в репрессиях против ленинградской интеллигенции, а впоследствии стал председателем Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете министров СССР.

Однако, несмотря на усилия властей, православие совершенно не собиралось «отмирать» и при Хрущеве. В Кировской области, к примеру, в 1959 году 56 процентов родившихся младенцев прошли обряд церковного крещения, а 75 процентов умерших – отпевания. Во Владимирской области эти цифры составляли соответственно 39 и 46 процентов, в Курской – 48 и 35 процентов (37). И это в разгар

хрущевского погрома, когда со всех партийных трибун звучали призывы к борьбе с религиозным дурманом!

В конце концов, духовные верования большей части советских людей окончательно запутались и начали принимать какой-то абсурдный характер. Кроме общей массы атеистов и официально верующих, появилось огромное болото неопределившихся: партийцев, которые тайно соблюдали церковные обряды, различных сектантов, поклонников восточных культов, а также людей, которые допускали иррациональные толкования различных явлений – всяческих уфологов, хиромантов, экстрасенсов, ясновидящих и прочих левитирующих.

Средневековое представление о мире, полном злых духов, плохих примет, маргаритистых ведьм, захватило интеллигенцию – окружающий абсурд мира абсолютного материализма она охотно и с той же увлеченностью сменила на иррационализм. Когда жизнь подходит к сорока, а вокруг только серый бетон жизни и выхода из унылого тоннеля не видно, поневоле возжелаешь сказки, которая вносит в цементную серость волшебную раскраску мрамора. Вера в иррациональное стала модной и среди властной элиты, которой по факту своего положения автоматически полагалось быть материалистами. В воспоминаниях о Молотове читаем:

«Заговорили о Джуне (Давиташвили). Молотов очень заинтересовался:

– Так об этом надо говорить и писать! – И рассказал, что в тридцатые годы у них был врач, болгарин, Казаков, который тоже лечил непонятными методами... Однако он вылечил от язв секретаршу Ленина и старого большевика Гусева» (38). Ведовские приемы нашли поклонников и среди людей, считавших себя истинно православными. «У Льва (Гумилева – К.К.) было очень сильное поле рук, он даже кровь заговаривает, но как

он это делает, никогда не признавался» (39). Вот вам и модное биополе, и заговоры, и православие в одном лице. Чудовищная путаница в головах.

Черная магия сегодня воспринимается элитой и народом как должное, приемлемое. А значит – имеющее право на существование. Дело даже не в десятках телепрограмм или нелепых гороскопах. Мы принимаем не просто «потустороннее», что для людей образованных, в общем-то, дико. Мы часто **одобряем** потустороннее, считая его более «информированным», просвещенным или добрым, нежели сущее. Тут и мудрые инопланетяне, и творящие справедливость (сами не можем) идола. Э. Рязанов в мемуарах утверждает: «Воланд – черт очень симпатичный, добрый к хорошим людям....» (41) Сатана признается «симпатичным и добрым» – пусть даже и в литературном произведении. Но ведь одобрение зла – прямой путь к страданиям людей. А коварный Воланд подсказывает еще сомневающимся ответ – *мир без теней гол и скушен...* И значит – да здравствует полнота восприятия мира!

Итак, в 1960-е годы (в том числе и под воздействием сумасшедшей популярности «Мастера и Маргариты») уход в религию стал распространенной формой протеста, духовной Фрондой интеллигенции. Но базировался этот уход не на глубоком религиозном осмыслении действительности. К. Чуковский в шестидесятых пишет о массовом явлении в его среде: «...милая Александра Ивановна, которая после чтения “Анти-Дюринга” стала православной (бывшая комсомолка). Это **массовое явление** (здесь и далее выделено мной – К.К.). Хорошие люди **из протеста** против той кровавой брехни, которой насыщена наша жизнь, **уходят в религию**» (41).

Религиозной символикой пропитана и поэма «Москва – Петушки», написанная примерно в то же

время. В. Ерофеев был человек верующий и во время хрущевских гонений на религию даже пострадал за свое право исповедовать Христа. Его при жизни также окружала удивительная смесь из веры в Бога и суеверий, столь характерная для творческой интеллигенции. В случае Венедикта Васильевича дело вообще закончилось трагедией. Когда к Земле приближалась комета Галлея, его жена, Галина Носова, сделав некие вычисления, пришла к выводу, что столкновение неминуемо. 13 августа комета Галлея с Землей не столкнулась, но Галину госпитализировали в психиатрическую лечебницу.

Разумеется, среди такой публики, подверженной экзальтированной вере даже не столько в Бога, сколько в чудеса, магию и потустороннее вмешательство, идеи разрешения всех проблем с помощью универсального чудодейственного средства, вроде срочной смены строя, были популярны, как снадобья из шкуры жабы в Средние века. Причем, с тем же результатом.

Идиотизмом действующей власти духовный протест интеллигенции только подпитывался. В легенду вошел случай: в начале Нового Арбата долгое время без крестов стояла прелестная церквушка. Все архитекторы, включая главного архитектора Москвы, все время говорили, что надо восстановить кресты, а В. Гришин, партийный руководитель Москвы, запретил:

– Как это так? Калининский проспект будет начинаться с церкви, да еще с крестами? (42)

Такие шедевры партийного сознания быстро становились известны широкой общественности и популярности безбожному режиму среди мыслящих людей тоже не придавали. Если власти что и делали, то «для галочки», для музея, для пресловутого Запада. Например, когда было принято решение издать мизерным тиражом пластинку с записью ростовских колоколов, особо ретивые партийцы возмутились: «Это

же музыкальный опиум!». Но велеречивая министр культуры Е. Фурцева их одернула: «От одной пластинки не отравитесь, а для Запада – свидетельство широты наших взглядов» (43). В ее глазах это не нам было нужно, а Западу!

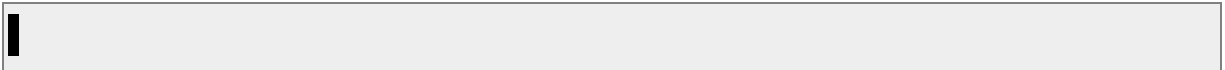
Многим казалось – убери эту разложившуюся и отупевшую партийную камарилью и начнется вожделенное Царствие Божье, путь к которому мы утратили во время Сталина, а может и чуть раньше. Нужно лишь вернуться к извечному рецепту народа – развалить неправду и построить правду.

Велико же оказалось разочарование, когда очередные простые рецепты счастья не сработали: *«Вы знаете, как смеются ангелы? Это позорные твари, теперь я знаю... Когда-то, очень давно, в Лобне, у вокзала, зарезало поездом человека и непостижимо зарезало: всю его нижнюю половину измололо в мелкие дребезги и расшвыряло по полотну, а верхняя половина, от пояса, осталась как бы живою, и стояла у рельсов, как стоят на постаментах бюсты разной сволочи... А дети подбежали к нему, трое или четверо детей, где-то подобрали дымящийся окурок и вставили его в мертвый полуоткрытый рот. И окурок все дымился, а дети скакали вокруг и хохотали над этой забавностью... Вот так и теперь небесные ангелы надо мной смеялись. Они смеялись, а Бог молчал...»*

Не заступился Бог за разом прозревший народ – «духовность», «покаяние», «какая дорога ведет к храму». Все эти модные штампы эпохи перестройки не защитили нас от разгула зверства и киллеров с распятиями на бычьих шеях. Церковь превратилось в модное место для немногочисленных добрых дел. Постоял, пожертвовал, сколько надо – и прощен. Необременительное духовное рабство в обмен на денежные дивиденды.

Глава 10

Хождение «под мухой»



Советская литература насквозь пронизана алкогольной тематикой. Связано это как с традиционным «веселие Руси питие есть», так и с тем, что скучный строй социального равенства многих энергичных и нестандартно мыслящих людей оставлял невостребованными, а значит, их энергия направлялась не на социальное благо, а на разгул разной степени опьянения. Миллионы невостребованных людей обрели свое любимое занятие – от вечернего хождения под мухой до утреннего хождения по мукам. Разумеется, не обошла ликероводочная тема и наши любимые произведения. Сочно, со знанием дела, ибо экспертом выступает весь народ, описывали писатели различные стадии алкогольного опьянения. Кто не помнит пьяный загул Ипполита Матвеевича в ресторане, утреннее пробуждение Степы Лиходеева или коктейльные изыски Венечки Ерофеева? Это вершина жанра, классика не одряхлевшая, а вечно актуальная – для этой страны и народа. Ю. Нагибин констатирует: «В России тронуть пьянство, значит, убить литературу. Советскую – во всяком случае» (1).

Не уходя в глубь веков, проследим рождение феномена массовой алкоголизации в дореволюционный период. По мере развития промышленности водка стала предметом недорогого массового производства и, соответственно, потребления. Существенное увеличение производства крепкого алкоголя и получение прибыли от его реализации напрямую связаны с ростом городского населения, а именно, пролетариата больших городов – основного потребителя дешевого алкоголя. Известно, что казенные винные лавки, расположенные напротив

заводов, специально открывались как раз в те часы, когда рабочие выходили с получкой недельного заработка. В деревне же рост потребления алкоголя сдерживался крепким общинным взаимоконтролем и сезонным ненормированным трудом крестьянина, требовавшим полной отдачи сил.

Имелись и определенные особенности реализации продукта, связанные с нашими специфическими условиями. Так, до 1885 года водку в том же Харькове продавали на вынос только ведром: стеклянная посуда была в России в дефиците. Может ли успокоиться наш человек, когда в доме ведро водки стоит? Но и введение розничной бутылочной торговли положение с повсеместным пьянством вряд ли улучшило. Наоборот – где-нибудь на харьковском Подоле можно было наблюдать, как мастеровые, купив четвертинку водки, тут же залпом выпивали ее у дверей лавки, чтобы вернуть посуду и получить ее стоимость. А качество дешевого алкоголя было таким, что по статистике от отравления водкой умирало вдвое больше, чем от естественных причин.

В результате, в пролетарской среде широко распространился наследственный алкоголизм. Недаром борьба с религией – признаком отсталости – четко увязывалась в советской пропаганде с алкоголизмом. Явление, увы, было столь распространено, что являлось наилучшей иллюстрацией отупения человека. В начале 1920-х годов в крупнейшем промышленном центре дореволюционной России – Петрограде (чуть позже – Ленинграде) недугом алкоголизма страдали более трети рабочих в возрасте до 25 лет. И что-то они себе находили выпить, несмотря на то, что в стране почти 10 лет как действовал «сухой закон», который ввело еще царское правительство.

Конечно, революция и Гражданская война не содействовала исправлению нравов – пили вино из

разграбленных барских погребов, хлебали крестьянскую самогонку, давились спиртом, на котором ездили тогдашние автомобили. После наступившей стабилизации, идя навстречу пожеланиям трудящихся, а также стремясь наполнить бюджет страны, рабоче-крестьянское правительство распорядилось возобновить продажу спиртного. М. Булгаков, дневники: «20-21 декабря (1924). В Москве событие – выпустили 30-градусную водку, которую публика с полным основанием назвала “рыковкой”. Отличается она от царской водки тем, что на десять градусов она слабее, хуже на вкус и в четыре раза ее дороже. Бутылка ее стоит 1 р. 75 коп. Кроме того, появился в продаже “Коньяк Армении”... Хуже прежнего, слабей, бутылка его стоит 3 р. 50 коп» (2). После введения в 1925 году государственной монополии на производство водки началось медленное вытеснение кустарного алкоголя. В 1925 году было потреблено спирта заводского изготовления 0,88 л. на душу населения, в 1932 – 1,04 л., в 1940 – 1,9, в 1950 – 1,85 (3).

Государственная монополия на водку имела существенное экономическое значение для страны и власти – доходы от реализации алкогольной продукции стали поступать не в частный карман, а в бюджет. В 1927/28 финансовом году они составили 12 % доходной части государственного бюджета. Но это, вопреки расхожему мнению, не так много: заметим, что в царской России эти доходы составляли почти треть госбюджета – 31 % в 1905 г., 30 % – в 1909 (максимум приходится на 1859 г. – 38 %) (4).

Параллельно росту продаж спиртного улицы вновь начали заполняться характерными персонажами, вроде гробовых дел мастера Безенчука (*«от долговременного употребления внутрь горячительных напитков глаза мастера были ярко-желтыми, как у кота, и горели неугасимым огнем»*) или монтера Мечникова, который

ради опохмелки продавал на рынке предметы из театрального реквизита. Алкоголь помогает быстро найти язык незнакомым людям в большом городе:... молодой человек... взялся за дело решительно.

- Вот что, дедушка, - молвил он, - неплохо бы вина выпить.

- Ну, угости.

На час оба исчезли, а когда вернулись назад, дворник был уже вернейшим другом молодого человека...

Люблю я эту доверительность.

Статистика подтверждает, что пагубному недугу поддавались не только рядовые граждане. Во второй половине 1920-х годов среди проступков ответственных парработников и нарушений партийной дисциплины пьянство занимало безоговорочно первое место. Доля привлеченных к партийной ответственности за пьянство 1925/26 (октябрь-март) составила 33,3 %, в 1926/27 - 31,3 %, 1928/29 - 49 %. Качественный анализ показал, что больше всего пьют советские работники, т. е. сотрудники аппарата Советов разных уровней (41 %) (5). Причем материалы проведенного обследования показали, что среди выдвиженцев из пролетарских слоев «пьянство в два раза сильнее, чем среди рабочих от станка» (6).

В «Золотом теленке» даны выразительные картины производственной пьянки: *«Проводы прошли очень весело. Сотрудники преданно смотрели на Полыхаева, сидевшего с лафитничком в руке, ритмично били в ладоши и пели:*

- Пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до дна...»

Не менее приятна и сцена загородного отдыха советских служащих:

- Стой! - закричал вдруг горбун. - Давай назад! Душа горит.

В городе седоки захватили много белых бутылочек и какую-то широкоплечую гражданку. В поле разбили бивак, ужинали с водкой, а потом без музыки танцевали польку-кокетку...»

Растратчиков, мы помним из текста романа, засудили, но потребовалось еще много судов, чтобы прекратить эпидемию казнокрадства в Старгороде. Глядя на пьяного Паниковского и рассуждая о типичности пьянства в советских организациях, Бендер меланхолично говорит: *«Теперь у нас самое настоящее учреждение – есть собственный растратчик, он же швейцар-пропойца. Оба эти типа делают реальными все наши начинания...»*

В оперативных сводках о настроениях на местах информаторами тоже неоднократно отмечалось «поголовное пьянство среди членов волисполкомов, сельских милиционеров, деревенских коммунистов и других представителей местной власти» (7). Не случайно в народе бутылку в 0,1 литра стали именовать «пионером», 0,2 – «комсомольцем», а 0,5 литра уважительно назвалась «партийцем». А был еще и «гусь», которого спасал Никита Пряхин во время пожара «Вороньей слободки». Но этот «гусь» не птица, а мера спиртных напитков, она же «четверть» – бутыль объемом около трех литров.

В записных книжках большого знатока вопроса – Венедикта Ерофеева – мы встречаем цифры, характеризующие рост потребления алкоголя в молодой Советской республике: «В 1924 г. выпито 850 000 ведер чистого алкоголя; в 1925 г. – 4 100 000 ведер; в 1926 г. – 20 000 000 ведер; в 1927 г. – 31 000 000 ведер» (8). Симптоматичен сам интерес писателя к этим цифрам, выписанных с большим тщанием.

Встревоженные эпидемией алкоголизма, который считался наследием проклятого прошлого, власти начинают предпринимать ответные меры. С осени 1926

года в школах введены обязательные занятия по антиалкогольному просвещению. Следующей весной начались ограничения на продажу спиртного (малолетним, лицам в нетрезвом состоянии, в выходные и праздничные дни, в буфетах заведений культуры и т. д.). Газеты сообщают о конференциях, экспедициях, антиалкогольных неделях, бойкотах пивных, демонстрациях, опросах и т. д. По улицам маршируют колонны школьников с плакатами: «Алкоголизм и социализм несовместимы», «Долой вино и пьяный дурман», «Мы отцу сказать сумеем: “Не дружи с зеленым змеем!”». Тем не менее, доходы, необходимые для проведения индустриализации страны, обрекали все попытки обуздать пьянство лишь в форму шумных, но в целом бесполезных пропагандистских кампаний.

Немногочисленные ограничения на торговлю спиртным игнорировались торговцами, быстро изыскивавшими необходимые способы реализации запретного товара. И. Ильф в письме домой описывает случай, который позже он внесет в свои знаменитые «Записные книжки»: «Внезапно, на станции Харьков, в купе ворвалась продавщица в белом халате, надетом на бобриковое пальто, и хрипло заорала: “А ну кому ириски? Кому еще ириски? Есть малярийные капли!” Капли – это был коньяк» (9). Кто ищет – тот всегда найдет. Баланс между запретительной политикой и разумным потреблением алкоголя до сих пор не найден.

Рисуя портрет среднестатистического советского гражданина, Ильф и Петров в «12 стульях» живописуют структуру потребления напитков нашими соотечественниками в 1920-е годы: *«За крепостными валами из соли и перца пополуротно маршируют вина, водки и наливки. В арьергарде жалкой кучкой плетутся безалкогольные напитки: нестроявые нарзаны, лимонады и сифоны в проволочных сетках»*. Похоже, с тех пор картина мало изменилась. Разве что в ряду

«нестроевых» добавились еще более вредные кока-пепси-колы. И исчезли легендарные советские пивные.

Удивителен феномен пивной, существовавший все годы социализма. Сейчас молодежи даже трудно объяснить, что к каким-нибудь «пабам» наша социалистическая пивная не имеет отношения. Ни в разгульности, ни в качестве обслуживания, ни в самом принципе времяпрепровождения. Тогда, на заре Советской власти, испуганные социологи попытались выяснить, почему именно пивную люди предпочитают дому культуры или клубу. Выяснилось, что в клубе «стеснительно», а здесь можно петь, пить, шуметь, браниться и даже повстречать Сергея Есенина. К. Чуковский в своих дневниках: «Изо всех пивных рваные люди, измызганные и несчастные, идут, ругаясь и падая. Иногда кажется, что пьяных в городе больше, чем трезвых» (10). В пивной «воля», не то, что в клубе. Наш человек искал не кружку пива, а суррогат свободы.

В тех же записных книжках В. Ерофеева находим точное замечание, характеризующее пьянство при социализме: «Это желание выпить – вовсе не желание просто выпить, а то же тяготение к демократии. Заставить в себе говорить то, что по разным обстоятельствам подремывало, позволить себе взглянуть на те же вещи по-иному» (11). И предоставленной свободой пользовались, ей упивались допьяна, и действительно ощущали себя вольными от всякого угнетения, в том числе – и закона. Свобода перерастала в кураж, кураж в хамство, последующее похмелье и непреходящую депрессию.

Рождалась особая народно-алкогольная культура. В 1927 году в Москве насчитывалось более 150 пивных с эстрадой, и на этой эстраде исполнялись не только частушки а-ля Шариков с балалайкой, но и

политические, например, антитроцкистские куплеты. Иногда пивные, стараясь казаться респектабельней, маскировались под столовые системы «Моссельпрома»^[186]. Наиболее известной моссельпромовской столовой считалась пивная на Страстной площади. Брезгливые открывали дверь в нее ногами. Внутри царили ужасная грязь, вонь и давка. В воздухе, перемешиваясь с запахами человеческих тел, пива и воблы, висел тяжелый непрекращающийся мат^[187]. Столики в пивной брались с боем, впрочем, как и пиво.

Знаменитый ресторан «Прага» также маскировался под моссельпромовскую столовку, хотя и более высокого класса. С семи часов вечера в этой так называемой «столовой» играл оркестр, а после десяти начиналась эстрадная программа, с двенадцати часов ночи пел русский хор^[188]. Но суть ресторанного времяпрепровождения, конечно, оставалась все та же. С теми же самыми последствиями. Никто в мире не превзошел советскую литературу в описании похмелья:

«Пахло скисшим вином, адскими котлетами и еще чем-то непередаваемо гадким. Остап застонал и повернулся. Чемодан свалился на пол. Остап быстро открыл глаза.

– Что ж это было? – пробормотал он, гримасничая. – Гусарство в ресторанном зале! И даже, кажется, какое-то кавалергардство! Фу! Держал себя как купец второй гильдии! Боже мой, не обидел ли я присутствующих? Там какой-то дурак кричал: “Почвоведы, встаньте!” – а потом плакал и клялся, что в душе он сам почвовед. Конечно, это был я!».

Народное пьянство не миновало и плоть от плоти народа – инженеров человеческих душ. Обычным местом их сбора стал ресторан в доме Герцена, тот самый «Дом Грибоедова», мастерски выписанный

Булгаковым. Дом Герцена находился по Тверскому бульвару, 25, где ныне Литературный институт. Здание было передано Московскому Союзу писателей еще в 1921 году. В нем размещались РАПП, МАПП, литературное объединение «Кузница», журналы «Литературный критик» и «На литературном посту», объединение крестьянских писателей (ВОКС), Всероссийский союз писателей и Союз поэтов. Там же 1 ноября 1925 года был открыт писательский ресторан. Рестораном заведовал Я. Розенталь, прообраз булгаковского Арчибальда Арчибальдовича. Балыков не крал. «Яков Данилович был истинный бессребреник, жил только работой, а дома у него было до аскетичности скромно», – характеризуют его знающие люди (12). К. Чуковский: «Из “Academia” – в Дом Герцена обедать. Еще так недавно Дом Герцена был неприглядной бандитской берлогой, куда я боялся явиться: курчавые и наглые рапы (обратите внимание – «курчавые» рапповцы – К.К.) били каждого входящего дубиной по черепу... В столовой Дома Герцена мы пообедали вместе с Абрамом Эфросом, к-рый обещал мне дружески найти иллюстратора для моих детских книг и для “Кому на Руси”. В столовой я встретил Асеева, Бухова, Багрицкого, Анатолия Виноградова, О. Мандельштама, Крученыха, и пр., и пр., и пр.» (13) О нравах нового писательского притона писал и В. Маяковский в своем знаменитом стихотворении «Дом Герцена (только в полночном освещении)»:

*Герцен, Герцен,
загробным вечером,
скажите, пожалуйста,
вам не снится ли,
как вас
удивительно увековечили
пивом,*

фокстротом
и венским шницелем?
Прав
один рифмач упорный,
в трезвом будучи уме,
на дверях
мужской уборной
бодро
вывел резюме:
«Хрен цена
вашему дому Герцена».
Обычно
заборные надписи плоски,
но с этой – согласен!

В. Маяковский.

Отметим, что сам Владимир Владимирович пил мало, а водку вообще не признавал. С презрением говорил, что водку пьют лишь чеховские чиновники. Но далеко не все писатели рассуждали столь интеллигентно, многие любили полноту жизни и сосудов, как, скажем, Алексей Толстой. Сохранились воспоминания Ю. Елагина, сотрудника театра им. Вахтангова об А. Толстом, отдыхавшем на пикнике в окружении актеров театра: «Грянули гитары и мы запели чудесную старинную цыганскую песню, каждый куплет которой сопровождался припевом:

- Кому чару пить, кому выпивать?
- Свет Алексею Николаевичу!

Тут Толстому подносился довольно большой стаканчик водки, и, пока он его выпивал, хор все время повторял:

- Пей до дна, пей до дна...

Когда же стакан был выпит, мы начинали следующий куплет опять все с тем же припевом. Всего в песне было три куплета... Когда же песня была окончена и хор замолчал, то неожиданно раздался голос нашего высокого гостя, уже весьма хриплый, хотя еще и твердый:

– Давай сначала всю песню!

Песню спели еще один раз, полностью все три куплета, и Толстой выпил еще три граненых стаканчика...» (14)

Даже Алексей Максимович Горький, сам тоже не ангел по части выпивки, зная необузданный характер «красного графа», в дружеском письме сделал ему замечание: «...В 50 лет нельзя себя вести тридцатилетним бойкалем и работать как четыре лошади или семь верблюдов. Винцо следует тоже пить помаленьку, а не бочонками» (15). Знал, о чем пишет.

Гостеприимством пролетарского писателя бывший граф не брезговал и захаживал к Алексею Максимовичу довольно часто: «Тогда еще жива была рыжая Липа (Олимпиада), домоправительница, ухаживавшая за Алексеем Максимовичем во время его болезней. Бывало, к Липе придут два бывших графа – Игнатьев и Ал. Толстой – поздно вечером: “Липа, сооруди нам закуску и выпивку”, – и Липа потчует их, а они с величайшим аппетитом и вкусом спорят друг с другом на кулинарные темы. Игнатьев был завзятый гурман и писал книгу “Советы моей кухарке”» (К. Чуковский) (16). Истинные причины нарочитого, вызывающего гусарства «красного графа» мы находим в его личной переписке: «Когда я бываю на людях, то веселюсь (и меня считают очень веселым), но это веселье будто среди призраков. И это тоже меня удручает» (17). Не было весело графу...

Может, тому причины социальные – человек он наблюдательный, и знал, что происходит за роскошным фасадом сталинского режима, а может, и личные –

любовные страсти тоже терзали сердце немолодого писателя... Но окружающим виделось иначе. Считается, что чревоугодник писатель Амбросий из «Мастера и Маргариты», мастерски описывающий кулинарные яства своему худому и никчемному коллеге («... *Представляю, как ваша жена готовит котлеты де-воляй на кухне в коммунальной квартире...*») срисован с А. Толстого.

Кроме «Дома Герцена» еще один из исторических предшественников булгаковского ресторана «в Грибоедове» – ресторан сада «Жургаза» («Журнально-газетного объединения», которым руководил М. Кольцов) на Страстном бульваре, возле дома 11. Здесь часто сживали Маяковский, Бедный, Ильф и Петров, Катаев, Гиляровский и сам Булгаков. В саду «Жургаза» выступал джаз-оркестр молодого Александра Цфасмана, исполнявшего в своей обработке популярный фокстрот американского композитора Винцента Юманса «Аллилуйя», памятный нам по легендарному роману. Булгакову нравилась модная незамысловатая мелодия, а в архиве писателя сохранился экземпляр этих нот.

И еще картинки с выставки – об одном из гусаров эпохи, В. Катаеве. Булгаковед Л. Яновская: «...На ее лице (речь о Татьяне Николаевне – первой жене Булгакова – К.К.) все еще вспыхивала слабенькая и давняя тень раздражения, когда она называла Катаева и особенно Олешу: приходили поздно, приходили с вином, и она боялась, что они споят Булгакова... Ее старое лицо разглаживалось, и тень раздражения уходила, когда она называла Ильфа» (18). Ю. Олеша: «Я жил в одной квартире с Ильфом. Вдруг поздно вечером приходит Катаев и еще несколько человек, среди которых Есенин. Он был в смокинге, лакированных туфлях, однако растерзанных – видно после драки с кем-то... Потом он читал “Черного человека”. Во время

чтения схватился неуверенно (так как был пьян) за этажерку, и она упала... нарядный и растерзанный, пьяный, злой, золотоволосый, и в кровоподтеках после драки» (19). Малашкин о Есенине: «А что он потом вытворял с Дункан! Помню, выгнал ее на мороз и заставил, голую, плясать на снегу! И еще помню: напился и сидит на перилах, балансирует, свалится – не свалится в лестничный пролет. А народ внизу переживает: “Сережа, не надо!”» (20). Ильф: «Олеша продает свои полосатые штаны татарину. Олеше жалко продавать свои штаны, но ему очень хочется пива. До 10- го еще далеко, а как водится, уже нет денег... они будут только завтра, а пива хочется сегодня» (21).

Отсутствие денег, молодость, веселье – кто из нас не проходил путь от тоскливого безденежья к внезапно вспыхивавшему празднику? *«Долгие лишения, которые испытал Остап Бендер, требовали немедленной компенсации. Поэтому в тот же вечер великий комбинатор напился на ресторанной горе до столбняка и чуть не выпал из вагона фуникулера на пути в гостиницу... Друзья беспробудно пьянствовали целую неделю. Адмиральский костюм Воробьянинова покрылся разноцветными винными яблоками, а на костюме Остапа они расплылись в одно большое радужное яблоко»...*

Единый круг веселых талантливых людей, среди которых вращался и Михаил Афанасьевич Булгаков, тоже знавший толк в застолье – *«коньяк он тоже ловко пил, как и все добрые люди, целыми стопками и не закусывая»*. И в пресловутом доме Герцена Булгаков был нередким гостем, частенько ужинал там с друзьями, тем же Евгением Петровым. Разумеется, и ссорились попойке. Несколько таких столкновений зафиксировали дневники Е. Булгаковой: «1939. 25 марта. Все было хорошо, за исключением финала. Пьяный Катаев сел, никем не прощенный, к столу, Пете

сказал, что он написал – барахло – а не декорации, Грише Конскому – что он плохой актер, хотя никогда его не видел на сцене и, может быть, даже в жизни. Наконец, все так обозлились на него, что у всех явилось желание ударить его, но вдруг Миша тихо и серьезно ему сказал: вы бездарный драматург, от этого всем завидуете и злитесь. “Валя, Вы жопа”. Катаев ушел мрачный, не прощаясь» (22).

«11 июля 1939. Пьяный Олеша подозвал вдребезги пьяного некоего писателя Сергея Алымова знакомиться с Булгаковым. Тот, произнеся невозможную ахинею, набросился на Мишу с поцелуями. Миша его отталкивал. Потом мы сразу поднялись и ушли, не прощаясь. Олеша догнал, просил прощения. Мы уехали на ЗИСе домой. Что за люди! Дома Миша долго мыл одеколоном губы, все время выворачивал губы, смотрел в зеркало и говорил – теперь будет сифилис!» (23).

Дома у Булгакова всегда было и хлебосольно, и весело. Над дверью в столовую висел плакатик с перечеркнутой бутылкой: «Водка – яд, сберкасса – друг». А на столе уже все приготовлено, чтобы выпить и закусить. «Лучший трактир в Москве!» – как сам писатель называл свою квартиру; водочку уважал и любил разбавить ее рижским бальзамом. Письмо М. Булгакова П. Попову: «Извините, но вы делаете явную ошибку: Вы не подумали о том, чем закусывать. Лучше крепкого соленого душистого огурца ничего не может быть. Вы скажете – гриб лучше. Ошибаетесь» (24). Но и последствия неправильно устроенного застолья автору явно знакомы не по медицинскому словарю:

– Дорогой Степан Богданович, – заговорил посетитель, проницательно улыбаясь, – никакой пирамидон вам не поможет. Следуйте старому мудрому правилу, – лечить подобное подобным. Единственно, что вернет вас к жизни, это две стопки водки с острой и горячей закуской». С помощью самого народного

средства приводят в чувство и ошалевшего Мастера, внезапно оказавшегося в гостях у сатаны: *«После того, как мастер осушил второй стакан, его глаза стали живыми и осмысленными»*. Однако тем-то и отличается талантливый человек, что он может личный, иногда не самый приятный опыт трансформировать в творчество.

Сам же Михаил Афанасьевич после чтения вслух отрывков из романа пришедшим гостям, разливая им водку из графинчика, любил громко заявлять, именно громко, на весь стол: «Ну, вот, скоро буду печатать!» И весело оглядывал шокированных гостей... Разумеется, Булгаков понимал, что при жизни шансы увидеть свой роман напечатанным у него мизерные – его свободомыслие и так громадный бонус от диктатуры.

Излишне добавлять, что ресторан дома Герцена, как позже и Центральный дом литераторов, находился в сфере постоянного внимания НКВД/КГБ. Болтливые интеллигенты – неисчерпаемый кладезь информации, поскольку собутыльничество несет в себе и элемент доверительности. Но и страдали литераторы от своей неводержанности весьма основательно. Н. Хрущев приводит в пример известного украинского писателя Петра Панча: «Не знаю, как он сохранился. За ним следили и больше всего доносили писатели, вместе с которыми он работал. К сожалению, довольно часто он выпивал. Эти лица провоцировали его на какие-то разговоры, а потом все это передавалось, стряпалось дело, и вот уже документы готовы к аресту» (25). Но – пронесло.

Писательские дома в Москве, Киеве, Харькове были напичканы стукачами, там ежедневно исчезали люди и, тем не менее, писатели веселились. Пир во время чумы. Известно, как мучился Булгаков от бесконечного и шумного веселья живших наверху соседей – молодого баснописца Сергея Михалкова с женой, с которыми, в конце концов, и подружился. Или другой пример – уже

из жизни украинской богемы. К. Чуковский: «Внизу под Рыльским живет Павло Тычина. Он не выносит громких звуков, страдает от каждого стука. Чтобы обезопасить себя от шума, идущего с верхнего этажа, он на свой счет «подковал» всю мебель Рыльского резиной. Но Рыльский, подвыпив, предлагает гостям и домочадцам:

– Давайте дразнить Тычину.

Гости начинают горланить «Дубинушку»: «Англичанин мудрец, чтоб работе помочь, изобрел за Тычиной Тычину...»

Это выводит Тычину из себя. Он прибегает с проклятиями... и остается, и сам принимает участие в хоре» (26). Другой украинский гений – Татлин – любит играть на им же сделанной бандуре, и они с Маршаком дуэтом под эту бандуру поют старые украинские песни, а какая же народная песня без чарки. Жить стало лучше, веселее, страшнее...

В центре Москвы стоит дом, где в тридцатые годы на одних площадках жили писатели и чекисты. Н. Мандельштам: «Бог его знает, как туда попали чекисты, может, их вселили на место арестованных из какого-то другого ведомства, разделявшего этот дом с писателями. Но они там жили, и соседям приходилось сталкиваться с ними по разным поводам. Однажды, например, пьяный чекист, которого жена выставила из квартиры, бушевал на лестничной площадке: он вспоминал в пьяном бреду, как допрашивал и избивал во время допроса своего товарища, и лил слезы позднего раскаяния.

Я дозвонилась в квартиру его жене и заставила ее впустить мужа, объяснив, что за такой пьяный бред ему тоже не поздоровится...» (27).

Никакой случайности в соседстве писателей и чекистов нет, о чем мы уже рассказывали. Многочисленные источники свидетельствуют о тесной дружбе советской интеллигенции и сотрудников органов, что, конечно же, не мешало последним изымать первых из обращения по первому звонку. Но пока стояло водяное (то есть водочное) перемирие бояться хищников не приходилось – все друзья, знакомцы, родственники. Б. Ефимов: «Кольцов поднялся в апартаменты Горького, а я остался в подвальном этаже, где встретил нескольких работников “органов”, знакомых мне по встречам в доме Бриков. Они сидели за столом, что-то выпивали и чем-то закусывали. Мне гостеприимно предложили принять участие в этой трапезе и сразу угостили “Степной устрицей”. Суть этого угощения состояла в следующем: надо было залпом выпить стакан голландского джина и тут же

моментально проглотить сырое яйцо. Я довольно лихо проделал эту процедуру, заслужив при этом одобрение всей компании» (28). Все водили дружбу с ГПУ-НКВД и хотели, чтобы потом репрессии, разметавшие эту организацию, их не коснулись?

Но и красные янычары выкованы не из железа, и «мальчики кровавые в глазах» частенько подталкивали «натруженные» рученьки к стакану. Как-то один из следователей, бывший рабочий, падая с ног от круглосуточных допросов, украдкой прихватил с собой «на работу» бутылку водки. Будучи не в состоянии бороться со сном, он периодически доставал из стола бутылку и делал глоток. Первые ночи это как-то выручало. Но однажды он, что называется, перебрал... На его беду, обход этой ночью делал сам Ягода со своим заместителем Аграновым. Они открыли дверь очередной камеры – и их глазам предстала такая картина. Пьяный следователь сидел на столе, жалобно восклицая: «Сегодня я тебя допрашиваю, завтра ты меня. Ни гроша-то наша жизнь не стоит!» Арестованный стоял рядом и отечески похлопывал его по плечу, пытаясь утешить (29).

Далеко не все выдерживали испытание выпивкой. Многие впадали в зверство, характерное, впрочем, для русского пьянства. Например, актер Л. Кмит, известный нам по роли симпатичного Петьки в фильме «Чапаев», в состоянии алкогольного аффекта избивал свою малолетнюю дочку. Отговорка была одна: «Уйдите отсюда, дочка моя, что хочу, то и делаю» (30). Не вяжется с образом положительного героя? А разве он один!? Кто уж положительнее шахтера Алексея Стаханова, примера для подражания всей страны. Но став знаменитостью Стаханов спился и последние десятилетия жизни был хроническим алкоголиком.

Это о нем рассуждает хитроумный сфинкс в «Москве – Петушки»: *«Знаменитый ударник Алексей Стаханов*

два раза в день ходил по малой нужде и один раз в два дня – по большой. Когда же с ним случался запой, он четыре раза в день ходил по малой нужде и ни разу – по большой. Подсчитай, сколько раз в год ударник Алексей Стаханов сходил по малой нужде и сколько по большой, если учесть, что у него триста двенадцать дней в году был запой». Или шеф Стаханова – министр угольной промышленности А. Засядько: «Был любимцем Сталина. Суровый, волевой, решительный, вздорный, непредсказуемый – словом, настоящий мужчина. И страшный матерщинник... Пил он только стаканами и никогда не закусывал... Водка сгубила его, но без таких, как он, не было бы нашей истории. Сейчас в Донбассе есть шахта им. Засядько» (31).

И действительно, без этой породы яростных, безудержных людей – от писателей до министров – не было бы советской страны. А уж хорошо это или плохо решайте сами. «Меня могут спросить: “Что же, Сталин был пьяница?”. Можно ответить, что и был, и не был. То есть был в том смысле, что в последние годы не обходилось без того, чтобы пить, пить, пить. С другой стороны, никогда он не накачивал себя так, как своих гостей, наливал себе в небольшой бокал и даже разбавлял его водой», – вспоминает Н. Хрущев (32). Скорее всего, Сталин попросту осторожно относился к спиртному, памятуя, что его отец погиб от пьянства.

Сам вождь пил согласно традициям грузинского застолья, употребляя преимущественно вино, хотя иногда мог и принять чего-нибудь более крепкое. Нравилось ему также сладкое и полусладкое шампанское. Сухое и «брют» он не любил, предлагал даже прекратить их производство. И вообще внимательно следил за развитием виноделия в СССР, специально посылал Микояна за границу, кроме всего прочего знакомиться и с тамошним опытом [\[189\]](#).

Развлечения подвыпивших вождей были нехитрые, крестьянские. Обычно смакуются подробности из воспоминаний Хрущева, что, дескать, сажали гостей и на помидоры, и гопака заставляли плясать... Между тем, менее пристрастные, нежели Никита Сергеевич, комментаторы дают другую картину застольного отдыха Иосифа Виссарионовича. «Сталин неплохо пел», – вспоминал В. Молотов, который, наряду с К. Ворошиловым, в юности служил певчим в церкви. На пианино играл А. Жданов, умевший на слух подбирать мелодию. Под его аккомпанемент трое вождей – Сталин, Молотов, Ворошилов – пели «Да исправится молитва твоя...»

Очень хорошая музыка, пение церковное. Порою в тесном кругу они позволяли себе спеть и белогвардейские песни. Гражданская война не забывалась (33). Согласитесь, члены коммунистического Политбюро, распевające псалмы и белогвардейские песни – это нечто!

И этот хор большевиков подбивал и прочих коммунистических вождей на всякие безобразия. Замечен в пьянстве вождь дружественных монголов Цеденбал, много пил чешский коммунист Готвальд. Сталин ему дружески говорил: «Ты в твоей стране единственный порядочный человек и тот – пьяница» (34). Отечественным писателям тоже есть на кого равняться. Скажем, один из руководителей Союза писателей СССР в начале 1930-х годов, советский государственный и партийный деятель А. Щербаков страшно много пил, и в 1945 году на 45 году жизни таки упился до смерти.

Легендой стал А. Фадеев, многие годы руководивший Союзом писателей. Рассказывали, между прочим, как однажды Сталин, который действительно заметно благоволил к красивому, обаятельному литератору, как-то обратил внимание, что Фадеев

отсутствовал на одном весьма ответственном совещании. Рассказывает Б. Ефимов: «Сталину ответили, что Фадеев болеет. Через некоторое время, увидев Фадеева на каком-то другом очередном заседании, Сталин поинтересовался:

– Чем вы болели, товарищ Фадеев?

– Запой, товарищ Сталин, – честно ответил Александр Александрович.

– А сколько времени это у вас обычно занимает, товарищ Фадеев? – невозмутимо и деловито осведомился Вождь.

– Две недели, товарищ Сталин, – так же деловито сообщил Фадеев.

Сталин помолчал, подумал.

– Товарищ Фадеев, – сказал он, – советские люди переходят в настоящий момент на ударные темпы. А вы не смогли бы по-ударному сократить сроки своего заболевания?

– Постараюсь, товарищ Сталин, – бодро отрапортовал Фадеев. К сожалению, насколько я знаю, это вполне разумное пожелание “Отца народов” мало что изменило...» (35)

Во время войны общая растерянность власти сказывается и на жизни писательской верхушки. В конце сентября Политбюро выносит порицание Фадееву:

Постановление политбюро ЦК ВКП(б) о наказании А.А. Фадеева

23 сентября 1941 г.

№ 35. п. 114 – О т. Фадееве А.А.

«По поручению Секретариата ЦК ВКП(б) Комиссия Партийного Контроля рассмотрела дело о секретаре Союза советских писателей и члене ЦК ВКП(б) т. Фадееве А.А. и установила, что т. Фадеев А.А., приехав из командировки с фронта, получив поручение от Информбюро, не выполнил его и в течение семи дней

пьянствовал, не выходя на работу, скрывая свое местонахождение. При выяснении установлено, что попойка происходила на квартире артистки Булгаковой^[190]. Как оказалось, это не единственный факт, когда т. Фадеев по несколько дней подряд пьянствовал. Аналогичный факт имел место в конце июля текущего года. Факты о попойках т. Фадеева широко известны в писательской среде.

Бюро КПК при ЦК ВКП(б) постановляет: считая поведение т. Фадеева А.А. недостойным члена ВКП(б) и особенно члена ЦК ВКП(б), объявить ему выговор и предупредить, что если он и впредь будет продолжать вести себя недостойным образом, то в отношении его будет поставлен вопрос о более серьезном партийном взыскании» (37).

Уже после войны начальник Агитпропа Шепилов доносил Маленкову: «По имеющимся сведениям генеральный секретарь Союза советских писателей СССР т. Фадеев за последние десять лет 4-5 раз ежегодно заболевает запоем, который обычно продолжается 7 дней». То есть пожелание вождя руководителем СП все-таки учтены и длительность запоев сокращена. Далее в сообщении идет информация об одном из собутыльников Фадеева, который происходит «из кулацкой семьи». Задет и А. Твардовский, «беспартийный, в моральном и идейном отношении является человеком неустойчивым. Он часто и много пьет. В его творчестве имеют место идеологические срывы» (38).

Далее жанровая сценка, иллюстрирующая дружбу двух сановных писателей, Твардовского и Фадеева: «Как-то мы с внуком, выйдя во двор, лицезрели такую трогательную картину: удобно прислонившись к большому снежному сугробу, Твардовский и Фадеев, уже изрядно раскрасневшись, по-компанейски

передавали друг другу пол-литровую бутылку, поочередно из нее потягивая». Я снова цитирую воспоминания много повидавшего за свою долгую жизнь Б. Ефимова: «Мой шестилетний внук был крайне заинтересован этим зрелищем и подошел поближе. Твардовский внимательно на него посмотрел, потом вынул из кармана конфету “Мишка” и протянул ее внуку со словами: «Мальчик. Возьми конфету и шагай отсюда к... матери» (39). К. Чуковский: «Встретил на задворках Переделкина – недалеко от стандартного дома А.А. Фадеева. Он только что вернулся из Барвихи – напился – и теперь бредет домой в сопровождении В.И. Язвицкого. Боюсь, что у него начался запой» (40).

У меня нет желания смаковать трагическую слабость писателя, но нужно понимать, что Александр Александрович возглавлял Союз писателей, а потому, волей-неволей, являлся эталоном стиля жизни – и как преданный коммунист, и как жертва пагубной исконно русской привычки. Тем не менее, многие грехи искупил Фадеев своей мужественной смертью, обличив в предсмертном письме сложившуюся систему управления духовной жизнью страны:

«В ЦК КПСС.

Не вижу возможности дальше жить, т. к. искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии и теперь уже не может быть поправлено. Лучшие кадры литературы – в числе, которое даже не снилось царским сатрапам, – физически истреблены или погибли благодаря преступному попустительству власть имущих: лучшие люди литературы умерли в преждевременном возрасте... Литература – этот высший плод нового строя – унижена, затравлена, загублена. Самодовольство нуворишей от великого ленинского учения, даже тогда, когда они клянутся им, этим учением, привело к полному недоверию к ним с моей стороны, ибо от них

можно ждать еще худшего, чем от сатрапа Сталина. Тот был хоть образован, а эти – невежды. 13/V. 56. Ал. Фадеев».

В сообщении о смерти писателя власти собирались указать, что Александр Александрович выстрелил в себя в состоянии запоя, но от этой гаденькой идейки идеологи всё же отказались – соседи-писатели знали, что за последний месяц Фадеев не выпил ни одной рюмки. Власть из письма Фадеева никаких выводов так и не сделала. Встречи Хрущева с интеллигенцией тому подтверждение.

IV

Во время «оттепели» за взаимодействие со СМИ и, во многом, с интеллигенцией отвечал зять Хрущева – Алексей Аджубей. Человек умный, но, увы, тоже не просыхавший от спиртного. «Мне несколько раз пришлось видеть его за границей, и обычно, как принято говорить, он не вязал лыка. По этой причине он допускал иногда такие высказывания, которые могли бы закончиться большим шумом в прессе, но выручало его то, что он являлся зятем высокого советского руководителя», – свидетельствует высокопоставленный чекист М. Докучаев (41).

Непонятно только, при чем здесь иностранная пресса – что явно смущает мемуариста. Иностранцы давно уже разбирались в особенностях нашего досуга! Стейнбек в своих заметках с ужасом вспоминал советское гостеприимство. Не успевали американцы проснуться, как наступал завтрак, который начинался со стакана водки. Потом каждому подавалась яичница из четырёх яиц, две огромные жареные рыбы, по три стакана с молоком; затем шли блюда с соленьями, стакан домашней вишнёвой наливки и чёрный хлеб с маслом, потом полная чашка мёда с двумя стаканами молока и опять стакан водки (42). Можно только представить, какими были обеды и ужины. Страна хотела выглядеть в глазах заезжего писателя идеально – так, как она сама себя представляла: много водки и закуски.

Собственно, внутри Советского Союза сей нехитрый рецепт действовал довольно эффективно. Строй стабилизировался, сцементировался и жестко заставлял играть интеллигенцию по своим правилам. А правила оказались просты – только безусловное исполнение

госзаказа могло гарантировать писателям кусок хлеба. Прочие искания не приветствуются. Творческая апатия охватывала самые широкие круги писательской общественности. Безудержно пьянствуют классики – Фадеев, Твардовский, Катаев... Заливают глаза молодые. Ю. Нагибин: «Халтура заменила для меня водку. Она почти столь же успешно, хотя и с большим вредом, позволяет отделаться от себя. Если бы родные это поняли, они должны были бы повести такую же самоотверженную борьбу с моим пребыванием за письменным столом, как прежде с моим пребыванием за бутылкой. Ведь и то, и другое – разрушение личности. Только халтура – более убийственное» (43). Там же: «Грандиозное заседание редколлегии “Нашего современника”, превратившееся прямо по ходу дела в грандиозное пьянство... На редколлегии как всегда прекрасны были В. Астафьев и Е. Носов, особенно последний. Говорили о гибели России, о вымирании деревни, всё так откровенно, горько, по-русски. Под конец все здорово надрались... Продолжали мы втроем в ЦДЛ, а потом у меня до шести часов утра. Ребята и на этом не остановились. Кончилось тем, что Женю Носова отправили к Склифосовскому с сердечным припадком. Для меня же наша встреча явилась хорошим противоядием от моего обычного низкопробного литературного окружения» (44).

Бегство в алкоголь приняло массовый характер, но привычная ханжеская мораль заставляла ретушировать проблему. В том же «Новом мире», редактируя В. Некрасова, А.Твардовский либо вычеркивал упоминания о том, что герой выпил водки, либо сокращал ее количество, скажем, написано: выпил сто пятьдесят грамм, редактор заменял: выпил – сто грамм. Чаще всего водка вообще вычеркивалась – герои пили пиво. В. Некрасов рассказывает: когда, наконец, борьба с алкоголем на страницах его повести была закончена, А.

Твардовский облегченно вздохнул и сказал: «А теперь пошли, выпьем!» (45).

– Потрясающую историю про Василия Макаровича (Шукшина) рассказал мне Михаил Ромм, – поделился в одном из интервью кинорежиссер С. Соловьев. – Три часа ночи. Звонок в дверь в квартире Ромма. На пороге – расхристанный Вася, в сапогах, в галифе, пьяный в умот. “Нужно поговорить, – говорит Ромму Шукшин. – Объясните мне одну вещь. В принципе я интеллигентов ненавижу. А вас люблю. В чем дело?” И Ромм со свойственным ему юмором отвечает: “Вася, если бы ты выпил не полтора литра водки, а 300 граммов, чувство ненависти в тебе бы ослабло. А если бы вообще не пил, оно ушло бы совсем”. Ромм не был обидчивым. Он понимал и ценил своих талантливых ребят, – добавляет Соловьев (46). «На общение и пьянство уходит много сил. Но ведь я всегда общался и пил. А когда не пил и не общался, все равно не писал лучше и больше», – признается Д. Самойлов (47).

Спивались мужчины, спивались и женщины, например, поэтесса Ольга Берггольц. «Мания величия и мания преследования, – узнав о ее проблемах с алкоголем, заметила Анна Андреевна Ахматова. – Гибель поэта, – она ведь поэт несомненный. Но, наверное, уже не в состоянии писать...» (48). Между тем, пьянство Берггольц тоже продиктовано отчаянием. Ее первый муж – поэт Б. Корнилов – был расстрелян 21 февраля 1938 года в Ленинграде. Второй муж, литературовед Н. Молчанов, умер от голода во время блокады города. Сама Берггольц в 1938 году была арестована по обвинению «в связи с врагами народа»; в заключении после побоев разрешилась мертворождённым ребёнком (обе её дочери умерли прежде) – какая уж тут «мания величия»...

Алкоголь рождает особую философию, новое мировосприятие, в совершенстве выписанные в поэме

«Москва – Петушки», и алкогольному осмыслению действительности отдали дань практически все заметные фигуры отечественной литературы. «Надо помнить, что смерть не наказание, не казнь. У меня, вероятно, под влиянием владевшего мною некогда алкоголизма, развилось как раз такое отношение к смерти: она – наказание», – это Ю. Олеша, один из самых загульных советских писателей, рассуждает на старости лет о том, что за его похмельными и пьяными выходками стояла некая философия (49). Примечательно в этом отношении стихотворение, если не ошибаюсь, начала 1960-х годов, рано ушедшего из жизни советского поэта А. Передереева, «Люди пьют»:

*Люди пьют
Самогон и водку,
Спирт, перцовку, портвейн, коньяк...
Шевеля кадыками, как воду,
Пьют – напиться не могут никак.*

*Не беду,
Не тоску прогоняют:
Просто так —
Соберутся и пьют.
И не пляшут совсем,
Не гуляют.
Даже песен уже не поют.*

*Тихо пьют,
Как молятся, – истово,
Даже жутко —
Посуду не бьют...
Пьют артисты и журналисты,
И последние смертные пьют.*

Просто так,

*Просто так напиваются,
Ни причин,
Ни кручин – никаких.
Просто так,
Просто так собираются
В «Гастрономах» с утра —
«На троих».*

*Люди пьют —
Все устои рушатся.
Хлещут на смерть,
Не на живот!
Разлагаются все содружества,
Все сотрудничества
И супружества —
Собутыльничество живет.*

Суррогат общения, то самое доверительное собутыльничество помогало противостоять системе, которая за уши хотела вытянуть сопротивляющихся из грязи, сделать их «лучше» и – непременно заставить работать на себя. Сопротивлялись до злобы, до абсурда, до употребления неупотребляемого. В. Ерофеев опоэтизировал даже такую мерзость, как питье одеколонов, увы, распространенную нашу болезнь.

Или еще для понимания текстов Ерофеева, базировавшихся на действительных опытах советских граждан по употреблению внутрь всяких непригодных для того напитков. *«Не буду вам напоминать, как очищается политура, – указывает Венедикт Васильевич, – Это всякий младенец знает».* А ты, современный читатель, знаешь? Способы очистки политуры сохраняются в устной традиции. Наиболее распространенный: на 10 частей политуры добавляется 1 часть соли. Взбалтывается в течение 1 мин. Пена и

осадок удаляются. Теперь пейте, если есть время и вдохновение. Положение обязывает:

- Ноблесс оближ, - заметил кот и налил Маргарите какой-то прозрачной жидкости в лафитный стакан.

- Это водка? - слабо спросила Маргарита. Кот подпрыгнул на стуле от обиды.

- Помилуйте, королева, - прохрипел он, - разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!

Ах, эти королевы... Широко известно увлечение министра культуры СССР Е. Фурцевой придающими веселье напитками. Л. Смирнова: «Екатерина Алексеевна (Фурцева – К.К.) любила выпить. И с каждым днем это становилось заметней и заметней. Она себя вела достойно, но все-таки неудобно, когда человек такого ранга идет, покачиваясь. Я помню, встретила Фурцеву в Нью-Йорке, в веселой компании на 56 этаже какого-то клуба. Она хохотала, была пьяной, но очень нравилась американцам. Они так хорошо о ней говорили: раскованная, веселая, умная. Это было искренне» (50). Сценка на юбилее К. Симонова: «Кто-то из фронтовых друзей Симонова надумал оформить юбилейный подарок в виде походной военной сумки, где находились всем известные “наркомовские сто грамм” (в пятикратном количестве), с этикеткой времен Отечественной войны, жестяная кружка и скромная закуска в виде ломтя черного хлеба. После своего приветствия я (рассказывает Б. Ефимов – К.К.) уселся где-то сзади в президиуме, рядом с Иваном Козловским и Робертом Рождественским... Владелец упомянутой сумки куда-то отлучился, а Козловский и Рождественский как-то вмиг “учуяли” ее содержимое. И, недолго думая, извлекли бутылку, кружку и черный хлеб.

- Ив-ван С-семенович, - сказал Рождественский, откупорив бутылку, - н-не в-выпить ли нам з-за з-здоровье ю-юбиляра?

Козловский задумался.

– Вообще-то перед выступлением не рекомендуется. Но за здоровье Кости – готов.

Предложили и мне. Я воздержался, а они выпили и закусили. В этот момент произошло нечто неожиданное: Екатерина Фурцева, сидевшая в первом ряду президиума, обернулась, потянула носом, встала и подошла к ним вплотную.

– Пьете? – лаконично спросила она.

– Да, выпиваем, Екатерина Алексеевна, за здоровье юбиляра, – с достоинством ответил Козловский.

...Рождественский осторожно нацедил в кружку несколько капель водки. Фурцева молча наклонила бутылку и наполнила кружку до половины, пригнувшись, выпила, отломил кусочек хлеба, понюхала и, кивнув головой, вернулась на свое место. Разинув рты, все мы смотрели ей вслед. Нельзя было не заметить, что выпила она полкружки водки спокойно и равнодушно, как выпивают стакан воды» (51).

Кстати, о Симонове. Он завершил свой путь царским жестом, завещав «открытые поминки», то есть помянуть покойника мог каждый пришедший на поминки, в том числе и с улицы. Увы: опасаясь давки из желающих вкусить дармовой выпивки, секретариат СП крайне ограничил «свободные» поминки, нарушив таким образом последнюю волю покойного писателя.

Начиная с 1960-х годов, быстрая урбанизация, влекущая за собой ломку привычных устоев жизни и семьи, а также назревающие кризисные явления в духовной сфере вновь вознесли проблему пьянства в СССР на государственный уровень. В ходе урбанизации уровень потребления алкоголя в СССР стремительно нарастал: 1960 – 4,82 литров, 1970 – 9,22 литров, 1980 – 12,63 литров на человека в год. Но неэффективная экономика, продолжавшая развиваться по экстенсивной модели, требовала притока все новых и новых рабочих рук в город. Застой в интеллектуальной сфере провоцировал бегство в алкоголь всего мало-мальски активного.

Идеологический тупик вполне сочетался с экономическими проблемами страны. При Хрущеве продажа водки выросла в три раза, а при Брежневе в шесть. Все это больно било по обществу в целом и его базовым основам: половина всех случаев развода в 1970-х – пьянство мужей. В конце 1970-х годов на учете состояло два миллиона алкоголиков, а в реальности их было еще больше... Одних сотрудников вытрезвителей в стране насчитывалось 75000 человек. Снова, как и в конце пятидесятых, начали появляться целые города, «оккупированные» полукриминальными элементами, из них шли коллективные письма и жалобы с требованием защитить жителей от разгула уличной преступности и пьяного хулиганства. Уровень преступности (число преступлений на 100 тыс. населения) в 1978 году был на 32 процента выше, чем в 1966 году (52).

На рубеже 1970-1980-х годов стало ясно, что режим снова засасывает в воронку растущего простонародного недовольства и возможно повторение ситуации времён

«позднего Хрущева». Страна вступала в новую эпоху, уже сидя на бочке с порохом с зажженным фитилем, но огонь продолжали заливать бензином, точнее, спиртом. В 1984 году в СССР приходилось 17-18 литров чистого спирта на человека^[191]. *«О, тщета! О, эфемерность! О, самое бессильное и позорное время в жизни моего народа – время от рассвета до открытия магазинов!».*

Алкоголь стал общепризнанным стилем жизни, культурой, юмором. Особым советским методом общения, понятным только посвященным. Например, когда в легендарном фильме «Иван Васильевич меняет профессию» Жорж Милославский звонит на работу Антону Семёновичу Шпаку, он просит добавочный номер 362, произнося его «три шестьдесят две». Столько (3,62 руб.) стоила в то время бутылка водки. Эту непонятную сегодняшнему зрителю сценку режиссер Гайдай добавил к тексту Булгакова от себя. Бывало, того же Гайдая алкогольные проказы и подводили. Снимая киноленту «12 стульев», он пригласил на главную роль Владимира Высоцкого. Однако актер, едва приступив к работе, вдруг неожиданно пропал. Запой...

Страна окоченевала. Ю. Нагибин: «Простые люди знай себе приговаривают: “Лишь бы войны не было”, а так на всё согласны. Я думал, вздорожание водки их подхлестнет. Ничуть не бывало:

перешли на подогретую бормотуху, плодоваягодное, самогонку, добывают забвение из аскорбиновой кислоты, лекарств, политуры, пудры, каких-то ядов. Аполитичность полная. Всем на всё насрать. Беспокойных не любят. Над полным покоем мелко пузырятся хищнические страсти “избранных”» (53).

При этом сам Л. Брежнев в употреблении напитков был умерен. У Леонида Ильича имелась старинная

граненая рюмка емкостью 75 грамм, которая являлась нормой его употребления водки или коньяка. Он выпивал одну рюмку и на этом ставил точку^[192].

А вот его дети общей болезни не избежали – дочь Галина и сын Юрий стали увлекаться выпивкой. Своеобразную кампанию могли бы им составить сын Сталина Василий, сыновья Ворошилова, Андропова, Кулакова, внуки маршала Гречко, зять Хрущева... И кто же им противостоит? Академик Сахаров, по выражению Виктора Некрасова, «ни грамма не приемлющий», интеллигент, который испытывает «полную растерянность у железнодорожной кассы»? (54) Этот научит...

Не изменилась ситуация и после смерти Брежнева.

«Отвратительно, что “ждут указаний” для продолжения жизни духа. Сейчас всё духовное выключили, как электричество в пустой комнате. Мы живем без литературы, без искусства, без цели... Можно закрыть все газеты, журналы, издательства, музеи, театры, кино, оставив какой-нибудь информационный бюллетень и телевизор, чтобы рабы не слонялись без дела, гремя цепями. И, конечно, должна быть водка, много дешевой водки. Она не замедлила появиться, и благодарный народ нарек ее “андроповкой”» (55).

Но – есть время разбрасывать пробки, и есть время собирать бутылки. Еще немного – и началась перестройка. С чего началась? Правильно: с резкого и насильственного сокращения торговли спиртным. Бессмысленная компания, окончательно подорвавшая бюджет страны и легитимность строя, изнурительная борьба с собственным народом, которая полностью обнажила лживость и двуличность официальной идеологии. Ю. Нагибин продолжает свои мрачные наблюдения: «...грязное шутовство, именуемое “борьбой с алкоголизмом”. Интересно наблюдать, как

спускается в песок это важнейшее для страны дело. Оказывается, всему виной бокал шампанского. О пьянстве, страшном, черном, беспробудном, нигде ни слова (подразумевается, что его не было да и быть не могло), – губителен глоток золотого, как небо, ай. Алкоголь тщательно вытравливают из литературы, кино, театра, изобразительного искусства (упаси Боже, чтобы в натюрморте оказалась бутылка!), пьют же ничуть не меньше» (56). В разгар антиалкогольной кампании в РФ от отравления фальсифицированными спиртными напитками погибало 35–36 тысяч человек в год (57). Совершенно фантастическая величина.

Парадоксом перестройки можно считать, что первая официальная публикация энциклопедии советского пьянства, бессмертной поэмы В. Ерофеева «Москва – Петушки» прошла в журнале «Трезвость и культура» в 1988/89 годах. Страна, борющаяся с пьянством, заново отрывала для себя алкогольную поэтику самиздата в главном антиалкогольном издании государства.

К В. Ерофееву пришла официальная слава, он прижизненный классик, который уверенно входит в святой пантеон шестидесятников. Его привечают небожители: «Вы знаете, – игриво сказал ему при первой встрече Е. Евтушенко, – когда я в Сибири читал “Москва – Петушки”, мне очень захотелось выпить». «За чем же дело?» – спросил Веня. Однако символическое застолье двух поэтов так и не состоялась – не стало самого Ерофеева. И алкоголь сыграл в том не последнюю роль. Его записные книжки, которые неоднократно цитировались в этой книге, после смерти писателя обнаружены под хромой ножкой деревенского столика, где они исполняли роль подставки, а отдельными листами рукописи были запечатаны банки с вареньем...

Советского Союза уже давно нет, но поэтика отечественного пьянства осталась.

Фантасмагорические картины, описанные Ильфом/Петровым, Булгаковым, Ерофеевым, Довлатовым и другими, наверное, покажутся современной молодежи, потягивающей свои слабоалкогольные коктейли, надуманными и неправдивыми. Но нет, было так, и еще разгульней! Однако помните, что нельзя дважды войти в одну и ту же водку. Вам таковыми уже не быть. Как немцу не стать русским.

Так актеры экспериментального франкфуртского театра «Schauspiel» перепились на спектакле по поэме В. Ерофеева «Москва – Петушки», сообщает немецкая газета «Бильд» от 18.01.2010 г. (58). В качестве реквизита в спектакле использовалась настоящая водка, о чем зрители не имели никакого понятия. Четверо актеров сидели на сцене на железных стульях, периодически разливая по стаканам и выпивая. Постепенно действие на сцене стало приобретать фантасмагорический характер. Актеры то и дело вскакивали, орали «Настрофье!». Потом раскидали листы с текстами ролей по сцене и перешли к импровизации, начав разливать зрителям.

Один из актеров уже не стоял на ногах, другой поскользнулся на разбросанных листах и упал. Публика между тем была довольна и хлопала, полагая, что все это является частью спектакля. Опьянение актеров стало очевидным лишь после того, когда один из них рухнул со сцены вместе со стулом в зрительный зал, а еще один свалился под стол. Побежали первые зрители, в зале и в фойе возник хаос.

На место были вызваны пожарные и медики. Один из актеров был помещен в карету «скорой помощи», однако принялся бушевать, и врачи обратились к полицейским. В итоге он был доставлен в университетскую клинику. Всего к ликвидации последствий спектакля «Путешествие в Петушки» (Die Reise nach Petuschki) были привлечены три оперативных

наряда полиции, четыре патрульных автомобиля и служебно-розыскные собаки.

Что русскому хорошо – то немцу смерть.

Глава 11

Любить по-советски



Нет повести печальнее на свете, чем повесть о том, как разошлись общественное мнение и реальная жизнь. Эту повесть мы сейчас и пишем. Но хочется отвлечься, поговорить о чем-то светлом и добром, что всегда давало человеку силы жить; да без чего невозможна и сама жизнь: о любви. И если говорить о человеческой любви, то переживет она и нас, и государственные системы, но именно взгляд образованных слоев общества на любовь дает нам то поэтическое восприятие чувства, которое достойно цивилизации и всемирной культуры.

Поскольку на протяжении многих веков именно мужчины создавали большинство дошедших до нас культурных ценностей, их сексуальное влечение к противоположному полу, поиски лучших подходов и нужных слов оказывают облагораживающее действие на последующие поколения людей. Все эти «уступи девушке место», «третий тост за дам» и «женщины и дети – первыми в шлюпку», по сути, предоставление прав слабому, нуждающемуся в защите человеку. Но когда речь начинает идти о принципиально новой социальной системе, революционеры подвергают сомнению все устоявшиеся догмы, в том числе о месте женщины в семейных отношениях.

Ничего плохого в равноправии нет – дело в глобальности суждений радикалов о равноправии. Нужно понимать, что наше представление о дореволюционном времени, как об эпохе пуританской, категорически не соответствует действительности. Речь даже не о дворянских проделках с крепостными девушками, гусарских приключениях с провинциальными дамами, купеческих загулах в

нумерах и прочих Сонечках Мармеладовых. Всё само собой разумеется. Деликатнейший Антон Чехов – и тот в одном из писем, помеченных 1883 годом, писал, что каждую понравившуюся ему девицу удастся «тарарахнуть» (1). Или, скажем, поэтесса Марина Цветаева, влюбившаяся в поэтессу и переводчицу Софью Парнок. Причем, любовь происходила на глазах у мужа – Сергея Эфрона. Так что бывало всякое.

Согласно Н. Бердяеву, в душе русского народа остался сильный природный элемент, связанный с необъятностью русской земли, с безграничностью русской равнины. У русских «природа», стихийная сила, сильнее, чем у западных людей, сформированных латинской культурой. Безудержность русских страстей давно стала притчей во языцех – стереотипом, и даже элементом мировой культуры. Страсть интеллигенции ко всему «прогрессивному», помноженная на традиционные условия крестьянского быта основной массы народа, дали поразительные, а где-то и непредсказуемые результаты. Принятое с Запада подхватывается, доводится до абсурда и последующего такого же гротескного отрицания. Однако надо разделять литературно-картинные страсти образованных слоев общества, и любовь как чувство обычных, вменяемых людей.

К началу XX века культура урбанизированной Европы стала остроэротической, наслаждение для состоятельных классов было поставлено на индустриальный поток. А тут еще и технические достижения – многотысячные тиражи откровенных фотографий и порнографические кинофильмы, которые, по сути, ничем не уступали современным видеоспариваниям.

Модерновый эротизм по европейской моде охотно подхватывали и российские образованные классы^[193]. В

интеллигентских кругах царило свободомыслие, вполне соотносившееся со всплеском чувственности в эпоху «Серебряного века» русской литературы. Сексуальная революция еще не наступила, но ситуация была уже предреволюционной.

Далее Первая мировая война, задействовавшая в боевых действиях миллионы мужчин, заставила правительства практически всех воевавших стран привлечь к обороне страны женщин – и в военную медицину, и в промышленное производство, и, собственно, в боевые части. Все это содействовало массовой эмансипации и половой свободе. Женщины индустриального общества были готовы к своей новой роли в социуме, более того – активно поддерживали тех, кто требовал перемен.

Уже 19 марта 1917 года в Петрограде состоялась 40-тысячная демонстрация женщин под лозунгами «Свободная женщина в свободной России!», «Без участия женщин избирательное право не всеобщее!», «Место женщины в Учредительном собрании!». Вскоре они – одними из первых в мире – получили избирательное право, которое было закреплено пришедшими к власти большевиками, провозгласившими полное равноправие полов. Для сравнения: женщины Франции стали полноправными участниками выборов только в 1944 году, а в Швейцарии вообще в 1971 году. А тогда, весной 1917 года, французский посол, «цивилизованный европеец» Морис Палеолог с патриархальным ужасом наблюдал за бесконечными демонстрациями «евреев, мусульман, буддистов, рабочих, работниц, учителей и учительниц, молодых подмастерьев, сирот, глухонемых, акушеров. Была даже манифестация проституток» (2). Крах привычного порядка пугал старого дипломата.

Можно сказать, тотальная эмансипация в масштабах всего мира началась с того момента, как в Советской

России предоставили женщинам равные с мужчинами избирательные права – плотину прорвало. Европейские дамы, ссылаясь на русский опыт, обоснованно требовали для себя аналогичных прав в своих вроде бы более «развитых и демократических» странах. Вскоре после русской революции последовали реформы избирательной системы в Германии, Англии и т. д.

Нет ничего удивительного, что, наряду с ломкой экономической системы, социалисты всех мастей считали своей важнейшей задачей и реформирование института семьи – основы традиционного общества, а признаком настоящей революционерки стало вольнодумство в вопросах пола. В нашумевшей книге влиятельной большевички Александры Коллонтай «Любовь пчел трудовых» такие человеческие ценности, как любовь, брак, супружеская верность, семья, объявлялись устаревшими «буржуазными предрассудками». Человеческое общество, по мысли автора, уподоблялось огромному пчелиному улью, в котором размножение происходит стихийно, неуправляемо, по случайному хотению. Книга имела шумный успех^[194] и оказала немалое влияние на формирующуюся классовую мораль 1920-х годов. Сама А. Коллонтай охотно следовала собственным рекомендациям. Близкие отношения Коллонтай с революционным матросом Дыбенко были широко известны и даже послужили сюжетом для довольно озорной карикатуры в одной из петроградских газет революционной поры. Карикатура называлась «Междуведомственные трения», а изображена была на ней... двуспальная кровать, возле которой рядышком на коврик стояли грубые матросские сапоги и изящные дамские туфли^[195].

У другой знаменитой революционерки – Ларисы Рейснер – почти одновременно в любовниках ходили

такие разные люди как писатель-романтик А. Грин и кровавый нарком Л. Троцкий. Да и сам лидер революции В. Ленин земную любовь ценил, влюблялся не раз, а о романе вождя мирового пролетариата с Инессой Арманд до сих пор ходят легенды. Но и здесь не без ложки дегтя. Его соратник В. Молотов предполагал у Ленина наследственный сифилис, который, в конце концов, и свел его в могилу (4). Жить и любить с такими проблемами вождю, скорее всего, было непросто – большая часть из тех, кто имеет в себе наследственный сифилис, становится потом эпилептиками, преступниками, пьяницами и пр. Но это мутные догадки В. Молотова (как и Б. Ефимова) об одном человеке, а нас интересуют тенденции.

Большевики, опираясь на идеологическую помощь интеллигенции, активно вовлекали обычных женщин в политическую жизнь – эмансипация считалась одной из тех прогрессивных целей, которые подразумевали полное освобождение человека. Мелочь, но характерная: в Ленинграде было издано специальное распоряжение об отмене обращения «барышня» при вызове для телефонного соединения.

«Отжившее» слово заменили обращением «товарищ» или «гражданка». Нарушившим постановление телефонистки отказывали в соединении. Невольно вспоминается фильм (и пьеса) «Убить дракона», где обращение к девушке – «барышня» – так смягчает ее сердце, что она влюбляется в главного героя – Ланселота. Что-то в этом слове чувствуется, ежели ему уделяется столь большое внимание.

Однако нужно учитывать, что мораль прозападной интеллигенции ничего общего не имела с традиционной крестьянской моралью. Патриархальную семью, согласно новым веяниям, следовало немедленно реформировать, придать ее существованию общественно- социальный, классовый смысл. «Половая

жизнь для создания здорового революционно-классового потомства, для правильного, боевого использования всего энергетического богатства человека, для революционно-целесообразной организации его радостей, для боевого формирования внутриклассовых отношений – вот подход пролетариата к половому вопросу», – так рассуждали революционные теоретики (5). Но одно дело марать бумагу в кабинетах, другое – жить семейной жизнью, со всеми ее сложностями, компромиссами, тем более, в условиях непростого быта первых послереволюционных лет.

И здесь пролегла еще одна трещина между красной элитой и основной массой народа. Образ жизни семьи «ответработника» и простой крестьянской женщины различались диаметрально. С точки зрения рядовых сельских и городских жителей, чья жизнь представляла из себя непрерывный тяжелый труд и постоянную борьбу за существование, праздность женщин, состоявших при новых руководителях, была чем-то сродни вызову крестьянской морали и здравому смыслу: «наши провинциальные партответственники, кроме жены, т. е. декретной, имеет еще любочек, клавочек, сарочек, преимущественно из среды мещанско-интеллигентско-аристократической... А дальше, хотя медленно, но неуклонно, прогрессирует между партийцами кумовство, свойство, знакомство с крупными, хотя и подчиненными спецами...» (6). В письме жалобщиков точно подмечено слияние коммунистической верхушки со старой интеллигенцией.

Не обращая внимание на сомневающих, один из видных идеологов нового режима, классический интеллигент-большевик А. Луначарский пророчил, что семейная жизнь при социализме претерпит очень большие изменения: «Можно сказать, что в социалистическом городе семья старого типа окажется совершенно отмененной. Разумеется, будет по этому

поводу и шипение относительно «свободы любви», «разврата» и т. д. Но мы пройдем мимо всего этого шипения, помня те великие заветы социалистических учителей о новых свободных формах отношений между полами, которые неразрывно связаны с социализмом» (7). Сами вожди также во многом придерживались новых взглядов на институт семьи. Например, А. Микоян за 42 года жизни со своей супругой брак так и не зарегистрировал, и подобных примеров имелось множество.

Порою, сексуальная революция принимала самые радикальные формы. Фурор произвело в свое время общественное движение «Долой стыд», исповедовавшее идеи, близкие к современному нудизму. М. Булгаков: «На днях в Москве появились совершенно голые люди (мужчины и женщины) с повязками через плечо “Долой стыд”. Влезали в трамвай. Трамвай останавливали, публика возмущалась» (8). Актриса Л. Смирнова: «Я помню, как в трамвай на Мясницкой (я была тогда маленькой девочкой) сели два голых человека, мужчина и женщина... По трамваю пронесся вопль изумления. А у пришельцев через плечо были натянуты ленты с надписью “Долой стыд”. Так и ехали» (9). Дело столицей не ограничивалось. Киевлянин В. Бережков: «Крещатик был тогда наиболее популярным местом гуляний, встреч, свиданий... Время от времени здесь появлялась молодая пара, совершенно нагая, – только узенькая ленточка через плечо с надписью “Долой стыд”» (10). За много тысяч лет человечество так и не придумало ничего интересней раздевания.

Городская молодежь, как в силу физиологических причин, так и ввиду слома предыдущей системы ценностей, сексуальную перестройку общества охотно поддержала. Статистика 1923 года весьма показательна: в добрые интимные отношения

вступали 47 % молодых питерских рабочих и 63 % работниц (11). Женщины в СССР стали значительно раскованней, но в сексуальной эмансипации 1920-х годов наличествовало все же больше идеологической принципиальности, чем половой распущенности, и она парадоксально уживалась с патриархальными пуританскими взглядами в духе XIX века. Что позволило вскоре сравнительно легко вернуться сталинскому показному целомудрию.

В двадцатые годы наблюдался также небывалый всплеск проституции. В 1922 году в одном Питере насчитывалось 32 тысячи проституток, при общем количестве женщин в городе около полумиллиона. То есть, ориентировочно, каждая 15-я зарабатывала на жизнь своим телом. Студенты некоторых студенческих общежитий почти официально приглашали к себе женщин легкого поведения и передавали их из одной комнаты в другую на коллективное содержание. В некоторых анкетах по изучению половой жизни прямо спрашивалось: «Удовлетворяете ли вы свои половые потребности с коммунисткой, проституткой или беспартийной?» (12) Явление было общеизвестно, о нем писали статьи и даже стихи. В очередной строфе стихотворения Маяковского «Дом Герцена (только в полном освещении)» читаем:

*Шепчет дева,
губки крася,
 юбок выставя ажур:
 «Ну, поедem...
что ты, Вася!
Вот те крест —
 не заражу...»*

Вряд ли в стихотворении речь идет о внезапно вспыхнувшей страсти или инфицировании свежими идеями...

Громадный рост проституции связан, конечно, не с революционной эмансипацией, а с последствиями Гражданской войны. Одно из тяжелейших наследий,

которое получила Советская власть – сиротство. Согласно некоторым оценкам, с 1914 по 1921 годы Россия потеряла около 16 миллионов человек, вследствие чего распалось множество семей, и возникла массовая беспризорность. Неудивительно, что десятки тысяч девочек оказались на панели^[196], становясь не только разносчиками венерических болезней, но и стандартов асоциального поведения – тело в обмен на материальные блага становится почти нормой. Государство, как могло, пыталось решить проблему в рамках общей борьбы с беспризорностью. В частности, жена знаменитого педагога А. Макаренко руководила специальным приютом для девочек-проституток на 40 человек.

Ужасно, что ситуация с проституцией для наших женщин была почти безвыходной – лишенные средств к жизни, потерявшие в битвах и эпидемиях защитников и кормильцев, тысячи русских женщин выходили на панель не только в Совдепии, но и в эмиграции.

«Я видел... в притонах Стамбула сотни русских проституток...», – свидетельствует И. Эренбург (14). Сбравшаяся идти на панель отчаявшаяся Серафима Корзухина из булгаковского «Бега» отнюдь не исключение. Аналогичную картину видим и в Берлине, и в пресловутом Париже, и везде, куда явилась наша интеллигенция, вышвырнутая из своего отечества столь желанной ей революцией.

Как мы уже сказали, предоставленная революцией свобода, помноженная на трудности новой жизни, заставляла многих и на Родине рассматривать свое тело как товар в обмен на товар. И уже не ради простого выживания. Очерк Н. Погодина в «Огоньке» (17.04.28 г.) «Я живу недалеко...»: «Весь смысл жизни для них в дорогом наряде. Им нужно иметь всегда модные боты и модную шляпу, хорошие духи, настоящий заграничный

кармин, заграничные чулки, модную шаль, модные туфли, красную сумку, складную серебряную пудреницу фирмы Коти, им нужно посещать институт красоты, блеклые ресницы превращать в жгуче-черные, массировать лица, завиваться у парикмахера... Но муж получает только триста рублей... Они медленно идут от витрины к витрине, они идут из пролета в пролет с лицами благопристойными, строгими, гордыми. И вдруг кто-то из них, проходя мимо вас, скажет:

– Я живу недалеко...

Она будет вынимать зеркальце из светлой сумочки, она невзначай пойдет рядом с вами:

– Тридцать рублей.

Тридцать рублей – это две коробки пудры Коти, тридцать рублей – это три пары настоящих заграничных чулок, модная шляпка...»

«Некоторые женщины, – остроумно подметил И. Ильф, – возбуждаются даже от галстука». И если революционный экстремизм в семейных отношениях и массовую проституцию удалось, в общем, побороть, то вот это осталось в стране навсегда.

Это не проституция из-за голода, ради куска хлеба, но нечто глубинное: желание нравиться, быть модной, а значит – и желанной. Порою, любой ценой. Женщина – это врожденное. Может, сие – вне революций? Еще А. Ахматова, вспоминая о дореволюционном Киеве, говорила: «Город вульгарных женщин. Там ведь много было богачей и сахарозаводчиков. Они тысячи бросали на последние моды, они и их жены... Моя семипудовая кузина, ожидая примерки нового платья в приемной у знаменитого портного Швейцера, целовала образ Николая-угодника: «Сделай, чтобы хорошо сидело» (17). И что изменилось за сто лет? Бывал я в том Киеве, красивый город, одна беда – населен киевлянами... Раскрепощаясь, женщины не только дерзко меняли стиль жизни, но и сам фасон платья. Многие охотно

примеряли на себя мужскую одежду: брюки, комбинезоны, шорты. Среди них и рядовые физкультурницы, и знаменитости, вроде женщин-летчиц. А писательница Ванда Василевская – дама весьма крупная – носила полувоенную форму, кавалерийские галифе и высокие сапоги^[197].

Однако большинство женщин оставалось женщинами и в условиях товарного голода упорно добивались своего права модно одеваться. Попытки пойти навстречу пожеланиям прекрасного пола властями неохотно, но все же предпринимались – донимали собственные жены. А. Микоян: «Нарком легкой промышленности тогда был Любимов, старый большевик, уважаемый человек. Но на него шли жалобы, что он мало обращает внимание на развитие парфюмерной промышленности и на мыловарение. Сталин узнал об этом из беседы с Полиной Семеновной Жемчужиной, женой Молотова... Был создан в Наркомате Главпарфюмер, начальником которого была назначена Жемчужина... Отрасль развилась настолько, что я мог поставить перед ней задачу, чтобы советские духи не уступали по качеству парижским. Тогда в целом она эту задачу почти что выполнила: производство духов стало на современном уровне, лучшие наши духи получили признание» (17).

Но забота о женщине вне рамок индустриального строительства, была, увы, весьма эпизодична. Провал гендерной политики Сталина, вернее, ее отсутствие, особенно проявился во время Великой Отечественной войны. Об этом не принято говорить, но ведь многие тысячи оставшихся в оккупации советских женщин увидели свое счастье в другом, «цивилизованном» к себе отношении со стороны, страшно подумать, завоевателей и насильников. А. Довженко гневно писал в своем дневнике: «...сожительство девчат, молодых

женщин с немцами. Массовые женитьбы, словом, массовые проявления обыкновеннейшей юридической измены Родине являются одним из наиболее разительных фактов нашей действительности... Это – отсутствие гражданского достоинства, гордости и национальной опрятности... это наша дорогая расплата за никчемное воспитание молодежи, за хамское оскорбление и воспитание девушки, за пренебрежение женской природой, за неуважение к ней, за грубость, отсутствие вкуса, мод, элегантности, хороших манер и за отсутствие множества того, что сделало наших женщин и девчат, их жизнь скучной и бесцветной» (18). Л. Смирнова: «Хозяйка *(в селе)* рассказывала мне, что во время оккупации у нее жил немец и у них был роман. Я, конечно, говорю:

– Но как же так, ведь это наш враг, фашист.

А она отвечает:

– Да он такой ласковый, он мне кофе в постель подавал.

Думаю, наши русские мужчины вряд ли прославятся своей элегантностью и нежностью» (19). Вот это, откровенно говоря, и вводит в ступор: миллионы убитых, в том числе женщин и детей, а тут «кофе»... Да и рассказчица, кажется, забыла, сколько грубых мужиков погибло, чтобы «элегантные» эсэсовцы в форме от Хьюго Босса не царили на нашей земле!

Разумеется, на оставшихся в оккупации смотрели косо: «В классе вновь прибывшие объявляли оставшимся при немцах бойкот... Я стала бояться людей, которые смотрели на меня с презрением и пускали вслед: “Овчарочка”, – вспоминала Л. Гурченко. – И только когда на экранах пошли фильмы и хроника, в которых были показаны ужасы, казни и расправы немцев на оккупированных территориях, эта “болезнь” постепенно стала проходить, уходить в прошлое» (20). Не прошла – пребывание в оккупации на

долгие годы Советской власти стало клеймом, особенно при выезде за границу.

Ладно, в конце концов, можно полюбить и врага. Тут мы Шекспира не превзойдем. Но ведь борьба женщин за право оставаться женщинами привела к тому, что целые поколения дам допускали мысль, что можно легко отдаться даже не за деньги (здесь можно сослаться на голод), а просто за понравившуюся вожаделенную импортную вещичку. К такому умозаклучению их подталкивало постоянно-равнодушное отношение власти к их естественному желанию быть нарядной и модной. Ю. Нагибин: «22 июля 1974 г. Танцплощадка – средоточие отдыха молодежи – была настоящим бардаком. Сюда приезжали из Москвы седовласые любители продажной любви на собственных машинах. Поскольку кругом шныряло множество комсомольских стукачей, сговор происходил молча. Приглашенную на танец слегка ошаривали рукой, и если под платьем не обнаруживалось ни лифчика, ни трусов, ее сразу вели к машине. Зеленоград вписан в девственный лес, так что далеко ехать было не надо. Всё удовольствие стоило десятку... Беда усугубляется тем, что неподалеку находится школа повышения квалификации комсостава дружественных армий. Карманы этих блистательных воинов набиты бесшовными дамскими чулками, духами и прочей парфюмерией из валютных магазинов, а перед этим не может устоять ни одно женское сердце» (21). Такие взрастят патриотов отечества!

Стеклянные бусы – в разнообразных модификациях – и доныне определяют подход некоторой части дам к их взаимоотношениям с мужчинами. Сравните рассказ Нагибина с цитируемым ранее очерком Погодина из 1920-х годов. Если ничего не меняется десятилетиями, то к системе возникают вопросы. И не только у женщин.

Но хватит об откровенных и скрытых формах проституции – этого, в конце концов, хватает и сегодня. Вернемся в двадцатые годы, когда все было впервые и вновь, а общество еще пыталось нащупать нестандартные подходы к самым интимным сторонам жизни человека вне буржуазных норм торговли телом. И эти опыты представляют существенный интерес.

Активное сексуальное просвещение (которое позже при Сталине свернули) оказывало заметное влияние на размытие ценностей патриархальной семьи. Но молодежь была в восторге. В 1924 году корреспондент «Красной газеты» рассказывает о ходе диспута «Половая жизнь молодежи»: «Толпившейся у касс массе учащихся удалось прорвать контроль и, хлынув в зал, занять там все места, облепить все коридоры и стену. В зале собрались 1500 человек, в то время как нормальная вместимость 800. Во время давки у входа перед диспутом была смята одна студентка, которая была в бессознательном состоянии отправлена домой» (22). Ну что ж, любовь требует жертв.

Иной раз борьба за новые отношения принимала просто драматический оборот. Не будем забывать, что эмансипация происходила, в том числе, и на территориях распространения ислама, а он сопротивлялся эмансипации куда более яростно. Например, в 1927 году в международный женский день участницы многолюдного женского митинга в одном из городов Средней Азии демонстративно срывали с себя паранджи и бросали их в огромный костер. Это театрализованное действие стало потрясением для верующих и повлекло трагические последствия: немало

первых представительниц движения были убиты, другие изнасилованы или избиты (23).

Наглядным примером нового подхода к взаимоотношениям полов стала нашумевшая в свое время работа «Двенадцать половых заповедей революционного пролетариата» – свод этических норм, опубликованный в брошюре «Революция и молодёжь» (издательство Коммунистического университета им. Я.М. Свердлова, 1924 год). Автор – Арон Залкинд, разработчик-теоретик новой науки – педологии, которая тогда в СССР находилась на пике своего развития. В школах шло активное внедрение практик психологического тестирования, комплектации классов, организации школьного режима и т. п. [\[198\]](#)

Что же гласили новые «заповеди»?

– «Пролетариат заменяет хаос организацией в области экономики, элементы планомерной целесообразной организации внесет он и в современный половой хаос...»

– «Основной половой приманкой должны быть основные классовые достоинства, и только на них будет в дальнейшем создаваться половой союз. Они же определяют собою и классовое понимание красоты, здоровья...»

– «...в ревности основным ее содержанием является элемент грубого собственничества: “Никому не хочу ее (его) уступить”, что уже совершенно недопустимо с пролетарски-классовой точки зрения... Но апеллируй тогда к товарищескому, классовому мнению и стойко примиришься, если оценка произошла не в твою пользу. Если же тебя заменили худшим(ей), у тебя остается право бороться за отвоевание, за возвращение ушедшего(ей) или, в случае неудачи, презирать его (ее) как человека, невыдержанного с классовой точки зрения. Но это ведь не ревность...»

- «...не лучше ли, “ускромнив”, “усерив”, “повыхолостив” разбухшую сексуальность соответствующими твердыми воздействиями (классовый противоположной насос, революционная сублимация), выжать, отсосать из него обратно ценности, похищенные им у организма, у класса? Советские условия этому как раз максимально содействуют (это точно – К.К.). Сколько острой научной, исследовательской, материалистической любознательности, не прикованной больше к одним лишь половым органам, получит тогда человек! Неужели эти радости менее радостны, чем половая радость?» (24). Ну, и тому подобное.

Погодите хохотать, пугаться и списывать все на Советскую власть. Вот и ныне Э. Лимонов взывает к своим сторонникам: «На улицы следует выходить не с плакатами «Фабрики – рабочим!» «Землю – крестьянам!», а с плакатами «Сексуальную комфортность – всем гражданам!» и «Да здравствует промискуитет!» (25).

Проблемы трансформации сексуальной энергии в революционную радикальных левых интеллигентов интересовали всегда. Например, в начале 1970-х годов в Китае вышла книга, посвященная сексуальным проблемам молодежи. И в ней, в частности, перечисляются отрицательные последствия мастурбации: бессонница, общее ослабление организма, «ослабление революционной энергии». А среди мер борьбы с мастурбацией, наряду с китайской гимнастикой и акупунктурой, видное место занимает «глубокое изучение трудов Маркса, Энгельса и Мао Цзэдуна» (26). А мы это проходили значительно раньше: *«...переключите избыток своей энергии на выполнение какого-нибудь трудового процесса. Пилите дрова, например. Теперь есть такое течение...»* – компетентно советует влюбленному Бендеру случайная попутчица.

«Остап пообещал переключиться и, хотя не представлял себе, как он заменит Зосю пилкой дров, все же почувствовал большое облегчение. Они вернулись в вагон с таинственным видом и потом несколько раз выходили в коридор пошептаться о неразделенной любви и о новых течениях в этой области...» Об одном из них – правоверно-коммунистическом – мы уже рассказали. Теперь вспомним о неформальных, то есть более жизненных.

Как раз ко времени любовных терзаний Остапа, то есть в конце 1920-х – начале 1930-х годов, вошли в моду так называемые молодежные «вечерки». Суть развлечения: собирается 15–20 парней и девушек. Девушки – с подведенными глазами, с накрашенными губками, на ногах шелковые желтые чулки, ребята – в рубашках и галстуках, брюки дудочкой. После танцев – игры с поцелуями. Парень выбирает девушку и идет с ней в темную комнату, где целует ее и тискает. Игра эта называлась «звезды считать». «Вечерки» нередко заканчивались драками и поножовщиной из-за обиды и ревности. О, вечные ошибки молодости, о, вечная весна: *«...ей так хотелось к памятнику Пушкина, где уже прогуливались молодые люди в пестренках кепках, брюках-дудочках, галстуках “собачья радость” и ботиночках “джимми”. Девушки, осыпанные лиловой пудрой, циркулировали между храмом МСПО и кооперативом “Коммунар” (между б. Филипповым и б. Елисеевым). Девушки внятно ругались».* Вот эти современники Бендера и Элочки Людоедки, совершенно очевидные предки стилига (включая брюки дудочкой). Ну, разве что фокстрот вместо рок-н-ролла.

И эксцентричные выходки золотой молодежи 1930-х ничуть не уступали по своей артистичности эпохе оранжевых галстуков. В. Бережков: «Однажды по нашей цепочке разнеслась ужасная весть: Валя Кулакова внезапно скончалась от сердечного приступа.

Нас приглашали прийти проститься. В назначенный час у подъезда собралась скорбная группа. Зязька с траурной повязкой на рукаве, стоя в дверях, просил подойти к балкону Валиной спальни.

– Такова была воля покойной, – пояснил он, едва сдерживая рыдания.

Мы послушно сгрудились на тротуаре, задрав головы. И вдруг дверь из спальни распахнулась, и на балконе появилась Валя, совершенно нагая, – только туфельки и черная шляпка с вуалью» (27). Действие происходит, заметим, не в безлюдной провинции, а в уже столичном Киеве, на балконе одного из правительственных домов.

Ну, и попутная борьба за западный стиль жизни, так блистательно спародированный в образе Элочки Людоедки. «По поводу возможного прототипа Элочки Людоедки В. Ардов сообщает (письмо к А.З. Вулису): «Элочка Людоедка написана с младшей сестры первой жены В.П. Катаева... В действительности ее звали Тамара. Эта была, как бы теперь сказали, особа “стиляжьего” плана» (28). Иначе говоря, персонаж вполне реальный. А стиль одежды часто подразумевает и внутреннее желание соответствовать высоким «мировым стандартам», где легкость половых отношений якобы признак «европейскости» и «цивилизованности». Так почему-то казалась нам из нашей берлоги.

Сексуальной революции 1920-х годов сопутствовала мировая мода первых послевоенных и послереволюционных лет, когда повсеместно в моду вошел спортивный стиль. Красота загорелого тела стремительно обнажила человеческие фигуры. Хотя и не всегда к тому приспособленные. М. Пришвин с комическим ужасом описывает распространение мини-юбок в середине 1920-х годов: «С тех пор, как мода пошла на совершенно короткие юбки, появилась на

улице постоянно преследующая меня девушка в красном платье с голыми ногами, толстыми, кривыми ногами, что не знаешь, куда глаза отвести от этого ослепляющего безобразия. Раньше я и не подозревал, что под юбками может скрываться такое множество безобразнейших ног» (29). И это задолго до повального увлечения мини-юбками в 1960-х, когда бдительная «Литературная газета» с праведным отвращением клеймила носительниц мини-юбок:

*И чтобы мода
Не позорила нас,
Надо эту импортную моду
Ликвидировать, как класс*
(30).

А мода, как видим, еще оттуда – из революционных 1920-х годов. Никакого импорта. И как же могли литературные бабушки и дедушки ругать своих внучек за то, что они одели юбки эпохи их молодости?! Наверное, могли, ибо знали финал Первой Сексуальной революции; знали в кого вырождались знойные девчонки с первых советских стометровок. Знали на собственном опыте, как миллионы женщин, увлеченных идеей кажущейся сексуальной свободы, жестоко страдались от болезней, аборт и свинского отношения мужчин.

IV

Сексуальная революция в городах при традиционном морализаторстве патриархальной деревни – вот особенность интимной жизни 1920-х годов. Раскованность «передового» человека означала открытость новым веяниям, новой культуре, просвещенности, которая исходила из пролетарского революционного города. Разумеется, и в деревне наличествовали некие элементы свободной половой жизни, благо люди с детства росли на природе и в тесном общении друг с другом, но они не носили характер обязательной доктрины, моды и публично не обсуждались.

В 1929 году в Советской Украине был проведен социологический опрос, который впервые исследовал половую жизнь наших крестьян. Это был год так называемого «Великого перелома» – последний год существования традиционного украинского села. Именно в то время коммунистическая партия взяла курс на коллективизацию. Опрос показал: 27,1 % женщин, которые вышли замуж в возрасте 15–19 лет, начали половую жизнь до брака! Среди тех, кто вышел замуж в 25–33 года, сексуальную жизнь до брака начали 42,6 % женщин (31). Вдумайтесь, почти половина! Оставалось преодолеть некоторые архаичные сдерживающие факторы, вроде религиозных.

Новые отношения между людьми в социалистическом городе подразумевали и новые обряды, взамен религиозных. Для примера приведем «красную свадьбу», что в январе 1925 года состоялась в клубе «Кожевенник». В газете «Правда» сохранилось ее описание. «Был в тот день клуб ярко освещен и украшен, – сообщала газета. – С пяти часов начал к

нему стекаться народ. Набилось битком. В зале большой стол накрыт красной скатертью. За столом молодые, председатель исполкома, делопроизводитель отдела загса, по бокам – члены ячейки. На скамейках – родные, знакомые молодых с красными бантами. Над столом, против публики – портрет Ильича. Председатель объявляет свадьбу открытой. Звучит “Интернационал”. Представители разных организаций приветствуют брачующихся, жениху и невесте преподносят две книги: “Историю РКП(б)” Зиновьева и “Речи и статьи” Ленина. Жених в ответном слове благодарит за подарок и говорит о борьбе с пережитками прошлого, поповском дурмане и пр. После него следует доклад о новом быте с цифрами и цитатами вождей, а затем делопроизводитель загса делает соответствующую запись в специальной книге. Вступающие в брак подписывают бумагу: “При чем совокупляем, что мы осведомили друг друга о состоянии нашего здоровья и в частности относительно туберкулезных и венерических болезней”. После этого снова крики, шум, речи и апофеоз торжества – “Интернационал”». А на фабрике «Освобожденный труд» новобрачным на такой же «красной свадьбе» были подарены от женотдела одеяло, от заводоуправления – отрез сукна и от политкомиссии – три книжки: «Азбука революции», «Дочь революции» и «Вопросы быта» (32).

Впрочем, несмотря на все ухищрения, брак был и остается лотереей: «Удачно жениться, это все равно, что засунуть руку в мешок с гадюками и вытащить ужа» (почти народная мудрость). И средняя продолжительность брака в 1927 году насчитывала всего 8 месяцев (33). Ясное дело, что понятие «супружеской верности» тоже легко модернизировалось от свободного выбора свободных людей до свободных отношений в свободную минутку. Популярны куплеты того времени:

*«Мальчики и дамочки едут на курорт,
А с курорта возвращаясь, делают аборт».*

И. Ильф цитирует меткое замечание случайного попутчика об отдыхе в Крыму: «Как Байдарские ворота^[199] – так нет больше женатых и нет замужних. Тут у нас летом каждый кустик дышит» (34).

Супротив стереотипов – при Советской власти секс был, и еще какой!

Понятно, что дело касалось не только Крыма, но и кавказских курортов, и крупных приморских городов, вроде родного города соавторов – Одессы, то бишь Черноморска: «Молодые люди с носовыми платками на мокрых после купанья волосах дерзко заглядывали в глаза женщинам и отпускали любезности, полный набор которых имелся у каждого черноморца в возрасте до двадцати пяти лет. Если шли две дачницы, молодые черноморцы говорили им вслед: “Ах, какая хорошенькая та, которая с краю!” При этом они от души хохотали. Их смешило, что дачницы никак не смогут определить, к которой из них относится комплимент. Если же навстречу попадалась одна дачница, то остряки останавливались, якобы пораженные громом, и долго чмокали губами, изображая любовное томление».

В 1920-е годы на пляжах было распространено обыкновение купаться обнаженными, и если в городах все же выделялись отдельные зоны, женские и мужские, то в деревнях и того не имелось. Немногочисленные носители купального костюма из молодежи вызывали осуждающие взгляды деревенских реакционеров. Правда, и обыкновения разглядывать друг друга не было. В отличие от того же движения «Долой стыд», массовый нудизм на советских пляжах был непринужденным и не содержал идеологического вызова. Такая ситуация продержалась до начала 1930-х

годов, что также нашло отражение в «Золотом теленке»: «...под ними (полотенцами – К.К.) прятались девушки в купальных юбочках. Мужчины тоже были в костюмах, но не все. Некоторые из них ограничивались только фиговыми листиками, да и те прикрывали отнюдь не библейские места, а носы черноморских джентльменов. Делалось это для того, чтобы с носов не слезала кожа».

«Любовь правит жизнью», «Любовь изобретательна», «Любовь слепа», «Любовь актрисы», «Любовь индуски», «Любовь – мистерия», «Любовь подростка», «Любовь бандита», «Кровавая любовь», «Любовь на перекрестке», «Любовь и золото»; «Любовь запросто», «Любовь палача», «Любовь играет», «Любовь Распутина» и вдобавок «Любовь Жанны Ней».

Разгул любви приводил к экспериментам в области семейного сожителства, например, любви втроем. Классическим сюжетом является в этом отношении семья Бриков и их взаимоотношения с Маяковским. Собственно, Брики были в разводе, но Лиля продолжала боготворить своего бывшего мужа Осипа, а Лилю, в свою очередь, любил Маяковский^[200]. «Нужна такая умная женщина как Лиля, – рассказал по случаю классик советской поэзии Н. Тихонов. – Я помню, как Маяковский, только что вернувшийся из Америки, стал читать ей свои какие-то стихи, и вдруг она пошла их критиковать строку за строкой – так умно, так тонко и язвительно, что он заплакал, бросил стихи и уехал на 3 недели в Ленинград» (35).

Как явствует из текста «12 стульев», незабвенный поэт Ляпис-Трубецкой сотворил поэму «О хлебе, качестве продукции и любимой». Поэма посвящалась загадочной Хине Члек:

– Вчера я вернулся ночью домой...

– От Хины Члек? – закричали присутствующие в один голос.

– Хина!.. С Хиной я сколько времени уже не живу.

Современники небезосновательно усматривали здесь намек на Лилию Брик, а само название стихотворения перекликалось со многими произведениями Маяковского, например, «Стихотворение о Мясницкой, о бабе и о всероссийском масштабе». «Про Феклу, Акулину, корову и бога», «О “фиасках”, “апогеях” и других неведомых вещах».

В чем же секрет обаяния Лили Брик, которую любили такие разные мужчины, как поэт В. Маяковский, военачальник В. Примаков, литературовед В. Катанян? Он прост. Сама Л. Брик разъясняла непонятливым: «Надо внушить мужчине, что он замечательный или даже гениальный, но что другие этого не понимают. И разрешать то, что ему не разрешают делать дома. Например, курить или ездить, куда вздумается. Ну, а остальное сделают хорошая обувь и шелковое десу» (36). «Десу», кто не знает, красивое нижнее белье.

Ну, а последствия любовных утех? Они тоже не заставили себя долго ждать. В 1920 году Россия стала первой страной в мире, которая легализовала аборты. К концу десятилетия это стало одним из важных факторов снижения рождаемости: в 1934 году в Москве на 100 родов приходился 271 аборт, и эта цифра продолжала расти (37). Указ 1936 года о запрещении абортов несколько поправил дело, но к прежнему репродуктивному поведению население уже не вернулось. Старались и иными способами укреплять традиционную семью, регулируя идеологическое давление и устраняя левацкие перегибы в вопросах брака и семьи. Так, в 1935 году в «Комсомольской правде» появилась знаковая статья, в которой детей призывали любить своих родителей, даже если они верующие и не одобряют комсомол. Но меры явно

недостаточные и запоздалые. Многодетная крестьянская семья неуклонно стала отходить в прошлое.

Взамен появилась семья советская, с новыми передовыми взглядами на взаимоотношения полов и воспитание детей, кроме того, часто многонациональная. Цитата из крайне популярного в те годы фильма «Цирк», сценарий которого написали Ильф, Петров и Катаев. «У нас, – говорил в фильме директор цирка, которого играл артист В. Володин, – можете рожать детей хоть беленьких, хоть черненьких, хоть красненьких, хоть серых в яблочко, хоть розовеньких в полосочку»^[201]. Смешанные браки стали характерной особенностью нового строя, отрицавшего национальную исключительность. Тогда ни в Америке, ни в Германии подобное никому не могло прийти в голову. И – как ни удивительно для критиков советского строя – что касательно прав женщин, возможностей их профессиональной реализации и выбора партнера в жизни, ситуация в СССР во многом была значительно лучше, нежели за границей.

На фоне сексуально-культурной революции, любовные страсти бушевали нешуточные – общество находилось в состоянии взрыва, цивилизационной перестройки, а элиту общества составляли полные человеческих страстей и природного темперамента довольно молодые люди. Прибавьте к этому общую эротизацию мышления городского жителя. Как результат – различные любовные эксцессы: от самоубийств до оргий. «Мне довелось видеть донесение такого рода, относившееся к Куйбышеву, который занимал должность заместителя председателя Совнаркома. Как-то он “похитил” с банкета жену председателя правления Госбанка и скрывался в её обществе три дня подряд, так что пришлось отменить

все заседания Совнаркома, назначенные на эти дни. Другое донесение относилось к 1932 году и было связано с похождениями члена Политбюро Рудзутака. На одном из приёмов тот усиленно угощал спиртным тринадцатилетнюю дочь второго секретаря Московского комитета партии и затем изнасиловал её. Ещё одно донесение, относящееся к тому же Рудзутaku: в 1927 году, прибыв в Париж, он пригласил группу сотрудников советского полпредства с жёнами пройтись по сомнительным заведениям и там раздавал проституткам чаевые крупными купюрами», – так описывает нравы эпохи один из ветеранов НКВД (38). Я. Рудзук, как мы помним, тоже одна из «невинных жертв» сталинских репрессий.

Находились наблюдатели и за наблюдающими: «Мне как-то рассказывал писатель Лев Никулин, часто бывавший в этом доме (у Горького – К.К.), что однажды, проходя через одну из комнат, он наткнулся на жестокого главу ГПУ-НКВД Генриха Ягоду, который, поникнув головой, горько плакал. Оторопев от страха, Никулин на цыпочках вышел из комнаты. Ни для кого не было тогда секретом, что грозный Ягода страстно влюблен в жену Максима Пешкова...» (Б. Ефимов) (39). В легенду вошли любовные приключения С. Кирова, А. Енукидзе, Л. Берии.

А там, где веселится «элита», там есть еще один грешок, о котором не принято говорить вслух: *«...надо вам заметить, что гомосексуализм изжит в нашей стране хоть и окончательно, но не целиком. Вернее, целиком, но не полностью. А вернее даже так: целиком и полностью, но не окончательно. У публики ведь что сейчас на уме? Один гомосексуализм»*, – излагает В. Ерофеев, если запомнили. Недаром лучшая подруга знатока модных трендов Элочки Людоедки – Фима Собак – слыла культурной девушкой, поскольку имела в своем арсенале богатое слово «гомосексуализм».

Поговорим и об этом признаке современной демократии.

Признаваться в однополой любви в кругу стальных большевиков, разумеется, было неприлично. Но размножаются же они не почкованием! Кроме узких зашпигованных кружков, гомосексуалисты той непростой эпохи исхитрялись находить себе партнеров даже в переполненных трамваях. Используя давку, они водили руками, как бы ища опору, и если находили ее в чужих брюках и не встречали сопротивления, тогда уже знакомились. Имелись в арсенале сексуальные развлечения и градусом повыше, вплоть до садомазохизма. Когда органы ГПУ обнаружили такой садомазохистский притон и начался шумный судебный процесс, адвокат обвиняемых Рындзюнский в своей пламенной речи, в частности, сказал: «В этом котле изуверства и садизма варилась та часть интеллигенции, которая не захотела и не сумела сродниться с Великой Революцией. Причину всех этих половых аномалий, этого полового азарта надо искать в той неудовлетворенности, которая испытывает эта часть интеллигенции, не находящая выхода своей энергии в производительном труде на пользу Революции» (41). А что делать, если «эстетов» из дореволюционных классов революция предпочитала игнорировать?

Постоянным посетителем упомянутого притона числился журналист и писатель Иосиф Львович Оршер, известный в то время под псевдонимом Д'Ор. Как литератор он упоминается в дневниках К. Чуковского. В этом громком скандале также оказалась замешана массажистка Адель Тростянская – содержательница одного из притонов и жена Дмитрия Голубинского, актера БДТ. Тот после скандала был вынужден уехать на Украину, где стал народным артистом республики, играл в фильме А. Довженко «Иван», стал лауреатом Государственной премии СССР.

Впрочем, когда начались настоящие репрессии, не поздоровилось всем скопом. Е. Булгакова: «Тут же кто-то рассказал, что Эрдмана высылают в Енисейск на три года. Кроме того, педераста Алексеева (конферансье) – на 10 лет» (42). Все смешалось – кони, люди... Но гомосексуалистам приходилось, ясно, еще хуже. Народное сознание этой городской блажи категорически не принимало. Что всегда учитывали в своей работе органы, либо обещая кого-нибудь «опустить» на зоне, либо обнародовать факт уже состоявшегося греха. Помнится еще, стараясь скомпрометировать составителей альманаха «Метрóполь», КГБ распускал слухи, что писатели В. Аксенов с В. Ерофеевым (Виктором, не Венедиктом) – это гомосексуалисты, решившие создать «Метрóполь», чтобы испытать силу своей мужской дружбы.

Ну, что ж – раньше это была злобная клевета, а теперь мода...

Послевоенный премьер-министр Румынии Петру Гроза после переговоров со Сталиным обедал с нашим руководителем. Хорошо выпив и закусив, что, прямо скажем, он весьма любил, Гроза непринужденно сказал: «Вы знаете, я очень люблю женщин». «А я очень люблю коммунистов», – мгновенно среагировал Сталин (43). Только не подумайте, что вождь говорил о любви к мужчинам, а то его в либералы запишут! Вождь был нормальным мужчиной. Доподлинно известно, что после смерти жены рядом со Сталиным много лет была официантка Валентина Истомина. Ни для кого из окружения вождя не было секретом то обстоятельство, что Валечка и одинокий Иосиф Виссарионович находятся в долгой, стабильной интимной связи.

Одновременно И. Сталин внимательно следил за частной жизнью своих подчиненных, порою вмешивался, давая отеческие советы, которым трудно не последовать, хотя, случалось, относился и с юмором к шалостям подчиненных. В. Бережков: «Рассказывали, что однажды начальник политуправления Красной Армии Мехлис пожаловался Верховному главнокомандующему, что один из маршалов каждую неделю меняет фронтовую жену. Мехлис спросил, что будем делать? Сталин с суровым видом ничего не отвечал. Мехлис, полагая, что он обдумывает строгое наказание, начал было сожалеть о своем доносе (ну, это уж вряд ли – К.К.). Но тут Верховный с лукавой усмешкой прервал молчание: «Завидовать будем...» (44)

Его чувство юмора заканчивалось – как и у многих из нас – когда речь заходила о детях. Особенно, о дочке, рыжеволосой Светлане Сталиной. Куплетист И. Высоцкий еще в 1920-е годы пел в московских пивных:

«Люблю я женщин рыжих, коварных, бесстыжих... Эх, рыжая бабенка игривее котенка!» (45) Дочка Сталина была рыжей; может, поэтому и проявила свой недюжинный темперамент – и в многочисленных браках, и бурных романах, и даже в некоем подобии политической деятельности. *«Эта женщина, эта рыжая стервоза – не женщина, а волхвование! Вы спросите: да где ты, Веничка, ее откопал, и откуда она взялась, эта рыжая сука? И может ли в Петушках быть что-нибудь путное? «Может!» – говорю я вам, и говорю так громко, что вздрагивают и Москва, и Петушки. В Москве – нет, в Москве не может быть, а в Петушках – может!»*

А началось все с подростковой любви малолетней Светланы Сталиной к сценаристу Алексею Каплеру. Помните – у Высоцкого: «И пострадавший от Сталина Каплер...» Хрестоматийный пример трогательной любви, растоптанной грубым сапогом сатрапа! Иллюстрация людоедства тирана по отношению даже к собственным детям. Но так ли это? Приведем мнение знакомого С. Аллилуевой и известного писателя – В. Кожинова: «Он (Каплер – К.К.) стал показывать шестнадцатилетней школьнице Светлане заграничные фильмы с “эротическим” уклоном (кстати, на спецпросмотрах для двоих...), вручил ей машинописный текст перевода хэмингуэевского романа “По ком звонит колокол” (где десятки страниц занимает впечатляющее изображение “любви” в американском значении этого слова) и другие “взрослые” книги о любви, танцевал с ней игривые фокстроты, сочинял и даже публиковал в газете “Правда” любовные письма к ней и, наконец, приступил к поцелуям (все это подробно описано в воспоминаниях С.И. Сталиной)... Словом, едва ли есть основания усматривать в описанном поведении “Люси” (дружеское прозвище Каплера – К.К.) выражение роковой страсти, и трудно усомниться в том, что на деле “Люсей” была предпринята попытка “завоевания”

дочери великого вождя... Попытка “совращения” многоопытным мужчиной несовершеннолетней школьницы сама по себе являлась предусмотренным уголовным кодексом деянием, но Сталин, конечно же, никак не мог допустить официального расследования “дела”, касающегося его дочери. И Каплеру, постоянно общавшемуся с иностранцами, НКВД предъявило 2 марта 1943 года стандартное обвинение в “шпионаже”. Однако “наказание” было прямо-таки до изумления мягким: “Люсю” отправили заведовать литературной частью Воркутинского драматического театра (помимо этого – или даже позже – он работал фотографом)! Правда, через пять лет, в 1948 году, за самовольный приезд в Москву его осудили на пятилетнее заключение, но едва ли Сталин диктовал это новое наказание: оно было обычным в те годы за дерзкое нарушение режима ссыльного... Впрочем, суть дела в другом. Не будет преувеличением утверждать, что почти каждый (или уж, по крайней мере, подавляющее большинство) человек с *“кавказским менталитетом”*, оказавшись он на месте Сталина, то есть в ситуации “совращения” дочери-школьницы сорокалетним мужчиной и при наличии безграничной власти, поступил бы гораздо более жестоко!» (46) Пожалуй, с Кожинным можно согласиться.

Сам же А. Каплер о С. Сталиной (Аллилуевой) отзывался крайне резко, особенно после того, как она описала их роман в книге своих воспоминаний «20 писем к другу»: «Каплер и Друнина^[202] подсели ко мне, а к ним подсела их знакомая, неизвестная мне прежде женщина, ярко-восточного типа, полуседа, с летящей прической.

– Ты слушаешь «Свободу»? – спросила она Каплера и улыбнулась, покачивая в руке небольшие часики на длинной цепочке. – Тебя не забыла.

– Ах, она подонок! Мещанка! Не хочу я слушать! Все, что услышу, – ложь!

Он волновался, был красен, щеки тряслись. Юлия молчала так, словно ее это не касалось, но какая-то тень была на ее лице.

Каплеры быстро допили кофе и ушли. А я подумала: «Зачем он так? Даже если Светлана в чем-то перед ним виновата, зачем? И почему волнуется?» (47).

Истории даже самой романтической любви не всегда заканчиваются красиво.

VI

Вполне поверю в искренность любовных переживаний советской элиты, не слишком обремененной бытовыми проблемами, но вот людям попроще в условиях хронического жилищного кризиса приходилось сражаться не только с традиционными недругами любви (вроде ревности, измены или охлаждения чувств), но и жилищными условиями. Недаром классики уделяли этому вопросу столько внимания, и здесь внимание нужно обращать на детали. Скажем, сцена в общежитии им. монаха Бертольда Шварца, где описывается сомнительная звукоизоляция конуры, в которой поселились молодожены:

- Они нарочно заводят примус, чтобы не было слышно, как они целуются. Но, вы поймите, это же глупо. Мы все слышим...

За стеной слышалось адское пение примуса и звуки поцелуев.

Что за «звуки поцелуев» такие? Скорее всего, это эвфемизм занятий любовью. Но суть в чудовищной скученности народонаселения одна – все слышат, видят, а порою и участвуют. Можно только догадываться, сколько супружеских измен, внебрачных детей и семейных драм подарили миру социализма тесные коммуналки. В одну из таких коммуналок влетает увлеченный погоней Иван Бездомный:

«На Ивана пахнуло влажным, теплом и, при свете углей, тлеющих в колонке, он разглядел большие корыта, висящие на стене, и ванну, всю в черных страшных пятнах от сбитой эмали. Так вот, в этой ванне стояла голая гражданка, вся в мыле и с мочалкой в руках. Она близоруко прищурилась на ворвавшегося

Ивана и, очевидно, обознавшись в адском освещении, сказала тихо и весело:

- Кирюшка! Бросьте трепаться! Что вы, с ума сошли?.. Федор Иванович сейчас вернется. Вон отсюда сейчас же! - и махнула на Ивана мочалкой.

Недоразумение было налицо, и повинен в нем был, конечно, Иван Николаевич. Но признаться в этом он не пожелал и, воскликнув укоризненно: "Ах, развратница!.."»

Собственно, одним из парадоксов Маргариты является то, что, будучи женщиной состоятельной, проживающей в роскошной квартире, супруге красивого, доброго и обожающего ее крупного специалиста, она со скуки выходит на поиски приключений, встречает своего «мастера» и становится его любовницей

«Боги, боги мои! Что же нужно было этой женщине?! Что нужно было этой женщине, в глазах которой всегда горел какой-то непонятный огонечек, что нужно было этой чуть косящей на один глаз ведьме?» - восклицает автор. В полной мере жертвенность влюбленной женщины понятна только советскому читателю, для которого то, от чего легко отреклась Маргарита, часто было пределом мечтаний. Хотя реальная Маргарита, она же Елена Сергеевна Булгакова, уйдя от мужа из его особняка, жилищным вопросом всё же озаботилась, и реальный Мастер в подвале долго не прозябал: «С М.А. и Сережкой на новой стройке в Нащокинском. Авось, в январе переедем», - педантично отмечает супруга писателя в своем дневнике (48).

Квартирный вопрос был не последним фактором и в настойчивых попытках Лоханкина вернуть свою Варвару - где же ему было жить после пожара в Вороньей Слободке. Плюс обычное занудство, разумеется.

- Варвара, - тянул он, - слушай, Варвара!

- Чего тебе, горе мое? – спросила Птибурдукова, не оборачиваясь.

- Я обладать хочу тобой, Варвара!..

- Нет, каков мерзавец! – заметил Птибурдуков, тоже не оборачиваясь.

Все-таки богатый, узнаваемый для интеллигенции получился у соавторов образ Лоханкина. Можно проиллюстрировать историей любви Льва Гумилева к Наталье Варбанец в первые послевоенные войны. Но Наталью уже любил ее начальник по отделу, который и увез девушку в провинцию, подальше от опасного воздыхателя. Лев Николаевич смирился с поражением на любовном фронте и даже острил, называя счастливого соперника Птибурдуковым (49). Однако, со временем и на затюканных Лоханкиных обозначился серьезный спрос.

Колоссальные потери мужского населения в СССР – в результате принудительной коллективизации, репрессий и страшной войны – надолго определили численный перевес женщин и, следовательно, нехватку мужчин. Тот же Гумилев, будучи в ссылке, в сезон 1944 года в бассейне реки Нижней Тунгуски участвовал в экспедиции, которая обнаружила крупное месторождение железной руды, и Льва Николаевича наградили недельной поездкой в Туруханск. Награда немалая! Для бывших зеков это было что-то вроде восточной сказки – там почти не проживало мужчин.

Женщины стали единственной полноценной наградой вернувшимся с войны мужчинам. Женщин хватало на всех, желания любить и быть любимой – тоже. Ю. Нагибин приводит послевоенную уличную сценку – грустную, пронзительную, исполненную человеческого одиночества: «31 октября 1951 г. Вечером около забегаловки, куда я попал по милости своего безволия, пьяненькая, маленькая, не старая бабенка говорила, дожевывая кусок вареной колбасы:

– Я пьяная! Так ведь у меня выходной. Я, думаете, плохая? Нет, я хороший, рабочий человек. – И помолчав. – Пойдемте ко мне.

Сказалось это не из похабства, а из простого, искреннего желания и веры, что сегодня всё будет у нее хорошо. Она совсем не была противна, хоть и убогая, жалкая. И я ее так хорошо понимал: выпила, разогрела сердчишко. Я бы пошел с ней, если бы не трусость» (50).

Правительство, как могло, пыталось унять новую волну излишней раскрепощенности, что наряду с политическим вольнодумством и экономическими трудностями, расшатывало пуританскую основу сталинского режима. Д. Стейнбек: «Советскую молодежь захлестнула волна нравственности... Приличные девушки не ходят в ночные клубы. Приличные девушки не курят. Приличные девушки не красят губы и ногти. Приличные девушки одеваются консервативно. Приличные девушки не пьют. И еще приличные девушки очень осмотрительно ведут себя с парнями» (51). Нужно напомнить, что и общеобразовательные школы до 1954 года были отдельными, так сказать, разнородными – мужскими и женскими, что также, по мысли руководства, укрепляло нравственность народа. «У Суит Ланы (Светланы, переводчицы Стейнбека – К.К.) были такие высокие моральные принципы, что мы, в общем, никогда не считавшие себя аморальными, на ее фоне стали казаться себе весьма малопристойными... Такими взглядами отличались все молодые люди, с которыми мы встречались» (52).

Развод насильственно превращался в публичную процедуру, с извещением в газете, чужая нравственность – предметом судебного осуждения. Л. Гурченко: «...Тете Вале дали комнату в подвале на другом конце города. Постепенно мы ее потеряли из

виду. Как-то после войны она появилась у нас и попросила маму быть свидетелем на суде. На нее подала в суд соседка за то, что к тете Вале ходит мужчина, а она, тетя Валя, не замужем. А как это так? Соседка этого не потерпит! У нее семья, муж...» (53)

После смерти Сталина, поддерживавшего хоть ханжескую, но видимость приличий, плотина рухнула. С одной стороны, продвинутая молодежь, жаждавшая воскресить пафос любовно-революционной романтики (и одновременно приблизиться к западному пониманию сексуальной свободы), с другой – поколение старших, опытных товарищей, взращенных эпохой репрессий и суровой войной, не верящих ни в черта, ни в бога, ни в коммунистическую нравственность. И снова две морали – одна для основной массы народа, другая – для элиты, для избранных, для столицы. Вспомнить, к примеру, нашумевшее дело «Еголина-Александрова». Поясню: А. Еголин – литературовед, член партии с 1925 года, член-корреспондент АН СССР (с 1946 года), в 1955 году вместе со своим другом философом, министром культуры, академиком Г. Александровым были уличены в посещении публичного дома, организованного на даче под Москвой.

Александрова и его дружков вызвали на заседание бюро Московского горкома, куда приехал сам Хрущев; долго кричал на провинившихся, а потом спросил Александра Еголина: «Ну, Александров-то мужик молодой, я понимаю. А ты-то в твои годы, зачем туда полез?» На что перепуганный членкор ответил: «Так я ничего, я только гладил...» С тех пор Александрова и его команду уже никто иначе как «гладиаторами» не называл (54).

Хотя знатоки политических интриг видели в произошедшем и тайный подтекст. Дескать, товарищи по Президиуму ЦК сняли Г. Маленкова с поста председателя Совета министров СССР и теперь

вычищают его выдвиженцев. Но ведь факт существования публичного дома для высокопоставленных партийцев никто не отрицает!

А где разврат, там снова водка. Один из любимых писателей советской интеллигенции Ю. Нагибин меланхолично замечает в своих дневниках: «Однообразен ключ последних лет моей жизни: водка и бабы. “Выпил пол-литра... бабу”, – и так изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Вот к чему свелась жизнь – дар и тайна Божья» (55). Его женой была знаменитая поэтесса-«шестидесятница» Б. Ахмадулина, которую он в дневниках называл порочной, пьяной, полубезумной Геллой, с намеком на булгаковскую ведьму. И развлечения соответствующие, с чувством описанные в воспоминаниях В. Аксенова (под «Нэллой» выведена Ахмадулина, «Марк Аврелов» – Нагибин). Итак, Аврелов возвращается домой и застаёт следующую сцену: «При полном освещении на супружеской кровати, словно последние беженки Содома в живописных позах возлежали три женских тела... Перед ним лежали во всем бесстыдстве три трудноотразимых: Татьяна, Екатерина и родная супруга Нэлла, с которой ещё совсем недавно, в начале родства, по ночам на даче они танцевали вальсы; так чисто, так невинно!.. Взревев, он понесся по спальне, с грохотом отбрасывая предметы мебели и с треском распахивая окна... Нэлка, засранка, зассыха, чесотка, развратом своим и лесбиянством ты осквернила свой великий талант кристальной чистоты! Вон из моего дома!.. Все – вон! Танька и Катька, убирайтесь вместе с Нэлкой! Навсегда! Пусть ваши мужья и хахали ищут вас в кругах Дантова ада! Нэлка, я разрываю наш брак!» (56) Добавлю, что одной из подружек, с которой писатель застал поэтессу в постели, была Галина Сокол, которая стала очередной женой Е. Евтушенко. Вот таких людей и боготворила советская интеллигенция.

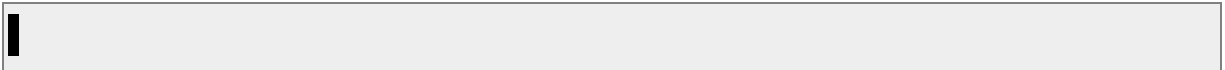
- Когда Белла вышла замуж за Мессерера, - рассказывает Алла Нагибина, шестая жена писателя, - она переехала к нему без детей, Аня и Лиза остались жить вместе с домработницей и ее матерью в той квартире, которую купил Юра... С домработницей мы встречались иногда. Она мне рассказывала: «Мы так плохо живем, на полу спим, ничего у нас нет». В общем, Белла о детях забыла...» (57)

Б. Ахмадуллиной, этой иконе шестидесятничества, принадлежит дивный афоризм. Рассказывали, как в компании писателей завели разговор о запоях В. Максимова, редактора парижского журнала «Континент», на что присутствующая при этом Б. Ахмадулина заметила: «Фи, запои... Пить надо каждый день» (58). Не отсюда ли образ советской Афродиты по В. Ерофееву: «А она взяла - и выпила еще сто грамм. Стоя выпила, откинув голову, как пианистка. А выпив, все из себя выдохнула, все, что в ней было святого - все выдохнула... Вы, конечно, спросите, вы бессовестные, спросите: “так что же, Веничка? Она.....?” Ну, что вам ответить? “Ну, конечно, она.....!” А она смеялась. А она - подошла к столу и выпила залпом еще сто пятьдесят, ибо она была совершенна, а совершенству нет предела...»

Нет других таких на прочих странах и континентах. За что и любим.

Глава 12

Свобода на баррикадах



«Свобода на баррикадах» – таково общепринятое в нашей стране название картины французского художника Э. Делакруа, на которой изображена полуобнаженная женщина со знаменем во главе повстанцев. Причем, согласно замыслу художника, обнаженная грудь дамы символизирует самоотверженность французских граждан, которые с «голой грудью» шли на врага. Замечательный образ стремления защищать свое право голой грудью (вплоть до вооруженного восстания) был в свое время даже запечатлен на стофранковой купюре. На самом деле устоявшееся название полотна перевернуто, ее истинное название – «Свобода, ведущая народ». Вроде мелочь, а показательная – не «баррикады» главное в картине. Мы же всё воспринимаем буквально – и этот посыл, и многие другие понятия, привнесенные из Западной Европы, такие как «демократия» или «революция».

Однако существенное различие состоит в том, что отечественная интеллигенция, слепо перенося понятия, так и не стала энергичной кастой интеллектуалов, служителей государства и права. Обнаружилось, что власть в России совершенно иная, нежели на Западе – оказалось, «тираническая» власть. А потом выяснилось, что и народ в Отечестве «не тот», что в Германии или Голландии. Отсюда разочарованное презрение отечественной интеллигенции к своему народу, непреодолимые гнев, страх и ненависть к любой российской власти. Ф. Достоевский в «Дневнике писателя за 1873 год» писал: «К русскому народу они питали лишь одно презрение, воображая и веруя в то же время, что любят его и желают ему всего лучшего. Они любили его отрицательно, воображая вместо него

какой-то идеальный народ, – каким бы должен быть, по их понятиям, русский народ. Этот идеальный народ невольно воплощался тогда у иных передовых представителей большинства в парижскую чернь девяносто третьего года. Тогда это был самый пленительный идеал народа» (1).

Интеллигенция постоянно подзуживала низшие классы к революции, но, если народ вырывался из клетки по-настоящему, интеллигенция впадала в панику и бежала за защитой от острых вил к той самой презираемой, но крепкой власти. Показателен случай, когда во время первой русской революции крестьяне-соседи великого гуманиста Л. Толстого сделали порубку в его лесу и после этого по просьбе владельцев Ясной Поляны были вызваны казаки. Сам Толстой объяснял конфуз тем, что «это не мое дело, я в хозяйство не вмешиваюсь; там есть свои хозяева, моя семья и управляющие; они признали нужным позвать казаков – ну, пусть, это и будет их дело. Я никому насильно не навязываю своих мнений и желаний» (2). Итак, Лев Толстой, непротивление злу, Ясная Поляна и... вдруг казаки.

Царя свергли не маргиналы-большевики, а вполне признанная «интеллектуальная элита» общества – от кадетов до членов императорской фамилии, при одобрении Святейшего Синода Русской Православной церкви и Объединенного комитета дворянских собраний. П. Струве, «Интеллигенция и революция»: «Никогда никто еще с таким бездонным легкомыслием не призывал к величайшим политическим переменам, как наши революционные партии и организации в дни свободы» (3). Ему вторит современный православный публицист М. Антонов: «Либерально-интеллигентские круги, образовавшие Временное правительство, не знали и не понимали своего народа... Эти либеральные болтуны намеревались перестроить Россию на

западный образец, что в условиях того времени неминуемо означало превращение ее в полную колонию Запада» (4).

Неспособность к конструктивному, обдуманному действию – главная особенность отечественной интеллигенции. Сладкое слово «свобода», которым бредили несколько поколений российских интеллектуалов, оказалось погребушкой, размахивание которой привело к смерти миллионов людей. Соответственно, разочарование – как в содеянном, так и в новых порядках – доминирует в настроениях русской интеллигенции сразу после революции. Показательно стихотворение анонимного автора, отразившее отрезвление старой интеллигенции, которое ходило по рукам в середине двадцатых годов:

*Кто кричал «Вся власть Советам!»,
Кто стрелял по юнкерам,
Кто по Зимнему при этом
Приказал бить крейсерам?
Кто старался в ряд три года
Коммунистов защитить?
Кто считал, что всем свобода —
Лишь отнять да разделить?
Значит, ты теперь не кайся,
Кто виновник – понимай.
Знай живи да улыбайся,
Вечно руки поднимай.
Кто сумел создать Советы,
Тот колхознику сродни,
Поищи его в себе ты,
Что посеял, то и жни! (5)*

Кое-кто осмеливался фрондировать
демонстративно, например, знаменитый физиолог

академик И. Павлов. Он до конца жизни оставался атеистом, однако при Советской власти вдруг начал демонстративно креститься, проходя мимо православных храмов, и даже носить царский мундир. Тем же, кто публично поддерживал власть, от «свободомыслящих» на орехи доставалось особо. Ю. Тынянов в эпиграмме на В. Маяковского, написанную по следам поэмы «Хорошо!», ядовито заметил:

*Прославил Пушкин в оде «Вольность»,
И Гоголь напечатал «Нос»,
Тургенев написал «Довольно»,
А Маяковский «Хорошо-с» (6).*

Слышите это лакейское «хорошо-с»?

Поначалу все они были смелыми – как и вечно недовольными. Французский журналист свидетельствует: «Большинство питает к режиму глухую ненависть, вызванную не столько материальными лишениями, сколько моральной атмосферой, созданной в государстве. Слова: комячейка, завком, домком, ГПУ – звучат для них кошмаром...» (7)

Остро критически относился к новой действительности и молодой сын профессора богословия М. Булгаков. «20-21 декабря (1924). Все съела советская канцелярская, адова пасть. Каждый шаг, каждое движение советского гражданина – это пытка, отнимающая часы, дни, а иногда и месяцы», – писал он в своем дневнике, который при обыске изъяли органы ГПУ (8). Там же – в дневниках: «Новый анекдот: будто по-китайски “еврей” – “там”. Там-там-там-там (на мотив “Интернационала”) означает “много евреев”» [\[203\]](#) (9). Это не было проявлением антисемитизма, но живой реакцией на резко изменившиеся условия жизни и

вполне понятное раздражение от обилия незваных гостей. Его друг (и еврей по национальности) Илья Ильф говорил:

– Что вы хотите от Миши? Он только-только, скрепя сердце, признал отмену крепостного права. А вам надо сделать из него строителя нового общества! (10)

Народ, пошедший на поводу не у либералов западного образца, а у крайне левых радикалов (большевиков), сделал свой решающий выбор. И этот выбор лишил многих представителей старой интеллигенции привычных предпочтений, что вызывало их вполне понятное раздражение. В отличие от Ильфа, Булгаков, происходивший из состоятельной и уважаемой семьи, ничего не приобрел в 1917 году, а только потерял. В этом секрет и вдохновения автора «Белой Гвардии» («Дней Турбиных»), и его ошеломляющего успеха у интеллигентной публики в конце 1920-х годов. В дневнике писателя Ю. Слезкина 27 февраля 1932 года находим воспоминание об успехе постановки: «Присутствовавшие на первом после возобновления спектакле “Дни Турбиных” рассказывают, что после окончания спектакля занавес поднимался пятнадцать раз, так несмолкаемы были аплодисменты и вызовы автора. Булгаков благоразумно не выходил. Такой триумф не упомянут в Художественном театре со времен Чехова» (12).

Булгаков стал первым из советских драматургов, пьесу которого поставили на МХАТовской сцене. В мгновение ока почти диссидент Булгаков оказался в первом ряду советской литературной элиты и этим статусом весьма дорожил: в полунищей стране внимание самого вождя, отдельная квартира и гарантированный прожиточный минимум дорогого стоил. Е. Булгакова записывает интересный диалог между Булгаковым и его гостем: «За ужином Николай Васильевич с громадным темпераментом стал

доказывать, что именно М.А. должен бороться за чистоту театральных принципов и за художественное лицо МХАТа.

– Ведь вы же привыкли голодать, чего вам бояться! – вопил он иступленно.

– Я, конечно, привык голодать, но не особенно люблю это. Так что уж вы сами боритесь» (13).

Такая метаморфоза типична. Отстраненная и осторожная позиция характерна для любого зрелого писателя, на практике познавшего прелести советского сыска и скорректировавшего свою позицию – от острого неприятия до видимого смирения перед новым строем. Противостояние с государством ушло в область элитарного искусства, философских осмыслений и кухонных бесед. Более того, грубое давление тоталитарной системы вызывало продуктивную энергию внутреннего сопротивления, которой не хватало подчас русским эмигрантским авторам, жившим в условиях относительного благополучия. Но может ли привычная для старой интеллигенции энергия сопротивления государству затмить все то, что новое государство **реально создавало?**

М. Горький как-то сказал, что приятно видеть своих врагов уродами. Так многие поступают и сегодня, напрочь отменяя «советское прошлое», малюют его однообразной черной краской, а его деятелей выставляют отпетыми мерзавцами. Всякие были. Многие из лучших произведений советского искусства создавалось авторами, убеждено верившими в советский идеал (например, И. Ильф и Е. Петров), что вовсе не исключало их острокритического восприятия действительности, приятельских отношений с «писателями-попутчиками»^[204], возможности дружить с ними семьями, бывать в гостях друг у друга. «Любовь Евгеньевна (вторая жена Булгакова – К.К.) уверяла, что

по одному виду Е. Петрова, по его тону можно было сразу же определить, какая погода стоит на дворе вокруг имени Михаила Булгакова. А Ильф был неизменно ровен, как будто не было никаких скандалов... Ровен, доброжелателен, божественно остроумен... Это ее слова: божественно остроумен...» (14).

Служба единого заказчика – социалистического государства – довольно быстро усмирила и уравнила интеллигенцию в подавляющей ее массе: всем нужно кормиться^[205]. Но вот политическая борьба... Это вопрос и разных кормушек, и кто с какой руки кормится. 1920-е и начало 1930-х годов – время, которое по публичному накалу политических страстей можно сравнить только с перестройкой, случившейся полвека спустя. Публично выясняли отношения вожди, их сторонники, открытые дискуссии в прессе и на партийных собраниях волей-неволей заставляли общество реагировать на предлагаемые различными группировками пути развития страны.

Здесь и «левацкие загибы» Л. Троцкого, и «правый уклон» Н. Бухарина, и построение «социализма в одной стране» И. Сталина. Всё это стекало в народ. К. Симонов: «Помню в ФЗУ показанную мне бумажку, вроде листовочки... На листке этом было нарисовано что-то вроде речки с высокими берегами. На одной стоят Троцкий, Зиновьев и Каменев, на другом – Сталин, Енукидзе и не то Микоян, не то Орджоникидзе – в общем, кто-то из кавказцев. Под этим текст: «И заспорили славяне, кому править на Руси» (16). Понятно, что обыгрывается «нерусскость» правящих персонажей, но важно, что дразги вождей стали всеобщим достоянием, включая простых людей. Политическая активность, которую большевики сознательно пробуждали в народе, так обернулась

политизацией населения. Люди учились разбираться в причинах своих бед. Пусть на примитивном – классовом или личностном уровне – искали и находили «виновных». Тем более, что подсказать было кому. И как следствие – народ фактически согласился с физическим устранением политических противников режима, в число которых входили многие сторонники оппозиции из числа интеллигентов.

Народ склонен к патернализму, выработанному вековым пребыванием в крестьянской общине, необходимостью совместного выживания в сложном климате и насущных нужд обороны от захватчиков. Вождь представляется народным массам как, своего рода, заботливый отец-хлопотун. Устранение «мешающих» хлопотать о большинстве воспринимается основной массой «неблагодарного» народа с пониманием. Так вырастает мировоззренческое противоречие между «народным сталинизмом» и «свободомыслящей» интеллигенцией.

Феликс Чуев вспоминает ответ Вячеслава Молотова на важнейший вопрос эпохи:

– Почему почти все из приближенных к Ленину попали потом в оппозиции?

– Потому что они оказались неподготовленными к новым вопросам, – лаконично ответил Молотов (17). А Молотов, которого Ленин называл «каменной жопой», значит, оказался подготовлен? Да!

Конечно же, под «новыми вопросами» надо подразумевать концепцию ускоренного построения социализма, и – как необходимость – беспощадную перестройку крестьянского устройства страны. Вот Э. Рязанов пишет о том, что народ шел за коммунистами безропотно, но ведь это не так, молча шла быстро прирученная интеллигенция. А часто еще и нахваливала! Опровергает Эльдара Александровича исследователь сталинизма Олег Хлевнюк:

«Коллективизация привела к настоящей крестьянской войне. Благодаря архивам мы узнали, что в ней участвовало несколько миллионов человек. Плохо вооруженные крестьяне упорно сопротивлялись, в их руки переходили целые районы. Как и во всех крестьянских войнах, восставшие не смогли выдержать регулярного натиска государства, которое, кстати, учитывая крестьянский состав армии, до последнего момента старалось ее не использовать. Армия тоже бурлила. Красноармейцы получали из дома информацию, которая вносила в их среду очень большое смятение» (18).

К. Чуковский, который заинтересованно следил за экспериментами большевиков и во многом их приветствовал, вдруг отмечает в своих дневниках иную точку зрения: «Клюев (крестьянский поэт) в разговоре: “Ощущение катастрофы у всех – какой катастрофы – неизвестно – не политической, не военной, а более грандиозной и страшной”» (19). Но очень немногие из среды творческой интеллигенции сочувственно отреагировали на трагедию народа. Например, поэт Павел Васильев, для которого – как и для его старших друзей Клюева и Клычкова – наиболее неприемлемым событием эпохи была тогда, вне всякого сомнения, коллективизация: «О муза, сегодня воспой Джугашвили, сукина сына,/ Упорство осла и хитрость лисы совместил он умело, – античным гекзаметром Васильев расписывал художества тирана. – ...Нарезавши тысячи тысяч петель, насилием к власти пробрался...» и т. д. П. Васильева вскоре расстреляли.

Широкую известность ныне получили и стихи О. Мандельштама о «кремлевском горце». А ведь он вообще оказался **единственным** выступившим против Сталина поэтом еврейского происхождения. И, по свидетельству вдовы поэта Надежды, икона либералов, поэт Б. Пастернак, крайне враждебно относился к этим

стихам: «Как мог он написать эти стихи – ведь он еврей!» Таким образом, «для Бориса Леонидовича тогдашнее привилегированное положение евреев в СССР как бы “перевешивало” трагедию русского крестьянства»^[206], – считает В. Кожин (20).

Удивительные параллели в неумном желании переустройства общества любой ценой мы находим и в сегодняшнем дне. Вот сатирик М. Жванецкий глаголет в своем интервью: «Моя мечта – воспользоваться этой разрухой, тем, что пароходы горят и тонут, машины догоняют друг друга и врезаются на встречной полосе, воспользоваться этой разрухой, разровнять все и построить новую страну на этом же месте. Так же, как было в тридцатые годы при советской власти...» (21). Трагедия смерти «горящих», «тонущих», «врезающихся» Михал Михалычем как бы выносятся «за скобки» великого дела построения новой страны. Картина уже знакомая. Может, поэтому народ, воспринявший «переустроителей» как своих личных врагов, Иосифа Сталина принял как необходимого **усмирителя** взбесившихся комиссаров – с их коллективизацией, эмансипацией и алкоголизацией.

А кто же противостоял Иосифу Грозному в политике – так, чтобы деятельно, чтобы реально? Троцкий? Бухарин? Одна из наиболее ярких, или даже самая яркая фигура, противопоставляемая ныне сталинистам, – мифологизированный сегодня партийный деятель Мартемьян Рютин: большевик с 1914 года, активный участник Гражданской войны в Сибири и подавления Кронштадтского мятежа 1921 года, в 1925 году ставший секретарем Краснопресненского райкома ВКП(б) в Москве. По мнению историков «Платформа Рютина» – это что-то вроде «июльских заговорщиков» в Германии, мол, были порядочные люди в нацистском Рейхе, заговор в 1944 году против Гитлера организовали. Только где были эти «порядочные» немцы в период побед, когда Гитлер испепелял Европу, истребляя миллионы людей? Так и со звездой по имени Рютин. Откуда он взялся?

По случаю 10-й годовщины революции, 7 ноября 1927 года, тогдашняя партийная оппозиция во главе с Троцким, Зиновьевым и Каменевым провела, как известно, демонстрацию, выражавшую несогласие с линией Политбюро. И вот апогей событий 7 ноября в Москве: «Острый инцидент произошел во время прохождения колонны демонстрантов... Около 11 часов на балкон Дома Советов... выходивший на угол улиц Охотный ряд и Тверская, поднялись член ЦК ВКП(б) и ЦИКа Смилга, исключенные к тому времени из партии Преображенский, Мрачковский и другие. Они обратились к манифестантам с речами. На балконе висел лозунг “Назад к Ленину!” Из колонны слышалось “ура”... Но тут “на автомобилях прибыли секретарь Краснопресненского райкома Рютин^[207] и др.

Атаковавшие пошли на штурм квартиры. Первыми в подъезд ворвались Рютин, Вознесенский и Минайчев (члены Московского комитета ВКП(б) – *К.К.*). Дверь взломали... Смилгу и Преображенского... начали избивать. Досталось Альскому, Гинзбургу, Мдивани, Малюте, Юшкину (деятели оппозиции – *К.К.*). Изрядно помятых, их заперли в комнате и к дверям приставили караул» (22).

Ну, и как я должен относиться к тому, что буквально через пару лет тот же М. Рютин сам создал группу «Союз марксистов-ленинцев», которая выступила против режима личной власти Сталина?

«Основная когорта соратников Ленина с руководящих постов снята, и одна ее часть сидит по тюрьмам и ссылкам, другая, капитулировавшая, деморализованная и оплеванная, влачит жалкое существование в рядах партии, третьи, окончательно разложившиеся, превратилась в слуг “вождя”-диктатора», – возмущается Мартемьян Никитич. Да кто же их оплеывал, избивал, уж не сам ли Рютин? Позднее, в 1932 году, Троцкий свидетельствовал, что «Рютин... руководил в столице борьбой против левой оппозиции, очищая все углы и закоулки от “троцкизма”... Никто не мог похвалиться такими успехами в насаждении сталинского режима, как Угланов (1-й секретарь Московского комитета ВКП(б) – *К.К.*) и Рютин» (24).

Сталинские репрессии направлены не только против разложившейся партийной верхушки, но и против тех, на кого она могла положиться в борьбе – рядовых фанатиков революционной борьбы, пассионариев, для которых лозунги всегда значили больше, нежели люди. Одни вожди пожирали других, а тех, кого не доели сразу, под общее одобрение расстреляли как «врагов народа», что, пожалуй, было недалеко от истины. К народу они имели мало отношения. Скажем, имел ли к

простому народу отношение исключенный из партии по «делу Рютина» Петр Петровский – «сын всеукраинского старосты» Григория Петровского? Или дети Льва Каменева? Или удельные партийные князьки? Или разлагающаяся «ленинская гвардия»?

Партийная борьба за власть выплескивалась в среду интеллигенции, в которой, как мы уже рассказывали, существовали различные группировки, тянущиеся к различным центрам притяжения в партийной элите. Отголоски этой возни мы находим даже в зале Первого съезда советских писателей – вот уж вроде бы единодушное собрание, а на тебе: во время работы съезда была обнаружена подпольная листовка. Листовка была написана карандашом под копирку печатными буквами, распространялась среди участников съезда по почте от имени группы советских писателей и адресована к зарубежным коллегам. Авторы признавали, что их группа малочисленна, при этом объясняли это тем, что остальные честные люди запуганы: «Мы даже дома часто избегаем говорить так, как думаем, ибо в СССР существует круговая система доноса». Они призывали не верить тому, о чем говорилось на съезде и начать борьбу с «советским фашизмом». «Вы в страхе от германского фашизма – для нас Гитлер не страшен, он не отменял тайное голосование. Гитлер уважает плебисцит... Для Сталина – это буржуазные предрассудки» (25). То есть, считают авторы листовки, Гитлер – **меньшее зло**, чем Сталин;

в лучшем случае – они одно и то же. «Нет ничего страшнее советского режима» – вот идея, которая засияла путеводной звездой для нескольких поколений фанатичных диссидентов. Сияет и сейчас для их потомков и последователей.

Итак, появление организованного советского инакомыслия стоит отнести к той партийной борьбе, когда разные течения советских коммунистов открыто

(а потом и тайно) высказывали свое видение развития страны. Ультралевые троцкисты, например, опирались на выдвиженцев Л. Троцкого со времён Гражданской войны, которые оставались влиятельной силой и после выдворения Льва Давидовича за пределы СССР. С их уничтожением разгрому подверглась и та часть интеллигенции, которая была с ними связана родственными или дружескими узами. Падение Н. Бухарина, в свою очередь, увлекло за собой ту часть общества, которую называли «правыми уклонистами». А ведь обходительный Николай Иванович в кругах интеллигенции был еще более популярен, нежели Троцкий. Можно вспомнить, что он покровительствовал Мандельштаму, который отличался, прямо скажем, не ангельским характером: припомним и стихи поэта про «кремлевского горца» и пощечину, которую он опустил любимцу Сталина, «красному графу» А. Толстому^[208]. Соответственно, после опалы Бухарина сам Мандельштам оказался без защиты и почти без средств к существованию: «В последний год в Воронеже, в домике “без крыльца”, изоляция дошла до предела. Жизнь наша протекала между нашей берлогой и телефонной станцией в двух шагах от дома, откуда мы звонили моему брату. Два человека – Вишневский и Шкловский – передавали ему в ту зиму по сто рублей в месяц, и он посылал их нам. Сами они посылать боялись», – пишет его вдова (27). Что-то не чувствуется в ее словах благодарности поддерживавшим семейство в нужде^[209].

Чисто по-человечески горестна на этом фоне судьба «старых большевиков» – на новом витке оголтелой борьбы группировок, их, как ненужных актеров, первыми выбрасывали из репертуара. Кого-то ставили к стенке, кого-то отправляли в лагеря или даже в сумасшедший дом, как старого большевика А.

Сольца^[210]. Сейчас трогательно вспоминают, что Арона Сольца большевики называли «совестью партии». И умалчивают, что именно он стоял у истоков советской юстиции, в основе которой лежал принцип «политической целесообразности», что именно он курировал строительство заключенными Беломорско-Балтийского канала, что «совестливый» Сольц был членом Верховного суда РСФСР и СССР, и в этом качестве был причастен репрессиям 1920-х – начала 1930-х годов.

Н. Мандельштам: «В эпохи насилия и террора люди прячутся в свою скорлупу и скрывают свои чувства, но чувства эти неискоренимы и никаким воспитанием их не уничтожить... Понятие добра, вероятно, действительно присуще человеку, и нарушители законов человечности должны рано или поздно сами или в своих детях прозреть...» (28) Не сейчас, так потом справедливость восторжествует, мечтает униженная интеллигенция? Однако что мы вкладываем в слово «справедливость»?

Наверное, в данном случае, прозрение мыслящего человека. Но, как мы сможем убедиться позже, ведомая новомодными политическими лозунгами интеллигенция не только не разрешила проблем старых, но лишь углубила пропасть между народом и властью, сделала ее непреодолимой. И уж меньше всего сегодня «справедливости» в народном, общинном и крестьянском понимании этого слова. При полном и непосредственном участии интеллигенции советский строй оказался свергнут: доверчивые кухарки навсегда лишились права управлять государством, зато опытные разбойники остались при своих.

Выходцы из старой интеллигенции напрямую не были связаны с партийными битвами, но волей-неволей они затрагивали и их – либо раня осколками падающих кумиров, с которыми они имели неосторожность

дружить, либо когда они просто попадали под массовые чистки неблагонадежных людей старой формации. Но и здесь, против стереотипов, каток репрессий 1930-х годов далеко не всегда давил дореволюционную интеллигенцию. А ведь грешки перед советским режимом водились у многих из них. Во время Гражданской войны у белых служили, например, М. Булгаков и детский писатель В. Бианки. Еще один «советский белогвардеец» А. Александров позже работал над атомным оружием, стал лауреатом четырех сталинских и одной ленинской премии, трижды Героем Социалистического Труда, кавалером девяти (!) орденов Ленина и даже занимал пост президента Академии наук СССР. Есть примеры и других интересных судеб. Так, сын легендарного белого генерала В. Каппеля, Кирилл Стрельман, воевал в Великую Отечественную. Был ранен, контужен, награжден орденом Отечественной войны II ст. и медалью «За победу над Германией». В конце войны он окончил школу младших лейтенантов и служил в конвойных частях внутренних войск НКВД. При этом его мать – Ольга Сергеевна – с 1937 года по 1944-й находилась в заключении (29).

Неплохо устроились при Советской власти и некоторые петлюровцы, скажем, писатель Петро Панч – офицер армии УНР. А лауреат Сталинской премии поэт Владимир Сосюра вообще умудрился оказаться в рядах чуть ли не всех армий, действовавших на Украине в Гражданскую войну: петлюровской, галицкой, деникинской и в РККА. Скульптор Э. Неизвестный рассказывает в интервью: «...Все это были друзья детства, хотя и очень разношерстная публика. Поразительно, что люди в 30-е годы так доверяли друг другу, во всяком случае, папа распоясывался совершенно – как-то раз в припадке ярости даже обозвал Сталина мешком с грузинским дерьмом. У нас в тот день в гостях был Наум Дралюк, большой начальник

на “Уралмаше” и, естественно, член партии. Он воскликнул тогда: “Хорошо, что ты в своей среде, но прекрати – тебя же расстреляют!”, на что отец провидчески ответил: “Наум, нас, белых офицеров, расстреливать перестали. Сейчас уже не до нас, сейчас вы друг в друга стреляете, так что ты сам в своем патриотизме будь осторожен”. Наума потом действительно пустили в расход...» (30)

В очень непростой ситуации тридцатых годов проявлялись лучшие качества титанов духа, людей старого представления о чести – во многом они станут примером для радикальных шестидесятников, которые, следуя им в нравственном подвиге, не заметили, как подняли на щит политические лозунги различных большевистских группировок 1920-х – 1930-х годов. Иначе говоря, перепутали личное понимание «справедливости» с тем, что реально необходимо их Родине, выдали свои желаемые **рецепты** лечения болезни за **истину** в последней инстанции. И, в конце концов, тоже превратились в фанатичных доктринеров, только доктринеров антисоветских. Вот что отличает их от открытых к разным мнениям и влияниям интеллектуалов.

Старая интеллигенция, осознавая свою малочисленность в новом обществе, старалась поддерживать друг друга в тяжелое время. Не все, не всегда, но примеры взаимовыручки мы с удовольствием приводим. Риска, В. Вишневский и В. Шкловский передают деньги О. Мандельштаму, а ведь первый из них – бескомпромиссный гонитель М. Булгакова, да и второго доброжелательным человеком назвать нельзя. А сам Булгаков помогал Ахматовой, у которой были арестованы муж Н. Пунин и сын Л. Гумилев^[211]. И Ахматова эту дружбу помнила и ценила. В многочисленных соболезнованиях, пришедших вдове

писателя Е. Булгаковой после смерти Михаила Афанасьевича, читаем стихи А. Ахматовой: «Вот это я тебе взамен могильных роз, / Взамен кадильного куренья, / Ты так сурово жил и до конца донес / Великолепное презрение». Самой же Елене Сергеевне было посвящено стихотворение «Хозяйка» – в 1943 году Ахматова жила в ее комнате в эвакуации в Ташкенте:

*В этой горнице колдунья
До меня жила одна:
Тень ее еще видна
Накануне новолунья,
Тень ее еще стоит
У высокого порога,
И уклончиво и строго
На меня она глядит.
Я сама не из таких,
Кто чужим подвластен чарам,
Я сама... Но, впрочем, даром
Тайн не выдаю своих.*

В этих строчках мы видим знакомый ведовской образ Маргариты, супруги писателя. Любопытно, что «Мастер и Маргарита» начал создаваться в то время, когда над страной гремели слова главного идеолога сталинщины тов. Жданова: «Нет и может быть в буржуазной стране литературы, которая последовательно разбивала всякое мракобесие, всякую мистику, всякую поповщину и чертовщину, как это делает наша литература» (31). Советская литература, которая «разбивает всякую чертовщину» и т. д. подарила миру один из самых великих мистических романов за всю историю литературы.

Этот круг людей с дореволюционной закваской очень внимательно присматривался к фигуре И.

Сталина, к сталинским имперским реформам, поддерживал усмирение красных якобинцев. Хотя, наверняка, не такой ценой и не такими варварскими методами.

– Я ошибался! – кричал совсем охрипший Левий, – ты бог зла! Или твои глаза совсем закрыл дым из курильниц храма, а уши твои перестали что-либо слышать, кроме трубных звуков священников? Ты не всемогущий бог. Проклинаю тебя, бог разбойников, их покровитель и душа!

Тут что-то дунуло в лицо бывшему сборщику и что-то зашелестело у него под ногами. Дунуло еще раз, и тогда, открыв глаза, Левий увидел, что все в мире, под влиянием ли его проклятий или в силу каких-либо других причин, изменилось... Левий подумал, что безумно поспешил со своими проклятиями...

Не так все просто было в смысле репрессий, и не так чисты были многие наказуемые. Современники хорошо осознавали то, что потом отказались понять и признать шестидесятники, многие из которых, кстати, прямые потомки революционеров, погибших во время сталинщины. В тридцатые годы понимание внутренней миссии Сталина для многих из старой интеллигенции не являлось вопросом выживания. Чувство внутреннего достоинства в их понимании диктовало **осознанный** выбор. Был Сталин, а была его адова машина, они сотрудничали со Сталиным-преобразователем, но отвергали зверство его опричников. В. Каверин: «В 1937 году, когда был процесс по делу Якира, Тухачевского и других, среди писателей собирали подписи, одобрявшие смертный приговор, Пастернак отказал... Те, кто пережил воспаленную полосу террора, знают, какая несравненная отвага должна была подсказать такой шаг» (33).

«27 апреля. Шли по Газетному, Олеша догоняет. Уговаривал Мишу идти на собрание московских

драматургов, которое открывается сегодня и на котором будут расправляться с Киршоном. Уговаривал М.А. выступить и сказать, что Киршон был главным организатором травли М.А. Это вообще правда, но, конечно, М.А. и не подумает выступить с этим заявлением» (34). Сравните поведение советского до костей мозга литератора Ю. Олеши и представителя старой культуры М. Булгакова. Нравственный пример таких людей был заразителен: «Сергей Александрович Ермолинский рассказывал мне, что в тюрьме, в унижении и страхе его поддерживала мысль, что он был другом Булгакова. Только мысль!» – вспоминает В. Каверин (35).

Современные исследователи тщатся доказать, что пьеса Булгакова «Батум», посвященная Сталину, написана сломленным человеком, человеком испугавшимся, оставшимся в изоляции. Но все же более верен взгляд, что «Батум» – это искренняя попытка художника разобраться в феномене человека, который осмелился поставить на дыбы огромную страну. Попытка, которая никак не могла бросить тень на принципы самого М. Булгакова. «29 апреля [19]39. Когда мы приехали в Клуб, к Мише подошли три ужиनावших там художника: Иогансон, Восьмеркин (Осьмеркин) и еще один и произнесли что-то очень приятное в смысле их необычайного уважения к творчеству М.А., к его **честности**» (Здесь и далее выделено мной – К.К.) (36) Почти сразу после смерти Булгакова его вдова получила письмо от Фадеева: «И люди политики, и люди литературы знают, что он человек, не обременивший себя ни в творчестве, ни в жизни **политической ложью**, что путь его был искренен, органичен, а если в начале своего пути (а иногда и потом) он не все видел так, как оно было на самом деле, то в этом нет ничего удивительного. **Хуже было бы, если бы он фальшивил...**» (37) Понятно, что

люди литературы – сам Фадеев, а люди политики – кто, кроме Сталина?

Итак, если от Советской власти художника может спасти только чудо, то приходится с такой властью смириться, тем более, что она последовательно и упорно прилагает усилия для превращения Родины в великую страну и народ, кажется, ее поддерживает. Второй путь – бежать от неё. Именно его выбирает трезвомыслящий и надеющийся только на себя Остап Бендер. Приемный сын лейтенанта Шмидта возможно и не знал, что его антисоветские убеждения разделял и реальный сын лейтенанта П. Шмидта, Евгений Петрович, который после октября 1917 эмигрировал из страны, а в 1926 году в Праге вышла его книга воспоминаний об отце, которая содержит резкие выпады против большевиков. По сути, бежали от большевиков В. Ходасевич, Е. Замятин и десятки других деятелей культуры. А если не бежать и не смиряться, то надо же что-то делать, в конце концов!

Философское, созерцательное осмысление действительности, как правило, несовместимо с активной гражданской позицией. Диссиденты действия и диссиденты духа – это люди разных темпераментов. Дух – это общее несогласие с государственными установками, интеллектуальная фронда, что наблюдалось еще до революции. После Октябрьской революции активный преобразователь действительности приходит и в советскую культуру.

На первый план выдвигается тип «красного» интеллигента, по-большевистски нетерпимого, стремящегося к зримому воплощению идеала. Таково было требование народа, ждавшего скорых и ощутимых свершений, земного рая. Когда же чуда не происходит, сей настырный типаж преобразователя из заоблачных далей возвращается обратно в серую советскую действительность, но уже в качестве **вызова**

господствующим в ней общественным отношениям. Если рая нет, то не потому, что он не существует, а потому что в расчеты вкралась ошибка. Если её исправить – всё пойдет на лад. Отсюда верное замечание философа Г. Померанца: «Наши либералы – вчерашние марксисты. Они убеждены, что базис (рынок) – это решение всех проблем» (39). При этом средневековая вера в чудодейственный рецепт, который стоит только применить и все пойдет на лад, вполне сочетается с уверенностью в собственном интеллектуальном всемогуществе: «Мы же образованные люди!»

Свержение установленного Сталиным строя силами внутренних противников режима оказалось невозможным – огромный размах репрессий, могучий аппарат подавления инакомыслия, который и сам подвергался периодическим чисткам, запуганное армейское командование, мощная пропагандистская машина. Но у несогласных еще оставалась надежда на внешнее вмешательство. Именно потому в нашествии немцев некоторые увидели шанс уничтожения ненавистного им режима – тем более, что в 1941 году, после победного вторжения гитлеровской армии, зашаталась вся сталинская система. Еще немного и, казалось, эра большевизма завершится.

В дневнике журналиста Вержбицкого хорошо показано описание настроений, царивших в столице Советского Союза осенью 1941 года: «...в очередях драки, душат старух, давят в магазинах, бандитствует молодежь, а милиционеры по два-четыре слоняются по тротуарам и покуривают: “Нет инструкций”... Опозорено шоссе Энтузиастов, по которому в этот день неслись на восток автомобили вчерашних “энтузиастов” (на словах), груженные никелированными кроватями, кожаными чемоданами, коврами, шкатулками, пузатыми бумажниками и жирным мясом хозяев всего этого барахла...» (40) Люди видели своими глазами, как сталинская номенклатура неудержимо бежала на Восток. Одновременно в оккупации остались миллионы сограждан, которых немецкая пропаганда заставила воочию увидеть и массовые захоронения людей, убитых НКВД, и убедиться в двуличии коммунистической пропаганды. Также позаботились оккупанты о раздувании национализма и антисемитизма [\[212\]](#).

Невероятным казалось, чтобы скомпрометированная сталинская камарилья вновь воцарилась без серьезных для себя последствий.

Другое дело, что преступления нацистов оказались куда гнуснее и чудовищней преступлений коммунистов, что, в конечном итоге, и помогло их одолеть. Но Советской власти едва ли не до конца своих дней приходилось учитывать в своих анкетах, что люди, жившие при оккупации, подвергались интенсивной идеологической обработке, и подозревать таких граждан в нелояльности.

К важным факторам, подпитывавшим пассивное сопротивление режиму образованных слоев общества, необходимо отнести и национальную составляющую. Например, в сентябре 1939 года в Западной Украине и Белоруссии советских солдат встречали как освободителей – с цветами и хлебом-солью. Однако вскоре началась «ускоренная советизация»: «И вот в серовском управлении я видел избитых в кровь юношей в изорванной студенческой форме. Они лежали на голом полу в полуобморочном состоянии. Видимо, в подземельях уже не хватало места. Жертв серовского террора выволакивали из кабинетов следователей в коридор» (В. Бережков) (41). Могли ли эти люди даже в будущем стать искренними союзниками Советской власти? Как результат, в июне 1941 года в Западной Украине и Западной Белоруссии с цветами встречали уже немцев.

С неумелыми, жестокими действиями Советов в конце 1939-го и в 1940 г. напрямую была связана и длительная послевоенная борьба с бандеровцами на Украине. Сегодняшняя попытка сделать из С. Бандеры национального героя ведет свои истоки с той поры, когда его имя стало символом реального, осязаемого сопротивления сталинскому режиму. Что никак не отменяет характеристику, данную С. Бандере

предыдущим лидером украинских националистов Андреем Мельником: «Бандера – садист, от которого напрасно требовать придерживаться дисциплины и реального взгляда на перспективы нашей борьбы» (42). Однако сегодня людей интересуют не личные качества С. Бандеры, а персонифицированный символ борьбы с режимом, борьбы пусть и безнадёжной, но отчаянной и изощренной^[213].

Аналогичные процессы наблюдаем и в Прибалтике. Косвенные данные по Латвии позволяют предположить, что в период максимального подъема вооруженного сопротивления в лесах находилось от 10 до 15 тысяч человек. Литовские и эстонские «лесные братства» включали соответственно 40 тысяч и 30 тысяч человек. При том происходила постоянная ротация «кадров». Так, за 8 лет интенсивных боев (1945–1952) в литовском повстанческом движении поучаствовало около 100 тысяч человек (43). Эти люди и их потомки стали преданными сторонниками антисоветской революции конца 1980-х. Но можно ли безоговорочно считать их просто патриотами своей страны?

Многие из них преданно служили нацистам, участвовали в их преступлениях против мирного населения, успели обогреть руки кровью мирных жителей и после 1945 года. Характерный пример: для проверки новобранцев литовские «лесные братья» давали им задания – лично казнить тех, кто симпатизировал Советской власти. С 1945 по 1952 год ими было убито от 4 до 13 тысяч лиц, сотрудничавших с коммунистическими властями или подозреваемых в таком сотрудничестве. В маленькой Эстонии в 1946–1956 годах партизанами было совершено 422 террористических акта, убит 891 человек, включая мирных новосёлов и членов их семей (44). На Западной Украине широко практиковалось истребление

технических специалистов, врачей и учителей, присылаемых для работы в регионе из восточных областей республики. По данным эстонских историков, в Эстонии повстанцы убили «несколько сот советских людей» всего за 1948 год и начало 1949 года (45). Считать этих людей «героями» лично я отказываюсь, но для национального мифотворчества именно такие «геройства» оказываются благоприятной почвой, на которой произрастает националистическая идеология.

Часто национальные, классовые и религиозные чувства сливались воедино, давая мощный стимул сопротивлению. Особенно это проявилось в католической Литве, где религиозные общины представляли собой базовую организацию, охватывающую большинство населения края. Угроза их существованию со стороны атеистической власти сама по себе способствовала сплочению несогласных. Некоторые литовские священники стали даже непосредственными руководителями подпольного движения. Негибкая атеистическая пропаганда, готовность видеть в служителях культа лишь слепых исполнителей воли Ватикана, нежелание признавать реальное значение церкви в жизни народа только усиливали антигосударственную деятельность многих представителей Церкви и укрепляли их союз с сепаратистами.

Социальной базой нелегальных вооруженных формирований в Прибалтике явились те слои, которые в наибольшей степени пострадали от преобразований общества, и, прежде всего, богатое крестьянство, земли которого были вновь урезаны после реформы 1945–1947 годов. Максимальные размеры земельных участков ограничивались 20 гектарами (а не 30 га, как в 1941 году), а земли тех, кто сотрудничал с немецкими оккупантами, вообще сокращались до 5–7 гектаров. Именно участие крестьянства (как и в СССР во время

коллективизации) давало сопротивлению необходимую массовость. И методы подавления применялись проверенные в эпоху коллективизации. К весне 1949 года из Эстонии было депортировано около 60 тысяч «раскулаченных», 50 тысяч – из Латвии, 150 тысяч – из Литвы. В конце концов, система снабжения партизан была разрушена^[214].

Постепенно все больше людей приходили к выводу, что стабильная работа и служба гораздо надежнее обеспечивается сотрудничеством с властью. Чем больше людей сотрудничали с Советской властью, тем больше появлялось мишеней для террора повстанцев, а семьи жертв переходили на сторону Советов. По мере того, как шансы на победу повстанцев (с помощью Запада) меркли, их ореол «национальных освободителей» сменился образом зловредных бунтовщиков, которые лишь нападали и убегали, оставляя гражданское население наедине с разгневанными властями. Люди устали жить между двумя терроризмами и массовое сопротивление прекратилось.

Однако опыт партизанской борьбы в Прибалтике и Западной Украине дал тамошним жителям урок того, что коммунистическому режиму можно противостоять. Это осознание легло в основу национальной мифологии и передалось национальной интеллигенции – в подавляющем своем большинстве укомплектованной выходцами из села в период послевоенной урбанизации, горожанами в первом или втором поколении. Ощущение себя не частью имперской культуры, а некой угнетенной и покоренной субстанции стало устойчивым элементом контркультуры и дало местной интеллигенции возможность в 1980-е годы быстро развернуть знамя национализма как действенной силы, противостоящей имперскому центру.

Более того, легкая победа национализма в вышеперечисленных регионах помогла обществу обойтись минимальным кровопролитием, неминуемым, если бы противники национализма в тех республиках были бы сильны и организованы. Тот случай, когда нет худа без добра.

Однако выводы из этой кажущейся легкости (обусловленной экономическим упадком СССР) национальная интеллигенция сделала совершенно неверные, превознося этнические ценности как нечто передовое, несомненное и обязательное для всех иных людей. Гремучая смесь либерализма, национализма и социализма в головах провинциальных интеллектуалов является объектом изучения психиатров, а не нашей книги. Как говаривал благородный Румата из «Трудно быть богом»: «Для нас, коренного дворянства метрополии, все эти Соаны и Ируканы, да и Арканар, были и всегда останутся вассалами имперской короны».

IV

Итак, вернемся в метрополию. Там происходили весьма интересные вещи, например, интрига вокруг «Ленинградского дела», так неожиданно повернувшаяся против Ахматовой и Зощенко, а косвенно и против всей творческой интеллигенции. И здесь – в стане народа-победителя – мы видим пробивающиеся ростки свободомыслия^[215]. И уже окончание эры Сталина характеризовалось постепенным угасанием масштабов репрессий – Ленинградское, Мингрельское дела или «дело врачей» не шли ни в какое сравнение по своим масштабам с процессами тридцатых годов.

Есть, правда, популярная версия, будто «дело врачей» было лишь прелюдией к массовой депортации евреев, но документальных доказательств подготовки столь масштабного мероприятия пока нет – слухи, воспоминания, догадки. Суть их сводится к тому, что Сталин, под конец жизни одержимый антисемитизмом, задумал выселение евреев в Сибирь – подальше от влияния Израиля. Историк Е. Громов: «Еврейская национальная культура существует тысячелетия. Одной из политических целей Сталина являлось стремление отсечь от нее советских евреев, это был курс на ассимиляцию в советском пространстве целой нации» (46). Объяснение примитивное и, главное, не объясняющее суть проблемы. К тому времени евреи были настолько плотно вписаны в систему советского общества, что речь об их насильственной ассимиляции не шла, поскольку единственный мощный резервуар национального самосознания – евреи местечек бывшей черты оседлости – был насильственно уничтожен нацистами. А городское еврейское население к

середине 1950-х годов фактически уже ассимилировалось. Возвращаемся к теме в том аспекте, почему именно еврейская интеллигенция стала катализатором движения инакомыслящих в СССР.

Вот какое альтернативное объяснение сталинской антисемитской кампании с точки зрения русского национального сознания дает академик И. Шафаревич: «Процесс, собственно говоря, был совершенно естественный, начавшийся еще во время Великой Отечественной войны. Масса русских стала пробиваться к власти, в частности, в партию. Возникла еврейско-русская конкуренция, в основном не называемая вслух, долго продолжавшаяся с переменным успехом... В результате еврейство оказалось в основном вытесненным из некоторых сфер жизни, которые оно рассматривало как законно себе принадлежащие: верхи КГБ, армии, дипломатического корпуса, из некоторых престижных столичных вузов. Конечно, это было совсем не похоже на истребление дворян, священников, “старых интеллигентов” 1918-20 гг. или коллективизацию. Но для “еврейства” – для тех, кто находился “в еврейской сфере”, это воспринималось как нечто чудовищное, неслыханное (думаю, вполне искренно). И еврейство с возмущением отшатнулось от коммунистического строя» (47).

У еврейской интеллигенции появилось мощное оправдание своего отступничества по отношению к коммунизму – он стал «антисемитским»^[216]. Действительно, кампания, начавшаяся с подачи П. Капицы как стимул интеллигенции к патриотизму, быстро скатилась к набору безобразных лозунгов и сцен.

Один из моих любимых кинорежиссеров – великий документалист Дзига Вертов (Кауфман). Вот как иронично описывали его стиль работы над

легендарными документальными фильмами – такими, как «Человек с киноаппаратом» или «Симфония Донбасса» – Ильф и Петров в черновых редакциях «Золотого теленка»: «Завидев тощую фигуру режиссера, лежащего между рельсами в своей излюбленной позе – на спине, машинисты бледнели от страха и судорожно хватались за тормозные рычаги. Но Крайних-Взглядов подбодрял их криками, приглашая прокатиться над ним. Сам же он медленно вертел ручки аппарата, снимая высокие колеса, проносящиеся по обе стороны его тела... Жизнь, как она есть, представлялась ему почему-то в виде падающих зданий, накренившихся набок трамвайных вагонов, приплюснутых или растянутых объективом предметов обихода и совершенно перекореженных на экране людей» (48).

Но, несмотря на всю на иронию соавторов, Д. Вертов был гениальный режиссер. И вот этот уже немолодой человек вынужден каяться перед лицом какой-то комиссии в своем «космополитизме». Далее рассказывает В. Катанян: «Поднявшись на трибуну, Вертов хотел что-то сказать – и не смог. По его лицу потекли слезы. Он их вытирал платком. Зал замер, потрясенный. И тогда в этой страшной тишине раздался стук женских каблучков... По проходу шла Вера Плотникова, высокая молодая блондинка, ассистент режиссера. Она подошла к столу президиума, налила воду в стакан и помогла Вертову сделать несколько глотков. Со стороны Плотниковой это был поступок большого гражданского мужества, особенно, если учесть, что ее муж был репрессирован... И тем не менее, она одна из всего зала, где сидели ученики Вертова, увенчанные званиями и лауреатствами, которые до конца дней будут клясться его именем, она одна протянула ему руку помощи» (50).

Может ли простить такое мыслящий человек? Нет, и мы должны помнить горькие страницы нашей истории – режим не только прославил имперское государство, но и топтал людей, давил безжалостно, топтал и русских, и армян, и украинцев, и евреев. И возвращаясь к «космополитам» – разве могла директивная кампания вымыть из общественного сознания огромный вклад евреев в советскую цивилизацию? Реально ли это? А как быть сотнями тысяч смешанных семей, а наука, а замечательные шедевры культуры, созданные советскими гражданами еврейского происхождения?

Еще раз: кампания, воспринятая общественным мнением как тупо антисемитская, имела значительно более глубокие корни – и в политической жизни страны, и даже вне границ государства. Но сыграла значительную роль в защитной мобилизации еврейской интеллигенции, а вместе с ней и просто образованных, порядочных людей, возвращенных в традиции интернационализма.

Примитивная «кампанейщина» – неотделимая черта даже не коммунизма, а всего крестьянского патриархального строя, свойственного 1/6 части суши. И вполне демонстрирует заскорузлость такого метода решения проблем. Не говоря уже об откровенной глупости проводивших нелепые кампании представителей власти. Будущий министр культуры СССР Е. Фурцева, будучи еще секретарем Фрунзенского райкома, непосредственно руководила «борьбой с космополитизмом» и в одном из выступлений привела такой факт: в работе какого-то советского ученого 175 раз упоминаются фамилии иностранных авторов и только два раза – наших! А в диссертации шла речь о борьбе с малярией в Южной Америке. А про одного преподавателя обронила: «Он не может работать в школе. Он, наверное, вейсманист, так как не посещает ни одного политического кружка» (51).

Да и в принципе, можно ли путем кампанейщины решать вопросы культуры и создавать шедевры? Сейчас, когда мы уже имеем опыт построения хилых провинциальных культур в независимых постсоветских республиках, ответ может быть только отрицательным. Само «наличие» далеко не всегда определяет «качество» продукта. Да и заказчик должен быть компетентным.

«Я оравнодушил, хотя больно к концу жизни видеть, что все мечты Белинских, Герценов, Чернышевских, Некрасовых, бесчисленных народовольцев, социал-демократов и т. д., и т. д. обмануты – и тот социальный рай, ради которого они готовы были умереть – оказался разгулом бесправия и полицейщины», – под конец жизни печально констатирует К. Чуковский (52). Но интеллигенция еще не смела **открыто** выступить против Советской власти не только потому, что ей не давали этого сделать, но и оттого, что ей **не с чем** было выступить. В. Кормер: «Коммунизм был ее собственным детищем. Идеи, с которыми она пришла к нему, как были, так и остались ее идеями, они отнюдь не были изжиты... Она предпочла бы думать о Советской власти как о чем-то внешнем, как о напасти, пришедшей откуда-то со стороны, но до конца последовательно не может, сколько бы ни старалась, провести эту точку зрения. Интеллигенция внутренне несвободна, она причастна ко злу, к преступлению, и это больше чем что-либо другое мешает ей поднять голову» (53).

Робкая надежда на свержение Советской власти появлялась только тогда, когда негодование охватывало **широкие массы** трудящихся, как это случилось во время коллективизации, но тогда образованный слой горожан в целом разделял стремление власти к форсированной модернизации. Или у некоторых вспыхивала надежда на свержение строя при помощи вражеских штыков. И даже нет ни

одного примера успешного заговора против Советской власти. Всё остальное – проявление различных форм приспособленчества, пассивного протеста, вроде алкоголизма, максимум – ухода из жизни, хлопнув на прощание дверью, как поступил, например, Фадеев.

А может, ему надо было взять тот же пистолет и разобраться с губителями? Вроде не робкого десятка был человек, и глубину падения отечественной культуры понимал. И знал Фадеев то, что еще не знали другие – вспомним о его взаимоотношениях с Булгаковыми. И текст романа был ему известен еще до войны. Когда (лишь в 1956 году) его друг Твардовский прочел «Мастера и Маргариту», он был потрясен: «Его (Булгакова) современники не могут идти ни в какой счет с ним» (54). Конечно, эти люди понимали, какой урон понесла отечественная литература. Государственничество, вполне уместное в искусстве 1930-х, необходимое в 1940-х, к середине 1950-х выродилось в довольно пошлую, хотя и пышную, декорацию. Вместо ожидаемого развития получился застой.

Глубокое отчуждение интеллигенции и власти в конце правления Сталина – как результат репрессий, послевоенных разочарований и разоблачительных компаний – оказалось непреодолимым. Но далеко не всегда литературные ценности разделяет народ. В глазах народа миф о Сталине – преобразователе и победителе – живет и, к ужасу либералов, не тускнеет. Е. Евтушенко: «Когда объявили о смерти Сталина, моя будущая жена заявила на Красную площадь и, на радостях пьяная, начала выкаблучивать “цыганочку” прямо перед мавзолеем, вырываясь из рук своего первого мужа, который еле спас ее от “народного гнева” тех, кто в этот день плакал» (55). Автор берет «народный гнев» тех, кто плакал, в кавычки. И со своими единомышленниками – в ответ на свое

высокомерие – получил от народа непреходящее отвращение. Тоже, кстати, незаслуженное.

М. Ромм вспоминает, что после смерти Сталина и XX съезда, когда он в Грузии надевал свои знаки Сталинского лауреата (с профилем вождя), люди их целовали, прямо у него на груди. Это Грузия сейчас такая демократическая, это они сейчас памятник Иосифу Виссарионовичу демонтировали. А тогда грузинский народ на защиту Сталина (Сосо Джугашвили) поднялся единодушно. И грузинские студенты первыми вышли на улицы с лозунгами в его защиту, и несколько дней в Тбилиси, Гори, Сухуми, Батуми, Кутаиси шли непрерывные митинги^[217]. Под влиянием тех мартовских волнений 1956 года возникла молодежная подпольная организация, в которой участвовал сын известного грузинского писателя Константина Гамсахурдия, будущий диссидент и президент независимой Грузии Звиад Гамсахурдия. Парадокс – многие антисоветские организации организовывались на фоне ультрасовестских, просталинистских настроений масс, характерных для хрущевской эпохи. А потому узок был круг этих революционеров и страшно далеки оказались они от народа.

Именно «народный сталинизм» стал знаменем недовольного общества во время правления Хрущева, ибо либеральные галлюцинации кучки «просвещенных» широким массам были просто необъяснимы. Между тем, народное недовольство давало инакомыслящим некоторую надежду расшатать социальный строй и добиться определённых послаблений. Они оказались в роли декабристов, которые вели обманутых солдат защищать Конституцию, выдавая ее за супругу императора Константина. Но реально организовывать и поднимать народ на бунты смогли не прекраснодушные интеллигенты, а завязтые уголовники.

В принципе, уголовная среда по своей сути более организована, нежели общество любителей поэзии. Вопрос иерархии, дисциплины и продуманности действий – это вопрос успешного противостояния государственной машине, особенно такой мощной, какая существовала в СССР. По сути, режим никогда не мог полностью подавить уголовный мир, а во время революции молодая Советская Республика открыто привлекала уголовников к решению боевых задач: вспомним подвиги Григория Котовского или бригаду Мишки Япончика.

«Победа трудового народа» над эксплуататорами на некоторое время стала индульгенцией для уголовников – их считали пережитком «проклятого прошлого», позволяли доить нэпманов и судили куда менее строго, нежели политических противников большевиков.

«Классический» уголовный мир получал мощную подпитку из среды голодных безработных, беспризорников и прочих мелких воришек, и считался вполне приемлемой частью социалистического

пейзажа, обреченной к автоматическому вымиранию, когда исчезнет капитализм. То есть – на днях.

По мере укрепления строя и наведения элементарного порядка в ряды добропорядочных советских граждан вливались сотни тысяч бывших беспризорников или малолетних проституток, глубоко усвоивших уголовную этику, фольклор и привычки. Показателен случай, когда во время работы в уголовном розыске Е. Петров самолично задержал своего бывшего одноклассника А. Козачинского, ставшего главарем опасной банды. Суд приговорил Козачинского к расстрелу, однако Е. Петров добился пересмотра приговора и замены расстрела заключением в лагере. Потом устроил своего дружка на работу в газету «Гудок», а в 1938 году Козачинский, по настоянию того же Петрова, стал писателем и написал повесть «Зеленый фургон», позже с успехом экранизированную.

К. Чуковский, 1924 год: «Был я вчера у мамы Марины с визитом, и меня поразило, что в их доме живет в нижнем этаже целая колония налетчиков, которые известны всему дому именно в этом звании. Двое налетчиков сидели у ворот и щелкали зубами грецкие орехи. Налетчикова бабушка сидела у открытого окна и смотрела, как тут же на панели гуляет налетчиково дитя. Из другого окна глядит налетчикова жена, лежит на подоконнике так, что в вырезе ее кофточки на шее видны ее белые груди. Словом, идиллия полная. Говорят, что в шестом номере того же дома живет другая компания налетчиков. Те – с убийствами, а нижние – без. Они приняли во мне горячее участие и помогали мне найти Маринин адрес. Маринина мать говорит, что никто не доносит на налетчиков, т. к. теперь весь дом застрахован от налетов» (56). Слесарь-интеллигент Полесов потому и пострадал от дворника, что оставил беззащитным целый дом: *«В доме № 5, раскрытом настежь, происходили ужасные события. С*

чердаков крали мокрое белье и однажды вечером унесли даже закипающий во дворе самовар». Но свою очевидную вину, как мы помним, слесарь-интеллигент не признавал. Не признаёт и сейчас.

В тридцатые годы организованную преступность загнали в лагеря, где позволяли уголовникам издеваться над политическими заключенными, и этот опыт тесного общения «обогатил» и тех, и других. Конфликты между различными уголовными группировками, их выступления против требований тюремного распорядка оказывали на систему принудительного труда в СССР не менее разрушительное действие, чем выступления политических заключенных. В ряде случаев лагерная мифология неправомерно героизировала подобные «восстания». В действительности каждый раз это были весьма кровавые события. Так, во время побега из Обского лагеря группа в 19 человек, отделившаяся от основной массы, полностью уничтожила все население оленеводческого стойбища (42 человека, среди которых большинство составляли женщины и грудные дети) (57). Так что распевание песни «По тундре, по железной дороге, где мчится поезд Воркута-Ленинград», – так трогательно исполняемой бывшими политзаключенными в фильме «Небеса обетованные» Э. Рязанова – это романтика, густо замешанная на крови^[218]. Но этой воровской «романтикой», бандитским «кодексом чести», уголовной «культурой» оказались инфицированы миллионы.

Самое страшное, что ее дух принципиального противоречия Закону был с восторгом воспринят интеллигенцией – вспомним песни раннего В. Высоцкого или творения Ю. Алешковского. Ведь они нашли миллионы почитателей в интеллигентской среде. Причина проста – уголовный закон велит уходить от

сотрудничества с властью, а это совпадало с внутренней потребностью интеллигенции в суррогате свободы и «воли» в её народном понимании. Босаяцкая романтика фигурирует в каждом втором томе воспоминаний 1950-х годов – у всех описаны «ребята с нашего двора», бандиты, но «парни неплохие». Именно отсюда переброшен мостик в бандитский капитализм лихих 1990-х – удивительной дружбы кобзонов с паханами.

Уже к концу сталинской эпохи можно было говорить об исчерпании «потенциала покорности». А после массовой амнистии в города хлынули сотни тысяч уголовников, Советскую власть просто ненавидящих. Наряду с миллионами обездоленных в результате войны и миллионами не нашедших себя переселенцев – детей массовой урбанизации 1950-х – 1960-х годов – они составили мощный заряд недовольства, который и взорвал общество при Хрущеве. Игнорирование закона, презрение к системе приняло форму массового хулиганства. Своей асоциальностью стало модно бравировать. В. Ерофеев: *«Я остаюсь внизу и снизу плюю на всю вашу общественную лестницу... Чтоб по ней подыматься, надо быть жидовскою мордою без страха и упрека, надо быть пидорасом, выкованным из чистой стали с головы до пят. А я – не такой».*

Выплеснувшееся народное недовольство возглавили не интеллектуалы, а хулиганы и подстрекаемый ими молодняк. Этим, во многом, объясняется их относительная стойкость сопротивления властям, даже когда те применяли оружие. Например, в ходе массовых беспорядков в городе Темиртау 109 солдат и офицеров получили ранения, в том числе 32 – из огнестрельного оружия, а среди участников волнений было убито 11 и ранено 32 человека (пятеро впоследствии умерли)^[219]. Или забастовка и последующие волнения в

Новочеркасске, которые приобрели политический характер. Где здесь столичные интеллектуалы? А заводилы-хулиганы в толпе как раз имелись в изобилии.

И все время – в Грузии, Новочеркасске, других местах – люди поднимали на щит образ «хорошего» Сталина. Вспомним массовые беспорядки в азербайджанском городе Сумгаите, которые произошли 7 ноября 1963 года. Как в ходе расследования сообщал Генеральному прокурору СССР Р. Руденко прокурор Азербайджанской ССР С. Акперов, «в городе Сумгаите не впервые во время демонстрации проносили портрет Сталина. Такие случаи были в первомайские демонстрации 1962 и 1963 гг., и в октябрьские торжества в 1962 году». Демонстранты проносили обычно и маленькие портреты Сталина, «чему никто не препятствовал»... Работники милиции, дружинники и ответственные за прохождение колонн демонстрантов «получили указания отнимать портреты Сталина, если таковые появятся»... В ответ на эти действия образовавшаяся толпа, насчитывавшая примерно 100 человек, бросилась на дружинников, завязалась драка. Начавшееся столкновение шло в звуковом сопровождении здравниц в честь покойного генералиссимуса (58). Портрет Никиты Хрущева, висевший у трибуны, «осквернили» – забросали камнями. Откуда-то достали и подняли над толпой оставшееся со старых времен огромное изображение Сталина. Где же профессура и призывы к свободе?

В ряде городов Никите Сергеевичу лично пришлось столкнуться с возмущением народа. Так, в Новосибирске и Караганде ему случилось буквально убегать от разбушевавшихся людей. Из Горького после митинга, на котором народу объявили о замораживании облигаций, пришлось уезжать ночью. В Киеве, Новороссийске, Ташкенте на улицах собиралось много недовольных по поводу запрета содержания скота в

рабочих поселках. «Скот в рабочих поселках» – об этом ли думала передовая интеллигенция эпохи?

Государство вынуждено пошло за «народным сталинизмом», спасаясь от массового голодного недовольства, а интеллигенция, как обычно, обитала в мире галлюцинаций. К. Чуковский: «Сталинская полицейщина разбилась об Ахматову... Обывателю это, пожалуй, покажется чудом – десятки тысяч опричников, вооруженных всевозможными орудиями пытки, револьверами, пушками – напали на беззащитную женщину, и она оказалась сильнее. Она победила их всех. Но для нас в этом нет ничего удивительного. Мы знаем: так бывает всегда. Слово поэта всегда сильнее всех полицейских насильников. Его не спрячешь, не растопчешь, не убьешь» (59). Как всегда, любимая метафора – одинокий поэт повергает к своим ногам сонмища сатрапов. Целый слой общества живет в мире галлюцинаций.

VI

Массовые народные выступления, подобные новочеркасским, способные придать новый импульс и направленность советскому организованному инакомыслию, сошли на нет именно в период расцвета диссидентского движения. Когда же власти исчерпали кредит доверия, потеряли из-за обострившихся экономических проблем способность покупать лояльность «молчаливого большинства», то и диссиденты уже не имели сил обернуть ситуацию в свою пользу. Пришлось открыто использовать иностранную помощь – идеологическую, пропагандистскую и финансовую.

Давление государственного аппарата в период жесткой послевоенной регламентации предопределило органический антикоммунизм ушедшей в метафорическое подполье интеллигенции, стало благодатной почвой для воскрешения исконных традиций недоверия к властям. С. Кара-Мурза: «Конечно, таких, кто открыто хулил советский строй (в основном, по следам разоблачений Сталина), да еще бравировал этим, у нас на факультете было немного» (53). Но многим хотелось участвовать в устройстве судьбы народа.

А неумное желание просветить темный народ, разумеется, в лучах своего представления о счастье! «Россию может изменить миллион сознательных просветителей, пропагандистов идеи добра и права», – провозглашал Д. Самойлов (61). Именно образованные люди составляли наиболее идеологизированный и политически активный слой советского общества. Их образование, а в большинстве случаев – и карьера, имели прямое отношение к идеологии, даже если они

относились к ней как к ритуалу^[220]. Недаром, как показывали опросы, большинство советских рабочих и крестьян отождествляли «интеллектуалов» с начальством, относясь и к тем, и к другим с подозрительностью (62).

Однако массовые народные выступления все-таки дарили утомившимся ждать интеллигентам некоторую надежду на скорую смену режима. Неусыпная и неумолимая государственность, основанная на принципе служилого консенсуса, когда все слои общества исправно несут свою долю тягот, должна была быть заменена избирательно щадящей, избирательно снисходительной государственностью: по-старому требовательной к тем, кто внизу, и по-новому – «толерантной» к тем, кто наверху. Взошло солнце «шестидесятничества».

Среди ожидающих скорых перемен числилась разномастная публика – потомки репрессированных, представители творческой интеллигенции, «золотая» молодежь и причудливая смесь всех перечисленных ингредиентов. «Наступили благополучные 1960-е годы, и третье поколение номенклатуры уже сильно отличалось от первых. Оно в массе своей пришло не из рабфаков и глухих деревень, это были дети начальства. Они обрели сословное сознание и научились отделять свои сословные интересы от интересов общества и государства. С этого момента, кстати, начинается конфликт правящего сословия с официальной идеологией государства. Она всегда накладывает ограничения на аппетиты привилегированного сословия, напоминает о его обязанностях» (63).

Известно, что автоматически наследуемый характер прав и привилегий развращает высшие сословия, происходит дегенерация элиты. С. Кара-Мурза: «Войны и потрясения замедляют этот процесс, взбадривают

элиту, а в благополучное время вырождение ускоряется. Однако выродившееся “дворянство” вызывает у народа уже не просто вражду, а омерзение. “Дворянство” же платит народу ненавистью и склоняется к национальной измене» (64).

Смутные образы народного разочарования в «высоких идеалах» и номенклатурной «элите» искали для своего выражения подходящий идеологический «материал». Старшее поколение прекрасно помнит вдруг вспыхнувшую среди водителей грузовиков моду на фотографии Сталина за ветровым стеклом. Это была демонстративная критика режима и выражение тоски по «порядку». Но этот народный порыв диаметрально отличался от стремления интеллигенции к получению либеральных прав и свобод. Социалистическое государство было склонно пойти навстречу именно народным массам, допустив осторожную реабилитацию Сталина в политической сфере, в сочетании с энергичным ростом благосостояния народа. Однако рост благосостояния «всего народа» оказался явно не по карману социальному государству: уровень жизни на Западе оставался недостижимым, к большому раздражению уже хорошо информированной интеллигенции. Ну, а неуклюжие попытки реабилитировать И. Сталина вызывали у нее судорожный страх повторения массовых репрессий.

14 февраля 1966 года к Брежневу с открытым письмом обратилась группа интеллектуалов: «Даже если речь идет только о частичном пересмотре решений XX и XXII съездов, это вызывает глубокое беспокойство... Своими преступлениями и несправедливыми делами он (Сталин – *К.К.*) так извратил идею коммунизма, что народ никогда этого не простит... Какой-либо шаг в направлении его реабилитации безусловно создал бы угрозу нового раскола в рядах международного коммунистического движения, на этот

раз между нами и компартиями Запада. С их стороны такой шаг был бы расценен, прежде всего, как наша капитуляция перед китайцами...»^[221]. Озабоченными судьбой мирового коммунистического движения оказались, среди прочих, В. Некрасов, К. Паустовский, М. Плисецкая, М. Ромм, А. Сахаров, К. Чуковский и мн. другие персонажи этой книги (67). Рассуждая о прощении/ непростении народом Сталина, авторы письма явно выдавали желаемое за действительное, ибо к тому времени сытые по горло едва закончившимся хрущевским десятилетием граждане СССР вовсю поминали вождя народа незлым тихим словом.

Либеральная риторика, оппозиция «народному сталинизму» – к тому времени не мнение кучки интеллигентов старшего поколения, но представление о жизни весьма широкой образованной прослойки общества, вступившей во взрослую жизнь после сталинской эпохи, тех, кого мы сегодня именуем «шестидесятниками».

VII

Одним из самых важных способов самоутверждения молодого человека – стремление отстоять индивидуальность. Сначала в отношениях с родителями, а потом и в глазах общества. Особенно сложно это сделать в обществе, исповедующем коллективистские ценности. Тогда борьба за индивидуальность превращается в вызов. Такая проблема в городской культуре существовала всегда – и в 1920-е годы, и позже. В тридцатые годы государственный деятель и публицист Л. Сосновский в статье «О культуре и мещанстве» ставит знак равенства между индивидуалистом и мещанином: «Как сориентироваться мещанину в окружающем мире, когда он по природе своей индивидуалист и кругозор его узок? И тогда мещанин, чтобы не заблудиться в мире, выдумывает себе ориентиры: галстук, ботинки, костюм, граммофон – вещи ничего сами по себе мещанского не содержащие» (69). По мнению Сосновского, когда человек относится к человеку в галстук не так, как к человеку без галстука, когда он увлекается граммофоном в ущерб общественной работе – он, несомненно, проявляет мещанство. Но даже т. н. мещанство может быть протестом – попыткой скрыться в своей конуре от железной поступи пролетариата, поставить интересы семьи выше мировой революции или желанием выделиться на фоне серых масс нарядной одеждой.

Мы уже затрагивали в нашей книге вопрос о так называемых стилягах и предысторию их появления. Еще раз нужно подчеркнуть значимость этого движения для дальнейших судеб страны. «Это был крик важной части молодежи о том, что ей плохо, что-то не так в нашем

советском обществе... Стиляги нам показывали что-то, к чему должно готовиться все общество. Этого не поняли, их затюкали». С. Кара-Мурза далее обращает наше внимание на литературные пристрастия сих карбонариев: «Со стилягами наша литераторша имела общий язык – без слов, взглядами. Но иногда казалось, что они общаются где-то вне школы, там, где проходит их главная жизнь – так они понимали друг друга... У нас был литературный кружок, там наша учительница рассказывала о символистах, читала Гумилева, Ахматову. Она и меня туда звала, и я бы не прочь был ходить и слушать. Но **там было что-то чужое и даже враждебное** (выделено мной – К.К.) странно и неприятно. Это было что-то новое. Вернее, раньше оно, наверное, тоже было, но пряталось, а теперь стало осторожно выходить на свет» (70).

После войны в СССР наблюдался постепенный, но совершенно замечательный рост числа лиц с высшим образованием. Цифры приводятся согласно «Истории Советского Союза» Джеффри Хоскинга (72):

	Высшее образование	Среднее образование
1959	3,3%	40%
1970	6,5%	58,8%
1979	10,0%	70,5%

А ведь это миллионы весьма неплохо образованных, благодаря советским стандартам образования, людей! М. Жванецкий жалуется в интервью «Московскому комсомольцу»: «Мне хочется, чтобы в моей аудитории было больше инженеров и ученых, как в советское время. Я совершенно не скучаю по советскому времени, но по публике, которая уехала, я скучаю» (73).

Удивительное непонимание, что время и публика – это взаимосвязанные вещи, или лукавство? Так вот, новая образованная публика жаждала самовыражения, и не в той жутко регламентированной форме, что утвердилась в сталинское время. Обмен мыслями, мнениями реально необходим мыслящему человеку. Поскольку государство проблему игнорировало, за дело взялась самодеятельность – благо опыт стенгазеты имелся почти у каждого нашего человека. Наступает эпоха самиздата.

Первой ласточкой «самиздатовской» литературы в 1961 году стал рукописный журнал «Феникс», составленный Юрием Галансковым. Почти сразу, в 1962 году, этот сборник был уже опубликован на Западе, в журнале «Грани», № 52. Довольно оперативно...^[222] В самиздате публиковались художественные произведения, политические манифесты, различные выступления деятелей искусства, которые отказывалась публиковать официальная печать. Так, в ноябре 1962 года, массово разошелся текст выступления режиссера М. Ромма против антисемитизма. Им восхищались, перепечатывали, распространяли... Уровень вызвавшего восторг публики выступления можете оценить сами: «Вот у нас традиция: два раза в году исполнять увертюру Чайковского “1812 год”. Товарищи, насколько я понимаю, эта увертюра несет в себе ярко выраженную политическую идею – идею торжества православия и самодержавия над революцией. Ведь это дурная увертюра, написанная Чайковским по заказу... Зачем советской власти под колокольный звон унижать “Марсельезу” – великолепный гимн Французской революции? Зачем утверждать торжество царского черносотенного гимна?.. Впервые после Октябрьской революции эта увертюра была исполнена в те годы,

когда было выдуманно слово “безродный космополит”, которым заменялось слово “жид”» (74). Здесь мы видим квинтэссенцию либеральной идеи: неприятие русской истории и культуры («дурная увертюра») плюс восторженная оценка Запада (французский гимн – «великолепный», а русский – «черносотенный»); просматривается неприятие восстановления имперскости России, и – что касательно последнего предложения – обычное передергивание фактов.

Тем не менее, самиздат некритически воспринимался как некое неподцензурное «свободное слово», а «свободное» – значит, истинное. Сегодня схожую функцию пытаются усмотреть в существовании интернета, в движении блогеров, и многие в это тоже верят. Наилучшим объектом для управления человеческим восприятием являются именно интеллектуалы – не только из-за предсказуемости их мировоззрения, но и благодаря высокомерному чувству своей якобы неуязвимости. Чем пользуются действительно умные и циничные люди.

О неподцензурной литературе своей молодости вспоминает А. Козлов: «Эти листочки (самиздатовская литература – *К.К.*) попали ко мне... когда я уже созрел для внутренней эмиграции и уже начал понимать, что они во многом неправы, в первую очередь, в оценке джаза и вообще Америки». Что же подвигнуто молодого джазмена на такие радикальные выводы, как «внутренняя эмиграция»? Следует пример самиздата от Козлова: «Осел-стиляга, славный малый,/ Шел с бара несколько усталый/ Весь день он в лиственном лесу/ Барал красавицу-лису» (75).

«Борал», или «барал» на жаргоне стиляг понимаете что? И смех, и грех...

Зато приговор В. Ерофеева пышет уже откровенной ненавистью: «Я понимал, что комсомольцы из горкома и есть враги, которые захотят у меня мои тетрадки. Они

же сказали, когда исключали меня из комсомола за любимого Ницше, что я страшнее убийцы. Потом я видел этих комсомольцев в заграждении вокруг Успенского собора на Пасху» (76). Не эти ли знакомые образы мы встречаем в поэме «Москва – Петушки»: «...а оттуда, издали, где туман, выплыли двое этих верзил со скульптуры Мухиной – рабочий с молотом и крестьянка с серпом, и приблизились ко мне вплотную, и ухмыльнулись оба. И рабочий ударил меня молотом по голове, а потом крестьянка – серпом по яйцам...»

«Ничего, ничего, Ерофеев... Талифа куми, как сказал спаситель, то есть – встань и иди».

Вот этот момент – встать и упрямо идти – против давящей системы, а порою и против собственной страны, стал лейтмотивом всего диссидентского движения.

Во взаимодействии с границей диссидентами постепенно отработывалась система максимального воздействия на аудиторию и получения мощного общественного резонанса от протестных акций. Многие публиковали свои письма протеста не только в самиздате, но и в западных газетах, после чего они ретранслировались обратно на СССР «Голосом Америки», «Би-Би-Си», радио «Свобода» – процесс психологической войны между властью и интеллигенцией не оставался без внимания наших оппонентов в холодной войне. Ф. Бобков: «Картины художников-модернистов, нередко слабые, скупались (на Западе) оптом и в розницу. Вокруг их имен создавался “бум”. Конечно же, немедленно вызывавший ответную реакцию: выставки модернистов запрещались, а это, в свою очередь, порождало протест в обществе. Никто не желал идти на компромисс. На улицах и в других местах возникали демонстрации, на которых выступали художники-авангардисты, заявляя, что власти душат их искусство, не давая развиваться

новым направлениям, которым, безусловно, принадлежит будущее» (77). Глупость власть имущих нередко приводила к прямым столкновениям, как, например, во время легендарной «бульдозерной выставки» 1974 года. Указание снести выставку бульдозерами поступило из Черемушкинского райкома партии, секретарем которого в то время был некий Б. Чаплин. Этот дикий вандализм остановили, но немало картин было погублено. Имиджевые потери неисчислимы.

Можно вспомнить и «Самое молодое общество гениев»- СМОГ. «Смогисты» начали бунтовать в Москве еще в 1965-1966 годах. Многотысячные аудитории собирали их поэтические выступления. Пытались они проводить и политические акции. Среди них босая демонстрация к западногерманскому посольству; был и список «литературных мертвецов», прибитый к двери Центрального дома литераторов. Вождем их был некий Леонид Гурбанов, умерший в возрасте 37 лет от последствий алкоголизма. Но мало кто знает, что из рядов СМОГа вышли знаменитые диссиденты Владимир Буковский и Вадим Делоне (кстати, приятель В. Ерофеева). Числилась на их счету и демонстрация в поддержку Синявского/Даниэля.

Напомню, еще в пятидесятых молодые советские литераторы А. Синявский и Ю. Даниэль стали публиковать свои произведения за границей под псевдонимами Абрам Терц и Н. Аржак. Литераторы, осмелившиеся перейти границы дозволенного, были изобличены и после публичного процесса осуждены. Тогда 63 писателя обратились в правительство с просьбой взять их на поруки. В том числе: Антокольский, Ахмадулина, Каверин, Копелев, Левитанский, Мориц, Нагибин, Окуджава, Тарковский, Лидия и Корней Чуковские, Шатров, Шкловский, Эренбург... Каждый из подписантов был наказан: одни

получили выговор, другие – строгий выговор, третьим – поставлено на вид. В. Каверин: «Помню, как мы смеялись тогда над выговорами К. Чуковскому, В. Шкловскому и И. Эренбургу» (78). Решения суда, в свою очередь, поддержал М. Шолохов: «Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные двадцатые годы, когда судили, не опираясь на разграниченные статьи Уголовного кодекса, а руководствуясь революционным правосознанием, ох, не ту меру получили бы эти оборотни. А тут, видите ли, еще рассуждают о суровости приговора» (79).

Против М. Шолохова немедленно выступила Л. Чуковская: «Беллетристика, повесть, роман, рассказ – словом, литературное произведение, слабое или сильное, лживое или правдивое, талантливое или бездарное, есть явление общественной мысли и никакому суду, кроме общественного, литературного, ни уголовному, ни военно-полевому не подлежит. Писателя, как и всякого советского гражданина, можно и должно судить уголовным судом за любой проступок – только не за его книги. Литература уголовному суду не подсудна. Идеям следует противопоставлять идеи, а не тюрьмы и лагеря...» (80).

Писатели активно заступались и за поэта И. Бродского. В его поддержку К. Чуковский и С. Маршак отправили в Ленинград, в народный суд Дзержинского района, где будущего лауреата Нобелевской премии судили по обвинению в тунеядстве, телеграмму. В ней говорилось: «Иосиф Бродский – талантливый поэт, умелый и трудолюбивый переводчик... Мы просим Суд... учесть наше мнение о несомненной литературной одаренности этого молодого человека» (81). Правда, судья отказался приобщить эту телеграмму к делу, поскольку она не была заверена нотариально.

Четко оформившемуся кругу либеральной интеллигенции противостояла группировка, стоявшая

на более консервативных позициях «народного сталинизма» и государственничества. В. Каверин определил ее как «группа православноантисемитских писателей, доходившая до оппозиционности «справа» (какова терминология!) (82). Они, в значительной мере опирались на авторитет М. Шолохова. Любопытное замечание мы находим в дневниках К. Чуковского, когда он говорит о смерти известного писателя Гладкова: «Последний раз я видел его на Втором съезде писателей, когда он выступил против Шолохова. По его словам с этого времени и началась его болезнь. Он, по его словам, не готовился к съезду и не думал выступать на нем. Но позвонил Суслов: “вы должны дать Шолохову отпор”. Он выступил, страшно волнуясь... После его выступления против Шолохова он стал получать десятки анонимных писем – ругательных и угрожающих – “Ты против Шол., значит, ты – за жидов, и мы тебя уничтожим!”» (83) Обратите внимание – главный коммунистический идеолог говорит о необходимости «отпора» Шолохову, видя в нем проявление русского национализма, угрожавшего основам государственной власти! И небезосновательно. Как мы помним, именно вспышка национального самомнения, вроде продекларированного «выхода» России из СССР, привела, в конечном итоге, к краху державы, ослабленной либеральными реформами М. Горбачева.

Полемику двух идеологически враждебных лагерей, периодически выплескивавшуюся на страницы прессы, описывает в «Таинственной страсти» В. Аксенов. Речь идет, по мере поступления персонажей, об известных литераторах – Рождественском, Грибачеве, Евтушенко, Вознесенском, Софронове, Кочетове: «В недавнем номере “Юности” был напечатан публицистический стих Роберта, явственно показывающий, что именно на молодых и бескомпромиссных должна опираться наша партия, а вовсе не на заматерелых сталинистов и

исторических приспособленцев. Вскоре после этого в “ЛитРоссии” появилась статья Грибочуева о молодой советской поэзии. Вслед за статьей явился и стих “Нет, мальчишки!”. Этот узкогубый и вечно до чрезвычайности суровый поэт и публицист, считавший себя самым верным “солдатом партии”, для левого крыла литературы был живым жупелом всего отжившего, то есть отринутого послесталинской молодежью. В таких обзорных опусах правого крыла чаще всего долбили всяких богемщиков, модников, авангардистов вроде Яна Тушинского и Антона Андреотиса, однако на сей раз “солдат партии” сосредоточился не на них, а на устойчивом и целеустремленном кумире молодежи Роберте Эре... Грибочуев почти впрямую заострялся на идеологической попытке отсечения современной молодежи от героического поколения, к которому он и сам принадлежал наряду с двумя другими китами сталинизма, Суфроньевым и Кычетовым...» (84)

О последнем, можно сказать, «эталонном сталинисте» В. Кочетове поподробней. В жизни Кочетов хотел быть одновременно пламенным коммунистом и преуспевающим литератором, богатым и причудливым человеком. У него была знаменитая на всю литературную Москву возлюбленная, интеллектуалка и отчасти диссидентка. Он громил «ревизионистов» в своих романах и статьях, а в жизни помогал им деньгами и импортными лекарствами, оказывал поддержку В. Шукшину, собирал старинный фарфор. С этим фарфором вышла ужасная вещь. В романе «Чего же ты хочешь?» Кочетов под именем Саввы Богородицкого изобразил писателя-славянофила Владимира Солоухина, который якобы просил знакомого художника разрешения прийти к нему в мастерскую, когда тот обнаженную натуру пишет; дескать, хотел на голую бабу поглядеть при свете.

Такого хамства Солоухин не стерпел и однажды позвонил Кочетову прямо в дверь. Тот открыл. У здорового Солоухина была в руке тяжелая трость. Кочетов убежал и заперся в спальне. Солоухин переколотил тростью весь старинный фарфор, который стоял на стеклянных полках в гостиной, и ушел. Дело было утром. Кочетов вызвал машину и тут же помчался в ЦК КПСС. Но товарищи из ЦК брезгливо спросили: «А почему, собственно, вы не обратились в милицию, товарищ Кочетов?». Потрясенный Кочетов запил и, в конце концов, застрелился... (85)

При всей анекдотичности случая, мораль сей басни такова – вырождавшаяся советская элита под конец не желала заступаться даже за своих верных, до фанатизма преданных оруженосцев. И когда пришел час – некому было ее защитить.

VIII

Сегодня к числу «правых» писателей, как правило, относят и А. Солженицына, с его патриархальными и даже монархическими воззрениями. Но тогда «прогрессисты» ценили то, что воззрения Александра Исаевича были бескомпромиссно-антисоветскими. Прозападные либералы, да и старая интеллигенция обожествляли Солженицына. А. Ахматова, по свидетельству Л. Чуковской, восторженно говорила о нём: «Све-то-но-сец!». «Сказала она торжественно и по складам. Мы и забыли, что такие люди бывают. Глаза, как драгоценные камни. Строгий, слышит, что говорит» (86).

Правда, очутившись в эмиграции, А. Солженицын либералов всячески поносил, вдребезги с ними разругался и даже был остроумно высмеян В. Войновичем в образе Сим Симыча Карнавалова в романе «Москва 2042». Но главную свою функцию «светоносец» выполнял исправно – Страну Советов ненавидел, мировое общественное мнение к тому же склонял, президента Рейгана к крестовому походу против своей родины призывал. И даже под конец жизни с деланным изумлением на ее пепелище потоптался – дескать, как же так получилось? Но все это в будущем, а пока...

Е. Булгакова: «20 октября (1965 г.) Сегодня позвонила жена Солженицына, уговорились, что придут часа в четыре. Пришли. Не успели поговорить, как пришел Тед и привел с собой некоего Сучкова Федора Федотовича – из “Сельской молодежи” – что-нибудь напечатать просит из Булгакова... Он, после ухода тех двух, строго (по своей манере) допросил меня, кто да кто, зачем приходили, откуда я их знаю. Ох, до чего неповторимый человек. И до чего ужасно, что они не

встретились с Мих. Аф. – вот была бы дружба, близость, полное понимание друг друга», – восторгается бесцеремонным допрошателем Елена Сергеевна (87). А ведь Булгаков в середине шестидесятых уже священный миф; по выражению Виктора Ерофеева, существует некая когорта «писателей со священными для русского либерального уха именами, назовем их условно “Булгаков”» (88)

Итак, вдова писателя видит в Александре Исаевиче единомышленника святого для нее человека. Причем, Елена Сергеевна не коротала жизнь в одиночестве и не свихнулась на светлых образах прошлого. Наоборот, Булгакова оставалась в центре художественной жизни столицы: к ней заходили в гости Паустовский, Симонов, Ахматова, Раневская, Рихтеры, Лакшин, перебивал весь МХАТ^[223]. Было с кем сравнить «светоносца». Но вначале все в восторге, и Александр Исаевич пафосно провозглашает: «В чем состоит наш экзамен на человека: не лгать! Не участвовать во лжи! Не поддерживать ложь!»

Прозрение пришло позже. С горечью рассказывает дочь поэта и редактора «Нового мира» А. Твардовского Валентина о том, как предал Александр Исаевич человека, открывшего его творчество: «Солженицын жил по принципу: “Цель оправдывает средства”. По отношению к журналу, который его печатал и, единственный, защищал от нападок, он поступал вероломно, считая себя свободным от всяких обязательств, грубо обманывая “новомирцев”. С гордостью повествовал, что остался “лагерным волком”, что приходил в редакцию “с ножом за голенищем”. Александр Трифонович с его открытостью и искренностью не мог принять подобного двоедушия. Отчуждение от Солженицына, судя по записям в его (А. Твардовского – К.К.) дневнике, с середины 60-х годов

быстро нарастало». И даже «похороны Твардовского Александр Исаевич попытался использовать для своего пиара...» (89)

Далее Солженицын отправляет на Запад «Архипелаг ГУЛАГ» и в декабре 1973 года книга выходит в Париже. Произведение абсолютно антисоветское и, кроме того, тенденциозное – как по сомнительному фактажу, так и по приведенным в нем астрономическим цифрам.

«Вдумаемся: если один из оппонентов в дискуссии только лишь скрывает некоторые сведения, то разве это дает его противнику право на любые домыслы? И этот принцип проповедовал тот самый Солженицын, который учил других “жить не по лжи”? – пишет Г. Сысоев в своей «Фашизофрении» и продолжает, – поначалу в среде умолчания, какой и была советская среда, человек, который первым выкрикнет: “Нам всё врал!” – становится пророком в своем отчестве. Этот прием очень эффективен – тот, кто его применяет, становится центром иногда довольно обширного круга с почтением внимающих, становится носителем некоего тайного знания, недоступного большинству» (90).

Происходит это, увы, всё от той же малограмотности большинства. И она бывает вынужденной, как закономерное следствие недоступности информации. Но когда же информация раскрывается, возникает чувство недоумения, перерастающее затем в негодование: оказывается, пророк врет поболее тех, с кем сражается... Это и дает право писателю-эмигранту В. Войновичу вопрошать: «Если он учит нас жить не по лжи, а сам своим заветам не следует, должен ли я уважать его поучения?» (91) Решение опубликовать «Архипелаг ГУЛАГ» на Западе, как утверждает автор, было вызвано тем, что женщина из Ленинграда, которой он доверил рукопись, Елизавета Вороньянская, выдала место хранения копии после пяти

бессонных ночей, проведенных в застенках КГБ в августе 1973 года. Ее освободили после того, как нашли рукопись, и она повесилась. Автор понял, что у него нет иного выхода, как опубликовать книгу: в ней было несколько сотен имен людей, снабдивших его информацией.

И в этот раз реакция советского мастодонта была предсказуемой, и, разумеется, неуклюжей. Далее, по накатанной схеме. «Письмо в редакцию газеты «Правда»: «Советские писатели всегда вместе со своим народом и Коммунистической партией боролись за высокие идеалы коммунизма, за мир и дружбу между народами. Эта борьба – веление сердца всей художественной интеллигенции нашей страны. В нынешний исторический момент, когда происходят благотворные перемены в политическом климате планеты, поведение таких людей, как Сахаров и Солженицын, клеветующих на наш государственный и общественный строй, пытающихся породить недоверие к миролюбивой политике Советского государства и по существу призывающих Запад продолжать политику “холодной войны”, не может вызвать никаких других чувств, кроме глубокого презрения и осуждения». Подписи: Ч. Айтматов, Ю. Бондарев, В. Быков, Р. Гамзатов, О. Гончар, Н. Грибачев, С. Залыгин, В. Катаев, А. Кешоков, В. Кожевников, М. Луконин, Г. Марков, И. Мележ, С. Михалков, С. Наровчатов, В. Озеров, Б. Полевой, А. Салынский, С. Сартаков, К. Симонов, С. Смирнов, А. Софронов, М. Стельмах, А. Сурков, Н. Тихонов, М. Турсун-заде, К. Федин, Н. Федоренко, А. Чаковский, М. Шолохов, С. Щипачев (92).

Уже через 10 дней после выхода «Архипелага» в Париже советский телекомментатор Ю. Жуков демонстрировал по экрану стопку писем, утверждая, что в них негодующие советские люди высказывались против книги. «Нужно признать, что советские

граждане проявили высокую оперативность, успев не только ознакомиться с книгой, но и возмутиться ею. Особенно если принять во внимание тот факт, что она в Москве не продавалась», – ехидно замечает западный комментатор (93). Из статьи И. Соловьева «Путь предательства» («Правда», 14 января 1974 года): «...В последние дни буржуазная печать развернула антисоветскую шумиху в связи с публикацией на Западе очередного клеветнического сочинения А. Солженицына под названием “Архипелаг Гулаг”. На поверхности грязного потока антикоммунистической пропаганды вновь появилось имя отщепенца, который уже много лет сотрудничает с враждебными советскому народу зарубежными издательствами и органами печати, включая белоэмигрантские... Если чем и может поразить читателя названное сочинение, так это, пожалуй, предельной степенью саморазоблачения человека, который смотрит на новое, строящееся общество глазами тех, кто расстреливал и вешал коммунистов, революционных рабочих и крестьян, отстаивая черное дело контрреволюции. Такова логика морального падения, такова мера духовной нищеты этого внутреннего эмигранта (Вспомним, что так рапповская критика называла в 1920-е годы Ахматову, Булгакова и Мандельштама – *К.К.*), лишенного всякой связи с реальной жизнью нашего общества... Солженицын удостоился того, к чему столь усердно стремился, – участи предателя, от которого не может не отвернуться с гневом и презрением каждый советский труженик, каждый честный человек на земле». Ну, и отклики коллег.

М. Шагинян, писатель: «Целиком поддерживаю статью в “Правде”. Удивляюсь нашей терпимости к таким подонкам. Солженицын, оставаясь безнаказанным, разлагает нашу молодежь. И вообще он

никакой не писатель. Я об этом говорила и в Венгрии, и в Швейцарии».

К. Симонов, писатель: «До глубины души возмущен и творчеством, и поведением Солженицына. Целиком согласен с выступлением “Правды”, полностью разделяю все положения, которые высказаны в этой статье относительно Солженицына».

М. Жаров, народный артист СССР: «Этому сукиному сыну нет места среди нас».

Б. Ефимов, народный художник СССР: «Солженицын бесповоротно встал на путь предательства, огульного очернения и охаивания социалистического строя, стал своего рода знаменем для антикоммунистов и антисоветчиков всех мастей».

В числе промелькнувших подписантов официальная творческая элита СССР: здесь мы видим и Симонова, сделавшего так много для публикации Булгакова, и будущих звезд перестройки Быкова и Залыгина, и так часто упоминаемого в нашей книге карикатуриста Ефимова, воистину заслуженных Жарова или Стельмаха. Эти подписи не выбивались под пытками. Где-то, как в случае Шолохова, думаю, ставились вполне искренне, а в случае Катаева, скорее, сработала многолетняя привычка идти в общем русле.

Вскоре А. Солженицын получает Нобелевскую премию по литературе и становится мировой знаменитостью. В. Твардовская, дочь Александра Трифоновича, небезосновательно, на мой взгляд, замечает: «Отвага и мужество Солженицына в этой борьбе определялись именно зарубежной поддержкой. Варлам Шаламов, который не хотел быть орудием “холодной войны”, премии не получил...» (94) Писатели и их круг общения оказывались элементами мировой политики, мелкими колесиками в машине глобального противостояния. Хотя, разумеется, им представлялось всё иначе.

«Мне кажется, это – преддекабристское движение, начало жертвенных подвигов русской интеллигенции, которые превратят русскую историю в расширяющийся кровавый поток. Это только начало, только ручеек», – говорит о диссидентах Чуковский, хорошо знакомый со многими из них через свою дочь Лидию (95). Предчувствия его не обманули – псевдодекабристы все-таки смогли спровоцировать и благословить кровавый поток, который мы увидели при распаде СССР. Далее в своих записях Корней Иванович точно описывает типаж современного ему революционера-шестидесятника. Вглядитесь внимательно: «Пришла к вечеру Таня – с горящими глазами, почернелая от горя. Одержимая. Может говорить только о процессе над Павликом, Делоне, Богораз и др. Восхищается их доблестью, подробно рассказывает о суде, который и в самом деле был далек от законности. Все её слова и поступки – отчаянные» (96). Другой пример «жертвенности» – эталонная революционерка В. Новодворская: «Я честно искала смерти и сейчас ее ищу, но только от руки врагов: я хочу попасть в Вальхаллу»^[224] (97). В обоих случаях мы видим фанатиков, готовых увлечь в пучину все за собой. Скоро фанатики, по примеру народовольцев, и перешли к обыкновенному терроризму – будь-то покушение на Л. Брежнева в январе 1969 года, взрывы в московском метро в 1977-м, захват заложников в обмен на загранпаспорта и почти ежегодные попытки угона самолетов. В. Аксенов, «Таинственная страсть»: «Борьба “отказников” достигла своего апогея, когда группа молодых питерских евреев решила захватить самолет и перелететь на Запад. Увы, произошел какой-то сбой, и все ребята оказались в тюрьме» (98). «Увы»!? Захват самолетов – это терроризм в чистом виде. В результате терактов гибли ни в чем не повинные граждане.

Например, стюардессы «Аэрофлота». Или малоизвестный случай, когда 1 сентября 1973 года преступник сумел пройти в Мавзолей и привести в действие взрывное устройство. Вместе с террористом погибла следовавшая за ним супружеская пара из Астрахани, были ранено несколько школьников, контужены часовые, охранявшие саркофаг, который, кстати, остался невредим. Тоже борьба за свободу?

Такие акции окончательно рвали связи между народом и радикально мыслящими интеллигентами. Народ не хотел потрясений, и его лояльность поощрялась властью постоянно растущей зарплатой и множеством социальных льгот. Поэтому и представляется нам столь любопытным движение диссидентов – воистину отщепенцев, к середине семидесятых окончательно лишившихся **даже видимости** народной поддержки, ибо народ, умиротворенный Л. Брежневым, охотно шел на мировую с властью. Поэт Д. Самойлов констатировал: «Диссидентское движение окончательно сникло, не поддержанное народом» (99).

Диссиденты жили в идеологическом вакууме, и дело даже не во всемогуществе КГБ, на что часто ссылаются. В целом агентура КГБ в конце 1960-х годов составляла около 166 тысяч человек, что весьма далеко от традиционных представлений советских людей об окружавших их повсюду стукачах, хотя и достаточно, чтобы контролировать потенциально опасные для режима социальные слои и группы, часто находясь прямо внутри них. Вспомним, для иллюстрации, запротоколированное сотрудничество с КГБ будущего видного деятеля перестройки и отца литовской независимости В. Ландсбергиса (100).

Изолированная от народа интеллигентская оппозиция пыталась вдохнуть новые силы в угасавшее движение, но её лидеры уже были «под колпаком» КГБ,

а потенциальных «новобранцев» и сочувствующих немедленно «профилактировали». Ситуация подозрительно напоминала одиночество «ходоков в народ» эпохи народовольцев.

Желание любой ценой пробудить народ, который уже затих в своем недовольстве после бунтов начала 1960-х, приводило революционеров в тюрьмы. Но впереди они, как и их предшественники, видели грядущий триумф «свободы». Молодой диссидент А. Альмарик, осень 1970, речь на суде: «Этот процесс имеет целью напугать людей, и многих он напугает. И, тем не менее, начавшийся процесс идеологического освобождения остановить уже нельзя» (101). Однако исторические факты противоречат пышным предсказаниям. Большинство волнений брежневского времени (7 из 9) приходится на начало правления – 1966–1968 годы, а в 1969–1977 годах – пик «брежневизма» или, образно говоря, «расцвет застоя» – не зафиксировано **ни одного** эпизода – полный штиль! (102) Или вот последнее слово издателя «Хроники текущих событий» (январь 1970) Ильи Габая на суде: «... Культ Сталина – это не просто вздорное языческое суеверие. За этим стоит опасность торжества мифической фикции, за этим стоит оправдание человеческих жертвоприношений, ловкая подмена понятия свободы понятием быта» (103). Получилось как раз наоборот – после перестройки, снова манипулируя видимостью «свободы», мы откатились в средневековые со всеми его атрибутами, включая дремучее суеверие, невежество и внушаемость.

Умудренный К. Чуковский предлагал свой путь размывания основ режима: «Теперь, когда происходит хунвейбинская расправа с интеллигенцией, когда слово интеллигент стало словом ругательным – важно оставаться в рядах интеллигенции, а не уходить из ее рядов – в тюрьму. Интеллигенция нужна нам здесь для

повседневного интеллигентского дела. Неужели было бы лучше, если бы Чехова или Констэнс Гарнетт посадили в тюрьму?» (104) Жизненный опыт и мудрость Корнея Ивановича, в конце концов, и подтвердились дальнейшим ходом событий. Наскоком систему одолеть не удалось – началась кропотливая и невидимая работа.

IX

Интеллигентский публичный протест, в отличие от истинно народного, массового, принимал форму неких символических акций, значение которых повышалось с помощью вызванного общественного резонанса – самиздата, «сарафанного» и заграничного радио, передачи информации по знакомым. Таковыми были и малочисленные политические демонстрации, и письма протеста, но наиболее наглядным, что ли, и при этом безопасным методом манифестаций становились похороны знаковых фигур.

Классикой жанра стали похороны Б. Пастернака, затравленного хрущевской властью. Само участие в них стало вызовом системе. Недаром в числе тех, кто несет гроб поэта (точнее, крышку гроба) мы видим А. Синявского и Ю. Даниэля, на которых скоро обрушится карающий меч советского правосудия. В. Каверин: «Народу становилось все больше, молодежь приезжала поездами, кто-то сказал, что над билетной кассой висит написанное от руки объявление: “Скончался великий русский поэт Борис Пастернак. Похороны в Переделкине тогда-то”. Объявление сорвали, оно появилось снова» (105). Молодежь не расходилась до вечера, читали стихи. И на другой день было много народу. Это только булгаковский боров отказывался лететь на незаконное сборище, а полузаконное, с элементом фронды – почему нет? И наоборот, когда умер верный слуга режима, специалист по разносным статьям В. Ермилов, среди писателей не нашлось никого, кто согласился бы нести гроб, – исключительный случай.

Понимая, что похороны легко превращаются в манифестации, власти старались уйти от огласки, обратить прощание в частное дело отдельной семьи.

Целиком оправдано раздражение Корнея Ивановича Чуковского, когда он пишет о похоронах своей ровесницы и друга Анны Андреевны Ахматовой: «Наши слабоумные устроили тайный вынос ее тела: ни в одной газете не сообщили ни звука о ее похоронах. Поэтому в Союзе собралась случайная кучка: Евтушенко, Вознесенский, Ардов, Марина, Таня, Тарковский и др. Тарковский сказал: “Жизнь для нее кончилась. Наступило бессмертие”» (106).

Старались замолчать и то, что умер бард В. Высоцкий, однако его похороны обернулись просто грандиозной демонстрацией: «На фасаде театра висел портрет Высоцкого. Потом по чьему-то распоряжению этот портрет вдруг убрали. Толпа начала волновать, скандировать: “Позор!.. Позор!.. Портрет!.. Портрет!..” И через некоторое время, опять по чьему-то указанию, портрет появился... Поскольку все советские кино- и телеоператоры были заняты на Олимпиаде, то ни один из операторов не был послан для того, чтобы снять похороны» (Э. Рязанов) (107).

Участие в таких неявных демонстрациях стало признаком самоуважения и приверженности к определенному клану мыслящих людей – тварь я дрожащая или право имею? Проблески солидарности интеллигенции, изнывающей среди бессмысленной архаичной пропаганды, и от своей не востребоованности. Нет лучшего стимула для храбрости, нежели безвыходность: *«Господь, вот ты видишь, чем я обладаю. Но разве это мне нужно? Разве по этому тоскует моя душа? Вот что дали мне люди взамен того, по чему тоскует душа! А если б они мне дали того, разве нуждался бы я в этом? Смотри, господи, вот: розовое крепкое за рупь тридцать семь...»*

К слову сказать, сам автор этих проникновенных строк – Венедикт Ерофеев – с диссидентами охотно водился, хотя в записных книжках и отзывался о них

презрительно: «Диссидентов терпеть не могу. Они все до единого – антимузыкальны. А стало быть, ни в чем не правы» (108). Тем не менее, это не мешало ему весьма тесно дружить с известными инакомыслящими Вадимом Делоне и Петром Якиром.

Вадим Делоне был поэтом. После событий в Чехословакии, узнав накануне демонстрации 25 августа 1968 года о планах ее проведения, он принял решение участвовать в ней. Вместе другими участниками демонстрации, среди которых был и П. Литвинов (внук бывшего наркома иностранных дел), был арестован. На следствии и суде Делоне виновным себя не признал. В своем последнем слове, сказав, что в течение пяти минут на Лобном месте он чувствовал себя свободным человеком и готов платить за это годами неволи, он призвал суд «не к снисхождению, а к сдержанности».

Позже, после эмиграции Вадима Делоне, его дед, академик Борис Делоне, разрешил В. Ерофееву жить на своей даче в Абрамцеве. Дача Делоне стала любимым местом пребывания Венедикта Васильевича. В пометках В. Ерофеева натыкаемся на запись: «24. X. В числе гостей – Якир, дед Делоне» (109). Потомок репрессированного военачальника Петр Якир в 1972 году был арестован вместе с Виктором Красиным, стал давать показания на других участников правозащитного движения (так же, как и Красин), покался. В награду за сотрудничество получил лишь три года ссылки в Рязани. Публичное покаяние Якира и Красина, частично показанное по советскому телевидению, спровоцировало длительный кризис всего правозащитного движения. Позже, в 1982 году, в письме к сестре Тамаре, Ерофеев бегло замечает: «Только что узнал еще об одной смерти: мой приятель Петр Ионыч Якир, сын знаменитого командарма и отец вышеупомянутой Ирины Якир, скончался от цирроза печени» (110).

Однако не только последствия алкоголизма губили так и непонятых народом диссидентов. Часто это были, как бы выразиться помягче, просто легко внушаемые люди. Так, 10 ноября 1975 года иностранные корреспонденты в Москве смогли ознакомиться с письмом грузинского писателя Звиада Гамсахурдия, в котором диссидент всерьез повествовал, как в Тбилиси дом его окуривается какими-то ядовитыми газами (111). Впрочем, короткая история президентства Звиада Константиновича в начале 1990-х – лучшая иллюстрация его психического нездоровья.

Но, если быть до конца откровенным, бывало советская психиатрия сознательно калечила диссидентов. Опыт советской репрессивной психиатрии вдохновил В. Ерофеева на создание пьесы «Вальпургиева ночь, или Шаги командора», где образ инакомыслящего, истязаемого психиатрами, получил космический размах. Ерофеев наверняка знал о прелестях отечественных методов лечения от своих друзей. Легендой среди них стал академик А. Снежневский, который освидетельствовал известных диссидентов П. Григоренко, В. Буковского, Л. Плюща и др. Он ввел, как показание к заключению в психиатрическую клинику, новое психическое заболевание «вялотекущую шизофрению» и «навязчивый реформаторский бред». Многим отечественным политикам не мешало бы провериться и сейчас, но тогда за подобные художества наших психиатров в 1977 году исключили из Всемирной психиатрической ассоциации. Самому же академику, вкалывавшему назойливым реформаторам галоперидол, приписывали афоризм: «И инакомыслящие живы, и общество чище» (112).

Ещё раньше мы приводили пример старого большевика А. Сольца, упрятого в сумасшедший дом за то, что не считал процессы над врагами народа

достаточно обоснованными. И до того мы можем усмотреть как в «Золотом теленке» (похождения бухгалтера Берлагги)^[225], так и в «Мастере и Маргарите» (история заточения Мастера), описание психиатрических клиник – некое зазеркалье жизни в СССР. Описания во многом реального. Так, прототипом булгаковского профессора Стравинского стал известный врач-психиатр Е. Краснушкин, один из организаторов института судебной психиатрии им. Сербского. Интересная деталь: летние месяцы Е. Краснушкин работал в больнице В. Яковенко на станции Столбовая. Зачастую там гостила его дочь Татьяна, студентка ГИТИСа со своими сокурсниками, в том числе и А. Галичем, сочинившим под впечатлением от поездок песню о «Белых Столбах». Единый круг отечественной интеллектуальной элиты.

Кроме реально обиженных Советской властью потомков репрессированных, открыто диссидентские взгляды исповедовали либо писатели, либо ученые. Наиболее заметным из ученых считается академик А. Сахаров. Знаменитый генетик Н. Тимофеев-Ресовский (легендарный «Зубр» из повести Д. Гранина), прочитав в мае 1968 года принесенный ему кем-то «меморандум» академика Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», высказался о нем крайне критически: «...Вы представляете, что... будет, если у нас вдруг демократия появится... Ведь это же будет засилье самых подонков демагогических! Это черт знает что!.. Прикончат какие бы то ни было разумные способы хозяйствования, разграбят все, что можно, а потом распродадут Россию по частям. В колонию превратят... Вы читали это знаменитое письмо академика Сахарова?.. Оно по Москве ходит... Такая наивная чушь... какая-то устарелая технократия предлагается... человек не знает, что делается в мире, не понимает в политике, в экономике...» (113) Время полностью подтвердило правоту Тимофеева-Ресовского.

Возможно, причина исключительной наивности состоит в том, что Сахаров стал академиком в 32 года и оказался, таким образом, самым молодым членом Академии наук: обычной жизни, по большому счету, не знал. От того и предлагал проекты один фантастичней другого, или судил о мировом устройстве, или вдруг безапелляционно предсказывал, что «у националистов нет перспектив, они сходят на нет» (114).

Более того, Андрей Дмитриевич был из тех людей, которые, «раз уверовав во что-то, стоят на этом до

конца», – так, во всяком случае, высказывался его соратник С. Ковалев на похоронах Сахарова (115). То есть абсолютный догматик. А направить «раз уверовавшего» в нужное русло – раз плюнуть. Умелая манипуляция и подмена понятий – и интеллеktуал готов вцепиться в очередной рецепт счастья. Американский журналист и сатирик Генри Луис Менкен как-то метко заметил: «Каждая сложная проблема имеет простое, очевидное, удобопонимаемое, легко-осуществимое неверное решение». Многие мемуаристы считают, что рецепты счастья академику настойчиво рекомендовала его супруга – Елена Боннэр, приемная дочь репрессированного крупного партийца Геворка Алиханяна.

А. Сахаров был далеко не единственным инакомыслящим в научной среде и каста ученых умело защищала своих коллег. Так, например, в октябре 1970 года группе ученых (тогда в их числе были академики Сахаров, лауреаты Нобелевской премии Тамм и Семенов и даже член ЦК, президент Академии наук СССР Келдыш) удалось добиться освобождения из психиатрической больницы известного биолога Жореса Медведева, автора ряда книг, распространяемых самиздатом. Когда же очередь дошла до самого Сахарова, советские власти сдуру предписали Академии наук СССР исключить Андрея Дмитриевича из числа академиков. Наказание обернулось конфузом. На общем собрании президент АН СССР А. Александров объявил: «Сейчас мы должны рассмотреть вопрос об исключении А.Д. Сахарова. Правда, такого прецедента в академиях наук еще не было». Академик П. Капица легко парировал председательствовавшего: «Неправда, такой прецедент был – в 1933 году Эйнштейна исключили из Прусской академии». Александров помедлил и сказал: «Итак, переходим к следующему вопросу повестки дня» (116). И всё. Если запрет на печать очередного опуса

был для власти вопрос всего лишь идеологии, то преследование деятелей науки, ковавших меч государства, грозил существованию самого строя, который до сих пор не мог залечить раны, нанесенные передовым научным школам сталинским руководством. В состязании умов незаменимые, оказывается, есть.

«Кровожадная» Советская власть ничего не смогла поделаться со сморщенным старичком еще и потому, что для всего социалистического строя наступили принципиально иные времена. Прямое применение насилия в условиях информационной открытости СССР миру и острой конкуренции за симпатии мирового общественного мнения оказалось невозможным без серьезных имиджевых потерь. По мере размывания основ строя понижалась и идеологическая мотивация для применения силы против сограждан. Социолог З. Бауман разъясняет природу подобной «нерешительности»: «Восприятие случайного, “обычного” и “нормального” использования силы как “насилия” изменяется в зависимости от степени легитимности социального устройства. Если претензии того или иного строя на легитимность выглядят слабыми и плохо обоснованными, большая часть усилий, предпринимаемых ради поддержания порядка, будет воспринята как насилие...» (117).

Виной утраты социалистическим государством своего **права** применять насилие для защиты социалистического строя стала полностью переродившаяся партийная элита. Народ был утихомирен, наиболее радикальные диссиденты нейтрализованы. Но осталась партийная верхушка и тесно примыкающая к ней либеральная элита интеллигенции. Эта партийная номенклатура была уже прослойкой образованной, изнеженной, привыкшей жить в привилегированном положении. «Партийцы конца 20-х – начала 30-х годов были еще почти такими

же убежденными, как коммунисты в капиталистических странах. Теперешние же члены КПСС, если в чем-нибудь и убеждены, то только в том, что они вынуждены официально произносить заведомую ложь, – отмечал автор знаменитой книги «Номенклатура» М. Восленский. – Любая неудача номенклатуры вызывает ныне среди членов партии осязаемое чувство удовлетворения. Это неосознанное настроение пораженчества – важная черта современного состояния КПСС» (118). Современный российский философ А. Панарин видит в этом даже фрейдистские мотивы: «Наши правящие реформаторы потому ведут свою родословную от “хрущевской оттепели”, что именно тогда была выдвинута инициатива государственного “отцеубийства”, позволившего привилегированным “Эдипам” уходить от всякой национально-государственной ответственности... Может быть, истинная наша трагедия состояла в том, что мы незаметно для себя осваивались в роли юношей Эдипов, мечтающих сбросить всегда слишком нелегкое в России государево служилое бремя и пошалить в отсутствие Отца...» (121).

Одинокие партийные идеалисты, вроде Роя Медведева или Лена Карпинского, мечтавших возродить «ленинские» принципы «социальной справедливости», оказались выброшены на номенклатурную помойку и тоже подались в инакомыслящие. Даже притом что, наиболее дальновидные руководители КПСС видели опасность разложения партии, отторжения ею умеренных реформаторов. Однажды Ю. Андропов печально заметил: «Плохо, что такие как Карпинский уходят от нас. Это свидетельство – в нашем доме не все ладно» (119). Или другой пример трансформации убеждений ранее лояльных советских интеллигентов. С. Глузман, психиатр и правозащитник, вспоминает об известном

диссиденте Г. Снегиреве, которого мы также цитировали в этой книге: «Я готов утверждать, что он не был фанатичным диссидентом. Думаю, у Гелия, каким я его знал, и в мыслях не было того, что он потом делал и за что, собственно, пострадал. Он принадлежал к категории, пользуясь обычной терминологией, проституирующих советских интеллигентов, которые прекрасно все понимали и не имели иллюзий ни по отношению к собственному правительству, ни по ситуации с правами человека в собственной стране, но при этом совершенно цинично использовали свою профессию, чтобы зарабатывать деньги на хлеб себе и семье. Так жили в подавляющем большинстве все художники, писатели и прочие гуманитарии. Так жил и Гелий...» (120). И даже эти – «циничные» и «проституирующие» – тоже вынужденно уходили в оппозицию...

Отворачивались от партии не только постаревшие комсомольцы, но и целые поколения молодых интеллигентов, не желавших жить в удушающей атмосфере последних лет Советской власти. В стране принудительного труда даже сам навязываемый труд на благо общества начал восприниматься как форма рабства, бегство от обязательного труда – как форма освобождения. Миллионы людей с вожделением вчитывались в строки, где описывалось недолгое счастье Мастера в Стране Советов: *«Выиграв сто тысяч, загадочный гость Ивана поступил так: купил книг, бросил свою комнату на Мясницкой... Нанял у застройщика две комнаты в подвале маленького домика в садике. Службу в музее бросил и начал сочинять роман о Понтии Пилате».*

Сейчас, наверное, это назвали бы модным словом «дауншифтинг», то есть некое понижение оборотов жизни, сознательный **отказ от участия** в крысиных

гонках. Тогда такого термина еще не существовало, но витало общее настроение. Ерофеев взывает:

«О, если бы весь мир, если бы каждый в мире был бы, как я сейчас, тих и боязлив и был бы также ни в чем не уверен: ни в себе, ни в серьезности своего места под небом – как хорошо было бы! Никаких энтузиастов, никаких подвигов, никакой одержимости! – всеобщее малодушие. Я согласился бы жить на земле целую вечность, если бы мне прежде показали уголок, где не всегда есть место подвигам. “Всеобщее малодушие” – да ведь где это спасение ото всех бед, эта панацея, этот предикат величайшего совершенства!»

И такие «малодушные» люди в изобилии появились в СССР в конце 1960-х и начале 1970-х годов – занесенное как зернышко западной цивилизации и неожиданно проросшее на скудной почве развитого социализма движение хиппи. Форма свободы в несвободном государстве – минимизация рабочих усилий в качестве сторожей, кочегаров, дворников, максимизация свободы передвижения с помощью автостопа.

А начиналось все с «Солнечной системы», то есть круга общения московского хиппи по кличке Солнце, о котором подробно пишет джазмен А. Козлов: «...я познакомился с легендарным человеком по прозвищу “Солнце”, негласно считавшимся одним из предводителей движения (хиппи) в Москве. Он долго сидел в психушке после того, как его “повязали” на демонстрации, организованной им напротив американского посольства накануне приезда американского президента Никсона в Москву. Тогда миролюбиво настроенные московские хиппи вышли на несанкционированную демонстрацию с лозунгами “Американцы – вон из Вьетнама!”. Несмотря на антиамериканские лозунги, власти сурово разделались

с демонстрантами...^[226] (В психушке – *К.К.*) его, как и всех там, постоянно обкалывали препаратом под названием аминазин. От него человек становился спокойным и послушным, правда, побочным действием было повышенное слюноотделение, что приводило к постоянному наличию пузырей в области рта. Когда бунтарей все-таки выпускали на свободу, то брали с них подписку о том, что они впредь не будут появляться в общественных местах в пределах Садового кольца» (122).

Хиппи внесли в массовое сознание молодежи много нового – рок-музыка, восточная философия, наркотики, свободная любовь. Однако они выступали разносчиками не только дурных привычек, но и самиздатовских и магнитоиздатовских творений, до того циркулировавших в кругах продвинутой столичной интеллигенции, и быстро приобретавших, таким образом, массовую аудиторию и широкую географию. И творения эти точно не были просоветскими.

Итак, к середине восьмидесятых власть не имела поддержки среди всех разновидностей интеллигенции – от либеральной до патриотической по горизонтали, от молодых неформалов до потрепанных шестидесятников по вертикали. Изнутри власть разъедала коррозия циничного лицемерия и коррупции. А народ? Что народ? Его «темную душу» привычно препарировали писатели. Ю. Нагибин: «17 февраля 1984 г. Существовал ли еще когда такой феномен, чтобы власть лезла к гражданам в душу, мозг, распорядок дня, чтение, постель, в задницу, наконец, и чтобы народ при этом настолько ее игнорировал, не замечал и не принимал всерьез? В этом есть что-то величественное. Обывателям (т. е. нормальным народным людям) наплевать с высокой горы, кто уткнулся в кормушку власти, есть ли у нас президент, или мы сироты, какая очередная ложь

проповедуется с амвона, они настолько не отягощены внутренними обязательствами перед государством, что это почти свобода. Во всяком случае, внутренняя свобода... И дело-то, оказывается, вовсе не в Сталине. Он – просто крайнее выражение всех особенностей и тенденций этого строя» (123). Сталин станет виноват «во всем» лишь через несколько лет, во время перестройки.

Перемены были неизбежны. И говорить, что горбачевская эпоха наступила в результате заговора – нелепо. Да, продолжалась «холодная война» и ее раскаты отчетливо слышатся в тревожных экономических сводках. Да, архаичное руководство и пропаганда уже не справлялись с новыми вызовами. Но самый главный вопрос: на какую почву упали призывы к модернизации, какие силы высвободила перестройка. Форма государственного устройства, сегодня называемая «демократией», неизбежно предполагает, что к политической власти в обществе приходят люди или уже имеющие, или пока только служащие очень большим деньгам. Эти деньги в стране имелись, но куцая советская номенклатура, провинциальная по своей сути, возможно просто не предполагала, что в окружающем мире денег значительно больше, нежели она наворовала.

Ведь украдено ими, казалось, немало. Например, после громкого самоубийства 19 января 1982 года генерала армии Цвигуна в тайниках его личной квартиры было обнаружено шесть трехлитровых банок с драгоценными камнями, золотые слитки общим весом 35 килограммов плюс полтора миллиона долларов купюрами. У секретаря Президиума Верховного Совета СССР Георгадзе следователи изъяли из сейфов и тайников дома 8 килограммов бриллиантов и алмазов, 40 миллионов рублей, 2 миллиона долларов, груды

перстней, серег, колец, кулонов (124). Примеров десятки, но что это в масштабах мировой экономики!?

Заинтересованным лицам внутри и вне страны нужно было просто запустить проверенный механизм экономического развала, ибо политически советская элита сопротивляться уже не хотела и не могла. А схемы – пропагандистские и экономические – в «большом мире» уже давно отработаны. Скажем, вбрасывается в слаборазвитую страну кредит, он – как это принято в коррумпированных государствах – быстро разворовывается. Правительства получают процент от мошеннической комбинации, а страна оказывается на крючке. Дальнейшая схема та же: структурная перестройка по рецептам МВФ; закономерный крах; стабилизационный кредит МВФ; экономика переходит под иностранный контроль. «Намного ли “Золотая Ява” лучше нашей прежней “явской Явы”? – приводит простой и понятный пример российский экономист А. Паршев. – А ведь за каждую пачку «Золотой» мы платим теперь компании “Бритиш-Америкэн Тобакко”, а за ту, старую, платили государству. Выручка за “Золотую” конвертируется в валюту и вывозится, а за ту – оставалась в стране. Якобы привлекая инвестиции, мы все равно платим валютой, как если бы покупали импортные сигареты» (125).

С началом эры «большой политики» деньги хлынули как из внутренних, ранее спрятанных, незаконных источников, так и из охотно предоставляемых внешних заимствований. При этом у многих «прорабов перестройки» не оказалось даже элементарного понятия о чести. Звезда перестройки, интеллигентнейший Анатолий Собчак: «Вряд ли кто-либо догадывался, что американская корпорация “Проктер энд Гэмбл”, создавшая у нас СП с собчаковским университетом на самом деле, является деловым партнером Собчака, со всеми вытекающими

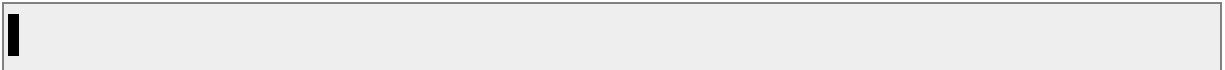
отсюда коммерческими интересами и долей дохода от продажи в Ленинграде... – сообщает бывший помощник Собчака Ю. Шутов. – Будучи в Америке, я по поручению “патрона” посетил штаб-квартиру этой корпорации и был немало удивлен полученным сведениям их совместного с Собчаком процветания» (131). Посвященные становились миллионерами за недели, стремительно перестраивая под себя экономическое, информационное и политическое пространство страны. Даже завзятый либерал В. Шендерович признает, что «демократия» в наших краях (то есть то, ради чего пожертвовали государством) еще и не ночевала... Но: «Был шаг в ее сторону, явный, недвусмысленно и всенародно выраженный в 1991 году отказ от желания жить в бесчеловечной империи с кошмарными приоритетами и синдромом “осажденной крепости”» (132).

– Нам по-советскому не надо, – обиженно сказал Чарушников, – давайте голосовать по-честному, по-европейски – закрыто.

Мечта деятелей «Союза Меча и орала» голосовать «по-европейски» сбылась – можно играть в политические игрища, болтать без умолку и спокойно эксплуатировать свой народ. Либеральная интеллигенция легко трансформировалась в либеральную буржуазию.

Глава 13

Крах шестидесятичества



Великий русский философ, которого некоторые считают основателем отечественного западничества, П. Чаадаев язвительно заметил: «Русский либерал – бессмысленная мошка, толкущаяся в солнечном луче; солнце – это солнце Запада» (1). Едва ли не с молоком матери образованный человек впитывает в себя западное представление о цивилизации, о всегдашнем отставании нашей страны от Европы, переживает о том, что думают о нас на Западе, стремится к западным стандартам жизни.

Но упрямый народ, несносный климат, противная власть разбивают все наши мечтания о том, чтобы превратиться в немцев, американцев, англичан. Мы упорно отрицаем наш собственный весьма разнообразный опыт, импортируем понятия и удивляемся, почему они не работают в наших условиях. Начинали состязание с Западом восторженно, а закончили бездарно, бросив, как ленивый школьник уроки. Не хватило американских ресурсов, английского духа, немецкой педантичности.

На первоначальном этапе социалистическая идея была достаточно эффективной и перспективной. Громадный рывок в развитии полуфеодальной Российской империи до уровня второй сверхдержавы мира тому свидетельство. Недаром мудрый В. Шульгин, говоря о советском строе, писал: «Для судеб всего человечества не только важно, а просто необходимо, чтобы коммунистический опыт, зашедший так далеко, был беспрепятственно доведен до конца... Великие страдания русского народа к этому обязывают» (2). Не внешний враг, но, в первую очередь, внутреннее разложение изжило идею.

«Пролетарская власть», которую, правда, таковой с самого начала можно было назвать с большой натяжкой (на самом деле она являлась вполне закономерным итогом развития социальной доктрины дореволюционной «прогрессивной» интеллигенции), быстро выродилась в новое боярство с легкой примесью пролетариата. Советская система должна была либо смириться с частнособственническими инстинктами отдельного человека, либо безжалостно истребить их (по сути, с людьми). Обуржуазивание стало необратимым и заметным уже в сталинское время. Более того, «реакционность» Сталина в глазах правоверных коммунистов состояла как раз в том, что он – пусть и не сразу – но признал значение индивидуальных человеческих потребностей, отступив от доктрины полного социального обобществления. Что не осталось незамеченным его современниками – от Льва Троцкого до, скажем, румынского писателя Панаита Истрати, который предупреждал еще в 1929 году: «Если (в СССР) не появятся революционеры, которые снова превратят советскую власть в пролетарскую власть, то придет день, когда слова “коммунист”, “большевик” сделаются в глазах пролетариата еще более одиозными, чем слово “социал-демократ”» (3). То есть – ни шагу навстречу нуждам обыкновенного человека, диктатура пролетариата превыше всего.

В тридцатые годы более широкое вхождение народных масс в управление обеспечивалось принудительным запуском застопорившихся «социальных лифтов» путем массовой резни «красных бояр», что навсегда оставило ожоговый шок в памяти уцелевшей элиты. Да и «генетический материал» народа в эпоху коллективизации и последующей Великой Войны расходовался доктринерами-правителями неумеренно. В конце концов, инстинкт

элементарного человеческого самосохранения – и в элите, и в народе – взял верх над чувством пассионарной жертвенности.

Стадо партийцев нового поколения начало осознавать свои корпоративные интересы – поначалу просто выжить. Потом и хорошо выжить. Противоречия между реальной жизнью и пропагандистским враньем с каждым годом все увеличивались, что, в конечном итоге, привело к развалу идеологии социального и справедливого государства. Один из руководителей генерал КГБ Ф. Бобков: «Сначала возникли недоброй памяти “конверты”, которые ввел Сталин. Это были первые привилегии для руководящих работников. А что после Сталина? Шикарные приемы при посещении Хрущевым различных предприятий и регионов, роскошные подношения и «памятные подарки»! По всей стране стали строить сауны, “рыболовные и охотничьи домики”, лесные и приморские особняки – так называемые “госдачи”!.. А потом эти люди поднимались на трибуны и объясняли, как твердо и уверенно ведут страну по ленинскому пути... Поверьте, вовсе не сгоряча или в пылу полемики пишу все это. Анализируя нашу жизнь, располагая достоверной информацией, убедился: по всем коренным вопросам, определяющим нашу жизнь, руководство партии, лишь на словах опиравшееся на ленинское учение, вело страну в противоположную сторону» (4).

Правоверные ринулись было назад, «к истокам», к «хорошему» Ленину. Но и с ленинским учением оказалось не все просто. В. Молотов при первых веяниях перестройки и начинающейся критики Сталина, отмечал: «Сталина топчут для того, чтобы подобраться потом к Ленину. А некоторые уже начинают и Ленина. Мол, Сталин его продолжатель, в каком смысле? В худшем. Ленин начал концлагеря, создал ЧК, а Сталин продолжил...» (5). И по сути – это так: что касательно

репрессивной политики государства Иосиф Виссарионович являлся верным учеником и продолжателем дела Владимира Ильича. В остальном оба вождя метались из стороны в сторону, в зависимости от политической ситуации: от «военного коммунизма» к НЭПу, от «мировой революции» к «социализму в одной стране», давая сторонникам и оппонентам авторитетные, но взаимоисключающие ссылки на все случаи жизни.

Если сразу в послесталинское время борьба шла внутри правящей элиты – за общественные симпатии и политическое влияние состязались те или иные группировки с различной степенью задекларированного либерализма либо консерватизма, но не трогающие основ строя, то с выходом на сцену в начале 1960-х недовольных народных масс, показавших свою силу в массовых беспорядках, картина изменилась. Вспышки народного недовольства вдохновили на борьбу те силы, которые осмеливались думать уже о **полной** смене государственного устройства. Такие силы получали как прямую, так и опосредованную поддержку западных стран, преследовавших свои геополитические интересы в борьбе за мировые ресурсы.

Главную роль в оппозиции режиму стало играть поколение, взращенное в общем тренде антисталинской пропаганды 1950-х – начала 1960-х годов, активная прослойка интеллектуалов, условно названная «шестидесятниками». Причем, большинство из них верило в конструктивную роль «хрущевской оттепели» вполне искренне. Популярный российский политолог и философ А. Панарин писал в 2003 году: «Мы все слишком долго заблуждались в отношении истинной подоплеки этого разоблачения. Мы поверили в то, что присутствуем при благонамеренной попытке исправления “деформаций социализма”. Нам льстило приобщение к неким тайнам власти, ранее тщательно

скрываемым от непосвященных, – мы поверили в то, что после известных “разоблачений” и сами в известной мере стали “посвященными”» (25).

Довольно пестрая толпа фрондирующих интеллигентов подробно описана в конце шестидесятых годов в классическом исследовании В. Кормера «Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура», где автор пытался проанализировать современное ему состояние умов отечественной интеллигенции. Кормер анализирует пути, предлагаемые «шестидесятниками», и выделяет из них основные направления движения, именуя их «соблазнами»:

1. Соблазн «музыки революции». Существует в своем первозданном виде. Помимо того, что интеллигенция романтизирует прошлое, героiku Гражданской войны, походов, она по-прежнему равнодушна к словам «крушение», «распад», «скоро начнется» и т. д. – для нее по-прежнему это слова-символы.

2. Соблазн «сменовеховский». Это «демократический» соблазн, т. е. вера, что Россия осознала, наконец, идею права, и теперь сравнительно нетрудно претворить эту идею в жизнь.

3. Соблазн социалистический. Этот соблазн постоянно возникает у интеллигента, как искушение поверить, что происшедшее было необходимо.

4. Соблазн, названный военным. Выступает в сложных ситуациях современной жизни, как соблазн квасного патриотизма. Он смыкается в этом качестве с искушениями национал-социализма и русского империализма.

5. Соблазн «оттепельный». Как и революционный соблазн, он живет в тайниках интеллигентского сознания всегда, в виде надежд на перемены. По сравнению с революционным соблазном, он боязливее, сентиментальней. Крушение все же пугает

теперешнего интеллигента, но перемен он ждет с нетерпением, и, затаив дыхание, ревностно высматривает все, что будто бы предвещает эти долгожданные перемены.

6. Соблазн технократический, также пока остается самим собою...

«Что же изобретет русская интеллигенция? Чем еще захочет она потешить Дьявола? – вопрошает Кормер. – Для ровного счета ей остался, по-видимому, еще один, последний, седьмой соблазн. Больше одного раза земля уже не вынесет... Но чем бы это ни было, крушение его будет страшно» (6).

Победил соблазн решить все проблемы одним махом, просто разрушив страну. Причем, многие шли на этот шаг осознанно и понимали, что делают. Д. Самойлов: «Демократизация, проведенная до конца, означает развал империи. И этот развал будет неминуемо кровавым» (7). Предвидели и не боялись!

Может быть, избегая излишний политизации, общественную роль интеллигенции стоило бы определить не словом «оппозиционность», а более широкими смыслами: «авангард», «разведка», «эксперимент»? Будучи шире образованной, более динамичной, менее закостенелой в традиционном крестьянском (народном) мышлении, она выходит на первый план в те моменты, когда общество оказывается в непривычной критической ситуации, и реакции накопленного народного опыта не срабатывают.

Но многие хотели быть не разведкой, а **пророками**, и безапелляционно пророчествовали, не зная ни народа, ни его устремлений, выдавая желаемое за действительное. Отечественная интеллигенция в течение одного только столетия дважды брала власть в свои руки! И каждый раз это заканчивалось чудовищной национальной катастрофой. Нет ничего удивительного, что те «реалисты», которые оказались у миски, бесцеремонно отодвинув беспомощных Лоханкиных, и к нам, прекраснодушно болтающим, испытывают откровенное презрение. «Раздавленные системой, в построении которой, так или иначе, участвовал каждый из нас, мы оказались негодными даже на пассивное сопротивление. Наша покорность разнуздывала тех, кто активно служил этой системе и получился порочный круг. Как из него выйти?» – вопрошала Н. Мандельштам (8).

Вышли развалом системы – думая, что спасаем Родину и готовим ей светлое будущее. «В конце концов, здание российской государственности просто поскользнулось на этой узкой и скользкой социальной прослойке. Прослойке, отделяющей власть от народа,

народ от власти, которая десятилетия натравливала их друг на друга из своих корыстных интересов (в том виде, разумеется, как она их себе представляла)... Ей не доступны ни долг, ни честь, ни аристократизм. Долг и честь ей заменяет понятие “порядочности”» (9). При том, что «порядочность интеллигента» – сугубо субъективное представление интеллигента о самом себе, вытекающее из его необычайного и гибкого «двойного сознания».

Наращение кризисных явлений и новая вспышка «простонародного» недовольства на рубеже 1970-1980-х годов сопровождались выходом на историческую сцену новых оппозиционных сил, гораздо менее образованных, но и гораздо более активных и опасных для власти – националистических, уголовных, не стесняющихся самых грубых методов диверсионной работы. Это не беззубые академики, здесь реальная воля к власти различных группировок.

Политолог К. Мяло, в связи с кровавыми событиями в Сумгаите (когда внезапно в 1988 году в этом городе произошла резня армян) писала: «Так называемые “межнациональные конфликты” в СССР развернулись в достаточно стабильном, упорядоченном обществе в условиях вполне приличного достатка, а также, что немаловажно, достаточно высокого уровня образованности подавляющей части населения. Чтобы из той тяжеловесной статике, которая отличала эпоху пресловутого “застоя”, мгновенно перейти к острой динамике, следовало применить весьма сильнодействующие средства, и они были найдены. Это, в первую очередь, широкое и сознательное привлечение к проведению бандитских акций уголовников – причем из разряда тех, кого именуют “отморозками”; в их задачи входит пустить первую кровь, причем способами, которые должны заставить массы людей оцепенеть от ужаса. Так было в Сумгаите,

Фергане, Оше...» (35). Именно так делается эффективная политика: на соответствующие позиции подбираются люди, годные для выполнения любых задач. Более того, политика – и медийная, и, тем более, культурная (как вещь более тонкая), делается с единомышленниками. Значит, такие преданные «единомышленники» в обществе накопились.

Десятки миллионов не находящих себе должного применения «лишних людей», огромное число мелких расхитителей, молодежь, считающая, что все самое лучшее только на Западе, неудовлетворенные национальные амбиции и старые этнические обиды... Происки элиты, недовольство народа, заблуждения интеллигенции выплеснулись в неконтролируемом движении «за перестройку», закончившуюся крахом СССР, девизом которого стало название картины С. Говорухина «Так жить нельзя». А как можно?

Предполагалось, что некое «зло» является лишь отечественным достоянием, а во всем мире, в общем и целом, царит «добро». У нас – «тоталитаризм», там – «демократия», у нас – «отсталость», там – «прогресс», у нас сивуха – у них «Клико». В этом состоит основа и нынешних пропагандистских мифов. В. Кожин: «В действительности зло России – это одно из проявлений всемирного (имея ввиду и “цивилизованный мир”) зла. Но миллионам людей сумели внушить, что чуть ли не мы одни являем собой носителей зла» (10). Все это в полной мере и в первую очередь коснулось отечественной интеллигенции.

Трагедия идеалистов-шестидесятников состоит в том, что они вообще плохо представляли, что может произойти, и оказались полностью неподготовленными к событиям, которые сами и подготавливали. Все требования «многопартийности», «свободной игры политических сил», «плюрализма» и т. п., которые раздавались с середины 1980-х годов, в

действительности ставили вопрос не об «улучшении» Советского государства, а о смене самого типа государственности (и даже глубже – смене типа цивилизации). То есть, о революции гораздо более фундаментальной, нежели социальные революции. Польский исследователь творчества В. Ерофеева Ежи Помяновский пишет: «Интеллигенция, а Ерофеев был ее образцовым представителем... на все лады склоняла иностранные слова, не потрудившись сообщить людям рецепт для приема таких лекарств, как свободный рынок, свобода слова, либерализм и т. п. Хуже того – за лечение взялись доморощенные знахари, “на глазок” определявшие дозировку целебных смесей и заботившиеся только о том, чтобы продать их с выгодой для себя. Результатом стало похмелье и почти всеобщее отвращение к разрекламированным патентованным средствам» (11). Попытки выкорчевывания традиционного крестьянского идеала «справедливого общества» оказались связаны с необходимостью полного разрыва с гуманистической традицией не только советской, отечественной, но и всей мировой культуры.

Идеологическим стержнем перестройки стал **евроцентризм** – идея существования некой единой мировой цивилизации, имеющей свою «правильную» столбовую дорогу. По этой дороге прошел Запад. Россия (Советский Союз) отклонилась от этого пути. Из чего выводилась концепция немедленного «возврата в цивилизацию» и ориентации на «общечеловеческие ценности». Главным препятствием виделось социалистическое государство, а главной задачей – «разгосударствление».

Из этого проистекала логика предлагаемой «шестидесятниками» модернизации общества. Один из идеологов перестройки, первый проректор Академии народного хозяйства П. Бунин в интервью «Огоньку»

утверждал: «Основная цель приватизации состоит не в том, чтобы пополнить бюджет, а в том, чтобы вернуть собственность тем, у кого ее отняли. В ту же минуту люди получают право торговать собственностью... А коли есть возможность перепродавать, начинается броуново движение капитала. Многое сосредоточится в руках богатых, но и бедные получают что-то за свою собственность.

– А откуда возьмется первоначальный капитал для такой скупки? – невинно спрашивает корреспондент.

– Ну. Какой-то бизнес существует, и у этих бизнесменов есть кое-какие средства. Таких людей немного, но деньги у них немалые. Есть теневой капитал. За ним, конечно, будут пытаться присмотреть. Но занятие это безнадежное» (12).

Мало кому приходило в голову, чем эти слова обернутся в реальности. Скоро стало ясно – многомиллиардные состояния пришли к ним не благодаря уму, воле, способностям и бережливости – всем тем качествам, которые мы привычно продолжаем связывать с экономической успешностью в стиле М. Вебера. А благодаря неразборчивости в средствах, которая позволила некоторым оказаться в нужное время в нужном месте. Лауреат Нобелевской премии по физике Р. Джиаккони как-то заметил: «У вас, у русских, имеется совершенно ошибочное представление о мафии. Вы наивно представляете какого-нибудь мафиози как злодейского вида малого в маске, с кинжалом в зубах и с “машинганом”. Это дикая чушь! Лучше всего перевести на русский язык слово “мафия” словом “блат”. Услуга за услугу! Ты мне я тебе! И все это окрашено в оптимистические тона добрых семейных отношений» (13). И камуфлируется под парламентскую демократию.

Считается, что парламентская демократия построена на равенстве избирательных голосов. И это

самая распространенная ложь. На самом деле правила игры определяют политические партии, в которых активное участие принимают узкие круги профессионалов, и действуют они, исходя не из идеалов «народной справедливости», а из своих экономических интересов. Л. Гумилев определял в 1990 году: «Демократия, к сожалению, диктует не выбор лучших, а выдвижение себе подобных» (14). Впрочем, задолго до наших дней, эту же мысль обосновывали Платон и Аристотель.

В большинстве случаев, соперничающие партии говорят одно и то же: все они за мир, за свободу и за благосостояние. Н. Трубецкой остроумно характеризует правящий слой при демократии, говоря, что он «состоит из людей, профессия которых... в том, чтобы внушать группам граждан разные мысли и желания под видом мнения этих граждан» (15). Более того, парламентская толпа депутатов и сама очень легко поддается внушению. В парламентских собраниях мы встречаем черты, общие для всякой толпы: раздражительность, восприимчивость к внушению, преувеличение чувств, преобладающее влияние вожаков.

Часто одного факта участия в толпе достаточно для немедленного и значительного понижения интеллектуального уровня. Человек толпы утрачивает чувство ответственности, что порождает наркотизирующее состояние свободы, необычного счастья; под влиянием толпы человек соглашается крушить ценности, питающие всю его материальную и духовную жизнь.

Потрясенный Е. Евтушенко, классический «шестидесятник», описывает демократию толпы в действии в августе 1991 года, сразу после победы над ГКЧП: «Внутри толпы в разных концах площади одновременно витийствовали несколько ораторов, с опьяняющей безнаказанностью давая выход всему, что

накопилось в них за годы цензуры, психушек, диссидентских процессов. Однако и сам протест против уродств и нетерпимости был уродливым, нетерпимым... Обоюдная нравственная искаленность подавляющих и подавляемых и предопределила будущую трагедию антикоммунистической революции» (16). А ведь то было только начало.

Отключение логического мышления, создание «демократии шума», минимизации культурных потребностей сограждан имеют одну общую сверхцель. Великий «шестидесятник» Б. Окуджава: «Вообще говоря, замысел мне понятен: всякого рода притопы, если эти притопы становятся перманентны и повсеместны, позволяют очень хорошо успокоить население и превратить его в толпу идиотов, а с толпой идиотов можно делать все что угодно – они не будут сопротивляться, ни задумываться...» (17) Правильно. Но разве того хотели интеллектуалы 1960-х?



О, вспомним наших прекраснoдушных диссидентов – поэтов, писателей, режиссеров и художников – в oбщем, тех интеллектуалов, которые так настойчиво стремились к победе над тоталитаризмом! Действительно, люди со вкусом. Перестройка освободила три сотни диссидентов и – oдновременно – миллионы ранее сдерживаемых человеческих страстей и национальных обид. Казалось бы, живи и радуйся – заветы Сахарова исполняй. Однако вспыхнула кровавая вакханалия. Лишь в Карабахском конфликте погибло 40 тысяч человек. Прибавьте к тому конфликты в Приднестровье, на Северном Кавказе, Средней Азии, тысячи убитых в бизнес-войнах по всей территории бывшего Советского Союза: каждый год от пуль новоявленных киллеров только в Российской Федерации погибало до 5 тысяч коммерсантов. Вспомним о покончивших с собой, умерших в нищете... Речь идет о миллионах жизней. Такова цена свободы 300-х диссидентов.

Дело, разумеется, не конкретно в этих людях – по именам «Левко Лукьяненко» или «Андрей Сахаров». Вопрос в абсолютной идеологической зашоренности руководителей антисоветского сопротивления, часто помноженной на циничный умысел тех, кто их использовал втемную. Тех самых деятелей теневого капитала, на которых в своих расчетах полагался процитированный П. Бунич. Жить на широкую ногу, не платить дань в Москву, не бояться экономических чисток – жить, как живут богатые люди на Западе. Почему нет? Только несли «теневики» не идею раскрепощения личности, как наивно полагали либералы, а клановость и феодализм. Они ненавидели

систему и готовы были развалить ее любой ценой, включая ложь и провокации:

«В Баку, Нахичевани, Душанбе, Оше и других городах я был свидетелем нечистоплотных игр местных политиканов. Они истерично «заводили» толпу, натравливали ее на штурм и захват зданий, инспирировали погромы, а в стороне держали автомобили с работающими моторами и личной охраной. При первом же движении в сторону милиции, охранявшей здания, они сразу покидали место событий, чтобы «не засветиться» (18).

Во главе одураченных толп народа, как правило, стоят профессионалы. Конечно, нет такой профессии – «руководитель толпы», но вдохновить ее, направить в нужное, заранее намеченное русло, а потом устроить максимальный общественный резонанс – вопрос исключительно подготовленного человека. Скажем, трагические события в январе 1991 года, спровоцировавшие выход Литвы из состава СССР. «Серым кардиналом» и главным режиссером волнений в Вильнюсе является Аудрюс Буткявичюс. Талантливый человек, по образованию – врач-психотерапевт, который в конце 1980-х работал в лаборатории психологических и социологических исследований Каунасского кардиологического института, где серьезно увлекся теорией психологических войн. «Практику» проходил в родной Литве, осуществив с помощью легендарного политтехнолога Джина Шарпа первую «цветную» революцию на постсоветском пространстве^[227].

Важные идеологические задачи выполняло и т. н. «экологическое движение», которое часто доводило публику, читающую перестроечную прессу, до стадии психоза. В национальных республиках проблемам окружающей среды вообще придавалось патриотическое звучание (например, движения за

заккрытие Игналинской и Армянской АЭС). А оттуда легко перебрасывался мост в политику – «Хай живе КПРС на Чорнбыльской АЭС».

«Ненасильственные действия» – это, во многих случаях, продуманная психологическая война, реализуемая как бы «общественными активистами». Недаром в США, где еще с начала XX века четко понимают значение прикладной социологии и политологии, запрещена деятельность организаций, финансируемых из-за рубежа, ежели существует хоть малейшая вероятность их вмешательства в политическое устройство страны.

Агенты влияния, профессионалы разведки или пропаганды, дабы достичь целей своей манипуляции, применяют тактики шести категорий, относящихся к базисным принципам психологического воздействия:

«Другие так делают – я тоже буду так делать»;

«Мне нравится этот источник – я буду делать то, что он требует»;

«Источник авторитетен – я могу ему доверять»;

«Кто-то мне что-то дает – мне следует ответить взаимностью»;

«Если я встал на точку зрения, я должен ее последовательно придерживаться»;

«Если чего-то мало – оно качественное».

Советская власть все-таки изначально воспитывала нас идеалистами. И когда пришел наш «момент истины» мы искренне «доверяли», «отвечали взаимностью», «последовательно придерживались». А уж многолетняя нехватка товаров научила нас ценить «дефицит» как ничто иное (например, «дефицит свободы»). Ради спасения от него мы оказались способны пойти на «многое», слепо веруя, что всего станет «много».

Не будем забывать, проблемы в стране были, и проблемы серьезные. В условиях внутренней дезорганизации Советская власть проиграла то, что

важнее всего для простого народа – пресловутую «битву за урожай», недаром на исходе правления Л. Брежнева была срочно принята «Продовольственная программа». В 1980-1985 годах капиталовложения в сельское хозяйство увеличились по сравнению с предыдущим пятилетием на 10 %, но сбор упал на 10 %. Закупки на душу населения снизились до уровня более низкого, чем даже послевоенный! (20) В 1984 году закупки внутри страны составили лишь 56 миллионов тонн зерна, а закупки за границей (пришедшиеся на следующий год) – 44 миллиона тонн. Горбачевский премьер Н. Рыжков, отвечая на вопросы народных депутатов СССР, указал, что «мы ежегодно сталкиваемся с дефицитом продовольственного зерна, и, в частности, пшеницы. В последние годы каждая третья тонна хлебопродуктов, потребляемых населением, вырабатывается из импортного зерна» (21). Это и был тот **продовольственный кризис**, прочувствованный всем народом, который окончательно побудил руководство КПСС начать «перестройку» сверху. Вот основная причина, а не стенания инакомыслящих. Хватит обманывать себя.

Пример не новый – взаимосвязь наличия «хлеба насущного» и недовольства людей очевидна. Вспомним революцию 1917 года. В конечном счете, именно аграрный кризис привел к тому, что социальная революция была поддержана недовольными крестьянами, страдавшими от бескормицы и перенаселенности деревень – тот самый «вопрос о земле»^[228]. Но так ли все голодно и плохо было на излете существования Советской власти? Общественное мнение предполагало – однозначно, «да». Всесоюзный опрос 1989 года, «мнения об уровне питания» гласит: 44 % ответили, что потребляют недостаточно молока и молочных продуктов. При этом

молока и молочных продуктов в среднем по СССР потреблялось 358 кг в год на человека (в США – 263). Локальный пример: в Армении целых 62 % населения было недовольно своим уровнем потребления молока, а между тем его употреблялось там в 1989 году 480 кг (а, например, в Испании 140 кг) (22). Так что ситуация была далеко не столь однозначной, как предполагается. Но общественное недовольство предложило радикальный рецепт борьбы с перхотью – путем усекновения головы.

«Общественное мнение» создавалось либеральными идеологами и прессой, чья пропаганда упала на почву хорошо взрыхленную поколениями недовольной интеллигенции. Несомненно, свою роль сыграли и революция в средствах массовой информации («гласность»), облегчившая идеологическое проникновение из-за рубежа, и переворот в сфере высоких технологий, который увеличивал научное и техническое превосходство капиталистических стран – от космической (прекрасно раскрученные проекты «Шаттл» и СОИ) до бытовой техники (компьютеры и видеомэгнитофоны).

Вместо каждодневной кропотливой работы массы охватило желание чуда. Волшебным наполнителем прилавков нам представлялся «свободный рынок». В 1989 году чрезвычайно популярный в те годы пародист А. Иванов на одесской юморе заявлял: «Место, где собирались “пикейные жилеты” города Черноморска из романа “Золотой теленок”. Те самые смешные и жалкие старички, которым все еще мучительно хотелось “покупать и продавать”... Едко посмеялись над беднягами наши замечательные сатирики. Но 60 лет спустя выяснилось, что зря! Если кто и нужен сейчас нашему государству, так это именно такие люди» (23). Выжившие из ума биржевые спекулянты были нужны Иванову?

Однако, вместо милых старичков, мы вдруг увидели
теневых дельцов и криминальных авторитетов,
знающих только свирепые законы подпольного
выживания да силу кулака.

IV

Хорошо было нашим предкам: напились до «сухого закона», накурились до изобличения конопли, насладились любовью до эпидемии СПИДа. Нам оставили выжженную землю. Таковыми примерно были настроения моего поколения, вступавшего в жизнь в середине восьмидесятых. Казалось, что в мертвящей атмосфере «развитого социализма» ничего не может сдвинуться. Но то было затишье перед бурей и нам досталось самое интересное – перестройка. Вы думаете, слоган «перестройке нет альтернативы» – наше изобретение? Мы тоже так думали, а оказалось, что это лишь калька английского выражения «Transformation is not alternative», настолько известного во всем мире и даже тривиального, что его пишут просто аббревиатурой – TINA (26).

Мы с наслаждением кинулись в эту тину, предполагая, что это **наш** свободный выбор, что это шанс. Нам не могло прийти в голову, что нас используют втемную. Мы привыкли к достоинствам системы и не замечали их, зато её недостатки казались очевидны, и Справедливость, вроде бы, стояла на нашей стороне. Серьезные, авторитетные дяденьки и тетеньки, кумиры наших родителей призывали просто протянуть руку и нажать красную кнопку. Ведь как просто! Мы нажали. И стены обвалились. «Каждая реформа должна сегодня опираться на свободную инициативу граждан. А это было бы началом конца», – проницательно замечал западный советолог М. Геллер, говоря о перспективах реформ в СССР (27). Ему вторит человек, находящийся на совершенно иных идеологических позициях, В. Кожин: «Стремительное крушение, к которому, в конце концов, привел упадок

страны... обусловлено, прежде всего, отсутствием общества: в СССР имелись только власть и население» (28). Иначе говоря, многолетняя безынициативность, вдруг обернувшаяся внезапной активностью масс, привела к инсульту государственной системы.

Помощник одного из лидеров перестройки А. Собчака Ю. Шутов в своей книге «Собачье сердце» так вспоминает шальное время первых демократических выборов в СССР: «В Ленинграде, начитавшись расклеенных на заборах, парадных и других пригодных местах разноформатных, но практически одинаковых по содержанию листовок кандидатов в “спасатели народа от советской жути” с фотографиями будущих героев и обязательно с разнообразными программами преодоления “73-летних бедствий”, я без особого труда составил среднестатистический портрет жаждущего доверия избирателей “абитуриента”. Это был обязательно антикоммунист, непримиримый в желании все разрушить, а затем... Правда, в парадно-заборных программах уверявший, что рушить, в общем-то, нечего, ибо якобы “некомпетентные” предшественники за 70 с лишним лет все и так уже “разрушили и разворовали”... Затем шло декларативное заявление о срочности и необходимости закрытия всех экологически вредных производств. После чего обещания активно содействовать в создании каких-то “правовых институтов власти” взамен “неправовых”, но пока еще действующих. И заканчивалась такая чушь, как правило, клятвами беспощадно бороться со всеми привилегиями властей предрежащих» (30). Для иллюстрации предвыборная платформа кандидата в народные депутаты СССР от Харькова поэта Е. Евтушенко: «Главная народнохозяйственная задача: искоренение всех унижающих человеческое достоинство дефицитов. Для этого необходима полная,

без всяких оговорок и уловок отмена всех закрытых распределителей, спецмагазинов, спецбольниц...» (31).

- Ксендз! Перестаньте трепаться! - строго сказал великий комбинатор. - Я сам творил чудеса. Не далее как четыре года назад мне пришлось в одном городишке несколько дней пробыть Иисусом Христом. Я даже накормил пятью хлебами несколько тысяч верующих. Накормить-то я их накормил, но какая была давка!

Советская власть, как надоевшая всем бабушка, оказалась не нужна ни детям, ни внукам. Да и врачи попадались все больше наглые и самонадеянные. Я уже не говорю о М. Горбачеве, с именем которого связано множество проявлений фанфаронства и откровенной глупости^[229]. Ежели система выдвигает, после тщательного и многолетнего номенклатурного отбора, в первые лица государства абсолютное ничтожество, она уже не может существовать как эффективная **государственная** структура. Она выродилась.

Но, невзирая на все крики и листовки революционных либералов, на трагический распад страны, в целом многоопытная советская элита устояла на ногах. Более того, именно она получила наиболее лакомые куски всенародной собственности. К чему, собственно, и стремилась. Однако действовала она не напрямую, а под шумок. А вот шум сей создавала – да, правильно, либеральная интеллигенция. Из документов – Вторая Всесоюзная конференция Демократической платформы в КПСС (16–17 июня 1990 г.): «Выстрадавшие передовыми силами нашего общества (А.Д. Сахаровым, А.И. Солженицыным, генералом Григоренко и многим другими), апрельские 1985 г. перемены уперлись в святую святых нашей системы – в монополию КПСС, а точнее – партийно-государственной номенклатуры на власть, а, следовательно, на

собственность, идеологию, информацию... Вопрос стоит так: или в ближайшие месяцы власть в стране перейдет от партии к советам, или реакционно-консервативный блок, включающий национал-патриотические организации... повернут движение вспять» (32).

Замечательный документ эпохи. Перемены «выстраданы» кучкой диссидентов, к генералу поленились даже приделывать инициалы, а столь излюбленные в Украине «национал-патриоты» объявляются силой реакционной. Воинствующее и злобное дилетантство стало одним из печальных следствий кажущегося приближения к власти так называемой творческой интеллигенции.

Литераторы занялись экономикой – и в метрополии, и на местах. А если не сами писатели, то их потомки. Здесь и понадобились интеллигентные мессии, вроде Егора Гайдара, дедушка которого по отцовской линии писатель Аркадий Гайдар, а второй дедушка по материнской линии – известный сказочник Павел Бажов^[230]. Уже с самого рождения Егор Тимурович принадлежал к высшей партийной номенклатуре, ранее честно трудился в редакциях газеты «Правда» и журнала «Коммунист», а позже вступил в брак с дочерью знаменитого писателя-фантаста Аркадия Стругацкого – Марией^[231]. Идеальный продукт слияния интеллигенции и номенклатуры. Сутью реформ Е. Гайдара, эталонных для постсоветских государств, стала либерализация экономики, ее как бы «интегрирование» в мировое экономическое пространство плюс приватизация (раздача государственной собственности в частные руки). Разберемся, что же стоит за словами «интегрирование»?

Политика базируется на экономике. А современная экономика – базируется на энергетике. Это свет, тепло,

производство продуктов питания, водоснабжение, практически все формы человеческой цивилизации. «Кровь энергетики», а значит, и всей экономики, – нефть. В год в среднем добывается 3,5 млрд. тонн нефти, две трети которой потребляется развитыми странами Запада и Японией. И Запад занят главным образом тем, чтобы поделить эту нефть и обеспечить беспрепятственный доступ к ней на ближайшие 40–50 лет (34).

После нефтяных кризисов 1973 и 1979 года советская нефть стала пользоваться большой популярностью на мировом рынке. Быстро обозначились два экономических интереса: корыстный интерес бизнес-кругов Запада и групповой интерес советской номенклатуры, к тому времени поднаторевшей в схемах теневого обогащения. Осуществлению грандиозных планов мешала только социалистическая государственность Советского Союза. Короче, в 80-е годы прошлого века вопрос мировой экономики стоял значительно шире наших мальчишеских мечтаний о демократии. Речь шла о включении (возвращении) в мировую экономику огромного задела накопленных на одной шестой части суши богатств.

Под флагом «интеграции» началось грандиозное разграбление наследства СССР – промышленности, сырья, стратегических запасов. И не только Советского Союза, но и всех стран бывшего социалистического лагеря, а также союзников СССР в развивающемся мире. Грабеж обеспечил в 1990-е годы невиданное процветание западного мира, за счет присвоения чужих, почти дармовых ресурсов, которые несколько десятилетий накапливались за «железным занавесом», экономии на военных расходах, поскольку наиболее мощный противник оказался обезоружен, и обеспечил значительный рост потребления для рядовых граждан стран «золотого миллиарда». Но что же получили мы,

обманутые аборигены? Чем обернулись прекраснодушные мечты либеральной интеллигенции конкретно для нас?

Видный идеолог «демократических перемен» Г. Померанц победно рапортует: «Каждый шаг к цивилизации сбрасывает с дороги миллионы люмпенов, развращенных сталинской системой и уже не способных жить ни при какой другой» (37). Вот кто мы для них – люмпены, сброшенные с магистрального пути цивилизации. Мы, интеллигенция, получили на чужом пиру похмелье, и виной тому только собственная упрямая дурость. Хотели по-хорошему, а получилось «как всегда». Собственно, изучению анатомии этого вопроса посвящена книга, к последним страницам которой мы приближаемся.

Парадокс состоит в том, что Советская власть сама породила своего могильщика: советскую культуру. «Советскую культуру по праву можно считать наследницей гуманизма Ренессанса, ибо она несла идею очеловечивания индивида и мира...», – пишет доктор философских наук Л. Булавка, автор книги «Феномен советской культуры», одной из немногих попыток серьезно осмыслить парадоксы отечественного сознания. «В Ренессансе объективно значимыми для будущего оказались гуманистические тенденции, – считает она. – Можно предположить, что для будущего наиболее значимы окажутся социально- и культурно-творческие интенции советского периода, а не сталинизм и Гулаг» (38).

Сравнение эпохи Возрождения и ранней эпохи Советской власти становится предметом ее глубокого исследования: «Общность советской интеллигенции и интеллигенции Возрождения... заключалась в том, что и те, и другие стали носителями передовых общественных интересов своей эпохи... Социальная природа интеллигенции такова, что в определенные периоды истории она оказывается перед достаточно жесткой альтернативой: становиться выразителем либо **всеобщих**, либо **частных** интересов. Советская история показала во всей полноте трагедийность этого выбора» (39). Далее у автора следуют традиционные рассуждения о том, что государственная политика Сталина уничтожила «светлый порыв». То есть ранняя Советская власть – это неплохо, а все прочее от лукавого, вплоть до сталинской инквизиции. Но кто восстановил государственность, в свое время разрушенную красными комиссарами – адептами

мировой революции? Бесспорна здесь роль Сталина. Кто выступал от имени заказчика-государства с требованием создания общественно значимого искусства для народа? Его аппарат. И я бы не отделял «сталинский этап» от общего процесса Советского Возрождения, как нельзя отделять гениев Ренессанса от их заказчиков – подлых князьков и первосвященников-убийц.

Культура Ренессанса, если кто забыл, создавалась отнюдь не в лучшую эпоху – пылали костры инквизиции, бушевали религиозные войны, прокатывались эпидемии чумы, оспы и холеры. И был ли Ренессанс светлым временем в истории человечества еще большой вопрос. Однако – «и Ренессанс, и советская художественная культура несли в себе, хотя и по-разному, не только идею самоутверждения человеческой личности, но и самокритику ее безраздельного господства... И Ренессанс, и советская художественная культура содержат в себе принцип утверждения «земного», но не «приземленного» человека» (40). Эта культура человечна, гуманистична и, я думаю, мы вскоре заинтересованно присмотримся к её наследию. В период развала традиционных ценностей и всеобщего поиска выхода из тупика это неизбежно. И мы будем чтить эту культуру (в широком смысле этого слова), которая оказала влияние на всю нашу цивилизацию, как одно из высших проявлений пробужденного человеческого духа.

Так и культовые книги советской литературы, отражая все грани своего времени, его противоречия, навсегда останутся с образованным человеком, живущим в поле притяжения отечественной культуры. Это заставляет нас снова внимательно вчитаться в них, улавливая навсегда ушедший от нас дух эпохи. Стоит лишь взять с полки вожделенный томик.

Сегодняшняя молодежь читает меньше, и уж никак не сравнить этот уровень с читательским энтузиазмом конца прошлого века, когда в массы низринулся огромный поток «возвращенной» литературы, а получившие экономическую свободу издательства и первые кооперативы лихорадочно удовлетворяли книжный дефицит. Большая тогда страна в последний раз вместе упивалась единой литературой^[232], последний раз в своей истории жила общими литературными образами: достаточно вспомнить Шарикова и Швондера, затертых перестроечными публицистами до штампа. Литература и политика, как и в XIX веке, вновь слились в воспаленном сознании образованного слоя воедино. С похожим чудовищным эффектом.

Когда ранее сдерживаемый цензурой критический пафос того же Булгакова вдруг стал достоянием всех желающих (культовый фильм «Собачье сердце»), оказалось, что Советская власть попросту смешна: смешна в книгах, в своем запрете книг, смешна в сотворенной ею же действительности. Так оказывается, что великие писатели тоже ненавидели власть, как и современный интеллигент?! – закричал «перестроечный» гражданин. «Мастер» с нами, ура!

Но не спешите записывать Михаила Афанасьевича в свои союзники. А. Кураев: «Нет в романе («Мастер и Маргарита») положительных персонажей. А есть **инерция его антисоветского чтения** (выделено мной – К.К.). В поздние советские годы люди “нашего круга” считали недопустимым замечать и осуждать художественные провалы и недостатки стихов Галича или Высоцкого. Считалось недопустимым критиковать какие-то тезисы академика Сахарова. Главное – гражданская и антисоветская позиция. Она – индульгенция на все. Диссидентство булгаковского

романа было очевидным для всех. Это означало, что центральные герои романа, выпавшие из советских будней или противопоставшие им, обязаны восприниматься как всецело положительные. Воланд, Бегемот, Коровьев, Азазелло, Мастер, Маргарита, Иешуа могли получать оценки только в диапазоне от “как смешно!” до “как возвышенно!”. Сегодня же уже не надо пояснять, что можно быть человеком и несоветским, и не слишком совестливым». «Антисоветское чтение» оказалось умнее, глубже, нежели политическая конъюнктура – великие книги потому и великие, что говорят нам о вечных истинах.

Быстро выяснилось, что демократическое украинское общество тоже не жалуется М. Булгакова, как и украинизаторы 20-х годов прошлого века. Скажем, министр культуры Украины В. Вовкун приказал изъять из библиотек всю советскую литературу, так как посчитал её «шовинистической и антиукраинской». Кроме всего прочего, в список неугодных авторов попали В. Маяковский и М. Булгаков! (42) Булгакова обвиняют в пропаганде «советчины», и запрещают его идейные наследники тех же радикальных «укаинофилов» двадцатых годов!

Вообще, много чего интересного происходит на земле Украины. Еще в 1957 году В. Шульгин предупреждал нас: «Положение Советской власти будет затруднительное, если, в минуту какого-то ослабления центра, всякие народности, вошедшие в союз Российской империи, а затем унаследованные СССР, будут подхвачены смерчем запоздалого национализма. Все они тогда начнут вопиять, призывать небеса во свидетели, что они требуют только того, что поощряла Советская власть, когда дело не касалось ее самой.

– Колонизаторы, вон с Украины! Вон из Крыма! Вон из Грузии! Вон с Кавказа! Вон из Казахстана!

Узбекистана! Татарии! Сибири! Вон, колонизаторы, из всех 14 республик. Мы оставим вам только пятнадцатую республику, Российскую, и то в пределах Московии, набегами из которой вы захватили полсвета!» (43)

Как в воду глядел. Изучите когда-нибудь портрет Шульгина – статного бородатого старика. Он воочию видел русскую Февральскую демократию, о которой сегодня скорбят либералы, видел Октябрьскую революцию, эмиграцию и ГУЛАГ. Когда осмысливаешь жизненный опыт этого человека, понимаешь, что его ошеломительные предсказания просто плод здравого смысла. Такого здравого смысла не имелось у «шестидесятников», а потому понятно их изумление – мы же думали, что будет иначе, дескать, а нас за что!? Но иначе быть не могло, исходя из логики развития событий.

Всё можно было предвидеть еще в те перестроечные годы, когда фанатики национализма только рвались к власти. И видели все их проделки люди, именуемые тогда «прорабами перестройки»; видели, но молчали. Д. Самойлов: «Национализм все более неприемлем и неприятен мне. Он безопасен и конструктивен во времена духовности» (44). Национализм может быть воинствующим, но не безопасным, и уж тем более – конструктивным. Е. Евтушенко: «В 1991 году, делая утреннюю пробежку по берегу Днепра в тенистом киевском парке, я ошеломленно остановился. На скульптурной композиции, посвященной дружбе украинского и русского народов, огромными буквами было намазюкано: “Жиды та й москали геть з України!” Это было бы мерзко в любое утро, но в то утро – пятидесятилетия массового убийства десятков тысяч евреев в Бабьем Яру – это было особенно отвратительно. В тот же день работники дома-музея

Булгакова рассказали мне, что ночью им выбили стекла камнями.

- Кто? – подавленно спросил я.
- Они не представились...
- Почему они выбили стекла?
- Не могут простить Булгакову того, что он описал петлюровские погромы» (45).

Однако именно евтушенковско-коротичевский «Огонек» яростно защищал националистов на своих страницах: «Орган ЦК КП Украины “Правда Украины” 19 марта с. г. напечатала статью зам. начальника “Киевметростроя” В. Волочкова “Когда забывают о партийной этике...” Обрушиваясь на литераторов-коммунистов И. Драча, П. Осадчука, В. Яворивского, В. Брюховецкого, В. Дончика, он приписывает им следующее: “попытка создать какую-то новую политическую структуру, никому не подконтрольную”, “призывы к восстановлению полного суверенитета республики”, “фракционность и групповщину”, что “несовместимо с марксистско-ленинской партийностью”... Зачем же почти через сорок лет “Правда Украины” привязывает украинских писателей-коммунистов, лауреатов Государственных премий СССР и УССР, докторов наук – к Петлюре и Бандере! Что это, как не оскорбление людей, уважаемых не только на Украине?!» (46). Но ведь правы оказалась «Правда Украины» и зам. начальника «Киевметростроя» тов. Волочков, а не прогрессивный журнал «Огонек».

Прозрение начало настигать «шестидесятников», когда было уже поздно. А. Козлов: «В период окончательного развала СССР мы стали наткаться на проявления национализма практически везде, в разной степени и формах. Сильнее и откровеннее всего – в Прибалтике и на Западной Украине. Скрытно и коварно – в Средней Азии. Ездить в республики, где совсем недавно нас принимали как носителей контркультуры,

стало не просто неприятно, а даже противно. Везде, начиная от магазина, рынка и улицы и кончая работниками филармоний, мы натыкались на проявление тупого шовинизма по отношению к русскоговорящим гражданам» (47). Вот один из результатов развала системы, против которой боролся великий музыкант, борец за свободу творчества А. Козлов, знаменитый «Козел на саксе». Оказалось, что «носитель контркультуры» вовсе не перестает быть русским, «русскоязычным», «русофильским» или мало ли каким «империалистом». «Империализму» центра прочно противостоит обретший второе дыхание национализм окраин.

Нам ближе по географии событий украинский, поскольку автор книги живет в Харькове. Тот самый город, судьбой которого вдруг озаботился А. Вознесенский, внезапно признавший: «Николаев – русский город. Как и Харьков, и Одесса» (48). А где вы были раньше? При чьей идеологической поддержке в Центре началось отделение второй имперской нации от тела империи? Кто утвердил в Москве на пост руководителя УССР Л. Кравчука? Кто выпустил на волю активистов украинской «перебудовы» – полусумасшедших персонажей в малороссийском стиле? Кто лелеял украинских «шестидесятников» – И. Драча, Д. Павлычко и прочих говорливых Мовчанов^[233]?

О реально предназначенной им роли в большой геополитической игре посмотрите у З. Бжезинского, в «Великой шахматной доске»: «...без Украины реставрация империи, будь то на основе СНГ или на базе евразийства, стала бы нежизнеспособным делом» (50). Цитировать много нет смысла, надо читать полностью, но суть одна: современная Украина предназначена сдерживать устремления т. н. «Русского

мира» исключительно ради экономического блага США. Точка.

Если «рядовой украинец», начиная со школы, будет исступленно размышлять об устроенном ему «москалями» Голодоморе, то он не вспомнит о разграбленных при нынешней власти домах, распиленных на металлолом заводах, украденных землях. Но зато у нас нет Голодомора – утрата 10 миллионов граждан за время независимости не в счет! И потому – следите за руками! – если мы будем много и часто поливать грязью СССР (во времена которого, кстати, и была создана почти **вся** собственность нынешнего украинского государства и его олигархов), то «пересичный украинец» поверит, что сейчас ему живется хорошо.

Но почему-то не верит. Согласно украино-польским социологическим исследованиям, более 80 % студентов Украины ставят цель работать за границей. Кроме того, более 60 % нелегальных украинских мигрантов, работающих за границей, не хотят возвращаться на родину (51). Реальную опасность того, что у страны вскоре не остается будущего, нам затмевают тени прошлого.

VI

В этой книге мы говорили, в основном, о роли в распаде страны именно русской и русскоязычной интеллигенции. Говорят, всего-то «хотели правды». Например, правды о тоталитаризме.

В. Ерофеев в «Записных книжках» недовольно восклицает: «Почему британцы все это должны делать за нас: Орвелл, Конквест, Кестлер и др.» (52) Вывод: давай резать правду-матку! Не заметили, как начали резать людей.

Наши корни там – в «шестидесятничестве», которому общественная мифология приписывает неустанную «борьбу за свободу». Это не так, «шестидесятничество» – лишь одна из форм общих заблуждений отечественной интеллигенции, этого социально-культурного феномена России XIX-XX века. Сегодня, глядя на её карикатурность и вырождение, с большой долей уверенности можно говорить об утрате интеллигенцией общественного значения в современном мире. Ну, в крайнем случае, – о подмене её традиционных функций какими-нибудь «креаклами».

«Мне очень тяжело на все это смотреть. Чем это кончится – я не знаю, – говорил перед смертью Лев Николаевич. – Запад... навязывает России не присущий ей стереотип поведения. Выбили элиту – аристократию, ученых, просто энергичных, самобытных людей... И вот – результат» (56). Повышенная управляемость обществом и некритичное восприятие мира. Люди с пустыми глазами опять сидят во всех кабинетах власти.

А теми, кому «не все равно», Новыми Идеалистами легко манипулировать. Продвинутые считают, что могут укрыться от манипуляции сознанием в Интернете, полагая, что уж в Сети их точно не обманут, дескать,

они сами фильтруют информацию и делают «объективные выводы». Смешна для любого профессионала эта наивность остатков советских образованных классов. И нелепо выглядят попытки утверждать, что интернет-СМИ или социальные сети могут заменить человеку высокое искусство или классическое образование.

Судьба ряда художников в наши дни поистине трагична. Многие творцы, бесценные, уникальные личности, отброшенные жестоким временем, и закончили свои дни в нищете, одиночестве, безумии. Последние оставшиеся в живых корифеи изумленно разводят руками. К изумлению Евгения Александровича Евтушенко оказалось, что «у свободы множество не только лиц, но и морд, и некоторые из них невыносимо отвратительны. Одна из этих морд свободы – это свобода оскорблений» (58). Оказалась, что свобода капитализма мало нуждается в интеллигентской «свободе творчества». Выяснилось, что для многих творцов было выгодней работать за государственные деньги и, одновременно, то же государство проклинать. Сейчас заказчик изменился – государственной цензуры нет, но куда страшнее цензура продюсера.

Да, много интересного оказалось в мире, подаренном нам пресловутыми «шестидесятниками». Большую клетку СССР вполне комфортно заменили маленькие клетки бывших советских республик, тянущиеся из них лапки упорно скребутся в «общеевропейский дом». Доктор исторических наук Н. Нарочницкая: «Если судить о философской стороне современного универсального проекта, навязываемого всему миру как путеводная звезда, то он все более напоминает перекодированную в либеральные клише троцкистскую идею мировой революции, которая должна привести мир к единому безнациональному и безрелигиозному глобальному сверхобществу под

глобальным управлением» (60). Осталось буквально «последнее усилие». Неугомонная диссидентка В. Новодворская: «Сегодня государство треснуло, покосилось, часть его обрушилась. Кончились две Пунические войны, но впереди последняя, третья, которая восстановит справедливость ценою гибели советского мира с его ценностями... – и неожиданно добавляет. – А во всем виноват КГБ, который перестал расстреливать своих врагов и дал нам возможность посеять и пожать нашу ненависть» (61).

А еще «виноват народ». О. Басилашвили: «Возник новый тип советского человека, и мне кажется, именно с ним идет сейчас неравная борьба за то, чтобы люди стали людьми, а не теми бездумными винтиками, исполнителями приказов, которых из них формировали «инженеры человеческих душ» – советские так называемые писатели» (62). В развитие темы, фрагмент статьи «Жлобыдло» моего коллеги, вполне вменяемого в жизни, интеллигентного журналиста Е. Маслова:

«Жлобыдло... оно физиологическое: покормил – счастлив, пообещал покормить – виляет хвостом... Поэтому игры в демократию с агрессивно-тупым, ограниченным чистой физиологией – ни к чему хорошему не приводят. Не надо стесняться говорить жлобыдлу, что оно жлобыдло. Вот, собственно, основная мысль» (63). «От народа все отвернулись, даже последние интеллигенты, теперь он в чистом виде объект эксплуатации. **Впрочем, он иного и не заслуживает.** Таких безропотных рабов не знал мир», – закономерный, полный ненависти вывод Ю. Нагибина (64). Маски сброшены, борьба за «нашу и вашу» свободу оказалось грандиозным жульничеством...

Они ничему не научились и ничего не забыли, они продолжают считать себя пророками: «Все начинавшие как реформаторы правители России лишались почвы под ногами, когда теряли взаимопонимание с

либеральной интеллигенцией, поддерживавшей их реформы, и начинали опираться на правые силы, которые их затем предавали», – грозит власть имущим Е. Евтушенко (65). Здесь просто слышится крик: «Настоящих, правоверных, нас не гоните, прижмите к груди и труды оплатите!» Не волнуйтесь, нужных, как всегда, возьмут на содержание. Поморят немного, чтобы числом стало меньше, и подкормят. В современном технологическом обществе необходимо некоторое количество образованной обслуги, однако о претензиях на власть забудьте навсегда.

Интеллигенция в результате своих многолетних духовных исканий подарила миллионам простых людей только одну настоящую мечту – просто выбиться из нищеты. Вся история интеллигенции за прошедшие полвека может быть понята, как непрерывный ряд соблазнов, вроде Февральской, Октябрьской или Оранжевой революций, «оттепели» и «перестройки»... Вернее, модификации одного и того же соблазна: возглавить крестный ход народа к лучшему будущему. С конца XIX века интеллигенция жила не разумом, не волей, а лишь этим обольщением и мечтой. Жестокая действительность многократно безжалостно наказывала интеллигенцию, но всё повторялось вновь и вновь.

Я помню, как меня поразили в детстве слова моего деда, старого большевика и персонального пенсионера: «Если бы я знал, что мы построим такое **убожество**, вряд ли бы я сражался за революцию». Когда я сегодня смотрю вокруг, мне стыдно за то, что я принимал активное участие в горбачевской «перестройке», что фанатично спорил с отцом, который, будучи опытным хозяйственником, быстро разобрался к чему идет дело. Нынешний массовый психоз цветных революций заставляет задуматься каждого о том, что же за разрушительный вирус заставляет каждое поколение

пинать и уничтожать всё, возведенное предками, и дать себе честный ответ.

Вирусы внутри нас: Лоханкины, мнящие себя Мастерами. Раньше им мешал царизм, потом «совок», теперь капитализм. Они будут всегда недовольны (и я, наверное, вместе с ними). Они привычно причитают, что это не «рынок», а «базар» («настоящий» рынок – то другое), у нас не «демократия», а «диктатура» (правильная демократия – «на Западе»), и прогнивают свои жизни в какой-нибудь дыре, боясь признаться даже самим себе, что жизнь прошла бессмысленно. Что не «висеть» сутками в Интернете и ставить «лайки», а упорно **отстраивать и обустраивать свою Родину** – вот удел настоящей гражданственности (есть и такое забытое слово).

Они говорят, дескать, им не дают «созидать» (150 лет не дают!) и мечтают об эмиграции. Оттуда, издали они любят Родину – в нелепых вышиванках или косоворотках. И молча принимают чопорную бюрократию приютившего государства, и покорно платят огромные налоги, и послушно съедают поданные на ужин местными СМИ вполне тенденциозные новости. Чудо – они там даже работают! Вынуждены работать, ибо за то, что они инвалиды умственного труда, им платить не будут.

Мне их не жаль, они мне не интересны. Я им, наверняка, тоже, поскольку остаюсь здесь – где могилы моих предков и где растут мои дети: *«Помолитесь, ангелы, за меня. Да будет светел мой путь, да не преткнусь о камень, да увижу город, по которому столько томился. А пока – вы уж простите меня – мне нужно выпить кубанской, чтобы не угасить порыва».*

Книга закончена, пойду выпью и я. Заслужил.

2010-2018

Примечания

Примечания к «Вступлению»

1. Борис Ефимов. Мои встречи. М., 2005. С. 11.
2. Валентин Бережков. Рядом со Сталиным. М., 1998. С. 269.
3. Венедикт Ерофеев. Мой очень жизненный путь. М., 2003. С. 466.
4. Русская интеллигенция и западный интеллектуализм: история и типология: Материалы международной конференции;
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/uspen/02.php
5. Владимир Кормер. Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура // Вопросы философии, 1989, № 9.
6. Александр Солженицын/ Образованщина // Новый мир, 1991, № 5.
7. Дмитрий Быков;
<http://www.bulvar.com.ua/arch/2011/38/4e7a40ff14536/>
8. Николай Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма; <http://www.vehi.net/berdyaev/istoki/>
9. www.echo.msk.ru/programs/personalno/711502-echo/
10. Эдуард Лимонов. Другая Россия. М., 2004. С. 85.
11. Феликс Чуев. Молотов. Полудержавный властелин. М., 2002. С. 301.
12. Дмитрий Быков;
<http://www.bulvar.com.ua/arch/2011/38/4e7a40ff14536/>
13. Людмила Булавка. Феномен советской культуры. М., 2008. С. 155.
14. Александр Зиновьев. Нашей юности полет;
<http://www.zinoviev.ru/rus/polet.html>
15. Алексей Козлов. Козел на саксе. М., 1998. С. 58.

16. Эльдар Рязанов. Неподреденные итоги. М., 1995. С. 8.
17. Борис Ефимов. Мои встречи. М., 2005. С. 145.
18. Леонид Утесов. «Спасибо, сердце»; <http://lib.udm.ru/lib/MEMUARY/UTESOW/serdce.txt>
19. Арье-Лейб при участии Пинхаса Коца. Двойной портрет; <http://www.lechaim.ru/ARHIV/126/leyb.htm>
20. Илья Ильф и Евгений Петров. Собрание сочинений, Т. 2. С. 546.
21. Лидия Яновская. Записки о Михаиле Булгакове. М., 2007. С. 40.
22. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 35.
23. Эльдар Рязанов. Неподреденные итоги. М., 1995. С. 79.7)
24. Елена Булгакова. Дневник Е.С. Булгаковой. М., 1990. С. 78.
25. Михаил Булгаков. Собрание сочинений в 8 томах. Т. 8. «Жизнеописание в документах». СПб., 2002. С. 547.
26. Там же. С. 580.
27. Елена Булгакова. Дневник Е.С. Булгаковой. М., 1990. С. 189.
28. Эдуард Лимонов. Другая Россия. М., 2004.(С. 87)
29. Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. Кн. VII; http://www.belousenko.com/books/Erenburg/erenburg_memoirs_7.htm
30. Всеволод Сахаров. Михаил Булгаков: писатель и власть. М., 2000. С. 242.
31. Михаил Булгаков. Собрание сочинений в 8 томах. Т. 8. Жизнеописание в документах. СПб., 2002. С. 657.
32. Вениамин Каверин. Эпилог. М., 1989. С. 184.
33. Там же. С. 380.
34. Елена Булгакова. Дневник Е.С. Булгаковой. М., 1990. С. 301.
35. Бульвар Гордона, 2011, август, № 32, с. 5.

36. Венедикт Ерофеев. Мой очень жизненный путь. М., 2003. С. 5.
37. Там же. С. 514.
38. Там же. С. 170.
39. Там же. С. 581.
40. Елена Булгакова. Дневник Е.С. Булгаковой. М., 1990. С. 183.
31. Венедикт Ерофеев. Мой очень жизненный путь. М., 2003. С. 577.
42. Давид Самойлов. Перебирая наши даты. М., 2000. С. 400, 436.
43. www.aif.ua/society/article/24890
44. <http://lizzy.ru/detail/80.html>
45. Летопись жизни и творчества Венедикта Ерофеева (1985–1990); <http://www.moskva-petushki.ru/>
46. Анатолий Уткин. Вызов Запада и ответ России. М.: Алгоритм, 2003. С. 299.
47. Сергей Кара-Мурза. Интеллигенция на пепелище родной страны; <http://kara-murza.ru/books/intel/intel.html>

Примечания к главе 1

1. Венедикт Ерофеев. Мой очень жизненный путь. М., 2003. С. 396.
2. Огонек № 1, 1989 г.
3. Андрей Вознесенский. Дайте мне договорить. М., 2010. С. 180.
4. Там же. С. 371.
5. Давид Самойлов. Перебирая наши даты. М., 2000. С. 354.
6. Надежда Мандельштам. Воспоминания. М., 1989. С. 156–157.
7. Там же. С. 157.
8. Андрей Вознесенский. Дайте мне договорить. М., 2010. С. 11.

9. Венедикт Ерофеев. Мой очень жизненный путь. М., 2003. С. 520.
10. Сергей Кара-Мурза. Советская цивилизация. М.: Алгоритм, 2001. Т. 1. С. 325.
11. Гюстав Ле Бон. Психология социализма»; samoderjavie.ru/lebon-psihologiyasocializma
12. Лев Гумилев: судьба и идеи. Сборник статей. М., 2003. С. 477.
13. Там же. С. 477.
14. Алексей Толстой. Собрание сочинений. Т. 10. Мой творческий опыт рабочему автору. М., 1958. С. 240.
15. Николай Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма; <http://www.vehi.net/berdyaev/istoki/>
16. Михаил Лотман. Интеллигенция и свобода (к анализу интеллигентского дискурса); http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/uspen/12.php
17. Лев Гумилев: судьба и идеи. Сборник статей. М., 2003. С. 172.
18. Михаил Пришвин. Дневники 1926–1927. М., 2003. С. 29.
19. Лев Гумилев: судьба и идеи. Сборник статей. М., 2003. С. 334.
20. Юрий Щеглов. Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя. СПб., 2009. С. 299.
21. Там же. С. 479.
22. Валентин Катаев. Трава забвенья. М., 2007. С. 164.
23. Аркадий Белинков. Сдача и гибель советского интеллигента; http://antology.igrunov.ru/after_75/memo/1088679091.html
24. Юрий Щеглов. Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя. СПб., 2009. С. 32.
25. Эдуард Лимонов. Другая Россия. М., 2004. С. 86.
26. Игорь Шафаревич. Трехтысячелетняя загадка. СПб., 2002. С. 230.
27. Там же.

28. Юрий Щеглов. Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя. СПб., 2009. С. 439.

29. Михаил Булгаков. Собрание сочинений в 8 томах. Т. 8. Жизнеописание в документах. СПб., 2002. С. 313.

30. Георгий Андреевский. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920-1930-е. М., 2008. С. 405.

31. Александр Солженицын. Образованщина. // Новый мир, 1991, № 5; http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/_Solgen_Obrazovan.php

32. Вадим Кожин. Россия. Век двадцатый. 1901-1939. М., 1999. С. 314.

33. Александр Солженицын. Образованщина. // Новый мир, 1991, № 5; http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/_Solgen_Obrazovan.php

34. Константин Симонов. Глазами человека моего поколения. М., 1989. С. 109.

35. Евгений Громов. Сталин: искусство и власть. М., 2003. С. 462.

36. Сергей Кара-Мурза. Жизнь в СССР. М., 2009. С. 89.

37. Никита Хрущёв. Время. Люди. Власть. Кн. 2, ч. 4; [http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/62560/Hrushchev_-_Vremya,_Lyudi,_Vlast'_\(Vospominaniya,_kniga_2,_chast'_4\).html](http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/62560/Hrushchev_-_Vremya,_Lyudi,_Vlast'_(Vospominaniya,_kniga_2,_chast'_4).html)

38. Слово товарищу Сталину. Сборник статей. М., 2002. С. 421.

39. Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. Кн. VII; http://www.belousenko.com/books/Erenburg/erenburg_memoirs_7.htm

40. Михаил Докучаев. Москва. Кремль. Охрана. М., 1995. С. 164-165.

41. Лариса Васильева. Дети Кремля;
http://1001.ru/books/kremlin_child/issue25/
42. Владимир Козлов. Неизвестный СССР. М., 2006. С. 241, 253.
43. Сергей Кара-Мурза. Жизнь в СССР. М., 2009. С. 93.
44. <http://inosmi.ru/russia/20120408/190084702.html>
45. Алексей Козлов. Козел на саксе. М., 1998. С. 6–7.
46. Владимир Козлов. Неизвестный СССР. М., 2006. С. 102.
47. Эльдар Рязанов. Неподведенные итоги. М., 1995. С. 79.
48. Светлана Аллилуева. 20 писем другу. М., 2000. С. 21.
49. Илья Ильф и Евгений Петров. Собрание сочинений. Т. 1. М., 1961. С. 12.
50. Андрей Вознесенский. Дайте мне договорить. М., 2010. С. 30.
51. Евгений Евтушенко. Волчий паспорт. М., 1998. С. 7.
52. Людмила Гурченко. Аплодисменты;
<http://lib.udm.ru/lib/MEMUARY/GURCHENKO/gurch.txt>
53. Эльдар Рязанов. Неподведенные итоги. М., 1995. С. 9.
54. Евгений Евтушенко. Волчий паспорт. М., 1998. С. 11.
55. Дмитрий Громов. Толстый слой иронии. // Корреспондент, 2011, № 42. С. 62–64.
56. Алексей Козлов. Козел на саксе. М., 1998. С. 245.
57. Леонид Борткевич. «Песняры» и Ольга. М., 2003. С. 109.
58. Владимир Винников. Слово: между цитатой и мифом; zavtra.ru/cgi/veil/data/zavtra/99/298/82.html
59. Михаил Геллер. Российские заметки. М., 1999. С. 66.

60. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 333.
61. Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. СПб, 1996. С. 407–408.
62. Михаил Геллер. Российские заметки. М., 1999. С. 63.
63. Александр Солженицын. Образованщина // «Новый мир», 1991, № 5, http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/_Solgen_Obrazovan.php
64. «Огонек», № 47, ноябрь, 1989.
65. Вадим Кожин. Россия. Век двадцатый. 1939–1964. М., 1999. С. 331.
66. Андрей Вознесенский. Дайте мне договорить. М., 2010. С.116.
67. Андрей Паршев. Почему Россия не Америка. М.: Форум, 2001. С. 216.
68. «Огонек», № 52, декабрь, 1989.
69. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 249.
70. Юрий Нагибин. Дневник. М., 1996. С. 59.
71. Эдуард Лимонов. Книга воды. М.: Ad Marginem, 2002; http://nbp-info.ru/new/lib/lim_waterbook/01.html
72. Юрий Нагибин. Дневник. М., 1996. С. 48.
73. Евгений Евтушенко. Волчий паспорт. М., 1998. С. 325.
74. Владимир Кормер. Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура // Вопросы философии, 1989, № 9.
75. Эдуард Лимонов. Другая Россия. М., 2004. С. 87.
76. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 371.
77. Евгений Евтушенко. Волчий паспорт. М., 1998. С. 160.

Примечания к главе 2

1. Илья Ильф, Евгений Петров. Собрание сочинений. Т. 5. М., 1961. С. 262.
2. Гюстав Ле Бон. Психология социализма; samoderjavie.ru/lebon-psihologiyasocializma
3. Николай Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма; <http://www.vehi.net/berdyaev/istoki/>
4. Гюстав Ле Бон. Психология социализма; samoderjavie.ru/lebon-psihologiyasocializma
5. Дмитрий Табачник, Виктор Воронин. Крестный путь Петра Столыпина. Харьков, 2012. С. 380.
6. Там же. С. 121.
7. Морис Палеолог. Царская Россия накануне революции. М., 1991. С. 495.
8. Там же. С. 513.
9. Геннадий Ижицкий. Харьков в газетном репортаже. Харьков, 2011. С. 96.
10. Морис Палеолог. Царская Россия накануне революции. М., 1991. С. 494.
11. Там же. С. 545.
12. Вадим Кожинов. Россия. Век двадцатый. 1901–1939. М., 1999. С. 294.
13. Минувшее. Исторический альманах. Т. 1. М., 1991. С. 308.
14. Вадим Кожинов. Россия. Век двадцатый. 1901–1939. М., 1999. С. 235.
15. Там же. С. 239.
16. Минувшее. Исторический альманах. Т. 2. М., 1991. С. 23.
17. Анатолий Уткин. Вызов Запада и ответ России. М., 2003. С. 295.
18. Морис Палеолог. Царская Россия накануне революции. М., 1991. С. 519.

19. Геннадий Ижицкий. Харьков в газетном репортаже. Харьков, 2011. С. 68.
20. Константин Паустовский. Книга о жизни; <http://paustovskiy.niv.ru/paustovskiy/text/kniga-o-zhizni/kniga-skitanij-4.htm>
21. Юрий Щеглов. Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя. СПб., 2009. С. 102–103.
22. Михаил Кольцов. Фельетоны и очерки. М.: Правда, 1956. С. 42.
23. Валентин Бережков. Рядом со Сталиным. М., 1998. С. 97–98.
24. Корней Чуковский. Дневник. 1901–1929. М., 1997. С. 505, С. 42.
25. Минувшее. Исторический альманах. Т. 3. М., 1991. С. 375.
26. Дмитрий Шерих. 1924. Из Петрограда в Ленинград. М., 2004. С. 95.
27. Юрий Щеглов. Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя. СПб., 2009. С. 333.
28. Константин Симонов. Глазами человека моего поколения. М., 1989. С. 44.
29. Лев Копелев. И сотворил себе кумира; www.belousenko.com/books/kopelev/kopelev_kumir.htm
30. Юрий Щеглов. Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя. СПб., 2009. С. 630.
31. Надежда Мандельштам. Воспоминания. М., 1989. С. 311.
32. Александр Лившин. Настроения и политические эмоции в Советской России 1917–1932 гг. М., 2010. С. 80.
33. Георгий Андреевский. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920-1930-е. М., 2008. С. 237.
34. Там же. С. 241.
35. Константин Симонов. Глазами человека моего поколения. М., 1989. С. 200.

36. Сергей Кара-Мурза. Советская цивилизация. М., 2001. С. 383.

37. Александр Лившин. Настроения и политические эмоции в Советской России 1917–1932 гг. М., 2010. С. 186.

38. Корней Чуковский. Дневник. 1901–1929. М., 1997. С. 355–356.

39. Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь», Кн. III; http://www.belousenko.com/books/Erenburg/erenburg_memoirs_3.htm

40. Анастас Микоян. Так было. М., 1999. С. 294.

41. Александр Солженицын. Образованщина. // Новый мир, № 5, 1991. С. 28–46.

42. Давид Самойлов. Перебирая наши даты. М., 2000. С. 143.

43. Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. Кн. III; http://www.belousenko.com/books/Erenburg/erenburg_memoirs_3.htm

44. Леонид Утесов. Спасибо, сердце; <http://lib.udm.ru/lib/MEMUARY/UTESOW/serdce.txt>

45. Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. Кн. III; http://www.belousenko.com/books/Erenburg/erenburg_memoirs_3.htm

46. Андрей Паршев. Почему Россия не Америка. М.: Форум, 2001. С. 143)

47. Михаил Кольцов. Фельетоны и очерки. М.: Правда, 1956. С. 302.

48. Борис Красовицкий. Взрослое детство. Харьков: Фолио, 2007. С. 99.

49. Сергей Кара-Мурза. Советская цивилизация. М., 2001. С. 308.

50. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 9.

51. Лев Копелев. И сотворил себе кумира; www.belousenko.com/books/kopelev/kopelev_kumir.htm

52. Сергей Кара-Мурза. Советская цивилизация. М., 2001. С. 394.

53. Геннадий Сысоев. Фашизофрения; <http://1stolica.com.ua/wp-content/uploads/54>. Лев Копелев. И сотворил себе кумира; www.belousenko.com/books/kopelev/kopelev_kumir.htm

55. Константин Симонов. Глазами человека моего поколения. М., 1989. С. 44.

56. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 72.

57. Иосиф Сталин. Речь на Первом Всесоюзном съезде колхозников-ударников; www.marxists.org/russkij/stalin/t13/t13_39.htm

58. Николай Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма. <http://www.vehi.net/berdyaev/istoki/>

59. Гюстав Ле Бон. Психология социализма; samoderjavie.ru/lebon-psihologiyasocializma

60. Игорь Бунич. Пятисотлетняя война в России. Оккупация. Киев, 1997. С. 218–219.

61. Сергей Кара-Мурза. Советская цивилизация. М., 2001. С. 396.

62. Валентин Бережков. Рядом со Сталиным. М., 1998. С. 261.

63. Там же. С. 251.

64. Там же. С. 253.

65. Там же. С. 252–253.

66. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 80.

67. Лазарь Каганович. Памятные записки. М., 1996. С. 424.

68. Там же. С. 429.

70. Людмила Гурченко. Аплодисменты; <http://lib.udm.ru/lib/MEMUARY/GURCHENKO/gurch.txt>

71. Юрий Щеглов. Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя. СПб., 2009. С. 289.

72. Валентин Бережков. Рядом со Сталиным. М., 1998. С. 160–161.
73. Образ другого. Сборник статей. М., 2012. С. 63.
74. Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Т.2. СПб., 1996. С. 20.
75. Алексей Козлов. Козел на саксе. М., 1998. С. 229.
76. Александр Орлов. Тайные преступления Сталина; <http://trst.narod.ru/orlov/oglav.htm>
77. Юрий Жуков. Иной Сталин. М., 2003. С. 208.
78. Там же. С. 226.
79. Вадим Кожин. Россия. Век двадцатый. 1901–1939. М., 1999. С. 296.
80. Никита Хрущёв. Время. Люди. Власть. Кн. 2. Ч. 3; <http://bookz.ru/authors/hrubev-nikita/hruscn03/page-20-hruscn03.html>
81. Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. Кн. VI; http://www.belousenko.com/books/Erenburg/erenburg_memoirs_6.htm
81. Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. Кн. VI; http://www.belousenko.com/books/Erenburg/erenburg_memoirs_6.htm
82. Вадим Кожин. Россия. Век двадцатый. 1901–1939. М., 1999. С. 411.
83. Светлана Аллилуева. 20 писем другу. М., 2000. С. 162, С. 163.
84. Михаил Восленский. Номенклатура. М., 2005. С. 86.
85. Там же. С. 87.
86. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 431.
87. Михаил Восленский. Номенклатура. М., 2005. С. 185)
88. Борис Ефимов. Мои встречи. М., 2005. С. 400.
89. Вадим Кожин. Россия. Век двадцатый. 1939–1964. М., 1999. С. 320.

90. Александр Пыжиков, Александр Данилов. Рождение сверхдержавы. 1945–1953 годы. М., 2002. С. 192.
91. Игорь Бунич. Пятисотлетняя война в России. Оккупация. Киев, 1997. С. 263.
92. Эльдар Рязанов. Неподведенные итоги. М., 1995. С. 79.31.
93. Константин Симонов. Глазами человека моего поколения. М., 1989. С. 242–243.
94. Андрей Судоплатов. Тайная жизнь генерала Судоплатова. Т.2. М., 1998. С. 340.
95. Владимир Кормер. Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура. // Вопросы философии, 1989, № 9; <http://www.posters.ec/b/167124/read#t1>
96. Андрей Судоплатов. Тайная жизнь генерала Судоплатова. Т.2. М., 1998. С. 348.
97. Владимир Козлов. Неизвестный СССР. М., 2006. С. 93.
98. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 200–201.
99. Вадим Кожинов. Россия. Век двадцатый. 1939–1964. М., 1999. С. 326.
100. Там же. С. 363.
101. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 319.
102. Андрей Вознесенский. Дайте мне договорить. М., 2010. С.127.
103. Юрий Нагибин. Дневник. М., 1996. С. 90.
104. Андрей Судоплатов. Тайная жизнь генерала Судоплатова. Т.2. М., 1998. С. 333.
105. Светлана Аллилуева. 20 писем другу. М., 2000. С. 223.
106. Владимир Козлов. Неизвестный СССР. М., 2006. С. 261.

107. Сергей Аверинцев. Обращение к Богу советской интеллигенции в 60-70-е годы. // Община XXI век, № 9 (21), сентябрь 2002; http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/aver/obr_bg.php
108. Игорь Бунич. Пятисотлетняя война в России. Оккупация. Киев, 1997. С. 280.
109. Михаил Докучаев. Москва. Кремль. Охрана. М., 1995. С. 173.
110. www.bulvar.com.ua/arch/2006/34/44eb05084c91e/
111. Эльдар Рязанов. Неподведенные итоги. М., 1995. С. 79.
112. Михаил Восленский. Номенклатура. М., 2005. С. 115.
113. Михаил Геллер. Российские заметки. М, 1999. С. 292.
114. Игорь Бунич. Пятисотлетняя война в России. Оккупация. Киев, 1997. С. 286.
115. Леонид Борткевич. «Песняры» и Ольга. М., 2003. С. 70, 72.
116. Юрий Нагибин. Дневник. М., 1996. С. 531-532.
117. Там же. С. 510-511.
118. Конрад Беккер. Культурная интеллигенция и социальный контроль; <http://lib.rus.ec/b/125847/read>
119. Сергей Кара-Мурза. Интеллигенция на пепелище родной страны. <http://kara-murza.ru/books/intel/intel.html>
120. Там же.
121. Конрад Беккер. Культурная интеллигенция и социальный контроль; <http://lib.rus.ec/b/125847/read>

Примечания к главе 3

1. Юрий Олеша. Ни дня без строчки; <http://www.sunhome.ru/books/b.ni-dnyabez-strochki/35>

2. Гюстав Ле Бон. Психология социализма; samoderjavie.ru/lebon-psihologiyasocializma
3. Дмитрий Табачник, Виктор Воронин. Крестный путь Петра Столыпина. Харьков, 2012. С. 182.
4. Sidney and Beatrice Webb, p. 236.
5. Emile Joseph Dilon. Цит. по Sidney and Beatrice Webb. Soviet Communism: A New Civilization? London: Victor Gollancz, 1937, p. 809.
6. Дмитрий Табачник, Виктор Воронин. Крестный путь Петра Столыпина. Харьков, 2012. С. 217.
7. Андрей Паршев. Почему Россия не Америка. М., 2001. С. 143.
8. Морис Палеолог. Царская Россия накануне революции. М., 1991. С. 543.
9. Там же. С. 505.
10. Минувшее. Исторический альманах. Т. 1. М., 1991. С. 300.
11. Александр Блок. Интеллигенция и революция; http://www.teatr-lib.ru/Library/Blok/T_6/#_Toc156930929
12. Василий Шульгин. Три столицы. М., 1991. С. 115.
13. <http://philosophy.ru/library/vehi/struve.html>
14. Филипп Бобков. КГБ и власть. М., 1995. С. 266.
15. Эльдар Рязанов. Неподведенные итоги. М., 1995. С. 79.
16. Михаил Пришвин. Дневники 1926–1927. М., 2003. С. 92.
17. Николай Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма. <http://www.vehi.net/berdyaev/istoki/>
18. Вадим Кожинов. Россия. Век двадцатый. 1901–1939. М., 1999. С. 104.
19. Тюремная одиссея Василия Шульгина. Сборник документов. М., 2010. С. 480.
20. Александр Лившин. Настроения и политические эмоции в Советской России 1917–1932 гг. М., 2010. С. 143.
21. Там же. С. 83, с. 84.

22. Минувшее. Исторический альманах. Т. 2. М., 1991. С. 275.

23. Вадим Кожин. Победы и беды России. М., 2000. С. 339.

24. Лев Троцкий. Социалистическое отечество в опасности;
www.magister.msk.ru/library/trotsky/trotl651.htm

25. Виктор Петелин. Жизнь Алексея Толстого. Красный граф. М., 2001. С. 665.

26. Людмила Булавка. Феномен советской культуры. М., 2008. С. 24.

27. Минувшее. Исторический альманах. Т. 3. М., 1991. С. 294.

28. Там же. С. 337.

29. Людмила Булавка. Феномен советской культуры. М., 2008. С. 255.

30. Анатолий Уткин. Вызов Запада и ответ России. М., 2003. С. 345.

31. Николай Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма. <http://www.vehi.net/berdyaev/istoki/>

32. Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. Кн. III;
http://www.belousenko.com/books/Erenburg/erenburg_memoirs_3.htm

33. Сергей Кара-Мурза. Интеллигенция на пепелище родной страны; <http://kara-murza.ru/books/intel/intel.html>

34. Там же.

35. Людмила Булавка. Феномен советской культуры. М., 2008. С. 286.

36. Юрий Нагибин. Дневник. М., 1996. С. 128–129.

37. Михаил Кольцов. Фельетоны и очерки. М., 1956. С. 215.

38. Александр Лившин. Настроения и политические эмоции в Советской России 1917–1932 гг. М., 2010. С. 190.

39. Давид Самойлов. Перебирая наши даты. М., 2000. С. 76.

40. Корней Чуковский. Дневник. 1901–1929. М., 1997. С. 277.
41. Там же. С. 438.
42. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 106.
43. Михаил Пришвин. Дневники 1926–1927. М., 2003. С. 61.
44. Михаил Булгаков. Собрание сочинений в 8 томах. Т. 8. Жизнеописание в документах. СПб., 2002. С. 327.
45. Елена Булгакова. Дневник Е.С.Булгаковой. М., 1990. С. 160.
46. Венедикт Ерофеев. Мой очень жизненный путь. М., 2003. С. 355.
47. Там же. С. 339.
48. Юрий Нагибин. Дневник. М., 1996. С. 415.
49. Александр Довженко. Дневник. // Огонек, 1989, № 19. С. 10.
50. Послушай демократов и пойми наоборот. // За СССР, № 8(33), 1997; <http://vgubin.info/GAZET-11.HTM>.
51. Михаил Булгаков. Собрание сочинений в 8 томах. Т. 8. Жизнеописание в документах. СПб., 2002. С. 714/
52. Арье-Лейб при участии Пинхаса Коца. Двойной портрет; <http://www.lechaim.ru/ARHIV/126/leyb.htm>
53. Эрих Керн. Пляска смерти. М., 2007. С. 150)
54. Венедикт Ерофеев. Мой очень жизненный путь. М., 2003. С. 596–597.
55. Лидия Смирнова. Моя любовь. М., 1997. С. 98.
56. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 283.
57. Сергей Кара-Мурза. Интеллигенция на пепелище родной страны; <http://kara-murza.ru/books/intel/intel.html>
58. Огонек, № 36, сентябрь 1989 г.
59. Правила светской жизни и этикета. СПб., 1889. С. 131.
60. Надежда Мандельштам. Воспоминания. М., 1989. С. 40.

61. Александр Лившин. Настроения и политические эмоции в Советской России 1917–1932 гг. М., 2010. С. 107.
62. Михаил Восленский. Номенклатура. М., 2005. С. 145, С. 146.
63. Александр Лившин. Настроения и политические эмоции в Советской России 1917–1932 гг. М., 2010. С. 102.
64. Корней Чуковский. Дневник. 1901–1929. М., 1997. С. 359.
65. Юрий Щеглов. Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя. СПб., 2009. С. 355.
66. Александр Лившин. Настроения и политические эмоции в Советской России 1917–1932 гг. М., 2010. С. 124.
67. Там же. С. 122–123.
68. Владимир Кормер. Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура // Вопросы философии, 1989, № 9., <http://www.posters.ec/b/167124/read#t1>
69. Корней Чуковский. Дневник. 1901–1929. М., 1997. С. 462.
70. Елена Булгакова. Дневник Е.С.Булгаковой. М., 1990. С. 52.
71. Минувшее. Исторический альманах. Т. 2. М., 1991. С. 84.
72. Андрей Вознесенский. Дайте мне договорить. М., 2010. С. 275.
73. Евгений Евтушенко. Волчий паспорт. М., 1998. С. 202–203.
74. Давид Самойлов. Перебирая наши даты. М., 2000. С. 201.
75. Эльдар Рязанов. Неподведенные итоги. М., 1995. С. 79.
76. Борис Ефимов. Мои встречи. М., 2005. С. 463.
77. Образ другого. Сборник статей. М., 2012. С. 62.

78. Лариса Васильева. Дети Кремля;
http://1001.ru/books/kremlin_child/issue25
79. Там же.
80. Там же.
81. Светлана Аллилуева. 20 писем другу. М., 2000. С. 29-30.
82. Валентин Бережков. Рядом со Сталиным. М., 1998. С. 262.
83. Там же. С. 266.
84. Александр Орлов. Тайные преступления Сталина; <http://trst.narod.ru/orlov/oglav.htm>
85. Феликс Чуев. Молотов. Полудержавный властелин. М., 2002. С. 676-677.
86. Светлана Аллилуева. 20 писем другу. М., 2000. С. 184.
87. Михаил Пришвин. Дневники 1926-1927. М., 2003. С. 66.
88. Там же. С. 44.
89. Анастас Микоян. Так было. М., 1999. С. 292.
90. Валентин Бережков. Рядом со Сталиным. М., 1998. С. 255.
91. Светлана Аллилуева. 20 писем другу. М., 2000.
92. Леся Васильева. Теория элит: социология политики;
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/vasil2/index.php
93. Михаил Восленский. Номенклатура. М., 2005. С. 155.
94. Лариса Васильева. Дети Кремля;
http://1001.ru/books/kremlin_child/issue25
95. Михаил Докучаев. Москва. Кремль. Охрана. М., 1995. С. 72.
96. Надежда Мандельштам. Воспоминания. М., 1989. С. 93.
97. Лидия Смирнова. Моя любовь. М., 1997. С. 127.
98. Надежда Мандельштам. Воспоминания. М., 1989. С. 131.

99. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 371.
100. Александр Орлов. Тайные преступления Сталина; <http://trst.narod.ru/orlov/oglav.htm>
101. Светлана Аллилуева. 20 писем другу. М., 2000. С. 175.
102. Михаил Докучаев. Москва. Кремль. Охрана. М., 1995. С. 71.
103. Лариса Васильева. Дети Кремля; http://1001.ru/books/kremlin_child/issue25
104. Василий Аксенов. Тайная страсть; www.litmir.net/br/?b=128171&p=11
105. Александр Зиновьев. Нашей юности полет; <http://www.zinoviev.ru/rus/polet.html>
106. Константин Симонов. Глазами человека моего поколения. М., 1989. С. 76.
107. Там же. С. 77.
108. Елена Булгакова. Дневник Е.С.Булгаковой. М., 1990. С. 250.
109. Борис Ефимов. Мои встречи. М., 2005. С. 230.
110. Александр Орлов. Тайные преступления Сталина; <http://trst.narod.ru/orlov/oglav.htm>
111. Андрей Судоплатов. Тайная жизнь генерала Судоплатова. Т.2. М., 1998. С. 170.
112. Валентин Бережков. Рядом со Сталиным. М., 1998. С. 243.
113. Николай Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма. <http://www.vehi.net/berdyaev/istoki/>
114. Вадим Кожинов. Победы и беды России. М., 2000. С. 366.
115. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 201.
116. Михаил Пришвин. Дневники 1926–1927. М., 2003. С. 203.
117. Валентин Бережков. Рядом со Сталиным. М., 1998. С. 155.

118. Сергей Кара-Мурза. Советская цивилизация. Т. 2. М., 2001. С. 340.
119. Вадим Кожин. Россия. Век двадцатый. 1901–1939. М., 1999. С. 309.
120. Геннадий Сысоев. Фашизофрения; <http://1stolica.com.ua/wp-content/uploads/>
121. Давид Самойлов. Перебирая наши даты. М., 2000. С. 52.
122. Моисей Альтман, «Автобиографическая проза», <http://www.v-ivanov.it/altman/01text/08.htm>
123. Давид Самойлов. Перебирая наши даты. М., 2000. С. 55.
124. Игорь Губерман. Литературные дневники; www.proza.ru/diary/david2002/2012-06-25
125. Геннадий Ижицкий. Харьков в газетном репортаже. Харьков, 2011. С. 88–89.
126. Минувшее. Исторический альманах. Т. 2. М., 1991. С. 382.
127. Борис Ефимов. Мои встречи. М., 2005. С. 348.
128. Лев Троцкий. Под знаком дела Бейлиса; magister.msk.ru/library/trotsky/trotm073.htm
129. Сергей Горлов. Совершенно секретно: альянс Москва-Берлин 1920–1933 гг. М., 2001. С. 238.
130. Игорь Шафаревич. Трехтысячелетняя загадка. СПб., 2002. С. 325.
131. Давид Самойлов. Перебирая наши даты. М., 2000. С. 54–55.
132. Лев Копелев. И сотворил себе кумира; www.belousenko.com/books/kopelev/kopelev_kumir.htm
133. Игорь Шафаревич. Трехтысячелетняя загадка. СПб., 2002. С. 324.
134. Вадим Кожин. Россия. Век двадцатый. 1901–1939. М., 1999. С. 536.
135. Георгий Андреевский. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920–1930-е. М. 2008. С. 533–534.

136. Анатолий Мариенгоф. Бессмертная трилогия. М., 2000. С. 242.

137. Андрей Судоплатов. Тайная жизнь генерала Судоплатова. Т. 1. М., 1998. С. 292.

138. Михаил Пришвин. Дневники 1926–1927. М., 2003. С. 89.

139. Вадим Кожин. Россия. Век двадцатый. 1901–1939. М., 1999. С. 366.

140. Феликс Чуев. Молотов. Полудержавный властелин. М., 2002. С. 333.

141. Анатолий Мариенгоф. Бессмертная трилогия. М., 2000. С. 237.

142. Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Т. 1. СПб., 1996. С. 178.

143. Александр Довженко. Дневник. // Огонек, 1989, № 19. С. 11.

144. Андрей Судоплатов. Тайная жизнь генерала Судоплатова. Т.2. М., 1998. С. 302.

145. Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. Кн. VI; http://www.belousenko.com/books/Erenburg/erenburg_memoirs_6.htm

146. Давид Самойлов. Перебирая наши даты. М., 2000. С. 56.

147. Вадим Кожин. Россия. Век двадцатый. 1939–1964. М., 1999. С. 306.

148. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 306.

149. Александр Пыжиков, Александр Данилов. Рождение сверхдержавы. 1945–1953 годы. М., 2002. С.173.

150. Там же. С. 178.

151. Алексей Козлов. Козел на саксе. М., 1998. С. 323.

152. Лев Гумилев: судьба и идеи. Сборник статей. М., 2003. С. 407.

153. Леонид Куксо. Неизвестный Никулин. М., 1999. С. 365.

154. Андрей Судоплатов. Тайная жизнь генерала Судоплатова. Т. 1. М., 1998. С. 19.

155. Сергей Кара-Мурза. Советская цивилизация. Т. 1. М., 2001. С. 322.

156. Лазарь Каганович. Памятные записки. М., 1996. С. 382.

157. Андрей Судоплатов. Тайная жизнь генерала Судоплатова. Т. 1. М., 1998. С. 16.

158. Филипп Бобков. КГБ и власть. М., 1995. С. 148.

159. Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. Кн. VII; http://www.belousenko.com/books/Erenburg/erenburg_memoirs_7.htm

160. Георгий Андреевский. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1930-1940-е. М., 2008. С. 266.

160. Там же. С. 266.

161. Владимир Козлов. Неизвестный СССР. М., 2006. С. 253.

162. Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. Кн. VII; http://www.belousenko.com/books/Erenburg/erenburg_memoirs_7.htm

163. Владимир Козлов. Неизвестный СССР. М., 2006. С. 425.

164. Корней Чуковский. Дневник. 1930-1969. М., 1995. С. 14.

165. Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Т. 1. СПб., 1996. С. 178.

166. Сергей Кара-Мурза. Советская цивилизация. Т. 1. М., 2001. С. 501.

167. Владимир Козлов. Неизвестный СССР. М., 2006. С. 209.

168. Там же. С. 230.

169. Там же. С. 232-233.

170. Бульвар Гордона, 20.09. 2011;
www.bulvar.com.ua/arch/2011/38/4e7a498c4aa6c/
171. Евгений Евтушенко. Волчий паспорт. М., 1998. С. 101.
172. Георгий Андреевский. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920-1930-е. М. 2008. С. 507.
173. Сергей Кара-Мурза. Советская цивилизация. Т. 2. М., 2001. С. 36, С. 38.
174. Алексей Козлов. Козел на саксе. М., 1998. С. 97.
175. Василий Катанян. Прикосновение к идолам. М., 1997. С. 390.
176. Лидия Смирнова. Моя любовь. М., 1997. С. 176.
177. Эльдар Рязанов. Неподведенные итоги. М., 1995. С. 79.173-174.
178. Евгений Евтушенко. Волчий паспорт. М., 1998. С. 300.
179. Венедикт Ерофеев. Мой очень жизненный путь. М., 2003. С. 431.
180. Лев Гумилев: судьба и идеи. Сборник статей. М., 2003. С. 546.
181. Корней Чуковский. Дневник. 1930-1969. М., 1995. С. 13.
182. Лидия Смирнова. Моя любовь. М., 1997. С. 168.
183. Анастас Микоян. Так было. М., 1999. С. 310.
184. Сергей Кара-Мурза. Советская цивилизация. Т. 2. М., 2001. С. 191.
185. Владимир Козлов. Неизвестный СССР. М., 2006. С. 100.
186. Там же. С. 421-422.
187. Николай Амосов. Моё мировоззрение. // Вопросы философии, 1992, № 6. С. 56, 68.
188. Дмитрий Быков. И все-все-все. Сборник интервью. М., 2009. С. 144.
189. Гелий Снегирев. Континент, № 15;
http://www.vtoraya-literatura.com/publ_451.html

Примечания к главе 4

1. Юрий Нагибин. Дневник. М., 1996. С. 339.
2. Гюстав Ле Бон. Психология социализма; samoderjavie.ru/lebon-psihologiyasocializma
3. Дмитрий Табачник, Виктор Воронин. Крестный путь Петра Столыпина. Харьков, 2012. С. 141.
4. Гюстав Ле Бон. Психология социализма; samoderjavie.ru/lebonpsihologiyasocializma
5. Морис Палеолог. Царская Россия накануне революции. М., 1991. С. 521.
6. ru.wikipedia.org/wiki/Красный_террор
7. Там же.
8. Там же.
9. ru.wikipedia.org/wiki/Уголовный_кодекс_РСФСР_1922_года
10. Тюремная одиссея Василия Шульгина. Сборник документов. М., 2010. С. 46.
11. Георгий Андреевский. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920-1930-е. М. 2008. С. 370.
12. Вениамин Каверин. Эпилог. М., 1989. С. 206.
13. Надежда Мандельштам. Воспоминания. М., 1989. С.25.
14. Корней Чуковский. Дневник. 1901-1929. М., 1997. С. 275.
15. Сергей Кара-Мурза. Советская цивилизация. Т. 1. М., 2001. С. 319.
16. Александр Лившин. Настроения и политические эмоции в Советской России 1917-1932 гг. М., 2010. С. 158.
17. Там же. С. 197.
18. Илья Ильф, Евгений Петров. Собрание сочинений. Т. 5. М., 1961. С. 509.

19. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 220.
20. Илья Ильф, Евгений Петров. Собрание сочинений. Т. 2. М., 1961. С. 544.
21. Надежда Мандельштам. Воспоминания. М., 1989. С. 105.
22. Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Т. 1. СПб., 1996. С. 86.
23. Вадим Кожинов. Россия. Век двадцатый. 1901–1939. М., 1999. С. 349.
24. Там же. С. 349.
25. Там же. С. 337.
26. Андрей Судоплатов. Тайная жизнь генерала Судоплатова. Т.2. М., 1998. С. 379.
27. Леонид Максименков. Очерки номенклатурной истории советской литературы;
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/maxim/02.php
28. Там же.
29. Игорь Бунин. Пятисотлетняя война в России. Оккупация. Киев, 1997. С. 215.
30. Валентин Бережков. Рядом со Сталиным. М., 1998. С. 168, С. 171.
31. Гелий Снегирев, «Континент. № 15»,
http://www.vtoraya-literatura.com/publ_451.html
32. Вадим Роговин. Партия расстрелянных;
<http://web.mit.edu/people/fjk/Rogovin/volume5/xxvii.html>
33. Евгений Громов. Сталин: искусство и власть. М., 2003. С. 161.
34. Лидия Смирнова. Моя любовь. М., 1997. С. 132.
35. Вадим Кожинов. Россия. Век двадцатый. 1901–1939. М., 1999. С. 330.
36. Елена Булгакова. Дневник Е.С.Булгаковой. М., 1990. С. 96.
37. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 326.

38. Надежда Мандельштам. Воспоминания. М., 1989. С. 30.
39. Борис Ефимов. Мои встречи. М., 2005. С. 246.
40. Елена Булгакова. Дневник Е.С. Булгаковой. М., 1990. С. 115.
41. Лидия Яновская. Записки о Михаиле Булгакове. М., 2007. С. 210.
42. Арье-Лейб при участии Пинхаса Коца. Двойной портрет; <http://www.lechaim.ru/ARHIV/126/leyb.htm>
43. Елена Булгакова. Дневник Е.С.Булгаковой. М., 1990. С. 203-204.
44. Вениамин Каверин. Эпилог. М., 1989. С. 108-109.
45. Сергей Кара-Мурза. Советская цивилизация. Т. 1. М., 2001. С. 416.
46. Михаил Восленский. Номенклатура. М., 2005. С. 102.
47. Сергей Кара-Мурза. Советская цивилизация. Т. 1. М., 2001. С. 419. С. 502.
48. Лев Гумилев: судьба и идеи. Сборник статей. М., 2003. С. 517. С. 516.
49. Сергей Кара-Мурза. Советская цивилизация. Т. 1. М., 2001. С. 423.
50. Лион Фейхтвангер. Москва 1937. Отчет о поездке для моих друзей; <http://lib.ru/INPROZ/FEJHTWANGER/moscow1937.txt>
51. Александр Лившин. Настроения и политические эмоции в Советской России 1917-1932 гг. М., 2010. С. 96.
52. Валентин Бережков. Рядом со Сталиным. М., 1998. С. 88.
53. Михаил Восленский. Номенклатура. М., 2005. С. 92. С. 100.
54. Феликс Чуев. Молотов. Полудержавный властелин. М., 2002. С. 694.
55. Анастас Микоян. Так было. М., 1999. С. 592.
56. Константин Симонов. Глазами человека моего поколения. М., 1989. С. 49.

57. Анастас Микоян. Так было. М., 1999. С. 316.
58. Борис Ефимов. Мои встречи. М., 2005. С. 58.
59. Надежда Мандельштам. Воспоминания. М., 1989. С. 107.
60. Светлана Аллилуева. 20 писем другу. М., 2000. С. 128.
61. Феликс Чуев. Молотов. Полудержавный властелин. М., 2002. С. 489.
62. Сергей Кара-Мурза. Советская цивилизация. Т. 2. М., 2001. С. 160.
63. Александр Орлов, «Тайные преступления Сталина», <http://trst.narod.ru/orlov/oglav.htm>
64. Там же.
65. Там же.
66. Лев Копелев. И сотворил себе кумира; www.belousenko.com/books/kopelev/kopelev_kumir.htm
67. Вадим Кожин. Россия. Век двадцатый. 1901–1939. М., 1999. С. 322.
68. Там же. С. 349.
69. Зигмунд Бауман. Индивидуализированное общество; http://yanko.lib.ru/books/sociology/bauman-individualized_society-2005-ru-a.htm
70. Вадим Кожин. Россия. Век двадцатый. 1939–1964. М., 1999. С. 318.
71. Анатолий Уткин. Вызов Запада и ответ России. М., 2003. С. 300–301.
72. Вадим Кожин. Победы и беды России. М., 2000. С. 341.
73. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 76.
74. Минувшее. Исторический альманах. Т. 2. М., 1991. С. 345.
75. Юрий Жуков. Иной Сталин. М., 2003. С. 179.
76. Лион Фейхтвангер. Москва 1937. Отчет о поездке для моих друзей; <http://lib.ru/INPROZ/FEJHTWANGER/moscow1937.txt>

77. Сергей Кара-Мурза. Жизнь в СССР. М., 2009. С. 95.

78. Александр Орлов, «Тайные преступления Сталина», <http://trst.narod.ru/orlov/oglav.htm>

79. Александр Зиновьев. Нашей юности полет; <http://www.zinoviev.ru/rus/polet.html>

80. Валентин Бережков. Рядом со Сталиным. М., 1998. С. 150.

81. Елена Булгакова. Дневник Е.С.Булгаковой; http://www.belousenko.com/books/memoirs/Bulgakova_Dnevnik.htm

82. Евгений Громов. Сталин: искусство и власть. М., 2003. С. 137.

83. Вадим Кожинов. Россия. Век двадцатый. 1901–1939. М., 1999. С. 323.

84. Михаил Ромм. Устные рассказы. М., 1991. С. 60.

85. Андрей Судоплатов. Тайная жизнь генерала Судоплатова. Т. 1. М., 1998. С. 118.

86. Феликс Чуев. Молотов. Полудержавный властелин; http://bookz.ru/authors/4uev-feliks/sto-soro_132/page-33-sto-soro_132.html

87. Давид Самойлов. Перебирая наши даты. М., 2000. С. 484.

88. Александр Зиновьев. Нашей юности полет; <http://www.zinoviev.ru/rus/polet.html>

89. Олег Хлевнюк. Иосиф Сталин как управленец; <http://1stolica.com.ua/10597.html>

90. Феликс Чуев. Молотов. Полудержавный властелин. М., 2002. С. 514.

91. Юрий Жуков. Иной Сталин. М., 2003. С. 483.

92. Там же. С. 451.

93. Валентин Бережков. Рядом со Сталиным. М., 1998. С. 264.

94. Михаил Булгаков. Собрание сочинений в 8 томах. Т. 8. Жизнеописание в документах. СПб., 2002. С. 593.

95. Там же. С. 594.

96. Минувшее. Исторический альманах. Т. 2. М., 1991. С. 324. С. 325.

97. Минувшее. Исторический альманах. Т. 3. М., 1991. С. 317.

98. Давид Самойлов. Перебирая наши даты. М., 2000. С. 144.

99. Александр Орлов. Тайные преступления Сталина; <http://trst.narod.ru/orlov/oglav.htm>

100. Лион Фейхтвангер. Москва 1937. Отчет о поездке для моих друзей; <http://lib.ru/INPROZ/FEJHTWANGER/moscow1937.txt>

101. Борис Ефимов. Мои встречи. М., 2005. С. 486.

102. Феликс Чуев. Молотов. Полудержавный властелин. М., 2002. С.474.

103. Лион Фейхтвангер. Москва 1937. Отчет о поездке для моих друзей; <http://lib.ru/INPROZ/FEJHTWANGER/moscow1937.txt>

104. Майкл Сейерс, Альберт Канн. Тайная война против Советской России; nsvisual.com/2/gin/120/202

105. Борис Ефимов. Мои встречи. М., 2005. С. 208.

106. Никита Хрущёв. Время. Люди. Власть. Кн. 1; <http://militera.lib.ru/memo/russian/khrushchev1/08.html>

107. Мариэтта Чудакова. Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988. С. 614.

108. Михаил Кольцов. Фельетоны и очерки. М., 1956. С. 356.

109. Огонек № 15, 1989. С. 11. С. 12.

110. Константин Симонов. Глазами человека моего поколения. М., 1989. С. 72-73.

111. Анастас Микоян. Так было. М., 1999. С. 318.

112. Виктор Бердичевский. Я благодарен памяти. Харьков, 2011. С. 135.

113. «Огонек», № 38, сентябрь 1989.

114. Евгений Евтушенко. Волчий паспорт. М., 1998. С. 459.

115. Вадим Кожин. Россия. Век двадцатый. 1901–1939. М., 1999. С. 331.
116. Там же. С. 331.
117. Там же. С. 373. 375.
118. Там же. С. 326–328.
119. Лев Копелев. И сотворил себе кумира; www.belousenko.com/books/kopelev/kopelev_kumir.htm
120. Никита Хрущёв. Время. Люди. Власть. Кн. 1; <http://militera.lib.ru/memo/russian/khrushchev1/08.html>
121. Светлана Аллилуева. 20 писем другу. М., 2000. С. 55.
122. Никита Хрущёв. Время. Люди. Власть. Кн. 1; <http://militera.lib.ru/memo/russian/khrushchev1/08.html>
123. Венедикт Ерофеев. Мой очень жизненный путь. М., 2003. С. 490.
124. Ирина Белобровцева, Светлана Кулюс. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Комментарий. М., 2007. С. 376.
125. Елена Булгакова. Дневник Е. С. Булгаковой. М., 1990. С. 153.
126. Сергей Горлов. Совершенно секретно: альянс Москва – Берлин 1920–1933 гг. М.: Олма-пресс, 2001. С. 240.
127. Евгений Евтушенко. Волчий паспорт. М., 1998. С. 235.
128. Михаил Докучаев. Москва. Кремль. Охрана. М., 1995. С. 110.
129. Александр Орлов. Тайные преступления Сталина; <http://trst.narod.ru/orlov/oglav.htm>
130. Лион Фейхтвангер. Москва 1937. Отчет о поездке для моих друзей; <http://lib.ru/INPROZ/FEJHTWANGER/moscow1937.txt>
131. Слово товарищу Сталину. Сборник статей. М., 2002. С. 166.
132. Борис Ефимов. Мои встречи. М., 2005. С. 70.

133. Сергей Кара-Мурза. Советская цивилизация. Т. 1. М., 2001. С. 428.
134. Елена Булгакова. Дневник Е.С. Булгаковой. М., 1990. С. 258.
135. Там же. С. 259.
136. Александр Зиновьев. Нашей юности полет; <http://www.zinoviev.ru/rus/polet.html>
137. Надежда Мандельштам. Воспоминания. М., 1989. С. 285.
138. Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Т.2. СПб., 1996. С. 127.
139. Юрий Нагибин. Дневник. М., 1996. С. 129.
140. Михаил Докучаев. Москва. Кремль. Охрана. М., 1995. С. 124.
141. Игорь Шафаревич. Трехтысячелетняя загадка. СПб., 2002. С. 240-241.
142. Андрей Судоплатов. Тайная жизнь генерала Судоплатова. Т.2. М., 1998. С. 340.
143. Феликс Чуев. Молотов. Полудержавный властелин. М., 2002. С. 550.
144. Михаил Докучаев. Москва. Кремль. Охрана. М., 1995. С. 115.
145. Вадим Кожин. Россия. Век двадцатый. 1901-1939. М., 1999. С. 317.
146. Андрей Судоплатов. Тайная жизнь генерала Судоплатова. Т.2. М., 1998. С. 350.
147. Там же. С. 352.
148. Сергей Кара-Мурза. Советская цивилизация. Т. 1. М., 2001. С. 417.
149. Там же. С. 418)
150. Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Т.2. СПб., 1996. С. 387.
151. Владимир Козлов. Неизвестный СССР. М., 2006. С. 24-25.
152. Корней Чуковский. Дневник. 1930-1969. М., 1995. С. 318.

153. Там же. С. 344.
154. <http://korrespondent.net/world/1282777-predvybornaya-gonka-v-ssha-respublikancyagitiruyut-za-primenenie-pytok>
155. <http://www.inosmi.ru/usa/20110625/171191863.html>

Примечания к главе 5

1. Дмитрий Табачник, Виктор Воронин. Крестный путь Петра Столыпина. Харьков, 2012. С. 52.
2. Александр Солженицын. Образованщина; http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/_Solgen_Obrazovan.php
3. Надежда Мандельштам. Воспоминания. М., 1989. С. 118-119.
4. Виктор Шендерович. Здесь было НТВ. М., 2004. С. 37.
5. Александр Лившин. Настроения и политические эмоции в Советской России 1917-1932 гг. М., 2010. С. 295.
6. Анатолий Мариенгоф. Бессмертная трилогия. М., 2000. С. 208-209.
7. Валентин Катаев. Трава забвенья. М., 2007. С. 379-380.
8. Там же. С. 378.
9. Феликс Чуев. Молотов. Полудержавный властелин. М., 2002. С. 616.
10. Борис Ефимов. Мои встречи. М., 2005. С. 241.
11. Снимает Илья Ильф; mikhail-bulgakov.ru/2011/05/08/5-снимает-илья-ильф/
12. Вениамин Каверин. Эпилог. М., 1989. С. 45.
13. Виктор Бердичевский. Я благодарен памяти. Харьков, 2011. С. 135.

14. Михаил Булгаков. Собрание сочинений в 8 томах. Т. 8. Жизнеописание в документах. СПб., 2002. С. 293.
15. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 347.
16. Андрей Вознесенский. Дайте мне договорить. М., 2010. С. 97.
17. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 347.
18. Михаил Булгаков. Собрание сочинений в 8 томах. Т. 8. Жизнеописание в документах. СПб., 2002. С. 147.
19. Корней Чуковский. Дневник. 1901–1929. М., 1997
20. Там же. С. 430.
21. Юрий Щеглов. Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя. СПб., 2009. С. 332.
22. Михаил Булгаков. Собрание сочинений в 8 томах. Т. 8. Жизнеописание в документах. СПб., 2002. С. 593.
23. Мариэтта Чудакова. Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988. С. 629.
24. Юрий Щеглов. Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя. СПб., 2009. С. 356.
25. Георгий Андреевский. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920 –1930-е. М., 2008. С. 524.
26. 100 запрещенных книг. Сборник статей. М., 2004. С. 81.
27. Евгений Громов. Сталин: искусство и власть. М., 2003. С. 120.
28. Там же. С. 125.
29. Корней Чуковский. Дневник. 1901–1929. М., 1997. С. 460.
30. Филипп Бобков. КГБ и власть. М., 1995. С. 318.
31. Арье-Лейб при участии Пинхаса Коца. Двойной портрет; <http://www.lechaim.ru/ARHIV/126/leyb.htm>
32. Образ другого. Сборник статей. М., 2012. С. 68.
33. Валентин Бережков. Рядом со Сталиным. М., 1998. С. 141.

34. Русское зарубежье о Есенине. Эссе, очерки, рецензии, статьи. Т. 2. М., 1993. С. 113-114.

35. Леся Васильева. Теория элит: социология политики;

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/vasil2/index.php

36. Союз Советских Социалистических Республик. БСЭ. М., 1947. С. 1472.

37. Людмила Булавка. Феномен советской культуры. М., 2008. С. 134.

38. Елена Булгакова. Дневник Е.С. Булгаковой; http://www.belousenko.com/books/memoirs/Bulgakova_Dnevnik.htm

39. Василий Шульгин. Три столицы. М., 1991. С. 137.

40. Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. Кн. IV; http://www.belousenko.com/books/Erenburg/erenburg_memoirs_4.htm

41. Михаил Булгаков. Собрание сочинений в 8 томах. Т. 8. Жизнеописание в документах. СПб., 2002. С. 305.

42. Константин Симонов. Глазами человека моего поколения. М., 1989. С. 205.

43. Феликс Чуев. Молотов. Полудержавный властелин. М., 2002. С. 360.

44. Джон Стейнбек. Русский дневник. 1947. // Огонек, № 9, 1989.

45. Карл Мангейм. Проблема интеллигенции: Исследование ее роли в прошлом и настоящем. М. – СПб., 2000. С. 104.

46. Союз Советских Социалистических Республик. БСЭ. М., 1947. С. 1643.

47. Вениамин Каверин. Эпилог. М., 1989. С. 175.

48. Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. Кн. IV; http://www.belousenko.com/books/Erenburg/erenburg_memoirs_4.htm

49. Корней Чуковский. Дневник. 1930-1969. М., 1995. С. 133.

50. I съезд советских писателей;
nov.docdat.com/docs/index-23831.html

51. Валентина Антипина. I съезд советских писателей; <http://www.el-history.ru/node/551>

52. Мариэтта Чудакова. Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988. С. 533.

53. Андрей Чегодаев. Моя жизнь и люди, которых я знал. М., 2006. С.168.

54. Юрий Щеглов. Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя. СПб., 2009. С. 67.

55. Андрей Чегодаев. Моя жизнь и люди, которых я знал. М., 2006. С. 138.

56. Дмитрий Шерих. 1924. Из Петрограда в Ленинград. М., 2004. С. 66.

57. Александр Солженицын, «Образованщина», http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/_Solgen_Obrazovan.php

58. Феликс Чуев. Молотов. Полудержавный властелин. М., 2002. С. 665.

59. Евгений Шварц. Из дневников; http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/Schvar_Dnevn.php

60. Леонид Утесов. Спасибо, сердце; <http://lib.udm.ru/lib/MEMUARY/UTESOW/serdce.txt>

61. Арье-Лейб при участии Пинхаса Коца. Двойной портрет; <http://www.lechaim.ru/ARHIV/126/leyb.htm>

62. Георгий Андреевский. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1930-1940-е. М., 2008. С. 273.

63. Лион Фейхтвангер, «Москва 1937», <http://lib.ru/INPROZ/FEJHTWANGER/moscow1937.txt>

64. Леонид Утесов. Спасибо, сердце; <http://lib.udm.ru/lib/MEMUARY/UTESOW/serdce.txt>

65. Лидия Смирнова. Моя любовь. М., 1997. С. 117.

66. Леонид Максименков. Очерки номенклатурной истории советской литературы;

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/maxim/02.php

67. Василий Катанян. Прикосновение к идолам. М., 1997. С. 291.

68. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 34. С. 33.

69. Константин Симонов. Глазами человека моего поколения. М., 1989. С. 126–127.

70. Михаил Ромм. Устные рассказы. М., 1991. С. 71.

71. Лион Фейхтвангер. Москва 1937; <http://lib.ru/INPROZ/FEJHTWANGER/moscow1937.txt>

72. Владимир Кормер. Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура // Вопросы философии, 1989, № 9, <http://www.posters.ec/b/167124/read#t1>

73. Надежда Мандельштам. Воспоминания. М., 1989. С. 101.

74. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 141.

75. Константин Симонов. Глазами человека моего поколения. М., 1989. С. 214.

76. Елена Булгакова. Дневник Е.С.Булгаковой. М., 1990. С. 226.

77. Надежда Мандельштам. Воспоминания. М., 1989. С.266.

78. Елена Булгакова. Дневник Е.С.Булгаковой. М., 1990. С. 240.

79. Там же. С. 226.

80. Там же. С. 233.

81. Валентин Катаев. Трава забвенья. М., 2007. С. 138.

82. Там же. С. 397.

83. Историческое досье. Что говорили великие люди друг о друге и о себе. Сборник статей. Донецк, 1998. С. 206.

84. Елена Булгакова. Дневник Е.С.Булгаковой. М., 1990. С. 146.

85. Вениамин Каверин. Эпилог. М., 1989. С. 218.
86. Евгений Шварц, «Из дневников»,
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/Schvar_Dnevn.php
87. Образ другого. Сборник статей. М., 2012. С. 64.
88. Феликс Чуев. Молотов. Полудержавный властелин. М., 2002. С. 380–381.
89. <http://www.newsland.ru/news/detail/id/628547/cat/42/>
90. Там же.
91. Светлана Аллилуева. 20 писем другу. М., 2000. С. 118.
92. Там же. С.165.
93. <http://www.sovsekretno.ru/magazines/article/1102>
94. Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. Кн. VII;
http://www.belousenko.com/books/Erenburg/erenburg_memoirs_7.htm
95. Валентин Бережков. Рядом со Сталиным. М., 1998. С. 422.
96. Александр Пыжиков, Александр Данилов. Рождение сверхдержавы. 1945–1953 годы. М., 2002. С. 211–217.
97. Андрей Судоплатов. Тайная жизнь генерала Судоплатова. Т.2. М., 1998.С. 328.
98. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 177.
99. Союз Советских Социалистических Республик. БСЭ. М., 1947. С. 1641.
100. Юрий Нагибин. Дневник. М., 1996. С. 86.
101. Там же. С. 87.
102. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 236.
103. Анатолий Мариенгоф. Бессмертная трилогия. М., 2000. С. 488.
104. Феликс Чуев. Молотов. Полудержавный властелин. М., 2002. С. 10.

105. Джефри Хоскинг. История Советского Союза. М., 1994. С. 201.

106. Лидия Смирнова. Моя любовь. М., 1997. С. 371-372.

107. Никита Хрущёв. Время. Люди. Власть. Кн. 2. Ч 4; [http://www.ereading.org.ua/bookreader.php/62560/Hrushchev_-_Vremya,_Lyudi,_Vlast'_\(Vospominaniya,_kniga_2,_chast'_4\).html](http://www.ereading.org.ua/bookreader.php/62560/Hrushchev_-_Vremya,_Lyudi,_Vlast'_(Vospominaniya,_kniga_2,_chast'_4).html)

108. Там же

109. Евгений Евтушенко. Волчий паспорт. М., 1998. С. 422.

110. Анастас Микоян. Так было. М., 1999. С. 628.

111. Вениамин Каверин. Эпилог. М., 1989. С. 371.

112. Там же. С. 371.

113. Феликс Чуев. Молотов. Полудержавный властелин. М., 2002. С. 650.

114. Корней Чуковский. Дневник. 1930-1969. М., 1995. С. 318.

115. Евгений Евтушенко. Волчий паспорт. М., 1998. С. 449.

116. Там же. С. 453.

117. Александр Солженицын. Как нам обустроить Россию; bookz.ru/authors/soljenicin-aleksandr/.../page-2-alsolzhn01.html

118. Аким Арутюнов. Досье Ленина без ретуши. М., 1999. С. 547.

119. Никита Хрущёв. Время. Люди. Власть. Кн. 2. Ч 4; [http://www.ereading.org.ua/bookreader.php/62560/Hrushchev_-_Vremya,_Lyudi,_Vlast'_\(Vospominaniya,_kniga_2,_chast'_4\).html](http://www.ereading.org.ua/bookreader.php/62560/Hrushchev_-_Vremya,_Lyudi,_Vlast'_(Vospominaniya,_kniga_2,_chast'_4).html)

120. Лидия Смирнова. Моя любовь. М., 1997. С. 371.

121. <http://www.bulvar.com.ua/arch/2012/2/4f0c5e4ed3700/>

122. Леонид Куксо. Неизвестный Никулин. М., 1999. С. 248.
123. Карл Манхейм. Проблема интеллигенции: Исследование ее роли в прошлом и настоящем. М. – СПб., 2000. С. 120.
124. Евгений Евтушенко. Волчий паспорт. М., 1998. С. 377.
125. Анастас Микоян. Так было. М., 1999. С. 629.
126. Эльдар Рязанов. Неподведенные итоги. М., 1995.
127. Юрий Нагибин. Дневник. М., 1996. С. 234.
128. Зигмундт Бауман. Индивидуализированное общество; http://yanko.lib.ru/books/sociology/bauman-individualized_society-2005-ru-a.htm
129. Юрий Нагибин. Дневник. М., 1996. С. 307.
130. Николай Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма. <http://www.vehi.net/berdyaev/istoki/>
131. Евгений Евтушенко. Волчий паспорт. М., 1998. С. 232.
132. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 470.
133. Владимир Кормер. Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура // Вопросы философии, 1989, № 9., <http://www.posters.ec/b/167124/read#t1>
134. Венедикт Ерофеев. Мой очень жизненный путь. М., 2003. С. 493.
135. Юрий Нагибин. Дневник. М., 1996. С. 281.
136. Евгений Евтушенко. Волчий паспорт. М., 1998. С. 255.
137. Леонид Борткевич. «Песняры» и Ольга. М., 2003. С. 174.
138. Там же. С. 186.
139. Леонид Куксо. Неизвестный Никулин. М., 1999. С. 386.

140. Михаил Геллер. Российские заметки. М., 1999. С. 357.
141. Вениамин Каверин. Эпилог. М., 1989. С. 225.
142. Лев Гумилев: судьба и идеи. Сборник статей. М., 2003. С. 466.
143. Андрей Судоплатов. Тайная жизнь генерала Судоплатова. Т.2. М., 1998. С. 177.
144. Никита Хрущёв. Время. Люди. Власть. Кн. 1. Ч. 1; <http://militera.lib.ru/memo/russian/khrushchev1/08.html>
145. Юрий Нагибин. Дневник. М., 1996. С. 431.
146. Там же. С. 272–273.
147. Евгений Евтушенко. Волчий паспорт. М., 1998. С. 207.
148. Гюстав Ле Бон. Психология социализма; samoderjavie.ru/lebonpsihologiya-socializma
149. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 463.
150. Юрий Нагибин. Дневник. М., 1996. С. 459.
151. Геннадий Сысоев. Фашизофрения; <http://1stolica.com.ua/wp-content/uploads/>
152. Лидия Смирнова. Моя любовь. М., 1997. С. 380.
153. Корней Чуковский. Дневник. 1901–1929. М., 1997. С. 409.
154. Сергей Кара-Мурза. Интеллигенция на пепелище родной страны; <http://kara-murza.ru/books/intel/intel.html>
155. <http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/HONOUR/LETT42.HTM>
156. Лев Гумилев: судьба и идеи. Сборник статей. М., 2003. С. 333.

Примечания к главе 6

1. Николай Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма; <http://www.vehi.net/berdyaev/istoki/>

2. Георгий Андреевский. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920-1930-е. М., 2008. С. 414.

3. Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. Кн. III; http://www.belousenko.com/books/Erenburg/erenburg_memoirs_3.htm

4. Юрий Щеглов. Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя. СПб., 2009. С. 274.

5. Василий Катанян. Прикосновение к идолам. М., 1997. С. 13.

6. Феликс Чуев. Молотов. Полудержавный властелин. М., 2002. С. 654.

7. Юрий Щеглов. Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя. СПб., 2009. С. 437.

8. Оксана Богдан. Новые малограмотные; timeua.info/170512/59235.html

9. Юрий Щеглов. Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя. СПб., 2009. С. 131.

10. Александр Лившин. Настроения и политические эмоции в Советской России 1917–1932 гг. М.: Росспэн, 2010. С. 111.

11. Юрий Щеглов. Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя. СПб., 2009. С. 393.

12. Там же. С. 175.

13. Константин Паустовский. Книга о жизни; <http://paustovskiy.niv.ru/paustovskiy/text/kniga-o-zhizni/kniga-skitanij-4.htm>

14. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 62.

15. Георгий Андреевский. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920-1930-е. М., 2008. С. 398.

16. Константин Паустовский. Книга о жизни; <http://paustovskiy.niv.ru/paustovskiy/text/kniga-o-zhizni/kniga-skitanij-4.htm>

17. Георгий Андреевский. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1930-1940-е. М., 2008. С. 158.
18. Михаил Пришвин. Дневники 1926-1927. М., 2003. С. 53.
19. Валентин Бережков. Рядом со Сталиным. М., 1998. С. 118.
20. Феликс Чуев. Молотов. Полудержавный властелин. М., 2002. С. 389.
21. Лион Фейхтвангер. Москва. 1937. Отчет о поездке для моих друзей;
<http://lib.ru/INPROZ/FEJHTWANGER/moscow1937.txt>
22. Евгений Громов. Сталин: искусство и власть. М., 2003. С. 249.
23. Леонид Максименков. Очерки номенклатурной истории советской литературы;
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/maxim/02.php
24. Георгий Андреевский. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920-1930-е. М., 2008. С. 45.
25. Давид Самойлов. Перебирая наши даты. М., 2000. С. 153.
26. Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. Кн. VII,
http://www.belousenko.com/books/Erenburg/erenburg_memoirs_7.htm
27. Василий Аксенов. Тайная страсть;
www.litmir.net/br/?b=128171&p=11
28. [webcache.googleusercontent.com/ search?q=cache:nlmsZMh9UL0J: www.livelib.ru/review/](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nlmsZMh9UL0J:www.livelib.ru/review/)
29. Евгений Евтушенко. Волчий паспорт. М., 1998. С. 498.
30. Андрей Вознесенский. Дайте мне договорить. М., 2010. С.127.
31. Александр Зиновьев. Нашей юности полет;
<http://www.zinoviev.ru/rus/polet.html>
32. http://www.voinovich.ru/home_reader.jsp?book=open_letter05.jsp

33. Михаил Геллер. Российские заметки. М, 1999. С. 16.
34. Григорий Свирский. Герои расстрельных лет;
www.litmir.net/br/?b=137137&p=26
35. Евгений Евтушенко. Волчий паспорт. М., 1998. С. 533.
36. Александр Солженицын.
Письмо IV Всесоюзному съезду Союза советских писателей;
lib.ru/PROZA//SOLZHENICYN/telenok.txt_Piece100.10
37. Анастас Микоян. Так было. М., 1999. С. 634.
38. Там же. С. 633.
39. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 178.
40. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 389, С. 390.
41. Надежда Мандельштам. Воспоминания. М., 1989. С. 248.
42. Михаил Геллер. Российские заметки. М, 1999. С. 489.
43. Филипп Бобков. КГБ и власть. М., 1995. С. 259)
44. Валерия Новодворская. По ту сторону отчаяния;
<http://lib.udm.ru/lib/MEMUARY/NOWODWORSKAYA/novodvorskaja.txt>
45. Вениамин Каверин. Эпилог. М., 1989. С. 413.
46. Борис Ефимов. Мои встречи. М., 2005. С. 114.
47. Филипп Бобков. КГБ и власть. М., 1995. С. 274.
48. Литературный альманах «Метрополь». М.: Текст, 1991. С. 7. С. 8.
49. Там же. С. 9.
50. Вениамин Каверин. Эпилог. М., 1989. С. 468.
51. Анастас Микоян. Так было. М., 1999. С. 538.
52. Евгений Евтушенко. Волчий паспорт. М., 1998. С. 250–251.
53. Там же. С. 253.

54. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 350.
55. Эльдар Рязанов. Неподведенные итоги. М., 1995. С. 79.334–335.
56. Евгений Евтушенко. Волчий паспорт. М., 1998. С. 202–203.
57. Юрий Нагибин. Дневник. М., 1996. С. 496.
58. Эльдар Рязанов. Неподведенные итоги. М., 1995. С. 79.315.
59. «Вражеские голоса». Прошлое, настоящее и будущее;
http://www.bbc.co.uk/russian/society/2011/03/110321_western_soviet_radio_voices.shtml
60. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 246–247.
61. Михаил Геллер. Российские заметки. М, 1999. С. 120.
62. «Вражеские голоса». Прошлое, настоящее и будущее»,
http://www.bbc.co.uk/russian/society/2011/03/110321_western_soviet_radio_voices.shtml
63. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 375.
64. Евгений Евтушенко. Волчий паспорт. М., 1998. С. 234.
65. Юрий Нагибин. Дневник. М., 1996. С. 536–537.
66. Огонек, № 52, декабрь 1989. С. 18–19.
67. Сергей Кара-Мурза. Интеллигенция на пепелище родной страны. <http://kara-murza.ru/books/intel/intel.html>
68. Геннадий Сысоев. Фашизофрения;
<http://1stolica.com.ua/wp-content/uploads/>

Примечания к главе 7

1. Аким Арутюнов. Досье Ленина без ретуши. М., 1999. С. 550.
2. Юрий Жуков. Иной Сталин. М., 2003. С. 116.
3. Вадим Смирнов. Славянофилы и евразийцы. Харьков, 2007. С. 276.
4. Лев Гумилев: судьба и идеи. Сборник статей. М., 2003. С. 170.
5. Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. Кн. III; http://www.belousenko.com/books/Erenburg/erenburg_memoirs_3.htm
6. Борис Мягков. Булгаков на Патриарших. М., 2008. С. 282.
7. Михаил Булгаков. Собрание сочинений в 8 томах. Т. 8. Жизнеописание в документах. СПб., 2002. С. 71, 72.
8. Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. Кн. III; http://www.belousenko.com/books/Erenburg/erenburg_memoirs_3.htm
9. Валентин Бережков. Рядом со Сталиным. М., 1998. С. 90.
10. Леонид Утесов. Спасибо, сердце; <http://lib.udm.ru/lib/MEMUARY/UTESOW/serdce.txt>
11. Дмитрий Шерих. 1924. Из Петрограда в Ленинград. М., 2004. С. 86.
12. Валентин Бережков. Рядом со Сталиным. М., 1998. С. 193.
13. Там же. С. 195.
14. Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. Кн. IV, http://www.belousenko.com/books/Erenburg/erenburg_memoirs_4.htm
15. Лидия Смирнова. Моя любовь. М., 1997. С. 173.
16. Валентин Бережков. Рядом со Сталиным. М., 1998. С. 267.
17. Леонид Максименков. Очерки номенклатурной истории советской литературы; http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/maxim/02.php

18. Валентин Бережков. Рядом со Сталиным. М., 1998. С. 198.

19. Сергей Горлов. Совершенно секретно: альянс Москва-Берлин 1920-1933 гг. М.: Олма-пресс, 2001. С. 292.

20. Лион Фейхтвангер. Москва 1937. Отчет о поездке для моих друзей; [http: //lib.ru/INPROZ/FEJHTWANGER/moscow1937. txt](http://lib.ru/INPROZ/FEJHTWANGER/moscow1937.txt)

21. Леонид Максименков. Очерки номенклатурной истории советской литературы; [http: //www. gumer.info/bibliotek_Buks/History/maxim/02. php](http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/maxim/02.php)

22. Джон Стейнбек. Русский дневник. // Огонек, № 9, 1989. С. 17.

23. Владимир Тольц. Три дневника. По маршруту Стейнбека полвека спустя; [http: //archive. svoboda.org/programs/cicles/Stainbeck/st_13. asp](http://archive.svoboda.org/programs/cicles/Stainbeck/st_13.asp)

24. Валентин Бережков. Рядом со Сталиным. М., 1998. С. 412.

25. Владимир Тольц. Три дневника. По маршруту Стейнбека полвека спустя; [http: //archive. svoboda.org/programs/cicles/Stainbeck/st_13. asp](http://archive.svoboda.org/programs/cicles/Stainbeck/st_13.asp)

26. Леонид Максименков. Очерки номенклатурной истории советской литературы; [http: //www. gumer.info/bibliotek_Buks/History/maxim/02. php](http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/maxim/02.php)

27. Георгий Андреевский. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920-1930-е. М. 2008. С. 524.

28. Илья Ильф, Евгений Петров. Собрание сочинений в 5 томах, Т. 5, М., 1961. С. 148.

29. Юрий Жуков. Иной Сталин. М., 2003. С. 256.

30. Василий Катанян. Прикосновение к идолам. М., 1997. С. 14.

31. Константин Симонов. Глазами человека моего поколения. М., 1989. С. 76.

32. Сергей Кара-Мурза. Интеллигенция на пепелище родной страны; [http: //kara-murza. ru/books/intel/intel](http://kara-murza.ru/books/intel/intel).

html

33. <http://paustovskiy.niv.ru/paustovskiy/text/kniga-o-zhizni/kniga-skitanij-4.htm>

34. Александр Довженко. Дневник. // Огонек, 1989, № 19. С. 11.

35. Михаил Булгаков. Собрание сочинений в 8 томах. Т. 8. Жизнеописание в документах. СПб., 2002. С. 316.

36. Елена Булгакова. Дневник Е. С. Булгаковой. М., 1990; http://www.belousenko.com/books/memoirs/Bulgakova_Dnevnik.htm

37. Михаил Булгаков. Собрание сочинений в 8 томах. Т. 8. Жизнеописание в документах. СПб., 2002. С. 416.

38. Виктор Петелин. Жизнь Алексея Толстого. Красный граф. М., 2001. С. 794.

39. Борис Ефимов. Мои встречи. М., 2005. С. 151.

40. Елена Булгакова. Дневник Е. С. Булгаковой. М., 1990. С. 158, С. 166.

41. Филипп Бобков. КГБ и власть. М., 1995. С. 106.

42. Андрей Судоплатов. Тайная жизнь генерала Судоплатова. Т. 1. М., 1998. С. 207.

43. Леонид Максименков. Очерки номенклатурной истории советской литературы; http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/maxim/02.php

44. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 98.

45. Анастас Микоян. Так было. М., 1999. С. 590.

46. Борис Ефимов. Мои встречи. М., 2005. С. 268.

47. Андрей Судоплатов. Тайная жизнь генерала Судоплатова. Т. 1. М., 1998. С. 151.

48. Валентин Бережков. Рядом со Сталиным. М., 1998. С. 327.

49. Андрей Судоплатов. Тайная жизнь генерала Судоплатова. Т. 1. М., 1998. С. 312.

50. Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. Кн. IV; http://www.belousenko.com/books/Erenburg/erenburg_memoirs_3.htm

51. Георгий Корниенко. Холодная война. Свидетельство ее участника. М., 2001. С. 33.
52. Игорь Бунич. Пятисотлетняя война в России. Оккупация. Киев, 1997. С. 268.
53. Борис Ефимов. Мои встречи. М., 2005. С. 108.
54. Анатолий Уткин. Вызов Запада и ответ России. М., 2003. С. 332.
55. Сергей Кара-Мурза. Советская цивилизация. Т. 1. М., 2001. С. 325.
56. Андрей Судоплатов. Тайная жизнь генерала Судоплатова. Т. 2. М., 1998. С. 295.
57. Слово товарищу Сталину. Сборник статей. М., 2002. С. 483–484.
58. Леонид Млечин. Зачем Сталин создал Израиль?; http://bookz.ru/authors/leonid-mle4in/za4em-st_048/page-12-za4em-st_048.html
59. Вячеслав Широнин. Агенты перестройки. М., 2010. С. 20.
60. Вадим Кожин. Россия. Век двадцатый. 1939–1964. М., 1999. С. 187.
61. Андрей Судоплатов. Тайная жизнь генерала Судоплатова. Т. 2. М., 1998. С. 179.
62. Там же. С. 240.
63. Там же. С. 198.
64. Борис Ефимов. Мои встречи. М., 2005. С. 381.
65. Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. Кн. VI, http://www.belousenko.com/books/Erenburg/erenburg_memoirs_6.htm
66. Владимир Козлов. Неизвестный СССР. М., 2006. С. 120.
67. Андрей Судоплатов. Тайная жизнь генерала Судоплатова. Т. 2. М., 1998. С. 244.
68. Константин Симонов. Глазами человека моего поколения. М., 1989. С. 172.
69. Феликс Чуев. Молотов. Полудержавный властелин. М., 2002. С. 168.

70. Георгий Корниенко. Холодная война. Свидетельство ее участника. М., 2001. С. 102.

71. Там же.

72. Венедикт Ерофеев. Записные книжки. Книга вторая. М., 2007. С. 404.

73. Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. Кн. VI; http://www.belousenko.com/books/Erenburg/erenburg_memoirs_6.htm

74. Лев Гумилев: судьба и идеи. Сборник статей. М., 2003. С. 143.

75. Георгий Корниенко. Холодная война. Свидетельство ее участника. М., 2001. С. 234.

76. Игорь Шафаревич. Трехтысячелетняя загадка. СПб., 2002. С. 233.

77. Андрей Судоплатов. Тайная жизнь генерала Судоплатова. Т. 2. М., 1998. С. 304.

78. Игорь Шафаревич. Трехтысячелетняя загадка. СПб., 2002. С. 237.

79. Там же. С. 239.

80. Георгий Корниенко. Холодная война. Свидетельство ее участника. М., 2001. С. 234.

81. Георгий Андреевский. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920-1930-е. М. 2008. С. 538.

82. Сергей Кара-Мурза. Жизнь в СССР. М., 2009. С. 90.

83. Алексей Козлов. Козел на саксе. М., 1998. С. 100.

84. Амальрик Андрей, «Записки диссидента», <http://tululu.org/read78326/10/>

85. Людмила Гурченко. Аплодисменты; <http://lib.udm.ru/lib/MEMUARY/GURCHENKO/gurch.txt>

86. Никита Хрущёв. Время. Люди. Власть. Кн. 2; [http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/62560/Hrushchev_-_Vremya,_Lyudi,_Vlast'_\(Vospominaniya,_kniga_2,_chast'_4\).html](http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/62560/Hrushchev_-_Vremya,_Lyudi,_Vlast'_(Vospominaniya,_kniga_2,_chast'_4).html)

87. Там же.

88. Анатолий Уткин. Вызов Запада и ответ России. М., 2003. С. 365.

89. Никита Хрущёв. Время. Люди. Власть. Кн. 2; [http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/62560/Hrushchev_-_Vremya,_Lyudi,_Vlast'_\(Vospominaniya,_kniga_2,_chast'_4\).html](http://www.e-reading.org.ua/bookreader.php/62560/Hrushchev_-_Vremya,_Lyudi,_Vlast'_(Vospominaniya,_kniga_2,_chast'_4).html)

90. Георгий Корниенко. Холодная война. Свидетельство ее участника. М., 2001. С. 149.

91. Алексей Козлов. Козел на саксе. М., 1998. С. 288, С. 207.

92. Филипп Бобков. КГБ и власть. М., 1995. С. 232.

93. Василий Катанян. Прикосновение к идолам. М., 1997. С. 174.

94. Юрий Нагибин. Дневник. М., 1996. С. 151.

95. Там же. С. 303.

96. Андрей Судоплатов. Тайная жизнь генерала Судоплатова. Т. 2. М., 1998. С. 402.

97. Вадим Кожинов. Россия. Век двадцатый. 1939–1964. М., 1999. С. 240–241.

98. Евгений Евтушенко. Волчий паспорт. М., 1998. С. 336–337.

99. Андрей Вознесенский. Дайте мне договорить. М., 2010. С. 132.

100. Леонид Борткевич. «Песняры» и Ольга. М., 2003. С. 96.

101. Там же. С. 84.

102. Там же, С. 95.

103. Игорь Бунич. Пятисотлетняя война в России. Оккупация. Киев, 1997. С. 359.

104. Алексей Козлов. Козел на саксе. М., 1998. С. 96. С. 281.

105. Никита Хрущёв. Время. Люди. Власть. Кн. 2; <http://bookz.ru/authors/hru6ev-nikita/hruscn03/page-20-hruscn03.html>

106. Борис Ефимов. Мои встречи. М., 2005. С. 271–272.

107. oldru. com/vernadsky/ver02/04. htm
108. Эльдар Рязанов. Неподведенные итоги. М., 1995. С. 79. 505.
109. Лидия Смирнова. Моя любовь. М., 1997. С. 197.
110. Венедикт Ерофеев. Мой очень жизненный путь. М., 2003. С. 519.
111. Людмила Гурченко. Аплодисменты; [http: //lib. udm. ru/lib/MEMUARY/GURCHENKO/gurch. txt](http://lib.udm.ru/lib/MEMUARY/GURCHENKO/gurch.txt)
112. Георгий Корниенко. Холодная война. Свидетельство ее участника. М., 2001. С. 211.
113. Там же. С. 191.
114. Вячеслав Широнин. Агенты перестройки. М., 2010. С. 96.
115. Там же. С. 30.
116. Там же. С. 21.

Примечания к главе 8

1. Вадим Кожинов. Россия. Век двадцатый. 1901–1939. М., 1999. С. 421.
2. Михаил Пришвин. Дневники. 1926–1927 гг. Русская книга. М., 2003. С. 47.
3. Николай Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма. <http://www.vehi.net/berdyaev/istoki/>
4. Михаил Кольцов. Фельетоны и очерки. М., 1956. С. 254.
5. Андрей Паршев. Почему Америка наступает. М., 2002. С. 149.
6. Арье-Лейб при участии Пинхаса Коца. Двойной портрет; <http://www.lechaim.ru/ARHIV/126/leyb.htm>
7. Никита Хрущёв. Время. Люди. Власть. Кн. 1. Ч. 1; <http://militera.lib.ru/memo/russian/khrushchev1/08.html>
8. Георгий Андреевский. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920-1930-е. М., 2008. 419).
9. Лидия Смирнова. Моя любовь. М., 1997. С. 34.

10. www.bulvar.com.ua/arch/2012/2/4f0c5e4ed3700/view_print/

11. Александр Лившин. Настроения и политические эмоции в Советской России 1917–1932 гг. М., 2010. С. 118.

12. Там же. С. 124.

13. Надежда Мандельштам. Воспоминания. М., 1989. С. 301.

14. Лион Фейхтвангер. Москва 1937; <http://lib.ru/INPROZ/FEJHTWANGER/moscow1937.txt>

15. Нами Микоян, Феликс Медведев. Неизвестная Фурцева. М.: Алгоритм, 2011. С. 26.

16. Дмитрий Шерих. 1924. Из Петрограда в Ленинград. М., 2004. С. 111.

17. Елена Булгакова. Дневник Е.С. Булгаковой. М., 1990. С. 191.

18. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 51.

19. Корней Чуковский. Дневник. 1901–1929. М., 1997. С. 464.

20. Юрий Щеглов. Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя. СПб., 2009. С. 436.

21. Михаил Кольцов. Фельетоны и очерки. М., 1956. С. 144.

22. Анатолий Уткин. Вызов Запада и ответ России. М., 2003. С. 253.

23. Андрей Чегодаев. Моя жизнь и люди, которых я знал. М., 2006. С. 145.

24. Евгений Шварц. Из дневников; http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/Schvar_Dnevn.php

25. Андрей Паршев. Почему Россия не Америка. М., 2001. С. 350.

26. Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. Кн. III; http://www.belousenko.com/books/Erenburg/erenburg_memoirs_3.htm

27. Там же.
28. Геннадий Сысоев. Фашизофрения;
<http://1stolica.com.ua/wp-content/uploads/>
29. Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. Кн. III;
http://www.belousenko.com/books/Erenburg/erenburg_memoirs_3.htm
30. Николай Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма. <http://www.vehi.net/berdyaev/istoki/>
31. Юрий Щеглов. Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя. СПб., 2009. С. 9.
32. Вадим Кожин. Россия. Век двадцатый. 1939–1964. М., 1999. С. 261.
33. Михаил Кольцов. Фельетоны и очерки. М.: Правда, 1956. С. 219.
34. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 64.
35. Михаил Геллер. Российские заметки. М, 1999. С. 37.
36. Вадим Кожин. Россия. Век двадцатый. 1901–1939. М., 1999. С. 425.
37. Ричард Пайпс. Россия при старом режиме. М., 1993. С. 17, 15, 18.
38. Георгий Андреевский. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920-1930-е. М. 2008. С. 485.
39. Анастас Микоян. Так было. М., 1999. С. 302.
40. Там же. С. 308.
41. Михаил Булгаков. Собрание сочинений в 8 томах. Т. 8. Жизнеописание в документах. СПб., 2002. С. 647.
42. Елена Булгакова. Дневник Е.С. Булгаковой. М., 1990. С. 261.
43. Джон Стейнбек. Русский дневник. // Огонек, № 9, 1989. С. 18.
44. Возможна ли «демократия по-нашему»?;
gazeta.aif.ru/_online/aif/1329/04_01

45. Маркс и Энгельс о России и славянах; maxpark.com/community/8/content/1273198
46. Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Т.2. СПб., 1996. С. 21.
47. Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. Кн. VI; http://www.belousenko.com/books/Erenburg/erenburg_memoirs_6.htm
48. Александр Зиновьев. Нашей юности полет; <http://www.zinoviev.ru/rus/polet.html>
49. Лев Гумилев: судьба и идеи. Сборник статей. М., 2003. С. 128.
50. Надежда Мандельштам. Воспоминания. М., 1989. С. 38.
51. Огонек, 1989, № 33. С. 14.
52. Георгий Корниенко. Холодная война. Свидетельство ее участника. М., 2001. С. 55, 57.
53. Константин Симонов. Глазами человека моего поколения. М., 1989. С. 129.
54. Там же. С. 131.
55. Александр Пыжиков, Александр Данилов. Рождение сверхдержавы. 1945–1953 годы. М., 2002. С. 172.
56. Вадим Кожинов. Победы и беды России. М., 2000. С. 45–46.
57. Сергей Кара-Мурза. Советская цивилизация. Т. 1. М., 2001. С. 367.
58. Феликс Чуев. Молотов. Полудержавный властелин. М., 2002. С. 633.
59. Артем Леонов. Столетие. Пускай работает Иван; <http://1stolica.com.ua/?p=14056>
60. Сергей Кара-Мурза. Советская цивилизация. Т. 2. М., 2001. С. 194.
61. Александр Пыжиков, Александр Данилов. Рождение сверхдержавы. 1945–1953 годы. М., 2002. С. 158.
62. Там же. С. 159.

63. Огонек, № 23, 1989. С. 31.
64. Феликс Чуев. Молотов. Полудержавный властелин. М., 2002. С. 505.
65. Владимир Козлов. Неизвестный СССР. М., 2006. С. 361.
66. Там же. С. 385.
67. Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Т.2. СПб., 1996. С. 410.
68. Владимир Козлов. Неизвестный СССР. М., 2006. 1989, 273.
69. Никита Хрущёв. Время. Люди. Власть. Кн. 2. Ч. 3; <http://bookz.ru/authors/hrubev-nikita/hruscn03/page-20-hruscn03.html>
70. Михаил Геллер. Российские заметки. М., 1999. С. 59.
71. Игорь Бунич. Золото партии. Историческая хроника; m.tululu.ru/bread_78939_377.shtml
72. Геннадий Сысоев. Фашизофрения; <http://1stolica.com.ua/wp-content/uploads/>
73. Там же
74. Сергей Кара-Мурза. Советская цивилизация. Т. 2. М., 2001. С. 252.
75. Михаил Геллер. Российские заметки. М., 1999. С. 52.
76. Эльдар Рязанов. Неподведенные итоги. М., 1995. С. 79.448.
77. Юрий Нагибин. Дневник. М., 1996. С. 356–357.
78. Андрей Паршев. Почему Америка наступает. М., 2002. С. 197.
79. Феликс Чуев. Молотов. Полудержавный властелин. М., 2002. С. 362.
80. Михаил Восленский. Номенклатура. М., 2005. С. 5.
81. Эдуард Лимонов. Другая Россия. М., 2004. С. 143.
82. Михаил Восленский. Номенклатура. М., 2005. С. 5.
83. Юрий Нагибин. Дневник. М., 1996. С. 223.

84. Михаил Докучаев. Москва. Кремль. Охрана. М., 1995. С. 81.

85. Лидия Смирнова. Моя любовь. М., 1997. С. 195–196.

86. Леонид Борткевич. «Песняры» и Ольга. М., 2003. С. 40.

87. Алексей Козлов. Козел на саксе. М., 1998. С. 356.

88. Юрий Нагибин. Дневник. М., 1996. С. 542.

89. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 399.

90. Валерия Новодворская. По ту сторону отчаяния; <http://lib.udm.ru/lib/MEMUARY/NOWODWORSKAYA/novodvorskaja.txt>

91. Вениамин Алексеев, Сергей Нефедов. Гибель Советского Союза в контексте истории социализма. // Общественные науки и современность, № 6, 2002.

92. Игорь Бунич. Пятисотлетняя война в России. Оккупация. Киев, 1997. С. 266–268.

93. Новый Китай. Пекин, 1964, № 12; Материалы пленума и собрания ЦК КПК. Пекин, 5 марта 1993 года.

94. Игорь Бунич. Пятисотлетняя война в России. Оккупация. Киев, 1997. С. 360–361.

95. Юрий Нагибин. Дневник. М., 1996. С. 386.

96. Игорь Бунич. Пятисотлетняя война в России. Оккупация. Киев, 1997. С. 349.

97. Огонек, № 1, 1989.

98. Сергей Кара-Мурза. Интеллигенция на пепелище родной страны; <http://kara-murza.ru/books/intel/intel.html>

99. Леонид Борткевич. «Песняры» и Ольга. М., 2003. С. 219.

100. Гюстав Ле Бон. Психология социализма; samoderjavie.ru/lebonpsihologiya-socializma

101. Эдуард Лимонов. Другая Россия. М., 2004. С. 128.

102. Сергей Кара-Мурза. Интеллигенция на пепелище родной страны; <http://kara->

murza.ru/books/intel/intel.html

103. Вадим Кожин. Победы и беды России. М., 2000. С. 67.

104. Тюремная одиссея Василия Шульгина. Сборник документов. М., 2010. С. 90.

Примечания к главе 9

1. Николай Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма;

<http://www.magister.msk.ru/library/philos/berdyaev/berdn015.htm>

2. Гюстав Ле Бон. Психология социализма; samoderjavie.ru/lebon-psihiologiyasocializma

3. Александр Лившин. Настроения и политические эмоции в Советской России 1917–1932 гг. М., 2010. С. 161.

4. Дмитрий Шерих. 1924. Из Петрограда в Ленинград. М., 2004. С. 74.

5. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 132.

6. Юрий Щеглов. Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя. СПб., 2009. С. 131.

7. Николай Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма;

<http://www.magister.msk.ru/library/philos/berdyaev/berdn015.htm>

8. Образ другого. Сборник статей. М., 2012. С. 69, 70.

9. Арон Залкинд. Двенадцать половых заповедей революционного пролетариата;

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/_12SexZap.php

10. Юрий Нагибин. Дневник. М., 1996. С. 424.

11. Гюстав Ле Бон. Психология социализма; samoderjavie.ru/lebonpsihiologiyasocializma

12. Михаил Пришвин. Дневники 1926–1927. М., 2003. С. 44.

13. Надежда Мандельштам. Воспоминания. М., 1989. С. 10.

14. Николай Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма;
<http://www.magister.msk.ru/library/philos/berdyaev/berdn015.htm>

15. Венедикт Ерофеев. Мой очень жизненный путь. М., 2003. С. 440.

16. Морис Палеолог. Царская Россия накануне революции. М., 1991. С. 532.

17. Николай Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма;
<http://www.magister.msk.ru/library/philos/berdyaev/berdn015.htm>

18. Тюремная одиссея Василия Шульгина. Сборник документов. М., 2010. С. 92.

19. Валентин Бережков. Рядом со Сталиным. М., 1998. С. 129.

20. Борис Ефимов. Мои встречи. М., 2005. С. 242.

21. Светлана Аллилуева. 20 писем другу. М., 2000. С. 141.

22. Феликс Чуев. Молотов. Полудержавный властелин. М., 2002. С. 522.

23. Лазарь Каганович. Памятные записки. М., 1996. С. 533.

24. Валентин Бережков. Рядом со Сталиным. М., 1998. С. 166.

25. Георгий Андреевский. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920-1930-е. М. 2008. С. 528.

26. Лев Гумилев: судьба и идеи. Сборник статей. М., 2003. С. 534.

27. Сергей Аверинцев. Обращение к Богу советской интеллигенции в 60-70-е годы;

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/aver/obr_bg.php

28. Андрей Кураев. «Мастер и Маргарита»: за Христа или против?; http://royallib.ru/read/kuraev_andrey/master_i_margarita_zh_hrista_ili_protiv.html#0

29. Александр Довженко. Дневник. // Огонек, № 19, 1989. С. 13.

30. Александр Пыжиков, Александр Данилов. Рождение сверхдержавы. 1945–1953 годы. М., 2002. С. 196, 197.

31. Андрей Судоплатов. Тайная жизнь генерала Судоплатова. Т.2. М., 1998. С. 195.

32. Александр Пыжиков, Александр Данилов. Рождение сверхдержавы. 1945–1953 годы. М., 2002. С. 202.

33. Андрей Судоплатов. Тайная жизнь генерала Судоплатова. Т.2. М., 1998. С. 253.

34. Там же. С. 255–256.

35. Там же. С. 199.

36. Сергей Кара-Мурза. Советская цивилизация. Т. 2. М., 2001. С. 30.

37. Владимир Козлов. Неизвестный СССР. М., 2006. С. 265.

38. Феликс Чуев. Молотов. Полудержавный властелин. М., 2002. С. 687.

39. Лев Гумилев: судьба и идеи. Сборник статей. М., 2003. С. 470.

40. Эльдар Рязанов. Неподведенные итоги. М., 1995. С. 79.495.

41. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 468.

42. Лидия Смирнова. Моя любовь. М., 1997. С. 317.

43. Нами Микоян, Феликс Медведев. Неизвестная Фурцева. М., 2011. С. 187.

Примечания к главе 10

1. Юрий Нагибин. Дневник. М., 1996. С. 559.
2. Михаил Булгаков. Собрание сочинений в 8 томах. Т. 8. Жизнеописание в документах. СПб., 2002. С. 92.
3. Сергей Кара-Мурза. Советская цивилизация. М., 2001. С. 307.
4. Там же.
5. Александр Лившин. Настроения и политические эмоции в Советской России 1917–1932 гг. М., 2010. С. 125.
6. Там же. С. 128.
7. Там же. С. 125.
8. Венедикт Ерофеев. Мой очень жизненный путь. М., 2003. С. 456.
9. Илья Ильф. Письма не только о любви. М., 2007. С. 295.
10. Корней Чуковский. Дневник. 1901–1929. М., 1997. С. 416.
11. Венедикт Ерофеев. Мой очень жизненный путь. М., 2003. С. 354.
12. Борис Мягков. Булгаков на Патриарших. М., 2008. С. 175.
13. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 68.
14. Историческое досье. Что говорили великие люди друг о друге и о себе. Донецк, 1998. С. 216.
15. Виктор Петелин. Жизнь Алексея Толстого. Красный граф. М., 2001. С. 776.
16. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 217.
17. Минувшее. Исторический альманах. Т. 3. М., 1991. С. 294.
18. Лидия Яновская. Записки о Михаиле Булгакове. М., 2007. С. 54.

19. Юрий Олеша. Избранное. М., 1983. С. 470–471.
20. Феликс Чуев. Молотов. Полудержавный властелин. М., 2002. С. 615.
21. Илья Ильф. Письма не только о любви. М., 2007. С. 82.
22. Елена Булгакова. Дневник Е.С.Булгаковой. М., 1990. С. 248.
23. Там же. С. 271.
24. Михаил Булгаков. Собрание сочинений в 8 томах. Т. 8. Жизнеописание в документах. СПб., 2002. С. 329.
25. Никита Хрущёв, «Люди. Люди. Власть», Книга 1. Ч. 1, <http://militera.lib.ru/memo/russian/khrushchev1/08.html>
26. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 339.
27. Надежда Мандельштам. Воспоминания. М., 1989. С. 184.
28. Борис Ефимов. Мои встречи. М., 2005. С. 89.
29. Александр Орлов. Тайные преступления Сталина; <http://trst.narod.ru/orlov/oglav.htm>
30. Лидия Смирнова. Моя любовь. М., 1997. С. 137.
31. Там же. С. 150.
32. Никита Хрущёв. Люди. Люди. Власть. Кн. 2. Ч. 3; <http://bookz.ru/authors/hrubev-nikita/hruscn03/page-20-hruscn03.html>
33. Евгений Громов. Сталин: искусство и власть. М., 2003. С. 265–266.
34. Феликс Чуев. Молотов. Полудержавный властелин. М., 2002. С.165.
35. Борис Ефимов. Мои встречи. М., 2005. С. 441.
36. Анастас Микоян. Так было. М., 1999. С. 304.
37. <http://www.sovsekretno.ru/magazines/article/1102>
38. Евгений Громов. Сталин: искусство и власть. М., 2003. С. 479.
39. Борис Ефимов. Мои встречи. М., 2005. С. 387.
40. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 190.

41. Михаил Докучаев. Москва. Кремль. Охрана. М., 1995. С. 146.
42. Джон Стейнбек. Русский дневник. // Огонек, № 9, 1989.
43. Юрий Нагибин. Дневник. М., 1996. С. 53.
44. Там же. С. 265.
45. Валентин Петрович Катаев – Биографии, мемуары, истории;
eternaltown.com.ua/content/view/2869/2/
46. Михаил Геллер. Российские заметки. М., 1999. С. 275.
47. За что Шукшина забирали в милицию // KP.RU
www.kp.ru/daily/25921/2872970/
48. Давид Самойлов. Перебирая наши даты. М., 2000. С. 399.
49. Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Т.2. СПб., 1996. С. 431.
50. Юрий Олеша. Избранное. М., 1983. С. 599.
51. Лидия Смирнова. Моя любовь. М., 1997. С. 164.
52. Борис Ефимов. Мои встречи. М., 2005. С. 452.
53. Владимир Козлов. Неизвестный СССР. М., 2006. С. 433–434.
54. Юрий Нагибин. Дневник. М., 1996. С. 391.
55. Огонек, № 8, 1989. С. 30.
56. Юрий Нагибин. Дневник. М., 1996. С. 500.
57. Там же. С. 561.
58. Сергей Кара-Мурза. Интеллигенция на пепелище родной страны; <http://kara-murza.ru/books/intel/intel.html>
59. <http://www.lenta.ru/news/2010/01/19/buhen/>
60. Венедикт Ерофеев. Мой очень жизненный путь. М., 2003. С. 496.

Примечания к главе 11

1. Собеседник, № 15, 21 апреля, 2011.

2. Морис Палеолог. Царская Россия накануне революции. М., 1991. С. 532.
3. Борис Ефимов. Мои встречи. М., 2005. С. 422.
4. Феликс Чуев. Молотов. Полудержавный властелин. М., 2002. С. 296.
5. Арон Залкинд. Двенадцать половых заповедей революционного пролетариата;
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/_12SexZap.php
6. Александр Лившин. Настроения и политические эмоции в Советской России 1917–1932 гг. М., 2010. С. 130.
7. Юрий Щеглов. Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя. СПб., 2009. С. 446.
8. Михаил Булгаков. Собрание сочинений в 8 томах. Т. 8. Жизнеописание в документах. СПб., 2002. С. 90.
9. Лидия Смирнова. Моя любовь. М., 1997. С. 377.
10. Валентин Бережков. Рядом со Сталиным. М., 1998. С. 98.
11. Дмитрий Шерих. 1924. Из Петрограда в Ленинград. М., 2004. С. 58.
12. Юрий Щеглов. Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя. СПб., 2009. С. 439.
13. Георгий Андреевский. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920-1930-е. М. 2008. С. 424.
14. Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. Кн. III;
http://www.belousenko.com/books/Erenburg/erenburg_memoirs_3.htm
15. Арье-Лейб при участии Пинхаса Коца. Двойной портрет; <http://www.lechaim.ru/ARHIV/126/leyb.htm>
16. Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Т. 1. СПб., 1996. С. 37.
17. Анастас Микоян. Так было. М., 1999. С. 297–298.
18. Александр Довженко. Дневник. // Огонек, № 19, 1989. С. 11.
19. Лидия Смирнова. Моя любовь. М., 1997. С. 133.

20. Людмила Гурченко. Аплодисменты;
<http://lib.udm.ru/lib/MEMUARY/GURCHENKO/gurch.txt>
21. Юрий Нагибин. Дневник. М., 1996. С. 307.
22. Дмитрий Шерих. 1924. Из Петрограда в Ленинград. М., 2004. С. 58.
23. Джеффри Хоскинг. История Советского Союза. М., 1994. С. 247.
24. Арон Залкинд. Двенадцать половых заповедей революционного пролетариата;
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/_12SexZap.php
25. Эдуард Лимонов. Другая Россия. М., 2004. С. 172.
26. Михаил Геллер. Российские заметки. М., 1999. С. 272-273.
27. Валентин Бережков. Рядом со Сталиным. М., 1998. С. 268.
28. Юрий Щеглов. Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя. СПб., 2009. С. 234.
29. Михаил Пришвин. Дневники 1926-1927. М. 2003. С. 246.
30. Михаил Геллер. Российские заметки. М., 1999. С. 30.
31. <http://www.segodnya.ua/news/14342134.html>
32. Георгий Андреевский. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920-1930-е. М., 2008. С. 515.
33. Юрий Щеглов. Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя. СПб., 2009. С. 467.
34. Илья Ильф, Евгений Петров. Собрание сочинений. Т. 5. М., 1961. С. 249.
35. Корней Чуковский. Дневник. 1901-1929. М., 1997. С. 458.
36. Василий Катанян. Прикосновение к идолам. М., 1997. С. 87.
37. Сергей Кара-Мурза. Советская цивилизация. М., 2001. С. 321.

38. Александр Орлов. Тайные преступления Сталина; <http://trst.narod.ru/orlov/oglav.htm>
39. Борис Ефимов. Мои встречи. М., 2005. С. 88.
40. Евгений Шварц. Из дневников; http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/Schvar_Dnevn.php
41. Дмитрий Шерих. 1924. Из Петрограда в Ленинград. М., 2004. С. 182.
42. Елена Булгакова. Дневник Е.С. Булгаковой; http://www.belousenko.com/books/memoirs/Bulgakova_Dnevnik.htm
43. Феликс Чуев. Молотов. Полудержавный властелин. М., 2002. С. 171.
44. Валентин Бережков. Рядом со Сталиным. М., 1998. С. 239.
45. Георгий Андреевский. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920-1930-е. М., 2008. С. 395.
46. Вадим Кожин. Россия. Век двадцатый. 1901-1939. М., 1999. С. 290.
47. Лариса Васильева. Дети Кремля; http://1001.ru/books/kremlin_child/issue25/
48. Елена Булгакова. Дневник Е.С. Булгаковой; http://www.belousenko.com/books/memoirs/Bulgakova_Dnevnik.htm
49. Лев Гумилев: судьба и идеи. Сборник статей. М., 2003. С. 131.
50. Огонек, № 23, 1989. С. 31.
51. Юрий Нагибин. Дневник. М., 1996. С. 58.
52. Джон Стейнбек, «Русский дневник», «Огонек», № 9, 1989. С. 17.
53. Там же.
54. Людмила Гурченко. Аплодисменты; <http://lib.udm.ru/lib/MEMUARY/GURCHENKO/gurch.txt>
55. <http://www.swpeople.com/archives/7537>
56. Юрий Нагибин. Дневник. М., 1996. С. 48.

57. Василий Аксенов. Тайная страсть;
www.litmir.net/br/?b=128171&p=11

58. Собеседник, 14 июня, 2012;
sobesednik.ru/.../20120614-bellu-akhmadulinumuzh-vygnal-iz-domu

59. Владимир Войнович. О Белле Ахмадулиной;
www.stihi.ru/diary/simonkats/2012-03-10

Примечания к главе 12

1. Федор Достоевский. Дневник писателя. 1873;
<http://www.magister.msk.ru/library/dostoevs/dostdn01.htm>

2. Интервью и беседы с Львом Толстым;
books.google.ru/books?isbn=5424119832

3. Петр Струве. Интеллигенция и революция;
philosophy.ru/library/vehi/struve.html

4. Вячеслав Широнин. Агенты перестройки. М., 2010. С. 17.

5. Георгий Андреевский. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920-1930-е. М., 2008. С. 365.

6. Вениамин Каверин. Эпилог. М., 1989. С. 117.

7. Юрий Щеглов. Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя. СПб., 2009. С. 455-456.

8. Михаил Булгаков. Собрание сочинений в 8 томах. Т. 8. Жизнеописание в документах. СПб., 2002. С.93.

9. Там же. С.87.

10. Арье-Лейб при участии Пинхаса Коца. Двойной портрет; <http://www.lechaim.ru/ARHIV/126/leyb.htm>

11. Василий Шульгин. Три столицы. М., 1991. С. 227.

12. Михаил Булгаков. Собрание сочинений в 8 томах. Т. 8. Жизнеописание в документах. СПб., 2002. С. 341.

13. Елена Булгакова. Дневник Е.С. Булгаковой;
http://www.belousenko.com/books/memoirs/Bulgakova_Dnevnik.htm

14. Лидия Яновская. Записки о Михаиле Булгакове. М., 2007. С. 55.

15. www.bulvar.com.ua/arch/2013/4/5100ea9e11652/view_print/

16. Константин Симонов. Глазами человека моего поколения. М., 1989. С. 45.

17. Феликс Чуев. Молотов. Полудержавный властелин. М., 2002. С. 707.

18. <http://1stolica.com.ua/10597.html>

19. Корней Чуковский. Дневник. 1901–1929. М., 1997. С. 416.

20. Вадим Кожин. Россия. Век двадцатый. 1901–1939. М., 1999. С. 345.

21. <http://mignews.com.ua/ru/articles/100405.html>

22. Вадим Кожин. Россия. Век двадцатый. 1901–1939. М., 1999. С. 363.

23. <http://m.aif.ru/culture/article/45533>

24. Вадим Кожин. Россия. Век двадцатый. 1901–1939. М., 1999. С. 363.

25. Валентина Антипина, «I съезд советских писателей», <http://www.el-history.ru/node/551>

26. Надежда Мандельштам. Воспоминания. М., 1989. С. 20.

27. Там же. С. 169.

28. Там же. С. 35.

29. <http://2000.net.ua/2000/v-blogakh/86418>

30. <http://www.bulvar.com.ua/arch/2013/3/50f7c928eea48/>

31. Союз Советских Социалистических Республик. БСЭ. М., 1947. С. 1472.

32. Надежда Мандельштам. Воспоминания. М., 1989. С. 35.

33. Вениамин Каверин. Эпилог. М., 1989. С. 361.

34. Елена Булгакова. Дневник Е.С.Булгаковой. М., 1990. С. 141.

35. Вениамин Каверин. Эпилог. М., 1989. С. 218.

36. Елена Булгакова. Дневник Е.С.Булгаковой. М., 1990. С. 256.

37. Лидия Яновская. Записки о Михаиле Булгакове. М., 2007. С. 229.

38. Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Т. 1. СПб., 1996. С. 116.

39. Огонек, № 1, 1992. С. 9.

40. Георгий Андреевский. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1930-1940-е. М., 2008. С. 138.

41. Валентин Бережков. Рядом со Сталиным. М., 1998. С. 332.

42. Андрей Судоплатов. Тайная жизнь генерала Судоплатова. Т. 1. М., 1998. С. 152.

43. Андрей Судоплатов. Тайная жизнь генерала Судоплатова. Т. 2. М., 1998. С. 242.

44. Там же. С. 242-243.

45. Известия ЦК КПСС, № 8, 1990. С. 176.

46. Евгений Громов. Сталин: искусство и власть. М., 2003. С. 501.

47. Игорь Шафаревич. Трехтысячелетняя загадка. СПб., 2002. С. 257.

48. Илья Ильф и Евгений Петров, собрание сочинений, Т. 2, ГИХЛ, М., 1961. С. 541.

49. Филипп Бобков. КГБ и власть. М., 1995. С.101.

50. Василий Катанян. Прикосновение к идолам. М., 1997. С. 303.

51. Нами Микоян, Феликс Медведев. Неизвестная Фурцева. М., 2011. С.105, С. 106.

52. Корней Чуковский. Дневник. 1930-1969. М., 1995. С. 455.

53. Владимир Кормер. Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура // Вопросы философии, 1989, № 9;
<http://www.posters.ec/b/167124/read#t1>

54. Елена Булгакова. Дневник Е.С. Булгаковой. М., 1990. С. 301.
55. Евгений Евтушенко. Волчий паспорт. М., 1998. С. 101.
56. Корней Чуковский. Дневник. 1901–1929. М., 1997. С. 271.
57. Владимир Козлов. Неизвестный СССР. М., 2006. С. 64.
58. Там же. С. 414–415.
59. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 328.
60. Сергей Кара-Мурза. Советская цивилизация. Т. 2. М., 2001. С. 53.
61. Давид Самойлов. Перебирая наши даты. М., 2000. С. 408.
62. Джеффри Хоскинг. История Советского Союза. М., 1994. С. 417.
63. Сергей Кара-Мурза. Советская цивилизация. Т. 2. М., 2001. С. 200.
64. Там же.
65. Евгений Евтушенко. Волчий паспорт. М., 1998. С. 282.
66. <http://glavnoe.ua/articles/a4832>
67. Михаил Ромм. Устные рассказы. М., 1991. С. 187–188.
68. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 288.
69. Георгий Андреевский. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920–1930-е. М. 2008. С. 506.
70. Сергей Кара-Мурза. Жизнь в СССР. М., 2009. С. 68.
71. Михаил Геллер. Российские заметки. М., 1999. С. 54.
72. Джеффри Хоскинг. История Советского Союза. М., 1994. С. 415.

73. chel.mk.ru/.../664973-mihail-zhvanetskiykonets-sveta-konechno-bud.
74. Михаил Ромм. Устные рассказы. М., 1991. С. 174.
75. Алексей Козлов. Козел на саксе. М., 1998. С.73.
76. Венедикт Ерофеев. Мой очень жизненный путь. М., 2003. С. 564.
77. Филипп Бобков. КГБ и власть. М., 1995. С. 279.
78. Вениамин Каверин. Эпилог. М., 1989. С. 395.
79. Там же.
80. Лидия Чуковская. Процесс исключения. М., 1990.
81. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 504.
82. Вениамин Каверин. Эпилог. М., 1989. С. 381.
83. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 271.
84. Василий Аксенов. Тайная страсть; www.litmir.net/br/?b=128171&p=11
85. http://www.chaskor.ru/article/pisatel_i_ego_demon_12678
86. Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. СПб., 1996. С. 402.
87. Елена Булгакова. Дневник Е.С. Булгаковой. М., 1990. С. 302.
88. Виктор Ерофеев. Набоков: затмение частичное; nthropology.rinet.ru/old/8/EROFEEV.htm
89. <http://www.bulvar.com.ua/arch/2012/47/50ade094b9933/>
90. Геннадий Сысоев. Фашизофрения; <http://1stolica.com.ua/wp-content/uploads/>
91. <http://www.peoples.ru/art/literature/prose/roman/voynovich/interview1.html>
92. Правда, 31 августа, 1973.
93. Михаил Геллер. Российские заметки. М., 1999. С. 230.
94. <http://www.bulvar.com.ua/arch/2012/47/50ade094b9933/>

95. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 400.
96. Там же. С. 459.
97. Валерия Новодворская. По ту сторону отчаяния;
<http://lib.udm.ru/lib/MEMUARY/NOWODWORSKAYA/novodvorskaja.txt>
98. Василий Аксенов. Тайная страсть;
www.litmir.net/br/?b=128171&p=11
99. Давид Самойлов. Перебирая наши даты. М., 2000. С. 432.
100. Вячеслав Широнин. Агенты перестройки. М., 2010. С. 126.
101. Михаил Геллер. Российские заметки. М., 1999. С. 71.
102. Владимир Козлов. Неизвестный СССР. М., 2006. С. 421.
103. Огонек, № 21, 1989. С. 14.
104. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 459.
105. Вениамин Каверин. Эпилог. М., 1989. С. 377.
106. Корней Чуковский. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 384.
107. Эльдар Рязанов. Неподведенные итоги. М., 1995. С. 79.428.
108. Венедикт Ерофеев. Мой очень жизненный путь. М., 2003. С. 382.
109. Венедикт Ерофеев. Записные книжки. Книга вторая. М., 2007. С. 354.
110. Венедикт Ерофеев. Письма сестре;
www.arctic.org.ru/2005a/pis/82-11-13.htm
111. Михаил Геллер. Российские заметки. М., 1999. С. 283.
112. www.koob.ru/snezhnevskij_
113. Николай Тимофеев-Ресовский. Воспоминания. М., 1995. С. 349.

114. Давид Самойлов. Перебирая наши даты. М., 2000. С. 397.

115. Историческое досье. Что говорили великие люди друг о друге и о себе. Донецк, 1998. С. 113.

116. Виктор Шейнов. Пиар «белый» и «черный». Минск, 2005. С. 136.

117. Зигмундт Бауман. Индивидуализированное общество; http://yanko.lib.ru/books/sociology/bauman-individualized_society-2005-ru-a.htm

118. Михаил Восленский. Номенклатура. М., 2005. С. 158.

119. Филипп Бобков. КГБ и власть. М., 1995. С. 269.

120. world.lib.ru/j/jurij_c/snegirjov.shtml

121. Феликс Чуев. Молотов. Полудержавный властелин. М., 2002. С. 697.

122. Алексей Козлов. Козел на саксе. М., 1998. С. 264.

123. Юрий Нагибин. Дневник. М., 1996. С. 543.

124. Игорь Бунич. Пятисотлетняя война в России. Оккупация. Киев, 1997. С. 345, 363, 358.

125. Андрей Паршев. Почему Россия не Америка. М., 2001. С. 32.

126. Юрий Нагибин. Дневник. М., 1996. С. 541.

127. Евгений Евтушенко. Волчий паспорт. М., 1998. С. 496.

128. Летопись жизни и творчества Венедикта Ерофеева (1985–1990), <http://www.moskva-petushki.ru/>

129. Валерия Новодворская. По ту сторону отчаяния; <http://lib.udm.ru/lib/MEMUARY/NOWODWORSKAYA/novodvorskaja.txt>

130. Сергей Кара-Мурза. Интеллигенция на пепелище родной страны; <http://kara-murza.ru/books/intel/intel.html>

131. Там же.

132. shutov.zavolu.info/12.html

133. Виктор Шендерович. Здесь было НТВ. М., 2004. С. 312.

Примечания к главе 13

1. Петр Чаадаев. Отрывки и разные мысли (1828-850-е годы). books.google.ru/books?isbn=599892759

2. Тюремная одиссея Василия Шульгина. Сборник документов. М., 2010. С. 93.

3. Георгий Андреевский. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920-1930-е. М., 2008. С. 87.

4. Филипп Бобков. КГБ и власть. М., 1995. С. 199.

5. Феликс Чуев. Молотов. Полудержавный властелин. М., 2002. С. 710.

6. Владимир Кормер. Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура // Вопросы философии, 1989, № 9; <http://www.posters.es/b/167124/read#t1>

7. Давид Самойлов. Перебирая наши даты. М., 2000. С. 450.

8. Надежда Мандельштам. Воспоминания. М., 1989. С. 350.

9. http://www.odnako.org/blogs/show_23451/

10. Вадим Кожинов. Победы и беды России. М., 2000. С. 369.

11. http://moskva-petushki.ru/articles/erofeev/poxmelje_i_klin/3

12. Огонек, 1992 г., № 1. С. 6.

13. Иосиф Шкловский. Эшелон; lib.rin.ru/doc/i/15567p4.html

14. Лев Гумилев: судьба и идеи. Сборник статей. М., 2003. С. 362.

15. Там же. С. 178.

16. Евгений Евтушенко. Волчий паспорт. М., 1998. С. 201.

17. Дмитрий Быков. И все-все-все. Сборник интервью. М., 2009. С. 182.
18. Вячеслав Широнин. Агенты перестройки. М., 2010. С. 197.
19. <http://glavnoe.ua/articles/a6495>
20. Вениамин Алексеев, Сергей Нефедов. Гибель Советского Союза в контексте истории социализма. // Общественные науки и современность, 2002, № 6.
21. Известия ЦК КПСС, август 1990, № 8. С. 106.
22. Сергей Кара-Мурза. Советская цивилизация. Т. 2. М., 2001. С. 271.
23. Огонек, № 19, 1989. С. 32.
24. Вениамин Алексеев, Сергей Нефедов. Гибель Советского Союза в контексте истории социализма. // Общественные науки и современность, 2002, № 6.
25. Сергей Кара-Мурза. Советская цивилизация. Т. 2. М., 2001. С. 269.
26. Андрей Паршев. Почему Америка наступает. М., 2002. С. 181.
27. Михаил Геллер. Российские заметки. М., 1999. С. 277.
28. Вадим Кожин. Победы и беды России. М., 2000. С. 42.
29. Михаил Докучаев. Москва. Кремль. Охрана. М., 1995. С. 208-209.
30. shutov.zavolu.info/cat8/index.html
31. Огонек, № 9, 1989.
32. Известия ЦК КПСС, № 8, август, 1990. С. 130.
33. www.liveinternet.ru/tags/Аркадий+Гайдар/
34. <http://www.ereport.ru/articles/commod/oilcount.htm>
35. Андрей Паршев. Почему Америка наступает. М., 2002. С. 271.
36. Там же. С. 268.
37. Огонек, № 1, 1992. С. 9.
38. Людмила Булавка. Феномен советской культуры. М., 2008. С. 233, 234.

39. Там же. С. 247-248.
40. Там же. С. 252-253.
41. Кураев Андрей. «Мастер и Маргарита»: за Христа или против?;
http://www.koob.ru/kuraev_andrej/mim_za_protiv
42. www.vesti.ru/doc.html?id=227956&cid=9
43. Тюремная одиссея Василия Шульгина. Сборник документов. М., 2010. С. 94.
44. Давид Самойлов. Перебирая наши даты. М., 2000. С. 460.
45. Евгений Евтушенко. Волчий паспорт. М., 1998. С. 444.
46. Огонек, № 20, 1989. С. 5.
47. Алексей Козлов. Козел на саксе. М., 1998. С. 350.
48. Андрей Вознесенский. Дайте мне договорить. М., 2010. С. 244.
49. Збигнев Бжезинский. Великая шахматная доска. М., 1998. С. 138.
50. Евгений Евтушенко. Волчий паспорт. М., 1998. С. 206.
51. <http://argumentua.com/novosti/bolee-60-nelegalnykh-ukrainskikh-migrantov-neplaniruyut-vozvrashchatsya-na-rodinu>
52. Лев Гумилев: судьба и идеи. Сборник статей. М., 2003. С. 417.
53. <https://litrossia.ru/item/1094-oldarchive/>
54. Валерия Новодворская. По ту сторону отчаяния;
<http://lib.udm.ru/lib/MEMUARY/NOWODWORSKAYA/novodvorskaja.txt>
55. <http://www.bulvar.com.ua/arch/2012/2/4f0c5e4ed3700/>
56. <http://glavnoe.ua/articles/a7581>
57. Юрий Нагибин. Дневник. М., 1996. С. 570.
58. Евгений Евтушенко. Волчий паспорт. М., 1998. С. 306.
-

notes

Примечания

1

Здесь и далее – ссылки на источники в конце книги.

Слово *intelligentsia* в этом смысле заимствовано как раз из русского языка.

З

Популярный советский журналист, один из идеологов перестройки.

Некий персонаж произносит слово «интеллигенция», обыгрывая фразу, сказанную по поводу латинского выражения «etc». На самом деле, слово вошло в обиход еще раньше – где-то с первой трети XIX века.

Хотя существуют и разночтения: по другим сведениям, «12 стульев» заняли в тот год только 6 место и собрали 30 с лишним миллионов зрителей. Тоже не мало.

6

Флогистон – «огненная субстанция», якобы наполняющая все горючие вещества и высвобождающаяся из них при горении.

Ассоциация с популярной книгой В. Орлова «Альтист Данилов».

Поэт А. Вознесенский с умилением вспоминает своего отца, который во время Гражданской войны комсомольствовал в маленьком городке Киржач: «Отец с юмором рассказывал, как они, школьники, на глазах у моргавшего учителя клали наган на парту» (8). Юмор, замечу, так себе. Но ведь сын тоже находил это забавным, а не преступным.

Жена Льва Николаевича вспоминала: «Как-то я смотрю на собрание сочинений Чехова и говорю Льву: скучно мне читать Чехова. Язык замечательный, образы великолепные, но эти ноющие женщины невыносимы. “А это уже началась эпоха скуки, – сказал он. – Самое страшное, когда люди начинают скучать. Значит, они инертны, у них нет энергии. Настоящий творческий человек – художник, писатель, ученый – никогда не скучает. А к концу XIX века у нас появилось огромное количество обывателей, и так как Чехов жил среди них, то он описывал”» (13).

И почему, когда обидчик интеллигенции испустил дух, легендарные махатмы Индии прислали в СССР послание, где говорилось, что умер самый великий человек на Земле, а великий экономист Кейнс, который в те годы работал в России, считал даже сам тип мышления Ленина выдающимся явлением культуры? Они что – глупее нынешних критиков были?

Ипполит Матвеевич кланчающий милостыню – отнюдь не фантастическая выдумка Ильфа и Петрова. Подобными людьми были наводнены улицы Советской России полтора десятка лет после революции. Французский журналист, посетивший Москву в 1929 году: «Нередко видишь, как старик с хорошими манерами приближается к группе людей или входит в трамвай и громко заявляет: «Я бывший губернатор Х. Я всегда был добрым и гуманным. Посочувствуйте, граждане. Я умираю от голода». Это действует безотказно» (20).

Рабис – Всесоюзный профессиональный союз работников искусств.

О Катаеве вспоминает вдова Осипа Эмильевича – Надежда: «Мы впервые познакомились с Катаевым в Харькове в 22 году. Это был оборванец с умными живыми глазами, уже успевший «влипнуть» и выкрутиться из очень серьезных неприятностей. Из Харькова он ехал в Москву, чтобы ее завоевать. Он приходил к нам в Москве с кучей шуток – фольклором Мыльниковой переулка, ранней богемной квартиры одесситов. Многие из этих шуток мы прочли потом в “Двенадцати стульях” – Валентин подарил их младшему брату, который приехал из Одессы устраиваться в уголовный розыск, но, по совету старшего брата, стал писателем». (Н. Мандельштам, «Воспоминания», с. 267–268).

О популярности поэта Э. Багрицкого среди уголовников Одессы: «Беня Крик встал и чувственно произнес: *“Господа, послушайте. “Фарфоровый фонарь – прозрачная луна, в розетке синих туч мерцает утомленно, узорчат лунный блеск на синеве затона, о полусгнивший мол бесшумно бьет волна... У старой пристани, где глуше пьяниц крик, где реже синий дым табачного угара, безумный старый бриг Летучего Корсара раскрашенными флагами поник...”* Кто скажет мне, чьи это стихи?» – стряхнув с себя поэтическое наваждение, спросил чтец. Все стыдливо молчали, и только звонкий девичий голос из отдаленного полумрака одиноко произнес желанное имя: *“Багрицкого”*. *“Браво, мадемуазель, – улыбнулся Беня и, оглядев зал, заключил с укоризной: – Это плохо, господа, что вы не интересуетесь поэзией. За ее развитием нужно следить”*».

Естественно, беглецы коммунистической пропагандой превращались в настоящих или мнимых врагов строя. Например, о Вертинском известный советский публицист Татьяна Тэсс презрительно писала: «Белогвардейский Пьеро, демонстрирующий в парижских кабачках свое обсыпанное трагической мукой лицо с глицериновыми глазами и лирический голос сифилитика» (30). А какие ушаты грязи были вылиты на Шаляпина, когда он отказался вернуться в Страну Советов!

Писатель-драматург Афиногенов трагически погиб в 1941-м во время попадания авиационной бомбы в ЦК ВКП(б). Он был эвакуирован в Куйбышев, а в этот роковой для себя день приехал в Москву и пришел в ЦК, куда попала немецкая бомба.

«Мне на плечи бросается век-волкодав», – О.
Мандельштам.

«Главные черты «лишнего человека»: отчуждение от официальной жизни России, от родной ему социальной среды... по отношению к которой герой осознает свое интеллектуальное и нравственное превосходство, и в то же время – душевная усталость, глубокий пессимизм, разлад между словом и делом, и, как правило, общественная пассивность» (КЛЭ, 1962, С. 343).

Сращение терминов «эмиграция» и «андеграунд» – двух видимо различных, но сущностно единых форм социального и культурного отчуждения.

Сцены из романа переходят в массовое сознание, используются для сравнений и обобщений. Например, Е. Евтушенко, рассказывая о персонале правительственной больницы, использует понятные всем сравнения: «...красномордые повара, уносящие из кухонных партийных остатков каждый день не меньше осетрины, да еще и черной икорки, чем булгаковский метрдотель Арчибальд Арчибальдович...». Взаимосвязь литературы и жизни (76).

Задним умом крепкий, один из деятелей Февральской революции и Временного правительства В. Маклаков позже признал необходимость подавления русской революции 1905 года и разгона излишне революционизированной Первой думы П. Столыпиным: «Первая дума претендовала на то, чтобы ее воля считалась выше закона... победа правительства над думой оказалась победой конституционных начал...» (6) Но то, что посмел сделать Столыпин, не могла и не хотела сотворить свободомыслящая публика. Наоборот, она хотела безудержной демократии. И, кстати, памятники «реакционеру» Столыпину полетели с пьедесталов сразу после февраля 1917 года. Так что вовсе не большевики развязали ставшую для нас традиционной «войну памятников».

Из 29 министров Временного правительства всех составов 23 были масонами. Три члена президиума ЦИК Петроградского совета первого состава (Керенский, тогда трудовик, и два меньшевика) были масонами и т. д.

Н. Бердяев о понятии «большевизм»: «Первоначально это слово совершенно бесцветно и означает сторонников большинства. Но потом оно обретает символический смысл. Со словом «большевизм» ассоциировалось понятие силы, со словом же «меньшевизм» – понятие сравнительной слабости. В стихии революции 1917 года восставшие народные массы пленялись «большевизмом» как силой, которая больше дает».

Любопытно в этой связи вспомнить об одной телеграмме, с которой генерал Брусилов в 1917 году обратился к Временному правительству: «Солдаты, офицеры, генералы и чиновники Юго-Западной армии, собравшись, постановили довести до сведения Временного Правительства свое глубокое убеждение, что местом созыва Учредительного Собрания должна быть, по всей справедливости, первая столица русской земли. Москва освящена в народном сознании важнейшими актами нашей национальной истории; Москва исконно русская и бесконечно дорога русскому сердцу... Я от всей души присоединяюсь к этой резолюции и заявляю, в качестве русского гражданина, что считаю конченным петербургский период русской истории. Брусилов» (18). То есть, вопрос о переносе столицы в духовный центр страны был инициирован вовсе не большевиками.

На злобу дня в украинских селах пели: «Був царь и цариця, були хліб и паляница, а настали коммуністы, и не стало чиги йисты».

Историк Геннадий Ижицкий о живучести субкультуры беспризорников: «...появилось весьма странное существо женского пола. В зубах она держала кусочек одеяла и неподобающим образом обращалась с иностранцами. А главное, цвет! «Она, она зеленая была»... Незабвенная «По улицах ходила большая крокодила» (19). Пели ее беспризорники двадцатых, пели и мы, дети семидесятых.

Тот же Кольцов о трагической гибели императора Николая II и всей его семьи: «Кто в России вспомнит о кучке пепла под Екатеринбургом? Кто задумается о Николае? Никто. О ком вспоминать? О том, кого не было?».

Стоит сказать, что муж автора гневной филиппики – поэт Осип Мандельштам – был в восторге от «12 стульев», написанных «молодыми дикарями».

С 1923 заместитель начальника, в 1929-1931 начальник Секретного отдела ОГПУ СССР. «Курировал» творческую интеллигенцию.

А уничтожение замкнутого кольца советской экономической системы вернуло в лоно мирового рынка солидную долю экономики Земли.

Запрет на вывоз отчасти обусловлен тем, что до революции более миллиона русских жили за границей, в Западной Европе, а источники их средств существования находились в России. Большая часть (две трети) эмигрантов выехала из России задолго до Февральской революции, а вовсе не сбежала от «большевистского террора» (46).

profismart.ru/web/bookreader-138216-20.php

Одним из счастливичков, иногда получавших возможность отовариваться в «Торгсинах», был М. Булгаков, у которого периодически появлялась валюта – зарубежные гонорары не часто, но давали возможность присмотреться к торгсиновскому зазеркалью, что и запечатлено в «Мастере и Маргарите»: *«Сотни штук ситцу богатейших расцветок виднелись в полочных клетках. За ними громоздились миткали и шифоны и сукна фрачные. В перспективу уходили целые штабеля коробок с обувью, и несколько гражданок сидели на низеньких стульчиках, имея правую ногу в старой, потрепанной туфле, а левую – в новой сверкающей лодочке, которой они и топали озабоченно в коврик. Где-то в глубине за углом пели и играли патефоны...»*

Вообще вопросы обустройства нового быта крупных городов занимали центральное место в архитектурных фантазиях 1920-х годов. Бендеровские проекты превращения Васюков в центр мироздания отражают широко распространенные в то время футурологические фантазии, находившие себе выход в агитпропе и литературе. В столичном тогда Харькове в 1926 году внимание заезжего журналиста привлекает картина «Харьков через сто лет», на которой, помимо аэропланов в небе и всяких воздушных сообщений, изображена речка Лопань, а на ней пароходы океанского масштаба» (71). Те, кто бывал в Харькове, знают, что местную речку Лопань и доньне можно перейти вброд.

Помню, и мой отец рассказывал мне о кадках с черной и красной икрой, что стояли в харьковском магазине по соседству с его домом до войны, и как ее отпускали покупателям, отсыпая особой деревянной лопаткой.

Сталин спрашивал в телефонном разговоре у Б. Пастернака: Мандельштам – «мастер» слова, талантливый поэт?

Из дневников Е. Булгаковой: «7 ноября (1935 г.) Проводила М.А. утром на демонстрацию. Потом рассказывал – видел Сталина на трибуне, в серой шинели, в фуражке».

telegrafua.com/world/13797/

Осмелюсь доложить, что предыдущий муж Е. Булгаковой, Е. Шиловский, с октября 1928 по февраль 1931 года служил начальником штаба Московского военного округа – немаленький чин, и условия проживания у Елены Сергеевны, до ухода к М. Булгакову, были соответствующие.

Кожин В. Россия. Век двадцатый. 1939–1964, М.: Алгоритм, 1999. С. 316.

Так, члены Политбюро поддержали предложение Сталина «удовлетворить просьбу тов. Берии об освобождении его от обязанностей Наркома внутренних дел СССР ввиду перегруженности его другой центральной работой» (причем, последняя часть фразы дописана Сталиным в машинописный текст постановления Политбюро).

Далее события излагаются по книге: Пыжиков А., Данилов А. Рождение сверхдержавы. 1945–1953 годы. М.: Олма-пресс, 2002.

Явно «антималенковским» шагом можно считать и снятие с высоких военных постов и исключение из членов ЦК Г. Жукова, которого в годы войны чаще других поддерживал Маленков. На это указывал позже Молотов. Прослушивание квартиры Жукова было прекращено только в 1953 году, после смерти Сталина, но возобновилось Хрущевым в 1957 году, а Брежнев продолжал прослушивание до самой смерти Жукова в 1974 году. Даже на пенсии Жуков оставался потенциальной угрозой для Хрущева и Брежнева.

Типичная для тревожного времени корреспонденция с места событий: «31.V. В с. Лесковке, Богодуховского уезда (Харьковской губернии – К.Ккрестьяне выгнали скот на луга г. Харитоненко. Прибывших казаков крестьяне встретили вилами и топорами. Казаки бежали. В деревню отправлены войска» («Русское слово», 1906 г.).

Только в 1911-м и только на подземных работах случилось свыше 700 случаев тяжелых травм на 1 тысячу рабочих.

Столыпинские реформы – это, кроме всего прочего, и шесть тысяч повешенных крестьян.

Во время оккупации Парижа гитлеровцами эмигрант П. Струве в 1941 году был ими даже арестован как «друг Ленина».

«Мстительность» (фр.).

Вот еще одна из причин, почему в наших краях нельзя разрешать свободную продажу оружия, о чем так ратуют защитники демократических прав и оружейное лобби.

Наряду с Лениным, среди крестьян весьма значимой была личность М. Калинина. Уже в тот период сформировалось мнение, что Калинин «правильно разбирает письма и жалобы». В Калинин видели «своего», выходца из народа, хорошо знающего и понимающего народные нужды.

Даже самому Ленину как-то досталось. В 1919 году по дороге на праздничную елку в детскую лесную школу, где отдыхала Н. Крупская, Ленин и его спутники подверглись нападению бандитов и были ограблены.

Впрочем, обостренное внимание к миллионам народных каратаевых не мешало бывшему графу продолжать вести в СССР привычный, как сказали бы сегодня, «стильный» образ жизни. Так, лакеем был у него старый слуга, служивший его родителям и все еще продолжавший звать своего хозяина по старой привычке «ваше сиятельство». И было, конечно, в высшей степени оригинально, когда, например, кто-нибудь из видных партийцев приезжал по делу к советскому писателю Алексею Толстому и встречавший его старый лакей почтительно сообщал, что «их сиятельство уехали на заседание горкома партии».

По поводу наплевательского обращения со временем и русского пренебрежения точностью, обратите внимание на характерную деталь: когда Бендер с Воробьяниновым прибывают в Москву, часы на железнодорожных вокзалах показывают разное время. *«Очень удобно для свиданий!»* – говорит Остап. – *«Всегда есть десять минут форы».*

Вилли Вольфзангер, «Беспощадная бойня
Восточного Фронта», <http://mobooka.ru/?tr=book&path=V/BO/Вольфзангер%20Вилли/Вольфзангер>.

К слову сказать, двадцатые годы стали решающей фазой формирования современных и белорусской, и украинской наций, ведь большинство огромного количества крестьян, оказавшихся в городах в тридцатые годы, говорили по-украински и по-белорусски. После того в город начали массово проникать выходцы из села, там создавался значительный резерв «национального сознания».

В 1925 году в «Известиях» сообщалось о том, что в Верховную прокуратуру явился молодой человек лет двадцати пяти и, выложив на стол кучу всевозможных билетов и мандатов, сказал: «Не могу больше! Устал от дураков! Делайте со мной, что хотите, но они мне осточертели...» Среди предъявленных им документов оказался и партийный билет с дореволюционным стажем, и профсоюзный с не меньшим, и такой же, выданный Обществом старых большевиков, и еще один – от «политических каторжан» (65). Так что удостоверение на имя Конрада Карловича Михельсона – это еще не высший пилотаж.

В частности, К. Чуковский отмечает в своем дневнике свою встречу с народным комиссаром просвещения Украины В.П. Затонским: «Он сказал, что, к сожалению, это так, что в Харькове на испытаниях в ВУЗы сейчас по литературе провалилось 70 % испытуемых, а в Киеве – 65 %. «Знание литературы – сказал В.П., – это вопрос общей культуры. Нужно раньше всего учить учителя – тут вам работа, писателям».

Современные студенты, вы знаете, какая это «своевременная книга», на что намекает автор?

По ходу дела заметим, что означенный Волин, бывший председатель Харьковского губревкома, в должности начальника Главлита добивался запрещения «12 стульев», а Черток вошел в историю как один из самых кровавых палачей НКВД.

Борис Асафович Мессерер – третий муж поэтессы.

Этот архитектор был в числе прочих одобравших снос Храма Христа Спасителя.

В мемуарах Л. Гурченко мы находим профессиональное описание роли, которую успешно исполнял И. Сталин. «По-настоящему крупные личности всегда скромны, – пишет она. – Они потому и крупные, что поняли сердцем, талантом, интуицией – не знаю чем, – что величие именно в простоте...»

Подметив, что Сталин, желая казаться повыше ростом, предпочитает обувь на высоких каблуках, начальник его личной охраны К. Паукер изобрел для Сталина сапоги специального покроя с необычно высокими каблуками, частично спрятанными в задник. В результате таких ухищрений многие, видевшие Сталина издали или на газетных фотографиях, считали, что он среднего роста. В действительности его рост составлял около 163 сантиметров.

Лишь единицы, вроде М. Пришвина, понимали, что поспешная перестройка фундамента общества обернется грандиозными катаклизмами: «Я все раздумываю о пророчестве Разумника: «война неизбежна». Он это высказывает после того, как побывал в деревне. Я понимаю: его поразило величайшее разногласие деревни и города, скрытая война, которая должна разрешиться явной войной» (116).

Крепостничество распространялось примерно на половину русских крестьян, причем еще половина из них были оброчными (то есть жили, где хотели); большинство русских купцов и промышленников вышло именно из рядов оброчных крестьян. Но и оправдывать крепостничество, значит быть внутренне готовыми к его воскрешению во имя каких-то, разумеется, «возвышенных» целей.

http://world.lib.ru/e/ewgenija_s/lar.shtml

В 1951 году уже самого А. Свердлова арестовали по обвинению в “сионистском заговоре”, но вскоре он был освобожден и даже успел написать в соавторстве ряд детективных повестей. Умер своей смертью в 1970-х годах.

Основоположники марксизма, как мы помним, наличие у пролетариата «Отечества» вообще отрицали.

Даже комиссия Съезда народных депутатов СССР, находившаяся под сильным влиянием «демократов», сообщала не более о 21 случае ранения с применением лопаток.

Имеются в виду семеро участников
националистической группы, осужденные в 1964 г.

Е. Чуковская: «9 ноября 41. Я оттолкнула Анну Андреевну от окна – мальчишки-узбеки швыряют камни в наш поезд с криками: «Вот вам бомбежка!» (165).

В тридцатые годы даже капиталист Г. Форд в разговоре с А. Микояном советовал все-таки оставлять советским гражданам индивидуальные огороды: «В свободное время они будут их обрабатывать. Это своеобразный отдых, а кроме того, урожаи с этих огородов станут для ваших рабочих дополнительным источником питания» (180). Примерно в том же ключе Форд рассуждал во время встречи с Ильфом и Петровым (см. «Одноэтажная Америка»).

Если в 1953 г. доля повторно осужденных за хулиганство составляла 5 процентов, то в 1957 г. она увеличилась почти вдвое – 9,6 процента (181).

Для примера: 22 ноября 1905 года эсеровская террористка Анастасия Биценко убивает бывшего министра генерал-адъютанта Виктора Викторовича Сахарова, но смертной казни при царе избегла и была расстреляна только в 1937 году.

Для сравнения: в 1905 году в тюрьмах России находилось 719 тысяч заключенных, а в 1906 году – 980 тысяч.

К слову сказать, Соловецкий лагерь был во время Гражданской войны организован командованием белого воинства, и лишь потом передовой опыт беляков восприняла Советская власть.

Кстати, легендарная фраза *«У меня с советской властью возникли за последний год серьезнейшие разногласия. Она хочет строить социализм, а я не хочу. Мне скучно строить социализм»* в первом, неопубликованном варианте романа заканчивалось так: *«Что я, каменщик в фартуке белом?»*. Последнее предложение выбросили цензоры, ведь образованный читатель мог узнать в нем строчку из стихотворения русского поэта Серебряного века Валерия Брюсова: – *Каменщик, каменщик в фартуке белом, Что ты здесь строишь? Кому? – Эй, не мешай нам. Мы заняты делом, Строим мы, строим тюрьму.*

О степени его популярности в стране и за рубежом свидетельствует случай, когда в 1930 году журнал «Новый мир» напечатал ряд писем иностранных писателей, главным образом немецких, ответы на анкету о советской литературе. В большинстве писем на первом месте стояло имя И. Бабеля.

Он был заместителем начальника особого отдела Южного и Юго-Западного фронтов и возглавлял крымскую «ударную группу» чекистов. В результате деятельности этой группы было уничтожено 12 000 человек: офицеров, врачей и служащих Красного Креста, сестер милосердия, учителей, чиновников, земских деятелей, журналистов, инженеров, бывших дворян, священников, крестьян. Убивали даже больных и раненых в лазаретах.

Кстати, сей видный партийный деятель был сыном врача, депутата Государственной Думы.

Писатель В. Солоухин об А. Орлове: «И не тот ли это Орлов, который к 1938 году был уже генералом НКВД и, находясь в Испании, сбежал от Сталина и скрывался 25 лет, а потом написал книгу воспоминаний “Тайные преступления Сталина”? А сам он, значит, никаких преступлений не совершал, и звание генерала НКВД заслужил, играя на мандолине?».

Возможно, наставшее после разгула Фронды воцарение «короля-солнца» Людовика XIV, эталона абсолютизма, также вызывало у Льва Борисовича определенные ассоциации. Во всяком случае, сочиненную писателем Булгаковым биографию Мольера, он весьма настойчиво лоббировал для издания в серии «ЖЗЛ», а намеки и параллели там самые прозрачные.

Подробнее о довоенном сотрудничестве сионистских кругов и нацистов в моей «Опасной книге».

Правда, в 1925 году в своем грехе он покался, и взгляды свои пересмотрел.

Хотя, где происходят события осторожный писатель в письме благоразумно не указывает, догадаться не сложно.

«Папаша» – партийная подпольная кличка
Литвинова до революции.

«Был он раньше, кажется, заместителем начальника областного отдела здравоохранения то ли в Киеве, то ли в Харькове», – Н. Хрущев.

Видимо, речь идет об известном французском журналисте Люсьене Вожеле.

ПОУМ – Рабочая Партия Марксистского Единства, испанская компартия троцкистской ориентации. Известный английский писатель Джордж Оруэлл в молодости воевал на стороне республиканцев в Испании в рядах частей ПОУМ, возможно оттуда его резко антисталинская риторика.

Намек на насильственную смерть Горького? – *К.К.*

16 ноября 1920 года главой ВЧК Ф. Дзержинским был отдан приказ о начале очистки Крыма «от контрреволюционеров». Общее руководство было поручено Г. Пятакову. 17 ноября вышел приказ об обязательной регистрации всех иностранных граждан; всех лиц, прибывших в Крым с июня 1919 года; всех офицеров, чиновников военного времени и работников Добровольческой армии. Зарегистрировавшихся сначала собирали в казармах, а затем отвозили в тюрьмы. Вскоре задержанных стали расстреливать, вешать, топить в море...

Теперь – имени Ленинского комсомола.

При Хрущеве Матусова все же исключили из партии и лишили пенсии МГБ за причастность к репрессиям. Опираясь на поддержку Свердлова, он беспрерывно апеллировал в КПК при ЦК КПСС. В 1963 году Матусова и Свердлова вызвал заместитель председателя Комитета партийного контроля Сердюк, который потребовал, чтобы они перестали писать письма в ЦК, иначе партия накажет их обоих за то, что они распускают сплетни, а сверх того – за незаконное преследование знаменитого писателя Александра Солженицына.

Абсурдность ситуации хорошо иллюстрирует дальнейший ход дела Майского, которое, в отличие от остальных, тогда, в мае 1953 года, не было официально закрыто. Когда уже арестовали Берию, Майского обвинили в сговоре с Лаврентием Павловичем с целью стать при нем министром иностранных дел и вновь посадили в тюрьму, где у него произошел нервный срыв.

По другим данным в лагерях содержалось 2468524.

Это идейно-политическое и общественное движение, возникшее в начале 1920-х гг. в среде русской зарубежной интеллигенции. Получило свое название от сборника статей «Смена вех», вышедшего в Праге в июле 1921 г.

У Булгакова в «Белой гвардии» есть второстепенный персонаж – Михаил Семенович Шполянский, в результате диверсии парализовавший гетманский бронедивизион. Эпизод исторический. Шполянский – это Шкловский, сыгравший свою, пусть и небольшую, роль в скором падении гетмана Скоропадского.

Предсмертная записка Маяковского гласила: «Всем. В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил. Мама, сестры и товарищи, простите – это не способ (другим не советую), но у меня выходов нет. Лиля – люби меня. Товарищ правительство, моя семья – это Лилия Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская. Если ты устроишь им сносную жизнь – спасибо... В столе у меня 2000 руб. – внесите в налог...». По мотивам посмертной записки Маяковского, беспризорники распевали: «Товарищи правительство, пожалей мою маму,/ Береги мою лилию сестру./ В столе лежат две тыщи – / Пусть фининспектор взыщет, /А я себе тихонечко умру». Как видим, бродяжки пели довольно близко к оригиналу...

А тут, понимаете ли, читаю в современных мемуарах: «В период 20-50-х годов прошлого века существовало страшное правило: если находящийся в опале литератор или актер обращался с письмом к “вождю и учителю”, он этим самым подписывал себе смертный приговор» (13). Вот наглядный пример, что происходит с разумом, оболваненным антисоветской пропагандой.

О книге Тарле диалог из дневников К. Чуковского: – Книга-то очень хорошая, но ее нужно было выругать, т. к. предисловие к ней написал Радек. – Так ругали бы Радека. Зачем же ругать книгу Тарле. – Вы ничего не понимаете. Так всегда делается (17).

Запись Е. Булгаковой от 12 июня 1936 г.: «Сегодня приехали их Киева... «Турбиных» играют без петлюровской сцены».

Нужно понимать, что национализм местных кадров был лишь идеологической ширмой, под которой шло их объединение и структурирование в кланы. Несколько волн репрессий 1930-х годов против национальной элиты искореняли местничество, недопустимое в централизованной империи.

«Инженеры человеческих душ» – высказывание Сталина на встрече с писателями 26 октября 1932 года.

Дело доходило до трагического анекдотизма. В повести «Впрок» в «Красной нови» (1931 г.) Фадеев, редактор журнала, подчеркнул те места, которые необходимо было, как он полагал, выкинуть по политическим причинам. Верстку он почему-то не просмотрел, и подчеркнутые им строки в типографии набрали жирным шрифтом. В таком-то виде номер журнала попал на глаза Сталину, которые оценил писателя Платонова одним словом: «Сволочь». Жизнь А. Платонова оказалась сломана.

Чуковский в дневниках описывает взаимоотношения литератора и чиновника: «Я прошел без спросу и поговорил с Быстровой. Потом сидящий у входа Петров крикнул мне: «Кто вам позволил войти?» – «Я сам себе позволил». – «Да ведь сказано же вам, что у Быстровой заседание». – «Нет, у нее заседания не было. Это мне сообщили неверно!» – «А! Хорошо же! Больше я вас никогда к ней не пущу». – «Пустите!» (И сдуру я крикнул ему, что вас, чиновников, много, а нас, писателей, мало; наше время дороже, чем ваше!) Это вывело его из себя» (35).

Любопытно пассаж Шкловского сравнить с мыслью другого «прогрессивного деятеля», А. Чубайса, который в интервью «Российской газете» 15 ноября 2004 года сказал о Достоевском буквально следующее: «Я испытываю почти физическую ненависть к этому человеку. Он, безусловно, гений, но его представление о русских как об избранном, святом народе, его культ страдания и тот ложный выбор, который он предлагает, вызывают у меня желание разорвать его на куски».

Еще один не делегат съезда – Анна Ахматова, говоря о сообществе советских писателей, вспомнила коллизию из «Золотого тельца»: «В поезде, набитом писателями, жулик оказывается талантливее и умнее их всех» (54).

Построить школьный комплекс со спортзалом и стадионом стоило тогда до 1 миллиона рублей.

109

Получил это название в 1937 году.

Где о нем писали: «Вы думаете, что Москва только борется, учится и строит? Ошибаетесь, Москва смеется! И так заразительно, бодро и весело, что вы будете смеяться вместе с ней».

Кстати, по происхождению С. Эйзенштейн, как и В. Мейерхольд, был из обрусевших немцев. «Но многие думают, что он еврей, и отсюда всякие курьезы, – вспоминала его жена Пера. – Во время войны его, не спросясь, избрали в Еврейский антифашистский комитет. Не разобрав, что к чему, он пришел на заседание и, уже сидя в президиуме, понял, в чем дело. Наклоняется к Эренбургу и тихо спрашивает: “Как вы думаете, Илья Григорьевич, это больно, когда в сорок лет делают обрезание?”. И во время войны исправно подписывал все воззвания от имени советских евреев – а куда денешься?» (67).

Речь, скорее, идет о «Голубой рапсодии», или «Рапсодии в стиле блюз» – одной из самых известных композиций Дж. Гершвина.

Кроме того, успешное испытание ядерной бомбы, процесс создания, которой курировал все тот же Лаврентий Павлович, снова вернул его в разряд звезд первой величины. Курчатов и Берия за выдающиеся заслуги в укреплении могущества нашей страны были отмечены высшими наградами, большими денежными премиями и специальными грамотами о пожизненном статусе почетных граждан Советского Союза. Все участники советской атомной программы получили дополнительные привилегии: бесплатный проезд в транспорте, государственные дачи, право поступления детей в высшие учебные заведения без вступительных экзаменов.

Долго еще вспоминались эти встречи с интеллигенцией, их отголоски мы находим даже в культовых кинолентах эпохи. Только вмешательство бдительной цензуры уберегло нас от эпизода в кинофильме «Иван Васильевич меняет профессию», когда Бунша удивленно спрашивает: “Что за репертуар у вас?” и дальше шло: “Соберите завтра творческую интеллигенцию. Я вами займусь”. Гайдаю запретилишний раз напоминать о тягостных формах «работы» партии с совестью нации. Хотя знаковое слово «волюнтаризм», которым партия заклеила закат хрущевского правления, в «Кавказской пленнице» оставили.

Например, социализм предпочитает общественный транспорт индивидуальному. Стремление пойти навстречу наиболее состоятельной части общества, оборачивалось дефицитом автомобилей, запчастей и собственно бензина.

В частности, он редактировал книги одного из ведущих политиков Украины Евгения Кушнарева.

Как мы помним, тему «ответа Чемберлену» собирался даже запечатлеть Остап Бендер в бессмертном полотне «Большевики пишут ответ Чемберлену».

Интересно передает атмосферу истерического стремления к культуре в то время фрагмент из мемуаров И. Эренбурга: «В Харькове импресарио снял цирк «Миссури». Никаких микрофонов в то время не было. Я, надрываясь, кричал что-то о фильмах Чаплина, а публика ревела: «Не слышно». Я хотел уйти; меня удержал импресарио: «Потребуют деньги за билеты. У меня большая семья... Постарайтесь!.. Жена вам уже взбивает гоголь-моголь...» (3) Здесь и арендованный цирк (один из крупнейших залов Харькова той эпохи), и модный кинематограф, и практика продажи билетов на лекции об искусстве.

Гаврилой назвали тех киномехаников, у которых часто рвалась пленка; всех, у кого не ладилась работа, пренебрежительно назвали Гаврилами (машинистов, шоферов и т. д.).

Воистину, как говаривал восторженный Венечка:
*«Во всей земле, от самой Москвы до самых Петушков –
нет ничего такого, что было бы для меня слишком
многим...».*

Хрестоматийный, хотя и не совсем приличный случай. Сталин отправился отдыхать на Кавказ, его сопровождали соратники... Поезд остановился в Ростовена-Дону. Было это в начале тридцатых, и с охраной еще не очень усердствовали. Из вагона вышел Ворошилов. Народ на перроне не ожидал явления наркома обороны и охнул от изумления: «Ворошилов!!!». За ним вышел глава правительства, и еще более опешивший народ воскликнул: «Молотов!!!». Ну, а когда на перроне появился Сталин, тут уж люди как бы сами собой выстроились и зааплодировали. Сталин, как обычно, поднял руку, приветствуя и в то же время, останавливая овацию. Когда шум утих, из тамбура внезапно показался замешкавшийся Буденный. И на перроне какой-то казачок воскликнул: «И Будённый, ё... твою мать!». Все дружно захохотали, в том числе и сам Сталин. С тех пор, когда сталинское руководство собиралось вместе и появлялся Семен Михайлович, Сталин неизменно говорил: «И Будённый, ё... твою мать!» (20).

Приветствие ко дню рождения Сталина в 1939 году, опубликованное в «Правде»: «Ко дню Вашего шестидесятилетия прошу принять мои самые искренние поздравления. С этим я связываю свои наилучшие пожелания, желаю доброго здоровья Вам лично, а также счастливого будущего народам дружественного Советского Союза. Адольф Гитлер».

Все тот же Алексей Сурков в стихотворении, посвященном Парку культуры: «Любимый и близкий с портрета, в усы улыбаясь, глядит». Интересно, это о Горьком или Сталине?

Молотов с хитрой усмешкой любил приговаривать во время министерских заседаний: «Вот Корнейчук сидит здесь, наблюдает, а потом и вставит нас в комедию...». Ага, «вставит в комедию», как же...

Рождественский – фамилия отчима, отец поэта погиб на войне. Настоящее имя поэта – Роберт Станиславович Петкевич.

Ошарашенный К. Чуковский записывает: «Я дал в «Огонек» открытое мною стихотв. Некрасова: *Администратор оступился, Писатель глупость сочинил, Ура! весь город оживился, Как будто праздник наступил* – и т. д. Ступникер возвратил мне его, т. к. "могут найти параллели"!!! Стихотворение написано в 1867 году. Прошло почти сто лет...» (39).

Смешной случай, связанный с обострением советско-китайских отношений приводит В. Каверин в своем «Эпilogе»: «Редактор журнала “Октябрь” А. Ананьев попросил меня заменить китайскую розу (в повести “Верлиока”) на розу какой-нибудь другой национальности – о китайцах лучше не упоминать». Вскоре упомянутый редактор прославится как один из светочей перестройки.

А в позднесоветскую пору интеллигенты повторяли вариант этой же пословицы в более фантастическом варианте, предложенном М. Булгаковым, – «рукописи не горят» – хотя хорошо понимали, что буквально понимать этот тезис не следует.

Во многих фирмах сейчас такой же строгий дресс-код, но это не считается покушением на свободу личности.

На Западе к тому же отказывались принимать советские золотые червонцы с изображением сеятеля. Поэтому в СССР даже стали чеканить царские червонцы с портретом Николая II.

«Золотой Теленок»: «...и польская газета “Курьер Пораны”, близкая к министерству иностранных дел, уже требовала расширения Польши до границы 1772 года».

Жесткое требование английского правительства к Стране Советов об освобождении английских рыболовных траулеров (арестованных по утверждению Москвы, за ловлю рыбы в советских территориальных водах), прекращению подрывной деятельности Советов в Иране и Афганистане, прекращению преследований верующих в СССР.

Любопытный факт, в 1923 году уже знаменитый поэт О. Мандельштам взял интервью у молодого вьетнамского коммуниста Хо Ши Мина, посетившего Москву.

М. Светлов вспоминает о популярной песне в стихотворении «Гренада»: «Мы ехали шагом, мы мчались в боях/ И «Яблочко» песню держали в зубах...».

И там же интересные наблюдения о разности уровня бытовой культуры: *«Заграница... с ужасной вежливостью посматривала на ударников в сапогах и на советских журналистов, которые по-домашнему явились в ночных туфлях и с одними запонками вместо галстуков»*. Это эпоха вынужденного демократизма облика советского человека – вспомним булгаковского Ивана Бездомного, разгуливающего по столице в тапочках.

А не визит ли А. Жида, написавшего по следам поездки резко антисоветскую книгу, укоротил жизнь М. Кольцова?

А приплюсуйте сюда еще и проект новой, почти «буржуазной» конституции внутри страны.

Позже испанское правительство Франко неоднократно поднимало вопрос о возмещении этих ценностей, и в 1960-х годах золотой запас Испании СССР компенсировал поставками нефти.

«Неприязнь Сталина к интеллигенции не случайна. В силу универсальности своих знаний и своей психологии интеллигенция оставалась тем нервом, который, несмотря на все предыдущие ампутации и чистки, продолжал связывать мыслящую Россию с мыслящей Европой», – разглагольствует публицист Вячеслав Костиков (30). Высокопарно, но в целом верно. Другое дело, что не всегда этот слой бывает мыслящим.

Н. Хрущев, «Время. Люди. Власть»: «При первой же встрече мне задали вопрос: “Господин Хрущев, как вы смотрите на то, что матрос с вашего корабля попросил убежища в Соединенных Штатах?”. Отвечаю: “Мне докладывали об этом. Сожалею о происшедшем. Он человек неопытный, не имеет особой трудовой квалификации, и я сочувствую ему. Очень тяжело ему будет приспособливаться к американским условиям жизни, ничего ведь нет у него за душой. Глупо он поступил, необдуманно. Если бы он мне сказал, что хочет остаться, я бы оказал ему какую-то помощь на первых порах”».

Гробовых дел мастер Безенчук приехал в Москву подзаработать на эпидемии гриппа. В 1929 году в Москве свирепствовал страшный грипп, от которого умирали люди («гриб» из «12 стульев»). Газеты писали, что от этого гриппа в Испании каждый день умирали по сто человек. Грипп тогда называли «испанка». Анекдот: муж телеграфирует жене: «Я жив. Лежу с испанкой».

А. Микоян, «Так было»: «Однажды по женскому лагерю пронесся слух, что привезли настоящую японскую шпионку. Все сбежались смотреть на нее, стали спрашивать: “Ты действительно шпионка?” Она зло сказала: “Да! И я, по крайней мере, знаю, почему я здесь. А вы, коммунистки проклятые, подыхаете здесь ни за что. Но мне вас не жалко!”» (39).

Видное место в литературном наследии С. Бандеры занимает работа 1940 года «Ідея і чин. Вишкіл українського націоналіста». Автор писал о целях и задачах своего движения: «Ці нові націоналістичні рухи носять різну назву в різних краях. В Італії – фашизм. В Німеччині – гітлеризм. Фашизм і націонал-соціалізм й український націоналізм мають багато спільних елементів... Замість толерувати чужу думку націоналізм стремить до повного її знищення (хоч би й фізично) і заступлення своєю».

В послевоенной Польше государство согласилось предоставить церкви право вести преподавание религии в школах именно в обмен на признание легитимности социалистического государства и поддержку его социальной политики.

Кстати, в процессе инфильтрации было решено активизировать заброску разведчиков. В частности, в это время показного миролюбия за границу отправляют Вильяма Фишера, позже ставшего известным как Рудольф Абель.

Что не мешало вождю еще 19 июня 1941 года дать негласное указание Агитпропу запретить употреблять слово «фашист» в ругательном смысле. Тянул время.

Уже в 1943 году советские идеологи во главе с А. Фадеевым начали употреблять термит «космополит», который обозначал советских граждан, попавших под влияние Запада.

Особый интерес имелся к Болгарии. «Во время проведения Ялтинской конференции, – вспоминал П. Судоплатов, – мы уже готовились **тайно вывозить урановую руду**, добывавшуюся в Родопских горах Болгарии». Уран был нужен для нашей атомной программы (55).

В целях маскировки тысячи нацистов переходили в ислам и брали себе арабские имена. Бывший офицер войск СС Тифенбахер занялся подготовкой каирской полиции. Диверсантов против Израиля для египетской армии готовил Оскар Дирлевангер. Начальник гестапо Рура Иоган Демлинг провел реорганизацию службы безопасности Египта в 1953 году. Главой этой спецслужбы стал полковник Аль-Нахер – бывший шеф гестапо в Варшаве Леопольд Глейм. Отделом пропаганды египетской охраны руководил Хусса Налисман – бывший обергруппенфюрер СС Мозер. Тайную государственную полицию Египта возглавил Хамид Сулейман – бывший шеф гестапо в Ульме группенфюрер СС Генрих Зельман. Главой политотдела полиции стал полковник Салам – оберштурмбанфюрер СС Бернгард Бендер. Координатором всей египетской пропаганды против Израиля стал бывший сподвижник Геббельса Иоганн фон Леерс – редактор нацистского журнала и автор книги «Евреи среди нас». Ближайшим коллегой Леерса был секретарь Исламского конгресса Салаб Гафа – бывший член НСДАП Ганс Апплер.

Торговались с Западом и по другим поводам. Скажем, Л. Брежнев по просьбе Луи Арагона выпустил из тюрьмы заключенного С. Параджанова. 30 декабря 1977 года Параджанова освободили на год раньше срока.

Нынешний герой венгерского народа Имре Надь во время Гражданской войны работал в ЧК в Сибири – тот еще фрукт.

В. Ерофеев, ранняя проза, «Записки психопата»: «Единственное, что вызывало сочувствие у жителей “Птичьего острова”, так это внешняя политика пингвина. Вероятно потому, что она была очень проста и заключалась в ежедневном выпускании голубей. Если иногда даже и проходило вместо голубей пускать “утку” или даже “ястребки”, воробушки не меняли своего отношения к внешней политике, ибо считали и то, и другое причудливой разновидностью голубей». Так иносказательно описывается внешнеполитическая доктрина Н. Хрущева.

Человеческая склонность к имитации стилей одежды и манер поведения берет начало в палеосфере мозга рептилии. Имитация есть присущий рептилиям принцип мимикрии, т. е. подражания, соревнования или воспроизведения поведения, жестов или свойств, включая импульсивные склонности, например, желание хлопать вместе со всеми, когда аплодирует зал.

Лев Николаевич подразумевал то, что в 1920 году чехи выдали белого адмирала А. Колчака большевикам и через Владивосток отбыли из России, прихватив часть её золотого запаса, который Колчак возил с собой. На это золото они основали в Чехословакии «Банк легионеров».

Были и реальные трагедии. Так, мать великого пианиста С. Рихтера, бывшая дворянка и по матери этническая немка, во время войны ушла из Одессы с отступающими немцами и жила в Западном Берлине. Встретиться с матерью стоило Святославу Теофиловичу, бывшего долгое время «невыездным», больших усилий.

За что ему порой за границей доставалось по мордасам: «...Внезапно я увидел, что к рингу бегут молодые люди – человек десять... Резкий толчок в спину швырнул меня вниз... Меня, лежащего, начали молниеносно и четко бить ногами... Опомнившиеся зрители бросились на нападающих, и, схваченные, поднятые их руками, те судорожно продолжали колотить ногами по воздуху, как будто старались меня добить. Задержанные оказались родившимися в США и Канаде детьми бандеровцев, сотрудничавших с Гитлером...» (98). Ну, нравы украинских националистов, врагов русского слова, не слишком изменились за прошедшее время.

Под этими псевдонимами в повести выведены Евтушенко, Вознесенский, Окуджава и Рождественский.

28 марта 1979 года 29-летний моряк Юрий Власенко взорвал себя на территории посольства США в Москве. Ему удалось проскочить мимо охраны американского посольства и попросить у дипломатов убежища. Ему отказали. После 30-минутных уговоров Власенко отказался вернуться в объятия сотрудников КГБ, поджидавших его у посольства, и подорвал себя.

Сектанты собирались перебраться в СССР. Каждое утро над лагерем сектантов играл гимн СССР и поднимался советский флаг.

Подобную практику уже в наши дни можно наблюдать в Египте, в Александрии. Люди живут прямо в подъездах домов бывшей европейской части города.

Все это великолепие разбивалось о маленькую бумажку, прилепленную к входной двери магазина: ШТАНОВ НЕТ. «Фу, как грубо, – сказал Остап, входя, – сразу видно, что провинция. Написала бы, как пишут в Москве: “Брюк нет”, прилично и благородно. Граждане довольные расходятся по домам».

Поэма В. Маяковского «Облако в штанах».

Как вышеупомянутую модельера Н. Ламанову, бывшую «поставщицу Двора Ея Императорского величества», согласно советской классификации «кустаря, имевшего по найму двух мастериц».

Символично, что еще весной 1925 года ректором Московского университета был назначен ни кто иной, как будущий палач ленинской гвардии А. Вышинский.

Основана в 1923 году по инициативе Платона Михайловича Керженцева, как мы помним, одного из гонителей Булгакова.

Причем, треть военной промышленности СССР базировалось на Украине.

Последнее обстоятельство хорошо понимали власти. Секретариат ЦК на заседании 27 мая 1946 года рассмотрел вопрос «О политической работе среди демобилизуемых из Вооруженных сил СССР». Выдвигалось требование особого внимания к воинам, местные партийные и советские органы были обязаны организовывать им по прибытии домой торжественные встречи, обеспечивать их жилплощадью, вовлекать в общественно-политическую жизнь, выделять бесплатную подписку на центральные газеты – «Правда», «Известия», «Комсомольская правда» и др. (55).

По другим сведениям, текст книги о русских инженерах, написанный его тестем-академиком А. Крыловым, крупнейшим инженером-кораблестроителем.

Молотов: «Помню, еще когда Раковский не был троцкистом, он, имея большой опыт по Румынии, выступал в печати и на собраниях за всемерное развитие посевов кукурузы. Хрущев правильно ратовал за кукурузу, но не соблюдал научные требования в районировании, возможности и целесообразности ее насаждения» (64).

Расходы по некоторым другим компартиям на середину восьмидесятых годов: Компартия (далее – КП) США – 2 млн. долларов, КП Финляндии – 1,8 млн. долларов, КП Португалии – 1 млн. долларов, КП Греции – 900 000 долларов, КП Израиля – 800 000 долларов, КП Чили – 700 000 долларов, КП Ливана – 500 000 долларов, КП Венесуэлы – 500 000 долларов, КП Индии – 500 000 долларов, КП Италии – 500 000 долларов, КП Дании – 350 000 долларов, КП Перу – 350 000 долларов, КП Сальвадора – 400 000 долларов, КП Аргентины – 400 000 долларов, КП Бразилии – 330 000 долларов, АКЭП (Кипр) – 300 000 долларов, КП Испании – 300 000 долларов, КП Ирака – 400 000 долларов, КП Австрии – 250 000 долларов, КП Сирии – 250 000 долларов, КП Египта – 230 000 долларов (71).

Г. Сысоев: «Сегодня статистика FAO информирует, что уровни потребления продуктов питания на «голодающей» Кубе и в «сытой» Украине очень близки. Например, по тому же мясу. Среднестатистический кубинец съедает в год 32 кг, украинец – 36 кг, а грузин – менее 30 кг. Так почему демократическая пропаганда внушает нам, что кубинцы голодают, а мы и грузины – нет?» (72).

С развалом Союза наша экономика перестала быть самодостаточной. Например, хлопка у нас нет и не будет, даже при восстановлении Союза. Поливные земли Средней Азии в связи с ростом населения заняты сейчас под продовольственные культуры.

Здесь и далее
[ua.com/kio/bd12bf8fe4c32.html](http://www.from-ua.com/kio/bd12bf8fe4c32.html)

[http://www.from-](http://www.from-ua.com/kio/bd12bf8fe4c32.html)

И не просто западным, а именно европейским или американским, то есть наивысшей пробы.

Наоборот, нефтедоллары создали дополнительные внешнеполитические проблемы. А. Паршев: «С появлением советской нефти и созданием экспортных возможностей обозначились два интереса: Запада и групповой интерес советского госчиновника-нефтеэкспортера. Осуществлению этих планов мешал только Советский Союз» (78).

Е. Либерман по результатам исследований сформулировал предложения по реформе хозяйственного механизма социалистической промышленности, которые подал в виде докладной записки в ЦК и изложил в статье «План, прибыль, премия», опубликованной в газете «Правда» от 9 сентября 1962 г. Считается «отцом» экономической реформы середины 1960-х годов.

По некоторым оценкам, члены семьи Л. Брежнева только за последние три года его правления получили в виде прямых взяток деньгами и подношений драгоценными камнями, мехами, предметами антиквариата и похищенными из музеев ценностями на общую сумму: Брежнева-Чурбанова Галина Леонидовна – 3,1 миллиона рублей и 600 тысяч долларов; Брежнев Юрий Леонидович – 3,4 миллиона рублей и 450 тысяч долларов; Брежнев Яков Ильич – 1,4 миллиона рублей и 500 тысяч долларов (96).

Когда умер Ленин и власти построили мавзолей, строители в спешке повредили канализационную трубу. Была зима и вода в трубе подмерзла и не распространилась. Но весной все растаяло и новый мавзолей с телом Ленина залило канализационными стоками. Патриарх Тихон обронил по этому поводу многозначительное: «По мощам и елей!».

Однако само имя Ленина в молитвах помянуть разрешалось, он не был отлучен от православной церкви.

Короткая зарисовка из Киева почти идиллической картины церковной жизни во время короткого перемирия. В. Бережков вспоминает: «Пилили и кололи дрова, заготавливаемые на всю зиму, монахи из Лаврского монастыря, расположенного неподалеку от нашего дома. Они же снабжали отца ароматной травкой-зубровкой, на которой он настаивал водку. В Лавре пекли огромные квадратные буханки душистого черного хлеба с выдавленным сверху крестом. Мы регулярно покупали его в монастырской булочной» (19).

Именно они, а не Генсек выбирали площадку под строительство. Безумно дорогой замысел ввиду надвигающейся войны не был осуществлен. А потом, видимо, стала очевидна его неприличная схожесть с архитектурными фантазиями Гитлера.

Сначала не решались ее ломать, но когда движение усилилось, там ежедневно сбивали до 10 человек. Обезд - разрушение большого количества жилых домов (что в условиях жилищного кризиса было невозможно) плюс возражения администрации больницы им. Склифосовского; тоннель - не выдержала бы сама башня, находившаяся в крайне аварийном состоянии. «Правительство согласилось, что при всей высокой оценке архитектурной ценности данного сооружения, иного выхода не было, как снести Сухареву башню» (Л. Каганович) (23).

Особенно речь шла об общественном мнении в США, где в те годы христианские ценности имели особенное значение. «Гарри Гопкинс, близкий друг Рузвельта и его личный посланник по особо важным делам, от имени президента поставил перед СССР вопрос о роспуске Коминтерна и о примирении с Русской Православной Церковью. По его словам, это необходимо, чтобы снять препятствия со стороны оппозиции в оказании помощи по ленд-лизу и обеспечить политическое сотрудничество с США в годы войны. Эти неофициальные рекомендации были приняты Сталиным еще в 1943 году, и создали дополнительные благоприятные предпосылки для встречи в Тегеране, а затем в Ялте» (31).

А. Судоплатов: «Приходилось часто слышать, будто он является агентом НКВД, но это утверждение не имеет под собой никаких оснований. В действительности двое его сыновей были вовлечены в движение бандеровцев и оба погибли в боях с частями НКВД» (33).

Георгий Теодор Ромжа – епископ греко-католической церкви.

Помните, у Маяковского: «Каждому нужно обедать и ужинать. Где? Нигде, кроме, как в “Моссельпроме”!».

От себя могу добавить, что знаменитая пивная на Пушкинской улице в Москве или пивбар «Жигули» во времена моей молодости, то есть в восьмидесятых, ничем особо не отличались.

Стоит отметить, до войны крупные рестораны работали до 3 часов ночи. Карандаш давал в цирке ночные представления, которые начинались лишь в 11 часов вечера. Рассказни о том, что только Сталин не спал ночью и мучил других, не всегда соответствовали действительности. Ночная жизнь (во всяком случае, в столице) была налажена.

Официант на пароходе «Нормандия», по просьбе путешественника Микояна, знакомит его с французскими качественными винами: «Как-то я спросил его, почему он не предлагает нам дорогих вин – ведь они должны быть лучше. Он улыбнулся и сказал, что выполняя мою просьбу, предлагал мне самые лучшие французские вина. Дорогие сорта, добавил он, мы держим для тех богатых американцев, которые в настоящих винах не разбираются» (36). Сейчас вместо провинциальных американцев «новые русские».

Артисткой здесь почему-то обозначили Елену Сергеевну, вдову Булгакова, с которой в те два осенних месяца Фадеев поддерживал очень теплые отношения.

Хотя по сравнению с началом века, было достигнуто одно важнейшее новое качество – алкоголизм «постарел», он перестал быть социальной болезнью именно молодежи, но все равно цифры удручающие.

Его предпочтения были иные – очень любил быструю езду со скоростью 160–180 км в час. Во время летнего отпуска в Крыму он уплывал в море, как правило, на 2–3 часа и возвращался с купания только к обеду.

Новое увлечение докатилось даже до российской провинции. Так, потомственный почетный гражданин Харькова Матвей Емельянович Баширов снял порнографический фильм, после чего реакционными царскими властями ему была запрещена всякая коммерческая деятельность.

Ильф и Петров, высмеивая кич 1920-х, выдумали даже некие дамские пробковые подмышники «Любовь пчел трудовых».

Хотя, разумеется, не обходилось без исключений, возьмем, к примеру, сестру Ленина, Марию Ульянову. Б. Ефимов: «Мария Ильинична не имела ни большого обаяния, ни больших способностей. В общении с людьми была суховата и не всегда приветлива. Поговаривали, что на ее характере отрицательно сказалось то обстоятельство, весьма деликатное, что она была старой девой» (3).

Параллельно, как следствие тесноты, бедности и новой сексуальной морали, появилось множество подкидышей. В середине двадцатых годов в приюты ежедневно (!) поступало 100-200 брошенных родителями младенцев (13).

Ее муж, известный драматург А. Корнейчук, казался рядом с ней миниатюрным и очень юным, что описано в едкой эпиграмме: «Пришла телеграмма резкая, / В штабе испуганы слегка - / Едет Ванда Василевская, / Она же - муж Корнейчука»...

Однако сильный перекося деятельности педологических лабораторий в сторону сортировки учащихся на основе их интеллектуальных качеств не согласовывался с линией коммунистической партии на равноправие всех трудящихся рабочего класса в получении образования, с идеологией коллективизма, воплощаемого в практике «группового обучения». Активную борьбу против педологии вели А. Макаренко, К. Чуковский. Окончательный разгром и крах педологии наступил после постановления ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе наркомпросов» (1936 г.).

Раньше на Южный берег Крыма ехали от Севастополя.

Хотя с 1925 года, после возвращения Маяковского из Америки, его интимная жизнь с Лилей Брик вроде бы закончилась, оставались отношения чисто дружеские.

Правда, далеко не все мужчины так самоотверженно любили детей. Например, детский поэт Даниил Хармс детей терпеть не мог и гордился этим. «Даже чужие дети пугали его», – свидетельствует Е. Шварц (40). И Юрий Маркович Нагибин категорически не любил детей. Он не понимал, как можно работать в доме, где плачет маленький ребенок. За свою длинную жизнь писатель женился шесть раз, но ни одна из женщин не уговорила его завести ребенка.

Юлия Друнина – поэтесса, жена А. Каплера.

Еще один анекдот той эпохи: Один еврей встречает другого в Москве: «Можете себе представить, Липерович, здесь-таки значительная русская колония!» Липерович отвечает: «Ах, эти русские, они во все щели лезут!» (11).

Так называли официальные критики литераторов, подобных Булгакову.

Из интервью Э. Неизвестного: «Хорошо известно, что в Советском Союзе был только один работодатель – государство, и стремились в эту щель все, потому что другого места, где можно было получить заказ, не существовало» (15).

Порою от хрестоматийной «доброты» Бориса Леонидовича становится жутковато. В начале Великой Отечественной Марина Цветаева уехала в Елабугу. По свидетельству её друзей, вещи в дорогу собирал именно Пастернак. Он подарил Цветаевой верёвку, сказав: «В дороге пригодится, такая прочная, хоть вешайся». Верёвка действительно пригодилась – в Елабуге 31 августа 1941 года Цветаева повесилась на этой «прочной верёвке» (23).

Да, тот самый, который в начале 1930-х годов доставит столько неприятностей Сталину из-за своего несогласия с его диктатурой.

Получив пощечину, Толстой во весь голос при свидетелях кричал, что закроет для Мандельштама все издательства, не даст ему печататься, вышлет его из Москвы. «Рассказ об угрозах Толстого и фраза “Мы ему покажем, как бить русских писателей” произвели на Николая Ивановича должное впечатление: он почти стонал. Этот человек, знавший царские тюрьмы и принципиальный сторонник революционного террора, в тот день с особой, вероятно, остротой почувствовал свое будущее», – вспоминает Н. Мандельштам (26). Речь, разумеется, о Н. Бухарине. Обратите внимание, Николай Иванович – «принципиальный сторонник революционного террора».

Позже Н. Мандельштам, благодаря заступничеству другого влиятельного сталинского писателя А. Суркова, получила место преподавателя в Читинском педагогическом институте, где работала с сентября 1953 по август 1955 года.

На Хамовнической партийной конференции А. Сольц выступил с разоблачением А. Вышинского, говорил, что тот фабрикует дела. Против Сольца решили не искать обвинения – просто отправили в сумасшедший дом, где тот и умер в 1945 году.

«Анна Андреевна пошла к Булгаковым и вернулась, тронутая поведением Елены Сергеевны, которая заплакала, услышав о высылке, и буквально вывернула свои карманы» (32). Вместе они подготовили письмо к Сталину. Вскоре муж и сын Ахматовой были освобождены (правда, позже вновь арестованы).

Подробнее об этом – в «Опасной книге».

В качестве примера изобретательности подпольщиков можно рассказать, как служба контрразведки украинских националистов сумела выследить явочные квартиры НКВД во Львове. Метод их работы был довольно прост, если не сказать примитивен. Слежку они начинали прямо возле здания горотдела НКВД и сопровождали каждого, кто оттуда выходил в штатском и... в сапогах, что выдавало в нем человека военного. Вроде бы элементарно, но из такой «простоты» проистекали колоссальные проблемы частей НКВД в борьбе с партизанским движением.

Последний лидер литовского движения Адольфас Рамаускас-Ванагас был убит в 1956 году. В 1978 году уцелевший эстонский повстанец Аугуст Сабе утопился, чтобы не сдаться, где-то в Южной Эстонии.

Например, в 1947 году состоялись выборы в Верховный Совет РСФСР. Комиссия по выборам Сталинского района города Москвы поспешила объявить, что Иосиф Виссарионович избран единогласно. И вдруг поступает письмо рабочего автозавода, который пишет: «Нет, не единогласно. Я лично голосовал против». И машина завертелась. Как же? Выступление против Сталина. Он же свой поступок объяснил просто: «Я знал, что карточки на хлеб в 1946 году не отменят, и Сталин знал это. Зачем же он сказал в феврале 1946 года, что отменят? А их не отменили. Не надо обещать невыполнимого. Вот я и вычеркнул». Наказания не последовало (49).

Популярный анекдот того времени. Едет в поезде человек. Сосед спрашивает, как его фамилия. Он говорит: первый слог моей фамилии то, что хотел дать нам Ленин. Второй то, что дал нам Сталин. Вдруг с верхней полки голос: «Гражданин Райхер, вы арестованы».

9 марта 1956 года несколько десятков тысяч митингующих от набережной реки Куры у монумента Сталину спустились по Александровскому спуску к Дому Связи на проспекте Руставели. Солдаты, охранявшие здание, подверглись избиению. Кто-то из солдат, защищаясь, открыл стрельбу вверх, в потолок, и пули рикошетом отскочили от бетона. В создавшейся неразберихе кто-то из солдат стрелял и в толпу. В те дни в Тбилиси погибли люди – двадцать один человек.

Людам, нахваливающим воровскую романтику и представление о чести, можно напомнить, в числе прочего, как Валерий Мулявин, родной брат великого песняра Владимира Мулявина, был элементарно зарезан на набережной Ялты. Какие-то подонки просто проиграли одного из «Песняров» в карты, а карточный долг – «долг чести».

Кстати, нынешний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев начал трудовой путь в 1960 году разнорабочим именно в городе Темиртау. Т. е. знал о бунте в Темиртау значительно больше, чем гласили официальные источники. Это, наверняка, оказало влияние на его взгляды.

Е. Евтушенко о Д. Шостаковиче, который на собраниях никогда не аплодировал, а только записывал: «У меня свой метод, Евгений Александрович, чтобы не аплодировать. Делаю вид, что записываю эти великие мысли. Слава Богу, все видят, что руки-то у меня заняты...» (65). Другой великий музыкальный символ советской эпохи М. Бернес. О Марке Бернесе вспоминает певец В. Мулерман: «У Бернеса был сложный характер... Советскую власть ненавидел и называл ее “мелиха” – на идиш – власть» (66).

Перед китайцами не «капитулировали» и уже спустя несколько лет в передовой статье, которая была опубликована одновременно тремя крупнейшими пекинскими газетами, Л. Брежнев назван «новым Гитлером», а Советский Союз – «государством нацистского типа», ведущим расистскую политику, сходную с политикой гитлеровцев. На Дальнем Востоке у нас появился мощный враг (71).

19 января 1967 г. Галансков был арестован; 12 января 1968 г. вместе с А. Гинзбургом, которому он помогал в работе над «Белой книгой» о процессе Синявского-Даниэля (Дело Гинзбурга и Галанскова), был приговорён к 7 годам лагерей строгого режима. Отбывал срок в лагере 17-а в Мордовии. Умер в лагерьной больнице от заражения крови после операции.

Правда, это не мешало ведущим деятелям театра упорно и изобретательно мешать публикации «Театрального романа». Они оказывали мощнейшее давление на «Новый мир», вдову и друзей автора, звонили в разные инстанции, ходили по приемным ЦК. И лишь дипломатическое дарование А. Твардовского, уговорившего актера В. Топоркова написать обтекаемое послесловие к «Театральному роману», позволили этому произведению появиться в печати.

В своих мемуарах В. Новодворская описывает места боевой славы: «Малая Лубянка внутри похожа на провинциальный особнячок, в котором жил до Октября Киса Воробьянинов. Даже стулья похожи, только что без бриллиантов». Все те же книги, те же ассоциации...

Кай Юлий Старохамский: *«В Советской России сумасшедший дом – это единственное место, где может жить нормальный человек. Все остальное – это сверхбедлам».*

Если быть до конца точным, то демонстрация даже не успела состояться. Ее участников арестовали прямо на месте сбора, перед началом похода. Кажется, во дворе журфака МГУ на Моховой.

Потом он стал министром обороны Литовской Республики. В недавнем интервью Буткявичюс рассказал о методах своей работы сегодня: «Когда-то даже в маленькой Литве напротив моего министерства стояли палатки с голодающими. Знаете, что я стал делать? Поставил охрану и начал жарить им шашлыки. Голодающих не стало. Для каждого действия существует противодействие, которое быстро сводит на нет примитивные подходы. Людям нравится шутка. И если власти смогут показать оппозицию дураками, выигрыш будет за властями» (19).

Демографическая подоплека этого социального взрыва была ясна уже современникам. На нее указывал, в частности, Д.М. Кейнс: «Население европейской России увеличилось еще в большей степени, чем население Германии. В 1890 году оно было меньше 100 миллионов, а накануне войны оно дошло почти до 150 миллионов; в годы, непосредственно предшествующие 1914 году, ежегодный прирост достигал чудовищной цифры в 2 миллиона... Таким образом, необычайные происшествия последних двух лет в России, колоссальное потрясение общества, которое опрокинуло все, что казалось наиболее прочным... являются, быть может, гораздо более следствием роста населения, нежели деятельности Ленина или заблуждений Николая...» (24).

Маленькая иллюстрация нравов: 1985 год, июнь, первая поездка Горбачева по стране – Ленинград. «Несмотря на то, что служба безопасности огородила автомашинами то мест, где находились Горбачев, Зайков, Горбачева, люди стали лезть через них, прижали к ним женщин и детей. Начали раздаваться крики о помощи и плач детей, но Горбачев стоял и мирно беседовал о перестройке и антиалкогольной кампании. Надвигалась непредвиденная катастрофа. Тогда сотрудники безопасности, видя создавшееся положение, оттеснили Горбачева и сопровождающих его лиц к машине, втолкнули их туда и еле выбрались из толпы... выйдя из машины, он сказал, что больше так поступать не будет. Однако на фабрике “Большевичка”, в объединении “Электросила” и на Кировском заводе он повторил то же самое» (29). Полное равнодушие к безопасности окружающих людей.

Поскольку фигура знаковая, несколько штрихов из его биографии. Бабушка Егора Тимуровича Гайдара – Рахиль Соломянская вышла замуж за писателя Аркадия Голикова (писавшего под псевдонимом Гайдар), уже имея от предыдущего брака сына Тимура. Аркадий Голиков усыновил Тимура, но вместе прожили они недолго. Тимур выбрал не фамилию матери, с которой жил всё время, не фамилию родного отца, и даже не фамилию своего отчима, а его... литературный псевдоним! (33).

Дочка от первого брака – Маша Гайдар – соратница Каспарова, Навального, ныне эмигрировала на Украину.

Например, книги М. Булгакова за перестроечные годы (1985–1988) были выпущены общим тиражом 15 млн. 836 тыс. экземпляров (55 изданий).

Е. Евтушенко: «Украинский поэт Дмитро Павлычко, тогда ярый коммунист, а ныне ярый антикоммунист... В его глазах всегда был нервический блеск, они постоянно искали объект недоброжелательства и, только найдя его, вдохновенно загорались. Что это был за объект, уже имело второе значение» (49).